

И О В Ы И
М И Р

И О В Ы И
М И Р

1969

И О



1969

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 10

Октябрь 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАКСИМ ТАНК — Из новых стихотворений. Перевел с белорусского Я. Хелемский	3
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Четыре стихотворения. Перевели с литовского Петр Вегин, Ю. Левитанский	6
С. СЛАВИЧ — В поисках Киммерии	11
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Снегопад; Женский портрет. XVIII век, стихи	65
В. ШУКШИН — В селе Чебровка, рассказы	67
МУСТАЙ КАРИМ — Из лирики, стихи. Перевели с башкирского Ирина Снегова, Елена Николаевская	95
ЛЮБОВЬ КАБО — В тот день, рассказ	99
Н. МЕЛЬНИКОВ — Пассажирский 83-й. Из записок корреспондента	106
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — Потусторонние встречи (Из мюнхенской тетради)	129

ПУБЛИЦИСТИКА

А. НЕЖНЫЙ — Города, которые мы строим	188
---------------------------------------	-----

В МИРЕ НАУКИ

Ю. ШРЕЙДЕР — Наука — источник знаний и суеверий	207
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОГНЕВ — Поэзия Ираклия Абашидзе	227
------------------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	233
-------------------------------	-----

Г. Березкин. Годы тревог и мужества.— Б. Закс. Аркадий Гайдар в газете.— Ю. Буртин. «Может быть, это мои прощальные письма...» — В. Портнов. Целое и детали.— Александр Гладков. Литература и театр.— Р. Орлова. Женщина охраняет дом.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	258
Г. Водолазов. Человек против идолов.— А. Каждан. Единство и многообразие.— О. Лацис. Правда и ложь статистики.— Р. Баландин. От факта к гипотезе.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	273
КОРОТКО О КНИГАХ — Александр Големба. Грамши.— Александр Дракохруст. И нет конца тревогам.— Культура чувств.— Ник. Смирнов. Золотой Плес.— Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии.— О. В. Орлик. Россия и французская революция 1830 года.— М. Я. Гринблат. Белорусы.— Г. Бояджиев. Итальянские тетради.— Г. Г. Поспелов. Русский портретный рисунок начала XIX века.— Бартоломе де Лас Касас. История Индии.— Юл. Медведев. Безмолвный фронт.— Дж. М. Барри. Питер Пэн и Венди.— Вопросы киноискусства	275
В. КАВЕРИН. Памяти К. И. Чуковского	284
ОТ РЕДАКЦИИ	286
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МАКСИМ ТАНК

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

С белорусского

ВОСХОД СОЛНЦА

Наступающий день
Снится прежде всего петухам.
Но никто им не верит.
Только старая мать,
Их сигналы услышав, проснется,
Разбудит свою кочережку,
В печи раздует огонь,
Хлеб перекрестит
И положит на стол.
А потом
Черета облаков над селом
Затеплится,
Словно рассветная песня жаворонка.
И аист —
Наш испытанный часовой —
Достанет солнце,
Осторожно его потюкает клювом
И даст поиграть аистяткам.
Пускай позабавятся,
Пока из большого, щелястого их гнезда
Не выскользнет солнце
И, упав на завалинку хаты,
Не рассыплется перезвоном мельчайшим --
Клепкой кос,
Каплями росы
Или песней трубы-берестянки.

Интересно —
Все так же солнце
И сегодня восходит
В нашем селе
Пильковщина?

ПЕРЕНЕСЕНИЕ УРНЫ С ПРАХОМ КУПАЛЫ

Мы долго не решались эту урну
Перенести в края, где он когда-то
Увидел свет, и пуши, и поля.

Боялись растравить былую боль
 Земли, что родила его в страданиях,
 А в пору зрелости его

не раз

Под бомбами то кровью обливалась,
 То глела, головешками чадя.

Мы думали: когда залечим раны,
 Когда запашем старые окопы,
 И вырастим хлеба на пепелищах,
 И вновь подвесим зыбки к потолкам
 В своих домах, поднявшихся из пепла,
 Не так земле спасенной будет больно
 Вновь пережить безмерную утрату.

И все ж бессильным оказалось время.
 С годами все острее мы ощущаем
 Невосполнимую потерю эту.
 И оттого у каждого из нас,
 Благоговейно доставлявших урну
 К порогу вечного захороненья,
 Сгибались плечи под легчайшим прахом
 Сильней, чем под губительной грозой,
 Чем под свинцовым градом лихолетья.

ХОТЬ РАЗ В ГОДУ

Необходимо
 Хоть раз в году
 Пройти босиком бороздою за плугом,
 Обновить свои давние связи
 С родней,
 С весенней землей,
 С травой, с валунами.

Необходимо
 Хоть раз в году
 Посетить магазин игрушек,
 Купить малышу подарок,
 И, кто его знает,
 Может, он, получивший копеечную ракету,
 Подарит потом человечеству
 Галактику счастья.

Необходимо
 Хоть раз в году
 Посетить и кладбище,
 Чтобы вновь убедиться в простейшей истине —
 Ты, увы, не навечно приписан
 К этой зеленой планете
 И к должности, которую занимаешь,—
 Ибо даже и те,
 Что почили с комфортом
 Под мрамором эпитафий,
 Под бронзой реквиема,

В триумфе венков и речей,
 Если они по себе
 Не оставили добрую память,
 Были только случайными прохожими
 На этой планете.

* * *

Начинается осень не тогда, когда синий
 Сивер лезет за пазуху, заставляя поежиться,
 Не тогда, когда ветви в сквозной паутине
 И стерня на пригорке щетинится ежиком,
 А тогда, когда птиц торопливая стая
 Жар последних лучей унесет, улетаая,
 Лишь оставив взамен уцелевшую гроздь на рябине,
 Как подарок для той, что к венцу собирается ныне,
 По которой вздыхал ты на танцах, на шумных вечерках...
 Но уже не тебе будет свадьба командовать: «Горько!..»

КЛЕВЕР

Неделю напролет
 Все шмели, все пчелы
 Поджигали соцветия клевера.
 И вспыхнуло поле,
 И так запольхало,
 Что пришлось торопиться
 С косами и граблями,
 Чтобы пожар не успел перекинуться
 На нашу деревню.

Теперь вечерами,
 Пока усмиренное полымя
 Не вывезли с поля,
 Копны глеют закатной зарей,
 Теплятся светлячками,
 Звенят несмолкающим девичьим смехом,
 Который, как падающую звезду
 В темнеющем небе,
 Нелегко отыскать
 В этом пьяном, как сон,
 И огнеопасном, как порох,
 Клевере.

Перевел Я. Хелемский.



ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С литовского

Апокалиптический диалог

...Кошмары наступают среди сна...

...Сон черной кровью истекал в рассвет,
и кто-то закричал:

— Война! Война!..

Ответил кто-то: нет.

Ответил: нет.

Нет. Нет...

Кричали: счастье рушится твое...

Ответили: его не размести.

Кричали: отниму гнездо, жилье...

Услышал я: вот лира — защити.

Кричали: затопило города...

В ответ звучало: солнцем золотым.

Кричали: океанская вода

отравлена...

В ответ: цветов хотим.

Кричали: вся сирень стоит в крови...

В ответ звучало: светит синевой.

Кричали: птицы падают, мертвы...

Ответили: летят над головой.

Кричали:

— Пули зреют, не зерно...

— Живите хлебом, — чей-то был ответ.

Кричали:

— Кровью тело истекло...

Ответил кто-то:

— Нет.

Ответил:

— Нет!

— Да!..

...Я, спотыкаясь, по полям бежал.
— Поберегись! — кричали мне шутя.
Передо мной росточек ржи дрожал,
и я упал и плакал, как дитя.

И сквозь слезы прозрачный кристалл,
что был наполнен солнцем до краев,
я видел — остров сказочный вставал
в сплетенье фантастических цветов!

Цветком багряным здесь любовь цвела.
Надежды зелень — словно лен весны.
Печаль, поэта вечный друг, была
исполнена высокой синевы.

Та красота могла бы ослепить...
И поднялся я, хмурый после сна.
Но, приготовясь к берегу уплыть,
знакомые услышал голоса...

Кричали:
— Крови черная волна
охватит остров... все затмит кругом...

Кричали:
— Ты бессилён, не вольна
рука. Тебе не править кораблем...

— Нет!

И мертвые опять встают стеной,
и мученики заслоняют свет...
Но возникает остров предо мной,
и повторяю я — нет,
нет, нет, нет...

...Вой бомб, тела космических ракет
в меня, в меня нацелены опять...
Но пробудившийся во мне поэт
не прекращает — нет,
нет — повторять.

...Сквозь слезы к острову я плыл, сквозь пелену
сна, кровью истекавшего в рассвет...

— На войну плыви, на войну, войну — войну!..

...Но я все время
повторял:
— Нет.
— Нет...

Каменное презрение. Лицо

Лицо —
гранитный монолит...

...ни мускул
в нем не задрожит...

...его
гранитные глаза
не одухотворит слеза...

Укутавшись
в саги и руны,
войдя
в морские буруны,
которые охлестывают
береговой гранит,
лицо, как оцепеневший
викинг, стоит
в ночные
волны закованное,
и снится ему
далекое средневековье...

— Ты, Человек,
ты предал сам забвенью,
как превращаются
сердца — в камень...
И провожает
города агонию
окаменевших
мертвых губ ирония.

И провожает
сутолоку масс
презрение
окаменевших глаз...

...Лицо —
из камня онемелого,
из мускула окаменелого.

...окаменевшие глаза
не одухотворит слеза.

...и сердца каменного стук
ничей здесь не услышит слух.

...не внемлет каменное ухо
ни жалобам, ни стонам — глухо.

...Ему приятно разразиться
тяжелым хохотом гранита.

О каменная бравада!
.....
Читаю Ибсена.
«Бранда»...

Стокгольм.

Перевел Петр Вегин.

В этом белом лесу и высоком
мы сегодня гостинцы получим —
два бочонка
с березовым соком
и с березовым медом пахучим.

В ожиданье сладчайшего блага
мое сердце никак не стихает.
...И блестит на щеках моих влага,
с подбородка блаженно стекает.

Пью из бочки,
едва ль не до ночи
(молодая весна, молодая!),
а потом я ору что есть мочи,
вместе с ветром к траве припадая.

Тишина над березовой чашей,
синева высоко над лугами.
Пьем медовый напиток горчащий,
утираемся смачно руками.

А березы плечами поведят,
хороводом меня окружают,
и в честь праздника
песню заводят,
и меня с ними петь приглашают.

Что мне петь?
(Стало поле лилово,
лишь вдали розовеет полоска...)
Я так мал еще, честное слово,—
просто к небу тянусь, как березка.

Но растет мое сердце —
найди-ка
государство огромней на свете!
Небо — вот его лучшая книга,
а рисунок — звезда на рассвете.

...В этой вечно молчащей Вселенной,
в этом грохоте вечном и гуле,
дорости до звезды отдаленной —
как когда-то Чюрленис —
смогу ли?

Буду с вами расти, не оставлю
вас, березы из рощиц окрестных,
и когда-нибудь книгу составлю
из созвездий,
пока неизвестных.

Перевел Ю. Левитанский.



С. СЛАВИЧ

★

В ПОИСКАХ КИММЕРИИ

1. Признание

В начале мая я поеду в Керчь. Не удивляйся: как, мол, опять? Да, опять. Конечно, все, что нужно увидеть, давно осмотрено, все, что нужно помнить, никогда из памяти не изгладится, почти каждый шаг заранее известен, и, однако, стоит вспомнить о Керчи — тут же хочется побывать в ней опять.

Как всегда, вечером посмотрю на гору Митридат. Горит огонь? Горит и будет гореть вечно. А глянув на этот огонь, я вспомню о маяках, о друзьях-мореплавателях, которых жизнь разбросала по всей планете, и в сотый, наверное, раз подумаю: удивительный город! Вот уже сколько тысячелетий море исправно берет с него дань. Рано или поздно едва ли не каждый второй из здешних парней ступает на палубу, чтобы потом прокататься на ней всю жизнь.

Я спрошу себя: а бесшумно ли вертится Земля? Конечно, нет! Просто мы притерпелись и перестали воспринимать скрип ее оси, нам не слышен пронзительнейший свист, с каким Земля рассекает пространство выпуклостью экватора, — все это свелось к еле ощутимому звону в ушах. Сейчас, когда молчат цикады, особенно явственно слышен этот звон.

Вот она скрипнула, повернулась к солнцу другим боком, спрятала нас в тень, и на всем побережье разом вспыхнули разноцветные маяки. На рассвете погаснут. Как ни романтично они выглядят, разбросать эти светлячки людей вынудила простая житейская необходимость. *Navigare per se esse est*¹. Но есть другие, в е ч н ы е огни, зажечь которые заставила память. Не знаю, сколько их во всем мире. Один мне особенно дорог — в Керчи, на горе Митридат.

9 мая огней на Митридате будет много. С утра начнут собираться люди. Год назад они условились снова встретиться здесь. Токари, бухгалтеры, пенсионеры, рыбаки, виноградари, ночные сторожа, учителя, шоферы опять ненадолго станут моряками, пехотинцами, саперами, артиллеристами и летчиками, участниками десантов, прорывов, арьергардных боев на залитой кровью переправе.

Запылают костры, и вокруг них возникнут землячества. Во время войны земляком для москвича был москвич, для сибиряка — сибиряк, для уральца — уралец. Сейчас все будет по-другому. Встретятся земляки по дивизиям, полкам и морским бригадам.

¹ Плавать по морю необходимо (лат.).

У одного костра появится бочонок местного вина, у другого — бутыл с кукурузной кочерыжкой вместо пробки, будут песни, разговоры, слезы, неожиданные встречи, тосты «за нашего комбата, да будет земля ему пухом», будут притихшие пацаны, и тарань, и вяленые бычки, и бабауля горячего копчения. Я все свалил в одну кучу, но такой это город и такова, между прочим, жизнь.

Не много найдется мест, где в такой степени испытываешь на каждом шагу соприкосновение с историей. Она предстает перед тобой с самого начала — со стоянок пещерного человека. Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы, печенеги, греки, римляне, готы, гунны, хазары, славяне, итальянцы, татары, турки... — каждый народ оставил свой след. Как на речном обрыве иной раз видишь то прожилку угля, то отложения давно исчезнувшего моря, то затвердевший лавовый поток, так здесь открывается в разрезе почти вся история человечества. В одной борозде от плуга лежат обломок амфоры и осколок снаряда. Рядом — скифский курган, в склон которого врыт железобетонный дог. И тут же вспарывает степь, добывая руду, исполинский отвалыный мост, дымит похожая издали на старинный многотрубный крейсер электростанция, пышет жаром еще не остывшего агломерата железорудный комбинат.

Склоны горы Митридат опоясаны террасами увитых виноградом улочек. В их облике сохранилось что-то средиземноморское. С улицы на улицу ведут ступени, двory вымощены каменными плитами, которым сотни лет; фасады домов до сих пор хранят следы артиллерийских обстрелов времен минувшей Великой войны. Эти следы никто не замазывает и не пытается скрыть. Может быть, ими даже гордятся.

А внизу — забитая кораблями гавань, на берегу которой стоит церковь Иоанна Предтечи, построенная — ни много ни мало — 1200 лет назад.

Да, таков этот город, когорый в разные времена назывался то Пантикапеем, то Боспором, то Корчевом. Почти всегда он оказывался в эпицентре величайших человеческих потрясений. На заре истории здесь полыхало восстание «скифского Спартака» — предводителя рабов Савмака. Честолюбивые понтийские цари лелеяли здесь свои планы сокрушения могущественного Рима. До сих пор поражаешься дерзости этих планов. Был задуман союз с галлами — те поднимают восстание на западе, а с востока нанесут удар владыки Черного моря. Увы, Цезарь «пришел, увидел, победил». Да-да, эти ставшие крылатыми слова тоже в немалой степени относятся к нашему городу: отсюда пошел в поход царь Фарнак и сюда он бежал, потерпев в Малой Азии поражение от Юлия Цезаря, который доложил сенату: «Veni, vidi, vici». На этих берегах создавались и рушились государства, цивилизации, чеканилась монета, строились суда, дворцы, храмы, хижины и величественные гробницы. Через Керченский пролив шли караваны в устье Танаис, в Индию и Семиречье, в него ускользали от преследователей древние русские дружины, ватаги запорожских и донских казаков. Здесь «в лето 6576 индикта 6 (то есть в 1068 году нашего летосчисления. — С. С.) Глеб князь мерил море по льду от Тмутороканя до Корчева», как высечено на знаменитом тмутараканском камне.

Что за история случилась с этим камнем! До того, как он был найден (в XVIII веке), русское княжество Тмутаракань считалось загадочным, полулегендарным. Где оно находилось — на Черниговской земле на Муромской? А может, его вообще никогда не было?

А у солдатской казармы у порога лежал камень, взятый из развалин древнего города близ нынешней Тамани. Об него просто вытирали ноги. Когда же присмотрелись, заметили старинные письмена. Вот

она где находилась, сказочная Тмутаракань, — на восточной стороне пролива, и Корчев-Керчь входил в ее состав.

Но керчане помнят не только об этом. Здесь в ноябре 1920-го была закончена гражданская война, а во время Великой Отечественной через их город по существу проходил один из последних рубежей обороны Севастополя. Пала Керчь, и вскоре пришлось оставить Севастополь. По отношению к Севастополю Керчь в это время играла примерно ту же роль, что Тула по отношению к Москве. Однако на юге обстоятельства сложились, к сожалению, по-другому...

Был период, когда падение Керчи легло как бы тенью на город. О событиях мая 1942 года не любили вспоминать. Но разве было только поражение и беспорядочное отступление через пролив? А десять тысяч тех, кто ушел в Аджимушкайские каменоломни, сплотились в подземный гарнизон и еще полгода, пока почти все не легли костями, продолжали сопротивление — разве этого не было?

В мае немногие оставшиеся в живых аджимушкайцы тоже съедутся в Керчь, встретятся на горе Митридат.

Соберутся и эльтигенцы — самое, быть может, многочисленное и дружное из здешних фронтовых землячеств. До сих пор сохранились следы их удивительного и тоже трагического десанга. У самой кромки прибоя всосались в морское дно затонувшие мотоботы и баржи, лежат на берегу пушки. До сих пор пополняется устроенный в школе музей: ребята находят то полуистлевшие документы погибших, то оружие, то ордена и медали...

В свое время волшебница Цирицея предсказывала многосланному Одиссею: «Достигнешь низкого берега, где дико растет... лес из ракит, свой теряющих плод, и из тополей черных... Там киммериян печальная область...» За нею — Океан, река, обтекающая Землю. А еще дальше — потусторонний мир, царство мертвых, Аид. Мрачноватые края. Впрочем, путешественникам, волшебникам, охотникам, поэтам и детям свойственно преувеличивать. Опять же религиозные предрассудки... Так или иначе, Одиссей побывал в Киммерии, и Гомер рассказал нам об этом. То было первое упоминание о наших местах. Сколько с тех пор писали о них! А сколько еще будут писать! Вот и я решился на признание в любви к городу, который стоит у стыка двух морей на берегу Боспора Киммерийского — так некогда назывался Керченский пролив. Кое-кто считает его неудобным и слишком разбросанным. Все верно: и ветры здесь иногда налетают сразу со всех сторон, и питьевая вода с непривычки кажется солоноватой, и девушкам нередко приходится месяцами ждать своих парней из рейсов в Атлантику и Индийский океан. Но что поделаешь! Стоит вспомнить о Керчи — и тут же хочется снова побывать в ней.

Мы еще не старики, однако надобно спешить. Тем более что на дворе весна, «и торопятся, — как сказал поэт, — в путь веселый ноги».

2. Поважный

Сам не пойму, откуда они берутся, эти красивые слова. А потом их вычеркиваешь или спешишь стать по отношению к самому себе в эдакую ироническую позу.

Вот хотя бы этот случай. Путь-то, в который «торопятся ноги», не из веселых. Просто в незапамятные уже времена я прочел и полюбил строку Катуллы: «И торопятся в путь веселый ноги...» Речь в этих стихах о весне. А дальше — длинная и запутанная цепочка ассоциаций: курганы,

древности, руины, куст белого боярышника рядом со скелетом огромного здания на пустыре, который был когда-то заводским двором, греческие и латинские письма на стенах: «Прощайте, о странники!» — высечено на них. (Эти древние камни сейчас так же стары, как сто или двести лет назад. Что для них сто или двести лет?..) А откуда-то сбоку вдруг вклинивается стихами о весне легкомысленный Катулл, хотя весна явно запоздала, над Крымом висит туман, а на перевалах шоссе покрыто гололедом. «Дворник» размазывает по ветровому стеклу то мокрый снег, то тяжелые дождевые капли. Машины при встрече подслеповато щурятся.

...Керчь вначале легко может разочаровать. Окраинные улицы на въезде заураядны. Дома и домишки вроде бы обыкновенны, неинтересны. Здесь ничто с первого взгляда не поражает, не бросается в глаза. Я бы сравнил этот город с хорошим вином, которое требует неторопливости и определенной обстановки. Можно зачерпнуть в жаркий день ковшик и опорожнить несколькими глотками — иногда так и приходится делать, утоление жажды — тоже радость. Но налейте рубиновой матрасы из степных виноградников в тонкий стакан и посмотрите на свет, вдохните аромат, а потом пригубите, отхлебните самую малость...

В города приезжают по-разному. По делам. Ради людей, которые там живут. Для встречи с прошлым. Я ехал просто так, ради самого города. До этого я даже не подозревал, сколько людей с поистине фантастическими судьбами живут в одной маленькой Керчи. Да и с Поважным познакомился только в 66-м году.

Вот что я о нем читал:

«Рядом с центральными каменоломнями Аджимушкая, где разместился подземный гарнизон под командованием полковника П. М. Ягунова, в так называемых Малых каменоломнях действовали и другие подразделения... Михаил Григорьевич Поважный в тяжелые дни нашего керченского отступления в мае 1942 года был командиром батальона. Когда, теснимые фашистскими танками, пехотой врага, наши воины отошли в Малые каменоломни, оборону здесь вначале возглавил подполковник Ермаков. После его гибели командиром подземного гарнизона Малых каменоломен стал Михаил Григорьевич Поважный».

А вот что он сам пишет:

«Когда кончились последние продукты и голод стал терзать с каждым днем все сильнее, в пищу пошли шкуры и копыта лошадей. Заедали вши. Трупы погибших товарищей, похороненных тут же, разлагались. Воздух был тяжелым.

Немцы продолжали газовые атаки. Не все выдерживали это. Уми­рали, сходили с ума...

Немцы заваливали выходы бревнами и мусором, мы использовали этот материал для костров. Забрасывали к нам немецкие листовки, кричали в рупоры, что взята Москва. Однако духа наших людей они сломить не смогли...

Не могу сейчас вспомнить всех боевых операций. Скажу только, что оружие наше пополнялось трофейным после каждой вылазки, а однажды ночью мы так неожиданно напали на спящих гитлеровцев, что они в одном белье бежали в Керчь. Мы продержались на поверхности всю ночь, но к утру фашисты перебросили к Аджимушкаю большие силы, и мы вынуждены были снова занять оборону в нашей подземной крепости.

Мы не теряли надежды, что свяжемся с Большой землей, что пробь­емся к своим. Но когда? Как?

Зайдешь, бывало, в госпиталь (а у нас было 250 раненых), и со всех сторон подступают к тебе с вопросами:

— Товарищ командир, что будет с нами? Выйдем мы отсюда?

— Выйдем, соединимся с нашими, еще сколько водки с друзьями выпьем! — говорил я, но в глубине души и себе задавал такие же вопросы.

...Шел шестой месяц обороны. Нас оставалась горстка. Уже не хватало людей, чтобы охранять ходы и выходы из каменоломен. Заложили их камнями и замаскировали. Оставили только секретные...

Дни нашей обороны завершались... Немцы уже нахально врываются в катакомбы, зная, что сопротивляться почти некому. Они шли с фонарями, стреляя по сторонам...

30 октября 1942 года (дату я узнал позже) фашисты подтянули к Малым каменоломням автомобили с динамо-машинами. Освещая штольни, они начали прочесывание катакомб. Бесперывно стреляя из автоматов, они продвигались по каменному коридору. Мы, отстреливаясь, отходили к нашему штабу... Бежать было некуда...

Нас оставалось всего трое: Шкода, Дрикер и я... Последним нашим убежищем в катакомбах были две маленькие комнатки, в которых в начале обороны размещался штаб... Как мы ни скрывались, фашисты обнаружили и схватили нас — последних безоружных защитников Малых каменоломен. Запомнилось, что двое гитлеровцев, державших меня, сами дрожали.

Может, и вид мой пугал их. На мне была старая, потемневшая шинель, ватные брюки и стоптанные валенки. Лицо заросшее, руки и ноги словно водой налились. Тяжело было идти и трудно привыкать к свету.

Потом нас допрашивали... Связали за спиной руки. Конец длинной веревки держал в руке автоматчик. Впереди и по сторонам тоже шли автоматчики. Почему-то привели назад к каменоломням. Недалеко от входа поставили у стены. Гитлеровцы выстроились шеренгой.

До сих пор не пойму, что произошло. Появился некто в гражданском, в шляпе, что-то шепнул немецкому капитану, и мне развязали руки. Обратно вели уже не связанным. Я спросил у переводчика, почему не расстреляли. Он сказал: «Приказано доставить живым».

Возили к генералу в Керчь, допрашивали нас в Симферополе, в гестапо. Спектакль фашистам мы все же испортили. Урезонить нас не удалось, загипнотизировать «нежным» обращением не смогли, не помогли им и пытки...

Так вышло, что, пройдя гестапо, фашистские тюрьмы и лагеря смерти, я остался жив. Может, для того, чтобы рассказать молодым обо всем, что пришлось нам пережить, о зверином облике фашизма, о стойких и смелых своих товарищах, сражавшихся на керченской земле в каменоломнях Аджимушкая».

Я ожидал увидеть человека средних лет, немного моложе пятидесяти (войну он встретил старшим лейтенантом), высокого, сутуловатого, неторопливого, немногословного. Он оказался совсем другим. Поразительно не таким, как ожидалось.

Я вспомнил, что гитлеровцы, державшие его уже безоружного, сами дрожали. А раненым в госпитале (все раненые, как и почти все защитники каменоломен, погибли) он говорил, подавляя сомнения и делая все, чтобы эти сомнения никем не были замечены: «Выйдем, соединимся с нашими, еще сколько водки с друзьями выпьем!..»

Маленький сухонький старичок в кителе из зеленой солдатской диа-

гонали. Он мог бы сшить пиджак, но сшил китель со стоячим воротником из этой недорогой ткани. Ни в чем другом я его тогда не видел — только в этом кителе. Ботинки тридцать восьмого, от силы тридцать девятого размера. Подвижен, даже суетлив и, как мне казалось, неуверен в себе.

Неуверенность эта как раз и проскальзывала в суетливости, в том, как он, рассказывая, вдруг останавливался, будто ждал все время, что его вот-вот перебьют... Несмотря на избыток движений, Поважный, казалось мне, чувствовал себя скованно.

Я не стал спрашивать об Аджимушкае — успеется.

— Неужели семьдесят?

— А вы не смотрите, что я такой. Я, бывало (совсем недавно еще), возьму тачку и айда по поселку — металлолом собирал.

На видных местах в комнате были расставлены подарки, сувениры от пионерских дружин и воинских частей. Значит, приходится выступать с воспоминаниями, подумал я. На детских поделках и символических вещицах, сделанных руками умельцев-солдат (взрывающий в небо самолет или что-нибудь в этом роде), были надписи: «Героическому командиру подземного гарнизона...», «Герою Великой Отечественной войны...», «Нашему замечательному земляку...»

А ведь верно, этому человеку повезло: живет в тех же местах, где пришлось воевать.

Когда мы осмотрели подарки, Поважный положил на стол альбом, и я стал вежливо его листать. Естественно, хозяин собирал только те снимки, которые имели отношение к нему самому. Вот он среди пионеров, вот в группе таких же, как сам, пожилых и печальных людей возлагает венок у одного из входов в эти страшные катакомбы...

...Вот он в обществе увешанных орденами и медалями, надевших в День Победы парадную форму ветеранов...

— Летчик, Герой Советского Союза... — говорит Поважный. (Вижу, что Герой. Какое прекрасное лицо! Чуть сдвинута на затылок и чуть набекрень фуражка, под которой небось уже прячется лысыня!) — Военврач, начальник госпитала... (У женщины орден Красного Знамени, орден Отечественной войны и целая россыпь медалей.) Полковник-артиллерист... Специально прилетел из Свердловска в Керчь на праздник... — Поважный бережно, почти не касаясь, водит пальцем по снимку.

Полковник-артиллерист напоминает мне чем-то дядю. Тот тоже начал войну старшим лейтенантом, закончил майором, благополучно ушел в отставку полковником и тоже вполне мог бы оказаться на этом снимке — достойный среди достойных. Да, мой дядя начал войну старшим лейтенантом, как и Поважный...

На снимке много людей, он сияет лучами, отраженными от лаковых козырьков, кокард, начищенных пуговиц, от эмали, золота и серебра. Я переворачиваю страницу.

Но что это? Следующий снимок поразил меня. На нем был он сам, Поважный. В одиночестве, но не в унынии. Он сидел перед фотоаппаратом прямой сухонький и, как всегда, в своем кителе. Одна рука на колене, другой он вроде бы чуть подбоченился. Левая сторона груди слегка выпячена, и на ней светлым пятном одна-единственная медалька — «XX лет победы над Германией».

У Шурочки, не сражавшейся в керченских катакомбах, медалей было больше: «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Северного Кавказа» и, по-моему, за что-то еще. Глядя на снимок, я вспомнил о Шурочке без тени упре-

ка — она здесь ни при чем. Но мне стало обидно за старика в зеленом кителе, выпятившего грудь, словно молоденький солдат действительной службы, который за отличия в боевой и политической подготовке получил по случаю юбилея первую в своей жизни награду и теперь спешит запечатлеть себя с нею, чтобы послать снимок любимой девушке Фросе в Ахтырский район Сумской области.

Однако еще больше поразило другое — на снимке Поважный был в погонах. Даже плечи его стали казаться шире от новеньких золотых погон с тремя маленькими звездочками старшего лейтенанта. Правда, в его время не было погон, но с тех пор столько воды утекло!

...Я представил себе, как все было. Где-то специально достал погоны. Пришел к фотографу, приладил перед зеркалом к плечам с помощью английских булавок (наверное, и китель — именно китель, а не пиджак — шился для такого случая) и сел перед аппаратом, серьезный, сухонький, сохранивший выправку.

Нет-нет, я был не прав! Не запоздалое желание покрасоваться (перед кем?!) руководило им. Он надел погоны, которые никогда не носил (введены уже после того, как Поважный попал в плен), не из тщеславия, а чтобы хоть как-то прикоснуться к Победе, почувствовать себя хоть на миг не тем, кто обязан не терять надежды и все-таки близок к отчаянию, а человеком великой армии, идущей «вперед, на запад!». Он ведь не испытал этого счастья, знал только отступление и необходимость ногтями, зубами цепляться за край пропасти. Потому, наверное, Поважный с такой гордостью и носит свою юбилейную медаль. Кой для кого она не много значит, а для него эта медаль — символ чуда и запоздалое признание его причастности к этому чуду.

Я рассказываю, а сам думаю: поймет ли он меня, не вздумает ли обидеться? Не нужно! Глубокое уважение и еще какое-то, чуть ли не сыновнее, чувство вызывает у меня этот человек.

Он все еще не вернулся. Он связан войной по рукам и ногам. Я бы попытался рассказать о нем, будь он даже один такой на всем свете. Но он далеко не единственный. Даже в этом маленьком городе, в Керчи.

3. Пенсионеры

Об этом уже столько писали: города теряют свой индивидуальный облик. В самом деле, многим ли отличается поселок Камышбурунского железорудного комбината (он входит в Керчь) от района новостроек в Симферополе или, скажем, в Туле, Луганске, Свердловске, Харькове? Кое-как еще держатся центры городов, но их тоже теснят, рассекают современными безликими большими зданиями. Эти перемены, ясное дело, накладывают отпечаток и на весь жизненный уклад.

В Керчи истинный аромат прибрежного виноградного города сохранили, пожалуй, лишь улочки и переулки, примыкающие к горе Митридат. Здесь быт нетороплив, мясо и рыбу покупают (и торгуются при этом) на рынке, здесь замощенный истершимися каменными плитами двор не просто ничейная территория для развешивания белья, а, черт возьми, форум (тут летом и ранней осенью мужчины допоздна стучат в домино, а женщины на крылечках и скамеечках лузгают семечки, тут знают друг о друге все), здесь, как и сто — двести лет назад, любят блюда из мидий, закусувают оливками и готовят — каждая хозяйка на свой манер — тушенку из хамсы по-гречески.

Растительность небогатая, а все-таки зелено. Виноград и акация

умеют постоять за себя даже на безводье, даже когда под корнями земля, а почти сплошной камень. Не так уж и пышны кроны у корявых акаций, а улица, словно дымкой, подернулась тенью. Чистенько. Один конец улицы выходит к морю, другой упирается в сквер центральной городской площади, которая раскинулась между «стекляшкой» современного универмага и церковью Иоанна Предтечи. Дома на улице старые, с лепными фигурами по фасаду и проржавленными навесами над парадными. Площадь с незапамятных времен была шумна: место народных собраний, потом рынок. Да и на моей памяти здесь шумел, пах рыбой и чебуреками базар. Сейчас шумно только по ночам, когда вытряхивают последних посетителей из заведения под названием «Бригантина». В вестибюле «Бригантины» лежит на боку якорь и прохаживается швейцар с точным, наметанным взглядом (вместо боцманской дудки — милиейский свисток в кармане), на стенах — мозаичные морские чудеса и сваренная из проволочек карта-схема нашей планеты. Расчет на романтиков.

Ох, уж эти романтики! Вот прошел один из них в брюках, неизмеримо зауженных сверху и щедро расклеванных снизу. На концах штанин — цепочки и бубенцы. Да это еще что! Однажды появился чудик с электрическими лампочками внизу штанин. Он идет, а они светятся. Ну где еще, кроме Керчи, до такого могут додуматься? Не человек, а атомоход. С ума сойти. Идет и по сторонам косит: интересно все-таки, как примет эти лампочки общественность. А общественность — ей что. Девчушки перестали в классы играть, хихикают. Дамы постарше забыли на минутку о семечках — остановилась маслобойка. Только мужики как ни в чем не бывало по-прежнему стучат в домино. Вид у мужиков затрапезный, домашний. Так весь день и просидят — пенсионеры. Ну, хотя бы этот вот — щеки обвисли, под глазами мешки, грузен. Он не осуждает и не клеймит. Он все видел и все знает наперед. Он просто считает очки и смеется: топай, мол, топай, петушок. Еще оциплют и матросом сделают. Это проще простого. Знаем, как делается. И мы оципывали, и нас скубли. До лампочек и бубенцов, верно, не доходило, но тут уж влияние электронно-поролонового века...

Сидит дед, подставил солнышку тяжелые плечи. Глаза совсем прикрыл, положил на колени морщинистые руки. Только линия носа по молодому четка да широкий подбородок неизменно выдвинут вперед, будто являет готовность к чему угодно.

Чего греха таить — идешь мимо и смотришь на старика сочувственно, но в то же время и снисходительно. А ведь это несправедливо. В молодые годы он был орел. Судите сами: четыре ордена Боевого Красного Знамени. Это не часто встречается. Званием капитана второго ранга, конечно, никого не удивишь, но он еще капитан де фрегато (так, кажется, именуется этот чин) Испанской республики.

Сейчас, когда старик, кряхтя, поднимается со своей скамьи, кто-нибудь да подумает: песок сыплется... Что поделаешь! Старость — не радость, а молодость задириста и нередко бесцеремонна.

Не такое ли примерно отношение у нас и к старым городам? Шустрые и резвые, только позавчера родившиеся и часто до мелочей похожие друг на друга Светлогорски да Лучегорски поглядывают на них свысока. Керчи еще удивительно повезло, а иные из них, нынешних городков районного подчинения, где автобус останавливается на пять минут, а железной дороги вообще нет, просто полузабыты. А были некогда столицами государств, которые трясли мир, как яблоню. За примерами далеко не ходить, возьмите Старый Крым, он же древний Эски-Керим, он же Солхат — известный в средние века на Востоке и Западе богатый город.

То, что читаешь о нем в книгах и видишь собственными глазами, просто поразительно не совпадает. Здесь была столица крымских ханов. Но еще раньше, оказывается, город был окружен каменными крепостными стенами с огромными башнями. Где они? Был он «одним из главнейших городов Азии, столь великий и пространный, что всадник едва мог на хорошем коне объехать его в половину дня». Слава Солхата разносилась повсюду. До нас дошли только ее отголоски да туманные, не каждому понятные намеки.

Когда едешь из Симферополя в Керчь, на протяжении более ста километров до Феодосии вдоль дороги видишь непривычные для нашего глаза невысокие, изящные металлические столбы. Право, стоит остановить машину, чтобы подойти к одному из них и поудивляться. Столбам этим более ста лет, но между ними и сейчас еще натянута проволока, они служат. Чугунное литье сохранило английские письма. Такие же столбы я видел сваленными в штабель в одном из керченских дворов. Это остатки линии Индийского телеграфа, связывавшего Лондон с Калькуттой. Ее не случайно проложили именно здесь. Максимилиан Волошин, поэт и большой знаток Крыма, как-то писал: «Если мы свернем с теперешнего шоссе, придерживаясь линии Индийского телеграфа, который обходит с севера гору Агармыш по старой почтовой дороге, то мы пересечем сперва одну, потом другую долину, которые носят имя Сухого и Мокрого Индола.

Июл — по-татарски — дорога.

Инд-Июл — «дорога в Индию».

Гора Агармыш — это рядом со Старым Крымом.

Здесь проходил великий караванный путь из Европы в Азию. Здесь делали свой последний привал купцы из дальних стран перед тем, как двинуться с рассветом к великим торжищам, которыми были в средние века сначала Судак, а потом потеснившая его Феодосия-Кафа. И здесь же заканчивался их первый дневной переход после того, как, расторгнувшись и обменяв товары, они отправлялись в свой немислимо протяженный даже по нынешним понятиям обратный путь. Да, если был мир, то по этим дорогам ехали купцы, если же случалась война, то возвращавшиеся после набегов степняки гнали по ним на невольничьи рынки пленников.

Осевшие в Крыму (задолго до нашествия монголов) тюрки, судя по всему, недолюбливали море. Не случайно их столицей стал расположенный среди лесов и невысоких гор почти на границе со степью Солхат. В удобных для строительства гаваней бухтах селились и возводили крепости греки, римляне, венецианцы, генуэзцы. Но не только они. «На море, от Керсоны до устья Танаида, находятся высокие мысы, а между Керсоной и Солдаией существует сорок замков; почти каждый из них имел особый язык». Так писал в середине XIII века Гильом де Рубрук. Пестрота племен и вероисповеданий. Мечети, христианские храмы (и те и другие нередко строились на античных фундаментах), караимские кенасы, синагоги, скиты, монастыри... Со временем этой пестроты поубавилось. А тогда еще уживались рядом, сохраняли до поры свои обычаи и язык и потомки хазар, и потомки готов.

Сколько удивительных тайн и забытых историй хранят маленькие городки!

Они не только принимали выходцев из чужих краев, но и сами направляли в другие страны своих людей. Кипчак Бейбарс стал ни больше ни меньше — султаном Египта, но не забыл отчих мест. По его повелению в Крым направлялись караваны и корабли, а в 1288 году Солхат украсился великолепной мечетью. Ее стены были отделаны мрамором, а верх украшен порфиром.

Словно соперничая друг с другом, строили ханы дворцы, мечети, роскошные бани, купцы возводили караван-сарай и утопавшие в зелени дома, лепили свои хижины и мастерские ремесленники. Чего только в Солхате не видели, не держали в руках! Пшеницу, соль, вино, шерсть, меха, воск, золото; драгоценности и корни из Индии, фарфор из Китая, опий из Бенгалии, шафран и сандал из Малабара, корицу и жемчуг из Цейлона, мускус из Тибета, слоновую кость из Эфиопии, мирру и ладан из Аравии... А как говорится в одной из текерлеме (татарской поговорке): державший мед — оближет пальцы.

Таких городов, чья слава и могущество в прошлом, не так уж и мало на земле. Большинство из них — земля обетованная для туристов, которые рассматривают древние фрески, фотографируются на фоне живописных руин и оставляют на них свои автографы. Кстати, этот скверный обычай расписываться на камнях и стенах отнюдь не нов, с ним боролись, наверное, и в древности, а сейчас историки и археологи с интересом изучают граффити — такие надписи, дошедшие до нас с давно прошедших времен. Но Старому Крыму и в этом не повезло: подлинной старины мало осталось.

И все-таки год от года все больше парней и девчат садлают мотоциклы или идут пешком, останавливают попутные машины или покупают билеты на рейсовые автобусы, чтобы побывать в этом городке. Что нужно здесь им, молодым и веселым? Они едут на могилу Александра Грина.

Древний и некогда великий город становится снова известен, потому что в нем умер и похоронен писатель.

Можно по-разному относиться к написанному «беллетристом» (так он называл себя) Грином, но раз едут сюда со всех концов эти парни и девушки — значит, его книги им нужны.

Удивительная и в то же время знакомая судьба. Родился на севере, а мечтал о теплых морях и дальних странах. Так и не увидел их. Трудно сказать, что помешало — участие ли в революции, тюрьма и рано открывшаяся болезнь или нехватка жизненной силы, которая только и может помочь осуществить мечту. Однако он осуществил ее, хотя и очень по-своему. Смертельно больной, далеко не всегда сытый, Грин создал в себе самом тот ослепительный мир, о котором мечтал. И рассказал о нем.

Грин давно стал частью той крымской земли, на которой жил несколько лет и умер, когда неожиданно его книги заставили переиздать себя. Бывает и такое. Это похоже на жизнь родника, загнанного потрясениями земной коры или чьей-то недоброй волей под землю: рано или поздно, не здесь, так в другом месте он все равно пробьется на поверхность.

В старинном городке немало могил. Но мало кто помнит сегодня, что недалеко отсюда похоронен хан Мамай — тот самый, которого разгромили воины Дмитрия Донского на Куликовом поле. Могила его почти забыта, а ведь куда как был известен грозный Мамай при жизни. После поражения и усобиц бежал он в Крым, чтобы отдаться под покровительство генуэзцев в Кафе. Но одно дело победитель, а другое — беглец. Люди, которые еще недавно припадали к его стопам, теперь вели себя совсем иначе. Мамай был предательски убит, а тело его вывезли за городские стены.

Где-то здесь, говорят, покоится под шестисотлетней шелковицей прах мусульманского святого — азиса. Когда-то каждый правоверный считал своим долгом повесить пеструю ленточку на шелковицу — сотни их трепетали на ветру. Некому сейчас вешать ленточки, забыта, утеряна могила, но множество пестрых лоскутков развеивается на дереве, что растет над могилой Грина.

В Старом же Крыме закончила свой путь знаменитая авантюристка Жанна Сен-Реми де Валуа, графиня де ля Мотт, отпрыск некогда царствовавшего во Франции рода. Это она вместе с кардиналом Луи де Роганом и «великим магом и чародеем» графом Калиостро была главной героиней прогремевшей на весь тогдашний мир истории с похищением драгоценного ожерелья королевы Марии-Антуанетты. Клейменная железом и битая батогами, она была заключена в тюрьму, бежала оттуда и, как сообщалось, умерла в Лондоне.

А через несколько лет Жанна под именем графини де Гоше объявилась в России. Жила сперва в Петербурге. Поначалу ее принимали ласково, как бежавшую от революции аристократку. Что случилось потом — никто, по-видимому, не знает (наверное, начало всплывать прошлое), но она уехала на Юг, поселилась в Корейзе, затем в Артеке и наконец в Старом Крыме. Здесь и закончились дни авантюристки, о похождениях которой Александр Дюма написал свой роман — «Ожерелье королевы».

Сколько таких историй в прошлом Крыма! Люди, вокруг которых при жизни было столько шума, забыты и никому не нужны. Тиран и авантюристка оказались рядом. А могила нищего автора «Алых парусов», «Золотой цепи» и «Бегущей по волнам» сделала местом паломничества. В ней никто никогда не рылся, ища драгоценности, потому что Александр Грин все, что имел, сам еще при жизни отдал людям. Своеобразный и назидательный урок музы истории — госпожи Клио.

Думал ли Грин, что его смерть снимет печать забвения и заурядности с древнего города!

А в одном дневном переходе отсюда поеживается, грустит под зимними дождями или, наоборот, изнывает от летнего солнца, которое раскаляет камни и прибрежный песок догоряча, другой городок-пенсиянер — Судак, еще более древний и тоже некогда знаменитый. Правда, ему история уготовила несколько иную судьбу. Сейчас здесь курорт. Не так чтобы очень модный и фешенебельный, но все-таки.

В разгар купального сезона пляж, гостиница, санатории и вообще все мало-мальски пригодное для того, чтобы человек там жил, пил, ел, развлекался, — переполнено. Люди предаются обычным заботам. Россыпь маленьких домиков на кривых улицах, и рядом четырехэтажные стандартные коробки из крупных блоков, широкоэкранный кинотеатр, ресторан, построенный по типовому проекту, залитая асфальтом центральная магистраль — место прогулок, а в двух шагах от нее пыльные заросли диких каперсов, колючей заманихи и ломоноса. Сравнительно недавно выстроенная набережная с огромной, отделанной разноцветным пластиком открытой столовой и полудесятком других харчевен воспринимается как вызов заскорузлой провинциальщине, хотя сама она — эта набережная — тоже, как говорится, не ай-яй-яй. Однако не будем придираться, чтобы кто-нибудь не сказал: чего вы, дескать, хотите от п. г. т. — поселка городского типа, каковым теперь является Судак?

Но чуть поодаль от п. г. т., на обрывающейся к морю скале немислимой крутизны и высоты, словно венчает эту скалу могучая крепость — каменное чудо с зубчатыми стенами и высокими башнями. Она вторгается в размеренную жизнь нынешнего поселка с его обычными курортными приливами и отливами как неожиданно ставшая реальностью сказка.

Наверное, у каждого есть свои любимые места, побывать в которых — всегда радость. Для меня это Керчь и Судакская крепость. К таким местам относишься не просто с любовью, но и с ревностью. Хочешь,

чтобы каждый увидел их, и даже ловишь себя на неприязни к человеку, который остался равнодушен к Керчи или был в этой прекрасной крепости, но не захотел подняться к Консульскому замку и еще выше — к Дозорной башне. Ну как не побывать в замке — этой мощной цитадели внутри крепости! Мрачноватый внутренний дворик, бойницы, устроенные так, что под обстрел попадал каждый, кто приближался, остатки перекидных мостиков, ниша в помещении, бывшем молельней, некогда сводчатый зал второго этажа с камином, у которого не раз, наверное, сиживал, предаваясь невеселым размышлениям, последний здешний консул Христофоро ди Негро, зубчатая стена от замка к Георгиевской башне и широко открытая в сторону моря каменистая площадка, защищенная этой стеной...

Непоколебимая стойкость и отчаяние — вот образ цитадели, которая становилась прибежищем горстке избранных, предпочитавших смерть пленению и рабству.

Бывает же такая потребность — снова и снова возвращаться к каким-то местам, вспоминать полутысячелетней давности истории, определять свое отношение к ним, испытывать жалость и сочувствие к тому же ди Негро, например, который, может быть, вовсе не был хорошим человеком, читать и перечитывать расшифровки латинских надписей на этих высеченных из песчаника и украшенных генуэзскими гербами плитах, любоваться тяжеловесным изяществом башен, дивиться смелости и искусству людей, которые возвели их на века у самой кромки обрыва, сожалеть по поводу гибели сделанных темперой росписей...

Да разве сожалеешь только об этом? Ведь здесь перед тобой встает чуть ли не сама вечность. Ведь это о здешней крепости еще в 1312 году летописец меланхолично и просто писал: итак, дескать, со времени ее построения до настоящего времени протекло 1100 лет. Всего лишь! Глупой и неприличной кажется на этом фоне всякая суетливость.

Див кличет на верху древа,
Велит прислушать земле незнаемой:
Волге, Поморию, и Посулию,
И Сурожу...

Это из «Слова о полку Игореве».

«Посоветовались они между собой, да и решили идти в Великое море, за наживой да за прибылью. Накупили всяких драгоценностей да поплыли из Константинополя в С о л д а д и ю...»

Это из «Книги Марко Поло».

«В середине же... Кассария имеет город, именуемый С о л д а и я... и туда пристают все купцы, как едущие из Турции и желающие направиться в северные страны, так и едущие обратно из России и северных стран...»

Это из «Путешествия в Восточные страны» Гильома де Рубрука.

(Что звало их — Марко Поло, Рубрука, Плано Карпини, Афанасия Никитина и многих других — в неведомые, дальние края? Иногда об этом говорилось прямо: любопытство или, если хотите, любознательность, жажда наживы, хитросплетения политики. Земля, где все, казалось бы, открыто и известно, до сих пор не перестает удивлять. Что же говорить о тех давних временах! Из глубин Азии доходили слухи о правителе некоего могущественного христианского государства, разгромившем мусульман, царе-священнике Иоанне. Где-то в Монголии и Китае проповедовали христианство и пользовались влиянием проникшие туда из Сирии несториане. По дорогам Индии странствовали последователи апостола

Фомы. На Волге жили хазары и буртасы. Степняки, кочевники, а исповедовали, однако же, иудейство... Было чему удивляться.

Что касается Рубрука, то он направлялся далеко на восток — через Кипчакские степи, севернее Каспийского и Аральского морей, через верховья Иртыша и Енисея — к Каракоруму, столице могущественных монгольских ханов, с миссией от французского короля Людовика IX Святого.)

«Сурож», «Солдадия», «Солдаия», «Сугдея», «Сугдак», «Сурдак», «Судак» — разные названия одного и того же — вот этого — города-крепости.

Сейчас даже не верится, что было время, когда само Черное море («Великое» — называл его Марко Поло) именовалось морем С у р о ж с к и м, что за обладание городом и портом Судак насмерть бились аланы, хазары, половцы, греки, русские, итальянцы, татары и турки. Еще в IX веке «прииде рать велика роусскаа из Новаграда князь Бравлин силен зело... С мною силою прииде к Соурожу. За 10 дньий вниде Бравлин, силою изломив железнаа врата и вниде в град...». Вот так же силою сюда вламывались и многие другие.

Город, бывший «смесью всех народов и всех вер», поставлял миру куницов (торговая контора старшего из братьев Поло находилась в Солдадии), воинов (в русском эпосе известны былины о богатырях сурожских), земледельцев (славились «прекрасные сурожские вина»), путешественников, строителей и даже святых. Он наливался богатством и силой («Державший мед — оближет пальцы»). Когда в мае 1253 года босоногий монах-минорит Гильом де Рубрук сошел с корабля на судакский берег, его принял епископ. Прошло не так много времени, и во главе здешней епархии был уже митрополит.

Отблеск этого расцвета был так силен, что еще в XVIII веке, после присоединения Крыма к России, Судак был переименован в Кирилловскую крепость, и первоначально Екатерина II намеревалась перенести в Судак столицу Тавриды. Однако вскоре об этом забыли, камни тысячелетних стен, храмов и фонтанов пошли на строительство казарм для потемкинских солдат. Весь край пришел в упадок. Заморская торговля прекратилась. Греков выселили в придонеские степи, а татары оказались перед необходимостью массовой эмиграции за море, в Турцию.

Но вернемся к Судаку. На нем, как и на многих других древних городах, лежит трагическая печать. Если провести некую окружность с радиусом, скажем, в триста лет и центром в году 1475-м (мы еще вспомним об этом годе), то на концах диаметра окажутся точки, как бы символизирующие расцвет и полный упадок. Небольшая, уютная бухта стала тесной для новейших мореплавателей, горы, которые были слабой защитой против нашествий степняков, мешали теперь при прокладке дорог, заменявших караванные тропы. К тому же положение Судака было подточено долгим соперничеством с «прекрасной милетячкой», как некогда называли Феодосию-Кафу.

Судя по всему, она и на самом деле была хороша. И укреплена превосходно. Остатки дешней крепости тоже производят впечатление, и, чтобы осмотреть их, не нужно, как в Судаке, карабкаться по раскаленному крутому склону: одна из башен оказалась в самом центре нынешнего города. Это о ней некогда писалось: «Постановляем и узаконяем, что для стражи башни св. Константина нужно держать одного надзирателя, который должен иметь при себе одного солдата, ловкого и верного. Оба они обязаны иметь в упомянутой башне свое оружие и баллисты в порядке, и один из них не может никогда отлучиться из башни». Сейчас эта башня воспринимается как экзотическая деталь городского пейзажа

(о Судаке или Керчи такого не скажешь), рядом с нею детский уголок: карусель с лошадками, оленями и верблюдами, качели.

Конечно, город был хорош. Недаром ему и название дали со значением: «Феодосия», что значит — «дар божий», «богом данная». Да, но долгие столетия он назывался по-другому — Кафа, и вот Кафу, должен признаться, я не люблю. Объяснить это нелегко. Может быть, одно из объяснений — в том документе, кусочек из которого я только что привел. Там еще говорится:

«...Консул (Кафы) должен и сим обязывается во все время своего правления кормить и поить своего викария, двух трубачей и одного рассыльного...

Также постановляем, чтобы машина для пытки поставлена была и стояла в большой зале консульского дворца...

Сверх того постановляем и предписываем, что помянутый г. Консул сим обязывается иметь постоянно огонь в камине в зимнее время в большой зале консульского дворца на свой собственный счет, не за счет казначейства...

При сенате г. Консула должны быть три музыканта, играющие один на литаврах, другой на гитаре, а третий на рожке, которые обязаны приходить во дворец и играть при г. Консуле в определенные дни, как это издревле водится...

...На праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа — 4 восковые свечи ценою в 80 аспров...

Расходы на сочельник: купить бревно для иллюминации... на вино трубачам — 12 аспров, за пряники и яблоки — 12 аспров...

... за каждого высеченного — 25 аспров;

за каждого казненного — 50 аспров;

за каждого заклеянного — 30 аспров;

за отрезание какого-либо члена — 35 аспров...»

Боже мой, что за подлые торгаши! Подличали, тряслись над медяками, скопидомничали, рассчитывали все наперед! И ведь глупо, бездарно рассчитывали. Экономии гроши, сквалыжничали, обижали соседей, которые могли бы стать союзниками, играли в политику в то время, когда игра была проиграна, когда над ними уже висела огромная, как туча во все небо, беда.

...Лет двадцать назад, вскоре после войны, движение на крымских дорогах было не то, что теперь. А прибрежная дорога от Алушты до Судака была и вовсе пустыня. Я пробирался по ней и на попутных и пешком. Иногда бросал дорогу и уходил в сторону, чтобы посмотреть на запущенные виноградники и чаиры, осыпавшиеся подпорные стены и поспешно брошенные, начавшие разрушаться сакли, на водопад Джур-Джур или Туакскую пещеру, но всегда возвращался к морю. Где-то здесь недолго жил и работал скромным служащим филлоксерной комиссии М. М. Коцюбинский. Я отыскал домишко, на стене которого косо висела на ржавых крючьях мраморная мемориальная доска. Какие добрые, полные сочувствия к бедноте рассказы написаны Коцюбинским об этих местах...

Я на полдня застрял на мысе Башенном, который назван так в лощинах из-за руин, хорошо видных с моря. Единственное, что я знал в то время об этих руинах, — их название: «Чобан-кале» — «Пастушья башня». Только позже узнал, что это, возможно, развалины замка генуэзцев братьев ди Гуаско. А потом (по книге С. Секиринского «Очерки истории Сурожа») познакомился с «делом» этих братьев.

«Во имя Христа. 1474 года 27 августа, утром в доме консульства. По приказу достопочтенного господина Христофоро ди Негро, достойно:

консула Солдаи, идите вы, Микаеле ди Сазели, кавалерий нашего города, и вы: Константино ди Франгисса, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо. Даниели, аргузии нашего города, ступайте все до единого и направляйтесь в деревню Скути.

Повалите, порубите, сожгите и бесследно уничтожьте виселицы и позорные столбы, которые велели поставить в том месте Андреоло, Теодоро, Деметрио, братья ди Гуаско...

Сказанное повелел сделать достопочтенный господин консул по долгу службы своей и ради пользы и чести светлейшего совета св. Георгия, ибо те Андреоло, Теодоро и Деметрио посягнули и продолжают посягать на права, которые им не принадлежат, нарушая честь и выгоды светлейшего совета св. Георгия и общины Генуэзской».

Далее из «дела» явствовало, что «того же дня после вечернего звона вышеупомянутые Микаеле кавалерий, Константино, Мавродио, Якобо, Кароци, Сколари, Иорихо, Даниели — семь аргузиев, доложили все вместе и каждый отдельно», что ди Гуаско чихать хотели на достопочтенного, они вышли навстречу со своими воинами и заявили: буде он сам придет, и его прогонит.

Заварилась каша. Ди Негро не хотел отступить и выдвинул новые обвинения, а ди Гуаско и в мыслях не держали подчиниться. «Светлейший и вельможный господин консул Кафы и консул-наместник по всему Черному морю и Хазарии» взял сторону братьев. Удивляться этому не приходилось. С давних пор между Солдаией и Кафой была вражда, она отражала ту борьбу не на жизнь, а на смерть, которая шла между Венецией и Генуей. Расцвет Сурожа-Солдаи связан с господством на Черном море венецианцев, «прекрасная милетянка» Феодосия воскресла под именем Кафы, когда здесь стали хозяйничать дненовезе-генуэзцы. Даже подчинив себе Сурож, они продолжали его ненавидеть и притеснять — сперва из страха (а вдруг опять окрепнет и встанет на ноги?), а потом, наверно, по привычке.

Само по себе дело о том, кому творить суд в деревне Скути или собирать подати в деревне Карагай, нам сегодня не очень интересно, но оно свидетельствует о распаде, в который впала Кафа. Рушились устои, все было продано и куплено. О какой чести можно тут говорить. Шла грызня. Невозможно было договориться ни о чем. Где взять каменщиков и какую крепость ремонтировать в первую очередь? Где брать солдат? Чем их кормить в случае осады? Где искать союзников?

До чего же тревожной была осень 1474 года в Крыму! На чью-либо помощь надеяться не приходилось. Могущество Турции было в зените — как раз настал ее черед, как яблоню, трясти мир. Это спустя несколько столетий она станет «больным человеком» и империя развалится на куски, а тогда турки уже перехватили проливы, сжали их так, что хрустнули позвонки и свершилось невероятное: второй Рим, великий Константинополь, был раздавлен. Ясно было, что следующий удар султан нанесет сюда, как только развяжет себе руки. И вот он их развязал.

Достопочтенный Христофоро ди Негро собирался вернуться в Геную в марте 1475 года, по истечении срока консульства. Не знаю, удалось ли ему это. 31 мая у крымского побережья появился турецкий флот. 1 июня был высажен десант. (Десанты, десанты... Сколько их было с тех пор, как у берегов Киммерии крейсировал — употребим это современное слово — хитроумный Одиссей!) Все дальнейшее грустно. Вот что пишет о нем историк А. Л. Бертъе-Делагард:

«Появление турок под Кафой, высадивших 1 июня 1475 года войска с орудиями, вызвало в городе предательство и измену: все потеряло голову, и огромный, укрепленный город в 8000 домов, с 70-тысячным на-

селением, обуянный страхом и подлой трусостью, на третий день открытия огня, почти без боя, выслал к туркам своих представителей, умолявших принять сдачу города на волю победителей. Турецкому вождю, велижкому визирию Кедук-Ахмет-паше, храброму и умелому воину, показалось все это столь омерзительным, что он с негодованием говорил посланным: «Защищайтесь! Защищайтесь!»

...Судак оборонялся до конца, и его население в значительной части погибло, запершись в церкви...»

Что-то далековато меня занесло. А может занести еще дальше, потому что Судак, Феодосия, Керчь как тема — неисчерпаемы. Рассказав о захвате Кафы турками, я, чего доброго, не удержусь от рассказов о том, как ее захватывали во время своих морских походов запорожские казаки, а заговорив о Судаке, захочу вспомнить о Новом Свете — этом редкостном по красоте уголке, который генуэзцы называли раем.

4. На Караби-яйле

До чего же это нудно — ждать. Сначала не давали машину. Потом сгинул кассир, а без него кто же выдаст командировочные? Затем взбунтовался шофер. Ему не хотелось ехать на чужой машине черт знает куда, да еще и надолго, но он почему-то не говорил об этом прямо, а только мрачно задавал завгару вопросы:

— Ты со своей женой спишь? Ну, скажи. А с моей кто будет спать? Ты — будешь?

Маленький завгар ежился, его эта демагогия пробирала до костей, и неизвестно, чем бы все кончилось, не появился наш самый главный — Костя, который бодро гаркнул:

— Будет! Пиши доверенность. Поехали, братцы!

Шофер неожиданно безропотно сел за руль, дернул ручку стартера, и мы поехали.

Все остальное было сделано со строжайшим соблюдением правил. У ворот дали протяжный и пронзительный гудок, от которого испуганно взмыли в небо все окрестные голуби и вороны. На выезде из города дружно покинули автобус и рысцой ринулись в «гадючник» дяди Васи:

— За Киммерию!

Словно принося жертву, каждый отплеснул какую-то малость из своего стакана на пол. Вообще-то все эти «жертвоприношения» — пизонство, ну, да ладно уж.

Нет ничего лучше сухого вина с нарезанной крупными ломтями брынзой.

— Будем!

Шофер Митя мрачно пил томатный сок, и мы чувствовали себя перед ним виноватыми. Но древние киммерийские боги теперь должны были горой стоять за нас.

А несколько минут спустя наш микроавтобусик бодро устремился на восток.

Конечная цель — Керчь, где со дня на день должна начаться осенняя хамсовая путина, но по дороге следовало побывать на строительстве Северо-Крымского канала, хотя бы ненадолго заскочить к дяде Мигуэлю Мартынову на Караби-яйлу и наконец заехать к буровикам, которые ищут нефть и газ в степи за Акмонайским перешейком. Шоферу Мите и машине предстояло показать, на что они способны.

И вот первое распутье в райгородке на скрещении четырех или пяти дорог.

Мы пытаемся узнать, где овцы — отогнаны в долины или все еще пасутся в горах? (Дядя Мигуэль должен быть с отарой.) Ответа не добьешься. С метеостанцией — единственным местом, где на яйле постоянно живут люди, — можно связаться только по радио. Говорят, правда, что там, наверху, уже выпадал снег. Просто не верится. Здесь, в долинах, совсем недавно кончили убирать виноград, а поздние яблоки и айва не сняты с деревьев. Лозы еще не начали терять лист, он пожух и побагровел; огромные тополя чуть тронулись желтизной. Обильные ночные росы вызвали привычное и все-таки не перестающее удивлять чудо: озимые поля, накануне вечером мертво черневшие, утром вдруг дружно зазеленели.

Застанем ли мы дядю Мигуэля в его кошаре на западном краю яйлы у границы букового леса или он уже откочевал со своими овцами на теплые склоны, поближе к морю?

Была не была! Чем мы рискуем?

Наш самый главный — Костя — бежит в раймаг. Мигуэль Мартынов — трезвенник, но стаканчик выдержанного сухого (с виноградников Солнечной долины) пригубить, сидя вечером у костра, и он не откажется. Если б вы знали, что за человек дядя Мигуэль! Кстати, как эта долина называлась раньше? Кажется, деревня Козы, но кому теперь какое дело!

Дорога известна: сначала одно маленькое сельцо, знаменитое на всю округу больницей, в которой лечат алкоголиков, затем другое, ничем не знаменитое селеньице, а дальше — все вверх и вверх, пока не закипит вода в радиаторе и не заложит уши от высоты.

Вряд ли в природе есть что-нибудь удивительнее и неожиданнее крымской яйлы. Когда смотришь с юга, со стороны моря, на каменные осыпи и отвесные обрывы гор, то кажется, что и там, за видимой тобою кромкой, громоздятся скалы и остроконечные пики. Но поднимаешься наверх, выходишь из-за последнего поворота и вместо ожидаемого нагромождения утесов видишь тихую, раскинувшуюся до самого горизонта, слегка всхолмленную степь. Типчак, таволга, чабрец, клевер, зверобой, нежно-лиловые звездочки цветущих и весной и осенью крокусов...

Затерянный мир с табуном полуодичавших лошадей, с пахнущими сыростью провалами карстовых пещер (в их подземных залах, галереях, узких лабиринтах текут бесшумные ручьи, голубеет под лучом фонарика лед, неслышно растут диковинные заросли гипсовых сталактитов и сталагмитов); с островками букового леса, самого, наверное, жестокого из всех лесов — здесь нет молодой поросли, подлеска, столетние старики дружно сомкнули кроны, закрыли небо — земля и солнце только для них; с изломами и обнажениями древних известняков, которым так и не посчастливилось стать мрамором, — их вылезшие на поверхность вздыбленные пласты тянутся на много километров, напминают, когда на них смотришь сверху, борозды от исполинского плуга; с тысячами, десятками тысяч птиц, которые дважды в году собираются здесь — весной перед броском на север и осенью перед прыжком через море и дальше на далекий юг.

На яйле рано ложится и поздно задерживается снег, часты туманы и нередки ураганные ветры. Отсюда время от времени на побережье и море срывается бора, которая ломает деревья и уносит крыши; ее предвестник — неподвижная, плотная гряда облаков, висящая над самым горным обрывом.

Яйла — это емкий, многообразный и противоречивый мир. Сначала удивит, а потом в чем-то покажется близким. Невмоготу, скажем, стали

человеку южнобережные райские кущи: пыльные лавры и тощие смоковницы, магнолии и мушмула,— поднимись в горы, выйди на открытые северным ветрам склоны и отдохнешь душой среди рябин, дубов, кленов да изредка встречающихся берез.

Яйла поразит первозданным покоем и непременно настроит на тревожный лад. В чем причина этой тревожности? Кто ее знает. Непонятное беспокойство и ожидание чего-то необычного. От них не уйти. Здесь чувствуешь себя невероятно далеко от всего остального шумного мира, хотя в то же время знаешь, что он рядом.

А для нас олицетворением этого мира был жалобно воющий на второй, а то и на первой скорости автомобиль. Как трудно ему, бедняге, давался подъем! Он использовал каждую возможность взять разгон, запастись движением и отчаянно кидался в петли щебенистой дороги. Все время казалось: если запалится, станет — дальше не пойдет. Хотелось помочь ему, невольно напрягались мускулы, а тело подавалось вперед. Но автобусик пока со всем справлялся сам. Наконец он выскочил на яйлу.

Овец не оказалось. Правда, снега тоже не было. Да он, наверное, еще и не выпадал. Просто накануне на все окрест легла густая и тяжелая изморозь. А когда пригрело солнце, она, стеклянно звеня (я представил себе, как это было), осыпалась и изошла, растаяла. Потом, поднявшись еще выше, мы увидели покрытый инеем лес.

Но овец не было, и, значит, дядю Мигуэля нам в этот раз не видать. А я уже настроился на встречу с ним, ждал, как к нам кинется, как весело нас облает Джулька, а барашки будут звенеть своими разноголосыми колокольцами. Ни у кого на всей Караби (а может, и не только на ней) нет такой отары. Овечки чистые, беленькие, и десятки разноголосых колокольчиков. Каждую овцу Мигуэль Мартынов знает, холит, и, наверное, поэтому противоестественной кажется сама мысль о том, что вот он сейчас встанет, ласково поманит одну из них, а потом зарежет, чтобы приготовить шашлык к вину, которое привезли гости...

Но так бывало и будет. А затем — разговор о воде, об овцах, об умнице Джуле, которая и без чабана пригонит овец к кошаре и собьет в кучу, о холодных туманах, когда в шаге ничего не видно и бьют в рельс на метеостанции, чтобы ты мог сообразить, где находишься и куда идти (нет ничего тоскливее этого лязга), о яйле, о детях, о жизни. И я скажу, глядя с завистью на черную с густой проседью голову Мартынова: «Ну и шевелюра у вас, дядя Мигуэль», а он помолчит, а потом сдержанно улыбнется, тряхнет головой, отбросит волосы на лоб, откроет лысину на макушке и, четко выговаривая каждый слог, бросит: «Моабит». Что говорить — старик крепок, но был бы еще крепче, не доведись пройти через тюрьмы (Моабит был только одной из них) и лагеря. «Моабит», — повторит он, откинет волосы назад и быстро заговорит, мешая русские слова с испанскими. Жаль, что мы не все поймем, но эта быстрая речь придаст нечто новое вечеру у костра, и уж во всяком случае, станет ясно, почему Мигуэль Мартинес, республиканец и участник французского Сопротивления, сейчас здесь, на этой яйле: она хоть чем-то — цветом, пейзажем, жесткостью — приближает к дому, который он, старик, покинул еще сравнительно молодым человеком,— она напоминает родные сьерры.

Жаль, но на этот раз мы не посидим вечером у костра с дядей Мигуэлем.

— Мартынов? — переспросил паренек с метеостанции, лихой мотоциклист. — Это который нерусский? Угнал. Уже угнал...

На стоянке Мигуэля Мартынова темноло обложенное камнями кóстрище. Из родника рядом бесшумно сочилась вода.

— Ну и что дальше? — спросил я: вот, мол, проваландались бог знает сколько, а теперь попали в пустой след.

— Ничего, — бодро отозвался самый главный. — Раз мы здесь, надо осмотреться. Чтoб не приезжать на разведку второй раз. А может, кое-что и сегодня сделаем. — Потом он глянул на нас, все-таки помрачневших, и внушительно добавил: — В группе должен быть смех.

— Гы-гы-гы, — изобразил веселье шофер Митя и стал разворачивать машину.

Как ни упирался автобусик, как ни взбрыкивал колесами, разбрасывая грязь, Митя загнал его задом на бугорок, чтобы потом можно было завести мотор с разгона.

Мы полезли пешком на гору. Подниматься было нелегко, но вид открылся великолепный. Глянешь на юг — отвесной стеной вздымается море; горизонта нет, вода сливается с голубовато-серым осенним небом. На запад, к склонам Демерджи, несколькими застывшими волнами уходит лесной массив, смягчая и облагораживая, как это может сделать только лес, неровности земли. На севере яйла переходит в мощный, широкий увал, который словно бы низвергается в таврическую степь. На восток до самой Феодосии неровными грядами протянулись горы. И все это подернуто дымкой, сдержанно высвечено солнцем — мир не кажется плоским, определенно, но ненавязчиво выделяется каждый план.

А милые подробности ближайших окрестностей! Повернешься и нарочком вдруг увидишь среди древних голубых камней недавно родившийся шампиньон. Какая нелегкая вывела его в этот мир в канун снегопадов и морозов? Ведь пропадет, если уже не пропал. А рядом, на юру, ветровой бук — корявый, изломанный, кряжистый. Ничего в нем нет эт спокойной мощи и степенности буков — лесных великанов, которые, однако, и растут такими дебелими да гладкими, потому что прячутся за спины гор или просто селятся чуть пониже. И вот что любопытно. Если тот могучий лес по существу мертв, на земле стелются только мох или опавшие листья, то к корням этого расхристанного и, казалось бы, несчастного бука, глядишь, лепятся и солнцезвезд, и молочай, а то и знаменитый эдельвейс-ясколка. Для всех хватает места, солнца, ветра.

Смотреть было на что. И смотрели бы. И каждый, наверное, видел бы свое, думал о своем. Но, опоздав однажды, следовало помнить, что через несколько дней в Керчи начнется осенняя путина, а нам еще нужно побывать на канале, заглянуть на буровые к нефтеразведчикам и, может быть, заехать на Казантип... Поплелись вниз, скользя на толстой подстилке из темно-бронзовых плотных листьев.

Шофер отпустил тормоза, и автобус покатился. Потом Митя «воткнул» скорость, чтобы завести мотор, но не тут-то было. Мотор несколько раз чихнул, а заводиться не спешил. Бугорок между тем кончился. Мы стали. Сначала на это никто не обратил внимания, галдеж в машине продолжался. Митя, шепотом выругавшись, выпрыгнул из кабины, откинул сиденье и сорвал клеммы аккумулятора.

— Замыкает, зараза, — сказал он, и это было понято как сигнал тревоги.

Крутили ручку. Не помогло. Толкали, стараясь разогнать, машину. Тоже впустую. Загнали под конец автобусик туда, откуда сами уже не могли вытащить снова на дорогу. Опять начали крутить ручку...

Чтобы приободрить общественность, наш Костя несколько раз повторил:

— Для физкультурника главное — пропотеть.

Поскольку эта цель была давно достигнута, кто-то не выдержал и попросил его заткнуться.

На небе появилась первая с острыми краями звездочка. Воздух сделался заметно жестче. Похолодало.

Яйла стала сосредоточенно, угрожающе тихой. Далеко на гребне холма возник и тут же пропал небольшой табун лошадей.

То ли для того, чтобы показать эрудицию, то ли чтобы скрыть растерянность, Костя говорил об аккумуляторе, который, по-видимому, «сел», о свечах, которые, наверное, «забросало», о карбюраторе — он, кажется, «засосался». Митя угрюмо отмалчивался.

Я в технике ничего не смыслю и потому был уверен в другом: наш похожий на ишачка автобус попросту заупрямился и сегодня мы, судя по всему, с места его не сдвинем. А раз так, то, пока еще окончательно не стемнело, самое время позаботиться о сушняке для костра. Главное — не терять чувство юмора и помнить, что утро вечера мудренее.

Костер всегда прекрасен. А я давным-давно не сидел возле него так вот по-настоящему, когда огонь разведен не ради баловства или туристской экзотики, а потому, что в нем есть истинная нужда, и теперь наслаждался. Остальные, видимо, испытывали то же.

Алюминиевая кружка обошла два круга, от буханки хлеба остались на газете одни крошки, опустели жестянки из-под баклажанной икры и бычков в томате — настало самое время перекурить. Мой сосед Саня, милый белобрый паренек (он разок передернул, и кружка, сделав зигзаг, направилась прямо ко мне), не стал даже доставать свою цацку — зажигалку в форме пистолета, — а прикурил от головешки. Я в этом увидел признак хорошего настроения.

Чудный парень. Когда вертели ручку и толкали машину, ему досталось больше всех. Костя подначивал:

— А ну, боксер, покажи себя!

Я сперва не понял, что «боксер» — это и есть Саня. Бывают же такие ребята: в одежде кажется худым и хрупким, как сухарь, а разденется — ну и ну... Широкая, мощная грудь, бугры мышц на плечах, крепкая шея. Таким был и этот мальчик, без пяти минут солдат: он знал, что еще в нынешнем году пойдет служить.

Поиски хвороста в темноте — занятие не из самых увлекательных, чем-то оно напоминает ловлю последней, ускользающей фасолины в полхлебке. Однако прошло немного времени, и у нас опять были дрова. Снова загрузили костер, и он притих, засопел, помрачнел, будто собираясь с силами. В ту ночь наш костер был единственным на Караби-яйле, и его, должно быть, хорошо видели с пролетавших мимо самолетов.

Разобрали спальные мешки, но ложиться никому не хотелось. Последний раз пустили по рукам кружку.

— За аса крымских дорог, неутомимого рационализатора и общественного автоинспектора товарища Митю, — предложил Костя.

— Я, выходит, и виноват, — пробурчал Митя. — Что я — напрашивался? Заставили ехать на чужой машине...

— Полез в пузырь, — прервал его Костя. — Никто к тебе ничего не имеет... Слушайте, граждане, — вдруг оживился он, — московское время — двадцать часов, светает не раньше половины седьмого. Времени впереди навалом. Что будем делать?

Мы молчали.

— Задаю наводящий вопрос, — сказал Костя. — Что делают сейчас цивилизованные люди?

— Смотрят телевизор.

— Еще рано.

(Точно. Сейчас спешат домой после занятий.)

— А я бы уже был в пивной, — сказал Митя.

(Тоже верно. Своеобразный шоферский рефлекс. Целый день милиция нюхает шофера, как розу, разглядывает, как призовую красавицу, подозревает в разных грехах, как ревнивая жена мужа, зато вечером шофер сам себе хозяин. Группки сосредоточенных людей возле бочек и ларьков. Ручных насосов нет — все механизировано. Застоявшийся кислый запах перемешался в подвальчиках и винных магазинах с запахом сырых опилок. Сиплый голос продавщицы: «Кто там опять курит?» — и сигарка втягивается в рукав.)

— Теперь подобьем дебет-кредит, пока Митя не заговорил про любовь. Телевизора мы не захватили, даже транзистора нет. Так пускай каждый выложит одну киммерийскую историю. — Костя повернулся ко мне. — Как ты писал? «Мы вам расскажем о молодости этого древнего края...» Валяйте, рассказывайте.

— Декамерон? — спросил Алик.

Я до сих пор ничего не сказал об Алике, а ведь это он по сути был у нас самым главным. Костю только называли так — он все шумел по административно-хозяйственной части, а удача или неуспех дела, ради которого мы ехали, зависели от Алика. Это понимали все и потому даже перестали острие по поводу эспаньолки, которую Алик отрастил, как я думаю, не из простого пижонства, а для солидности. Бородка, обручальное кольцо, тихий и неторопливый говор, который, однако, привлекает внимание, — в этом была какая-то законченность.

— Давайте по кругу, — сказал Костя. — Начнем с Алика.

Алик не стал упираться. Только подергал бородку и спросил:

— А что значит «киммерийская» история? Об этих местах?

Костя кивнул.

— Тогда я о своем знакомом. Есть у меня в Феодосии знакомый таксист — назовем его дядей Федей. По-моему, грек, но пишется, наверное, русским. Город знает, что называется, от и до...

Митя фыркнул:

— Тоже мне город — две улицы и полтора переулка.

— Это ты оставь, — мягко возразил Алик. Есть у него такая обезоруживающая манера говорить — как с малым дитем. — Прекрасный город. Запустили его, застраивают неумно, а сам по себе — чудо. Дядя Федя, между прочим, тоже иногда шпильки пускает о городе и земляках. Вот, дескать, чудаки: до сих пор спорят, где похоронен Айвазовский: в церкви святого Сергия или в монастыре святого Геворга. Нечего им, мол, делать. А самому, вижу, до невозможности это нравится: не о чем-нибудь, а о знаменитом маринисте спорим... Я как-то сказал, что не считаю Айвазовского великим художником, и сразу увидел: расстроился. Сначала перевел разговор на другое, а потом и совсем замолчал. А дядя Федя не любитель молчать...

— Трепач, одним словом, — опять всунулся Митя, но Алик не обратил внимания.

— У них, в Феодосии, Айвазовский — кумир. Культ личности Айвазовского. Так вот о дяде Феде. Милый человек. Развлекается, как может. Подрядили его раз киношники ездить выбирать натуру для съемок. Целую неделю из-за баранки не вылезал. С утра до вечера. Киношники что ни посмотрят: нет, не то. А он безропотно — опять за руль и поехал дальше. А однажды глянул на счетчик и говорит: «Теперь поехали, куда я вас повезу». Прикатили. Вылезли из машины и ахнули: как раз то, что нужно. «Чего же ты нас сразу сюда не повез?» А дядя Федя смеется:

«Зачем спешить? Я с вами за неделю месячный план выполнил». Он с самого начала это место имел в виду...

— Жулик,— снова не выдержал Митя.

Алик рассмеялся.

— А однажды был такой случай. Едет он с этими киношниками, режиссер и говорит: «Пивка бы...» А очередь у бочки на полквартиры. Не спешат, повторяют, вяленых бычков грызут. Дядя Федя подмигнул: «Сейчас сделаем». Вышел из машины, полез в багажник, достал штатив для кинокамеры и начал устанавливать возле очереди. Потом оборачивается к режиссеру: «Так годится?» Тот, хоть и не понимает ничего, кивает: да, мол, вполне. Из очереди спрашивают: в чем дело, что случилось? А Федя: «Ничего. Тунейдцев для «Фигиля» будем снимать...» Через полминуты очередь как ветром сдуло, ни души у бочки не осталось.

Дядя Федя вызывал определенную симпатию и мысль: нам бы такого шофера.

— Был с ним и такой случай,— продолжал Алик.— Тогда он в Сибири работал. Возвращается из рейса, видит — бронетранспортер у въезда в город стоит. «Что случилось, солдат?» — «С мотором что-то...» — «Помочь?» — «Давай, если можешь». Солдат — водитель молоденький, а дядя Федя всю войну на танках и самоходках прошел. «Ладно, говорит. Только ты меня потом на своем бронетранспортере в гараж подбрось. Так, чтоб я сверху за пулеметом стоял. Хочу молодость вспомнить». — «Давай,— соглашается солдат.— Лишь бы выручил». А чего ему не соглашаться — пулемет-то все равно не заряжен. И вот минут через сорок во двор гаража вваливается бронетранспортер, а сверху на нем дядя Федя. Все, конечно, высыпали, окружили, загалдели. А дядя Федя вдруг крутанул пулемет, щелкнул затвором и мрачно говорит: «Всех стрелять не буду, говорит, все отойдите, а ты, механик, ни с места. Прощайся с жизнью». И опять щелкнул затвором. Тут механик как рванет. Запетлял, как заяц, упал, опять вскочил... А дядя Федя хохочет: «Теперь вы видите, что это за человек? Может он в нашем передовом коллективе быть председателем профсоюза?..»

Мы тоже смеялись, а я подумал, что не худо бы познакомиться с этим дядей Федей. У нас с Аликом уже не раз так бывало: он меня знакомил с одними интересными людьми, я его — с другими.

История шофера Мити с первых слов поразила нас. Он начал так:

— Когда я вернулся из сумасшедшего дома...— Потом спохватился: — Да вы не думайте чего. Просто начальника габуреткой стукнул. А он не понимал, как это его можно стукнуть. Другой бы под суд утек, а этот сунул в психбольницу...

— Подожди,— строго остановил Костя.— Стукнул за что?

— Зараза был,— просто ответил Митя.— А я этого не переношу. Чуть что — начинает права качать. «У вас, говорит, в голове полторы извилины». И, главное, все на «вы», на «вы»... Ну, пока он с другими, я молчал, а когда меня тронул, не выдержал. «Хватит тебе, говорю, гвозди заколачивать. Надо мной ты погоду строить не будешь». Ну, и слово за слово... Я ж контуженный на войне. Да я не об этом собирался. Вот вы все хахоньки: рационализатор, общественный автоинспектор, а машина поломалась и стоит. Какого-то афериста дядю Федю вспомнили. Я ж все понимаю. Так я, во-первых, никакой не автоинспектор. Еще чего не хватало! И машина тут ни при чем. Для меня дело, чтоб вы знали, всегда на первом месте...

— Ну! — не удержался, съязвил Костя. Его физиономия начала расплываться улыбкой, он бы еще что-нибудь сказал, но напоролся на

Митин взгляд — терпеливый, спокойный и, пожалуй, сочувственный. Так смотрят на убогих. И наш самый главный стухевался.

— Вышел я, значит, из этого дома, — продолжал Митя, — вернулся в Керчь. Начальник как увидел — чуть в обморок не упал. Змея очковая. Головастик. Его коброй ребята из-за очков называли. И я ему с ходу рубаю: «Когда приступить?»

— А что за контора была? — спросил Костя, и это было как извинение за недавнюю бестактность.

— Дорогу строили. Я на «студебеккере» щебенку возил. Для отсыпки полотна. «Так когда, спрашиваю, приступить?» А у него глаза в разные стороны вертятся. «Ладно, говорю, сегодня в ночь заступаю». Потом нашел своего дружка и пошли с ним к Маруське. Она, конечно, обрадовалась, побежала самогон доставать. А я сел на лавке, задумался. Зачем, думаю, сразу в ночь напросился? Можно было и с утра начать. Ну, а раз сказал, значит все. «Об чем мозги сушишь?» — спрашивает дружок. «Да вот, говорю, закуски нет». — «А это что?» По комнате поросенок бегают. Махонький, как собачка. Я разозлился, поймал его, зарезал, смолить стал, выпрошил и в казан. Пришла Маруська, видит, что поросенка нет, заплакала. «Не реви, говорю, дура. Он мне всю плешь визгом проел. Кто тебе дорожке — я или поросенок?» Замолчала, ставит самогон на стол. Выпили, закусили. Маруська юлой вертится, даже подпевать стала. Глянул я на часы — пора. Дружок тоже встает. «Пошли», говорю. А она скисла сразу: «Вы что же, мальчики, оба уходите?» — И чуть не плачет. Кому что, а куре просо. «Некогда, говорю. Служба есть служба. Понимаешь? Дело превыше всего». И мы пошли. Несмотря ни на что. Ясно?

Митя уже подкладывал дрова в костер. Делал он это спокойно, неторопливо, заранее прикидывая, где какая палка удобнее, лучше ляжет.

— Когда это было? — спросил Алик.

— В сорок седьмом — когда же еще...

Следующей была моя очередь, а что я расскажу? Как-то подспудно я думал об этом, слушая и Алика и Митю. Что же я могу рассказать о Киммерии? Как вообще получилось, что мы сидим здесь? И время от времени потрескивает костер, а чуть поодаль в темноте какой-то зверек острожно шуршит опавшей листвой и всякий раз испуганно замирает, чтобы минуту спустя опять нечаянно зашуршать.

Во всем в конце концов виноват я. Это я их растормошил, заявив однажды, что пришла пора сдуть пыль забвения с памяти о Киммерии. Так прямо и сказал. Но когда впервые мелькнула эта мысль? Уже и не вспомнить...

Нужно разобраться, имеет ли это отношение к сегодняшнему вечеру. Сначала мы, два лоботряса, невероятно томились на скучнейших университетских лекциях. Было это в том же 47-м, когда Митя вышел из сумасшедшего дома. Нам, лоботрясам, было по двадцать два, и у обоих позади оставалась война и военная служба. Самим себе мы казались ребятами что надо. На переменах мы собирались покурить вместе с другими такими же, донашивавшими сапоги и гимнастерки, и кто-нибудь, разглядывая бахрому на обшлагах кителя, случалось, говорил: «Что-то мы пообносились, мальчики...» Единственные, кто нам завидовал, так это пацаны, в том числе и те вчерашние пацаны, которые недавно получили аттестаты зрелости и теперь сидели в аудиториях рядом с нами. Еще бы им не завидовать: сокурсники отдавали предпочтение нам — всерьез курившим, всерьез брившимся и бедствовавшим от безденежья. Девочки —

вот кто действительно страдал, сострадал и вообще относился к нам серьезно.

Однако я не об этом. На лекциях мы томились до тех пор, пока моему другу и соседу не пришла в голову счастливая мысль. Однажды он достал из кармана спичечную коробку. «Угадай, что тут?» Я пожал плечами. Тогда он сказал: «А ну открой».

В коробке сидел таракан. Лапки у него были каким-то хитрым способом связаны, так что таракан мог бегать, но не очень быстро.

Поигрывая шельмовскими желто-зелеными глазами, растекаясь улыбкой до ушей и ерзая от нетерпения на стуле, Юрочка объявил, что мы с помощью этого таракана проведем футбольный матч. На столе, за которым сидели, мелом нанесли двое ворот, среднюю линию и центральный круг. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это был скорее хоккей, нежели футбол: таракана нужно было загнать в ворота карандашом — своеобразной клюшкой. Но в то время телевизоров почти не было и о хоккее мы имели довольно смутное представление. Футбол так футбол. Своеобразие игры заключалось в том, что таракана нужно было загнать в собственные ворота.

С первых же секунд начались сложности и споры. Требовался судья, появились болельщики. Сдержанно повизгивали девочки. Мы тяжело дышали, оттирали друг друга локтями, жили напряженной жизнью. Время от времени я воспринимал подсознанием сигналы тревоги, но отгонял их. Главным из них, как я теперь понимаю, была наступившая вдруг глубокая тишина. И словно во сне послышались слова декана (читал лекцию он): «Так кто нам повторит эти бессмертные строки?» Я поднял голову и замер: декан был рядом, он смотрел на нас. И все смотрели на нас. Хотел толкнуть Юрочку, но не успел. Послышалось: «Может быть, вы, товарищ Бойко?» Юрочка вылез из-под стола, где ловил таракана, и теперь стоял стройный, как телеграфный столб, глупо улыбаясь и одергивая гимнастерку. «Или вы?» — декан указал перстом на меня...

— Ну, как история? — спросил я своих сидевших у костра ребят.

Они улыбались. Алик осторожно усомнился:

— Кажется, не по теме...

— Вы думаете? — сказал я, потому что только этого и ждал. И снова перенесся в то далекое время, когда я, повинувшись персту, тоже поднялся и стал рядом с Юрочкой Бойко. Так мы и стояли, два юных, небрежно ошкуренных и пропитанных едкой, убивающей все живое смолой телеграфных столба, и внутренне гудели от пустоты, от презрения к себе, как после самого тяжелого похмелья. В аудитории уже хихикали. «Может быть, вы повторите то, что я просил?» — еще раз сказал декан, которого я в тот момент ненавидел, хотя и понимал, что он по всем статьям прав. «Да,— неожиданно для самого себя ответил я хрипло,— повторю».

Не знаю, откуда они вылезли и где во мне прятались, эти строчки. Я откашлялся и сказал: «Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков. Тьма беспросветная там искони окружает живущих...»

Вот при каких обстоятельствах мне впервые пришлось вспомнить об этом крае. А сейчас я здесь.

Костер набирал силу, а разговор, наоборот, почти угас, только изредка потрескивал и вспыхивал. Разговор стал обрывочным и пошел о чем попало, как это нередко бывает, когда собеседники устали, томятся, но никто почему-то не решается сказать первым: «Ну, я пошел спать».

Я вдруг вспомнил о Богдане Хмельницком, и это ненадолго пробудило интерес — история в самом деле была занятная и не так уж известная. Сейчас редко кто вспоминает, что гетман Богдан, между прочим, был и моряком, участвовал в морских походах запорожцев к Турции и берегам Крыма. Правда, тогда он еще не был гетманом. Эти морские походы стали для низовых запорожских казаков целой эпохой, а для казацкой молодежи участие хотя бы в одном из них превращалось в экзамен на мужественность и зрелость. Шутка сказать, в утлых лодчонках пересечь Черное море, напасть на великолепно укрепленные Стамбул или Синоп, принять бой с эскадрой и береговыми батареями. И это в то время, когда Оттоманская империя нагоняла страх на всю Европу. Отчаянная гольтьба были эти запорожцы!

А их поход на Кафу в 1616 году. Тогда командовал Петро Конашевич Сагайдачный. Об этом походе были даже написаны вирши:

...взял в турцех место Кафу,
аж и сам цесар турский был в великом страху,
бо му четырнадцать тысяч там людей збил,
катарги едины палил, другий потопил,
много тагды з неволе хрстиян свободил...

Кафа к тому времени упрочила свое положение центра работорговли.

Но это еще что — Кафа или даже Стамбул! Забирались и подальше. Ведь не исключено, что легендарный шевалье д'Артаньян встречался с запорожцами. Это могло случиться в 1646 году, когда украинские казаки оказались во Франции и участвовали с отменной храбростью в осаде Дюнкерка во время франко-испанской войны за Фландрию. Непосредственное отношение к этому делу имел все тот же Богдан Хмельницкий.

Как я уже сказал, история вызвала интерес (я сам люблю такие истории), и разговор продолжал скакать. Алик спросил, правда ли, что Лукоморье — то самое, где дуб зеленый, и золотая цепь, и кот ученый, правда ли, что это сказочное Лукоморье — не что иное, как наша крымская Арабатская стрелка? Вообще-то почему бы и нет?.. Само слово «лукоморье» удивительно подходит к песчаной косе, изящно изогнутой наподобие лука в Азовском море. Где-то я даже читал об этом.

Проснулись рано, когда небо только начало по-осеннему сдержанно, без пышности и многоцветья, светлеть. Автобусик, как я и ожидал, завелся сразу: ему тоже захотелось на бойкую дорогу и в теплый гараж.

Костер погас, но мы тщательно залили угли. Можно было ехать, но Алик сказал:

— Пойдите.

Он взял лопату и чуть в сторонке начал рыть яму. Потом мы сгребли туда оставшийся после ночевки мусор — все эти склянки, банки, бутылки — и снова засыпали землей. Пусть все будет, как было.

5. О кладоискателях

Во всяком, наверное, деле нужны талант, удачливость и особое чутье. Древние кладоискатели обладали этими качествами сполна, поэтому сейчас почти невозможно найти курган, не ограбленный ими. Но Дима Карелин, судя по всему, парень тоже что надо. Ведь вот же

все считали этот курган давным-давно выпотрошенным, пустым, а он вертелся вокруг него и так и сяк, только что не приплясывал. А о том, что этот курган — «выеденное яйцо», говорило многое. Даже поверхностный осмотр показывал: здесь уже рыли. Правда, у иного яйца золотая скорлупа, как, скажем, у Царского кургана, который сам по себе, даже без всяких сокровищ, прекрасен. Но Царский — феномен, уникал, памятник архитектуры, у него мировая известность. Это в связи с ним не без выпренности стали говорить о курганах: «этих пирамидах скифских степей». Царский курган (IV век до н. э.) огромен. Ведущий в усыпальницу каменный коридор — дромос — прост и величествен. Стрельчатый свод теряется в высоте. И свод и стены сложены из прекрасно обработанных, рустованных каменных блоков с нарочито рваной поверхностью. Сама же усыпальница, куда нужно подняться по нескольким ступеням (и в этом тоже, наверное, был свой смысл), увенчана куполом, который словно символизирует успокоение.

Но о Царском уже достаточно написано, а Диму Карелина занимал другой курган. Какую тайну откроет он и откроет ли что-нибудь вообще? Здесь пока было ясно одно: уже рыли, искали золото, пытались пробиться внутрь. Наверное, это происходило давно, и сейчас самым волнующим оставался вопрос, удалось ли «им» это?

Возможно, те парни-кладоискатели, орудовавшие давным-давно по ночам мотыгами и лопатами, не были все сплошь сукиными сынами, почти наверняка среди них встречались и неплохие люди, но их интересовало только золото, а все остальное безжалостно растаптывалось и отmetalось. Их занимало то, что происходит сейчас и произойдет после восхода солнца, — далеко они не загадывали. Главное — найти сокровища, не попасться с ними на глаза стражникам, а потом сбыть добычу. Им чихать было на музу истории Клио и на проблемы преемственности человеческой культуры. Это современные историки и археолог тоненькой кисточкой обметают пыль с каждого черепка. Бронзовая монетка, ручка амфоры с клеймом древнего гончара, терракотовая статуэтка, случайно не раздавленная чьим-то сапогом, оказываются иногда драгоценными свидетельствами, рушат устоявшиеся концепции и, наоборот, вызывают к жизни новые гипотезы.

Курган, пещера, заросший, осыпавшийся окоп, брошенный дом — всегда воспринимаются как тайна. Когда-то что-то здесь происходило и для кого-то закончилось, может быть, катастрофой.

Иногда трагическую тайну преподносит даже ограбленный курган. Представьте себе, например, такое. Было это давненько — тысячу, полторы тысячи, а может, и больше лет назад, когда еще развевались флаги над высокими крепостными башнями, когда шел, звеня доспехами и сверкая щитом, всин по узеньким улочкам степного укрепления Илурата (сейчас оно лежит в развалинах, а расколотый, как орех, череп этого воина я увидел прошлой осенью на размытом после дождей рыжем склоне оврага), когда селения здесь были так редки, а нераспаханных просторов оставалось так много, что птицы-великаны дрофы ходили непугаными стаями (сейчас дроф почти не стало, а ведь — подумать только! — еще менее ста лет назад один автор писал: «Тяжелые дрохвы сидят бесчисленными стадами в нескольких сажнях от дороги, точно отары баранов», а другой ему вторил: «Дрофы, кроме того, что стреляются согнями охотников во время перелета через города, их поражают просто дубинками в гололедицу, когда они лишаются возможности летать»), когда верблюд, вол и ослик были в Крыму не экзотическими животными, а опорой крестьянского хозяйства... Одним словом, давно это было.

Собралась как-то компания — душ пять молодых. А может, они издавна промышляли вместе. Наметили курган, вроде бы до них никем не тронутый. Выбрали план действий: решили не копать по склону, а добираться к захоронению сверху. Так казалось быстрее и легче. Склеп, думали они, венчается куполом, который обычно замыкает круглая плита. Значит, нужно пробиться к плите, затем отодвинуть ее и по веревке опуститься в усыпальницу к массивному каменному саркофагу. Наверное, были и споры и грызня из-за еще не добытых сокровищ, а может, и раньше в этой компании были нелады: ведь, как ни дели добычу, все равно кому-то будет казаться, что он сделал больше других, а при дележке был обойден. Я так живо представляю себе это, что даже испытываю соблазн отбросить предположительную (и потому как бы извиняющуюся) интонацию, заговорить обо всем с совершенной определенностью: люди-то спорили и грызлись всегда одинаково и взгляды, которые они при этом бросают друг на друга, — почти одни и те же взгляды. Но в таком случае мне пришлось бы стать на опасный путь еще больших домыслов, обрядить людей в какие-то одежды, дать им вымышленные имена, а это, чего доброго, потребовало бы вдруг им и стилизации... Нет уж, обойдемся лучше чистым и откровенным предположением.

Конечно, они грызлись между собой, и дело едва не доходило до открытой стычки: в стае всегда оказывается достаточно подросший волчонок, который огрызается и всем показывает клыки, так что вожаку приходится давать ему трепку. Сначала старику это не стоит труда, но рано или поздно дело начинает пахнуть кровью. Правда, именно этим стая, может быть, и оказывается сильна. Такие одно- или двухгодовалые волчата не знают осторожности, действуют отчаянно, бросаются первыми — им нужно утверждать себя.

Как это ни трудно было (тяжелую глину строители курганов перемешивали с бутом, с валунами), молодые добрались наконец до верхней плиты. Сдвинуть ее оказалось тоже нелегко, однако сдвинули. Открылась темная круглая дыра — из нее едва ощутимо пахло благовониями (а может, это только почудилось?) и затхлостью. Наверху тоже было темно, но здесь хоть светили звезды над головой, шелестела трава, звенели цикады, и было слышно, как печально вскрикнул заяц, наступивший лисой. Там же, внизу, сгущалась абсолютная темень и почти ощутимо начинала клубиться, ворочаться в поисках выхода слежавшаяся за несколько веков тишина.

Была минута смятения — ее нетрудно понять. Живым всегда неудобно рядом с мертвецами. А курган, кроме того, таил и угрозу. Внутри могла быть ловушка, западня, он мог быть заколдован. Не раз прежде случалось, что после такого ограбления вся шайка вдруг погибала от какой-нибудь страшной болезни: покойники мстили.

Вот тут-то понадобились многоопытность и цинизм старого человека. Вожак сплюнул в круглую дыру и вслед за этим бросил туда конец веревки: «Мне, что ли, опять лезть?»

И тогда тот, второй, задиристый и настырный, оттолкнул вожака: хватит, мол, покуражиться, а теперь отойди в сторонку. А может, совсем и не так это было, но только что на вершине кургана стояли пятеро, а теперь остались четвером — один уже скользит вниз по веревке навстречу растревоженной тишине.

И вот под ногами массивная крышка саркофага, высеченная из глыбы известняка. Нет, самому острому взгляду не пробиться сквозь такую темень. Наконец выкрешен огонь и можно оглядеться. Что это? Черепки и стекляшки? К черту их, чтобы не мешали... А сверху слышится: «Ну как — живой еще?» Живой. Уж тебя-то, старая собака, навсрянка переживу...

Одному крышку саркофага не сдвинуть, а звать на помощь не годится: подумают — испугался. А что, если накинуть петлю на этот выступ? «Тяните!»

Веревка напряглась и зазвенела, как тетива. Выдержит ли? Плита шевельнулась и чуть подалась вверх. Так. Теперь нужно в щель подложить камень и основательней затянуть петлю.

Когда крышка саркофага достаточно приподнялась, а веревка была надежно закреплена наверху, человек со светильником полез в каменный гроб. Мешок для добычи, привязанный к другой веревке, он взял с собой. Что значит опыт! Все предусмотрено. Когда урожай будет собран, с ним не придется возиться в темноте. Крикни—и мешок тут же уплывет наверх...

Те, остальные, еще раздумывали и гадали, что их ждет, а этот, молодой и настырный, видел: не так уж и густо, однако есть кое-что. Сам покойник превратился в прах; странно легкими и ломкими стали его кости. Не то что разглядывать, а даже просто замечать эти останки не хотелось. Диадема, золотая цепь, браслеты, рукоять меча... Массивный перстень с камнем сунул не в мешок, а за пазуху. При дележке нужно, само собой, выторговать большую, чем обычно, долю, а это — сверх всего. Никто и знать не будет. А что, если старая собака велит обыскать? Нет уж, теперь у него это не выйдет.

А наверху нетерпеливо ждали четверо. Неподалеку в лощине пались стреноженные кони. Следовало послать кого-нибудь к ним — собрать, распутать, подтянуть подпруги — нужно спешить, скоро начнет светать, но старик знал: бесполезно посылать, никто сейчас не уйдет. И он только передвинул наперед висевший на поясе нож. Передвинул так просто, еще ни о чем не думая. Чтоб было удобней.

Скрипела, покрхтывала старая груша под навалившейся на нее тяжестью. К ее корявому комлю привязана веревка, которой приподняли плиту саркофага. Этот сопляк там, внизу, конечно, не догадался поставить для надежности подпорку под плиту. Привыкли, что всегда о них кто-то заботится. А может, и нечего было подставить.

Однако долго он возится. Старик вглядывался в темноту склепа, лишь чуть-чуть тронутую тусклым светом, пробивавшимся из-под крышки саркофага.

Веревка, к которой был привязан мешок, несколько раз дернулась: тяните, мол, дело сделано. Сейчас этот сукин сын вылезет из каменного гроба, потом поднимется наверх и начнет доказывать свои права... Чтоб тебе навеки там остаться!

Скрипнула старая груша. Зашевелился огонек далеко внизу, под тяжелой каменной плитой. И тут старик, безотчетно повинувшись внезапному порыву, ударил ножом по веревке, и без того до предела напряженной. Она щелкнула, как бич, взметнулась, как змея, отбивающаяся от собаки, и юркнула в подземелье.

Удара от падения плиты почти не было слышно. Земля не содрогнулась от предательства. А на вопль заживо погребенного умели, когда нужно, просто не обратить внимания. Тем более что нож старик держал в руке крепко, до рассвета оставалось совсем немного, а доля каждого в добыче увеличивалась на одну пятую часть.

А может, и не так все это было. Может быть. Но когда много веков спустя опять проникли в курган люди, они нашли в ограбленном саркофаге останки двоих, причем один — это было ясно — попал туда много позже другого.

А может, вообще ничего похожего не было? Однако для нас не так уж и важно, если эту историю Дима даже выдумал, ведь он думал боль-

ше всего о том, что ему сулит его курган? Здесь ведь тоже рыли. Кто-то, а Дима это понимал, видел и, наверное, готовил себя к худшему. Подкоп был старый, давно обрушился, но сделан был расчетливо, шел точно по центру...

Ну что ж, бегай вокруг, ничего тебе больше не остается. Торопи рабочих и в то же время удерживай их от каждого неосторожного движения, пей отдающую железом и солью тепловатую воду, днюй и ночуй среди степных колючек, порывайся убежать и все-таки оставайся на месте. Бывают же такие сверх всякой меры подвижные и непоседливые толстяки. Окончательным толстяком Дима пока не стал, но перспектива ясно угадывалась. Этот верткий человек одержим идеей найти нечто свое, значительное.

А мы проводили дни на Эльтигенском пляже. Нельзя сказать, что бездельничали (работа была), но когда в разгар жары особенно хотелось выкупаться, то свободная минутка находилась. Между прочим, здесь тоже велись раскопки, и мы ими сразу заинтересовались. Моряки вытаскивали на берег затонувшие почти четверть века назад десантные мотоботы.

Дело оказалось нелегким. Разбитые орудийным огнем и опрокинутые волнами — десант высаживался в штормовую погоду — суденышки занесло песком, засосало. Морякам пришлось рыть на берегу широкие траншеи, освобождать суда от песка водометом, а потом, накинув трос на кнехты, продев его в клюзы («зацепив за ноздрю») или застропив каким-нибудь иным способом, вытаскивать с помощью трактора копрабль волоком на сушу.

Работали моряки дружно. Командовал молоденький лейтенант, который, впрочем, сам охотнее всего сбрасывал офицерский китель и, оставшись в полосатой тельняшке, брался за любое дело. И тогда особенно очевидно становилось, что подлинный хозяин здесь — годившийся этим ребятам в отцы, неторопливый и степенный мичман сверхсрочной службы.

Уже почти вытасенный на берег мотобот лежал как раз на кромке прибоа. Небольшое, когда видишь его на плаву, суденышко оказалось сейчас неудобным в обращении с ним и тяжелым. Маленький портовый буксирчик в обычных условиях ворочал бы этот мотобот и так и эдак, а теперь могучий трактор задыхался от напряжения и гусеницы его скользили, чуть ли не разъезжались, как копыта смертельно уставшей на трудном подъеме лошади. Но и это нас мало занимало (ведь вытасят в конце концов; раз взялись, то обязательно вытасят), мы во все глаза смотрели на сам мотобот. Он был прекрасен. Не обводами бортов, лишенными изящной протяженности, не общим абрисом (он казался грубоватым и даже топорным), а всем своим обликом, который и сегодня являл готовность к чему угодно. Особенно запомнилась пушчонка на носу — она по-прежнему отчаянно грозила токенским жалом берегу, который (тоже по-прежнему) хмурился железобетонными мордами дотов, врытых в гребень берегового обрыва.

Мачта сломана, надстройка разбита, обшивка помята и посечена осколками, можно было заметить и следы пожара. Но даже не это погубило суденышко. Оно пропало по другой причине. В тот момент, когда волна вздыбила мотобот, немецкий снаряд прямым попаданием ударил его в скулу ниже ватерлинии. Случалось, и после таких ран выживали, но здесь было другое. Десантники — кто уцелел — уже бежали, если можно бежать, находясь по горло в воде, вперед, чтобы зацепиться за кромку берега, а от команды почти никого не осталось. Их невозможно было ранить — только убить. Любая рана становилась здесь смертельной — это относилось и к судну.

Оно было величественно-ржавое, столько раз продырявленное железное корыто. И люди, которые пересекли на нем в штормовую ночь пролив, чтобы броситься потом под снаряды, мины и пули, были герои. И когда трактор, взревев, рванул стальной трос особенно резко, так что заскрипел остов мотобота, дрогнула пушка и показалось, что вот-вот сейчас с мясом, с болтами и кусками обшивки будет вырван кнехт на носу,— мы все испуганно закричали: «Осторожно!»

Потому что корабль — это стало ясно всем — должен был уцелеть, сохраниться, подняться на постамент, чтобы многие поколения спустя удивлять людей, заставляя их задумываться о нашем времени. На постамент — рядом с братской могилой безымянных десантников. Можно ли придумать памятник величественнее и проще! И не трогать, не разрушать вражеские доты на берегу, чтобы каждый мог видеть, какая сила противостояла этим корабликам и людям. Иначе что же останется от нашего времени, когда станут стариками и уйдут последние из тех, кто некогда чудом уцелел?

Удивительное дело — эта мысль захватила и матросов, и мичмана, и лейтенанта, и чумазого тракториста, и нас. Отношение к катеру сразу стало другим — ласковым, бережным. Его теперь не просто выволакивали на берег, чтобы очистить на пляже морское дно, а бережно, стараясь не повредить и не разрушить еще больше, извлекали на свет, чтобы показать людям. И откуда-то появилась старуха — свидетельница ночного десанта, и случайно оказавшиеся рядом туристы взялись таскать бревна-катки, подсовывать их под брюхо судна, и начали вспоминаться истории, связанные с этим десантом... Тяжелая и нудная работа стала вдруг праздником для всех.

Это светлое настроение мы захватили с собой, возвращаясь вечером в Керчь, оно было с нами и в последующие дни, хотя работали мы на других точках, в степи, страдали от жары и пыли. Оно еще долго незаметно сопутствовало нам и приносило удачи. И когда какое-то время спустя мы опять вернулись в город и встретили ликующего Диму, ничего не нужно было объяснять: конечно же, удачливость, чутье не подвели и нашего толстяка.

Нашел что-нибудь? «Что-нибудь»! Он откопал клад, который и в Лувре, и в Британском музее, и в Эрмитаже вызвал бы если не сенсацию, то уж во всяком случае почтительное внимание. Золотая чеканная диадема скифской царицы, нагрудные бляшки и, кажется, серьги, дутые золотые браслеты, драгоценный массивный перстень с секретом... Вес всего этого не превышал полукилограмма, но художественную, историческую ценность находки, ясное дело, трудно измерить. Каждый предмет был верхом изящества и совершенства, на многих варьировалось изображение жука скарабея. и это ставило новые вопросы: скарабей — один из атрибутов египетской священной символики, какие ветры занесли его сюда, случайно ли это?

Не нужно удивляться. В Крыму такое может быть, что только руками разведешь. (Дима и в самом деле развел руки.) Казалось бы, какое отношение имеет Крым к Троянской, например, войне? Оказывается, и к ней Крым хоть косвенное отношение, но имеет. Об этом напоминают существующие или уже забытые названия разных мест нашего солнечного, как любят выражаться журналисты, полуострова: «Партенит», «Партениум», «Парфенион». В основе всех этих слов лежит греческое «парфенос» — дева. Парфениями жители древнего Херсонеса называли празднества в честь главной своей богини Девы. Ее культ как бы достался грекам в наследство от тавров, которые приносили в жертву Деве потерявших у их берегов кораблекрушение мореплавателей.

Но при чем тут Троянская война? Началась она, как известно, из-за того, что легкомысленный троянский царевич Парис похитил у спартанского царя Менелая его жену, прекрасную Елену. На помощь оскорбленному пришли великие герои Греции во главе с его братом Агамемноном. Собрались в Авлиде, чтобы плыть к Трое, и здесь открылось пророчество: они достигнут цели, если только принесут в жертву Артемиде дочь Агамемнона Ифигению. Ифигения сама пошла под жертвенный нож. Но в последнее мгновение произошло чудо — вместо девушки на алтаре билась, обливаясь кровью, лань. Греки увидели в этом добрый знак и двинулись на Трою. А что же Ифигения? Артемиде ее спасла, перенесла в далекую Тавриду и сделала жрицей своего храма. Ну и т. д. Суть истории в том, что таврская Дева превратилась на каком-то этапе в греческую Артемиду или наоборот. Изображалась Дева как Артемидо-охотница, преследующая с собакою оленя.

Так чьей же жрицей была Ифигения? И была ли она вообще?

— Ну, знаешь... — рассердился Дима. — Пушкин в это верил:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждающим богам
Дымилась жертвоприношенья...

А ты воображаешь черт знает что...

Я по привычке смирился. Главное ведь в том, что волнения остались позади, курган оказался целым, неограбленным, а со скарабеем как-нибудь разберутся.

Те древние сукнины сыны рыли по центру, по оси и промахнулись. Стандартное мышление! Хоронивший свою возлюбленную или жену царь поместил усыпальницу чуть-чуть сбоку, и правильно сделал. Молодец был царь! Он не хотел, чтобы его сокровища попали какому-нибудь лишенному воображения балбесу. Вот Дима — это другое дело...

Да, но даже не это самое важное. Все золото мира меркнет перед другой Диминной находкой. В кургане оказалась каменная плита с барельефом, изображающим квадригу, запряженную в колесницу... Да что говорить! Это непременно нужно видеть.

Мы ахали и воздевали руки, поздравляли Диму и отечественную археологию.

Нас больше всего интересовало, кто была эта маленькая женщина, чей покой так грубо пришлось потревожить?..

Золото? Ладно. Шут в конце концов с ним. Его, наверно, увезут отсюда. Но Понт Эвксинский, и запах полыни, и тепло нагретых солнцем камней остаются с нами. И хмурые доты, и ржавое, множество раз продырявленное осколками железное корыто мотобота, который мы поднимем на пьедестал. И звуки волшебных слов: Киммерион, Киммерик, Киммерия — как звон от удара мечом по медному щиту. Все это остается здесь.

На следующий день мы решили съездить в Эльтиген, отдохнуть после трудов праведных душой и телом. Солнце в сочетании с легким ветерком, загодя приготовленная канистра сухого вина и ворох снеди обещали хороший, долгий день. Однако вернулись скоро. Нас поразила пустота берега. Вообще-то это было хорошо, но сейчас удивило отсутствие матросов и особенно — вытасченного ими мотобота. А без него берег был для нас сиротливым. Все выяснилось очень скоро. Шустрые и обычно все знающие пацаны были тут как тут, валялись в песке и бегали голышом друг за другом.

— Катер? — сказали они. — А его увезли.

— Как? — поразились мы, потому что это было немислимо. Десантный мотобот можно фамильярно называть корытом и суденышком, и это недалеко от истины, но увезти его отсюда не так просто, а то и невозможно.

— А его порезали и увезли, — объяснили эти дети стремительного и скорого на решения века.

Ах, вот оно что! Металлолом. Конечно! Значит, не стоять старику на пьедестале. Ну, ладно, переживем. Однако же стало грустно.

Поковырявшись носком в песке, я нашел ржавый осколок снаряда, поднял и сунул в карман. Потом спросил ребят:

— Ну так что — все-таки окунемся?

А почему бы и нет? Молча стали раздеваться.

6. Выбор натуры

Где ни окажешься в нашей великой стране, всюду начинаются разговоры на одни и те же общенациональные, так сказать, темы. Одна из них (не самая, разумеется, главная) — дороги. До поры я думал, что уж в Крыму-то, на маленьком, обласканном вниманием полуострове, эта проблема не стоит. Ошибался. Однажды она встала и передо мной. Да еще как встала!

Обвинить нас в легкомыслии нельзя было: машину заполучили отличную — «газик»-вездеход с двумя ведущими осями, с желтой противотуманной лампофарой на бампере, с залитым под самую пробку баком и двумя канистрами бензина в багажнике. Шофер Леша был отменно лихой, «битый», как у нас говорят, парень, и очень скоро это доказал.

Дело происходило в январе, в самую глухую для Юга пору. Перед Новым годом началась оттепель с туманами, дождями, слякотью и никак не могла закончиться. Мне лично такая погода даже нравится, но для водителей она — нож острый: видимости никакой, встречные машины превращаются в огнедышащих, рыкающих драконов и возникают совершенно неожиданно, дорога скользкая. Добавьте к этому психологический фактор. Спросите любого шофера-профессионала, кого он больше всего боится, и непременно услышите: собратьев по работе. Машина если и выходит из повиновения, то чаще всего оставляет все-таки человеку возможность для каких-то разумных решений, человек же (опять-таки чаще всего) поступает почему-то безрассудно и нелогично. В крови это у нас, что ли? А тут еще скользкий асфальт (мы пока ехали по асфальту) и туман.

Приходилось осторожничать. Леша даже забыл свои прибаутки и, словно нехотя, перенес правую руку на рулевое колесо. Обычно он слегка поддерживал баранку левой рукой, а правая небрежно лежала на подрагивающем рычаге переключения скоростей. Такая непринужденная поза в сочетании с большой скоростью и легкомысленным трепом производила впечатление. Но сегодня эти номера не проходили. Особенно утомительным был гористый участок между Грушевкой и Старым Крымом — здесь Леша вел машину чуть ли не ощупью. Зато, выскочив на равнину, мы приободрились. Стало веселее. Туман пошел полосами, причем промежутки между ними становились все больше. Это был не туман даже, а какое-то огромное, издыхающее, рваное облако, которое уже рухнуло безнадежно на землю, но все еще ползло куда-то,

оставляя ключья в кронах деревьев и меж щетинистых шпалер мертвых сейчас виноградунок. Дорога оставалась скверной, но все-таки было полегче.

Истосковавшийся по быстрой езде Леша выбрал свободный от тумана участок, улыбнулся и принял свою обычную угрожающе неприужденную позу. Артист! Кокетливо потряхивая как бы затекшей кистью, он перенес правую руку с баранки опять на переключатель скоростей — рычаг переключателя был сейчас в его руке, как хлыст, которым всадник только слегка прикоснулся к боку лошади, напоминая, что он — хлыст — существует. Потом Леша шевельнул ногами, будто дал этой лошади шенкеля, и, наконец, еще каким-то неуловимым движением он решительно отправил ее в посыл. Нужно было видеть при этом игру Лешино лица: если сперва он улыбался, то потом, потряхивая пальцами (какой изысканный жест!), поморщился, а под конец медально затвердел, чуть выпятив покрытый редким рыжим пухом подбородок. Кто знает, может, парень в этот миг представил себя повелителем чего-то необыкновенного и огромного с мотором в сто тысяч лошадиных сил, но я не мог отделаться от своего пусть даже избитого сравнения машины с конем. Казалось, закрой глаза — и услышишь топот копыт, тяжелое дыхание и еканье селезенки.

Вот тут-то встретилось нам первое испытание. Леша увидел нудно мельтешащий впереди «Запорожец». Наверное, и я на его месте пошел бы на обгон — какой шофер станет тащиться за «Запорожцем»! Но вдруг возник огражденный чугунами перилами мостик — здесь дорога сужалась. (Каждый крымский водитель, конечно, знает это место между Старым Крымом и Феодосией.) Не беда, мы успели бы обойти «Запорожца» до моста. Однако уже в тот момент, когда обе машины шли ноздря в ноздю и мы постепенно начали уходить вперед, стало ясно, что послушание нашего «газика» не безгранично — он не спешил возвращаться на свою законную правую сторону дороги, больше того, при малейшем движении руля грозил плюнуть на все и стать поперек полосы асфальта. Нас заносило, и это было опасно. Леша сохранял свою прежнюю свободно-неприужденную позу лишь потому, что не было ни единого свободного мгновения, чтобы переменить ее. Время находилось только на то, что делалось само по себе и не зависело от нас: Леша, скажем, успел все-таки побледнеть. А побледнел он, когда из полосы тумана по ту сторону моста выскочил прямо на нас, урча и сверкая огнями, тяжелый грузовик «МАЗ» с прицепом. Тут уж не оставалось ничего другого — только бледнеть. Мы неотвратно сближались со скоростью 100 км/час — семьдесят наших плюс тридцать «МАЗа», — и бесстрашный «газик», кажется, уже примерялся, куда сильнее боднуть этого здоровилу, но в последний момент передумал. Затормозить на плывущей поверх асфальта жидкой грязи никто не смел, но все это время Леша бережными, почти микроскопическими движениями руля выворачивал вправо. К счастью, он не стал суетиться, а положился на везение и то случайное стечение обстоятельств, которое мы называем судьбой. Одним словом, смерть прошелестела в тот раз совсем рядом, но даже не поцарапала нам борта, только обдала зловонным дыханием дизельного выхлопа.

Мелькнули горящие глаза «МАЗа» (шофер так и не успел включить фары) и расширенные от ужаса глаза самого шофера, прицеп на прощанье плеснул нам в стекла фонтаном грязи, и на этом все закончилось.

Леша приходил в себя постепенно. Сначала вернулся румянец, потом, будто опомнившись, наш «битый» парень сбросил газ, и машина пошла спокойнее. Опять проскочили короткую полосу тумана (она как

бы смысла с нас грехи) и выехали на открытое шоссе. Только здесь Леша, стряхивая оцепенение, потянулся, осторожно глянул на меня и слабо, без всякого актерства, улынулся.

Машина как ни в чем не бывало продолжала резво бежать вперед, так что даже подумалось: а не ошибся ли я, принимая ее за одушевленное существо? Ветровое стекло, словно сачок, подхватывало на лету тончайшую морось и щежнвало на капот. Стекая вниз, дождевые капли робко пытались смыть плевков грязи — прощальный и недружественный привет, посланный нам встречным. Впрочем, мы этот плевков заслужили.

Леша съехал на обочину и остановился.

— Да, чуть не вмазались, — сказал он.

Я протянул ему зажигалку, давая понять, что вполне оценил каламбур. А на заднем сиденье громко, с подвыванием зевнул дрыхнувший до сих пор Алик. «От сна еще никто не умер», — сказал он, садясь в автомобиль, и теперь, видимо, проверял это на опыте. Леша, чтобы ничего не объяснять, вылез из машины, достал из-под сиденья тряпку и начал протирать стекло.

Так началась эта запомнившаяся мне, но, в сущности, самая обычная поездка.

В старом, восьмидесятих годов прошлого века, путеводителе говорится: «От Керчи до Феодосии считается сухим путем 97 верст, почтовым трактом (станции Султановка, Аргин, Агигель и Парпач)... Эта дорога представляет интерес исторический. На Керченском полуострове... некогда расположено было знаменитое Босфорское царство. Тут существовал ряд городов, группировавшихся вокруг Пантикапей, как то: Акра, Парфеннон, Нимфея, Мирмикион, Ахилион, Ираклион и др. Большой город был также на мысе Чауда, которым начинается Феодосийская бухта с востока. Здесь есть развалины укреплений с большим кладбищем. Полуостров кончается станцией Агигель, где была граница Босфорского царства. На 15 версте от станции Аргин дорога идет через древний вал, имеющий около 7 саж. в ширину. Он простирался некогда от моря до моря поперек полуострова и, таким образом, служил преградой на случай вторжения. Сооружен он, по Геродоту, для самозащиты, рабами скифов, завладевшими страной, когда те ушли походом в Мидию; поэтому вал называется иногда Скифским рвом. Он носит также название Ассандрова вала по имени царя Босфорского, укрепившего это место и построившего здесь много башен».

(Не знаю, как на других, а на меня такие вот неторопливые фразы действуют почти завораживающе. Да и вообще что может быть увлекательнее исторических сочинений, мемуаров и старых путеводителей?)

Все это мы видели и знали. Но в конце главки путеводителя упоминается еще одно довольно глухое место, где якобы встречаются «явные следы очень древнего жилья», а «целый ряд скал и утесов представляет следы циклопических построек». Читал я об этом месте и в других книгах, знал, что с ним связаны легенды, предания. Теперь мы решили его посетить. Наверное, это объяснение звучит не очень убедительно, но добавит к нему нечего. Меня никогда не оставляет надежда увидеть, узнать еще что-нибудь необыкновенное. Не раз прежде эта надежда оправдывалась, и я в самом деле повидал немало интересного. Иногда сам удивляюсь: до чего же легко сорвать меня с места — стоит только поманить. Вот и теперь. Никто, конечно, не знал, что поездка будет просто утомительной и трудной. Представилась возможность поехать — как ею не воспользоваться? — и я поехал.

Шоссе мы довольно скоро оставили, еще какое-то время под колесами «газика» стучала насыпная щебенчатая дорога, а потом пошли проселки. Это напоминало путешествие к истокам: сначала река, потом речушка и, наконец, ручеек.

Местность отнюдь не веселила: всхолмленная степь с обнажениями скальной, материковой основы невольно напоминала что-то немислимо древнее; в низинах — озера, но вода в них не радует: она горька, солоня. Селения, естественно, не лепятся друг к другу, от одного к другому приходится порядком пошагать, хотя расстояния не так уж и велики — Крым есть Крым.

На первом же проселке, отъехав километров шесть, мы увидели сползший на пахоту и завалившийся на бок автомобиль-цистерну с надписью «Молоко». Шофер бросился к нам, умоляюще подняв руки. Остановились.

Молоковоз «сидел» прочно. То колесо, что сползло с дороги, утонуло в грязи по самую ось. Без гусеничного трактора не вытащить.

— И давно ты?

— Почти сутки, со вчерашнего дня. Пустите погреться...

Он залез третьим на заднее сиденье и задубевшими пальцами начал разминать предложенную Лешей сигарету.

С невысокого грязно-серого неба продолжала сеяться водяная пыль.

— Неужели и ночевал здесь?

— А куда деться?

Верно. Темнеет в январе рано, светает поздно. Идти по такой грязи в темноте — и сапоги потеряешь; когда рассвело, появилась надежда: авось кто-нибудь будет ехать мимо. Глядя на дрожащего в коротеньком ватнике коллегу, Леша изрек:

— Зима. Крестьянин торжествует, тулуп нашел и в ус не дует...

Больше всего меня удивило то, что парня пришлось еще уговаривать поехать с нами в село. Он хотел остаться, ждать помощи, которую мы пришлем: как же, дескать, бросать без присмотра машину и молоко.

— Да пропади они пропадом,— ласково сказал Леша.— Там уже не молоко, а простокваша.

— Не знаешь ты нашего директора...— тоскливо отозвался парень.

— И знать не хочу,— заверил его Леша.

Шофер молоковоза вяло отмахнулся: в том-то, мол, и дело, что не хочешь знать и можешь себе это позволить. А тут особенно пылить не приходится. Снимет с машины, пошлет слесарить в гараж — много там заработаешь...

И тогда в разговор вмешался Матвей:

— Не переживай. С Петровским я сам поговорю.

Матвей сказал это внушительно и строго. Однако вы ничего не знаете об этом моем старом приятеле. Мы ночевали у него после несостоявшегося столкновения с «МАЗом». Когда приехали, до вечера было еще далеко, но я решил, во-первых, больше не искушать сегодня судьбу, а во-вторых, хорошенько расспросить про дорогу: в той глуши, куда мы теперь собирались, никто из нас не был. Лучшего же консультанта, чем Матвей, желать не приходилось: вот уже лет двадцать после войны он работает в этом районе, а до войны жил по соседству, изъездил и исходил всю округу вдоль и поперек.

Останавливаться на ночлег у него я не собирался — гостиница во всех отношениях предпочтительнее,— но Матвей слышать об этом не хотел: оставайтесь, и basta. Дружья мы или не дружья? Конечно, дружья... Но не последнюю роль в этом, я думаю, сыграло и любопытство Матвея. Его заинтересовал мягкий и обходительный молодой человек Алик

с неожиданной эспаньолкой, обручальным кольцом, с серебряными карманными часами на цепочке со старинным брелоком, в умеренно пестрой модной рубашке и современных туфлях-мокасинах. Так или иначе, но Алик выглядел rispetабельно и по-своему был даже элегантен.

Когда бытовые (кто где будет спать) вопросы оказались решенными, мы засуетились: нужно бы сбегать в продмаг. С великолепной простотой, в которой в то же время чувствовалось и превосходство, Матвей спросил:

— Зачем?

Я щелкнул себя по горлу: ну, хотя бы за этим.

— Не надо. Все есть.

— То есть как это?

— Очень просто. Все есть.

И все действительно было. Рубиново-красное сухое великолепно шло под баранину, утоляло жажду, подогревало аппетит и слегка пьянило. Никогда не пивал ничего лучше этого домашнего вина. Матвей клялся, что ничем его не крепил и не сдабривал, что все — и крепость и сладость — от самого винограда, от тех лоз, что растут за окном, и, конечно, от солнца: оно честно поработало прошлым летом. Маринованный перец, моченые яблоки, томаты в собственном соку с чесноком, кореньями и специями, розоватое сало с мягкой шкуркой, осмоленной пшеничной соломой, все это опять-таки свое, домашнее, не покупное, — пробуждали новую жажду, и мы в который раз поднимали стаканы. Мы не просто пили и закусывали, а я бы сказал: мы пировали. И я как-то поновому глянул на обветренное лицо Матвея, на крепкую шею и тяжелые руки, которые совсем не вязались с его положением не то инспектора, не то инструктора, а может, даже и замзавотделом местного исполкома. Матвей — человек, знающий свое дело и любознательный; наверное, в глубине души он считает, что писать стихи, сочинять музыку, играть в театре — не очень серьезное, не очень мужское занятие, но и к этому он относится с доброжелательством и интересом. Однако никогда раньше во всей его повадке, в степенности, в самом характере его гостеприимства и хлебосольства не проступало так явственно крестьянское, что ли, начало.

Матвей любит, когда я расспрашиваю его или о чем-либо советуюсь. Наверное, потому, что это дает ему еще одну возможность почувствовать свое превосходство над нами, горожанами. И мне нравится советоваться с ним, доставлять ему это удовольствие. И потом мне кажется, что этим я хоть в небольшой степени воздаю должное его старшинству. На этот раз я расспрашивал дорогу в места, о которых говорилось в старом путеводителе. Как нам увидеть голубые скалы и утесы, до сих пор хранящие следы циклопических построек?

Объяснял Матвей подробно, точно — где ехать, куда повернуть, сомневался, пробьется ли по бездорожью, спросил, есть ли цепи и лопата (ни того, ни другого Леша, конечно, не захватил). Тогда я, кажется, впервые подумал, что этот немолодой уже еврей — прежде всего человек земли, крестьянин и начисто выпадает из прочно укоренившегося представления о евреях. Правда, в Крыму этим особенно не удивишь. Здесь еще до войны существовали еврейские села, еврейские колхозы, и случалось, что русские, татарские, немецкие дети, тоже, естественно, жившие в таких селах, ходили в еврейские школы и писали справа налево..

А потом Матвей вдруг сказал:

— Что у нас сегодня? Суббота? Так-так... А что, если я завтра махну с вами?

И тут я понял, что с самого начала подспудно надеялся именно на это.

Выехали затемно. Наскоро перекусили, выпили горячего чаю и тронулись в путь.

Свернув с магистрального шоссе, мы, по словам Матвея, должны были проехать через три села, а потом еще идти к своим «голубым скалам» несколько километров пешком. Ну что ж, одно село осталось позади. Посмотрим, что будет дальше.

Шофер молоковоза, подавшись вперед, показывал Леше более надежную дорогу. Дело в том, что в нашей степи дорога — понятие довольно относительное. Проселки умирают, зарастают травой, потом вдруг снова воскресают. Размсят в распутицу одну дорогу — прокладывают новую колею, иногда по целине, а то и по озими.

Для нашего коротышки-«газика» с его небольшими колесами главной опасностью была глубокая колея: здесь мы могли просто сесть на брюхо. Но Леша с помощью коллеги удачно проскакивал ненадежные места, иногда даже не понять было, едем мы или плывем.

— Тут осторожнее, — сказал молочар, однако можно было и не предупреждать: дорога шла по краю глубокого обрыва, круто уходящую далеко вниз к соленому озеру.

— Разве нет объезда? — недовольно спросил Матвей, но объезда сейчас, наверное, не было, потому что шофер не ответил на вопрос и только сообщил, что в прошлом году с этого самого обрыва в озеро свалился трактор «Беларусь». Тракторист успел выпрыгнуть.

Вообще мы исподволь обогащались сведениями. То, что сообщал шофер, как правило, звучало мрачновато, но Матвей был тут как тут — истинный патриот родного края, он старался противопоставить мелким досадным фактам нечто более весомое, крупное и даже романтичное, хотя всегда раньше говорил, что «эта ваша романтика — одни слюни». Я так и не понял цели его не то уточнений, не то опровержений. То ли он боялся, что у нас сложится превратное впечатление об этих местах, то ли, выполняя свой нравственный долг, он воспитывал шофера. Матвей не спорил с ним прямо, и то, что они говорили, вроде бы даже не пересекалось, а выстраивалось на разных параллельных линиях, но все-таки это был спор. Стоило шоферу пожаловаться, что вот-де по такому бездорожью калечатся машины, с трудом выдерживают один сезон, а через год их хоть в утиль сдавай, как Матвей находил повод сообщить, что здешняя пшеница, между прочим, одна из сильнейших, итальянцы жить без нее не могут, чуть ли не всю оптом закупают для приготовления макарон.

Шофер говорил, что тракторам сейчас положено стоять на ремонте, а их гоняют в хвост и в гриву, потому что они — единственный надежный транспорт. Зоотехник осматривать фермы и то едет на «Беларуси» (хоть персональную ему выделяй), а если посылают куда-нибудь несколько грузовиков, то и говорить не приходится — впереди идет гусеничный «ДТ», сопровождает колонну, вытаскивает по очереди застрявшие машины.

— Добрые люди занимаются ремонтом, а мы угробим к весне весь тракторный парк, — говорил шофер, и это было тягостно.

Но через несколько минут Матвей хлопал меня по плечу и спрашивал:

— А ты слышал, что Алексей Леонов совершил свой выход в космос как раз над Керченским полуостровом? Здорово, а?

Это было действительно здорово. А еще через несколько минут Матвей, задумчиво глядя в окно, говорил:

— Ничего, нехай дождит — это влага в почве накапливается...

Правда, Леша сейчас же буркнул:

— Вот и накапливайте ее на полях, а на дороге она мне к чему?

Наш «газик» только что с трудом выбрался из очередной лужи. Шофер рассказывал, как его жена учительница месяц назад, когда уже началась распутица, родила мальчишку по дороге в больницу прямо в тракторном прицепе, хорошо еще, что сопровождала фельдшерница и приняла роды в чистом поле; а Матвей, переждав наши ахи и охи, тыкал перстом куда-то вправо и говорил, что там выращен лес («Представляете — лес в засушливой степи!»), настолько великолепный лес, что в нем даже начали разводить фазанов («Видели когда-нибудь? Красавцы! Прямо райские птицы...»).

Только один раз эти линии пересеклись. Когда шофер сказал, что добрую треть молока, которое отсюда с таким мучением возят в Керчь, тамошний завод бракует, возвращает совхозу (да и чему удивляться — пока соберут, сольют, доставят, проходят почти сутки) и его приходится везти обратно, а здесь скармливать свиньям, — Матвей вспылил:

— Разиня, а не директор ваш Петровский.

— А что он может сделать? — попробовал заступиться шофер.

— Хотя бы сепаратор приобрести и перерабатывать на месте. — Матвей достал книжечку и что-то пометил себе.

Я давно заметил в нем одну черту — стремление переломить в себе то, что ему кажется недостатком или слабостью, и вместе с тем спокойное, непоказное упорство в преодолении чьих-то предубеждений, предрассудков. Иногда я даже думал: нелегкая жизнь. Уж не слишком ли тяжелую ношу ты взвалил на себя? Что я имею в виду? Ну вот, скажем, если бы Матвей, не дай бог, был трусом, он, думается мне, замучил бы себя воспитанием «силы воли», но поборол бы собственную слабость. Ему недостаточно было просто попасть на фронт — он попросился в разведку и был дважды тяжело ранен. Этот мужик за все платил сам и полной мерой. Ему ничто не давалось легко и просто. Сейчас это стремление к самовоспитанию проявлялось в показавшейся мне забавной мелочи: он, еле заметно картавя, не то что не избегал, но, казалось, выскивал слова с «р» и произносил их с подчеркнутой твердостью: «Разиня, а не директор ваш Петровский...»

Так добрались до второго села, высадили своего случайного попутчика (он, даже не забегаая домой, помчался договариваться насчет трактора) и поехали разбрызгивать лужи дальше.

В окошке здешней конторы мелькнуло чье-то лицо, потом какая-то фигура в накинутом на плечи пиджаке выбежала на крыльцо и замахала руками, приглашая остановиться, но Матвей сказал:

— Гони. Некогда.

Наверное, нас приняли за какое-нибудь начальство — оно вот так же разъезжает по глубинке в «газиках»-вездеходах.

...Только что я легкомысленно написал: поехали, мол, разбрызгивать лужи дальше. А на самом деле дальше-то как раз все получилось не просто. Сразу же за селом дорога резко ухудшилась, и «газик» начало швырять в колее из стороны в сторону. Как он выдерживал эти швырки, до сих пор не понять. А потом мы лихо влетели в низину и как бы растянулись в грязи. Ни назад, ни вперед. Куковали не меньше часа и дольше просидели бы, но выручил проходивший мимо трактор. Оставив на минутку свой прицеп, он выдернул нас из болотца, потом опять подхватил тележку и двинулся рядом по обочине, шлепая гусеницами по воде, будто пароход плицами.

В третьем селе, где находилась центральная усадьба совхоза, мы подкатили к конторе сами, не дожидаясь приглашения. В конторе, несмотря на воскресенье, былолюдно: здесь шла шумная и, как мне показалось, странная жизнь. Мы тут же были в нее вовлечены. Матвея узнали, радушно приветствовали и вместе с нами потащили в маленькую комнату с табличкой на двери «Рабочком». А в коридоре остались душ десять мужчин. Вспоминая сейчас, я нахожу, что в их облике было нечто библейское: они расположились в полутемном коридоре, как кочевники на привале; некоторые курили, пряча по давней, видимо, привычке папиросы в ладони, словно и здесь дул ветер или моросил дождь; другие сидели на корточках, прислонившись спинами к стене; все было в брезентовых плащах, мокрых, торчавших колом и все-таки чем-то напоминавших бурнусы; под капюшонами сверкали зубы, глаза, а иногда поворот головы открывал небритую щеку; у всех в руках были высокие посохи: я как-то не сразу сообразил, что это обыкновенные пастушьи палки — герлыги. Они чувствовали себя неудобно, слоняясь в коридоре между шеренгами дверей с табличками: «Бухгалтерия», «Директор», «Отдел кадров», «Старший зоотехник»...

В рабочкоме разыгрывалась жанровая сцена типа — «запорожцы пишут письмо турецкому султану». Правда, само письмо отстукивалось на пишущей машинке маленьким, сухоньким блондинчиком с злым лицом и быстрыми, «стреляющими» глазами. При нас обсуждалась редакция заключительной фразы: «В противном случае вся ответственность за срыв социалистических обязательств коллектива и плана поставок мяса государству ляжет целиком и полностью на вас, о чем нами будет доложено вышестоящим органам».

Закончив писать, блондинчик с неожиданной лихостью не вынул даже, а с треском выдернул бумагу из машинки, поднял голову, подмигнул нам всем и крикнул:

— Федя!

В дверь просунулась одна из голов в капюшоне. Протягивая бумагу, блондинчик скомандовал:

— Дуй!

Когда голова скрылась, он повернулся к нам:

— Почтение, Матвеич!

Матвей уже сидел за столом.

— Что тут у вас происходит?

А происходило, как я понял, следующее. Нужно было гнать овец и бычков на мясокомбинат. Это суток трое пути. Чабаны требовали, чтобы им выдали в дорогу по червонцу на брата. Директор Петровский в деньгах отказывал, говоря, что если не здесь, то по дороге чабаны обязательно («Знаю я их!») запьют. Профсоюз принял сторону чабанов, и поскольку директор явиться в контору не пожелал — воскресенье! — начался обмен посланиями.

— Футбол! — весело воскликнул маленький председатель рабочкома: он, видимо, чувствовал себя в гуще борьбы. А замечено было точно: настала очередь директора бить по мячу.

Мы тем временем познакомились с механиком гаража, зоотехником и секретарем партбюро, которые тоже были в комнате. Запомнился механик. Рыжеватый, веснушчатый, в сдвинутой набекрень кепочке блином, он чем-то напоминал добродушного бандита. Таким мужикам трудно найти себе одежду впору: пиджак, рубаха или телогрейка обязательно окажутся узкими в плечах. Тут же была сделана попытка втянуть в игру Матвея — пусть следующим заходом он тоже напишет Петровскому пару слов. Матвей покачал головой:

— Знаете анекдот? Стоят двое пьяных и спорят: луна это или солнце? Никак не договорятся. Остановили прохожего: луна или солнце? А тот думает: что ни скажу, все равно дадут по шее. И говорит: знаете, хлопцы, я нездешний...

Вернулся посланный к директору Федя. На его небритом лице тоже лежала печать спортивного азарта.

— Ну?

— Сказал, что касса все равно опечатана.

— Дуй за кассиршей! Постой, а сам-то что?

— Ходит по кухне в тапочках и жарит картошку.

— Сказал ему, что из района приехали?

— Ага. Звал в гости. И бутылка, говорит, найдется.

— Вот дает! — весело, почти с восторгом воскликнул маленький и повторил команду: — Ладно, дуй!

Федя опять скрылся. Матвей с укоризной обратился к секретарю:

— Собрали бы бюро с повесткой дня: «О стиле хозяйственного руководства», да холку ему хорошенько... А потом самоотчет коммуниста Петровского на собрании да еще разок холку намылить... Не знаешь, как делается?

— Молодой еще, не научился! — подмигнул маленький.

— Научится, — уверенно сказал Матвей.

— С таким боровом и старый не справится. — Зоотехник махнул рукой, это были, кажется, единственные слова, которые он при нас произнес.

Я посмотрел на секретаря: ну, а ты, мол, что? Это был действительно молодой, розсвощекий мужик, который не мог покамест обрести себя, томился. Работал человек бригадиром трактористов в соседнем совхозе, и все было ясно: гони гектары мягкой пахоты, экономь горючее, помни о ремонте, доставай запчасти. А теперь все непривычно — и положение, и то, что с самим директором приходится говорить на басах, и даже то, что на работу нужно ходить не в замасленной спецовке, а в костюме и пальто, которые раньше надевались только по праздникам.

— Сам он, что ли, не понимает? — сказал секретарь обиженно. Именно это чувство испытывал он, наверное, сейчас — обиду. За людей, которым старый хрыч не доверяет и не дает денег (вопрос, вообще-то говоря, тонкий — могут, черти, на самом деле запить, такое бывало; но, с другой стороны, как не дать, если отправляешь в дорогу?!), за себя, униженного директором перед своими, да и перед приезжими...

— Понимает! — весело воскликнул маленький. — И деньги даст.

— Тогда зачем это?

— А чтоб запомнили лучше: не пей! Я его знаю. Да и перед нами козырь. Если случится что, он не виноват. Не он, а председатель рабочего и секретарь бюро заставили дать деньги.

И тут все мы подумали: а этот Петровский не дурак, умеет жить на белом свете. И секретарь приободрился, стал веселее, словно узнал какую-то тайну. Ему ведь чего не хватало? Определенности, понимания причины, по которой директор мудрит. А теперь, когда все ясно, можно и не обижаться. Лишь бы на пользу делу. Может, и впрямь чабаны лучше запомнят это: не пей? Секретарь даже улыбнулся и сказал механику с физиономией добродушного бандита:

— Ну, а ты чего стоишь? Не видишь — гости приехали!

Тот едва заметно кивнул головой: все будет, дескать, сделано. И тут же исчез.

Леша ушел к машине. Алик, скучая, листал подшивку журнала «Советские профсоюзы». Любопытные взгляды — а ему доставалось их больше всех — он просто не замечал.

Секретарь спросил Матвея:

— По делу к нам или так просто?

— А ты у них спроси,— Матвей рассмеялся и кивнул на нас с Аликом,— у работников идеологического фронта... Камни их тут какие-то интересуют...

Однако объяснить подробнее он не успел — появилась кассирша с разрешением: «По пятерке на нос и ни копейки больше». Пришел и механик со свертком, в котором были две бутылки розового марочного муската и четыре бутылки сурожского белого портвейна. Молчаливый зоотехник сразу же откололся от компании (язва желудка) и ушел выпроваживать чабанов. Дверь за ним закрыли на ключ. Я сосчитал оставшихся, пересчитал бутылки и испытал странное чувство. В нем была тоска оттого, что вдруг среди бела дня придется пить, и была растроганность. В том, что этот добряк с бандитской рожой всем напиткам предпочитает водку, сомневаться не приходилось. Но, принимая гостей, он хотел сделать все, как в лучших домах, и на столе появился розовый мускат, а к нему бычки в томате, соленые огурцы и плавленые сырки — «закусь». Когда маленький председатель рабочкома бестактно спросил: «Водки, что ли, не было?» — рыжий механик посмотрел на него удивленно и с упреком: при чем тут, дескать, водка, когда мы принимаем гостей? «Милый ты мой человек»,— подумал я о нем, а он торжественно встал и предложил:

— За знакомство и со свиданьем.

Все мы тоже поднялись.

Портвейн общественности понравился больше.

Вернулись к цели нашей поездки (хозяев разбирало любопытство), хотя, честно говоря, после всего увиденного и услышанного мне особенно не хотелось вспоминать об этом. Несерьезным представлялся весь этот наш интерес к скалам и утесам, хранящим «следы циклопических построек», и я с досадой слушал слегка повеселевшего Матвея.

— ...А что вы думаете — ходим вокруг и ничего не замечаем. А они вот нам покажут... Верно? — Он с улыбкой повернулся ко мне.— Посмотрим и сами себя не узнаем — такие будем хорошие и красивые... Они это умеют — будьте уверены!

Я пожал плечами. Не скажу, чтобы мне понравился комплимент. А секретарь, маленький председатель и механик слушали сочувственно.

— Разрешите мне,— сказал вдруг Алик.

Матвей протянул ему стакан с портвейном.

— Нет, пить я больше не буду. Спасибо. Я хочу сказать...— Я глянул на него с тревогой: тихий и деликатный Алик в таких случаях обычно помалкивал, роль объясняющего выпадала мне.— Мы не хотим ничего приукрашивать — это было бы глупо и неуважительно, а мы уважаем вас и хотим, чтобы нас тоже уважали...— На щеках Алика играл румянец, и я подумал: ну вот, начинается — «Я тебя уважаю, а ты меня?».— У нас нет другой земли. Мы здесь родились и здесь,— Алик показал пальцем в покрытый кумачом стол,— здесь,— повторил он настойчиво,— нас похоронят. Мы покажем всю правду. Нам незачем вас приукрашивать, потому что мы вас любим.

Когда Алик сел, к нему потянулись чокаться. А рыжий механик дружески забубнил:

— Ну, че смотришь? Рожа моя не нравится? — Он, видно, не заблуждался насчет своей физиономии.— А где другую взять? Мы знаешь кто? Мы — чудо-богатыри. наших дедов тут еще Александр Васильевич Суворов поселил. Целый полк. «Живите и размножайтесь». А с кем размножаться? И тогда Александр Васильевич Суворов приказал за казен-

ный счет купить в России и доставить сюда каждому солдату девку или бабу. По два с полтиной за штуку платили. Теперь понял? Че хорошего за два с полтиной купишь? А я, видать, в бабку уродился...

Шел милый общий разговор, однако я понимал и Матвея, который раза два уже поглядывал на часы: мы еще не добрались до цели, а ведь нужно сегодня же возвратиться назад — завтра с утра у Матвея какое-то важное совещание. Неожиданно в дверь постучали, и я подумал: вот и хорошо, будем кончать. Но симпатичный механик успокаивающе сказал:

— Кассирша наша Семеновна. Я просил, чтобы зашла.

— Насилу отправила,— сказала она, заходя в комнату.

Женщине было лет тридцать пять. Приятное лицо, ладная фигура. Видно, хорошая хозяйка, мать семьи. Есть такие спокойные, благополучные и в то же время без особых претензий люди, вид которых говорит о незыблемости каких-то устоев и уверенности в ближайшем по крайней мере будущем. Вовремя, наверное, вышла замуж, с разумным промежутком родила двоих детей (мальчика и девочку), устроилась на чистой работе... То, что она увидела в комнате, нисколько ее, по-видимому, не удивило. Только, заходя в комнату, Семеновна мельком взглянула на стол, а потом будто и не замечала его; она вполголоса говорила с маленьким председателем о каких-то ведомостях, отчетах и квитанциях. Тем временем рыжий механик снова наполнил стаканы и подвинулся:

— Присаживайся, Семеновна.

— Больно много что-то,— сказала она, принимая стакан.

— Да оно как компот... Будем здоровы!

Выпили и заговорили о том, как же добраться к нашим скалам. Это километрах в пяти от села, но дорога шла по заболоченной солончаковой низине и даже по здешним понятиям была очень плоха.

— Пойдем пешком,— с подчеркнутой решимостью сказал Алик.

Секретарь глянул на его модерновые туфельки-мокасины и покачал головой. Сам он и остальные его односельчане были в резиновых сапогах. Матвей был в кирзачах; я, отправляясь в дорогу, предусмотрительно обулся в добротные туристские ботинки, но и эта предусмотрительность оказалась недостаточной.

Судили-рядили, и я даже не заметил, когда произошел перелом. Семеновна вздрогнула, сверкнула глазами и не запела — закричала высоким, пронзительным голосом:

Дура я, дура я,
Дура я проклятая —
У него четыре дуры,
А я дура пятая...

Выкрикнув частушку, она так же неожиданно замолчала и сразу сникла.

— Чего это ты? Ошалела? — сказал маленький председатель строго, но, по-моему, без осуждения — просто призвал к порядку. С такой же строгостью и пониманием человеческих слабостей он на собраниях стучит карандашом по графину, устанавливая тишину.

А рыжий механик осторожно обнял женщину, погладил по плечу и тихо, так, что из посторонних услышал только я, сидевший рядом, пробубнил:

— Будет тебе выставляться... И так все село говорит... — Потом он резко встал, надвинул на правое ухо кепочку-блин и сказал: — Эх, была не была — едем! Я сам вас к этим скалам повезу...

Я видывал разных шоферов. Когда-то меня восхищали южнобережные и кавказские водители — аристократы, асы горных дорог. Старики были особенно великолепны. Они своими машинами сменили конные линейки, шеголяли на первых порах крагами, кожаными фуражками и куртками, работали на безумно трудных дорогах и по праву смотрели на всех свысока.

А водители с карьеров и разрезов, те, кто вывозит грунт из котлованов огромных строек, — эти лихачи поневоле!.. Заработок зависит от количества ездки и кубов — вот и начинается гонка с первых минут смены. Что эти ребята выделывают с тяжелыми дизельными самосвалами!

Совсем другое дело — водители междугородных грузовых автопоездов, шоферы огромных серебристых фургонов, для которых полтыщи километров — не расстояние. Необъятные пространства, а иной раз ночевки в лесочке, на берегу реки настраивают на неторопливый философический лад (тише едешь — больше командировочных). Как утомителен путь по однообразной степи, как тяжело зимой, если случится поломка!

А таксисты — эти флибустьеры городских и районных дорог! А надменные шоферы «чаек», которые признают только зеленый свет и читают на милицейские правила! Со всеми я водил знакомство, со многими ездил, но едва ли не больше всех мне понравился тот рыжий механик в роли шофера.

Он вначале обошел, оглядел машину, огладил ее, будто это была лошадь, которую нужно успокоить и заставить поверить в седока. Потом сел за руль, опробовал все, что нужно было опробовать, и наконец сказал:

— Размещайтесь.

Ехать решили шестером: Леша с механиком сели впереди, а мы четверо — Матвей, Алик, секретарь и я — втиснулись на заднее сиденье.

Рыжий обращался с машиной, как с живым существом, но это не было похоже на Лешино обращение, и казалось, что она доверчиво пофыркивает в ответ. Он не был с нею жесток, просто рука была у него твердая, расчет безошибочный, глаз точный, и это помогало преодолевать препятствия.

Село стояло на взгорке, но отсюда дорога спускалась в низину, поросшую красноватой травой, которая обычно растет на солончаках. Как я понимаю теперь, механик не собирался везти нас до самых скал; он хотел, набрав возможно большую скорость на спуске, воспользоваться этой скоростью, словно тараном, пробиться до кошары, которая тоже стояла на каменном взгорке, но километрах в четырех. От кошары начинался подъем к скалам — его легко преодолеть пешком. А механик тем временем — пока мы будем осматривать, что нам нужно, — собирался выкатить машину повыше, развернуть и приготовить к обратному прыжку.

Все строилось именно на этом. Скорость и еще раз скорость. Зная дорогу, рыжий мог гнать изо всех сил, ему не нужно было осторожничать и глядеть по сторонам, главное — сохранить тот отчаянный порыв, который приобретала машина, не дать ему заглохнуть преждевременно. В сегодняшних моих рассуждениях это выглядит, я вижу, куда как просто, а тогда нас кидало из стороны в сторону, так что временами казалось — перевернемся; летела грязь из-под всех четырех колес, выл мотор, и сплошной стеной вставала вода вдоль обоих бортов. Нам стало жарко. «Газик» сметал препятствия; стоило хоть чуть-чуть забуксовать одному колесу — на помощь ему тут же приходили все остальные. До

сих пор жалею, что ни разу не взглянул тогда на спидометр, было просто не до этого. Скорость представлялась огромной, хотя, конечно же, она не была, просто не могла быть такой уж большой. Все происходящее воспринималось как чудо. Мы хватались друг за друга и за спинки передних сидений. Один рыжий за рулем был невозмутим, только кепочка еще больше съехала ему на правое ухо.

Мы должны были победить и победили бы, если б не собака. Откуда она взялась, в первый момент невозможно было понять (уже потом мы увидели, как из-за кошары вышел парень с охотничьим ружьем), да и не думал никто об этом. Глупый пес, остервенело лая, кинулся прямо под колеса. Чтобы не задавить его, рыжий крутанул влево, дал тормоза, и так хорошо начатый марш-бросок на этом, увы, закончился. Мы застряли почти у цели. До кошары — а она стояла на надежном щебенистом склоне — оставалось не больше сотни метров.

— Чтоб ты сдох, — сказал рыжий.

И хотя каждый видел вопиющее противоречие между этими словами и поступком нашего шофера, никто не стал спорить. Вот уж действительно негодный пес!

Механик пытался расшевелить застрявшую машину — давал передний ход, задний, — она, как могла, подчинялась, но это были лишь судороги. Больше того — с каждым рывком мы застревали все глубже, и теперь «газик» «сидел» на обоих мостах, его колеса почти потеряли надежное сцепление с грунтом.

Я открыл дверцу, высунул ногу, осторожно попробовал стать и тут же провалился выше щиколотки. После этого не оставалось ничего другого, как разозлиться и вести себя так, будто никакой грязи не было. Однако на последнее решимости не хватило. Подобрал полы плаща и сделавшись, очевидно, похожим на курицу, я в три прыжка достиг более или менее твердого места. Секретарь в своих высоких резиновых сапогах вылез из машины неторопливо. Матвей на всякий случай нашуupal грунт и убедился, что кирзачи имеют даже какой-то «запас мощности». С великолепной небрежностью вел себя Алик. Он ступил туфельками в грязь, будто вышел на асфальт — только тросточки не хватало. Между прочим, он со своей небрежностью и я с этими дурацкими прыжками добились одного и того же — выпачкались, промочили ноги, я вымазался даже больше, потому что, прыгая, поднимал брызги.

Решение за всех принял секретарь.

— Вы, — сказал он нам с Аликом, — идите смотреть свои скалы — это недалеко, километр, не больше. А мы будем принимать меры.

Отойдя метров на триста и оглянувшись, мы увидели, что секретарь с Матвеем тащат от кошары толстые жерди, а механик уже работает лопатой (тоже, наверное, нашлась в кошаре), освобождая машину от грязи.

— А где Леша? — подумал я вслух.

— В машине, — сказал Алик. — Он же в ботинках...

Сотни через две метров мы перевалили за гребень скалистого бугра и перестали все это видеть. Поднимаясь дальше вдоль гребня, старались выбирать щебенистые места. Мне было еще ничего: грубые башмаки с рифленой резиновой подошвой вели себя вполне прилично, но на Алика было жалко смотреть — то и дело скользил на склоне.

Открылось море. До него отсюда рукой подать. Впрочем, так повсюду на Керченском полуострове, да и вообще в Крыму — в этом, может быть, одна из его прелестей. Едешь по степи час, два, три — виноградники, пашни, сады, пустоши, привыкаешь, словно ничего другого и не может здесь быть, и вдруг — море.

Скалы были в самом деле серо-голубыми. Они выглядели по-своему хорошо, но для нас, если по совести, не представляли, увы, интереса. Это делалось ясно сразу. Мы с Аликом переглянулись и даже не стали об этом говорить. Прошли чуть дальше, надеясь увидеть что-нибудь еще,— пейзаж оставался все тот же. В этих скалах было что-то и от зубцов Ай-Петри, и от фигур выветривания долины Привидений на Демерджи, и от каменных столбов Карадага, но там сочетание всяких чудес с бездонными пропастями и неповторимым ощущением простора рождает и восторг и изумление, здесь же мы испытали только вежливое и весьма умеренное любопытство. Что поделаешь...

Спрятавшись от ветра, закурили. Ветер, кстати, усилился. Этому можно было и обрадоваться: авось разгонит тучи, подсушит дорогу — пусть не для нас, мы еще сегодня уедем, но легче станет другим. Однако на душе было паршиво. Наверно, от разочарования, которое сделало бессмысленной, ненужной эту трудную поездку (сколько же людей мы впутали в нее!)

Возвращались к машине несколько иной дорогой и нечаянно наткнулись на заброшенное мусульманское кладбище. Задерживаться не стали, только глянули по сторонам: где-то неподалеку должны быть остатки, развалины деревни. Так и есть. Заросшие бурьяном и колючим кустарником фундаменты, следы улиц, обрушившийся, заваленный камнями колодец... Еще один рубец на теле многотерпеливой земли. Мне почему-то вспомнилось раскопанное археологами на азовском побережье небольшое городище — я туда забрел случайно лет восемь назад. Судя по всему, то была забытая всеми греческими богами торговая фактория на самом краю (по тогдашним понятиям) земли. Всего несколько домов. Следы поспешного бегства. От кого? Куда? А ведь жили себе люди, ловили рыбу, сеяли хлеб, стригли овец, растили детей, с надеждой или тоской смотрели, как и мы сейчас, на небо...

— Ну что? — встретил нас Матвей.

Секретарь с механиком тоже оторвались от работы. Толстой жердью они пытались приподнять машину.

Я растерялся. Сказать правду было невозможно, просто не поворачивался язык.

— Очень интересно, — ответил Алик. — Просто удивительно. Как раз то, что нам нужно. Летом приедем еще раз.

— Порядок, — сказал Матвей. — А теперь подключайтесь сюда, попробуем толкнуть козла. Заводи! — скомандовал он.

Леша сидел на своем месте водителя. Ботинки у него были сухие и чистые. Мы облепили машину. Пятеро здоровых мужиков — неужели ничего не сможем сделать? И-и-и раз, два — взяли! Ничего не смогли.

Скоро все мы были заляпаны, а толку никакого.

И опять решение принял секретарь:

— Нужен трактор. Вы оставайтесь, ждите, а мы пошли.

— Нехорошо, — сказал Алик. — Мы будем прохладиться, а вы — выручать нас?

— Че споришь? — возразил механик. — Через час вернемся с трактором.

Я глянул на приборный щиток машины: часы показывали пять. По зимнему времени уже вечер, однако было еще светло. Правда, ветер усиливался и заметно похолодало. Изо всех щелей (а их в машине с брезентовым верхом хватает) противно дуло. Алик начал постукивать ногой об ногу, но продолжал твердить:

— Нехорошо с ребятами получилось...

— А с Матвеем хорошо? — не выдержал я.

— Бросьте вы ерунду,— вмешался Матвей.— Вы что, за уши кого-нибудь с собой тянули? Все в порядке. Нам еще домой на ужин поспеть нужно.

— Бензин кончается,— сказал Леша.

— Заправят,— успокоил Матвей.

Время тянулось ужасно медленно. Горизонт на юго-западе все еще светлел.

Я повернулся к Алику:

— Твоя речь за столом все решила. Механик сразу растаял.

Матвей хмыкнул, и это, должно быть, означало: лучше бы он не таял.

Алик отозвался:

— Славный человек.

У него, по-моему, все были славные.

Ветер сдержанно гудел, обтекая машину. Похоже, что он только пробует силу, а по-настоящему разойдется позже.

— Я тоже ведь здешний,— сказал Алик.— Не совсем, конечно.

— Откуда?

— Из Феодосии. Помните, Волошин пишет о стариках, которые знали Гарибальди — он приходил в Феодосию юнгой на итальянских парусниках?

— Что-то припоминаю.

— У Гарибальди тетка была в Феодосии — торговала колбасой. Ее еще почему-то называли на немецкий манер — фрау Гарибальди.

— Да-да, читал.

— Так вот эта фрау Гарибальди приходилась кем-то моей бабушке.

— Тоже итальянке?

— По-видимому.

В разговор влез Леша.

— Родственнички за границей? — сказал он с деланной строгостью.

Метель налетела неожиданно. Сначала послышался шорох, будто кто-то гладил брезент шершавой рукой, а вслед за этим ударил снежный заряд. Сразу стало темно, как бывает только ночью во время метели. Снег кажется черным, и ни тебе неба над головой, ни дороги под ногами, ни ясного понимания, что делать и куда идти. Леша включил фары, но их свет пробивался от силы метра на полтора. Не нужно было особенного воображения, чтобы представить себе нашу машину такой же одинокой в огромном мире, как лодка в океане или космический корабль на дальней трассе. Скорее наоборот — нужно было напрячься, чтобы поверить в близость людей и жилья. Буран ошеломил своей внезапностью и силой.

Шесть, половина седьмого — свистопляска не прекращается.

— Жди их теперь,— пробурчал Леша.— Сидят в тепле, водку жрут. Кому охота в такую погоду соваться в степь...

— Буран захватил их на полдороге,— сказал Алик.— Как бы не заблудились.

Меня это тоже тревожило. Ребята как будто крепкие и местность знают, однако мало ли что случается.

— Ждем до семи,— решил Матвей.— Если трактора не будет, свяжемся веревкой и пойдем пешком.

— В гробу мне снились такие прогулки,— заявил Леша.— Идите сами. Я машину не брошу.

— Сколько бензина?

— Четверть бака.

— Оставайся,— согласился Матвей.

Однако без десяти семь послышался рокот мотора. Сперва он еле доносился в мощном гуле бурана, а потом сразу усилился и оказался вдруг рядом. Леша начал сигналить и зажег фары.

Как все сразу переменялось! К рыканью трактора присоединился негромкий, простуженный голос нашего «газика» (он что-то начал чихать). Огней горело столько, что хоть начинай киносъемки. Обрадованный, я выскочил на сверкающую снегом и словно дымящуюся дорогу и опять провалился по щиколотки в грязь. Матвей вылез вместе со мной. От трактора к нам спешила фигура — это был секретарь.

— Может, поехали к нам? Заночуете у меня...

— Какой ночлег! Мне завтра с утра выступать на совещании. Да и время — восьмой час.

— Время детское,— согласился секретарь и крикнул Леше: — Трос есть?

— Цепляйте своим,— ответил Леша, не выходя из машины.

Секретарь замахал руками, и трактор двинулся мимо нас. Сзади у него тоже горела сильная фара.

Секретарь перебрался опять к нам, механик остался на тракторе. Тракторист, раскоряченной черной тенью мелькая в скрещении прожекторов, закрепил трос, дизель угрожающе взревел, и мы, покачиваясь, словно лодка на волнах, двинулись наконец в обратный путь.

— Вам повезло,— сказал секретарь,— трактор со второго отделения.

«Ага! — сообразил я.— Значит, довезет не только до этого села — нам и дальше по пути».

Минут через сорок остановились; секретарь стал прощаться:

— Счастливо вам. Извиняйте, если что не так.

Спрыгнул с трактора и подошел механик.

— Че тоскуешь? — спросил Алика: он его явно отличал.— В такую погоду только песни кукарекать...

Матвей отошел с ними к трактору, из кабины вылез тракторист, о чем-то они недолго совещались, а потом секретарь и механик будто сгнули в метели. Я тревожно вглядывался в ту сторону, куда они пошли,— ничего не видно. Село, однако, было где-то совсем рядом.

И опять мы послушно тащимся на буксире.

— Бензин будет,— сказал Матвей, усаживаясь рядом с Лешей.

— А дорогу сами найдем?

Вопрос резонный. Сюда-то мы ехали днем. И метель. Она, похоже, не собиралась утихать. Правда, заметно подморозило, но не настолько, чтобы дорога стала твердой. Значит, можно где-нибудь и застрять... А от второго села, куда мы теперь тащимся, до насыпного щебенистого шоссе километров двенадцать. В обычных условиях это, конечно, пустык, но сейчас?

Матвей понимал наши сомнения, поэтому и дал возможность помолчать, поразмыслить, а потом сказал:

— Я с трактористом договорился. Он нас и дальше потащит.

Фантастическая, нескончаемая ночь. Метет буран, ревет впереди трактор, незнакомый человек волочит нас на привязи по незнакомой дороге... Я почему-то вспомнил войну. Нет, не что-нибудь конкретное, а войну вообще. Она чаще всего у меня связывается с зимой, ночью и бездорожьем.

Что еще нас ждет сегодня? Я готов, кажется, к чему угодно. Село? Действительно неожиданность. Как это мы умудрились не заблудиться? Какие-то баки. Бензохранилище? Нам ведь нужно еще заправиться. Остановились.

— Ведро есть? — спрашивает тракторист. Даже теперь, когда он подошел вплотную, его лицо нельзя рассмотреть.

— Нет, — отвечает Леша.

Врет, скотина, — ведро в багажнике. Просто не хочет вылезать из машины на ветер. Вылезаем мы с Матвеем. Алика приходится уговаривать, чтобы сидел и не рыпался: он начал кашлять.

Тракторист тащит склеенное из автомобильной шины резиновое ведро. С заправкой возимся минут двадцать. Руки заоченели. Странно — мороз, должно быть, небольшой. Что значит ветер! Земля начала звенеть под ногами. Хорошо! Ветер забивает дыхание, норовит сорвать шапку (не дай бог — тут же унесет, не найдешь), вырывает из рук ведро. Видимости по-прежнему никакой. Уж лучше туман и оттепель, чем такой снегопад. Впрочем, кому что нравится...

Опять едем. Снова остановились.

— Что случилось?

— Забегу домой, переоденусь.

Да, конечно. Его лицо я не смог разглядеть, но то, что телогрейка покрылась коростой льда, было хорошо заметно. Неудивительно: целый день под дождем, а к ночи мороз. Если мы чувствуем себя не очень уютно, то каково же ему?

Кстати, который теперь час? Ого! Начало одиннадцатого. Значит, в пути все было вовсе не так гладко, как думалось. Восемь километров ехали два с половиной часа. Ну что ж, к утру, надо думать, Матвей как раз и поспеет на свое заседание.

Безит тракторист. Жует, кажется, что-то на ходу. Ах, как засосало в желудке!

— Ты помогай мне! — кричит тракторист. — Быстрее доедем.

Леша поднимает руку: понял, будет сделано.

Поехали.

Наш «газик» не просто тащится на прицепе, а медленно едет вслед за трактором. Трос слегка провисает. Стоит нам чуть-чуть застрять, как трактор тут же исправляет дело — легкий рывок, опасное место остается позади, и мы опять катим чуть ли не самостоятельно. Но не зарываться, не хорохориться! Вот Леша прибавил скорость, слабина троса увеличилась, а тут яма — мы застреваем, и немедленно следует жестокий рывок, от которого машина не то что скрипит, а стонет.

— Что ты делаешь? — чуть не плачет Матвей. — Раму порвешь, раму...

Видимости по-прежнему никакой. Качка усиливается. Похоже, что мы едем напрямик через поле, прямо по пахоте. Неужели сблизись с дороги? Не хотел бы я быть сейчас на месте нашего тракториста...

Не могу понять — что меня тревожит? А ведь что-то тревожит уже несколько часов, с самого начала этого бурана... Ага! Вот! Поймал! Обрыв у озера. Может, потому и едем по пахоте, чтобы держаться подальше от него? Но если так, то позади почти половина дороги. Неприятное место этот обрыв. Если случится падать, раза четыре успеем перевернуться.

Да, по времени вполне может быть половина пути, едем мы довольно резко. Предупреждающе мигнула задняя фара трактора. Что-то случилось? Останавливаемся. Обороты дизеля упали до самых малых. А ведь и ветер стал, кажется, чуточку полегче. Так что же случилось? С наветренной стороны послышался лай собак. Напряженно прислушиваемся: затих, затерялся в ветре и опять послышался. Недалеко село.

Неужели это конец самого трудного участка пути и дальше мы поедем своим ходом? Просто не верится и по времени как будто не

выходит. Но в такую ночь все может быть, с этим я уже примирился. Интересно, как встретит нас шоссе? Заносами и гололедом? Новый снежный заряд смазал все звуки. Взревел дизель, и мы снова решительно двинулись вперед.

На этот раз в свете фар возникают какие-то строения. Как мы не натываемся на них и находим правильный путь? Наконец остановка. Тракторист соскакивает с машины и бежит к нам:

— Все, ребята, больше не могу...

— Конечно, конечно,— говорю я ему, полный благодарности и радости, потом поворачиваю голову и сначала ничего не понимаю, просто немою: я вижу бак, у которого мы час назад заправлялись бензином. Резиновое ведро, уходя, мы надели на кран, и теперь его раскачивает ветер.

— Не могу, ребята, пропадем...— Тракторист трясет головой, словно отделяваясь от наваждения.— Детишек жалко — не могу... Заночуем у меня, а утро вечера мудренее...

Во всем этом я не пойму одного: зачем он просит нас, вместо того чтобы послать к черту? Конечно, остаемся — какой разговор! Все ясно: трактор и «газик» поставим во дворе. Это совсем недалеко, метрах в трехстах,— тем лучше.

— Тут-то я уже не заблужусь,— находит силы пошутить тракторист.

Вот и прекрасно. Но одна просьба: может, подъедем по дороге к конторе? Тут ведь тоже есть контора? Матвей Матвевичу нужно позвонить, предупредить, что завтра может опоздать на совещание — у него назначено очень важное совещание. Да и жена беспокоится, сами понимаете. Кстати, который час? До полночи осталось совсем немного...

Пока Матвей пытался проникнуть в контору (ничего из этого не получилось), мы с Аликом укрылись от ветра на крыльце соседнего дома — сидеть в машине стало уже невозможно. Изнутри дома доносились странные звуки. Мы насторожились.

— Радио забыли выключить? — предположил Алик.

— А при чем тогда топот?

Алик решительно дернул наружную дверь. Впереди был темный коридор, но сквозь щели пробивался электрический свет. Музыка и топот стали слышнее. Мы открыли вторую дверь и остановились на пороге: в крохотном зале деревянного клуба шли танцы. Гармонист сидел на сцене, а внизу кружились пары в сапогах, ватниках, пальто, платках и шапках. Было накурено и душно. Парней не хватало, и девушки танцевали с девушками.

— Да заходите, чего там...— говорил тракторист, приведя нас к себе, но мы все-таки разулись в прихожей — немисливо было в таком виде идти в жилое помещение. Пальто и плащи тоже оставили здесь.

Мы едва ступили на порог, а хозяйка уже хлопотала. Как я понял потом, в доме были две комнаты, прихожая, маленькая верандочка и кухня. Но зимой отапливалась только одна комната (в ней спали дети) и кухня. Заглянул в эту комнату: занавешенное рядом (чтоб не дуло) окно, две кровати и шкаф. Обстановка спартанская. На кухне тоже стояла двупальная кровать. Хозяйка перенесла сюда полуторагодовалого крепкого и круглого, как камушек, парня. Он не проснулся, только начал смешно морщиться, оказавшись на свету. Сонная девочка лет десяти — одиннадцати перешла на другую кровать сама. Это были самый младший и самая старшая. Для нас освободили их место. Двое других детей оставались на своей кровати.

— Кому-то придется на полу... — полувопросительно сказала хозяйка.

— О чем говорить! Конечно! — воскликнули мы шепотом.

Этой женщине, судя по всему, было года тридцать два — тридцать три, но выглядела она старше. Удивительным было сочетание натруженных рук и нежнейшего, почти бескровного лица. Про такие лица говорят: все насквозь светится. Никаких даже простейших косметических ухищрений она явно не знала, ей было просто не до них, хотя они, наверное, и не помешали бы.

Я все пытался вспомнить, у кого из живописцев встречаются такие простые, некрасивые, но по-своему значительные женские лица. Не такими ли изображали средневековых мадонн? Что-то святое и истовое было в сочетании худобы этой женщины с налитостью, крепостью, румянцем спящего мальчика.

Рассмотрели мы наконец и своего виновато улыбавшегося тракториста. Умылись, сливая друг другу над ведром, перекусили за одним столом и, пожелав хозяевам спокойной ночи (хотя какая у них могла быть спокойная ночь — вчетвером, вместе с детьми, на одной кровати), удалились в отведенную нам комнату. Алик с Лешей легли на что-то постеленное на полу, а мы с Матвеем по-царски устроились на кровати.

Проснувшись утром, я услышал:

— Бо-ро-да...

— А у того усы...

— Фу! Рыжие...

Обсуждали меня с Аликом. Я улыбнулся и открыл глаза. С противоположной кровати смотрели две девчушки.

Тракторист позавтракал и уже натягивал телогрейку. Хозяйка расчесала волосы своей старшенькой и теперь заплетала ей косички. Потом оставила девочку возиться с братом, а сама неслышно зашла в комнату.

— Пора, — сказала она детям. — Пора вставать.

Меньшую девочку она перенесла на кухню, а другая, как испуганный котенок, шмыгнула мимо нас вслед за матерью.

Однако нужно было и нам подниматься. Приятные открытия начались одно за другим. Во-первых, погода стояла изумительная. Ветер совершенно упал, снегопад прекратился, а легкий морозец держался, сушил землю. Солнце еще не взошло, но день обещал быть ясным, солнечным. Во-вторых, наши носки, обувь, одежда были высушены, а обувь и вымыта перед этим.

— Когда же вы встали? — изумленно спросил Алик, имея в виду, когда она успела сделать работу по дому, да еще и позаботиться о нас.

Женщина молча улыбнулась. Только потом я понял смысл этой улыбки. Дело в том, что наша хозяйка по существу и не ложилась больше, так, может, чуть прикорнула в ногах у мужа и детей. Мы легли в первом часу, а в четыре ей уже нужно было бежать на ферму доить совхозных коров; после этого дома нужно подоить собственную буренку, задать ей сена, приготовить теплое пойло и покормить кабанчика. Сейчас, управившись по дому, она опять торопилась на ферму.

Но вернемся к перечню приятных открытий. В-третьих, на плите стояла выварка с горячей водой. Жена механизатора, хозяйка понимала, что значит для шофера в морозное утро ведро горячей воды. Этому лодырю Леше везет — всегда о нем кто-нибудь позаботится. Впрочем, то же самое можно было сказать на сей раз и обо мне...

Мотор нашего «газика» послушно, без всяких уговоров завелся.

Минут через десять мы тронулись. Чтобы не сглазить, о погоде и дороге (ох уж эта дорога!) помалкивали. Только когда выехали на асфальт, Матвей глянул на часы и удовлетворенно сказал:

— Успеваю.

7. Как аргонавты в старину

Почему бы кому-нибудь не сочинить музыку на слова Катулла?

...И торо-о-о-пяты в путь веселый ноги...

Поют же Маяковского (я даже слышал по радио).

А покамест я своим не очень приятным голосом распеваю Катулла как попало. В доме в такие дни воцаряется атмосфера тревожного ожидания: куда теперь нелегкая понесет кормильца и непутевого отца семьи? Хотя каждому ясно, что те несколько дней, пока меня не будет, жизнь станет тише и спокойнее. Все-таки женщины не во всем нас понимают. Им, черт возьми, недоступно наслаждение битвой жизни, гром ударов их пугает. Правда, теперь легче, я не один. Сын (как и я, он лишен вокальных данных) тоже грозитя:

Как аргонавты в старину,
Покинем мы свой дом
За тум-тум-тум,
За тум-тум-тум,
За золотым руном...

Эту песенку он вычитал у Джека Лондона.

Мы собираемся в дорогу вместе. Много ли нам нужно! Палатка-серебрянка готова, топорик, котелок, гречневый концентрат, хлеб, кусок сала, фляга, ножи, алюминиевые кружки... Два рюкзака — большой и маленький.

— Нести будем по очереди, — говорит сын.

— Это точно, — соглашаюсь я. — Сейчас я понесу большой, а года через три поменяемся.

Тут мне приходит в голову, что даже та джеклондоновская песенка имеет отношение к нашим краям — аргонавты для нас совсем не чужаки.

— А ты знаешь, почему руно называется золотым?

Он знает. Да и что, собственно, тут знать? Все было очень просто. С помощью бараньих шкур в старину, говорят, добывали золото. Золотой песок оседал, запутывался в шерсти, и руно становилось золотым...

Перед нами не стоит проблема маршрута. Мы все туда же — по Киммерии. А все-таки? Парня интересуют детали, и тогда я рассказываю с давних пор застрявшую в памяти историю, о которой сам до сих пор толком не знаю, правда это или байка.

...Однорукий чабан заметил под кустом терна что-то блестящее, похожее на отполированный дождями и ветрами бараний череп, и просто так, от нечего делать ударил герлыгой по этому черепу. И вдруг случилось невероятное, произошел как бы бесшумный взрыв: взлетел вырванный с корнями терновый куст, взметнулся клуб пыли, полетели во все стороны куски зачерствевшей земли.

Чабан онемел и оцепенел, перестал понимать, где он и что с ним происходит. Он видел только этот клуб пыли, а в нем своих словно взбесившихся овчарок и что-то громадное, с чудовищной силой и быстротой извивающееся.

Когда чабан пришел в себя, одна собака была убита, а две уцелевшие с остервенением рвали еще конвульсирующее тело какого-то огромного гада.

То, что оказалось однорукому бараньим черепом, было головой громадной змеи.

Вскоре после того чабан, говорят, умер. Было это еще до войны.

Эту историю я слышал от старожиллов Казантипа. Не называю размеров гада, потому что сам его не видел, а то, что мне говорили, звучит поистине невероятно. Впрочем, те же старожилы уверяют, что тело змеи было куда-то отправлено. Чуть ли не в Москву...

Я готов развести руками перед возможными сомнениями людей ученых. Легенда? Шут его знает... Правда, я говорил с человеком, который утверждал, что сам видел убитого гада. И потом нужно знать Казантип, это удивительное место, от которого можно ждать всего.

Всхолмленная, покрытая древними курганами каменистая степь, обрывистые берега, поразительной красоты пустынные бухточки, где на скалах греются после охоты ужи-рыболовы.

Сам мыс Казантип, давший название округе, действительно похож на казан. Когда смотришь сверху на эту нежно-зеленую чашу, не можешь отделаться от мысли, будто попал в какой-то затерянный мир, в сказку. А дальше — на восток и на запад — по берегам Меотиды, нынешнего Азовского моря, раскиданы остатки древних селений и греческих факторий, а еще дальше изящной дугой изогнулась Арабатская стрелка...

Наверное, это знакомо каждому: смотришь вокруг и думаешь — где я все это видел? Такое чувство я испытал, оказавшись впервые на мысе Казантип.

Снова и снова спрашивал себя: где? И наконец понял: на картинах Константина Богаевского. Жаль, что мы не можем видеть в оригинале его пейзаж, который называется «Киммерия»... Но есть стихи Максимилиана Волошина «Киммерийские сумерки» и в них такие строки:

Старинным золотом и желчью напитал
 Вечерний свет холмы. Зардели красны, буры
 Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
 В огне кустарники, и воды, как металл.
 А груды валунов и глыбы голых скал
 В размытых впадинах загадочны и хмуры.
 В крылатых сумерках — намеки и фигуры...
 Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал,
 Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам.
 Чей согнутый хребет порос как шерстью чобром?
 Кто этих мест жилец?..

Удивительно достоверна здесь каждая деталь пейзажа, обстановки. Кто этих мест жилец? Право, подумаешь: а почему бы им не быть и тому громадному гаду, которого разорвали собаки однорукого чабана?

Я стал расспрашивать местных жителей: не приходилось ли им и позже сталкиваться с чем-либо подобным? Приходилось. То на каменных осыпях, то в лесопосадках.

— Гляжу — ползет... Да быстро так. Толщиной с мою ногу, а длиною шагов в пять...

Однако, судя по описаниям, то были просто большие полозы.

— А той змеи, значит, не было? — спросил сын. — А собака — кто же убил собаку? И вырвал куст терна?

Я тоже толком сам ничего не знаю. Был змей или не был? Я так искал подтверждения тому, что он был, что они стали находиться.

Как-то мой приятель рассказал, что несколько лет назад громадный змей был убит на Тарханкуте. О таком же существе, которое вело ночной образ жизни и обитало в большой норе под старой шелковицей неподалеку от горной деревни Ай-Серес, рассказывала почтенная преподавательница, не раз проводившая лето в той деревне.

В какой-то степени перекликалось со всем этим одно место из книги В. Х. Кондараки «В память столетия Крыма», изданной в 1883 году (правда, это не ахти какой авторитетный источник). По народным преданиям, пишет Кондараки, страну эту в былые времена периодически посещали какие-то чудовищные змеи. Сам автор выражает недоверие этим рассказам, но тут же приводит «важный факт, свершившийся в 1828 году». По донесению евпаторийского исправника, говорит он, в уезде появилась огромная змея, которая нападала на овец и высасывала из них кровь. Обстоятельство это подтверждалось и частными заявлениями. Начальник губернии вынужден был командировать чиновника с несколькими казаками, чтобы убить чудовище и, если окажется возможным, снять с него шкуру. После долгих поисков удалось увидеть змею, но она скрылась в громадной расселине возле деревни Зумбрюк.

Далее Кондараки пишет: «Несколько времени после того один молодой татарин, пастух, вооруженный дубиной, возвращался по почтовой дороге в селение, когда вдруг перед ним выползла змея, имевшая приблизительно 5 аршин длины, заячью голову, от которой шла черная полоса по шее, представляющая подобие гривы. Татарин удачным ударом дубинкою размозжил ей голову и изуродовал туловище. Затем пошел дальше, восхищаясь тем, что избавил уезд от страшного врага, но, по показаниям его, не прошел и двух верст, как заметил, что за ним что-то быстро движется по дороге, подымая пыль. Пастух пришел в ужас, заметив змею такой же величины и наружности, какую только что убил. Татарин бросился на нее и положительно разбил на мелкие куски. Уведомленный об этом чиновник отправился на место события снять кожу, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Туземцы, которым пришлось видеть эти трупы самки и самца, пришли к выводу, что змеи эти не могли принадлежать стране и что они появились из жарких стран».

В истории этой немало фантастического (заячья голова, грива...), однако что, если в ней есть и какая-то реальная основа? Легенды о громадных змеях оказались в Крыму настолько распространенными, что авторы некоторых трудов по фауне полуострова считали своим долгом специально их опровергать: никаких, мол, удавов и питонов у нас нет. Просто у страха-де глаза велики, а в действительности встречи происходили с полозами. Так оно, наверное, и есть. Но что, если на Тарханкуте, в Казантипе, в Ай-Сересе людям встречались все-таки не полозы? А?

— Не будем гворить об этом маме, ладно?..— предложил сын.
Я тут же согласился.

Но разве дело только в каких-то змеях? Киммерия может удивить и не этим. Иногда мне кажется, что я готов искать даже перья с крыл легендарного грифона, некогда бывшего символом этих мест.

А что, если нам удастся подружиться с дельфинами? В Керченском проливе, занятые охотой, они подпускают людей к себе совсем близко. Возле мыса Хрони мы как-то купались в одной бухточке с дельфинами. Они плавали рядом и просто не обращали на нас внимания.

Любопытная деталь. Недавно в античном захоронении был, говорят, найден сосуд с изображением Амура, плывущего верхом на дельфине.

А может, нам просто посчастливится найти на берегу выброшенную морем древнюю монету.

Из каждой поездки я что-нибудь привожу. Черепки, камешки, обрывки документов и удивительные, как мне кажется, истории. Как-то подобрал замерзавшую на кромке берегового льда гагару, а то нашел заржавленный штык, однажды мне досталась амфора с клеймом древнего гончара, а в другой раз я привез найденную в заброшенном подzemелье ручную гранату времен минувшей войны.

Так или иначе, но и сейчас нас что-то ждет. В каменоломнях ли Ак-Моная, на Сивашах, в Керчи или в окрестностях разрушенной и почти забытой крепости Арабат. Совсем не обязательно приходить сюда в роли первооткрывателя — открываем-то мы не только для людей, но и для себя. Да и жизнь не стоит на месте (прошу прощения за банальность). Одно исчезает, рассыпается в прах, другое появляется, третье предстает в неожиданном качестве. Примеров — сколько угодно. Вот я только что вспоминал о Сивашах. Древние называли их болотами, топами Меотийскими, наши деды — Гнилым морем, а сейчас люди кружатся вокруг них, как пчелы у меда: Сиваши становятся неисчерпаемым источником сырья для химии. Пример вполне оптимистический.

Похоже, что очнулся от долгого сна Старый Крым — здесь стронтся что-то большое. Значит, тоже будут перемены.

Люди, верно, остаются те же. Разве что года через три мы с сыном поменяемся рюкзаками. Но вот Поважного, как мне сказали, можно поздравить с орденом Красной Звезды. Хотелось бы повидать старика, узнать, что еще у него нового.

Так много хочется успеть, столько еще нужно повидать... Ладно, а дальше что? Все то же. Я, наверное, просто не смогу оторваться от своих поисков Киммерии.

В «Книге Марко Поло» об этом говорится: «И сказал он... нехорошо, если все те великие диковины, что он сам видел или о которых слышал правду, не будут записаны для того, чтобы и другие люди, не видевшие и не слышавшие этого, могли научиться из такой книги».

Возможно, кому-нибудь покажется, что слишком самонадеянно и смело для автора относить такие слова к самому себе. Ну что ж, я повинюсь и еще раз попрошу прощения.

Ялта.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

СНЕГОПАД

Ах, как он плещет, снегопад старинный,
Как блещет снег в сиянье фонарей,
Звенит метель Ириной и Мариной
Забывших январей и февралей.

Звенит метель счастливыми слезами,
По-девичьи, несведуще, звенит,
Мальчишескими крепнет голосами,
А те в зенит... Но где у них зенит?!

И вдруг оборвались на верхней ноте,
Пронзительной, тоскливой, горевой...
Смятенно и мятежно, на излете
Звучит она над призрачной Москвой.

А я иду моим седым Арбатом,
Твержу слова чужие невпопад...
По переулкам узким и горбатым
Опять старинный плещет снегопад.

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. XVIII ВЕК

Малаша, Груня или Устя,
Простой дворяночкой она
Была небось из захолустья
В Санкт-Петербург привезена.

И, терем девичий покинув,
Свалилась, словно с облаков,
В шум неохватных кринолинов,
В стучанье красных каблучков.

Арапы распахнули двери,
И ей большой открылся свет,
Веселый двор Петровой дщери,
Императрикс Елизавет.

Из тысяч барщин и оброков
Слагался тот предолгий бал,
Тот бал, где пылкий Сумароков
Вручал ей свежий мадригал.

И где чужой и нашей веры,
Пускаясь с юной нимфой в пляс,
Теряли разум кавалеры
От блеска глупых круглых глаз.

Наверно, русское запечье
Дало ей силой колдовской
Нагие руки, грудь и плечи
С их нелюдской голубизной.

Теснился лиф, прямой и узкий,
Розан вздымая на груди,
Когда к ней шел посол французский,
Хромой маркиз де Шетарди.

И тут-то — пьяница из пьяниц,
Игрок, распутник и наглец —
Ну, прямо с балу! — лейб-кампанец
Спроволил деву под венец.

Он с нею жил, как жил в пехоте,
И водку пил, и карты гнул,
Пока с похмелья на охоте
Однажды шею не свернул.

С приданным дочек замуж выдать,
В гвардейцы вывести сынков,
Себя, вдовицу, не обидеть —
Тут сколько нужно медяков!

Таскала за бороды старост,
Лбы забривала у парней,
Сводила лес... И даже старость
Не исхитрялась сладить с ней.

И даже Стикс, и даже Лета,
И даже рек иных разлив
Не смыли черт ее портрета,
Нам навсегда их подарив.



В. ШУКШИН

★

В СЕЛЕ ЧЕБРОВКА

Рассказы

Суд

Пимокат Валиков подал в суд на новых соседей своих, Гребенщиковых. Дело было так.

Гребенщикова Алла Кузьминична, молодая, гладкая дура, погожим весенним днем заложила парниковую грядку у баньки пимоката, стена которой выходила в огород Гребенщиковых. Натаскала навоза. А чтоб навоз хорошо прогрелся, она его, который посуше, подожгла снизу паяльной лампой, а сверху навалила что посуше и оставила на ночь. За ночь он высох и загорелся огнем. И стена загорелась... В общем, банька к утру сгорела. Сгорел еще сарай дровяной, кизяки, плетень... Но Ефиму Валикову особенно жалко было баню: новенькая баня, год не стояла, он в ней зимой пимы катал... Объяснение с Гребенщиковой вышло бестолковое: Гребенщикова стала уверять страхового агента, что навоз загорелся сам.

— Самовозгорание! — твердила она и показывала агенту и Ефиму палец. — Понимаете?

Это «самовозгорание» вконец обозлило и агента тоже.

— Подавай в суд, Ефим, — сказал он. — А то нас тут за дураков считают.

Валиков подал в суд. Но так как дело это кляузное, никем в деревне не одобряется, то Ефим тоже всем показывал палец и пояснял:

— Оно бы — по-доброму, по-соседски-то — к чему мне? Но она же шибко грамотная!.. Она же слова никому не дает сказать: самозагорание, и все!

Муж Гребенщиковой был в отъезде. Когда приехал, они поговорили с Ефимом.

— Неужели без суда нельзя было договориться? Заплатили бы вам за баню...

— Это уж ты сам с ней договаривайся, может, сумеешь. Я не мог. Мне этот суд нужен... как собаке пятая нога.

— Не нарочно же она подожгла.

— А кто говорит, что нарочно? Только зачем же людей-то дурачить! Самозагорание...

— Самовозгорание. Это бывает вообще-то...

— Бывает, когда назем годами прет да в куче — слежалый. А у ней — за одну ночь самозагорелся. Не бывает так, дорогой Владимир Семеныч, не бывает.

Владимир Семеныч побаивался жены, и его очень устраивало, что дело уже передано в суд, и, стало быть, чего тут еще говорить.

— Разбирайтесь сами.

— Разберемся.

И вот — суд. Суд выехал из района по другому случаю, более тяжелому, а заодно решили пристегнуть и это дело, погорельское. Судили в сельсовете...

Шел Ефим на суд и нервничал. «Выходит, иду человека топить, — думал он. — На кой бы она мне черт сдалась, если так-то, по-доброму-то?» И вспоминал, как гладкая Алла Кузьминична когда толковала про самовозгорание, то на Ефима даже не глядела, а глядела на страхового агента: мол, Ефим Валиков все равно не поймет, что это такое — самовозгорание.

Протез Ефим не надел, шел на костылях — чтоб видно было, что он без ноги.

«С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как борова в соломе. Так что мое дело правое».

Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась.

«Ох ты, горе мое! — не желает мамзель с нами здороваться», — посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтоб этой «баронке» так бы прямо и сказали: «Чем же тут гордиться-то, милая? Подожгла человека, да еще нос воротишь!»

Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминичну, на Ефима...

— Рассказывайте.

Ефим подумал, что надо, наверно, ему первому начинать.

— Видите ли, в чем тут дело: вот эта вот гражданка...

— Вы уж прямо как враги — «гражданка»... Соседи ведь.

— Соседи, — поспешил Ефим. — Да мне-то весь этот суд — собаке пятая нога...

— А подаете.

— Дак она же платить нисколько не хочет! А баня была новая, у меня вся деревня свидетели.

— Как все это произошло, Алла Кузьминична?

— Я разбила парничок и немного подогрела навоз...

— Подожгли его?

— Да, но он неосторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью.

— Во! — изумился Ефим. — Да я, можно сказать, родился на этом навозе! Я его — как себя помню, так помню, что ворочал его — так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом не забывайте: мы каждый год кизяки топчем! Уж я его ворочал-переворочал, этот навоз, как не знаю...

— Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было... Ну и что?

Судья смотрел на Аллу Кузьминичну, кивал головой.

— Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже, — продолжала Алла Кузьминична.

Ефим затосковал: «Сейчас докажут, что я верблюд».

— Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб, но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я этот парничок

разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород, поэтому тут криминала тоже нету.— Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична.

«Надо было ордена надеть»,— подумал Ефим.

— Я выражаю сожаление товарищу Валикову, это все, что я могу сделать.

Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения, просто сказал:

— Надо платить, Алла Кузьминична.

— Почему? — Алла Кузьминична растерялась.

— Что?

— Почему платить?

— Что, неужели судиться будете? Стыдно, Алла Кузьминична...

Алла Кузьминична покраснела.

— Вы что, тоже отрицаете самовозгорание?

— Да какое к дьяволу самовозгорание! Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в пять минут, и будет... неловко. Договоритесь по-человечески с соседом... Сколько примерно баня стоит, Валиков?

Ефим тоже растерялся... И второпях — от благодарности — крепко занизил цену.

— Да она, банешка-то, хоть называется новая, а собрал-то я ее так, с бору по сосенке...

— Ну сколько?

— Рублей двести, двести пятьдесят так... Да мне только лес привезти, я сам срублю! У их же машины в совхозе, попросить директора... Что, им откажут, что ли?

— Там ведь еще что-то сгорело?

— Кизяки, сараюха... Да сараюху-то я из отходов тоже сделаю...

— Двести пятьдесят рублей,— подытожил судья.— Мой совет, Алла Кузьминична: заплатите добром, не позорьтесь.

Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима.

— Не могу же я сразу тут вам выложить их!..

«Ах ты, гордость ты несусветная!» — пожалел ее Ефим. И кинулся с подсказками:

— Да мне их зачем, деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну, и заплатите мне, как вроде я нанял человека рубить... Рублей шестьдесят берут, ну и кормежка двадцать — восемьдесят рэ. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром, меня это не касается. А оно так и выйдет — даром: вы молодые специалисты, вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы...

— Согласны? — спросил судья Аллу Кузьминичну.

— Я посоветуюсь с мужем,— резко сказала Алла Кузьминична.

«Ну, тот парень — не ты, артачиться зря не станет».

С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд, какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил и какой, между прочим, сам Ефим — пальца в рот не клади. Едва дотерпел до дома.

Жена Ефима, Марья, сразу — по виду мужа — поняла, что обошлось хорошо.

Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать:

— Все в порядке! Ох, судья попался!.. От башка! Сразу ей хвост прищемил. Как, говорит, вам не стыдно! Какое самозагорание? Подождла — значит, надо платить.

— Гляди-ко.

— Что ты! Он ей там такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите: человек на одной ноге...— Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал.— Да он, говорит, вот возьмет сейчас, напишет куда надо, и тебе зальют сала под кожу. У него, грит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где, а ты с им — судиться! Да он только слово скажет, и ты станешь худая...

Марья понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем-то, ведь присудили платить за баню! Присудили.

— Господи, есть же на свете справедливые люди.

— Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученая ты голова — не совестно? Проть кого пошла?! Да он, грит...

— Хватит локать-то, обрадовался,— сердито заметила Марья.— Ты бы вот пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, ребятишек покормит деревенским салом.

— А то не видят они этого сала...

— Да где?! Магазинное-то сравнишь с нашим! Иди выбери с мяском да отнеси. Да скажи «спасибо». А то укустылял и «спасибо» не сказал небось. Мужик-то вон какое дело сделал.

Ефим подивился бабьему уму.

«Правда, по-свински вышло: мужик старался, а я, как этот...»

— Отнесу! Я для такого человека ничего не пожалею! Может, ему денег немного сунуть?

— Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут, а сальца — ну, взял и взял: гостинец ребятишкам.

Ефим слазал в погреб, отхватил добрый кус сала — с мяском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался жениной догадке.

«До чего дошлые, окаянные!» — думал про баб.

Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостылял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольный.

«Ведь отчего так много дерьма в жизни: сделал один человек другому доброе дело, а тот завернул оглобли — и поминай как звали. А нет, чтобы и самому тоже за добро-то отплатить как-нибудь. А то ведь — раз доброе человек сделал, два, а ему за это — ни слова, ни полслова хорошего, у него само собой пропадает всякая охота удружить кому-нибудь. А потом скулим: плохо жить! А ты возьми да сам тоже сделай ему чего-нито хорошее. И ведь не жалко, например, этого дерьма — сала, а вот не догадаешься, необразишь вовремя». Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился: трезвел он так же скоро, как пьянел. «Люди, люди... Умные вы, люди, а жить не умеете».

Судья был еще в сельсовете, собирался уезжать.

— На минутку, товарищ судья,— позвал Ефим.— Пройдемте-ка в кабинет... Сюда вот, тут как раз никого. Домой?

Судья устало (отчего они так устают, неужели судить трудно?) смотрел на него.

— Ребятишки-то есть?

— Где?

— Дома-то.

— У меня, что ли?

— Но.

— Есть. А что?

— Натек-ка вот отвезите им — деревенского... С мяском выбирал, городские с мяском любят. Нашему брату — на физической работе — сала давай, посытней, а вам — чего?.. — Ефим распутывал тряпицу, ни-

как не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь.— Вам повкусней надо... такое дело. Это ж надо так замотать!

— А что это вы?

— Сальца ребятишкам отвезете...

Судья тоже невольно оглянулся на дверь. Потом устался на Ефима...

— Что? — спросил тот.— Я, мол, ребятишкам...

— Не надо,— негромко сказал судья.

— Да нет, я же не насчет суда — дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти... А что? Это ж не деньги, деньги я бы...

— Да не надо! Вон отсюда! — Судья повернулся и сам пошел. И крепко хлопнул дверью.

Ефим остался стоять, наклонившись на костыли, с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что — не надо было с салом-то... Он не знал, что делать, стоял, смотрел на сало.

В кабинет заглянул судья.

— Сюда идут... уходи! Заверни сало, чтоб не видели. Побыстрей!

Только на улице сообразил Ефим, что ему теперь делать.

«Пойду Маньке шлык скатаю. Присоветовала! Зараза».

Хахаль

Костя Жигунов ездил в командировку в краевой центр и там зашел к земляку своему Сашке Ковалеву.

Сашка работал на стройке, жил в общежитии, в комнате на двоих... Сашка шумно обрадовался гостю.

Сидели втроем, беседовали о том, о сем, о заработках.

— Сколько в среднем выходит? — спросил Костя.

— Сто пятьдесят самое большое... Больше не дадут заработать.

— Ну, братцы!.. Надо совесть иметь. Я техникум кончил, работаю завгаром и то столько не получаю.

— Сравнил! — только и сказали строители.— Город — это город.

— Как мои там? — поинтересовался Сашка.

— Давно их не видел... Сеструху, правда, видел раза два. Ничего вроде. Ты в отпуск-то приедешь?

— Не знаю. Пошли похихалим?

— Как это?

— Ну как?.. У меня одна есть, скажем ей, она приведет еще. А чего вечер зря пропадать будет. Пошли.

Костя женился лет пять назад и ни разу еще не изменил жене, даже как-то не думал об этом. Да и случая не было подходящего.

— Хм...

— Что? Так пойдем?

— Нет, я ничего. Пошли.

Пошли. Это оказалось рядом — тоже общежитие, тоже с комнатами на двоих. «Во житуха-то! — подумал Костя.— И ходить далеко не надо».

Сашкин товарищ отвалил куда-то наособицу, а Сашка и Костя постучались в дверь, обитую дерматином.

— Пообивают двери — все казанки пошибаешь об эти скобки,— недовольно заметил Сашка.— Обили дверь — значит. проведи звонок! Так я понимаю. Нет, звонок стоит денюжку — пусть люди пальцы шибают.

— Хахали. Ходят-то...

— А?

— Не люди, а хахали.

— К ним не одни хахали ходят.— Сашка опять постучал.

За дверью молчание.

— Может, нет дома?

— Дома. Голые ходят.— Сашка еще постучал в железную скобочку.

И поморщился.

— Кто? — тоненько спросили из-за двери.

— Мы-ы! — тоже тоненько, передразнивая голосок, откликнулся

Сашка.

— Сейчас!

— Я ж говорю, голые ходят.

— Почему голые-то?

— Ну, с работы пришли... Переодеются, умываются.

— Также на стройке работают?

— Но.

— Может, мы не вовремя?

— Все в порядке,— успокоил Сашка. И крикнул:— Скоро вы там?

С той стороны двери щелкнула задвижка, хахали вошли. У Кости вдруг взволновалось сердце, когда он переступал запретный в его положении порог.

— Нинон? — удивился Сашка.— Ты приехала?

Нинон — рослая, чернобровая девушка, грудастая. Это она взволновала Костю.

В комнате жили две девушки — Нина и Валя. Костя сообразил: раз для Сашки новость, что Нина приехала, стало быть, его... хахалиха, что ли. Валя. Валя тоже милая девушка, но Нинон... Костя украдкой взглядывал на чернобровую, и ему не верилось, что просто так — ни за что ни про что, даром — судьба возьмет и подарит ему эту красавицу. Но похоже, что так: Сашка успел подмигнуть другу и показал глазами на Нину.

Сашка между тем молотил языком, и у него это получалось славно.

— Нина, ну как отдохнула?

— Хорошо. Саша. Очень хорошо.— Нина чуть ударяла на «о», выкругляла слова, подталкивала, и они катились — легко, как колесики.— Покушалась в речке... Ох, хорошо!

— Да где уж там хорошо-то? Скучно небось?

— Господи, а чего мне надо? Сходила в кино, раза три на танцы — не манит... В огороде больше копалась. За ягодами ходила.

Костя слушал девушку... И так бы и слушал, и слушал ее — не надоело бы. «Какое тут к черту хахальство! — подумал.— Тут в пору жениться на такой».

Валя была побойчей, поострей на язык, немножко пустомеля.

— А у нас... Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая ходила, волосы седила...

— Но.

— Замуж вышла за Валерку Семенова. Бригадиром...

— Он же женат!

— Бросил. Позарился!.. Доска доской, ничегошеньки нет, и вот — пожалунста.

— А дети были? У Валерки-то?

— Нет, не было. Он ходит теперь, треплется: я, мол, потому и бросил, что рожать не может. Ой!.. Посмотрим, сколь тебе эта жердь наражает! Стыдно — вот и нашел отговорку.

«Да как же это к ним так ходят — к бабам, и все? — все больше удивлялся Костя. — Приврал, видно, Сашка, хвостанул. Не похожи они на таких... Обыкновенные девки, и рассуждения у них нормальные — женские».

Сашка торопил события.

— Давайте — знаете что? — выпьем! — предложил он. Отчаянная головушка. — Ко мне как-никак друг приехал...

К изумлению Кости, девушки легко согласились.

— Валюха, мы — в магазинус, Нинон с Костей — соображают насчет картошки. Быстро! Душа горит.

И Нинон с Костей остались одни.

«Ну и что я должен делать? — растерялся Костя. — Анекдот, что ли, какой-нибудь рассказать?»

Перебрал в памяти анекдоты, какие знал — не годятся.

Нина расстелила на полу у двери газету и принялась чистить картошку.

— Вы в командировку, что ли? — спросила она.

— Ага. Надо...

Замолчали.

«Ну и фраер же я! — мучился Костя. — Совсем язык проглотил». Долго молчали.

— Зинка-то! — вдруг сказала Нина. — Надо же... замуж вышла. — И покачала головой. И усмехнулась.

«О-о! — ужаснулся Костя. — Это ж она при мне... сама с собой разговаривает. Понял? За табуретку меня принимает».

— У нас недавно случай был, — заговорил он. — Пошли бабы за малиной на остров... Берут. А с той стороны острова — протока, она летом мелсет здорово. Ну, медведь и перешел ее...

— Медведь?

— Медведь. Перебрел, значит, и тоже — к малинке, они любят ее. А одна баба у нас есть, смешная такая!.. Наткнулась на рясный куст и успевает в две руки, и успевает. Вдруг слышит: с той стороны кто-то подошел к кусту... А куст-то большой — не видно. А она, баба-то, и говорит: «Это ты, Нюра?» Думала, товарка с той стороны подошла. А медведь-то как рывкнет!.. — Костя засмеялся. Нина слушала. — Как он рывкнул, баба бросила ведро и бежать. Бежит и орет дурным голосом: «Мишенька, у меня дети маленькие!» — Костя опять засмеялся. долго смеялся, представив, как летела по кустам перепуганная баба.

— А он что, он за ней, что ли?

— Медведь? Да нет, он в другую сторону побежал — к протоке. Он сам напугался. А ей казалось, что он следом бежит. Вот она и кричала про детей...

— Закричишь. — Нина так и не посмеялась. — Шутка в деле — медведь! — И продолжала чистить картошку. — Нет, у нас их нету. У нас — змеи.

— Гадюки?

— Но. Да большие! Тоже — берешь ягоду-то, а сама думаешь: «Ох, чикнет сейчас, ох, чикнет».

— Надо ежей разводить. Вот где-то, в Болгарии кажется, змей в одном месте было — кишели. А место само по себе очень здоровое — хорошо бы курортов настроить. Так они что сделали: взяли ежей там развели, и все.

— Дак они что, едят змей?

— Еще как! Ежи и свиньи — жрут за милую душу. Кабаны еще дикие — тоже едят. У меня брательник на Кавказе служит, один случай

в письме описывал. С кабанями связано. Значит, один колхоз держал свиней на откорме где-то... подальше от жилья. Ну, и они паслись, ходили одни, а к вечеру сами приходили в загон. А однажды они не пришли к загону. Выяснилось, что они встретились где-то с дикими кабанями и те сманили их с собой. Суток трое их не было... Искали, но без толку: далеко куда-то ушли. Потом пришли, но не все. Из тысячи, кажется, штук пятьсот вернулось только...

— А те остались?

— Те остались. Но эти, которые вернулись, такой приплод принесли, что колхоз даже обрадовался.

Нина засмеялась.

— Вот, говорят: нет худа без добра.

— Да. Еще говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня зять помер с такой поговоркой.

— Как же это?

— Да у него голова что-то болела... Болит и болит голова, ну, а к врачу, знаете, все некогда, да, может, обойдется... А тут — дотерпел, что сознание потерял. Ну, его в больницу. Сеструха потом рассказывала: «Прихожу, говорит, к нему, а он мне и говорит: «Вот, говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть вылечусь». Рад был, что в больницу попал. Веселый лежал... Потом помер. А жили они за Новосибирском, далеко. Ну что: надо ехать за ним. Он был из нашего села, Сашка его знал. Хоронить надо на родине. Я поехал. А было начало ноября, река только становилась. А мост у нас был наплавной, к зиме его разбирали. Самая распутица. Я туда-то на моторке пробился, а оттуда — это уже дня через четыре: реку уже схватило. Пешие ходят, досок накидали — ничего. А с гробом-то как? Ну, я сестру с ребяташками перелев по доскам, а сам вернулся, нанял подвод и поехал вверх по реке — там, говорят, схватило крепче. И вот мы с возчиком выбрали такое место — вроде ничего, можно. Разогнали коня, а сами — в стороны от саней. Лед трещит, гнется, мы бежим и со стороны орем на коня... А он сам уж — дай бог ноги, самому охота живому до берега добежать. Как переехали, не знаю. Хороший мужик был, зять-то. Жалко. Тридцать три года всего было. Двое детей осталось...

Эта грустная история рассказана была, как понял сам Костя, совсем некстати. Он замолчал. На какое-то время он забыл и про Нину, и зачем он пришел сюда — вспомнил Дмитрия, зятя... Ребятишек-племяшей вспомнил... И совестно стало. Закурил.

И в это время пришли Сашка с Валею. Пришли веселые. Сашка вовсе дурачился.

— Спорим? — кричал он. — Давай спорить!

— Чего вы? — спросила Нина.

— Она не верит, что я могу выпить бутылку вина, не держась руками.

— Кто спорит, тот...

— Да это мы слышали! Мне только напиться неохота, а то бы я показал.

— А как это?

— Вон чайник, да? Я б сейчас вино вылил в него, носик в зубы и...

— А-а.

— Вот те и «а-а». Ну, как тут у вас?

— Я еще картошку только начистила.

— Ну-у, товарищи!.. Чем вы тут занимались, не знаю. Не знаю. Нинон, чем вы тут занимались?

«Трепач, — с яростью подумал Костя. — Носик в зубы...»

— Долго с этой картошкой, — сказала Валя. — Ну ее к черту! Закусим чем-нибудь...

— Идея! — подхватил Сашка. — Выпьем и пойдем на танцы.

Нина остановилась с тазиком в руках.

— Ну?

— Как, Костя?

— Да мне-то, господи!.. Нужна мне эта картошка.

Так и порешили — не возиться с картошкой. Сели за стол.

После двух стаканов вина Косте стало веселей.

— А где тут у вас танцы? Далеко?

— В парке.

— Пойдем, Нина?

— Мне что-то неохота. Не манит. Можно сходить, только я танцевать не буду.

— Почему?

— Не умею, как они. Совестно.

— Ерунда! — раздухарился Костя. — Я могу не хуже их.

До парка решили идти пешком.

Валя с Сашкой шли впереди, Нина с Костей сзади.

Костя начал помаленьку растрчивать веселье из груди. Опять подступали неловкость и стыд, и как он себя ни взбадривал, как ни старался настроиться на беспечность — не получалось. Он взял Нину под руку и шел так, молчал. Зато Сашка впереди строчил, как из пулемета. Валя то и дело смеялась громко. Костя завидовал земляку и понимал, что только так и нужно сейчас — нести околесицу, чтоб уши вяли. Только так и надо. Но Костя боялся, что если он начнет говорить, то его опять поведет куда-нибудь не туда. Про гроб начал давеча!..

— Расскажи чего-нибудь, — попросил он Нину.

— Чего рассказать?

— Ну... веселое что-нибудь. А то со мной с тоски завянешь.

— А я вот так вот люблю: ходить и смотреть на людей. И отгадывать про них...

— Ты что, ворожейка? — Костя засмеялся насильственно и снова остро почувствовал, что это глупо, что он хихикает.

— Не ворожейка, — серьезно сказала Нина, — просто хожу и отгадываю: вот у этого горе какое-то, а этому — голько до постели добаться, с работы идет. А другому, посмотришь, ничегошеньки не надо: куда-нибудь придет...

«Это она про меня, наверно».

— Знаешь, — сказала вдруг Нина, останавливаясь. — Пойдем на реку. Там хорошо.

— А они?

— А что они?

— Ничего? Оставим-то их...

— Ничего. — Нина посмотрела на своего кавалера, и тому показалось, что она усмехнулась.

«Ну, давай, Костя, — серьезно подумал он, — не будь же уж совсем-то чумичкой: девка сама подсказывает. Совсем, что ли, баран?»

— У меня там скамеечка есть... Сидишь, думаешь... Хорошо. Иной раз дотемна досидишь.

— Одна? — Костя только что не взбрыкнул — так ему хотелось показаться игривым.

— Одна.

— О чем мысли?

— Не знаю.

— Вот это да! Как же так? Сидеть, думать, а о чем — не знаю.

— Не знаю. Сижу — вроде думаю, а спроси вот так — не знаю, о чем. Может, вспоминаю... Я маленькая бойкая была, в школе озоровала...

- А теперь?
- Теперь другая.
- Замуж пора,— брякнул Костя.
- Была,— просто сказала Нина.
- Была? Где здесь?
- Здесь. Полтора года была замужняя женщина...
- Ну?
- Теперь — нет. Опять на танцы хожу.
- А почему?
- Разошлись.
- Как так?
- Что?
- Почему разошлись-то?
- Не надо об этом,— попросила Нина.— Не бывает, что ли?

Не скажешь, чтобы в голосе ее слышалась грусть или скорбь, но была в ее голосе, глубоко спокойном, усталость. Как будто накричался человек на том берегу реки, долго звал, потом сказал себе тихо, без бсли: «Не слышат».

Некоторое время шли молча.

Шли по набережной Нина смотрела на воду, Костя сбоку разглядывал ее. И досмотрелся до того, что забыл неловкость и крепко прижал ее руку к своему боку. Нина повернулась к нему...

— Почему разошлись-то? — вылетело у Костя. Он не хотел больше об этом. Он чуть не взвыл от отчаяния. Вовсе ему неинтересно было знать, из-за чего разошлись Нина с мужем. И ведь хотел-то он сказать что-нибудь доброе, ласковое, а... Тьфу!

Нина усмехнулась... И ничего не сказала.

Между тем подошли к той самой скамеечке, где любила сидеть Нина. Сели.

За домами на той стороне садилось солнце. Небо было темное, мутное, река черная... А там, где садилось солнце, обозначился слабый румянец зарю. По обоим берегам зажглись на столбах огни, и по воде, поперек реки, заструились тоненькие светлые вилюшки... Наносило холодом от воды. Костя снял пиджак и накинул на плечи Нины. Когда накидывал, то хотел тут же и приобнять ее... Нина спокойно отстранилась и спокойно сказала:

— Не надо.

С удовольствием устроилась удобней в пиджаке и продолжала смотреть на воду.

Костя закурил.

Долго молчали.

— Домой-то не лучше уехать? — сказал Костя.

— Все равно,— не сразу откликнулась Нина. Помолчала и еще сказала:— Устала я как-то.

— Домой надо,— опять сказал Костя.

— Дома хорошо,— согласилась Нина.

— Тебе сколько лет?

— Двадцать три.

Костя не знал, о чем еще говорить. Замолчал. Но теперь почему-то не мучился, что молчит.

«Обязательно тискаться, что ли?» — подумал сердито.

Слабый румянец за рекой погас. В той стороне на небе светлела только одна бледная пролысинка. Вода сделалась совсем черной, маслянисто-черной, неслышно текла на середине, а здесь, у берега, сонно покачивалась, лизала жирный гранит.

— Пошли потихоньку к дому,— сказала Нина. И поднялась.— Не холодно без пиджака-то?

— Нет.

— Ну, пойду в нем. Зябко.

— Не простыла?

— Нет, так чего-то.

Тихонько шли до общежития.

Костя и сам сейчас — не то думал, не то вспоминал что-то такое. Вообще грустно было.

— Пришли,— сказала Нина.

— Сашку я уж теперь не дождусь...

— Они долго будут.

— Скажи, что я ушел в гостиницу. А завтра — домой.

— Счастливо.

Костя пожал крепкую ладонь девушки. Задержал ее в своей руке. Нина улыбнулась, отняла руку, еще сказала:

— Счастливо.— И пошла. И ушла в подъезд, не оглянулась.

Костя пошел наугад переулками — потом где-нибудь на большой улице можно спросить, как пройти к гостинице. Думал о Нине... Шевельнулось в груди нечто вроде жалости к ней — или он попробовал пожалеть? — очень захотелось, чтоб у ней в жизни случилась бы какая-нибудь радость.

«Все мы какие-то...» — подумал он и о себе. И не додумал. Стал слушать: где-то во дворе или в переулке молодые девичьи голоса тянули:

...Мою печаль, мою печаль.
А я такой, что за тобою
Могу пойти в любую даль.
А я тако-ой...

— Пойдешь, пойдешь,— сказал Костя вслух. И встряхнулся, точно хотел смахнуть с себя стыд и бестолочь сегодняшнего вечера — вспомнил свои рассказы про медведя, про гроб...— Тьфу!

Макар Жеребцов

Всю неделю Макар ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благородно.

Он разносил односельчанам письма. Работу свою ценил, не стыдился, что он, здоровый, пятидесятилетний, носит письма и газетки. Да пенсию старикам.

Шагал по улице — спокойный, сосредоточенный.

Его окликали:

— Макар, нету?

— Ты же видишь — нимо иду, значит, нету.

— Чего же нету-то? Пора уж. Черти окаянные.

Макар подходил к пряслу, вешал свою сумку на колышек, закуривал.

— Сколько у нас, в СССР, народу?

Старуха не знала.

— Дьявол их знает сколько? Много небось.

— Много.— Макар тоже точно не знал сколько.— И всем надо выдать пенсию...

— Чего же всем-то? Все зарплату получают.

— Ну, я неправильно выразился. Кто заслужил. Так?

— Ну? Чего ты опять?

— Спокойно. Тебе государство задержало пенсию на один день, и ты уже начинаешь возвышать голос. Сама злишься, и на тебя тоже глядеть тошно. А у государства таких, как ты,— миллионы. Спрашивается, совесть-то у вас есть или нету? Вы что, не можете потерпеть день-другой? Вы войдите тоже в ихное-то положение...

Старухи обижались. Старики посылали Макара дальше.

Макар шел дальше.

— Семен, ездил к сыну-то?

— Ездил...

— Ну как?

— Никак. Как пил, так и пьет. С работы опять прогнали, свистуна.

— Ну, ты, конечно, коршуном на него. Такой-сякой-разэдакий!..

— А как же мне с им? Петя, сынок, уймись с пьянкой?..

— Да где там! Ты и слов-то таких не знаешь. Ты привык языком-то, как оглоблей ломить... Самого, дурака, с малых лет поленом учили, ты думаешь, и всегда так надо. Теперь совсем другая жизнь...

— Раньше так пили, как он заливаешься? Другая жизнь...

— А ты войди в его положение. Он — молодой, дорвался до вольной жизни, денюжаты появились... Ведь тут какую силу воли надо иметь, чтоб сдержаться! Конинную. С другой стороны, его тоска гложет — оторвался от родительского дома. Ты вон в город-то на неделю уедешь, и то тебя домой манит, а он сколько уж лет там. Он небось сходит в кино, поглядит про деревню — и пойдет выпьет. Это же все понимать надо.

— Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по деревне, пустозвонишь... Пустозвон.

— Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь выпей с ним...

— У тебя прям не голова, а сельсовет.

— Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сынок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам... Праздничек подошел — выпей, прошел праздничек — пора на работу, а не похмеляться. Та-ак. А как же? Поговорить надо, убедить человека. Ласковым словом, оно, глядишь, скорей дойдет.

— Его надо поленом березовым по башке, а не ласковым словом.

— Во-от. Я и говорю: бараны. Рога на лбу выросли — и довольные: бодаться можно. А ты же человек, тебе разум даден, слово терпеливое...

— Иди ты!..

— Эх, вы.

Макар шагал дальше.

У Ивана Соломина жена Настя родила сына. Иван заспорил с Настей — как назвать новорожденного. Иван хотел — Иваном: Иван Иванович Соломин. Настя хотела, чтоб был — Валерик. Супруги серьезно поссорились. И в это-то самое время Макар принес им письмо от сестры Настинной, которая жила с мужем в Магадане и писала в письмах, что живут они очень хорошо, что у них в доме только одной живой воды нет, а так все есть, «но, сами понимаете,— в концервах, так как климат здесь суровый».

Макар поздравил родителей... И те, конечно, схватились перед ним — каждый свое доказывать.

— Иван!.. Иванов-то нынче осталось — ты да Ваня-дурачок в сказке. Умру — не дам Ванькой назвать! Сам как Ваня-дурачок...

— Сама ты дура! Сейчас в этом деле назад повернули, к старому. Посмотри в городах...

Макар весь подобрался, накопился — почуял добычу.

— Спокойно. Иван,— сказал он Ивану.— Не обзывайся. Даже если она тебе законная жена, все равно ты ее не имеешь права дурачить. Она тебе — «Ванька-дурачок», допустим, а ты ей — «несмышлениш мой» или еще как-нибудь. Ласково. Ей совестно станет, она замолчит. А не замолчит — сам замолчи. Скрепись и молчи.

— Иди отсюда, миротворец!

— И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня послушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам — твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка ты сынка своего Митей — в честь свояка магаданского. Ведь они вам и посылки шлют, и денжат нет-нет подкинут... А напиши-ка ему, что вот, мол, своячок, в честь тебя сына назвал — Митрием. Он бы где — одну посылку, а тут подумает-подумает да две ахнет. А как же: в честь меня сына назвали — это бо-ольшое уважение. За уважение люди гоже уважением плотют.

Иван чего-то озверел.

— Иди отсюда! Чего ты лезешь не в свое дело?!

Макар посмеялся кротко, снисходительно, ласково. Он знал драчливый характер Ивана.

— Ах, пошуметь бы?.. Ах бы да сейчас развоеваться бы?.. Эх, ты. Ваня и есть.

Иван и в самом деле взял почтальона за шкурку, подвел к двери и дал пинка:

— За совет!

Макар шагал дальше по улице. Потирал ушибленное место и бормотал:

— Нога у дьявола — конская.

И начинал рассказывать встречным:

— Иван Соломин... Зашел к нему, у них пыль до потолка: не могут имя сыну придумать. Я и подскази им: Митрий. У него свояк в Магадане — Митрий...

Но Макара не хотели слушать: некогда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных.

И вот наступало воскресенье. В воскресенье Макар не работал. Он ждал воскресенья. Он выпизал с утра рюмочку—две, не больше, завтрак, выходил на скамеечку к воротам... Была у него такая скамеечка со столиком, аккуратная такая скамеечка, он удобно устраивался — нога на ногу,— закуривал и, поблескивая повлажневшими глазами, ждал кого-нибудь.

— Михеевна!.. Здравствуй, Михеевна! С праздничком!

— С каким, Макар?

— А с воскресеньем.

— Господи, праздник!..

— Сын-то не пишет? Что-то давненько я к тебе не заходил...

— Некогда, лоди-ка, расписываться-то. Тоже не курорт — шахты-то эти.

— Всем им, подлецам, некогда. Им водку литрами жрать — на это у них есть время. А письмо матери написать — время нет. Пожалуйся на него директору шахты. Хошь, я сочиню? Заказным отправим...

— Ты что, сдурел, Макар? На родного сына стану директору жалиться!

— Можно хитрей сделать. Можно послать телеграмму: мол, беспокоюсь, не захворал ли? Его все равно вызовут...

— Тыфу, дьявол! Тебе что, делать, что ль, нечего — выдумываешь сидишь?

— А учить подлецов надо, учить.

Старуха, злая, обиженная за сына, шла дальше своей дорогой.

— Боров гладкий,— бормотала она,— ты их нарожай сперва своих, потом жалься. Подыметя ли рука-то?

— Человека пока не стукнет, до тех пор он не поймет,— говорил сам с собой Макар.— На судьбу обижаемся, а она учит, матушка. Учит.

Проходили еще люди. Макар заговаривал со всеми, и все в таком же духе — в воскресном. Подсказывал, как можно теще насолить, как заставить уважать себя дирекцию совхоза. Надо только смелей быть. Выступать подряд на всех собраниях и каждый раз — против. Они сперва окрысятся, попробуют ущемить как-нибудь, а ты на собрании и про это. Важно не сдаваться. Когда они поймут, что с тобой ничего нельзя сделать, тогда начнут уважать. А то еще и побаиваться станут — грешки-то есть. У кого их нету?

— Дак ведь возьмут да выгонют.

— А куда выгонять-то? Дальше-то?.. Это ж не с завода.

Где-нибудь часа так в два пополудни к Макару выходил дед Кузьма. Опохмелиться у него никогда денег не было.

— Дай на бутылку? Во вторник поплывем с зятем рыбачить, привезу рыбки.

Макар давал рубль двадцать — на плодово-ягодную. Только просил:

— Приходи здесь пить. А то поговорить не с кем.

Дед приносил бутылку плодово-ягодной, выпивал стакан.

— Вчерась перебрали с зятем. Тоже лежит мучается.

— Отнеси стаканчик.

— Ничо, оклимается — молодой. Мне самому только-только.

— Жадный.

— Нет,— просто говорил дед.

— А взять-то тоже не на что? Зятю-то.

— Да есть у Нюрки... Она рази даст. Тут хоть подохни. Как жена-то?

— Хворает.

— Ты ее, случаем, не поколачиваешь тайком? Чего она у тебя все время хворает?..

— Ни разу пальцем не тронул. Так — организм слабый.

— Чудной ты мужик, Макар. Не пойму тебя. Нашинских, кто на глазах рос, всех понимаю, а тебя никак не пойму.

— Чем же я кажусь чудной?

— Ну как же? Подошло воскресенье — ты сидишь день-деньской сложа ручки. Люди ждут не дождутся этого воскресенья, чтоб себе по хозяйству чего-нибудь сделать, а тебе вроде и делать нечего.

— А на кой оно мне... Хозяйство-то?

— Вот то и чудно-то. Ты из каких краев-то? Или я уж спрашивал?

— Недалеко отсюда. Что мне его, хозяйство-то, в гроб с собой?

— Ну, тебе до гроба еще... Поживешь. Работа не бей лежачего. И не совестно ведь! — искренне изумлялся дед.— Неужель не совестно?

— Ни на вот столько.— Макар показывал кончик мизинца.

— А почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?

Макар сначала думал, глядя на улицу, потом говорил:

— Не для этой я жизни родился, дед...

— Для какой же?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу — охота по-

мочь советом каким-нибудь... Потом раздумаешься: да пошли вы все!..

— Хм.

— Так вот ходишь неделю, тыкаешься в ихние дела... Потом придет воскресенье, и я вроде отдыхаю. Давайте, думаю, черти, гните дальше. А я еще какую-нибудь пакость подскажу.

— Во стерва-то!

— Ей-богу! А завтра опять пойду по домам, опять в ихние дела полезу. И знаю, что не слушают они моих советов, а удержаться не могу. Мне бы — в большом масштабе советы-то давать, чтоб мне их не видеть, людишек-то, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой... У меня какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри.

— Дак и учил бы одному чему, а то как... сорока на колу.

— Да я и хочу! Но ведь я им одно, а они меня по матушке. А то и — по загровку. Ванька вон Соломин... спустил с крыльца, змей.

— Хэх!.. У того не заржавит.

— А я для его же пользы: назови, мол, сыночка-то Митей, в честь свояка, свояк-то в лепешку расшибется. Какая ему, дураку, разница — Митя у него будет расти или Ваня? А жить все же маленько полегче было бы — свояк-то там, на Севере, тыщи ворочает. А так-то я их не презираю, людей-то. Наоборот, мне их жалко бывает.

Старик допивал остатки вина, поднимался.

— И все-таки стерва ты, — говорил беззлобно.

— Что, пошел? Посиди. Еще рубль дам...

— Пойду... Зять теперь очухался, погреб небось копает. Помочь надо. Рыбки-то занесу килограмма два. Во вторник.

— Ладно, сгодится. Я до ухи любитель.

— Спасибо, что выручил.

— Не за что.

Дед уходил. А Макар оставался сидеть на скамеечке, глядел на село, курил.

Иногда из дома выходила больная жена — к теплу, к солнышку. Присаживалась рядышком.

— Вот ведь сколько домов!.. — раздумчиво, не глядя на жену, говорил Макар. — И в каждом дому — свое. А это — только одна деревня. А их, таких деревень-то, по России — оё-ёй сколько!..

— Много, — соглашалась жена.

— Много, — вздыхал Макар. — Много.

Материнское сердце

Витька Борзёнков поехал на базар в районный городок, продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» стакан-другой красного. Потом вышел, закурил... Подошла молодая девушка, попросила:

— Разреши прикурить.

Витька дал ей прикурить от своей папироски, а сам с интересом разглядывал лицо девушки — молодая, припухла, пальцы трясутся.

— С похмелья? — прямо спросил Витька.

— Ну, — тоже просто и прямо ответила девушка, с наслаждением затягиваясь «беломориной».

— А похмелиться не на что, — стал дальше развивать мысль Витька, довольный, что умеет понимать людей, когда им худо.

— А у тебя есть?

(Никогда бы, ни с какой стати не подумал Витька, что девушка специально наблюдала за ним, когда он продавал сало, и что у ларька она его просто подкараулила.)

— Пойдем, поправься.— Витьке понравилась девушка — милостивая, стройненькая... А ее припухлость и особенно откровенность, с какой она призналась в своей несостоятельности, даже как-то взволновали.

Они зашли в ларек... Витька взял бутылку красного, два стакана... Сам выпил полтора стакана, остальное великодушно налил девушке. Они вышли опять на крыльцо, закурили. Витьке стало хорошо, девушке тоже. Обоим стало хорошо.

— Здесь живешь?

— Вот тут, недалеко,— кивнула девушка.— Спасибо, легче стало.

— Может, еще хочешь?

— Можно вообще-то... Только не здесь.

— Где же?

— Можно ко мне пойти, у меня дома никого нет...

В груди у Витьки нечто такое — сладостно-скользкое — вильнуло хвостом. Был еще рано, а до деревни своей Витьке ехать полтора часа автобусом — можно все успеть сделать.

— У меня там еще подружка есть,— подсказала девушка, когда Витька соображал, сколько взять. Он поэтому и взял: одну белую и две красных.

— С закусом одолеем,— решил он.— Есть чем закусить?

— Найдем.

Пошли с базара, как давние друзья.

— Чего приезжал?

— Сало продал... Деньги нужны — женюсь.

— Да?

— Женюсь. Хватит бурлачить.— Странно, Витька даже и не подумал, что поступает нехорошо в отношении невесты — куда-то идет с незнакомой девушкой, и ему хорошо с ней, лучше, чем с невестой,— интересней.

— Хорошая девушка?

— Как тебе сказать?... Домовитая. Хозяйка будет хорошая.

— А насчет любви?

— Как тебе сказать?... Такой, как раньше бывало,— здесь вот кипятком подмывало чего-то такое,— такой нету. Так... Надо же когда-нибудь жениться.

— Не промахнись. Будешь потом... Непривязанный, а визжать будешь.

В общем, поговорили в таком духе, пришли к дому девушки. (Ее звали Рита.) Витька и не заметил, как дошли и как шли — какими переулками. Домик как домик — старенький, темный, но еще будет стоять семьдесят лет, не охнет.

В комнатке (их три) чистенько, занавесочки, скатерочки на столах — уютно. Витька вовсе воспрянул духом.

«Шик-блеск-тру-ля-ля», — всегда думал он, когда жизнь сулила скорую радость.

— А где же подружка?

— Я сейчас схожу за ней. Посидишь?

— Посижу. Только поскорей, ладно?

— Заведи вон радиолу, чтоб не скучать. Я быстро.

Ну почему так легко, хорошо Витьке с этой девушкой? Пять минут знакомы, а... Ну, жизнь! У девушки грустные, задумчивые, умные глаза. Витьке то вдруг становится жалко девушку, то охота стиснуть ее в объятиях.

Рита ушла. Витька стал ходить по комнате — радиолу не завел: без радиолы сердце билось в радостном предчувствии.

Потом помнит Витька: пришла подружка Риты — похуже, постарше, потасканная и притворная. Зататорила с ходу, стала рассказывать, что она когда-то была в цирке, «работала каучук». Потом пили... Витька прямо тут же, за столом, целовал Риту, подружка смеялась одобрительно, а Рита слабо била рукой Витьку по плечу, вроде отталкивала, а сама льнула, обнимала за шею.

«Вот она — жизнь! — ворочалось в горячей голове Витьки. — Вот она — зараза кипучая. Молодец я!»

Потом Витька ничего не помнит — как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... Долго мучительно соображал, где он, что произошло. Голова гудела, виски вываливались от боли. Во рту пересохло все, спеклось. Кое-как припомнил он девушку Риту... И понял: опоиلى чем-то, одурманили и, конечно, забрали деньги. Мысль о деньгах сильно встряхнула. Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было. Витька прислонился к забору, осмотрелся... Нет, ничего похожего на дом Риты поблизости не было. Все другое, совсем другие дома.

У Витьки в укромном месте, в загашнике, был червонец — еще на базаре сунул туда на всякий случай... Пошарил — там червонец. Витька пошел наугад — до первого встречного. Спросил у какого-то старичка, как пройти к автобусной станции. Оказалось, не так далеко: прямо, потом налево перуулком и вправо по улице опять прямо. «И упрегись в автобусную станцию». Витька пошел... И пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на городских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и родилась в груди большая мстительная сила.

— Ладно, ладно, — бормотал он, — я вам устрою...

Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что добром все это не кончится.

Около автобусной станции допоздна работал ларек, там всегда толпились люди. Витька взял бутылку красного, прямо из горлышка выпил ее всю до доньшка, запустил бутылку в скверик... Были рядом с ним какие-то подпившие мужики, трое. Один сказал ему:

— Там же люди могут сидеть.

Витька растегнул свой флотский ремень, намотал конец на руку — оставил свободной тяжелую бляху, как кистень. Эти трое подвернулись кстати.

— Ну?! — удивился Витька. — Неужели люди? Разве в этом вшивом городишке есть люди?

Трое переглянулись.

— А кто же тут, по-твоему?

— Суки! Каучук работаете, да?

Трое пошли на него, Витька пошел на троих... Один сразу свалился от удара бляхой по голове, двое пытались достать Витьку ногой или руками, берегли головы. Потом они заорали:

— наших бьют!

Еще налетело человек пять... Попало и Витьке: кто-то сзади ткнул бутылкой по голсе, но вскользь — Витька устоял. Оскорбленная душа его возликовала и обрела устойчивый покой.

Нападавшие матерились, бестолково кучились, мешали друг другу, советовали — этим пользовался Витька и бил.

Прибежала милиция... Всем скопом загнали Витьку в угол — между ларьком и забором. Витька отмахивался. Милиционеров пропустили вперед, и Витька сдуру ударил одного по голове бляхой. Бляха Вить-

кина страшна еще тем, что с внутренней стороны, в изогнутость ее, был налит свинец. Милиционер упал... Все ахнули и оторопели. Витька понял, что свершилось непоправимое, бросил ремень... Витьку отвезли в КПЗ.

Мать Витькина узнала о несчастье на другой день. Утром ее вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил в городе то-то и то-то.

— Батюшки-святые! — испугалась мать. — Чего же ему теперь за это?

— Тюрьма. Тюрьма верная. У милиционера травма, лежит в больнице. За такие дела — только тюрьма. Лет пять могут дать. Что он, судурел, что ли?

— Батюшка, ангел ты мой господний, — взмолилась мать, — помоги как-нибудь!

— Да ты что! Как я могу помочь?..

— Да выпил он, должно, он дурной выпимши...

— Да не могу я ничего сделать, пойми ты! Он в КПЗ, на него уже, наверно, завели дело...

— А кто же бы мог бы помочь-то?

— Да никто. Кто?.. Ну, съезди в милицию, узнай хоть подробности. Но там тоже... Что они там могут сделать?

Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, заметалась по селу. Сбегала к председателю сельсовета — тот тоже развел руками:

— Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать... Все равно, наверно, придется писать. Ну, напишу хорошую.

— Напиши, напиши, как получше, разумная ты наша головушка. Напиши, что — по пьянке он, он тверезый-то мухи не обидит...

— Там ведь не будут спрашивать, по пьянке он или не по пьянке... Ты вот что: съезди к тому милиционеру, может, не так уж он его и зашиб-то. Хотя вряд ли...

— Вот спасибо-то тебе, ангел ты наш, вот спасибочко-то...

— Да не за что...

Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила пятерых детей, рано осталась вдовой (Витька еще грудной был, когда пришла похоронка об отце в 42-м году), старший сын ее тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 46-м году, следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила — крепкий вырос, ладный собой, добрый... Все бы хорошо, но пьяный — дурак дураком становится. В отца пошел — тот, царство ему небесное, ни одной драки в деревне не пропускаял.

В милицию мать пришла, когда там как раз обсуждали вчерашнее происшествие на автобусной станции. Милиционера Витька угостил здорово — тот действительно лежал в больнице. Еще двое алкашей тоже лежали в больнице — тоже от Витькиной бляхи.

Бляху с интересом разглядывали.

— Придумал, сволочь!.. Догадайся: ремень и ремень. А у него тут целая гирька. Хорошо еще — не ребром угодил...

И тут вошла мать Витьки... И, переступив порог, упала на колени, и завывала, и запричитала:

— Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!.. Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой — простите вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...

Заговорил старший, что сидел за столом и держал в руках Витькин

ремень. Заговорил обстоятельно, спокойно, попроще — чтоб мать все поняла.

— Ты подожди, мать. Ты встань, встань — здесь не церква. Иди, глянь...

Мать поднялась, чуть успокоенная доброжелательным тоном: начальственного голоса.

— Вот гляди: ремень твоего сына... Он во флоте, что ли, служил?

— Во флоте, во флоте — на кораблях-то на этих...

— Теперь смотри: видишь? — Начальник перевернул бляху, взвесил на руке. — Этим же убить человека — дважды два. Попади он вчера кому-нибудь этой штукой ребром — конец. Убийство. Да и плашмя трюх уходил так, что теперь врачи борются за их жизни. А ты говоришь: простить. Ведь он же трех человек в больницу уложил. А одного при исполнении служебных обязанностей. Ты подумай сама: как же можно прощать за такие дела, действительно?

Материнское сердце, оно — мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем.

— Да сыночки вы мои милые! — воскликнула мать и заплакала. — Да нечто не бывает по пьяному делу?! Да всякое бывает — подрались... Сжальтесь вы над ним!..

Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе. И хоть милиционеры — народ до жалости неохочий, даже и они — кто отвернулся, кто стал закуривать...

— Один он у меня — при мне-то: и попец мой, и кормилец. А еще вот жениться надумал — как же тогда с девкой-то, если его посадят? Неужто ждать его станет? Не станет. А девка-то добрая, из хорошей семьи — жалко...

— Он зачем в город-то приехал? — спросил начальник.

— Сала продать. На базар — салца продать. Деньжонки-то нужны, раз уж свадьбу-то наметили, где их больше возьмешь?

— При нем никаких денег не было.

— Батюшки святые! — испугалась мать. — А иде ж они?

— Это у него надо спросить.

— Да украли небось! Украли!.. Да милый ты сын, он оттого, видно, и в драку-то полез — украли их у него!.. Жулики украли...

— Жулики украли, а при чем здесь наш сотрудник — за что он его-то?

— Да попал, видно, под горячую руку.

— Ну, если каждый раз так попадать под горячую руку, у нас скоро и милиции не останется. Слишком уж они горячие, ваши сыновья! — Начальник набрался твердости. — Не будет за это прощения, получит свое — по закону.

— Да ангелы вы мои, люди добрые, — опять взмолилась мать, — пожалейте вы хоть меня, старуху, я только теперь маленько и свет-то увидела... Он работающий парень-то, а женился бы, он бы совсем справный мужик был. Я бы хоть внучаток понянчила...

— Дело даже не в нас, мать, ты пойми. Есть же прокурор! Ну, выпустили мы его, а с нас спросят: на каком основании? Мы не имеем права. Права даже такого не имеем. Я же не буду вместо него садиться.

— А может, как-нибудь задобрить того милиционера? У меня холст есть, я нынче холста наткала — пропасть! Все им готовила...

— Да не будет он у тебя ничего брать, не будет! — уже кричал начальник. — Не ставь ты людей в смешное положение, действительно. Это же не кум с кумом поцапались!

— Куда же мне теперь идти-то, сыночки? Повыше-то вас есть кто или уж нету?

— Пусть к прокурору сходит,— посоветовал один из присутствующих,

— Мельников, проводи ее до прокурора,— сказал начальник. И опять повернулся к матери, и опять стал с ней говорить, как с глухой или совсем уж бестолковой: — Сходи к прокурору — он повыше нас! И дело уже у него. И пусть он тебе там объяснит: можем мы чего сделать или нет? Никто же тебя не обманывает, пойми ты!

Мать пошла с милиционером к прокурору.

Дорогой пыталась заговорить с милиционером Мельниковым.

— Сыночек, что, шибко он его зашиб-то?

Милиционер Мельников задумчиво молчал.

— Сколько же ему дадут, если судить-то станут?

Милиционер шагал широко. Молчал.

Мать семенила рядом и все хотела разговорить длинного, заглядывала ему в лицо.

— Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж... Мать-то и у тебя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю — а каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?

Милиционер Мельников ответил туманно:

— Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что — мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно.

Мать охватил такой ужас, что она остановилась.

— Ты к чему же это?

— Пошли. Я к тому, что — будут, конечно, судить. Могли бы, конечно, простить — пьяный, деньги украли: обидели человека. Но судить все равно будут — чтоб другие знали. Важно на этом примере других научить...

— Да сам же говоришь — пьяный был!

— Это теперь не в счет. Его насильно никто не поил, сам напился. А другим это будет поучительно. Ему все равно теперь — сидеть, а другие задумаются. Иначе вас никогда не перевоспитаешь.

Мать поняла, что этот длинный враждебно настроен к ее сыну, и замолчала.

Прокурор матери с первого взгляда понравился — внимательный. Внимательно выслушал мать, хоть она говорила длинно и путано — что сын ее. Витька, хороший, добрый, что он трезвый мухи не обидит, что как же ей теперь одной-то оставаться? Что девка, невеста, не дождется Витьку, что такую девку подберут с руками-ногами — хорошая девка... Прокурор все внимательно выслушал, поиграл пальцами на столе... Заговорил издали, тоже как-то мудро:

— Вот ты — крестьянка, вас, наверно, много в семье росло?..

— Шестнадцать, батюшка. Четырнадцать выжило, двое маленькие ишо померли. Павел помер, а за ним другого мальчика тоже Павлом назвали...

— Ну вот — шестнадцать. В миниатюре — целое общество. Во главе — отец. Так?

— Так, батюшка, так. Отца слушались...

— Вот! — Прокурор поймал мать на слове. — Слушались! А почему? Нашкодил один — отец его ремнем. А брат или сестра смотрят, как отец учит шкодника, и думают: шкодить им или нет? Так в большом семействе поддерживался порядок. Только так. Прости отец одному, прости другому — что в семье? Развал. Я понимаю тебя, тебе жалко... Если хочешь, и мне жалко — там не курорт, и поедет он, судя по всему, не на

один сезон. По-человечески все понятно, но есть соображения высшего порядка, там мы бессильны... Судить будут. Сколько дадут, не знаю, это решает суд.

Мать поняла, что и этот -- невзлюбил ее сына. «За своего обиделась».

— Батюшка, а выше-то тебя есть кто?

— Как это? — не сразу понял прокурор.

— Ты самый главный али повыше тебя есть?

Прокурор, хоть ему потом и неловко стало, невольно рассмеялся.

— Есть, мать, есть. Много!

— Где же они?

— Ну, где?.. Есть краевые организации... Ты что, ехать туда хочешь? Не советую.

— Мне подсказали добрые люди: лучше теперь вызволять, пока не сужденый, потом тяжелее будет...

— Скажи этим добрым людям, что они... не добрые. Это они со стороны добрые... добренькие. Кто это посоветовал?

— Да посоветовали...

— Ну, поезжай. Проедешь деньги, и все. Результат будет тот же. Я тебе совершенно официально говорю: будут судить. Нельзя не судить, не имеем права. И ни-кто этот суд не отменит.

У матери больно сжалось сердце... Но она обиделась на прокурора, а поэтому вида не показала, что едва держится, чтоб не грохнуться здесь и не завывать в голос. Ноги ее подкашивались.

— Разреши мне хоть свиданку с ним...

— Это можно, — сразу согласился прокурор. — У него что, деньги большие были, говорят?

— Были...

Прокурор написал что-то на листке бумаги, подал матери.

— Иди в милицию.

Дорогу в милицию мать нашла одна, без длинного — его уже не было. Спрашивала людей. Ей показывали. В глазах матери все туманилось и плыло... Она молча плакала, вытирала слезы концом платка, но шла привычно скоро, иногда только спотыкалась о торчащие доски тротуара... Но шла и шла, торопилась. Ей теперь, она понимала, надо поспешать, надо успеть, пока они его не засудили. А то потом вызволять будет трудно. Она верила этому. Она всю жизнь свою только и делала, что справлялась с горем, и все вот так — на ходу, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в ней вера в добрых людей, которые помогут. Эти — ладно — эти за своего обиделись, а те — подальше которые — те помогут. Неужели же не помогут? Она все им расскажет — помогут. Странно, мать ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она знала одно: с сыном случилась большая беда. И кто же будет вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пешком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь идти и идти... Найдет она этих добрых людей.

— Ну? — спросил ее начальник милиции.

— Велел в краевые организации ехать, — слукавила мать. — А вот — на свиданку. — Она подала бумажку.

Начальник был несколько удивлен, хоть тоже старался не показать этого. Прочитал записку... Мать заметила, что он несколько удивлен. И подумала: «А-а». Ей стало маленько полегче.

— Проводи, Мельников.

Мать думала, что идти надо будет далеко, долго, что будут открываться железные двери — сына она увидит за решеткой, и будет с ним разговаривать снизу, поднимаясь на цыпочки... А сын ее сидел тут же,

внизу, в подвале. Там, в коридоре, стриженные мужики играли в домино... Уставились на мать и на милиционера. Витьки среди них не было.

— Что, мать,— спросил один мордастый,— тоже пятнадцать суток схлопотала?

Засмеялись.

Милиционер подвел мать к камере, которых по коридору было три или четыре, открыл дверь...

Витька был один, а камера большая и нары широкие. Он лежал на нарах... Когда вошел милиционер, он не поднялся, но увидев за ним мать, вскочил.

— Десять минут на разговоры,— предупредил длинный. И вышел. Мать присела на нары, поспешно вытерла слезы платком.

— Гляди-ка — под землей, а сухо, тепло,— сказала она.

Витька молчал, сцепив на коленях руки. Смотрел на дверь. Он осунулся за ночь, оброс — сразу как-то, как нарочно. На него больно было смотреть. Его мелко трясло, он напрягался, чтоб мать не заметила хоть этой тряски.

— Деньги-то, видно, украли? — спросила мать.

— Украли.

— Ну и бог бы уж с имя, с деньгами, зачем было драку из-за их затевать? Не они нас наживают — мы их.

Никому бы ни при каких обстоятельствах не рассказал Витька, как его обокрали — стыдно. Две шлюхи... Мучительно стыдно! И еще — жалко мать. Он знал, что она придет к нему, пробьется через все законы, — ждал этого и страшился.

У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг совсем перестала понимать, что есть на свете — милиция, прокурор, суд, тюрьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощный... И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она — только она, никто больше — нужна ему?

— Не знаешь, сильно я его?..

— Да нет, плашмя попало... Но лежит, не поднимается.

— Экспертизу, конечно, сделали... Бюллетень возьмет...— Витька посмотрел на мать.— Лет семь заделают.

— Батюшки-святые!..— Сердце у матери упало.— Что же уж так много-то?

— Семь лет!..— Витька вскочил с нар, заходил по камере.— Все прахом! Все, вся жизнь кувырком!

Мать мудрым сердцем своим поняла, какое отчаяние гнетет душу ее ребенка...

— Тебя как вроде уж осудили! — сказала она с укором.— Сразу уж — жизнь кувырком.

— А чего тут ждать? Все известно...

— Гляди-ка, все уж известно! Ты бы хоть сперва спросил: где я была, чего достигла?..

— Где была? — Витька остановился.

— У прокурора была...

— Ну? И он что?

— Дак вот и спроси сперва: чего он? А то сразу — кувырком! Какие-то слабые вы... Ишо ничем ничего, а уж... мысли бог знает какие.

— А чего прокурор-то?

— А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда прикажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед своими совестно не будет: хоте-

ли, мол, осудить, но не могли. Они уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

— Полторы сотни.

— Батюшки-святые! Нагрели руки...

В дверь заглянул длинный милиционер.

— Кончайте.

— Счас, счас,— заторопилась мать.— Мы уж все обговорили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет на тебя характеристику... Хорошую, говорит, напишу.

— Там... это... у меня в чемодане грамоты всякие лежат со службы... возьми на всякий случай...

— Какие грамоты?

— Ну, там увидишь. Может, поможет.

— Возьму. Потом схожу в контору — тоже возьму характеристику... С голыми руками не поеду. Может, холст-то продать уж, у меня Сергеев-на хотела взять?

— Зачем?

— Да взять бы деньжонок-то с собой — может, кого задобрить придется?

— Не надо, хуже только наделаешь.

— Ну, погляжу там.

В дверь опять заглянул милиционер.

— Время.

— Пошла, пошла,— опять заторопилась мать. А когда дверь закрылась, вынула из-за пазухи печенюжку и яйцо.— На-ка поешь... Да шибко-то не задумывайся — не кувырком ишо. Помогут добрые люди. Большие-то начальники — они лучше, не боятся. Эти боятся, а тем некого бояться — сами себе хозяева. А дойти до них я дойду. А ты скрепись и думай про чего-нибудь — про Верку хошь... Верка-то шибко закручинилась тоже. Даве забежала, а она уж слыхала...

— Ну?

— Горюет.

У Витьки в груди не потеплело оттого, что невеста горюет. Как-то так, не потеплело.

— А ишо вот чего...— Мать зашептала: — Возьми да в уме помолись. Ничего, ты — крещеный. Со всех сторон будем заходить. А я пораньше из дому-то выеду — до поезда — да забегу свечечку Николе-угоднику поставлю, попрошу тоже его. Ничего, смилостивятся. Похоронку от отца возьму...

— Ты братьям-то... это... пока уж не сообщай.

— Не буду, не буду. Только лишний раз душу растревожат. Ты, главно, не задумывайся, что все теперь кувырком. А если уж дадут, так год какой-нибудь — для отвода глаз. Не семь же лет! А кому год дают, смотришь — они через полгода выходят. Хорошо там поработают, их раньше выпускают. А может, и года не дадут.

Милиционер вошел в камеру и больше уже не выходил.

— Время, время...

— Пошла.— Мать встала с нар, повернулась спиной к милиционеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала:

— Спаси тебя Христос.

И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего не видела от слез. Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость — когда вот так, тут — просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят.

И временами жутко становится... Но мать — действовала. Мыслями она была уже в деревне, прикидывала, кого ей надо успеть охватить до отъезда, какие бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди помогут ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние — это гибель, она знала. Она — действовала.

Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни — в краевые организации.

«Господи, помоги, бабушка,— твердила она в уме беспрерывно.— Не допусти сына до худых мыслей, образумь его. Он маленько заполюшный — как бы не сделал чего над собой».

Поздно вечером она села в поезд и поехала.

«Ничего, добрые люди помогут».

Она верила, помогут.

Своjak Сергей Сергеич

К Андрею Кочуганову приехали гости — женина сестра с мужем. Сестру жены зовут Роза, мужа ее — Сергеем; Сергей Сергеич Неверов, так он представился,— смуглый, курносый, с круглыми, бутылочного цвета глазами.

Сестры всплакнули на радостях и поскорей ушли в горницу и унесли туда чемоданы.

— Ну, теперь полдня будут тряпки разглядывать,— сказал Сергей Сергеич снисходительно, но не без гордости: тряпок было много. С таким видом вытаскивают, будучи в отпуске дома, молодые лейтенанты червонцы из кармана. Но тех извиняет молодость, этот — сорокалетний — гордился со вкусом.

Своjаки закурили.

— На сколько? — спросил Андрей.

— У нас отпуск большой, мы же — льготники. На особом положении.

— На каком таком особом?

— В смысле зарплаты и отпуска.

— Что, очень большая зарплата?

Своjak Сергей Сергеич посмеялся неведению Андрея.

— У меня, например, выходит до четырехсот.

Своjak Андрей подзадорил:

— Ого-го!

— Сколько у вас тут профессор получает?

— Где?

— Ну, здесь, на Большой земле.

— А я откуда знаю — сколько.

— Самый высокооплачиваемый профессор получает пятьсот рублей.

Максимум.

— Ну. И что?

— А я пять классов кончил, шестой коридор...— Своjak Сергей Сергеич опять посмеялся.— Вот так и живем. Я уже одной ногой в коммунизме, можно сказать.

— Значит, хорошо. Это хорошо.

— Не жалуемся. Тут отдохнуть-то хоть можно?

Андрей пожал плечами.

— Так... а чего, поди? Отдохнуть, по-моему, везде можно.

— Не скажи. Я говорил своей: поедем в Ялту! Нет, говорит, домой охота. Ну, поедем домой, если такой нетерпеж. Я, как правило, в Ялте отдыхаю. Не люблю в этих деревнях: в магазине ничего нет... Сейчас по дороге зашел в ваш магазин: «Дайте, говорю, шампанского». Она на меня — как баран на новые ворота: «Какого шаньпанского?» — «Ну, обыкновенного, говорю: сухого, полусухого, сладкого, полусладкого... Какое у вас есть?» Никакого. Вина хорошего и то нет. Одна сивуха.

Андрей поднялся.

— Пойду дровишек поколю. Банешку-то надо, наверно, протопить?

— Баню — это хорошо. У вас по-черному?

— По-черному.

— Вот это хорошо! Некоторые удивляются: ты любишь по-черному? А я люблю. Хорошо, дымком пахнет. Воды только натаскай побольше.

Андрей вышел во двор.

Вскоре вышла жена Соня.

— Ох, и навезли! — заговорила она восторженно и с каким-то святым благоговением. — Мне два платка вот таких — цветастые, с тистями, платье атласное, две скатерки, тоже с тистями...

— Ты вот чего... С тистями... Воду надо таскать, — заметил Андрей. — Свояк любит, чтоб воды было навалом.

— Господи, да я для них!.. И ты, Андрей, уж постарайся. Да повеселей будь, а то ходишь, как этот... Бурелом какой-то. Подумают, что мы не рады. А я без ума радешенька. Ох, шали!.. Во сне таких сроду не видала. Живут же люди!

Мылись в бане уже затемно.

Свояк Сергей Сергеич парился отменно, тазами лил на себя воду, стонал... Андрея поразило обилие наколок на его сухопаром теле.

— Тянул! — весело сообщил Сергей Сергеич, когда Андрей спросил о наколках. — Четыре года... По молодости. Брат в сельпо работал, везли товар в лавку... Ху! Кха!.. Я в одном месте запрыгнул в машину, сбросил два тюка крепдешина — попались... Ну-ка поддай ковшичек.

Андрей поддал. Сергей Сергеич опять неистово начал хлестаться, опять закричал, застонал...

— Ну и как?

— А?

— С крепдешинином-то?

— Я ж говорю: попались. Вломили: мне четыре, брату семь...

— А брата-то за что?

— Так он же научил-то! Меня на первом же допросе раскололи. Но он, правда, не досидел, пять лет только — под амнистию попал. Ну-ка кинь еще! Сразу два!

— Тебе ничего, плохо не будет?

— Ерунда! Давай.

Каменка зло фыркнула раз и другой, крутой, яростный пар клубом ударил в потолок, оттуда кинулся вниз... Жар сбил дыхание, вцепился в уши. Андрей присел на корточки. Свояк Сергей Сергеич мучился на полке, извивался, мелькало в полутьме его смуглое расписное тело. Наконец он свалился оттуда и выбежал в предбанник отдышаться.

Андрей на минуту влез на полку, постегал маленько ноги, поясницу — не любитель был париться. Тоже слез на пол.

— Иди покурим, — позвал Сергей Сергеич.

Закурили в прохладном предбаннике. Свояк опять за свое:

— Ну, а как, например, можно отдохнуть?

— Ну, елки зеленые! — изумился Андрей. — Ну, лежи, плюй в потолок... Кино привозят. Рыбачь ходи...

— Рыбешка есть в реке?
 — Мало. Ребята вверх заплывают, там вроде получше.
 — А лодка есть?
 — Есть. Только без мотора.
 — Почему? Моторов нету?
 — Моторы-то есть — вон, бери в магазине... Грошей нет.
 — А у меня «ИЖ»: в субботу, часика в четыре утра, выеду, как дам по тракту сотенку в час!.. Зверь! Мы на озера ездим рыбачить.

— Добываете?

— Ну, чтоб зря не трепаться, по полмешка привожу. Розка не знает, куда с ней деваться. И жарит, и солит, и уха идет... Но в основном огород удобряем.

— Во?! — удивился Андрей.

— Да. Я лук репчатый уважаю, у меня теплица есть, я туда — толченой рыбы... Знаешь, какой лук растет! Ни у кого в поселке такого лука нет. Вот такой вот!.. Аж сладкий, гад. А сейчас на очередь на «Волгу» стал. Советовали «Фиат» подождать, но я думаю, они с этим «Фиатом» еще лет пять провозятся, а я за это время «Волгу» получу. Кха! Нечто еще разок слазить? Пойду...

Потом мылись женщины.

А мужчины в это время сидели за бутылкой «калгановой» и... поругались. Свояк Сергей Сергенч начал опять хвастаться, как у него славно все складывается в жизни... И вдруг стал упрекать Андрея в неумении жить.

— И телевизора даже нету?

— Нету.

— Ну-у, слушай, ты уж совсем какой-то малахольный мужик. Неужели уж телевизор нельзя купить?

Андрей обиделся:

— Не всем же профессорское жалованье получать...

— Но телевизор-то можно купить!

— Да на кой он мне... нужен-то?

— Ну как же?

— Так — не нужен. И «Фиат» тоже не нужен. Понял? А если ты мне всякие замечания будешь делать, то я иначе могу поговорить...

— Как?

— Так. Узнаешь...

— Нет, как?

— Перелобаню разок, и все.

— Да?

— А чего ты?.. Приехал, понимаешь, только и слышно: это нехорошо, то не нравится!.. Я тебя не звал сюда. А приехал — значит, помалкивай. И будь человеком.

— Значит, ты предлагаешь так: даже если я увижу недостаток, все равно я должен говорить, что это хорошо? Да?

— Я виноват, что в лавке нет шампанского? Для чего оно здесь, шампанское-то? У нас эту мочу сроду никто не пьет...

— Я тебе не про шампанское, а про телевизор замечание сделал. Я могу и «калгановой» выпить.

— А у тебя, например, комбайн есть?

— Какой комбайн?

— Обыкновенный, которым жнут.

— Зачем он мне?

— Вот так же и мне телевизор твой не нужен, как тебе комбайн. Но я же не делаю тебе замечания, что у тебя комбайна нет, а ты...

— Но телевизор-то — это же первая необходимость! У тебя же сын

растет: вместо того, чтобы огороды шерстить по вечерам, он будет телевизор смотреть.

Андрей помолчал.

— Вон у меня лук репчатый есть — целые вязанки висят... Хочешь?

— Нет, ты все-таки малахольный. Не обижайся, конечно...

Андрей долго смотрел, не мигая, на свояка.

— Еще раз обзовешь — вот видел? — сразу между глаз закатаю.

— Да? — Сваяк Сергей Сергеич оживился. — А ты знаешь, что моя правая срабатывает еще до того, как я успею сообразить? Вот видишь — нос? — Он нажал пальцем на свою кнопку. — Сломан... Отчим сломал. Ты знаешь, как мы его с братом катали, когда подросли? Как хотели... Бывало, подойду, о так от — ррээ!.. — Сергей Сергеич хотел показать, куда он бил отчима, потянулся, но неожиданно сработала правая Андрея — он звякнул свояка Сергея Сергеича в лоб наотмашь. Сваяк слетел со стула и громко заматерился.

— Я ж те показать хотел! От паразит-то, в душу тя, понимаешь!.. — Сваяк Сергей Сергеич сидел на полу, тер лоб ладонью, а другой рукой махал в воздухе, объяснял: — Я ж те хотел показать, как мы отчима молотили! А ты думал...

— Два молодых оглоеда — на старого человека, — сказал Андрей. Ему стало совестно, что поторопился: он в самом деле подумал, что свояк хочет его ударить, когда потянулся с кулаком. — И не стыдно?

— Ты же не знаешь, как он нас молотил! Ты же...

В это время в сенях стукнула дверь — возвращались из бани Соня с Розой. Сваяк Сергей Сергеич вскочил с пола и быстро-быстро заговорил, так быстро, что Андрей половину не понял, понял только, что свояк очень его просит:

— Андрюха!.. Молчи! Мы сидим, пьем «калгановую»... Ничего не было! Понял? А то я горю, понял? Она мне, сука, устроит отдых... Понял? Мы сидим, мирно пьем «калгановую». — Сваяк быстренько налил две рюмки, сел за стол. — Только... понял?

Когда сестры вошли в избу, свояки как раз в это время чокались.

— А-а! — закричал свояк Сергей Сергеич. — С легким паром!

— Ты, я смотрю, уже полегчал? — миролюбиво заметила Роза. — Ничего?

— Все в порядке, все в порядке, — поспешил Сергей Сергеич. — Спроси свояка.

— Все в порядке, — тоже сказал Андрей.

— Чего нас-то не ждете, — упрекнула мужиков Соня. Но так — проформы ради упрекнула: у женщин было преотличное настроение.

Скоро все четверо дружно пели за столом. Запевал свояк Сергей Сергеич. Запевал тонким, дрожащим голосом... И при этом закрывал глаза и мелко тряс головой.

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь...

Все подхватывали:

Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, не узнаешь.
Ох, встречать ты меня не придешь...

Андрей не знал слов и поджидал, когда разок споют свояк и Роза, а потом уж со всеми вместе грустно гудел. Ему очень нравилась песня, и он в душе очень жалел, что ударил свояка Сергея Сергеича в лоб.

А на другой день свояк Сергей Сергеич выкинул штуку, которую Андрей не понял.

Андрей возвращался вечером с работы... Свояк ждал его у ворот: сидел на скамеечке, поглядывал в улицу. Увидев Андрея, он встал, сунул руки в карманы брюк и очень самонадеянно опять прищурился. Спросил:

— Ну что, малахольный?.. Отработал?

Андрей ушам своим не поверил. Вчера все хорошо кончилось, мирно отошли ко сну... Что он?

— Ты что? — спросил Андрей.

— Пошли, — велел Сергей Сергеич. — Следуйте за мной, граждане!

— И пошел, не оглядываясь, к сараю.

— Чего ты? — опять спросил Андрей.

— Иди, кому говорят! — прикрикнул свояк. — Действительно малахольный.

Андрей оглянулся — никого в ограде нет. Он пошел к свояку. Вид его не общал ничего хорошего. Свояк распахнул дверь сарая... А там, на плахе, масляно поблескивая смазкой, лежал лодочный мотор. Новенький. Только из сельмага. Сергей Сергеич пнул его носком ботинка.

— Бери, ставь на лодку.

— Как?..

— Говори «спасибо» и уноси, пока я не раздумал. Понял? Дарю.

— Как же так? — все не мог понять Андрей.

Сергей Сергеич засмеялся, довольный.

— Вот так... Чего рот разинул? От малахольный-то... Бери — твой!

— Он же дорого стоит, — сказал Андрей. — Куда к черту...

Сергей Сергеич подошел к Андрею, больно — со злинкой — похлопал его по щеке.

— Бери... Помни Серегу Неверова! Пошли.

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

— Ну-ка — вмах!.. До крыльца. Видел кинокартину «Вий»?

— Брось!.. — Андрей передернул плечами. — Ну?

К счастью, никто не вышел из дома.

Андрей пошел в дом, пинком расхлобыстнул избяную дверь... Но на столе — увидел — стояла опять «калгановая», вкусно пахло жареным мясом... В избе было чистенько прибрано, мурлыкало радио, жена Соня, довольная сверх всякой меры, сутилась в кути... Да черт с ним, с дураком!

— Ну, как мотор-то? — спросила Соня.

— О так от... Смотри! — выскочил вперед Сергей Сергеич. — О так от уставился на него и смо-отрит. — Свояк и Соня засмеялись, довольные. — Я говорю: бери скорей, пока я не раздумал! А то ведь раздумаю! Умора... Ну, давай по рюмочке «калгановой» — с обновкой. Чего стоишь? Не очухался еще?

Свояк Сергей Сергеич опять засмеялся. И пошел к столу. Он снова наладился на тот тон, с каким приехал вчера. Станный он все-таки человек... Можно сказать, необычный.



Как жить без нее?.. Повторил я последнюю фразу,
И стало мне грустно, и стало мне холодно сразу.
Нет-нет, не теперь, мы еще поразмыслим над этим...
Наверное, мы никогда никуда не уедем.

Перевела Ирина Снегова.

СЛОВО, СКАЗАННОЕ САМОМУ СЕБЕ

Я с первым словом к матери своей,
А со вторым — к земле я обратился...
О, сколько я с тех самых первых дней
Давал советов, разумом делился!..

А поглядишь — кто более всего
Нуждается в советах да в ученье?..
И к самому себе я оттого
Намерен обратить свои реченья...

Чем старше мы, тем — перейдя на рысь —
Быстрее годы мчатся с нами вместе.
Пусть годы мчатся — ты не суетись,
Степенным будь, храни терпенье с честью.

Поддакиваний ближних не ищи,
Не гнись по сторонам: ведь ты не ива...
Ты не осина: и не трепещи
От всякого случайного порыва...

Коль будет полон стол различных яств,
Тянись за ложкой в срок,
Не будь всеядным.
Бесплогной мыслью не спеши тотчас
Делиться с целым миром неоглядным.

И знай: противоядие и яд —
Одной породы. Дело только в мере.
Все не хвали, все не хули подряд,
Без чувства меры — только жди потери...

Луны достигнешь — посмотри вокруг:
Повыше есть и посветлей светила...
Из красного угла попросят вдруг —
Не жалуйся, что, мол, свели в могилу,—
Никто еще не поднялся оттуда...
Все остальное — уж не так-то худо!..

А тяжести падут в недобрый миг
Вдруг на плечи —
Я верю: без сомненья,
Ты их снесешь, ты к тяжестим привык...
Терпи — когда легко.
Храни терпенье.

ХОРОШО, ЧТО Я НЕ ГАРМОНИСТ

Дёма с Белой, заливая всходы,
 Полою водой встречают май...
 Буйство сердца, словно эти воды.
 Перехлестывает через край.

Молодость пришла — с грозой вместе,
 Молодость пришла в сиянье дня.
 За лучи хватаясь, в поднебесье
 Я взбираюсь — не достать меня!

А на горке пляшут — свету рады —
 Девушки... Ну что за волшебство!
 Что за счастье — быть достойным взгляда,
 Девичьего взгляда одного!..

На крыле лебяжем, на высоком,
 Имя вывожу любви своей...
 Я — могущественнее пророка,
 Может, только бог меня сильнее!

Голубые звуки в небе чистом
 Плавают, пленяя даль дорог...
 Почему не стал я гармонистом?!
 Я сыграл и спел бы, сколько смог,
 Разбудив поля и даль дорог!..

...Воды возвратились в берега.
 Отгремели грозы... И по праву
 Лист метет осенняя пурга,—
 Зеленеют лишь вторые травы...

В сумерках — деревья в серебре.
 В очаге дымок струится тонкий...
 Внукам сказки шепчут те девчонки,
 Что вчера плясали на горе.

И уже привет не долетает
 Из страны, что юностью зовем.
 Ветер с крыльев лебедей сметает
 Перья...

Свой покинув водоем.

Лебеди скрываются за горкой.
 «В добрый путь!» — кричу под ветра свист...
 Хорошо, что я не гармонист:
 Я б сыграл — да и заплакал горько.

ПОВЕЗЛО

Как это на вершине полстолетья
 Я так неожиданно оказался вдруг?
 И вот с вопросом я гляжу вокруг:
 Мне повезло иль нет на белом свете?

Мне с датою рожденья повезло:
Я родился не рано и не поздно...
Гудит октябрь... Двадцатое число...
Березы сыплют на тропу мне звезды.

Мне повезло с землей моей... Ты — чудо,
Башкирия! Ты — свет в моей судьбе!
Ты — колыбель под синью! И — да будет
Моя могила теплая — в тебе...

С людьми мне повезло: они добром
Меня учили, без причин не били.
С друзьями повезло: они в мой дом
Вошли — в ворота постучать забыли.

С любовью повезло: превыше клятв
Высоко веру надо всем держала,
Сомненьями себя не унижала,
Хоть и причины были, говорят...

Везло с боями: в пламени жестоком
Мне виделись победные огни...
Везло с моими ранами: до срока
«Туда» не унесли меня они.

И с именем — не подвело оно! —
Мне повезло — и с сущностью моею:
Вкусив похвал сладчайшее вино,
Я на ногах держался, не хмелея.

Что ж, доброй ночи, прошлое!.. Дорогам
Твоим — поклон,
За все — спасибо им...
Мне повезло Мне повезло во многом.
Не знаю, повезло ль со мной другим...

Перевела Елена Николаевская.



ЛЮБОВЬ КАБО

★

В ТОТ ДЕНЬ

Рассказ

Мы с осени знали, что он не жилец, да разве к этому пригодишься? И вдруг телеграмма: «Умер отец похороны субботу». Кинулись с Сергеем, сыном моим, во Внуково — самолет, слава богу, есть, в Кишиневе друзья помогли, достали машину, а то бы ни за что не успеть.

И вот — едем. Самая распроклятая мартовская погода: на спуске к Оргееву зима, в Оргееве весна, подалее, к Лазовску, — опять зима. С воем летит справа налево молочная мгла, поземка свистящими полотнами перестилает дорогу. А то — тишина: мирно дремлют спокойные округлые холмы с виноградниками, громадные осокори у самой дороги. И снова подъем — или, наоборот, спуск, — снова едва приметный выгиб дороги: внезапный вой, свист, снова летит справа налево белесая мгла...

Шупловатый на вид, малорослый шофер наш Владимир Викторovich прям и строг. Нельзя и на секунду отвлечься: вот один «газик», такой же, как у нас, — только что, наверно, летел в обгон, суетился, сигналил, а теперь стоит, сцепившись намертво с какой-то другой машиной, и не очень разберешь, что там, собственно, у них, только люди препираются, машут руками в споре, да ближайший к нам, шофер, рассеянно обращает к проезжающим разбитое в кровь лицо.

А мы — дальше. Третий час в пути, четвертый, пятый. В Бельцах — мокрый асфальт, грязища, за Бельцами, на открытом месте, — опять зима. Время от времени кто-нибудь возникает в сгустившихся сумерках, машет; шофер, не расспрашивая, приоткрывает дверцу: «Гай, репед!»¹ Влезают оживленные женщины в тяжелых шالях, перевязанных поверх, по лбу, косынкой, мужчины с оплетенными бутылками вина — суббота завтра! Сначала пошучивают, потом примолкают. Удивляются, наконец: что за проезжающие такие — ни отклика, ни улыбки, даже между собою не говорят ни о чем.

Под Яблónами какой-то паренек метнулся из-под колес, словно замерзший заяц.

— Унде?

— Ла Глодень.

— Репеде!..

Вот они уже, Глодяны: по гребню холма косым крестом лампы дневного света. Темный спуск, заснеженный мост, знакомый подъем меж тускло освещенных окраинных домиков. В центре села выпустили

¹ Репеде — быстро.

опешившего от неожиданной удачи парня («Сколько?» — «Иди давай!»). Круто свернули налево, потом, с сильно забившимся сердцем, направо.

Вот оно. Вот куда мы ехали: стоит слабенькими оконцами на улицу хата, и над распахнутой настежь парадной, узорной дверью, что обычно закрыта наглухо, — белый флаг, то ли полотенце, то ли простыня на палке. Слово знак: сюда, сюда приехали. Не проезжайте мимо!..

А мы — стороной. Обычной дорогой, со двора, калиткой. Нам бы минуту одну постоять...

Не тут-то было! Во дворе зять мой Павлик гремит ведрами. Вгляделся, узнал, ничему не удивился, — откуда, дескать, взялись московские среди этой тьмы и степной завирухи, — кинулся целовать со слезой:

— Нема, Любочка, нашего таты!..

Бесшумно метнулась в темноте от хаты, к сараю, мама. Глянула вблизи сухими, безучастными в сиротстве глазами, судорожно вздохнула, прильнула на миг.

Чистые обычно сенцы истоптаны, как базарная площадь. В сенцах и в левой, так называемой «чистой» половине — стеной люди; колеблется над спинами пламя свечей, и кто-то кричит, кричит страшным голосом, — крик этот, слышный и на улице, и во дворе, теперь отчетлив и близок.

И на правую, жилую половину дверь настежь; начисто выветрен самый дух тихого стариковского жилья. Это и есть смерть: ничего погаенного, скрытого, все вывернуто наизнанку, торопливо обнажено, превращено в стекляшки и бумажки, в грошовый, безликий хлам. Никого не узнаю. Женщины в темном, сидя кружком кто на скамьях, а кто и прямо на полу, что-то делают по хозяйству, смотрят отчужденно и несуетно из-под низко надвинутых на брови платков. И еще одна женщина — она не входит, а почти падает в комнату, изнеможенно прислоняется к стене; по тому, как тихо становится там, можно понять, что это она и кричала. «Ох, тата мой» — только по этому дрожащему вздоху я и узнаю нашу Веру. Смотрит — как и все остальные смотрят — без узнавания в глазах, без привета.

А вот он и тата. Вот кто таков, как всегда! Стриженная, в неровной седине солдатская голова его чуть завалилась набок — не потому ли такой естественной и живой кажется его поза. Кажется, что он устал — и уснул, спокойно и крепко, и руки под грудью сложил утомленным жестом славно поработавшего человека; и губы его под жесткою щеточкой усов всё словно таят непробивающуюся наружу усмешку, — мы по крайней мере его не знаем другим.

Я смотрю — и, наверное, долго стою так и смотрю, и, наверное, есть во всем этом какая-то неловкость, потому что притихшая рядом со мною мама начинает вдруг осторожно причитать, словно извиняясь перед односельчанами за неумелую свою невестку. Ничего я не могу. Нет у меня ни слов, ни слез — только печаль, только нежность. И мама снижает. Мама слабеет, еще и еще раз поправляя что-то одной ей видимое, суеверно оберегая. И старший наш, Вася, обнимает ее за плечи, уводит:

— Ну, будет, мама, будет!..

Их много у наших стариков: Василий да Иван — оба старшие, чем мой, погибший на фронте, да три сестры — Маня, Шура, Вера, — да трое зятьев, да невестки, да внуки — много внуков! — уже и правнуки один за другим посыпались... И все они сейчас в единодушных, бесшумных хлопотах: все надо сделать, как положено, — и отпеть, и похоронить, и помянуть честь по чести. И всех односельчан встретить и вважить — люди, слава богу, идут и идут. А горе-то, горе!.. И время от

времени то один, то другой, наспех обтерев руки, идут к отцу, и кричат, и плачут, и жалуются покойному, пеняют ему, что осиротил он их, что не смотрит на них, не жалеет в трудную для них минуту... И делают это, пока не ослабеют, не зайдутся в слезах, пока кто-то свежий, со стороны, их не оттянет. И снова с печальной сосредоточенностью берутся за дело.

Идут односельчане. Целуют иконку, лежащую у таты на груди, бросают, нашарив по карманам, в ноги покойному гремящую мелочь. Потом обходят всех подряд, здороваясь за руку: «Добрый вечер». Садятся по стенам, тихо переговариваются; одобрительно замолкают, когда чей-нибудь голос взвизывает вдруг над покойным. Пережидают — и снова к своему: что вот-де хороший, «примирительный» был человек Попадюк и что старой нелегко теперь будет. «Все-таки двое — и принести и помочь, а одну так и будут, как веник, с места на место перекладывать...» Кто-то интересуется: «Венки — привез кто или здесь заказывали?» Кто-то из приезжих рассказывает — с невольной улыбкой, с жестикуляцией, — что-то смешное у них произошло дорогой.

А надо всем этим лежит наш тата. Такой, как всегда. Словно пригласили его принять участие в общей беседе, а он и рад бы, рад хорошим людям, да вот заслушался, только усмехается легонько в солдатские свои усы.

Шумно врывается большая, плотно закутанная женщина, плача в голос уже от порога, всплескивая прямыми руками, как несущка крыльями, грудью припадая к покойному: «Да ты ж приезжал, ты советовал, да кто ж теперь, да как же я...» И все опять уважительно замолкают — надолго.

Надо идти ужинать, потому что мы «трудные» с дороги — нам с Сергеем и далекой ломачинской родне, которую мы до сих пор знали только понаслышке. Мы застенчиво переглядываемся за длинным столом, а потом, не чокаясь, выпиваем — за знакомство; и ломачинские радуются, что Сергей мой — вылитый отец, а я удивляюсь и не верю, что помнят они далекого того мальчишку, Семена моего: у меня уж и сын, рожденный в той страшной, последней разлуке, — уже и сын по-старше отца.

И снова к тате, снова сидим: без него сиротливо как-то.

— Ну, будет, будет тебе. — Это Ваня в сенцах уговаривает исплаканную Веру. — Кого завтра нести — тебя или тату? Я сам нервничаю...

Очень это характерно для Вани: и горестно и тоскливо ему, но прежде всего он именно «нервничает». Полная противоположность городскому баловню Василию, добродушно позволяющему ухаживать за собой, — Ваня твердо убежден, что без него все будет не то и не так. Ваня, как и отец когда-то, — весь в этом непритязательном, изо дня в день выламывающем крестьянском труде; словно раз навсегда решил — не искать поворотов судьбы, не выгадывать, где полегче. Весь — в заботе; как всполошенная птица, так и вьется он над раскинувшимся на пол-улицы попадюковским куренем — а вот отец, вот сестра, вот дочь Тамарочка слаба, вот сын Толя, не дай бог, в чем-то там, в институте, нуждается, вот младший, Васек... Ваня и внешне полная противоположность широкому в кости, тяжеловатой запорожской стати брату — суховатый, юношески легкий, с преждевременными морщинами, глубоко изрытыми нестарое лицо, с бурой, морщинистой шеей, с этим своим носом уточкой и полукруглыми, как чердачные оконца, живыми глазами...

Негромкий говор по стенкам:

— Ничего не поделаешь, край пришел!..

— Да уж! Из тюрьмы возвращаются, а оттуда — никогда...

— А снег идет. Снег свое дело знает...

Кто-то приходит, уходит; кто-то кланяется в пояс:

— Ну, прощай, сосед дорогой!..

Поздно уже. Ненужно снует безучастная, тихая мама — одинокая во многолюдстве, самая скромная и сейчас, в единственном своем горе. Притянешь ее, обнимешь,—она неумело сложит тягостно бездельные руки:

— Ох, Люба, так мне скушно что-то...

А я думаю свое — под этот вот уважительный говор по стенкам, под мамин бесцветный голос, под громкие всплески плача.

Двадцать лет езжу я уже в этот дом. Все, даже крошечные перемены здесь — зазубринами в памяти. Когда-то ездила на щебенке, на мешках с зерном, потом — на рейсовом автобусе, позднее — на маршрутном такси. Культура!.. А однажды приехала — и не знаю, куда идти, весь центр перестроен: универмаг, ателье, гостиница — хоть садись и с ходу пиши зауряднейший газетный очерк!

Помню, в первый мой приезд это было,—Маня, потрясая меня тогда всех больше невозможным семейным сходством, тяжеловатым носом, светлой, на пол-лица, особого склада улыбкой,—Маня привела к старикам весь свой босоногий девчачий выводок: рожали ведь и рожали спроста, все мечтали о мальчике. Несла девчоночью обувь в полосатой десаге. И только тогда, когда сельский фотограф установил наконец допотопную свою треногу,—только тогда решилась, обула своих дочерей. Нужда была страшная. И когда через два года я приехала снова, старшенькая ее шепнула мне, помнится, в самое ухо:

— Тетя Люба, вы нам штанов не привезли?

Вот они теперь, Манины дочери,—стройные молодые женщины. и очень современные на этих своих шпильках и со взбитыми волосами, с медленными, загадочными улыбками на чуть подкрашенных губах. Бегают по земле долгожданный Валерка, ровесник Маниным внукам, и постарел, покрылся морщинами родоначальник всей этой романчуковской ветви Федя. Сколько же воды утекло с того знойного июльского дня, когда я приехала сюда впервые, дрожа с перепугу, и неуверенно погремела железной щеколдой. Выглянул из сенцев незнакомый старик:

— Вам кого?

— Никого. Я — Люба.

— О господи, Люба!..

Сразу — без рефлексии, без оглядки: родная, желанная. И поцелуй, и объятия, и откуда-то бегут и бегут еще люди — словно стог сухого сена занимается: наша приехала!.. И вот уже мы сидим все по стенкам и плачем легкими, взволнованными слезами, потому что думаем об одном и том же: о том, что того загаданного, вымечтованного — торжествующий, отвоевавшийся сын привозит в Глодяны знакомиться молодую свою жену,—того загаданного так и не получилось, и не получится уже никогда.

— Сирóжка-то где? Что не привезла?

— Боялась.

— Чего боялась-то? Или мы не люди?

Сижу пристыженная, чокаюсь со всеми по очереди граненою стопкой,— вот и посуды не было, не то что теперь, таскали борщ из единственной миски.

Лучше не вспоминать тот первый день! Потому что большая жизнь и случается многое — и душевная смута, и обиды, и горе. А приедешь сюда — перемены на поверхности, да вот главное-то неизменно: уют, родной дом! Лучистые, как у ребенка, смеющиеся стариковские глаза,

единственный заматерелый зуб, обнажившийся в охотной улыбке: «Вот и ладно, и хорошо, что приехала. Дал бог, увиделись, пока живы...»

Что ты о себе ни расскажешь — то и свято, и на том спасибо; уважение к твоей жизни — полное. А только ничего плохого ты не сделаешь и не подумаешь даже — в этом-то старик наш уверен неизменно. И все уверены. И трудная твоя жизнь для него без расспросов на ладони — все живут нелегко, всех жалко. Да с ребенком-то, да одна!..

Мы друзья с татой. Отоспишься, наутро выйдешь — старики уже ждут, на столе яичница, водка: нельзя без этого, гость в доме. А жара!.. Я хитрю: «Не могу пить, тата, мне еще к секретарю райкома идти...» Чушь несусветная: на что мне тот секретарь райкома!.. Тата ни единого слова не возьмет под сомнение: значит, надо. Маме пояснит — со своей привычкой все объяснить этой женщине: «У нее работа такая...»

Зато уж вечером — не отвертишься. Набегут свои, сядем потеснее в холодке где-нибудь, постелим на колени грубоватый рушник. Пока там суд да дело, пока наливают да накладывают, тата озорювато заводит любимое:

Выпьем чарку, выпьем тут,
На том свете не дадут.
Доки на тот свет придем,
Ще по чарочке шарнем...

Все, конечно, подхватят, в долгу не останутся: любят Попадюки погулять. «Ну, будем здоровы!» Выделяется Ванни тенорок — Ваня поет старательно и серьезно, как все, что делает. Шура, бывшая комсомолочка, расплывшаяся в бабьей жизни, ведет пьяновато и сильно:

Била меня мама с ночи
За Ваньковы черны очи...

Перепоют украинские, молдавские песни. Молдавские — для меня, по моему заказу: молдавские Сема очень любил. Тата вспомнит солдатские — от царской службы, стародавних времен. Тут уж все молчат, все слушают. Павлик Попелянченко, Шурин муж, пошлет сынишку за аккордеоном. Старик наш только того и ждал: подхватит какую-нибудь из своих невесток, лихо притопнет о землю босой ногой. И пойдет, пойдет — чуть согнувшись в поясище, стягивая смеющиеся против воли губы. Ветхие порты его чуть держатся на сухом стариковском теле, крестик, вывалившись из-за пазухи, подпрыгивает на груди. Дети посмеиваются, любуясь стариковской удалью:

— Ото наш тата!..

Мама в его сторону и не глянет. Маленькая, с легкими, девически круглыми босыми ногами, в платке до бровей, в отлетающей на сторону сборчатой юбке, она так и мелькает — от стола на погреб, с погреба к летней, курящейся невидимым дымком печурке. Не посидит ни за что, так, примостится ненадолго с края:

— Кушайте, кушайте! Гай, Сирожка, еще подсыплю борща...

— Красивая мама была? — спрашиваю у таты: он уже снова рядом, ручной, притихший, с неровной своей стрижкой, с мягонькой щетинкой на щеках.

— А что ж я, дурную брал? — тут же откликается он. — Эге!..

Мама только смеется, прикрывая рот уголком платка: расхвастался дед!..

Веселью час, а на жизнь — время. И такая душевная деликатность во всем, такая уважительность к чужому мнению, широчайшая терпимость...

Чего только не было за эти двадцать лет: и дочки смолоду вольничали, и Василий бросил жену с двумя детьми, и, наоборот, Веру оставил с ребятишками ее законный. Старики не судили. Если и судили — помалкивали. Не мучили, не гребовали: «Делай то, не делай этого...» Не напоминали: «Мы, дескать, говорили тебе...» Они — жалели. Они просто помогали — как могли. Считали копейки, делились. Гнали последнюю овечку на базар. Нянчили внуков. Щедрыми ломтями отрезали дорого доставшуюся когда-то землю: это — Шуре на обзаведение, это Вере — чтоб не плакала о своем — что делать! — строила бы жизнь заново, растила детей...

Им всех жалко, обо всех болят душа. Внуки вот учатся, едут в Бельцы, Кишинев, сидят там впроголодь — легко ли? Маня, сарака¹, мучается со своими малыми — кто ей поможет, если не мать с отцом? Ваня упал с велосипеда, убился «в голову», года два не мог ни за что приняться. Это уж особая беда была: кормилец! Жизнь вся в простых категориях, в однажды и навсегда отведенных ей берегах: здоровье — нездоровье, смерть — рождение, несчастье — счастье... Жизнь — вся — в простейших документах, хранящихся на дне сундука: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, акт о продаже земли в Ломачинцах, акт о покупке земли в Глодянах. Аттестат, выданный в 1908 году младшему унтер-офицеру Восточно-Сибирского полка Степану Попадюку в том, что он «ни в чем предосудительном замешан не был, что подписом с приложением казенной печати удостоверяется...».

Тата соберется под вечер, подпоясется, натянет поглубже высокую баранью шапку. Возьмет мамалыжки, луку, пойдет на всю ночь сторожем на колхозные тока.

— Потому что кушать хочу, вот так, — скажет он вразумительно. — Не зробишь — и не покушаешь...

У него и сказки-то все со смыслом. Два брата поспорили, богатый и бедный; богатый говорит: «Нет на свете правды», а бедный возражает: «Есть». Он уже и дома лишился, бедный брат, и земли, и обоих глаз — все проспорил богатому, а все стоит на своем: есть правда на свете!..

Вьется затейливая сказка: и вещи птицы спускаются на заветное дерево, и утренняя роса исцеляет, как живая вода, и спасает бедный брат от смертельной опасности непременно царскую дочь, и золото ему, и людское уважение, а богатому — возмездие, конечно: растерзали его за жадность те самые вещи птицы... «А к чему это все? — допытывается рассказчик. — Есть на свете правда? Вот то-то и оно, Любочка...»

Закрыв, помнится, утомленно глаза, потрепал мою руку сухой рукой: «А у вас в Москве сказки знают? Ну, расскажи-ка...» Приготовился слушать, набираться ума. Впрочем, при первых же словах оживился, засмеялся: «О золотой рыбке? О, то была старуха!.. Мне Галочка читала...» Стал с удовольствием вспоминать подробности. Это — он уже больной был, не поднимался уже.

Тогда же, в последнее это лето, зашел, помню, во двор, тяжело везя ноги, такой же, как он, глубокий старик — темноглазый, горбоносый, с женской шалью на плечах:

— Степана Илиевича можно видеть?

— Заснул он.

Старик присел рядом — подождать, передохнуть. Как это раньше я его не видала? Друзья они. Только двое их и осталось, таких вот, на все село. Не довелось мне послушать их беседу — а жаль! — посмотреть, как сидят они рядом — все понимающие, обо всем перетолковавшие, — старейший на селе украинец и старейший еврей.

¹ С а р а к а — бедняга.

О чем я? Все о том же — о доброте. Как рассказать о ней?..

...И — не утро ли это? Почему с такой свежей силой всплескиваются вокруг меня плачущие женские голоса:

— Ох, таточка, таточка, последний час настает!..

— Ох, не могу, последние-то минуточки...

— Что ты так лежишь? — Это Ваня. Торопился куда-то, вдруг остановился, взгляделся, заплакал как-то сразу. — Спроси что-нибудь. Ну, спроси — чи дождь там, на улице, чи що?..

Суета вокруг страшная. Приносят какие-то лари из пекарни, много ларей — вся кухня завалена круглыми пышными калачами. Оказывается, каждому встречному на пути к церкви надо непременно дать калач. И зачем-то увешивают новенькое ведро конфетами на нитке — это так называемая «помана» — и варят кутью. И свертывают в узел постель — ее надо отдать первому встречному. Всем некогда — и все забегают к отцу, чтоб по привычке поделиться с ним своими заботами.

— Коля уезжает сейчас — с Любой, с Сирожкой. Машина больше не может ждать. — Это Вера. Собирает, связывает сыновние вещи и тихо сморкается, вытирая бегущие по щекам слезы. — А худой он, ох, таточка, ты его так любил, ты бы поглядел на него...

— На маму, на маму посмотри, — почему-то шепотом умоляет Маня. — Она стара, она трудна, куда она без тебя, бедная...

— Ох, таточка, ох, мученый наш, — Шура прижимает руки к груди. — Снег идет, такой снег, как мы сейчас с тобою...

— Могилку сделали — всё, как ты наказывал. — Это опять Ваня. — С полочкой, чтоб не засыпало...

Как они плачут, сестры мои, с новой, неизрасходованной силой! Склонились — все женщины, и только они. Древнее, как мир, запечатленное в тысячах полотен, — снятие с креста, положение во гроб. Остановленное на какой-то миг рыдание знаменитой каргопольской иконы: бессильное движение рук, передающих умершему последнюю нежность, припадание — и протест, и вновь припадание, плеснувшиеся в отчаянье, воздетые к небу ладони.

— Обычай, обычай помни! — яростно кричит Ваня, обращая к мужчинам залитое слезами лицо.

Гроб трижды опускают на землю. По три раза у каждого порога. Тяжело поворачиваются в сенях, с усилием несут по дощатому настилу от парадных дверей, — на досках разложена «помана». С силой ударяет на улице духовой оркестр.

Вот и все. Все, тата. Медленно падает снег. На непокрытые головы, на согнутые плечи.



Н. МЕЛЬНИКОВ

★

ПАССАЖИРСКИЙ 83-й

Из записок корреспондента

Вагон наш плацкартный. Для курящих, но мы договорились курить в тамбуре. Я вышел туда и натолкнулся на Надю. Наружная дверь была распахнута настежь, вагон швыряло и подбрасывало. Швыряло и Надю от стенки к стенке.

— Да вы что? — закричал я на нее и захлопнул дверь.

— Меня тошнит, а в вагоне душно. Вовик обещал лимон принести из ресторана. Ушел давно и что-то не возвращается.

Сказав это, она ушла.

Вовиком она называла своего мужа Володю. Оба они из Совгавани, работают в шахте и теперь едут в Москву в отпуск, к родным Вовика. Три дня назад, когда мы уезжали из Хабаровска, казалось, заботливей супруга не сыщешь. Оставались считанные минуты до отхода поезда, а Вовик носился по платформе, искал чего-нибудь соленького. Каждому встречному он готов был объяснить, что соленькое нужно не ему лично, а его беременной жене, и уточнял, что она на четвертом месяце.

— Представляете, — говорил он мне, — из Москвы уезжал три года назад, ну прямо шкет был, сосунок, а возвращаюсь семейным человеком, главой семьи.

Он каждый день бегал в вагон-ресторан то за лимонадом, то за лимоном. По ночам Вовик поплотней укрывал Надю одеялом. Она плохо спала, ее и по ночам тошнило. Вдвоем они подолгу что-то тихо обсуждали. Словом, это была уже семья, хотя третий человек еще и не родился.

Но вот «глава семьи» разглядел в купированном хорошенькую девушку. С этого все и началось. Вовик стал пропадать в купированном. Скоро уже было известно, что девушку зовут Люсей, что она из геологической партии, едет со своим начальником Петровым и таким же рядовым геологом, как и она, Валентином. Надя, конечно, ни про какую Люсю не знала. Вовик сказал ей, что встретил школьных товарищей. При этом врал вдохновенно, с подробностями, сыпал именами, описывал, кто как выглядит, даже рискнул позвать Надю с собой познакомиться, поразвлечься. Точно рассчитал, черт, что Надя откажется, ей не до развлечений. Мне, как мужчина мужчине, он рассказал, что познакомился с Люсей случайно.

— Шел я в вагон-ресторан за лимонами, она стояла в коридоре. «Сыграем, шахтер, в картишки?» — предложила она. Я аж рот разинул. Откуда, спрашиваю, вы знаете, что я шахтер? Я, говорит, проницательная. С нами ее начальник Петров играл. Потом малость выпили. Другой

их геолог не играл и не пил. О чем-то они все время спорят с Петровым. Только я не вдавался. А она подмигивает мне и хохочет. Петров пошел в ресторан допивать, а мы в коридор. С кем, спрашиваю, у тебя роман из них, а она эдак легонько толкнет меня и говорит: «Ну и дурачок ты, они, говорит, мне осатанели, я их и за мужчин не считаю». Вышли мы с ней в тамбур. Чувствую — голова кругом пошла. Забыл, куда еду, забыл вообще, что женат.

То, что Вовик забыл про свою Надю и вообще что женат, — это факт. С утра не был, не пришел и в обед.

Радио нашего поезда объявило, что мы прибываем на станцию Тюмень и что ввиду опоздания поезда стоянка возможно будет сокращена. В другом конце вагона ехали студенты-практиканты. Мы жили под нескончаемый аккомпанемент их песен. Казалось, им было все равно, что петь, — лишь бы петь. Они и сообщение радио повторили хором: «Стоянка возможно будет сокращена...» Сколько было остановок, столько раз радио не забывало предупредить нас об этом.

Вагон наш отдыхал после обеда. Кто спал, кто читал, кто глядел в окно. Я тоже улегся на свою верхнюю боковую. В Хабаровске мне досталась нижняя и не боковая, но попользоваться ею я не успел. Перед самым отходом носильщик внес четыре роскошных чемодана, перехваченных широченными ремнями. За чемоданами шли не менее роскошные супруги, оба в «болоньях». Одно место у них было верхнее, надо мной, другое — верхнее боковое.

— Я не могу спать на верхней полке! — взволнованно заявила она и прямо ко мне: — Уступите, пожалуйста.

Я забросил свой рюкзак на верхнюю полку.

— Лина, — сказал ее супруг, — давай уберем чемоданы под сиденье. Она не согласилась:

— Пусть пока здесь постоят.

Чемоданы выстроились на моей бывшей полке, а владелица их, усадив рядом с ними мужа, пошла по вагону, высматривая, нет ли мест получше. А когда поезд тронулся, Лина вернулась и разрешила мужу убрать чемоданы. Потом она сообщила нам, что только по чистой случайности они с мужем попали в этот вагон, что они возвращаются из заграникомандировки и что они должны были лететь самолетом, но из-за нелетной погоды пришлось ехать поездом, хотели достать международный, но даже в мягком и купированном мест не было.

— Последний раз я ехала в таком вагоне девчонкой, — рассказывала Лина. — В эвакуацию.

— А чем здесь плохо? — обиделся усатый гражданин в соломенной шляпе.

Лина любезно поставила усатого гражданина на место.

— Простите, — сказала она. — И успокойтесь.

Усатый гражданин умолк, а Лина снова обратилась ко мне:

— Товарищ, вы ведь один едете?

— Один.

— Поменяйтесь, пожалуйста, с мужем, вам ведь все равно, а нам спокойнее.

Ехать в сторонке или в проходе мне было вовсе не все равно, но и отказать в просьбе столь подкованной дамочки я не решился. Взял свой рюкзак и перелез через проход на боковую верхнюю. Лина даже спасибо не сказала, а супруг сказал:

— Вы уж простите.

Сегодня четвертый день нашего путешествия. В Комсомольске я все до копейки рассчитал, чтоб лететь самолетом. В Хабаровске встретил

институтского приятеля, собкора одной московской газеты. Встречу отметили, и спасибо, что осталось денег на плацкартный вагон. Еще на две буханки хлеба и полтора килограмма полукопченой колбасы.

В Хабаровске на платформе хватали все подряд: пирожки, фруктовую воду, мороженое, куски вареной курицы в целлофане. В газетный киоск выстроилась длинная очередь. Мне же достались на выбор журналы с пожелтевшими от долгого лежания обложками. Одно хорошо: отосплюсь за милую душу, а главное, не надо будет ни у кого брать интервью.

Перезнакомились пассажиры нашего вагона быстро. Усатого гражданина в соломенной шляпе звали Захаром Захаровичем. Ехал он с внучкой Верочкой. Девочка рослая, конечно, школьница, а дед решил сэкономить, взял для нее детский билет. Хорошо, что он был почетным железнодорожником — значок на лацкане носил, — а то бы пришлось доплачивать, потому что на вопрос проводника: «Сколько, миленькая, тебе годков, в какой класс-то ходишь?» — Верочка не без гордости ответила проводнику, что ходит в третий класс.

Дед закричал на нее, чтоб не приучалась с ранних пор обманывать людей, вытащил из корзинки потрепанную куклу и приказал:

— Играй в куклу и помалкивай.

На бедную девочку набросились и другие: дедушка, мол, лучше знает, ходишь ты в школу или нет.

Соседями Захара Захаровича и Верочки были пожилые супруги: Елена Давыдовна и Семен Григорьевич. Ехали они к дочери в Москву. Возможно, насовсем, если пропишут. Елена Давыдовна несколько раз в день раскладывала пасьянс: пропишут или не пропишут. Она и сейчас под тихий храп Семена Григорьевича шуршала картами.

Захар Захарович страдал бессонницей и поэтому днем не спал, сидел и сонными глазами глядел в окно.

— Я думал, вы в гости к дочери едете, — сказал он Елене Давыдовне.

— Может, получится, что и в гости, — ответила она. — Кому интересно возиться со стариками.

— А вы сразу в газету.

— На детей в газету?

— А что? Я, например, знаю, что нас, пенсионеров, терпеть не могут, особенно когда мы в часы «пик» в троллейбусы лезем. Так я нарочно в часы «пик», да еще с передней площадки. Пусть попробуют не уступить место.

— Зачем же нарочно, если нет нужды? — удивилась Елена Давыдовна.

Захар Захарович ухмыльнулся и ответил:

— По-теперешнему это называется: качать права. Есть закон, чтобы нас с передней площадки пускали? Есть. Есть закон стариков не оставлять одних? Есть.

— Я никому и никогда себя не навязывала, — сказала Елена Давыдовна.

— При чем тут навязывала или не навязывала? — возмутился Захар Захарович. — Качай права — и все!

Напротив их отсека на нижней боковой ехал кореец по имени Ким. Он мало говорил. Все дни, что мы ехали, не открывался от каких-то учебников и конспектов, а тут вдруг заговорил.

— Не завидую я вашим детям, — сказал он Захару Захаровичу.

Тот пересел от окна поближе к Киму.

— Вы так думаете? Приедем в Москву, сами посмотрите, как меня встретят. Только что духового оркестра не будет.— Он помолчал, еще ближе пригнулся к Киму и негромко спросил его, как бы извиняясь:— Позволю себе спросить, почему вы так хорошо по-русски говорите?

— А почему бы мне плохо говорить?

Каждый считал нужным отметить, что Ким на редкость здорово, без малейшего акцента говорит по-русски. Уж больно не вязалось это с его нерусской внешностью.

— Я родился в Средней Азии,— продолжал он,— учился в русской школе, потом в университете на отделении русского языка и литературы.

— Не в Ташкенте ли вы учились? — спросил Захар Захарович.

— В Ташкенте.

— Так мы земляки, мать честная. Я в восемнадцатом басмачей бил там. Учился в Ташкенте в политехническом имени товарища Икрамова. Вы молодой и не знаете, кто такой был товарищ Икрамов.

— Очень хорошо знаю,— ответил Ким.— Кто же его не знает в Средней Азии!

— А я так умирать буду и не забуду один случай, можно сказать, связанный с товарищем Икрамовым,— сказал Захар Захарович.— У меня отдел кадров копию диплома потребовал. Я взял да тушью и залил имя товарища Икрамова. Слушайте дальше. Пошел к нотариусу, а он отказывается заверить копию, говорит, испорчен документ. Что делать? Я к самому старшему иду, рассказываю все начистоту: так, мол, и так. Тот ничего мне не сказал и приказал заверить. Ясно?

— Ясно,— ответил Ким и улыбнулся.

— А улыбаетесь зачем? Я к слову о товарище Икрамове вспомнил. Мне другое обидно. Есть у меня под Москвой дачка с небольшим участком. Нужен, допустим, мне навоз, так я, старый железнодорожник, должен изловчиться: когда стемнеет, ловить левую машину, чтобы привезти этот самый навоз. А вот юбилей какой, так за мной присылают: иди, Захар Захарович, расскажи молодежи, как басмачей бил.

Из своего отсека вышел гражданин, которого мы уже окрестили дипломатом: ведь возвращался он из заграникомандировки. Неодобрительно и вместе с тем ласково поглядел он на бывшего красноармейца и сказал:

— Я три года не был на родине. Смотрю в окно и не нарадуюсь.

— То-то оно, что из окна,— проворчал Захар Захарович.

— Верно,— весело подхватил дипломат.— Но мы-то знаем, какие великие дела на Ангаре делались. Вижу Енисей, а перед глазами Дивногорск, а раньше Амур, а там ведь Комсомольск, наша, так сказать, биография. А какой вокзал в Новосибирске! Сам не был, но ведь все знают, какой сказочный городок отстроили себе ученые. А вы, простите,— машина навоза... Разве в ней суть?

Захар Захарович притих было, но, словно спохватившись, возмущился:

— Вы меня не агитируйте. Вы свою жену воспитать не сумели. Подай ей международный. Стыда нет.

Раздался голос Лины:

— Иван Константинович! Нашел с кем разговаривать!

Иван Константинович удалился, а Семен Григорьевич съехидничал:

— Вот так, Захар Захарович, с нами и говорить не желают,— сказал Семен Григорьевич. Он не только проснулся, но и успел войти в курс разговора.

У Захара Захаровича пятнами пошло лицо. На нем была пижамная куртка. Он зачем-то снял ее, надел пиджак со значком почетного железнодорожника. Застегнул пиджак на все пуговицы, сел, застучал пальцами по столу.

— Я разузнаю, где он и что он,— пригрозил Захар Захарович и, наверно, не слыша самого себя, почти закричал: — Я ему покажу!

И снова голос Лины:

— Насмешил.

— Молчи,— сказал Иван Константинович.

Разрядить обстановку решила Елена Давыдовна, она громко сказала:

— Ну вот, скоро большая остановка. Тюмень, кажется. Выходить опасно. Сказали, что мы опять опаздываем и стоять будем недолго.

Семен Григорьевич спросил, который час, и сам же себе ответил:

— Скоро семь. Я, конечно, проспал известия.

У него был с собой транзистор, по нескольку раз в день он слушал последние известия.

— На сколько мы здесь впереди от московского? — спросил Семен Григорьевич.

— На три часа,— ответил Ким.

— Тогда все. Опоздал.

— Небольшая потеря,— заметила Елена Давыдовна,— ты всю жизнь слушаешь радио, читаешь газеты, анализируешь и всегда ошибаешься.

Семен Григорьевич, расстроенный, что проспал известия, с удовольствием сорвал досаду на супруге:

— Тебе вообще ничего не надо! — Он проворчал еще что-то про себя и обратился к Захару Захаровичу: — А вы не слышали наше радио?

— Нет. Мы беседовали тут.

— Сегодня канцлер Кизингер должен был прибыть в Лондон,— продолжал Семен Григорьевич.— На расстоянии чувствую — лиса.

Обычно Елена Давыдовна разговоры на политические темы старалась побыстрее перевести на что-нибудь другое, например на погоду в Москве или на слишком короткие юбки, что нынче стали в моде. Она и сейчас была начеку, но, видно, увлекшись своим пасьянсом, дала промашку и вместо того, чтобы на этот раз поддержать мужа, защитила какого-то канцлера.

— Зачем говорить о человеке плохо, если ты его не знаешь,— сказала она.

— Слышали? — апеллировал Семен Григорьевич к окружающим.

Надя и Лина сидели друг против друга и о чем-то разговаривали, вернее рассказывала Надя, а Лина слушала и не слушала, поглядывала на себя в зеркальце, прислоненное на столе к кружке. Из маникюрного набора она брала то пилку, то щипчики, то ножнички, колдуя над своими пальцами уверенно и сноровисто. Сама она была крупная, но ладная, яркая. Волосы золотистые, и не поймешь, свои они такие золотистые или искусно выкрашенные. Ехала она явно из жарких стран, а лицо, шея и руки оставались белые: берегла себя от загара.

Не в пример ей Надя внешностью не удалась. Круглое в веснушках лицо, волосы редкие, грязно-светлого цвета, прямые, подстриженные по уши, и такие же, неопределенного цвета глаза; короткие и толстые пальцы; ноги тоже толстые и короткие. Да и беременность не украшает.

Вовик тоже ни в какое сравнение с Надей не шел: высокий, представительный, со средним техническим, окончил горный техникум. Надя

воспитывалась в детдоме без родителей, а у Вовика были и папа, и мама, и младшая сестра, и старший брат. Это он мне рассказал в первый день нашего знакомства.

— Я им сюрприз готовлю,— говорил он.— Надю везу.

Теперь Надя рассказывала о себе Лине:

— Я своих родителей и не видела. Меня государство вынянчило, а когда подросла, учить стали. В четвертом два года сидела, до восьмого дотянула, хотели дальше учить, но, видно, я неспособная, поставили в шахту табельщицей. Раньше еще в комсомол приняли. Когда узнали, что с Вовиком сошлась,— комсомольскую свадьбу устроили. Поначалу крохотную комнатку дали при общежитии. Так мы плиткой отапливались. Теперь у нас шикарная огромная комната. Пятнадцать метров в новом доме.

— Тебе повезло,— сказала Лина.— Теперь главное — держать его в руках.

— А чего его держать?

Но Лина знала, что говорит, и настаивала:

— Без этого не проживешь. И ты сама не должна ходить, как деревенская баба. Надо уметь себя преподносить.

Последние слова Надя оставила без внимания или просто не поняла их. Она вздохнула и пожаловалась:

— Опять мутит.— Она как-то напряглась вся и громко выпалила: — Интенсикация.

— Что?

Надя помолчала и с разбегу опять громко выпалила:

— Интенсикация!

Кто-то сонным голосом попросил:

— Нельзя ли потише?

Надя ладонью прихлопнула рот, а Лина, не терпевшая замечаний, громко спросила:

— Это кто там распался? Ужин проспите.

— Я говорила Вовику: не надо было мне ехать. А он — поедем да поедем, познакомлю с матерью, с отцом. Я своих-то не знаю, зачем мне чужие?

— Хоть ты и беременная, а дура,— сказала Лина.— Семья есть семья.

Подошла бабка Фрося.

— Ты врачей не слушай,— сказала она Наде.— Они тебе наговорят. Все от нервов, они у тебя напружинились. Отпустят, и все пройдет.

Как только Надя куда-нибудь отлучалась, так на голову Вовика сыпались упреки, выражалось сочувствие Наде. Усердствовали женщины, мужчины помалкивали. Правда, кое-кто из женщин не то чтобы оправдывал Вовика, но вставлял словечко в его защиту: женился, мол, с ходу, не подумавши, поглядите, какой он ухоженный, а она неотесанная. И еще говорилось, что Вовик, может, и не собирался жениться.

Потом приходила Надя, разговор продолжался вроде бы на другую тему, но вертелся вокруг да около брачных дел. Так и теперь было: Надя пошла в туалет, но скоро вернулась, так что поговорить, посудачить про нее и Вовика не вышло. Средних лет бойкая черноволосая бабенка с тоненькими полосками вместо бровей простуженным голосом рассказывала о какой-то своей соседке, у которой всего год как умер муж, а она уже за другого вышла.

— Правильно сделала,— сказал Захар Захарович.— Вашего брата при живом-то не удержишь, а тут сам бог велел.

— Я тоже женщина,— сказала черноволосая,— и говорю — неправильно это. Подумаешь, приспичило. Когда покойный еще жив был, так она его от себя ни на шаг. На кладбище кричала: не держите меня, я с ним. А тут — нате вам. Вот как бывает.

Проработка шла и в глаза и за глаза. Мне так прямо было заявлено, что я бесхарактерный, что я не должен был уступать свою нижнюю полку, а тем более переселяться на верхнюю боковую.

— Женщина просила,— оправдывался я.

Захар Захарович о Лине не вспомнил, побаивался лишний раз столкнуться с ней, а в меня вцепился.

— Билет есть? — спрашивал он и сам же отвечал: — Есть. Вагон и место указаны? Указаны. Все. А вы, если хотите знать, не уважаете собственные права. А почему? Никакого характера.

Наш вагон почти весь перебивал в купированном. Всем хотелось видеть, из-за кого Вовик голову потерял. Уходили и считали своим долгом объявить, что идут в вагон-ресторан. Кто за фруктовой водой, кто вафли купить или посмотреть, не выкинули ли яблок, хотя все это — и вафли, и воду, и яблоки — носили в корзинах по вагону. Информация о Люсе шла, как с телетайпа: «скелетина», «на глазах полкило краски», «сразу видать, интересантка», «брюки из эластика», «хохотушка».

Вчера я тоже пошел посмотреть на Люсю и тоже объяснил, что иду за сигаретами, а сам решил попробовать намекнуть Люсе, чтоб не морочила парню голову. Я узнал ее сразу, потому что рядом прилепился Вовик. Она верно была тоненькая, во всяком случае не скелетина, никаких брючек-эластик на ней не было. Обыкновенные тренировочные брюки. Да и полкило краски не было на ее глазах, они сами по себе были большие и черные.

— Привет! — радостно встретил меня Вовик.— Сыграем, товарищ корреспондент, в «дурачка»?

— Сыграем.

Вовик повернулся к открытой двери в купе:

— Сыграем, товарищ Петров?

— Я всегда готов,— отозвался Петров, веселый человек с большой головой и оттопыренными ушами.

Из-под столика он вытащил чемодан, подбросил его на своих громадных ручищах и поставил на попа посередке.

На одной из верхних полок лежал, засунув под голову руки, худющий, небритый человек, должно быть Валентин. На мое приветствие он кивнул мне. На другой верхней было свалено геологическое имущество: рюкзаки, спальные мешки. Вовик сел так, чтобы играть в паре с Люсей. Я понял: если ждали партнера, стало быть, Валентин не игрок, и все-таки спросил его:

— Может, вы хотите сыграть?

— Нет-нет. Я не играю.

Петров, ни на кого не глядя и раздавая карты, сказал:

— Они с нами не играют. Они какой день переживают. Разбились пластинки...

— Какие пластинки? — спросил я.

— Классика. Бетховен. Бах и другие. И разбил их я. Взял да об пол двинул. Понимаете, нарочно.

— Я в этом уверен,— сказал Валентин.

— У кого шестерка? — спросил Петров.

Шестерка была у Вовика.

— Ходи.— Петров глянул на меня.— Слышали, что сказал дурак человек? — И к Валентину — Корреспондента бы постеснялся: что он про нашего брата геолога подумает?

Валентин свесил голову с полки и впился глазами в Петрова.

— Сколько раз я просил не обзывать меня.

— Я ж по-дружески.

— Мы никогда не были и не будем друзьями.

— Видел бог, я не приглашал вас в партию.

— А я всю жизнь делаю не то, что хочу.— И, помолчав, добавил:—

Из больших зол выбирают меньшее.

— На том спасибо.

— Но я ошибся.

В купе заглянул лысый человек в пижаме и с шахматной доской под мышкой.

— Желающих нет? — И, не дождавшись ответа, исчез.

Из коридора доносилась музыка; пели известную в свое время, а теперь, пожалуй, исполняемую только в поездках: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно...»

— Шахтер, сделай погромче,— попросил Петров.

Вовик услужливо метнулся было в коридор, но его остановил Валентин:

— Умоляю, не надо громко!

— Я чуть-чуть,— пообещал Вовик.

— Как мне надоело ваше хамство! — воскликнул Валентин и откинулся на подушку.

— Пожалейте гостей,— попросил я.

— Они меня не жалеют,— сказала Люся.— А я все ж таки женщина. Только и выясняют отношения. Хорошо, Володя с тоски не дал помереть.

Она залиvisto рассмеялась. Она смеялась по всякому поводу — и когда они проигрывали с Вовиком, и когда выигрывали,— смеялась долго и заразительно.

За картами, из-за перебранки, к которой хочешь не хочешь, а прислушиваешься, я забыл, зачем, собственно, пришел сюда, забыл, что хотел «намекнуть» Люсе про Вовика. И хорошо сделал, что забыл и не намекнул. Всего-то и делов здесь, что с тоски не дает помереть...

Проигрывали они с Люсей чаще, чем выигрывали, хотя Люся открыто показывала ему свои карты, чтоб знал, с чего ходить, но Вовик свои-то карты плохо видел. Наверное, с той самой минуты, как случилось им постоять в тамбуре, где, по выражению Вовика, у него голова кругом пошла, с той самой минуты она, голова его, так и не стала на место. Я только подумал об этом, а Петров прямо сказал ему:

— Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.

Валентин встрепенулся и даже двинул кулаком в стену.

— Пушкина хоть не перевирайте. Не больше, а легче нравимся мы ей.

Петров был неуязвим, бубнил себе под нос: «Станный народ куда спешит, странный народ куда спешит, странный народ куда, куда спешит».

Перебранка их то затихала, то с новой силой вспыхивала. И всякий раз упоминались пластинки, хотя, как я понимал, не только в них было дело. Не знаю, сколько времени они пробыли вместе, во всяком случае осточертеть друг другу они успели основательно. И еще: есть же такой термин «несовместимость». Она-то, несовместимость, и была налицо.

— Я верю, что вы их разбили нарочно,— вдруг снова заговорил Валентин о пластинках.— Потому что это ваше мировоззрение. Вы не видите все, что не понимаете.

— Почему? — ответил Петров.— Я очень уважаю Бетховича и Баховича.

Люся прыснула, за ней Вовик. Это не бог весть как было остроумно, но и я не удержался и засмеялся.

— Валентин,— сказала Люся.— Простите, но, честное слово, это смешно.

— Что смешно?

Люся боялась повторить. И сказала Петрову:

— Хватит вам.

— Не останавливайте его! — закричал Валентин.

Тут уж и я не стерпел, сказал им что-то вроде того, что, дорогие товарищи, разрешите откланяться, что мой им совет не ссориться из-за чепухи, а главное, что скоро Москва, а там, мол, жизнь врозь, так нужно ли сейчас трепать нервы.

Валентин накинулся на меня:

— По-вашему, это чепуха?

— Да пошел ты к чертовой матери! — как из пушки, грянул голос Петрова.— Из-за тебя тут игра расстроилась. Приедем в Москву, куплю я тебе твоих гениев.— Он сорвался, шагнул в коридор и уже оттуда позвал: — Идиге сюда, песню Туликова передают.

Я задремал и проспал Тюмень. Еще я проспал превращение Нади. Она сидела, как после бани отмытая, с подкрашенными губами, подведенными глазами. Раньше на ней была какая-то замызганная фуфайка мышинового цвета, а сейчас розовенькая блузка с карманчиком, а из карманчика выглядывал уголок беленького платочка.

— Совсем другое дело,— говорила ей Лина.

А Надя в ответ:

— Не приучена я к туалетам.

— Какой же это туалет? Скромненько, но со вкусом.

— Я и забыла, что у меня есть эта кофтенка.

Конечно, Наде было и теперь еще далеко до Лины, но чем-то она смахивала на нее, а может, наоборот, Лина на Надю. Ни хамства, ни высокомерия. Подвезло в свое время, а ведь не такой родилась, не такой ехала девчонкой в эвакуацию. Это уж потом что-то внушило ей, заставило уверовать в свою исключительность, в свое предназначение. Не так-то просто устоять перед таким соблазном.

Проснулись самые маленькие пассажиры нашего вагона — двухголовые двойняшки Андрюша и Антоша. Ехали они с матерью, отцом и бабушкой Фросей. Мальчишек не отличить было друг от друга, и оба они — точная копия отца. А он, сын бабушки Фроси, Паша, смахивал на нее. Все четверо светлые, с голубыми глазами, плоскими носами. Зато жена Паши, мать двойняшек, в контраст своему семейству черная, как цыганка. Черные, будто отполированные волосы и такие же черные полированные глаза. Паша уже много лет живет на колесах, то есть там, где нужен его экскаватор. Жили в Ангарске, в Дивногорске, когда этого названия-то еще не было. Теперь держат путь в Дагестан. На ночь и на послеобеденный сон семейство занавешивалось простыней. От этого не становилось тише, а так, вроде отдельное купе.

Антоша и Андрюша просыпались одновременно и сразу в дело: один другому давал тумачков. Реветь же начинали оба. И тот, кому доставалось, и тот, кто задирался. Вот и сейчас они голосили.

— Кто кому съездил? — спросила бабушка Фрося.

— Неужели не видите? — отозвалась невестка.— Конечно, Антошка Андрюшке.

И так по нескольку раз в день. Бабушка Фрося, не различая внуков, спрашивала:

— Кто кому съездил?

Послышался стук костяшек. Это отдохнули после обеда и приступили к своим обязанностям солдаты-отпускники Саша и Тюрин. Одного все вокруг звали интимно, по имени, наверно оттого, что он был лихой баянист и вообще весельчак и ухажер. Тюрин же тихий, застенчивый, часто вынимал расческу и приглаживал свой ежик. Утром и днем они забивали «козла», а вечером у них начиналась разная жизнь. Саша присосеживался к дамскому полу и играл на баяне, что закажут. Слух и память у него были отличные. Тюрин, приглаживая расческой ежик, ходил от одного отсека к другому, постоит-постоит и пойдет дальше. Его приглашали сесть, но он смущался, просил не беспокоиться и отходил. Сапоги на нем были кирзовые, а у Саши понежней, похоже, хромовые.

В другом конце вагона послышалась гитара. Это студенты-практиканты подали голос. Их ехало пятеро — две девушки и трое парней. Кого как звать, я так и не разобрал. Девушки были одеты на один манер — в брючки да тельняшки. Мода, что ли, такая пошла? И подстрижены тоже одинаково — челка по самые брови. Два парня носили очки, их тоже не отличишь. Запомнился только белобрысый верзила-гитарист с бесцветными рыскающими, уголовными глазами. Ходил неряшливый. Играл он плохо, зато хорошо закладывал за воротник. Толком не знал ни одной песни, а все больше перебирал струны или аккорды брал. Но гитара есть гитара, и белобрысому прощали пьянство, неумытость, и даже какая-то из девушек вроде бы вздыхала по нем.

Пассажиры готовились к ужину, с полотенцами и мыльницами выстроились в очередь в один и другой туалет. Пошла занять очередь и Лина. Иван Константинович спал. Лина потолкала его, он перевернулся на другой бок, и Лина не стала его будить — пожалела.

Появился наконец и Вовик. Влетел запаренный, плюхнулся рядом с Надей, в руке зажаты два лимона.

— Бог они! — И на ладони преподнес Наде лимоны, будто достал их из-под земли, а не в вагоне-ресторане.

С озабоченным видом Вовик стал рассказывать, что ходил с кем-то советоваться по части Надиной интоксикации и что ему совершенно точно сказали, что ей, Наде, необходимо выходить на остансвах и дышать свежим воздухом. Он и это ценнейшее открытие преподнес Наде, как лимоны, будто добыть его стоило ему, Вовику, немалых усилий. Были и другие мудрые советы: как, например, лежать после еды. Словом, получалось так, что Вовик провел весь день исключительно в заботах о Наде. Под конец, чтобы снова улизнуть, Вовик решил ошеломить Надю, сообщив ей, что попозже сюда придут познакомиться с ней его друзья и что для этого надо кое-что купить в ресторане, так что Наде надо сейчас встать, он вытащит чемодан и достанет денег.

У Нади действительно был ошеломленный вид — то ли оттого, что придут гости, то ли от непредвиденных затрат.

— Сколько надо? — спросила она. — У меня в сумке пятерка есть.

— Да ты что! — возмутился Вовик. — Встань, пожалуйста.

Она встала. Он вытащил чемодан, из брючного потайного карманчика — ключики. Щелкнули замки, распахнулась крышка, Вовик запустил пятерню на дно чемодана, зашуршали бумажки. Вся предварительная подготовочка Вовика пошла насмарку, когда Надя увидела, сколько десятирублевков Вовик прячет в карман.

— Ты что, с ума спятил? — запротестовала она.

Хлопнула крышка, щелкнули замки, Вовик водворил чемодан на место.

— Они меня угощали, а я что — нищий? — И тут Вовик сам решил перейти в наступление: деньги-то в кармане и, главное, надо поскорее:

улизнуть, а со скандалом даже проще — обидеться и хлопнуть дверью. — Я что, твои беру? Да? Три года вкалывал и погулять нельзя?

— Бери десятку. Три-то зачем? На такие огромные деньги можно жить и жить.

Вовик облокотился одной рукой на вторую полку, другую сунул в карман, заложил ногу за ногу и громким злым шепотом спросил:

— Где ты слышала, чтобы говорили «а-громадный»?

— Ладно тебе зубы заговаривать. — Она села, отвернулась к окну.

— Нет, не ладно. И еще: я не желаю, чтобы ты называла меня Вовиком. Я Володя, Владимир. Ясно? — И, не выяснив, ясно Наде или нет, он махнул рукой и ушел, не заметив ни Надиных подкрашенных ресниц, ни блузки с карманчиком и платочком в нем.

Разговор этот слышала бабка Фрося и не замедлила подсесть к Наде.

— А деньги зря позволила взять, — сказала она. — Пусть бы попе-тушился. Явился шелковым, обходительным, а как деньги выманил — вон каким гоголем пошел.

Раздался голос ее невестки:

— Мама, зачем вы встреваете? Не маленькие, сами разберутся.

Вернулась Лина, и бабка Фрося убралась.

— Лимоны-то откуда? — спросила Лина.

— Вовик приносил, — ответила Надя и ни слова о том, что повздо-рили. Наоборот, с улыбкой продолжала: — Дружки, сказал, в гости придут. Сердится, что я его Вовиком называю.

— Правильно делает, — сказала Лина. — Когда вдвоем, называй, как хочешь, а на людях не полагается.

Нижние боковые полки превратились в столики. Подо мной ехал Тюрин. Он только спал и отдыхал после обеда до ма, а есть и забивать «козла» ходил к своему другу Саше.

Потрескивала скорлупа крутых яиц, кто-то спрашивал, нет ли соли, из другого конца в порядке самообслуживания уже бегали за чаем. Моя полукопченая колбаса заметно поубавилась. Зато я был спокоен, что дотяну до Москвы. Утром будет Свердловск, а там рукой подать. Заплатив проводникам за новую смену белья, отложив деньги за чай из расчета восемь стаканов в день (два утром, два в обед и четыре за вечер, по четыре копейки за стакан), у меня оставалось целехоньких три рубля. В ресторане не разгуляешься, я и решил дотерпеть до последней станции, до Александрова. А там в станционном буфете, как говорят, «стояком» можно подзаправиться, и дело с концом — отпраздновано возвращение.

Мимо в туалет поспешил экскаваторщик Паша. Высоко на согнутом локте он нес не то Андрюшу, не то Антошу. В другой руке у него горшочек, покрытый зеленой пластмассовой тарелочкой.

Раздался голос Елены Давыдовны:

— Что-то товарища Поняева не видно?

— Сейчас придет, — откликнулся кто-то. — В ресторане засиделся.

Поняев тоже из Совгавани, как Надя и Вовик. Он их начальник. Сначала он забрел к нам случайно, по ошибке из ресторана пошел не в ту сторону, а увидав Надю и Вовика, или, как он их называл, «моих молодоженов», зачастил к нам. Ехал он через Москву на юг с одной сотрудницей шахтоуправления. Сотрудницу эту звали изысканно — Элегией. Он называл ее Элей. С ними ехал еще третий человек, но уже в купированном. Он тоже из шахтоуправления, работал по хозяйственной части. Фамилия его Цыпин. Ехал для отвода глаз как брат Эли. Все это выболтал Вовик. Да и сам Поняев как-то с пьяных глаз прихватул. И чтоб оправдать свое доверие ко мне, добавил:

— Люблю я вашу братию, журналистов.

Узнав, что Вовик загулял, забросил свою беременную Надю, Поняев пожурил его, напомнил про комсомольскую свадьбу, выделенную комнату, погрозил пальцем. А Вовику хоть бы что. Поняев для Вовика большой начальник, а большие начальники куда великодушнее своих маленьких. Это усвоил Вовик и с дурашливым видом даже позволил себе намекнуть Поняеву, что и он не святой. Тот рассердился, но не серьезно, а скорее весело.

— Ты что меня равняешь с собой? Мы как искусственные спутники — каждому своя орбита, то бишь планета.

Он любил поиграть словами. Любил рифмы.

— Элегия, — говорил он, улыбаясь, — моя привилегия.

Сегодня он действительно малость запоздал и явился, как всегда, навеселе. Поглядел на Надю, на пустую полку Вовика, спросил:

— Где молодожен?

Никто не ответил.

— Ясно... — Он сделал паузу и с заговорщицким видом спросил: — Кто мне ответит, какое сегодня число?

Кто-то ответил:

— Девятое.

— И это вам ничего не говорит?

Со своей полки соскочил дипломат Иван Константинович.

— Братцы! День Победы! — воскликнул он.

— Безобразие! — сказал Поняев Киму. — В такой день, а ты со своими учебниками сидишь. Где пир?

— Мне нечем вас угостить, — ответил Ким.

— Угостить я тебя сам могу. Ты мне лицо давай. Где солдат? Сашка где?

Откуда-то отозвался Саша:

— Здесь я.

— Тащи баян.

На нашем с Тюриным столике появилась «столичная» и почему-то тульские пряники. И то и другое вытащил из своих карманов Поняев. Оказывается, у многих была припрятана заветная бутылочка. У одних беленькая, у других красненькая. Бабка Фрося в честь праздника повязала голову белым платком. Из их отсека потянуло самогоном. Андрюшку и Антошку потащили в туалет мыть рожицы. Внучка Захара Захаровича Верочка надела на себя белый школьный фартук, но дед велел снять, чтоб ревизор не заподозрил в ней школьницу. Верочка заплакала, и за нее заступились: откуда, мол, взяться ревизору — и дед уступил, приказав внучке не болтаться по вагону, а сидеть смирно. Ужин прервался, повременили и с чаем, на столики вытаскивались припасенные деликатесы: консервированные грибочки, коробки с исландской селедкой, шпроты. У кого не было спиртного, скидывались и бежали в вагон-ресторан. Вытащил и я остаток своей полукопченой, прикинув, что оставшихся трех рублей, хранимых с самыми ответственными документами (паспортом, командировочным удостоверением, билетом на самолет «туда»), мне за глаза хватит до Москвы. Черт с ним, с буфетом в Александрове, День Победы не каждый день бывает.

Сначала дипломат Иван Константинович поднял тост за победу в сорок пятом, потом Поняев предложил выпить за тех, кто не вернулся. С другого конца вагона студенты-практиканты кричали нам: «За что пьете?» — мы отвечали, и они поддерживали нас, и вагон наш превратился в один праздничный стол. Баянист Саша играл «Если завтра война», «Слушай, товарищ» — это по требованию бывшего красноар-

мейца Захара Захаровича. А когда пропустили по третьей, Саша улизнул к молодежи, и вместо песен пошли разговоры.

Елена Давыдовна, проткнув соленый огурец вилкой, просила кого-то передать огурец Наде.

— Первейшая закуска для пьяниц и беременных,— сказал Захар Захарович.

— Угощайтесь.

— Я, слава богу, не пьяница и не беременный.

— Люблю быть со своим народом,— сказал Поняев.— Не то что в нашем международном.

Захар Захарович рассказывал, что везет внучку к себе, что ее мать (она же младшая его дочь, всего детей у него четверо) перенесла тяжелую полостную операцию, теперь ей нужен покой, и он везет внучку на лето, а может, и на всю зиму к себе.

— Нет нужных лекарств,— говорил Захар Захарович.— Сказали, что в Москве их можно достать только.

— Сходили бы в облздрав,— посоветовал дипломат Иван Константинович.

— Ходил. Главного не застал. Другой был, из заместителей, что ли. Так представляете, даже сесть не предложил. Я, конечно, сам сел и спрашиваю его: из каких мест будете? А вам, говорит, зачем знать это? Личность, отвечаю, мне ваша вроде знакома. Не из деревни ли Хамиловки будете? Намека он моего не понял и отвечает, что с Тамбовщины, из деревни Вербилки. Что же, спрашиваю, у вас все в деревне Вербилки такие невежливые: человек пришел, а вы ему сесть не предложили? А он отвечает, что я, мол, не в гости к нему пришел и не в театр, а на прием. Ну, я чувствую, что если сдержусь — инфаркт со мной будет, и все равно, думаю, лекарства не даст, ну и заплатил ему. Зачем, спрашиваю, тебя учили и сюда прислали, сидел бы в своих Вербилках да скот пас, не срамит бы советскую власть.

— Да-а,— покачал головой Семен Григорьевич.— Не все Ломоносовы.

Ни Елена Давыдовна, ни Иван Константинович не любили подобные темы. Разумеется, по разным причинам. Елене Давыдовне просто спокойней жилось без них, а Иван Константинович считал эти темы мелкими, обывательскими. И хотя и на этот раз тема была сугубо внутренняя, Иван Константинович рассматривал ее с высоты своей дипломатической колокольни, так сказать, с точки зрения мировой политики.

— Товарищи! — начал он, видно, решив произнести речь.— Я не сомневаюсь, что все вы честные советские люди. Я только призываю вас ни на минуту не забывать о той титанической борьбе, которую мы ведем на международной арене. Поэтому мне странно и даже обидно, если из-за какой-то машины с навозом у человека может портиться настроение. Или взять дефицитное лекарство. Сегодня его мало, а завтра будет сколько угодно.

— Завтра оно мне будет не нужно, если моя дочь, а ее мать,— он указал на Верочку,— умрет.

Верочка расплакалась.

— Успокойся, деточка,— сказала Елена Давыдовна.— Дедушка шутит.

— Шутит,— подтвердил Семен Григорьевич.— Хочешь, тебе тетя Лена споет?

— Хочу,— сказала Верочка, всхлипывая.

— Моя супруга неплохо пела,— объявил нам Семен Григорьевич.

— Я знала, что тебе нельзя пить,— сказала Елена Давыдовна.

За дело взялся Поняев, а уж ему отказать было невозможно. Само обаяние. Елена Давыдовна сдалась. Придвинулись в нашу сторону студенты-практиканты во главе с белобрысым гитаристом, подсел поближе Саша с баяном. Не поделили опять что-то Андрюшка с Антошкой, и их унесли в другой конец вагона, чтобы не мешали.

Елена Давыдовна запела: «Спокойно и просто мы встретились с вами...» Она пела негромко, неожиданно молодым голосом. Казалось, он доносился издалека, из прошлого Елены Давыдовны.

Белобрысый старательно и потому громче, чем нужно, брал свои аккорды. Они были не всегда к месту, но и не мешали.

«Была наша близость безбрежна, безгранна»,— пела Елена Давыдовна, чуть покачивая головой и загадочно улыбаясь Верочке.

Баянист Саша вроде и забыл о своем баяне, сидел, сложив на нем руки, опершись на руки подбородком.

«...Но пропасть разрыва легла между нами»,— пела Елена Давыдовна, а Верочка, успокоившись было, опять всхлипнула и попросила: — Не надо больше.

Наверно, ей почему-то стало жалко тетю Лену. Потом были аплодисменты и тост за Елену Давыдовну.

Из другого конца вагона на четвереньках приползли до мой Антошка и Андрюшка. Не углядел за ними отец, за что и получил нагоняй. На щеках у ребят черные потеки, черные руки и даже уши. Они были необыкновенно довольны собой и не пикнули, когда им надавали шлепков.

— Здорсвей будут,— сказал кто-то.

Распахнулась дверь в тамбур, а там шум, возня. Проводники кого-то выпроваживали. Один из них объяснил нам, что поймали «зайца», ехал он без билета из-под самой Тюмени.

— Безобразие,— сказала Лина и поглядела на два своих чемодана, не уместившихся под сиденьем и покоившихся на третьей полке.

— А если человеку надо ехать и нет денег? — спросил кто-то из студентов.— Как тогда быть?

Ему никто не ответил, потому что действительно не знали, как тогда быть.

— Далеко ему?

— До Богдановичей.

Кто-то из студентов сказал, что в честь праздника Дня Победы надо разрешить «зайцу» ехать.

— А куда его денешь, раньше Богдановичей станции не будет,— объяснил проводник.— А там в милицию сдадим.

— Не надо в милицию! — хором попросили студенты.

Да и без их просьбы второй проводник, видно, поладил с безбилетником, и тот прошмыгнул в купе проводников.

Веселье чуть приуныло, и Поняев решил взбодрить его. Из своих бездонных карманов он извлек еще одну поллитровку. Девушка-студентка, бледенькая, хрупкого сложения, с темными кругами под глазами, спросила меня вдруг:

— Вот вы журналист, скажите, как жить?

Где бы я ни был, меня часто спрашивали: «Как надо жить?» Его задавали мне вовсе не хрупкие, бледенькие девушки, а здоровяк водитель двадцатисемитонного самосвала, спортсмен-мотоциклист, инженер с цементного завода, бригадир штукатуров, литературный сотрудник местной многотиражки.

Однажды мы засиделись до утра, я устал, а они дружно призывали меня к ответу.

Вроде бы философский вопрос «как жить?» в конце концов сводился к конкретным претензиям, большим и малым. В ту ночь я сказал ребятам:

— А живите по совести.

Бледнолицей студентке я тоже посоветовал жить по совести.

Она промолчала, сказал Семен Григорьевич:

— Вы хотите по совести? Прекрасно. А другой не хочет. Вы считаете справедливым одно, а другой другое.

— Товарищи,— перебил нас дипломат.— Вы забыли, какой сегодня день. Миллионы наших людей сложили головы за Победу.— Он обратился к девушке:— За вас, чтобы вы могли спокойно учиться, а вы себя мучаете ненужными вопросами: как жить? Смешно.

Наконец заговорил и Ким, молчавший весь вечер. В руке он держал карандаш с идеально отточенным кончиком. Говорил он, не повышая голоса, назидательно. Сначала его слова и карандашик были обращены в сторону Ивана Константиновича.

— Можно делать вид, что вопроса «как жить?» не существует, но ведь от этого он не будет снят и тем более решен.

Радовался Поняев, лицо его лоснилось от выпитого, он улыбался, побрякивал.

— Ей-ей не опровергнешь,— подбадривал он Кима.

— Я заканчиваю,— сказал Ким, и карандашик его задержался на Поняеве, затем стрельнул в меня.— Товарищ прав.

Другая девушка, так же как и первая, затеявшая разговор, как жить, неожиданно воскликнула:

— А я боюсь летающих тарелочек! Вы верите, что они есть?— спросила она Кима.

— Верю.

— А кто на них летает?

— Возможно, марсиане.

— Что ж они с нами не общаются?

— Возможно,— Ким показал карандашиком на окружающих,— считают нас муравьями.

— Это ужасно!— сказала девушка.

— Почему?

— Все-таки.

— Что все-таки?— настаивал Ким, склонив голову и улыбаясь.

— Что нас могут считать муравьями,— ответила девушка.

На это Ким заметил, что в данном случае важно, что человек сам о себе думает.

Вокруг снова и снова шепотом не переставали удивляться, что Ким так хорошо говорит по-русски.

Студенты отвалили к себе. Мы с Поняевым добились поллитровку.

— Сейчас ко мне пойдем,— сказал он.— У меня еще есть что выпить.

— Не много ли?

— Смеешься.

Мы собрались уже с Поняевым уходить, но появилась бледнолицая студентка и потащила меня за рукав.

— На одну минутку. Как вы думаете, он меня любит?

— Спросите его.

— Я спрашивала, говорит — нет.

— Стало быть, нет.

— А я? Люблю его?

— Вам виднее.

— По-моему, тоже нет.

— Ну и прекрасно.

— Еще секундочку!.. Как вы думаете, у меня еще будет что-нибудь настоящее?

— Будет. Идите спать!

— Ура! Иду спать!

Поняев, как бывает с сильно выпившими, стремительно пошел к выходу, того гляди головой дверь в тамбур проломит. Я за ним. Гулять так гулять. День Победы не каждый день.

Я догнал Поняева в купированном. Мы увидели Вовика и Люсю. Они сидели в коридоре на откинутых сиденьцах перед открытым Люсиным купе. Поняев с ходу в крик:

— Ты что ж здесь околачиваешься? Я тебе зря комсомольскую свадьбу отгрохал?

Москва была явно ближе Совгавани, и Вовик наглед с каждым часом.

— Я что-то не видел вас на своей свадьбе,— сказал он.

— Может, у него и дети есть? — улыбаясь, спросила Люся.

— Пять малюток! — закричал Поняев.— Один меньше другого и все с протянутыми ручонками по вагонам ходят.

Люся захохотала и замахала руками.

— Поневоле сбежишь,— сказала она.— А вы кем его малюткам приходитесь? — спросила Люся.— Дедушкой?

— Я — всем — все! — ответил Поняев.

Раздался голос Валентина:

— Когда-нибудь спать дадите?

Он выкрикнул это срывающимся голосом со своей второй полки, с которой он, наверно, только по нужде слезал. Ну, может, поест еще. Вот и сейчас, не слезая с нее, он перегнулся и с силой задвинул дверь, но она тут же снова раздвинулась. В проеме стоял Петров.

— Вы что хамите? — крикнул ему Валентин.

— Это ты хамишь. Люди в гости пришли, а ты перед их носом дверью хлопаешь.

Я поторопился заверить, что мы не в гости пришли, а просто шли мимо, а перед Валентином так даже извинился за позднее вторжение. Он не удостоил меня ответом. И это еще больше подлило масла в огонь. Теперь уже Петров не преминул сказать:

— Ты мнишь себя жутким интеллигентом, тут человек перед тобой извиняется, а ты к нему задницей, потому что ты и есть самая большая задница.

— Я запрещаю говорить мне «ты!»— закричал Валентин.— А за то, что обзываете, я заставлю вас извиниться!

— Люди добрые,— попытался остановить скандал Поняев.— Сегодня такой день. Целоваться надо, а не лаяться.— Он сделал паузу и, растроганный собственными словами, продолжал: — Чего вы не поделили? Отвоеванную землю? Небо? Женщин? — Он улыбнулся Люсе.

— Я для них не женщина,— сказала Люся и ответила Поняеву улыбкой.

Мы двинулись дальше. Еще только, кажется, одно купе в этом вагоне не спало. В нем горела настольная лампочка, но было тихо и мирно. Там были заняты чтением. Поняев рассердился:

— Наши время читать! День Победы, а они читают. Уж лучше ругались бы.

Мы миновали еще один купированный. Знакомых не обнаружили. Все двери были плотно задвинуты. А вот в мягком Поняев оживился. Увидел знакомого.

— Привет товарищу Егорову.

Товарищ Егоров, полноватый, громоздкий человек, чем-то напоминавший самого Поняева, стоял в коридоре и глядел в темное окно.

— Привет товарищу Поняеву.

— С праздником.

— И тебя.

— Отметил?

— Малость.

— А почему не весел?

— Да так... задумался...

— Все в рыбе работаешь?

— Ты отстал,— с грустью ответил Егоров и покачал головой.— Я там не работаю...

— Давно сняли?

— Ты уж так сразу — сняли. Перевели.

— Где теперь-то?

Егоров не ответил. Разговор не клеился.

Международный встретил нас покоем и комфортом. Ковровая дорожка, кругом все под красное дерево, будто мы попали во внутренность дорогого шкафа.

— Он лет десять ждал, что его снимут,— сказал Поняев про Егорова.— И сняли. Дождался.

В купе нас встретили Элегия и Цыпин. На столике закуска, бутылки, тарелки, рюмки. Я и не заметил, что сервировка была на троих, а Поняев заметил и приказал:

— Прибор для гостя.

Элегия и Цыпин поднялись, но Поняев остановил Элегию:

— Сиди.

Изысканное имя принадлежало молоденькой женщине с весьма заурядной внешностью. Может, она и была чем-то привлекательна, но в таких случаях ищешь соответствия, ждешь чего-то необыкновенного, забывая, что люди дают имена себе не сами.

Поняеву захотелось поиграть в подчиненного Элегии. Уже расположившись рядом с ней, он приподнялся и спросил:

— Разрешаете?

Потом взял бутылку, но, прежде чем разлить по рюмкам, осведомился:

— Можно начинать?

Правда, при всем наигрыше, чувствовалась и некая зависимость: как-никак, а раза в два с лишним Поняев был старше своей возлюбленной.

Еще раз выпили за победу, еще раз за тех, кто не вернулся. Цыпин сказал, что у него погиб старший брат. Выпили в память о брате. У Элегии погиб двоюродный брат. Выпили в память ее двоюродного брата. У меня тоже погибли двоюродные братья и шурин, но мне не хотелось с чужими людьми поминать их. И я один мысленно, про себя, помянул их, когда Поняев и его друзья пили за светлое будущее.

— Я ведь с тобой хотел о деле поговорить,— сказал мне Поняев.— Перед тобой, можно сказать, живая хронология, не человек, а летопись. А главное, мысли... понимаешь, мысли. Оформи их. Бесценный опыт для молодежи будет. Ну, как?

Я сказал, что не занимаюсь оформлением чужих мыслей. С божьей помощью кое-как свои оформляю.

— Жаль. А то подумай. Выгодная же работенка.

Я ответил, что и думать нечего. Не по моей части эта работенка. Поняев посидел, помолчал, затем прошел в туалет. Теперь до меня до-

шло, почему он доверителен со мной, почему говорил, что любит нашего брата журналиста.

— Расширяет товарищ Поняев сферу обслуживания,— сказал Цыпин.

— Вы о чем? — спросил я.

— Неужели непонятно?

— Умолкни,— сказала ему Элегия.

— А что, неправда?

— Я никого не обслуживаю,— сказала Элегия.— Я живу, как хочу.

Цыпин как-то сразу опьянел, видно, до нашего прихода успел пропустить не одну рюмку, и начал шуметь.

Вернулся Поняев, и Цыпин умолк.

— Ты скажи Цыпину, чтобы не цеплялся,— сказала Элегия.

Поняев удивленно взглянул на него. Цыпин глядел в свою пустую рюмку.

— Мне тридцать шесть лет, а чего я достиг? — пожаловался он.— Какой-то замзав. Никакой перспективы...

— Перспективы? — удивился Поняев. Он обнял Элю.— Вот моя перспектива.— И к Цыпину примирительно: — Иди спать, а мы еще посидим. Люблю интеллигенцию. Мы тоже, конечно, интеллигенция. Но я говорю о художниках там, писателях, артистах, журналистах... Во мне тоже есть что-то от них. Ей-богу, я, наверно, могу и стихи писать. Эля, как я тебя называю?

— По-разному.

— Скажи.

— Лебединой песней.

— Еще.

— Песней без слов.

Поняев торжествующе поглядел на меня.

— Слышал? Сам придумал.

Поняев чем больше пьянел, тем становился веселей, а глядя на свою Элю, просто-таки впадал в детство. Затеял сейчас игру с ней, не знаю уж, как она называется: ладони к ладоням. Кто успеет изловчиться, убрать свои и не получить удара — выиграл. Поняев и не желал выигрывать, Эля основательно шлепала его по рукам. И всякий раз он вскрикивал, повизгивал.

Мимо купе пробежали несколько человек, мелькнул белый халат и медицинская сумка. В коридоре проводники о чем-то громко говорили.

Я выглянул туда и спросил, что случилось. Один из проводников подошел и объяснил:

— В купированном мужчину избили. Геолога, говорят.

Люся стояла в коридоре, закрыв ладонями лицо. Вовика рядом не было. Кроме Люси и еще одного пассажира в голубой пижаме, в коридоре вообще никого не было. То из одного, то из другого купе выглядывали заспанные, перепуганные лица. Ни я, ни Поняев ни о чем Люсю не спрашивали, она сама стала рассказывать нам, как все произошло, но захлебывалась слезами и ничего не могла выговорить. Пока ясно было одно: когда мы проходили служебное купе, там в окружении каких-то людей в форменных фуражках сидел Валентин. Значит, досталось Петрову.

Люся немного успокоилась и заговорила:

— Мы с Володей здесь были, вон там, у тамбура. Они поутихли, когда вы ушли. Мы даже голосов не слышали. Потом вдруг крик. Я бросилась в купе, вижу — Петров лежит на своем месте, а по лбу кровь. Я закричала на Валентина: «Ты что сделал?» А он отвечает: «Меньше

хамить будет».— Она опять залилась слезами.— Стукнул чем-то по голове.

— Пили много? — допытывался Поняев.

— Петров выпил, а Валентин не пьет.

— Сумасшедший, значит? Или шизофреник?

— Мы не замечали.

— Сволочь,— сказал Поняев.

— Они всю дорогу ссорились,— сказал пассажир в пижаме.

Почему-то именно сейчас вдруг сказалось выпитое за вечер. Ноги никак не держали, я шел по стенке. Уж как там добрался, как вскарабкался на свою полку, не помню. Разбудили меня голоса. Лежал я, как пришел, в костюме и ботинках. Поезд стоял. В вагоне было утро.

— Где мы? — спросил я.

— Свердловск.

Кругом все прилипли к окнам, противоположным от меня. Там перрон и вокзал.

— Вот они,— сказал кто-то.

— У одного голова перевязана.

— Верочка, уйди от окна!

Только сейчас я вспомнил вчерашнее, понял, у кого перевязана голова.

— В милицейскую машину сажают,— продолжали комментировать.

— А в какую еще!

— И ее туда же.

— А ее за что?

— Как свидетельницу привлекут.

— Разберутся.

— Ревность чего хочешь сделает.

— Говорят, тот, кому досталось, пластинки его разбил.

За окном раздался милицейский свисток и голос:

— Разойдись! Дайте проехать.

Я вспомнил большую, веселую голову Петрова с оттопыренными ушами, его песенку: «Стран народ куда спешит, стран народ куда спешит...»

Вовик лежал на своей полке, свернувшись калачиком. Как и я, он был одет и тоже в башмаках. Тихо плакала Елена Давыдовна. Семен Григорьевич принес ей из туалета смоченный платок.

— Не зря ли мы едем? — спрашивала она сквозь слезы.

— Почему зря? Сколько времени не видели детей, и зря. Зачем думать — пропишут, не пропишут. Повидаемся — и хорошо. Вернуться всегда успеем.

Лина, решив успокоить Елену Давыдовну, сказала:

— Зачем себя так растравлять. Подумаешь, подрались.

— Поехали,— сказал кто-то.

Я повернулся к стенке, вагон наш легко постукивал на стрелках. Я чувствовал, что опять засыпаю. Последнее, что я услышал, как кто-то сказал о каких-то новых пассажирах, поселившихся у нас вместо студентов. И еще не то Антошка, не то Андрюшка съездил один другому по физиономии.

Сколько я проспал, не знаю. Разбудило радио. Оно сообщало, что наш поезд прибывает на станцию Пермь и что «...стоянка возможно будет сокращена...». Я достал свои последние три рубля, нацелился было на туалет, но там была очередь, а поезд уже громыхал мимо станционных построек. Зато на выходе я был первым. Первым оказался и в буфете. Продавали красненькое, пирожки и крутые яйца, куски холод-

ной жареной рыбы. Рубль с копейками стоило мне все удовольствие. В газетном киоске прихватил еще местную газетку.

По платформе гулял Поняев. На дворе май, а он в габардиновом пальто и шляпе. Увидел меня, приподнял шляпу, прошел мимо, даже не подумал остановиться. Потом я увидел его в компании дипломата Ивана Константиновича и Захара Захаровича. Поняев беседовал с дипломатом, а Захар Захарович семенил сбоку. На лацкане пиджака — орден, а дипломат в «болонье».

Скоро поезд тронулся, появились новые пассажиры, но я не успел их еще разглядеть. Да и те, кто давно ехал вместе, казалось, раззнакомились. Больше помалкивали, а если говорили, то вполголоса, не касаясь ночного происшествия.

Ким уткнулся в свои конспекты. Баянист Саша обхаживал новенькую пассажирку гренадерского вида. Саша что-то веселое рассказывал ей, она кокетливо улыбаясь, скашивала на него глаза. Захар Захарович сидел в пиджаке и при ордене, читал газету. Тюрин с расческой в руке прохаживался по вагону. Лина маникюрными ножничками и пилкой подправляла ногти. Зато Надя разговорилась вовсю. Она рассказывала Лине, что у нее тоже был маникюрный наборчик, не такой, конечно, красивый, как у Лины, но тоже хорошенький; наборчик этот пришлось подарить подружке Фаинке на день рождения, а теперь сама без наборчика сидит, потому что в магазине нет таких и вообще с подвозом в Совгавани неважно.

Ее не тошнило и икота отпустила. Бабка Фрося сказала бы, что это нервы отпустили. Впрочем, было с чего отпустить: Вовик целый день никуда не уходил и даже не слезал со своей полки. Надя объявила его прихворнувшим и давала ему наверх бутерброды и чай. Вовик, похоже, в самом деле ослаб: не удержал бутерброд, разлил чай. Однако, подкрепившись, придвинулся к проходу, поманил меня пальцем, но сказал не мне, а Наде:

— Меня в свидетели записали.

— Зачем? — спросила Надя.

— Я несколько дней в карты там играл.

— Мало ли кто с кем в карты играет, так потом отвечаешь? Эх, позвал бы меня, я бы им показала... Плюнь, ерунда.

— А вы как думаете? — спросил меня Вовик.

— Надя права. Я тоже играл там в карты.

Вовик повеселел, вытащил «беломорину», соскочил с полки и — в тамбур покурить.

Воистину браки свершаются на небесах. Пусть говорят, что Вовик с ходу и не подумавши женился, а вот припекло — и прибежал к своей Надюхе.

Наступил вечер.

Наш вагон, казалось, налаживал свою прежнюю жизнь. Полегчало Елене Давыдовне и Семен Григорьевич перестал носить ей смоченные платки. Захар Захарович сменил пиджак на пижаму. Мимо в туалет проплыла гренадерша. Она загадочно улыбалась, глядя себе под ноги.

Что-то рассмешило Андрюшку и Антошку, и они хохотали, как взрослые. Кто-то вернулся из вагона-ресторана и сообщил, что в купированном на месте геологов новые пассажиры гоняют чай. Никто, конечно, не забыл о геологах, но и не говорили о них, а раз зацепили эту тему, тут уж не удержишься.

— Уму непостижимо, — сказал Захар Захарович. — Вот она, интеллигенция.

— При чем здесь интеллигенция? — возразил я. — Один шизофреник — это еще не интеллигенция.

— Да он сумасшедший, — поддержал меня экскаваторщик Паша. — Невменяемый. Его и судить-то не будут. Таких не судят.

— Эх, — сказал Вовик. — Веселый человек Петров. Любит пошутить. Ким отложил конспекты, повертел в руке карандаш, посмотрел на Вовика и сказал:

— Бывают хамские шутки.

— Петров не такой, — сказал я. — Вы его не видели.

Ким неотрывно смотрел на меня, подождал тишины и сказал:

— Несчастный случай в купированном имеет прямое отношение к нашим спорам.

— Что вы такое все говорите? — возмутился Иван Константинович. — Если вы хотите знать, несчастье в купированном произошло именно из-за подобных разговоров. Нельзя же себя так распускать!

Он замолчал.

Умолкли и остальные.

Этой минуты только и ждал новенький пассажир — парень в запыленных сапогах, в накинутой на плечи телогрейке. Он давно присоседился к нашей компании.

— Товарищи, — начал он, — у меня к вам просьба. Помогите из багажного вагона один ящичек вытащить. С трудом уговорил взять: сдавай, говорили, малой скоростью, у нас багажный, а не товарный. А у меня посевная, сами понимаете.

— Что за ящик? — спросил экскаваторщик Паша.

— Мотор с полуторки. На капитальный ставил.

— Поможем, — за всех нас согласился Паша.

— Поможем, — подтвердил солдат Тюрин.

— Где выходишь-то? — спросил Паша.

— Я скажу. Главное, там поезд всего пять минут стоит. — И, как бы извиняясь, добавил: — В два тридцать прибудем... ночи.

Тюрин расчесочкой почесал себе затылок, а Паша сказал:

— Разбуди, поможем.

— Спасибо.

Иван Константинович поинтересовался, почему так далеко пришлось везти мотор на ремонт, неужели в собственном районе нельзя отремонтировать? Парень вздохнул, поморгал усталыми глазами и ответил:

— Наш район еще не догнал Америку по запчастям.

Дружный хохот заставил Ивана Константиновича ретироваться. Да он и сам не удержался и рассмеялся. А парень, продолжая добродушно улыбаться, развел руками и сказал:

— Надо ж как-то жить. Вот и курсируешь.

Я спал весь день, и поэтому меня не надо было будить вытаскивать мотор из багажного. Не спал и Вовик. Набралось народу больше чем достаточно. И Паша, и Тюрин, и Иван Константинович — все были на ногах. Не спал и баянист Саша, но он не в счет. В полутемном отсеке под храп соседей он целовался с гренадершей.

Наша бригада обсуждала план вылазки и взятия багажного: ведь надо было успеть за пять минут добежать до него, сделать дело и вернуться. После почти недельного безделья мужички были рады хоть какому-нибудь делу. Проснулся и пошел по нужде Захар Захарович, походя обозвав нас лунатиками. Проснулся и Ким. Командовал операцией Тюрин. Как-никак ефрейтор, а мы даже не рядовые, а так себе, штатские.

— На выход! — скомандовал Тюрин, когда поезд стал замедлять ход.

Не успел наш поезд остановиться, как раздался удар в колокол, что означало первый звонок. Но мы успели добежать до багажного — двери его уже были распахнуты, — стащить на землю ящик с мотором, даже поднести его к станционному заборчику и вернуться домой. Надя сидела перед раскрытым чемоданом, из которого Вовик брал деньги. Стало быть, у нее свой ключик был от этого чемодана.

— Ты чего делаешь? — спросил Вовик.

— Сам говорил, что в Москве запросто можно потеряться. Решила, пусть мои деньги со мной будут.

— Потеряться ты не потеряешься, а вот свистнуть из сумки деньги могут, — сказал Вовик.

— Не свистнут, — стояла на своем Надя и, щелкнув сумочкой, засунула ее под подушку.

Похоже, Надя не потеряться боялась, а кто знает, какой фортель Вовик может еще выкинуть.

Я забрался на свою полку, под одеялом стащил с себя брюки — ведь со вчерашнего дня не раздевался. Ночная пробежка к багажному начисто отбила охоту спать. Сегодня был первый вечер, когда к нам не пришел Поняев. И о нем никто не вспомнил. Обычно о нем вспоминала Елена Давыдовна. «Что-то товарища Поняева не видно», — говорила она. А сегодня не вспомнила. Даже забыла разложить пасьянс — «пропишут или не пропишут?».

Иван Константинович, весело потирая руки, тихо сказал мне:

— Конечно, есть у нас еще недостатки, но веселей, понимаете, веселей надо на них смотреть. Видели сейчас, когда мы у багажного были, какое потрясающее зарево огней на горизонте? А ведь это наверняка новая стройка. Вот и мы подсобили сейчас парнишке с мотором и, честное слово, спать лучше будем. — Сказав это, он прыгнул на свою полку, разделся, залез под одеяло, помахал мне.

А мне не спалось, мне хотелось сказать Ивану Константиновичу, что разделяю его ни с чем не сравнимую радость возвращения на родину, но что и мы все в нашем плацкартном любим родину, и еще, так сказать, изнутри, и хотим, чтобы жилось нам всем лучше. Вы призываете жить соответственно великим свершениям. Но ведь они свершаются не по мановению волшебной палочки. Люди их свершают, человек, тот же геолог Петров. И я не могу теперь не думать о том, что случилось с ним, и это вовсе не означает, что я не замечаю великих свершений. Беда есть беда, и нельзя отмахиваться от беды ближнего.

Все это я хотел сказать Ивану Константиновичу, но не сказал: он уже сладко спал.

Наш поезд прибывал в Москву вечером следующего дня. Уже с утра начались сборы, и уже в Александрове, последней перед Москвой станции, все сидели возле своих чемоданов и узлов. Те, кто ехал в командировку или просто был теперь далеко от дома, озабоченно молчали. Москвичи же толпились у окон, отсчитывали оставшиеся километры. В Александрове подсел охотник с красавицей легавой. И хотя пес был в наморднике и на поводке, при справке от ветеринара и с собственным билетом — друг человека должен был довольствоваться тамбуром. И все из-за Захара Захаровича. Притихший было и уставший от нелегкой дороги, он вдруг вспомнил о каком-то правиле перевозки животных и взбунтовался, потребовал, чтобы собаку убрали: мол, в вагоне едут дети и это негигиенично.

Лина облачилась в свою «болонью» и сидела с неприступным лицом. Надю, кажется, опять поташнивало, она зажала в кулаке носовой платок и то и дело утирала им рот.

Курили, уже не выходя в тамбур. Радио рассказывало об экскурсиях по Москве, и где можно сдать багаж, и о правилах уличного движения. Тем временем поезд громыхал мимо дачных платформ. С другого конца вагона потянулись чемоданы и авоськи. В семействе экскаваторщика Паши вещей была прорва. И всего четыре руки. Бабка Фрося не в счет, на ней Андрюшка и Антошка. Паша подсчитал двенадцать мест. Без носильщика не обойтись. Главное имущество их идет вместе с экскаватором, малой скоростью. Зря я не слез вовремя со своей второй полки. Теперь некуда ногой ступить. Все запрожжено, загорожено. Кто-то даже сострил и помахал мне:

— Счастливо оставаться.

Хоть и вечер наступил, а радио грянуло: «Утро красит нежным светом...» Поезд причаливал к платформе. А еще раньше радио торжественно объявило, что пассажирский восемьдесят третий прибывает и т. д.

Наш вагон находился почти в конце состава, а носильщиков разбирали раньше. Вовик уже стоял на платформе в окружении целой толпы родственников. Я мельком увидел его в окно. Надя тоже смотрела на них из окна. То ли она замешкалась и не успела с Вовиком выйти, то ли намеренно оттягивала встречу с новыми родственниками. Я предложил Паше свои услуги. Вытащим имущество на перрон, а там носильщика легче поймать. Так и сделали. Бабка Фрося шла с братиками впереди, а мы за ней.

Вовик кричал с платформы:

— Надя! Чего ты там?

Как раз я двигался с Пашиным имуществом мимо нее. Я пожелал ей всего наилучшего, но она не отозвалась. Смотрела на меня невидящими глазами.

В вагоне уже никого не оставалось, а радио продолжало петь: «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней, с добрым утром...» — и умолкло, оборвалось. Приехали.



ЛЕВ ГИНЗБУРГ



ПОТУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ

(Из мюнхенской тетради)

Итак, я снова в Мюнхене, второй раз в этом году. Приглашен я издателем и книготорговцем Максом собирать тексты старинных немецких стихов, читать свои переводы. Но и Макс и я знаем, что есть у меня еще одна цель. После Краснодарского процесса (1963 года) над военными преступниками я написал книгу «Бездна» — о предателях и убийцах из эсэсовской зондеркоманды. И вот уже несколько лет преследует меня странная идея — добраться до их начальников, до их непосредственных шефов, быть может, даже до самых главных персон фашистского рейха, которые еще остались в живых. Увидеть их, поговорить с ними. Когда я излагал свою идею в Москве моим друзьям, то мало кто верил, что это получится. А ведь получилось, вышло, без особого даже труда, и раз уж вышло, надо бы об этом рассказать. Но я все никак не решаюсь, топчусь на месте, знаю, какая меня подстерегает опасность — как бы в моем рассказе не проявился элемент сенсационности. Потому что даже представить себе почти невозможно, как это из небытия предстает перед тобой во плоти та или иная фигура, давно уже отданная истории, — призрак не призрак, но все-таки нечто потустороннее, чувствуешь себя так, словно это спиритический сеанс.

Главная же опасность — в психологическом сдвиге. Если бы они меня преследовали, стреляли в меня, если бы я в бою с ними встретился, писать о них было бы легче. А вот когда за чаем, за кофейком, в мягком креслице сидя, разговариваешь и никто тебе дурного слова не говорит, а, напротив, проявляет к тебе вежливость, внимание, и собеседник твой, к которому ты приглядываешься, обладает всеми человеческими признаками, и ты, чтобы поддержать беседу, умышленно настраиваешь себя на дружелюбный лад, — вот где опасность «размягчения», утраты самоконтроля! Вот где моральное испытание!.. Ведь сколько раз я ловил себя на мысли, что еще чуть-чуть — и забудешь, кто перед тобой сидит, и отодвинется от тебя все, ради чего ты, собственно, приехал, провалится неизвестно куда, и все сведется к беседе двух людей, которые просто хотят понять друг друга.

Нет, я пока рассказывать об этих встречах повременю. Лучше задержу читателя в мюнхенском предместье, в доме у моего друга и ровесника — Макса. С Максом я познакомился три года назад, когда выступал у него в издательстве с лекциями, и он ко мне проявил тогда очень большое уважение, полюбил даже, я думал — из-за моего интереса к немецкой поэзии и оттого, что я на русский язык переводил Шиллера, немецкие народные баллады и поэтов барокко. Но, как потом выяснилось, для возникшей между нами дружбы у Макса были иные побудительные причины. Он, оказывается, уже лет двадцать искал случая подружиться с человеком из России, где он некогда побывал не в туристском путешествии, а в суровом плену, за Уралом. Ему русский человек спас жизнь...

Едва приехав к Максy, я сразу же окупился в тишину его дома с книгами, мягкими коврами, мягкими диванами, креслами и многочисленными свечами, кото-

рые стояли в каждой комнате, на каждом столе, и когда сели завтракать, жена Макса зажгла свечу, хотя было совершенно светло, и потом за обедом, за ужином при электрическом свете тоже горели свечи, и свечка горела в спиртовке, на которой подогревался чайник.

Мне отвели комнату в первом этаже, зажгли на круглом столике свечу, поставили вазу с фруктами и тихо, чуть ли не на цыпочках, удалились, чтобы не мешать, и детей увели наверх, чтобы те не мешали.

Макс иногда ко мне заходил справиться, не нужно ли чего, приоткрыв дверь, спрашивал:

— Ну, как? Все хорошо?.. — И добавлял: — Слава богу, слава богу...

А перед сном, в длинной до пят бумажной голубой рубахе, принесил блюдце с орехами и фарфоровый чайник на спиртовке со свечечкой и, пожав мне руку, тихо желал доброй ночи.

По утрам жена Макса приносила (и когда только она успевала все это сделать?) мою вычищенную и выутюженную за ночь одежду, и все это тихо-тихо, почти без слов. И только однажды она громко ужаснулась, обнаружив, что у меня нет ночной рубахи, тут же убежала куда-то, а к вечеру на моей кровати лежала длинная, из голубой бумазеи, ночная рубаха, такая же, как у Макса...

Каждое утро в восемь часов Макс в своем «мерседесе» возил меня с собой в Мюнхен. Он загонял машину в гараж и вместе со мной отправлялся прежде всего к своей престарелой матери, которая жила в доме при издательстве, пожелать ей доброго утра. Потом мы здоровались с его сестрой, которая ведала расположенной в том же доме издательской книжной лавкой, а потом уже шли к Максиму в контору.

К моей идее Макс отнесся с серьезностью, как отнесся бы к любой деловой просьбе друга. Не совсем ясно представляя себе, что значат для меня намеченные мной встречи в эмоциональном смысле, он сознавал, что тут не праздное любопытство, а дело, предприятие, в данном случае состоящее в написании книги и требующее сбора материала, которое мне едва ли удастся осуществить без его помощи и деловых связей. И он был готов, опять-таки в порядке дружеской услуги, отложив на две недели свои собственные дела, оказать мне содействие, сопряженное для него с определенными неудобствами.

Однако не эти неудобства беспокоили сейчас Макса. Его смущало, не содействует ли он косвенно тому, что через какое-то время в Москве появится книга, направленная против его страны, не упадет ли с ее страниц еще одна тень на его соотечественников, которые в силу известных всем исторических обстоятельств и без того навлекли на себя неприязнь многих людей в разных странах.

Впрочем, рассуждал он, не является ли истина лучшим средством против такой неприязни? Не отпадут ли сами собой многие предубеждения, если человек из России, приехавший в Западную Германию, встретит здесь как можно больше людей, готовых оказать ему не только гостеприимство, но способных, ничего не утаивая и ни в чем не хитря, рассказать правду о том, что они переживали в прошлом и что их заботит сегодня? Не служит ли обнажение теневых сторон жизни раскрытию ее привлекательных черт?

И все же, наталкивая меня и наталкиваясь сам на эти «теневые стороны», Макс каждый раз испытывал чувство стыда и неловкости, словно и он был причастен к тому, чему я, не без его помощи, оказывался свидетелем...

I

В десятых числах ноября 1968 года редакция антинацистского бюллетеня «Гестерн унд хойте» («Вчера и сегодня»), издаваемого в Мюнхене организацией «Демократише акцион» («Демократическое действие»), получила одно за другим два письма. Первое письмо называлось: «Молитва», и текст его был такой:

«Адольф Гитлер! Мы преданы только тебе. В этот час мы хотим возобновить нашу клятву: на этой земле мы веруем только в Адольфа Гитлера! Мы веруем, что национал-социализм, и только он, является спасительной идеей для нашего народа. Мы веруем, что есть бог в небесах, который ведет нас, наставляет на путь истинный и ниспосылает нам свое благословение. И мы верим, что этот бог послал нам Адольфа Гитлера, чтобы Германия на веки веков стала оплотом всего сущего».

Внизу — вместо подписи — была изображена огромная свастика, составленная из нескольких маленьких свастик.

Второе письмо, написанное тем же почерком, было адресовано непосредственно редактору бюллетеня:

«Ты, трижды... дерьмовая сволочь, я снова напоминаю о себе. За все, что натворила ваша клика, высокомерно именующая себя «Демократическим действием», мы еще с тобой рассчитаемся, и расчет наш не будет бескровным, можешь нам в этом поверить. Для таких, как ты, мы уже точим наши ножи, чтобы они были остры, когда настанет «день икс», и чтобы вся операция прошла без задержки. Ваше миленькое «Демократическое действие» есть сборище карманных воришек, деклассированных субчиков, и мы как-нибудь основательно почистим ваше гнездо.

С наиглубочайшим почтением
Франц К. Майер».

Редакции удалось установить, что автор писем — девятнадцатилетний гимназист. Опрошенный директором гимназии, Майер в присутствии своих родителей пояснил, что на его идейные взгляды повлияло регулярное чтение газеты «Дойче национальцайтунг унд зольддатенцайтунг». Кроме того, как сообщил директор, выяснилось, что Майер принадлежит «к числу яростных сторонников НДП».

Обо всем этом бюллетень немедленно оповестил своих читателей как о факте чрезвычайно тревожном и показательном, добавив, однако, что организация «Демократише акцион» решила воздержаться от судебного преследования девятнадцатилетнего Майера, чтобы не препятствовать завершению им среднего образования...

Я переписывал эти документы, которые в фотокопиях, в виде «мюнхенского сувенира», мне преподнес накануне редактор бюллетеня, и уже мысленно прикидывал, как я использую их в будущих очерках, когда Макс высказал предположение, что письма Майера скорее всего просто идиотская шалость психически неуравновешенного недоросля и что не следует спешить с обобщениями.

— Признаться, — сказал он, — я не совсем уверен, что эти угрозы имеют под собой реальную почву. До этого мы, право же, пока еще не дошли. Сам я ни разу не встречался с кем-либо из этих типов из НДП и не имею к этому ни малейшей охоты. Но из уважения к вам, дорогой друг, я все же намерен пригласить сюда некоего господина Б., о котором мне рассказал один мой приятель. Дело в том, что господин Б., член земельного руководства НДП Баварии и референт по политическому воспитанию, женат на дочери Гиммлера.

На следующий день в пять часов, как было условлено, Макс позвонил дочери Гиммлера, но она весьма холодно попросила позвонить еще через полчаса, поскольку муж ее еще не пришел. В половине шестого господина Б. мы наконец застали, но уговаривать его, объяснять, кто я такой, пришлось долго. Макс все упирал на то, что это «известный переводчик» Гёте, Шиллера, «всей нашей национальной литературы», ставшей «достоинством русских», и что единственное мое желание — «все узнать из первых уст». Потом они долго условливались насчет того, как господин Б. до нас доедет, а я в свой блокнот записывал:

«...Может быть, вы не откажете в любезности... Такси, разумеется, будет оплачено в оба конца... Все транспортные расходы я, естественно, беру на себя...

Моя сестра приготовила чай и кофе, таким образом, поужинать вы сможете у нас...»

Все, что говорил Макс, было, видимо, очень существенно для господина Б., которого приходилось уламывать и упрашивать, как знаменитого, но капризного профессора, вызываемого к больному. Впрочем, возможно, в своей партии он действительно был крупной фигурой.

Тем временем на другом конце провода господин Б. чрезвычайно дотошно уточнял цель моего визита и не являюсь ли я лицом, подсланным «московскими властями» для того, чтобы его выявить... Мне это было смешно и не совсем понятно: ему-то чего в Мюнхене бояться «московских властей»?..

Наконец господин Б. выразил согласие прибыть в семь часов.

Ждали мы его долго, продумывали вопросы, радуясь своей находчивости и предвкушая интересный разговор. А я думал о том, что значило для людей моего поколения и для миллионов людей во всем мире имя его тестя, хотя, казалось бы, сейчас это уже не имело никакого значения. И все же дух «тестя» не мог здесь не присутствовать хотя бы потому, что это было в Мюнхене и это была НДП, и все это приобретало совсем особый смысл.

В семь он не приехал, мы прождали с полчаса и позвонили к нему. Четкий, холодный, с хрипотцой женский голос ответил:

— Муж только что отбыл.

— Нет, это все-таки некрасиво с его стороны, — обиженно сказал Макс. — Воспитанный человек не должен опаздывать.

Стол был накрыт: чай в глиняном чайнике, печенье, сушеные финики.

На лестнице послышались шаги, Макс вышел в прихожую. Приоткрыв дверь, я увидел, как в коридоре перед зеркалом, стоя спиной ко мне, причесывается высокий, поджарый господин, с плоским стриженным затылком. Потом он повернулся, увидел меня и, шаркнув ногой, с вежливой улыбкой протянул мне под прямым углом руку.

Это был довольно молодой человек, долговязый, какой-то плоский, коротко подстриженный, одетый скромно и аккуратно — в клетчатом твидовом пиджаке и разношенных ботинках. На правой руке у него было тонкое обручальное кольцо, палец с этим кольцом он во время всего нашего разговора то прижимал к виску, то к розовой щеке, изображая глубокомыслие. По лицу его вяло блуждала затаенно-застенчивая улыбка.

В мои намерения входило расположить его к беседе, и поэтому я начал разговор с того, что интересуюсь немецкой литературой и историей, можно сказать, посвятил этому почти всю свою жизнь — а мне уже сорок семь лет... Тут он великодушно заметил, что это не так много и что я всего лишь на пятнадцать лет его старше, и продолжал слушать со всей серьезностью и настроенностью. Однако имена переведенных мною поэтов вызвали в нем уважение, он оказался или показался человеком образованным, а когда я назвал имя поэта XVII века Пауля Гергардта, он тут же стал насвистывать начало баховского хорала на слова Гергардта.

Я сказал, что меня интересуют немецкий национальный дух, национальный характер и что, занимаясь Германией, я, естественно, испытываю желание вникнуть во все особенности немецкой жизни, в которой его партия теперь играет немалую роль.

Он кивнул, однако прервал меня замечанием, что мы, русские, видимо, слишком преувеличиваем роль его партии, у которой пока нет серьезных шансов на победу или хотя бы на участие в правительстве. Это — дело далекого будущего, и хотя он верит, что цель, к которой стремится его партия, когда-нибудь будет достигнута, произойдет это не скоро и уж во всяком случае не при жизни нынешнего поколения. Видимо, удел победителей достанется его детям, если не внукам...

Я забыл упомянуть, что в самом начале разговора он сразу же сказал мне несколько слов на весьма грамотном и четком русском языке, что, если мне угод-

но, разговор можно вести по-русски, русский язык он тщательно изучал еще тогда, когда жил в Средней Германии, семь лет подряд выписывал «Правду», но теперь, загруженный делами партии, а также занятиями в университете, который он заканчивает в этом году, намереваясь стать адвокатом, несколько поотстал...

Мы сидели друг против друга за длинным столом. Он пил чай, с большим достоинством поглощая заранее обусловленный ужин...

Итак, я сказал ему, что интересуюсь немецким духом и немецкой действительностью и хотел бы поэтому понять цели и задачи его партии, не доверяясь газетным сообщениям. Кроме того, в ходе моей литературной работы, связанной с недавним прошлым, я присутствовал на процессе, имевшем место в Советском Союзе, где судили группу эсэсовцев...

Он быстро взглянул на меня и спросил: «Дело Кристмана?» — показывая тем самым свою полнейшую осведомленность в конкретном характере моих интересов. Я ответил утвердительно, пояснив, что меня занимает проблема нацистских преступлений, которые — хотим мы этого или не хотим — не могут быть забыты и до сих пор накладывают известный отпечаток на наши отношения, так что мне и по этому вопросу любопытно узнать точку зрения его партии.

Наконец, я предупредил его, что не собираюсь писать о нем в газетах, а в случае, если наш разговор и найдет свое место в какой-либо моей работе, то я выведу его под другим именем, допустим, назову Вагнером.

— О, Вагнер — это очень хорошо, — сказал он улыбаясь. — Вагнер — это очень хорошая фамилия, я очень люблю Вагнера...

— А имя я вам придумаю — Готлиб! Согласны?

Он покачал головой:

— Нет, Готлиб происходит от слова «Gott» — бог, а я — убежденный противник религии.

— Но не Фридрихом же вас называть! Это будет звучать слишком банально.

— Почему же банально? — удивился он. — Фридрих — очень хорошее немецкое имя. Мне нравится имя Фридрих... Фридрих Вагнер...

Теперь настал его черед говорить, и он быстро, но с достаточной твердостью начал.

Прежде всего он хотел бы подчеркнуть, что затронутые мной вопросы имеют действительно принципиальное значение. Вопрос национального самосознания приобретает сейчас первостепенную важность во всем мире — не только в Германии, но и, допустим, в Америке, где чистокровные американцы, стараясь сохранить в неприкосновенности свою нацию, втянуты в тяжелый конфликт с американскими неграми. То же происходит и в Родезии и в Южно-Африканской Республике... Впрочем, нация — понятие крайне сложное, включающее в себя и этнографические, и психологические, и биологические моменты...

— Расовые?

— Если хотите, и расовые. С этим необходимо считаться. Я не могу, например, назвать немецким писателем человека, который пишет по-немецки, но по причинам своего происхождения и биологической организации не в состоянии выразить самый дух той нации, языком которой он пользуется... Конечно, исключения возможны, но...

— Говоря об исключениях, вы, наверно, подразумеваете Гейне?..

— Видите ли, — сказал он серьезно, — Гейне — явление чрезвычайно противоречивое. Уроженец Рейна, человек восприимчивый, он в большой степени усвоил признаки немецкого духа, подтверждением чего является его «Лорелая», которую немецкий народ принял и включил в свою национальную сокровищницу. Тем не менее Гейне так и не смог — да и не должен был! — преодолеть свое происхождение, и те его произведения, в которых пробивается это его начало, так и остались для нас чужими... Я не слишком искушен в поэзии, поэтому приведу пример мне более близкий — превосходного композитора Мендельсона-Бартольди. — Он просвистел несколько тактов. — Можем ли мы считать его — я под-

церкиваю — превосходную музыку немецкой? Думаю, что ни в коем случае... Стало быть, национальная культура, так же как и сама нация, не терпит никаких примесей... К какой нации человек принадлежит, определяет только состав его крови! Будь вы по своему воспитанию или мировоззрению хоть тысячу раз «немцем», вы все равно не станете им, если в ваших жилах не течет немецкая кровь!..

— Не хотите ли вы этим сказать, — спросил я, — что лозунг вашей партии — «Германия — для немцев»?

— В известной степени да. Но произойдет это, повторяю, очень не скоро...

— Но если произойдет, если ваша партия придет к власти, что вы практически сделаете с людьми не немецкого происхождения?

— Идеальным было бы, если бы они добровольно покинули Германию. У каждой нации должен быть свой дом, своя национальная квартира... Пожалуйста, приезжайте в гости, вступайте в деловые отношения, сотрудничайте, но не вторгайтесь в ту сферу, которая вам недоступна и чужда по природе...

— Ну, а если так называемые «не немцы» не захотят добровольно покинуть Германию, вам придется избавляться от них силой? Как Гитлеру?

— Видите ли, — сказал он, подумав, — взаимоотношения Гитлера с негерманскими национальными группами внутри Германии имеют две стадии, две фазы: первая — разрыв (Trennung), вторая — месть (Rache). Первая стадия началась еще задолго до прихода нацистов к власти, вторая — примерно в 1941 году. Причины первой стадии я вам только что изложил. Гитлер, как национально мыслящий немец, не мог примириться с той преувеличенной ролью, которую, например, евреи присвоили себе в немецкой экономике, науке, культуре. И здесь он был по-своему — то есть в теории! — прав. Вторая стадия — месть — была вызвана иными причинами и привела к ужасающим последствиям, зловещим воплощением которых оказался Освенцим. Это была месть за подрывную работу, которую евреи — как коммунисты и социал-демократы (он простодушно повторил расхожую гитлеровскую формулировку) — вели против национал-социализма. Но главное — и это установлено документально! — был нажим американских евреев-капиталистов на Рузвельта, их требование, чтобы Америка выступила против Германии. Вот почему Гитлер прибегал к самым жестоким мерам.

— В том числе и по отношению к невинным детям, к старикам, к женщинам?

— Что ж... Поименное выявление конкретных виновников заняло бы слишком много времени и было бы практически невозможно в условиях войны. Таким образом, ответственной оказалась, к сожалению, вся нация... Впрочем, хотел бы заметить, что наша партия не считает себя ни в какой степени связанной с теми или иными мероприятиями третьего рейха, так что вопрос этот относится скорее к прошлому, чем к настоящему. Однако вы не станете отрицать, поскольку и это доказано документально, что причин для наказания враждебных немцам народов у Гитлера было достаточно. Возьмите поляков. Разве не известно, что перед войной поляки подвергали жесточайшим издевательствам и даже убийствам немецкое меньшинство, проживавшее в Польше? Стало быть, при нарушении этических законов одной стороной другая вправе прибегнуть к ответным мерам...

Он говорил ровно и четко, излагая известную провокационную версию операции в Глейвице¹, как если бы отвечал на «экзамене по нацизму».

Он продолжал:

— Но мы ушли далеко от темы нашего разговора. Ведь вас интересует не прошлое, к которому мы не имеем никакого отношения и которое каждый из нас вправе оценивать по-своему, а настоящее. Так вот, настоящее состоит в том, что наша партия возникла в результате определенной реакции на унижение, которо-

¹ Подготовленное Гитлером и Гиммлером провокационное нападение на немецкую радиостанцию в Силезии, в городе Глейвиц, послужившее одним из формальных предлогов для вторжения Германии в Польшу в сентябре 1939 года.

му подвергли немецкую нацию победители второй мировой войны и их фактически прислужники в лице ныне существующего правительства. В эру Аденауэра, благодаря главным образом его личности, немецкое национальное достоинство еще удавалось как-то отстаивать. Теперь же мы по существу оказались совершенно беззащитными. С одной стороны, нас унижают западные союзники, не считая нас равноправными партнерами, с другой стороны — Советский Союз и мировой коммунизм, опять-таки с молчаливого согласия западных держав, пытаются увековечить раскол Германии, создав так называемую «ГДР» — восточную зону. Цель, которую мы преследуем, ближайшая цель состоит в воссоединении Германии, в создании достойного немецкого отечества...

— Разумеется, в пределах законных границ? — с надеждой спросил Макс, огорченный тем, что его гость слишком уж разоткровенничался и переступил «рамки приличий».

Господин Б. посмотрел на Макса и снисходительно, чуть небрежно уточнил:

— Да, да. В границах 1937 года.

— Но какой бы вы хотели установить в этой вашей Германии порядок?

«Будущий министр», а пока студент, ответил:

— Поскольку наши планы едва ли осуществимы в ближайшее время, говорить об этом рано.

Он вошел во вкус и добросовестно, доктринерским тоном принялся излагать мне программу своей партии:

— НДП возникла из активного сопротивления коммунистическим догмам, которые исходят из того, что человек подлежит перевоспитанию путем отчуждения у него частной собственности. Мы же убеждены в том, что человек остается при всех условиях неизменным, с присущими ему врожденными качествами и естественным, то есть врожденным, стремлением к собственности. Это стремление неодолимо, и справиться с ним не удалось никому. Вместе с тем мы решительные противники капиталистической эксплуатации и стоим за разумное распределение доходов внутри национальной семьи...

Он попросил еще чаю и сказал:

— Разрешите перейти ко второй части ваших вопросов, о так называемой личной ответственности... Наша партия целиком отвергает преследование бывших нацистских преступников, хотя мы отдаем себе отчет в том, насколько серьезными были их преступления. Дело здесь не в покровительстве бывшим нацистам, а в судьбе нации. Стоит ли подвергать преследованию массу людей — преступления нацизма носили массовый характер, — которые вынуждены были выполнять свой долг? Есть ли национальный смысл множить число осужденных, вовлекать людей в процесс возмездия по отношению к своим же соотечественникам, усугублять разнь между людьми одной нации? Вообще военные преступления трудно поддаются учету. Кто подсчитает количество жертв дрезденской бомбардировки или территориальный ущерб, причиненный Германии итогами советской победы? Есть ли мера жестокостям чехословаков и югославов в отношении немцев? Мы не считаем, что сейчас нужно копаться в этих преступлениях, и готовы, проявив добрую волю, многое простить нашим врагам. Существует ли реальная возможность устанавливать сейчас конкретную вину конкретных людей, принадлежащих своей эпохе? Только наша слабость заставляет нас в угоду победителям устраивать судилища, которые разлагают нацию и подрывают в молодом поколении веру в своих отцов... Давайте лучше смотреть в будущее и строить его по-новому, с учетом прежних ошибок...

Я решил не вступать с ним в дискуссию, чтобы дать ему возможность выговориться до конца, спросил только, как он относится к проблеме молодежи.

Он ответил, что считает нынешних молодых «левых» психопатами, извращенцами, которые бредят «мировой революцией» опять-таки из-за того, что у них из-под ног выбита национальная почва.

— А каково отношение молодых людей к Гитлеру?

— Скорее всего равнодушное. Отчасти из-за дезинформации, отчасти из-за лениности мысли... Но время Гитлера прошло, и это необратимо.

В конце беседы он стал жаловаться на то, как его партии трудно, каким она подвергается преследованиям, какой травле...

«Референт по вопросам политического воспитания», приглашенный для «чтения лекции на дому», счел свою миссию выполненной и посмотрел на часы.

Мы направились к выходу. Он надел пальто, меховую шапку «пирожком» и пошел — длинный, плоский, будущий член будущего правительства.

Прощаясь, он спросил Макса, не продаст ли тот ему со скидкой несколько нужных учебников.

У него с женой — маленький сын, внук Гимmlера. Я слышал, как перед отъездом домой он по телефону ласково говорил с женой и ворковал с сыном...

Мы решили подвезти его до дома в надежде, что он пригласит нас к себе и мы, таким образом, увидим его жену.

По дороге мы говорили о русской литературе. Достоевского он «не приемлет», Толстого тоже, Гоголя находит занятным, как и Михаила Зощенко. Зато очень любит Чайковского и, сидя в машине, стал насвистывать начало Шестой симфонии, отбивая рукой такт...

Потом он рассказал, что в ранней юности жил в ГДР, был членом Союза свободной немецкой молодежи, «с отвращением пел песни Бехера» и в 1954 году — ушел...

На окраине Мюнхена мы высадили его у длинного четырехэтажного дома. Где-то наверху светилось окно. Б. поднял голову, помахал кому-то рукой, затем поблагодарил нас за приятный вечер и за чудесный китайский чай (назавтра выяснилось, что Макс по рассеянности заварил вместо чая лавровый лист).

Нас он к себе «ввиду позднего времени», конечно, не пригласил.

— До свидания, господин Вагнер!..

На другой день он пришел снова — после того, как Макс по телефону сообщил, что нужные ему учебники к его услугам, и, конечно, бесплатно, и что мы можем завезти эти книги по пути. Б. довольно-таки надменно отказался от этой любезности и сказал, что заедет за книгами в пять часов сам: видно, узнал себе цену, а главное — не хотел, чтобы мы встретились с его женой.

Он пришел, как вчера, с опозданием. Я рассмотрел его внимательней. На этот раз он показался мне не таким уж худым: с крупным носом, нависшим над небольшим ртом, розовощекий, бритый, в меру упитанный. И его башмаки, которые мне вчера показались разношенными, были просто очень большого размера черными полуботинками. В нем было что-то и от чиновника, и от «иллегального» фашиста, и от вечного студента.

Наш разговор должен был длиться недолго, но занял более часа.

Конечно же, Б. попросил «китайского чаю», и опять был принесен глиняный чайник. Б. наполнил чашку, отхлебнул и нашел, что вчерашний чай был вкуснее (на этот раз чай был действительно китайский). Затем он поинтересовался, есть ли у меня дополнительные вопросы. Сегодня он не был так любезен и словоохотлив, как вчера.

Я начал с того, что спросил, как он себя чувствовал, когда жил в ГДР и состоял в Союзе свободной немецкой молодежи: не приходилось ли ему жить двойной жизнью?

— Видите ли, — ответил он холодно, — двойной жизнью на м — и мне в том числе — жить не приходилось, так как с самого начала, с детских лет, я был убежденным антикоммунистом, как и мои родители. Мы происходим из Померании, и только вторжение русских заставило нас искать прибежище в Тюрингии, в нынешнем округе Эрфурт. Отец мой был крупным торговцем, все наше имущество было, естественно, конфисковано. Западногерманское правительство выплачивает мне сейчас крохотную компенсацию — около семи процентов. Однако эта скромная сумма дает мне возможность совмещать мою партийную работу с уче-

нием в университете... Итак, будучи убежденным антикоммунистом, я не испытывал тем не менее ни малейшего раздвоения личности, так как такими же антикоммунистами были все близко окружавшие меня люди. Мы жили одним — ожиданием прихода американцев, которые нас освободят: в конце сороковых годов это еще казалось реальным...— Он саркастически усмехнулся.— Мы были уверены, что наше пребывание в условиях коммунизма будет недолгим и следует лишь внешне примениться к этим условиям, чтобы не навлечь на себя неприятности. В то время наша семья оказалась перед альтернативой: воспользоваться ли открытой в Берлине границей, чтобы перебраться окончательно на Запад, или ждать прихода американцев. Мы выбрали второе, исходя из того, что я должен получить среднее образование, воспользовавшись теми преимуществами, которые мне в этом смысле давал коммунистический режим с его более совершенной системой школьного обучения, а затем, уже имея на руках свидетельство об окончании средней школы, выбрать свободу.

Я считался примерным учеником, преуспевал в русском языке и даже привлекался в качестве переводчика во время так называемых «встреч дружбы» с солдатами советского гарнизона. Это давало мне возможность лучше узнать противника. Я изучил «Краткий курс истории партии», в котором в сжатом виде изложена вся коммунистическая доктрина, регулярно выписывал «Правду» и «Комсомольскую правду» и настолько овладел коммунистической лексикой, что изъяснялся с советскими военнослужащими без всякого труда.

В 1951 году, если вы помните, в Берлине проводился Всемирный фестиваль молодежи, и я, как активист, был делегирован туда. Днем мы демонстрировали мимо трибун с синими флагами, в синих блузах. Как только наступал вечер, я срывал с себя ненавистную форму и отправлялся в Западный Берлин. К нашим услугам были кинотеатры, в которых показывали западные фильмы, танцевальные клубы, кроме того, нас снабжали специальной антикоммунистической литературой, напечатанной на папиросной бумаге. Все это проносилось в Восточный Берлин и раздавалось делегатам фестиваля...

В 1954 году я наконец очутился на Западе... Хотел бы заметить, что, выражая свое неприятие коммунизма, я ни в коей мере не отождествляю его с русским народом. Здесь, в Мюнхене, я тесно связан с русскими людьми из НТС¹ и выступаю против тех членов моей партии, которые отказываются от сотрудничества с этими людьми из националистических соображений. Догматизм мог бы нам только повредить...

Полузакрыв глаза, он отхлебнул чаю, глотнул и снова посмотрел на меня.

Я наблюдал за ним с большим интересом.

Макс, молчавший до сих пор, основательно приуныл. Видимо, он сам был не рад, что организовал эту встречу, не оставлявшую никаких возможностей для «человеческого взаимопонимания», и поэтому слабо и, надо сказать, беспомощно пытался внести «некоторые уточнения». Вообще же разговор, происходивший сейчас в его кабинете, в высшей степени его огорчал. Привыкший к тому, что у него собираются только близкие ему по духу люди, посвятивший себя благородному делу издания книг, лишенных, как он полагал, какой бы то ни было партийной окраски, он невольно оказался «устроителем» неприятного ему политического диспута.

— Господин Б.,— сказал он с досадой,— осуждая коммунизм, вы пока что не нашли ни одного слова для осуждения национал-социализма, который был для нас — немцев — национальной бедой и позором...

Зять Гиммлера, обращаясь не столько к Макс, сколько ко мне, спокойно ответил:

— Это — вредная теория, которую наша партия решительно отвергает. Национал-социализм, несмотря на ошибки и недостатки, имел ряд положительных

¹ НТС — Народно-трудовой союз — антисоветская эмигрантская организация.

сторон. Гитлер обеспечил немецкий народ работой, дисциплинировал молодежь, поднял немецкую экономику, наконец, вступил в кровопролитную, жертвенную войну для избавления человечества от коммунизма...

Я спросил, как так могло получиться, что, если в гитлеризме содержалось определенное рациональное зерно и он действительно мог принести какую-то пользу, лучшие люди страны покинули Германию или отказались от сотрудничества с национал-социалистами. Фактически с Гитлером не сотрудничал ни один из выдающихся немцев...

Он тоскливо посмотрел на меня:

— Кого вы называете «выдающимися немцами»?

— Ну, Томаса Манна, Эйнштейна, Осецкого, Стефана Цвейга, Фейхтвангера, Рикарду Гух, Брехта, Гауптмана...

Он рассмеялся.

— Никого из названных вами людей я бы не причислил к выдающимся немцам. Томас Манн по существу скучнейший писатель, признайтесь, что вы и сами его не читали... Гауптман выжил из ума. Остальные вообще не были немцами. Разве можно сравнить Томаса Манна с Двингером, с Кольбенхейером, с Гансом Гриммом¹? Ваши представления о немецкой литературе, к моему удивлению, крайне ограничены. К тому времени, когда Томас Манн покинул Германию, тиражи его книг катастрофически падали, а Двингер расходился в миллионах экземпляров. Осецкий² же был просто журналистом, газетным писакой, которому из антигерманских соображений дали Нобелевскую премию, тем самым окончательно ее обесценив...

Спорить с господином Б. было бессмысленно. Здесь не могли повлиять никакие авторитеты, никакие аргументы, никакие самые очевидные факты, ничего, кроме силы. И он это понимал и знал, что единственным оружием в любом, даже литературном, споре является сила.

Устная речь немецкого интеллигента вообще мало отличается от письменной, а у Б. это различие и вовсе отсутствовало. Он говорил, почти не меняя ни интонации, ни выражения лица. Только однажды он, то ли усмехнувшись, то ли скрипнув зубами, резко заметил, что антикоммунисты имеют точно такое же право на «физическое устранение» идейного противника, что и другие.

Я спросил, способен ли он осуществить такое «устранение» лично. Он покачал ногой в огромном ботинке, сухо улыбнулся, сказал:

— По природе я не злой человек, но такие понятия, как добро, человечность, для меня сами по себе, абстрактно не существуют. Я прежде всего борец, и когда я вступаю в полемику с противником... — Он помолчал и добавил: — Нет, я никогда не стану либералом. Это мне ясно...

Погибли миллионы людей, а здесь, в Мюнхене, в ноябре 1968 года сидел передо мной зять Гиммлера, продолжатель его рода, его дела. Он был холоден, бесстрашен, подтянут. Он излагал доктрину. Пожалуй, самым характерным для него была сухая, бесчеловечная убежденность, с которой он мог говорить о самых страшных вещах...

Макс решил разрядить обстановку и, обращаясь к Б., не очень уместно и очень неудачно пошутил:

¹ Эдвин Эрх Двингер — писатель-эсэсовец, оберштурмфюрер СС, которому Гиммлер присвоил личный эсэсовский номер 277082; Эрвин Гвидо Кольбенхейер — австрийский романист, идеолог нацизма; Ганс Гримм — один из популярнейших нацистских авторов, внедривший в немецкий литературный обиход такие формулы, как «фюрер и народ», «расовая чистота», «сверхчеловек» и т. д. Гримм умер в 1959 году, Кольбенхейер — в 1962-м, Двингер жив, после войны он выпустил в ФРГ фашистские книги: «Генерал Власов» (1951), «Двенадцать бесед» (1965) и другие.

² Карлу Осецкому (1889—1938), издателю журнала «Вельбюне», была присуждена Нобелевская премия мира в 1936 году, когда он находился в нацистском концлагере Папенбург-Эстервеген в нечеловеческих условиях, подвергаемый нравственным и физическим пыткам, Осецкий вынужден был публично отказаться от полученной премии.

— Нет, хорошо, что вы узнали друг друга. Если когда-нибудь вспыхнет война и немцы захватят Москву, то у Гинзбурга будет в верхах влиятельный знакомый. И наоборот, если русские возьмут Мюнхен, у вас найдется заступник...

Б. серьезно ответил:

— Если русские возьмут Мюнхен, меня уже не будет в живых.

Мне очень хотелось узнать, что представляет собой дочь Гиммлера. Отчего Б. женился именно на ней: по любви, случайно, из принципа или из какого-то психологического мазохизма? И я спросил, считает ли он своего покойного тестя преступником.

Он слегка мотнул головой:

— Ни в коем случае... У него была своя трагедия... Это вопрос слишком сложный.

Неожиданно он встревожился:

— Надеюсь, вы сдержите обещание и не станете раскрывать мое настоящее имя. В частной жизни мы не поддерживаем никаких контактов с людьми чуждых нам взглядов. Германия предназначила нас для серьезного дела. Ради этого дела мы порой должны опираться на временных союзников, например, на американцев, с которыми мы все же надеемся справиться. Но в частной жизни, в быту, мы общаемся только с нашими...

Мы расстались холодно, почти враждебно.

II

В воскресенье утром вся семья Макса отправилась на богослужение.

Жена Макса, встав, как всегда, раньше всех, подошла к пианино, проверила голос — у нее было звонкое, сильное колоратурное сопрано — и пропела начало воскресной молитвы.

Я подумал, что они собираются в церковь, но оказалось, что — в соседний дом, к старому профессору Вернеру Цильху, который жил вместе со своей племянницей Мартой, одинокой, болезненной девушкой. Меня они пригласили с собой, сказали, что профессор Цильх — очень известный ученый, теолог, автор многих книг — хотел бы со мной познакомиться.

Семидесятипятилетний профессор Цильх встретил нас на пороге своего дома, поздоровавшись с Максом и его семьей дружелюбно, однако без всякой соседской фамильярности, как бы подчеркивая, что пришли они не просто в гости к соседу, а для участия в некоем таинстве, в торжественном и серьезном обряде. Действительно, Макс и его жена, которые в другое время запросто заглядывали к профессору Цильху то обменяться местными новостями, то одолжить какую-нибудь хозяйственную мелочь, так же как запросто заглядывал к ним со своей племянницей Цильх, чтобы посмотреть цветной телевизор, — теперь с почтительной торжественностью вступали в гостиную, где перед домашним алтарем, вделанным в раздвижной шкаф, были расставлены стулья. Жена Макса с детьми и Марта заняли свои места, положив на колени молитвенники. Макс же помог профессору надеть облачение, а затем прислуживал ему во время обряда.

Все это — вместе с проповедью и пением специально выбранных для сегодняшнего воскресенья молитв — продолжалось около часа, после чего Цильх с помощью Макса и Марты снял с себя облачение. Медленно, с большим достоинством он аккуратно сложил его, убрал утварь и, задвинув створки алтаря, преобразился из священнослужителя в подвижного, можно даже сказать юркого, старичка профессора. Он тут же затащил нас с Максом в свой уставленный книгами просторный кабинет, указал на коробку с сигарами и, предлагая курить, заметил, что уже давно оставил эту привычку.

Он задал мне несколько вопросов, связанных с немецкой поэзией, словно желая проверить глубину моих знаний, а потом заговорил о нацизме, пытаясь

понять, почему и с какой стороны меня интересует эта столь далекая от поэзии проблема.

— В свое время, — сказал он, — я тоже задавался вопросом, откуда в двадцатом веке взялось обожествление вождя, фюрера, то есть своеобразное возвращение к языческому идолопоклонству. Философски обожествление человека обосновал еще Фейербах: он утверждал, что все свойства, приписываемые богу, есть свойства самого человека. Конечно, я отнюдь не склонен считать Фейербаха предшественником нацизма, но в самой этой мысли уже содержалось нечто опасное. Упраздняя божественный авторитет, люди невольно начинают искать ему замену или подмену и выдвигают «бога» из своей же среды... Неверно, когда говорят, что нацисты были безбожниками. Они не были христианами, это другое дело, но в бога они верили, и этим богом был для них фюрер, который сам объявлял, что его ниспослало нам провидение... В обожествлении Гитлера многое заимствовано у религии, — вдумайтесь в самую суть подобных явлений. Ничего нового в этом нет... Люди удовлетворяют естественную потребность в вере, подставляя на место абстрактного, невидимого и неосязаемого бога конкретного человека, который время от времени «является» народу, толпе, издает постановления, действует, произносит речи и облечен в живую, человеческую плоть. Такой «земной бог» гораздо реальнее и доступнее, чем «бог небесный»: человек толпы живет в сознании, что до «земного бога» ему рукой подать, но этот «земной бог» столь же далек от верующего, как и тот, другой, абстрактный, якобы несуществующий бог... Ах, еще никому не удалось устроить рай на земле, но ад на земле люди все-таки создали. Вы, наверно, читали последнее слово Ганса Франка на Нюрнбергском процессе?.. — Цильх подошел к стеллажу и достал какую-то книгу. — Вот! — Подняв вверх палец, он прочел: — «Мы... огреклись от бога, и мы должны были пасть... Гитлеровский путь был проклят — это путь без бога, путь отречения от христианства...»

Вечером Цильх, поддерживаемый под руку Мартой, пришел к Максу спросить, сменил ли он на своем «мерседесе» шины: на улице гололед, без шипов ездить опасно.

Макс предложил посмотреть снятый им этим летом в Москве видовой любительский фильм, принес аппарат, усадил всех в кресла, и под звуки Первого концерта Чайковского на домашнем экране возникли Красная площадь, золото куполов кремлевских храмов, ВДНХ, университет, набережная Москвы-реки — все это в густых, сочных красках, и я вдруг поразился, до чего красива и величественна Москва: сидел замороженный, впервые здесь, в Мюнхене, как иностранец, открывая для себя эти места, мимо которых в будничной спешке запросто проходил и проезжал множество раз...

Я вспомнил, как встречал Макса и его жену в Шереметьеве. Мы ехали с аэродрома мимо березовых рощ, мимо подмосковных полей, мои гости уже пьянели от русского воздуха, уже схватывала их русская ширь, и они, поддавшись новому для них чувству, просветленно смотрели по сторонам, когда около Химок перед нами возник памятник защитникам Москвы — вознесенные на постамент противотанковые ежи.

Я пояснил, что здесь в 1941 году остановили немецкие войска, и Макс промолчал, а жена Макса сказала:

— Господи! Какой же далекий пришлось проделать им путь!..

III

Кризмана я впервые увидел на фотографии -- в черной эсэсовской форме, в фуражке с кокардой-черепом. У него было узкое, вытянутое лицо и холодный, совершенно непроницаемый взгляд. Такой взгляд дается человеку не от рождения: он его отработывает путем долгой и тщательной тренировки, так что взгляд становится как бы частью снаряжения, вроде портупей или кокарды-черепа...

Можно было подумать, что это киноактер, изображающий «классического» эсэсовца, настолько лицо его было типичным, виденным во множестве фильмов. Фотография, однако, хранилась в следственном деле, пронумерованная, скрепленная гербовой прокурорской печатью. В 1963 году в Краснодаре ее предъявляли для опознания обвиняемым.

Скрипкин, бывший помощник командира взвода карателей, вспоминая, сказал:

— Кристман — это фигура! Его все боялись...

Даже тогда, сидя в тюрьме, они все еще испытывали трепет, который охватил их, когда они впервые встретились с Кристманом. Это было на краю рва: они подталкивали голых людей к бровке, а Кристман кричал: «Шнелль, шнелль!» — быстро, быстро!..

Кристман был начальником зондеркоманды СС «10-а». Он принял команду в Краснодаре и прошел с ней до Мозыря, откуда его отозвали в Германию на должность начальника гестапо города Кобленца...

Все это я описал в моей книге «Бездна»: и зондеркоманду, и Кристмана, и наложницу его Томку, которую он бросил в Мозыре.

В материалах Краснодарского процесса Кристман был «искомой величиной». От него шли нити ко всем преступлениям, совершенным зондеркомандой, и каждая установленная следствием акция упиралась в него.

Тень Кристмана лежала на могильных рвах на Кубани, в Крыму, в Белоруссии и тянулась дальше, в Германию. Говорили, что он скрывается под чужим именем в Гамбурге, но потом вдруг выяснилось, что он открыто живет в Мюнхене, где у него посредническое бюро по продаже домов и земельных участков. В центре Мюнхена, на Шютценштрассе, 1, можно увидеть вывеску с его именем, исполненным в виде факсимиле...

Когда «Бездну» опубликовали в Западной Германии, Кристман купил журнал «Нюрбискерн» с главой о себе и узнал о моем существовании.

Его посадили в тюрьму, но вскоре выпустили под высокий, «шестизначный», залог до окончания следствия. Журналисты обыгрывали его имя: в переводе на русский язык Кристман означает «христианин», «Христов человек», что для людей верующих само по себе звучало кощунством.

Директор мюнхенской школы — доктор Ганс Ламм — еще в 1966 году обратился в прокуратуру, требуя разъяснений: его беспокоила проволочка со следствием, которую в Советском Союзе могли истолковать (ведь уже годы прошли!) как попытку избавить Кристмана от наказания. Доктору Ламму ответили, что ввиду исключительной сложности дело может затянуться на неопределенный срок. Раз в месяц доктор Ламм посылает в прокуратуру очередной запрос и получает один и тот же ответ: «Ввиду исключительной сложности...» Копии этих ответов доктор Ламм аккуратно пересылает мне, в последний раз он прислал с припиской: «Я не отступлю!..»

* * *

Макс прочел главу о Кристмане как раз накануне первого моего в этом году приезда в Мюнхен.

Номер журнала «Нюрбискерн» вышел одновременно с номером журнала «Эпока», который обратился с анкетой к выдающимся деловым людям Мюнхена: «Копить или тратить?» Посредник по продаже недвижимого имущества, д-р юр. Курт Кристман, отвечая на анкету, писал:

«Вот уже шесть месяцев в моем секторе царит застой, который продлится еще шесть месяцев. Между тем покупка земельного участка является наиболее рациональным размещением капитала. Таким образом, как опытный маклер, я отвечаю: не стоит копить — покупайте!»

Макс взял оба журнала и направился к Кристману. Его томило чувство недоверия, боязь разочароваться во мне, если все, что я написал о Кристмане,

окажется вымыслом, потому что он привык уважать печатное слово и столкнулся теперь с неуязвой — «недвижимое имущество» и... краснодарские рвы!

Попасть к Кристману было не просто. Он принимает не каждого, но Макс обладал репутацией состоятельного человека, который не станет беспокоить солидного маклера по пустякам: он намерен приобрести несколько домов, прилегающих к его книготорговой фирме.

Кристман развернул перед ним проекты, чертежи, обсудил условия сделки. Неожиданно Макс вынул оба журнала и спросил: как понимать, что в одном из журналов д-р Кристман изображен величайшим военным преступником, а в другом — достойным уважением деловым человеком?

Кристман подскочил в своем кресле, замахал руками, закричал:

— Все это ложь! В этом очерке нет ни слова правды! — Он вытащил из кармана толстую пачку, несколько сот марок, лихорадочно ища купюру поменьше. — Продайте мне ваш экземпляр! Я уже скупил сколько мог и всю эту дрянь уничтожил... Ради бога, не беспокойтесь о сдаче...

Макс выполнил его просьбу, отдал ему журнал, отсчитав сдачу до единого пфеннига.

Они разговорились. Оказалось, что в молодости они состояли в одних и тех же спортивных клубах... Макс подбирал к нему ключик, в нем сказала авантюрная жилка, и он стал вспоминать, как во время войны тоже пытался спастись от русских, но не смог: попал в плен.

Кристман чуть потеплел, успокоился.

Вначале темой разговора был спорт. Кристман когда-то был рекордсменом по лыжам, по конькам, по теннису, по легкой атлетике. Он и на войну пошел как спортсмен: хотел возглавить лыжный батальон войск СС на Кавказе.

Он рассказал о своих послевоенных мытарствах. В 1945 году на него обрушилась беда: его схватили американцы, поместили в Дахау, где в ожидании суда сидело в те дни много эсэсовцев. На это нестерпимо было смотреть: сотни товарищей, лучшие люди страны, сидели за колючей проволокой... Все же ему удалось бежать, с помощью надежных людей окольными путями пробраться через Австрию в Италию и там вступить в контакт с епископом Гудалом. Гудал снабдил его документами на чужое имя, и с этими бумагами он в том же сорок пятом году попал в Аргентину...

Нет, он не считает это удачей. Это позор, позор для Германии, что человек, который отдал своей стране лучшие годы, вынужден был скрываться, прятаться от суда, как преступник.

Западный мир обанкротился. Заигрывая с большевиками, он разучился ценить людей, способных спасти человечество от коммунизма. Нюрнбергский процесс был не чем иным, как уступкой большевикам, за которую еще долго придется расплачиваться... Преступления против человечности?! Существует ли большая глупость, чем эта пустая фраза? Разве преступления против человечности не совершались ежедневно, ежечасно на протяжении всей истории? Разве не совершаются они и сегодня? Да и что значит «человечность»? Кто о ней всерьез думает?...

Правда, одно время ему казалось, что мир поумнел. В 1952 году, когда холодная война между Востоком и Западом достигла высшей точки, он счел, что пора вернуться в Германию. Пришло время для развернутой и всесторонней антибольшевистской борьбы. Он был готов предоставить себя в распоряжение правительства. Напрасно! Единственное, что ему разрешили, — это открыть маклерскую контору: его де м о б и л и з о в а л и, он оказался ненужным этим безвольным, бездарным людям, которые сами себе роют могилу. Что ж, он не возражает, он даже доволен, что так получилось: немецкий народ не достоин его услуг и сам определил свою участь. Нет более отвратительного народа, чем немцы: вместо того, чтобы сплотиться в антибольшевизме, они грызутся друг с другом. Для этих ослов он не намерен больше рисковать собой. Он не требует ни награды, ни почестей. Пусть только его оставят в покое.

— Подумайте! Эти несколько месяцев — что они в сравнении с последующими двадцатью пятью годами! — эти крохотные несколько месяцев, в течение которых я спасал немецких солдат от русских партизан, мне теперь хотят поставить в вину как уголовное преступление!

Он вспомнил зондеркоманду: Краснодар, Новороссийск, Мозырь. Разве его пребывание там не было подвигом? В чужой стране, под градом партизанских пуль...

— Конечно, в зондеркоманде творились неприятные вещи, но я действовал корректно, по законам моей страны, как юрист. Скажите, какая из воюющих армий стала бы терпеть в своем тылу агентуру противника?..

Макс осторожно заметил, что все же надо признать, что Гитлер первым начал войну. Кристман оборвал его резко:

— Неужели вы не понимаете, что нас в эту войну втянули? Рано или поздно русские напали бы на Германию. Гитлер только опередил их...

Впрочем, он готов допустить, что Гитлер совершил единственную грубую ошибку, а именно — все, что он делал, он делал слишком поспешно. Он был одержим манией, ему, Гитлеру, казалось, что он должен все сделать сам, так как у него нет добросовестных и умных преемников.

За окном, на противоположной стороне улицы, темнело здание прокуратуры. Кристман кивнул на окно, усмехнулся:

— Думаю, что до процесса дело вообще не дойдет. Они копаются уже несколько лет: не могут найти доказательств, хотя русские, очевидно, послали им кучу материалов...

Своих прокуроров он, по всей видимости, не очень боялся и именно поэтому глубоко их презирал. Но сегодня ему угрожал другой враг: писателишки, интеллигенция, издерганная, развинченная молодежь из левых клубов, газеток, журнальчиков, которые расплодились по всей стране. Эта шваль будоражила общественное мнение, сеяла смуту, составляла какие-то петиции. Неужели их не оставляют? Долго ли придется с ними считаться?

Он взял в руки журнал и раскрыл его на том месте, где была напечатана глава «Кристман».

— Я уже совещался по этому поводу с моим адвокатом. Он не советует поднимать шум, да и сам я считаю, что лучше всего промолчать. На всякий случай я переслал этот очерк в ведомство по охране конституции... Знаете, что меня больше всего огорчает из того, что насочинял этот Гинзбург? Это всевозможные истории с бабами! (Он имел в виду Томку.— Л. Г.) Зачем нужно было ворошить всю эту грязь?..

Придя домой, Макс записал:

«Я вынес впечатление, что речь идет не о простом, а о гениальном преступнике, в сравнении с которым бледнеет все, что я когда-либо читал о военных преступниках. В нем соединились такие качества, как редкая физическая выносливость, невероятная, прямо-таки взрывная энергия, дьявольская духовная изощренность, удивительная хитрость и, если так можно выразиться, лисий нюх...»

Его разговор с Кристманом воспроизведен здесь по записи, сделанной им самим для меня, «на всякий случай». Но именно с этого случая начались мои встречи¹.

* * *

Кристмана навестил и корреспондент газеты «Мюнхнер абендцайтунг» Клаус Антес.

Ссылаясь на мою «Бездну», он, по собственному выражению, «осторожно сформулировал» несколько вопросов:

¹ Отрывки из первоначального варианта этой главы были опубликованы летом 1968 года в Москве и в Берлине.

— «Верно ли то, что русская, которая называет имена служащих команды и описывает здание, где вы были расквартированы вместе с вашими подчиненными, верно ли, что она, так сказать, находилась полностью в вашем личном распоряжении? То есть что она, чтобы избежать смерти, должна была подчиниться вашим желаниям?»

Кристан с видимым возмущением:

— Это ложь! Коммунистическая пропаганда, вот что это! Честь эсэсовца никогда бы не позволила мне этого! Я не имел вообще никаких интимных связей с русскими женщинами. Меня от них тошнило!

— Верно ли, что вы однажды отправились на операцию в сельскую местность и захватили двух женщин, а затем изнасиловали их и расстреляли?

— Нет. Это просто смешно.

Акции в связи с так называемым «окончательным решением еврейского вопроса» в оккупированных областях также относились к сфере деятельности его команды. Кристан этого не отрицает, но тут же добавляет: «Я ведь прибыл в Краснодар только в 1943 году, мы уже не застали там ни одного еврея...» Он заканчивает разговор просьбой ничего не публиковать в газете, «потому что среди моих клиентов много евреев»...

Примечание Клауса Антеса:

«Это интервью было опубликовано¹, и г-н Кристан... реагировал так, как я и ожидал: длинным письмом на целые две страницы. Содержание: я порядочный человек. Обоснование: я даже ни разу не нарушил правила уличного движения...»

* * *

19 января 1968 года в Мюнхене на вечер советской поэзии пришел молодой прокурор.

Я стоял за кулисами, слушал, как читает свои стихи Винокуров и поэт Окуджава, когда ко мне подошел человек лет тридцати пяти и с вежливой прокурорской настойчивостью попросил ответить на несколько вопросов.

Прокурор вел дело Кристана, и ему хотелось узнать подробности, которые, возможно, остались за пределами книги.

Я рассказал прокурору все, что слышал о Кристане, сухо, без эмоций — одни факты.

Прокурор производил приятное впечатление: бледное, грустное лицо, озабоченное, озадаченное выражение.

— Знаете ли, — сказал он, — когда я впервые столкнулся с этим делом, у меня волосы встали дыбом... Невозможно представить себе, что человек способен на такие злодеяния.

— Но этот человек живет в Мюнхене, и окна его конторы выходят прямо на здание прокуратуры...

— Совершенно верно... И тем не менее мы столкнулись с исключительными трудностями. Юрист не может руководствоваться чувствами или просто схватить Кристана за руку. Нужны конкретные доказательства, живые свидетели. Где их взять?

Я спросил, о каких свидетелях идет речь: о жертвах Кристана или о его сообщниках.

— С жертвами действительно встретиться уже невозможно, зато сообщники... Сообщники находятся у вас под рукой, в Западной Германии: доктор Гёрц, Тримборн... Тот самый Тримборн, который по приказу Кристана задушил газом детей в Ейске...

— Да, да. Я знаю... Но где найти этот приказ?

— Разве самый факт, что Кристан был начальником зондеркоманды, которая занималась исключительно физическим истреблением людей, не является дока-

¹ «Мюнхнер абендцйтунг», 10 октября 1967 года.

зательством его вины? А его пребывание на должности начальника гестапо в Кобленце?

— К сожалению, всего этого недостаточно. Единственное звено, за которое я мог бы уцепиться, — это его непосредственное участие в убийствах, личное участие. Мы многое узнали из вашей книги, но книга не юридический документ, вы понимаете...

— Прокуратура СССР послала вам достаточно юридических документов...

— Мы долго провозились с переводом: из Москвы пришла вот такая гора!... Он улыбнулся. — Но что значат бумаги? Хотелось бы выехать на место, поговорить с людьми...

— В чем же дело?

— Ах... Тут-то и начинается бюрократия. Мы сами не имеем формального права даже вступать в переписку с советской прокуратурой. Это делается по правительственным каналам.

Он снова заговорил о деле Кристмана: называл знакомые мне по Краснодарскому процессу имена офицеров команды, переводчиков, перечислял отдельные акции.

Я спросил:

— Какого вы сами мнения о Кристмане?

— Я убежден, что это — злодей. Но от меня не все зависит. Так называемых «убийц за письменным столом» закон не привлекает к ответственности. Остается попробовать «оторвать» Кристмана от письменного стола... Посмотрим, что из этого выйдет...

— А в каком он сейчас состоянии?

— Думаю, он очень напуган.

...С эстрады мне махали рукой, звали. Я сказал прокурору, что хотел бы навестить Кристмана.

— Стоит ли?

— А что, могут быть «осложнения» ?

— Едва ли... Но... Впрочем, на самоубийственный шаг он не решится. Желаю успеха!..

* * *

Винокуров не хотел отпускать меня одного: «Все-таки мы имеем дело с преступником». Договорились, что на встречу с Кристманом нас будут сопровождать корреспонденты «Мюнхнер абендцайтунг» — два молодых человека, один из которых — Клаус Антес. Придем к Кристману без всякого предупреждения, скажем, кто такие; примет — хорошо, не примет — что поделаешь?

Здание, в котором находилась контора Кристмана, чем-то напоминало угловой дом в Краснодаре, где размещалась зондеркоманда.

Мы потоптались у входа, затем поднялись на третий этаж в длинный, безмолвный, военно-полицейского типа коридор со множеством дверей, с укрепленными на кронштейнах металлическими табличками. Возле кабинета Кристмана мы остановились: Клаус Антес пошел «выяснить обстановку».

Я пытался мысленно сформулировать вопросы, которые хотел задать Кристману, но все рассыпалось, я от волнения почти перестал соображать.

Дверь отворилась, показался Клаус Антес, кивнул.

Мы очутились в приемной. За деревянным барьером две завитые дамы-секретарши с веселым любопытством смотрели то на нас, то в ту сторону, где на пороге своего кабинета стоял человек в темно-синем костюме, в синем галстуке, с тем же, что на той фотографии, вытянутым, узким лицом, только постаревший, потемневший чуть-чуть, с зачесанными назад редкими седоватыми волосами. Я узнал его в ту же секунду, как узнаешь актера, которого привык видеть на экране кино и вдруг встретил в жизни, вне роли.

Вошли в кабинет. Большое окно, стол, покрытый зеленым сукном, два-три кресла и полированный столик для посетителей.

Кристан быстро пододвинул кресла, быстрым, коротким жестом пригласил сесть Винокурова, обоих корреспондентов, мне же указал место у столика, прямо перед собой.

Мы помолчали.

Все же это было как наваждение: Кристан, я, Винокуров — в одном кабинете! Двадцать пять лет назад в Краснодаре мы могли оказаться точно в таком же кабинете, в том же составе, те же самые люди, только в совсем иной ситуации.

Кристан посмотрел на меня. В его взгляде не было ни угрозы, ни страха, ни высокомерия. Взгляд выражал деловитость.

Я не знал, с чего начать разговор, сказал то, что чувствовал:

— Вот, господин Кристан, судьбе было угодно, чтобы мы все же встретились...

Он слегка поклонился.

— Случилось так, что вы стали персонажем моей книги. Я не прокурор, не судья, юридические вопросы меня не интересуют...

Он пропустил эти слова мимо ушей: какое ему дело до того, что интересует меня? Его интересует другое.

— Господин Гинзбург! Ваша книга написана на основании свидетельств лиц, стоявших перед судом!.. — Он говорил очень быстро, пулеметными очередями: нажимал на словесную гашетку и, выпустив «очередь», обрывал речь, мгновенно смолкал, потом вновь нажимал на гашетку. — Психологически понятно, что человек, которому грозит смертная казнь, способен очернить кого угодно, чтобы выйти сухим из воды! Оговаривая меня, эти лица пытались спасти свою жизнь!..

Мне вспомнились эти лица: Скрипкин, Еськов, Сухов... Сломленные, погашенные, уже отрешенные от жизни, они меньше всего думали о Кристане и говорили о нем постольку, поскольку констатировали факты, никак не связывая его с собственной участью.

Я сказал об этом Кристану:

— Им все равно уже ничего не могло помочь. И они это знали. Заталкивание в душегубки детей, участие в массовых казнях, измена родине — во всем этом они были избалованы. Зачем же им нужно было наговаривать на вас лишнее?

Он не стал спорить, принял это замечание к сведению и пояснил:

— Господин Гинзбург! Я обращался с этими людьми чрезвычайно корректно! Я не знал никаких национальных различий! Русские добровольцы (так он именовал карателей) получали тот же паек, тот же оклад и обмундирование, что и немцы. Они носили оружие, могли меня каждую минуту убить и стать Героями Советского Союза. Логично?.. Но они не сделали этого потому, что я забился о них, как отец...

Можно было подумать, что его обвиняют в плохом обращении с карателями.

— Вы помните этих людей? — Я назвал несколько фамилий.

— Нет. По фамилиям их никогда не называли, только по именам... К тому же прошло столько лет...

— А... (я назвал подлинное имя Томки) вы помните?

На его лице отразилось нечто вроде смущения.

— Помню...

Это был его «фронтный роман», противозаконная, не предусмотренная служебной инструкцией связь, единственное — для него самого — пятнышко на безупречной его биографии.

Он нажал на гашетку:

— Господин Гинзбург! У меня не было другой возможности сохранить этой женщине жизнь!.. Их взяли двоих: ее и еще одну учительницу. По всем законам я должен был их расстрелять. Но я нашел выход: предложил им вступить со мной

в сотрудничество, стать моими агентами. Учительница отказалась, ее расстреляли. Другая дала подписку и осталась жива.

Он умолял, на секунду предавшись воспоминаниям.

— Объективность требует признать, что с точки зрения советских законов особой вины за ней не было: она вела себя крайне пассивно...

— Состояла при вас?

Он сделал вид, что не понял вопроса.

— Господин Гинзбург! Я выходец из мирного Зальцбурга, города, в котором родился Моцарт...

Сейчас ему предстояло разрушить созданный мной «образ Кристмана», и он старался вовсю.

— Я зальцбуржец, господин Гинзбург, и это кое-что значит! Я жил в мирном Зальцбурге, работал начальником гестапо...

(Передо мной возник тихий, идиллический городок и его обитатели: почтальон, парикмахер, кондитер, начальник гестапо...)

— Когда началась война, все мои товарищи оказались на фронте. Что было делать? Отсиживаться в тылу? Я обратился к Гейдриху с просьбой направить меня в действующую армию. Охотней всего я возглавил бы батальон горнолыжных стрелков для борьбы против партизан на Кавказе. С детства я увлекался лыжами. Но до Кавказа мы не дошли. Так я попал в Краснодар. Я принял команду от Зецеца в чрезвычайно запущенном состоянии: не хватало людей, оборудования, транспортных средств. Фактически мне пришлось формировать команду заново. Я объезжал лагеря для военнопленных, беседовал с полицейскими, со старостами — лично набирал добровольцев...

Он отчитывался, искренне не видя в своих действиях ничего дурного, а напротив, нечто заслуживающее если не похвалы, то понимания во всяком случае.

— Господин Гинзбург! Я полюбил этих людей, этих русских. Они вели такую фольклорную жизнь... Некоторые имели при себе жен... Иногда я приходил к ним, слушал их песни...

Корреспондент хмыкнул. Кристман взглянул на него с нескрываемым отвращением: «Предатель!..»

— Господин Гинзбург! В одном вы должны мне поверить: я люблю Россию, люблю русский народ! Это, — он говорил со всей убедительностью, — здоровый, сильный, свежий народ, полная противоположность... — он снова посмотрел на корреспондента, — декантскому Западу!

Я сказал:

— Откуда вы знаете русский народ? Вы имели дело не столько с русским народом, сколько с его предателями, с кучкой отщепенцев. Русский народ сражался против вас на фронтах, в партизанских отрядах...

— Все равно... Если бы мы были вместе... — сжав кулаки, он приставил их вплотную друг к другу, — если бы мы были вместе, мы могли бы завоевать весь мир. В том числе и Америку!..

— Итак, любя русский народ, вы уничтожали русских людей в душегубках? Детей, женщин...

Он огорчился. Опять ему докучали этими душегубками, о которых он уже неоднократно давал устные и письменные показания.

— Детей я там ни разу не видел... Женщины? Женщины иногда попадались: партизанки, подпольщицы. Но лично я не имел к газовому автомобилю никакого касательства, этим занимались мои подчиненные. Как только затевалась подобная акция, я тут же отправлялся на вылазку против партизан, в лыжный поход...

— Следовательно, вы были плохим шефом зондеркоманды?

— Важно было остаться человеком...

Все, что он мог сказать, было известно заранее. Сколько приходилось читать о комендантах лагерей, которые «никогда не бывали» на территории лагеря, о палачах, которые «не убили» ни одного человека, о доносчиках, которые писали

доносы, полагая, что «служат отечеству»! В этом отношении он был настолько банален, что я уже начал утрачивать к нему интерес...

Кристан между тем продолжал:

— Машина — я имею в виду всю систему — была пущена в ход до меня. — Руками он изобразил вращение колес. — Остановить ее было не в моих силах. Единственное, что я мог, — спасти отдельных людей. И я это делал...

Он уже не заботился хотя бы о видимости правдоподобия. Я сказал:

— На Краснодарском процессе одного из ваших подчиненных спросили, что он может сказать о вас как о человеке. Помню его дословный ответ: «Что я могу сказать о его внутренних качествах, если он имел высокое звание доктора юридических наук, а занимался такими делами и не избегал хотя бы того, чтобы самому не расстреливать?»

Кристан моргнул, движением ресниц как бы смахнул это слово «расстреливать» и сказал:

— Да, я стрелял... На то и война, господин Гинзбург! На войне стреляют... Но я стрелял только в бою. Там не видно, в кого стреляешь. В затылок, в упор я никого не расстреливал. И потом это нелепое обвинение, будто я взорвал здание зондеркоманды, где находились арестованные! Здание зондеркоманды не было взорвано, клянусь вам!

Клаус Антес спросил:

— Может быть, это сделали солдаты вермахта?

Кристан тут же ухватился за эту версию:

— Да, да... Очень возможно... После того, как мы покинули город. Эти саперы всегда занимались бессмысленными разрушениями. Знаете, однажды...

Хватит. Все было ясно. Я встал.

Кристан подошел ко мне вплотную и, глядя прямо в лицо, выпустил последнюю очередь:

— Господин Гинзбург! Я семь лет скрывался в Аргентине. Я был простым рабочим (он устанавливал со мной «классовый контакт»)... Я вернулся в Германию без гроша в кармане, с двадцатью тысячами марок долгов... (Кто мог одолжить ему эти двадцать тысяч?..) Своими руками (он показал свои руки), я... создал эту контору, буквально из ничего, на голом месте... Мое предприятие знает весь город... У меня лучшая клиентура... И вот меня таскают по прокурорам, допрашивают, я внес огромный залог... Я нахожусь под надзором полиции... Думаете, мне легко?! Сколько это может длиться, господин Гинзбург? Война давно уже кончилась, пора научиться жить в мире. Людям, наконец, нужен покой... Я был очень рад познакомиться с вами. Искренне рад... Прошу мне поверить.

На лестничной площадке, около лифта, он догнал нас (тут я впервые обратил внимание на его семенящую походку и несоразмерные с удлиненным туловищем и вытянутым лицом пружинистые, короткие ноги, которые делали его маленьким, низкорослым) и, взяв меня за отворот пальто, быстро, как-то радостно зашептал:

— И эта история с двумя школьницами, которых якобы я изнасиловал и расстрелял, тоже не соответствует истине! Неужели я стал бы это делать на глазах у моих подчиненных? Это абсурд!

Он заискивающе смотрел мне в лицо. Нужно было что-то сказать. Неожиданно для себя самого я спросил:

— А как вы находите, господин Кристан, правильно ли я описал вашу зондеркоманду?

Он призадумался:

— Как вам сказать?.. Много, конечно, раздуто, преувеличено... Но в целом написано очень живо... Читается с большим интересом.

...Мы вышли на запруженную людьми улицу. Шел снег. На противоположной стороне чернело громоздкое, куполообразное, похожее на храм, здание прокуратуры.

Потом мы увидели плакат: «1917—1967. 50 лет Октябрьской революции. Советская фотовыставка». Было 24 января 1968 года.

Возле плаката толпилась группа молодых людей из «Мюнхенского союза школьников»: озябшие, с посиневшими лицами, в дешевеньких стандартных пальтишках. В руках они держали фанерные щиты: «Долой мини-юбки!», «Долой мини-мысли!» Девочка-школьница с сигаретой в зубах совала прохожим листовки. Бородатый юноша кричал в микрофон:

— Требуйте отмены цензуры на школьные газеты!..

IV

В ноябре 1968 года я прочитал предыдущую главу Максу, и он обрадовался, найдя в ней себя, хотя, как он сказал, после опубликования отрывка в Восточном Берлине у него мало шансов на то, что Кристман его оставит в покое: наверняка подговорит кого-нибудь начать против него кампанию, пустит слух, что он «красный», тем более что Макс, вернувшись из Москвы, напечатал в одной из газет дружественную нам заметку. Ничего особенно «красного» в этой заметке, конечно, не было: просто Макс описывал, с каким радушием его принимали в Москве, где он посетил несколько школ, в которых изучают немецкий язык, побывал в двух издательствах и убедился, что при наличии доброй воли существуют реальные возможности для взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом, «странами восточного блока» и ФРГ хотя бы в области культуры...

Кое-какие тучи над ним все же сгущались. В один из дней из Ганновера Максу возвратили партию учебников географии за то, что на карте Европы граница между ГДР и Польшей была обозначена по линии Одер—Нейссе. В письме, приложенном к посылке, учитель гимназии д-р Фабингер писал:

«Настоящим имеем честь возвратить Вам выпущенные Вами учебники... Разумеется, не может быть даже речи о каком-либо их использовании, особенно теперь, когда мы прочитали Вашу заметку, в которой Вы, среди прочего, осмелились нагло потребовать от немецкого народа признания границы по Одеру—Нейссе.

Советуем Вам в дальнейшем поискать себе заказчиков среди польских и советских коммунистов, чьи разбойничьи претензии для Вас, очевидно, существеннее, чем жизненные интересы Вашего собственного народа...»

Однако и в данном случае Макс попросил меня не придавать этому письму слишком большого значения, так как в любой стране, в любом обществе существует несколько слепых, одержимых своей идеей, безмозглых фанатиков.

— Меня, — сказал он, — гораздо больше интересует, как обстоят дела у нашего Кристмана. Я не думаю, что прокуратура о нем забыла, и пока вы тут переписывали это дурацкое письмо, я уже успел связаться по телефону с господином главным прокурором, который с удовольствием вас примет и даст вам все необходимые разъяснения. Вы не находите, что это благоприятный симптом?..

* * *

Здание мюнхенской прокуратуры с его черным в прозелени куполом снаружи напоминало храм — дворец юстиции, типичный для старых немецких городов. Я уже составлял в голове роскошную очерковую фразу: «...чем-то сумрачным, средневековым веяло от этих стен, за которыми обитала угрюмая старогерманская Фемида...», — когда вдруг очутился в светлом современном помещении, похожем скорее на редакцию газеты: длинные просторные коридоры, освещенные круглыми лампами-иллюминаторами; полураспахнутые двери кабинетов, где за телефонами, за пишущими машинками — молоденькие в модных свитерах сотрудницы; молодой бородач в красном джемпере, склонившийся над заваленным бумагами письменным столом... Правда, два-три посетителя, уныло, как в зубной поликлинике, сидевшие перед той или иной дверью, несколько нарушали этот жизнерадостный стиль...

Главный прокурор — крупный лысоватый мужчина лет пятидесяти с небольшим — принял меня со сдержанной любезностью, по-деловому, но без малейшего проявления какой бы то ни было враждебности, хотя я ему, наверно, немало досадил своими статьями. Он сказал, что дело Кристмана связано с серьезными трудностями и что всякая помощь со стороны Москвы была бы крайне желательной.

Он вызвал своего помощника — тщательно причесанного и столь же тщательно одетого рыжего господина с белоснежным платочком, торчащим из нагрудного кармана пиджака, с дорогим перстнем на рыжем, прокуренном пальце (главный прокурор был одет скорее небрежно — большой мешковатый пиджак, мятые брюки), — и помощник, закулив (главный прокурор не курит) и пуская колечками дым, не без апломба, тоном, которым он привык разговаривать с потерпевшими, домогающимися справедливости и «возмещения ущерба», извещил меня о том, что прокуратура предприняла все необходимые меры для установления истины, однако сам Кристман продолжает отрицать какое-либо личное участие в зверствах, признавая лишь общее руководство зондеркомандой и участие в боевых операциях против партизан...

Я задал тот же вопрос, что в январе: не служит ли уликой сама должность, которую занимал Кристман? Ведь доподлинно известно, чем занимались зондеркоманды, и СС «10-а» ни в коем случае не была исключением. Я рассказал о бесчисленных черепах и скелетах, которые видел при эксгумациях в районе Краснотара, Новороссийска, Анапы...

— Это все курортные места, — сказал я. — Представьте себе картину: подходит экскаватор и вдруг из-под земли, покрытой виноградниками, цветами, зеленью, начинают возникать простреленные черепа, скелеты. Где ни копнешь — черепа и скелеты, как если бы там было огромное, в сотни километров, кладбище... Это ли не «вещественные доказательства» вины Кристмана! Но самое страшное, что эти «вещественные доказательства» когда-то были лю д ь м и...

— Совершенно верно, — ответил главный прокурор, — они были людьми, и все это ужасно. Никто так не ненавидит эсэсовцев, как мы, немцы, за то, что они опозорили всю нашу нацию. Многие послевоенные проблемы, очевидно, удалось бы решить с меньшими трудностями, если бы не эти преступления, которые потрясли сознание всего мира. Но суд есть суд, и сами по себе черепа, о которых вы говорите, еще ничего не значат. Важно установить, к о м у принадлежали эти черепа и какое отношение к ним имел Кристман. Если он даже и убивал этих людей лично или отдавал приказы об их уничтожении, мы должны установить, к е м были эти люди...

Я не совсем понимал, о чем идет речь, и помощник главного прокурора пояснил:

— Закон различает два вида убийства: «Totschlag» и «Mord». Так называемый «Totschlag» — уничтожение партизан, членов подпольных групп, диверсантов, саботажников — погашен сроком давности. Здесь все конечно, и разговор в этом случае вообще отпадает. — Он сделал резкое движение рукой. — Другое дело — «Mord». На него давность не распространяется. — Он мягко улыбнулся и округлым движением погладил воздух, как бы лаская этот самый «Mord», еще не отнятый у него законами и еще «принадлежащий» ему.

— Что значит «Mord»? — спросил я, поскольку в словаре и «Totschlag» и «Mord» означают одно и то же: убийство.

— «Mord», — попытался растолковать главный прокурор, — есть тот же «Totschlag», то же убийство, но совершенное из низменных или корыстных побуждений, из страсти к убийству, а также особо жестоким способом...

— Тогда выходит, что повешение партизан не есть убийство, совершенное «особо жестоким способом», «из низменных побуждений»? Но из каких побуждений — из низменных или «высоких» — нацисты замучили и казнили тысячи патриотов, борцов Сопротивления, в том числе детей, участвовавших в борьбе против оккупантов?

Помощник вновь закурил и после долгой паузы ответил:

— Вы говорите о юных подпольщиках... Но проблема эта имеет две стороны. Так называемые «юные патриоты» занимались диверсиями, поджогами, иногда шпионажем. Можно понять, что для вас эти дети — национальные герои. И мы тоже готовы склонить головы перед их памятью. Но для какого-нибудь Кристмана эти дети были врагами, и он поступал с ними, как ему полагалось поступать в отношении врагов в районе военных действий. Представьте себя на минуту адвокатом Кристмана, и вы тут же обратите на это внимание. Теперь вы понимаете, как сложно квалифицировать вину того или иного преступника...

— Я все же хочу, чтобы вы усвоили разницу, — сказал главный прокурор. — Когда убивают человека только за то, что он, допустим, еврей или цыган, тогда это «Mord». Когда же убивают коммуниста, уличенного в антигерманской деятельности (не важно, кто он — пусть даже немец), тогда это типичный «Totschlag». В этом отношении квалификация убийства тех же цыган, которые, бродяжничая в прифронтовой полосе, нередко занимались шпионажем в пользу противника, представляет особую юридическую трудность. Короче говоря, «Mord» означает убийство по религиозным, расовым или другим подобным мотивам, не связанным с какими-либо осознанными антигерманскими действиями со стороны убиваемых. Например, уничтожение людей по типу геноцида или убийство умалишенных, признанных неполноценными детей, стариков и так далее.

— Хорошо. Но вот на Краснодарском процессе всплыл эпизод расстрела военнопленных. Что это: «Mord» или «Totschlag»?

— Смотря из каких соображений их расстреляли.

— Да просто потому, что эти люди были крайне истощены и не могли больше работать в лагере...

— Ах, — устало сказал главный прокурор, — но как вы докажете, что это были не саботажники?..

Я сказал, что для десятков тысяч вдов, сирот, матерей, которые знают историю Кристмана, непостижимо, что его дело тянется столько лет... В конце концов Кристман так и умрет, не дождавшись окончания следствия.

— Вы считаете, что это так плохо? — спросил рыжий помощник, едва заметно мне подмигнув. — Если он в один прекрасный день умрет, неужели вы станете огорчаться? Одним мертвым фашистом больше — это, по-моему, для нас с вами не так уж плохо...

— Дело не в мести. Люди хотят справедливости...

— Ах! (Оба прокурора уже начали терять терпение.) Мы же объяснили вам, что справедливость — а на юридическом языке установление истины — и составляет самую главную трудность в этом деле. Где люди, которые могут подтвердить, что Кристман лично расстреливал детей? Таких людей я не знаю. Где приказы, под которыми стоит его подпись? Их нет в нашем распоряжении. (Этот прокурор мог бы стать превосходным адвокатом.) Я не могу выйти в суд, не имея достаточных доказательств: защита меня просто сомнет...

Снова начался разговор о материалах, поступивших из Москвы, и о необходимости провести дополнительное расследование на месте.

— Если вы сможете передать нашу просьбу господину Генеральному прокурору СССР, мы будем вам крайне признательны... Мы вручим вам письмо... Хотя, впрочем, это лучше сделать в официальном порядке...

— Когда же вы все-таки рассчитываете закончить следствие?

— Не раньше чем через год. Но не думайте, что мы сидим сложа руки... Вы помните ликвидацию детского дома в Ейске? Ну да, вы же сами об этом писали! Вот здесь никаких неясностей нет: дети есть дети... Можем вас обрадовать: один из ваших персонажей — сотрудник Кристмана — уже сидит у нас под замком... Личность, кстати, преотвратительная... К концу будущего года состоится процесс...

* * *

Я вдруг представил себе этот процесс. Наверно, на скамье подсудимых окажутся Кристман, Тримборн («личность, кстати, преотвратительная») и доктор Гёрц, который в зондеркоманде ведал душегубкой, возглавлял расстрел таганрогских евреев и уничтожение больных туберкулезом ейских детей. Этот последний эпизод, как наиболее впечатляющий, будет на процессе центральным. Заранее знаю, о чем будет говорить прокурор: о невинных жертвах, о совести, о достоинстве нации, которую эти люди преступно запятнали. Он будет говорить о человечности и о той акции в осенний день 1942 года в Ейске (который он на немецкий лад назовет «Яйском» и до которого ему нет никакого дела) и об абстрактных «яйских» детях...

Я представляю себе этот многомесячный процесс и как старик Тримборн (который не был тогда стариком), как этот старик будет «тянуть», как станут откладывать заседания из-за его болезни, как он начнет демонстрировать провалы памяти и наконец расскажет, что действительно дал приказ загружать душегубки, которые он «честно» принимал за автобусы, но что приказ о подключении шланга к выхлопной трубе им отдан не был, и ни в одном архиве нет такого приказа, и что если дети погибли, то произошло это оттого, что шланг к выхлопной трубе подсоединили другие, возможно шоферы, но только не он...

И если даже найдут шоферов, то они скажут, что не они подсоединяли шланг, это сделал кто-то из конвоиров: шоферы шлангов не подключают, шоферы водят машину по назначенному маршруту, а кого они везут и что происходит внутри кузова — это их не касается. А потом выступит адвокат, и он будет говорить об исторической вине человечества и о бомбардировке Дрездена, о Хиросиме и Нагасаки, назовет цифры погибших в двух мировых войнах, и среди этих цифр затеряются двести сорок маленьких детей из города Ейска...

Гёрц в последнем слове будет рассказывать о том, как он жил и что делал после войны, как служил представителем торговой аптекарской фирмы, а что касается Ейска, то этого не могло быть, так как он по профессии врач, медик, и как врач не должен был руководить акцией.

Кристман же скажет, что к тому времени, когда он прибыл в Краснодар, все акции против гражданского населения уже закончились и он воевал только с партизанами.

И когда вынесут обвинительный приговор (если только он не будет оправдательным), трех стариков отправят на несколько лет в тюрьму, и служитель очистит помещение от публики, и всем будет скучно, так как все это ужасно надоело. И будет казаться абсурдом, что доктор Кристман, доктор Гёрц — интеллигентные, в сущности, люди — почему-то, по чьей-то прихоти, занимались такими непотребными делами. И все скажут: вот что значит война, слепая дисциплина, необходимость подчиняться приказам. И кто-то спросит кого-то: «А как бы вы поступили, если бы вам приказали?..» И кто-то скажет: «Не знаю». И все разойдутся с чувством легкого удовлетворения оттого, что им ничего такого не приказывали... И если бы в этом зале собрались все те, с которыми я встречался, и те, с которыми мне еще предстоит встретиться, — все, все считали бы, что уж они-то, слава богу, в данном случае ни при чем, уж они-то этого не хотели и что, наверно, виноват во всем Гитлер.

Но если бы удалось воскресить Гитлера и привести его в этот зал, то он мог бы сказать, что он не то что не отдавал приказ о ейском детдоме, он даже такого названия «Ейск» не слышал никогда в жизни и что, возможно, об этом знал Кальтенбруннер. И все подумают: ах, чего там разбираться, столько лет прошло, все это уже не имеет практического смысла. И только мой «Фридрих Вагнер» скажет, что этот суд выгоден врагам Германии и что судьи и правительство идут на поводу у врагов своей родины. И если воскресить ейских детей, то они растерянно оглянутся по сторонам и никого не узнают в лицо, потому что за двадцать шесть лет все ужасно постарели и только они как были детьми, так детьми и остались...

V

Про Еву Браун почему-то одно время говорили, что она артистка, кинозвезда, и когда у нас на экран вышел без титров трофейный фильм «Девушка моей мечты», многие были уверены, что главная героиня и есть Ева Браун. Но это была не она, а известная австрийская актриса Марика Рёкк. Другие рассказывали, что Ева Браун была натурщицей в фотоателье, что также не соответствует истине, хотя она действительно долгие годы, почти до самого конца, служила в мюнхенском фотоателье Генриха Гофмана, правда, не натурщицей, а коммерческой сотрудницей, чем-то вроде экономиста: ведала оптовой продажей открыток.

В этом ателье Ева и познакомилась с Гитлером еще в 1929 году; ей было семнадцать лет, ему — сорок, и кто такой Гитлер, а главное — кем он станет, она, конечно, тогда не знала и не могла знать. Гитлера ей впервые представили как «господина Вольфа», по его подпольной кличке, он приезжал к Гофману по каким-то ей непонятным и неизвестным делам (Гофман тайно состоял в нацистской партии), и этот господин Вольф играл на рояле Верди и Вагнера... Он приходил в кожаном пальто, в широкополой фетровой шляпе, с плеткой в руке: плетка была его талисманом. И все это вместе взятое: Верди, рояль, плетка, кожаное пальто, а главное «мерседес» с шофером, который ждал его у подъезда, — производило на молодую девушку сильное впечатление.

Еще не так давно она воспитывалась в монастырском пансионе: была недурна собой, но своенравна, капризна и училась неровно, скорее плохо, чем средне, предпочитая наукам и церковной службе — увлечение джазовой музыкой и американскими боевиками... Словом, воспитанница Браун никак не была гордостью своего пансиона, и когда она окончила выпускной класс, директриса рассталась с ней без всякого сожаления.

Так фрейлейн Браун вышла в жизнь, и первым, кто встретился на ее пути, был «господин Вольф» — энергичный, галантный и немного загадочный, как в кино... Эта ее малопристойная и бесперспективная связь весьма опечалила учителя профессиональной школы господина Фрица Брауна. Отец трех дочерей (Ильзы, Евы и Гретль), он желал для своих детей лучшей участи. Не говоря уже о разнице в возрасте, Гитлер был отнюдь не самым подходящим человеком, который мог бы составить счастье его дочери. Вечно занятый политикой, он был часто невнимателен к Еве, надолго исчезал, заставляя ее тяжело страдать и мучиться ревностью. Видимо, в его намерения вообще не входило когда-либо жениться на Еве. Он утверждал, что политик не имеет права связывать себя узами брака, а однажды не без торжественности объявил, что уже женат на... Германии!

Фриц Браун не считал эти отговорки и объяснения сколько-нибудь удовлетворительными, полагая, что порядочный человек не должен злоупотреблять чувствами несмышленной, лишенной жизненного опыта молодой девушки. Таким образом, господин Браун (правда, в личном плане) мог бы назвать себя «противником Гитлера». И когда Гитлер, сделавшись фюрером, так и не оставил свои ухаживания, а, напротив, даже снял для Евы и ее сестры Гретль отдельную квартиру, куда он наведывался, приезжая из Берлина в Мюнхен, папаша Браун обратился к нему со следующим письмом:

«Мюнхен, 7 сентября 1935 г.

Глубокоуважаемый господин рейхсканцлер!

Мне крайне неприятно затруднять Вас делами личного характера, а именно теми огорчениями, которые я испытываю в качестве отца семейства.

У Вас, как у вождя немецкого народа, совсем иные заботы, разумеется, куда более важные, чем мои. Но поскольку семья является самой маленькой, однако самой надежной ячейкой, из которой произрастает здоровое и достойное уважение государство, я чувствую себя вправе просить Вас о помощи.

Моя семья в настоящее время расколота на части ввиду того, что обе мои дочери — Ева и Гретль — переселились на предоставленную Вами в их распоряжение квартиру, и я, как глава семьи, оказался поставленным перед фактом.

Конечно, я и в прошлом неоднократно упрекал Еву, когда она возвращалась домой значительно позже конца рабочего дня, ибо я считал, что молодая особа, интенсивно проработав восемь часов, не может обойтись без разрядки в семейном кругу для того, чтобы сохранить здоровье!

Кроме того, я, может быть, несколько старомоден в своем воззрении на мораль: только после вступления в брак дети уходят из родного дома, из-под контроля родителей. Таковы мои представления о чести. Я уже не говорю о том, что очень тоскую без моих девочек.

Я был бы Вам в высшей степени признателен, господин рейхсканцлер, за благосклонное участие к моему делу и заключаю просьбой не поощрять в дальнейшем тягу моей хотя и совершеннолетней дочери Евы к самостоятельной жизни и склонить ее к возвращению в лоно семьи.

С величайшим уважением

Фриц Браун».

Это письмо, как и некоторые другие сведения, я почерпнул у американского журналиста Нерина Гана, книгу которого «Ева Браун-Гитлер» в Западной Германии достать почти невозможно: то ли ее раскупили мгновенно в отличие от других, более серьезных книг, то ли продают ее из-под полы, как в «дрожернях» продают некие предметы интимного пользования. Не каждый книготорговец решится открыто выложить эту книгу на прилавок: кто — боясь прослыть в глазах общества нацистом, кто — антинацистом, не каждый покупатель отважится эту книгу спросить, хотя наряду с сенсационными пикантностями в ней содержится целый ряд заслуживающих доверия документов.

Сам Нерин Ган был когда-то узником Дахау, вышел из лагеря 29 апреля 1945 года и, узнав, что именно в этот день состоялось бракосочетание Евы Браун с Гитлером, увидел в этом таинственную взаимосвязь событий и «перст судьбы».

Я с трудом раздобыл его книгу в библиотеке института современной истории, где мне в «порядке исключения» и «под честное слово» выдали ее на один вечер, вернее на одну ночь, имея в виду, что мне предстоит встретиться с живущими в Мюнхене сестрами Евы.

Меня эти встречи интересовали главным образом с психологической точки зрения: что это были за люди, которые составляли ближайшее интимное окружение Гитлера, какими глазами они на него смотрели тогда и как они оценивают прошлое сейчас?

* * *

Младшая сестра Евы Браун — Гретль — жила на Агнесс-Бернауэрштрассе, в доме без лифта, на четвертом этаже.

Макс позвонил, дверь приоткрыла женщина лет пятидесяти, но еще молодая и поразительно похожая на Еву: только черты лица — позлее, порезче, с хищноватым носиком и возбужденным взглядом хищноватых, расширенных глаз. Можно было подумать, что это и есть Ева, постаревшая на двадцать пять лет.

Из квартиры тянуло теплом и духами.

Макс робко стал объяснять, что поэт из России, переводчик, хотел бы...

Бывшая фрейлейн Браун, а теперь фрау Белугхоф пронзительно закричала, что ничего не хочет об этом слышать, «ну вас всех к черту, пусть этим занимается Ильза», а она плевать хотела на поэтов, переводчиков, журналистов и «на всю эту историю».

— Курт! — позвала она. — Курт! Иди объясняйся!..

Она была в брюках, с сигаретой; нервно затянувшись, она быстро ушла, потом вновь появилась, потом снова убежала куда-то...

Курт — мирный, лысый, пожилой человек в подтяжках, затравленный своей нервной супругой, — не впуская нас в квартиру и преграждая нам вход, стал чуть ли не умолять нас оставить их наконец в покое.

— Поверьте, — сказал он, проведя пальцем около подбородка, — мы сыты этим Гитлером вот так!.. Мы не имеем ничего общего с политикой, честное слово! Обратитесь, пожалуйста, к Ильзе, она вам охотно поможет...

— Курт! — вновь закричала из глубины квартиры бывшая фрейлейн Браун. — Ильза у телефона. Она примет их в воскресенье в одиннадцать...

— Да, да, она примет вас, — попытался утешить нас Курт. — Она ведаёт всем этим хозяйством...

— Да уберётесь ли вы отсюда ко всем чертям? — крикнула Гретль, снова показываясь в дверях...

Никогда я не думал, что увижу эту женщину, судьба которой так тесно переплелась с судьбой Гитлера.

* * *

В 1936 году Ева и Гретль жили в Мюнхене в особняке, который купил для них Гитлер, на Вассербургштрассе, 12 (теперь эта улица называется Дельфтштрассе). Ещё жив старик почтальон, который помнит двух молодых девушек: «Они получали множество писем из Берлина...»

Иногда тайком, стараясь быть никем не замеченным, сюда приезжал Гитлер, но его «замечали», и в дом 12 в прорезь почтового ящика неизвестные люди время от времени подбрасывали прошения, жалобы, просьбы об амнистии или помиловании. Сестры относились к этому с большим неодобрением: они считали, что государственные дела их не касаются, хотя во всех этих прошениях речь вовсе не шла о государственных делах, а о человеческом горе, нужде и несправедливости. Но они уже отгородили себя психологическим барьером от страданий людей, тщетно взывавших к их помощи. Гитлер и без них должен знать, что происходит, и разве не было бы с их стороны бесстыдством и бестактностью злоупотреблять своей близостью к фюреру, обрекая его мелкими просьбами неведомых людей, которые думают только о себе и не в состоянии охватить своим умом высшие государственные интересы?..

Дом, подаренный Гитлером, примирил Еву с родителями.

Вскоре последовал ещё один подарок — овчарка Баско, а затем и три пуделя: Негус, Катушка и Штази.

В доме все время визжали пудели, выла овчарка...

Девять лет спустя Негус погиб в Берлине от осколка советской гранаты, а Штази, подобно многим гитлеровским главарям, кинулся на юг, в американскую зону, проник в Мюнхен и оказался в доме на Вассербургштрассе: там уже не было никого, кроме двух-трех подвыпивших американских солдат. Кто-то из соседей узнал пуделя фрейлейн Браун, кинул ему кость, но в ту же ночь Штази бесследно исчез.

Портрет этого Штази, писанный маслом и помещённый в золоченую раму, я увидел в квартире у старшей сестры Евы Браун — Ильзы, когда пришел к ней в назначенный срок, в воскресенье в одиннадцать.

* * *

Это была очень тесная, уютная двухкомнатная квартира, вся увешанная картинами, в основном натюрмортами и уже упомянутым изображением Штази.

В углублении шкафа, словно в алькове, стояла фотография Евы с прикрепленной к верхнему углу красной розочкой...

Как и следовало ожидать, разговор поначалу налаживался с трудом, несмотря на все предпринятые Максом усилия: он и коробку конфет захватил, и цветы преподнес, и, конечно же, упомянул, что «русский поэт-переводчик — ни в коем случае не журналист — крайне интересуется...».

Хозяйка резко отодвинула коробку с конфетами, сунула в вазу цветы и предложила нам выпить. Мы отказались. Она поставила перед собой большую бутылку коньяка «пико» и уже пила непрерывно из большого стакана светлого стекла, извинившись, что без этого «пико» ей трудно говорить: привычка. Кроме того, она непрерывно курила, щелкая своей латунной зажигалкой.

Она была в голубом вязаном платье, в белых босоножках, густо напозаженная, с крашеными светлыми волосами... Впрочем, все эти «детали», к которым я

приглядывался, не имели особого значения. Просто перед нами сидела немолодая одинокая женщина, сильно потрепанная жизнью, к тому же, как последовало из дальнейшего разговора, находящаяся в стесненных материальных обстоятельствах.

Говорила она очень нервно: видно, привыкла за долгие годы объясняться, доказывать, биться за свою жизнь. Сейчас она раздобыла себе место секретарши, хотя когда-то была журналисткой.

— Но какая газета возьмет на работу свояченицу Гитлера и сестру Евы Браун? Кто станет печатать мои статьи? Свобода слова существует у нас только на бумаге!.. Попробуй что-нибудь написать или выпустить правдивую книгу: ее сейчас же запретят. Почему нет на прилавках книги Гана?!— Она зло посмотрела на Макса, который уже начал ее жалеть и смущаться, прикидывая, нет ли тут действительно какой-либо несправедливости.— Если бы вы знали,— сказала она, обращаясь ко мне,— какой поднимается шум, как только выходит серьезная книга, объективные воспоминания о прошлом, мемуары...

Я хотел было приступить к вопросам, заверив ее, что меня не интересуют пикантные подробности, а только правда, но она, взглянув на меня с недоверием и неприязнью, безнадежно махнула рукой:

— Да, да, все это я слышала десятки раз. Кто только у меня не бывал! И англичане, и американцы, и французы — и все обещают писать только правду, говорят, что хотят знать лишь объективную истину, а потом фабрикуют грязные, оскорбительные статьи, порочащие нашу семью, память моей сестры, меня лично... Да и этот Ган тоже хорош!.. Речь идет о большой человеческой трагедии, о чем-то, не имеющем ничего общего с политикой, о слепой любви, которая кончилась так печально.. Но я счастлива, что моя сестра покончила с собой, ушла из жизни вместе с ним: страшно подумать, что бы ее ожидало, если бы она осталась жива! Госпожа Геринг, госпожа Риббентроп до сих пор подвергаются бессовестной травле: вот вам — двадцатый век!.. Но в чем мы виноваты? Была молодость, была жизнь, кто мог предположить, что все так обернется?.. Да, да, я знаю, сейчас вы начнете говорить о лагерях смерти, о Дахау, об уничтожении невинных людей. Но если все это и на самом деле имело место в действительности в таких размерах, как об этом пишут, неужели вы думаете, что мы имели об этом хоть малейшее представление?! Я восемь лет проработала у еврейского врача, вела у него прием и относилась к нему с огромным почтением, с преклонением даже. В чем дело?.. Конечно, я могла понять националистические предрассудки Гитлера, которые исходили из его убеждений. В Мюнхене не было ни одного крупного профессора-немца! Это был клан, замкнутый круг, в который немцу трудно было проникнуть... Но дело не в этом... Это не имеет никакого отношения к моей сестре. Поймите: она просто любила этого человека, любила, вот и все...

— Вы сами когда-нибудь видели Гитлера? — начал я осторожно.

— Конечно Много раз. Бывала у него...

— Какое он производил впечатление?

— Пожалуй, благоприятное. Это был корректный и мягкий человек, во всяком случае в частной жизни. Политика меня не интересовала, кстати, я никогда не состояла в НСДАП, так же как и Ева. В отличие от нашего канцлера Кизингера...

— Но приходилось вам хотя бы раз говорить с Гитлером о том, что творится в Германии? Ведь вы жили не в изолированном мире, а среди обычных людей... И не могли не видеть, не слышать...

— Да, было два случая, когда я с ним пыталась говорить на эти темы, не думайте, что я все время молчала, как рыба... Но вообще Гитлер не допускал, чтобы мы, женщины, вмешивались в его дела, он этого терпеть не мог и не прощал никому, даже близким. Помню, как Генни Гофман, жена Шираха, — это было уже во время войны — сказала Гитлеру, что видела эшелон с депортированными: эти люди выглядят ужасно, они, видимо, находятся в жутком

положении, это просто недостойно нас, немцев, что творятся такие вещи... Гитлер ничего не ответил, резко повернулся и вышел из комнаты. На следующее утро Генриэтту под каким-то предлогом выпроводили из Берхтесгадена. Это был урок для всех нас... В другой раз я спросила Гитлера, что происходит с католиками, отчего такие гонения на церковь? Он подвел меня к глобусу и сказал: «Смотри, дитя мое. Видишь, это — Европа, крохотный кусочек: Германия, Италия, Франция... А это — весь остальной мир: буддизм, ислам, которые не имеют ничего общего с христианством. Стоит ли обращать внимание на мелочи?..» Моя сестра была резко настроена против таких разговоров и вопросов, она меня однажды предупредила: «Имей в виду: ни слова о политике. Мы здесь не для того, чтобы руководить государством. Если фюрер отправит тебя когда-нибудь в концлагерь за твой длинный язык, не надейся, что я стану тебя выручать»...

Это было примечательно: в доме Гитлера, в центре политической жизни, частные разговоры о политике считались чем-то запретным, так как даже там частное восприятие политики неизбежно должно было носить критический оттенок, способный омрачить настроение хозяина, вывести его из душевного равновесия и, пусть в малой степени, поколебать ту стену лжи, которой эти люди сознательно себя окружали.

Я спросил:

— Значит, такое понятие — «концлагерь» — все же фигурировало?

— Иногда. Но знаете, тогда просто невозможно было себе представить, что этот человек — то есть Гитлер — хочет кому-нибудь зла. У него были какие-то на редкость выразительные, теплые, большие глаза и проникновенный, глубокий голос. Ведь мы были женщины, дурочки и многого не понимали. Я и сейчас, признать, не верю, что он во всех подробностях знал об этих преступлениях и зверствах. Все мы думали, что концлагеря — просто исправительные колонии, где перевоспитывают инакомыслящих... И Гиммлер, возможно, не знал... Скорее всего это дело рук Бормана! Вот это был дьявол, и я была бы счастлива, если б его повесили.

— Да, да, это был дьявол, — подтвердил Макс. — Но и Гитлер не был святым, не правда ли?

— Ну, святых среди нынешних мужчин вообще не бывает! — живо отозвалась Ильза. — Мужчины гораздо коварнее женщин... Так вот, помню случай, когда арестовали близкого мне человека, нашего общего с Евой знакомого: обвинили в антигерманской деятельности. Это было слишком! Я пошла к Еве и потребовала, чтобы она вмешалась немедленно. Ева предоставила мне возможность поговорить с фюрером, все чудесно устроила, и я изложила Гитлеру свою просьбу. Он меня внимательно слушал, кивал головой и сказал, что этому человеку нужно помочь: мне следует обратиться к партийгеноссе Борману. Я тут же пошла к Борману, он сделал очень озабоченное лицо и любезно ответил: «Конечно, само собой разумеется, фрейлейн Браун. Если вы ручаетесь за этого человека, то нам этого вполне достаточно. Через несколько дней он будет свободен»... Но через несколько дней, когда я зашла к Борману справиться, как обстоит дело, он сказал: «К глубочайшему сожалению, фрейлейн Браун, мы с вами опоздали. Недельку назад ваш знакомый был расстрелян при попытке к бегству...» Больше я уже не обращалась к этому зверю...

На Макса эта история произвела впечатление. Доведись ему в те времена встретиться с Ильзой — сестрой Евы Браун, он считал бы ее всесильной хозяйкой жизни, приближенной того божества, которому все тогда поклонялись. Это божество обладало неограниченными возможностями, что, по тогдашним представлениям, было не так уж плохо, потому что должна же быть такая инстанция, к «стопам» которой можно припасть и которая имеет законное право не только казнить, но и миловать. Да, именно миловать, так как карать и казнить могли на всех ступенях государственной лестницы вплоть до самых низших, а миловать — только на самом верху. Теперь же Макс убеждался, что возможность миловать была ограничена даже там.

Может быть, Макс, высказавший это Ильзе, был не так уж далек от истины потому, что сама система, созданная Гитлером и его окружением, исключала всякую возможность «творить добро».

Впрочем, Ильза отнеслась к этой мысли по-своему.

— Близость к сильным мира сего, — сказала она, — очерствляет человека, делает его эгоистом. Временами я с трудом узнавала мою сестру. Она становилась все более заносчивой и деспотичной. С Евой мы без конца ссорились, ее Альф, например, не разрешал мне приезжать к ним со вторым моим мужем, хотя первого допускал. Он говорил: «Я не намерен принимать у себя каждого нового мужа твоей Ильзы. Пусть она меняет своих мужей хоть каждый год, но я здесь при чем?..» Нет, нет, не думайте, что жизнь с Гитлером была уж таким раем! Очень много было пролито слез. И в семье — прежде всего отец — были недовольны их связью. — Она всхлинула: — Бедный папа!..

* * *

В 1939 году папаша Браун, который до этого ходил в беспартийных и считал себя чуть ли не оппозиционером, наконец оформился в нацистскую партию. 1 мая ему был вручен партийный билет № 5021670. Окружное руководство НСДАП удостоило его титула «Geheimnisträger», то есть члена партии, допущенного к партийным секретам, так как внутри правящей партии существовала и такая градация... Ведь миллионы немцев во избежание неприятностей и в ожидании кое-каких льгот механически вступали в партию, платили членские взносы, носили партийные значки, но к политической жизни никакого отношения не имели.

Нацистская партия как таковая сама была фикцией, так как не партия и даже не ее активисты, а лишь кучка «верхушечных» руководителей правила страной, да и то не в полном объеме. Фюрер один воплощал в себе «партию», и эти миллионы мужчин и женщин с партийными значками только потому были членами партии, что считались единомышленниками верховного вождя, хотя тот вовсе не интересовался их мыслями. Ведь даже внутри самой нацистской партии могли у отдельных ее членов возникнуть различные взгляды на те или иные вопросы, но этими оттенками взглядов нельзя было делиться, нельзя было выносить их на открытое обсуждение хотя бы в своем узком кругу: это само по себе уже считалось бы нарушением нацистской «этики», если не государственной изменой. Словом, это было сборище говорящих молчалиников, именно говорящих их, потому что каждый из молчалиников обязан был говорить, выступать на собраниях, демонстрируя свою безусловную солидарность с фюрером.

«Cum tacent clamant» — «молчит, но кричит», — гласит латинское изречение, принадлежащее Цицерону. Здесь же было все наоборот: «кричит, но молчит»...

Итак, Фриц Браун стал молодым членом партии, но вскоре, не без содействия Евы, ему заменили билет № 5021670 на № 1488 и зачислили в разряд «старых борцов» — «alte Kämpfer».

Позднее, уже после «трагедии 1945 года», папаша Браун объяснял свое вступление в партию тем, что хотел сохранить мир и единство внутри собственной семьи, а также тем, что в «величии Гитлера» его убедили «освобождение Судет, Мемеля, взятие Варшавы, Парижа и Осло».

И хотя Фриц Браун был не просто Фрицем Брауном, но еще и отцом Евы Браун, его поступок ничем не отличался от поведения множества других немцев, которые искренне воспринимали эти захваты как победы, а не как преступления и национальный позор.

* * *

— Вы спрашиваете, имела ли я какие-либо выгоды от того, что была близка к Гитлеру? — Ильза трянула головой. — Никаких! Одни неприятности. И тогда. И после, когда начались все эти допросы, расспросы, следствие... Но в чем я

виновата? В чем виновата Ева? Гитлера признавал весь мир, к нему на поклон ездили и Чемберлен, и Даладье, и принцесса Виндзорская, и черт знает кто там еще, на трибунах торчали дипломаты всех стран, государственные деятели искали его поддержки, ни одно из правительств не отказывалось иметь с ним дела, ему посылали поздравительные телеграммы, ноты, вели с ним переговоры. Почему Ева должна была быть умнее их всех? Почему, если он был таким уж разбойником, от него не отвернулись ни ведущие политики, ни писатели, например, Гауптман?

— Гауптман? — удивился Макс. — Но я читал его антифашистские стихи, гайком написанные в Германии.

— Ерунда! — Она скорчила презрительную гримасу. — Какое мне дело до того, что он там строчил втихомолку? Нет, нет, все достойны осуждения, но все достойны и жалости... В 1945 году, в январе, я бежала в Берлин из Бреслау, куда уже вступали русские. Своими глазами я видела страшную картину бегства. Кто жалел этих людей? Кто пожалел мать Шираха, которая в страшных мучениях сгорела во время американской бомбежки?! Мучения и страдания выпали на долю миллионов людей, не так ли? А что творится сейчас во Вьетнаме?.. Но Ева, Ева... Вы, мужчины, имеете ли вы представление, что может сделать слепая любовь?..

* * *

Когда 20 июля 1944 года на Гитлера было совершено покушение, Ева, узнав об этом, едва не лишилась рассудка, она чуть не умерла, пока не дозвонилась до ставки и не услышала наконец его голос. Он успокоил ее и сказал, что все обошлось благополучно. И Ева прокричала в трубку: «Я люблю тебя, да хранит тебя бог!..» Она прыгала, плясала от радости и плакала. А через несколько дней Гитлер прислал ей свой разорванный, пострадавший при покушении китель...

Да, в то самое время, когда Штауффенберг совершил свой отчаянный подвиг, когда заговорщики, затаив дыхание, ждали вести, что диктатор мертв, или потом, когда они в ужасе узнали, что все их усилия оказались напрасными и все они обречены на гибель, — в эти самые дни двое влюбленных обменялись письмами.

В его напечатанном на машинке письме было сказано:

«Дорогая, у меня все в порядке, не волнуйся. Я просто немного устал. Надеюсь скоро вернуться домой и отдохнуть в твоих объятиях. Мне необходим отдых, но мой долг перед немецким народом превышает всего... Я послал тебе тужурку, которая была на мне в тот роковой день. Она — доказательство того, что меня хранит провидение и что нам нечего больше бояться наших врагов...»

И она отвечала:

«Любимый, я вне себя. Я умираю от страха, зная, какая опасность тебе угрожает. Возвращайся скорее, я чувствую, что близка к помешательству. Здесь у нас чудесная погода, все выглядит таким мирным, что мне даже как-то неловко перед тобой... Ты знаешь, я это тебе всегда говорила, что, если с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу. С первой нашей встречи я дала себе клятву никогда не разлучаться с тобой, даже в смерти. Ты знаешь, что я жива только твоей любовью. Твоя Ева»...

Так, среди сотен тысяч писем, которые писались в те дни из фронтовых окопов, из лазаретов, из лагерей, из нетопленных, затемненных квартир, среди похоронных извещений, призывных повесток, во Всемирную Почту затесались и эти два письма...

Иногда Гитлера охватывали приступы меланхолии. И как миллионы других людей, он все чаще задумывался над тем, что он станет делать после войны. Он говорил, что подаст в отставку, займется живописью, будет писать мемуары. Они поженятся с Евой и купят себе дом в Линце, и — «я клянусь, что сниму военную форму, ничто в моем доме не будет напоминать о войне». И он считал это вра-

жеской проагандой, злобной клеветой, когда читал выдержки из иностранных газет и переводы статей Эренбурга, и досадовал на то, что никто, ни один человек, не может его понять.

— Я уйду,— говорил он,— уйду со всех постов, я стану частным лицом, но прежде, чем я это сделаю, я издам приказ, чтобы на каждой пачке сигарет, продаваемых в Европе, крупными буквами было написано: «Табак — яд! Курение — причина рака!..»

И Ева говорила, что поедет в Голливуд и снимется в фильме, в котором будет рассказана история их любви...

А где-то дымились печи крематориев, на полях сражений корчились в муках и умирали миллионы людей, и эшелоны все везли и везли: новобранцев — на фронт, раненых — с фронта, узников — в лагеря смерти.

* * *

Ильза спросила, не собираюсь ли я переводить на русский язык книгу Гана и не причитается ли ей в этом случае какой-нибудь гонорар.

— Этот американец,— сказала она,— высосал из меня все что мог, я надала ему кучу документов. После смерти Евы у меня остались двадцать три альбома — все ее фотографии, у Гретль — письма... Жаль, я не знала, что вас это может заинтересовать. Мы бы договорились...

В 1944 году Ева Браун на всякий случай составила завещание, в котором распорядилась своим личным имуществом вплоть до нижнего белья, вплоть до туфель.

Уже тогда, несмотря на официальные разговоры о «близкой победе», не исключалась возможность поражения, бегства или самоубийства, потому что, как говорил Гитлер, «если мы попадем в плен, нас выставят в клетке в московском зоопарке». И в самом деле, сколько в мире людей одобрило бы этот «вариант»!¹

Ева расплакалась, но в тот же вечер, будучи женщиной хозяйственной, отправила в Берхтесгаден и в свой мюнхенский дом большие запасы консервов, шоколада, вина и кофе. Все это меньше чем через год досталось вступившим в Мюнхен американским солдатам, которые с удовольствием пили вино и ели шоколад и консервы, не подозревая, для кого это, в сущности, предназначалось.

Впрочем, и слова Гитлера насчет «зоопарка», и предусмотренная заранее «заготовка продуктов», и слезы Евы Браун, и ее завещание были не чем иным, как проявлением «пораженческих настроений», за которые в гестапо запросто отрубали головы: никто не имел права сомневаться в конечной победе, даже мысли такой допускать, что русские могут войти в Берлин.

Таким образом, длинное, на восьми страницах, завещание Евы представляло собой в высшей степени опасный «антигерманский» документ, который, однако, следует здесь привести хотя бы в отрывках...

Сестре Гретль завещались: «Кольцо изумрудное с брильянтами, большое — 1; кольцо изумрудное с брильянтами, малое — 1; браслет изумрудный с брильянтами, малый — 1; брошь «бабочка» — изумрудная, с брильянтами — 1; серьги изумрудные, с брильянтами — 1; букет маргариток рубиновый — 1; все письма фюрера ко мне и черновики моих писем к фюреру; половина моих платьев, пальто, туфель, белья и пр., кроме шуб, с передачей пяти платьев, одного пальто и трех пар туфель (на выбор) г-же Кашингер... Съёмочная камера «симменс» с проекционным аппаратом и киноэкраном; следующие картины: акварель работы Адольфа Гитлера: Боненбергер — «Портрет фюрера», Боненбергер — «Севернотальянский пейзаж» и «Голова девушки» (подарок рейхслейтера Бормана)».

¹ Впоследствии один из обвинителей на Нюрнбергском процессе рассказывал мне, что в Нюрнберг со всех концов света приходили тысячи писем с предложением, как поступить с главными нацистскими преступниками. Среди этих предложений было и такое: поместить их всех в клетку и возить по городам мира в назидание человечеству.

Сестре Ильзе: «Ожерелье брильянтовое с солитером — 1; брошь — она же кулон — платиновая — 1; кольцо брильянтовое — 1; часы платиновые (с монограммой фюрера) — 1; букет маргариток брильянтовый — 1; дом на Вассербургштрассе, 12, с полной мебелировкой, коврами, столовым серебром и фарфором; автомобиль «фольксваген» — 1; половина моих платьев, пальто, шуб, белья и туфель, с передачей пяти платьев, одного пальто и трех пар туфель (на выбор) г-же Герте Остермайр. Картины: Боненбергер — «Каштаны, цветы и плоды», Памини — «Римский пейзаж», Боненбергер — «Портрет Евы Браун»...

Господину Фрицу Брауну: кабриолет «мерседес» — 1, с гаражом в Оберзальцберге; бинокль — 1...»

Госпоже Франциске Браун (матери): «Половина моих шуб, туфли (на выбор), чемоданы, следующие картины: школа Тициана — «Венера, эрос и фавн», Кирр — «Портрет фюрера»... ковры, гобелены... наличные деньги, за вычетом...»

Ряд более мелких вещей предназначался подругам Евы и ее сослуживицам...

Вот неполный перечень того, чем к 1944 году располагала любовница «фюрера немецкой нации».

Ева тогда же возвратилась к Гофману: она числилась «мобилизованной» — Гитлер был очень щепетилен в этом вопросе, считая, что во время войны каждый человек, кем бы он ни был, должен работать на своем «участке фронта», и этим «участком фронта» для Евы должно было стать фотоателье Гофмана, где в миллионах экземпляров изготовлялись открытки с портретами Гитлера.

Между тем в резиденции фюрера обслуживающий персонал уже именовал ее не иначе как «Sheip» — хозяйка, — а в Берлине и в Берхтесгадене среди Бормана, Геббельса, Шпеера, среди министров и генералов генштаба все чаще открыто появлялась в обществе Гитлера подтянутая, спортивного типа, изящно и вместе с тем просто одетая молодая женщина — фрейлейн Браун, что звучало как некий титул: это — рейхслейтер, это — рейхсмаршал, это — рейхсминистр, а это вот — фрейлейн Браун. Не «фрау», а именно «фрейлейн», что предполагало молоджавость, скромность, подтянутость и очарование юности.

* * *

Гретль вышла замуж за генерала СС Фегелейна, тридцатисемилетнего красавца, офицера связи при Гитлере и Гиммлере, обладателя рыцарского креста с дубовыми листьями за операцию против словацких партизан, которых он подавил с необычайной жестокостью.

Бракосочетание состоялось 3 июля 1944 года в зальцбургской ратуше, свидетелями были Гиммлер и Борман, и я видел фотографию, где они сняты все четвером. И еще одну фотографию я видел: Гретль в подвенечном платье, с огромным букетом цветов, слева от нее — Фегелейн, а справа — Гитлер... На все это было страшно смотреть от сознания фантазмагории жизни, которой было угодно, чтобы я однажды смог, пусть мимолетно, соприкоснуться с этой женщиной и ее сестрой, и от несопоставимости явлений: Гитлер, Фегелейн, Гретль в зальцбургской ратуше, — и та же Гретль, Макс и я, Гинзбург, на лестничной площадке в доме на Агнесс-Бернауерштрассе.

...В апрельские дни 1945 года Гитлер приказал расстрелять Фегелейна во дворе имперской канцелярии в Берлине. Тогда все уже было ясно, и Фегелейн, перебравшись из имперского бункера на частную квартиру в Шарлоттенбург, опрометчиво позвонил по городскому телефону Еве Браун в бункер, предложив ей немедленно покинуть фюрера и бежать в Мюнхен. Ева отказалась, но их разговор «засекла» служба подслушивания, и через несколько минут на квартиру к Фегелейну явились гестаповцы.

Вот кого замещал теперь мирный, лысый господин в подтяжках — Курт Белугхоф, который там, на лестничной площадке на Агнесс-Бернауерштрассе, говорил нам, что «сыт этим Гитлером по горло»...

Времена изменились: он не хотел быть исторической личностью.

Последние дни Евы Браун Ильза назвала «погружением в ад».

— Для Евы все было кончено... Она не хотела, не могла с ним расстаться и выполнила свое обещание... Вы, наверно, знаете подробности их ужасной свадьбы... Но хватит! Двадцать пять лет, двадцать пять лет — одни и те же вопросы, ни минуты душевного отдыха. Вы бы лучше пригласили нас на свой вечер, говорят, вы будете читать стихи? Интересно послушать. Ведь мы — Брауны — все немного равнодушны к искусству...

Когда мы уходили, она спросила, известно ли что-нибудь в Москве об останках Евы, не хранится ли где-нибудь в сейфах ее прах?

— Ах, как хорошо было бы, если бы вы смогли мне привезти ее пепел... Или, если есть ее могила, не можете ли вы возложить букетик цветов? Я, разумеется, оплачу все расходы. Ведь пепел куда-то девался? Пепел ведь был? Ведь какие-то останки сохранились или — фьють! — все так и развеяли по ветру?..

* * *

Мы вернулись к Максиму поздно вечером, чуть ли не ночью, к большому неудовольствию его жены, которую уже начало раздражать, что Макс все время пропадает по каким-то странным делам: тоже нашел себе занятие — мотаться по следам Гитлера!

После ужина я еще долго записывал впечатления дня, разговор с Ильзой, и всю ночь сквозь полусон мне мерещился Гитлер...

На следующее утро за завтраком я спросил Габриэлла, двенадцатилетнюю дочь Макса:

— Ты про Гитлера слышала?

— Да...

— Ну, и кто же он такой был?

— Не знаю, — густо покраснев, сказала Габриэлла.

— Это был очень злой человек... Разбойник.

Жена Макса, усталая и раздраженная оттого, что вчера от них ушла прислуга, строго взглянула на меня и сказала:

— На свете хватало плохих людей и без нашего Гитлера.

— Повсюду есть злые люди... Повсюду... Не надо говорить об этом... Поговорим лучше о добрых... — успокаивая ее, сказал Макс.

VI

Тройдель (Гертруда) Юнге и сейчас еще, в свои сорок восемь лет, похожа на молодую секретаршу: подтянутая, в белой блузке, волосы собраны в пучок... Кажется, она готова вот-вот достать карандаш, записывать, стенографировать.

На собеседника она смотрит чуть вопросительно, внимательно выслушивая задаваемый ей вопрос, чтобы ответить как можно быстрее, точнее и четче...

Да, совершенно верно, она была секретаршей Гитлера, да, ее взяли к нему по мобилизации как лучшую машинистку, она прежде служила в редакции, так точно...

— Из Берлина я попала в его ставку «Волчье логово», в Восточную Пруссию... Нас было там десять девушек, его секретарш. Общение с Гитлером? Ежедневное... Мы жили в отдельном блоке для технического персонала, но обедали всегда вместе, за одним столом, только ему приносили особую пищу — вегетарианскую... Тех, кто ел мясо, Гитлер называл «вурдалаками». «Знаете, что вы едите? — говорил он. — В Польше я однажды посетил скотобойню, страшно было смотреть, как волокли несчастных коров, как мычали телята, как текла кровь...»

Я прочитал ей строки Маршак о Гитлере:

Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья...

Она сдержанно усмехнулась, не стала комментировать, сказала только, что он действительно любил животных, правда не всех: лошадей считал глупыми, бульдогов — несимпатичными, недолюбивал черепах, совсем уж терпеть не мог кошек и плохо относился к цыплятам.

— А к людям?

— Смотря к каким. Со своими ближайшими сотрудницами он был неизменно любезен, ни разу не повышал голоса и называл нас не иначе, как «дитя мое», «моя прелесть» и так далее. У него был неповторимый австрийский шарм. Не было случая, чтобы он не поцеловал мне руку. Он мог подойти к любой из нас, погладить по голове или потрепать за ухо.

Она взяла себя за ухо и, подражая голосу Гитлера, произнесла:

— Ах, какие у вас прелестные ушки!..

...Прошло столько лет, столько ужасающих фактов стало известно. Неужели ничего этого для нее не существовало и она все еще дышала атмосферой «Wolfschanze» — «Волчьего логова» — с его фальшивой внешней благопристойностью и пошловатой идиллией?..

Впрочем, возможно, я торопился с выводами.

Юнге продолжала:

— По правде говоря, реальной жизни он по-настоящему не знал. Он ни разу не видел ни одного разрушенного немецкого города: не хотел портить себе настроение, боялся посмотреть правде в глаза. Он жил в мире иллюзий, в мире своих идей и не хотел отвлекаться...

— Но ведь не может быть, чтобы в ставке Гитлера ни разу не заходила речь о положении в Германии или о лагерях смерти, об акциях по уничтожению людей? — спросил я. — Уж там-то, наверно, говорилось обо всем открыто?

— Ничуть. — Она удивилась моей наивности. — Положение внутри страны изображалось крайне оптимистически: и в сводках, поступавших к фюреру снизу, и в его собственных приказах и выступлениях. Это было какое-то неписаное правило, чуть ли не уговор: все хорошо, все правильно, а то, что «нехорошо» — допустим, уничтожение американцами с воздуха целых промышленных районов или продвижение русских, — будет непременно устранено. Это же правило — избегать неприятных моментов — касалось и лагерей. Отчетливо помню, как Гиммлер в моем присутствии докладывал Гитлеру о положении в лагерях, кажется в Освенциме: сколько калорий получает заключенный, как поставлена система «трудового перевоспитания». Ни о каких газовых камерах, конечно, не упоминалось. Гиммлер тогда рассказывал, что какой-то узник пытался поджечь барак и — «что бы вы думали, мой фюрер, как мы поступили с этим несчастным? Мы назначили его ответственным за противопожарную охрану всего блока! С тех пор благодаря оказанному ему доверию он стал совершенно иным человеком и близок к исправлению...»

Если такой разговор действительно происходил, то что же это было? Ханжество, притворство, попытка произвести благоприятное впечатление на секретаршу? Едва ли. Ведь и Гитлер и Гиммлер (а может быть, и сама Юнге) прекрасно знали, что такое Освенцим и для чего они его предназначали. Нет, это был инстинктивный самообман двух заговорщиков, организаторов преступления, которые в самих себе должны были поддерживать уверенность, что они не только не совершают ничего преступного, а, напротив, действуют в полном соответствии с обиходной, общепринятой нравственностью. Так человек, обладающий тайным пороком, скрывает его от других и самому себе не хочет в этом признаться.

У нацистов существовало множество различных «табу»: они почти никогда не употребляли даже в строго секретных служебных инструкциях таких слов, как «расстрел», «удушение», «повешение», заменяя их другими терминами: «переселение», «особое обращение», «окончательное решение вопроса», и не только в целях секретности, а опять-таки из моральных соображений. Психологически про-

ще подписать приказ, допустить, об уничтожении больных и престарелых жителей целого города, назвав это уничтожение эвакуацией в тыловые районы. Лицо, подписавшее такой приказ, всегда может сказать себе, что оно имело в виду только эвакуацию, и сохранить в чистоте свою совесть, выполнив вместе с тем поставленную перед ним оперативную задачу.

В нацистском неправовом государстве, где любое действие государственных органов не подлежало никакому общественному контролю и возможность огласки или разоблачения полностью отпадала, тем не менее строго следили за фиктивным соблюдением законодательных норм. Казалось бы, не было никакой нужды изобретать предлог в виде «расстрела при попытке к бегству» для того, чтобы устранить бесправного и заранее обреченного на смерть узника, однако «инерция приличия» и внутренний самообман требовали, чтобы это устранение было соответствующим образом юридически оформлено.

И этот самообман действовал снизу доверху, во всех инстанциях...

Я спросил Юнге, как мог нормальный человек, находившийся в непосредственном контакте с Гитлером и допущенный к самым секретным документам нацистского государства, не понимать всей преступности того, что делается в стране. Она ответила, что именно «наверху» человек меньше всего это может заметить.

— Мы были избавлены, — объяснила она, — от тысяч мелких, повседневных забот и неприятностей, которым подвергалось все остальное население. Мы не знали карточек, очередей, слезки со стороны гнусных блоквартов, страха перед бомбежками, мы жили в идеальном мире, в условиях фиктивной, но ощутимой свободы и довольства.

Это было похоже на правду. Находясь в «Волчьем логове», оторванная от реальной жизни своего народа, Тройдель Юнге, возможно вполне искренне, считала, что все хорошо, все справедливо и дело идет так, как должно идти, несмотря на все трудности. Ее не то чтобы умиляла или поражала демократичность фюрера, его доброта и мягкосердечие, когда он, как уже говорилось, мог по-настоящему плакать, видя страдания своей больной овчарки Блонди, — она просто считала все это совершенно естественным. В «Волчьем логове» царили радушие и товарищество. Это была «национал-социалистская семья», и десять скромных секретарш, которые обедали за одним столом со своим фюрером, как бы олицетворяли «единение вождя и народа».

Гитлер же, обедавший со своими секретаршами и приглашавший двух-трех из них к ужину, чтобы поболтать о жизни, в свою очередь считал, что он, несмотря на свою историческую миссию, на то, что избран провидением, продолжает оставаться простым человеком, а не заносчивым, высокомерным диктатором...

— Впервые я в какой-то степени разочаровалась в нем, когда русские, прогнав фронт, вступили на территорию Германии. Я сказала фюреру, что хотела бы научиться стрелять, но он шуточно ответил, что не может подвергать себя такому риску, доверие оружие всем своим секретаршам. В этом недоверии ко мне, к нам, было уже что-то неприятное, мелкое...

В роковые апрельские дни 1945 года Юнге находилась в Берлине, в бункере имперской канцелярии. Она видела свадьбу Евы Браун и Гитлера, печатала — под диктовку Гитлера — оба его завещания и получила от фюрера последний сувенир: ампулу с ядом.

— Простите, фрейлейн Юнге, это единственное, что я вам могу преподнести. Больше у меня ничего не осталось... — произнесла она голосом Гитлера.

Потом она тем же голосом повторила фразу, которой уже, очевидно, не раз снабжала журналистов, историков и писателей, друзей и соседей:

— Немецкий народ оказался недостойным своего фюрера, меня предали мои генералы, и я ухожу из жизни... Но идея национал-социализма все равно возродится в Германии лет через пятьдесят или сто, возможно в форме новой религии...

Между прочим, он выразил тогда сожаление, что не провел чистку своего генералитета за несколько лет до войны...

* * *

Подробности самоубийства Гитлера и того, что происходило тогда в имперской канцелярии, сейчас настолько широко известны, что Тройдель Юнге ограничилась всего лишь одним замечанием:

— В бункере царил мир призраков...

Об этих днях Юнге написала воспоминания, но рукопись отказались издать: все уже было разбазарено, растаскано по десяткам и сотням других книг, и отдельные детали, составлявшие «собственность» Гертруды Юнге, не представляли больше никакой ценности.

Двадцать три года назад за этими «детальями» охотились начальники штабов, руководители разведок и контрразведок, командующие армий, штурмовавших Берлин, — теперь же все это стало исторической трухой.

Двадцать три года назад, уходя из жизни вместе со своими детьми, жена Геббельса Магда писала:

«Наша великолепная идея гибнет, мир, который придет после падения фюрера и национал-социализма, не стоит того, чтобы в нем жить, поэтому я забираю с собой детей...»

Им действительно казалось, что с крушением их власти рухнет Германия, настанет всемирная ночь, и они не подозревали, что все, что произошло 30 апреля 1945 года в гитлеровском бункере, останется пусть примечательным и поучительным, но всего лишь эпизодом в непрерывающейся, противоречивой, порой трагичной и все же прекрасной истории человечества. Не подозревали они и о том, что немецкий народ обойдется без них.

— Со смертью Гитлера, — сказала Юнге, — я внезапно обнаружила в себе неодолимое желание жить. Я разбила об пол ампулу с цианистым калием и выбежала на улицу. Рядом рвались снаряды, кругом все горело, раздавались автоматные очереди. Гитлер не интересовал меня больше. Надо было думать о самой себе...

Каждый раз, когда я бываю в Берлине, я подхожу к поросшему зеленой травой пустырю, на котором возвышается холм, — все, что осталось от имперской канцелярии. В мае 1968 года мы стояли здесь с товарищем, пытаюсь представить себе, что происходило на этом месте двадцать три года назад.

Ощущалась граница... Сзади была Тельманплац с красными транспарантами на фасадах домов, впереди за линией границы виднелось здание газетного концерна Акселя Шпрингера. Два мира, две системы смотрели друг на друга. И здесь и там шла своя жизнь, кипела своя борьба, свои страсти. И только на зеленой поляне было тихо, мертво, и одинокий холм возвышался над ней, как гигантская могила. Потом мы увидели, как по этому холму вверх побежал дикий кролик, взобрался на верхушку и скрылся уже на той стороне.

Мой разговор с Юнге продолжался недолго: она торопилась в театр.

VII

Среди основателей нацистской партии Герман Эссер был обладателем партийного билета № 2. Билет № 7 был у Гитлера¹... После войны Герман Эссер сорок пять месяцев провел в заключении, его, как он сказал мне, «сорок пять месяцев мотали по лагерям»; теперь он на отдыхе, ему шестьдесят девять лет.

¹ Впоследствии Гитлеру все же заменили этот билет на билет № 1.

Встретиться с господином Эссером было исключительно трудно: он очень осторожен, к тому же все время занят. Макс дозванивался до него, как до министра, через личных его секретарш и величал его не иначе, как «господин статс-секретарь», потому что в мюнхенской телефонной книге против фамилии Эссера значится: «статс-секретарь в отставке». Все же и на него, очевидно, подействовали магические слова Макса: «Переводчик Шиллера, поэзии немецкого барокко» и т. д., в особенности же лирики вагантов, так как сборник средневековых студенческих песен «*Carmina Burana*» был обнаружен в монастыре Бенедиктбейерн в Баварии, а господин Эссер — баварский патриот...

Он пришел к Макс в 15 часов — высокий, осанистый старик с продолговатой головой и орлиным носом, внешне очень похожий на генерала де Голля. Он снял свое черное пальто с каракулевым воротником шалью, черную шляпу и, потирая руки, как это делает выходящий на эстраду актер, вступил в кабинет.

Говорил он мягко, певуче, приветливо, то потирая руки, то закрывая лицо правой рукой с перстнем и обручальным кольцом. Это обручальное кольцо связано с тем днем, когда на его свадьбе в качестве шафера и старого друга присутствовал Гитлер. С Гитлером он был на «ты» и, когда они оставались вдвоем, называл его просто «Адольф», а никак не «мой фюрер». И Гитлеру это нравилось, Гитлер это допускал потому, что в сложной театральной мистерии фашизма было и такое амплу: «старый друг фюрера».

Они познакомились в начале двадцатых годов. Тогда их было семеро. Встречи происходили в мюнхенских пивнушках, и...

— Гитлер не был самым выдающимся, он был, пожалуй, самым бедным из нас, чуть ли не нищим, совсем уж обездоленным «сыном великого народа», и это давало ему некоторые преимущества, так как умиляло национально настроенную интеллигенцию, шовинистически настроенных профессоров... Нет, мы, вернее я, не были «нацистами» в том смысле, как это понимают сейчас. Что, собственно, значит «нацист», ставшее в наши дни бранным словом?.. Я был не нацистом, а национальным социалистом! — Он чуть ли не обиженно посмотрел на меня. — Происхожу я из баварских чиновников, из семьи лесничего, и здесь, на кладбище, в Мюнхене, есть фамильный склеп Эссеров, где похоронены мой отец — лесничий, мой дед — лесничий, мой прадед — лесничий, мой прапрадед — лесничий... — Он призакрыл глаза. — Я хочу, чтобы вы поняли, что я был не нацистом, а национальным социалистом, и если это понятие так ужасно опозорено и искажено, то виноваты в этом не мы, старые борцы партии, а превратности судьбы и кое-какие исторические закономерности, которые со времен Иисуса Христа и до наших дней обращают в свою противоположность самые возвышенные идеи и сводят на нет благороднейшие устремления... Дело в том, что, становясь достоянием масс, идея вовлекает в свою орбиту огромное количество самых различных людей, среди которых все меньше становится идеалистов, а все больше своекорыстных карьеристов, которые примазываются к идее и используют ее для своей выгоды. В нашем узком кругу тогда, в двадцатых годах, мы были преисполнены самых честных намерений и желали своему отечеству только добра...

— В том числе и Гитлер?

— Конечно, само собой разумеется. В том числе и он. Гитлер двадцатых годов и Гитлер тридцатых и сороковых — совершенно различные люди. Тот диктатор, который стал ненавистен всему миру, и тот молодой идеалист, который мечтал о счастье своей отчизны, абсолютно не похожи друг на друга... Придя к власти, Гитлер стал очень быстро меняться в худшую сторону, и в частных беседах я нередко ему на это указывал...

Вкратце я знал историю Эссера, знал, что он оставался верен Гитлеру до конца и 24 февраля 1945 года, когда всем уже было понятно, что война безнадежно проиграна и страну все больше охватывала паника и отчаяние, был командирован Гитлером в Мюнхен, чтобы огласить прокламацию фюрера к молодежи.

«Когда эта война придет к концу, — говорилось в прокламации, — мы вручим нашу победу молодому поколению, которое представляет собой лучшее из всего, чем когда-либо обладала Германия. И это тоже результат национал-социалистского воспитания и подтверждение того пророчества, которое прозвучало четверть века назад в Мюнхене. Двадцать пять лет назад я предсказал победу движения, а сегодня, как всегда, проникнутый верой в наш народ, я предсказываю конечную победу германского рейха».

В том, что эту льстивую и лживую прокламацию оглашал именно Эссер, а не кто-либо другой — не Геринг, не Борман, не Гиммлер, — содержался тогда свой смысл. В глазах многих немцев начальный период нацизма был еще окутан романтическим флером, многие, стоя на краю пропасти, еще верили, что вначале было «что-то хорошее», и не понимали, что именно тогда, в двадцатые годы, уже закладывался фундамент того, что потом обернулось войной, кровью, смертями и голодом. Полузабытый «старый друг фюрера» одним фактом своего появления должен был намекнуть на возможность возврата к минувшим «идиллическим временам», а заодно подогреть в молодежи, которую гнали на фронт прямо со школьной скамьи, веру в победу...

Я сказал:

— Вы говорите, что в двадцатые годы Гитлер еще не был злодеем. Но в «Майн кампф» национал-социалистская программа изложена достаточно открыто. Идея мирового господства, преследование евреев, славян — все это отражено в его книге без всякой маскировки.

— Да... Преследование евреев... — Он прикрыл ладонью глаза, потом резко провел ею по лицу до самого подбородка. — Видите ли, наш детский антисемитизм двадцатых годов не содержал в себе ничего порочного. Это был — позвольте мне так выразиться — идеалистический, хороший антисемитизм, не имевший ничего общего с теми ужасающими фактами, которые всем нам достаточно известны... Вы меня, разумеется, поняли?

Он доверительно хмыкнул, ничуть не смущаясь тем «разоблачительным» материалом, каким он меня сейчас невольно снабжал. Я даже подумал, что он просто забыл об этом обстоятельстве: ведь его пригласили на встречу с московским «германофилом», переводчиком Шиллера, и он поначалу несколько удивился, почему я свел разговор на тему о фашизме, а не вообще о Германии и немецком духе.

— Что же касается «Майн кампф», — продолжал он, — то в этой книге, кстати сказать, весьма неровной, содержались и здоровые мысли. Например, о пагубности войны на два фронта... Я до сих пор не могу понять, почему Гитлер решился на этот шаг в 1941 году, то есть через два года после того, как он заключил пакт с Советским Союзом, воспринятый нами как величайшая дипломатическая победа. Но военщина делала свое дело. Она знала, что этот человек доверчив и легко поддается влияниям. Генералы мечтали о фельдмаршальских жезлах и толкали Гитлера на Восток. Этим он погубил себя. Если бы не война на два фронта, трагедии бы не было, могу вас заверить!

...Да, так я вам говорил, что после тридцать четвертого года идея стала быстро искажаться, особенно после убийства Рема, человека, которого я хорошо знал, крестного отца моего сына. Рем был настоящий национальный социалист! Я уверен, что, встань он во главе государства, он опирался бы на людей убежденных, на старых борцов, а не на выскочек и карьеристов...

Мне представилась виденная на многих фотографиях плотная фигура Эрнста Рема с его широким, в рубцах и шрамах солдатским лицом и аполлексическим затылком. Начальник штаба СА, кумир штурмовых отрядов, гомосексуалист и убийца, организатор первых нацистских погромов, он производил самое отталкивающее впечатление даже на своих окружающих...

— Ну, — возразил Макс, — я не думаю, чтобы Рем многим отличался от Гитлера. Про него рассказывали страшные вещи...

— Ах, — огорчился Эссер, — что значит «страшные вещи»? Если человек обладает твердым характером, это еще не так страшно. Страшное началось потом, когда после убийства Рема нас — стариков — все больше стали оттирать мелко-гравчатые карьеристы вроде Гиммлера или выходцы из немецких земель, такие, как «прибалт» Розенберг. Нет, оппортунистами были не мы, кто в двадцатых годах в прокуренных, тесных пивнушках до хрипоты спорил о судьбе Германии — Гитлер называл нас «оппортунистами», дорого ему это обошлось! — оппортунистами были те, кто примазался к руководству после тридцать четвертого года!.. — Эссер говорил приворковывая, пощелкивая языком. — Вот в чем состояла подлинная трагедия Германии!..

— Но Нюрнбергский процесс установил, что нацистская партия с самого начала была группой заговорщиков...

Эссер всплеснул руками:

— Нюрнбергский процесс! Это был акт юридической мести, в какой-то мере понятный, но если вы любите Германию, не доверяйтесь нюрнбергским материалам, не считайте их абсолютной истиной, не фетишизируйте их! Я, разумеется, вполне солидарен с приговором, вынесенным таким прохвостам, как Штрейхер, Розенберг, ну... Риббентроп. Но как можно было осудить такого кристально честного человека, как мой ближайший друг Функ, как Зейсс-Инкварт, как господин Заукель! Господин Заукель, нанимавший на работу в Германию иностранных рабочих, избавил от ужасов войны, от голодной смерти миллионы людей! Многие были счастливы, что попали в Германию!..

Почему не слышали этих слов, которые произносил в 1968 году в Мюнхене член нацистской партии № 2, миллионы наших парней и девушек, которых по разнарядкам «господина Заукеля» угоняли на немецкую каторгу, на подземные заводы, в рудники, в проклятое фашистское рабство?

...Отправляют, отправляют!
Конопот родной, прощай!
Меня в Германию угоняют.
Пропадаю! Выручай!

Где, в каких рвах и могилах лежали те, чьи «личные вещи» — кольца, сорванные с выломанных пальцев, сережки, вырванные из ушей, деньги, золотая оправа от очков, золотые зубы и пломбы — хранились когда-то в сейфах рейхсбанка, которым руководил «кристально честный человек» Вальтер Функ?..

Отчего не могла явиться сюда девочка из Амстердама — Анна Франк, одна из бесчисленных жертв господина Зейсс-Инкварта, имперского уполномоченного по оккупированному Нидерландам?..

— Господин Эссер, но все-таки, все-таки, кто же повинен в гибели миллионов людей? Кто создал Освенцим, Треблинку, газовые камеры?

Он опустил голову и снова поворковал.

— Вы знаете, — сказал он наконец, — все эти двадцать пять лет я пытаюсь обнаружить то звено, на котором лежит ответственность за эти зверства, и... не могу! Гитлер? Не думаю. Он был слишком занят общим руководством, чтобы вникать в частности, хотя и он должен нести моральную ответственность за свою доверчивость и легкомыслие. Мы — старики — еще в тридцать четвертом году высказывали беспокойство, что дело идет не так, как мы задумали. Нельзя было так доверяться военщине, окружать себя сомнительными людьми.

— Хорошо. Но возьмите Ванзейскую конференцию, на которой было принято решение о ликвидации одиннадцати миллионов человек, целого народа...

Он перебил меня:

— В Ванзейской конференции участвовало всего десять второстепенных чиновников, их имена известны. могу вам назвать: Мейер, Штуккарт, Нейман, Фрейслер, Клопфер, Гофман, Мюллер, Эйхман... Кто там еще?

— Но ведь не может быть, чтобы такое важнейшее решение приняли второстепенные люди без ведома правительства и самого фюрера?

— Что значит «правительство»? Всюду, в любой стране, существуют два правительства: официальное и неофициальное — «Nebenregierung», которое все решает. В «Nebenregierung» входили Гиммлер, Борман, Гейдрих, люди, оказывавшие на Гитлера самое дурное влияние. Человек экспансивный, он мог в припадке гнева высказать ту или иную парадоксальную мысль, о которой бы тут же забыл, если бы не подхалимы, которые подхватывали эту мысль, раздували ее до колоссальных размеров. Это была настоящая трагедия...

Иногда он смеялся над нами: «Вы, старики, отстали от жизни, вы всегда каркаете, остереживаетесь, а меня признает весь мир!..» И ведь действительно признавали! Разве Франсуа Понсе или американский посол Додд не выражали ему своего восхищения? Разве французский президент Лебрен, принимая в Париже, во дворце Рамбулье, делегацию фюреров «гитлерюгенда», не воскликнул: «Вы самая счастливая молодежь в мире!» Разве не ползали перед ним на брюхе Чемберлен и Галифакс?.. Известно ли вам, что уже в 1932 году американские корреспонденты, бравшие у Гитлера интервью, платили ему по доллару за слово?! Эти господа испортили его, совратили, сбили с толку. Они разжигали в нем манию величия, а не мы — его старые товарищи... Вообще личность Гитлера ни в коем случае нельзя упрощать, низводить ее до карикатуры, как это сделал Чаплин в своем мерзком «Диктаторе». Гитлер — грызущий ковры!..

* * *

О том, что «личность Гитлера нельзя упрощать», я в Западной Германии читал и слышал множество раз.

Собственно, все, что рассказывали мне Ильза Браун, Юнге, а теперь Эссер, сводилось к тому, чтобы Гитлера не «оглупляли», не потешались над ним по пустякам и не изображали в гротескном виде, как Чаплин в «Диктаторе» или — в документальном варианте — наш Ромм («Обыкновенный фашизм»), а постарались понять его во всей «человеческой сложности».

Но какое нам дело до «человеческой сложности» Гитлера, который обрек себя на то, чтобы остаться в сознании многих поколений «бесноватым фюрером», кровавым маньяком с шутковскими замашками? И не заложено ли нечто фарсовое в самом фюрерстве?

Надо, однако, сказать, что причины вновь возникшего в Западной Германии интереса к личности Гитлера весьма различны. Существуют серьезные попытки исследовать феномен «диктатора», доказать несостоятельность теории, которая сводит всю немецкую трагедию к личным качествам Гитлера. Есть и просто обывательское любопытство, стремление благодаря архивам, ставшим общедоступными, узнать интимные подробности из жизни этого «загадочного» человека, стремление, в котором уже таятся элементы преклонения и затаенная тоска по «крупной фигуре», особенно теперь, когда в ФРГ и вообще на Западе политические лидеры кажутся личностями тусклыми, с мелкими, незначительными биографиями и т. д.

Впрочем, когда впереди нет будущего, начинают гальванизировать прошлое.

* * *

Эссер сказал, что заканчивает книгу воспоминаний.

— Надеюсь, из нее вы узнаете правду... Я не был противником Гитлера, нет, но поверьте, я не хотел никакого зла людям, не хотел войны... Зачем он полез воевать с Россией? Это была бесспорная трагедия, величайшая ошибка. В наше время, тем более в атомный век, нет такого вопроса, который можно было бы решить военным путем. У нас тысячи других возможностей для борьбы с нашими противниками...

Я спросил, существуют ли шансы на возрождение национал-социалистской идеи. Он покачал головой:

— Историю повернуть вспять невозможно. Ход истории необратим. Только глупец может рассчитывать на то, что в России возродится монархический строй или в Германию вновь придут Гогенцоллерны. Но национальная идея, безусловно, не умерла в немецком народе, и в той или иной форме она должна восторжествовать, хотя я и не сторонник партии Таддена. Одного только мы не должны повторить — и в этом я на сто процентов убежден — антисемитизма!.. Но смотрите, что делается! Эти сидящие у нас наверху прямо-таки провоцируют антисемитизм...

Из плоского плексигласового бумажника он извлек маленькую газетную вырезку.

— Разрешите, я вам прочту, что здесь написано, я захватил это специально для вас! — сказал он торжествующе.

В заметке сообщалось о заседании по подготовке к мюнхенским Олимпийским играм 1972 года, проходившем под председательством канцлера Кизингера. На этом заседании наряду с министрами и другими официальными лицами присутствовал Вернер Нахман — председатель «центра немецких евреев».

Он воздел руки к потолку:

— Разве это не идиотизм? В Германии, где насчитываются миллионы католиков, миллионы протестантов, единственным представителем общественных организаций на таком совещании выступает почему-то председатель еврейского центра! Нет, эти господа поистине обижены богом — он лишил их рассудка. — Он взглянул на часы. — Разрешите и мне задать вам несколько вопросов. Наблюдается ли в России интерес к немецкой культуре, к немецкому национальному духу? Из газет я узнал, что вы делаете очень полезное для нас дело, открывая русским наши культурные ценности... Говорят, что немецкие книги выходят в России миллионными тиражами? Это хорошо... Это очень хорошо... Это очень и очень полезно...

* * *

По дороге домой мы с Максом говорили об Эссере. Макс легко верит словам, легко поддается первому внешнему впечатлению:

— По-моему, он говорил правду. Вначале они, возможно, действительно были идеалистами. И — помните? — он ведь поклялся, что ничего не слышал о зверствах.

(Эссер рассказывал, что, будучи государственным министром в Баварии и обязанный посещать Дахау, ни разу не бывал в лагере, так как «не хотел иметь с этим ничего общего».)

Я возразил, что все это — чушь, просто Эссер воспитанный человек, умеет себя держать, к тому же за двадцать пять лет хорошо продумал свою версию, ответы на все вопросы, и это сбивает доверчивого собеседника с толку.

— Как так он ничего не знал?! — возмутился я. — В 1939 году, после «Кристалл-нахт», после аншлюса, после захвата Чехословакии, после нападения на Польшу, Эссер все еще был вице-президентом германского рейхстага! Ежедневно в Германии и в Европе исчезали сотни тысяч людей — неужели Эссер об этом так ничего и не слышал?! Если он честный человек, как он вообще мог иметь дело с этими негодьями, которых ненавидел весь мир? Перед нами — самый явный соучастник гитлеровских преступлений, только очень хитрый и неглупый... А вспомните, как он защищал не кого-нибудь, а Заукеля, в точности повторяя то, что говорил на Нюрнбергском процессе сам Заукель!.. Представляю себе, что он напишет в своих мемуарах...

Макс искренне огорчился: его заставляют разочаровываться в человеке, которому он поверил.

— Да, — сказал он, — все так ужасно противоречиво, и противоречие — в нас самих. В нас самих происходит борьба между ложью и истиной. Кто победит?..

* * *

...На следующий день я был в гостях у редактора антинацистского бюллетеня. Он снимает дом на окраине Мюнхена. В верхнем этаже — рабочий кабинет, архив, библиотека, внизу — жилые комнаты. Жена редактора — преподавательница английского языка, днем в школе, вечером до глубокой ночи вместе с мужем готовит материалы, редактирует статьи, составляет сводки, списки. Неонацистов знают всех по фамилиям, «моего» господина Б.— Фридриха Вагнера — тоже, конечно. Главная форма агитации — сопоставление и обнародование того, что говорили и писали гитлеровцы в 1933—1945 годах и что содержится в программах и речах неонацистов сегодня. Совпадения почти текстуальные...

Рассказывал им о своих встречах. Оба уверены, что и Ильза Браун, и Юнге, и, конечно, Эссер знали все, не могли не знать, так же как жители Мюнхена знали о Дахау, а жители Веймара — о Бухенвальде. Американцы не зря пригнали население Веймара к бухенвальдским рвам, где еще громоздились трупы. Американский солдат-парикмахер сказал: «Вы жили здесь и ничего не знали? А мы, находясь за тысячи километров, знали все...»

Может быть, иногда их и коробил неприглядный вид отправляемых на смерть узников, это задевало их «эстетически», мы допускаем. Но они знали все и обслуживали всю машину, каждый на своем участке. Ее обслуживали эсэсовцы и ученые-профессора, судьи и журналисты. «Собственно обыватели» в третьем рейхе не испытывали страха перед гитлеровским террором. Не надо искажать картину: тех, кто молчал, Гитлер не трогал, он давал им «жить», и они сражались за него в безвыходной ситуации не только из страха, но и из преданности, из веры в его мудрость, дальновидность, в то, что он спасет их с помощью «фау-2», «сверхсекретного» оружия или политических комбинаций... Боялись ли они? Да, боялись. Но кого, чего? Американских бомбардировок, русского наступления, разгрома, но только не Гитлера... В армии Гитлер опирался не на одних генералов, но и на фельдфебелей, может быть, на фельдфебелей больше... Конечно, Ильзу Браун или Юнге нельзя причислять к нацистским преступникам, но они олицетворяли соучастие, расчетливое соучастие...

Наверху, в библиотеке, я обнаружил книгу профессора Вернера Цильха — того старика теолога, который в воскресенье после утренней молитвы рассуждал со мной о безбожии нацизма. Книга называлась — «О божественном происхождении третьего рейха». Год издания — 1933-й...

VIII

Из всех мюнхенских улиц Шеллингштрассе, может быть, больше других связана с историей фашизма: в доме 50 до захвата власти помещалось имперское управление нацистской партии, в доме 39 — редакция газеты «Фёлькишер беобахтер», а в доме 32 — ресторан «Остерна Бавариа», в котором любил бывать Гитлер. Теперь этот ресторан переименован в «Остерна итальяна», и никакая он ни для кого не достопримечательность, разве что итальянская кухня привлекает сюда посетителей... Вот в этом-то ресторане и состоялся мой разговор с Анжеликой Пробст — сестрой казненного в 1943 году студента-медика из группы «Белая роза».

О «Белой розе» слышали, наверное, многие. Это была подпольная студенческая организация в Мюнхене, распространявшая антифашистские листовки.

Возглавляли группу Софья и Ганс Шолль, брат и сестра, именами которых названа площадь перед Мюнхенским университетом. Каждый раз, проходя по площади Шоллей, я не мог отделаться от мысли, что именно здесь, на этом самом месте, в феврале 1943 года состоялся многотысячный молодежный митинг и все, абсолютно все, кто запрудил эту площадь, громко требовали смертной казни для арестованных студентов и в первую очередь для брата и сестры Шолль, и фюрер

национал-социалистского студенчества говорил об их глубочайшей испорченности. Но «испорченными», конечно, были не они, а те, кто кричал тогда и требовал смерти, пусть и не все искренне, а некоторые, возможно, даже с тайным сочувствием к заговорщикам или с недоумением, смешанным с жалостью: чего, мол, им нужно было соваться в политику? Учились бы себе, да и ладно...

Сами гестаповские следователи не совсем понимали, что здесь такое. Ну, будь они, эти молодые подпольщики, кем-то подкуплены, завербованы за крупную сумму денег или будь у них какие-то личные причины обижаться на власть, допустим, арест кого-то из родственников или что-нибудь еще в этом духе, все было бы вполне объяснимо. Так нет же, ничего этого не было, и происходили они вроде бы из вполне обеспеченных, культурных немецких семей, не ущемленных ни по какой линии, а у Шоллей отец вообще был бургомистром. В голове у гестаповцев просто не укладывалось, что на такое дело, как составление антиправительственных листовок, человек способен пойти лишь на основании своих убеждений, из нравственного долга. По их мнению, тут обязательно должно было быть «что-то еще», какая-то червоточина, патология, какой-нибудь гнусный порок, который заставляет людей выступать против существующего режима, причем без всякой реальной перспективы на захват власти, без претензий на то, чтобы самим сесть в правительственное кресло и т. д. Единственное, чем оставалось объяснить их поступок, была «глубочайшая испорченность», то есть что это — попросту выродки, отщепенцы, люди с извращенной психикой и болезненными комплексами. И в гестапо за два-три дня, отпущенных на следствие, упорно искали эти комплексы и даже допытывались, не является ли один из обвиняемых гомосексуалистом.

Особенно же недоумевал оберфюрер СС доктор Вюст, ректор Мюнхенского университета, на который отныне ложилось несмыслимое пятно...

Жизнь немецкого студенчества в третьем рейхе имела свои неповторимые особенности. Стародавние студенческие свободы были полностью упразднены, из университетов выхолащивался самый дух молодости, дух студенческой вольницы, прославленные храмы наук превращались в унылые «учебные заведения», где и учебной-то занимались постольку поскольку, так что люди, обучавшиеся в немецких университетах в 1933—1945 годах, и сейчас еще ощущают значительные пробелы в своем образовании. При огромном количестве ненужных дисциплин, политической, «производственной» и спортивной перегрузке, студентам зачастую просто не хватало времени на изучение необходимых предметов.

Перестройка высшей школы началась сразу же, в 1933 году, с вовлечения студентов во всевозможные гитлеровские мероприятия вроде сожжения книг, очищения библиотек от «марксистского хлама», участия в погромах и политических оргиях. Из университетов были изгнаны самые талантливые, независимо мыслящие профессора. Неожиданно на глазах у студентов ректорами, руководителями кафедр стали преподаватели, считавшиеся прежде наиболее заурядными, если не бездарными: для них открывался самый широкий простор. Чтобы сделать научную карьеру, требовались не столько знания, сколько «верность», не столько научная добросовестность, сколько умелое манипулирование нацистской лексикой.

«Преподаватель высшей школы,— заявил один из сподвижников Бальдура фон Шираха, Герд Рюле,— должен стать чем-то большим, чем кабинетным ученым: руководителем и воспитателем, который, не щадя себя, способен выращивать настоящих немцев».

Эта цитата может вызвать сейчас разве что улыбку, но сколько ничтожных субъектов, подвизавшихся в области науки, воспряло тогда духом, слушая эти слова, поскольку «кабинетным ученым» все же стать гораздо труднее, чем фельдфебелем.

В 1934 году было создано имперское министерство по делам науки, воспитания и народного просвещения. Комиссию по делам высшей школы возглавляли Рудольф Гесс, Альфред Розенберг и будущий генерал-губернатор Польши — Ганс Франк. Этой комиссии, два члена которой были впоследствии повешены за пре-

ступления против человечности, а третий — приговорен к пожизненному заключению, предстояло осуществить «невиданный в истории» процесс — «создание университетов нового типа».

Заглохли дискуссии, утихли научные споры, все было мертво, и только на одном «участке» царило необычайное оживление — в кабинете, где с подлинно научной дотошностью исследовались, изучались, анализировались личные дела и «досье» профессоров и студентов...

В 1938 году в Берлинском университете перед ученым советом выступил издатель газеты «Штюрмер» Юлиус Штрейхер.

«Если на одну чашу весов,— сказал он,— положить мозги всей профессуры наших университетов, а на другую — мозг фюрера, что, по вашему мнению, перевесит?»

И вся блистательная профессура закивала головами, все оживленно заулыбались, желая показать, насколько удачна эта метафора и какое счастье жить и работать в стране, где имеется та кой мозг!

Комиссия по делам высшей школы разработала «Десять заповедей немецкого студенчества»:

«...Немецкий студент! Выше самой жизни — исполнение долга перед своим народом! Кем бы ты ни стал, стань прежде всего немцем!

Высшим законом и высшим достоинством немца является честь! Оскорбление чести искупается кровью. Твоя честь — в верности твоему народу и самому себе!

Быть немцем — значит обладать характером. Ты призван завоевать свободу для немецкого духа! Ищи истину в своем народе!..

Распушенность и разнузданность — не есть свобода. В служении больше свободы, чем в самовольничании!..

Национал-социалистом рождаются, но еще в большей мере им становятся путем воспитания, самовоспитания прежде всего!

Учись подчиняться порядку! Порядок и дисциплина — это краеугольные камни всякого общественного организма и основа всякого воспитания!..

Будь отзывчив и добр, не будь мелочен в оценке человеческих слабостей, будь великодушен, когда дело идет о жизненных потребностях других людей!..

Будь хорошим товарищем! Будь по-рыцарски скромен и мужествен! Будь образцом в личной жизни! По тому, как ты обходишься с другими людьми, можно судить о твоей нравственной зрелости! Пусть слово твое не расходится с делом! Живи так, как живет твой фюрер!..»

Все эти слова о дисциплине, порядке, товариществе, которые в иных условиях содержали бы здравый смысл, были здесь всего лишь лицемерной, ханжеской риторикой. Все это жевалось и пережевывалось изо дня в день бездумно, бессодержательно, равнодушно.

В стихотворении немецкого поэта Вернера Бергенгрюна сказано: «Год за годом единственной нашей пищей была ложь».

Мы говорили о мире, священной охвачены дрожью,
Слагали высокие гимны, но все это было лишь ложью.
Мы возводили соборы, и поклонялись тиранам,
И строили, строили счастье. И все это было обманом...

Фашистское государство беззастенчиво похищало у молодых людей самое драгоценное — время, лучшие годы жизни.

Под видом «трудового воспитания» внедрялась «Lagerideologie» — «идеология лагеря». По настоянию Бальдура фон Шираха студентов отправляли на различные работы. Что, казалось бы, плохого в том, что студентов приобщают к физическому труду? Но они и эту идею исказили самым издевательским образом. Один из проповедников «лагерной идеологии» — Дюннинг — похвалялся, что национал-социализм «извлек немецкого студента из его изолированности, дал ему в руки

заступ и включил его в политический фронт трудового лагеря, в эту маленькую ячейку суровой действительности его народа». Другой энтузиаст «трудового воспитания», Фейкарт, с восторгом докладывал, что полторы тысячи первокурсников «направились в рабочие лагеря, чтобы в течение полугода быть не чем иным, как рабочими, только рабочими, и лишь после этого продолжить свое образование». Это называлось «революционизацией высшей школы», а студенчество получило наименование «akademischer Proletariat». Но «все это было обманом», так как особое внимание уделялось тому, чтобы «пролетарии духа» не вступали в какие-либо контакты с настоящими рабочими и ни в коем случае не прониклись чувством пролетарской солидарности...

Средством нацистского воспитания служили и так называемые «Kameradschaftshäuser» — общежития-казармы, в которых поначалу должны были в обязательном порядке пребывать студенты в течение трех первых семестров. Но этот нацистский «коллективизм» носил явно казарменный характер с побудками в 6.30, заправкой коек, строевыми упражнениями и «политическими беседами»...

Таким образом, не было ни одного участка жизни, ни одной клеточки общественного организма, куда не сунулся, не проник бы нацизм, и человечество будет еще долго интересоваться этой механикой превращения цивилизованного государства в тюрьму, в казарму и разбойничий притон...

В университетских дворах маршировали, на университетских полигонах учились стрелять, а с началом войны гитлеровцы, которые всегда увлекались военной терминологией, вообще объявили высшую школу «участком фронта».

Некоторые студенты носили военную форму и, оставаясь на студенческой скамье, считались военнослужащими. Других отправляли в действующую армию в составе «студенческих рот».

Заметно ухудшилось положение студенток. К ним и раньше относились весьма отрицательно, утверждая, что учение — не женское дело (для девушек существовала процентная норма: в университетах они составляли всего полтора процента учащихся). Вскоре после сталинградского разгрома гаулейтер Гислер заявил в Мюнхене, что «девушкам следовало бы лучше подарить фюреру по ребенку, чем торчать в университетских аудиториях»...

Вот так они жили, так росли, так учились: одни — охваченные бездумным энтузиазмом, другие — погруженные в эгоизм и равнодушие, третьи — исполненные тайного отвращения к тому, что происходит вокруг.

* * *

В вестибюле Мюнхенского университета я стоял, обтекаемый потоком студентов, которые поднимались по широкой лестнице мимо фигур Платона и Гумбольдта в свои аудитории.

Этот вестибюль настолько широк и просторен и настолько запружен молодой, пестрой толпой, что напоминает большой двор или площадь. Его так и называют «Lichthof», то есть световой двор, с куском настоящего неба в застекленном потолке.

18 февраля 1943 года на этот световой двор в толпу с балюстрады посыпались листовки, брошенные рукой Софьи Шолль. И хотя это были всего лишь листовки, а не бомбы, начиненные взрывчаткой, в толпе началось ужасное замешательство, паника, все кинулись врассыпную: кто — на улицу, кто — в аудитории, кто — пряча эти листовки, кто — прячась от них.

В листовках же говорилось:

Сестры и братья! Студентки и студенты!

Наш народ глубоко потрясен гибелью людей под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора первой мировой войны бессмысленно и безответственно обрекла на погибель 330 тысяч немецких мужчин. Фюрер, спасибо тебе за это!

В немецком народе зреет мысль: неужели мы и впредь будем доверять судьбу наших армий дилетанту? Неужели мы принесем в жертву неизменно властолюбиво нацистской клики остаток немецкой молодежи? Ни за что! Настал день расчета, расчета немецкой молодежи с гнуснейшей тиранией, которую когда-либо знал наш народ. Именем немецкой молодежи мы требуем от государства Адольфа Гитлера вернуть нам личную свободу — драгоценнейшее достояние немцев, которую он подло похитил у нас.

Мы выросли в государстве, где беспощадно подавляется попытка свободно высказать свое мнение. В непереносимые для нас годы учения «гитлерюгенд», СА, СС пытались нас обезличить, искусственно возбудить, одурманить. «Политическое воспитание» — так назывался этот презренный метод, с помощью которого попытки самостоятельного мышления обволакивались ужасающим туманом пустых фраз... Мы — «труженики духа» — как раз годились для того, чтобы стать дубинкой в руках нового класса господ...

Для нас существует только один лозунг: борьба против нацистской партии! Уход из нацистских организаций, в которых мы по-прежнему будем обречены на политическую нищету. Уход из аудитории, где властвуют эсэсовские унтер- и оберфюреры и партийные карьеристы. Нам нужна подлинная наука и настоящая духовная свобода. Нас не запугать никакими угрозами, даже закрытием высших школ.

Дело идет о борьбе каждого из нас за свое будущее, за свою честь и свободу, за свое гражданское самосознание.

«Честь и свобода!» — за десять долгих лет Гитлер и его приспешники до отвращения затаскали, исказили, лишили смысла эти великие слова так, как способны сделать лишь дилетанты, которые попирают величайшие ценности нации. Что значит для них честь и свобода, они достаточно показали за десять лет непрерывного разрушения всяческой материальной и духовной свободы, всех нравственных установлений немецкого народа. Даже у самых глупых немцев открылись глаза после ужасной бойни, которую они учинили и продолжают ежедневно учинять по всей Европе якобы во имя чести и свободы немецкой нации. Слово «немец» навсегда покроется позором, если не восстанет наконец немецкая молодежь, не отмстит и тем не искупит грехи, не сметет своих мучителей и не построит новую Европу духа.

Студентки, студенты! На нас смотрит немецкий народ. От нас он ждет, что мы в 1943 году исторгнем национал-социалистский террор из сферы духа, как в 1813 году был исторгнут террор наполеоновский. Огненные знаки Березины и Сталинграда пылают на Востоке, мертвые Сталинграда заклиняют нас: «Встань, народ мой!..»

Наш народ поднимается против закабаления Европы национал-социализмом, охваченный новой верой в честь и свободу!

ПРИЗЫВ КО ВСЕМ НЕМЦАМ

Война неуклонно приближается к концу. С математической точностью Гитлер ведет немецкий народ к катастрофе. Гитлер уже не может выиграть войну, он может ее только затянуть. Вина его и его сообщников превзошла всякую меру. Справедливое возмездие близится с каждым часом.

А что делает немецкий народ? Он ничего не видит и не слышит, он слепо идет за своими совратителями к собственной гибели. Немцы, неужели вы хотите, чтобы вас судили тем же судом, что и ваших лжевождей? Неужели вы хотите навечно остаться народом, ненавистным всему миру? Нет! По-

этому отрекитесь от национал-социалистского бесчеловечья, делом докажете, что вы мыслите иначе!..

Поддерживайте движение Сопротивления, распространяйте листовки!..

Вот что лежало в те февральские дни на письменных столах следователей, прокуроров, судей, перед гаулейтером Мюнхена и ректором Мюнхенского университета, перед высокими чинами гестапо в Берлине и — в изложении, в виде «оперативной сводки» — перед Гитлером.

Тех, кто читал тогда эти материалы, прежде всего возмущала «наглая самоуверенность», с которой были написаны листовки. Правда, как можно было надеяться, воздействие этих листовок окажется в достаточной мере локальным. Эти предатели, эти изнеженные в родительских гнездышках юнцы смели поучать немецкий народ, что ему следует делать в решающий момент своей истории! Миллионы их сверстников героически выносили тяготы фронтовой жизни или умирали на полях сражений, эти же сидели в тылу и строчили свои злобные, убогие по мысли пасквили! — так или примерно так рассуждали тогда те, кто по долгу службы занимался делом мюнхенских студентов, и, вызывая их на допрос, следователи говорили:

— Значит, вы решили противопоставить себя отечеству, государству, народу? Что ж. Именем народа вы будете уничтожены, и никто не услышит ваших призывов, ваши листовки навсегда будут погребены в судебных архивах, а народ, о котором вы так печетесь, с отвращением проклянет ваши имена.

И через несколько дней, после того как Гитлер и Кейтель собственноручно подписали резолюцию, утверждавшую смертный приговор, и казнь состоялась, 3 марта 1943 года в газете «Мюнхнер нейсте нахрихтен» было напечатано объявление:

НЕ СОСТОИМ В РОДСТВЕ

Вилли Шолль, коммерческий директор южногерманской компании по освоению земельных участков и жилищному строительству, настойчиво подчеркивает, что он и его семья не состоят ни в каком родстве и даже незнакомы с осужденными чрезвычайным судебным присутствием братом и сестрой Шолль. Обувная фирма «Шолль» присоединяется к этому заявлению...

В те же дни сведения о «Белой розе» были зафиксированы за границей, в соответствующих центрах, как признаки начавшегося разложения немецкого тыла, а спустя еще некоторое время живший в эмиграции в Москве Иоганнес Бехер написал поэму «Трое», где Ганс Шолль по ошибке был назван Гергартом, а Кристоф Пробст — Альвином: романтический юноша, охваченный первым робким чувством к Софье Шолль, хотя в действительности Пробст был уже отцом двоих детей и его жена Герта Дорн ждала третьего ребенка, который родился вскоре после его казни.

Бехер тогда многого еще не знал, но главное он понял: влияние, которое оказали на деятельность мюнхенских студентов события на Восточном фронте, разгром немецких войск под Сталинградом — прежде всего... В поэме в Мюнхен вступают тени павших под Сталинградом немецких солдат...

Когда-то, очень давно, я перевел эту поэму на русский язык:

.. Придет учиться в университет
Свободное людское поколение,
И память о героях наших лет
Навски сохранит в благоговенье

И вот теперь, в 1968 году, я стоял в вестибюле Мюнхенского университета, где на гранитной стене рядом с белой мраморной розой и символическим изображением неясных фигур в терновых венцах мучеников были выбиты римские цифры MCMXLIII и семь имен: Вилли Граф, профессор Курт Хубер, Ганс Лейпельт, Кристоф Пробст, Александр Шморелль, Ганс Шолль, Софья Шолль. Чего-то мне в этих изображениях не доставало: слишком уж они были символическими, абстрактными, хотя, конечно, глупо было бы требовать, чтобы изобразили их в «натуральном виде», как в жизни: угловатых, длинноногих, очкастых, и Софью Шолль — в белой блузке.

Но когда я встретился с Анжеликой Пробст, то все всматривался в ее лицо, надеясь найти в нем черты ее брата.

* * *

Она вышла из дома — прямая, высокая, с худым большеглазым лицом, в бежевом пальто, в черной вязаной шапочке, из-под которой выглядывала седая челка. — протянула мне руку в черной перчатке и сразу же предупредила, что может уделить мне время только до трех часов дня, так как она врач-психиатр, а в три у нее прием.

Производила она впечатление женщины несколько строгой, внутренне собранной и вместе с тем очень участливой, что подчеркивалось тем сосредоточенным, сердечным вниманием, с которым она слушала собеседника. Обычно женщины такого типа отличаются редкостной добротой, самоотверженностью и готовностью бросив все, прийти человеку на помощь. Но они же могут замкнуться, оттолкнуть от себя человека и прервать с ним всякие отношения, если заподозрят в нем хоть долю нечестности и нечистоплотности...

Был чудесный золотой день, весь Мюнхен был залит солнцем, и она сказала, что хорошо бы немного пройтись по улице, а потом можно где-нибудь пообедать. Так мы и забрели с ней на Шеллингштрассе, в «Остерия итальяна», где, по странному совпадению, одним из завсегдатаев, кроме Гитлера, был и ее брат — Кристоф.

Мы пришли в обеденное время, ресторан был полон, и только один столик в первом зале не был занят: на нем стояла табличка — «*geserviert*», то есть это был «дежурный» стол, который хозяин держал наготове для особо экстренных случаев или особо знатных гостей. Этот стол, в самом конце зала, у окна, отгороженный от остальных столов деревянной перегородкой, был тем самым столом, за которым обычно обедал со своими друзьями из «Белой розы» Кристоф Пробст. Впрочем, ни хозяин, ни обслуживающий персонал не имели об этом ни малейшего понятия, и когда я сказал об этом официантке, то это не возымело никакого действия: мало ли кто за каким столом когда-то сидел! Ресторан гордился другими посетителями, и на стене висел портрет бывшего итальянского короля Умберто, который некогда оказал владельцу честь своим посещением.

Наконец нам предложили занять место за свободным столом в другом зале, где обедал во время своих приездов в Мюнхен Адольф Гитлер.

Итак, спустя двадцать пять лет после гибели «Белой розы» и через двадцать три года после войны за персональным столом Гитлера сидела сестра Кристофа Пробста и мы вели нашу беседу.

Я пересказал ей содержание моих разговоров с Ильзой Браун, Юнге и Эссером, и она, горько усмехнувшись, сказала:

— Не надо было быть очень информированным, чтобы знать, что творилось в Германии! Достаточно было прочитать хотя бы «*Майн кампф*». Очень скоро после захвата власти Гитлером стало ясно, что собой представляют нацисты. Имперналистические устремления, подготовка к войне, расовые преследования были настолько очевидны, что «незнавших» просто не могло быть. Все наши друзья и

знакомые думали на этот счет одинаково, и нам казалось, что так думают все. Но люди есть люди, и вели они себя по-разному. Нельзя, конечно, требовать, чтобы каждый был героем и готов был идти на смерть во имя справедливости. Можно понять напуганных, затравленных, не желавших рисковать своей жизнью и жизнью своих семей. Все было тотально поработано, и только один участок не мог быть «оккупирован» нацистами — это мысль. Те, кто, пусть молча, пусть внутренне, не принимал этот режим, уже были людьми. И таких людей было много. Честность и героизм иногда состоят не в том, что ты печатаешь листовку, выступаешь «против», организуешь антинацистский кружок, а в том, что не поддаешься обману, сознательно не пользуешься предложенными тебе удобными шорами: ведь так легко, так удобно, так выгодно и спокойно «ничего не понимать», «ничего не знать»... Были приспособленцы, были жулики, вымогатели, взяточники, но в третьем рейхе хуже всех были слепые фанатики. В нормальном государстве вор или жулик — преступники. В фашистском же государстве в жулике, воре, взяточнике сравнительно с фанатиками есть какие-то человеческие черты, человеческие пороки и слабости, которые предпочтительнее фашистской «непорочности» и «верности делу». Нет, фанатизм хуже шкурничества, хуже подлости. Но некоторые лишь притворялись фанатиками, потому что фанатиками людей делает не только слепота, но и страх.

* * *

Конечно, «фанатизм» в этом разговоре употреблялся условно, как обозначение механистического мышления. Кто упрекнет в «фанатизме» Джордано Бруно или Коперника, Жанну Д'Арк или Робеспьера, революционеров России или немецких подпольщиков, одержимых своей возвышенной, благородной идеей?..

Что же касается того, что многие нацисты лишь притворялись фанатиками, то в этом Анжелика Пробст была совершенно права.

В дневниках писателя Роберта Музиля очень наглядно показано, как после поджога рейхстага некоторые вчерашние ворчуны и «фронтеры» мигом превратились в рьяных приверженцев Гитлера, почувяв в нем с и л у, которая может уничтожить, но может и облагодетельствовать и пригреть, если к этой силе как следует приспособиться. Одно сознание того, что они не оказались в числе казненных и арестованных, как бы наполняло их чувством благодарности и сладострастного раболепия, смешанного с тайным злорадством по отношению к тем, на кого обрушился террор. Каждый из этих новоявленных сторонников нацистской системы находил для такой метаморфозы свои аргументы. Но чем более непрочным и притворным был их «фанатизм», тем неумолимее и яростней они относились к «инакомыслящим», уверив других и в конце концов самих себя в несомненной искренности появившихся у них «убеждений»...

* * *

— Да, страх и расчет портят людей, — сказала Анжелика Пробст, — но расчет — это еще не самое страшное. Ужаснее всего паралич мысли, телячий восторг перед подлостью.

— Из чего же рождается протест?

Она сказала:

— Большую роль в осознании того, где мы живем, играло преследование евреев, католиков, коммунистов. Мы знали об этом подробно, слушая иностранные передачи. В семье очень много говорили о политике, жизни вне политики не было, о чем бы мы ни говорили, все так или иначе сводилось к политике. И это было вполне естественно для нормальных людей в то время. Мы ни в какой мере не были одержимыми, «бесами», охваченными зудом антиправительственной деятельности, но несправедливость, окружавшая нас, была настолько велика, что мы ни о чем другом не могли думать. Боролась оттого, что эта жизнь казалась невыносимой.

У Толстого есть сочинение, которое называется «Не могу молчать!». Вот это — «не могу молчать» — было, пожалуй, девизом «Белой розы». Как есть потребность в еде, в питье, так есть потребность в правде, неудержимое, непобедимое стремление высказать правду. Эта потребность сильнее любого расчета, сильнее инстинкта самосохранения. Есть осознание своей собственной причастности к тому, что творится, желание избавиться от вины, которая лежит и на тебе, если ты живешь в этом государстве, не разделяя страданий, которые выпали на долю лучших людей твоего народа...

(Ильза Браун на мой вопрос, чувствует ли она себя «mitschuldig» — совиновой, не задумываясь, ответила: «Нисколько!» А эта женщина говорила о потребности очиститься от вины.)

Она рассказала о своей семье. Их отец был ученым-энциклопедистом — профессором естествознания, историком живописи, а позднее увлекался еще и историей восточных религий, для чего специально изучил персидский язык и санскрит.

— Литература, музыка, атмосфера искусства, которой мы дышали с детства в родительском доме, не могла не повлиять на сделанный нами выбор и по своему определила судьбу моего брата. Все, что пришло в Германию в 1933 году, было враждебно нам с самого начала, хотя к явлению фашизма мы подходили не столько с социальной, сколько с религиозно-нравственной меркой. В какой-то степени этот подход был характерен для всей «Белой розы», в чем впоследствии многие усмотрели ее слабость, либеральную ограниченность и обреченность на заведомый неуспех. И сейчас еще спорят о том, к какому крылу антинацистского сопротивления надо ее причислять. Но перед гестаповским топором все были равны: и коммунисты, и католики, и либералы, и представители религиозных сект. Но вот что вам важно знать: шла война с Россией, и отношение к вашей стране, к русским, сыграло в деятельности «Белой розы» не последнюю роль. Все мы бредили Достоевским, Лесковым, Толстым, Чеховым, читали стихи Пушкина и Лермонтова, очень любили русские народные песни. Близким другом нашей семьи, разделившим участь моего брата, был Александр Шморелль — «Шурик», как мы его называли, наполовину русский, уроженец города Оренбурга. Он совсем еще мальчиком, в году двадцать первом, переехал с отцом в Мюнхен после того, как там, в Оренбурге, умерла от сыпного тифа его мать — дочь православного священника, и отец женился вторично, на немке: он был немцем, подданным Германии, хотя и прожил полжизни в России, работал на Урале врачом.

Из России они привезли с собой няню, я ее хорошо помню, эту старую русскую нянюшку, ну такую, какая была у Пушкина, и можно сказать, что русскую речь, русские песни, русские сказки, русские обычаи Александр Шморелль впитал если не с молоком матери, то с молоком, которое подавала ему его няня.

Шморелль мечтал когда-нибудь возвратиться в Россию и своим русским происхождением чрезвычайно гордился... Ах, это была славянская душа, душа бродяги: тянуло его к цыганам, к скитальцам каким-нибудь, к опустившимся, нищим актерам. Он мог, бывало, засидеться с ними до глубокой ночи за бутылкой вина... При этом он был отличным пловцом, фехтовальщиком и замечательно талантливым пианистом и скульптором, подававшим большие надежды, так что отец снял для него ателье, где он лепил свои скульптуры. И сейчас еще у кого-то хранится изваянная им «Голова Бетховена».

Нет, я хочу, чтобы вы поняли, что ни Александр Шморелль, ни мой брат, ни Вилли Граф, ни Ганс Шолль, ни Софья — никто из них не был каким-то мрачным заговорщиком, желавшим во что бы то ни стало «принять муку» и умереть на эшафоте. Мой брат был очень жизнерадостным человеком, любил смеяться, шутить, увлекался спортом, вообще все они были натурами крупными, щедро одаренными природой, и, может быть, именно поэтому они так ненавидели эту уродливую, противную самому человеческому естеству гнилую систему. Но

задайтесь вопросом: почему гибнут самые лучшие, самые светлые головы, а подлецы и негодяи живут и ни пуля их не берет, ни болезнь?..

Итак, Александр Шморелль, Шурик... Мы все заразились от него «русофильством», и когда нацисты напали на вашу страну, мы возненавидели Гитлера еще больше. И вот представьте себе: летом 1942 года три мюнхенских студента-медика, три тайных участника «Белой розы» — Александр Шморелль, Вилли Граф и Ганс Шолль — попадают в Россию, в Гжатск, в качестве фронтовых врачей-практикантов. Эта недолгая командировка возымела самые серьезные последствия и подтолкнула их к дальнейшим решительным действиям.

Судя по письмам, по дневниковым записям, они сначала воспринимали Россию не без литературных реминисценций, как некий мистический мир, и в каждом жителе Гжатска наивно искали Митю Карамазова или Федю Протасова, лесковского «очарованного странника» или чеховскую «даму с собачкой». Но, конечно, ничего этого они там не нашли, а увидели народ совсем другой, сплоченный ненавистью к оккупантам. «Удивительно, — писал в своем дневнике Вилли Граф, — насколько здесь велика ярость к немцам: подлинное отвращение...»

Нет, они не нашли в Гжатске ни Грушеньку, ни «даму с собачкой», но в письмах упоминаются имена двух девушек — Зины и Веры, которые, возможно, были советскими партизанками или подпольщицами и вели с Графом, Шмореллем и Шоллем вполне откровенные политические беседы. Но это я так вам, к слову, рассказываю, потому что допускаю, что в русском народе и сегодня еще существует убеждение, что все немцы были тогда палачами. Но, как видите, палачами были не все, многие были жертвами...

Эти слова о палачах и жертвах заставили меня вспомнить об одной вызвавшей большие споры режиссерской трактовке пьесы Петера Вайса «Дознание», где одни и те же актеры играли и палачей и жертв и по ходу спектакля «переходили» из одной роли в другую. Режиссер задумал поставить вопрос о «всеобщей ответственности» и о порочности такого общества, где палачи и жертвы жили в условиях одной и той же системы и «в зависимости от обстоятельств» могли бы легко поменяться местами.

Конечно, ни режиссер, ни актеры сами ни разу не стояли перед таким выбором, поэтому мне хотелось узнать, что думает по этому поводу человек, сделавший однажды свой выбор.

Я спросил Анжелику, как она относится к подобной трактовке, и она решительно ответила, что «неверно, что палачи и жертвы легко могли бы поменяться местами, но верно, что не каждый из палачей хотел быть палачом и не каждый, кто оказался жертвой, стал ею по собственной воле...».

— Своего брата я видела в последний раз в ноябре 1942 года в Даленбурге, где я тогда жила. Конечно, я не знала, что это наша последняя встреча. Мы гуляли по чудесным окрестностям, но все наши разговоры так или иначе сводились к политике, к положению в мире, к тому, что нам делать, как быть, долго ли еще продлится эта война. Брат не посвящал меня в подробности своей подпольной работы, опасаясь, что я формально могу стать соучастницей, он берег меня от обвинения в «недоносительстве», хотя после их провала я сидела в тюрьме четыре месяца и тоже ждала казни... Мой брат, как я вам уже говорила, был очень жизнерадостным человеком, но в это последнее свидание он показался мне таким серьезным, таким грустным. Он словно предчувствовал, что его ждет... Мы шли полем, в небе светилась яркая, крупная звезда, и я вдруг ни с того ни с сего сказала ему: «Знаешь, Кристоф, если бы всю нашу семью арестовали и у меня была бы возможность спасти только одного из всех, я выбрала бы тебя»...

Их казнили 22 февраля 1943 года в Мюнхене, тела казненных выдали родственникам и похоронили на кладбище Перлахер Форст. А судья Фрейслер, подписавший им смертный приговор, погиб во время бомбежки в Берлине.

* * *

После обеда Анжелике непременно захотелось подойти со мной к дому 13 на Франц-Йозефштрассе, где жили Софья и Ганс Шолль и печатались листовки «Белой розы».

Мы постояли около мемориальной доски. Мимо шли люди, не обращавшие на нас никакого внимания, проехал автомобиль с зеленым плакатиком, на котором было написано: «Разрешите компартию, запретите НДП — и единство Германии обеспечено!»

Анжелика сказала:

— Вы, наверно, не поняли. Это должно восприниматься как ирония, как насмешка. Такой плакат выпускает сейчас НДП.

Я спросил:

— Что вы думаете об этой партии?

Она неохотно и сухо ответила:

— НДП пока что еще не очень большая сила. Но взялась эта сила оттуда же, откуда взялся Гитлер — из антикоммунизма. И мы это помним...

Она подняла руку, остановила такси и, прощаясь, сказала:

— Я хочу, чтобы вы знали, что многие немцы были целиком против Гитлера и против войны, но всем правил страх... После того, как моего брата казнили, большинство людей там, в сельской местности, где я жила, отнеслось ко мне очень тактично, с искренним сочувствием, многие люди понимали, что «Белая роза» боролась и погибла за правое дело. Очень, очень многие люди ненавидели нацизм, и это неверно, когда говорят про немцев, что они — «фашистская нация»... Нет, не все немцы были нацистами и не вся немецкая молодежь пела «Дрожат одряхлевшие кости»...

IX

Дрожат одряхлевшие кости
Земли перед боем святым.
Сомнения и робость отбросьте!
На приступ! И мы победим!
Нет цели светлей и желаннее!
Мы вдребезги мир разобьем!
Сегодня мы взяли Германию,
А завтра — всю Землю возьмем!..

Ганс Бауман, написавший строки этого молодежного нацистского гимна, сидит передо мной в вестибюле мюнхенской гостиницы «Леопольд». Ему за пятьдесят. Он лысоват, невысок ростом, утирает платком красное от напряжения лицо и сконфуженно, чуть виновато улыбается: «Да, так вот сложилась судьба...»

Он пришел объясниться: несколько месяцев назад в «Литературной газете» я изругал его переводы Ахматовой. Казалось кощунством, что бывший югенд-фюрер, любимец фон Шираха, автор фашистских песен, ее переводит.

Он достает из портфеля фотокопию моей статьи:

— Видите ли, с человеческой точки зрения вас можно понять, но...

— Что — «но»?

— «Дрожат одряхлевшие кости»... Вот уже два десятилетия я живу под бременем этих строк, которые когда-то пели миллионы людей и которые принесли мне однажды всегерманскую славу. Мне было девятнадцать лет, когда я их написал. Я жил в глуши баварских лесов в страшной бедности, работал учителем. Вы не представляете себе, какая была нищета! Дети ходили в деревянных башмаках, голодали. Разрешите, я прочту вам моего «Безработного»:

Господь, не дай мне умереть,
Господь, пошли мне хлеба...

Меня распирали ненависть к богачам, к сонным обывателям, погрязшим в свинстве. Единственным человеком, которого я уважал, был мой школьный воспитатель — бывший фронтовой офицер, летчик, отличный спортсмен. Он умел организовать молодежь, устраивал лесные походы с песнями у ночного костра. Нет, этот не был похож на обывателя: от него веяло романтикой, духом товарищества, готовностью к самопожертвованию. Однажды я принес ему свою песню — ту самую, об одряхлевших костях. Это было заклинанием, обращением к молодежи: возьмем жизнь в свои руки, мир должен принадлежать нам — то есть юношеству.

... Heute hört uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt!

(«Сегодня нас слышит Германия, а завтра — весь мир».)

Учитель исправил одно только слово: переделал «hört» (слышит) на «gehört» (принадлежит) — всего две буквы, крохотная приставка: не надо было менять даже рифму.

Песню напечатали в молодежном сборнике, я был окрылен, почувствовал себя поэтом... Вы хотите записать текст?

Он взял у меня из рук карандаш и круглым, крупным почерком вписал в мой блокнот:

Так пусть обыватели лают —
Нам слушать их бредни смешно!
Пускай континенты пылают,
А мы победим — все равно!..

Он осторожно, искоса, посмотрел на меня. Я спросил:

— Что вы понимали под «пылающими континентами», как вы себе это конкретно представляли? В виде войны, что ли?

Он вздохнул:

— Как вам сказать... Едва ли... Просто был порыв, пафос, нечто неопределенное... Я упивался потоком собственных слов.

Пусть мир превратится в руины,
Все перевернется вверх дном!
Мы — юной земли властелины —
Свой заново выстроим дом!

— А этот «новый дом» что означал?

— Ну, царство света, справедливости... Так вообще... В тридцать третьем году, когда нацисты уже пришли к власти, меня неожиданно вызвали к самому Шираху — руководителю гитлеровской молодежи. Можете ли вы понять, что значил для меня тогда этот вызов? В то время это казалось неслыханной честью. Подумать только: я, провинциал, парий, самим провидением обреченный жить в нищете и безвестности подобно тому, как жили поколения моих предков, — вдруг удостоился внимания одного из первых лиц в государстве, человека, который ежедневно общается с фюрером! От этого могла закружиться голова, согласитесь!.. К тому же Ширах сам был поэтом. Он разговаривал со мной как с коллегой, с братом по перу. Где, когда, при каком другом режиме в Германии могло случиться такое? Прежде государство нуждалось в полиции, в армии, в деловых людях, искусство же всегда, во все времена, было враждебно ему по самой своей природе. Поэт оказался нужным государству, оно нуждалось в этих написанных моей рукой строчках, брало их под свое покровительство... Первым охватившим меня тогда чувством была благодарность. Истовая, идущая из глубины сердца. Благодарность за признание, за доверие: не только ко мне — к поэзии...

— Да, но ведь именно в это самое время в Германии сжигали стихи Гейне, а Томас и Генрих Манн, Леонгард Франк, Брехт, Бехер уже находились в изгнании. Разве вы не знали об этом?

— Конечно, знал... Гейне! Это мой любимый поэт, я обожал его, знал наизусть, поверьте... Но, видите ли, запрет, наложенный на Гейне, казался мелочью в сравнении с тем грандиозным переустройством, которым жила вся страна. Ах, не я один был ослеплен Гитлером! И при этом — как бы поточней выразиться — чувство инстинктивно сопротивлялось разуму, не хотелось, чтобы разум омрачал певшее во мне чувство подъема, восторга. Иначе я просто не смог бы писать искренне... Больше всего я опасался раздвоения личности: не хотел быть лгуном, приспособленцем, который думает одно, а пишет другое...

Умение не видеть то, что мешает, чего мне, по моему положению, не следует видеть, — нелегкое умение, но я овладел им вполне. И я считал себя честным человеком...

— Может быть, такая «честность» есть высшая, наиболее изощренная форма нечестности?

— Возможно... Но я был бескорыстен, иногда оставлял свои гонорары издателям, деньги не имели для меня никакого значения. Наградой была любовь и признание молодежи. Я уверовал в то, что я и в самом деле пророк. Каждый день по радио, на улицах и площадях я слышал, как поют мои песни. Их пела тогда вся Германия.

— Германия тюрем и концлагерей?

— Я видел ее другой: пробудившейся от спячки, из разгромленной, разоренной страны становившейся великой державой. Я имею в виду тридцать третий — тридцать шестой годы...

— Позвольте, но вы не могли не слышать о Дахау, о Бухенвальде, о процессе над Димитровым, о массовых арестах...

— Конечно, не мог. Мне было известно множество горьких фактов.

— И что же? «Раздвоение личности»?

Он покачал головой.

— Нет, скорее проверка на прочность: достаточно ли я силен в своей вере, может ли поколебать эту веру осознание колоссальных несправедливостей...

Он уже стал уставать от моих вопросов, смотрел на меня с огорчением, теряя надежду на то, что я его наконец пойму. Впрочем, он привык к этому: к тому, что его по-прежнему считают нацистом, третируют в левой прессе, то и дело напоминают об «одряхлевших костях». А он ведь давно отошел от политики: занимается переводами, сочиняет стихи для детей — о солнечном зайчике, о телефоне, о щелкунчике, о Гансике, заблудившемся в дремучем лесу...

Он положил передо мной книгу в коричневой суперобложке: «Русская лирика десяти столетий» — от «Слова о полку Игореве» до Беллы Ахмадулиной — труд, на который другой мог бы потратить целую жизнь. Я просмотрел оглавление: былины, народные песни... Державин... Пушкин... Лермонтов... Тютчев... Некрасов... Фет... Случевский... Владимир Соловьев... Иннокентий Анненский... Поликсена Соловьева... Блок... Хлебников... Маяковский... Эренбург... Мандельштам... Пастернак... Есенин... Асеев... Кирсанов... Шефнер... Татьяничева... Алигер... Баруздин... Вознесенский, Евтушенко... Тамара Жирмунская...

— Почему вы занялись русской поэзией?

Получалось нечто вроде допроса: я со своим блокнотом и он — напротив меня — смущенный, вынужденный объясняться, оправдываться.

— Ах, это долгая история. Она началась еще в годы войны, на фронте, когда я впервые встретился с русскими, услышал русскую речь... Наш полк стоял в маленькой деревушке под Волховом. Меня пленила музыка русской речи, люди, природа... Потом я приехал домой, в отпуск, — жена взяла женщину, вывезенную из России. (Меня резануло: «взяла!» «вывезенную!» — я тут же занес эти слова в блокнот, он же не ощутил никакой неловкости: для него это было просто бытом.) Мы полюбили ее как родную. Она хорошо знала русскую поэзию и часто по вечерам читала нам наизусть басни Крылова, стихи Некрасова, Пушкина,

понемногу учила русскому языку («...чтобы общаться с оккупированным населением», — добавил я про себя). Видите ли, эта женщина — я так и не знаю, как сложилась ее дальнейшая судьба, — впервые заронила в мою душу сомнение: правильно ли я поступаю, что участвую в этой войне? И был еще один повод для разочарований. Он связан с другой женщиной, тоже жившей у нас; с учительницей, обучавшей музыку мою жену. Эта женщина была еврейкой, и тем не менее мы считали ее членом нашей семьи. (Я представил себе эту благополучную, привилегированную семью, где до поры до времени могли позволить себе роскошь «держат» еврейку...) Она не знала никаких притеснений. В сорок втором за ней пришли. Пришли те самые люди, которые выросли на моих стихах и моими словами клялись «обновить» мир... Что было делать? Я засел за пьесу об Александре Македонском, которого изобразил грубым и жестоким завоевателем. Пьеса была слабая, написанная ямбом, подражание Шиллеру — не документ сопротивления, ни в какой мере. Но здесь был намек! Все должны были понять, о ком идет речь. Известный актер Грюндгенс взялся осуществить постановку. Но Геббельс обладал слишком хорошим нюхом: пьесу мою запретили, а сам я вновь отправился на Восточный фронт, в окопы, где с моими солдатами делил все тяготы и лишения. Можно сказать, что я бежал на фронт от этого проклятого мира, хотел в окопах найти убежище от моих заказчиков и покровителей, а газеты между тем писали, что «наш славный поэт» с оружием в руках сражается за фюрера. И я не смел этого опровергнуть: ведь так оно и было фактически.

— А стихи вы по-прежнему продолжали писать?

— Да... Но уже в совершенно ином духе. Не для печати. Были у меня, между прочим, и такие строки: «Если война — отец всех вещей, то пусть милосердие станет всех вещей матерью...»

Он вновь посмотрел на меня — пристально, придирчиво, словно взвешивая мою способность оценить его исповедь.

Ему было душно, лицо его стало совсем уж пунцовым, и говорил он с трудом. А мне хотелось спросить, что было бы с ним, какую бы он занял позицию, если бы Германия не проиграла войну? Но этот вопрос показался мне сейчас слишком жестоким...

Он коротко рассказал о своей послевоенной жизни: в течение первых шести лет исчез из литературы, нигде не печатался, работал в починочной мастерской, хотя его сотрудничества домогались, как он выразился, и «справа» и «слева».

— Правые видели во мне единомышленника, рассчитывали, что я буду служить им в новых условиях. Но с этими людьми у меня уже не было ничего общего. Левые в свою очередь считали чрезвычайно выгодным заполучить меня в свои ряды: публичное раскаяние бывшего нацистского поэта чего-нибудь стоит! Но я не хотел торговать своим раскаянием, своей биографией. Я предпочел молчать. А потом вновь взялся за перо — начал переводить сказки для детей Льва Толстого, русских поэтов, написал несколько детских книжек. Так и живу...

Наша беседа длилась около часа, и за этот час он, который в моем воображении только что был развязным фашистским горлопаном, затянутым в ремни «имперским поэтом», постепенно превращался просто в несчастного человека. Но «стена отчуждения» осталась, только пошатнулась чуть-чуть.

Прощаясь, он несколько высокопарно сказал:

— «Одряхлевшие кости» стали моей судьбой. Я принял ее как должное. Но позвольте надеяться, что вы поняли трагедию человека, который, будучи сам ослепленным, невольно ослеплял других. Прозрение пришло слишком поздно, но оно пришло... Может быть, я об этом еще напишу...

Мы поднялись. Я принял в подарок его книгу и, между прочим, заметил, что однажды перевел несколько строк из его «Одряхлевших костей».

Он оживился:

— Как? Каким образом?

— В одном антифашистском романе эта песня приводится в виде цитаты: ее распевают нацистские молодчики...

Он пробормотал:

— Любопытно... Вы не прочтете?

Он слушал, откинув голову, полузакрыв глаза: все-таки это было его детище.

Потом попросил:

— Запишите мне это на память.

Х

Пока происходили все эти встречи. Макс готовился к главной своей «операции»: искал Шпеера и Шираха, которые два года назад вышли из союзнической тюрьмы Шпандау в Западном Берлине, где по приговору Нюрнбергского суда они провели двадцать лет. Их адреса не значились ни в одном справочнике, и ни одна из редакций, в которые мы обращались, не решалась нам в этом помочь.

Макс совсем уже было отчаялся и спросил, не соглашусь ли я на худой конец «заменить» Шираха Гальдером, а Шпеера — гитлеровской летчицей Ганной Рейч?..

Но меня интересовали все-таки Ширах и Шпеер, и не только оттого, что это были имена-символы: Бальдур фон Ширах — создатель и руководитель «гитлерюгенда», и Альберт Шпеер — министр вооружения, державший в своих руках весь военный потенциал нацистской Германии. Существовала еще одна, «человеческая» сторона вопроса, потому что если разложить биографию того же Шираха по годам, то выглядит она следующим образом: пять лет активной фашистской деятельности до начала гитлеровского господства, двенадцать лет — на вершине власти, двадцать один год — в тюрьме и два года — на отдыхе, не у дел. Чего же в нем больше? Какие из этих лет были для него «определяющими»? Отмирает ли в человеке его прошлое, или он несет его в себе до конца?..

Еще в Москве я прочитал мемуары Шираха «Я верил в Гитлера» — книгу, написанную не без конкетливого изящества, что называется «легко», но воспринятую мной как попытку отшутиться от прошлого, представить трагедию, постигшую человечество, как скверный анекдот. Я откликнулся на эти мемуары статьей в «Журналисте», написал о реваншистских происках и реабилитации Гитлера.

Теперь в Мюнхене накануне возможной встречи с Ширахом я вновь перечитывал его книгу — «семейную хронику» гитлеризма, страницы, овеянные легкой иронией, отголоски давних слухов и сплетен, касающихся главарей третьего рейха, которых Ширах наделил несколькими негативными черточками, скорее смешными, чем зловещими. Куда-то отошел, отодвинулся в сторону тот, известный всему миру рейхсгендфюрер, о котором Хартли Шоукросс, главный обвинитель от Великобритании, в заключительной речи на Нюрнбергском процессе заметил: «Фон Ширах. Что следует сказать о нем? Сказать, что лучше всего было бы повесить ему на шею мельничный жернов? Именно этот подлец совращал миллионы немецких детей, с тем чтобы, когда они вырастут, сделать из них то, чем они стали, — слепое орудие политики убийства...» Но вместо подлеца возник юный мечтатель, охваченный беззаветной любовью к отечеству, втянутый в водоворот событий, в которых он своевременно не смог разобраться.

Некоторые главы напоминали пропагандистские сетования господина Б.— Фрица Вагнера: унижение, которому подверглась Германия, эгоизм победителей, трудности партийной борьбы, когда сам фюрер фланировал по мюнхенским улицам мимо роскошных витрин, в драных ботинках, темные конспиративные квартиры, партийная касса, пополняемая грошовыми взносами...

Я представил себе того гимназиста Майера, который писал угрожающие письма редактору бюллетеня «Гестерн унд хойте», увидел его за книгой Шираха: не ему ли она адресована? Не должны ли вновь учащенно забиться молодые немецкие сердца, охваченные романтикой нацистского подполья?..

И вот вдруг все ожило, пришло в движение, когда в партийные кассы посыпались миллионные субсидии от Гугенберга, от Круппа, от Шахта и Тиссена и кучка затравленных фанатиков превратилась в могущественных руководителей и всемогущих диктаторов третьей империи. Именно в эту «золотую пору» особенно часто звучали погромные речи Шираха, песни Шираха, лозунги Шираха — все, что уже тогда воспринималось как коричневая чума, смертельная угроза для человечества и что переполняло страхом и отвращением Кристофа и Анжелику Пробст, Александра Шморелля, брата и сестру Шолль... На невообразимо далеком расстоянии находились они от Шираха, но сейчас, читая его мемуары, я внутренне сталкивал их лицом к лицу, с тем чтобы Ширах ответил мне, им, как он однажды загубил и похитил их молодость. Однако в книге из тогдашних речей Шираха были приведены лишь самые невинные и наивные цитаты, несколько ничего не значащих фраз, так что просто невозможно было понять, в чем же состояла пагубная суть массовой организации гитлеровской молодежи, которую Ширах «обручил» с вермахтом и СС: в оккупированном Львове члены «гитлерюгенда» упражнялись в стрельбе по живым мишеням, выстраивая трехлетних детей в шеренгу по росту и расстреливая их из винтовок и автоматов...

Об этом эпизоде мне рассказал в Москве старейший работник Прокуратуры СССР Георгий Николаевич Александров, возглавлявший на Нюрнбергском процессе следственную часть советской делегации.

Г. Н. Александров был первым советским юристом, который допрашивал главных немецких военных преступников еще до суда, и из его рассказов передо мной возник довольно отчетливый образ Шираха.

Тогда, на допросе, Бальдур фон Ширах заявил, что в жизни Гитлера следует различать три периода: человеческий, сверхчеловеческий и нечеловеческий.

Из этой же «периодизации» Ширах исходил и в своих мемуарах: «человек» Гитлер его очаровал, «сверхчеловек» — загипнотизировал, а «нечеловек» — ужаснул...

Он описал свои «разногласия» с Гитлером: спор по поводу венских художников-экспрессионистов, о том, целесообразно ли ставить на немецкой сцене пьесы Чехова и исполнять музыку Чайковского. Были вопросы и посущественнее: в конце войны Ширах осмелился посоветовать своему фюреру прибегнуть к нескольким пропагандистским трюкам — «провозгласить» создание «самостоятельной Украины» во главе с гетманом, пообещать большую «свободу действий» предателю Власову.

В этих описаниях можно было при желании усмотреть урок будущим оккупантам, просьбу учесть ошибки и недостатки прошлого. И это было, пожалуй, единственным «серьезным» местом в его легковесных, никчемных записках... Все остальное представляло собой беллетристику — беглый, флегматичный рассказ о Нюрнбергском процессе: обида на «плохое питание» и слишком суровое обращение со стороны американской охраны, эпизоды и сценки из тюремного быта в Шпандау.

Напрасно я искал в этой книге хоть какие-либо признаки раскаяния, и ничего, которой Ширах, как один из крупнейших идеологов и практиков фашизма, связал бы себя с нацистскими преступлениями, — о них он вообще упоминал вскользь, как о чем-то не имеющем к нему никакого отношения. Этого человека, который непосредственно осуществлял депортацию в лагерь смерти сотен тысяч людей и сам инспектировал Маутхаузен, не интересовало ничего, кроме собственной личности, и печалился он только об одном — о своих иллюзиях, утраченных под ударом истории.

Таким представал Бальдур фон Ширах в своих заново прочитанных мной мемуарах, и я не пожалел о том, что обругал их тогда в «Журналисте»...

Между тем Макс разыскал телефон мюнхенского адвоката доктора Роберта фон Шираха, оказавшегося сыном Бальдура фон Шираха, и через секретаршу сообщил, что «русский переводчик» и т. д., «человек, известный в литературных кругах», хотел бы непременно встретиться с его отцом.

На другой день секретарша д-ра Роберта фон Шираха ответила, что д-р Роберт фон Ширах связался с секретаршей господина Бальдура фон Шираха, который находится сейчас на отдыхе в Шварцвальде, при лесопильном заводе в городе Троссинген, и что господин Бальдур фон Ширах готов обсудить возможность такого свидания...

После неоднократных переговоров, в ходе которых секретарша д-ра Роберта фон Шираха, д-р Роберт фон Ширах и секретарша господина Бальдура фон Шираха уточняли, кем являются господин Макс и его русский гость и какова, собственно, цель, которая привела этого русского гостя в Германию, было условлено, что господин Бальдур фон Ширах примет нас между 18 и 19 часами в субботу 23 ноября...

Но тут раздался звонок, Макс подошел к телефону и услышал следующее:

— Добрый день, с вами говорит инженер Альберт Шпеер из Гейдельберга. Мне стало известно о вашем намерении познакомить меня с советским писателем господином Львом Гинзбургом. У него имеются ко мне вопросы?.. Я отвечу на них с большой охотой... Вы не станете возражать, если я позволю пригласить вас обонх к обеду 23 ноября в субботу...

В этот вечер Макс долго сидел над картой, а потом принес мне написанный на листке бумаги маршрут: Мюнхен — Аугсбург — Ульм — Гейдельберг — Баден-Баден — Кель (французская граница) — Оффенбург — Швеннинген — Троссинген — Тюбинген — Мюнхен.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

А. НЕЖНЫЙ

★

ГОРОДА, КОТОРЫЕ МЫ СТРОИМ

Города притягивают к себе все больше и больше людей. В год, когда родился Пушкин, всего два процента населения земного шара жили в городах. Теперь же — треть человечества.

В книге «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин писал: «Города растут вдвое быстрее, чем остальное население: с 1863 по 1897 г. все население увеличилось на 53,3%, сельское на 48,5, а городское на 97,0... Число городов, имеющих 50 и более тысяч жителей, более чем утроилось с 1863 по 1897 г. (13 и 44)». Работу над книгой Ленин завершил ровно за год до начала двадцатого века. Прошло семьдесят лет. Больше половины населения страны живет теперь в городах: урбанистический контур нашего будущего вырисовывается с особенной ясностью.

Более девятисот городов заложено у нас после 1926 года — мощь и размах, в истории мирового градостроительства невиданные! А сколько новых городов появилось на карте в последнее время — Братск, Мирный, Дивногорск, Ангарск, Шевченко, Шелихов — всех не перечить.

Социальная сущность наших городов определяется социальными целями общества. И города поэтому представляются мне ступенями нашего движения — с каждым шагом все выше.

Сейчас пересматриваются, меняются генеральные планы многих городов: растет их народнохозяйственный потенциал и старые планы становятся тесны им, как юноше одежда, в которой ходил он подростком. Основываются новые города: Тольятти, Сургут, Нефтеюганск... А это значит: сегодня мы будем строить больше, чем вчера. Но если задуматься над тем, что все построенное должно служить нам не один десяток лет, если задуматься над лично нашим отношением к тому, что и как сооружается в стране, то едва ли не каждый поспешит высказать свое неодобрение однообразию нового строительства... Попадает всем: архитекторов обвиняют в забвении эстетической стороны их искусства, строителей — в плохом качестве их работы... Это, так сказать, критика с первого взгляда. Более же серьезная критика причислит сюда промахи перспективного планирования, узость генпланов, ведомственную неразбериху...

Разве не странно — строим больше всех в мире, но еще не смогли вывести градостроительство на верный путь?

Это факт, сам по себе достойный удивления; удивляет он еще и потому, что у нас все же — и в последнее время особенно — появляются образцы градостроительства — продуманные, четкие, хорошо организованные, со своим выразительным и неповторимым обликом. Я расскажу еще о градостроителях Вильнюса, удостоенных в прошлом году Государственной премии. А сейчас хочу сказать несколько слов о городе Навои, создатели которого выдвинуты сейчас на соискание этой премии.

Навои — город, поднявшийся в пустыне. Строить новый город вообще трудно (на примере Сургута я расскажу об этом более подробно), в пустыне — тем более. Но судьба Навои оказалась счастливой. проблемы тут не только ставились, но и решались.

Например, разработан специальный тип панелей, созданы новые дома, приспособленные к местному климату, на солончаках растут деревья... А все вместе дало нам город, который радует глаз и в котором хочется жить.

1

Города-новостройки возникают в точках приложения государственных средств и сил. Вот история Сургута. Началась она, когда в лесах и болотах Западно-Сибирской низменности были открыты огромные запасы нефти и газа, и север Тюменской области стал называться «пионерным районом». И на одну чашу весов легла тюменская нефть, ее вес в народнохозяйственном балансе страны оказался внушительным: шесть миллионов тонн в позапрошлом году, почти в два раза больше в прошлом и около девятнадцати миллионов намечено на нынешний год! А на другую чашу положено было все, что связано с освоением нового района: тысячи работников, жилье для них, для них же магазины, больницы и клубы, школы, сады и ясли для их детей... Уравновесить обе чаши, сделать так, чтобы миллионам тонн в трудных условиях добытой нефти отвечал устроенный быт тех, кто ее добывает, — вот первый и главный принцип освоения Западной Сибири.

Теоретически все — или почти все — ясно. География и экономика за то, чтобы Сургут становился центром нового нефтяного района. Огромна его роль сегодня, чем менее значительна будет и завтра, когда разработка и добыча пойдут дальше на север.

Перед тем как отправиться в Тюменскую область, я познакомился с Сургутом заочно — в пятой мастерской московского «Гипрогора». В строгих положениях технико-экономического обоснования, схемы районной планировки, заданий к генплану виден был город, развитие которого продумано, размерено и рационально.

«Раскрыть планировку города на реку, создать наиболее благоприятную южную экспозицию, обеспечить четкую и скоростную связь промышленных районов с городом с учетом суровых климатических условий. Город организовать в виде компактного массива, состоящего из планировочных городских районов, связанных между собой и местами приложения труда городскими и районными магистралями вдоль береговой полосы Оби».

«Для жилой застройки применять многоэтажные жилые дома». «Окончательный тип дома, применяемый для многоэтажного строительства в районе Сургута, подлежит уточнению по согласованию с Госстроем СССР».

Во всем этом виделся планомерно, комплексно строящийся город с домами, которые уместны именно здесь, а никак не в средней полосе России. И одно удовольствие было читать постановления, умно вытекающие одно из другого, о том, во-первых, что должен быть в Сургуте завод крупнопанельного домостроения (и мощность немалая — сто сорок тысяч квадратных метров в год), и другие предприятия строительной индустрии с достаточно широкой номенклатурой производства, и, во-вторых, кто и за что отвечает в этом важнейшем деле и к какому сроку его исполнить, и, наконец, чтоб начиная с 1966 года лишь в исключительнейших случаях, с особого на то разрешения облисполкома и Стройбанка, строить в Сургуте деревянные жилые дома.

Что тут сказать? Все до последней запятой правильно: строить — так капитально, удобно и красиво.

Похоже было, что нефтяная столица не повторит горьких ошибок алмазной — города Мирного. Да и пора уже: достаточно дорогой ценой куплен опыт, чтоб, начиная новое, не оглянуться назад. В Мирном же шло наперекокс с самого начала. Где-то вверху, в министерстве, в плановых органах, недалеко видно установили ему число жителей, а очень скоро их оказалось куда больше. Незапланированных мирян ждала неустроенная жизнь: столовые, прачечные, ясли, школы, магазины — весь так называемый «культбыт» трещал по швам... И было не до расчетов и не до всяких там «Строительных норм и правил»... Не говорю о жилье — для Мирного до сих пор эта тема нерадостная. О внешнем облике города говорить тоже не буду...

У Сургута все складывалось по-другому — умнее, счастливее. Как в начале 1964 года выбрана была для него площадка, как в том же году поручили его московскому «Гипрогору» — так прошел Сургут все ступени проектирования и достиг генерального плана, где расчетная численность населения определена была ему в четверть миллиона.

Любой город рождается трудно — тем более этот, в болотах, лесах. Сколько возникало там задач всякого рода, не берусь перечислить. Что же касается научно-исследовательских институтов, организаций и ведомств, в той или иной степени приложивших к новому городу свою руку, — так их насчитал я более пятидесяти. Начал союзным Госпланом и остановился на таллинском институте силикальцита. Что говорить: сложно, очень сложно!

А раз так — тем больше должно было быть согласованности, организованности, ответственности, не правда ли? Как же оказалось на деле?

Первый удар, до самых основ потрясший едва родившийся Сургут, нанесло в 1966 году Министерство нефтедобывающей промышленности. Новому городу придется оно как бы отцом — оно главным образом платит, оно же преимущественно и заселяет. Министерство внесло поправки: жителей будет не двести пятьдесят тысяч, а в два раза меньше. Получилось так, будто из-под дома вышибли фундамент: все рушилось. И готовый генплан был уже не генплан.

Вся первостепенная важность экономически обоснованного генплана известна нам слишком хорошо — через генпланы, экономически близорукие. Оглянемся назад, на опыт прошлого: Магнитогорск проектировали первоначально на сорок тысяч жителей. Поэтому и комбинат, и жилые районы расположились на левом берегу Урала. Сейчас город вынужден переправиться через реку: более трехсот тысяч человек живет в нем. Еще примеры: Ангарск рассчитан был на тридцать тысяч человек. Сейчас тут — около ста пятидесяти тысяч... Салават запроектировали на двадцать пять тысяч жителей, сегодня его потенциал заставляет думать о населении в сто пятьдесят — сто восемьдесят тысяч...

Просчитавшись с генпланом, наплачешься с городом — это истина. Равно нетерпимы тут и скороспелые выводы, и запоздалые прозрения — дорого стоят они.

Стройный план возведения нового города разваливался на глазах. Выяснилось, что и место, выбранное Сургуту, стало теперь предметом жестоких споров, и железная дорога, которую ведут от Тюмени на север, неизвестно, будет ли здесь. Вопросы, будто бы накрепко стянутые обручем комплексного разрешения, начинали являться каждый сам по себе, и вопрос о городе был среди них едва ли не самым наболевшим. Обруч оказался непрочным...

Вот выдержки из решений двух авторитетных совещаний, в 1966 году изучавших производительные силы Тюменской области.

«По городу Сургуту... обеспеченность нефтяников жильем составляет 2—3 метра на человека, ощущается острый недостаток школ, больниц, детских магазинов, столовых, клубов, спортивных сооружений. Медленно строятся водопровод, канализация, электрические и другие инженерные сети... Застройка... осуществляется по типовым проектам средней полосы СССР, без учета суровых природно-климатических условий района...»

«Рекомендовать ускорить создание базы строительной индустрии, в том числе предприятий по добыче и переработке местных материалов (песка, гравия, камня, лесоматериалов и др.) и изделий из них...»

Тем не менее в отличие от планов строительства города задания по добыче нефти должны выполняться. Понятно: нефть государству необходима. А раз так — надо работать, надо и жить. Сейчас население Сургута приблизительно двадцать две тысячи человек: нефтяники, строители, геологи, речники, рыбаки... Живут они по принципу ведомственной принадлежности: в своем поселке — нефтяники, в своем — строители; всякое министерство владеет своей территорией. И своей котельной. И школой. И яслями. Само собой, магазины и столовые относятся исключительно к «своему» ОРСу. Систем снабжения в городе шесть, появилась недавно и седьмая — энергетическая...

Поселки старались ставить, где поудобнее, но Сургуту вышло от этого великое неудобство: его растянули вдоль Оби на пятнадцать километров, и стал он, как художочный подросток, сердце которого не поспевает перегонять кровь во все уголки слабого тела. Такой, с позволения сказать, планировке я поразился.

«Планировка, беспокоящаяся о счастье и несчастье, пытающаяся создать счастье и устранить несчастье,— вот достойная наука в этот период расстройств...» — много лет тому назад писал Корбюзье. Может быть, это сказано двумя нотами выше, чем надо, но мне кажется, что сказано — хорошо. Счастье города Корбюзье полагал в порядке, в том, насколько полно осуществляет он главное своё назначение — служить людям. Никаких изломов, кривых линий, расплывчатых построений; порядок, определенность, ясность — к этому не уставал призывать Корбюзье и смеялся над теми, кто эту его страсть считал выражением не галльского, а чисто германского начала. «Дом, улица, город — точки приложения человеческой работы. Они должны быть в порядке, ибо в ином случае они противостоят основным принципам, на которых мы держимся; при беспорядке они противятся нам, связывают нас, как связывала окружающая нас природа, с которой мы боролись и продолжаем бороться каждый день».

И зачем, казалось бы, тревожить тень Корбюзье и напоминать известные истины? Ведь нельзя сказать, что их не знают. Напротив — знают. И более того — успешно применяют на деле. Единным, хорошо организованным комплексом предстают Пущино, Дубна, Обнинск, новосибирский Академгородок. Никогда не знали поселков промышленные города Волжский и Сумгаит. А тут...

— Как же это умудрились вы разменять город на поселки? — спрашивал я Мунарева, председателя Сургутского горисполкома. — Неужели нельзя было без ведомственных владений?

Мунарев сидел за столом в валенках: на дворе был январь. За спиной председателя висел проект планировки Сургута — черные прямоугольники вдоль извилистой ленты реки. Мунарев оборачивался и долго смотрел на проект. Будущее Сургута слышно являлось в кабинет...

— Ошиблись,— поморщившись, отвечал на мой вопрос председатель. — Что вы хотите! Градостроительству нас не учили... Незачем было.

— А что же Бешкильцев, главный архитектор области, куда он смотрел?

— Утверждал,— коротко сказал Мунарев.

Бешкильцев же говорил мне, что все дело в горисполкоме. Я понимаю: от такой тяжести чьи плечи не согнутся! Одно только сначала было непонятно мне: почему уже после всех разговоров и горисполком, и главный архитектор отдали территорию поселку энергетиков? Почему не направили новых застройщиков туда, где должен начинаться капитальный Сургут?

В конце концов я уяснил: и Бешкильцев и Мунарев стоят на том, чтобы Сургут рос на старом своем, исконном месте.

— Для такого города территории там достаточно. Все разместим,— объяснил Бешкильцев.

Подразумевалось, что нелишне подумать и о законченности Сургута: не вечно же будет его развитие!

Мунарев выступал с позиций коренных жителей:

— Я душу этих людей знаю: не пойдут они от воды! Ведь в Сибири живем — как же без лодки, без охоты. Я раз сказал это автору проекта, он рассвирепел: ты, говорит, с позиций удочки в проблемы градостроительства не лезь...

Решение между тем может быть только одно... Помню, Братск тоже состоял из поселочков, и впоследствии очень трудно оказалось превратить их в город. Уроки прошлого, казалось, должны были научить нас. Должны были, но не научили.

Когда между прочим зашла у нас с Мунаревым речь о несурзацие сургутского снабжения, он сказал:

— Верно. Пора. Только кооперацию оставить надо. Она все-таки наша, родная..

Процесс восприятия нового сложен и не всегда проходит безболезненно. Почти четыре века была история Сургута тише Оби. А тут понаехала тьма людей, оглушил реку рев моторов, повысовывались из тайги макушки нефтяных вышек. И хотя умом

постигается неизбежность и — более того — необходимость совершаемого, где-то в глубине души скребуть воспоминания прошлой жизни. Под это раздвоение и попал Мунарев. Ему хотелось бы поддерживать настоящее, не порывая с прошлым; примирить два разных образа жизни; построить город там, где стояли деревни. Хотелось бы ему каждой рукой делать разное, но чтоб получалось — одно. И он старается: вооружась мнимыми доказательствами, обвиняет гипрогорский генплан в несостоятельности, одновременно же в центре старого поселка строит капитальное здание для райкома и горисполкома и удовлетворенно говорит, что и общественный центр города — гостиница, больница, клуб — тоже будет здесь, на старом месте.

Подобные ошибки исправить можно не всегда. Прошлым летом неделю я прожил в Небит-Даге. Горячий, сухой, с пустынным песком ветер все время гулял по улицам города. Двести двадцать дней в году нет от него спасения: Небит-Даг словно засунут в аэродинамическую трубу. Бог ты мой, как же там дует! Между тем всего в четырех километрах есть место, которое ветры обходят стороной. Когда-то слишком дорого показалось проложить сюда четырехкилометровую железнодорожную ветку. Сейчас бы и рады, но город-то не гвоздь, и по два раза вбивать его нельзя. Человек же, сказавший, что быть Небит-Дагу именно здесь, давно уже не живет в городе...

Воля недалеководного руководителя вступила в противоречие с гуманистическими принципами социалистического градостроительства, и последнее слово, к несчастью, оказалось за ней. Умение видеть не далее, как у себя под носом, все отдавать на потребу сегодняшнего дня и немного не думая вперед — как мешает это нашим городам, как стесняет и угнетает их!

В конце двадцатых годов Александра Ивановича Кузнецова, до недавнего времени — главного архитектора московского «Гипрогора», теперь он на пенсии, — хотели отдать под суд, посчитав его проект города Новомосковска вредительским. Кузнецов предлагал строить Новомосковск в двенадцати километрах от химкомбината: предвидел, что город и комбинат будут расти, забочился об удобстве жизни. По тем временам это было новаторство. Люди же определенного сорта во все времена видят в новаторстве одно лишь вредное беспокойство...

— Я тогда смелый был, ничего не боялся, — вспоминал свою молодость Кузнецов.

Сколько городов построено с тех пор по его проектам! Сколько сломано из-за них копий, сколько принято мук мученических, но любимейшее его воспоминание — о Новомосковске.

— Важно понять природу каждого города, — считает он, — уяснить себе его назначение, место в человеческой жизни.

В нашем градостроительстве принцип этот выдвинут сейчас на первый план. Экономические проблемы разрабатываются в большинстве своем с учетом территориально-пространственных и архитектурно-планировочных решений. Другими словами, город сразу и точно ставится именно на то место, которое лучше всего отвечает его назначению. Сразу и точно стремимся сейчас мы угадать будущее города, перспективы его развития. Думаю, что Шевченко, Навои, Тольятти, многие другие новые города будут развиваться спокойно и гармонично. Ибо для них разумно выбрано было место, точно определено направление, логично указана цель...

Но есть примеры и другого рода. В свое время лишь с невероятным трудом удалось уговорить руководителей Братскгэсстроя, что город надо ставить в тридцати километрах от ГЭС, ибо основными градообразующими кадрами должны стать работники алюминиевого завода-гиганта и лесопромышленного комплекса. Но тогда эти предприятия были еще на бумаге, ГЭС же начинали строить. Элементарный здравый смысл тянул в одну сторону, видение будущего, работа на него — указывали в противоположную.

Порой начинает казаться, что чуть ли не каждый новый город мы возводим так, как если бы он был у нас первый... Все делается на предельном напряжении, как будто бы нет и в помине ясности задачи, определенности цели. Обнаруживается удивительная несогласованность действий, жесткость указаний там, где нужен обмен мнениями, и бесконечные словопрения тогда, когда требуется быстрое и безоговорочное решение.

Спор о том, где стоять Сургуту, продолжался долго. Одновременно и в разных концах строился мало пригодный для нормальной жизни город.

Сургут вообще представлял собой город несколько несообразный. Я пытался разобраться в нем и, облегчая себе это занятие, составил такие таблицы. Их можно так и озаглавить: «Сургутские парадоксы».

Природные ресурсы края		Их использо- вание	Как возникает парадокс
Лес: 8,0 млрд. куб. м.		незначи- тельное	Бруски для строительст- ва деревянных домов завозятся из Красно- ярска. 1 кв. м. в двух- этажном деревянном без удобств доме — 300 р
Кирпич глиняный и силикатный	На 5 лет — 3320 млн. штук (запасы глин и силикат- ных песков — не- исчерпаемы)	нет	Везут главным образом из Томска. Стоимость 10 к. штука.
Камень бутовый	2585,4 тыс. куб. м.	нет	Песок и гравий везут из Тюмени, Омска и Ново- сибирска. Кубометр песка и гравия стоит 15 р. Доказано, что для Западной Сибири сур- гутские песок и гра- вий — лучшие.
Щебень и гравий	25742 тыс. куб. м.	нет	
Песок строитель- ный	15739,9 тыс. куб. м.	нет	

И получается: куда ни кинь — вылетают гривенники, рубли, десятки, сотни — все на ветер, все на суету. В иных условиях и совсем вылетели бы в трубу, да у нас, спасибо, государство выручает.

Во второй таблице показано, как сооружаются некоторые из семнадцати предприятий строительной индустрии, которые должны быть в Сургуте. Сроки ввода их в действие указаны в весьма ответственных постановлениях. каждый раз со словами «обязать», «поручить», «осуществить»...

Предприятие	Мощность	Первый срок	Второй срок
Завод крупнопанельного домо- строения	140 тыс. кв. м. в год	1967 год	1969 год
Завод керамзита	100 тыс. куб. м. в год	1967 год	1969 год
Кирпичный завод	100 млн. штук в год	1967 год	1969 год

Примечание. Без третьего срока не обойтись, потому что на добрую половину предприятий проектная документация поступила совсем недавно. Ее готовил проектный институт № 2 Госстроя СССР. Хочу сказать, что ничего нет легче, как усвоить себе принцип безответственности, по которому, к глубочайшему сожалению, многое совершается вокруг нового города. Отвыкнуть от порочного этого принципа, приучиться к делу — куда труднее!

Тень Мирного выростала передо мной...

Главный инженер объединения «Сургутнефть» Василий Степанович Иваненко прислал в Сургут одним из первых. Человек реалистический, он отправился в таежную неустроенность не за романтикой. Другое двигало им — свобода выбора, продиктованная осознанной необходимостью.

На память о начале освоения края остались фотографии. Высадка нефтяников на топкий берег Оби. Палатки. Первый с топором в руках строитель... Снимки получились с сероватым налетом, расплывчатые: класс фотографирования был невысокий. Но главный инженер показывал их гордо, словно листал лучшие страницы своей жизни.

Может, и не так должно бы начинать, но те дни Иваненко за суровость не судил: надо — так надо. С тех пор минуло шесть лет. Свою перед государством ответственность нефтяники осознали хорошо...

Иваненко убрал снимки в сейф, сказал:

— У нас с вами разногласий не будет. Город никудышный, везде у него нескладно — это факт. — Он помолчал. — Балки наши видели?

(Балками в Сургуте называли род жилья — отчасти вагончики, отчасти сараи — невообразимый вывих быта. Происхождение самого слова восходило ко времени первых геологов.)

— Только наших — нефтяников — четыреста семей живет в балках. А там еще и геологи и строители — у всякого свой счет. В позапрошлом году завалили последнюю землянку. Живучая оказалась... А вы говорите: деревянные дома... Все знаю: строить их нельзя, дорогие, страшные и стоять будут долго... все знаю. Но вот приходит ко мне рабочий, который три года мается в этом самом проклятом балке. Что я, главный инженер, ему скажу? Потерпи? Подожди, пока построим настоящий город? Так ведь крупнопанельных-то дома за все время сделали всего три. Да как: один из двух-трех. Панели везут из Новосибирска — сохраните-ка их в целости. А какие получают дома — сами видели.

(Я видел. Это были пятиэтажные дома серии I—464, которая заполнила всю страну от Клайпеды до Владивостока и при которой не могло быть и речи о собственном стиле и особом облике Сургута. Кроме того, условиям Севера она не соответствовала. Строить ее здесь было нельзя... Снова сошлюсь на одно авторитетное постановление: в Сургуте нужен дом «с наружными стеновыми однослойными панелями из керамзитобетона, при этом должна быть установлена толщина наружной стеновой панели в соответствии с расчетной температурой — 44 градуса». Добавлю к этому, что Госстрой Союза дважды принимал решение разработать такой дом.)

— Про все это в газетах пишут под названием «Заколдованный круг», — улыбнулся Иваненко, хотя улыбаться ему совсем не хотелось.

Я вспомнил Тюмень, Филановского, главного инженера Главтюменнефтегаза: «Там у нас такой узелок завязался — трудно разобраться». Точно: мы с ним пробовали отыскать концы, но получалось, что почти всякая причина была не первой, а та, что была перед ней, тоже оказывалась не главной, первая же и решающая терялась в пространстве, между министерствами и ведомствами...

Рассказывают тем не менее, что Сургут — это еще ничего. Ему повезло хотя бы в том, что им занимается «Гипрогор». Соседний же Нефтеюганск был отдан «Башнефтепроект» — институту технологическому. От этого ли, по другой ли причине город являет собой воплощенный хаос. Заместитель председателя Нефтеюганского горисполкома А. Бабаев писал в газету: «Нефтеюганск — город будущего... очень важно позаботиться о современной архитектуре и планировке его улиц и площадей. А у нас рядом с кирпичной школой на 960 учеников строятся двухквартирные домики. О каком современном виде тут может быть речь?»

Вернемся с Сургут, в кипение ведомственных противоречий, в несоответствие между развитием промышленности и условиями жизни, в его неопределенность и запутанность... Страшный город — где ни тронь, всюду больно.

— Подождите, подождите,— говорили мне в Госстрое СССР,— все встанет на свои места. В Братске тоже не все ладно было.

К Братску мы еще обратимся, но здесь-то когда? Кто не знает, что один час сегодня вполне стоит двух часов завтра!

Вот данные: в прошлом году школ в Сургуте должно было быть на три с половиной тысячи мест. Было — на две с половиной. Из них тысяча мест приходилась на помещения, под школы едва приспособленные. Магазинов должно было быть на сто шестьдесят рабочих мест, было — на девяносто пять; столовых надо было на тысячу мест, было только на пятьсот шестьдесят; вместо городской больницы на двести шестьдесят коек была только районная на сто двадцать четыре места. По существу — ни одной гостиницы, ни одной прачечной... Нет в городе и стадиона.

Я все поражался: где это видано, чтобы растущему городу год от года планировали все меньше жилья? Поверить в это было трудно. Но — поверил. Министерство нефтедобывающей промышленности в 1965 году финансировало 16 тысяч квадратных метров, в 1966 — 11,5 тысячи, в 1967 — 8,4 тысячи, а в прошлом году построили всего 6,5 тысячи квадратных метров жилья. Это при острейшей нужде!

Так же финансируются и «соцкультбыт», и коммунальное строительство. А нужды города вопя от себе ежедневно: надо тянуть водопровод, мостить улицы, устранять почту, сооружать больницу — от всего этого не спрячешься. Но если из коммунальных денег взять на улицу и водопровод — тогда не будет бани и прачечной. За деньгами же на строительство почты и больницы обращаться бесполезно: Министерство связи и область отказали решительно. Тогда правая рука лезет в левый карман, левая в правый, а глаза закрываются: водопровод идет как водоснабжение промыслов, улица — как дорога к тем же промыслам, и все пишется в графе промышленного строительства, а почта оформляется как жилье...

Кого обманываем?

Картинны такого рода мне приходилось наблюдать и раньше. В Железногорске-Илимском, городе, выросшем рядом с крупным горнообогатительным комбинатом, на всех почти столбах висели объявления: «Срочно требуется няня». Няням, по-местному «бабкам», платили до сорока рублей «с головы»: тысяча шестьсот детей ждали, когда дойдет до них очередь в ясли и детский сад. В два раза меньше нормы было в городе рабочих мест в продовольственных магазинах, в три — в промтоварных. Тысяча двести семей ожидали жилья... Обратная сторона медали была такой: за один год комбинат принял две тысячи двести двадцать шесть, а уволил тысячу пятьсот восемьдесят семь человек. Тот же итог выходил и в Сургуте: в прошлом году так называемый среднесписочный состав НПУ «Сургутнефть» был шестьсот семьдесят один человек. При этом за год вышло пятьсот восемьдесят, а принято было семьсот девять человек...

К 1970 году в Ханты-Мансийском национальном округе — и главным образом там, где идет добыча нефти, — понадобится еще сто двадцать тысяч работников. Найти их можно в других районах и областях страны. Но из десяти приехавших остается только один. Значит, миллион восемьдесят тысяч человек уедут обратно. Шестьдесят девять процентов выбывших с предприятий Средне-Обского нефте-газового района работало не более года. Север Тюменской области за один год потерял миллион двести тысяч человеко-дней.

Опыт наступления на Сибирь показывает, что неразумно, нерасчетливо экономить на жилищном строительстве, на организации быта — все это обязательно приводит к производственной лихорадке, ставит перед новыми предприятиями дополнительные трудности, снижает их отдачу. Да и из практики мирового строительства давно известно, что экономия на бытовых нуждах — это самое невыгодное, самое убыточное занятие, ибо оно вызывает резкое снижение производительности труда и текучесть рабочей силы. Миграция одного рабочего в условиях Сибири обходится государству примерно в тысячу девятьсот рублей. Благоустроенный город миграцию сокращает. И получается, что только двадцать пять процентов такого сокращения сберегают нам огромную сумму — до трехсот миллионов рублей в год!

В будущей пятилетке предвидятся трудности с обеспечением народного хозяйства рабочей силой. Естественный прирост не удовлетворит потребности народного хозяй-

ства. Вот тогда-то, надеются в планирующих органах, предприятия сделают все, чтобы устроить жизнь и быт своих работников. И города тогда будут соответственно строиться лучше: министерства не поскупятся.

— Это и станет экономическим рычагом,— объяснили мне в Госплане СССР.

Я согласился. Но, уповая на будущее, пусть даже и недалекое, нельзя бездействовать сегодня, нельзя не болеть за те ошибки и промахи, которых много было в прошлом. Сегодня ли, завтра — хороший город всегда будет городом самым экономичным.

Есть же в конце концов объективные, выверенные законы градостроительства — так почему позволено едва ли не каждому гнуть свое, двигать дело в ту сторону, где показалась ему истина?

Конечно, можно и выждать, когда с великим трудом подыметесь на ноги некапитальный город Сургут. Это время в Москве у работников министерств, Госплана и Госстроя пройдет незаметно: дела, дела! Но каково ждать тем, кто связан с городом работой, кто отдает ему силы, годы, жизнь? А судьбу Сургута, сколько могу, предвижу. Нерадостная это судьба: ведь лучшего способа судить о будущем, кроме как по прошедшему и настоящему, человечество не нашло еще. Предвижу и то, что не с кого будет спросить за нее. Область сошлется на министерства, Миннефтепром, как дважды два, докажет, что виноват прежде всего Мингазпром, оба вместе они укажут на Госстрой, погом дойдет черед и до Госплана.

Вот Братск с прошлым, напоминающим Сургут в настоящем, и с настоящим, соотносящимся с Сургутом будущего. Причем во все времена у Братска было то, чего по сей день нет у новой нефтяной столицы — мощная строительная база. Тем не менее в конце пятидесятих годов родилась близорукая мысль: вокруг тайга, так пусть и город будет деревянный. Началась погоня за призрачной экономией — хотели, чтоб хорошо вышло и дешево.

Когда ошибочную мысль высказывает простой смертный — что за беда, поправят. Важно, чтобы ошибка не успела материализоваться, обрести плоть, которая в этом случае будет, как опухоль. Но авторитет освящает все. Близорукая мысль сошла за дальновидную, хотя проектная численность Братска была ни много и ни мало — сто тысяч человек!

В более чем вековой давности строительных нормах и правилах — «Архитектурных примечаниях», выпущенных в 1844 году в Москве типографией Николая Степанова, сказано было с покоряющей ясностью: «Никакая работа не может быть начата без разрешения начальства». Что ж еще: есть разрешение — начинайте, сказано как — делайте. Примерно так получилось и в наши дни. Пришло решение, которому архитекторы возразить не могли, и выпущен был генплан: Братск из дерева. Госстрой генплан утвердил.

Никто сейчас не уберет с лица города его родимые пятна. Деньги вложены, деньги немалые, и два бревенчатых района стоять будут долго.

Прошло время, обнажив промахи незрелой мысли. Появилось иное решение: строить Братск капитально. Переделали генплан, кинулись искать дом, но ничего подходящего, кроме все той же серии I—464, в производстве не оказалось... Словно одну и ту же книгу читаешь: и трудности с жильем, и нарушение всех норм социальбыта, и невероятно медленные темпы строительства его, и нудные препирательства по поводу места для города, и поселки, съевшие уйму денег, и улицы в сердце Сибири. в точности напоминающие улицы чьих-нибудь Черемушек,— все это было. И есть теперь у нас еще один зауряд-город, с которым мучаются архитекторы и который человеку неуютен. Таков Братск. Таков и город на горе Железногорск-Илимский.

2

В тех же «Архитектурных примечаниях» параграф сто семьдесят пятый посвящен ответственности архитектора. Там сказано: «Архитекторы и их помощники при строениях обязаны принимать старание о прочности и доброте материалов, употреблении оных; в противном случае подвергаются ответу и взысканию денежному». Этот же параграф грозил архитектору арестом «за оплошность при освидетельствовании».

Да, в 1844 году архитекторам жилось трудно. Заказчик, судя по всему, был всемогущ и требовал тщания. Поэтому надо было смограть в оба, стараться и поминигь, что арест и денежное зыскание сопутствуют работе. «Примечания» составляют будущий домовладелец — это почти очевидно. Но тот, кто оказался достаточно просвещенным, чтобы довериться зодчему, получил то, что называется сейчас памятником архитектуры.

Рассказывая о европейской архитектуре начала двадцатого столетия, английский исследователь Арнольд Уиттик написал: «Была и другая категория предпринимателей и архитекторов — предпринимателей, которыми руководили передовые архитекторы. Эта категория наиболее редка, но вклад, сделанный ею, был наиболее жизненным и важным».

Когда бываешь в Вильнюсе, то поводов для такого рода размышлений находишь немало. Если принять Шеллингово сравнение архитектуры с застывшей музыкой, то Вильнюс, как он вошел в наши дни, был подобен прекраснейшей из симфоний. В нем — та гармония контрастов, те вдруг возникающие потрясения, то общее возвышающее настроение, которыми отмечены подлинно великие творения. Замок Гедиминаса и сорок соборов, каждый из которых — явление, а некоторые — соборы святой Анны, Петра и Павла, кафедральный собор — мировые шедевры. Невероятно сложно строить в таком городе новое.

Тем не менее новый Вильнюс удачно продолжает старый. Здесь есть все, о чем во многих городах у нас только вздыхают. Я имею в виду то, что литовская столица — это город, в котором новые районы, при всей своей функциональности и лаконичности, имеют одним только им присущий облик, одним только им присущую элегантность. Жирмуну ли, Антакальнис, проспект Красной Армии (и — уверен — в поднимающемся сейчас жилом массиве Лаздинай увидим мы не один пример еще более удачных градостроительных решений) — везде Вильнюс остается Вильнюсом, и типичность его — своя и особенная, а никакая не владивостокская, новосибирская или рязанская, хотя город по существу сходит с конвейера: почти восемьдесят процентов его новостроек — крупнопанельные типовые дома.

Вместе с архитектором Бируте Касперавичене поехали мы в район вильнюсских новостроек — Жирмуну. Касперавичене взялась показать мне свое детище — микро-район 18-Д, который принес ей первую премию на Всесоюзном смотре творческих достижений советской архитектуры, посвященном пятидесятилетию Октября, за который удостоена она Государственной премии.

С правого берега Нериса виден был изящный, легкий набег светлых зданий, замерших у высокого края реки. Торцы их были разных цветов.

— Мы решили оживить панели,— сказала Касперавичене, когда я стал восгоргаться тонким вкусом, с которым подобраны были цвета.

А потом, когда я сказал, что нравится мне свободное расположение домов, допускающее к себе и реку, и чудесные холмы противоположного берега, разнообразие зданий, нравятся просторные дворы с площадками, легкими навесами над подъездами, перекладинами для сушки белья, зеленью травы, нравится забота о жителе, сквозящая в каждой мелочи,— Касперавичене сказала в ответ:

— Очень трудно было. Плотность застройки высокая — три тысячи триста квадратных метров на гектар.

Касперавичене — один из самых талантливых архитекторов Лигвы. Она скромна, сдержанна, немногословна.

Невольно возникает вопрос: почему так складно получается все в Вильнюсе? Быть может, условия какие-то особенные созданы для здешних строителей и архитекторов?

Однозначный ответ тут невозможен. Надо прежде всего говорить не об архитектурных достоинствах вильнюсского строительства, не о на диво удавшемся разнообразии схожего, а обратиться к той главной пружине, благодаря которой и совершается все дело. Тогда и обнаружится вдруг, на какой остроте неразрешенных вопросов, искусственных противоречий и тягостных проволочек вырос этот, как мы называем его, «положительный опыт».

Первые полносборные дома появились в Вильнюсе девять лет назад. Скрашивая архитектурную неполноценность новых зданий, литовские градостроители как бы гримировали их — балконами и лоджиями. В 1961 году Институт проектирования городского строительства Литовской ССР разработал улучшенные проекты домов серии I—464. Проекты, как полагается, повезли в Москву, в Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре, чтобы собрать на них необходимые подписи и утвердить.

Была это одна из первых крупных работ института, и нетрудно вообразить, с каким волнением ожидалось в Вильнюсе окончательное решение. Но в благополучность исхода верили: кто откажется за те же деньги строить дома, которые несравнимо лучше и по виду своему, и по планировке квартир? Здравый смысл был на стороне архитекторов — это точно. А вот что было против — так сразу сказать не просто. Во всяком случае три месяца не было в Вильнюс окончательного ответа, потом началась всеобщая реорганизация типового проектирования (все сводили в центральные институты), и по истечении года трудно было уже найти и самый след планшетов с проектами. Они пропали.

Невесело стало тогда в институте, у многих опустились руки. Конечно, можно было эти проекты возобновить, можно было бы снова, набравшись терпения, послать их в Москву и вдогонку отправлять нарочных — подталкивать, улаживать, согласовывать, но отношение было уже высказано, мало того, оно поднялось теперь до уровня закона: делайте только так, а не иначе, и вряд ли был резон прошибать лбом стену. С другой стороны, нельзя было не понимать, что одно лишь внутреннее неучастие в порче Вильнюса не есть еще полезное дело, и, обеляя градостроителей в их собственном сознании, никак не снимало с них ответственности перед жителями литовской столицы, которым, как никому, дороги судьба и лицо города. Надо было действовать — а действовать было невозможно.

Чрезвычайное, даже безвыходное положение. Как тут не вспомнить одного из опытнейших наших градостроителей Иосифа Игнатьевича Ловейко, который мне говорил:

— Это все постигается трудно. Вы не архитектор, в нашем положении не бывали... Какая это архитектура, если дают тебе типовой проект, и от него ни на шаг, — возмущался Ловейко. — Смотрите: есть дом (он начертил горизонтальную прямую, ограничив ее с обеих концов), и ставить его можно только так (четыре дома выстроились ровной строчкой). А по-другому (здания слились в одно) или вот так (образовалась ломаная линия) я никакого права не имею. У Стройбанка законы свои... И получается — чем примитивнее, тем лучше. Для такого случая и приказ есть.

И в самом деле вот он, приказ по ГлавАПУ: «Запретить руководителям проектных организаций и главным архитекторам района вносить изменения в привязки проектов жилых домов соответствующих серий, предусмотренных утвержденными титульными списками на 1968 год». Но, слава богу, архитекторы берут на себя ответственность некоторые приказы не замечать. Тот же Ловейко в период наисильнейшего расцвета пятиэтажного строительства ухитрился возводить в Москве многоэтажные здания сверх отпущенных на это процентов. Правда, итог был не совсем для него веселый...

Нашли выход и в Вильнюсе. Предложил его главный архитектор Института проектирования городского строительства Витаутас Бальчунас:

— Поговорим с директором домостроительного комбината. Может, сделает нам один дом без всяких решений. Может, поверит слову. А потом пригласим комиссию — пусть смотрит.

Конечно, над ним посмеялись. Какой директор, будь он трижды романтик и даже патриот, добровольно поставит себя под удар? Но ко всеобщей неожиданности, Самуил Исакович Любецкис, директор вильнюсского домостроительного комбината, ныне лауреат Государственной премии, свое согласие дал. С условием: чтобы никто, кроме двух вступивших в договор сторон, об этом доме не знал, чтобы проектировщики рабочие чертежи делали прямо на заводе, чтобы поиски участка взяли на себя градостроители.

Все это было похоже на детектив. Бальчунас улыбался, вспоминая:

— Сам не знаю, как участок достали. Чудом!

Но тайну соблудности не удалось. В «Вечерних новостях» появилась заметка о том, какой хороший дом сооружается в городе. В институте замерли. Однако развязка неожиданно оказалась счастливой. Госстрой республики, ее Госплан, столичный горисполком — все остались даже в обиде на институт, который проявил к ним напрасное недоверие.

— Да разве мы не поддержали бы вас? — корили Бальчунаса в Госстрое.

Это было уже другое отношение к архитектуре, которое для архитекторов оказалось неожиданным и тем более прекрасным. Не так просто позабыть время, когда архитектора не переставали поучать, что и как надлежит ему строить; когда декретировали каждый его шаг; когда буквой постановлений загнали его в такой тупик, откуда и сейчас не может он выбраться. Все это не проходит бесследно. И мы не напрасно озабочены сегодня квалификацией наших градостроителей, их умением мыслить и творить.

Вспомним Черемушки московские; вспомним Черемушки новосибирские, ивановские, свердловские... А Ташкент, город, восставший из руин? «Комсомольская правда» пишет: «Теперь, когда есть над головою добротная крыша, пора оглянуться, а хорошо ли строим? И выходит: не очень пока хорошо. Строителей, правда, упрекнуть не в чем. Они сделали все, что могли, они строили наверняка лучше, чем строят у себя в городах. Но, честное слово, это не анекдот: один человек, получив жилье, несколько раз возвращался и ночевал на службе, потому что не смог отыскать свой дом. Все одинаково! А ведь строили разные люди. Из разных городов. С хорошим опытом. Старались. А получилось: строили один многоликий дом. Это значит — во всех городах у нас жилые массивы — сплошной одноликий стандарт. Это, конечно, не новость. Об этом давно идут тревожные разговоры. Просто в Ташкенте, на «ярмарке строительства», еще один раз обнаружилось: товар у всех одинаковый. Автор статьи вполне прав: ничто не может быть тоскливее, монотоннее и хуже, чем однотипные многоквартирные дома средней величины.

Архитектура нашего времени переживает мучительный конфликт — конфликт между искусством и индустриализацией. Век индустриализации, век поточных методов не мог обойти стороной строительство. Это предвидел еще Корбюзье. Он предвидел качественные изменения в архитектуре, необходимость градостроительного подхода к ней. Едва ли не первым провозгласил он стиль двадцатого столетия, диктующий необходимость перехода «от анахроничной постройки изолированного здания «по мерке», со всеми неизбежными частными случаями, к постройке целых улиц, целых кварталов». Он же сказал: «Планировка требует единообразия в деталях и движения в целом».

Единообразия в деталях, в частном и целом, у нас хоть отбавляй. Нет движения, смены ритмов, контрастов — нет прекрасной, четкой и строгой простоты. Как приблизиться к идеалу? Два условия: во-первых, надо уметь, а во-вторых, обладать возможностью свое умение проявить. В Литве — вот одно из особенных преимуществ ее градостроителей — к архитекторам относятся уважительно, с их мнением считаются и все несогласия стремятся решить свободным обменом мнениями, а не силой приказа.

Когда разрабатывался проект реконструкции площади Ленина — центральной в Вильнюсе, — архитекторы предлагали сохранить на ней костел восемнадцатого века. Ломать всегда легче, чем строить, а такие здания вряд ли будем мы сооружать когда-либо. По поводу костела возник большой спор. В числе сторонников его уничтожения был председатель горисполкома, были и другие, обладающие немалой властью люди. Но они спорили, доказывали, а не приказывали. Последнее слово осталось за архитекторами, полезность которых как специалистов в республике сомнению не подвергается.

А история незаконного дома завершилась так. Официальной комиссии из Госкомитета заполучить не удалось. Приезжали как бы полуприватно и, не восторгаясь и не впадая в гнев, в меру хвалили, в меру и поругивали. Выдерживалась золотая сере-

дина или, что то же самое, оловянное равнодушие — проклятый принцип безопасной безответственности.

Все же дома с улучшенной планировкой запустили в серию, и в Вильнюсе начался градостроительный ренессанс. С тех пор домостроительный комбинат много раз менял оснастку, новые кварталы застраиваются красиво и разнообразно — но легче ли стало литовским градостроителям? Годами прекрасной, самоотверженной работы они добились в республике уважения и признания, и, честное слово, это лучшее их достижение. Ну, а за пределами Литвы, в тех органах, которые осуществляют государственную политику в области гражданского строительства и архитектуры, какое там встречают они отношение?

Премии? Да, все чаще литовские архитекторы получают премии на всесоюзных конкурсах. Более того, из пяти работ их молодых коллег — выпускников Каунасского политехнического института — четыре завоевали первые премии на всесоюзных конкурсах дипломных проектов. Но сколько игл скрыто в лавровых венках победителей!

Надо было не один раз доказать право на существование окон, не отвечающих гостовским нормам. По мнению многих наших и зарубежных специалистов, в современном, с гладкими стенами, здании окно есть важнейший архитектурный элемент.

— Мы слишком большая страна, чтобы и окна были у нас одинаковые, — сказал мне заместитель председателя Госстроя Литовской ССР А. П. Растейка.

Но мало того — случись в одно время перебой с деревом, и в Литву, республику с традиционно высоким качеством столярных изделий, решено было завозить оконные переплеты, изготовленные в Великих Луках. А великолукские окна оказались вчерашнего дня: с форточками и двойными рамами... И никаких апелляций не признавали центральные планирующие органы: решено — и basta! И стоять бы вильнюским домам с изуродованными лицами, если бы не нашлось Соломонова решения: из Великих Лук посылали в Вильнюс заготовки, в Вильнюсе делали из них на нужный манер окна, деньги же на завод-поставщик переводились как за готовую продукцию...

Но мало того: проект здания для горисполкома и министерства местной промышленности утверждался «ходом коня»: на один дом посланы были две сметы. Первая — на здание для организации в триста человек, вторая — на здание для организации в четыреста человек. (Триста плюс четыреста — семьсот. А здание для организации в семьсот человек должно быть типовым — закон! Что ж до композиции, где необходимо было оригинальное сооружение, как говорят архитекторы, акцент, — так это из незаконной области градостроительных мечтаний.)

Но и это еще не все. Однажды Бальчунас поехал в Москву, в Комитет по гражданскому строительству и архитектуре, просить деньги на типовое проектирование. По скромным подсчетам, литовским архитекторам достаточно было бы на год семьдесят тысяч рублей. Бальчунас так и сказал: семьдесят тысяч. Ему предложили — три.

— Неделю сижу в Москве, — с литовской обстоятельностью рассказывал Бальчунас, — пользы не имею. На восьмой день беру билет домой. Хватит, думаю. Тут встречает меня Лордкипанидзе из тбилисского проектного института. «Что ты, говорит, куда гы! К председателю тебе надо». Убедил. Сдаю билет, записываюсь на прием, прихожу. Сразу начинаю о главном: «Невозможное отношение к республикам. Почему? У нас же есть кому работать!» Смотрю, пишет резолюцию: «Удовлетворить».

— Ну и помогла резолюция?

— Помогла. Прихожу к тем же людям, которые давали три тысячи, — совсем другое вижу ко мне отношение. Улыбаются. Вежливые. «Так сколько вам — семьдесят тысяч? Скажите, а вас не устроит тысяча шестьдесят?» — «Ладно, говорю, устроит». — «Тогда идите к начальнику главка». Прихожу. Тот тоже вежливый, как англичанин. «Все в порядке, говорит, все в порядке. Решайте теперь с моим замом». Я его удивляю: «С вашим замом дела не имею. У него как дважды два, что нам три тысячи и то много». Такое тут началось неловкое положение... В конце концов уехал я с шестьюдесятью тысячами на кооперативное строительство.

— При чем здесь кооперативы?

Бальчунас развел руками, удивляясь моей наивности:

— Так у них по сметам выходило...

Что сказать еще? О монументальной ли живописи, которая отвергается Стройбанком как излишество и проходит, маскируясь в капитальный ремонт? О борьбе за гостиницу «Интурист», которую надлежало строить по типовому проекту, разработанному в Ленинграде для Вильнюса, Риги и Таллина, а сооружать будут все-таки по проекту индивидуальному? Хорошо бы сказать обо всем, но долог будет этот разговор...

А город? Город строится! Несмотря на все трудности, препятствия и тернии — строится, и еще как! И что бы ни говорили мы о важности зданий уникальных, сооруженных по индивидуальным проектам, не они — массовая застройка определяет лицо города. А в новых районах она на все сто процентов — крупнопанельная, сборная. Чтобы наглядней были масштабы строительства, приведу несколько цифр. В прошлом году в Вильнюсе построено двести тысяч квадратных метров жилья. Все делается с расчетом на то, что в 1980 году в городе будет четыреста двадцать пять тысяч человек.

Доля крупнопанельного домостроения — сто сорок пять тысяч квадратных метров. Шесть лет назад мощность ДСК была меньше в два раза. По существу город сходит с конвейера — явление, типичное для современного градостроительства. В огромном большинстве случаев картина выходит нерадостная — об этом мы говорили уже. Мы отмечаем также, что к идеалу можно приблизиться, обладая умением и возможностью свое умение проявить. Вторую часть этой формулы определяет не только общественный климат, но и материальная база, способная быстро осуществить идеи архитекторов. Неподобность новых районов достигается только тогда, когда индустрия ставится на службу архитекторам. (У нас же почти повсеместно происходит обратное: градостроитель исходит из того, что предлагает ему предприятие.)

Вильнюсский домостроительный комбинат уже давно отказался от домов с улучшенной планировкой, производство которых только освоено предприятиями строительной промышленности страны.

— Для нас это пройденный этап, — объяснил мне директор домостроительного комбината Самуил Исакович Любецкис. — В архитектурном отношении наши дома впереди на пять-шесть лет. То же и в планировке. Что мы даем людям? — спросил директор и сам же ответил: — Мы даем людям почти квадратные комнаты — раз. Мы увеличили кухню и коридор — два. Литва не юг — людям нужно солнце. Каждой семье мы стремимся дать окно на юг — три.

Принцип, которого держится Любецкис — одна серия на определенный объем застройки, — в тысячу раз современной и прогрессивней общепринятого правила выпускать серию зданий на определенное время. Дома, которыми застраивается первый район Лаздиная, не будут, как две капли, подобны тем, которые появятся в следующем районе этого жилого массива. Архитектор таким образом получает палитру и широкие возможности градостроительной композицией снять противоречия типового проектирования. Не говорю уже о комплексности застройки новых районов, которая достигается главным образом потому, что восемьдесят пять процентов всех строительных работ выполняет комбинат, а единый по городу заказчик — Управление капитального строительства горисполкома — принимает микрорайон вместе со всем благоустройством и набором культурно-бытовых предприятий.

Так, может быть, именно здесь и обнаружили мы ту главную пружину, которая, разрушая препятствия и преодолевая трудности, приводит в движение весь сложный механизм градостроительства? Конечно, умелая организация дела имеет первостепенное значение. Но с выводами торопиться не следует. Вильнюсский урок прочитан еще не до конца, и главное — впереди.

— Кроме неприятностей и хлопот, новые серии ничего не приносят нам, — заметил Любецкис. — Моральное удовлетворение, говорите вы? Им одним и держимся. А вот безобразники, которые с пятьдесят девятого года выпускают все те же дома, — они чем держатся, позволю спросить?

Задумаемся на минуту, осмыслим горькие слова человека, которому очень и очень многим обязан город Вильнюс. Задумаемся: какой смысл было Любецкису идти на риск с первым «незаконным» домом? Какой в самом деле есть ему смысл всякий раз,

по его же собственному признанию, «сжигать за собой мосты»? Куда ни кинь — везде выходит директору ДСК лишняя нервозность. Одна радость — город строится достойно.

А каково архитектору Витаутасу Бальчунасу? Ему за сорок, девять лет работает в институте. Ранее был главным архитектором республиканских художественных мастерских и в пору безразличия к памятникам архитектуры упорно и страстно занимался восстановлением Тракайского замка — национальной гордости литовцев.

— Это так было, — рассказывал он. — Прихожу в Госплан, приношу заявку за жель, кирпич и еще всякую разность. Смотрит заявку молодой парень и ухмыляется. «Слушай, говорю, ты откуда?» — «Из Пабраде». — «А замок там, красивый такой, помнишь?» — «Помню». — «Так его реставрировать надо, совсем плох. А у нас его из сметы вычеркнули». Так и получал все — жель, кирпич, машины. Помню, выступал на всесоюзном совещании реставраторов. Говорю: «Наши мастерские имеют двенадцать грузовиков». Что тут было! Аплодируют, кричат: «Скажи, как?!» А вот так.

За восстановление Тракайского замка одна из центральных газет подвергла архитекторов жестокой критике, обвинив в разбазаривании народных средств. Эта же газета раскритиковала оформление кафе «Неринга» в Вильнюсе — все по той же причине.

В первом номере журнала «Архитектура СССР» за 1968 год читаем: реставрация замка Тракай — «отлично проведенная работа, глубоко научно обоснованная, со вкусом и с большим знанием замковой архитектуры средних веков сделанная, очень тщательно выполненная. Посещение этого знаменитого сооружения заставляет волноваться сердце каждого, кто любит архитектуру, природу, кого трогает история страны, для кого дороги картины прошлого». Реставрация Тракая получила поощрительную премию на том же Всесоюзном смотре творческих достижений советской архитектуры, где первой премии удостоена Бируте Касперавичене. А интерьер кафе «Неринга» считается сейчас образцом отличного вкуса, изящества, простоты и национального колорита.

Но у Бальчунаса была все-таки душа архитектора. Он хотел проектировать и потому ушел в институт. Прошло девять лет. За первый большой проект он сел только недавно: все эти годы только и делал, что пробивал, лавировал, договаривался, искал пути в обход нелепых норм и правил — расчищал дорогу новому. Я имел бестактность спросить, что, мол, не горько ли ему в его сорок три года думать, что, быть может, гибнет в нем архитектор?

— Конечно, горько. Но кто-то должен был заниматься тем, чем занимался я. Главное ведь то, что город строится...

3

Архитектура всегда конкретно-исторична. Социальная сущность архитектуры и строительства (еще Чаадаев в четвертом «Философическом письме» говорил о связи зодчества с духом времени и его главной идеей) определяется общественным строем. Поэтому, оценивая достижения зодчества, мы не должны ограничиваться только тем, как это сделать; нам важно знать, для кого это сделано и для кого, как работала архитектура. Создатель города Бразилиа Оскар Нимейер считает, что трудности технического рода сковывают творческую свободу архитектора, а трудности политического и социального порядка. «Здесь архитектура и градостроительство вступают в противоречие с капиталистическим обществом... Сегодня архитектор либо проектирует роскошные жилища для богачей, либо, отзываясь на просьбу правительства, строит общественные здания. Но что за дома архитектор вынужден строить для бедняков! Как занижены требования! Как мало эти жилища отвечают даже таким заниженным требованиям!.. Надо изменить социальную структуру общества, для того чтобы архитектура могла служить всеобщему благу», — пишет Нимейер.

Страной дворцов и лачуг пришла Россия к семнадцатому году: здание и его обитатели получали место в жизни по классовой принадлежности. Изба крестьянина и усадьба помещика; барак рабочего и особняк фабриканта — в самом облике строений ясно видна их различная социальная роль. Сто восемьдесят миллионов квадратных метров, а восемьдесят процентов из них жильё одноэтажное и неблагоустроенное —

вот что построила в городах династия Романовых. 2133,6 миллиона квадратных метров жилья — таков итог пятидесяти лет советской власти, итог деятельности много класса заказчиков. Причем жилье в социалистическом обществе входит, как известно, в общественные фонды, которые распределяются вне зависимости от трудового вклада каждого. Поэтому-то социальной природе нашей архитектуры чужды жилые, культурные и общественные здания, которые были бы комфортабельнее других. (Такое различие является к тому же нарушением социалистического принципа распределения общественных фондов.)

По признанию выдающегося западногерманского архитектора Гильбрехта, социализм принес градостроительству «политическое сознание ясного общественного замысла». Прибавив сюда другие преимущества социалистической системы, в числе которых плановое хозяйство и государственная собственность на землю, увидим объективно прекрасные условия для рождения новых городов, для развития и реконструкции старых.

Да, у нас есть все — и огромный опыт, и великолепные, всем миром признанные мастера архитектуры и строительства, есть, наконец, города, в которых полно и мощно выразилось лицо эпохи. Но главного — определенного и высокого уровня градостроения, который был бы обязателен для всех, — у нас пока еще нет. Могу ли такой уровень, такой в хорошем смысле стандарт появиться у нас? Вопрос сложный.

Этот уровень-стандарт в значительной степени определяется, по крайней мере должен определяться, так называемыми СНиПами — строительными нормами и правилами. СНиПы, а также многочисленные инструкции разработаны по всем видам строительства, утверждены Госстроем СССР и по идее должны быть для архитектора и строителя примерно тем же, что есть для всех нас гражданский и уголовный кодексы: не хочешь конфликтовать с обществом — чти и не преступай. Все правильно: порядок должен быть всюду.

Между тем некоторый беспорядок зародился в самом святилище порядка: за последние десять лет строительные нормы и правила, касающиеся планировки и застройки населенных мест, менялись дважды. Я положил перед собой оба варианта и методически — главу за главой, пункт за пунктом — стал их сравнивать. В общих требованиях к городу, в провозглашении его рациональности, комплексности решений всех проблем они были близки друг к другу. Но многие очень важные частности их не сходились, и как из разных слагаемых получена была одна и та же сумма — это и сейчас остается для меня тайной.

Старые правила диктовали архитектуре: «Необходимо устанавливать наиболее целесообразную этажность... принимая для застройки больших и крупных городов в основном жилые дома высотой в 4—5 этажей, а для средних и малых городов — преимущественно в 2—3 этажа». В новых же СНиПах сказано: «Этажность жилых домов... следует устанавливать на основе технико-экономических обоснований с учетом местных условий. В населенных местах с ограниченными для их развития территориями, а также при больших затратах на инженерное оборудование и подготовку территории следует предусматривать преимущественно смешанную застройку с применением девятиэтажных жилых домов, а в отдельных случаях — домов большей этажности». Прежде, во имя всего лучшего, мы требовали применять «возможно меньшее число типов домов», теперь, имея в виду все те же высокие цели, мы выступаем поборниками «разнообразных объемно-пространственных решений застройки». Раньше мы планировали на тысячу жителей 40—50 мест в детских садах и 30—40 мест в яслях; сейчас мы установили другую норму: 70—90 мест, для северных же районов, учитывая их специфическую демографию, по 120 мест на тысячу человек населения. Намного больше стала сейчас и допустимая плотность брутто — количество квадратных метров жилья на гектар микрорайона... Только вот если раньше театры рекомендовалось предусматривать «в городах с населением не менее 50 тысяч человек», то теперь и театры, и цирки, и концертные залы «следует предусматривать преимущественно в городах с населением более 200 тысяч человек».

Могут сказать, что не так это и часто — за десять лет дважды изменить градостроительные законы. Отвечу, что можно и чаще, если есть в том объективная надоб-

ность. Но такой необходимости не было — наша озабоченность нынешним состоянием градостроительства порождена неоднократным искусственным вмешательством в архитектуру. И грех был бы нам не учиться на собственных ошибках.

В 1955 году деловую, разумную, толковую критику эстетского отношения к архитектуре захлестнула ажиотажная кампания. Она и родила весьма нехитрую схему: что не предельно дешево — то плохо; что не до конца обтесано — то излишне.

Так появился пятиэтажный, разных серий и исполнений, но неизменно ординарный дом. Он был официально признан самым экономичным, и один уважаемый градостроитель, выступая в 1960 году на совещании, оказался вынужден это подтвердить: «Пятиэтажный дом должен явиться основным типом застройки в крупных, больших и средних городах». Признание или непризнание пяти этажей было своего рода символом веры, по которому судили и отпускали грехи.

Еще в 1965 году 65—70 процентов всех построенных зданий составили пятиэтажные. Сами по себе такие дома дешевле девятиэтажных — это осознается наглядно. Но если не спешить и учитывать все условия градостроительства, тогда во многих случаях гораздо выгоднее строить выше, чем ниже. Придет время, утверждают некоторые архитекторы, сносить в Москве пятиэтажные дома постройки пятидесятих годов, освобождая место высотным зданиям. Но этот дом был у нас одним из первых действительно типовых — такое оказалось в нем решающее преимущество. Начато было верно: жилищная проблема в нашей стране могла быть решена только с помощью типового, индустриального строительства. Нелепости обнаруживались позднее...

Разными институтами разработано у нас на сегодняшний день около восьми сотен типовых проектов. Используется же из них вряд ли десятая часть. А то, что строится, подобно горошинам из одного стручка: выбрать не из чего. Это во-первых. Во-вторых, и хорошим проектам, когда они есть, пробиться на завод не просто. Нужно, чтобы директор был директором Вильнюсского ДСК Любецкимсом, чтобы он, обеспечив выпуск одного-двух гипсов домов, не успокаивался, чтобы во имя города шел на продуманный риск. Но вильнюсский директор — в строительной индустрии явление уникальное. Что тогда? Тогда, значит, надо перестраивать всю систему: проект — завод — дом. Надо, чтобы предприятие работало в таких условиях, которые бы заставляли его все время идти вперед, искать и перевооружаться.

И прежде всего необходимо как-то координировать эту систему, сосредоточить руководство ею в одних умелых руках. Ибо сейчас проекты жилых домов разрабатываются организациями Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре, за технологию отвечает Министерство промышленности строительных материалов, оборудование готовит Министерство дорожного, строительного и коммунального машиностроения, ДСК же и заводы сборного железобетона находятся в ведении разных министерств и ведомств... Которой из этих организаций взять на себя руководство индустриальным домостроением? Закономерное подчинение промышленности требованиям архитектуры, подчинение, дающее нам сегодняшний Вильнюс, наводит на мысль: для этой роли по сути своей предназначен Госкомитет по гражданскому строительству и архитектуре.

Как видите, решение архитектурно-строительной проблемы связано прежде всего с вопросом чисто организационным. От этого никуда не уйти: надо думать о будущем, надо освобождать наше градостроение от тех крайне несовершенных, во многом оставшихся от прошлого форм организации, в которые оно поставлено. «Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность». Я привел эти слова из ленинской «Лучше меньше, да лучше» потому, что и в самом деле пора, пора нам самым серьезным образом взяться за ум и разобраться наконец, что же происходит с нашими городами, какую судьбу готовим мы им?

Проект Железногорска-Илимского делали в Ленинграде, в НИИП градостроительства. Софья Иосифовна Виллим, старший архитектор проекта, о рождении города рассказывала так:

— Дома придумывали не мы — мы их только применили. И не мы их строили — это дело строителей, причем квалификации невысокой. Такое наше положение.

Права она была или нет? Судите сами.

Драться за Железногорск, как Бальчунас и его коллеги за Вильнюс, ленинградцы не могли. Да и зачем? Им там и по соседству не жить. Права изменять типовые проекты никто не давал им, а если бы они внесли все-таки изменения, Стройбанк, охраняющий типовые проекты рублем, отказался бы финансировать строительство. Наконец, нечего было и думать о каком-то особом, отличном от прочих, типе дома специально для Железногорска: даже Братск, даже Новосибирск строятся, как все, — обычно.

Противоречие налицо: типовые дома должны органически входить в живую ткань города, должны отвечать его климатическим и демографическим условиям. Жесткий централизм типового проектирования это противоречие только усиливает, и помню, главный архитектор Ашхабада Абдулла Ахмедов говорил мне, что дома, строящиеся в городе, едва ли соответствуют здешнему климату с перепадами от 46 градусов жары до 20 градусов мороза и демографическим особенностям туркменской семьи. Доказано между тем, что если мы хотим серьезно заняться профилактикой гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, то в градостроительстве никак нельзя обойтись без специального учета климатических условий.

Ошибки имеют свойство вырастать в проблемы. Не странно ли предъявлять претензии к архитектуре, которой мало даем архитекторов?

У нас достаточно инженеров и научных работников — есть успехи в науке и технике; достаточно учителей — мы страна просвещенных людей; достаточно врачей — и мы не боимся болеть... В Ашхабаде всего десять архитекторов с дипломами, в Тюменской области — семнадцать, в Магаданской — двадцать пять; в Сургуте на должность главного архитектора города с трудом нашли инженера-землеустроителя. На сегодняшний день у нас немногим более десяти архитекторов, в США — двадцать восемь тысяч... В Госплане по этому поводу говорят, что проблему подготовки архитекторов мы проглядели. Мы спохватились только перед обнаружившимся провалом, который образовался, конечно, не вдруг. Но бог с ним в конце концов: принято специальное решение, лет через пять архитекторов станет у нас много больше, а еще через пять — семь лет, когда молодые специалисты войдут в силу, уже и почти хорошо будет. Но выучить архитекторов — это не все. Надо еще научиться должному к ним отношению, вернуть им ощущение их важности в жизни общества. И если наши улицы и города «безязыки», если архитекторы не могут перешагнуть в искусство, ибо не нашли еще ключа к проблеме индустриализации, то за всем этим стоят и долгие годы неуважения к архитектуре и архитектору.

Директор ЦНИИП градостроительства Вячеслав Алексеевич Шквариков рассказывал, как возникал город Орск (было это до войны). Двенадцать предприятий, размещившиеся на двенадцати друг от друга удаленных площадках, каждое строили себе все — от дорог до жилья. Двенадцать поселков, между которыми зияли «мертвые земли» бездорожья, появились вместо города.

Вспомнив Сургут, мы найдем в нем черты того далекого времени, увидим в нем как бы современника Орску и некоторым городам начального периода нашего градостроения. Но если тогда многое можно было оправдать объективными трудностями, промахами незрелой еще мысли и, главное, несовершенством планирования, то теперь, чем теперь объясним мы Сургут? Ничем иным, кроме системы планирования.

Чуть переиначив пословицу, получим: без хозяина город — сирота. Сургут — город-сирота, ибо хозяина в нем нет: ни горисполком, ни Миннефтепром, ни Мингазпром, ни другие министерства и ведомства, ни органы надведомственные — никто за его судьбу не отвечает. Отсюда все сургутские парадоксы и вывихи.

За генпланы Сургута и других новых городов Западно-Сибирской низменности ответственные есть — Госкомитет по гражданскому строительству и архитектуре и Госстрой РСФСР. Но ведь надо же следить кому-то и за тем, как эти генпланы выполняются! Не будем ведь мы сооружать завод как бог на душу положит, — абсурд, невозможный в капитальном строительстве. А вот в городах наших подчас доходит и до

абсурда. Примеров тому не счесть: больше пятисот заказчиков было и в Москве, и лишь с прошлого года все централизованные капиталовложения стали выделяться Московскому Совету, а его Главное управление капитального строительства взяло на себя обязанности единого заказчика.

В свое время было постановление, и капитальные вложения на жилищное строительство стали планировать отдельно от вложений на развитие производства. Теперь надо этот порядок усовершенствовать: нельзя ж все-таки строить Сургут по образу и подобию Орска. Тут возникают следующие соображения.

План — первая и главная заповедь промышленного предприятия; предприятие, преследующее иную цель, было бы нелогично. Давление плана вырабатывает у промышленников определенную психологию и определенную линию поведения. Все для программы и очень мало для города, строительство которого финансирует министерство.

Другими словами, все финансирование градостроительства следовало бы осуществлять через Советы, сведя в их руки средства, которые идут на жилищное строительство.

Как это осуществить, какими условиями обставить, нужно, очевидно, еще обсудить. Во всяком случае ясно одно: молодому городу со дня его рождения жизненно необходим хозяин, для которого градостроительство было бы таким же важнейшим делом, как для промышленного предприятия производственный план.

Может быть и другой вариант, при котором за создание нового города с населением не менее ста тысяч человек отвечал бы наделенный широкими правами и полномочиями надведомственный орган — скажем, при Госплане СССР. Его задача была бы конкретна — координировать действия местных властей, министерств, проектных организаций, контролировать выполнение генеральных планов. А чтобы полномочия этого «хозяина» не оказались пустым звуком, финансирование градостроительства надо вести через него.

* * *

С тех пор, как все это было написано, прошел год — для нашей жизни срок немалый. И для городов наших, хочется верить, наступают иные времена. Среди отрадных перемен — изменение норм типового проектирования; новое отношение к работе местных проектировщиков; и самое главное — недавнее постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского строительства», открывшее широкое возможности для решения проблем, о которых шла речь в этой статье.

Огромное количество жилья будет построено у нас за пятилетку — около четырехсот миллионов квадратных метров... Эта цифра записана в Директивах XXIII партийного съезда. Там же сказано: «Улучшить внешний облик зданий, жилых районов, городов и поселков. Повысить качество планировки и застройки городов и поселков».

Намеченное надо выполнять, и потому работать по-старому более невозможно. В городах заключено наше будущее — это должно быть памятно всем.



В МИРЕ НАУКИ

Ю. ШРЕЙДЕР

★

НАУКА—ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И СУЕВЕРИЙ

Наука вечна в своем стремлении, неистощима в своем источнике, неисчерпаема в своем объеме и недостижима в своей цели.

К. Бэр.

1. Место науки в нашей системе знаний

Мы не всегда отдаем себе ясный отчет в той колоссальной роли, которую в нашем обществе играет наука. Дело не только в том, что научное знание, научный потенциал общества лежит в основе современного производства. В конце концов в любой известной нам культуре наука влияла на развитие производительных сил. В этом смысле разница между современным миром и античностью, пожалуй, только количественная. Качественное отличие в ином: наука стала основой нашего мирозерцания. Научные представления проникают во все области культуры, присваивая себе роль верховного авторитета.

Мы привыкли с почтением относиться к научному знанию. Наше уважение и доверие к конкретному научному знанию тем выше, чем меньше мы сами знаем. Если специалист способен еще критически относиться к теориям, гипотезам и наблюдениям в своей области, то читатель, знакомый с этой областью знаний по общеобразовательным учебникам или популярной литературе, верит в полную надежность преподносимых ему сведений.

Но даже специалист далеко не всегда ясно отдает себе отчет в тех основаниях, на которых покоится его наука. Из-за этого он внутренне готов переоценить достоверность ее утверждений, готов с излишней легкостью распространить конкретные результаты и методы своей науки на более широкий круг ситуаций, чем это объективно допустимо. Увлеченный могуществом и красотой научных методов, ученый легко приходит к мысли о всеобщности, об общеприменимости этих методов.

Становится как-то само собой «очевидным», что, например, искусство не дает никакого дополнительного знания по отношению к научному. Эмоциональный довод в пользу этого мнения основан на том, что успешно развиваются точные научные методы изучения выразительных средств искусства — математическая теория стихосложения, методы моделирования музыкального творчества и т. д. Правда, можно было бы заметить, что научное изучение ритмики стихотворения относится к его внутреннему смыслу, как лингвистический анализ текста научной статьи к оценке ее истинности и содержательности. Тем не менее современному человеку, ослепленному прогрессом науки, легче признать, что искусство вообще не дает знания о мире, чем отказаться от веры в общезначимость научного знания.

Многие ученые считают бесспорным, что для науки нет запретных областей. Что не существует явлений, куда ученый не вправе вмешаться с инструментом научного исследования. Эту точку зрения явно не разделяет итальянский ученый

Петруччи, прекративший опыты с развитием человеческого зародыша в искусственной среде.

Слова «наука утверждает, что...» играют в наше время ту же роль, что в средние века «церковь утверждает, что...». Эта роль даже еще значительней, потому что сфера действия авторитета церкви, при всей своей широте, была достаточно четко очерчена, а наука готова давать рекомендации в любой области — от конкретных технических рекомендаций до поверки алгеброй гармонии.

Примечательно, какой кредит мы готовы предоставить науке. Мы не станем верить заранее писателю, пообещавшему написать эпохальный роман, где будут решены основные морально-этические проблемы нашего общества. Но мы готовы с доверием отнестись к обещаниям видного ученого, что в скором времени будет построена оптимальная система этики на научных принципах.

Кредитоспособность науки подтверждается великолепными открытиями, которые ежегодно поражают наше воображение: расшифровка генетического кода и операции с пересадкой сердца, полет в космос и атомные электростанции, лазеры, новые частицы и античастицы с парадоксальными свойствами. Такая демонстрация силы почти безотказно действует на массового читателя, создавая уверенность во всеведении, всеблагости и всемогуществе науки.

Ученый же хорошо знает, сколь мало показательны те внешние эффектные результаты науки, которые стали уже достоянием популярных книг. Он гораздо больше ценит глубинные достижения науки, саму возможность формулировать глубокие проблемы, которой мы ей обязаны. Его вера в науку покоится на более серьезных основаниях. Не исключено, что первостепенную роль здесь играет ощущаемое им отличие четких и убедительных суждений науки (там, где наука способна дать недвусмысленный ответ) от неопределенных, сомнительных суждений, с которыми мы столь часто встречаемся вне области ее действия.

Мысль, выраженная гениальным поэтом, многозначна, может быть, едва уловима, сфера ее применимости очерчена неясно. Мысль, утверждаемая даже в посредственной научной работе, ясна и недвусмысленна. Отсюда желание расширить сферу научного познания, получить все знание о мире с той же степенью ясности, которая свойственна науке. Следующий шаг, который очень легко совершить, состоит в том, чтобы верить в осуществимость такого желания. Так, незаметно у ученого появляется слепая вера во всемогущество, в полноту научного знания, которое способно и должно заменить все остальные источники познания.

Окрыленные успехами науки, поверив в безграничную мощь науки, мы стремимся в любых наших суждениях — об этике, экономике, социальном устройстве, правовых нормах, литературе, поэзии, живописи, религии — опираться на результаты и методы науки. Там, где ранее казалось достаточным непосредственное постижение истины (возникающее в естественном размышлении, простой беседе, философском рассуждении), у нас возникает потребность научного анализа. Само по себе это хорошо. Беда только в том, что, применяя научный метод, мы не задумываемся о том, что лежит в основе этого метода. Опасна вера, не ищущая для себя оснований.

Мы обязаны ясно понимать, какова природа научных истин и что значит научное доказательство. На каких предпосылках основана сама возможность научного доказательства истины? Сила и слабость науки (имеются в виду в первую очередь точные и естественные науки) заключается в точности и конкретности ее результатов. Математический вывод обладает высокой степенью строгости, полученное в результате математического доказательства утверждение представляется нам почти бесспорным. Но строгое утверждение, вообще говоря, справедливо только при столь же строго оговоренных условиях. Малейшее нарушение этих условий — и доказанное утверждение теряет силу. Эксперимент, обнаруживающий некий физический эффект, может быть весьма убедительным. Но предсказывая, что произойдет в сходных, но не тождественных условиях, можно легко ошибиться.

Экстраполяция, перенесение добытых данных на более общую ситуацию тем сложнее, чем более точен исходный результат, на который мы опираемся. Одна-

ко, кроме точного знания, добываемого наукой путем экспериментов и строгих логических выводов, нам во многих случаях с необходимостью приходится опираться на экстраполяцию этого знания.

В сущности, содержательными являются только такие факты науки, которые допускают возможность экстраполяции. Иными словами, настоящий научный интерес представляют такие утверждения, которые, будучи вполне точными в строго определенных условиях, могут быть в несколько расширенном толковании переносимыми на широкий класс аналогичных ситуаций.

Только критический философский анализ природы научного знания, достоверности и содержательности этого знания дает возможность оценивать надежность научных выводов в их экстраполяции, когда мы говорим не о конкретных научных фактах, а о природе мира. Речь идет не о том, что наука не может развиваться без философов, а о том, что наука не может жить без философии, хотя бы и не формулируемой явно в философских терминах. Наука захлебнулась бы в хаосе конкретных фактов, если бы не происходило философское осмысливание этих фактов.

Но в конце концов науку судят по ценности добываемых результатов, и весь этот разговор о важности философии можно было бы замкнуть в рамках обсуждения методологии научного исследования, если бы не одно существенное обстоятельство. Дело в том, что знание о мире, добываемое наукой (заметим, что, написав эту часть фразы, я уже тем самым выбрал определенную философскую позицию: веру в объективное существование, познаваемость и единство мира), в наше время занимает преобладающее место в той сумме знаний, которой располагает человечество. Поэтому вопрос о надежности, достоверности и полноте научного знания важен не только для самих ученых в их конкретных занятиях, а для общества в целом. Неверное решение гносеологических проблем и, в частности, некорректное оперирование понятием научной истинности влечет за собой многочисленные суеверия, то есть ложные верования без достаточных оснований.

Эти суеверия связаны прежде всего с неконтролируемым переносом на реальную действительность фактов, установленных на созданной наукой модели. П. А. Флоренскому («Мнимости в геометрии», издательство «Поморье». М. 1922) принадлежит яркое сравнение изучаемой действительности со стихотворением, а модель — с переводом этого стихотворения на другой язык. На стр. 6—7 П. А. Флоренский пишет: «Мы не нуждаемся в доказательствах того, что перевод не покрывает подлинника во всех его оттенках и деталях, и загодя убеждены, что рано или поздно настанет такое их расхождение, которое не терпимо в пределах требуемой точности совпадения: всякий символ с успехом применим лишь в определенной, свойственной ему сфере и за пределами известного поля зрения расплывается, теряет четкость и скорее мешает работе, нежели помогает ей. Мы знаем и то, что как несколько переводов поэтического произведения на другой язык или на другие языки не только не мешают друг другу, но и восполняют друг друга, хотя ни один не заменяет всецело подлинника, так и научные картины одной и той же реальности могут и должны быть умножаемы — вовсе не в ущерб истине. Зная же все это, мы научились не попрекать то или другое истолкование за то, чего оно не дает, а быть ему благодарным, когда удастся использовать его.

Однако к указанию ограниченности известной интерпретации мы вынуждаемся, коль скоро наблюдается гипертрофия того или другого перевода, пытающегося отождествить себя с подлинником и заменить его собою, т. е. тем самым монополизирующего некоторую сущность и ревниво исключаящего какое-либо иное истолкование: тогда ничего не остается, как напомнить зазнавшейся интерпретации о приличном ей месте и объеме ее применимости».

Родственный класс суеверий связан с нарушением закона соразмерности: точность доказательства должна соответствовать точности утверждения. Это означает, что конкретные научные утверждения нельзя выводить из общеподлинных принципов. Совершенно аналогично, точными рассуждениями нельзя вывести истины, имеющей расплывчатый и общий характер.

Примеры ошибочных суждений первого рода хорошо известны. Теория относительности, основы квантовой физики, точные законы наследственности еще не столь давно отрицались, на том основании, что они якобы противоречат материалистической философии. Недавний пример доставила рецензия, помещенная в пятом номере «Нового мира» за 1968 год (Э. Рабинович, «Второй закон термодинамики и человечество»). В этой рецензии справедливо отвергается попытка опровергнуть второе начало термодинамики, исходя из чисто философских положений.

Суеверия второго рода, когда свойства конкретной научной модели без должного осмысления непосредственно интерпретируются как свойства мира в целом, обсуждались гораздо реже.

Прежде всего это вера во всемогущество науки, в способность науки решить все проблемы: научные, технические, социальные и философские. Общество перестало удивляться научным сенсациям. Нас больше удивляет, что целый ряд проблем остается нерешенным, что нет способа управлять термоядерной реакцией, не решена проблема лечения рака, не получены решающие достижения в машинном переводе.

Типичное суеверие — это убежденность в непогрешимости науки, в непреложности научных истин. Каждый ученый на собственном опыте, на собственной шкуре почувствовал, как сложно убедиться в истине, сколько ложных фактов казалось истинными, сколько ошибок сделал он сам, прежде чем добыл крупницу истины. Но эта внутренняя кухня мало кому известна. Для широкого читателя выводы науки носят характер бесспорности, особенно после того, как они освещены (и тем самым как бы освящены) широкой прессой. Опасный парадокс состоит в том, что наука из инструмента критического анализа, из метода проверки разумом и осмысления факта поразительно легко становится источником ходячих мнений.

Еще в XVI веке Джордано Бруно высказал публично идею о возможности существования иных населенных миров, кроме нашей Земли. Судьба Джордано Бруно общеизвестна — небезопасно выступать против официально принятой точки зрения. Но в действительности никаких серьезных доказательств существования космических цивилизаций Джордано Бруно не имел. Нет таких доказательств и у современной науки, хотя известно, что наше Солнце по своим спектральным свойствам является рядовой звездой среди многих, и в силу этого правдоподобно предположить, что звездные родичи нашего светила имеют свои населенные планеты. Если бы только мы могли быть уверены, что для развития разумных существ достаточно иметь светило нужного спектрального типа. Итак, доказательств в данной ситуации наука не имеет. Есть указания возможностей, есть споры писателей-фантастов. Тем не менее в нашем обществе широко распространено мнение, что внеземные цивилизации наверняка существуют, что это доказано наукой.

Развитие вычислительной техники поставило вопрос о возможностях применения машин в тех областях, которые традиционно считались творческими. Например, машина уже может играть в шахматы, составлять расписания, переводить несложные тексты и т. п. Специалисты знают, насколько сложен этот вопрос, как трудно перейти от эффектной демонстрации, где машина имитирует умственную работу, к серьезному решению задачи, к содержательному выяснению природы мышления. Тем не менее в нашем обществе достаточно распространено убеждение в том, что наука умеет создавать мыслящих роботов. Или по меньшей мере — что доказана возможность создания таких роботов. Более того, как серьезный вывод науки порой преподносится идея, что человек — это не более чем сложный автомат.

Несколько более тонкий случай — это область телепатических явлений, область парапсихологии. Эту область явлений не хотелось бы относить целиком к суевериям. Более того, априорное отрицание этих явлений, в сущности, такое же суеверие. Высказываемый иногда представителями точной науки довод: «Если есть телепатия, то есть бог» — трудно считать серьезным аргументом. Действительно, суть этого довода состоит в том, что современная физика не знает материальной субстанции, на которую можно возложить ответственность за перенос телепа-

тической информации. Но это же и есть вера во всемогущество и всеведение современной науки! Неужели современная физика обладает исчерпывающей картиной мира? И, кстати, так ли уже очевидно, что всякое явление в живых организмах может быть адекватно зарегистрировано физическим прибором? Даже при изучении человеческой речи не удастся получить однозначного соответствия между фонемами (то есть минимальными смысло-различительными единицами речи) и физическими характеристиками звукового сигнала. Так что отрицать возможность какого-либо явления из-за отсутствия для него простой физической модели никак нельзя.

Но и противоположное суеверие, готовность верить в любые явления телепатии, телекинеза и т. п. только потому, что они преподносятся в форме научных истин, также не вызывает восхищения. Давайте же откажемся от мнения о всеведении науки и разрешим ей ситуации, где точный ответ, по крайней мере в обозримое время, невозможен!

Заметим, что научные мифы — это не открытие XX века. Суеверия, связанные со спиритическими явлениями, — типичный пример суеверий, возникших около науки и в научной среде. Известно, что интерес к спиритическим явлениям (беседы с душами умерших с помощью вертящихся блюдец и т. п.) возник как своеобразный боковой продукт научных теорий, связанных с изучением свойств эфира и электромагнитных излучений, с исследованием геометрических пространств высокой размерности (духи приходят через четвертое измерение), исследованием подсознательной сферы психических явлений и т. п. Некоторые серьезные ученые (например, известный физик Крукс) посвятили много усилий спиритическим экспериментам и теориям, рассматривая их как предмет науки. Правда, сейчас многомерное пространство стало слишком обыденным, чтобы по нему путешествовали духи.

Яркий пример того, как неоправданная экстраполяция конкретного научного утверждения может привести к мифу, можно увидеть во взглядах, декларированных Лапласом. Последний исходил из теоремы о том, что траектория материальных частиц, подчиняющихся уравнениям классической механики, однозначно определяется начальными положениями и скоростями этих частиц. Это привело Лапласа к выводу, что все развитие мира (так сказать, его будущая судьба) предопределено состоянием мира в данный момент. Тем самым философская концепция полного детерминизма, отсутствия свободы выбора, фатализма получила как бы научное обоснование. Критический научный анализ рассуждений Лапласа довольно легко позволяет обнаружить некорректность его рассуждений. Это не помешало широкому распространению лапласовских воззрений, за которыми стоял авторитет большого ученого.

Мифы, которые до сих пор приводились, казалось бы, сравнительно безобидны. Но мифы, возникающие около науки, могут иметь и очень тяжелые социальные последствия. Достаточно упомянуть миф расовой теории, зародившейся первоначально в рамках чистой науки.

Впрочем, «безобидность» мифов вообще довольно относительна. Любое ложное убеждение может через несколько шагов привести к очень тяжелым последствиям. Лапласовский фатализм кажется безобидным, пока он остается в рамках физической теории. Но, взятый как философская концепция, он неизбежно приводит к мнению о невозможности для человека отвечать за свои поступки. Какая может быть ответственность, когда все дальнейшее течение мировых событий предопределено существующим состоянием мира?

Любопытна наша готовность верить в любые сенсации, пищу для которых дает наука. В сущности, мы страшно хотим, чтобы существовали «летающие блюда» (или хотя бы «неопознанные летающие объекты»), снежный человек, чудовище озера Лох-Несс или сигналы разумных существ из космоса. Нам очень хочется, чтобы наскальные изображения, сделанные пещерными жителями, оказались портретами марсиан, а тунгусский метеорит — космическим кораблем. Готовность принять сверхъестественное в научной форме, жадное внимание к газетным бай-

кам о детях, воспитанных зверями, о космодромах на месте Содома и Гоморры можно уподобить только наивному интересу Солопия Черевика к рассказу о черте, заложившем красную свитку. Откуда эта потребность и какую именно пустоту в сознании она стремится заполнить?

Сам по себе научный метод не ответствен за мифы. Причины здесь скорее в оценке потенциальных возможностей этого метода. Наука имеет дело с моделями мира. Очень сложными, но все же моделями. Вероятно, все помнят слова В. И. Ленина о том, что «электрон так же неисчерпаем, как и атом». Это предсказание подтвердилось дальнейшим развитием физики. Но не стоит ограничивать значение этой мысли В. И. Ленина, рассматривая ее только как предсказание будущего развития физики элементарных частиц. Речь идет в действительности о философской концепции неисчерпаемости структуры связей между вещами. Но наука не может изучать неисчерпаемый электрон или неисчерпаемый атом. Наука строит сложную, отвечающую действительности, но вполне способную исчерпаться модель. А потом изучает эту модель. Или отбрасывает, заменяя новой. И наука не боится ломать собственные модели. Они не должны являться предметом культа.

Основное суеверие, возникающее вокруг науки, состоит в фетишизации некоторых моделей, в придании им некоего абсолютного метафизического значения. Особенно интенсивным стремлением к фетишизации обладают именно негодные модели. Пример — недавнее положение в нашей биологии. Но и фетишизация вполне состоятельных моделей далеко не безобидна.

Представление об электромагнитных волнах как о колебаниях особой субстанции — эфира — было очень плодотворным для физики прошлого века. Но и эту модель пришлось изъять из употребления, когда выяснилось, что «эфир» увлекается любым движущимся телом. Модель условных рефлексов сыграла очень важную роль для объективного изучения процессов высшей нервной деятельности. Но сейчас уже ясно, что невозможно все процессы мышления (например, процессы узнавания) свести к цепочкам условных рефлексов.

Модель — это инструмент научного познания мира. Инструмент можно совершенствовать, порой отбрасывать за ненадобностью, заменять более совершенным. Но только дикарь станет поклоняться своему оружию, приписывать ему некую магическую силу.

Само по себе научное образование еще не ликвидирует дикарского, языческого отношения к миру. Меняется только предмет поклонения. Настоящее просвещение состоит не только в популяризации научных истин (что само по себе является задачей вполне полезной, хотя и тонкой, ибо научную истину можно при этом легко выхолостить). Для просвещения не менее нужна философия, позволяющая верно оценить значение науки в познании мира, помогающая различать, что есть необходимый в данной ситуации догмат, а что суеверие. Ученый, активно работающий в своей области, так или иначе приходит к философскому осмыслению своей деятельности (хотя и он не гарантирован от суеверий). Человек, получающий знание о науке только в готовом, препарированном виде, верит на слово. Он не защищен от суеверий. Он видит только изящный фасад, но не знает, что здание науки непрерывно строится и переделывается. Он наслышан о том, как много науки может, но не чувствует, каким трудом это дается и как велик коэффициент незнания. Потому что рассказ о незнании не входит в общеобразовательную программу. Мы охотно признаем возможности науки создавать модели экономики, с помощью которых машина даст наилучшие рекомендации, как надо планировать развитие производства. Но мы не всегда отдаем себе отчет, насколько эта модель далека от совершенного учета факторов, действующих в человеческом обществе.

Если модель не адекватна действительности, то для ученого это не будет неожиданным. Он знает, что модель лишь приблизительно отражает действительность. Что обнаружение слабых сторон модели есть необходимое условие, при котором ее можно разумно использовать. Что осмысление достоинств и недостатков модели действительности есть косвенный, но очень сильный способ влияния на эту

действительность. Ученый морально готов менять и совершенствовать модель. Но человек, слепо верящий в науку, суеверно относящийся к модели, думает иначе. Модель рекомендована наукой — это уже догма. Значит, надо действительность дотягивать до модели. Эта ситуация напоминает дикарский обряд, когда перед охотой чертится на песке изображение зверя (модель!) и протыкается копьем. Если охота, несмотря на принятые меры, оказалась неудачной, то виноват не глупый способ подготовки, а колдун, который неправильно произносил заклинания, или вмешательство злых духов.

2. Истинность и содержательность научных утверждений

Разумеется, каждый честный и серьезный ученый занят в своей области и в меру своих сил поиском истины. При этом научной истиной считается то, что может быть строго обосновано в рамках данной науки. Тот факт, что поиск научной истины в наше время оплачивается, заставляет иной раз поспешить с установлением очередной истины, сознательно или бессознательно выдавая желаемое за действительность. Однако такие действия являются нарушением научной этики и, как правило, рано или поздно разоблачаются. Поэтому не будем здесь обсуждать случаи прямого обмана. Серьезная наука не занимается придумыванием мифов.

Давайте разберемся, что понимается под установлением научной истины. В математике и логике есть два вида утверждений: аксиомы и теоремы. В естественных науках велика роль научной гипотезы — предположения.

Проверка истинности теоремы состоит в ее доказательстве. Не надо думать, что строгость доказательства есть абсолютное понятие. Физик удовлетворится доказательством, которое математик может законно считать некорректным. Логик признает большинство математических доказательств неполными.

Знаменитый математик Риман установил, что стационарные состояния колеблющейся мембраны связаны с минимумом энергии колебательного процесса, но его доказательства, как показал другой известный математик Вейерштрасс, были неверны. Тем не менее результаты Римана впоследствии удалось доказать вполне строго (на том уровне, как этого требует современная математика), придав им более точную формулировку. Они и сейчас имеют первостепенное значение. Велики здесь и заслуги Вейерштрасса. Его критика помогла уточнить открытие Римана и способствовала более точному выявлению математических понятий.

Аксиомы — это исходные утверждения, принимаемые без доказательства. В отличие от теорем и гипотез вопрос об их истинности вообще не возникает. Вместо него ставится другой вопрос: является ли данная система аксиом непротиворечивой? Только в том случае, если ответ удовлетворителен, эту систему аксиом можно принять в качестве исходной базы для теории.

В отличие от аксиом гипотезы всегда вызывают вопрос об их истинности — соответствии реальным явлениям.

Открытие неевклидовой геометрии, в сущности, свелось к очень простой, но совершенно замечательной идее. В течение многих веков ученые пытались доказать пятый постулат Эвклида (напомним: этот постулат утверждает, что через данную точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной). Н. И. Лобачевский поставил вопрос по-другому. Он предложил заменить пятый постулат другим постулатом, разрешающим проводить через данную точку сколько угодно прямых, параллельных данной, и исследовал возникающую новую геометрию. Получилась вполне стройная система, в которую старая геометрия Эвклида включалась как предельный случай. В дальнейшем удалось показать, что геометрия Лобачевского по крайней мере столь же непротиворечива, как и Эвклидова.

Таким образом, открытие Лобачевского является не только математическим, но и теоретико-познавательным. Он первый понял, что аксиомы не нуждаются в проверке истинности, что речь шла не о том, истинен ли пятый постулат, а совместимы ли он и его отрицание с остальными аксиомами геометрии.

Итак, с точки зрения математики геометрия Эвклида и геометрия Лобачевского одинаково истинны, хотя в первой сумма углов треугольника равна 180° , а во второй меньше 180° . Но тогда возникает естественный вопрос: а как на самом деле? Какая геометрия справедлива для того реального мира, в котором мы существуем? Чему равна сумма углов треугольника в нашем мире? Этот вопрос законен, но уже не относится к математике. Прямые и треугольники — это объекты математические, это абстрактные понятия. Объекты физического мира — это материальные предметы. Впрочем, и в физике имеются свои абстракции — понятие материальной точки, ее траектории и т. п.

Опыт всей физики говорит, что Эвклидова геометрия и полученные из нее следствия в нормальных условиях (для масс не слишком больших и не слишком маленьких, для не слишком больших скоростей) вполне хорошо согласуются с наблюдениями. Можно было бы условиться — считать прямой линией траекторию светового луча в однородной среде. Но ведь световой луч — это тоже идеализированное понятие, для размеров порядка световой волны оно теряет смысл. И если однородную среду мы даже будем понимать как вакуум, то согласно общей теории относительности траектория луча будет искривляться под действием поля тяготения.

Таким образом, геометрия как математическая теория и геометрические свойства мира — это разные категории, и связь между ними определяется физическими гипотезами. Стало быть, истинность пятого постулата Эвклида и истинность Эвклидовой геометрии для физического мира — также вещи совершенно разные. В первом случае истинность понимается только как возможность создать внутренне непротиворечивую теорию. В этом смысле Эвклидова и неэвклидова геометрии одинаково истинны. Во втором случае речь идет о некоторой гипотезе относительно природы реального мира. Истинность этой гипотезы проверяется возможностью объяснить и предсказать результаты ряда физических экспериментов.

Итак, существуют три вида научных утверждений. Это аксиомы, истинность которых вообще не вызывает вопроса, гипотезы, истинность которых проверяется развитием теории и эксперимента, и теоремы, доказываемые путем умозаключений на основе исходной системы аксиом и гипотез. Если в основе теоремы лежат не только аксиомы, но и гипотезы, то истинность теоремы проверяется не только логическим выводом. Требуется сверять с опытом всю систему выводов данной теории. Гипотеза обычно признается верной после первого яркого экспериментального подтверждения ее выводов. Например, гипотеза Менделя о генной структуре наследственности получила убедительное подтверждение в его знаменитых опытах с наследственной передачей признаков при скрещивании различных сортов гороха. Гипотеза Эйнштейна о законе постоянства скорости света и вытекающие отсюда правила сложения скоростей сумели объяснить известный опыт Майкельсона, показавший отсутствие «эфирного ветра». Но убедительность теории Менделя стала решающей после всех последующих исследований по генетике, биохимии и т. п. Так же, как убедительность теории относительности следует из того, что ее представления широко используются в самых разнообразных разделах физики.

Один из современных физиков утверждал даже, что если бы результат опыта Майкельсона не подтвердился бы более точным исследованием, то это не привело бы теперь к отказу от теории относительности, а только к попыткам новой интерпретации этого опыта в рамках теории Эйнштейна.

До последнего времени математики думали, что их наука выгодно отличается от других, поскольку любое утверждение в рамках чисто аксиоматической теории может быть либо строго доказано, либо опровергнуто. Но эти представления были нарушены с появлением в 1931 году знаменитой теоремы К. Гёделя. Если не прибегать к точной математической формулировке, содержание этой теоремы состоит в том, что всякая достаточно сильная формальная логическая теория содержит такие утверждения, которые нельзя ни доказать, ни опровергнуть внутренними средствами этой теории. Этот достаточно сенсационный и весьма принципиальный результат довольно долго служил объектом нападок некоторых философов, считав-

ших его идеалистическим. Суть обвинения сводится к тому, что результат К. Гёделя якобы означает существование непознаваемых явлений — утверждений, которые не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты.

Но подобная трактовка есть как раз незаконная философская экстраполяция теоремы К. Гёделя. Эта теорема говорит только о неполноте формальных теорий. Утверждение данной формальной теории, которое не может быть проверено внутри нее, вполне может быть проверено средствами более мощной логической теории. Правда, в новой теории появятся новые непроверяемые утверждения. Отсюда, естественно, напрашивается вывод о неисчерпаемости познания мира, но отнюдь не о непознаваемости.

Все сформулированные выше положения о природе научной истины хорошо известны ученым. Более того, любой работающий в своей области ученый знает, сколь легко допустить ошибку в логическом выводе, предположении или эксперименте. Поэтому для научного мышления характерно полное отсутствие уверенности в своей непогрешимости, стремление к критической проверке выводов любой теории. Только это гарантирует ее чистоту и надежность.

Вместе с тем существуют некоторые положения, которые ученый принимает заранее как методологические философские предпосылки своей деятельности. Эти предпосылки можно назвать догматами, поскольку они не доказаны, но принимаются на веру. Догмат и аксиома имеют то общее, что они априорны, не проверяются и не доказываются в рамках данной теории. Но между ними есть и существенная разница. Вопрос о вере в истинность той или иной аксиомы не стоит вообще. Если мы принимаем или вместе с Н. И. Лобачевским отвергаем пятый постулат Эвклида, то речь идет не о том, верим мы или не верим в этот постулат. Мы просто его условно принимаем или не принимаем. Гипотезы мы не принимаем на веру — иначе зачем нам нужны были бы последующие доказательства и подтверждения? Гипотезы выдвигаются, а затем подтверждаются или опровергаются и отвергаются. Вопрос о вере и в данном случае перед нами не стоит.

Догмат—это априорное положение, в которое мы именно верим, хотя и не считываем найти никаких доказательств. Существуют догматы религиозные. Например, положение о непогрешимости римского папы, когда он говорит *ex cathedra* (то есть провозглашает положения, касающиеся основ вероучения), утвержденное Ватиканским собором в 1870 году, есть догмат, который принимают католики. Вряд ли самый ревностный католик сочтет нужным доказывать истинность этого догмата. В основах методологии науки также имеются свои догматы — положения, в которые ученый верит, но для которых ему и в голову не приходит искать доказательства.

Прежде всего таким догматом является объективность существования мира и закономерностей, которым этот мир подчиняется. Ученый может быть материалистом или идеалистом, но, когда он занимается наукой, ему трудно быть солипсистом. Он просто не может допустить мысли, что мир — это не более чем его собственная фантазия, выдумка, ощущение, иначе все поиски научной истины теряют смысл. Вряд ли можно найти логические доводы, опровергающие крайнюю субъективистскую точку зрения. Если внимательно проследить логику рассуждений В. И. Ленина в его труде «Материализм и эмпириокритицизм», то мы увидим, что Ленин вовсе не ставил своей главной задачей опровержение взглядов солипсиста Беркли. Рассуждения Ленина состоят в доказательстве того, что позиция целого ряда философов, думающих, что они являются материалистами или даже марксистами, в действительности приближается к берклианству. Обнаружение берклианских субъективистских взглядов в позиции противника служит приемом доказательства (типа доведения до абсурда).

Второй догмат, признаваемый по существу любым ученым, состоит в уверенности, что он добывает объективную истину о мире. Занимаясь самой абстрактной теорией, построенной на основе самых причудливых аксиом, ученый верит в то, что добывает объективную истину. Надежность этой истины определяется объективными критериями, а не стоящими за ней авторитетами или группировками: ра-

совой, национальной или политической¹. Ученый может, согласно марксистской философии, верить в познаваемость мира или признавать, следуя Канту, существование непознаваемых «вещей в себе», но то, что он узнал, — есть знание о мире, а не пустая игра воображения.

Например, всякий математик верит, что существуют объективные математические факты, хотя до сих пор даже не удалось доказать, что система аксиом, лежащая в основе математики, внутренне непротиворечива. Поэтому когда математик в своих рассуждениях о конкретной задаче приходит к противоречию, то существует логическая возможность, что именно в этом месте обнаружилась принципиальная противоречивость всей математики. Тем не менее математик верит, что когда он набрел на парадоксальный вывод, то это его собственная ошибка, а не крах математики. Эта вера связана, конечно, с опытом и здравым смыслом. Мы верим, что завтра над Москвой взойдет солнце, хотя теоретически есть возможность, что завтра солнце взорвется.

Третий общепринятый в науке догмат состоит в том, что мир признается «логичным». Как минимум это означает, что добываемые наукой разнообразные сведения о мире могут быть уложены в логически стройную систему и возникающие в данный момент противоречия могут быть сняты при дальнейшем развитии знаний.

Более того, ученые, в сущности, признают, что наш мир обладает достаточно сильной внутренней организацией причинных связей, благодаря которой вообще возможно постижение и описание существенных закономерностей природы. Это дает нам уверенность в том, что путем логического анализа добытых сведений о мире мы получаем выводы, имеющие объективный смысл. По крайней мере заслуживающие того, чтобы их проверять экспериментом или сравнивать с другими теориями. Эти выводы могут оказаться ложными в силу неточности исходных гипотез, но тогда мы имеем основания менять гипотезы. Иными словами, дедукция признается законным инструментом исследования. Эта вера в логику, в логичность мира существует, несмотря на то, что сами логики все время подвергают сомнению разные, казалось бы очевидные, принципы своей науки. Зная о существовании подводных камней в самой логике, мы тем не менее не сомневаемся в возможности, в плодотворности логических рассуждений.

До сих пор мы говорили только об одной стороне научных утверждений — об их достоверности, об основаниях принимать их за истину. Однако два истинных утверждения, доказанных на одинаковом уровне строгости, могут иметь совершенно различную содержательность.

Простой здравый смысл подсказывает, что при существующем уровне знаний истина типа: «Волга впадает в Каспийское море» — не равноценна утверждению типа: «Передача наследственных признаков происходит с помощью молекул ДНК». Первая — образец банального для нас утверждения, вторая существенно обогащает наше представление о живом. Если даже с точки зрения некоторой формальной логической теории эти высказывания оказываются равноценны, то это нас заставляет только признать неполноту, недостаточность этой формальной теории.

Именно поэтому возникли теории, рассматривающие не только истинность — ложность высказываний, но и их смысловую структуру или характеризующие количество смысловой информации, содержащейся в данном сообщении.

В науке широко используется понятие тривиальности и нетривиальности результата. Получить нетривиальный результат, особенно такой, который безуспешно пытались получить другие, для ученого является чем-то вроде спортивного рекорда. Есть нетривиальность иного рода, состоящая в неожиданной постановке проблемы. Например, в математике сравнительно недавно выявился новый тип проблем, когда доказывается невозможность существования процедуры, позволяющей про-

¹ Этот принцип сформулировал еще Фома Аквинский (1225—1274), утверждавший, что «в философии самым слабым является доказательство путем ссылки на авторитет».

верить истинность или ложность некоторого утверждения. Примером необычной постановки вопроса является и общая теория относительности.

И все же содержательность научного утверждения не сводится к его нетривиальности. В математике есть много очень красивых и трудных теорем, в физике — сложно рассчитанных и с большими ухищрениями обнаруженных эффектов, и тем не менее все эти факты могут быть гораздо менее содержательны, чем более простые основные истины.

Представляется наиболее естественным соотнести содержательность научного утверждения с его информативностью для нашей системы знаний. Иными словами, содержательность факта (наблюдаемого явления, открытия, закона, теоремы, гипотезы и т. п.) было бы разумным оценивать количеством информации, которую нам приносит знание этого факта. Разумеется, трудно рассчитывать на то, чтобы получить точную меру информативности (содержательности) научного факта. Измерять количество информации можно только в довольно ограниченных рамках. Но можно рассуждать о том, какие свойства научного утверждения определяют его информативность.

На этот счет существует несколько точек зрения, вытекающих из различных концепций информации. В духе шэнноновской концепции информации содержательность определялась бы новизной или необычностью (неожиданностью) факта. В духе концепции А. Н. Колмогорова следовало бы оценить содержательность факта трудностью его получения. А в духе семантической теории информации следует оценивать содержательность научной истины уровнем ее влияния на представления науки в целом, иначе говоря, той степенью, в которой вновь найденный факт меняет общий тезаурус науки, то есть полную систему ее представлений. Именно последний подход к оценке информативности представляется наиболее плодотворным. Принятие этой концепции сразу приводит к важным следствиям.

Первое из них состоит в том, что содержательность открытия зависит от существующего уровня науки. Так, теоретическое предсказание П. Дираком в конце двадцатых годов существования античастиц, подтвердившееся затем экспериментальным открытием позитрона, имело исключительно высокую содержательность. В физику было введено принципиально новое представление об антивеществе. Но сейчас открытие античастицы для какой-нибудь из известных частиц несет не столь уж много информации для науки.

Второе следствие состоит в том, что содержательность научного открытия для самой науки отнюдь не совпадает с его информативностью для широкой публики. Потому что тезаурус науки не совпадает с тезаурусом массового читателя. Тезаурус последнего часто просто недостаточен для получения нужной информации. Поэтому для читателя популярной литературы гораздо более содержательными представляются практические применения лазера, чем лежащие в их основе квантово-механические явления. Для того, чтобы извлечь полную информацию из научного открытия, необходимо заранее иметь достаточно богатый тезаурус, необходимо владеть системой научных представлений. Впрочем, эта ситуация не столь уже специфична для науки. Чтобы понять глубину и содержательность пушкинских строк, тоже недостаточно простой грамотности.

Примером весьма содержательного физического закона является знаменитое неравенство Гейзенберга. Смысл этого неравенства состоит в том важном принципе, что невозможно получить одновременно полную информацию о положении и скорости физической системы. Принцип Гейзенберга в корне изменил наши представления о том, как описывается поведение физической системы, и, в частности, заставил отказаться от идеи механической детерминированности физического мира.

Итак, наибольшая содержательность свойственна тем утверждениям, которые имеют потенциальную способность к широким обобщениям или переносу на аналогичные ситуации в отличие от частных, хотя и нетривиальных фактов. Но содержательность факта можно сформулировать и по-иному. Обычно содержательные утверждения допускают грубую, расплывчатую формулировку, которая может быть строго уточнена в рамках той или иной точной теории. По-видимому, эти два

свойства утверждений — потенциальная способность к обобщениям и аналогиям и возможность грубой формулировки в расплывчатых терминах — взаимно обусловлены.

В действительности представители точных наук широко используют этот принцип. Если какой-либо факт удается просто сформулировать в грубых терминах, то имеется смысл искать обобщения и аналогии, убеждающие в содержательности данного факта, в его общезначимости. В математике можно с ходу привести десятки примеров, как этот принцип отделяет содержательные обобщения от чисто формальных.

Мы подошли сейчас к важному пункту о правомерности использования в строгой науке не эксплицитных, то есть размытых, понятий. Но этого мало. Изучая сложные системы, нельзя ограничиться оперированием только с такими свойствами, которые допускают проверку хотя бы в мысленном эксперименте (принцип, сформулированный Э. Махом). Это значило бы отказаться от изучения биологии, лингвистики, истории, психологии до тех пор, пока они не будут преобразованы в точные дедуктивные или экспериментальные науки. А между прочим, при всем уважении к точным методам и необходимости расширять сферу их применения, позволительно усомниться в пользе полного сведения биологических и гуманитарных наук к формальным теориям. Не потеряем ли мы при этом в общности концепции и широте взгляда? Не потеряли ли мы уже кое-что на дифференциации точных наук, на их вычленении из единой системы человеческого знания?

Существует важная проблема — найти принцип, определяющий, какие понятия допустимо вводить в науку. Исследуя размытые понятия, мы сопоставляем с ними уточняющие их строгие понятия. Строгое понятие, которое позволяет придать точный смысл исходному размытому понятию, называется его экспликацией. Ясно, что размытые понятия могут иметь не одну, а много разных экспликаций, по-разному уточняющих общий смысл.

По-видимому, в науке правомерно использование только таких понятий, которые допускают хотя бы одну вполне строгую экспликацию. Если утверждение содержит размытые понятия, то, уточняя одно из них, мы должны соразмерно уточнить и остальные так, чтобы эксплицированное утверждение допускало строгую проверку. Блестящим примером содержательного понятия, не имеющего общего строгого определения, является введенное И. М. Гельфандом и М. Л. Цетлиным (в серии работ по вычислительным методам и математической биологии) понятие «организации».

Отстаиваемый здесь тезис о пользе и необходимости размытых понятий может показаться парадоксальным, поскольку все развитие математики и физики (особенно в XIX и первой половине XX века) было связано с поисками уточненных формулировок основных понятий. Достаточно указать на ту роль, которую сыграло уточнение таких понятий, как число, функция, пространство, наблюдаемая величина и т. п. Агрессивное проникновение математических методов в другие науки привело к многочисленным попыткам создания точных понятий в биологии, лингвистике и т. д. Однако при всей пользе, которую приносит уточнение понятий для более надежной проверки истинности фактов, нельзя упускать из виду возникающую при этом опасность потери содержательности. Речь не идет, разумеется, об отказе от накопленного наукой важного опыта оперирования с точными понятиями и возвращении к патриархальным временам. Речь идет о правомерности существования в науке размытых понятий, позволяющих видеть содержательные связи между фактами и их историческую преемственность.

Очень часто, решая какую-то задачу в строгой постановке, мы, увлекшись уточнениями, теряем из виду те исторические корни, из которых она выросла. А если узнаем об истоках задачи, то посмеиваемся над первоначальной наивной формой постановки проблемы, радуясь собственному умению ставить проблему в современной научной форме. Между тем содержательные проблемы, решаемые в науке, очень часто имеют весьма древние истоки в широких проблемах, остро

волновавших наших предшественников. Следующий пример очень показателен именно с этой точки зрения.

Основная проблематика кибернетики состоит в анализе способов, как нужно управлять системой, чтобы противостоять внешнему хаосу, стремящемуся нарушить устойчивость («гомеостазис») системы.

Н. Винер начинает свою книгу «Кибернетика и общество» с обсуждения двух возможных представлений о хаосе. Первое из них считает, что хаос, неупорядоченность действующих в мире сил вызваны целенаправленно действующим разрушительным началом (по выражению Н. Винера, дьявол в манихейском¹ понимании). Второе — представляет хаос просто как отсутствие порядка, отсутствие внесенной в мир организации (Н. Винер сравнивает такое понимание хаоса с тем, как представлял себе дьявола святой Августин). Таким образом, в методологических основах, в основной проблематике ультрасовременной науки мы видим отголоски старинных теологических споров.

Впрочем, эти споры по содержанию были гораздо шире и глубже, чем можно увидеть по книге Н. Винера. Речь шла об этической проблеме, суть которой остается столь же важной и сегодня, независимо от того, облекается ли она в традиционную теологическую форму или формулируется в рамках марксистской философии. Проблема состоит в том, является ли наш физический мир носителем активного злого начала, преодолеть которое можно только уходом от мира, разрывом с ним (что было бы последовательно манихейской точкой зрения), или же природа зла состоит в том, что доброе начало не преодолело еще косность и неодолимость нашего мира и, стало быть, Добро и Разум способны торжествовать в этом мире?

Истоки современной научной проблемы могут иметь совершенно неожиданную, непривычную для нас форму. Язык, на котором выражается наше знание о мире, непрерывно меняется. По своему научному языку труды Ньютона для нас столь же архаичны, как «Слово о полку Игореве». Но своим содержанием и то и другое неразрывно связано с современностью.

Современная теория множеств зародилась в трудах Георга Кантора и стала основой математического анализа. Сейчас трудно представить себе, как выглядела бы математика без представления о множествах, о взаимно-однозначном соответствии между множествами и т. п. Но мало кто помнит, что интерес самого Г. Кантора к этим проблемам возник из размышлений над свойствами святой троицы (см. книгу А. Каждана «Возникновение и сущность православия», «Знание», 1968, где показано, как в спорах о свойствах святой троицы отражались фундаментальные вопросы мировоззрения). Волновавший когда-то умы парадокс, как часть может равняться целому, то есть каждая ипостась святой троицы быть тождественной их объединению, получил разрешение в канторовской теории множеств. Именно Г. Кантор первый строго показал, что бесконечное множество может иметь «столько же элементов», сколько его часть. И, в частности, объединение трех множеств может быть равномощно каждому из них. Дело, разумеется, не в том, что Канторова теория множеств внесла какую-то лепту в теологию. Для теологии эта теория, вероятнее всего, мало существенна. Дело скорее в том, что проблема, формулировавшаяся ранее на языке теологии, привела к содержательному научному вопросу. Недаром А. С. Пушкин писал: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости».

Переход от точных утверждений, относящихся к свойствам четкой и ограниченной модели, к размытым свойствам реального мира требует большой осторожности. При таком переходе выводы, правильные для модели, могут расплыться настолько, что потеряют всякий смысл.

Человек, увлеченный успехами точных наук, упоенный возможностями обсуждать сокровенные проблемы жизни на языке кибернетических моделей, верит,

¹ Имеется в виду учение Манеса (215—276) о борьбе двух сил: Ормузда, олицетворяющего созидающее добро и свет, с носителем темного, разрушительного начала Ариманом.

что размытые понятия биологии, лингвистики, философии и т. п. отживают свой век. Увы, как только такой человек дает себе труд поближе познакомиться с проблематикой этих наук, его позиция подвергается серьезным испытаниям. Ему волей-неволей приходится разбираться в том, какие экстраполяции точных фактов можно считать достоверно обоснованными. Ему приходится решать серьезные гносеологические проблемы взаимоотношения точных и размытых понятий, строго доказанных теорем и общих философских принципов.

Экстраполяция научного результата возможна только на основе соответствующих философских предпосылок. При том безмерном почтении к точным и естественным наукам, которому все мы отдаем дань, это обстоятельство очень часто забывается.

Вопрос о соотношении точных и общих утверждений имеет еще один аспект: в какой мере и как мы можем рассуждать о непознанных явлениях? Чем можно руководствоваться, принимая решения в ситуациях с заведомо неполной информацией?

Занимаясь конкретной естественной наукой, мы можем ограничивать круг рассматриваемых явлений, считая, что в область научного изучения входит только то, что может быть ясно сформулировано, описано, измерено, уложено в систему знаний. Но в реальной жизни мы все время наталкиваемся на явления, о которых мы знаем очень мало. Мы встаем здесь перед такой дилеммой: либо декларировать, что мы можем опираться только на точное знание, а во всех остальных случаях мы не имеем права принимать решения, либо декларировать право рассуждать о непознанных явлениях.

Тут-то нам и приходится прибегнуть к гносеологическим рассуждениям о возможных пределах экстраполяции точного знания, о возможных источниках знания, о свойствах неопределенных ситуаций, бесконечности, о шкалах ценностей и т. д.

3. Научное обоснование этики и его последствия

Если произвести простейшую статистическую выборку по страницам нашей периодической печати, то мы легко убедимся, сколь большое место занимает обсуждение этических проблем, принципов, на которых основывается мораль. Оно и понятно: нельзя построить устойчивое общество без четких этических принципов, без осознанной шкалы ценностей. Естественно, что мораль имеет свои различия в зависимости от социальной среды. Есть какие-то особенности в профессиональной этике, если угодно — в профессиональном кодексе чести. Например, выпить рюмку спиртного на борту самолета абсолютно недопустимо для летчика, но позволительно для пассажира. Ограничимся этим легковесным примером, чтобы не заниматься анализом различий морально-этических представлений у разных народов и в разных обществах. Однако изучение конкретных особенностей этики и обычаев частных коллективов — это предмет скорее этнографии или конкретной социологии. Предмет философии (а со времени Аристотеля этика рассматривалась как раздел философии) состоит в изучении общечеловеческих принципов морали или, в меньшей мере, в исследовании вопроса о существовании таких принципов.

Различия в подходе к этой проблеме можно, грубо говоря, разделить на три пункта.

1. Различие цели. Стремимся ли мы к благу общества или к благу индивидуума и как мы понимаем это благо?
2. Различие в постановке вопроса об источнике моральных принципов. Оно состоит прежде всего в выборе между рационально-логическим выводом принципов морали на основе уже данной цели и признанием исходности, заданности моральных принципов.
3. Различие в предпосылках о субъекте морали. Признаем ли мы человека по природе добрым или греховным, или способным ощущать различие добра и зла,

или способным честно соблюдать установленные принципы? Или мы вообще отказываемся от таких предположений?

Выбор исходной позиции по каждому из этих пунктов сильно сужает дальнейшие возможности рассуждений. Бессмысленно пытаться здесь приводить логические аргументы в пользу того или иного решения по этим пунктам: это завело бы нас слишком далеко. Можно только кратко напомнить, к каким следствиям приводят или приводили некоторые из этих решений.

В качестве исходной предпосылки мы могли бы объявить моральным то, что идет на благо общества (прогресса, социальной системы). Но не придется ли нам тогда оправдывать войны, убийства и преследования инакомыслящих ради блага общества, сознательное обречение людей на материальные и духовные лишения и т. д.?

Существует и другая логическая возможность — принять как исходную цель благо человека, например, его материальное преуспевание, его личный комфорт и свободу. Но тогда возникает опасность прийти к оправданию сильной личности, берущей себе все за счет других.

Попытки рационального обоснования морали — это попытки вывести законы морали из понятия блага (общественного или индивидуального). Для этого требуется слишком точное представление о том, что есть благо.

Представление о врожденной доброте человека очень привлекательно. Но такие глубинные свойства человека, как склонность к самоутверждению, инстинкт самосохранения и т. п., легко вступают в конфликт с несомненно присущим человеку добрым началом.

Что касается способности человека соблюдать соглашения, то опыт показывает, что даже честные и логически мыслящие люди не всегда к этому способны.

Принципы морали могут быть только очень простыми. В этой связи очень любопытна попытка польского логика А. Гжегорчика¹ написать «Декалог по-светски», то есть осмыслить десять библейских заповедей в применении к современному обществу. Впрочем, ветхозаветные заповеди не могут быть достаточными просто потому, что они формальны. Это правила поведения, но не принципы. Не случайно, что Новый завет прокламировал более общие принципы, выражающие основы христианской этики (см. Евангелие от Матфея, гл. 22).

Разумеется, в данной статье не предполагалось провести исследование философских основ этики. Хотелось бы только подчеркнуть, что эти основы связаны с глубинными принципами жизни и легковесные (к сожалению, получающие в наше время распространение) попытки вывести эти философские принципы методами точных наук приводят к опасным суевериям.

Речь, разумеется, не идет об отказе от логического анализа соотношений между этическими нормами, но основные принципы, лежащие в основе этики, следовало бы полагать априорными. По-видимому, в области этики, как нигде, опасна неосторожная экстраполяция выводов точных и естественных наук.

Пожалуй, наиболее ясно мысль о необходимости подчинения этики науке выражена в яркой и смелой статье профессора Н. М. Амосова («Литературная газета», 21 февраля 1968 года).

Начнем с конца этой статьи, где автор рекомендует не преувеличивать и не пугаться моральных проблем, связанных с развитием медицины. Медицина, говорит автор, не угрожает обществу. Да, пока не угрожает. Если не считать опытов над людьми в гитлеровских лагерях, исследований по бактериологическому оружию, некоторых случаев жестокого обращения с больными, — пока еще не угрожает. Пока общество больше страдает от недостатка медицинского обслуживания. Но это вовсе не значит, что этические проблемы медицины не слишком значительны.

Во-первых, наука развивается быстро, и там, где сейчас сложное решение приходится принимать Барнарду, завтра придется решать тысячам врачей. Во-

¹ А. Grzegorzczuk. Schematy i człowiek. Warszawa: 1963.

вторых, в морали нет места статистическим соображениям. Решение о жизни и смерти одного человека столь же ответственно, как и решение о судьбе миллионов. Об этом лучше и раньше сказал Достоевский.

Профессор Амосов сам говорит о существовании психологического барьера. Я хочу только подчеркнуть неразумность и безнравственность попыток преодолеть этот барьер.

В книге Н. М. Амосова рассказано о проделанных им сложных и рискованных операциях на сердце. Прочитав там, как хирург мучается сомнениями после операций со смертельным исходом, я не мог бы облегчить его душу бодрым советом: «Не волнуйтесь, вы действуете на благо науки, людей и прогресса. То, что случилось, лишь печальная, но неизбежная и в конечном счете незначительная жертва». Я также не посмел бы кинуть ему упрек: «Прекратите эти бесчеловечные попытки!»

Ситуация на самом деле очень сложная. И только ответственный и свободный в своем выборе человек может понять до конца истинную цену своих решений, цену ответственности. Если же в какой-то момент эти решения оказались бы для врача простыми, то он уже тем самым потерял бы право заниматься врачеванием.

Когда восьмилетнему мальчику рассказали о первой операции Барнарда, он первым делом спросил: «А эта девушка точно умерла? А ее нельзя было спасти?» Суть этической проблемы в данном случае ухвачена.

Я верю в честность доктора Барнарда, но думаю о времени, когда сотни врачей и пациентов будут с нетерпением ждать свежих трупов. Не возникает ли подозрение, что сама ситуация может дать подсознательный импульс не задерживать чью-то смерть, чтобы спасти другого. А может быть, ускорить юридическую смерть безнадежно больного? На весы ставятся часы или дни жизни одного и месяцы или годы жизни другого.

Я вижу один выход — твердо осознать, что никаких весов нет, что ценность человеческой личности, и в частности человеческой жизни, бесконечна и не подлежит измерению. Это по крайней мере достаточно традиционная точка зрения в нашей европейской культуре, чтобы с ней считаться.

Н. М. Амосов предлагает иное — отказаться от предпосылки, что «жизнь бесценна». Его основной аргумент: «Наука говорит, что живые организмы — это только очень сложные системы. Они построены по тем же принципам, что и машины». Тут, простите, хочется спросить, когда и кому она это говорила? А если говорила, то не дура ли она? Я занимаюсь кибернетикой и вычислительными машинами с 1949 года и что-то не видел доказательств того, что живой организм устроен, как машина. Наоборот, мы все больше убеждаемся, насколько машина не похожа на живые организмы.

Приведенную цитату можно рассматривать только как новый религиозный догмат — утверждение новой кибернетической религии.

Н. М. Амосов ссылается на то, что наука разрушила «божественное», мистическое представление о бесконечной ценности человеческой личности. Слово «божественное» должно здесь служить эмоциональным аргументом в его пользу. Но ведь это аргумент типа: «Что может быть доброго из Назарета?»

Взамен отрицаемого провозглашается новый догмат (бездоказательный, как всякий догмат), что человек есть только сложная система. Из него делается вывод, что жизнь не бесценна, а можно объективно взвешивать прибыли и убыли от осуждения человека на жизнь или на смерть. Давайте разберемся, к каким следствиям приводит эта новая религия. Мы не должны бояться их проследить, хотя бы как люди науки, тем более что эти следствия легко выведет любой человек, не защищенный в достаточной мере психологическим барьером.

Итак, ценность жизни отдельного человека не бесконечна, а исчислима, как исчислима ценность любой сложной системы (машины). Для необходимой починки более дорогой машины мы в случае нужды всегда пойдем на то, чтобы разобрать менее ценную на запасные части. Тем более, если эта менее ценная уже при последнем издыхании. Таким путем придем к сделанному Н. М. Амосовым выводу,

что допустимо брать для пересадки органы у людей с необратимыми поражениями коры.

Но ведь логическое рассуждение можно продолжить. Почему тогда не пожертвовать на благо общества психическими больными с сумеречным сознанием и не пересаживать их органы более ценным для общества индивидуумам? По логике относительных ценностей эта идея вполне рациональна. Почему не пойти в этих рассуждениях еще дальше? Представим себе, что для спасения выдающегося академика нужно пожертвовать рядовым научным сотрудником. Разве не логично? А ведь мы сделали совершенно строгие выводы из отказа от догмата о бесконечной ценности человеческой личности.

Если ценность человеческой личности конечна, то она может быть меньше или больше, а люди разделяются на группы более или менее ценных. Дальше уже не столь важно, связано ли это деление с расой, интеллектом, здоровьем, социальным положением или еще с чем-нибудь.

Развитие науки, и в частности медицины, заставляет нас заново обращаться к этическим проблемам. Действительно, приходится пересматривать — что есть граница между живым и неживым. Есть только один разумный и моральный путь — отодвигать эту границу все дальше: если перестало биться сердце, еще не все потеряно; если есть поражения в мозгу, еще не все потеряно — человек может жить. Н. М. Амосов пытается исходить из того, что коллегиальное решение врачей гарантирует от ошибок в определении судьбы больного — лечить ли его или пустить на изготовление протезов для других больных. Нет, консилиум (или диагностическая машина) только снимает тяжесть ответственности с каждого отдельного человека и облегчит ему возможность безответственного, а следовательно, дурного выбора. Предполагая, что человек в основе добр и порядочен, не надо создавать ситуаций, толкающих его к дурным решениям. Напрасно ждать, что наука даст нам рецепты, гарантирующие от дурных этических решений.

Может быть, главный вывод научного рационализма состоит в том, что человек должен сознавать: «Не являюсь непогрешимым. Скорее мне свойственно ошибаться». Есть нечто, стоящее над любым личным, коллегиальным или машинным мнением, — глубокая ответственность человека перед истиной. Она требует постоянных сомнений.

Человеку всегда хочется обеспечить себе чувство правоты. Люди всегда стремились создавать себе такие системы правил — этикет, регламентирующий общественное поведение. Сейчас люди готовы верить алгоритму, заложенному в машину. На самом деле никто нам не поможет — приходится действовать, беря всю ответственность на себя. Диагностическая машина может быть очень полезна, поскольку она увеличивает количество информации, которой может активно располагать врач. Но морально легче от этого не станет: большее знание может сделать решение более трудным.

Нельзя освобождаться от ответственности. Нельзя отказываться от веры в бесконечную ценность человеческой личности, не измеренную никем и ничем. А дальше, не будем решать вопросы в общем виде — морально ли пересаживать сердце или человеческую голову. Будем сознавать свою нравственную ответственность в каждом конкретном поступке, будь то поступок врача, ученого, солдата, учителя или кого угодно.

4. Как наука помогает противостоять суевериям

Итак, наука не только рассеивает суеверия, но и способна сама их порождать. Вся предыдущая часть статьи была связана с доказательством этого не вполне традиционного тезиса. Рассматривая науку как общественное явление, нужно трезво отдавать себе отчет как в ее общественной пользе, так и в возникающих издержках.

Опять-таки мы оставляем в стороне практическую пользу науки, ее роль в развитии производства и создании общественных благ, равно как не упоминаем и о тех разрушительных силах, которые она вызывает к жизни. Мы говорим только об одном — о влиянии науки на духовную жизнь общества, о роли науки в общественном знании. Положительный вклад точных и естественных наук в это знание также отнюдь не ограничивается запасом конкретных сведений или научных законов. Наука преподает нам важные уроки отношения к добываемому знанию, которые не стоит оставлять лишь ее внутренним накоплениям.

Прежде всего это честное отношение к добываемой истине. Ученый верит, что цель науки — добросовестный поиск истины. Поиск, при котором ученый тщательно разбирается, что доказываемся и что остается неясным. Критическое отношение к получаемому результату, потребность многократной проверки и перепроверки получаемых данных является, если угодно, частью психологии ученого. За полученным результатом всегда видится комплекс нерешенных проблем. Более того, содержательный результат никогда не бывает завершением разработки проблемы. Наоборот, самый главный смысл этого результата в том, что он дает новый способ задать природе содержательные вопросы, что он обогащает язык науки. Наиболее содержательные научные открытия, как правило, обрушивают лавину нерешенных и трудных проблем.

Скептицизм по отношению к устоявшимся, ставшим общеочевидными схемам настоящий ученый воспринимает как свой долг перед истиной. Добывать истину не только возможно — и должно. Околонаучные суеверия связаны, в частности, и с отклонением от этого принципа. Когда целью занятий ученого становится не поиск истины, а достижение быстрого успеха, эффектного результата, подтверждение авторитетного мнения — возникают не научные результаты, а мифы, мешающие развитию науки и общества.

Второй важный урок, который можно извлечь из современной науки, — это единство истины. Несмотря на крайнюю специализированность областей современной науки, мы все время чувствуем и противоположную тенденцию в ее развитии — стремление к единству знания, к взаимодействию отдельных областей.

Академик В. Кедров пишет в газете «Правда» 11 октября 1968 года: «Чрезвычайно важное соображение В. И. Ленин высказал о двух принципах научного исследования — принципе развития и принципе единства мира. Оба они, считал он, должны быть взаимно дополнены один другим и связаны друг с другом. Указав на важность правильного понимания принципа развития, Ленин добавляет: «Кроме того всеобщий принцип развития надо соединить, связать, совместить с всеобщим принципом единства мира, природы, движения, материи etc».

Наука как бы противоборствует усилиям ученых, отягощенных грузом специальных знаний, растащить ее по замкнутым клеткам. Она стремится, несмотря ни на что, остаться единым знанием о едином мире. Как бы ни была замаскирована эта тенденция науки существующей раздробленностью, стремление науки к единству существует, и оно весьма поучительно. Это еще один урок, который можно извлечь из развития науки: возможность единства и цельности в многообразии форм. Перед современным обществом стоит в некотором смысле аналогичный вопрос: может ли человечество существовать как единое целое вопреки существующему дроблению на языковые, национальные и социальные коллективы?

Точная наука развивает все новые и новые связи с гуманитарными науками, с искусством. Все чаще наука выходит к постановке философских проблем. Органичность такого симбиоза точной науки с другими областями знаний естественно приводит к вопросу: вытесняют ли точные и естественные науки иные формы познания с тем, чтобы занять их место? Или наука является естественной частью общего единого знания о мире? Вся система аргументов этой статьи была направлена к тому, чтобы опровергнуть первую возможность. Но тогда нужно всерьез размышлять о месте науки в системе знаний, о ее взаимодействии с философией, с искусством, о том, что вносит наука в наше представление об устройстве мира.

В этой связи интересно было бы детально проследить, как исторически менялся сам тип научных моделей — от чисто детерминистских к вероятностным (где детерминизм ослаблен влиянием случайных факторов) и затем уже к постановке на очередь проблемы создания индетерминистских моделей с настоящей свободой выбора. Чтобы разобраться в месте и роли научного знания, мы обязаны сочетать конкретный анализ научных данных с философским осмыслением, с анализом допущений, лежащих в основе экстраполяции этих фактов. В этом смысле поучительный пример дал П. Тейяр де Шарден¹. Известный геолог и палеонтолог, сыгравший большую роль в открытии синантропа во время раскопок, производившихся в 1929 году экспедицией Дэвидсона Блэка, и оставивший ряд важных работ по геологии Китая, по культуре палеолита и по эволюции млекопитающих, Тейяр де Шарден в 1938 году написал книгу «Феномен человека». В этой книге он подытожил и осмыслил свои представления об эволюции жизни и ее высшей формы — человечества, которое Шарден мыслит единым целым, связанным биологической, культурной и социальной общностью. Будучи настоящим ученым (его религиозные взгляды можно в данном случае оставить в стороне, так как они не имеют прямого отношения к нашей теме), Тейяр де Шарден хорошо понимал необходимость создания научной картины мира в целом и места жизни в этой картине. По-видимому, именно попытка подойти с современных научных позиций к теории единого конвергентного эволюционного развития Вселенной, где уже нет места тепловой смерти и гибели, а есть оптимистическая картина осмысленного развития Мира, принесла ученому посмертную славу.

Суеверия порождаются не только полным невежеством. Еще сильнее они связаны с неполным знанием, с полуобразованностью. В свое время об этом хорошо сказал еще Исаак Ньютон. Если рассматривать общество в целом, то причина суеверий, связанных с наукой, состоит попросту в недостаточном знании сути дела, в непонимании смысла научных результатов, в неправильном использовании научных знаний.

Суеверия, возникающие у специалиста-ученого, имеют по сути дела ту же природу. Это неумение выйти в своем мышлении за пределы мира науки, отсутствие готовности воспринимать науку как часть человеческого знания. Жить в мире точных наук по-своему очень привлекательно и легко. В отличие от обыкновенной жизни здесь есть очень ясная шкала ценностей. Но простота этой шкалы легко переходит в жесткую обусловленность сознания, в отгораживание от остального мира, в представление о мире, стоящем вне науки, как о чем-то низшем и плохо устроенном, в потерю человеческой ответственности.

Есть что-то очень инфантильное в этом стремлении во что бы то ни стало иметь очень простую шкалу ценностей, очень простую систему правил, гарантирующих правоту. Какое-то наивное желание устроить искусственное освещение в своем уголке, не заботясь о том, что мы при этом увидим вне этого уголка.

Для любого человека, для любого члена общества возникает важный вопрос. Как, живя и действуя в определенной среде, в определенной культуре, противостоять суевериям, вырастающим в этой культуре? В чем состоит то знание человека о мире, которое позволяет ему стать полноценной личностью и полноценным членом общества — сознательным и ответственным? Оторваться от своей среды, своей культуры — значит потерять что-то существенное в себе самом. Искусственный отрыв от среды, от корней никогда не способствовал развитию личности. Но мало ощущать себя в своей среде, жить своими связями в этой среде, надо еще уметь противостоять ходячим мнениям, предрассудкам этой среды. Потому что человек живет не только в своей среде, но и в истории. Коллектив, рвущий связи с человечеством, превращается в бандитскую шайку, в фашистскую орду

¹ Основные философские работы Тейяра де Шардена «Феномен человека» (имеется русский перевод), «Место человека в природе», «Моя вселенная» и другие изданы после смерти их автора (1955).

Разрыв связей между людскими коллективами, социальную психологию чужака всегда использовали самые темные силы. Достаточен такой пример. Осенью семнадцатого года на революционный Петроград была двинута «дикая дивизия». Расчет был очевиден — легче было рассчитывать на подавление русской революции руками людей пришлых, не имеющих в Петрограде никаких социальных связей, никаких моральных запретов. Марокканские части генерала Франко, белые наемники в Конго — все это та же идея: давить с помощью чужаков, то есть людей, которых не остановит ощущение братства.

Никто не может отрицать право немца быть немцем, но когда Гитлер противопоставил немецкое человечеству, возник национал-социализм со всеми последствиями.

Смысл настоящего просвещения в том, чтобы, опираясь на конкретную культуру, показать общечеловеческие связи этой культуры, связать в цельное представление о мире отрывочные специальные знания. Необходимо настоящее просвещение, о котором еще А. С. Пушкин писал: «...дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности» (Полное собрание сочинений в десяти томах. Издательство АН СССР. М.—Л. 1949, т. 7, стр. 198).

Трудность состоит в том, что современные наука и культура разделились на бесчисленное количество частных областей, которые уже не может охватить полностью ни один образованный человек. Это не значит, что потеряна возможность интегрального представления о мире, преодолевающего многообразие форм современного знания. Но это требует значительных усилий дружины ученых и писателей.

Невозможна настоящая культура без какого-то запаса четких знаний, без точного и глубокого понимания какой-то области науки, или искусства, или человеческой деятельности и т. д. И в то же время никакое конкретное знание — профессиональное, научное, литературное и т. д. — не дает само по себе нужной образованности, нужной культуры.

Невозможна образованность без ясного представления о природе человеческих знаний, без честного отношения к знанию.

Невозможно настоящее просвещение без четкого представления о природе и основах этики, без ясного ощущения собственной ответственности.

Старые формы сохранения единства знания изжили себя. Это не значит, что невозможны новые формы, новый синтез. Но для этого необходимо отдать себе сознательно отчет в единстве нашего мира и нашего знания о нем. И, в частности, отказаться от представления о всемогущей и всеведущей науке.



А. Межирова, Б. Ахмадулиной, Ю. Рышленцева появлялись во всесоюзной и грузинской «Литературной газете», в журнале «Литературная Грузия». Много новых стихотворений найдет читатель и в готовящейся в издательстве «Художественная литература» книге избранной лирики И. Абашидзе.

Для читателя, по крайней мере русского, руставелевские циклы открыли поэта, гораздо более значительного, чем можно было предполагать раньше: казалось, нужен был великий образец, чтобы в стихах появился необходимый масштаб духовной жизни лирического героя. И если я, говоря о поэзии Ираклия Абашидзе, то и дело буду соизмерять сделанное поэтом прежде с уровнем достигнутого им за последнее десятилетие,— я меньше всего хочу этим бросить тень на бывшее его творчество. Понять и осмыслить логику развития творчества Ираклия Абашидзе — значит многое понять в общем движении советской поэзии.

Ираклий Абашидзе родился в 1909 году в селении Хони (ныне г. Цулукидзе), в Западной Грузии. Ему было двенадцать лет, когда в февральскую ночь его разбудили выстрелы: уходили меньшевики.

Юный Ираклий записывается в комсомол. В 1926 году он переезжает в Тбилиси, где через четыре года заканчивает университет. Молодой поэт явственно подражает Маяковскому. Но поэзии Ираклия Абашидзе никогда не были свойственны гипербола, неожиданность далеких ассоциаций, лексическая смелость Маяковского. Поэтому наивно и неуклюже звучали такие его стихи, как «Овладевай техникой», «Октябрьский рапорт» и другие.

И дело, конечно, не в одной форме. Строки Маяковского об умении в каждой мелочи «будить большевистского пафоса медь» порой понимались молодыми поэтами Грузии односторонне, упрощенно. Однако была в тех стихах высокая романтика, пафос освоения новой действительности, попытка слить в лирике «общее» и «личное».

Пройдет много лет, пока опыт развития нашего искусства покажет, что, только органически вобрав в себя новое «социальное переживание», лирика станет высокой исторической лирикой.

Лирика же больших поэтов всегда запечатлевает реальный опыт личности, ее общественный портрет.

Новое не рождается внезапно. Оно подготавливается исподволь.

Например, в давнем стихотворении И. Абашидзе «Все песни» цепь образов, раскрывающих идею многообразия жизни и интересов личности, в конце концов замыкается традиционным синтезом любовной лирики: все богатство мира — в любимом сердце; иными словами, перефразируя анафору («Песнь каждая свое нам говорит»), получается: «Песнь каждая одно нам говорит...» Для того, чтобы идея многообразия, идея богатства личности могла выкристаллизоваться в органическую форму, присущую именно этому поэту, должно было пройти еще некоторое время, понадобились многие события общественной жизни века.

В лирике некоторых поэтов во второй половине пятидесятых годов мы часто встречаем мотив ощущения полновластия поэта над словом. Может быть, в их стихах образ родного языка, неподвластного смерти, своеобразно аккумулировал идею внутренней свободы и осознанной ответственности перед своим народом. Вспомним строки Твардовского: «Вся суть — в одном-единственном завете...» — или эти, из «Голоса у Катамона» Ираклия Абашидзе: «О язык мой — бессмертье земное... Ты — сладчайшая скорбь, ты — горчайшая радость моя, обо всем говорящий, умалчивающий о многом».

На первый взгляд строки об «умалчивании» вызывают аналогию с уже цитированным ранее стихотворением «Вдохновенье», где речь шла о «неизреченных», заживо похороненных словах. Но если там поэт признавался в таких слабостях, как невниманье, суетность или поспешность, — слабостях, ведущих к тому, что остаются нераскрытыми глубины слов, то здесь, в «Голосе у Катамона», есть знание возможности слов, есть свое отношение к сути вещей. Как сказано в другом стихотворении Ираклия Абашидзе, «беспольный плач по совершенству — всего лишь немота, а не слова» («Камень»).

Поэт понимает, что долг его — в активном постижении всей полноты жизни, такой, какая она есть. Если великий романтик прошлого века Николоз Бараташвили просил «зачесть» «в молитвы» свои «нечаянные умолчания», то поэт нашего времени не видит оснований для такого смирения — он не может молчать. Но он пони-

мает также другое — альтернатива не так проста: не молчать или говорить, а говоря, выражать подлинное, глубинное течение жизни. «Свеченья и тьмы непрестанная смена — вог опыт горы, умудряющей разум. Тот снег, ожидающий нового снега, — в подвижности, но и в азарте прекрасном» («Далекая Шхелда»). Этот азарт — готовность движения, вечная упругая готовность к открытию... И тогда на место «юного пыла», выражающего стремление познать мир и себя, приходит самое познание и его могущественнейшее орудие — язык.

Тогда раскрываются во всем богатстве и широте мир окружающий и мир души человеческой.

В творческом арсенале Ираклия Абашидзе бросается в глаза лексическая сдержанность, отсутствие метафорической «густоты». И с годами стиль поэзии Ираклия Абашидзе существенно не изменялся, менялась сама поэтическая суть образной структуры.

В стихах Ираклия Абашидзе нарастает драматизм. Этот процесс легко объясним. Усиление личного начала, раздумье, анализ ведут к иной структуре, более драматической. Стихи спрашивают, опровергают, спорят, настаивают. В них появляется диалектика чувства.

Стихи Ираклия Абашидзе второй половины пятидесятых годов накапливали это новое качество. Качественным скачком явились руставелевские циклы.

Как это было в годы высокого итальянского Возрождения (XV век), так и в Грузии XII века коронованные меценаты собирали художников и мыслителей, страна гордилась мыслью и дала ей простор. К именам Леонардо, Рафаэля, Микеланджело прибавлялось *divino* — «божественный». В Грузии было две академии, а ее философы и художники соревновались друг с другом в силе и мощи таланта и интеллекта. «Витязь в тигровой шкуре» — один этот шедевр скажет многое о далекой и славной эпохе, об уровне культуры грузинской национальной жизни. Поэма Руставели — феноменальное явление в мировой истории. Трудно назвать другое произведение искусства, которое оставило бы такой след в духовной жизни своего народа.

Ираклий Абашидзе совершил путешествие в места, куда был изгнан Руставели, и в

созданном еще в IV веке грузинами иерусалимском Крестном монастыре нашел изумительную фреску: между изображением Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника запечатлен Шота Руставели. Он изображен коленопреклоненным перед духовными владыками. Такова ритуальная поза. Но духовная поза художника иная... И в руставелевских циклах Ираклия Абашидзе поэт вырастает в фигуру, гордую причастностью к истине и вере в необоримость свободного духа.

Величественна сама его смерть — как поединок с вечностью. Он смотрит в небо, как будто хочет «взвесить» его.

Пафос этой поэмы — в действенной любви к родине, к истине, в мужестве поисков истины.

В тридцатые и сороковые годы воображение влекло Ираклия Абашидзе к грандиозному. Величие выделось в монументальном. Ныне даже в скромных ласточках запечатлено дорогое сердцу:

Я не слышал, как дышала
туча мощная, как вол,
грохот горного обвала
до сознания не дошел,
истины
в его раскатах,
как ни бился, — не постиг.
Только понял я пернатых,
наших ласточек язык¹.

Сердечную интимность всего живого, противостоящего «количественным» диктатам многозначных чисел, как дар, принимает поэт. Земля, страна сравнена с сердцем:

Ты — терпенье в час беды
с дальним огоньком в тумане,
трениет сердца и дыхание,
растопляющее льды.
Дуновение тепла,
в день зимы — виденье лета.
Но ведь ты совсем мала,
так мала, как сердце это.

Глубокая несуетность, мужественное спокойствие мысли царит во второй, наиболее значительной части руставелевской эпопеи Ираклия Абашидзе. «Всем сердцем жаждал твой далекий потомок представить себе, что думал и переживал ты в последние дни жизни. Так зачти ему эти «голоса», как действительно услышанное им в грузинском Крестном монастыре Па-

¹ Здесь и далее стихи И. Абашидзе даны в переводе А. Межирова.

лестины, в твоём последнем убежище, спустя семьсот лет после твоего бесследного исчезновения». Эти слова предпосланы циклу «Палестина, Палестина!..». Голос Руставели оживает здесь, как оживают краски древних фресок под рукой реставратора. До дрожи узнавания ощущаем мы и эти «щербатые плиты» пола, и порог, за которым «темный скит», и даже эта ритмическая пауза, сохраненная в талантливом переводе А. Межирова («И вот — порог. Стою у входа»), — как бы последняя черта, подводящая итог жизни, и само освещение, резко разделяющее солнечное и черное — до порога и после него... И «белая тень», последний раз скользнувшая в памяти как символ вечно неутоленной жажды художника, вечно недоступного ему идеала, — гармонически растворяется в темноте скита.

Ты здесь...
 На этом камне стих
 твой шаг последний —
 в эти плиты
 твои следы незримо влиты
 и слезы из очей твоих.

В художественном отношении эти стихи Ираклия Абашидзе, по-моему, не знали себе равных в прошлом творчестве поэта. «Палестина, Палестина!..» — законченное, пластически выразительное создание таланта. В построении цикла много музыки — и в развитии темы Руставели, и в смене трагических мотивов светлыми мелодиями надежды, и в ритмических параллелях, и в полифоническом движении мысли.

Но главное достоинство руставелевского цикла — в патетическом восславлении истины. Смысл и пафос поэмы о твердости духа и верности идеалу заключены в строках из главы «Голос у стен Крестного монастыря».

Ты поклоненья требовал слепого,
 коленопоклоненья одного,
 но только мысли, воплощенной в Слово,
 я поклонялся, веря в естество.
 И если в замысле твоём высокою
 я человеком был,
 и если ты
 однажды взвесил совершенным оком
 мои несовершенные черты,
 и если ты
 печаль и радость —
 разом —
 дал мне вкусить на праведном пути,
 то я желал
 раскрепощенный разум,

освобожденье мысли
 обрести.

Да, если и стоял Руставели на коленях, то — перед истиной, правдой. «Данником» любви к истине и рабом этого «единовластия» считал себя герой Ираклия Абашидзе. А более всего молил он судьбу, чтоб спасла родину «от рабской доли» и «от поруганья». Родина, истина, любовь сливаются в облике прекрасной Тamar.

Любопытно сопоставить это мудрое отношение к прошлому своей родины с односторонними и поспешными выводами, скажем, в старом цикле «Дманиси» (тридцатые годы).

Для грузинской поэзии историческая старина — развалины замков, башен, крепостей, храмов — органическая часть поэтического пейзажа, ибо это часть пейзажа природного. Чувство историзма — развитое чувство личности, за спиной которой века богатой культуры, — в тридцатые годы нередко выражалось в резком противопоставлении нового старому. Дманиси существовал в стихах Ираклия Абашидзе как неудачливый антипод «быстрокрылого авто». О камнях исторического прошлого говорилось: «мертвые». Им не дано было право «голоса». Они молчали.

Правда, поэт в данном случае волновало не это. В «авто» он видел «жизнь», а камни старой крепости были просто синонимом «смерти». Но пройдут годы и годы, пока для выражения «смерти» будут найдены другие образы, пока заговорят камни прошлого, став образом жизни.

Были и художники, которые, напротив, только в развалинах замков видели величие родины, и в воспевании прошлого своеобразно сказывался спор с новым. Но в обоих случаях новое и старое спорили.

Военные и послевоенные годы дали иное толкование историзму — возрос интерес к героям прошлого. В частности, для грузинской поэзии весьма характерной формой становится «монолог» воина, лирического героя. Может быть, отчасти и отсюда тянется нить преемственности в самой форме построения руставелевского цикла у Ираклия Абашидзе?

Но отчетливо глубокое понимание национальных традиций приходит во второй половине пятидесятых годов. Историзм в подлинном его понимании — не простое

Все равно
не видать
в тумане.

Но Казбек не очень-то поддавался... Легче было с гробницами: «Нина и Веспасиан из гробниц, мертвые, рвутся из Мцхета рабочих, вихрем кружат, повергаются ниц, гонит поэт окончательно прочь их...» (Тициан Табидзе). В те годы даже вежливый Симон Чиковани требовал «гяпнуть лирику по башке сапогом». Поэзия была настроена агрессивно-весело, дерзко и... не очень ответственно.

Примерно так можно истолковать и строки Ираклия Абашидзе о Тбилиси:

Сам ты поведай Куре-вертихвостке,
Выскажи ей за меня, что она
В землю твою и в твои перекрестки
Вряд ли сильнее меня влюблена...

Дай ты понять и Метехскому замку,
Как неуклюжи его этажи,
Ну, а Мтацминде, спесивой и замкнутой,
Встать предо мною во фронт прикажи!

(Перевел Г. Маргвелашвили)

И в более поздние времена критика, требовавшая восхваления существующего, опиралась на «новую героинку», «новую поэтическую позицию», видя ее в постоянном

противопоставлении «старому». Нередко посрамление героев прошлого означало лишь еще одну степень восхваления существующего, а не утверждение подлинно ценного опыта революционной действительности. На деле не Мтацминда стала навтыжку перед самоуверенным героем поэзии, а он сам почтительно склонил голову перед нею — символом национальной святыни грузинского народа.

Вот почему лирика нового мироощущения, лирика новых исторических горизонтов, поэзия интернациональной темы, подлинного духовного раскрепощения и расцвета гармонической личности развивалась не только в борьбе с уродливым наследием буржуазной идеологии, но и с искажающими поэзию упростиТЕЛЬскими тенденциями. «Богатейший духовный мир современного человека и сложнейшие процессы нашего времени» (как писал Ираклий Абашидзе) по силам выразить только лирике, которая связана неразрывными узами с традициями отечественной культуры, культуры братских народов, прогрессивными идеями гуманизма и свободолюбия.

Лирика Ираклия Абашидзе в ее вершинных проявлениях подтверждает это красноречиво и недвусмысленно.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Березнин. Годы тревог и мужества.— **Б. Занс.** Аркадий Гайдар в газете.—
Ю. Буртин. «Может быть, это мои прощальные письма..» — **В. Портнов.** Це-
лое и детали.— **Александр Гладков.** Литература и театр.— **Р. Орлова.** Жен-
щина охраняет дом.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Водолазов. Человек против идолов.— **А. Каждан.** Единство и многообра-
зие.— **О. Лацис.** Правда и ложь статистики.— **Р. Баландин.** От факта к ги-
потезе.

Литература и искусство

ГОДЫ ТРЕВОГ И МУЖЕСТВА

Максим Танк. Листни календаря (Дневниковые записи). Авторизованный перевод
с белорусского С. Григорьевой. Стихи перевел Я. Хелемский. «Советский писатель».
М. 1969. 303 стр.

Первая запись в «календаре» Максима Танка помечена 7 января 1935 года, последняя — 28 ноября 1939-го... Пять лет. Пять невероятно трудных и сложных лет, наполненных событиями, имевшими решающее значение для судеб не только Западной Белоруссии, родины Танка, и не только Польши, в состав которой входили западнорусские земли (или «кресы», то есть окраины, как гласило их «государственное», оккупационное по сути, наименование), — для судеб Европы в целом, для всего мира. Ведь речь идет о времени, предшествовавшем второй мировой войне, которая началась, как известно, 1 сентября 1939 года с нападения гитлеровских войск на Польшу.

«Годами презрения» мы окрестили нашу эпоху, — записывает Танк 30 августа 1935 года, — эпоху кризисов, человеческого унижения, бесправия, преступления фашизма... А может, это еще не самое худшее время? Какое название мы тогда дадим будущему — еще более мрачному?» И все, что идет

следом за этой записью, весь по существу дневник-«календарь» — непрерывающаяся цепь усилий разгадать многоликое время, духовно собраться перед неотвратимостью прихода времен «еще более мрачных», стремление утвердиться в наиболее устойчивых понятиях общественной и нравственной жизни, чтобы противостоять хаосу и катастрофе.

Историк революционного, коммунистического движения в Польше и Западной Белоруссии, да и просто читатель, интересующийся этим движением, найдут для себя в «Листках календаря» бесценные свидетельства человека, с юных лет вступившего на путь борьбы, неоднократно подвергавшегося преследованиям и арестам, но не сломленного ими, не деморализованного.

Прямо-таки звенящей, ликующей радостью причастности к делу, за которым будущее народа, дышат страницы книги, где Танк вспоминает о том, как «в 1932—1933 годах в Кареличах, Негневичах, Шор-

сах мы собирали деньги на МОПР. Ночь. Мороз. Несутся лошади с красной пятиконечной звездой. Останавливаемся возле хат, занесенных снегом; на мотивы колядных песен поем о гибели старого и рождении нового мира...»

Это и впрямь волнует, как только может волновать картина необыкновенного подъема народных масс, воодушевленных благородством своих целей, несокрушимой верой в их спасительную для человечества правоту и столь же прочной надеждой на их осуществимость. Волнует здесь, кроме всего остального, еще и та удивительно конкретно и живо переданная специфически-крестьянская, деревенская атмосфера, в которую погружена — и, надо полагать, в строящемся соответствии с фактами самой действительности — «коммуна» у Танка: перечисление сел, переименованные на новый лад колядные песни, рабочая лошададка с агитационной красноармейской звездой...

Вот из этих Карелич, Негневич, Щорсов, из самой гущи народа, придавленного гнетом безземелья, «волчьим режимом» конфискаций и налогов, насильственной колонизации и полицейских расправ, и вышли те профессионалы-подпольщики, те герои революционных преданий, о которых Танк, их близкий и верный соратник, говорит с восхищением, любовью, болью. И 30 марта 1939 года: «Сегодня узнал, что Герасим (подпольная кличка Н. Дворникова, секретаря ЦК комсомола Западной Белоруссии. — Г. Б.) погиб — не то в Мадриде... не то в горах Эстремадуры, прикрывая отступление своей бригады... Я записываю грустную весть о гибели своего замечательного товарища пером, которое он мне подарил в минуты нашего расставания».

Читая дневники Максима Танка, мы шаг за шагом следим и за тем, как исподволь, из года в год становясь все агрессивней и наглей, овладевали государственной жизнью Польши откровенно фашистские элементы, как под воздействием их идеологии и политики «санационная» Польша превращалась в страну с тоталитарно-террористическим строем.

В мае 1935 года можно было еще так, между прочим, занести в дневник хоть и весьма тревожную, но еще не раскрывшуюся во всем зловещем своем значении весть о том, что на Гродненщине какие-то там «эндеки», то есть крайние националисты,

мечтают о «ночи длинных ножей». Но и года не пройдет — и «ножи» пущены в ход. «Трагедия в Кракове: полиция расстреляла демонстрацию рабочих «Семперита»; «улицы Львова снова окрасила кровь рабочих, в которых стреляла полиция...».

Преодолевая сектантскую узость и догматизм в собственных рядах, коммунисты Польши и Западной Белоруссии делают все, чтобы противопоставить фашистской угрозе все прогрессивные, честные и здоровые силы страны. Сам Танк по заданию партии сотрудничает в белорусских и польских изданиях Народного фронта.

Шестого апреля 1936 года: «От имени молодежи Гродненщины мы передали в редакцию «Работника» мемориал о зверствах полиции, о пытках, издевательствах, которым подвергались люди, добивавшиеся открытия белорусских школ. Посетили посла сейма Дюбуа (через несколько лет он погибнет в Освенциме. — Г. Б.)...

От Дюбуа мы направились в Лигу защиты прав человека и гражданина, к Андрею Стругу... А мне помимо всего просто хотелось повидать его, одного из виднейших современных польских писателей, человека, всегда мужественно выступавшего против расизма и антисемитизма, против социальной несправедливости и Березы Картузской (концентрационный лагерь. — Г. Б.), смело добивавшегося амнистии для политзаключенных и упразднения цензуры.

Запечатленное в «Листках календаря» мировосприятие революционера-подпольщика насквозь пронизано духом естественного, как бы само собой разумеющегося интернационализма. Рядом с самыми близкими Танку боевыми друзьями, такими, как Павел (С. Малько — в настоящее время генерал польской армии), Кастусь (М. Криштофович — в годы войны один из руководителей партизанского движения на Брестчине), Гриша (Г. Смоляр — впоследствии руководитель коммунистического подполья в минском гетто, редактор партизанской газеты), мы видим и его польских товарищей: Г. Дембинского, одного из виднейших деятелей польского комсомола, в годы войны расстрелянного фашистами, Владека — шахтера из Домбровского бассейна и других.

Такие же тесные узы связывали белорусского поэта-коммуниста с его друзьями-литовцами: «От Ионаса Каросаса узнал о возвращении Ёзаса Кекштаса из концла-

геря Береза. С Кекштасом я в 1932 году вместе сидел в Лукишках»; «Отец Казика Г. получил письмо от сына из французского лагеря Грю, там сидят интернированные бойцы международных бригад... В письме Казик упоминает некоторых своих друзей, среди них — Григулевичуса... неужели это тот Иозас, что весной 1932 года был арестован с группой литовских гимназистов? Мы вместе сидели в Лукишках».

Время репрессий, тюрем и лагерей. И в этой сложно противоречивой, чреватой многими бедами и опасностями общественной ситуации непрерывно росла и крепла партия коммунистов — организованный и политически прозорливый вожак Народного фронта. «Никогда еще не приходилось мне участвовать в такой громадной боевой первомайской демонстрации, какая всколыхнула вчера весь город. Под сотнями красных знамен, с пламенными лозунгами Народного фронта прошли десятки и десятки тысяч рабочих, юношей, девушек — людей разных национальностей, партий, профсоюзов...» (Вильно, 2 мая 1936 года)... И вдруг этого непонятный, страшный в своей бессмысленности удар: ликвидация, роспуск!

Страницы, где Танк рассказывает о роспуске партии и о том, как его восприняли коммунисты Польши и Западной Белоруссии, горьки, смятенны, трагичны.

«Уговариваем самих себя, что все это объясняется серьезной необходимостью... И все же очень трудно примирить логику разума с голосом сердца»; «...в воздухе все сильнее пахнет порохом... Тем, кто мог бы ударить в набат, связали руки; тем, кто мог бы предупредить об опасности, заткнули рты; те, кто должен был бы возглавить борьбу против фашизма, обезоружены».

И как выход из мучительного состояния, как попытка подняться над растерянностью и бессилием — запись: «Партию распустили, но то, что она посеяла, живет. Я только теперь увидел, скольким я ей обязан. Сейчас уже не могу представить жизни своей без ее знамен».

«Листки календаря» — дневник революционера-профессионала. Но они же и дневник поэта. Естественно, что рассуждения о литературе вообще и о литературе западнобелорусской в частности занимают здесь большое место.

Представление о том, в каких условиях развивалась литература на «кресах», дают

столь часто встречающиеся в «календаре» почти однотипные записи: «...цензура конфисковала мой сборник «На атаках»; «...полночь. Кто-то долго звонит к дворничихе. Полиция... По-видимому, идут искать мой конфискованный сборник»; «...цензура конфисковала сборник Василька «Шум лесной»; «...цензура конфисковала сборник Михася Машары «Из-под крыш соломенных»...»

И автор дневников, несомненно, близок к истине, когда он в одной из первых своих заметок пишет: «У нас нет разницы между литературой и воззванием, литературой и забастовкой, литературой и демонстрацией, поэтому почти на всех политических процессах рядом с борцами за социальное и национальное освобождение на скамье подсудимых находится и наша западнобелорусская литература».

Казалось бы, литература такого рода если и не прямо взывала к нетребовательности и снисхождению по части культуры, художественности, мастерства, то по крайней мере вполне допускала подобное снисхождение, «санкционировала» его возможность... Танк не соглашался с этими «санкциями», не принимал их.

Эпигонское стилизаторство «под фольклор», робость в проявлении личного начала, «дешевая патетика», погоня за популярностью, которая «часто складывается из элементов уцененных, утративших свою самобытность», — вот те недостатки западнобелорусской поэзии, на которые Танк обращает свое внимание прежде всего.

Он много говорит о правде как о неприменном, первом условии долговечности художественного произведения. О правде неурезанной и безусловной: «...самое трудное — это сказать в произведении правду о нашей жизни. Без этого имеет ли какую-нибудь ценность поэзия, если она претендует на нечто большее, чем забвение?»; «...сейчас разрешается писать только о вещах, приятных властям, но короткий век таких произведений. Можно писать и о неприятных явлениях жизни, но тогда — очень короткий век автора».

У Танка нет готовых решений на все случаи поэтической практики. Он не «поучает» своих единомышленников и друзей по общему литературному делу, полагая, что в этом деле «до всего... нужно доходить самому». Он сам бесконечно трудится, ищет, неудовлетворенный тем, что многое у него

получается не так, как хотелось бы, не так, как надо: «То приземляю свою поэзию, то поднимаю в романтические выси».

Ощувив исчерпанность и непригодность «архаичных форм», стараясь «вырваться из плена певучести, традиционной образной системы», Танк попадает на какое-то время под власть «лево»-авангардистских течений, «уже отказавшихся от старых рифм, пазойливой мелодичности, канонической логики развития образов». Но «паважденне» длилось недолго, и 27 февраля 1938 года появляется такая запись: «До тошноты начитался авангардистов и других модернистов. Иногда кажется, что в мычании коровы больше смысла и поэзии». Сказано грубовато, но мысль ясна: «левое» искусство не утолило той жажды органического, простого и эмоционально действенного слова, которой и определялись в конечном счете все метания и поиски Танка.

Есть у Танка такая запись: «Многие наши революционные поэты стесняются признаваться в любви к своему родному углу, к своему дому, семье, чтобы не сочли их людьми ограниченными».

Танк не стесняется. Больше того, в этой любви и привязанности к «родному углу», к повседневному существованию людей среди будничных трудов и забот, к человеческой жизни как жизни — начало, исток всего лучшего в поэзии Максима Танка. И в не рассчитанных на опубликование «Листках календаря» — тоже.

И вовсе не для того, чтобы «упроститься», сбросить с себя бремя «интеллигентских» терзаний или отдохнуть от подпольных волнений и риска, возвращается Танк в родную Пильковщину, к отцу и деду, на скудную их землю в камнях, среди болот и леса. Поэт никогда и не отрывался от самого естества и плоти реальной жизни, ради которой, собственно, и лозунги, и манифестации, и «отсидка» в Лукишках. Крестьянский сын, он просто живет этой жизнью, исполненной — при всей своей бедности — особого очарования и красоты.

И так хороши, точны и правдивы в неприужденной, не быющей на «экзотический» эффект передаче Танка все натуральные подробности крестьянского труда и быта.

«На изгороди сушится серое полотно. Это, видно, мама покрасила его в отваре

толокнянки или в отстое ржавого железа, чтобы шнать нам будничную одежду».

«Решили с дедом пойти в Дровосек и собрать березовый сок... Мы остановились около трех раскидистых берез, затесали кору. Пока вбивали лоток — сок выступал крупными каплями, а потом полился сплошной серебряной ниткой в принесенные нами легкие, будто из бумаги, осинового корыгца. Дед пошел к дороге, где, слышно было, кто-то понукал коня, а я присел на пенё, ожидая, когда на дне корытец соберется несколько глотков хмельного и освежающего весеннего напитка».

«Сушил сено в Неверовском... Когда я усталый возвращался домой, мне чудилось, что на плечах у меня огромный мешок, полный запахов сена, жары, звона оводов, птиц».

«...когда работаешь на земле — сам начинаешь думать, что нет более важных сведений, чем сведения о погоде и урожае, ими дорожишь пуще всего».

В этом нет ухода от обязанностей и тревог подпольщика: «Целый день я бороздил в поле. В сумерки появился М. Принес известие, что скоро придет литература...» И вообще Пильковщина насквозь продута ветром истории, она — между войнами. На всем быте пильковщан, на всей их психологии — неизгладимый след этой переходности и промежуточности.

«В кузне было несколько пильковщан. Они суетились возле наковальни, помогая раскалывать старые снаряды, из которых у нас делают лемеха». И где-то в конце дневников: «Ночью, наладив свой своеобразный детектор, прослушал сообщение о бомбардировках Варшавы, Демблина, Торуня, Кракова...»

В «Листках календаря» Максима Танка — весь человек. Живой, неповторимый, «единственный». С заботой об отце, с тоской по Лю (Любовь Андреевна Скурко, жена поэта), с печалью о товарище, который, не выдержав пыток, повесился в камере («У меня только осталась на память от него невыкуренная пачка папирос»). И еще со способностью замечать смешные мелочи вроде промелькнувшего в газете «брачного» объявления: «Панна с водяной мельницей ищет кавалера с ветряной...»

Дневник есть дневник, и спрос на «художественность» с него невелик, а сказать точнее, и просто неуместен. Но есть в дневниках Танка тот неразложимо единый и

целостный в своей непредвзятости взгляд на жизнь, который и производит впечатлительное единство нравственного и художественного, тем более что нам, знающим поэзию Танка, чуть ли не каждая подробность в его дневнике предстает как бы в двойном свете: сиюминутная, всамделишная — и преображенная образно, вошедшая в стихи тех же примерно лет. Во всяком случае, читая «Листки календаря», видишь, насколько живой и реальной была та «почва и судьба», из которой и выростали стихи поэта, даже самые метафорические — «кудрявые» среди них. Поэзия Танка и питалась запечатленным в «календаре» ощущением жизни, взятой в единстве ее бытовой, «крестьянской» сути и революционных тенденций и устремлений, которые только потому и овладели сердцами миллионов «пильковщан», что и они, эти устремления, тоже жизнь, тоже судьба и почва.

Последние страницы «календаря» написаны после 17 сентября 1939 года, то есть после освобождения Западной Белоруссии Красной Армией. История дала ответ на

самый «главный» и самый больной вопрос поэта и всей его жизни: «Когда встретятся в братском пожатии наши руки, когда зазвенят за общим столом наши вольные песни?» (отрывок из приведенного в дневниках письма Якубу Коласу от 26 мая 1939 года).

Новая жизнь, которую поэт встретил как долгожданное осуществление самой заветной и пылкой своей мечты, не сняла, однако, в начальную свою пору некоторые унаследованные от прошлого сложности.

Появились и новые сложности — радостные: «Как после поэзии бунта перейти к поэзии строительства?»

Весь последующий путь Максима Танка — одного из талантливейших белорусских советских поэтов — свидетельствует о том, что этот переход был им совершен успешно, в органическом соответствии с «коренными» свойствами своей природы человека, художника и борца.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.



АРКАДИЙ ГАЙДАР В ГАЗЕТЕ

С. Гинц, Б. Назаровский. Аркадий Гайдар на Урале. Второе издание. Пермское книжное издательство. 1968. 262 стр.

Виктор Королев. Гайдар шагает вперед. Дальневосточное книжное издательство. Владивосток. 1967. 96 стр.

О Гайдаре написано много. Есть у нас уже и специалисты — «гайдароведы». Иные из них живого Гайдара никогда и не видывали. Упомянув об этом отнюдь не в укор: ведь уже двадцать восемь лет прошло со дня гибели Гайдара в партизанском отряде близ украинского села Леплява. Да и не тем определяется успех или неуспех работы, а мерой знания и — главное — понимания предмета.

И естественно, год от года все ценнее становятся новые свидетельства современников Гайдара, тех, кто его близко знал.

С. Гинцу и Б. Назаровскому, написавшим об уральском периоде жизни Гайдара, что называется, и книги в руки: они работали вместе с Гайдаром в пермской газете «Звезда» в 1925—1927 годах, они и поныне живут в Перми. И хотя в авторской аннотации сказано, что книга, содержащая некоторые личные воспоминания, в большей части — результат изучения материалов и

документов, все же момент личного общения, непосредственного, не из вторых рук знакомства с обстоятельствами — недооценивать не приходится.

Прибавим сюда и принципиально важную позицию авторов, выраженную в словах: «Гайдар был безусловным противником слащавости, приукрашивания и лжи, хотя бы и продиктованной самыми благими педагогическими намерениями... Нужен живой и реальный портрет Гайдара, а не икона».

Именно такой портрет возникает на страницах книги, являющей собой как бы сплав мемуаров и исследования.

Вот далеко не полный перечень того, что сделано авторами.

Составлена обширная библиография всего напечатанного Гайдаром в уральских газетах: в ней учтено около ста семидесяти названий.

По старым комплектам газет заново

изучены опубликованные в них произведения Гайдара.

Дан реальный комментарий об обстоятельствах появления ряда этих произведений.

Прочитрованы или приведены полностью письма Гайдара, в частности адресованные одному из авторов книги — Б. Назаровскому — и заботливо сохраненные им на протяжении сорока лет.

Прозвучены изыскания в местных архивах, найдены интересные документы, имеющие отношение к работе Гайдара в Перми.

Достоверность, обилие документального материала — вот основные достоинства книги С. Гинца и Б. Назаровского. В итоге их труда годы жизни Гайдара на Урале, о чем прежде было известно очень мало, освещены с достаточной полнотой.

Гайдар приехал в Пермь осенью 1925 года. Ему тогда еще не исполнилось двадцати двух лет, но он уже успел провоевать несколько лет на фронтах гражданской войны. Он очень рано начал жить по-взрослому: в четырнадцать лет убежал из дому на фронт. Тяжелые последствия контузии положили конец его военной карьере. Теперь предстояло начать жизнь заново.

Правда, Гайдар к этому времени уже написал и даже опубликовал (в ленинградском альманахе «Ковш») свою первую повесть «В дни поражений и побед», но все, что я знаю о Гайдаре, о его характере, заставляет думать, что он этим успехом не слишком обольщался¹. В запомнившихся ему словах К. А. Федина, которые он позже привел в одной из автобиографических заметок: «Писать вы не умеете, но писать вы можете и писать будете», — Гайдар, вероятно, оценил не только «можете», а и «не умеете».

И он стал учиться писать. Он пробовал силы в самых разных жанрах: фельетон, очерк, рассказ, приключенческая повесть, даже стихи. Не все шло гладко, не все получалось удачно...

Подробно и обстоятельно показывают С. Гинц и Б. Назаровский, как формировался Гайдар-газетчик, как овладевал он новой профессией, как нашел свое место в

редакционном коллективе пермской «Звезды». Немало внимания уделено обстановке в редакции, людям, которые трудились бок о бок с Гайдаром (тут авторам служили подспорьем не столько архивы, сколько воспоминания).

Гайдара мы видим в книге не только на работе, а и вне редакции — дома, в быту, на отдыхе, он обрисован со всем его своеобразием, со всеми не укладывающимися в канонический графарет чертами.

Этому особенно способствуют обильно представленные в книге письма Гайдара и некоторые отрывки «о себе», старательно выисканные авторами в фельетонах, рассказах.

Трудно удержаться, чтобы не привести один из них — полушутливый автопортретный штришок:

«Я не знаю, можете ли вы, ощущая в карманах бумажную, серебряную или медную денгу, проходить спокойно по улице.

Лично я, например, не могу, потому что мне всегда надо что-нибудь покупать. И эта необходимость вызывается отнюдь не потребностью в той или другой вещи, а просто-напросто тем бунтом, который поднимают запрятанные в глубину карманов деньги».

Как хорошо, как искренне вылилось это признание! И кто из знавших Гайдара не помнит, сколь быстро испарялись «бунтующие» деньги из его карманов... Деталь чисто гайдаровская.

Автобиографичен, по мнению авторов, рассказ «Первая смерть». Видимо, это так и есть. Содержание рассказа совпадает с тем, что как реальный эпизод мне приходилось слышать от самого Гайдара (по его словам, дело происходило в Томске, где он, уже отвоёвавшись, лечился в 1923 году).

Гайдар полюбил работу в газете. После Перми, где были сделаны первые шаги в журналистике, он работал в Свердловске (1927), в Архангельске (1929), в Хабаровске (1932). Тяга к газете не покидала его, даже когда к нему пришло широкое литературное признание.

Не следует, однако, думать, что становление газетчика и становление писателя было двумя отдельными, обособленными процессами. Нет, именно в газете Гайдар складывался и как писатель.

С. Гинц и Б. Назаровский, констатируя несостоятельность газетных приключенче-

¹ Помнится, рассказывал он о своей жизни в Ленинграде в довольно иронических тонах и был далек от того, чтобы изображать себя в ту пору сложившимся писателем, наоборот, всячески подчеркивал свою литературную неопытность и наивность.

ских повестей Гайдара, пишут, что он все же учился на них «строить занимательную, интригующую фабулу, насыщать содержание действием, учиться лаконичности повествования — тем качествам, которые позже органически вошли в его зрелое творчество».

Вряд ли это верно. Вряд ли несостоятельные повести могли дать положительный опыт. Скорее уж отрицательный — научили, как не надо писать.

И вовсе не то существенно, что ради поднятия тиража газеты Гайдар писал беллетристику, ныне представляющую интерес разве только для специалиста, — существенна та школа повседневного литературного труда, школа жизни, какой явилась для него газета.

Ценность книги «Аркадий Гайдар на Урале» несомненна, хотя не со всем высказанным в ней я бы согласился, особенно в части критико-аналитической. Там, где речь идет о фактах, авторы проявляют похвальную осторожность: высказав какое-либо предположение, стараются его аргументировать; неполную подтвержденность какой-либо версии добросовестно отмечают. Когда же дело доходит до обобщений, до оценок, нередко появляются размашистые формулировки, безапелляционные суждения.

Да, путь Гайдара в большую литературу не был легким. Но зачем же излишне драматизировать события?

С. Гинц и Б. Назаровский пишут: «Всякое с критикой бывало. Об этом стоит сейчас напомнить, чтобы литературная обстановка двадцатых годов не рисовалась идеальной и чтобы литературная молодежь знала, через какие критические испытания приходилось проходить писателям первого (только ли, однако, первого? — Б. З.) советского поколения».

Под «критическими испытаниями» авторы подразумевают здесь несколько неодобрительных отзывов о первой повести Гайдара «В дни поражений и побед». Одной из наиболее резких была рецензия Михаила Левидова.

Из произведений начального периода проверку временем выдержал только рассказ «Р.В.С.». Подлинный Гайдар начался со «Школы». Первая же его повесть «В дни поражений и побед», хотя и включена в четырехтомник, сейчас решительно всеми признается слабой. В том числе, с некото-

рыми оговорками, и авторами книги. И все же они говорят об испытании.

Но то ли приходилось переживать Гайдару впоследствии, когда он уже был признан, известен... Разве эпизод с тремя-четырьмя пусть очень неприятными отзывами может идти в сравнение с кампанией против «Военной тайны», с прекращением газетной публикации «Судьбы барабанщика», обрывом ее на строке «продолжение следует» в конце первого же куска? Наконец, с действительными испытаниями, выпавшими на долю одного из «недоброжелательных» рецензентов — Михаила Левидова, старого, честно трудившегося писателя? Даже самая идеальная литературная обстановка не предполагает исчезновения отрицательных рецензий.

В главе «Суд над фельетонистом» излагается следующая история. Гайдар в фельетоне «Шумит ночной Марсель» высмеял судебного следователя, «по совместительству» игравшего по вечерам в оркестрике ресторана «Восторг». В фельетоне было то, что авторы именуют «художественным вымыслом». Следователь подал в суд. Оправдав Гайдара от обвинения в клевете, суд признал его виновным в «оскорблении личности» и приговорил к лишению свободы на неделю, с заменой общественным порицанием.

Авторы книги справедливо возмущаются приговором. Странным образом, однако, их возмущение распространяется и на самый факт принятия жалобы к рассмотрению, на то, что любому человеку, обиженному фельетонистом, «дается возможность тащить его в суд». Не понятно, чем это плохо! На то и суд, чтобы решать.

Разве не ясно, что не принять дело к рассмотрению — означает решить его до суда и вместо суда? Другой вопрос, что в данном случае суд оказался не на высоте.

Помню, редактор «Тихоокеанской звезды» И. И. Шацкий однажды открыл редакционную летучку словами: «Что-то на нас давно никто не жаловался. Что-то мы со всеми стали жить в мире. Значит, мы плохо работаем». Такой редактор Гайдара бы в обиду не дал. И не давал.

А пермский редактор (фамилии его в книге нет), по словам самих авторов, не имел охоты отстаивать своего фельетониста. В этом суть, а не в том, что «люди недостаточно вдумчивые» дали делу ход.

Во втором издании композиция книги стала стройнее, хронологически последовательнее, писем Гайдара появилось больше, облик Гайдара обогатился новыми живыми чертами. Авторы хорошо сделали, опустив крайне неудачный литературоведческий экскурс в проблему «лирического героя». Напрасно только они не пожертвовали заодно и термином, правомерность применения которого к фельетону вызывает сомнение. Мало убедительны, на мой взгляд, рассуждения о месте вымысла в фельетоне.

Не выглядят удачными и попытки расширить рамки за пределы, обозначенные заглавием книги: «Аркадий Гайдар на Урале». Например, о нэпе в Перми — интересно и нужно, а о положении в стране, о состоянии литературы — и не точно и не интересно.

К сожалению, нетронутыми перешли в новое издание некоторые витиеватые обороты, вроде: «бещеная скачка нервов», «точная, будто рубленая клинком шашки, фраза».

В целом же книга С. Гинца и Б. Назаровского — обстоятельный, серьезный труд, без которого теперь не обойтись ни одному биографу Гайдара.

Виктор Королев продолжает вслед за пермскими авторами разработку темы «Гайдар в газете», на этот раз — на Дальнем Востоке, в издававшейся в Хабаровске «Тихоокеанской звезде».

Написана книжка в живой, очерковой манере. В. Королев рассказывает о редакции, о журналистах, работавших вместе с Гайдаром. Перед читателем проходят краткие портретные зарисовки, много места уделено своеобразному быту квартиры, в которой жил Гайдар и другие сотрудники редакции. Изложено все это тепло, с любовью к Гайдару и к замечательному коллективу «Тихоокеанской звезды» тех лет.

Рассказано об И. И. Шацком — прекрасном человеке и прекрасном редакторе, до В. Королева упоминавшемся в печати только на страницах «Юности», в воспоминаниях Антала Гидаша о Фадееве. Рассказано о П. Кулыгине, Е. Титове, Б. Шишакине... Много опытных газетчиков собрал тогда Шацкий в Хабаровске.

Приятно было мне встретить в книжке В. Королева имена друзей молодости. И грустно — ведь почти никого из них не

осталось в живых: умерли, погибли на войне и вдали от нее...

Описание редакции, ее духа, людей, в ней трудившихся, — пожалуй, наибольшая удача автора.

Сам же Гайдар, к сожалению, получился у В. Королева менее убедительным. В нем ощущается явственная стилизация, приближенность к уже выработавшемуся образцу. И шутит он не всегда по-гайдаровски, и всерьез говорит как-то натянуто. В ряде сценок и разговоров видна не столько опора на память, сколько заданность, поверхностная беллетризация.

Не буду вступать с автором в длинный спор обо всех неточностях его повествования, хотя то, о чем он пишет, происходило, что называется, у меня на глазах: Гайдар жил в одной комнате со мной.

Но кое на чем остановиться все же следует.

Вот, например, В. Королев описывает, как в редакции обсуждают очередной очерк Гайдара. Спор заключает Е. Титов следующими словами: «И вообще я вам должен сказать, по моему мнению, Гайдар самый крупный очеркист в РСФСР. О других республиках судить не берусь — газет их не читаю, а в России он всех забьет!..»

Сравним эту цитату с другой, взятой из воспоминаний, опубликованных более двадцати лет назад.

«— Гайдар первый очеркист в РСФСР. Он всех московских забьет.

— Почему же в РСФСР, — спросил я, — а не в СССР?»

— Потому что, может быть, на Украине или в Закавказье и лучше есть, не знаю, а у нас нету» («Знамя», № 11-12, 1946).

Память явно подвела автора книги — навеянное прочитанным он смелал с запомнимившимся и оттого отзыв Титова об одном очерке переадресовал другому, а слова, высказанные с глазу на глаз, в его интерпретации произносятся во всеуслышание, в редакции.

Другой пример. Гайдар снова заболел. В. Королев пишет: «Самые близкие товарищи уговаривали Гайдара отправиться в больницу. Он был непреклонен. Но стоило войти в комнату Зайцеву в воинской форме, и Гайдар, как солдат, встал».

И здесь память подводит автора. Увы, все было куда более тягостным, чем это получилось в его описании. Гайдара увезли

в больницу на носилках, и «встать, как солдат», он просто физически не мог.

Подобные случаи аберрации памяти подрывают доверие к достоверности книги, снижают ее документальное значение.

Впрочем, и то сказать, автор был в описываемое им время слишком юным, чтобы уловить и правильно понять оттенки поведения старших. Ну, скажем, не называл Гайдар Ельпидифора Иннокентьевича Ти-

това по имени без отчества. Не те были у них отношения, не тот был человек Титов. Чаще всего они называли друг друга по фамилии.

Как бы то ни было, в литературе о Гайдаре книга В. Королева найдет свое место. Зачем, однако, автор поставил к ней эпиграфом аляповатое, нескладное четверостишие, да еще из него же взял и заглавие?

Б. ЗАКС.

★

«МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО МОИ ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА...»

Александр Яшин. Бессонница. Лирика. «Советская Россия». М. 1968. 336 стр.
Александр Яшин. День творенья. Новая книга стихов. «Советский писатель». М. 1968. 208 стр.

Первая из этих книг еще застала автора в живых, и в больничной палате он еще успел надписать несколько ее экземпляров своим близким друзьям. Вторая — подготовленная и составленная тоже самим поэтом — появилась через полгода после его смерти.

Таким образом, по горестному обстоятельству, книги оказались итоговыми. Что ж, пожалуй, они действительно в состоянии принять на себя эту особую ответственность. Правда, Яшин тридцатых годов, военного времени и, наконец, того первого десятилетия после войны, когда вместе с высокой премией (в 1950 году, за поэму «Алена Фомина») пришли к нему почет и известность, представлен в названных сборниках лишь тремя десятками стихотворений, а все остальные помещенные здесь стихи написаны за последние десять—двенадцать лет. Но дело в том, что именно в этот последний период, многое передумав и во многом себя переломив, Александр Яшин написал свои несомненно лучшие вещи, которые, можно надеяться, надолго сохранятся в живом фонде русской литературы.

Сборник «Бессонница» открывают стихи о правде (1959):

Я как будто родился заново,
 Легче дышится, не солгу,—
 Ни себя, ни других обманывать
 Никогда уже не смогу,
 Если б даже хотел, не смогу.

(«По своей орбите»)

И не раз еще на протяжении книги автор вернется к этой мысли, решению, обещанию.

Во имя грядущего нашего
 Попробуем не приукрашивать
 Ни мыслей своих, ни заслуг,
 Ни прошлого, ни настоящего.
 Ужели не сможем, друг?

(«Торжественное обещание»)

Такие стихи, где некоторая декларативность оправдывается и окупается остротой чувства, насущной потребностью высказаться прямо и до конца, пишутся обычно на переломе, в начале нового этапа. Для Яшина он ознаменовался в первую очередь обращением к прозе.

Повесть «Сирота» и очерк «Вологодская свадьба» подтвердили, что обращение их автора к прозе не было случайностью: в читательском восприятии Яшин-прозаик на некоторое время даже заслонил Яшина-поэта. В действительности же они между собой не спорили, а скорее дополняли друг друга. Как прозаик Яшин обычно ведет остропроблемное повествование о современности, зато как поэт он в те же самые годы все дальше уходит от повествовательности прежних своих стихотворений и поэм. Дело тут было, по-видимому, не в каком-то сознательном стремлении автора разделить «сферы влияния» своих стихов и прозы, а в том общем процессе усиления лирического начала, захватившем в пятидесятые годы нашу поэзию, который справедливо связывают с восстановлением суверенитета личности, с повышением ее ценности в общественном сознании.

Но еще важнее подчеркнуть другую сторону дела: лирика Яшина пятидесятых — шестидесятых годов вырастает на той же

эстетической и нравственной основе, что и его проза.

Поэт ни в малейшей степени не приду-мывает себя, не заботится о том, чтобы выглядеть перед читателем покрасивее, позначигельнее, поинтереснее. Многие его стихи даже как бы не предполагают слушателя — так они просты и непритязательны:

Рябчики в снегу
В сухом,
Пушистом.
Поле чистым,
Берегом лесистым
На лыжах бегу...
Бьюсь,
Гнусь,
Крадусь,
Вышагиваю,
А наткнусь —
Вздрагиваю.

(«Рябчики в снегу»)

Свобода от условий литературной игры сказывается здесь и вольностью стихового размера, и непринужденностью строфической организации. Изобразительность письма словно бы не стоит автору никаких специальных усилий: осторожный ход охотника на лыжах так и видишь, а между тем он показан одними глаголами!

Правда, иной читатель, со школьной скамьи запомнивший, что в любом литературном произведении главное — идея, испытает, вероятно, некоторое разочарование, не найдя здесь никакой «идеи», кроме переживаний неутоленного охотничьего азарта. Но разве не стоят иной теоретически выраженной идеи — просто-напросто сухой, пушистый снег и рябчики в нем? А вернее сказать — они сами и есть «идея», беря это слово в настоящем, не школьном его понимании. В последних книгах Яшина много сосен и елей, ягод и грибов, медведей и зайцев, много трав, пчел и птиц, много воды и неба. И все это богатство становится достоянием читателя, потому что оно душевно освоено самим поэтом. Нужно ли считать недостатком непосредственность художника, которому окружающий мир интересен и важен сам по себе (а не только теми мыслями, какие он вызывает) и который свободен от тщеславного стремления любое свое житейское впечатление или настроение поднимать на уровень «философских обобщений»? Едва ли, тем более что там, где Александр Яшин именно думает, мысль поэта обычно серьезна и существенна, надежно обеспечена его соб-

ственным, личным опытом, свежа и современна.

И в прозе и в стихах Яшин много — со знанием и с пониманием — писал о деревне. Однако он никогда не был «крестьянским писателем» — ни в смысле исключительности своего пристрастия к этой теме, ни тем более в том особом, полемическом смысле, какой придают этому понятию иные нынешние литераторы, для которых колхозное их происхождение превратилось в такой же неиссякаемый источник самоуважения, каким в свое время для поэтов «Кузницы» и «Пролеткульта» была их классовая пролетарская чистота. В отличие от подобных литераторов Яшин не декламирует о добродетелях голубоглазого кормильца-мужика, а с живым вниманием и сочувствием описывает подлинную жизнь современной деревни, стремясь помочь «мужику» невыдуманному, реальному в его нелегкой повседневности:

Я подбираю старательно

слово к слову:

«Речка — овечка — местечка...

дорогу — логу...»

А сенокосы

по речке Козловке

снова

Снег заметает.

Опять — ни скоту, ни богу.

Веточный корм собирали молодки, бабки,

Вброд по озерам осоку серпами жали,

Травку таскали домой

по охалке,

по шапке...

А заливные луга

кругом

стоят как стояли.

(«Желтые листья»)

Эти горькие строки, написанные в пору неразумных административных ограничений хозяйства колхозника, эта досада на себя и чувство вины перед земляками за свое бессилие помочь им более действенно, может быть, лучше всего говорят о том, какой прочной была внутренняя связь поэта с народной жизнью и как остро и сильно он ее ощущал. Не будь этой связи — не было бы и угловатой определенности яшинского письма, бескомпромиссной честности его стихов и прозы.

По содержанию, по общей своей тональности сборники «Бессонница» и «День творенья» довольно сильно разнятся.

«Я как будто родился заново...» — начал поэт свою предпоследнюю книгу. И в

самом деле, если попытаться из множества самых различных мыслей и настроений, которые в ней выразились, выбрать какую-то основную, наиболее устойчивую лирическую тему, то такой темой, несомненно, явится мотив обновления. С этим мотивом здесь связано несколько ярких поэтических удач.

Промыли в окнах стекла
Студеною водой:
Весь мир казался блеклым,
Теперь он молодой.
Как будто бы промыли
Самим себе глаза.
Яснее проступили
Окрестные леса.
Не спутаешь с осиной
Березки нежный дым,
Речушка стала синей,
А небо — голубым...
И что всего дороже —
В домах моих друзей
Светлее стало тоже,
Промыты окна все.

(«Промыли в окнах стекла...»)

Легко осязаемая двуплановость этих стихов не превращает их в плоскую аллегорию: не в ущерб своему непосредственному содержанию они органически заключают в себе объемную, многозначимую, общую мысль, созвучную оптимистическим умонастроениям своего времени.

По естественной связи вещей, тема обновления обычно соединяется у Яшина с весной. К множеству прекрасных «весенних» стихов, созданных русскими поэтами прошлого и нынешнего века, он прибавляет свои, никого не повторяя:

Бабочка ожила,
Летает у потолка,
Трепетных два крыла,
Словно два фитилька...
Вот, подмахав к окну,
Бьется она в стекло.
Может, это весну
В комнату занесло?
Перестаю дышать,
Глаз не оторву,
Только б не помешать
Воскресшему существу!

(«Бабочка ожила»)

Забота о новой, только что родившейся или возрожденной жизни порой приносит в книгу А. Яшина тревожную, драматическую ноту («Едва раскрылись первые цветы, доверчиво оттаяла природа, как сно-

ва — вероломство, непогода, и холодом дохнуло с высоты»). Однако и в этом стихотворении («Заморозок»), и в других «весенних» стихах сборника верх берет светлая нота радости и надежды.

Обновление мира — мотив, разумеется, не новый. В тридцатые годы, когда выходили первые сборники стихов Яшина, в них, как и в творчестве многих других поэтов того времени, постоянно звучала та же самая, казалось бы, тема — «раньше и теперь», тема радостных перемен в человеческой жизни. Отражая (пусть подчас преувеличенно и односторонне) действительно разительные изменения, которые происходили тогда в городе и в деревне, стихи такого рода отличались, однако, той особенностью, что лишь в относительно малой степени касались «внутреннего человека». Речь шла преимущественно о временах в общественном бытии; молчаливо предполагалось, что, освобождаясь от бедности и лишений, человек уже тем самым становится и счастливым и внутренне совершенным. В стихах Яшина, написанных на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, мотив «раньше и теперь» наполняется существенно иным содержанием. То обновление, которое стало основным мотивом сборника «Бессонница», есть обновление прежде всего нравственное. Это было обретение новых этических ценностей («новых» в том смысле, что каждый человек и каждое поколение приходит к ним в свой час и по-своему): правды, доброты, совести. Отсюда — исповедальный и часто безжалостно-самокритический характер многих стихотворений сборника; отсюда — их уже отмеченная программность. Программными были и заключительные строки, где выражен новый строй взаимоотношений человека с миром, основанный на доверии, искренности и любви:

Без страха брожу по осоке,
По гальке,
Через поля,
Древсы не боюсь на тропке...
Все лишние электротопки
Верет из меня земля.
А с ними,
Почти бесследно,
Рассасываясь, как вода,
Все злое,
Дурное,
Вредное
Уходит в песок навсегда...

(«Добру откроется сердце»)

Стихотворение, откуда взяты эти строки, датировано 1963 годом. Примерно здесь (может быть, чуть позже) и пролегает хронологический рубеж между двумя рецензируемыми книгами: в «День творенья» вошли стихи, написанные автором в основном за три-четыре последних года его жизни.

Слово «рубеж» в данном случае не преувеличение: весь тон и характер этой книги «существенно отличается ее не только от ранних книг Яшина, но и от предыдущего сборника. Поэт не покидает «своей орбиты», но находится уже явно на другом ее «витке». Его «переходный возраст» («Тревожно и грозно, тем боле, что поздно и мой наступил переходный возраст», — писал он лет десять назад) закончился, время программных поэтических деклараций прошло. Наступила пора жить на отвоеванном нравственном и эстетическом плацдарме, осваивать его вглубь. Круг предметов, привлекающих внимание автора, остался в основном прежним, но там, где раньше порой лишь декларировался некий гуманистический принцип, теперь появилась конкретность и глубина. В стихотворении «Люблю все живое» были, например, такие привлекающие по выраженному в них чувству, но несколько риторические строки:

Доверие птиц умею ценить:
Бывает легко на душе, когда
Случайно удастся жизнь сохранить
Птенцу, упавшему из гнезда.

В книге «День творенья» эта тема вернулась в целое маленькое стихотворение, которое хочется привести полностью:

В болоте целый день ухлопав,
Наткнулся я на кулика.
Он из гнезда, как из окопа,
Следил за мной издалека.
Как трудно быть ему герою:
Того гляди, возьму живьем,
А он один в гнезде своем,
Как в поле воин
Перед боем
С противотанковым ружьем.
Взлетать иль нет?
А вдруг замечу,
Со всем хозяйством загублю?
А не замечу —
Искалечу,
Ногой сослепу наступлю?
Зачем играть со смертью в прятки?
Я на него взглянул любя
И — мимо, мимо без оглядки...
Сиди, родимый,
Все в порядке,
Я просто не видал тебя.

(«Кулик»)

Очень простые, прозрачные, скромные, некарыдные, неэффектные строки, как прост и неэффектен Яшин почти во всех (и в том числе во всех лучших) своих стихах. Но сколь много в них сочувствия живому, родственному существу — сочувствия, рожденного пониманием, тонким и точным! Чтобы написать эти простые строки, чтобы так почувствовать переживания птицы, нужно было и на войне побывать, и вообще на собственном опыте узнать, как в самом деле «трудно быть героем», особенно в том случае, если рисковать приходится не только собой. Жизненный путь давал ему достаточный материал для такого знания.

Углубление в окружающий мир и в себя самого, обогащение и усложнение душевного опыта — процесс, отражающий движение общественных унастроений и сказавшийся в эти годы на творчестве далеко не одного Александра Яшина, — ведет поэта к осознанию противоречивости жизненных явлений, открывает в них новые грани. Это не вызывает никакой новой переоценки ценностей, но там, где вчера еще царила полная ясность, сегодня подчас вырастает проблема.

Приехала сестра.
Не виделись пять лет.
— Поди, уже стара,
Узнаешь или нет?
Узнать почти нельзя.
Ее ли в том вина?
Гляжу во все глаза:
Она иль не она?..
Какая ж так гроза
Смогла ее согнуть?
Гляжу во все глаза:
Сказать иль обмануть?

(«Сказать иль промолчать?..»)

Маленький житейский эпизод, но в нем — сложность действительной жизни, дающая себя знать на каждом шагу. Дело, понятно, не в том, будто поэт готов реабилитировать неправду: сама прямота и резкость, с которой он формулирует свой главный вопрос («сказать иль обмануть?»), говорит о том, что его нравственная позиция не подверглась никакой эрозии. И вместе с тем вопрос этот отнюдь не риторический. Автор действительно не знает, как ему поступить, и мы тоже едва ли могли бы взять на себя смелость подсказать ему однозначное удовлетворительное решение. Ясно одно: такая постановка вопроса со-

держательнее и мудрее, чем едва ли не всякий ответ на него.

«Во многой мудрости много печали». Нельзя сказать, чтобы более диалектический и углубленный взгляд на жизнь, выразившийся в последней книжке стихов Александра Яшина, прибавил мажорности их звучанию: их общий тон как бы несколько понижен. Это не означает, что в последние годы своей жизни поэт стал пессимистом. Просто он — еще в большей степени, чем прежде, — не может удовлетворяться оптимизмом бездумным, не желающим искать для себя достаточных оснований. Характерна в этом смысле та трансформация, которой в стихотворении «Весенние ожидания» подверглась тема радостного обновления природы, столь широко представленная на страницах его предыдущей книги. Заявленная вначале более или менее традиционно:

Заметно весны дыхание,
Уже в колеях до колен,
Все замерло
В ожидании
Неведомых перемен, —

эта тема получает в итоге иное, неожиданное разрешение:

С терпением,
Со смиреннием,
Устав от душевных смут,
Друзья мои
Потепления
Как манны небесной ждут.
Вдруг что-то взыграет, вспенится,
Как свет по земле пройдет...
А, собственно, что изменится,
Весна же не первый год?!

Трезвость, ирония, горечь, печаль, глубокое раздумье — вот определения, которых невозможно избежать при характеристике значительной части стихотворений, вошедших в последнюю книгу Яшина. Что ж, если в жизни мы печали и страданию обычно предпочитаем радость и веселье, то в поэзии их права равны. Были бы только эти чувства человечны, глубоки и истинны, а не

навеваны литературной модой. В этом у читателя книги «День творенья» не возникает никаких сомнений; нам вполне очевидно, что выраженные в ней переживания ничуть не преувеличены. Напротив, последние его стихи, как правило, отличает благородная сдержанность, позволяющая прочесть в них больше того, что непосредственно содержится в словах.

Не все стихотворения, вошедшие в рассматриваемые сборники, столь сильные и лаконичны, как те, что приведены были выше. Не все они и столь общезначимы (в таком смысле, в каком вообще бывает обобщенным и общезначимым лирическое «я»). В будущем (надо надеяться, недалеко), когда будет издаваться «Избранное» Александра Яшина, сборники «Бессонница» и «День творенья» войдут в него, быть может, не целиком. Но несомненно, что основу этой будущей книги — наряду с прозаическими его вещами — составят именно они.

...У Яшина есть несколько стихотворений, посвященных Бобринскому угору. Там, на высоком, поросшем сосновым лесом берегу реки Юг, в получасе ходьбы от родной своей вологодской деревни Блудново, поэт несколько лет назад построил себе дом. Это был не просто новый дом — это было начало новой жизни.

Все — чему сердце радо,
Все — для ума и души,
Детство и юность — рядом,
Рябчики
И поляши.
Большого в жизни не надо —
Только сиди
Пиши...

(«Обнова»)

Но пожить и поработать в новом доме пришлось недолго. Еще не успели потемнеть от дождей его бревенчатые стены, как в десяти шагах от него вырос могильный холм — вечное жилище поэта.

Ю. БУРТИН.



ЦЕЛОЕ И ДЕТАЛИ

Мастера русского стихотворного перевода. «Библиотека поэта» (Большая серия). Л. 1968. В двух книгах. Книга первая. 528 стр. Книга вторая. 468 стр.

Составитель этого двухтомника Е. Эткинд говорит во вступительной статье, что мы обычно преуменьшаем «долю переводной поэзии в нашей национальной литературе», ограничиваем ее золотой фонд гениальными опытами Жуковского, Пушкина, Лермонтова и еще несколькими образцами. Между тем можно привести большой список таких образцов. Е. Эткинд его приводит, и в двухтомнике «Мастера русского стихотворного перевода» этот список почти целиком реализован. Нагромождены «глыбы стихов высочайшей пробы», как сказал некогда Блок о переводах молодого Михаила Лозинского.

Нет нужды идти сейчас от имени к имени и от названия к названию, но одним из достижений антологии, несомненно, следует признать воскрешение забытых или полузабытых шедевров перевода. Прежде всего это переводные стихи А. Востокова, В. Бенедиктова, Н. Берга и Б. Лившица, — стихи не только прекрасные, но и двигавшие вперед славное дело русского переводческого искусства. Из произведений, которые теперь благодаря новой публикации обретают вторую жизнь, нужно также особо отметить превосходные переводы А. Куприна из Беранже, М. Волошина из Верхарна, Д. Бродского из Рембо и М. Лозинского из Леконта де Лиля. Кстати, именно о включенных в сборник переводах Лозинского и были сказаны известные слова Блока. Сами же стихи оставались затерянными в старых журналах.

Но «Библиотека поэта» хотела издать не просто собрание хороших стихов. Перед двухтомником стояла задача куда более сложная: отразить развитие переводной поэзии в России. В примечании составителя, правда, говорится, что сборник «не претендует на полноту». Однако принципы собрания не оставляют желать большего: «... 1) представить читателю шедевры русской переводной поэзии; 2) дать образцы переводного творчества, характерные для разных эпох, стилей и методов в истории русской литературы».

Составитель рассказывает о том, как трудно было совместить эти принципы. Иногда «шедевры» оказывались вне плана, а план требовал включения не очень силь-

ных стихов. Но ресурсы русской переводной поэзии, как видно, достаточно велики, чтобы это противоречие преодолеть с небольшими издержками.

«Искусство поэтического перевода находится на той стадии развития, когда художественная практика обогнала теоретическое осмысление», — пишет Е. Эткинд. Это правда. Теория перевода создается у нас на глазах. Она вся в дыму сражений. О ней можно сказать словами Есенина: «Еще закон не отвердел». Несомненно, «отвердеть» теории поможет история — живая история, заключенная в двухтомнике. Но уж, конечно, она не останется втуне и для художественной практики, и для самого широкого читателя.

Вступительная статья к двухтомнику отвечает его задачам и структуре. Это едва ли не первый опыт истории русского поэтического перевода, разумеется, «в самом сжатом изложении». Остановлюсь на ней подробно, потому что она является и своего рода путеводителем по двум книгам антологии. Читая ее, представляешь себе заранее их состав, содержание, ждущие тебя открытия и недоборы.

По традиции, как всякая история, статья делится на главы обзорные и монографические. Дается общая характеристика перевода у классицистов, у романтиков, в пушкинскую эпоху, у шестидесятников, у символистов, в советское время. «Монографические» разделы посвящены тем, кто определял узловые моменты в развитии русской переводной поэзии. Востоков и Гнедич сломали безличные классицистские каноны. Батюшков и Жуковский научились и научили всех воссоздавать «психологический тип сознания» разных народов и эпох. Явился Пушкин. Возникла и восторжествовала пушкинская школа. О ней и, в частности, о переводах Пушкина исследователь пишет глубоко и по-новому.

Переводы Пушкина, как правило, рассматривались у нас либо строго эмпирически (что более точно, что ближе к вольному подражанию), либо в свете пушкинского оригинального творчества. Е. Эткинд за кажущейся субъективностью пушкинских решений видит основное: Пушкин подходит к иноязычному поэтическому произведению

прежде всего как к художественному целому и стремится передать это единство, не расчлняя, как систему. «...Для Пушкина единство носит характер объективный, и оно может быть воссоздано разнообразнейшими средствами, которые вовсе не обязательно повторяют средства, использованные иностранным автором. Поэтому Пушкин так свободен в выборе средств внутри уже понятой им художественной системы».

Именно пушкинская объективность и историзм в соединении со свободой и творческим духом сделали возможным появление блестящих переводчиков-профессионалов: Н. Берга, Л. Мея, М. Михайлова, В. Курочкина. Секрет воссозданного единства стал в середине XIX века общедоступным, но был к началу века нынешнего утрачен символистами, которые, по мысли автора, всюду искали и находили лишь себя. Переводчики советской школы стремятся восстановить пушкинское начало, хотя, вообще говоря, опыт крупнейших мастеров современного перевода многообразен. В нем соединились достижения таких несхожих поэтов, как Лозинский и Пастернак (у одного — стремление к научной точности, у другого — к лирической близости).

Таковы этапы, которыми мы следуем и по страницам двухтомника — от Ломоносова до наших дней.

Но здесь придется сказать и о том, что желание создать историческую типологию стихотворного перевода отвлекало Е. Эткинда от некоторых индивидуальных подробностей или побуждало толковать их несколько преднамеренно, тезисно. Общие линии кое-где оказались чересчур прямыми, общие рамки — слишком жесткими или, напротив, просторными. Это не могло не отразиться и на подборе стихов.

Первое впечатление такого рода возникает уже вначале, когда заходит речь об «опоздавших переводах». Е. Эткинд полагает, что «Неистовый Роланд» Ариосто, баллады Шиллера, лирика Гюго не могут больше вызывать живого отклика. Он высоко оценивает новые переводы этих вещей, но считает, что оригиналы стали только «памятником культурного наследия» и ничто их не воскресит.

Это легко оспорить. Несколько строф из «Неистового Роланда» в вольном переложении Пушкина пленяют до сих пор. «Ивиковы журавли» Шиллера, переведен-

ные Н. Заболоцким, вызвали огромный интерес. Жаль, что эти на диво живые стихи не вошли в двухтомник. Жаль, что в него не вошли ахматовские переводы Гюго, затерянные в многотомном собрании 1953—1956 годов. Современный русский читатель не нашел бы в них (по крайней мере в большинстве) никакой «внешне эффектной трескотни». Достаточно назвать такие жемчужины, воссозданные Ахматовой, как «Прощание аравитянки», «Впустите всех детей», «К Л.», «Сватовство Роланда».

Беда в том, что «точность» и «виртуозность» иных переводов, не снижавших успеха у читателя, кажутся Е. Эткинду пределом переводческого искусства. Но этого, конечно, мало. Кроме точности и виртуозности, читатель ждет того «чуда» поэзии, которое Е. Эткинд упорно отвергает во всех своих выступлениях, сводя подчас творческое своеобразие того или иного поэта к методологии и стилистике. Раздел о Жуковском, например, весь посвящен его «типологичности». «Творчество и чудотворство» великого лирика, в сущности, остается за бортом исследования. Холодный, академичный «Поликратов перстень» Лозинского — в центре внимания, а гениально свободный, истинно поэтический перевод Жуковского в антологию не вошел. Но когда есть чудо поэзии, перевод не может быть «песневременным».

В статье говорится о том, что лучших переводчиков середины XIX века, как правило, вдохновляла какая-то сверхзадача: Берга — пропаганда народности (пусть по-славянофильски понятой), Мея — поиски красоты, Михайлова и Курочкина — революционно-демократическая борьба, А. К. Толстого — жажда лирического самовыражения. Это очень важно! Именно тогда и рождались подлинные шедевры, когда «сверхзадача» владела поэтами. Тогда и самые скромные дарования расцветали.

Однако этих пронизательных наблюдений автору показалось мало, и он стал выстраивать самых различных поэтов на общих линиях: политической, общественно-просветительской, поэтически-просветительской, чисто поэтической... Может быть, в целом «намеченная схема» и отражает некие «общие направления». Но, на мой взгляд, взятые в столь общей форме историко-литературные определения почти теряют смысл. Что уж за просветитель из

Фета? Или из Гербеля? Первый ставил себе чисто литературные задачи, второй — популяризаторские. Просветительство — это все-таки куда более конкретное явление.

Боюсь, что как раз тогда, когда переводчики ставили себе «просветительские» задачи (в любом из тех бесконечно растяжимых значений, в каких употребляет это слово Е. Эткинд), появились стихи благополучно бледные и вялые. В конце века пушкинская культура перевода, все еще оставаясь по видимости общепринятой и программной, оказалась выхолощенной. На смену подлинным мастерам пришли всеядные популяризаторы. В статье об этом — ни слова. В примечаниях — несколько слов. Отчего же? В «просветительском» ремесленничестве берет начало явление, дожившее, увы, до наших дней: грамотные люди грамотно переводят все, что закажут издательства, и льется поток уныло правильных, «отлично благородных» поделок.

Верная общая посылка не спасает от ряда нечетких (или преувеличенно четких) характеристик и раздел о символистах. Вяч. Иванов отнюдь не всегда «выражает себя, а не иноязычного автора». Это от-

лично доказывают и посвященные ему страницы двухтомника, и лучшие ивановские переводы из Байрона, оставленные втуне. В. Брюсов наименее «скован» и «утяжелен» в замечательных переводах из Верхарна, — об этом сказано под сурдинку в примечании, а помещено в сборнике всего три не очень характерных стихотворения. (Так же обстоит дело с Г. Шенгели, чьи переводы из Верхарна не вошли в сборник совсем, тогда как среди них есть отличные.)

Еще один пробел — в антологии нет переводов Эдуарда Багрицкого. Очевидно, составитель считает, что это не переводы, а вольные вариации. По-моему, в этих вариациях (скажем, на темы Вальтер Скотта и Рембо) больше подлинности, чем в любом умеренном и аккуратном «просветительском» переводе.

Но все эти крены и пробелы как бы теряются в необыкновенно важном целом — двух томах, раскрывающих одну за другой замечательные страницы в истории русской поэзии.

В. ПОРТНОВ.

Баку.

★

ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР

Н. Я. Берковский. Литература и театр. «Искусство». М. 1969. 639 стр.

Редко встречается книга, название которой так исчерпывающе точно определяло бы ее содержание, как новая книга Н. Я. Берковского «Литература и театр». Пожалуй, так могла бы называться и каждая из статей, собранных в книге. Название не формально обозначает содержание — оно раскрывает сквозную тему сборника. Оно не условно, как это бывает большей частью, а концептуально. К тому же теперь, когда принято даже претендующие на серьезность искусствоведческие труды озаглавливать пестро и броско, как заграничные бестселлеры (мне кажется, что издатели тут иногда переходят границы элементарного вкуса), название это, скромное и краткое, уже как бы характеризует книгу.

Книга содержит восемнадцать историко-теоретических и критических работ. Три из них — «Чехов: от рассказов и повестей к драматургии», «Станиславский и эстетика

театра» и «Таиров и Камерный театр» — занимают в совокупности больше половины тома: 347 страниц из 639. Остальные пятнадцать, являющиеся статьями «на случай», — это разнообразные критические отклики на премьеры московских и ленинградских театров, а также на гастроли нескольких европейских театров, написанные и опубликованные между 1941 и 1965 годами.

Это критика и история, спаянные вместе. Это историческая критика и критическая история. Автор не спешит к обобщениям: он приходит к ним вместе с читателем. Он повсюду конкретен. Синтез выводов не приготовлен заранее, он исходит из материала, который в свою очередь не иллюстрирует размышления автора; автор как бы делает вывод одновременно с читателем. Поэтому, несмотря на сложность и даже утонченность анализа, книга читается легко. Эта легкость достигается не искусственным об-

легчением, не популяризацией, часто обочающейся вульгаризацией, а силой мысли, высвечивающей трудности.

Если очень кратко пересказать главную тему книги, то она такова: новаторская драматургия Чехова оплодотворила театральную реформу Станиславского, но она сама возникла не случайно, а явилась развитием и завершением новаторской прозы Чехова и продолжила ее приемы и темы. Поэтому исследование послечеховского периода истории русского театра начинается с исследования чеховской прозы. Большая литература всегда питает подлинный театр — и тесно связанный с современной и классической литературой молодой Художественный театр определил дальнейшее развитие русского и мирового театра. Именно в союзе с большой литературой театр достигает значения и силы самостоятельного и оригинального искусства, преодолевая «вторичность» и функции «исполнительства», свойственные ему в периоды упадка. Композиция книги адекватна ее концепции. Отсюда ее удивительная цельность, несмотря на то, что она состоит из отдельных работ, написанных на протяжении многих лет.

В работе «Чехов: от рассказов и повестей к драматургии», занимающей центральное место в книге, при всей ее свежести и оригинальности, обобщен большой запас наблюдений многих критиков, писавших о Чехове, от Л. Шестова и А. Кугеля до А. Скафтымова и В. Лакшина (и в том числе авторов английских, французских и немецких). Со старомодной вежливостью Н. Берковский ссылается на всех, кто был ему полезен в его аргументации, и избегает полемики, ставя себе другие цели. Даже там, где, казалось бы, мысль автора могла быть наиболее ярко выявлена путем сравнения с противоположными точками зрения, Н. Берковский предпочитает этого не делать. Из этого возникает его особенное качество — он спокоен и нетороплив, ничего не утверждает априори и как будто не слишком стремится в чем-то убедить, но он так последовательно и ненавязчиво делает читателя соучастником аналитического процесса, что достигает наибольшей убедительности. Разумеется, скрытая полемика часто присутствует, и компетентный читатель может легко ее почувствовать.

В творческой биографии Чехова существует одна мнимая загадка: почему он не написал традиционный для русской

литературы большой роман? Находились, как известно, всякие ответы. Мы знаем, что одно время писатель не только намеревался писать роман, но и сел за него. Но роман превратился в слабо связанный цикл рассказов и написан не был. Известно также, что многие знатоки и поклонники Чехова считали, что то, что он в последние годы главные силы отдал писанию пьес, было его ошибкой и объяснялось особыми личными соображениями. Не стоило бы об этом вспоминать, если бы так не думали, например, И. Бунин и Л. Толстой. Особенно резко формулировал это свое мнение Бунин. Он считал пьесы Чехова — и особенно последние — выражением его творческого упадка. На этот вопрос — почему же не роман, а пьесы? — с большим количеством аргументов и доказательств отвечает работа Н. Берковского. И вот его вывод: «Именно драма окажется для Чехова собирательным монументальным жанром, а не тот большой роман, писать который его побуждали литературные друзья и за который не однажды он готов был приняться... Драма у Чехова была не одним только расширением его повествовательной манеры, она была и более широким полем для разработки основных его тем, жизненных и идейных. В драмах нам является тот же Чехов повествовательной прозы, однако же укрупненный, обладающий масштабами тем и общего смысла, не всегда доступными его повестям и новеллам».

Авторитету имен отрицателей чеховской драматургии (из них Н. Берковский упоминает только Л. Толстого) критик противопоставил подробнейший — иногда почти молекулярный — анализ тем и образов драм Чехова и проследил зарождение их в его прозе. Для большинства прозаиков, пишущих пьесы, драматургия является ослабленной популяризацией их прозаических находок. Для Чехова драма стала усложнением и обогащением. Превращение новеллистики Чехова в новый жанр, в «драму-роман», стало возможным только потому, что в распоряжении писателя оказался такой необыкновенный инструмент, как искусство молодого Художественного театра с режиссурой Станиславского и Немировича-Данченко. Нет сомнения, что две последние и лучшие пьесы Чехова не были бы написаны, если бы не возник Художественный театр. Тут налицо сложное взаимо-

действие: Художественный театр не стал бы театром новаторским без Чехова и драмы Чехова не революционизировали бы драматургию без этого театра.

Само по себе это не ново, но новы и свежи собранные критиком доказательства и аргументы. А всем, кто любит Чехова, тонкий и изящный анализ того, как в его искусстве «образ входит в образ», как проза превращается в драматургию, должен доставить истинное наслаждение.

Попутно с раскрытием главной темы автор высказывает столько интересных и оригинальных соображений о различных сторонах искусства Чехова, что назвать и перечислить их в небольшой статье просто невозможно. Остановлюсь лишь на некоторых.

Общее место всех недалеких критиков — постоянный упрек писателю в том, что у него «отрицательные» или «несимпатичные» герои очерчены более ярко и характерно, чем «положительные» или «симпатичные». На материале чеховских повестей и драм Н. Берковский находит ответ, и исторически и художественно-стилистически точный. Остро характерные персонажи, или, как говорит автор, «люди с приметам», — это почти всегда люди «застоя и мертвой законченности». «Люди с приметам — это, собственно, конченные люди, от которых ждать нечего. Люди былого, люди без движения, конечно, не дают основы драмам Чехова. Драмы Чехова, как и повести, как рассказы его, живут сопоставлением былого и будущего. Главное в драмах — молодые, неопределившиеся души с открытым горизонтом, с неожиданностями поведения, будут ли это Треплев и Заречная, будут ли это сестры Прозоровы, Тузенбах, Аня и Трофимов». И дальше: «Молодые души, еще не тронутые, все вместе взятые, образуют в драмах некую многообещающую туманность, создают впечатление дали, тянут нас в эту даль, а консервативные отработавшие души старших и стариков — они вблизи, мы натываемся на них, как на косные физические тела». И следует естественный вывод: «Те, кого называют «положительными героями», у Чехова, строго говоря, отсутствуют. Нет никого, кто бы был несомненным ставленником автора, кто бы послан был автором в будущее. Есть другое, идет освобождение душевных сил, более не работающих на прежние цели и интересы, идет накопление в душах материа-

ла, частица за частицей, способного создать нравственный мир будущих людей».

Это размышление относится к Чехову, но его с полным правом можно отнести и к иным произведениям эпох, подобных чеховской, когда «одни вещи кончились, другие еще не начались».

Ценно и тонко определение Н. Берковским (вслед за цитируемым им А. Скафтымовым) соотношения в повествовательной прозе и драмах Чехова элементов фабульности, событийного рода и повседневности, потока быта. И в самом деле, то, что критик называет «повседневность со всем оркестром своих подробностей», — это у Чехова всегда на первом плане. Н. Берковский здесь не обращается к опыту многих неудачных постановок драм Чехова в последние годы, где всячески вытравились и быт и повседневность, где очищенная от подробностей фабула игралась на условном фоне и тем самым не то чтобы искажалось внутреннее соотношение стилистических элементов в чеховской драме, но разом уничтожалась ее основа. В этой связи следует сказать, что положительная оценка Н. Берковским постановки «Чайки» в Камерном театре противоречит так точно сформулированному им правилу о соотношении в драмах Чехова «событий» и «повседневных подробностей». Именно этот спектакль положил начало многочисленным впоследствии «безбытовым» постановкам Чехова. Сейчас эта манера уже стала ходовым шаблоном. Возвращение к сценическому, «авторскому» прочтению подлинного Чехова, вероятно, еще впереди, а когда для этого наступит время, то исследование Н. Берковского окажется насущно полезным.

Вот еще одно размышление критика, которое мне очень нравится и кажется своевременным. «Существует мнение, что реализм в искусстве заключается в передаче чувственного образа вещей, а осмысление их есть как бы добавление извне, порой даже будто бы разрушительное, — элемент интеллектуальный будто бы ослабляет художественный образ, подрывает иллюзию самостоятельной жизни, которая создается в нем. На деле же тут мы имеем превосходный пример диалектики: переход, подъем к мысли и к смыслу есть завершение всего, что дано нам было в чувственном, в эмоциональном содержании худо-

жественного образа, смысл появляется изнутри, смысл — это доразвитие; нужно, чтобы вполне сложилось духовное, без чего не довершается и чувственное. Осмысление не добавок к реализму, осмысление — реализм как таковой...»

Далее автор подходит к ответу на вопрос, который вкратце можно сформулировать так: почему нам так интересны «чеховские люди», почему нас не перестают волновать их судьбы, несмотря на резко изменившиеся исторические и социальные условия нашей русской жизни? Можно понять популярность Чехова на Западе. Там в воздухе разлито ощущение ожиданий и предчувствий, то есть атмосфера мира чеховских героев. Но дело, видимо, в том, что основные человеческие проблемы не снимаются сразу одновременно с социальными изменениями, вернее они разрешаются медленнее, чем проблемы социальные. И главное, требование Чехова к человеку не устарело и не преходяще. «Широта входит в природу человека; когда зывают к широте, то зывают ко всему человеку, ко всему, что его составляет, и в ответ является энергия, настоящая способность жить и действовать. Всякая узость идет против истинных масштабов жизни, и поэтому она кончается насилием над нею». Так определяет Н. Берковский главную мысль рассказа «Дом с мезонином», многие из мотивов которого стали темами чеховской драматургии и ее настроением. Мне не хочется пересказывать своими словами это интересное и важное место, а все время цитировать невозможно. Пусть лучше читатель обратит внимание на это в книге.

И все-таки еще одна цитата: «Чехов, по примеру Пушкина, Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, строго держится в прозе своей той картины мира, какая была у него перед глазами, а также и перед глазами всех. Настоящее во всей его полноте, вся зримая поверхность жизни... изображены у Чехова с величайшей точностью. Соблюдается соотношение сил, как оно дано в самом объекте, без передвижек, без перестановок, без бросающихся в глаза усилий или преумножений... Нет никаких деформаций, повседневная, сегодняшняя оболочка жизни сохраняется. Работа в пользу новых оценок, новых осмыслений и переосмыслений ведется у Чехова на значительной глубине и прямо этой оболочке не затрагивает... Чехов отклоняет и натурализм

и визионерство, он отклоняет и живописание как цель в самой себе, и безмерную преданность мечтанью и чересчур навязчивое выдвигание наружу внутреннего смысла, как это после него делали экспрессионисты». Это все очень верно, и пока наш театр не станет стремиться дать нам сценического Чехова в его «поэтике», не превращая его ни в одностороннего лирика, ни в автора мелодрам, ни в жанриста-сатирика, подлинного Чехова мы не увидим. Ключ к новому театральному Чехову еще не найден, и, может быть, стоит, следуя проницательному анализу Н. Берковского, искать его в глубинах чеховской прозы.

Невозможно подробно перечислить все новое и свежее, что содержится в исследовании «Чехов: от рассказов и повестей к драматургии». Оно написано на редкость сжато и густо. Увеличив количество поясняющих примеров и разрабатывая бегло намеченное, его без труда можно было бы расширить до размеров толстого тома. Автор этого не делает. Не поэтому ли нам интересно размышлять между фраз, додумывать, договаривать? Так у нас пишут редко. Под статьей дата: 1966. Когда последняя работа — лучшая работа, нужны ли другие доказательства зрелости мысли автора?

Вторая по значению и размеру работа в книге — «Станиславский и эстетика театра» — в каком-то смысле продолжает исследование о Чехове и может рассматриваться как его вторая часть.

О Станиславском у нас написано очень много, но гораздо больше о Станиславском — мыслителе и педагоге, чем о великом художнике. В обильной литературе о нем образовался явный крен, и не потому ли те новые поколения, которые не видели Станиславского на сцене и не помнят поставленных им спектаклей, начинают его представлять себе только как проповедника-доктринера? А так как живые образы и примеры всегда убедительнее кодексов и катехизисов, то в том, что обаяние Станиславского как-то померкло, следует винить не столько его малоосновательных противников, сколько односторонних и скучных поклонников. Именно они невзначай проделали ту разрушительную работу над снижением престижа Станиславского, на которую никогда не хватило бы сил у его отрицателей. У Блока в дневниках есть записи о том, что футуристы, бранившие

Пушкина, тем самым заставили его заново полюбить. Это вовсе не парадокс. Аполлетика, превращающаяся в тавтологию, только усыпляет мысль, а несправедливое отрицание вызывает приток свежих аргументов в защиту.

И если в огромном наследии Станиславского долгое время преимущественно изучалась только «этика» и оставалась в тени «эстетика», то монографическая работа Н. Берковского в какой-то мере стремится восстановить равновесие. Показывая зависимость русского театрального реализма от реализма литературного — Пушкина, Л. Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, видя его корни в большой русской литературе, автор вместе с тем восстанавливает историческую правду и подробно рассказывает о влиянии на Художественный театр Ибсена и особенно Гауптмана. Это соответствует фактам, хотя долгие годы неправоммерно обходилось. Он подчеркивает пафос борьбы Станиславского с театральными шаблонами, той борьбы, которой не может быть конца, ибо плохи не только «те» шаблоны, с которыми лично боролся Станиславский, но и новые «эти», которые буйными сорняками выросли уже после его смерти. Но самое основное то, что в работе Н. Берковского раскрывается утверждение Станиславским театрального искусства не как искусства «вторичного», исполнительского и иллюстративного, а как самостоятельного, «первичного». Именно осознание этого делает центральной фигурой искусства театра актера-человека. Открытие Станиславского — это «новая по глубокости своей весть, что такое человек, независимо от тех или иных преходящих форм, в которые история заставляет его укладываться и которым она не в силах всегда подчинить его».

Н. Берковский правильно называет суть художественного метода Станиславского словом «импровизация», смысловые границы которого шире и богаче одностороннего и двусмысленного термина «переживание». Самое важное в понятии «переживание» целиком входит в «импровизацию», так, как этот термин раскрывает автор в применении к эстетике Станиславского: «постижение человеческой личности в ее непринужденности, в ее свободных силах, в игре их». Дело, конечно, не только в терминах, но в точности и богатстве смысловых связей, ими рождаемых.

Существенно размышление критика о целостности ощущения театрального «времени». Н. Берковский утверждает, что «в театре все есть настоящее время, так и в драме, едва она стала театром». «Драматурги, разрушая в драме неколебимый грунт настоящего времени, лишают драму одного из сильнейших ее воздействий». Думаю, что это справедливо. Во многих пьесах, написанных в последние годы, бесцеремонные манипуляции со временем, непрерывные забеги¹ в прошлое и будущее привели, на мой взгляд, к тому, что зрители не бывают целиком захвачены происходящим на сцене, а при равнодушном зрительном зале искусство театра становится как бы несуществующим. Театру и актеру, чтобы жить, нужно опереживать зрителя, и любое новаторство может идти как угодно далеко, если оно считается с этим непрременным условием.

Интереснейшие мысли Н. Берковского о «тексте» и «подтексте» являются своего рода самостоятельным экскурсом в историю и теорию драматургии, как, впрочем, и многое другое. Повторяю: все отметить невозможно.

Статья «Таиров и Камерный театр» — третья большая монография в книге — стоит несколько особняком. И в ней есть много острых и точных наблюдений и исторических припоминаний о том, что недостойно забыто. Благородна и вызывает сочувствие сама задача — восстановить полузабытое искусство замечательного художника и его сотоварищей. Автором дан, может быть, лучший портрет А. Г. Коонен, этой удивительной актрисы, не имеющей в русском театре ни предшественниц, ни учениц. В статье есть интересные и самостоятельно ценные замечания, как, например, о связи театра Де Филиппо и прозы А. Моравиа и пр., но тезис о «театре сграсгей», якобы последовательно осуществлявшийся в своей практике А. Я. Таировым, по моему, не вполне выражает природу искусства Камерного театра. И уж совсем неверно приписывать Таирову «убеждению неприязнь к «условному театру» — к театру, сходящему вне жизни человеческой души, высокомерному к живой эмоциональности, к языку воли и чувства». Такая «похвала», вероятно, привела бы в изумление и самого Таирова. Да и формула «условного театра» здесь раскрывается слишком бедно и односторонне.

Поэт сказал: «Все отшумело. Ставши поодаль...» Пришло время, «ставши поодаль», не амнистировать таких крупных художников, как Таиров, а восстановить их подлинный вклад в историю театра, ибо ошибки художника и его заблуждения остаются на долю его личной биографии, а его удачи входят в общую сокровищницу-кладовую. Я хорошо помню спектакли Камерного театра, начиная с «Принцессы Брамбиллы» и до «Чайки», многие видел несколько раз и сужу не по театроведческой литературе, которая на редкость бедна. Н. Берковский верно отмечает, что в манере некоторых европейских театров, приезжавших к нам после войны, мы узнали черты Камерного театра. Но вряд ли это случайно. Камерный театр всегда был у нас самым «западническим» театром. Может быть, именно это ярче всего определяло его профиль. Говорю это отнюдь не в упрек. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов нигде так интересно не ставились переводные пьесы О. Нила и С. Тредуэлл, как в Камерном. Прочие театры явно уступали ему в глубине проникновения в западную культуру. Недаром именно Камерный театр сценически осуществил Расина, любимого во Франции и мало понятого у нас. Зато «Гроза» или «Дети солнца» на его сцене производили странное впечатление. Что же касается «условного театра», то та же «Прищесса Брамбилла», например, — наусловнейшее из зрелищ — была подлинным шедевром театральности. Тонкий критик, в статье о Чехове предостерегающий от употребления термина «натурализм» только в одиозно-отрицательном смысле, почему-то поддался искушению отмежевать А. Таирова от «условного театра», когорым он рожден и вскормлен.

Из других статей, помещенных в томе, наилучшей мне кажется статья «Русский трагик» — о Н. Симонове. Особенность Берковского-критика: он пишет тем интереснее и темпераментнее, чем выше и значительнее сам предмет критики. Я вообще не могу его представить в роли «разносного» критика или рецензента-брюзги, которых в нашем мире, увы, большинство. Чужая неудача его как бы обескураживает и обессиливает, и свое порицание он высказывает как-то вполголоса. Это, пожалуй, редкая черта: куда чаще встречаются критики, у которых при необходимости осу-

дить мужественно крепчает голос. Я уже упоминал, что, зная немецкой литературы, Н. Берковский отлично понимает и чувствует полузабытого нами Г. Гауптмана, которым когда-то так восхищались Чехов, Горький и Станиславский. Его анализ пьесы «Перед заходом солнца» удивительно богат и содержателен, и хочется сожалеть, что актеры познакомились с ним только после премьеры. Он так убедителен, что, кажется, выслушай они это раньше, многое в спектакле было бы по-другому. Превосходно описана игра Н. Симонова в роли Сальери и Федя Протасова.

На примере двух статей об инсценировке «Идиота» — в Театре Вахтангова и БДТ имени Горького, понимаешь, что такое точность оценки и насколько эта точность важнее положительной или отрицательной аттестации. Ленинградский спектакль понравился критику больше московского, но, высоко оценивая режиссуру Г. Товстоногова, он тем не менее далек от обескураживающей голословности. И сколько правды в суждении об оформлении спектакля и о том, что «биосфера» романа Достоевского — белые ночи, и художнику следовало идти именно от этого. «Белые ночи — это духовное бодрствование героев, далеко зашедшее за обыденный предел, это фантастическая победа света, чрезмерная и в своей чрезмерности недостоверная, подobaющая роману, где господствует трагическая утопия». Дальше критик говорит, что даже в наших лучших театрах актеры отличаются «неполной отзывчивостью на стиль автора». То, что правильно для Островского, неверно для Достоевского. А еще дальше идет точный и кажущийся непачалу даже грубым своей очевидностью совет: «Люди Достоевского живут быстро, актеры же играют этих людей медленно... В спектаклях, поставленных по романам Достоевского, медленная игра удаляет от автора и иногда грозит потерей связи с ним». Как это верно! Актерское уважение к значительности драматургии чаще всего наиболее выражается в паузах и замедлении темпов, и все режиссеры знают, как с этим трудно бороться. Даже выверенный во всех ритмах на премьерe, спектакль ощутимо растягивается при последующих представлениях.

Сколько, казалось бы, уже написано о трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта», но в этюде, открывающем книгу «Ли-

гература и театр», читатель найдет новые интересные наблюдения и сопоставления. В очень любопытной работе «Манера и стиль» автор пользуется при разборе постановки «Фауста» Гамбургским театром критериями и методами самого Гёте. Полезны и содержательны и другие критические статьи.

Я уже говорил о внутренней цельности книги. Точнее всего ее характер можно выразить формулой самого автора, высказанной им по другому поводу: «Когда завоеван смысл, когда фрагменты соотносятся друг с другом, когда явление, изображенное перед нами, получает свое место в общей картине бытия, тогда-то возникает у нас и максимальное чувство реальности этих фрагментов». Вольно или невольно, в рамках историко-критической работы автор книги следовал тому же правилу, что и его любимый художник, о котором сказаны эти слова.

К книге приложен портрет автора на фоне книжных полок его библиотеки. Можно в воображении представить и другой

фон — кресла партера в театральном зале. Мне кажется, что с таким выражением лица смотрел автор книги те спектакли, со своими размышлениями о которых он нас познакомил: внимательно, благожелательно, зорко. Как это хорошо, что в театре еще существуют подобные зрители! Театру нашему требуется сейчас многое, но больше всего самоуважение. А оно может возникнуть только как ответ на уважение зрителя. И я уверен, что прекрасная книга Н. Берковского, книга размышляющего зрителя, книга влюбленного в театр ученого-филолога, истинного театрала, одновременно требовательного и снисходительного (а такой всегда бывает истинная дружба), очень полюбит читателю. И поэтому вызывает недоумение и огорчает небольшой (10 тысяч экземпляров) тираж книги. Многие менее удачные труды издательство «Искусство» выпускает несравненно большим тиражом. Но это беда, которую можно исправить.

Александр ГЛАДКОВ.

★

ЖЕНЩИНА ОХРАНЯЕТ ДОМ

Шерли Энн Грау. *Стерегищие дом. Роман. Перевод с английского М. Кан.*
«Иностранная литература», № 3, 4. 1969.

Героиня романа стоит на пороге своего разоренного жилья. Стекла выбиты. Везде следы побоища. Что здесь произошло? Она хочет понять, а для того, чтобы понять, — вспомнить. Ей есть о чем вспомнить.

История ее семьи прочно связана с историей страны, у Хаулендов — глубокие корни, они воевали, строили, сеяли. Земля, которой они владеют сто пятьдесят лет, окроплена их кровью, их потом. Абигейл оглядывается, а за ней длинный ряд предков. Это придает устойчивость краткому человеческому существованию: мои предки жили до меня, мои потомки будут жить после меня на этом самом месте.

Медленно течет повествование — подобно тому, как не спеша прорастает семя в земле, как сменяются времена года. То во множестве подробностей описывается дом героев книги. Хаулендов, со всеми его пристройками, галерейками, закоулками; то автор, словно бы прогуливаясь по городу, останавливается и описывает людей — та-

ких, которые и вовсе не участвуют в развитии сюжета.

Медленно течет повествование: дети вырастают, женятся, у них рождаются дети, в свою очередь вырастают.

Впрочем, темп повествования неровный. О студенческих годах старшей и младшей Абигейл — матери и дочери — сообщается скороговоркой: писательнице это так же скучно, как и ее героям. Зато о забавах деда, Уильяма Хауленда, рассказано с мельчайшими подробностями. О том, как он держал пари, что найдет тайную винокурню, — и выиграл; как попал в места, незнакомые даже ему, а он-то исходил с ружьем всю округу. И тогда повествование течет так же плавно, как протоки, по которым он пробирался.

«Веранда гостиницы «Вашингтон» плотно заставлена стульями, но если не прийти пораньше, места все равно не достанется. А кому не досталось, те сидят рядком прямо на земле, прислонясь к веранде. На пари плюют табачным соком в больших зеле-

ных мух. То и дело победитель подставляет ладонь и собирает выигрыш. В жарком, неподвижном воздухе пахнет пылью и потом...» И никто из этих людей никуда не торопится...

Не похоже на современную прозу — нет ни страстного темперамента болдуиновских романов-криков, ни гневной лирической публицистики Нормана Мейлера, ни сжатого времени, ни «черного» юмора, ни все затопляющего секса — обычного, извращенного, сверхизвращенного.

Впрочем, книгу Шерли Энн Грау по достоинству оценили и на родине автора: роман «Стережущие дом» был удостоен в 1965 году Пулитцеровской премии — высшей литературной награды в США.

Даже и не зная, кто автор, можно заметить, что книга написана женщиной. Это очевидно и по «женским» подробностям романа, и по его главной мелодии — именно женщина призвана сохранять и охранять дом, стережечь очаг. «Хранители очага» — главные книги можно перевести и так.

Писательницей создан утренний, умытый, непреложный мир. Увиденный со свежестью детского восприятия, воспроизведенный с точностью зрения художника.

В романе предстает американский Юг, не раз возникавший в колдуэлловских гротесках, в фолкнеровских фантазмагориях, та почва, которая изображена и в книгах Харпер Ли «Убить пересмешника» и Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать», — книгах, высоко оцененных нашим читателем.

Свой особенный Юг есть и в книге «Стережущие дом». Сколько произведений написано о трагедии мулата, об особом мироощущении людей, рожденных от смешанных браков. Сказано об этом и в романе Грау, и сказано по-своему: девочка Маргарет хочет понять, кто же она, что в ней от ее белого отца, которого она никогда не видела и не увидит. И она отколупывает болячку, чтобы обнаружить белую кровь. А кровь из ранки течет обыкновенная, красная, та же, что у белых, у черных, у желтых... Вот такими достоверными художественными деталями и передается авторская мысль.

Когда Абигейл вышла замуж, ей не хотелось покидать старый хаулендовский дом. И потому, что она очень любила деда, ведь он ее воспитал — ее отец после развода вернулся к себе, в Англию, мать рано

умерла. Ей не хотелось покидать дом и потому, что она к нему привыкла, как привыкают к живому существу. Это опять же несовременно, не по-американски. Мало кто из американцев живет на одном месте, большинство переезжает из города в город, из штата в штат. А на Юге и сегодня сохраняется относительная неподвижность.

И вот после смерти деда Абигейл вернулась в дом своего детства — и радовалась переезду. Ее дети тоже, как и она, будут оглядываться назад и черпать в этом уверенность.

Но не только спокойствие, не только уверенность. «Я поймана, опутана тем, что содеяно ими»; «ими» — предками, близкими и дальними. И прежде всего тем, что «содеяно» ее дедом.

Немолодым уже человеком дед Абигейл, Уильям Хауленд, встретил словно из-под земли выросшую восемнадцатилетнюю мулатку Маргарет. Взял ее в свой холостяцкий дом служанкой. Она стала его любовницей. Родила ему детей: Роберта, Крисси, Нину. Казалось бы — обычная житейская история, несчетное множество раз повторявшаяся на Юге. Но чуть приглядишься внимательнее — а проза Шерли Энн Грау и приглашает к внимательному, медленному чтению, — история необычайная, неповторимая, единственная.

Уильям и Маргарет любили друг друга все тридцать лет, что прожили вместе. Они оба хотели, чтобы их детям было хорошо, и потому решили сделать так, чтобы дети считались белыми, пользовались всеми благами белого человека. Хауленд пошел против предрассудков своей среды, предрассудков более устойчивых, чем законы: он тайно женился на мулатке и узаконил своих детей.

Но выяснилось, что благодеяния родителей не принесли счастья детям.

«Содеянное» дедом и Маргарет стало для Абигейл, как и для других детей, путами прошлого, и выбраться из этих пут, порвать их — трудно. Особенно трудно это такой безвольной, пассивной женщине, какой почти до конца книги кажется Абигейл. Да и надо ли?

Абигейл убеждает себя в том, что у нее все хорошо, хстья и ощущает, что ей чего-то в жизни не хватает. И сама не может определить — чего.

Внешне, кажется, все благополучно. Она выходит замуж. Ее муж Джон Толливер

красив, удачлив, богат. Он всегда поступал, как принято: даже ухаживать за ней по-настоящему начал только тогда, когда повстречал со своей предшествующей девушкой.

И вот у Абигейл четверо детей, дом, хозяйство, земля, муж делает карьеру... А ее долг, вечный долг женщины, — охранять очаг. Охраняя детей. Поступать так же, как до нее поступали ее бабки, прабабки, прапрабабки.

Едут они с мужем в комфортабельной машине летним вечером; «как это будет чудесно, думалось мне, пока мы с ревом летели по холмам; вместе состаримся, девочки на наших глазах станут взрослыми, будут привозить к нам внучат... Мечты, сентиментальные и длинные, под стать вереницам серых длинных холмов».

Прошлое и будущее связаны прочно, надежно. Но внезапно врывается настоящее: Джон едет на очередное предвыборное собрание, — он баллотируется на пост губернатора штата.

«— Джон, — сказала я. — Что ты на самом деле думаешь про негров? Не то, что скажешь сегодня с трибуны, а честно — что?»

— Души в них не чаю, — сказал он. — Совсем как твой дед.

Серебристый вечер померк, исчезли еще не рожденные внуки».

Нет, не так просто сохранить дом. Быть может, ей надо смириться, потакать мужу? Ведь она не разбирается в политике.

Абигейл и не вступала в политические споры, хотя по-человечески слова и дела ее супруга были ей очень неприятны. До поры до времени она вовсе не думала на эти темы, полагала, что можно от этого отстраниться, укрыться в убежище. Но так не получилось; обстоятельства настигли ее, вывели из пассивности.

«Стережущие дом» менее всего роман-трактат. Острейшая, наисовременнейшая проблема в этом совсем не современном романе возникает изнутри. На поверхности — будничная жизнь, одуряюще сонная тишина маленьких городов Юга с их обычаями, которые складывались веками рабовладельчества. Но эта тишина то и дело взрывается. Вот уже десять лет в США мощно нарастает движение за полное равноправие негров, движение, все чаще называемое в американской печати «негритянской революцией». Установившийся, ста-

рый, несправедливый порядок взрывается — выстрелами, демонстрациями, походами, убийствами. Взрывается и тишина дома Хаулендов: Роберт, старший сын Маргарет и Уильяма Хауленда, после смерти родителей опубликовал в газете их брачное свидетельство; он поступил так, чтобы Джон Толливер, который произносил антинегритянские речи, был бы «опорочен» за связь с семьей, где произошло неслыханное: женитьба на черной. (История самого Толливера, путь карьериста к власти на Юге — путь, так отлично изображенный в книге Уоррена «Вся королевская рать», — на далекой периферии романа Грау. Так же, как, до поры до времени, эта история — на далекой периферии жизни героини.)

«Все мы связаны одной веревочкой — ты, я, Крисси, Нина», — это Абигейл в конце романа говорит Роберту. Дети и внуки Хауленда связаны, как неразрывно связаны черные, белые, получерные американцы.

В США сегодня продолжают звучать голоса белых расистов, которые вот уже триста лет отстаивают чисто белое господство в стране, и начинают звучать голоса черных сепаратистов, пытающихся запереть гетто изнутри.

Но ведь американцы сплелись корнями вне зависимости от цвета кожи. Выстрелы, погромы, мятежи могут убить нескольких или многих. А корни не обрубишь, историю не подменишь, она требует равенства.

Когда стало ясно, что «разоблачение» Джона Толливера вызовет скандал, что погром неизбежен, Толливер бежал из дому; решил отсидеться у своих родителей, дать забыться происшествию и снова начать карбатье наверх. Разумеется, он предложил, чтобы жена поехала с ним. Но она отказалась так им образом охранить свой очаг, осталась в доме, проявила недюжинную храбрость, отразила нападение погромщиков с помощью старого негра и старых ружей Уильяма Хауленда. Сгорел коровник. Выбиты стекла. Абигейл Хауленд-Толливер стоит на пороге разоренного жилья, вспоминает, спрашивает.

Погромщики напали на дом Хаулендов, дом, в котором жили не коммунисты, не черные, не безбожники. Жили богатые белые американцы, протестанты, англосаксонского происхождения; в США это сочетание (сокращенно ВАСП) считается знаком принадлежности к высшей аристократии.

Почему же напали на их дом?

Шерли Энн Грау — писательница фолклендской школы. Одно из ключевых слов к пониманию как эпоса Йокнапатофы, так и романа «Стерегищие дом» — «комьюнити». Его можно перевести на русский язык словами «общность», «целостность», но получается абстрактно, а «комьюнити» можно увидеть, услышать, о «комьюнити» можно расшибиться.

Если перевести словом «община», то это будет звучать слишком по-русски, слишком в духе девятнадцатого века. Перевести словом «мир» — слишком благолепно.

Уильям Хауленд тайно пошел против законов и обычаев маленького американского городка, против комьюнити. Его сын разгласил эту тайну, а наказана за это его внучка.

К дому Хаулендов погромщики подъезжают на машинах. Это не анонимные чудовища, хозяйка почти всех их знает в лицо, и каждый по отдельности — человек как человек. Один добрее, другой злее. Каждый сам по себе — не преступник, не убийца. Но вместе, заражая друг друга, оньяняя, они готовы на все. Они не могут допустить, чтобы нарушались их «святые» законы. Это никому не прощается, даже покойному богачу Уильяму Хауленду. А ему многое позволялось: вот вздумал же он в свое время выписать для дочери «Трибюн» — мало ему южных газет, решил мараить руки газетой янки. Но тогда сограждане это спустили. А женитьба на женщине с черной кожей — нет, это уж слишком.

Абигейл обороняется. Она неуклюже, непривычно стреляет — не потому, что она сознательно отстаивает права негров. Она, вслед за своим дедом, отстаивает право поступать по-своему. Не подчиняться законам комьюнити.

Абигейл не была особо привязана к Маргарет. Но она уважала ее. И видела, что ее с дедом связывала такая любовь, которая ей, белой наследнице огромного состояния, и не снилась. Память о Маргарет и о деде, об их любви она и защищает — и от по-

громщиков, и от своего ничтожного, трусливого супруга.

Бывают такие обстоятельства, когда, чтобы сохранить дом, необходимо пойти на риск его разрушения. Вряд ли она в тот момент думала о воспитании детей, — она только хотела их спасти. Но именно такое и запоминается навсегда. В сопротивлении и Абигейл перестала плыть по течению. И дети ее могут гордиться матерью, которая передала им не только причастность к роду, к комьюнити, но и право человека остаться верным себе. И выдержать неподчинение.

Впрочем, не стоит переоценивать разногласия между Абигейл Хауленд и теми, в кого она целится. Она мало напоминает Егора Булычова, она всю жизнь прожила на «той улице», на одной улице с погромщиками. Она настоящая внучка своего деду и в том, как она решила наказать город за погром. Не демонстрацией протеста, не юридическим иском, не статьями в газетах — экономическими санкциями. Так, она требует забить двери гостиницы «Вашингтон» — той самой, где часами сидят приезжие: это ее собственность — что хочет, то и делает.

В романе нет никакого «хэппи энда», никакой гармонической закругленности. Есть мучительно-неразрешимые противоречия.

Теперь Абигейл будет бесконечно мстить Роберту — и трудно понять, как они могут найти общий язык. Очень много страшного, постыдного накопилось за века рабства между черными и белыми. Но ясно одно: что если они, как и миллионы подобных им американцев, не договорятся по-человечески, на равных началах, то это грозит неисчислимыми бедствиями — и уже пролитой кровью, и той, которой еще предстоит пролиться.

В книге Шерли Энн Грау много горького, но, несмотря на это, она приносит радость. Радость вновь открываемого мира — художественного мира, в который, при всей его отдаленности, мы вошли и многое в нем поняли.

Р. ОРЛОВА.

★

Политика и наука

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ИДОЛОВ

Э. В. Ильенков. Об идолах и идеалах. Политиздат. М. 1968. 319 стр.

Никогда еще не бывало в истории, чтобы новое сразу нашло точные границы своего наиболее эффективного применения. Всегда находятся «энтузиасты», способные довести хорошее до абсурда.

Люди науки горячо приветствовали широкое проникновение математики и кибернетики в отрасли знаний, которые прежде практически не поддавались формализации и количественной обработке. Ныне, пожалуй, нет таких областей общественной жизни, куда не пришла бы математика с ее точным счетом и строгостью анализа. Видя успешные результаты применения математики и кибернетики, некоторые горячие головы поспешили короновать математическое знание. Когда-то пифагореец Гиппас сказал: «Число — самое мудрое из всех вещей». Сколько ныне у него последователей! Современные «пифагорейцы» всерьез говорят, что все беды на земле оттого-де, что люди считают плохо. Ведь главное — получение оптимальных вариантов. Чтобы шайб было произведено столько, сколько гаек, а гаек — столько, сколько болтов и т. д.

Но куда будут потом прикручивать эти болты — к трактору или к танку и против кого потом эти танки двинут? Вот в чем вопрос.

Конечно, считать надо уметь — без этого не построишь ни заводской трубы, ни жилого дома. Но надо прежде узнать — кому, зачем и во имя чего ты считаешь. А об этом не расскажет ни одна математическая формула, да и вообще не в области математики с кибернетикой это решение обитает. Тут нужно обратиться к философии, истории, политической экономии, искусству, ибо именно здесь решаются вопросы, связанные с сущностью и назначением человека, здесь складываются представления об идеалах, здесь безжалостно расправляются с лжеидеалами, с деревянными идолами, сбивающими людей с толку.

Читателю, всерьез интересующемуся всеми этими проблемами, мы очень советуем ли бы обратиться к недавно вышедшей в свет книге известного советского философа Э В Ильенкова, которая так и называется — «Об идолах и идеалах».

Книга начинается беседой автора с кибернетиком Адамом Адамычем, который «изобретает мыслящую машину умнее человека». «Искусственный мозг будет совершеннее нашего с вами! — горячо утверждает он. — И не будет повторять всех тех недостатков, которыми отличается живой мозг».

Чем же будет совершенней этот искусственный мозг? Да тем, что будет служить делу более совершенным образом. И действительно, сколько возмутительных недостатков имеет живой мозг, живой человек! Скажем, работает он счетоводом. Его дело — считать себе да считать, ну и бумажки подшивать да начальства слушаться. А он? То заболит и не явится на работу, то примется спорить с начальством и жаловаться на него, тратит время (пусть даже и после работы) на не имеющие отношения к делу разговоры о литературе и музыке, на любовь и семью. Сколько ненужной для дела работы выполняет он! Нет, со счетной машиной его не сравнить.

Но кто сказал, что интересы «дела» служат меркой, критерием достоинств и недостатков человека? А может, надо посмотреть на проблему человек — дело иначе? Может, не человека следует рассматривать с точки зрения того, насколько он полно служит делу, а, наоборот, посмотреть, насколько это дело позволяет человеку быть человеком, позволяет раскрыть все заложенное в нем человеческое богатство? Не человека стараться приспособить, подогнать к делу, а, напротив, дело — к человеку? Может, наконец, человек и его всестороннее развитие — это и есть дело, деяние человека и для человека, а все прочее — это лишь части единого дела, и не масштабы дела, а человеческий масштаб должен служить исходной меркой?

В чем состоит действительная сущность человека, каково направление человеческого развития, каковы идеалы человека — это центральные вопросы книги Э. В. Ильенкова. Работа эта, говоря словами автора, «представляет собой попытку разобраться в проблеме принципиальных недостатков и достоинств Человека с большой буквы и Машины с большой буквы».

Избранный автором метод ответа на эти

вопросы имеет принципиальное значение (кстати, он вообще характерен для многих работ Э. В. Ильенкова). Здесь нет готовых истин-результатов, которые предлагались бы вам с гарниром авторитетных цитат. Э. В. Ильенков избирает другой путь, который в наибольшей степени дает возможность раскрыть всю глубину и сложность рассматриваемых вопросов. Значительную часть книги занимает исторический анализ проблемы человеческого идеала в трудах выдающихся мыслителей прошлого. Однако это отнюдь не перечисление мнений — кто что сказал по данному вопросу. Это раскрытие логики движения мысли, логики, взятой в ее существенных, узловых моментах. Получилась цепочка проблем, которые последовательно ставило человечество, на которых оно спотыкалось, останавливалось и которые наконец разрешало — чтобы встать перед новыми вопросами, новыми противоречиями и вновь разрешать их. Вопросы эти имеют отнюдь не только исторический интерес, ибо в снятой форме они включены в наше современное знание, и тот, кто не знает вопросов, стоявших за сегодняшними ответами, тот по-настоящему не понимает и этих ответов, тот всегда рискует споткнуться на проблемах, давно поставленных и решенных. Следя по книге за этим движением идей, особенно ясно понимаешь, что известное положение: «Марксизм — наследник всей человеческой культуры» — отнюдь не фраза.

Логика развития мыслей, касающихся сущности бытия человеческого, прочерчена Э. В. Ильенковым в главных, существенных линиях, без ухода в дебри цитат и подробностей. Способ заманчивый, позволяющий в наиболее резкой и компактной форме охватить большие временные и логические пространства, но и тающий в себе серьезные угрозы. При таком изложении всегда есть опасность выпрямить, упростить сложный характер действительного движения. Достаточно посмотреть многочисленные исторические очерки, чтобы убедиться, что опасность эта — отнюдь не из области предположений. Поэтому пускаться в такое путешествие можно только с перво-классной научной экипировкой, иначе оно принесет лишь вред.

Автор рецензируемой книги наряду с историко-философской эрудицией обладает способностью находить такую точку теоретического обзора, с высоты которой четко

и ясно просматриваются даже самые дальние «закоулки» рассматриваемой теоретической системы. Пишет ли он о Канте, Гегеле или Фейербахе, он обычно выделяет то центральное звено, ту «клеточку», которая является исходной при построении всей системы, из которой можно вывести все теоретические следствия. Автор умеет открыть какие-то незаметные дверцы, через которые вы легко входите в грандиозные здания теорий великих мыслителей прошлого. С точки обзора, на которую вы поднимаетесь вместе с автором, ясно просматриваются логика, порядок и последовательность в этих теоретических храмах. Эта почти хрестоматийная ясность в изложении философских систем сочетается у Э. В. Ильенкова с умением отделить временное в них от вечного, увидеть ту проблематику, которая и по сей день не потеряла злободневности.

Так, когда вы читаете о кантовском или о гегелевском представлении о человеческом идеале, то кажется, что вы находитесь в центре современной полемики, которую ведут между собой экзистенциалисты и структуралисты. Калейдоскоп современной идейной борьбы для вас уясняется, оттенки и оттенки мнений стягиваются к двум противоположным центрам, главные теоретические основы которых были заложены Кантом, с одной стороны, и Гегелем — с другой.

Вот одна позиция, кантианская. Наука может открывать законы существующего, объяснять то, что есть, но она не в состоянии ответить на вопрос: почему так не должно быть, наука может показать, каков человек есть, но она безмолвствует, когда к ней подступают с вопросом: каким он должен быть. А между тем эти вопросы — решающие вопросы человеческого бытия, ибо те или иные ответы на них обуславливают характер человеческих действий. И вот для решения этих важнейших вопросов надо-де прислушиваться к голосу внутреннего нравственного чувства, к голосу, идущему из тайников человеческого «я». Это нравственное чувство, заложенное в человеке, от рождения направлено на добро, истину, на любовь к ближнему и т. д. Критика существующего с позиции внутреннего нравственного чувства, нравственное самосовершенствование — вот существо этой позиции.

Марксизм, как показывает автор, от-

нюдь не отрицает значение голоса совести, нравственного чувства, он критикует лишь противопоставление нравственного чувства научному знанию, он возражает против того, чтобы видель в моральной проповеди ведущую силу исторического движения. Благородство умонастроения Канта, пишет Э. В. Ильенков, несомненно — но «история событий прошлого и настоящего слишком наглядно демонстрировала, что на весах судеб мира «прекрасная душа», на которую уповал Кант, весит очень мало, несравнимо меньше, чем брошенные на другую чашу «страсти и сила обстоятельств, воспитания, примера и правительства»...».

Э. В. Ильенков показывает истоки кантовской теории человеческого идеала, ее следствия, ее плюсы и минусы, раскрывает необходимость его «снятия», движения теоретической мысли от Канта к Гегелю.

Гегель морализаторству и иррационализму Канта противопоставил строго рациональное научное мышление. И это было бы хорошо, если бы в лице абсолютной идеи Гегель не обожествил это научное знание. Как верно замечает Э. В. Ильенков, то, что Гегель обожествил научное знание, — это шаг вперед, но плохо то, что он именно обожествил его, рассматривал не научное знание как инструмент человека, а человека в качестве инструмента научного знания. Требования науки, научной логики — это для Гегеля главное. Они осуществляются с железной необходимостью, и задача человека в интересах наиболее полной и совершенной реализации этой необходимости — возможно полнее подчиниться ей. Из этих посылок уже легко выводится мысль: поскольку развитие науки приводит к выводу, что человек в этом мире не является совершенным созданием, то в интересах более успешного осуществления открытых наукой закономерностей его постепенно начнет вытеснять самопрограммирующийся электронно-вычислительный робот.

Не все прямо договариваются до этого, но в скрытом виде эти выводы присутствуют в каждом рассуждении представителей такого взгляда — поскольку человек в этих «объективных построениях» присутствует в качестве не очень значащей детали, которую, в интересах лучшей работы механизма, можно согнуть, удлинить или укоротить, а то и вовсе заменить и выбросить. Такая логика, если строго ее держаться,

не сможет быть судьей в социальных вопросах, ибо этой логикой выброшен за борт субъект исторического действия, автор и актер разыгрываемой в истории драмы — человек.

Это, как показывает Э. В. Ильенков, первым в самом начале сороковых годов XIX века почувствовал Маркс — когда он попытался с помощью гегелевского принципа разрешить спор между частной собственностью и коммунизмом. Маркс создал другую логику, сознательно положив в ее основу в качестве исходного принципа — интересы человека. Трудящегося человека. Это — и научная, и в то же время человеческая, гуманистическая логика, которая, таким образом, является одновременно и этикой. Человек, трудящийся человек, обобществленное человечество — здесь все начала и концы марксизма. Человек — это точка отсчета, мера всех вещей. Человеком, его интересами меряется все остальное, к человеку же неприменима никакая внешняя по отношению к нему мерка. Вот почему так абсурдна, так нелепа в устах причисляющего себя к сторонникам передового мировоззрения Адама Адамыча постановка проблемы: может ли быть машина совершеннее человека?

Имеет смысл рассуждать, например, о том, что более совершенно служит человеку — соха или трактор. Здесь степень совершенства двух вещей сравнивается по отношению к третьему — к интересам и целям человека. Но по отношению к какому «третьему» можно сравнивать степень совершенства машины и человека? Что это за мерка, которая находится вне человека и по отношению к которой человек выступает лишь средством (как в нашем примере — соха по отношению к человеку)? Вам придется выбирать это «третье» между гегелевской абсолютной идеей, божьим провидением, судьбой или каким-нибудь идолом. Выбирайте, Адам Адамыч, воля ваша, только при этом не зачисляйте себя в сторонники передовой философии.

Но не все Адамы Адамычи согласны породниться с абсолютной идеей. Пытаясь спасти свою позицию, они иногда говорят, что машина совершеннее человека в том смысле, что она может более полно и успешно преобразовывать природу, конечно же, не в своих, «машинных» интересах, а в интересах человека. Но ведь это все равно что сказать: нож более «совершенно» чи-

стит картошку, чем человек. Ведь в этом случае не машина воздействует на природу, а человек — с помощью машины, которая является не чем иным, как искусственным продолжением его естественных органов.

Э. В. Ильенков поворачивает эту проблему и другой, совсем уже неожиданной для его оппонентов стороной. Адам Адамыч предсказывает, что «более совершенная» машина впоследствии подчинит себе человека. Но автор показывает, что Адам Адамыч по крайней мере на несколько столетий опоздал со своим предсказанием. Такая машина создана, и она давно уже подчинила себе человека — это машина капиталистического общественного устройства. Обнажаются, таким образом, земные корни «машинно-философского» мышления: оно — отражение реальной ситуации потерянности человека в буржуазно-бюрократическом мире, который этим миром низведен до роли винтика и малозаметной детали. И, конечно, там, где точка отсчета — получение максимальной прибыли, там, естественно, автомат может быть признан совершеннее человека, ибо там сам человек сведен до уровня автомата, и автомата, разумеется, несовершенного.

Те же, кто в основу своего миропонимания и деятельности кладет интересы человека, те ставят вопрос о ликвидации капитализма и этой зависимости. «Человек должен стать человеком», — провозглашают они. Хватит ему быть винтиком при машине, средством, разменной монетой в игре каких-то «высших» сил. Здесь и открываются истоки подлинно человеческого идеала. Идеал этот не конструируется искусственно — он открывался и открывается марксизмом-ленинизмом при изучении реального хода исторического развития.

Каков же этот идеал, в чем его необходимость, каковы пути его достижения?

Если говорить кратко, суть дела сводится к превращению человека из «частичной детали частичной машины», каким он является при капитализме, в гармоническую, всесторонне развитую личность. Общеизвестно, что решение этой задачи достигается прежде всего уничтожением эксплуатации и превращением производительных сил в общественную (общенародную) собственность.

Итак, общественная собственность — условие расцвета личности. Но формула эта, как показывает автор, верна лишь тогда,

когда она одновременно читается и наоборот: расцвет личности есть условие становления и развития общественной собственности. Одно не может осуществиться без другого. Это нередко упускается из виду. Очень кстати автор напоминает важные мысли Маркса и Ленина о том, что от провозглашения общественной собственности до ее реального осуществления имеется определенная временная дистанция, не в последнюю очередь связанная и с изменением типа человеческой личности.

Заслуживают в связи с этим пристального внимания приводимые автором рассуждения Маркса о том, что в условиях «первоначального», «грубого» коммунизма общественная собственность может выступить «как в сеобщая частная собственность» и явится «лишь обобщением и завершением отношения частной собственности». Чтобы собственность стала действительно общественной, для этого нужно, как верно пишет Э. В. Ильенков, решительно изменить и старый способ разделения труда между людьми, старый способ разделения между ними ролей и функций в процессе общественного производства, как материального, так и духовного, нужно, чтобы в управление общественным производством были втянуты все.

И снова проблема, на которой автор фиксирует внимание читателей: важно, чтобы человек получил реальную, практическую возможность принять участие в управлении и притом способен был решать сложные задачи, которые ставит перед обществом ход исторического развития. Нередко очень упрощенно понимают глубокую ленинскую мысль о том, что государством должна научиться управлять каждая кухарка. Прав Э. В. Ильенков, когда пишет, что «коммунизм призывает каждую кухарку к управлению государством вовсе не для того, чтобы она делала это по-кухонному, на основе тех навыков, которые в ней воспитаны среди кастрюль. Кухарка, действительно, а не формально участвующая в управлении общественными делами страны, перестает быть кухаркой. Вот ведь в чем все дело».

При этом, продолжает автор, активному члену общества недостаточно быть осведомленным только в политике. «На политике он остановиться не может, ибо экономическая политика связана с политической

экономией, требуя знания и понимания специальной теоретической литературы, в том числе «Капитала» Маркса и теоретических работ Ленина, что, в свою очередь, немисливо, если у человека нет общей культуры». «Ибо «нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логике Гегеля»¹. А попробуйте понять Гегеля, не обладая общесторическим образованием, знанием литературы, искусства, истории культуры! Ничего не получится. Тут одна цепь. Либо человек вытягивает ее всю, до конца, либо она вырывается у него из рук также вся, до конца... И только человек, овладевший ею, становится действительным, а не номинальным господином над современными производительными силами... Либо индивидуум превращается в хозяина всей созданной человеческой культуры, либо он остается ее рабом, прикованным к тачке своей узкой профессии».

Может быть, кому-то покажется невыполнимой (или даже демагогической) та обязательная для всех «программа образования», которую пунктиром наметил Э. В. Ильенков. Однако ее действительно требует жизнь. И чтобы овладеть основными культурными ценностями, которые выработало человечество (и, значит, стать коммунистом, по известному ленинскому афоризму), вовсе не нужно быть каким-то сверхгением. Надо быть всего лишь нормальным человеком, поставленным в нормальные условия развития. А нормальные условия эти состоят, как верно пишет автор, в том, что «каждый живой человек мо-

жет и должен быть развит в отношении тех всеобщих («универсальных») способностей, которые делают его Человеком (а не химиком или токарем), то есть в отношении мышления, нравственности и здоровья,— до современного уровня. Всестороннее развитие личности предполагает создание для всех без исключения людей равно реальных условий развития своих способностей в любом направлении. Таких условий, внутри которых каждый мог бы беспрепятственно выходить в процессе своего общего образования на передний край человеческой культуры, на границу уже сделанного и еще не сделанного, уже познанного и еще не познанного, а затем свободно выбирать, на каком участке фронта борьбы с природой ему сосредоточить свои личные усилия: в физике или в технике, в стихосложении или в медицине.

Вот что имел в виду Маркс, когда говорил, что коммунистическое общество будет формировать из человека ни в коем случае не живописца или сапожника, а прежде всего человека, занимающегося — пусть даже преимущественно — живописью или проблемой изготовления обуви, смотря что больше ему по душе».

Таков охарактеризованный Э. В. Ильенковым коммунистический идеал личности, программа и необходимость сегодняшнего дня, та мерка, по которой мы можем мерить высоту наших сегодняшних успехов, по которой мы можем определить, сколько мы прошли и сколько нам еще предстоит пройти.

Г. ВОДОЛАЗОВ.

★

ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ

Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга I.
«Наука». М. 1968. 692 стр.

Книга эта, уже получившая на страницах «Нового мира» (№ 2, 1969) краткий первоначальный отклик, — не изложение достигнутых результатов. И не систематизированная картина развития человечества от возникновения человеческого общества до установления капиталистических отношений. Это сборник очерков, написанных разными авторами, то повторяющими друг

друга, то, напротив, противоречащими один другому и прямо полемизирующими между собой. Взаимопротиворечивость и взаимополемичность отдельных статей сборника в известном смысле символична. Уже эта внутри одного корешка заключенная полемика сразу же дает читателю почувствовать, что речь идет о нерешенных, дискуссионных проблемах (недаром слово «проблемы» вынесено на титул), следовательно, о том, что еще нуждается в исследовании, о вопросах, на которые авторы и редакторы

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 162.

еще не в состоянии предложить готовый и всех удовлетворяющий ответ.

Но погодите. Неужели история докапиталистических обществ и в самом деле проблематична? Неужели ее главные линии до сей поры не определились и продолжают оставаться предметом спора? И если такой спор еще идет, то не вызван ли он просто тем обстоятельством, что некоторые авторы либо невежественны, либо предали забвению основные принципы марксистской методологии истории?

Поразительно настойчива эта убежденность ленивого ума, что задача науки состоит в том, чтобы поднести нам, потребителям, на серебряном блюдечке золотое яблочко готовой и «законченной» системы! Между тем в действительности приближение к абсолютной истине есть никогда не завершающийся процесс. Разве не служит нам трагическим напоминанием судьба христианства, начинавшегося революционной идеологией и превратившегося в великолепно разработанную, все охватывающую и все мертвящую догму? Разве не помним мы, что гегелевская система стала поперек гегелевского диалектического метода?

Чтобы понять, каковы проблемы истории докапиталистических обществ и в чем, следовательно, состоит смысл сборника, мы должны обратиться к истории самой исторической науки, к ее движению.

В XIX веке было распространено представление о прямолинейном развитии человеческого общества. Это развитие могли выводить из духовных или материальных факторов, оно могло представляться революционным или эволюционным, — но в том или ином случае история оценивалась как движение от простого к сложному, от примитивного к высоко организованному. Гегелевская философия истории: от несвободы Востока через полусвободу античности к свободе германского мира — одна (но отнюдь не единственная) среди выработанных в ту пору схем.

С конца прошлого столетия концепция прямолинейного развития стала подвергаться критике. Критика эта была вызвана, с одной стороны, причинами идеологическими, социально-политическими. Коротко и грубо охарактеризованные, они могут быть сведены к страху буржуазного общества перед дальнейшим прогрессом, сулившим этому обществу неминуемый конец. Но, с другой стороны, критика указанной кон-

цепции была вызвана и развитием самой исторической науки, прежде всего расширением фактического материала, буквально захлестнувшего с конца XIX века науку о древности.

В самом деле. Концепция прямолинейного развития человечества создавалась на очень небогатом фактическом материале, ограниченном во времени и в пространстве. Основой для нее послужила история Европы, к тому же не простиравшаяся в глубь веков далее гомеровского времени. Первобытная история, история древнего Востока, да, пожалуй, и Востока средневекового — все это оставалось в стороне. Когда же серия разнообразных открытий распахнула перед исследователями такие стороны прошлого, о которых они прежде даже не догадывались, значительная часть историков (разумеется, буржуазных) остановилась в растерянности: новый материал, казалось, не укладывался ни в одну из «эволюционистских» схем. И тогда была выдвинута мысль, что общество в процессе своего исторического существования представляло собой не что иное, как совокупность разновременных и разнопространственных, независимых и замкнутых в себе цивилизаций («культурных кругов»), каждая из которых находила себе особую дорогу. Иначе говоря, вместе с прямолинейностью оказалось утерянным и единство развития человеческого общества.

В соответствии с таким состоянием исторической науки авторы и редакторы сборника следующим образом определяют задачу, стоящую перед современной марксистской историографией: построить рабочую схему развития человечества в прошлом, чтобы, учитывая новый фактический материал (и используя связанные с ним новые методы исследования), не раздробить историю на множество «культурных кругов», но представить ее единым, хотя и сложным процессом. Диалектическое противоречие многообразия и единства — таков стержень, вокруг которого объединены все статьи сборника.

Если не говорить о вводной статье «Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ», где Л. В. Данилова, ответственный редактор сборника, останавливается на важнейших дискуссиях последних лет по данной теме, сборник отчетливо распадается на две части. Первая из них посвящена закономерностям развития пер-

вобытного общества, вторая — развитию от первобытности до средневековья.

До последнего времени мы говорили о первобытном обществе как о единой общественно-экономической формации. Сравнительно недавно это усановившееся и, казалось бы, вполне естественное представление поставлено под сомнение. В соответствии с новыми взглядами советских антропологов Ю. И. Семенов в статье «Проблема начального этапа родового общества» решительно пишет: «Период первобытного стада качественно отличается от всего последующего периода истории человечества» — и помещает этот период вне и до общественно-экономических формаций. Его поддерживает в этом вопросе также Н. А. Бутинов, автор статьи «Первобытнообщинный строй», во многих других пунктах расходящийся и полемизирующий с Ю. И. Семеновым.

В центре всей первой части книги лежит проблема, которую можно было бы условно назвать проблемой родового строя. Одно решение этой проблемы предлагает Н. А. Бутинов и поддерживающие его В. Р. Кабо и В. М. Бахта, авторы статей, посвященных конкретным народам — австралийским аборигенам и папуасам Новой Гвинеи, другое отстаивает Ю. И. Семенов. По его мнению, с самого начала истории первобытно-общинной формации именно «род был производственным коллективом» (стр. 180), тогда как В. Р. Кабо, прямо полемизируя с Ю. И. Семеновым, утверждает: «Род никогда не был... производственным коллективом» (стр. 243) — и видит основную хозяйственную ячейку той эпохи в отличной от рода общине.

Дискуссия ведется остро. Ю. И. Семенов даже упрекает своих противников в «непонимании роли производства как фактора, обусловившего появление человека и человеческого общества» (стр. 186). Они же возвращают ему этот бумеранг, характеризуя его собственный взгляд как «крайнее мнение, сводящее первобытную историю к истории семейно-брачных связей» (стр. 131), то есть опять-таки как непонимание соотношения между производством и кровнородственными отношениями.

Думаю, однако, что подобные «глобальные» обвинения и в данном случае, как и во многих других, бьют мимо цели и способны лишь породить недоумение. И та и другая

сторона недвусмысленно признает примат производственных отношений и детальным образом анализирует формы производства, отношения собственности и т. п. Расхождение имеет гораздо более частный характер: была ли ранняя община организована как родовая, как хозяйственный коллектив, зиждившийся на экзогамии (запрещении браков внутри данной общественной группы), так что жены и мужья не входили в состав общины и, следовательно, семья не стала хозяйственной единицей (этнографы говорят в таком случае о дисэкономическом и дислокальном браке, предполагая, что муж и жена не ведут общего хозяйства и даже живут врозь, каждый в своем родовом коллективе) или же община состояла из ядра (братьев и сестер), окруженного своего рода «оболочкой», то есть мужьями и женами членов ядра; в таком случае супруги жили вместе и вели в известных пределах общее хозяйство.

В дискуссиях о родовом строе есть еще один принципиальный аспект. И Ю. И. Семенов и его оппоненты настаивают на универсальности предлагаемой ими схемы. Мы поставлены перед дилеммой: либо все человечество начинало свой путь с родовой общины Ю. И. Семенова, либо (зпять-таки все человечество) — с кровной общины Н. А. Бутинова и его единомышленников. Но не является ли сама эта универсальность — как в том, так и в другом ее варианте — гипотезой, требующей более серьезного доказательства?

Я коснусь в этой связи одного вопроса — о позднепалеолитических женских статуэтках. Массовые их находки служили одним из важнейших аргументов в пользу представления о повсеместной распространенности материнского рода в эту отдаленную эпоху. Н. А. Бутинов, который не без оснований сомневается в универсальности материнского рода, пытается пересмотреть и вопрос о назначении женских статуэток. Эти фигурки, полагает он, связаны с «дородовым» периодом (Ю. И. Семенов отвергает существование такого периода), когда преобладал брак-похищение: они служили магическим изображением женщин, которых мужчинам предстояло похитить из соседних общин. Недоказуемость этого объяснения бросается в глаза, но дело, однако не в этом, Сам Н. А. Бутинов отмечает (впрочем, лишь проходя), что женские фи-

гурки представлены далеко не во всех регионах: их нет в Средиземноморье, Южной Америке, Индокитае. Не следует ли из этого, что материнский род (если с ним по-прежнему связывать массовое изготовление женских статуэток) был для позднего палеолита не универсальным явлением, что там могли складываться и семейно-брачные отношения иного типа? Не говорит ли это о том, что в пределах действительно универсальной первобытнообщинной формации складывались разные формы общины, семейно-брачных отношений, родовой организации, формы, которые далеко не всегда были последовательным развитием друг друга, но часто представляли собой параллельные явления?

Обращаясь ко второй половине сборника, мы сталкиваемся прежде всего с проблемой перехода от первобытного общества к обществу эксплуататорскому, классовому. В уже упомянутой статье Н. А. Бутинов специально рассматривает, преимущественно на этнографическом материале, период, когда господствовала, по его терминологии, гетерогенная община и когда уже складывалось имущественное, социальное и даже классовое расслоение. Этот период он безоговорочно включает в рамки первобытнообщинного строя, однако он не раскрывает критериев такой периодизации. Где пролегает грань между раннеклассовым и первобытным обществом? Проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд.

Если Н. А. Бутинов смотрит на этот период, так сказать, из глубины истории, из недр классической первобытности, которая составляет основную сферу его интересов, то А. И. Неусыхин рассматривает его с позиций историка феодализма, то есть классовой общественно-экономической формации. Может быть, именно поэтому, не обнаруживая в так называемом варварском обществе сформировавшейся системы классов, он — в отличие от Н. А. Бутинова — считает, что социальное неравенство на том историческом этапе еще не превратилось в классовое. Не решаясь, несмотря на это, отнести варварское общество просто к первобытнообщинному строю, А. И. Неусыхин избегает данную систему называть общественно-экономической формацией и ищет решения в том, что обращается к понятию дофеодального, переходного периода.

А. И. Неусыхин, по-видимому, прав, когда он — определеннее, чем Н. А. Бутинов, — отделяет варварское общество от первобытнообщинного строя (и вместе с тем от раннего феодализма), — тем самым отчетливее обнаруживаются специфические особенности этого важнейшего исторического периода. Однако такая постановка вопроса порождает известные трудности. Варварское общество, согласно А. И. Неусыхину, не принадлежит ни той, ни другой формации, оно лежит между ними. Обобщая это наблюдение, исследователь делает вывод о существовании «переходных периодов» (во множественном числе), то есть внеформационных эпох на грани между другими социально-экономическими формациями, скажем, между феодализмом и капитализмом. Не напрашивается ли из этого вывод (помоему, спорный), что общество в своем развитии переходит не от одной формации к другой, а от формации к «бесформационному» переходному периоду, из которого уже затем вырастает новая формация?

Для характеристики переходного периода А. И. Неусыхин использует понятие общественной структуры Термин этот, «структура», в последнее время приписывает общее внимание, порождая то безудержные восторги, то безоговорочное осуждение. А. И. Неусыхин характеризует дофеодальное общество как особую общественную структуру. «Такие структуры, — определяет он, — не являются отдельными формациями именно потому, что основной принцип движения... в них не выражен с достаточной отчетливостью». Структура в такой трактовке — не более чем недоразвитая формация.

Во избежание кривотолков, может быть, следовало определеннее договориться о том, что следует понимать под этим термином. В последние годы все шире распространяется тенденция рассматривать общество (можно было бы сказать, общественно-экономическую формацию) как целостную систему, все элементы которой находятся во взаимной связи. Структура этих элементов определяется общим («структурообразующим») принципом, составляющим существо системы. Отнюдь не ставя под сомнение примат производственных отношений (см. слова Е. М. Штаерман в этом же сборнике: «...для социально-экономических систем структурообразующим элементом являются производственные отношения, через кото-

рые производительные силы воздействуют на характер всей общественной формации»), сторонники структурного анализа энергичнее, чем это делалось раньше, подчеркивают взаимосвязь всех элементов общественной формации, и в частности то, что можно было бы назвать обратной связью, то есть влияние на социально-экономические отношения политической жизни, системы ценностей, эстетических идеалов и т. п. При этом сторонник структурного анализа стремится выяснить, как во всех этих разнородных общественных элементах: общественные классы, малые группы (семья, община, средневековый цех или монастырь), политическая организация, религия, художественное творчество — проступает структурное единство, обнаруживается определяющий общественный принцип.

Подобный подход особенно плодотворен при изучении докапиталистических обществ, где частная собственность, классовая поляризация и социальные антагонизмы не выступали так отчетливо, как в капиталистическом мире, и, наоборот, родственные связи, общественные традиции, установившиеся системы ценностей (в том числе религия) непосредственнее, чем при капитализме, влияли на общественные отношения.

Итак, чем ни считать варварское общество — особой структурой или в рамках определенной формации периодом, — оно составляет чрезвычайно существенный и, по всей видимости, универсальный исторический этап. Какова же та общественная формация, которая приходит ему на смену?

Согласно традиционным представлениям, долгое время господствовавшим в нашей исторической науке (или, пожалуй, над нашей наукой), это рабовладельческая формация. В последнее время в правомерности такого суждения были высказаны некоторые сомнения. Как известно, Маркс никогда не говорил о рабовладельческой формации, и об античной, с одной стороны, и об азиатской, или восточной, с другой.

Даже не настаивая на том, что древневосточный вариант исторического развития должен быть непременно схарактеризован как самостоятельная формация (существует немало противников этой точки зрения), нельзя не видеть, что он обладает существенными отличиями. Попытку охарактеризовать одно из древневосточных обществ, китайское, предпринял Л. С. Васильев.

Своеобразие социальных отношений в древнекитайском обществе он усматривает в том, что господствующую верхушку составляла там наряду со старой родовой знатью чиновничье-бюрократическая прослойка, обособившаяся не в силу имущественного расслоения, но благодаря своим управленческим функциям. В соответствии с этим эксплуатация непосредственных производителей осуществлялась в очень большой степени централизованно — через ренту-налог, чрезвычайные поборы и трудовую повинность. Правителю царства принадлежала верховная собственность на землю, постепенно трансформировавшаяся в государственный суверенитет.

Соотношение азиатского и античного общества рассматривается в статье М. А. Виткина «Проблема перехода от первичной формации ко вторичной». Общественные отношения, сложившиеся в государствах древнего Востока, автор расценивает как первичную или архаическую формацию. Это было общество, основанное на эксплуатации, часто очень жестокой, но обладавшей своеобразными чертами. Социальная стратификация определялась здесь не имущественным неравенством, а причастностью или непричастностью к государственной власти. Правда, М. А. Виткин считает, что образовавшиеся здесь социальные группы не могут быть названы классами (мысль, аналогичная высказанной А. И. Неусыхиним применительно к переходному периоду), но суждение это родилось, по-видимому, в полемическом увлечении. Мы можем говорить о своеобразии классовой структуры на древнем Востоке, о своеобразии эксплуатации (именно это и делает, в сущности, М. А. Виткин), но не о доклассовом типе общественного устройства. Родовая знать Египта, даже если она владела землей или частью земли через государство, принципиально отличалась своим отношением к средствам производства от «живых убитых», как называли египтяне военнопленных, или от земледельцев, согнанных на строительство пирамид.

Дело не только в том, что древневосточным обществам было не чуждо имущественное неравенство, — важнее другое. На определенном историческом этапе (и это отлочно показано в статье А. Я. Гуревича «Индивид и общество в варварских государствах») социальные градации строятся не

на имущественном принципе или во всяком случае не только на нем, а социальная психология отнюдь не усматривает в имущественном факторе основной критерий общественной стратификации. Это относится и к некоторым обществам, занесенным М. А. Виткиным уже в разряд вторичных формаций в античном мире богатый метэк (выходец из чужого города) так же оставался вне полноправия, как в классическое средневековье купец стоял вне господствующего класса, — явление, которое, кстати сказать, Л. С. Васильев отмечает и в древнем Китае. Речь, следовательно, все-таки должна идти о классах, хотя М. А. Виткин в каком-то смысле прав, ибо он нащупывает действительное своеобразие классовой структуры древневосточного общества.

Тот же тип восточного общества сложился и на юге Греции во II тысячелетии до н. э. От него, согласно М. А. Виткину, принципиально отличается общество античной Греции, которая вступила, по его словам, «на неизведанный исторический путь развития», и этот путь привел к образованию вторичной формации, которая характеризуется отделением ремесла от земледелия, образованием городов и развитием товарно-денежных отношений, а следовательно, и вещной связи индивидов.

Критерии, на основе которых М. А. Виткин разграничивает вторичную и архаическую формации, представляются мне в немалой мере произвольными. Достаточно напомнить, что образование государства на древнем Востоке нередко связывают с так называемой городской революцией, с образованием городов. Вряд ли можно сомневаться, что в Египте и Месопотамии, в городах Финикии и Сирии ремесло было отделено от земледелия. Однако оставим в стороне вопрос о критериях. Должны ли мы рассматривать древневосточное общество как не полностью развившуюся рабовладельческую формацию, как переходный этап от первобытности к античному миру?

Совершенно по-новому ставится этот вопрос в статье Е. М. Штаерман. Исследовательница отвергает мысль о том, что античное общество является обязательным этапом на пути развития человечества. Античное общество возникло, по ее мнению, не в результате эволюции ранних классовых обществ древневосточного типа, но самостоя-

тельно выросло из первобытности (как сказал бы А. И. Неусыхин, из варварского общества). В дальнейшем, зайдя в гупик, оно не могло перейти непосредственно на стадию феодального общественного строя. Оно явилось «не правилом, а исключением, скорее ответвлением, чем неизбежностью на магистрали общечеловеческого развития».

Трактовка античности как бокового, тупикового пути развития ни в коей мере не ведет Е. М. Штаерман к пренебрежительной его оценке: напротив, она полагает, что, будучи своеобразным ответвлением, античный мир «забежал вперед по сравнению с общим уровнем» и смог в силу этого создать такие политические формы и такую систему ценностей, которые в течение длительного времени оставались образцом для последующих поколений.

Итак, ставится вопрос, не является ли «восточный» путь развития генеральным, а античный — тупиковым, боковым, — точка зрения хотя и спорная, однако интересная.

Со статьей Е. М. Штаерман своеобразно перекликается исследование Н. Ф. Колесниченко «К вопросу о раннеклассовых общественных структурах», где вскрыт еще один аспект проблемы: оказывается, формирование классового общества в средневековой Европе нередко просто проходило, так сказать, по азиатскому образцу: эксплуатация начиналась не с подчинения крестьян феодальными собственниками, как следовало бы по традиционной схеме, а с обременения их государственными повинностями в порядке публично-государственной зависимости. Но что же это значит? Не вытекает ли из этого, что нормальное развитие варварского общества вело к образованию системы, базировавшейся на восточной форме классового господства, и что только в особых условиях создавались такие формации, как античная или феодальная? Не станем торопиться с ответом на этот вопрос, но вряд ли можно в настоящее время совсем его игнорировать.

Азиатский общественный строй обладал (и это подчеркивает, в частности Л. С. Васильев) удивительной устойчивостью. Я бы отметил еще другую его особенность — тенденцию к регенерации. В самом деле, чем завершается история греческих государств? Созданием эллинистических монархий восточного образца — и это несмотря на то, что Восток был завоеван греками и

македонянами! И античный Рим приходит к ориентализированной империи, традиции которой в той или иной форме сохраняются в средневековой наследнице Рима — Византии. Может быть, в некоторых случаях и в феодальном обществе рождалась тенденция к образованию аналогичной или сходной общественной системы или ее отдельных элементов.

Но не будем больше нагромождать один неясный вопрос на другой. Достаточно тех проблем, которые подняты в самом сборнике, авторы и редакторы которого — теперь

мы в этом уже убедились — не предлагают готовой схемы, напротив, они во многом не согласны между собой, они спорят и размышляют, и это — прекрасно. даже если читатель и рецензент не всем и не всегда убежден. Сила марксистской исторической науки состоит в ее методе, в принципах материализма и диалектики, а не в «законченных» системах, всегда исторически ограниченных, — именно этот метод находит обогащение и дальнейшее развитие в статьях рецензируемого сборника.

А. КАЖДАН.



ПРАВДА И ЛОЖЬ СТАТИСТИКИ

У. Дж. Рейхман. Применение статистики. Перевод с английского и предисловие В. М. Шундеева. «Статистика». М. 1969. 296 стр.

Автор этой книги не только знает свое дело, но и любит его. По его мнению, «статистическое исследование, если оно отвечает предъявляемым к нему требованиям, проникнуто духом охоты, многократно усиленным устремленной вперед любознательностью, присущей человеку в его стремлении к знанию, которое в случае успеха приносит огромное вознаграждающее его удовлетворение».

Не слишком ли громко сказано о науке скучной, согласно распространенному представлению? Нет, не слишком. История дала нам блестящие образцы «охоты» с помощью цифр, увлекательных поисков истины, которую порой пыталась скрыть буржуазная статистика. В этой связи мы прежде всего вспоминаем Ленина, его громадную работу с цифрами, на которой основаны и труды о российском капитализме, и «Империализм, как высшая стадия капитализма», и многие другие произведения.

Вот хотя бы то место из полемики с народником Кривенко, где речь идет о воронежских крестьянских бюджетах, составленных земским статистиком Щербиной, тоже народником. Ленин берет те же, народниками выбранные цифры, чтобы показать, что при правильном анализе они подтверждают нечто противоположное выводам, которые сделал из них Кривенко. «Дело в том, — пишет Ленин, — что эти 24 бюджета описывают совершенно различные хозяйства — и зажиточные, и средние, и бедные, на что указывает и сам г. Кривенко... причем, од-

нако, он, подобно г. Щербине, оперирует просто над средними цифрами, соединяющими вместе различнейшие типы хозяйств, и таким образом прикрывает совершенно их разложение»¹.

Сегодня, спустя семьдесят пять лет, недопустимость спекуляций со средними величинами очевидна любому добросовестному статистiku. У. Дж. Рейхман в своей книге посвящает этой теме специальную — и весьма критическую — главу «Перегруженная средняя». Он пишет, в частности: «...бессмысленно называть величину в 500 фунтов стерлингов в качестве среднего дохода трех лиц, индивидуальные заработки которых равны соответственно 1000, 300 и 200 фунтов стерлингов. Получатели этих доходов находятся явно в разных группах, а названная средняя величина включает их в совершенно новую группу».

Особенно злые насмешки вызывают у Рейхмана ухватки буржуазной рекламы, которая обычно использует цифры для того, чтобы придать больший вес своим утверждениям. Однако главная цель книги — не в разоблачении вздорных недобросовестных проделок с цифрами. Хотя местами она читается как фельетон и, кстати сказать, везде читается легко, по существу это — популярный учебник статистики, полезный каждому, кто встречается со статистическими материалами хотя бы лишь на страницах

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 225.

газет. Ибо требуется определенный минимум знаний не только для того, чтобы собирать и обрабатывать статистическую информацию, но для того, чтобы воспринимать ее, чтобы правильно понимать значение тех или иных цифр, а также по возможности самостоятельно оценивать их вероятную достоверность.

Рейхман предостерегает от двух крайностей: одни читатели полагают, что статистические данные непогрешимы и их можно принимать на веру безоговорочно, другие уверены, что можно сфабриковать любые статистические данные. Он поясняет: «Понимание того, что статистика должна подвергаться сомнению, является очевидной предпосылкой к формулированию тех вопросов, которые следует задавать, и выступает поэтому само по себе в качестве важнейшего фактора при интерпретации статистических данных».

А вот и вопросы, которые предлагается ставить: «При рассмотрении публикуемых статистических данных в первую очередь следует выяснить следующие вопросы: кто это сказал, что он сказал, что он не сказал и каковы его основания? Иногда возникает соблазн, кроме того, спросить, знал ли он, о чем говорит! Абсолютная точность последующих вычислений ничего не дает, если исходные данные неправильны и во всех отношениях ненадежны. Очень важно иметь представление о происхождении данных, а также знать, для кого и с какой целью их собирали».

С этими рассуждениями прямо перекликается рассказанная Рейхманом история об ошибке американского журнала, предсказавшего сокрушительное поражение Франклина Д. Рузвельта на президентских выборах 1936 года. В тот раз Рузвельт одержал одну из самых убедительных побед в истории США. Между тем при опросе, который провел журнал, была взята огромная выборка, во много раз превышающая все нормы, требуемые строгой наукой. Журнал опросил 10 миллионов человек, из них свыше двух миллионов ответили на предвыборные анкеты. Как выяснилось, ошибка была в самом принципе отбора опрашиваемых. Журнал опросил своих читателей, а также владельцев телефонов, чьи адреса были в справочниках. Взгляды читателей журнала определялись его направлением. Что же до владельцев телефонов, то таковых, очевид-

но, было меньше среди сторонников Рузвельта, опиравшегося на широкие демократические слои. Их мнение не было учтено в прогнозах. Мнимая широта опроса обернулась ограниченностью.

Одна из самых сложных и в то же время самых интересных глав книги — глава «Реален ли индекс?». Она дает, пожалуй, наиболее яркое представление о действительных трудностях работы с цифрами, о широте и вместе — ограниченности возможностей статистики. Простейший условный пример расчета индекса цен на основе всего лишь двух товаров (на практике в Англии, например, регулярной оценке подлежат около трехсот пятидесяти видов товаров и услуг) — этот пример показывает, сколько опасностей подстерегает статистика при расчете, в частности, индексов розничных цен. Расчеты по двум разным методам (оба метода выглядят безошибочными) дают совершенно противоположные результаты: в одном случае получается, что средний индекс цен повысился, в другом — понизился. На самом деле неверны оба метода и оба результата. Книга показывает, как избежать ошибок, как проверить правильность расчетов, а главное — как отточиться к индексам вообще, имея в виду неизбежную здесь долю условности.

Известно, что, скажем, индекс темпов прироста промышленной продукции в той или иной стране, взятый изолированно от прочих данных, мало о чем говорит. Надо посмотреть, в какой степени это достигается за счет повышения производительности труда и в какой — за счет увеличения численности работающих. Надо, далее, изучить распределение национального дохода. Одно дело, если при определенном темпе прироста производства накопление забирает, скажем, лишь 15 процентов национального дохода, оставляя 85 процентов потреблению. И совсем другое дело, если тот же прирост производства требует накопления на уровне 30 процентов национального дохода. Ясно, что во втором случае достижение экономики (при прочих равных условиях) соответственно меньше. Надо учесть и много других данных, прежде чем решить, можно ли считать те или иные темпы прироста продукции высокими или низкими.

Все это любому грамотному работнику хозяйства известно. Но человек, незнакомый со статистикой, может не знать, насколько

приблизительна, по самим условиям расчета, сама эта отдельная цифра — индекс прироста промышленной продукции. Нельзя же сложить сталь в тоннах, пирожные в штуках и ситец в метрах. Надо усреднять индексы по отдельным отраслям. Для этого надо их объективно «взвешивать», то есть определять долю этих отраслей во всей промышленности. Надо обоснованно подобрать круг отраслей, на основе которых ведется счет. Притом отраслевая структура промышленности разных стран различна — это создает особые проблемы при межгосударственных сопоставлениях, да и она с годами меняется, — отсюда новая проблема сопоставления данных по годам.

Рейхман приводит такой пример. В США индекс промышленного производства, подготовленный Федеральным резервным управлением, опираясь на уровень 1947 года в качестве базисного. Вышло, что в июне 1958 года уровень производства был на 55 процентов выше, чем в 1947 году. По новому индексу с новой структурой, основанной на данных о промышленном производстве за 1957 год, прирост за тот же период составил 66 процентов. Степень «уточнения» говорит сама за себя. Но здесь не было ни обмана, ни ошибки, которую можно было заметить заранее. Разница была вызвана главным образом расширением круга учтенных отраслей, введением новых рядов и новым взвешиванием составных частей индекса с учетом данных 1957 года.

Значит ли это, что данные статистики вообще ничего не стоят? Никим образом. Просто не надо видеть в цифрах нечто большее, чем они означают на самом деле. «Действительное искусство статистического анализа, — пишет Рейхман, — проявляется тогда, когда точные данные недоступны». А

это для Англии не такая уж редкая ситуация — примером может служить упомянутое автором стремление многих предпринимателей скрыть от налоговой инспекции свои фактические доходы.

Рейхман, конечно, ни в коей мере не ни-спровергатель основ, не обличитель капиталистического строя. Он просто честный статистик. Но и это не так уж мало. Многочисленные факты, привлекаемые им лишь в качестве иллюстраций, сами по себе говорят о многом. Вот он приводит случай, когда в одной компании провели расчет средней зарплаты разных групп персонала в соответствии с новой методикой, и обнаружилось, что оплата многих работников ниже, чем в других компаниях. Казалось бы, надо повышать ставки. Ничуть не бывало! Работник, проводивший тарификацию, медленно переделал всю работу заново. «Если вам не нравится ответ, просто измените определение» — в таких словах обобщает Рейхман подобный способ действия, называя его худшим видом злоупотребления статистическими данными.

Книга Рейхмана — третья в серии «Библиотечка иностранных книг для экономистов и статистиков», затеянной издательством «Статистика». Там же выходит другая серия: «Новейшие зарубежные статистические исследования». Рассчитанная на более подготовленного читателя, включающая такие капитальные труды, как монография П. Студенского «Доход наций», эта вторая серия заслуживает отдельного внимательного рассмотрения. Одно несомненно: в обоих случаях издательство ведет работу интересную и важную не только для статистиков.

О. ЛАЦИС.



ОТ ФАКТА К ГИПОТЕЗЕ

В. А. Бронштэн. *Беседы о космосе и гипотезах.* «Наука». М. 1968. 240 стр.

Эта книга развивается как бы в трех планах. Во-первых, она рассказывает о проблемах современной астрономии и раскрывает нелегкий путь астрономической мысли от мифологии к нынешним теориям. Во-вторых, она касается общих методов и закономерностей научного познания. В-третьих, по признанию автора, она яв-

ляется «одним из мероприятий для борьбы с гипотезоманией».

Основная трудность научно-популярного жанра связана с необходимостью сочетать простоту изложения с максимальным приближением к уровню современной науки. В. А. Бронштэн с этой задачей справился вполне. В отличие от многих популяризатор-

ров он не столько восторгается достижениями астрофизики и космогонии, сколько показывает многочисленные трудности, с которыми сталкиваются ученые, постоянно уточняющие свои гипотезы в соответствии с новыми фактами. В столкновении идей, в борьбе мнений, в нарастающей лавине фактов читателю открывается «живая» астрономия, в которой (как и в любой науке) неизведанного и спорного несравненно больше, чем достигнутого. В книге рассказана история астрономических гипотез, судьбы которых — это как бы сюжетные линии, прослеживаемые В. А. Бронштэнном с большим мастерством.

Главное внимание уделено зарождению и развитию научных взглядов на происхождение Земли (и в связи с этим солнечной системы) — от гипотез Бюффона, Канта и Лапласа до современной гипотезы О. Ю. Шмидта. При этом космогонические идеи представлены не как более или менее остроумные догадки или наития, а как результат систематизации и обработки фактов. Рассказ о проблемах, встающих перед учеными, сопровождается несложными математическими расчетами, которые делают изложение более понятным и убедительным.

Подробно изложив историю и суть гипотезы О. Ю. Шмидта, В. А. Бронштэн, к сожалению, лишь вскользь упоминает другие современные космогонические идеи. В частности, гипотезе Ф. Хойла посвящена одна лишь фраза, тогда как, по мнению известного советского астрофизика И. С. Шкловского, «эта гипотеза самая перспективная из всех, распространенных в наше время». Не рассказано о сравнительно недавно открытой нестационарности звездных объектов (космические катастрофы) — явлении очень интересном, заставляющем корректировать ряд прежних гипотез о происхождении солнц и планет (на это настойчиво указывает академик В. А. Амбарцумян). И еще: в книге почти ничего не сказано о химии космоса (сравнительном составе звезд и планет, происхождении и эволюции химических элементов и т. д.). Однако таких очевидных упущений немного. В сравнительно небольшой по объему книге В. А. Бронштэн сообщает множество сведений о строении и динамике солнечной системы, о знаменитых марсианских «каналах», о загадочной облачной Венере. Рассказывая о «столет-

ней войне» сторонников метеоритного и вулканического происхождения лунных кратеров, В. А. Бронштэн излагает собственную (совместно с К. П. Станюковичем) гипотезу, которая как бы примиряет два враждующих мнения: лунные кратеры могли возникнуть при ударах метеоритов и последующей, стимулированной этими ударами вулканической деятельности.

В научно-популярном аспекте книга почти безупречна. Ошибки и неточности редки (их трудно избежать в популярном исследовании, охватывающем обширную область знаний). Например, Бюффону приписывается мнение о том, что Земля образовалась «по крайней мере много миллионов лет назад». В действительности у Бюффона фигурирует «огромная длительность в 75000 лет». Слишком категоричным представляется вывод: «Радиоактивный распад — вот основной источник внутреннего тепла Земли». Небезупречны и некоторые другие фразы автора: «Никто никогда не видел не только бога...» (по канонам почти всех религий бог «безвиден», вездесущ и т. д.), «Сам процесс образования планет представляется как нагромождение такой цепи обстоятельств, что отсюда — один шаг до признания участия в этом процессе некоего «высшего разума» (но проявление «высшего разума» теологи склонны видеть скорее в закономерностях космоса, нежели в случайностях)...

В книге даны определения теории, гипотезы и фантазии, помогающие читателю выяснить особенности научного познания.

Следовало бы, пожалуй, упомянуть и об основе всякой науки — эмпирическом обобщении фактов. «Эмпирическое обобщение, — указывал академик В. И. Вернадский, — опирается на факты, индуктивным путем собранные, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученного вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отношении эмпирическое обобщение не отличается от научно установленного факта: их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересует, а противоречие с ними составляет научное открытие... Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для ее построения».

Итак, в гипотезе, естественно, содержится значительная доля фантазии. Для соз-

дания любой гипотезы требуется умение фантазировать. Умение это надо воспитывать — особенно у школьников и студентов. Вот почему может показаться излишне резкой отповедь любителям «гипотезировать»: «Совершенно бесплодны и бесполезны «доморожденные» гипотезы любителей и дилетантов». Это заключение В. А. Бронштэна предваряется еще более суровыми словами редактора книги, известного советского физика К. П. Станюковича: «...сотни дилетантов почему-то считают себя вправе сочинять гипотезы о строении Вселенной, об элементарных частицах, о происхождении солнечной системы... И не только сочиняют, но еще требуют (подчас весьма настойчиво) их опубликования». Можно понять негодование ученых, которых осаждают графоманы, пытающиеся всеми средствами «протолкнуть» свои подчас безграмотные, бредовые идеи. Но ведь среди любителей есть и люди ненавязчивые и самокритичные, бескорыстные в своей любви к науке или даже готовящие себя к научным исследованиям. Кстати сказать, научно-популярные произведения в значительной мере рассчитаны именно на эту категорию читателей.

И все-таки гипотезомания не так уж безобидна. Тысячи рабочих часов затрачивают ученые самых разных специальностей на ответы гипотезоманам, на опровержение их малограмотных идей. Гипотезоманию поощряют и претензии отдельных философов (и не только философов) решать судьбу научных теорий или даже целых наук в угоду своим домыслам, «общим соображениям» и т. п. Это, пожалуй, худшее, опаснейшее проявление воинствующего дилетантизма, нанесшее в недавнем прошлом жестокие удары по нашей науке и практике.

Самое действенное средство против гипотезомании — просвещение, воспитание ува-

жения к науке, широкие и свободные от предвзятости научные дискуссии. Чем больше будет научно-популярных книг, подобных рецензируемой, тем меньше останется охотников за легкой славой на трудной, тернистой стезе науки. К сожалению, тираж подобных книг обычно сравнительно скромен и проходят такие книги незаметно. В то же время подчас весьма сомнительные гипотезы воспаляют воображение журналистов и редакторов и распространяются в изданиях, тираж которых исчисляется шестизначными цифрами. Такое несоответствие научной значимости идеи и ее популяризации (В. А. Бронштэн подробно анализирует сущность и судьбу «гипотезы» А. П. Казанцева о происхождении тунгусского метеорита) особенно печально сказывается на умах школьников, принимающих подобные спекулятивные идеи за чистую монету. Тем более это относится к нашим школьникам, воспитываемым в духе глубокого доверия к общественной печати.

У нашего школьного воспитания есть недостаток, открывающий путь для «гипотезомании». Авторы школьных учебников и учителя часто преподносят научные гипотезы и теории как нечто завершенное, общепринятое, бесспорное. Подобная стерилизация «учебной науки» в сочетании с неизбежным в учебниках упрощением делает особенно привлекательными для школьника «смелые» и яркие фантастические гипотезы.

Надо учить в первую очередь научному методу познания, научному мышлению — умению сомневаться, критически осмысливать идеи свои и чужие. Этому и учит читателя книга В. А. Бронштэна, в чем, пожалуй, и состоит одно из главных ее достоинств.

Р. БАЛАНДИН.



ИЗ РЕДАКЦИИ ОНН ОИ ПСОУЧГБЪ

В октябрьской книжке «Нового мира» за 1967 год под заглавием «Побег из колчаковской тюрьмы» были напечатаны «Биография и приключения Бартова Александра Степановича, родившегося в 1884 году 12 августа в бывшей д. Бартово...».

В своих воспоминаниях А. С. Бартов рассказывает о том, как солдатом царской армии в 1917 году очутился в Петрограде, был в числе встречавших В. И. Ленина на площади Финляндского вокзала; как, будучи демобилизованным, стал в родных местах председателем земотдела, был арестован и увезен отступавшими колчаковцами на барже, превращенной в тюрьму; как бежал с этой баржи, бросившись через борт, и как, после всех злоключений и мук в скитаниях нагишом по неизвестной местности, был одет, накормлен и укрыт жителями до прихода Красной Армии.

В нынешнем году А. С. Бартов был в числе почетных гостей в Тюмени на праздновании пятидесятой годовщины освобождения области от колчаковцев, совпавшем с его восьмидесятипятилетием. Об этом он и сообщает в своем письме.

Как и «Биография...», письмо публикуется с сохранением особенностей его стилистики, внесены лишь самые необходимые поправки в тексте.

Дорогая редакция!

Приношу вам сердечную благодарность в том, что благодаря вашей заботе была в журнале «Новый мир» моя биография.

8 августа с. г. было в Тюмени торжество 50 лет освобождения от колчаковских банд.

И меня нашли в том журнале... и приглашали на юбилейные торжества.

Всего с этой баржи в живых осталось нас шесть человек.

Нам было оказано очень большое гостеприимство. Дороги вперед и обратно оплатили и даже суточные, питание пять дней в главной гостинице было бесплатное.

На катере ездили на то место по реке Туре, где было наше восстание. Там стоит, хотя деревянный, памятник.

На катере были корреспондент ТАСС и корреспондент Свердловской киностудии, так что будет киножурнал.

На торжестве мы были приглашены в президиум, нам поднесли букеты цветов. В комнатах, где мы находились, тоже были букеты цветов. Среди приглашенных были многие, которые освобождали Тюмень, были два генерала.

После торжественного вечера пригласили нас всех на обед.

Это из той деревни Матуши, где было восстание, был мужчина — нацмен, который дал мне штаны, он в прошлый год помер (а его жена еще жива, я с ней сфотографировался). Этот мужчина хоронил наших, которые погибли при побеге, всех трупов было тридцать шесть. Из шести человек, которые приехали на торжество, только трое вышли тогда на берег, а трое были освобождены в Томске. Они ехали до Томска 45 дней, из 1200 человек доехало до Томска всего 170, остальные умерли на барже или были расстреляны и брошены в реку. В д. Матушах я был теперь двое суток. В клубе, бывшей мечети, нашло народу до отказа — все хотели посмотреть на восьмидесятипятилетнего бывшего колчаковского узника. Я выступил, сколько мог. Аплодисментам не было конца. Кстати, там нашелся фотограф, юноша лет семнадцати. И там в мечети было несколько

букетов из живых цветов. И так мое пребывание в Тюмени было очень радостным и трогательным до слез. Я пережил такие минуты за восемьдесят пять лет впервые и незабываемо 12 августа. Я в той деревне отметил свое восьмидесятипятилетие.

В хорошем настроении хозяйка дома, учительница, хозяин, рыбак, угостили хорошей свежей рыбой, а я московской.

Сердцем и душой приношу вам такую благодарность, сказать не в силах. Я не видел такой чести и радости и больше ее не увижу до гроба.

С искренним почтением, известный вам

Бартов А. С.

30.VIII.69 г.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА. Грамши. «Молодая гвардия». М. 1968. 190 стр.

«Без наставлений Грамши наше развитие было бы более трудным, более мучительным, более медленным. Грамши вел и ведет нас вперед не только своей мыслью, но и примером всей своей жизни...» (Тольятти).

Книга А. Голембы знакомит нас с биографией этого выдающегося марксиста-ленинца, основателя Итальянской коммунистической партии. Детство в бедной многодетной семье в захолустном местечке Гиларце, в Сардинии; гимназия, лицей, Туринский университет, революционная борьба и трагическая смерть в сорокашестилетнем возрасте после десяти с лишним лет тюремных страданий.

Туринскому периоду в жизни Антонио Грамши отведено в книге особое место. Здесь в университете были заложены основы его энциклопедического образования, и здесь же, в Турине, он, по выражению Тольятти, пошел на выучку к молодому революционному пролетариату. Несмотря на то, что научные занятия увлекали Грамши и он подавал большие надежды в области языкознания, после окончания университета он целиком отдается революционной борьбе. Наибольший размах пропагандистская, публицистическая деятельность Грамши приобрела в «Ордине Нуово», печатном органе, который Грамши основал вместе с группой своих единомышленников. По приведенным в книге воспоминаниям, редакторский кабинет в «Ордине Нуово» стал руководящим центром пролетарского итальянского движения. Через «Ордине Нуово» Грамши организовал и возглавил движение фабрично-заводских советов, которые, по его идее, развившись и приняв на себя новые функции, должны были стать органами пролетарской власти и взять в свои руки техническое руководство производством.

Освещен в книге и период фашистской диктатуры в Италии. Читатель найдет здесь и анализ исторических предпосылок, которые привели фашизм к власти, и картину фашистского террора, и портрет Бенито Муссолини. Четко показана руководящая роль Грамши в антифашистском движении.

Использованные автором воспоминания соратников Грамши и его письма обогащают наше представление о Грамши-человеке.

В письмах ярко проявляется его юмор, способность к тонкому психологическому анализу, к образному мышлению, и за всем этим угадывается нежная, легко ранимая душа.

Книга А. Голембы дает читателю довольно отчетливое представление о Грамши — теоретике и стратеге итальянского рабочего движения. Жаль, однако, что недостаточно конкретно показана та идейная атмосфера, в которой формировалось философское мировоззрение Грамши. В первую очередь это касается философско-эстетических взглядов Бенедетто Кроче, который в свое время оказывал сильное влияние на молодого Грамши и которого он впоследствии подверг серьезной марксистской критике. На наш взгляд, автору следовало бы чаще представлять слово своему герою. Так, например, критикуя итальянскую социалистическую партию, автор не обратился к той меткой и выразительной характеристике ее противоречий, которую дал Грамши.

Не совсем удачно использованы и знаменитые «Тюремные тетради» Грамши. В погоне за популяризацией автор иногда упрощает и обесцвечивает некоторые его высказывания. Следовало бы шире использовать наследие Грамши в области эстетики.

Небезупречен язык книги, особенно первых ее глав. Здесь встречаются фразы и отдельные слова, не соответствующие ни излагаемому материалу, ни общему стилю повествования. Например: «Антонио любил паннетоне (сладкие хлебцы.—Е. Г.) и еще нежнее любил свою маму Беппину».

Интерес к жизни и деятельности великого итальянского революционера заметно возрос у нас в последние годы. Книга А. Голембы — новое свидетельство этого интереса и попытка хотя бы отчасти его удовлетворить.

Е. Городецкая.

★

АЛЕКСАНДР ДРАКОХРУСТ. И нет конца тревогам. Стихи. «Беларусь». Минск. 1969. 70 стр.

Не так уж часто слагаются стихи об армии мирных лет. Озарения подвига поэзия, как видно, предпочитает регламентированным часам службы. Но есть все-таки связь между минутами взлета и этими часами;

давняя ратная истина — путь к подвигу начинается на учебном плацу — и в атомном веке не списана в тираж. Надо уловить, постичь, почувствовать эту связь — и тогда открывается поэзия тренировочных переходов, ночных полетов, занятий, «максимально приближенных к боевой обстановке».

Новый сборник Александра Дракохруста, как и предыдущие, об армии — той, что, когда-то откатившись до Волги, дошла до Берлина, и той, что сегодня поглощена своим размеренным уставным бытом. Для поэта это не две армии — одна. Ему важен не водораздел, а слияние, связь. «Бесстрашные цветы» на учебном стрельбище «привыкли, как фронтовики, ко всем косоприцельным и кинжальным». Связь прихотлива, многосложна, подчас драматична; солдатка, двадцать лет тшечно ждавшая мужа, видит молодых веселых бойцов, слышит обращенное к ней: «мамаша»...

Всего сильнее эта связь — в чувстве зависимости живых от погибших. Это чувство горькое. Но не только. Оно способно дать силы, приумножить волю.

Держись, держись, окопный побратим! —
Ведь мы с тобой давно привыкли к риску.

На каждом шагу миной взрывается память, и мирная дорога снова и снова преобразается в дорогу войны. Тихое, привычное, успокаивающее — обманчиво. В нем таятся давние грозы и, быть может, грядущие.

Гром —
и капля падает первая
Оглушительно,
как снаряд.

Судя по рецензируемому сборнику, у поэта есть любимый, вечно манящий край — Дальний Восток. Но таежные тропы Арсеньева, старые замки неотвратно ведут к тому, что стало жизнью, памятью, поэзией. Да и сам Дальний Восток — не экзотика, а настороженная приграничная реальность.

Образный строй большинства стихов продиктован фронтовым, армейским укладом, природа часто словно бы увидена наметанным глазом офицера с наблюдательного пункта. Разумеется, это не всегда обогащает строки, иногда это чреватое повторами, однообразием. Однако тут нет оснований упрекать автора в бедности средств и возможностей. Скорее здесь другое — сосредоточенность на одном, призвание, ставшее второй натурой. А. Дракохруст не только воспевает армию — он в ней слушит, она заполняет его дни и ночи. Называя сборник «И нет конца тревогам», он говорит и об армии и о себе. Его стихи всегда тревожны — не наигранно, а по сути своей тревожны. Так он живет и пишет — один из поэтов, рожденных войной, сформированных послевоенными годами.

В. К.



КУЛЬТУРА ЧУВСТВ. Сборник статей. «Искусство». М. 1968. 256 стр.

Хотя с каждым годом растет число людей, получивших не только среднее, но и высшее образование, уровень их специальных знаний зачастую оказывается значительно выше их духовной культуры. Наблюдаемое несоответствие имеет у нас иные, чем в буржуазном обществе, причины. Тем не менее оно налицо, и чтобы его преодолеть, необходимо прежде всего разносторонне и объективно его исследовать.

Этой теме посвящен сборник «Культура чувств» (составление и общая редакция В. Толстых). Статьи для него написали двенадцать авторов, в числе которых философы и писатели, кинорежиссер и балерина, искусствовед и художник, архитектор и педагог. Каждый из них, естественно, оттеняет те стороны проблемы, которые ему ближе по характеру деятельности, по кругу интересов и размышлений.

Об «отставании» культуры чувств от освоения научных и технических знаний говорят, по сути дела, все авторы сборника. «В наше время образованный человек не в диковинку, но культурный — встречается реже», — говорит артист балета Лев Голованов. «Духовное воспитание у нас в заgone», — утверждает драматург В. Розов. Низкая эмоциональная культура расценивается авторами сборника не только как личная беда того или иного человека, но как серьезная общественная проблема.

Статья философа Э. Ильенкова «Почему мне это не нравится» — одна из самых интересных в сборнике. Основу ее составляет памфлет, озаглавленный «Тайна черного ящика. Философско-кибернетический кошмар». Э. Ильенков полемизирует с некоторыми учеными, утверждающими, что возможно создание машины «сверхчеловек», превосходящей по своим аналитическим и синтезирующим возможностям не только отдельного человека, но даже общество в целом. Мысль о создании такого сверхчеловека неизбежно ведет к обожествлению техники, которое ничуть не лучше любой другой религии. «Машина, — пишет автор, — как бы она совершенна ни была, не вывезет. Не избавит она нас от необходимости думать над проклятыми вопросами. Ибо вопрос об отношении человека и машины как был, так и остается лишь инносказательной постановкой вопроса об отношении человека к человеку».

Оригинальна по форме статья К. Канавой, представляющая собой переписку Страстей с Мордастями, то есть благородных, добрых страстей с дурными. В одном из первых писем Страсти излагают своего рода «типологию» Мордастей. Существуют, например, мордасти «научные». Это «неумение вести диалог, искать истину в споре, неуважение точки зрения оппонентов». История гонений генетиков в биологии показывает, что от игнорирования научных принципов ведения полемики к «битью по мордасам» — один шаг. Или, ска-

жем, мордасти «издательские»: «...автор написал одно, а из печати выходит другое, более или менее «измордованное» Приводится пример редакторской правки, стерилизующей мысль автора настолько, что критика превращается едва ли не в комплимент.

В спор между Страстями и Мордастями вовлекаются разборы произведений литературы, театра и кино. «Добрая сила искусства состоит в пробуждении и облагораживании страстей, оно должно и говорить о страсти и быть страстным», — пишет К. Канаева. Однако автор не ставит вопроса о причинах живучести дурных страстей, ханжества, воинствующей тупости, пошлости, всего того, что совокупно именуется мешанством. Между тем, не ответив на этот главный вопрос, довольно трудно выяснить и реальные возможности искусства как средства преодоления бездуховности. Думается во всяком случае, что излишний оптимизм тут ничуть не полезен. Как бы ни была велика идейная, эстетическая, эстетическая сила подлинного искусства, оно одно не в состоянии преодолеть «отставание» духовной культуры, если развитию этой культуры не способствуют все факторы жизни общества.

Органически вошел в книгу монтаж выдержек из произведений покойного Михаила Михайловича Пришвина, его размышлений о связи и отношениях человека и природы, о ее роли в формировании его внутреннего мира. Размышления писателя и кинорежиссера Василия Шукшина о том, кого можно назвать интеллигентным человеком, о выходе из деревни, его встрече с городом, о возможных путях его приобщения к настоящей городской культуре затрагивают мало освещенную область, основательно продуманную автором на собственном жизненном опыте. Наблюдения педагога М. Ценципера над детьми школьного возраста, разбор ошибок родителей и учителей показывают вред формализма, «педагогической бутафории», невнимания к чувствам ребенка.

В. Толстых справедливо пишет, что предлагаемая книга — лишь попытка начать обсуждение большой темы, живой разговор о подмеченных фактах, который настоятельно требует более фундаментального продолжения.

Ф. Левин.

★

НИК. СМІРНОВ. Золотой Плес. «Советский писатель». М. 1969. 392 стр.

Николай Павлович Смирнов принадлежит к старшему поколению советских писателей — он начал свою журналистскую и писательскую деятельность еще в первые годы советской власти. Почти в любой его вещи неизменно присутствует родная природа, которая для него не просто фон того или иного события, а как бы источник действия, нравственная основа человеческого бытия «Любовь к природе кажется мне столь же

органической, как, например, любовь к красоте», — говорит Н. Смирнов.

В книге «Золотой Плес» собраны произведения, наиболее характерные для писателя. Здесь короткие новеллы: «Грачи прилетели», «Ледоход», «Подснежники», «Дуб распускается», «Аромат лета», «Стрижи унесли лето», «Рыжик полз...» и другие. В них — точное описание жизни природы: неизменной смены времен года, вечного обновления земли, каждый раз поражающего красками и запахами, дающего силы для нового круга работ на земле.

Раздел «Из детских и юношеских воспоминаний» состоит как бы из отдельных фрагментов — сохраненных памятью, дорогих сердцу картин прошлого, не связанных единым сюжетом или даже биографической канвой, но объединенных лирической интонацией рассказчика, с грустью и нежностью вспоминающего подробности быта большой и дружной семьи, в которой он рос, воссоздающего атмосферу среды, окружавшей его, проникновенно рисующего пейзажи родного Плеса на Волге.

Немало страниц в этих воспоминаниях, да и во всей книге отдано охоте, к которой писатель страстно привязан с детских лет. Написанные живо, с подкупающей непосредственностью, они заставляют читателя в полной мере пережить вместе с рассказчиком и охотничий азарт, и чувство наслаждения природой.

С воспоминаниями детства тесно связана и повесть «Золотой Плес», открывающая сборник. Она посвящена художнику Левитану, точнее, тому периоду его жизни, когда он, находясь в Плесе, в течение всего лишь одного лета и осени создал двадцать три картины, и среди них свои лучшие полотна: «Золотой Плес», «Тихая обитель», «Осень. Мельница».

«Я с совершенно необъяснимым чувством смотрел на дом, где обитали Исаак Ильич и Софья Петровна, — с любопытством оглядывал и стоявший неподалеку огромный купеческий особняк под красной крышей, увекоченный на картине «Золотой Плес»... И страстно хотелось рассказать обо всем этом, воскресить в слове те далекие-далекие годы», — пишет автор в кратком вступлении к повести. Взяв за основу то, что он слышал о Левитане с детства (родные Н. П. Смирнова были знакомы с художником), автор дополнил эти устные рассказы мемуарными источниками, а в некоторых местах, как говорит он, «и материалом воображения».

Читатель найдет в повести много интересных подробностей из жизни Левитана, познакомится с людьми, с которыми он был дружен, с обстановкой и хозяевами дома, где он жил, и, несомненно, почувствует, почему именно в Плесе художник создал свои лучшие полотна. «Ваше описание Плеса меня восхитило, и я очень жалею, что я там не бывала. Я только побывала в нем, читая Вашу вещь», — пишет В. Н. Бунина (жена И. А. Бунина) в письме к Н. Смирнову (ранее «Золотой Плес» печаталась в сборни-

ке «Охотничьи просторы», в котором Бунина и прочла эту повесть,— см. «Новый мир», № 3, 1969).

Возможно, что исследователи жизни и творчества Левитана найдут в повести Н. Смирнова какие-то упущения, возможно, что они не согласятся с трактовкой образа художника или, к примеру, его взаимоотношений с Софьей Петровной Кувшинниковой. Но писатель вправе дать свое, выношенное им понимание образа. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но нельзя не отдать должного тому, с какой увлеченностью и вместе с тем с каким тактом воссоздает этот образ Н. Смирнов.

Заключают сборник мемуарные записи. Это воспоминания уже более поздних лет, в которых Н. Смирнов рассказывает о своих друзьях — М. Пришвине, А. Новикове-Прибое, В. Правдухине, П. Ширяеве — писателях, как и он, любивших природу, охоту, посвятивших им многие годы своей жизни и многие страницы своих книг.

Г. Койранская.

★

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ КАЛЛИНИКОВИЧЕ ГУДЗИИ. Издательство Московского университета. 1968. 182 стр.

Николай Каллинович за кафедрой был не очень похож на человека за кафедрой — как будто не замечая ее, он непринужденно, с горячим воодушевлением и в то же время с редкой артистичностью читал лекцию; даже не «читал», а рассказывал как о чем-то очень личном — и о чем! — о памятниках древнерусской литературы. Говорил о любимом своем огнепальном протопопе Аввакуме, о многотрудном, подвижническом его житии, о том, как возвращался он с протопопией из сибирской ссылки (шли «голые и томные»), как протопопица, упав, спросила: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» — и как он сказал: «Марковна, до самая смерти!» — и она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

А какое веселье наступало в аудитории, когда Н. К. Гудзий разбирал историю о российском дворянине Фроле Скобееве, о плутовских его проделках, отважных авантюрах и хитростях, коими он добивается совершенно «роскошной» жизни.

Гудзий не только создал университетский курс древнерусской литературы. Его учебник, сохраняя всю, так сказать, поучительность пособия, читается как живая, увлекательная книга. Не случайно автор остался равнодушным к вульгарному социологизму с его абстракциями и к формалистическим изысканиям.

Читая книгу воспоминаний о Н. К. Гудзии, мы проследиваем весь путь ученого — занятия в киевском семинарии академика В. Н. Перетца, преподавание в Московском институте истории, философии и литературы, работа над рукописями Льва Толстого. Всюду для него главное — радость непосред-

ственного восприятия художественного произведения. «Трудно передать захватывающее, радостное волнение,— признавался Н. К. Гудзий,— которое испытывал тот, перед кем воочию раскрывался процесс писательской работы гения, его творческая лаборатория, впечатлевшаяся в громадном количестве черновых вариантов, в ряде предварительных редакций, содержащих драгоценные, впервые обнаруженные тексты...»

Авторы воспоминаний — друзья и коллеги ученого, литературоведы разных поколений: маститые исследователи В. В. Виноградов, В. П. Адрианова-Перетц, М. П. Алексеев, П. Г. Богатырев, представители следующего поколения — Б. И. Бурсов, А. Н. Соколов, Д. С. Липхачев, В. Д. Кузьмина и более молодые А. Н. Робинсон, Л. Д. Опульская и многие другие.

Возникает образ знатока литературы, всегда прямого, откровенного в своих суждениях, вспыльчивого, отходчивого, доброго и как-то удивительно, изящно порядочного. Он был окружен любовью самых разных людей. В чем тут секрет? Наверное, в том, что Н. К. Гудзий, будучи человеком науки, остался человеком науки.

З. Паперный.

★

О. В. ОРЛИК. Россия и французская революция 1830 года. «Мысль». М. 1968. 214 стр.

Революция 1830 года во Франции разразилась в период интенсивной умственной работы в среде передового русского общества. Отклики на эту революцию позволяют нам яснее представить себе ход развития общественной мысли в России того времени, точнее определить общественную позицию того или иного из русских прогрессивных деятелей, лучше понять его взгляды как на народ, так и на революцию, ее цели и средства.

Правда, помимо России передовой и прогрессивной, была еще Россия консервативная и монархическая. Этой другой России вторичное свержение Бурбонов во Франции причинило немало забот и волнений. А последовавшее за ним восстание в Варшаве, проходившее под лозунгом «За нашу и вашу свободу!», привело Николая I уже в форменное бешенство. Солдатский штык, этот решающий аргумент, к которому «жандарм Европы» и до и после 1830 года не раз прибегал в спорах с демократическими движениями как у себя в стране, так и за границей, восстановил в Польше «порядок». Но достать этим штыком восставшую Францию (поначалу Николай намеревался послать туда экспедиционный корпус) царь уже не смог.

К сожалению, книга О. В. Орлик не дает нам полной возможности судить о том, как же откликнулась на известия о восстании во Франции Россия передовая, демократическая. Правда, в книге сообщается немало интересных фактов. Автор, например, на-

зывает М. А. Кологривова, М. М. Кирьякова и С. Д. Полторацкого — русских людей, с оружием в руках сражавшихся с войсками короля на улицах Парижа, излагает их биографии. Используя донесения жандармских агентов, исследовательница пытается установить и то, каким был отклик в России на события 1830 года среди широких народных масс. Однако она не берет на себя труд определить реальный вес среди народной молвы об этих событиях голосов тех людей, которые одобрительно оценивали свержение Бурбонов. Без такого уточнения картина народных откликов на революцию тридцатого года упрощается.

То же самое можно сказать и об откликах мыслящих людей России. «Более всего интересует меня в настоящий момент то, что происходит в Европе», — цитирует О. В. Орлик слова А. С. Пушкина из его письма к Е. М. Хитрово, подтверждающие, по ее мнению, революционность поэта, который «горячо приветствовал июльские революционные события, радовался победе французского народа». Однако если мы до конца прочтем процитированное письмо, то окажется, что отношение поэта к французской революции 1830 года было куда более сложным, нежели горячие приветствия и радость. Без учета этой реальной сложности (что относится, конечно, не только к Пушкину), без уяснения ее невозможно сколько-нибудь конкретно и полно представить себе характер влияния революции во Франции на передовую русскую мысль.

Г. Макаров.

★

М. Я. ГРИНБЛАТ. Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. «Наука и техника». Минск. 1968. 288 стр.

Монография М. Я. Гринבלата посвящена происхождению белорусской народности, формированию особенностей ее национальной культуры и быта. Кроме данных истории и археологии, автор привлек материалы этнографии, фольклористики, топонимики, антропониими, лингвистики и других научных дисциплин. Многосторонний, комплексный характер исследования придает особую ценность этой книге, в работе над которой автор пользовался и результатами собственных полевых исследований, этнографическими и языковыми наблюдениями в Белоруссии на протяжении почти сорока лет.

По убеждению автора, такой комплексный подход является «наиболее приемлемым в исследовании этногенетических проблем», где требуется привлечение самого широкого круга источников. Книга рассматривает существенные стороны народной культуры, материальной и духовной, в ее наиболее характерных чертах и национальном своеобразии: орудия земледелия, типы жилищ, народная одежда, поэтическое творчество, религиозные верования, обычаи, аграрная и семейная обрядность.

Выявление особенностей, раскрытие самобытности каждой культуры, как убедительно показывает автор, вовсе не означает умаления взаимодействий и взаимозависимости культур соседних и нередко даже географически отдаленных народов, а тем более не подражает проповедь исключительности, особого пути развития отдельных наций. «Своим происхождением, а также истоками и формированием национальных особенностей своей культуры, так и собственной историей в целом, глубоко интересуется каждый народ», — пишет автор, и с этим замечанием нельзя не согласиться. Ученые союзных республик с успехом работают сейчас над этой проблематикой (сошлемся, в частности, на последнюю монографию украинского историка М. Ю. Брайчевского «Происхождение Руси». Киев, 1968).

Книга М. Я. Гринבלата является по своему характеру специальным исследованием, что объясняет несколько суховатый стиль изложения. Вместе с тем читатель давно ждет и более популярных книг о происхождении отдельных наций, об особенностях их психического склада, об их вкладе в мировую культуру, о своеобразии их жизни сегодня.

В. Война.

★

Г. БОЯДЖИЕВ. Итальянские тетради. «Искусство». М. 1968. 168 стр.

«Я летел в Италию на открытие выставки «Советский театр...» Такой вполне обычной, чтобы не сказать привычной, фразой начинает Г. Бояджиев свои «Итальянские тетради». Однако, открыв эту небольшую книжечку, с тактом и вкусом оформленную молодым художником М. Аникстом, вы уже не захотите выпустить ее из рук, дочитаете до конца. Вы почувствуете искреннее увлечение автора, который три десятка лет говорит об Италии на своих лекциях, знает об Италии очень много и наконец увидел эту страну сам, своими глазами.

Те, кому знакомо имя Г. Бояджиева — видного театроведа и театрального критика, — могли бы предположить, что «Итальянские тетради» — книга об итальянском театре. Но собственно театру посвящена лишь последняя, третья тетрадь. В ней автор рассказывает о встречах с итальянскими актерами и театральными деятелями, об острых и по существу очень глубоких спорах о современном театральном искусстве — его целях, принципах, формах, — которые вспыхивали на прочитанных им лекциях о советском театре. Автор очень подробно и увлекательно описывает виденные им в Италии спектакли, как всегда демонстрируя свое умение дать и читателю возможность «увидеть» то, что происходило на сцене. (Особенно это проявилось в описании «Мистеро» — композиции из старинных лауд на тему рождения и воскресения Христа, поставленной О. Коста.) В двух же первых тетрадях Г. Бояджиев делится впе-

чатлениями, мыслями и переживаниями, рожденными у него во время поездки по четырем итальянским городам — Милану, Венеции, Флоренции, Риму, — говорит о великих творениях итальянских мастеров, которые довелось ему посмотреть; и тем не менее книга пронизана театром в том непровержимом смысле, который был заключен в надписи на «Глобусе»: «Весь мир театр». Ибо в представших перед ним шедеврах живописи, скульптуры, архитектуры Г. Бояджиев увидел не просто запечатленный во времени момент, а разворачивающуюся во всех своих противоречиях и страстях, в кипении и борьбе, живую человеческую трагедию.

«...Плита нависла над черным зиянием могилы, сюда сейчас будет опущено тело Христа. Его держат на весу апостолы — Никодим и Иоанн, а богоматерь, Мария Магдалина и Мария — сестра Лазаря — оплакивают умершего. Все они — в горестном наклоне к Христу, только одна взметнула руки, будто глубокое сдержанное чувство всех вырвалось в ее отчаянном жесте». Разве это не сцена из какой-то ледящей душу драмы? Нет, это рассказ о картине Караваджо «Положение во гроб». Рассказ же о Сикстинской капелле Г. Бояджиев так и озаглавил: «Мистерия Сикстинской капеллы». Страницы эти раскрывают поистине вселенскую борьбу страстей, столкновение судеб, запечатленный на фресках трагический «театр мира». Перед читателем проходит целый сонм участников этого действия: пророки, сивиллы, апостолы, бог-творец, бог-сын, богоматерь, грешники, праведники — каждый в своей неповторимой индивидуальности, со своими страхами и надеждами. И как в драмах, написанных в любые далекие времена, оживают на театре талантом режиссера и актеров идеи и настроения, созвучные сидящим в зале зрителям, так и Г. Бояджиев, говоря о произведениях мастеров Возрождения, приближает их к нам, обнажая в них смутные, тревогу, сомнения и упования человека нашего времени. При этом он вовсе не «олитературирует» произведения пространственных искусств, оставляя нас в мире пластики и красок.

Наверное, можно еще многое сказать об этой небольшой книжечке. Но лучше посоветовать прочитать «Итальянские тетради».

Л. Кафанова.

★

Г. Г. ПОСПЕЛОВ. Русский портретный рисунок начала XIX века. «Искусство». М. 1967. 216 стр.

Некоторые из рисунков, о которых идет речь в рецензируемой книге, хорошо известны и уже давно стали классикой русского изобразительного творчества. Таковы в первую очередь многие листы, созданные О. А. Кипренским в первой половине 1810-х годов, — портреты П. А. Оленина, Н. В. Кочубей, А. Р. Томилова, А. П. Бакунина,

портреты, убеждающие своей простотой и естественностью, доставляющие радость встречи и с высоко поэтическим искусством, и с внутренним благородством изображенных людей. Перечисленные произведения — лишь совсем малая часть создававшихся в ту пору портретных рисунков. Цель, которую поставил перед собой и успешно решил Г. Г. Поспелов, — исследовать эту обширную область русского искусства начала XIX века в ее исторической закономерности и очень весомой самостоятельной художественной значимости.

Автор совершенно прав, подчеркивая на первых же страницах книги, что изучаемая им портретная галерея дает подлинную картину нравственной жизни русского общества в период антинаполеоновских войн и возникновения декабристского движения. И прав он не только в самой констатации указанного факта. Не менее существено здесь и сам принцип подхода к искусству — определить его роль в правдивом выражении свободолобных идеалов русской интеллигенции той эпохи. Этот аспект искусствоведческого (а отнюдь не только социально-исторического) анализа, непрестанно вовлекающий читателя в атмосферу духовной жизни России начала XIX века, выявлен в книге последовательно и наглядно.

Магериал, о котором идет речь в книге, достаточно многолик и разнообразен. Здесь и портретные рисунки таких художников, как А. Г. Венецианов и В. А. Тропинин, для которых подобные работы были не очень значительными эпизодами их творческой биографии. Специальная глава посвящена графическим листам А. О. Орловского, кстати сказать, предстоящим в интересной и своеобразной трактовке. В поле зрения автора, естественно, попадает и популярнейший в свое время крупный мастер акварельного портрета П. Ф. Соколов. Но главное внимание Г. Г. Поспелов уделяет Кипренскому, справедливо усматривая в его рисунках высшее достижение русской портретной графики начала XIX века. Тонкие наблюдения над графическим языком художника и его манерой использовать поверхность белого листа бумаги становятся надежной объективной основой образного анализа, нисколько не формализуя его, но и не давая превратиться в отвлеченные рассуждения «по поводу».

По самой своей жанровой специфике и бытовому предназначению карандашные портреты Кипренского камерны, интимны. Это, однако, не мешало быть им в то же время искусством большого нравственного смысла и высоких гражданских чувств. Г. Г. Поспелов хорошо показывает, что духовное общение с моделью открывало художнику человеческое достоинство как простое и естественное свойство лучших людей эпохи. Модели Кипренского далеки от какого-либо желания демонстрировать свои личные добродетели. В них нет и тени позерства. Их внутренняя свобода и независимость, душевная открытость и смелость — обычные, нормальные качества человека,

искренне стремящегося служить передовым общественным идеалам.

Подготавливая этот труд к печати, издательство хорошо почувствовало и художественное своеобразие материала, и отвечающий ему характер авторского текста, где спокойное академичное повествование местами приобретает лирическую окраску. Автор, редактор и оформитель книги сделали многое, чтобы бережно донести до читателя и зрителя поэтическое обаяние и высокую простоту одной из интереснейших эпох в истории русской культуры.

Г. Стернин.

★

БАРТОЛОМЕ ДЕ ЛАС КАСАС. История Индий. Серия «Литературные памятники». Перевод с испанского. Издание подготовили В. Л. Афанасьев, З. И. Плавский, Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов. «Наука». Л. 1968. 470 стр.

Три года назад по инициативе Всемирного Совета Мира отмечалось четырехсотлетие со дня смерти Бартоломе де Лас Касаса (1474—1566) — одного из первых обличителей колониального гнета, мужественного борца за свободу и равноправие туземного населения Латинской Америки. Юбилею Лас Касаса был посвящен сборник статей, подготовленный Институтом этнографии АН СССР¹. Ныне вышел в свет первый русский перевод знаменитого трактата Лас Касаса «История Индий», повествующего о захвате и покорении испанскими конкистадорами Центральной и Южной Америки.

Трактат Лас Касаса, написанный в начале XVI столетия, пролежал в архиве почти триста пятьдесят лет и напечатан впервые лишь в 1875 году. Однако его основные факты и мысли вошли в другой труд Лас Касаса — «Краткое донесение о разорении Индий», к сожалению, в настоящем издании опущенный.

Споры о Лас Касасе длятся более четырех столетий. Это споры о том, чем же была конкиста. Был ли это лишь бранный подвиг, в котором проявились лучшие стороны национального характера испанцев — отвага, самопожертвование, благородство, дух товарищества? Или же конкиста — это история злодейств и жестокостей, история гибели миллионов туземцев и уничтожения их древней и высокой культуры? Ответ на эти далеко не риторические вопросы и призван дать отчет очевидца, участника и историка конкисты Бартоломе де Лас Касаса. И его ответ ясен и точен, он вполне согласуется с объективными данными науки. Исследования П. Шоню, Л. Б. Симпсона, В. Бора и других показали, что если до завоевания земли испанской Америки были плотно заселены, на них проживало восемьдесят — сто миллионов человек, то к началу XIX века

население этих земель сократилось более чем вдесятеро. Таков был демографический игог испанского владычества.

Горячий противник колониального гнета, Лас Касас был борцом за равенство людей всех рас. По словам основателя перуанской компартии Х. К. Мариатеги, в истории Латинской Америки не было такого деятельного и вдохновенного защитника туземцев, как автор «Истории Индий». Вот почему юбилей Лас Касаса и издание его трудов получают в наши дни столь большой резонанс.

Перевод выполнен квалифицированно, с должным уважением к своеобразному, неровному, образному языку автора. Хотя его делали несколько переводчиков (Д. П. Прицкер, А. М. Косс, З. И. Плавский, Р. А. Заубер), удалось достигнуть единства стиля. Но если вступительная статья В. Л. Афанасьева и послесловие З. И. Плавского и Г. В. Степанова написаны на высоком научном уровне, то этого, к сожалению, нельзя сказать о комментариях и указателях, в которых немало погрешностей и ошибок.

Так, в примечании 24 (стр. 450) францисканцы спутаны с доминиканцами, инквизиторами были последние. Комментатор заставил Маккавеев вести войну с римлянами, что, конечно, является новостью — они воевали против сирийского царя Антиоха, задолго до римского завоевания Сирии. Есть ошибки и в указателях. На странице 457 сообщается, что Карл V отрекся от престола в 1558 году вместо 1555 и 1556 годов, когда он отрекся вначале от престола Священной Римской империи, а затем и от испанского трона. Испанского короля Филиппа I Красивого указатель заставил умереть на год раньше, в 1505 году вместо 1506 (стр. 461).

Несмотря на эти и некоторые другие промахи и погрешности, издание трактата Лас Касаса, выдающегося литературного памятника XVI века, который и до сих пор не утратил значения боевого публицистического манифеста против колониализма и расизма, — радостное событие.

М. Коган.

★

ЮЛ. МЕДВЕДЕВ. Безмолвный фронт. «Советская Россия». М. 1969. 190 стр.

Как далеко зашла борьба двух крупнейших представителей живого мира — людей и насекомых, как опасна она для той и другой стороны, каковы разногласия по поводу средств ее ведения? — так определяется тема книги в предисловии.

Да, война ведется не на жизнь, а на смерть. Беспоощадная и бесконечная.

Причина ее? Чем больше людей на земле, тем больше надо еды, тем выше должны быть урожаи. Но чем выше они, тем сильнее размножаются и насекомые — расхитители урожая.

Это война за хлеб насущный. На ее безмолвном фронте используются все возмож-

¹ Бартоломе де Лас Касас. История завоевания Америки «Наука». М. 1966.

ные могучие смертоносные средства. «Малейшее ослабление обороны,—справедливо замечает автор,—и насекомые оставляют людей голодными». Ведь непрощенные сотрапезники отнимают от людей пятую часть урожая. В одних только амбарах вредители поргят и расхищают столько зерна, сколько хватило бы на пропитание 300 миллионов людей в течение года.

Незаметно, неслышно скапливаются полчища вредящих жучков, клещей, гусениц. За миллионы лет на них обрушивались все беды мира: нашествия ледников, извержения вулканов, землетрясения, образования гор, но они выдерживали все тяжкие испытания, которые не всегда выдерживал и человек. Не удивительно, что самые сильные яды не могли справиться с этим лютым врагом человечества.

Швейцарец Пауль Мюллер открыл универсальное средство против насекомых-вредителей, за что был удостоен Нобелевской премии. Химический залп ДДТ, казалось, сулил спасение человечеству—гибель его летающим, скачущим, ползущим врагам. Производство ДДТ росло год от года. Однако чуда не произошло.

Против прославленного препарата отовсюду стали поступать обвинительные материалы. ДДТ оказался не безвредным для человека, для птиц же и мелких зверьков просто губительным ядом. А за короткий срок препарат так распространился по земному шару, что присутствие его стали обнаруживать в рыбах, плавающих в высокогорных озерах, и даже у пингинов в Антарктиде, вовсе не причастных к преступлениям бабочки совки и жучка кузьки.

Так выигранное было сражение заставило победителей серьезно призадуматься.

Автор книги посвящает читателя в «тайны» безмолвного фронта, протянувшегося по всей нашей планете, описывает подробности введущих боев, рисует перспективы новых сражений.

Юл. Медведев, искусный популяризатор, умело ведет по запутанным лабиринтам науки, рассказывает просто о сложном, остро заинтересовывает проблемами, ждущими своего разрешения.

Важно и другое—книга «Безмолвный фронт» привлекает большой любовью к живой природе, убедительно призывает к бережному к ней отношению. И в этом ее несомненная ценность.

А. Таланов.



ДЖ. М. БАРРИ. Питер Пэн и Венди. Повесть-сказка. Перевод с английского Н. Демуровой. Стихи в переводе Д. Орловской. «Детская литература». М. 1988. 160 стр.

Просто поразительно, что ни мы, ни дети наши до сих пор не знали этой книжки. Ведь в Лондоне даже памятник поставлен ее главному герою—«вечному мальчишку» Питеру Пэну. А мы встречаемся с ней лишь

через пятьдесят семь лет после ее появления...

Жанр книги—повесть-сказка—указан вполне точно. Открывается она как веселая бытовая повесть. Мы знакомимся с небогатым английским семейством, где в качестве няньки не без успеха подвизается собака Нэна, с мистером Дарлингом, который «был очень умный и все понимал про акции и облигации», с его миловидной супругой, наконец, с его детьми Венди, Джоном и Майклом. Зато уж когда в этот дом прилетает Питер Пэн, начинается самая настоящая сказка...

Несмотря на странноватый вид («платье ему заменяли высохшие листья и березовый сок»), Питер довольно типичный герой зарубежных детских книг—прежде всего потому, что он упорно не хочет быть взрослым. Он убежал из дому «в тот самый день, когда родился», услышав, как родители рассуждают о том, кем он станет, когда вырастет. На острове Небывалом он возглавил компанию своих сверстников, тоже живущих—и неплохо живущих!—без родителей. Все эти мальчишки когда-то выпали из колясок, и никто не вспомнил о них и не потребовал их обратно. «Я помню про свою маму только одно,—вспоминает мальчишка по прозвищу Шутник.—Она часто говорила папе: «Ах, если бы у меня был собственный счет в банке!»

Слышать такое каждый день для ребенка нестерпимо. А в семье Дарлингов, между прочим, отец тоже день и ночь ведет подсчеты—хватит ли денег, чтобы прокормить детей? И что ж удивительного, что все трое юных Дарлингов легко поддались на уговоры Питера и улетели с ним!

Остров Небывалый—воплощение детской мечты. Тут есть нормально все, что может заинтересовать нормального, живого мальчишку: пираты, индейцы, феи, русалки, дикие звери... Для взрослых описание всего этого пародийно, дети же, вовлеченные в бурный водоворот событий, вряд ли это уловят, ибо для них каждое из этих событий ценно само по себе.

Питер Пэн, немотря на присущие его возрасту заносчивость и хвастливость, по настоящему благороден. Он никогда не падает на слабого, никогда не ударит противника, если тот уронил шпагу или находится в невыгодной позиции. Перед нами маленький рыцарь, если хотите—Дон Кихот, симпатии которого всегда на стороне обиженных и слабых. И читавшись в эту тоненькую книжечку, понимаешь, что автор ее не так-то прост, задача его отнюдь не исчерпывается увеселением юного читателя, хотя, казалось бы, Дж. М. Барри во всем идет ему навстречу.

Внешне благополучная концовка сказки по сути своей трагична. Вернувшаяся домой Венди выросла, и теперь «Питер для нее был все равно что пыль на дне старой коробки, в которой когда-то лежали ее игрушки». Да и летать она разучилась... Питеру горько видеть это, но стать боль-

шим он не может, да и не хочет. И тогда он улетает на остров Небывалый с дочерью Венди, Джейн. А потом, когда повзрослела и она, стал улетать уже с ее дочерью.

Эту сказку, которая, бесспорно, украсит круг чтения нашего юного читателя, прекрасно перевела Н. Демурова. Жаль только, что она выпущена тиражом всего в пятьдесят тысяч. Неужели издательство сомневалось в успехе этой книги у ребят?!

С. Сивоконь.

★

ВОПРОСЫ КИНОИСКУССТВА. Ежегодный историко-теоретический сборник. Вып. 11. «Наука». М. 1968. 230 стр.

Одиннадцатый выпуск «Вопросов киноискусства» отражает, как мне кажется, эволюцию, которая происходит с этим историко-теоретическим ежегодным изданием. По характеру, по самому принципу подачи материала, даже по своему оформлению (мягкая обложка, иллюстрированная кадрами из кинофильмов, множество иллюстраций в самом тексте, компактный, меньший, чем прежде, объем) оно становится все более интересным для широкого читателя.

Книга издана Академией наук совместно с Институтом истории искусств, однако в ее облике нет ничего от сухого академизма. Но это только одна сторона эволюции. В той степени, в какой заметно возрастающее стремление к доходчивости и живости изложения, в той же степени ощущим возрастающий интерес авторов и к точности анализа. Ни одна из работ в книге не сбивается на обзор и перечисление, хотя, ка-

залось бы, С. Фрейлих в статье о пятидесятилетнем пути советского кино и Ч. Айтматов в статье о развитии кинематографа в наших республиках за последние годы легко могли бы пойти по этому пути.

При всем разнообразии тем и предметов исследования, между статьями сборника есть связь и преемственность, есть объединяющая их общность взглядов. Именно поэтому в разных статьях встречаешься с единым и достаточно определенным отношением, скажем, к процессам, происходившим в киноискусстве первых послевоенных лет.

В каждой статье сборника, даже если она и посвящена уже известным вопросам, есть не только осмысление, но и переосмысление каких-то привычных категорий. Так, С. Юткевич справедливо советует обратить внимание на то, на что раньше обращать внимание считалось не обязательным — на довольно тонкие подчас методы воздействия на зрителя, какие использует буржуазное кино. А Ч. Айтматов не менее справедливо говорит о псевдонациональном характере многих «песенно-танцевальных» индийских картин, которые в недавнее время считались чуть ли не эталоном воплощения национальной темы. Может быть, наиболее неожиданной, хотя бы по самому материалу, покажется статья Н. Зоркой о Вере Холодной. При несомненной эмоциональности этой работы, в основе своей она отличается необходимой научной беспристрастностью. Здесь нет ни холодного отрицания, ни восторженного преклонения, а выяснено то подлинное место, какое занимала первая и последняя в России кинозвезда.

Л. Рошаль.



ПАМЯТИ К. И. ЧУКОВСКОГО

28 октября 1969 года умер выдающийся советский писатель лауреат Ленинской премии Корней Иванович Чуковский. Редакционная коллегия и весь коллектив «Нового мира» глубоко скорбят по случаю смерти старейшины советских литераторов, многолетнего друга и сотрудника нашего журнала.

* * *

Скончался Корней Иванович Чуковский, знаменитый критик, историк литературы, переводчик, поэт, один из самых своеобразных и значительных деятелей нашей культуры.

Сейчас, в первые дни после его кончины, писать о нем очень трудно, почти невозможно. Это — дело будущего, когда войдет в силу закон расстояния, когда совокупность знаний и впечатлений дополнит новыми страницами историю нашей литературы. Сейчас душой владеет не память, а чувство, и это чувство стремится к попытке постижения, а не познания.

Каков он был, этот писатель, известность которого напоминает своей сказочностью его же собственные сказки? Как создавался вокруг него целый мир духовных ценностей, бесконечно разнообразный, оригинальный, привлечший внимание великого множества людей — от школьников до известнейших ученых? Как достиг он единства, нерасторжимо соединившего в нем и писателя и человека?

Смысл его жизни заключался в его поглощающей преданности литературе. С юных лет он пылко и навсегда влюбился в нее, и эта любовь нашла в его творчестве выражение, удивительное по своей разносторонности. Нечто подвижническое было в неустанности, непрерывности его работы. Но самому ему, конечно, показалась бы высокопарной такая оценка.

Литература была для Корнея Ивановича не деянием, а делом, воздухом, которым он дышал, повседневностью — единственной возможностью существования. Он писал медленно, обдумывая каждое слово, без конца возвращаясь к написанному, сопоставляя бесчисленные варианты. И вместе с тем он трудился весело, легко, с чувством счастья.

Литература была для него делом веселым, счастливым, легким — не потому, что легко написать хорошую книгу, а потому, что без легкости, без чувства счастья он не мог бы ее написать.

Вот почему он навсегда запомнится всем, кто знал его, человеком общительным, остроумным, громогласным собеседником, любящим и понимающим шутку. Но он был еще и воплощением одушевленной памяти, которая с величайшей свободой рисовала не беглые наброски, а целые картины.

Разговаривая, рассказывая, слушая собеседника (а Корней Иванович был восприимчивым, внимательным слушателем), он никогда не забывал о времени. Как все большие писатели, он знал, что такое «мерт-

вая хватка работы», прикованность к письменному столу, без которой ничего значительного написать невозможно.

Не только друзья или знакомые знали его раз и навсегда установленный распорядок рабочего дня. Можно было бы прибавить — и ночи. Он ложился рано и в шестом часу утра уже сидел за столом.

Он жил в шуме молодых голосов. Десятки писателей, среди которых можно назвать тех, кто нынче составляет стеновой хребет советской литературы, обратились впервые именно к нему — и он протянул им свою огромную добрую руку.

Доброта его была требовательная, беспощадная, отражавшая кристаллически-строгий, безошибочный вкус. Случалось и мне приносить ему рукописи, которые переписывались с первой до последней страницы после его пяти-шести почти на ходу оброненных слов.

В борьбе за чистоту и богатство русского языка он пускал в ход весь свой грозный арсенал — и насмешку, и яд сарказма, и едкую иронию критика, поседевшего в литературных боях. Каждые два-три года появлялись его статьи, направленные против канцеляризмов, пошлости, безграмотности, самодвольной тупости мешанства, — и это продолжалось десятилетиями, всю жизнь. И с такой же неутомимой последовательностью он приветствовал в литературе все новое, оригинальное, внушающее надежду.

Могло показаться, что, работая над мемуарами, историко-литературными сочинениями, переводами, он жил как бы в некотором отдалении от нашей литературной жизни. Это было бы ошибочное впечатление. Он всегда держал руку на пульсе литературы. И, может быть, самое поразительное заключалось в том, что, живо интересуясь нашими делами, дискуссиями, литературной борьбой, сегодняшним днем, он никогда не забывал об историческом значении русской литературы. Он был единственным среди нас обладателем необъятного опыта, и его мудрые всепонимающие глаза смотрели пронизательно-зорко.

Понимание современности, живое, беспрестанное участие в ней удивительным образом соединялось в нем с чувством «вечности» нашей литературы, идущей своим особым путем почти десять столетий.

Разумеется, чтобы понять этот путь, надо было стать знатоком и мировой литературы — и он стал им.

Широко известно, что Корней Иванович был, одним из основателей нашей детской поэзии, что без «Крокодила», «Тараканища», «Мойдодыра» ее вообразить невозможно. Это бесценное дело удалось ему потому, что он первый с высоты своего огромного роста наклонился к ребенку и прислушался к его речи, проник в сущность его интересов. Он понял, что дети должны как бы сами писать для себя, потому что книги взрослых, написанные вне этого открытия, проносятся мимо детского сознания. В нем самом навсегда осталось что-то детское — вот почему ему удалось заговорить с детьми на их собственном языке. Он как на сцене разыгрывал перед детьми их же собственный мир. Вот почему его детские книги не стареют — и никогда не состарятся. Через детство проходят все, а детство и книги Корнея Ивановича нерастают.

Мы расстались с удивительным человеком. Мы привыкли к нему за десятилетия. Это была крупно прожитая жизнь. Он словно задался целью опровергнуть пушкинский упрек: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Избаловав нас своей жизнерадостностью, отзывчивостью, всегдашностью, он унес с собой неопределимо важную часть нашей жизни.

В. Каверин.



ОТ РЕДАКЦИИ

Когда номер журнала был уже сверстан, стало известно о присуждении Государственных премий СССР 1969 года большой группе деятелей науки и техники, литературы, искусства, архитектуры. Редакция «Нового мира» особенно рада поздравить украинского поэта Андрея Самойловича Малышко, удостоенного Государственной премии СССР за цикл стихов «Дорога под яворами» из одноименной книги стихов, и члена-корреспондента Академии наук СССР Дмитрия Сергеевича Лихачева — за книгу «Поэтика древнерусской литературы», выдвинутую на соискание премии редколлекцией «Нового мира».



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Бухвальд. Это Америка... Сборник фельетонов. 319 стр. Цена 90 к.

И. Бычко. Познание и свобода. 215 стр. Цена 23 к.

Р. Мавлотов. Ислам. 159 стр. Цена 22 к.
У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. Изд. 2-е. 478 стр. Цена 1 р. 29 к.

Р. Хигерович. Младший брат. Документальная повесть о Д. И. Ульянове. 175 стр. Цена 20 к.

«МЫСЛЬ»

В. И. Ленин. Об атеизме, религии и церкви (Сборник статей, писем и других материалов). 317 стр. Цена 84 к.

Анонимные атеистические трактаты. Переводы. 335 стр. Цена 1 р. 53 к.

В. Асмус. Платон. 277 стр. Цена 24 к.
А. Горфункель. Томмазо Кампанелла. 247 стр. Цена 25 к.

А. Левин. Социально-экономические проблемы развития спроса населения в СССР. 253 стр. Цена 82 к.

Моделирование психической деятельности. Коллектив авторов. 384 стр. Цена 1 р. 49 к.

Рабочий класс и развитие сельского хозяйства СССР. Сборник статей. 247 стр. Цена 82 к.

«ЭКОНОМИКА»

Т. Дурманова. Роль потребительской кооперации в развитии товарного обмена между городом и деревней. 77 стр. Цена 24 к.

Г. Пописанов. Современный этап экономического сотрудничества НРВ и СССР. Совершенно новый перевод с болгарского. 111 стр. Цена 18 к.

А. Рубин. Организация управления промышленностью в СССР (1917—1967 гг.). 236 стр. Цена 87 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Искандер. Летний лес. Стихи. 102 стр. Цена 32 к.

Н. Капиева. Жизнь, прожитая набепо. О творчестве Э. Капиева. 280 стр. Цена 86 к.

Ю. Куранов. Облачный ветер. Повесть. 216 стр. Цена 47 к.

А. Макаров. Поэзия. Идущие вослед. Полемика. Сборник статей. Вступительная статья К. Симонова. 927 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Медников. Открытый счет. Роман. 295 стр. Цена 59 к.

Л. Мигдалова. Прикосновение. Стихи. 134 стр. Цена 31 к.

А. Минчовский. Мы еще встретимся. Три повести. 440 стр. Цена 83 к.

И. Мятлев. Стихотворения — Сенсации и замечания госпожи Курдюковой. Вступительная статья и составление Н. Коварского («Библиотека поэта»). 647 стр. Цена 1 р. 32 к.

М. Никулин. Звезды нужны живым. Повести и рассказы. 655 стр. Цена 1 р. 17 к.

М. Рауд. Золотая осень. Книга стихов. Перевод с эстонского. 111 стр. Цена 38 к.

В. Рошка. Встреча с любовью. Рассказы. Перевод с молдавского К. Ковальджи. 351 стр. Цена 43 к.

Ю. Сбитнев. Своя земля и в горсти мила. Повести. 326 стр. Цена 31 к.

Стихотворная сатира первой русской революции (1905—1907). Вступительная статья А. Нинова («Библиотека поэта»). 719 стр. Цена 1 р. 51 к.

Н. Тихонов. Двойная радуга. Новеллы-воспоминания. 485 стр. Цена 1 р. 1 к.

Д. Хренков. Александр Гитович. Литературный портрет. 176 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Американские поэты. Переводы М. Зенкевича. 285 стр. Цена 92 к.

Вчера и сегодня. Сборник рассказов писателей ГДР. Перевод с немецкого. 350 стр. Цена 93 к.

Габровские шутки. Сборник. Перевод с болгарского С. Озеровой. Вступительное слово Г. Гулиа. 61 стр. Цена 1 р.

К. Занднер. Ночь без милости. Роман. Перевод с немецкого. 143 стр. Цена 37 к.

Д. Зигмонте. Дети и деревья тянутся к солнцу. Роман. Перевод с латышского. Предисловие А. Бочарова. 296 стр. Цена 65 к.

Г. Клейст. Драмы. Новеллы. Перевод с немецкого. Вступительная статья Р. Самарина. 623 стр. Цена 1 р. 55 к.

Медресе любви. Персидская народная поэзия. Переводы Н. Гребнева. 175 стр. Цена 15 к.

Ш. Петефи. Любовь и свобода. Перевод с венгерского. Составление А. Кун. Предисловие А. Гидаша. 27 стр. Цена 2 р.

Н. Погодин. Человек с ружьем. — Кремлевские куранты. — Третья патетическая. Трилогия. 207 стр. Цена 76 к.

Поэзия и дружба. Сборник стихов советских и болгарских поэтов. Составители Л. Озеров и Х. Радевский. 101 стр. Цена 70 к.

Пою мое Отечество. Избранные произведения советской поэзии. В 2-х томах. Вступительная статья А. Суркова. Том 1, 567 стр., цена 2 р. 11 к.; том 2, 479 стр., цена 1 р. 89 к.

М. Пришвин. Незабудки. Составление, подготовка текста и вступительная статья В. Пришвиной. 303 стр. Цена 60 к.

М. Пуйманова. Игра с огнем. Роман. Перевод с чешского Н. Аросовой и В. Чешихиной. Последействие Н. Бернштейн. 287 стр. Цена 98 к.

Л. Разгон. В. Ян. Критико-биографический очерк. 183 стр. Цена 39 к.

А. Рыбанов. Повести. Вступительная статья Е. Стариковой. 623 стр. Цена 1 р. 30 к.

Б. Слуцкий. Память. Стихи. 1944—1968. Вступительная статья Л. Лазарева. 287 стр. Цена 77 к.

М. Слонимский. Собрание сочинений. В 4-х томах. Предисловие Д. Гранина. Том I. Рассказы. 1921—1926. — Лавровы. Роман. 504 стр. Цена 1 р. 5 к.

Ю. Смолич. Они не прошли. Роман. Перевод с украинского. 368 стр. Цена 86 к.

Л. Татьяничева. Стихотворения. 253 стр. Цена 63 к.
А. Фадеев. Собрание сочинений. В 7-ми томах. Вступительная статья В. Озерова. Том I. Разгром — Повести и рассказы. 351 стр. Цена 1 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Э. Витторини. Люди и нелюди. Роман. Перевод с итальянского. Послесловие Ц. Кин. 207 стр. Цена 51 к.
М. Дудин. Время. Стихотворения. 1964—1967. 255 стр. Цена 80 к.
С. Крутилин. Подснежники. Роман. 431 стр. Цена 78 к.
Д. Кьюсан. Солнце — это еще не все. Роман. Перевод с английского. 304 стр. Цена 1 р. 8 к.
А. Леви. Записки Серого Волка. Предисловие М. Шагинян. 239 стр. Цена 32 к.
М. Слуцнис. Адамово яблоко. Роман. Перевод с литовского. 350 стр. Цена 67 к.

«ИСКУССТВО»

Ж. Ануй. Пьесы. В 2-х томах. Том 2 Колomba. Жаворонок. Орнифль, или Сквозной ветерок. Томас Бенет. Подвал. Перевод с французского. Послесловие Л. Зониной. 632 стр. Цена 1 р. 78 к.
Ж. Беккер. Высказывания. Фильмы. Составление и вступительная статья И. Соловьевой. 208 стр. Цена 77 к.
Л. Зорин. Декабристы. Трагедия 62 стр. Цена 19 к.
А. Свободин. Народовольцы. Драматическая хроника в 2-х ч. 70 стр. Цена 23 к.
Сказна в творчестве русских художников. Альбом. Автор текста и составитель Н. Шанина. 135 стр. Цена 1 р. 90 к.
Э. Смирнова. По берегам Онежского озера («Дороги к прекрасному»). 135 стр. Цена 40 к.
А. Тиц. По окраинным землям Владимирским (Вязники, Мстера, Гороховец) («Дороги к прекрасному»). 143 стр. Цена 47 к.

«НАУКА»

В. Алексеев. Происхождение народов Восточной Европы. 324 стр. Цена 1 р. 97 к.
С. Волн. Карл Маркс и русские общественные деятели. 216 стр. Цена 76 к.

М. К. Ганди. Моя жизнь. Перевод с английского. 612 стр. Цена 2 р. 51 к.
Б. Кафенгауз. Древний Псков. Очерки по истории феодальной республики. 135 стр. Цена 45 к.
А. Черных. В. И. Ленин — историк пролетарской революции в России. 333 стр. Цена 1 р. 73 к.
М. Шейнман. Христианский социализм. История и идеология. 317 стр. Цена 96 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Астафьев. Повести. 528 стр. Цена 1 р. 10 к.
М. Львов. Раздумья в пути. Стихи. 144 стр. Цена 50 к.
Ю. Трифонов. Пепка с большим козырьком. Рассказы. 272 стр. Цена 63 к.
Э. Шим. Ваня песенки поет. Рассказы и повесть. 272 стр. Цена 62 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Н. Воронов. Женское счастье. Повести и рассказы. Пермь. Книжное издательство. 215 стр. Цена 52 к.
В. Касаткина. Поэтическое мировоззрение Ф. Тютчева. Саратов. Издательство Саратовского университета. 256 стр. Цена 62 к.
С. Кожевников. Мы собирали янтарные зерна. Повесть об одном путешествии. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 173 стр. Цена 22 к.
А. Куприн. О литературе. Составитель Ф. Кулешов. Минск. Издательство Белорусского университета. 455 стр. Цена 1 р. 9 к.
Л. Латьева. Цветные сны. Повесть. Кишинев «Карта молдовеняскэ». 126 стр. Цена 14 к.
И. Машбиц-Веров. Русский символизм и путь Александра Блока. Куйбышев. Книжное издательство. 349 стр. Цена 1 р.
Очерки истории советской литературы Карелии. Ответственные редакторы Э. Карху и Н. Надъярных. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 375 стр. Цена 1 р. 68 к.
Г. Троепольский. В камышах. Повесть. Рассказы. Воронеж. Центральное-Черноземное книжное издательство. 412 стр. Цена 84 к.
Ф. Шаляпин. Повести о жизни. Страницы из моей жизни. Маска и душа. Пермь. Книжное издательство. 371 стр. Цена 2 р. 14 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 28/VIII 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/XI 1969 г.
 Формат бумаги 70×108^{1/8}. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 10837. Зак. 3000. Тираж 126.900 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., д. 5.

Цена 70 коп.

70636

НОВОБЫИ
МИР

НОВОБЫИ МИР

1969

11



1969

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 11

Ноябрь, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Н. ТИХАНОВ — Побег (Рассказ ветерана)	3
ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ — Клад, стихотворение. Перевел с грузинского Юрий Ряшенцев	20
ИВАН ДРАЧ — Два стихотворения. Перевели с украинского В. Павлинов, М. Винецкая	21
НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ — Неделя как неделя, повесть	23
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — На родине, стихи	56
МАРА ГРИЕЗАНЕ — Три стихотворения	59
НИКОЛАЙ ВОРОНОВ — Голубиная охота, повесть	61
ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС — Птица на изгороди, рассказ. Перевела с исландского В. Морозова. Предисловие Геннадия Фиша	89
РОБЕР ДЕСНОС — Два стихотворения. Перевел с французского М. Кудинов	96
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — Потусторонние встречи (Из мюнхенской тетради). Окончание. Послесловие Г. Н. Александрова	99

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ИВАН ЩЕДРОВ — Партизанскими тропами Лаоса	145
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

М. ВОЛЬКЕНШТЕЙН — Наука людей	178
-------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. КРАСНОЩЕКОВА — Под чистыми звездами правды и человечности...	204
А. ВОЛОДИН — Раскольников и Каракозов (К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь»)	212

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
С. Бабенешева. По страницам журнала «Север». — Ф. Искандер. «В прибое женщина из бронзы...» — А. Дементьев. Символ веры поэта. — Д. Николаев. Внимание: шаржеграммы! — И. Варламова. Шесть метров счастья. — З. Паперный. Литература и «ведение». — Э. Кузьмина. Великая проверка.	232
<i>Политика и наука</i>	
Л. Зак. Борец революции, строитель культуры. — Д. Фурман. Путь к исторической правде. — С. Троицкий. На заре отечественной дипломатии. — С. Владимиров. Решающий довод. — Р. Баландин. Человечество как часть планеты.	258
КОРОТКО О КНИГАХ — А. П. Ненароков. Восточный фронт. — В. Ледков. Метели ложатся у ног. Л. Лапцуй. Рассказы. — А. В. Бурдуков. В старой и новой Монголии. В. Е. Ларичев. Азия далекая и таинственная. — Юлий Берзин. Конец девятого полка. — А. Д. Урсул. Теория информации и религия. — Василий Каменский. Путь энтузиаста. — А. Р. Лурья. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста) — Лубок. Русские народные картинки XVII—XVIII вв. — Л. Д. Белькинд. Андре-Мари Ампер (1775—1836). — Манана Андроникова. Сколько лет кино? — И. И. Шафрановский. А. Г. Вернер, знаменитый минералог и геолог. 1749—1817. — А. Пузиков Золя. — М. Черненко. Фернандель. — А. Иойрыш. Атом и право. — Дж. Оринг. Погода на планетах. — Волдемар Бааль. Голоса.	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

Н. ТИХАНОВ

★

ПОБЕГ

(Рассказ ветерана)

I

Человек я не шибко ученый. Образование получил только в начальной школе. Но учился я хорошо, дали мне похвальный лист. Он у меня и сейчас висит на стенке под стеклом. И хотелось мне поучиться дальше: учительница долго уговаривала мать пустить меня по ученой части. Но куда там! Некому хозяйство вести! Отец умер еще до моего рождения, старший брат ушел на военную службу, а средний — что был, что не был — льнул все больше к городу: как чуть, так бежит туда на заработки: плотничал он помалу.

Пришла весна. И решил я, по совету матери, засеять яровой клин. Гнедуха была старая, сил у меня с гульки нос — мальчишка же был. Пахать пришлось самодельной старой отцовской сохой. Хлебнули мы с матерью в ту пору горя довольно.

Когда вернулся с военной службы старший брат, мы немного вздохнули. Он выучился на службе сапожному делу и начал дома подрабатывать... В ину пору и я ему чем-нибудь помогал. Купили мы новый плуг и новую борону: за плугом ходить куда легче, чем за сохой. Брат и говорит матери: «Женить надо Мишу!» А мне еще неохота — только, как брат вернулся, увидел свет. Да и молод еще был. Но в 1913 году меня поженили. Прожил год с молодухой, родился мальчик, и тут грянула беда: в августе месяце началась империалистическая. Брат ушел на войну первым, потом очередь дошла и до меня. Но в эту первую мировую войну мало пришлось мне быть на фронте. Я туда попал после свержения царя, когда начались там митинги, братания, восстания. Министры-капиталисты да Керенский заставляют нас воевать, а мы не хотим. Ввели было смертную казнь на фронте. Тогда товарищ Ленин с рабочими и солдатами такого задали трезвона всем кадетам и соглашателям, что и власть их кончилась.

А как только установилась власть Советов, товарищ Ленин первым делом издал Декрет о мире. Мы с другом Максимом Камбаровым винтовку и вещевой мешок на плечо — и на поезд. Приезжаем домой, а тут гражданская война уже по всей форме началась. Новые порядки — «вся земля крестьянам», «фабрики, заводы рабочим» — не понравились старым хозяевам. Совсем, можно сказать, им это не по носу табак. И начали оружием решать спор, кому управлять Россией. Правду надо сказать, нас с Максимом призвали в рабоче-крестьянскую армию опять по мобилизации, и документы нам такие выдали. Но пошли мы в нашу

армию уже с охотой. Мы знали, на что идем. Мы будем защищать завоевания Великого Октября. И присягу на то принимали.

Не повезло нам на первых порах с Максимом в бою с оренбургскими казаками. Счастье переменчиво.

Первого мая 1919 года наш 1-й интернациональный и 2-й рабочий полки выступили из Самары на Уральский фронт. До Бузулука ехали поездом, а дальше пути нам нет. Двинулись походным порядком на Уральск. Идем рассыпным строем, впереди пехота.

Недалеко за Бузулуком казачьи разъезды — там их граница проходит. Ударили орудия, и началась тут большая битва. Упорно казаки стояли у границы, никак не хотели пропускать нас. Но и наши полки бились, не щадя жизни...

Проходит неделя, вторая, а мы все бьемся. Впереди нас казаки, с флангов — казаки, с тылу — казаки. Вот война какая! Много пало и казаков, много и наших — упорная была война.

Вот наступило 20 мая. Нашего командира роты сильно поранило разрывной, его эвакуировали в лазарет. Командир полка приказал принять роту мне, Михаилу Лапицкому. Получил пополнение — молодые ребяташек из Бузулукского уезда, ну совсем неоперенных. Пошли мы наступать на большую станицу Соболево. Войск казачьих все прибывает и прибывает, и нам было очень даже нелегко выбивать казаков из этой станицы. Двое суток бились мы на открытом месте, а казаки сделали укрепление, вырыли хорошие окопы. Но мы все-таки выполнили свою задачу: на третий день в 12 часов ночи заняли станицу.

Наш полк шел в наступление в первой линии, а рабочий полк в резерве, нам на поддержку. И еще прислали нам на помощь мусульманский батальон, это были татары из Казани, смелые и храбрые бойцы. Вот теперь дело пошло другим порядком! Но после 12 часов ночи на 28-е наш полк перевели в резерв, а рабочий полк пошел дальше на форпост Пономарево. Казаки не остановились в этом форпосте, а отступили дальше километров на двенадцать к форпосту Чувакскому. Рабочий полк остановился в Пономареве, выставил заставы, караулы и всю остальную службу охраны. Но после трехсуточного непрерывного боя утомленные бойцы, на горе наше, заснули...

В это время на рассвете 28 мая ночным налетом казаки ворвались в Пономарево. Артиллеристы наши кинулись было к орудиям, но поздно: казаки вынули замки. Заставы и караулы — кто куда. Началась паника. Наш полк по тревоге встал на боевую готовность. Бойцы рабочего полка, бежавшие из Пономарева, присоединились к нам, но, пока вырвались оттуда, много их погибло в реке.

Это страшная была битва. Казаки бьют из наших же орудий в нас картечью... В это ужасное время подоспел было к нам на помощь мусульманский батальон, но казаки окружили его и изрубили.

Отстаивали мы позиции, как только могли. Но все наше пополнение исчезло, неоперенные разбежались по деревьям. Осталось нас совсем мало. Командира полка сильно ранило и комиссара тоже, и их отправили в тыл. Других командиров кого убило, кого ранило.

К вечеру казаки взяли нас в кольцо. Они били в нас разрывными пулями. Мне в лицо угодили мелкие осколки, но вреда не причинили, только все лицо было в крови. Я сначала было упал, а потом поднялся. Недалеко от меня показался казачий разъезд. Ну, думаю, попал в капкан, Лапицкий! Гляжу — недалеко от меня стоит моей роты комвзвод Камбаров. Это мой друг. Мы с ним и в германскую были вместе, и теперь в беду попали вместе. Наша линия давно отступила. А мы вот не успели...

Кругом лютуют казаки. Забирают наших красноармейцев в плен, рыщут, как волки за овцами. Были у меня полевая сумка и наган. Смотрю я и думаю: «Вот первая моя погибель — в полевой сумке сорок тысяч денег, которые я только что получил и не успел утром раздать бойцам; найдут у меня эти деньги да наган и скажут: «Это командир!» Смотрю на часики свои ручные — приз за стрельбу. Вот и вторая моя погибель. Скажут: «Непременно это командир!» И голову мне напрочь тут же. Раздумывать некогда. Сумку полевую с деньгами и с наганом долой. Я бросил их в реку — не доставайся врагу. А как быть с часами? Достал из кармана нитяной клубочек с иголками, что должно солдату всегда иметь при себе, и стал перематывать нитки на часы. Только успел смотать, подъезжают три казака. Один, видать, старшой, а два — рядовых. Старшой командует и наганом размахивает. Подавай ему деньги — это самое первое, что я от него услышал. Я вынимаю бумажник, который купил в Самаре, хороший такой, в нем у меня лежали четыре тысячи и документы из села Старого Кувака, что я мобилизован.

Говорю старшому: «Господин хорунжий, вы мне, пожалуйста, удостоверение и карточку моей жены оставьте». А он отвечает: «Тебе ничего не надо. Мы вас всех в расход пустим». Ну что возразишь? Ведь я пленник, как бы в мешке у него. Что захочет, то и сделает. Другие два казака просят старшого, чтобы он разрешил снять с нас все, что на нас есть. А сами они были в отрепьях. Старшой разрешил. Те говорят мне и Камбарову: «Снимайте шинель, сапоги, гимнастерки, брюки». Я говорю: «Снимайте сами». Тут прискакали еще трое казаков. У одного сабля наголо и вся в крови. Хотел он и нас зарубить. Но один из них, видимо, поумнее был, хватить рубаку за локоть и начал его стыдить: «Ты, говорит, храбрый в тылу на безоружных, а на передовой все прячешься за других». И вот мы с Максимом нашли неожиданного защитника и остались в живых. Тут казаки начали с нас наше обмундирование снимать. Я вынул клубочек ниток с иголками и держу в руке. Все сняли. А тот казак, который хотел зарубить нас, намеревался снять и нательное белье. Но опять казак поумнее не позволил ему это сделать: «Ты, говорит, готов и шкуру тельную содрать. Ты не казак, а мародер». Вот и белье на нас осталось, и носки на ногах.

И

И погнали казаки нас в одну кучу, где собирали всех пленных. Стоят в этой куче все нагие, все белые, как зимние зайцы. Мы всех знаем, но виду не показываем. Все тут были, кто остался в живых. Как стояли в обороне вместе, так и попали все вместе. Были тут и добровольцы, были и евреи. Из моей роты пятнадцать человек евреев попало сюда, это было наше новое пополнение.

Вот, думаю, как бы кто при допросе не испугался, а то скажут еще, что среди пленных есть и командиры, и другие начальники. Ну да ладно, чему быть, видно, того не миновать...

Поставили казаки нас по четыре человека, гужом. Стали считать. Как раз сто человек. Это от всего-то полка! Все, как один, ободранные. Среди нас стоит один великан. Как был он одет в бою, так и остался одет в плену на удивление всем. Это Саша Борец из Нового Бугуруслана. Его никто не решился раздевать: шинель его всем велика, сапоги велики и все остальное велико и казакам не по росту. Саша был ранен в ягодицу и очень сградил.

Погнали нас в ближайший форпост. Там у них находился командир полка. Сидит он у раскрытого окна, как боярин, и приказывает своему подручному построить пленных в две шеренги. А мы стоим табуном, как загнанные, запаленные лошадки.

Начал нас подручный испытывать: «А ну, командиры, стройте шеренги!» Никто не пошевелинулся, никто не отозвался. Подручный кричит сильнее: «Что молчите, такие-сякие! Аль язык проглотили? Делай, говорю, построение!» Никто — ни слова.

У нас от жары во рту пересохло. Хоть один бы глоток воды глотнуть. Жаркий был этот день, 28 мая. Будем долго его помнить. Стал казачий начальник сам расставлять нас в две шеренги. Доложил полковнику. Вышел полковник к нам и стал нас спрашивать: «Кто коммунисты?» Все молчат. Три раза спросил: «Нет коммунистов?» Второй вопрос: «Кто командиры?» Тоже молчание. Тут мое сердце начало волноваться: может, среди нас есть неверные люди? Расправа у казаков короткая — сразу в расход. Ладно, пока все обошлось.

Но вот полковник, не удовлетворившись нашим молчанием, сам пошел вдоль строя. Пристально и пытливо рассматривает нас... Но где же угадать, кто командир, кто нет? Мы все как только что на свет появились, как ребенки без пеленки...

Полковник начал сам испытывать нас: «Кто евреи? Отвечай!» Вот они все сразу и отвечают, как один: «Мы евреи!»

— Евреи, три шага вперед! Выходи!

Все мои пятнадцать евреев смело вышли вперед. Долго их пытал полковник: скажите, мол, правду, кто здесь ваши начальники, и вас отпустим на свободу, а если не скажете, сейчас же в расход. Вон яма вам уже готова!

И мое сердце снова трепещет, как голубь, только уж не за себя, а за них, за моих славных бойцов: видим все мы по глазам и по голосу их: никто ничего и никогда не скажет!

Долго еще полковник испытывал их: скажите — и вот вам жизнь, вот вам свобода. Больше часу времени прошло. Но никто ничего не сказал. Твердо мои евреи стояли на своем.

Наконец полковник еще раз прошелся вдоль строя, как бы отыскивая еще кого-то. И вот нашел все-таки: был у нас в роте рыжий один красноармеец, и нос подходящий, длинный. Увидя его, полковник рассвирипел. «Ты почему не выходишь из строя?» — гаркнул он. Красноармеец отвечает: «Я русский!» Полковник опять закричал: «Выходи сейчас же в свою еврейскую шайку!» И вот этот действительно русский парень тоже вышел к ним. Увидел полковник мальчика лет четырнадцати и кричит ему: «Ты что, щенок, советской власти захотел? Так вот увидишь на том свете эту поганую власть». Рванул мальчонку за руку и швырнул его в еврейскую группу.

Стало смеркаться. Полковник подал знак, мигом подскочили убийцы-палачи и повели на смерть семнадцать человек, семнадцать наших славных героев. А нас, как скот, загнали во двор. И только мы услышали там треск пулемета и отдельные выстрелы. Все было кончено там, за воротами. Только вот сейчас, сию секунду, там за рабоче-крестьянскую правду, за советскую власть погибли наши братья...

III

Остальных нас, восемьдесят три человека, затискали в маленький вонючий овечий хлевушок. Овчарник до того был мал, что трудно в нем дышать. Во рту пересохло так, что десны и губы потрескались до крови. В голове шумело, вот так бы и повалился на пол. Но падать было некуда, все плотно прижались друг к другу и стояли мертвыми стояками.

Дверь на замке, за дверью стража. Старший караула — казак лет за семьдесят, борода до пояса. Около двери кричат: «Пить хотим! Пить! Дайте воды!..» Старик отвечает: «Подыхайте, красные бандюги! Нет вам воды!»

Вот как пришлось завоевывать власть Советов. Я говорю все это вкратце. А если подробно бы сказать, то всего и не переберешь, что тогда пришлось испытать. Много рубцов осталось на спинах наших от палок и шомполов. Время прошло, все зажило. Все зажило, но не все забылось.

Смена кончилась, заступили новые часовые. Это уже к рассвету. Слышим — речь молодая. Говорят: нужно, мол, пленных-то сосчитать. А старики домой горюются, говорят: не надо считать. Вот список, и все тут. Но молодежь отворила дверь. Старики говорят: «Смотрите, все, как один, тут. Как селедки в бочке». А казачата отвечают: «Селедка, она мертвая. А это ведь живые люди. Зачем, говорят, так тесно держите? Вон же свободный большой сарай». А старый казак — видно, он и раньше был великий душегубец — несет свое: «Эти злыдни хуже скотины, говорит, это нехристи. Пусть подышают — туда им и дорога».

У молодых мы воды попросили. Они мигом два ведра полных принесли и подали нам пять пустых консервных банок: казаки ведь староверы, своей посуды чужим не дают. Дверь отворили настежь, дует на нас свежий утренний ветерок. Пьем мы холодную родниковую воду и передаем банки товарищам. Не знаем, как и благодарить молодых казачат! Как глотнули свежей водички да дохнули воздуха с полей, так опять в глазах посветлело.

Казачата нам говорят: «Сейчас на задах поставили большие котлы и варят вам мясной суп». Ох, как мы все обрадовались! Ведь мы последний раз горячего поели 17 мая, а сегодня уже 29-е. Выпустили нас во двор из собачьего ящика к тому времени, когда суп сварился. Разбили нам в группы по пять человек. Назначили нам своего старшого. Налили нам в банки бульону. И мы сели на землю, начали, обжигаясь, пить этот бульон без хлеба, без ложек. Кашевар порубил мясо на куски и передал нам. А мы эти порции поделили между собой... Есть уже не хотелось. Многих стало тошнить. Это значит — сильно переголодали. Некоторые мясо съели, а мне нейдет. И я держу свой кусочек в руке. Завернуть его не во что. Я попросил банку у казака. И кусочек свой положил в банку. И Камбаров туда же положил. И как раз тут подоспела команда: «Вставай!» Хочешь встать, а ноги не повинуются — отекли: всю ведь ночь на ногах. Но кое-как все-таки поднялись.

Поставили нас опять по четыре человека. И мы думаем, куда же теперь нас поведут? И вдруг подъезжают к нам на лаковом фэтоне какой-то старый генерал с молодой генеральшей. Посмотрели они на нас пытливо и подошли к Саше Борцу. Что-то у него спросили. А тот что-то им ответил. Генерал дал знак конвоирам. И те вывели Сашу из строя. Генерал написал записку и передал Саше. Мы видим, что Сашу освободили. Он помахал нам рукой и пошел куда-то в поле. Куда казаки его погнали, куда послал его генерал, измученного ранами, — так мы об этом толком не узнали. Говорили пленные между собой, будто Саша Борец генеральше понравился. И генерал приказал отправить его в лазарет.

А нас погнали дальше в глубокий тыл. Прошли мы уже верст двадцать пять. Дорога жесткая, избитая, комки да камни. Прямо беда, все ноги обили, ободрали в кровь.

Мясо нам пригодилось в дороге: идем с Максимом и жуем понемножку, и от этого как будто легче.

Пришли в форпост Чувакский. Зашли опять во двор. Сарай большой, навозу навалено горы. Казаки собирают его для поделки кизяков, чтобы печи топить. У них ведь нет леса. Загнали нас в сарай и стали обыскивать. У кого записную книжку найдут или карандаш — все отбирают. Доходит очередь до меня, казак спрашивает, указывая на клу-

бок: «Это что у тебя?» Говорю: «Нитки с иголкой. Порвутся штаны, дыру зашью». Давай, говорит, сюда. А второй казак его перебивает: «Оставь, говорит, а то, на грех, у него что наружу выскочит». И оба засмеялись. Вот, думаю, удача мне какая.

Прилегли мы отдохнуть в сарае, две ночи не спали. Навоз под нами прет и нас греет. А уж дух от него до того приятный.

Ночь переночевали, с утра опять в поход. Гонят нас, куда — не знаем. На пути снова форпост. Останавливаемся на привал возле церкви на площади. Сидим на зеленой лужайке и глядим по сторонам. Что это там такое? Женщины идут толпой и прямо на нас. Чего доброго, уж не бить ли нас за убитых мужей, сыновей собираются? Нет, это они несут на коромыслах полные ведра сепараторного молока, раздают нам хлеб, шаньги, оладьи... Начинают нас кормить. Видно, добрые люди везде есть, и у нас и у них. Хлеба столько принесли, что мы и не поели. Можно бы с собой в дорогу взять. Кто знает, где еще и когда нам придется пообедать? Но нам ведь некуда хлеб положить. И на том спасибо, что досыта наелись.

В этот день мы прошли еще тридцать километров — так нам силы прибавилось после еды.

Солнце садится, день клонится к вечеру. Подходим к большому форпосту. Конвоиры говорят: «Это форпост Ранний. Сейчас мы вас сдадим коменданту. Здесь будете работать».

IV

Пришел комендант, старый хромой казак. Сделал переключку по списку. А у нас, у пленных, фамилии совсем другие, кто какую себе выдумал. Комендант выкликает, а мы отвечаем: «Я! Я!» Пришли новые конвоиры, старые казаки с винтовками, и повели нас к большому двухэтажному дому. Тут будет наша квартира. Привезли нам два фургона пшеничной соломы. «Вот, говорят, вам перины и подушки». А сами смеются. «Таскайте.— говорят старики,— на второй этаж». Мы перетаскали мигом солому и настелили на пол. Помещение большое, наверное здесь была когда-то казарма или тюрьма: окна за железной решеткой. Против дома большое озеро. Говорят, рыбы в нем пропасть. Привезли нам бочку воды — пей, не хочу,— и дали по фунту на человека хлеба. Мы легли спать наверху, а конвойные, шестеро казаков-стариков, расположились внизу. Сбежать никак нельзя, окна за решеткой, а ход во двор только через первый этаж, через охрану.

Наутро день выдался ясный, солнечный.

Июнь месяц на дворе. Опять выдали нам тот же паек хлеба, что и вчера. И воды привезли бочку. Пленные больше отсыпались с дороги, как поросята, в соломе. Прошло три дня. На четвертый утром рано вваливаются к нам гости, старые казаки, потрясают плетками и кричат, как пьяные: «Мишка! Гришка! Ванька! Вставай на работу!» Поднялись зараз все, как один. Комендант выдает нас под расписку казакам и казачкам — по два человека и по одному, кому как надо. Нас с Максимом взяла казачка средних лет и расписку дала в том, что охранять будет пленных сама. А если сбежим, ответ будет самый строгий. Повела она нас в нижнем белье по улице. Все смотрят в окошки на нас — срамота! И нам стыдно. А почему? Мы же ведь пленные, не по своей воле такой вид имеем.

Привела нас казачка к себе. Дом большой, крестовый. Видать, хозяйство крепкое. На дворе мазанка — это летняя кухня. Показывает нам, что надо делать. На заднем дворе огромная куча навозу. «Вот,— говорит хозяйка,— этот навоз раскладываете ровным слоем на пол-ар-

шина, не толще. Будем делать из него кизяки». Дала нам вилы, лопаты. «Работайте, говорит, а я пойду еду готовить».

Долго мы копались в этой куче навоза, аж вспотели. Время уже к обеду подошло. И есть нам захотелось страсть как. Слышим — кличет нас казачка. Руки помыли, богу помолились, садимся за стол. Какой богатый завтрак сготовлен — как на пасху! Каша молочная, каймак, блинцы, яйца... Не поскупилась хозяйка. Уж мы с Максимом тоже постарались за столом, не стеснялись. Теперь можно будет терпеть дня два, а то и три. Хозяйка говорит: «Запрягайте верблюда и поезжайте за водой». Мы говорим: «Никогда с верблюдами не работали, не знаем, как их впрягать». У ней была девка лет пятнадцати. Вот эта девка мигом накинула на верблюда седелку с нашейником, прицепила к уздечке вожжи — и вся недолга.

Я поехал за водой, а Максим остался навоз ровнять. Дали мне черпак и кнут — черен длинный, а хлыст короткий. Время полуденное, самая что ни есть жара. Мошкара и овод донимают, терпенья нет. Заехал я в озеро, налил в бочку воды ведер сорок и тронул вожжой, верблюд тут же повернулся и направился к дому. Начали мы поливать навоз. Чтобы сделать из него податливую массу, воды понадобилось много. Максим лошадьми разминает навоз, а я привожу на верблюде воду, бочку за бочкой...

С последней бочкой получилась смехота. Приехал я на озеро, а жара еще пуще. Загнал я верблюда поглубже, чтобы мне сильно с черпаком не гнущся. А верблюд взял, да и лег в воду — его доняла мошкара. Нет верблюда: пропал; только морда, как кукиш, торчит из воды. Шевелю вожжой — вставай, мол, чего разлегся? А он не встает. Я его ударил по голой боковине. Он только головой мотнул, лежит себе по-прежнему. Вот, думаю, чертова скотина, как его теперь поднять? Не звать же людей на помощь — засмеют. Слезаю с дрожек в воду. Дергаю его за уздечку, вставай, мол, пожалуйста, не срами ты меня. Ухом не ведет, только глазком подмигивает, как бы смеется надо мной. Схватился я тогда за это самое длинное кнутовище с коротким хлыстом да как его этой палкой-то огрею. Он тут же и вскочил как встрепанный. Вскочил я на дроги и вожжой тронул его. Он мигом повернулся и как ни в чем не бывало направился к дому.

А хозяйка уж бежит навстречу: испугалась, не сбежал ли, мол, я. Спрашивает: «Что случилось, почему так долго задержался?» Я ей рассказываю всю историю. А она говорит: «Только бы и сказать одно слово «чок», когда взял за вожжи, и верблюд пошел бы». Я говорю: «А откуда мне знать?» Казачка рассмеялась. И Максим смеется, и девка. А я обиделся, думаю: больше никогда не поеду за водой на верблюде. Поезжайте сами, раз вам так весело.

Пообедали, солнце пошло к вечеру. Казачка говорит: «Пойдемте делать кизяки». — «Мы бы рады, говорим, да ведь не умеем». Она говорит девке: «Давай, Фиса, покажи и сама с ними поработай». Девка принесла широкую гладкую доску и станки. Наложила жидкого навоза в станок, потоптала, разровняла да как крутанет ручкой — и кирпич готов. Отнесла его на чистое сухое место. За этим кирпичом готов другой, третий, и мы сбились со счета. Так Фиса быстро, ловко их делала, как блины пекла. Мы смотрели и мотали на ус. А потом и сами начали. Первый кирпич получился не очень чтобы хорош, второй уже лучше. И дело пошло.

До заката успели намастерить втроем штук триста. Сели ужинать, казачка нам налила по стакану самогону. И как же хорошо было с устатку выпить. Потом повела нас сдавать коменданту. Комендант, хромой старик, спрашивает: «Ну, как работали пленные?» — «Хорошо работали», — говорит казачка.

Вернулись наши с работы в свою казарму, и пошли разговоры, кто как работал и чем кормили. Некоторые, говорят, соленой рыбой кормили, и чаем поили, да уху еще варили, а она вся ржавая...

Завтра воскресенье, нам отдых: казаки праздники почитают строго. В этот день нас повели купаться к озеру. А кое-кто достал и удочки. И Максим наловил полный котелок рыбы, наварили ухи, наелись сами досыта и другим досталось. Но счастливо день только начался, кончился несчастливо. Стали вечером нас считать, одного недостает. Три раза считали — нет одного, и все тут. Пошли на озеро искать. Нашли рубашку и штаны, а человека нет. Казаки решили, что утонул. Сели на лодки, бредни взяли и давай по всему озеру шарить. Озеро большое, гектаров пятнадцать будет. Шарили, шарили, не нашли утопленника, зато рыбы наловили полные лодки...

Вот с этого дня и пошли на нас напасти и разные строгости. Стали чаще проверять. Выходы в форпост сократили, выгоняли только на работу. Свет убавился — даже зарешеченные окна и те забили с улицы досками. Только два малых окна освещали нашу большую казарму.

В понедельник снова пришли люди брать нас на работу: слух прошел про нас с Камбаровым, что мы знаменитые плотники.

Пришла молодая красивая казачка и выпросила нас у коменданта. Что ж ей понадобилось строить? Привела она нас на задний двор и сказала: «Вот на этом самом месте надо мне сделать баню!» — «Ну что ж, говорю, баню так баню. А материал где взять?» Она привела нас в сарай и говорит: «Вот здесь муж все припас для бани. А сделать не успел, взяли на войну». Стали таскать мы колья; смотрю, они все заостренные. Место для бани подходящее, ровное и достаточно от домашней постройки удаленное. Мы набиваем колья, а она хворост таскает. Тальник хороший привезла накануне. Набили колья, стали заплетать плетень. Стенку кончили, а она в это время в яме намешала жидкой глины с соломой. Мы вверху кольев сделали обвязку, чтобы было все ровно, хорошо. Начали вторую стенку плести. А она стала штукатурить готовый плетень. Пока мы плели вторую стенку, у ней уже заглажена первая стенка. Начинаем третью стенку. А она, сделав раствор, штукатурит вторую, да так ловко, словно мастер делает.

Мы третью стенку кончили, а она уже ее заглаживает, как лаком наводит. А день жаркий, конец уже июня. Глина сохнет быстро. Начинаем последнюю стенку плести. Тут мало работы в плетении, но зато копотно: надо косяки дверные укрепить, поставить оконные косяки. Однако все это быстро кончили, и она кончила. Правда, баня небольшая, но все-таки настоящая баня. Навесили дверь, вставили окно. Она начала печь мастерить. А мы пол настелили, сделали небольшой полочек, чтобы можно было попариться. Вдоль стен на чурбачках скамеечки приколотили. Принесли ей из сарая котел и пошли в летнюю кухню чай пить. Она тем временем печку сложила и уже затопила баню. «Сейчас, — говорю я, — хозяйка, отведешь нас к коменданту?» — «Нет, говорит, еще побудете у меня часок. Я ходила к коменданту, отпросила вам отсрочку, чтобы помыть вас в бане». — «Когда, говорю, ты все это успела?» — «А вот, говорит, идите и посмотрите, как я устроила!»

Пришли — и вправду хорошо, чудеса, да и только! Котел горячей воды и кадка холодной, два тазика и веник, в тазу уже обваренный. «Давайте, говорит, я вас вымою». Мы говорим: «Нет, Анфисушка, у нас мужики вместе с женщинами не моются». А она уж почти разделась. «Чего, говорит, особенного. Разве женщина не человек?» Но мы так и не согласились. помылись одни. Какое это было удовольствие помыться и попариться! Ведь мы последний-то раз мылись в бане еще в Самаре.

перед Первым мая. И кто может поверить, что три человека смогут в один день сделать баню и помыться в ней! А вот так и было, как я говорю.

Дала нам Анфиса и белье чистое, хоть старое, но вполне приличное. Сдала коменданту нас в десять часов вечера.

Одним утром как-то старший начальник казачий спрашивал нас, нет ли среди нас слесарей, механиков, сапожников. Один пленный из Рязани отозвался: «Я, говорит, сапожник». Остальные молчат. Тогда я говорю Максиму: «Давай и мы назовемся сапожниками». Максим отказался: говорит, не знаю этого ремесла. «И я, говорю, не знаю, только у меня брат этим делом занимался, и я пригляделся к нему — стоящее дело». Максим отказался, а я вышел, и еще один такой, как я, вышел, и назвались тоже сапожниками. Рязанский был действительно хороший сапожник. И мы под его началом быстро освоили это дело. Нам в казарму привезли верстаки, сыромятную кожу и все остальное, что нужно для работы. И начали мы шить для казаков и казачек разную обувь, а большей всего «чирики», легкую летнюю обувь. Казачки наташили нам всякой еды, и мы, сапожники, всегда были сыты. А Максиму иногда было трудно, и мы его подкармливали. Сшили ему и себе легкие сапоги.

В голове у нас с Максимом была одна думка — как бы изловчиться сбежать? Ведь ухитрился тот «утопленник», одежду которого нашли на берегу. И казаки и мы, пленные, понимали, что ему удалось бежать. Но как? — вот вопрос. И мы с Максимом не переставали об этом думать. Прежде всего надо раздобыть одежду. В этом нам помогла немного Анфиса.

Мы уговорились с Максимом бежать вместе и не бросать друг друга: мы ведь односельчане, учились вместе, играли вместе. И вместе попали в беду.

Анфиса жила недалеко от казармы, дома через четыре от нас. Она часто забегала к нам. И каждый раз приносила какой-либо гостинец. А мы ей перечинили всю обувь и сшили новые чирики. Она много доброго сделала для меня и Максима. И что тут скрывать: она любила меня и я ее тоже часто навещал. Она говорила мне, что с радостью бы нас одела, обула, дала бы и брюки и гимнастерки своего мужа, но боится казаков. «Мне тогда не будет житья,— говорила она.— Казаки меня съедят за это. Я ведь не казацкого рода, я иногородняя, из Бузулука. Была я сирота. И меня взял богатый казак в приемыши. У него был мальчик, тоже в моих годах. Мы подросли, и нас поженили. Старый казак погиб, жена его тоже померла. И вот мы остались с мужем вдвоем. Но и его в конце зимы убили в бою под Оренбургом».

Я выслушал ее и говорю: «Нам ничего не надо. Потому что от этого будет худо не только тебе, но и нам». Она дала мне только шинель мужа и сказала: «Все пригодится ночью прикрыться». Она познакомила меня с портным, который жил с ней рядом и тоже был, как и она, иногородний. Вот этот портной и сшил нам с Максимом из подаренной шинели брюки, тому и другому. А одна старая казачка принесла нам еще старые гимнастерки. И мы прикрыли свою наготу, стали походить на людей. Теперь никто уже нас не мог счесть за пленных.

V

Я давно вошел в доверие нашей охраны, и меня стали выпускать беспрепятственно на час, на два к моим знакомым. Как-то я прихожу к портному вечером. Сидим, разговариваем. Вдруг совсем не ко времени зазвонил колокол церковный. К чему бы это такое? «Это,— говорит

портной,— зовут на собрание. Вон и Анфиса побежала. Она сейчас вернется и все нам расскажет. Подожди чуток». Прошло немного времени, идет Анфиса обратно и прямо к портному. Я спрятался за шкаф. Она входит и говорит: «Дядя Алексей, дело плохо Казаки отступают. Красные взяли форпост Январец. На собрании решили немедленно эвакуироваться. Всех пленных потопят в Урале...» И тут же принялась плакать: «Мишу, говорит, мне жалко». Я вышел из укрытия. Она так обрадовалась, когда увидела меня. Я говорю: «Раз я тебе дорог, надо спасать нас, а не плакать». Она говорит: «Татары казанские за солью приехали. С ними можно тебе уехать незаметно. У них и пропуск есть. Они сейчас у соседки чай пьют. Собирайся быстро. Я мигом все устрою». Я говорю: «Не могу бросить Максима. Мы клятву дали: не оставлять друг друга в беде». — «Я побегу узнаю,— говорит Анфиса.— Может, они и двоих возьмут? Если согласятся, я тут же приду. А нет, что-нибудь еще придумаю...»

Часы мои вышли давно. Анфиса не появилась. Я простился с портным и направился в казарму.

Старики из охраны обрадовались, что я вернулся, не сбежал, не подвел их. Куревом угощают. А когда поднялся на второй этаж, все бросились ко мне с расспросами: почему колокол звонил, какие новости принес? Я прилег на солому и стал тихонько рассказывать о том, что узнал. А в дверях поставили наблюдателя, чтобы он в случае чего дал бы сигнал. Стали крепко думать, что нам делать? Какие меры принимать? Ведь мы последнюю ночь живем. А завтра на рассвете нас всех потопят или расстреляют. Вот и решили мы уничтожить стражу. У нас сапожного инструмента много было. Вооружились молотками, рашпилями, ножами. Сейчас сделаем тихую разведку и грянем сразу на стариков. Минутное дело. Обезоружим, уничтожим караул и — кто куда, на волю!

Но наш старшой стал возражать. Как мы пройдем через форпост, когда все казаки, весь их народ на ногах? Посмотрите: в каждом доме огонь. Все собирают свои пожитки. Мы окружены сплошной охраной. Перебьют в один момент, и все. А будут ли нас утром расстреливать — это еще не известно. Подумали, подумали мы и оставили свой план. Да и как я буду убивать стариков, которые меня только что табаком угощали? Положили ножи, рашпили на место... Лежим на соломе и думаем, так или не так мы сделали? Не заснули всю ночь. Какой уж тут сон, когда судьба и жизнь наша решаются. Я все-таки про себя думал, что в борьбе, в драке за свою свободу легче умереть, чем так — возьмут тебя тихого, смиренного за шиворот да потопят, как кутенка. А ведь нам лишь по двадцать с небольшим лет...

Утром чем свет нас выгнали на улицу. Конвоиры сидят на конях, вооруженные саблями, винтовками... Вот, думаем, и конец пришел нашей молодой жизни. Конвой нас погнал в ту сторону, откуда нас пригнали. Прошли с километр, навстречу едут четыре казака вооруженные. Мы остановились. Старшой конвоя подъехал к встречным. О чем-то они поговорили, и нас повернули обратно. Опять идем через свой форпост Ранний. Женщины вышли на улицу, смотрят на нас жалостливо, некоторые вытирают глаза. Стоит и Анфиса у своего двора. Она только успела помахать мне рукой: прощай, мол, дорогой Миша! — и тоже утирает слезы. А нас гонят быстро. Кто не успевает, того подстегивают. И опять чувствуем: мы пленные, а они наши враги и пощады нам от них не будет...

Догнали до Урала. Река быстрая, глубокая. Старшой конвойный подвел нас к крутому обрыву. Внизу вода плещет, водовороты крутят, смотреть страшно. Конвойные спрыгнули с коней, бегут к нам. Спраши-

вают: «Плывать умеешь?» — «Нет!» — говорю. «Врете! Все вы умеете! Бегите к спуску за камнями!» Это значит, чтобы к ногам привязать. Принесли камень. Старшой достал из переметных сумок веревки, чтобы связать нам руки и ноги... Мы прощаемся один с другим... А я думаю про себя: «Нечего ждать! Пока не связали, в омут головой, и все! А там что бог даст!» Камбарову говорю: «Прыгай за мной! Плаваем хорошо, авось уйдем!» Вдруг видим, скачет из города по мосту казак. «Стой! — кричит. — Стой!» Прискакал, дает старшому бумагу. Отставить, говорит, это дело. Приказано вести пленных к городской тюрьме.

От сердца немного отлегло, а все же оно бьется, бьется, аж дух захватывает.

Прошли через мост. Идем по городу. Как будто идут люди нам навстречу, скачут конные, а мы ничего не видим и не слышим. Все никак не одумаемся, не придем в себя... Загнали нас в конце города в грязные, вонючие каталажки и морили здесь три дня. Все, видимо, начальники спорили, куда нас девать? На четвертый день решили: пришли к нам казачки и старые казаки, и стал нас тюремный надзиратель как невольников раздавать направо и налево. Но только раздавал по одному. И всем нужны были косари; сапожники, плотники теперь не нужны. И все мы сразу оказались отменные мастера по косьбе. Рязанский сапожник даже вспомнил стишок Кольцова:

Я куплю себе косу новую,
Отобью ее, наточу ее...
Даст казачка мне
Денег пригоршни...

Всем весело, все радуются. Как же, счастье нам опять улыбается. Но мне невесело: нас разлучили с Максимом. А ведь с покоса убежать легче всего. Как же теперь быть? Он попал к старому казаку, а меня взяла казачка, и повели нас с Максимом в разные стороны.

Казачка дорогой меня спрашивает: «Косить-то умеешь?» — «Косил, говорю, на родине, верно, не забыл». — «Вот, говорит, и хорошо. Тебе у нас понравится». Дома, первым делом, стала меня кормить завтраком. А мне с расстройства и есть не хочется: вспоминается все, как нас топить собирались, и все Максим перед глазами стоит, как он устроился, где находится?

Все собираются на сенокос, и я собираюсь. Хотел было надеть новые сапоги, которые я сшил себе. Но казачка Дуня — так ее звали — мне не велела надевать сапоги, говорит: «В них будет жарко». И дала мне чирюхи. Брюки, которые мне сшили из шинели, тоже остались. Дуня дала мне брюки своего мужа с красными лампасами и фуражку форменную. Ну, совсем стал как казак. Выехали на покос поздно, уже после обеда. Доехали до моста, а там стоят часовые, без пропуска не пропускают. А казачка пропуск дома забыла. «Придется, — говорит Дуня, — обратно за пропуском ехать». Я говорю: «Погоди, попробуем, может, так проедем». Спрыгнул с рыдвана и быстро подхожу к часовым. Козыряю им по всей форме. Они очень любят, когда их так приветствуют. Пропуска не просят, а только спросили: «Прибыли помогать?» — «Да, говорю, надо немножко помочь, ведь женщины одни...» И свободно проехали. Вот Дуня мне и говорит: «Какой ты, Миша, смелый. И как хорошо догадался без пропуска проехать». — «Нужда, говорю, заставит, так небось догадаешься».

Ехать было далеко: километров двадцать. Приехали на место поздно. Лошадей выпрягли, пустили на волю. Казачки стали раскладывать палатку: палатка большая, человек на десять. А я начал приводить в

порядок косы-литовки, отбивать, точить, направлять. Нас четверо косцов, на каждого по две литовки. Казачка Дуня — еще молодая, лет двадцати пяти — и девка с ней, лет семнадцати, да еще старшая сестра, той под сорок будет. Главная хозяйка — Дуня. Командует всеми. Она говорит мне: «Если можешь, готовь ужин, а мы пойдем немного покосим, пока холодок». Я говорю: «Это я могу. На родине у нас так заведено: на полевой работе мужчины сами готовят питание». Я сварил суп с мясом, картошку пожарил — и ужин у меня готов. Дуня расстелила на траве кошму, на кошме — скатерть. Подала тарелки на первое и на второе... А я все обдумываю: одному бежать или Максима ждять?

Спать легли в палатке. «Наружи спать,— говорит Дуня,— не дадут комары и мошки. Комар гудит, как в дуду дудит. А мошкара втихую, исподтишка действует». — «Вот так же и казара ваша кусает нашего брата, советских бойцов», — думаю я про себя. Но я и в палатке долго не мог заснуть, все думал о Максиме. Смотри, как все неловко получается, как будто кто-то нарочно так подстраивает, чтобы нам нельзя было убежать.

Утром рано принялись за работу. Трава волглая, косить легко, коса сама ходит. Только ведь все это богатство травяное не нам и не Максиму, а нашим врагам. Они дольше будут держаться от этого. Чем больше мы им корму заготовим, тем дольше будут держаться и больше убивать наших товарищей.

Так уйду же я от вас, один ли, вдвоем ли,— все равно уйду!

VI

Много накосили травы и много убрали сухого сена, наметали стогов воза по три, по четыре, как по месту пришлось.

Приходит неделя к концу. Завтра мои хозяйки-казачки повезут меня к себе домой; могут, конечно, и не сдать меня коменданту, еще недельку продержат. А зачем мне это надо? Эх, Максим, Максим! Знать бы, где ты! И как нам с тобой встретиться?..

Поехал я в полдень поить лошадей на озеро — большое озеро, так и плещется рыба в нем. Решил было искупаться. Привязал лошадей к кусту, смотрю на желтые кувшинки, на голубую воду — место для купанья получше выбираю. Слышу, свистит кто-то на той стороне. Я насторожился, гляжу и глазам своим не верю: Максим пригнал быков поить! Сколько у нас тут радости было... Переговорили, правда, мы здесь наскоро и очень осторожно: такое дело кусты ведь тоже могут подслушать.

— У моего хозяина,— говорил Максим,— сын из армии приехал на покос. Я слышал их разговор. Красные, говорил сын, взяли много казачьих станиц и форпостов. Старик всю ночь следит за мной, как сыч, а на заре спит. В это время я буду у вас на стану.

Короче сказать, мы решили с Максимом в эту ночь бежать.

Вернулся я на стан. Лошадей привязал к фургону с травой. Казачки в палатке отдыхают. Дуня спрашивает: «Напоил лошадей?» Говорю: «Напоил». И на всякий случай, чтобы не подумала чего и не подозревала, еще говорю: «Я друга видел. Он пригнал поить быков. Недалеко от нас косят». А Дуня мне говорит: «Вот завтра поедем домой и опять увидитесь». — «Знаю, говорю, увидимся».

Пошли опять косить. А мне совсем не до косьбы. Только махаю руками, а литовка совсем уж и не берет. И мне не хочется ее поширкать смолянкой. Думаю: «Что завтра с нами будет в эту пору?»

Вдруг слышим под вечер сильные орудийные залпы «Эх, думаю, а ведь это наши нападают на казару». Казачки мои нет-нет да остано-

вятся, бросят косить и тоже прислушиваются. Дуня кричит: «Миша! Давай вари ужин. Пора нам закусить!»

Взял я из оставшегося запаса две большие булки, кусок солонины вареной и спрятал в кустах — это нам с Максимом на дорогу.

После ужина стали чай пить. И вдруг у меня блюдце из рук упало и расколосось пополам. Я говорю: «Чай больно горячий». Они рассмеялись и подали мне другое блюдце. А я считаю часы, минуты... Дуня, как словно что почуяла, не отстает от меня ни на шаг. Куда я, туда она. Целует меня, милует, говорит разные слова. И смелый-то я, и храбрый я, и лучше меня никого на свете нет. «Я, говорит, с тобой никого не боюсь». И я не знал, как мне от ее ласки избавиться: вот-вот сейчас Максим явится. К рассвету Дуня уgomонилась и крепко заснула. А я все жду Максима, моего друга. Наконец и меня сон сморил. И вижу во сне, будто я на фронте и надо мной кружат самолеты.

Наконец и Максим явился. А уж давно рассвело. Поздоровался он с нами и просит закурить: весь, говорит, табак вышел. А я говорю ему громко, чтобы казачки слышали, что у меня курево там, на покосе. Ну что ж, пойдём, покурим... Дуня догнала нас и говорит: «Миша, прощай! Я ничего не видела и ничего не знаю... Бегите скорее...»

По приказу Дуни казачки взялись за литовки и начали у самого стана новый покос. Ночью выпал мелкий дождь. И сильный туман на зорьке поднялся над лугами.

Только мы успели подойти к покосу, глядим — по дороге киргизы-батраки гонят стадо коров, овец, торопятся вперегонки. Верблюды, быки, лошади запряжены в фургоны. Это бегут — или, как здесь говорят, «кочуют» — казаки в тыл. Красные по следам наступают...

Дуня кричит нам: «Миша! Бегите туда скорее да узнайте, с какого форпоста кочуют?» Как мы обрадовались! Ай да Дуня молодец, какая умница! Литовки положили и побежали к дороге. Спрашиваем: «С какого форпоста кочуете?» Нам отвечают: «С Царьникольского». А это совсем недалеко от нас. Смотрим на стан и через дорогу смотрим — туман стоит белой стеной. Мы казачек не видим, они нас не видят. Вот как хорошо! Махнули на стан рукой и — в добрый час — побежали! Бежим через дорогу, бежим через табуны, бежим, задыхаясь, прямо к Уралу-реке...

Трава только вот под ногами густая, след наш хорошо виден по росе. Это плохо. Кинутся казаки в погоню, найдут по следу. Километра четыре летели, как на самолете, шмыгнули в озеро, перешли озеро по грудь в воде, скорее в реку Урал; и долго шли вверх по Уралу, чтобы скрыть следы.

VII

Сидим с Максимом в кустах. Солнце палит. Вся одежда на нас давным-давно уже высохла. На поле тихо, день субботний. Сидим и тихонько разговариваем, как бы незаметней пройти к своим. Вдруг слышим стук колес. Осмотрелись — около нас, совсем почти рядом, за кустами оказалась дорога, по ней едут беженцы. Откуда ни возьмись вдруг курица выпорхнула из фургона и летит прямо к нам. Мы испугались — пойдут искать курицу и нападут на нас. Давай скорее бог ноги!

Нашли место поукромней и там сидели до ночи. Стал моросить дождик... Хорошо! И мы двинулись в путь. Идем к тому месту, где мы косили. На поле тихо. Дошли до той дороги, где ехали беженцы из Царьникольска. Говорю Максиму: «Давай пробираться к стану». Ползком ползем к тому месту, где была палатка. Палатки нет. Только разбитое блюдце валяется да железный приколыш от палатки: забыли, видно,

его второпях. В кустах, где был спрятан хлеб, я нашел еще кусок большой сала, нож и вареные яйца. Это Дуня нам на дорогу, спасибо ей. Небо немного прояснело. Взглянули на Полярную звезду и пошли от нее влево, туда, где вчера гремела канонада. Через мелкий кустарник вышли к озеру, заросшему камышом. Ищем край озера, а его не видно. Обходить некогда, время дорого, скоро рассвет. Днем бежать нельзя — наскочишь на разъезд. Переходим озеро вброд, а где и вплавь тихой водой. На востоке уже заря занимается. Еще озеро. Здесь их, около Урала, до черта. В густых камышах и спасались весь долгий летний день. День воскресный, в лугах ни души. Пришла и ночь. Долго мы шли через покосы, озера, болота — кажется, конца им нет. На заре вышли к стогам, вот здесь и будем день проводить, — надоело до черта в камышах сидеть с лягушками. Выбрали стожок небольшой, раскопали в нем нору, залезли в нее, завалили вход сеном. Вдруг опять стук колес: ни свет ни заря кого-то нелегкая в луга принесла. Остановились прямо у нашего стожка. Один говорит: «Этот стог на три фургона маловат». — «Ну что ж, — говорит другой, — вон там стоит побольше. Поедем туда». И они уехали. Ну, слава богу, думаем, пронесло беду. Заснули и проснулись уже вечером. Чуть стемнело — двинулись дальше. Глядим — маячит перед глазами что-то. А что — не разберешь; тихонько подвинулись ближе. Мать честная! Разъезд казачий. Казак вооруженный возле коня дремлет стоя. Мигом назад, по-пластунски отползли в сторону и миновали разъезд. Верно, думаем, фронт близко.

Опять заря занимается. Вышли на ровное место — ни кустика, ни озера, ни камышинки, негде нам, бегунам, притулиться, то ли форпост, то ли деревня. Пересекли торную дорогу и за деревней увидели глубокий большой овраг. Сразу и от сердца отлегло. Спустились в этот овраг. Берега у него заросли высокой травой. Если лечь в траву, то и не видно человека. Этот овраг — прямо наше спасение. Легли мы с Максимом голова с головой и думаем, как нам дальше быть?

Слышим, словно бежит что-то по оврагу. Небольшое, видно, но и немаленькое, шуму от него достаточно. Мы затаились. И вот из травы прямо на нас выскочил еж! Он уж успел схватить кусок, который у нас остался от булки, и скорей бежать. Я за ним, догнал его и пнул ногой, как мяч. Еж хлеб бросил и свернулся клубком. Вот бы нам так, думаю, когда казаки на нас, безоружных, нападали! Поднял я кусок и говорю Максиму: «Давай отсюда перейдем немного повыше, а то кабы еще какой зверь на нас не набежал. А нам это ни к чему».

Только успокоились на новом месте, слышим — конский топот и голос командира: «Спешиться!.. Снять с вьюков пулеметы!» Потом слышим: «Огонь!..» Это были казаки. Нам хорошо их видно из травы. Они рассыпались по краю оврага цепью и начали через нас стрельбу из пулемета...

Вот он, фронт! Вот дошли наконец. Только как же теперь выбирать-ся мы будем, без оружия и в казачьей одежде?

Скоро казаки отступили. А наши начали стрелять из орудий. Снаряды то не долетают до оврага, то перелетают. Вот, думаем, как бабахнут по оврагу, так и конец нашей жизни. Это после того-то, как мы уже почти выбрались из плена!

Но нет, видно, бабушка мне и впрямь наворожила быть счастливым до конца. Снаряды рвутся все дальше, наши бьют по отступающим. И уже наша пехота из винтовок бьет через овраг, и пули свистят над нашими головами. Слышим — подходят наши к оврагу. И кто-то уже кричит: «Здесь овраг глубокий! Обходи скорее!..» Бегом бегут солдаты вдоль оврага. Нам хорошо их видно. Наши! Наши! Но как к ним вый-

дешь с красными лампасами?.. Могут еще и убить вгорячах. За первой цепью вторая движется. Эти тоже кричат про глубокий овраг, что надо его обходить. Слышим стук колес и звяканье походной кухни. Вот и санитарные двуколки. Тут мы не выдержали и вылезли из оврага. Я уж и не помню, как выскочил на дорогу и что кричал. Только слышу — Камбаров над моим ухом кричит вне себя: «Товарищи! Товарищи, не стреляйте, мы свои! Свои!.. Только что из плена! Свои мы...»

Мы кричим, а на нас никто и внимания не обращает. Гонят себе скорей к форпосту. У них ведь своя задача. Тогда мы остановились и пошли тихонько в тыл. Глядим — идет по дороге навстречу нам раненый узбек, черный, как смольной, опирается на винтовку. Подходим к нему. А он — раз! И взял винтовку наизготовку, думает, что мы казаки. «Не подходи, кричит, стрелять будем!» А мы ему: «Мы свои! Понимаешь, совсем свои! Из плена». Показываем на лампасы, на фуражку казацкую. И он, узбек этот, советский боец, поверил нам. Поверил! «Вы, говорит, красный товарища! Красный!» И мы готовы были его расцеловать, так обрадовались, что признал нас во вражеской одежде за своих...

Видим — идет большой обоз по дороге с боеприпасами, с продовольствием. Узбек показывает на него и говорит весело: «Наша обуз-то будет!» Тогда мы побежали к обозу, на большую дорогу. И здесь сразу нас признали и никто на нас винтовки не наставлял. Наоборот, обозники обрадовались; они тоже были в той битве, где мы попали в плен, — вот как получилось ловко. Посадили нас с собой вместе на фургоны и повезли в форпост Голый Эмман... Его уже наши войска заняли и остановились в нем на отдых. Дело ведь было нелегкое — взять форпост.

Обозники привезли нас и сдали батальонному командиру. А этот послал в штаб полка. А из штаба полка направили в бригаду, и так до самой дивизии добрались. Везде мы рассказывали, как попали в плен, как жили в плену и как бежали. И про казаков рассказывали, как они с семьями и со стадами бежали в Бухару.

В штабах ведь тоже разный народ имеется. Кто верил нам, а кто и сомневался: мол, не подсланные ли мы разведчики? Но на встрече с комиссаром дивизии получилось у нас даже очень хорошо. Только вошли мы с Камбаровым в кабинет, как поднимается из-за стола к нам навстречу сам комиссар дивизии и с такой радостью нас обнимает и так горячо пожимает нам руки, что все присутствующие диву даются. Что, мол, за герои такие сюда прибыли и откуда они? А это мы встретились с товарищем Павловым, нашим полковым комиссаром. Его в том же бою, где нас захватили в плен, сильно ранило. И его санитары увезли в госпиталь. А после госпиталя он был назначен комиссаром дивизии...

VIII

Товарищ Павлов угостил нас на славу и даже немного с нами выпил за наше освобождение из плена и за победу наших войск по всему фронту.

Выдали нам в дивизии новое обмундирование, богатырку со звездой и шинель с красными разводами на груди. Красивая тогда была форма.

Хотели нам дать отпуск, чтобы отдохнули после плена и съездили на родину, — туда была отправлена бумага, что мы с Камбаровым попали без вести. Ну, да это дело поправимое: можно и другую теперь бумагу туда направить. Мы с другом отказались от отпуска. Надо добывать белых, пока они в себя не пришли. «Молодцы! — говорит командир

дивизии, хлопая меня по плечу.— Так и надо. Вот прикончим белую банду, тогда можно будет и отдохнуть».

У товарища Павлова мы были 30 июля, а 5 августа уже прибыли в свой родной полк. Командир полка был рад, что мы остались живы, даже расцеловал нас крепко. Он тут же дал приказ: заступить мне в свою первую боевую роту командиром роты. А Максим опять принял свой взвод. Мало осталось в роте старых красноармейцев, но все были рады нашему возвращению в строй.

И вот 10 августа 1919 года пошли мы снова вперед по направлению к городу Илеку и форпосту Раннему, туда, где мы два месяца мытарились в плену. Четверо суток бились мы там. И заняли и Ранний и Илек. И установили здесь навсегда власть Советов. Все казачьи семьи уключивали на восток. Остались только старики да старухи. Анфиса, как мы узнали, уехала в Бузулук, на родину к себе. А портной Алексей остался. Он занялся земледелием.

Ну вот, пожалуй, и весь мой рассказ. Разве только еще немного остановлюсь на том, как я встретился с Дуней.

После занятия Илека пошли мы дальше на восток. Казаки уж мало сопротивлялись. Им было не до войны: как бы только животы свои спасти. Все дороги и поселения забиты были беженцами. Хоть и юг здесь, но наступают холода. Бескормица, лошади падают. Люди болеют. Особенно пришло плохо тем, кто был с детишками. И вот уж далеко за Бухарой еду я на коне по дороге, смотрю — под деревом сидят у огонька казачки. И в слезах шуряются на сизый дымок. Подъезжаю ближе — да это Дуня, моя хозяйка, и еще две казачки, что на покосе со мной вместе работали! Я остановил коня: «Что, говорю, пригорюнились? О чем слезы льете?» Услыхала Дуня мой голос да как кинется ко мне, схватила за мое стремя и шепчет, задыхаясь: «Миша, Миша! Да ты ли это?» — «Конечно, говорю, я. Кто же еще? А вы что тут делаете? Как сюда попали?» — «Да видишь, кочуем, говорит. Старики погнажи. Красные, говорят, насилюют женщин, груди отрезают». — «И ты поверила?» — «Что ты? Какая там вера! Ружья на меня наставили и орут: запрягай, и все!» — «Ну, ладно, говорю, запрягай свою фургонку и едем со мной. Нечего тут тебе по дорогам мотаться. Поедете домой». — «А разве, говорит, пустят ваши начальники меня обратно?» — «Пустят, говорю, пустят. Поехали...»

Я сказал товарищу Павлову, комиссару, что эти казачки помогли нам из плена бежать. И он их направил в обратный путь в первую очередь, дав им продукты на дорогу и документы. Казачки не знали, как меня благодарить.

И расстались мы с Дуней дружески.

Долго еще наш полк гонялся за белой казачьей армией в закаспийских степях. Наконец жалкие остатки этой банды перебрались через море к Деникину. Нас тоже перебросили под Царицын. Тут я и многие другие заболели тифом, я долго валялся по госпиталям. Вот я в бреду изобрел какую-то машину, и даже не машину, а такую штуковину, которая всегда находилась во мне, и стоило только мне как-то вот так повернуться, как я переносился в любую часть света. И везде я видел новую, правильную жизнь, которую установила наша советская власть... Кого-кого я только не повидал: и родных, и знакомых, и товарищей Ленина и Маркса видел. И Дуня несколько раз являлась: «Ты, говорит, Миша, поправисьшь скоро, ты смелый, и я тебя люблю».

А когда пришел я в себя, врач мне говорит: «Ну, Лапицкий, выкарабкался все-таки. Теперь все будет хорошо. Скоро в отпуск поедешь!»

К этому времени погнали беляков и на деникинском фронте. И я прибыл наконец домой, в свой родной Старый Кувак. Дело было в конце марта 1920 года. Довез меня подводчик до Шафейкинова моста. А дальше нет дороги, речка разлилась. Иду я горкой к своему селу. Вижу свою хату. Вижу свою жену на повети. Она кидает сено овцам. А меня один наш сельский увидал и кричит с улицы жене: «Паша! Миша идет!» Она как увидела меня, так скок с повети на землю — и ко мне. Бежит, руки протянула, обнимает меня, целует и глядит-глядит в глаза... И так она рада, так рада, что я вернулся домой, что остался жив. Рада моя старая мать, рад сынишка, который без меня подрос.

И сам я рад, кажется, больше всех.

Куйбышев.



ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

★

КЛАД

С грузинского

* * *

Тебе ни злата не оставлю,
ни палат,
оставлю то,
с чем не сравниться им ценой:
бессонных тысячу ночей —
бесценный клад,
во дни сомнений
невзначай открытый мной.

Оставлю взгляд —
он потускнел в пыли дорог,—
движение уст —
в нем затаен усталый смех,—
обрывки тех захороненных в сердце строк,
которым смерть —
среди пиров, среди утех!

Оставлю все:
падение листьев кружевных,
боль слез,
не явленных за время бытия.
Моих упорных соглядатаев дневных,
моих ревнителей ночных
оставлю я.

Упрячь мой клад куда подальше.
И смотри,
пусть он хранится до неведомых годов,
до строгой,
утренней,
грядущей той зари,
когда потомок твой
принять его готов.

Перевел Юрий Ряшенцев.



ИВАН ДРАЧ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С украинского

ПЕРО

Мое перо, мой скальпель гневный,
Мой лиходей, источник бед,
Мой зов жестокий, каждодневный,
Мой однолюб, мой первоцвет,

Врезай летящих дней пожары
До сердцевины, до нутра!..
Смешна мне ваша, язычары,
Блудливо-лживая игра.

И дни, которым нет отрады,
И дни весенние в огне,
Где дремлют старые досады,
Как черти, скрючившись на дне.

Трусливый день и день отважный,
Рабочие мозоли-дни,
И честный день, и день продажный,
И дни, которым кровь сродни.

И дни, цветущие, как вишни,
И глыбы бесполезных дней,
И день, как глечик из Опишни,
Пронзенный шпагами огней.

В судьбе нележкой, беспокойной
Ты — друг мой вечный и живой,
Пока не встанет тополь стройный
Седым крестом над головой.

Перевел В. Павлинов.

НАТАЛЬЯ БАРАНСКАЯ

★

НЕДЕЛЯ КАК НЕДЕЛЯ

Повесть

Понедельник.

Я бегу, бегу и на площадке третьего этажа налетаю на Якова Петровича. Он просит меня к себе, спрашивает, как идет работа. Ни слова не говорит он о моем опоздании — я опоздала на пятнадцать минут. В прошлый понедельник было двенадцать, и он тоже беседовал со мной, только днем, интересовался, какие журналы, каталоги — американские, английские — я просмотрела. Тетрадка, в которой мы расписываемся в лаборатории по утрам, лежала тогда у него на столе, и он поглядывал на нее, но ничего не сказал.

Сегодня он напоминает мне: в январе испытания нового стеклопластика должны быть закончены. Я отвечаю, что помню.

— В первом квартале мы сдаем заказ,— говорит он.

Я знаю, не могла ж я забыть?

Темные глазки Якова Петровича плавают в розовой мякоти лица, и, нащупав мой взгляд, он спрашивает:

— А вы не запоздаете с испытаниями, Ольга Николаевна?

Я вспыхиваю и растерянно молчу. Я, конечно, могу сказать: «Нет, что вы, конечно, нет». Лучше было бы сказать так. Но я молчу. Разве я могу ругаться?

Тихим ровным голосом Яков Петрович говорит:

— Учитывая ваш интерес к работе и... м-м-м... ваши способности, мы перевели вас на вакантное место младшего научного сотрудника, включили в группу, работающую над интересной проблемой. Не стану скрывать, нас несколько беспокоит... м-м-м... удивляет, что вы, так сказать, недостаточно аккуратно относитесь к работе...

Я молчу. Я люблю свою работу. Я дорожу тем, что самостоятельна. Я работаю охотно. Мне не кажется, что я работаю неаккуратно. Но я часто опаздываю, особенно в понедельник. Что я могу ответить? Надеюсь, что это просто разнос, ничего больше. Разнос за опоздание. Я бормочу что-то про ледяные тропки и сугробы в нашем необжитом квартале, про автобус, который приходит на остановку переполненным, про страшную толпу на «Соколе»... и с какой-то тоскливой тошнотой вспоминаю, что все это я уже говорила раньше.

— Надо постараться быть собраннее,— заключает Яков Петрович,— вы меня извините, так сказать, за нравоучения, но вы еще только начинаете свой трудовой путь... Мы вправе надеяться, что вы будете дорожить доверием, которое мы оказываем молодому специалисту...

Он растягивает губы, получается улыбка. От этой сделанной улыбки мне становится не по себе. Каким-то не своим, охрипшим, голосом прошу я извинить меня, обещаю статью собраннее и высказываю в коридор. Я бегу, но у дверей в лабораторию вспоминаю, что я не причесана, поворачиваю и бегу по длинным узким коридорам старого здания, бывшей гостиницы, в туалет. Я причесываюсь, положив шпильки на умывальник под зеркалом, и ненавижу себя. Ненавижу свои спутанные вьющиеся волосы, заспанные глаза, свое мальчишеское лицо с большим ртом и носом, как у Буратино. Почему я с таким вот лицом не родилась мужчиной?

Кое-как причесавшись, одергиваю свитер и вышагиваю обратно по коридорам — надо успокоиться. Но разговор с шефом крутится во мне, как магнитофонная лента. Отдельные фразы, интонации, слова — все кажется мне тревожно-значительным. Почему он говорил все время «мы» — «мы доверили», «нас беспокоит»? Значит, у него был разговор обо мне, с кем же? Неужели с директором? Как он сказал — «беспокоит» или «удивляет»? «Удивляет» — это еще хуже. А это напоминание о вакантном месте... Его хотела получить Лидия Чистякова. По стажу у нее было преимущество, а выбор пал на меня — специальность ближе. И, конечно, помог мой английский — лаборатория здорово им пользуется.

Взяв меня в свою группу и поручив мне полгода назад испытания нового материала, Яков Петрович, конечно, рисковал. Я это понимаю. С Лидией он был бы спокойней за сроки... А вдруг он хочет передать ей мою работу? Это ужасно, ведь я сделала почти все опыты.

Но, может, я все преувеличиваю? Может, это просто моя постоянная тревога, вечная спешка, страх — не успею, опоздаю... Да нет, он хотел пробрать меня, его раздражают мои опоздания. Он прав. Наконец, это его обязанность. Мы же знаем своего зава — он работяга, он аккуратист. Ну, хватит, довольно об этом!

Я переключаю мысли: сейчас я составлю сводку результатов испытаний на теплостойкость и жаростойкость, которые мы закончили в пятницу. Опыты в физико-химической лаборатории меня не беспокоят — они идут к концу. А вот физико-механические — это наше узкое место. В механической лаборатории не хватает установок, не хватает рук. Ну, руки ладно — у нас есть две пары своих, мы многое делаем сами. Но некоторые установки... на них целая очередь. Тут приходится «понаблюдать», как выражается Яков Петрович, или, попросту, «пробивать». Я пробиваю стеклопластик, из другой группы кто-то пробивает свое, и все мы бегаем на первый этаж, прыгаем перед старшей лаборанткой, которая составляет график испытаний и следит за очередностью, называем ее то Валечкой, то Валентиной Васильевной и всячески стараемся пролезть в какую-нибудь щель — пусть только она образуется.

Да, надо забежать к Вале. Спускаюсь вниз, толкаю дверь на пружине, навстречу мне вырывается упругая волна шума, но я преодолеваю ее и прохожу за стеклянную перегородку. Это Валина «конторка», всегда здесь народ, но сейчас она одна. Прошу ее «просунуть» нас на этой неделе. Валя качает головой — нет, но я продолжаю ее упрашивать.

— Может, во второй половине недели, заходите.

Теперь к себе, в лабораторию полимеров. В нашей «тихой» комнате, где мы обрабатываем результаты, ведем расчеты, девять человек, а столов помещается только семь. Но ведь всегда кто-то на опытах, в библиотеке, в командировке. Сегодня один из столов мой. И он простаивает уже сорок минут.

Вхожу. Меня встречает шесть пар глаз. Я киваю и говорю:

— Я заходила в механическую.

Голубые глаза Люси беленькой встревожены — «у тебя что-нибудь случилось?»; огненные глазницы Люси черной сочувственно укоряют — «эх ты, опять?»; взгляд Марьи Матвеевны, поверх очков, предупреждает — «только, пожалуйста, без разговоров!»; полуприкрытый подсиненными веками взор Аллы Сергеевны рассеян — «кто там? что там?»; Шурины круглые глаза, всегда немного испуганные, расширяются еще больше; укол острых зрачков Зинаиды Густавовны мгновенно разоблачает — «знаем, какая механическая, — опоздала, имела разговор, вон щеки горят, а глаза расстроены».

Наша группа — это обе Люси и я.

Руководитель — Яков Петрович. Но больше с делами группы возится Люся Маркорян. Когда я пришла работать в полимеры, новый стеклопластик был еще только задуман. Одна только Люся колдовала с аналитическими весами, колбами, термостатом. Работала над составом. Все считали, что идея нового стеклопластика принадлежит Маркорян, а потом оказалось — Якову. Я ее спросила как-то: «Люся Вартановна, почему говорят, что новый стеклопластик придумали вы?» Она посмотрела на меня: «Разве говорят? Ах, вот как... Ну, пусть себе говорят», — и больше ничего. Потом как-то обещала рассказать эту «преглупую историю». Пока молчит, я больше не спрашиваю.

Мне поручены испытания — что-то я делаю сама, что-то вместе с сотрудниками лабораторий, где ведутся опыты, обрабатываю и обобщаю результаты.

Люся беленькая (она же Людмила Лычкова) прессует и формует образцы для испытаний — строго по установленным стандартам — и вообще помогает во всяких делах.

Еще у нас Зинаида Густавовна, отчасти. На ней планирование и «канцелярия» по всем группам, переговоры с нашими заказчиками.

Дела всем хватает.

Вот я за столом, отодвигаю ящик, чтобы достать дневник испытаний, и тут замечаю на столе анкету. Наверху жирным шрифтом: «Анкета для женщин» — и карандашом в углу: «О. Н. Воронковой». Интересно! Оглядываюсь. Люся беленькая показывает мне такую же. Анкета большая. Читаю... Третий пункт: «Состав вашей семьи: муж... дети до 7 лет... дети от 7 до 17 лет... пр. родственники, проживающие с вами...»; муж один, детей двое, бабушек-дедушек, увы, нет, прочие родственники сами по себе. Дальше такой вопрос: «Что посещают ваши дети — ясли, детский сад, группу продленного дня в школе». Посещают, конечно, ясли, и сад посещают мои малыши.

Составители анкеты хотят знать, в каких условиях я живу: «Отдельная квартира... жилплощадь... кв. метров... количество комнат, удобства...» Условия у меня прекрасные — новая квартира, тридцать четыре метра, три комнаты...

О! Да они хотят знать обо мне решительно все. Их интересует моя жизнь по часам... «в принятую единицу времени». Ага, «единица» — это неделя. Сколько часов у меня уходит на: а) домашнюю работу, б) занятия с детьми, в) культурный досуг». Досуг расшифрован: «радио и телепередачи, посещение кино, театра и проч., чтение, спорт, туризм и проч.».

Эх, досуг, досуг... Слово какое-то неуклюжее «до-суг»... «Женщины, боритесь за культурный досуг!» Чушь какая-то... До-суг. Я лично увлекаюсь спортом — бегом. Туда бегом — сюда бегом. В каждую руку по сумке и... вверх — вниз: троллейбус — автобус, в метро — из метро. Магазинов у нас нет, живем больше года, а они все еще недостроены.

Так комментирую я про себя анкету. Но вот следующий вопрос, и всякая охота остроумничать у меня пропадает: «Освобождение от работы по болезни: вашей, ваших детей (количество рабочих дней за последний год; просим дать сведения по табелю)». Прямо пальцем в большое место! К утреннему разговору с шефом... Что у меня двое детей, начальству, конечно, известно. Но сколько дней я просиживаю из-за них дома, никто не подсчитывал. Познакомятся с этой статистикой и вдруг испугаются. Может, я сама испугаюсь — я ведь тоже не подсчитывала. Знаю, что много... А сколько?

Сейчас декабрь, в октябре был грипп у обоих — начала Гулька, потом заболел Котька, кажется, две недели. В ноябре простуда — остатки гриппа дали себя знать по плохой погоде, дней восемь. В сентябре была ветрянка — принес ее Котька. С карантином получилось чуть ли не три недели... Вот ведь уже не помню! И так всегда — один уже здоров, а у другого в разгаре.

А что еще может быть? — думаю я в страхе за ребят, за работу. Корь, свинка, краснуха... и, главное, грипп и простуда, простуда. От плохо завязанной шапки, от плача на прогулке, от мокрых штанов, от холодного пола, от сквозняков... Врачи пишут в справке ОЗД — «острое заболевание дыхательных». Врачи торопятся. Я тоже тороплюсь, и мы отводим ребят еще с кашлем, а насморк у них не проходит до лета.

Кто придумал эту анкету? Зачем она? Откуда взялась? Я верчу ее, но не нахожу никаких данных о составителях. Смотрю на Люсю черную и делаю ей знак глазами — «выйдем». Но сразу же поднимается и Люська беленькая, и мы оказываемся за дверьми втроем. Это жаль. Мне так хотелось поговорить с Люсей Маркорян об утренней беседе, работе, анкете — обо всем вместе. Люська — добрая душа, но говорить при ней я не буду, она болтушка, всякая информация ее распирает.

Маркорян тотчас закуривает и, выпустив на нас клуб дыма, спрашивает с вызовом:

— Ну что?

Это значит: «Как тебе анкета?» — я понимаю. Но Люся беленькая возмущается:

— Как — «что»? Она же ничего не знает, она опоздала...

— Еще и опоздала! — говорит Люся черная с насмешливым сочувствием и кладет мне на плечо руку, худую, как птичья лапа. — Неужели ты не можешь не опаздывать, Буратинка, а?

— К нам приходили эти самые, ну... демографы, — торопится Люська выложить новость, — и сказали, что экспериментально проведут анкету еще в нескольких женских институтах и на предприятиях...

— Институт у нас, правда, мужской, но с женскими лабораториями, — вставляет Люся черная.

— Да ну тебя! — отмахивается Люська. — А потом, если опыт пройдет удачно, такую анкету проведут по всей Москве.

— Что значит «удачно», — спрашиваю я Люсю черную, — и вообще чего они хотят?

— Черт их знает, — отвечает она, вздернув острый подбородок, — анкета — это теперь модно. В общем, они надеются выяснить важный вопрос: почему женщины не хотят рожать?

— Люся! Они ж этого не говорили! — возмущается Люся беленькая.

— Говорили. Только называли это «недостаточные темпы прироста населения». Мы вот с тобой даже не воспроизводим населения. Каждая пара должна родить двоих или, кажется, даже троих, а у нас только по одному... (Тут Люся вспоминает, что беленькая — «мать-одиночка».) Тебе хорошо — с тебя не посмеют спрашивать. Оле тоже хорошо — она

план выполнила. А я? Мне вот дадут план и тогда — прощай моя диссертация!

Они говорят, я смотрю на них и думаю: «Люся Маркорян похожа на обгорелую головешку, Людмила — на пушистого белого барашка, а если судить «по-анкетному», то первая — самая благополучная, а вторая — самая обездоленная из четырех «мамашенок» нашей лаборатории».

Мы все знаем друг про друга. Муж Люси черной — доктор наук, недавно построили большую кооперативную квартиру, денег хватает, у пятилетнего Маркуши есть няня. Кажется, куда лучше? А на самом деле вот что: доктор пять лет допекает Люсю тем, что она эгоистка, губит ребенка, доверяет воспитание чужим старухам (отдать мальчика в детский сад он не разрешает). Люся вечно ищет очередную пенсионерку «сидеть с ребенком». Доктор настаивает, чтобы Люся оставила работу, он хочет второго ребенка и вообще «нормальную семью».

У Люси беленькой мужа нет. Вовкин отец, капитан, слушатель какой-то военной академии, приехавший из другого города, скрыл от Люськи, что у него семья. Узнала она об этом поздно. Когда Люська сказала капитану, что она на четвертом месяце, он исчез, как провалился. Мать Люськи, приехавшая из деревни, сначала чуть не прибила дочь, потом пошла жаловаться на капитана «самоу главному начальнику», потом плакала вместе с Люськой, ругала и кляла всех мужчин, а потом осталась в Москве и теперь нянчит внука, ведет хозяйство. От дочери она требует только — делать покупки, стирать большую стирку и обязательно ночевать дома.

Меньше всего мы знаем про Шуру. Сынишка ее учится в третьем классе. После школы, до прихода матери, он дома один. От группы продленного дня Сережа отказался наотрез, хозяйничает. Шура за день звонит домой несколько раз: «Как поел? Не забыл газ погасить?.. Дверь смотри не оставь, когда пойдешь гулять!.. (А ключ у него на тесемке пришит к курточке.) Учишь ли уроки? Не зачитывайся». Серьезный парнишка! У Шуры муж пьет. Она скрывает, но мы догадались давно. Мы ее не спрашиваем о муже.

Должно быть, самая счастливая из нас — я.

Хохму Люси Маркорян насчет «плана по детям» Люся беленькая, в которой бушует любопытство, принимает всерьез.

— Как... план?? — ахает она, и ее тонкие бровки взлетают под самые кудряшки. — Не может быть?! Ах, ты шутишь?! — В голосе ее слышно разочарование. — Ну, конечно, шутишь... А я думаю, девочки, что анкета — это не просто так. Дадут нам, матерям, какие-нибудь льготы. А? Вот рабочий день сократят. Может, начнут больничные за детей оплачивать, не только три дня... Вот увидите. Раз изучают, что-нибудь да сделают.

Люся беленькая волнуется, трясет завитками волос, круглое лицо ее разгорается.

— Ах ты, «белая овечка, дай шерсти колечко», — говорит Люся черная словами из детской песенки, — строителей у нас мало, рук на все не хватает. Вот в чем дело. Ясно тебе? Уже сейчас строителей не хватает. А что будет дальше? Дальше кто будет строить?

— Что строить? — спрашивает Люська с горячим интересом.

— Все: дома, заводы, станки, мосты, дороги, ракеты, коммунизм... В общем, все. А защищать это все кто будет? А землю нашу заселять?!

Я слушала и не слушала. Утренний разговор опять завертелся в голове... «Советую вам быть собраннее», — сказал Яков. Может быть, уже все решено и мою работу передают Лидии? Опоздываю, распустилась... Плохо! А тут еще дойдут до него мои «показатели» по болезням...

Как жаль, что не удалось поговорить с Люсей Маркорян. Но она и сама видит, что со мной что-то не так. Обняв меня за плечи и чуть пригнул к себе, она говорит нараспев, покачиваясь вместе со мной:

— Не волнуйся ты, Оля, тебя не уволят...

— Еще бы посмели ее уволить, — вскипает Люська беленькая внезапно, как молоко, — с двумя-то детьми? Да и сначала положено выговорá давать, а у тебя пока одно замечание...

Тоже за опоздания.

Мне становится стыдно — Люська такая добрая, отзывчивая, а я не захотела при ней говорить о своих делах.

— Понимаете, девочки, боюсь я, все время боюсь не успеть со своими испытаниями. Через месяц срок...

— А! Не психуй, пожалуйста, — обрывает меня Люся Маркорян.

— Что значит «не психуй»? — кидается на нее Люська. — Видишь, человек переживает... Ты бы ей сказала: «Успокойся, не нервничай». Правда, Оля, ты зря переживаешь. Ей-богу! Вот увидишь — все будет хорошо...

От этих простых слов у меня вдруг схватывает горло. Надо бы еще зареветь! Выручает Люся черная.

— Слушайте, красавицы, — энергично хлопнув нас по плечам, говорит она. — А что, если нам устроить тройной обмен? Люся берет мою квартиру, я переезжаю к Ольге, Ольга к Люсе.

— Ну и что? — недоумеваем мы.

— Нет, ерунда... — Люся Маркорян чертит пальцем в воздухе. — Нет, надо вот как: Оля переезжает ко мне, я — к Люське, а Люся к Оле. Вот так получится то, что надо.

— Хочешь сменить свою трехкомнатную квартиру на мою комнату в коммунальной? — усмехается Люся беленькая.

— Нет, не хочу, но... приходится. Проигрываю на метраже и удобствах — ванной нет? есть? — но зато выигрываю в другом, более важном. Ты, беленькая, на этом тоже не потеряешь — Олин Дима чудесный. Мой Сурен будет счастлив — Оля моложе и, кажется, толще меня... А мне нужна бабушка, вот как нужна! Ну как — пойдет? Выручайте бедного диссертанта!

— А, идите вы, — кричит Люся беленькая, вспыхнув, — ни о чем серьезном поговорить не можете! — И она резко поворачивается, чтобы уйти, но тут дверь распахивается, и Люська чуть не врезается в Марью Матвеевну.

— Товарищи, вы так шумите, — говорит Марья Матвеевна басом, — что мешаете работать. Что-нибудь случилось?

Я хватаю Люсю беленькую за руку, и вовремя — она уже набирает воздуху, чтобы одним духом выложить Эм-Эм (так между собой зовем мы Марью Матвеевну) весь наш разговор.

Мы все уважаем Марью Матвеевну. Нам нравится ее душевная чистота. Но говорить с ней на серьезные темы невозможно. Мы заранее знаем все, что она скажет. Мы считаем ее старой «идеалисткой»: нам кажется, что она несколько... абстрагировалась, что ли. Обычная жизнь ей просто незнакома — она парит над нею высоко, как птица. Биография ее исключительна: производственная коммуна в начале тридцатых, в сороковые — фронт, политотдел. Живет она одна, дочери воспитывались в детдоме, давно уже у них свои дети. Занята Марья Матвеевна только работой — производственной, партийной. Ей уже семьдесят.

Мы чтим Эм-Эм за все ее заслуги — как может быть иначе?

— Так что у вас тут? — спрашивает Марья Матвеевна строго.

— Да вот, Буратинку прорабатываем, — улыбается Люся черная, — Олю...

— В связи с чем это?

— За опоздание... — торопливо вставляет Люська, и напрасно.

Марья Матвеевна укоризненно качает головой — «так я вам и поверила»... Мне становится неловко, Люсям, я вижу, тоже. Невозможно держать себя так с Эм-Эм.

— Вот, Марья Матвеевна, — говорю я вполне искренне, хоть и не отвечаю на ее вопрос, — как странно получается: у меня двое детей и я этого... стесняюсь, что ли... Мне почему-то неловко — двадцать шесть лет и двое детей, вроде это...

— Дореволюционный пережиток... — подсказывает Люся черная.

— Что вы такое говорите, Люся! — возмущается Марья Матвеевна. — Не выдумывайте, Оля. Вам надо гордиться тем, что вы хорошая мать, да еще и хорошая производственница. Вы настоящая советская женщина!

Эм-Эм говорит, а я спрашиваю — про себя, конечно, — почему мне надо гордиться; такая ли уж я хорошая мать; стоит ли меня хвалить как производственницу и что же входит в понятие «настоящая советская женщина»? Бесплезно спрашивать об этом саму Марью Матвеевну — она не ответит.

Мы успокаиваем Эм-Эм тем, что у меня просто такое настроение, оно, конечно, пройдет.

Все возвращаются в комнату. Даже про анкету толком не узнала — когда и кому надо ее сдать? Но тут же получаю записку: «Анкеты будут собирать в следующий понедельник от нас лично. Хотят знать наше мнение. У них могут быть вопросы. А у нас? Люся М.».

Спасибо, и хватит про анкету.

Я нахожу в дневнике пятницу и выписываю на листок последние опыты — для Люси Маркорян. Потом достаю большой, как газета, лист бумаги, расчерчиваю его по форме. Это будет сводный график всех проведенных испытаний. Он строится по данным нашего дневника.

Первый состав стеклопластика проявил повышенную ломкость. Дорабатывали рецептуру связующих. Потом начали вторую серию испытаний. Опять все сначала: гигроскопичность, влажность, теплоустойчивость, жаростойкость, огнестойкость... Никогда не представляла, что такая тщательность, осторожность, такое внимание могут быть отданы... канализационным трубам и крышам.

По этому поводу, давно, был разговор с Люсей черной. Я призналась, что мечтала попасть в другую лабораторию. Люся посмеялась: «Молодежь хитрая, все хотят работать на космос, а кто ж земную нашу жизнь будет устраивать?» А потом вдруг спросила: «А вы никогда не жили в доме, где людям на головы льются нечистоты из старых ржавых труб и проваливаются потолки?» Выяснилось, что раньше мы обе жили именно в таких домах. Только я, должно быть, не очень над этим задумывалась.

Чем больше я возилась с новым стеклопластиком, тем больше увлеклась. Теперь мне не терпится закончить испытания доработанного состава. Как он будет переносить нагрузки? Какую прочность обнаружит? И как раз в механической затор. Затор и пробка.

А все остальное идет нормально. Вот я начинаю заполнять график данными физико-химических испытаний — они почти закончены. Медленно выстраиваю колонки цифр, листаю дневник. «Водостойкость. Образец № 1... Образец № 2... Образец № 3... вес в миллиграммах... время погружения 15 ч. 20 м., время извлечения 15 ч. 20 м. = 24 ч., вес после извлечения...» Пальцы левой руки придерживают линейку на нужной странице, правая рука выписывает цифру — среднее, выведенное из результатов трех опытов, — в таблицу.

Надо быть очень внимательной, ошибаться нельзя.

— Оля, Оля,— зовет меня тихий голос,— без десяти два, я ухожу, говори, что тебе?

Сегодня очередь Шуры делать закупки для «мамашенок». Такое у нас правило — покупать продукты сразу для всех. И перерыв себе выпросили с двух до трех, когда в магазинах меньше народа. Заказываю масло, молоко, кило докторской да еще булку — здесь поесть. Никуда не пойду, буду работать — столько времени сегодня потеряла.

Люся черная куда-то скрылась, думаю, тоже наверстывает упущенное. Точно! Она появляется за десять минут до конца перерыва. Платье и волосы ее пахнут вроде бы лаком — знакомый запах нашего состава. Она голодна, как зверь. и мы съедаем половину моей колбасы, разорвав надвое булку, и запиваем свой обед водой из-под крана в лаборатории.

Я опять углубляюсь в график. Вторая половина дня проходит так быстро и незаметно, что я не сразу понимаю, почему в «тихой» комнате вдруг становится так шумно. Оказывается, все уже собираются домой.

Опять автобус, и опять перегруженный, потом метро, месиво пересадки на Белорусской. И опять надо спешить, спешить, опаздывать нельзя: мои возвращаются к семи.

Я еду в метро с комфортом — стою в углу возле закрытой двери. Стою и зеваю. Зеваю так, что парень рядом не выдерживает:

— Девушка, интересно, что вы делали сегодня ночью?

— Детей баюкала,— отвечаю я, чтобы отстал.

Я зеваю и вспоминаю сегодняшнее утро. Утро понедельника. Без четверти шесть звонит телефон, звонит долго — междугородный. Никто не подходит. Я тоже не хочу вставать. Нет, это звонят у двери. Телеграмма? Может, от тети Веры — вдруг приезжает? Я лечу в переднюю. Телеграмма лежит на полу, уже распечатанная, но в ней нет ни одного слова, только дырочки, как на перфокарте. Я плавно пролетаю над ней телеграммой и поворачиваю обратно, чтобы вернуться в постель... Только теперь до меня доходит, что звонит будильник, и я говорю ему: «Застрелись ты». Он сразу же замолкает. Становится тихо-тихо. Темно. Темно и тихо. Тихая темнота. Темная тихота...

Но я вскакиваю, быстро одеваюсь, все крючки на поясе попадают в свои петли, и — о чудо! — даже оторванный пришит. Я бегу на кухню — ставить чайник и воду для макарон. И опять чудо: конфорки пылают, вода в кастрюле бурлит, чайник уже шумит. Он посвистывает, как птица,— фюить-фу, фюить-фу, фюить-фу... И вдруг я понимаю: свистит не чайник, а мой нос. Но я не могу проснуться. Тут меня начинает потряхивать Дима, я чувствую его ладонь на спине, он покачивает меня и говорит:

— Олька, Олька, да Оля, проснись же наконец, опять будешь бежать как сумасшедшая.

Тут я действительно встаю: одеваюсь медленно, крючки на поясе попадают не в те петли, а один огорван.

Иду в кухню, зацепляюсь за резиновый коврик в передней и чуть не падаю. Нет газа, спичка гаснет, обжигая мне пальцы. А! Я забыла повернуть ключ. Наконец я в ванной. Умывшись, я погружаю лицо в теплое мохнатое полотенце, вроде бы засыпаю еще на полсекунды и просыпаюсь со словами: «Да провались оно все!»

Но это чепуха. Нечему проваливаться — все хорошо, все прекрасно. Мы получили квартиру в новом доме, Котька и Гуленька чудесные ребята, мы с Димой любим друг друга, у меня интересная работа. Проваливаться совершенно нечему, незачем, некуда. Чепуха!

Вторник.

Сегодня я встаю нормально — в десять минут седьмого я уже готова, только не причесана. Я чищу картошку — заготовка к ужину, — помешиваю кашу, завариваю кофе, подогреваю молоко, бужу Диму, иду поднимать ребят. Зажигаю в детской свет, говорю громко: «С добрым утром, мои лапушки!» — но они спят. Похлопываю Котьку, торможу Гульку, потом стаскиваю с обоих одеяла — «подъем!». Котя становится на колени, зарывається лицом в подушку. Гульку я беру на руки, она отбивается от меня ногами и орет. Я зову Диму — помогать, но он брется. Оставляю Котьку в покое, натягиваю на обмякшую Гульку рубашонку, колготки, платице, а она скользит с моих колен на пол. В кухне что-то шипит — ой, я забыла выключить молоко! Сажаю Гульку на пол, бегу в кухню.

— Эх ты! — говорит мне свежевыбритый красивый Дима, выходя из ванной.

Мне некогда, я молчу. Брошенная Гулька заводится с новой силой. От ее крика наконец просыпается Котя. Я даю Гульке ее ботинки, она успокаивается и начинает, побряхывая и сопя, крутить их возле толстых ножек. Котя одевается сам, но так медленно, что невозможно ждать. Я помогаю ему и тут же причесываюсь. Дима накрывает к завтраку. Он не может найти колбасу в холодильнике и зовет меня. Пока я бегаю к Диме, Гулька утаскивает и прячет мою гребенку. Искать некогда. Я закалываю полурасчесанные волосы, кое-как умываю детей, и мы садимся за стол. Ребята пьют молоко с булкой, Дима ест, а я не могу, выпиваю только чашку кофе.

Уже без десяти семь, а Дима все еще ест. Пора одевать детей, быстро, обоих сразу, чтоб не вспотели.

— Дай же мне выпить кофе, — ворчит Дима.

Я сажаю ребят на диван, приволакиваю весь ворох одежек и работаю за двоих: носки и носки, одни рейтузы, другие рейтузы, джемпер и кофта, косынка и другая, варежки и...

— Дима, где Котькины варежки?

Дима отвечает: «Почем я знаю», но бросается искать и находит их в неподобающем месте — в ванной. Сам туда и сунул вчера. Вколачиваю две пары ног в валенки, напяливаю шапки на мотающиеся головенки, спешу и кричу на ребят, как кричат, запрягая лошадей, — «стой же, стой, тебе говорят!». Тут подключается Дима — одевает им шубки, подвязывает кашне и пояса. Я одеваюсь, один сапог не лезет, ага, вот она, моя гребенка!

Наконец мы выходим. Последние слова друг другу: «Заперла двери?» — «Деньги у тебя есть?» — «Не беги как сумасшедшая». — «Ладно, не опоздай за ребятами» (это я кричу уже снизу) — и мы расстаемся.

Пять минут восьмого, и, конечно, я бегу. Издали, со своей горки, я вижу, как быстро растет очередь на автобус, и лечу, взмахивая руками, чтоб не упасть на скользкой тропке. Автобусы подходят полные, сядут человек пять из очереди, потом кинутся несколько смельчаков из хвоста, кто-то везучий успевает ухватиться за поручень, автобус пыхнет, взрвет и тронется, а из дверец еще долго торчит нога, пола или портфель.

Сегодня я среди смельчаков. Вспомнила студенческие годы, когда я была бегунья, прыгунья Оля-алле-гоп. Раскатываюсь по льду, прыгаю и хватаюсь и очень хочу, чтобы еще ухватился кто-нибудь сильный и втиснул меня внутрь. Так и получается. Когда мы утрясаемся немного, мне удастся вытащить из сумки «Юность». Я читаю давно уже всеми прочитанную повесть Аксенова о затоваренной бочкотаре. Я не все в

ней понимаю, но мне делается от нее весело и смешно. Читаю даже на эскалаторе и кончаю последнюю страничку на автобусной остановке у Донского. Винститут я успеваю вовремя. Прежде всего, конечно, к Вале в механическую. Она сердится:

— Что вы все бегаєте? Сказала же — во вторую половину недели.

— Значит, завтра?

— Нет, послезавтра.

Она права. Хорошо бы, конечно, не бегать... Но другие бегают, и страшно, что ты можешь прозевать какое-нибудь «окно».

Поднимаюсь к себе. Прошу Люсю беленькую приготовить на завтра образцы для испытаний в электролаборатории. Снова сажусь за сводный график. В половине первого иду в библиотеку сменить журналы и каталоги.

Я систематически просматриваю американские и английские издания по стройматериалам: у нас всегда, а в Ленинской, научно-технической, патентной, — когда удастся выбраться. Я довольна, что занималась английским серьезно еще со школы. Поллистать минут двадцать журналы после двух-трех часов работы — это отдых и удовольствие. Все интересное для нашей лаборатории показываю Люсе Маркорян, Якову Петровичу. Он тоже «англичанин», но послабее меня.

Сегодня в библиотеке я успеваю просмотреть «Стройматериалы-68», познакомиться с новыми выпусками реферативного журнала, перелистать каталог одной американской фирмы.

Смотрю на часы — без пяти два. Я забыла сдать свой «заказ» на покупки!

Я бегу к себе, по дороге вспоминаю, что я так и осталась непричесанной. Меня разбирает смех. Запыхавшаяся, лохматая, влетаю я в нашу комнату и оказываюсь в центре сборища — комната полна. Собрание? Митинг? Неужели забыла?

— А вот, кстати, спросите у Оли Воронковой, какими интересами она руководствовалась, — говорит Алла Сергеевна, обращаясь к Зинаиде Густавовне.

Я вижу по лицам, что идет какой-то горячий разговор. Обо мне? Может, я в чем-то провинилась?

— У нас тут разгорелась дискуссия вокруг этой анкеты, — поясняет мне Марья Матвеевна, — Зинаида Густавовна подняла интересный вопрос: станет ли женщина, разумеется, советская женщина, руководствоваться общенародными интересами в таком деле, как рождение детей.

— И вы хотите спросить меня и таким образом вопрос решить, — отвечаю я, успокоившись (я-то думала, что-нибудь по работе).

Я, конечно, главный авторитет в вопросах деторождения, но мне это надоело. Кроме того, «интересный вопрос» Зинаиды — просто глупый вопрос, если даже и поверить, что он сделан из чистого интереса. Но зная Зинаиду с ее вечными подковырками и ехидством, надо думать, что вопрос ее «вредный» и кому-то Зинаида хочет вколоть шпильку. Сама она в том счастливом возрасте, когда детей уже не рожают.

Шура разъясняет мне вполголоса, что спор закрутился вокруг пятого вопроса анкеты: «Если вы не имеете детей, то по какой причине: медицинские показания, материально-бытовые условия, семейное положение, личные соображения и пр. (нужное подчеркнуть)».

Я не понимаю, зачем спорить, когда каждая может отвести вопрос, подчеркнув «личные соображения». Я бы даже подчеркнула «пр.». Но пятый вопрос всех заинтересовал, а наших бездетных даже задел.

Алла Сергеевна определила его как «чудовищную бестактность», Шура возразила:

— Не больше, чем вся анкета.

Люся беленькая, впитавшая из вчерашнего разговора самое тревожное («кто будет землю нашу заселять»), бросилась на защиту анкеты:

— Надо же искать выход из серьезного и даже опасного положения — демографического кризиса.

Лидия, моя соперница в конкурсе на младшего научного, имеющая двоих обожателей, сказала:

— Те, кто замужем, те пусть и ликвидируют кризис.

Варвара Петровна, доброжелательная и спокойная, поправляет Лидию:

— Если проблема общенародного значения — значит, касается всех... до определенного возраста.

Люся черная пожимает плечами:

— Стоит ли спорить о таком бесперспективном деле, как эта анкета?

Сразу раздались несколько голосов:

— Почему бесперспективное?

Люся обосновывает тем, что составители в качестве причин отказа от ребенка выдвигают в основном личные мотивы, а значит, они признают, что каждая семья, заводя ребенка, руководствуется соображениями личного плана, стало быть, «повлиять на это дело никакими демографическими обследованиями не удастся».

— Ты же забываешь «материально-бытовые условия» — смотри, — возражаю я.

Марье Матвеевне не понравилось скептическое замечание Люси Маркрян. Она сказала:

— У нас сделано колоссально много, чтобы раскрепостить женщину, и нет никаких оснований не доверять стремлениям сделать еще больше.

— Может быть, лучший результат дал бы узкопрактический подход к проблеме, — сказала Люся черная. — Вот во Франции государство платит матери за каждого ребенка... Наверное, это действеннее, чем всякие анкеты.

— Платит? Как на свиноферме?! — брезгливо скривила рот Алла Сергеевна.

— Выбирайте слова! — Мужской голос Эм-Эм раздается одновременно с пискливым Люськиным:

— Для вас что свиньи, что люди?!

— Так то во Франции, там же капитализм, — пожимает плечами Лидия.

Мне весь этот шум надоел. Уже поздно. Ужасно хочется есть. Кому-то из «мамашенок» пора идти за покупками. И наконец, надо же мне причесаться?! Да и вообще хватит с меня этой анкеты. Я поднимаю руку — внимание! — и становлюсь в позу.

— Товарищи! Дайте слово многодетной матери! Заверяю вас, что я родила двоих детей исключительно по государственным соображениям. Вызываю вас всех на соревнование и надеюсь, что вы побьете меня как по количеству, так и по качеству продукции!.. А теперь — умоляю! — дайте кто-нибудь хлеба...

Я-то думала их насмешить, да на этом и кончить споры. Но кто-то обиделся, и началась откровенная склока. Со всех сторон полетели ядовитые реплики, голоса поднялись, заглушая друг друга. Слышались только обрывки фраз: «...важное дело превращать в цирк», «...если животный инстинкт преобладает над разумом...», «бездетники все эгоисты», «...сами себе портят жизнь», «еще вопрос, какая жизнь испорченная»,

«...добровольно же взялись увеличивать население...», «...а кто вам пенсии платить будет, если смены молодой не хватит», «...только та женщина настоящая, которая может рожать...» и даже «...кто влез в петлю, тот пусть молчит...» (!).

А во всем этом хаосе два трезвых голоса — сердитый Марьи Матвеевны: «Это же не спор, а какой-то базар» — и спокойный Варвары Петровны: «Товарищи, ну что вы так разгорячились, в конце концов каждая из вас сама выбрала свою долю»...

Стало потише, и тут мелкая душонка Зинаиды вырвалась визгливым вскриком:

— Сама-то сама, а вот когда приходится за них дежурить, или в командировку на заводы таскаться, или на отчетно-выборном вечер просидеть, то и нас касается.

На этом наш бабий разговор об анкете и деторождении закончился. И теперь я вдруг пожалела: можно было бы поговорить серьезно, даже интересно было бы поговорить.

По дороге домой я все еще думаю об этом разговоре... «...Каждая выбрала свою долю...» Так ли уж свободно мы выбираем? Я вспоминаю, как сотворилась Гулька.

Конечно, мы не хотели второго ребенка. У нас еще Котька был совсем малыш. Полтора ему не было, когда я поняла, что опять беременна. Я пришла в ужас, я плакала. Записалась на аборт. Но чувствовала я себя не так, как с Котькой, — лучше и вообще по-другому. Сказала я об этом в консультации немолодой женщине, соседке по очереди. А она вдруг говорит: «Это не потому, что второй, а потому, что теперь девочка». Я тотчас ушла домой. Прихожу, говорю Диме: «У меня будет девочка, не хочу делать аборт». Он возмутился: «Что ты слушаешь бабью болтовню!» — и начал меня уговаривать не дурить и ехать за направлением.

Но я поверила и теперь стала видеть девочку, светленькую и голубоглазую, как Дима (Котя каштановый, кареглазый — в меня). Девочка бегала в коротенькой юбочке, трясла смешными косичками, качала куклу. Дима сердился, когда я рассказывала ему, что вижу, и мы поссорились.

Подшел самый крайний срок. Был у нас решительный разговор. Я сказала: «Не могу я убивать свою дочку только потому, что нам будет труднее жить» — и заплакала. «Не реви ты, дуреха, ну, рожай, если ты такая безумная, но вот увидишь — родишь второго парня!» Тут Дима осекся, долго смотрел на меня молча и, хлопнув ладонью по столу, вынес резолюцию: «Итак, решено — рожаем; хватит реветь и спорить. — Он обнял меня. — А что, Олька, второй мальчик — это тоже неплохо... Косте в компанию». Но родилась Гулька и была сразу такая хорошенькая — беленькая, светленькая, до смешного похожая на Диму.

Мне пришлось уйти с завода, где я проработала всего полгода (с Котькой я уже просидела дома год, чуть диплома не лишилась). Дима взял вторую работу — преподавать в техникуме на вечернем. Опять мы считали копейки, ели треску, пшено, чайную колбасу. Я пилила Диму за пачку дорогих сигарет, Дима корил меня тем, что не высыпается. Котю опять отдали в ясли (с двумя я одна не могла управиться), а он постоянно болел и больше был дома.

Выбирала ли я такое? Нет, конечно, нет. Жалею ли я? Нет, нет. Об этом даже говорить нельзя. Я так их люблю, наших маленьких дурачков.

И я спешу — скорей, скорей к ним. Я бегу, сумки с продуктами мотаются и бьют меня по коленкам. Я еду в автобусе, а на моих часах уже семь. Вот они уже пришли... Только бы Дима не давал им напихиваться хлебом, не забыл поставить на газ картошку.

Я бегу по тропкам, пересекая пустыри, взлетаю по лестнице... Так и есть — дети жуют хлеб, Дима все забыл, он углубился в технические журналы. Зажигаю все конфорки: ставлю картошку, чайник, молоко, бросаю на сковороду котлеты. Через двадцать минут мы ужинаем.

Мы едим много. Я вообще первый раз за день по-настоящему. Дима после столовой тоже не очень сыт. Ребята — кто их знает, как они ели.

Детей размаривает от горячей и обильной еды, они уже подпирают щеки кулаками, глаза заволакивает сном. Надо тащить их быстро в ванну под теплую струю, класть в кровати. В девять они уже спят.

Дима возвращается к столу. Он любит спокойно выпить чаю, посмотреть газету, почитать. А я мою посуду, потом стираю детское — Гулькины штанишки из яслей, грязные передники, носовые платки. Зашиваю Котькины колготки, вечно он протирает коленки. Готовлю всю одежду на утро, собираю Гулькины вещи в мешочек. А тут Дима тащит свое пальто — в метро ему опять оторвали пуговицу. Еще надо подмести, выбросить мусор. Последнее — обязанность Димы.

Наконец все переделано, и я иду принимать душ. Я это делаю всегда, даже если мне дурно от усталости. В двенадцатом часу я ложусь. Дима уже приготовил постель на нашем диване. Теперь он идет в ванную. Уже закрыв глаза, я вспоминаю, что опять не пришила крючок к поясу. Но никаким силам не вытащить меня из-под одеяла.

Через две минуты я сплю. Я еще слышу сквозь сон, как ложится Дима, но не могу открыть глаза, не могу ответить на какой-то его вопрос, не могу поцеловать его, когда он целует меня... Дима заводит будильник, через шесть часов эта адская машина взорвется. Я не хочу слышать скрежета часовой пружины и проваливаюсь сквозь диван в глубокий, темный и теплый сон.

Среда.

После вчерашнего «базара» всем как-то неловко, все подчеркнуто вежливо и сосредоточенно работают.

Я беру дневник испытаний и ухожу в электролабораторию, где меня ждет Люська. Она уже на месте. Кокетничает с новым лаборантом, ахает и охает, глядя на устрашающие надписи «ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!», как будто видит в первый раз.

Здесь мы не хозяйничаем, а только присутствуем. Образцы наши, помещенные еще вчера в термостаты с заданной температурой и влажностью, теперь закладываются в прибор, определяющий электрическое сопротивление. Шесть пластинок, одна после другой, — это поверхностное сопротивление, а еще шесть — объемное.

Люська делает вид, что боится — «еще убьет», пятится к двери и как-то незаметно смывается.

Удивляет она меня: руками работает ловко, что ей раз покажут — запомнит, но в суть дела вникать не хочет. Я пыталась втянуть ее в расчеты, объяснять формулы. Она говорит: «Я и так все знаю — теплостойкость, чтобы трубы не растаяли, искростойкость, чтобы крышу молнией не пробило». Жалеет, что пошла в наш техникум. Очень любит шить, хотела учиться на кройщицу, да боится: «Кто теперь женится на портнихах».

В перерыв моя очередь делать закупки. Продукты на всех — нелегкое дело. Не только потому, что тяжело тащить. А потому, что тебя непременно будет ругать очередь, хоть и самая маленькая. Купишь колбасу раз, да еще раз, да еще... И начинаются реплики: «Вы что же, для буфета закупаете?», «Всю квартиру обслуживает, а мы тут стоим...» У нас в Москве все всегда спешат. Даже те, кому некуда. Ток спешки заряжает всех подряд. В магазинах лучше всего молчать.

С видом угрюмым и замкнутым покупаю я в гастрономическом отделе три полкило масла, шесть бутылок молока, три — кефира, десять плавленых сырков, два кило колбасы и дважды по триста граммов сыра. Очередь сносит это терпеливо, но под конец кто-то вздыхает приворно:

— А все жалуются — денег мало.

Подгружаюсь еще в полуфабрикатах четырьмя десятками котлет и шестью антрекотами. Ничего себе сумочки!

И вот с этими-то сумочками я вдруг сворачиваю со своего пути, петляю между домами и выхожу к стеклянному кубу парикмахерской. У меня еще двадцать минут. Остригусь! Когда-то мне это здорово шло.

Очереди нет. Под свирепую воркотню гардеробщика оставляю свои сумки возле вешалки на полу, поднимаюсь наверх и сразу же сажусь в кресло к молодой женщине с подобранными бровями.

— Что будем делать? — спрашивает она и, узнав, что только стринься, поджимает губы. «Ну, сейчас обкорнает...» Так и есть. Смотрю в зеркало: окороченные волосы топорщатся возле щек, голова, как равнобедренный треугольник. Я чуть не плачу, но почему-то даю ей тридцать копеек сверх положенного и спускаюсь одеваться.

Гардеробщик хмыкает и, отклонив мою руку с номерком, кричит: — Ленька, иди-ка сюда!

Появляется парень в белом халате.

— Вот, Леня, — говорит гардеробщик участливо, — эту девушку наверху подстригли. Ты как, можешь ее произвести?

Леня оглядывает меня хмуро и кивает в сторону пустующих кресел мужского зала. Я не противлюсь — хуже не будет.

— Согласно вашему лицу, предлагаю под мальчика — не возражаете? — спрашивает Леня.

— Стригите, — шепчу я и закрываю глаза.

Леня щелкает ножницами, приговаривая что-то свое, поднимая и опуская мою голову легким прикосновением пальцев, потом стрекочет машинкой, взбивает волосы расческой и наконец, сняв с меня простыню, говорит:

— Можете открыть.

Открываю глаза и вдруг вижу молоденькую забавную девчонку, улыбаюсь ей, а она — мне. Я смеюсь, Леня тоже. Я гляжу на него и вижу — он любит свою работу.

— Ну как? — спрашивает он.

— Замечательно, вы просто волшебник!

— Я просто мастер, — отвечает он.

Сунув Лене в карман рубль, я смотрю на часы и ойкаю — уже три часа двадцать минут.

— Опоздываете? — сочувствует Леня. — В следующий раз приходите пораньше.

— Обязательно! — восклицаю я. — Спасибо!

Запыхавшаяся прибегаю в лабораторию — конечно, обо мне спрашивал шеф. Он в библиотеке, просил меня к нему заглянуть. Все охают, увидев мою голову, но мне некогда, схватив блокнот и карандаш, я вы-

летаю из комнаты. Я бегу по коридорам и придумываю, что я буду врать шефу, если он спросит, где я была. Потом соображаю — это бесполезно, увидит меня, все поймет.

Вхожу в читальный зал, он сидит над книгой и пишет.

— Яков Петрович, я, кажется, вам нужна?

— Да, Ольга Николаевна, садитесь.— Взгляд на меня. Шеф улыбается: — Вы очень помолодели, если это можно сказать о женщине вашего возраста... Я хотел вас просить, если не затруднит, перевести мне сейчас страничку,— и он протягивает мне книгу,— а я буду делать заметки.

Я начинаю излагать статью сразу по-русски, но он просит читать и английский текст. Кое-что он просит повторить. Вдруг я вижу за стеклянной дверью Люську. Она делает мне какие-то непонятные знаки: то будто поворачивает ключ в дверях, то поднимает два расставленных пальца и закатывает глаза. Я отмахиваюсь от нее рукой, неудобно все-таки. Люська исчезает. Но я начинаю беспокоиться — что-то там, видно, случилось. Мы уже доползаем до конца отрывка (и никакая это не страничка, а целых три), но шеф просит повторить все сначала бегло по-русски. А я уже как на иголках — мне надо к Вале в механическую, надо узнать, что там у Люськи. Наконец мы кончаем, шеф благодарит, я обрадованно отвечаю «спасибо» и бегу в старое здание.

На площадке первого этажа в старом здании меня поджидает Люська. У нее плохая новость: из самых «наивернейших источников» ей стало известно, что механическая лаборатория на той неделе будет проводить внеочередной заказ.

— Откуда ты это узнала?

— Я знаю, знаю, не спрашивай меня откуда,— Люська делает таинственное лицо,— непосредственно знаю.

Уж и «непосредственно», ах, Люська!

Впрочем, все равно — скорей бежать к Вале.

— Ты ж ей не говори! — кричит вслед Люська.

Надо покрепче нажать на Валу, иначе совсем завязнем. А завязнуть в декабре — это гроб... Конец года, выполнение плана, отчеты и прочее такое. А чтобы дело двигалось, необходимо узнать, что дала вторая композиция состава — увеличилась ли прочность стеклопластика?

В механической стоит бодрый грохот. В конторке вместо Вали сидит маленький Горфункель из лаборатории древесных плит и работает. Нет, оказывается, не работает, а ищет свои очки, почти положив лысоватую голову на стол и копошась короткими ручками в ворохе бумажек, как черепаха в сене. Я нахожу его очки и подаю ему. Где Валя, он не знает — вышла.

— Давно?

— Давно!

Я возвращаюсь к себе, по дороге заглядывая во все лаборатории. Вали нигде нет. Прячется она, что ли?

За четверть часа до конца работы в нашу комнату набивается народ. Зинаида раздаёт билеты в театр — наши идут на «Бег» к Ермоловой.

Культпоход — это не для меня, не для нас с Димой. Мне делается грустно. Мы не были в театре... Пытаюсь вспомнить, когда же мы ходили куда-нибудь, и не могу. Дура я, что не заказала билет. Пусть бы Дима пошел один, мы ведь все равно не можем вместе.

Димины мать нянчит внуков от дочери, живет на другом конце Москвы; моя мама умерла; тетя Вера, у которой я жила, когда отец снова

женился, осталась в Ленинграде, а моя московская тетка, Соня, ужасно боится детей.

Некому нас отпускать, что делать...

Выхожу из института. Снегопад только что прекратился, снег еще лежит на тротуарах. На улице бело. Вечер. Оранжевые прямоугольники окон висят над синими палисадниками. Воздух чист и свеж. Я решаю пройти пешком часть пути. На сквере у стен Донского монастыря фонари освещают запусенные ветки, заснеженные скамейки. Там, где нет огней, за верхушками деревьев виднеется тоненькая скобочка месяца...

Вдруг на меня накатывает тоскливое желанье идти налегке, без ноши, без цели. Просто идти — не торопясь, спокойно, совсем медленно. Идти по зимним московским бульварам, по улицам, останавливаться у витрин, рассматривать фотографии, книги, туфли, не спеша читать афиши, обдумывая, куда бы я хотела пойти, потихоньку лизать трубочку эскимо и где-нибудь на площади под часами, всматриваясь в толпу, ждать Диму.

Все это было, но так давно, так ужасно давно, что мне кажется, будто это была не я, а какая-то ОНА.

Было так: ОНА увидела его, ОН увидел ее, и они полюбили друг друга.

Был большой вечер в строительном институте — встреча студентов старших курсов с выпускниками. Шумный вечер с веселой викториной, шутками, шарадами, карнавалом масок, джазом, стрельбой из хлопушек, танцами в жаркой тесноте зала.

Она выступала с гимнастическим номером — вилась вокруг обруча, прыгала, перегибалась, кружилась. Ей долго хлопали, ребята кричали: «О-ля, О-ля!» — а потом наперебой приглашали танцевать. Он не танцевал, а стоял, прислонившись к стене, большой, широкоплечий, и следил за ней взглядом. Она заметила его: «Какой славный увалень». Потом, проходя мимо него еще раз: «На кого он похож? На белого медведя? На тюленя?» И в третий: «На белого тюленя; чудо-юдо белый тюлень». А он только смотрел на нее, но танцевать не звал. Каждым движением своим отвечала она его взгляду, ей было весело, радостно, она кружилась непрерывно и все не могла устать.

Когда объявили «белый танец», она подбежала к нему, осыпая конфетти с коротко стриженных волос. «Наверное, он не танцует». Но он танцевал ловко и легко. Ее товарищи пытались их разлучить, звали: «О-ля, О-ля, и-ди к нам!» — закидывали на нее лассо из серпантина, но только заплели, запутали и связали их бумажными лентами.

Он провожал ее, хотел увидеть завтра, но она уезжала в Ленинград.

После каникул, весь февраль, появлялся он вечером в вестибюле. ждал ее у большого зеркала и провожал на Пушкинскую, где она жила у тетки.

Однажды он не пришел. Не было его и назавтра. Не увидев его на обычном месте и через два дня, она огорчилась, обиделась. Но не думать о нем уже не могла.

Через несколько дней он появился — у зеркала, как всегда. Она вспыхнула и, заговорив с девушками, быстро пошла к выходу. Он догнал ее на улице, сильно схватил за плечи, повернул к себе и, не обращая внимания на прохожих, прижался лицом к ее меховой шапочке. «Я был

в срочной командировке, соскучился ужасно, я ведь не знаю твоего телефона, адреса... Прошу тебя, поедем ко мне, к тебе — куда хочешь».

На углу мигнул зеленый глазок такси, они сели и ехали молча, держась за руки.

Он жил в большой коммунальной квартире. У входа под телефоном стояло кресло с драной обивкой. Тотчас приоткрылась ближайшая дверь, высунулась старушечья голова в платке, прицелилась глазом и скрылась. Что-то прошуршало в глубине коридора, куда не доходил свет тусклой и пыльной лампочки. Ей стало не по себе, она готова была пожалеть, что поехала к нему, но вспомнила чинный порядок теткинго дома, чай под старой люстрой и общие разговоры за столом...

В конце апреля они поженились. В его полупустую комнату с тахтой и чертежной доской вместо стола перевезли ее вещи: чемодан, сверток с постелью, связку книг.

В мечтах, раньше, она представляла все совсем иначе: мраморную лестницу во дворце бракосочетаний, марш Мендельсона, белое платье, фату, розы, богатое застолье с криками «горько!».

Ничего этого не было. «Свадьбу? Зачем она тебе? — удивился он. — Давай лучше улетим в далекие края»...

Рано утром они расписались — она приехала в загс с подругой, он с товарищем. Он принес ей белые кружевные гвоздики на длинных стеблях. У нее дома их ждал завтрак, приготовленный теткой. Подняли бокалы за новобрачных, пожелали им счастья. Товарищи проводили до автобуса, идущего на Внуковский аэродром. А через шесть часов они уже были в Алушке.

Они поселились в старом домике, прилепившемся к склону горы. К нему вела тропка, иссеченная ступенями на поворотах. Узкий вымощенный дворик нависал над плоской крышей другой сакли. Невысокая изгородь, сложенная из дикого камня, прорастала усиками винограда, тянувшегося снизу. Во дворе стояло единственное дерево — старый орех, наполовину засохший. Часть его ветвей — голых, серых — напоминала о зиме, о холодных краях; на других густо сидели темно-зеленые резные листья. Лиловые кисти глицинии, оплетавшей саклю, свисали в прорезях узких окон, наполняли двор дурманно-сладким запахом.

Внутри сакли было темно и прохладно. Низкая печь в трещинах, видно, давно не топилась. Хозяйка, старая украинка, принесла им вечером из своей хибарки круглую трехногую жаровню, полную печного жара, — «щоб в ніч не змэрзли». Легкое синеватое пламя бродило по углям. Они открыли дверь настежь и вышли во двор.

Было темно и тихо. Свет фонарей не доходил сюда, луна еще не взошла. Они стояли и слушали, как внизу дышит, ухает в больших камнях море. В глухой дали мигал слабый огонек — может, фонарь на рыбацьем баркасе, может, костер на берегу. Ветер дул с гор, доносил запахи леса, нагретых за день солнцем трав, земли.

Угли в жаровне стали темнеть, затягиваться пеплом, они выставили жаровню во двор.

Над саклей раскинулось черное небо с прорезями звезд. Темные ветви ореха осеняли глиняную крышу с полуобвалившейся трубой. Разоренный очаг, чужой дом, а сейчас их кров. И они вдвоем, и никогда — ночь, море, тишина.

Утром они бежали по тропке вниз, завтракали в кафе, потом бродили по берегу. Взбирались на крутолобые камни, грелись, как ящерицы, на солнце, смотрели на кипение воды внизу — взрывы студеных

брызг долетали до них. Было безлюдно, тихо, чисто... Скинув платье, в купальнике, делала она гимнастические упражнения. Он смотрел, как ловко получаются у нее стойки, мостики, как высоко она прыгает, просил: «А ну-ка еще!» Порой, когда море было тихим, они бросались в воду. Холод обжигал, перехватывал дыханье, проплыв немного, они выскакивали на берег и потом долго лежали на солнце. Прокалившись в горячих лучах, уходили под деревья воронцовского парка, бродили по дорожкам под тенистыми сводами, наполненными птичьим свистом и щебетом, рассказывали друг другу о детстве, родителях, школе, друзьях, институте...

Иногда поднимались они в горы. Здесь было совсем пустынно. Тихо стояли сосны, лениво покачивая ветвями, нагретые солнцем стволы источали смолу, пахло хвоей. Отсюда, сверху, море казалось фиолетовым, оно поднималось отвесно, как стена.

Лежали на склоне, усыпанном теплыми сухими иглами, смотрели на взбитые ветром пышные облака. Вскокивали, осыпая хвою, и принимались ловить друг друга с криком, хохотом, кружа и петляя меж сосновых стволов. Съезжали по скользким от хвои склонам, как с горы-ледянки, перелезали через каменные завалы, сползали по крутизне, хватаясь за кустарник, и, умаявшиеся, разгоряченные, голодные, вываливались из душных зарослей дрока на шоссе. Асфальт приводил их в узкие алушкинские улочки, стесненные белыми стенами домов с черепичными красными крышами, с кустами жасмина и шиповника под окнами.

Полмесяца, собранные по дням из трех «законных», трех праздничных и десяти, выпрошенных у нее в институте и у него на работе, внезапно кончились.

Ранним воскресным утром с рюкзаком, с чемоданом он и она садились в автобус. Они покидали рай.

Это было пять лет тому назад.

Напрасно пошла я пешком, раздумалась. Поздно! Я бегу вниз по эскалатору, задеваю людей набитой сумкой, но остановиться не могу.

Я не очень опоздала, но все трое уже ходили с кусками. У Димы был виноватый вид, и я ничего не сказала, а кинулась скорее на кухню. Через десять минут я поставила на стол большую сковороду с пышным омлетом и крикнула:

— Ужинать скорей!

Детишки вбежали в кухню, Котька быстро уселся на свое место, схватил вилку, потом взглянул на меня и закричал:

— Папа, иди сюда, смотри, у нас мама — мальчик!

Дима вошел, улыбнулся: «Какая ты еще молоденькая, оказывается» — и во время ужина поглядывал на меня, а не читал, как обычно. И посуду мыл со мной вместе и даже пол подмел сам.

— Оляка, ты ведь совсем такая, как пять лет назад!

По этому случаю мы забыли завести будильник...

Четверг.

Мы вскочили в половине седьмого, Дима бросился будить детей, я на кухню — только кофе и молоко! — потом к ним помогать. Похоже, что успеем выйти вовремя. Но вдруг Котька, допив молоко, заявил:

— Я не пойду в садик.

Мы в два голоса:

— Не выдумывай!

— Одевайся!

— Пора!

— Мы уходим!

Нет. Мотает головенкой, насупился, вот-вот заплачет. Я присела перед ним:

— Котя, ну скажи нам с папой, что случилось? В чем дело?

— Меня Майя Михайловна наказала, не пойду.

— Наказала? Значит, ты баловался, не слушался...

— Нет, я не баловался. А она наказывает. Не пойду.

Мы стали одевать его насильно, он начал толкаться, брыкаться и заревел. Я твердила одно:

— Котя, одевайся, Котя, надо идти, Котя, мы с папой опаздываем на работу.

Дима догадался сказать:

— Идем, я поговорю с Майей Михайловной, выясним, что там у вас.

Котька, красный, потный, залитый слезами, всхлипывая, пытается рассказать:

— Витька свалил, а не я. Он разбился, а она меня по-са-ди-ла од-ного... Это не я! Это не я! — И опять рыдания.

— Кто разбился — Витька?

— Не-е-ет, цве-е-ток...

Я сама чуть не плачу — так мне жалко малыша, так ужасно тащить его, такого обиженного, силком. И страшно: весь потный, еще простудится. Умоляю Диму непременно узнать, что произошло, сказать воспитательнице, как Котя нервничает.

— Ладно, не раскисайте,— говорит Дима сурово,— их там двадцать восемь штук, можно и ошибиться.

Тут вдруг Гуля, которая была до последней минуты спокойна, заплакала и стала гнать ко мне ручки:

— Хочу к маме.

Бросаю их всех, кричу с лестницы Диме: «Позвони мне обязательно!» — сбегаю вниз, несусь к автобусу, штурмую один, другой... В третий попадаю.

Еду и все время думаю о Котьке. В группе действительно двадцать восемь ребят, у воспитательницы, конечно, может не хватить на всех внимания и даже сил. Но лучше совсем не разбираться, если некогда, чем разобратся не до конца, наказать несправедливо...

Вспоминаю, как звала меня заведующая, когда Котьку переводили в наш новый сад, работать нянечкой, как уговаривала: «Полторы ставки, воспитательница помогает раскладушки расставить, постели со стеллажей снять, детей на прогулку одеть». Видно, обеим хорошо достается — и няне и воспитательнице. Представить только — двадцать пять рейтуз, платков, шапок, пятьдесят носков, валенок, рукавичек, да еще шубки, да кашне и пояса подвязать... И все это надо дважды надеть да один раз снять, а еще после дневного сна... Двадцать пять... Что это за «нормы», кто только их выдумал? Наверное, у кого детей нет или у кого они в садик не ходят...

Еду уже в метро, и вдруг меня как стукнет — сегодня же политзанятия, семинар, а я забыла дома программу, забыла даже заглянуть в нее... А ведь я взялась подготовить вопрос и... забыла! Занятия раз в два месяца, можно, конечно, забыть. Но раз я взялась, забывать было нель-

зя. Ну, ладно, приеду, возьму у Люси Маркорян программу, авось что-нибудь успею сообразить.

Все же первая моя забота должна быть «механическая». Если я сегодня не прорвусь туда, будет плохо. Заглядываю — Вали нет. Кричу: — Где Валя?

Не слышат, не понимают, потом я не сразу понимаю... Наконец дошло — Валя куда-то вышла. Опять! Оставляю ей записку, в которой все, кроме одной фразы, неправда: «Валечка, милая, выручайте! Сомневаемся в прочности доработанной массы. Без испытаний у вас все оставилось. На меня сердится Я. П. Второй день не могу вас застать».

Наверху у нас одни хорошие люди. Никто меня не спрашивает, почему я так поздно, но все хотят рассмотреть новую прическу, вчера они не успели. Я верчусь во все стороны — затылком, в профиль. Тут входит Алла Сергеевна и, сказав с улыбкой: «Очень мило», сообщает, что мною только что интересовалась Валя.

Я вылетаю в коридор, но не успеваю сделать несколько шагов, как меня окликают — к телефону. Это Дима. Он успокаивает меня — Майе про Котьку сказал, она обещала разобраться. Меня это не утешает.

— Она так и сказала?

— Да, именно так.

— А ты ей рассказал, что он говорит?

— Рассказывать особенно не пришлось, но самое главное сказал...

Повесив трубку, вспоминаю, что не предупредила Диму о политзанятиях, — ведь я приду на полтора часа позже. И загоговок к ужину не успела сегодня сделать! А дозвониться в Димин «ящик» нелегко. Попробую позже, а сейчас скорее к Вале, пока никто не проскочил вперед!

Валя недовольна — я пришла недостаточно быстро. Ворчит:

— То бегают, бегают, то не дозовешься.

Сегодня у них производственное совещание, с четырех свободны все установки, если работать самостоятельно — пожалуйста. Тот, за кем это время, отказался.

С четырех? Это слишком поздно! Всего полтора часа, если б не было семинара. А он начинается в 16.45. И я не могу сегодня с него отпрашиваться, раз мне выступать. Значит, всего сорок пять минут. Объясняю Вале, но она не понимает.

— Вы просили, вот я вам и даю.

— Нельзя ли начать хоть на часик пораньше, хоть на одной установке?

— Нет, нельзя.

— Как же мне быть? — думаю я вслух.

— Уж не знаю. Решайте... А то отдам другим. Желающих много...

— А кто там пораньше, может, мне поменяться?..

— Нет уж, не устраивайте мне тут обменное бюро — и так у нас проходной двор...

Хорошо, мы берем это время — значит, в 16.00.

На обратном пути ломаю голову — как быть? Может, Люське отпроситься с занятий, провести несколько опытов? Только каждый образец надо измерить микрометром, обязательно каждый, хоть они изготовлены по стандарту... Сделает она это? А вычислить площадь поперечного сечения? Не признает она этой тщательности. Нет, Люську отставить. Кого еще можно просить — Зинаиду? Но она, наверное, забыла все это.

Значит, необходимо отпроситься с семинара.

Я сижу над дневником, составляю сводку вчерашних электроиспытаний, а в голове все вертится мыслишка, как бы мне удрать от всех да поработать в физико-механической до конца дня.

— А где Люся Вартановна? — спрашиваю я.

Все молчат. Неужели никто не знает? Ну, если так, то я пропала. Значит, Люся черная «ушла думать». В таких случаях она умеет скрываться так, что никто ее не найдет.

Внезапно наступает перерыв. Люся беленькая, наклонясь ко мне, говорит:

— Ты что, спишь, что ли, говори скорей, чего тебе, задерживаешь, ведь два часа.

Я начинаю соображать вслух, что мне надо, а Люська торопит:

— Ну, все, что ли?

— Все, — отвечаю я, — раз тебе некогда, то все!

— Ну, что злишься? — уступает Люська.

А я не злюсь, я просто не знаю, что мне делать.

И как раз в эту минуту телефон: «Воронкову просят срочно в проходную принять изделия с производства». Я кидаю Люське две трешницы:

— Купи что-нибудь мясное. — В дверях вспоминаю: — И чего-нибудь пожевать (я ведь еще не ела сегодня).

Внизу в проходной лежат выброшенные из пикапа три громоздких свертка с надписями: «В полимеры Воронковой» — первые опытные изделия из стеклопластика-1, выполненные на нашем экспериментальном заводе, — кровельные плитки, толстые короткие трубы. Поспешил Яков Петрович заказать, ведь состав изменен... Только место на стеллажах занимать будут.

Спрашиваю у вахтера, где Юра — наш рабочий, посыльный, «мальчик на подхвате». Только что был тут. Он всегда «только что» там был, где он нужен. Пробую найти его по телефону, но мне некогда. Беру один из свертков и тащу его по лестнице на третий этаж. Старый вахтер причитает, жалея меня, бранит Юру. Под этот аккомпанемент я потихоньку перетаскиваю все свертки к нам в лабораторию. Когда я тащусь с последним, меня догоняет Люська с нашими покупками:

— Оля, «лотос» дают в хозтоварах, я заняла очередь, кто б пошел, взяли бы на всех...

«Лотос» нужен, очень нужен, но я только машу рукой — не до «лотоса» мне, четвертый час, только успеть собраться в механическую и все-таки в программу заглянуть. Но Люси Маркорян все еще нет... Впрочем, я же решила — иду в механическую?! Вот съем, что мне Люська принесла, и умотаюсь. Но беленькая куда-то пропала — не за «лотосом» ли? Лезу к ней в сумку — две булки, два творожных сырка. Уж половина-то наверное мне.

Собираюсь потихоньку, образцы наши давно внизу, и без пяти четырех исчезаю.

Начну с маятникового копра. Замеряю первый брусок, закрепляю. Устанавливаю угол зарядки. Отпускаю маятник. Удар! Образец выдержал. Теперь увеличим нагрузку. Что это, я волнуюсь? Спортивный азарт. Ставка на стеклопласт-2: выдержит — не выдержит? Образец не разбивается при максимальной силе удара. Ура! Или еще рано кричать «ура»? Испытания на прочность на этом ведь не кончаются... А растяжение? Сжатие? Твердость?

Я погружаюсь в увлекательный спорт, в котором я тренер, а мой подопечный спортсмен — Пластик. Он прошел первый тур и готовится ко второму: опять измеряется толщина, ширина, опять вычисляется площадь поперечного сечения... Теперь новая машина, новая нагрузка...

Через некоторое время я нахожу на листе с подсчетами сдобную булку и творожный сырок. Вот интересно! Я уже съела булку и сырок на-

верху. Что это — приходила Люська? Я не заметила. Очень хорошо так работать — в темпе, молчаливо, один на один с делом.

Но вдруг до меня доходит моя фамилия, которую выкрикивают напористо и зло:

— Воронкова! Воронкова!! Да Воронкова же!!

Оглядываюсь. У дверей стоит Лидия.

— Занятия начинаются. Давай. И поскорей.— Выпалив это, она хлопает дверью.

Я сбрасываю уже измеренные образцы обратно в коробку, туда же кидаю микрометр, карандаш, листы бумаги с расчетами, а сверху хлопаю дневник испытаний.

На занятия собирается вся лаборатория — человек двадцать; проходят они в большой, соседней с нашей комнате. Забегаю к себе, сваливаю на стол все имущество, беру карандаш, тетрадку и с виноватым видом вхожу.

Говорит сам Зачураев, руководитель наш, отставной подполковник. Но как только я открываю дверь, он замолкает. Я прошу извинения и делаю попытку пробраться к Люсе Маркорян.

— Что ж вы так запаздываете? — сердится Зачураев.— Садитесь, вот же свободное место.— И он указывает на ближайший стул.— ...Давайте продолжим...— Зачураев вытаскивает платок из кармана и вытирает руки. Значит, сейчас перейдет к новому вопросу.

...Ужасно, что я так и не предупредила Диму о семинаре. Что он будет делать с детьми? Чем их накормит без меня? Ведь я утром ничего не успела приготовить к ужину... Как там Котька с его переживаниями? Я не уверена, что Майя Михайловна, если она «разбиралась», не причинила ему новых напрасных обид...

Занятия окончились. Бегом до комнаты, хватаю сумку и бегом же ло раздевалки.

Часы в вестибюле показывали четверть восьмого. Такси бы схватить, не домой, конечно, но хоть до метро!

Но такси не попало, и я бежала до троллейбуса, а потом бежала по эскалатору в метро, а потом до автобуса... И вся запыханная, потная, около девяти влетела в дом.

Дети уже спали. Гуленька у себя на кровати раздетая, а Котька одетый у нас на диване. В кухне за столом, заставленным грязной посудой, сидел Дима, рассматривал чертежи в журнале и ел хлеб с баклажанной икрой. На плите, выкидывая султан пара, бушевал чайник.

— Что это значит? — строго спросил Дима.

Я сказала коротко, каким был сегодняшний день, но он не принял моих объяснений — я должна была дозвониться и предупредить. Он прав, я не стала спорить.

— Чем же ты накормил детей?

Оказалось, черным хлебом с баклажанной икрой, которая им очень понравилась — «съели целую банку»,— а потом напоил молоком.

— Надо было чаем,— заметила я.

— Откуда я знаю,— буркнул Дима и опять уткнулся в журнал.

— А что Котька?

— Как видишь, спит.

— Я вижу. Я о садике.

— Ничего, обошлось. Больше не плакал.

— Давай разденем его, перенесем в кровать.

— Может, сначала все-таки поедим?

Ладно, уступаю. С голодным мужчиной бесполезно разговаривать. Поцеловав и прикрыв Котьку (он показался мне бледным и уставшим),

я возвращаюсь на кухню и делаю большую яичницу с колбасой. Ужинаем.

В доме полный бедлам. Все разбросанное в утренней спешке так и валяется. А на полу возле дивана ворох детских вещей — шубки, валенки, шапки. Дима не убрал, очевидно, в знак протеста — не опаздывай.

После яичницы и крепкого горячего чая Дима добреет. Вдвоем мы раздеваем и укладываем сына, убираем детскую одежду. Потом я отправляюсь на кухню и в ванную — убирать, стирать, полоскать...

Я легла только в первом часу. А в половине третьего мы проснулись от громкого Гулькиного плача. У нее заболел живот, сделался понос. Пришлось ее мыть, переодевать, перестилать постель, вталкивать в нее фталазол и класть грелку.

— Вот она, икра с молоком, — ворчала я.

— Ничего, — успокаивал Дима, — это так, разовое.

Потом я сидела возле Гульки, придерживая грелку, мурлыкала сонно «баю-баю-баиньки, под кустом спят зайньки...», голова моя лежала на свободной руке, рука на бортике кровати.

Легла я около четырех и, кажется, только закрыла глаза — будильник!

Пятница.

С утра меня песочат в нашей комнате за то, что я не подготовила вопроса, затянула занятия. Я покорно выслушиваю всех недовольных, прошу извиненья. А мысли мои выются вокруг ребят. Мы отвели Гульку в ясли, хотя следовало бы оставить ее дома. Оставить на один день можно и без справки, но без справки не можем обойтись ни я, ни Дима. А вызвать врача — значит, сказать, что было. Врач, конечно, pošлет на анализ, раз это желудочное. Анализ — значит, несколько дней... И мы отвели Гульку.

Меня быстро прощают, даже Лидия смягчилась. Марья Матвеевна сообщает — «строго между нами», — что с нового года у нас будет новый руководитель занятий — кандидат философских наук.

Переходим к своим делам. Пятница — конец недели: забот у всех куча. Что-то надо закончить по работе, выписать в библиотеке книги и журналы, назначить деловые встречи на понедельник, личные свиданья на выходные, в перерыв сделать маникюр или набойки... Нам, «мамашенькам», предстоят большие закупки на два дня.

И еще — надо заполнить анкету. Все как будто ждали до последнего дня, у всех возникли вопросы, и все потянулись в кадры за сведениями о больничных. Это решили провести организованно — командировали Люсю беленькую помочь в подсчетах.

Я знаю, ни у кого не будет столько дней по болезни, как у меня.

Но думать об этом некогда — и у меня, как у всех, полно дел. Надо разобраться в том, что я вчера сделала в механической. Все мое имущество, которое я вчера бросила на стол, так и лежит. Обидно, что я не использовала предложенное Валей время... Только бы не оправдалась Люськина информация насчет внеочередного заказа, которому дадут «зеленую улицу» по всем лабораториям. Или по крайней мере пусть это случится попозже. По расписанию на той неделе у нас в механической целый день. Будем работать втроем: я, их лаборантка, Люська. Может, и сделаем все, может, успеем?

Я переписываю в дневник результаты вчерашнего опыта, укладываю в коробку брошенные вчера образцы, рву и выкидываю черновики с

расчетами. Распаковываем с Люськой свертки с готовыми изделиями. Выставляю на стенд для обозрения несколько кусков листового стеклопластика, короткие трубы разного сечения. Пишу к ним этикетки. Сейчас сяду за сводный график, надо сделать так, чтобы осталось внести в него только новые испытания.

Но где же он? Вчера я над ним не работала. Позавчера положила его в свой ящик — под дневник. Там его нет. Вытаскиваю все из ящика на стол: графика нет. Перебираю все по листку — нет. Говорю себе «спокойно!», перекладываю все с правой стороны стола на левую. Нет! Может, затащила его вчера с дневником в механическую? Бегу к Вале. Нет, она не видела. Неужели пропала работа нескольких дней?

На меня находит какое-то оупение — сижу, уставившись в стену. Ничего не вижу, ни о чем не думаю. Потом замечаю табель-календарь, смотрю на него, и вдруг до меня доходит, что пятница 13 декабря — это сегодня. Еще вчера у меня было ощущение «вот начался декабрь», а тут пожалуйста — середина месяца и через две недели сдавать отчет. Успею ли я за эти четырнадцать дней... нет, за двенадцать, нет, даже за одиннадцать, закончить испытания в механической и электролаборатории, обобщить результаты, составить новый сводный график, написать отчет...

Я сижу, опустив руки, вместо того чтобы искать график, и думаю, что не могу успеть...

Вдруг мне на плечо ложится рука, и Люся черная, наклонившись ко мне, спрашивает:

— Где ты, Буратинка? Потерялась? Или что потеряла?

Люся? Как хорошо! Я чуть прикасаюсь к ее руке щекой. Все она понимает. Я действительно потерялась. Потерялась в туче дел и забот — институтских, домашних.

— Я потеряла сводный график результатов всех испытаний, такую таблицу.— Я показываю руками, какая она большая.— Все перетрясла, не понимаю...

— А это не она? — спрашивает Люся, прикоснувшись к белому листу, который лежит посредине стола.

Я беру лист, он раскрывается и превращается в мой график. Меня разбирает смех, я просто трясусь от смеха, закрываю рот руками, чтобы не было слышно, и смеюсь до слез. Смеюсь и не могу перестать. Люся хватает меня за руку, тащит в коридор, встряхивает и говорит:

— Перестань, сейчас же перестань!

Я стою, прижавшись спиной к стене, слезы текут у меня по щекам, и тихо постанываю от смеха.

— Оля, ты псих,— говорит Люся,— поздравляю, у тебя истерика!

— Сама ты псих,— отвечаю я ей ласково и прерывисто вздыхаю.— Истерика — это теперь не модно,— я вытираю мокрое лицо,— я просто смеюсь. У меня очень смешная жизнь. Одно за другим, не успеваешь ни на чем задержаться. Какой-то коктейль из мыслей и чувств. Нет, я не псих... А у тебя вон какие ямы под глазами. Ты что, опять не спишь? Вот ты и есть настоящий псих.

— Я-то давно псих. Но я старше тебя на шесть лет, и у меня дома, ты знаешь, всегда нервы... А ты держись: ты молодая, ты здоровая, у тебя чудесный муж.— Она стискивает мои руки своими худыми пальцами, мне больно от ее длинных ногтей, но я терплю. Она глядит остро прямо мне в зрачки, как будто гипнотизирует.— Ты умница, ты способная, ты полна сил... Ладно,— Люся отпускает мои руки,— давай закурим. Ах да, ты не...— Она сжимает зубами сигарету, щелкает зажигалкой и затягивается.— А зря — помогает. Впрочем, не стоит связываться.

Ну так: в перерыв мы с тобой идем в магазины, по дороге ты мне все расскажешь.

Мы идем по улице, я рассказываю про трудности с механической и Валей, про разговор с шефом, про Гулькин живот, про срок окончания испытаний — как я боюсь не успеть.

Люся слушает, кивает головой, то суживает глаза, то раскрывает их широко и говорит «да-да-да...» или бросает певучее «да-а-а?». Мне от этого уже становится легче. Несколько минут мы молчим.

— Буратинка, ты помнишь, тебя интересовало, кто придумал наш стеклопластик? Я обещала сказать тебе.

— Да, рассказать «преглупую историю».

— Точно. Это даже не история, а просто анекдот. Коротенький. Идея была моя, я сама подарила ее Якову. Не потому, что я такая богатая. А потому, что я была беременна. И уже совсем решила родить второго... Не подумай, что Сурен меня допек. Сама решила, Маркуше так лучше. Работать потом я долго бы не смогла, я знала. Пусть, думаю, без меня делают. И подарила.

— Ну и... ?

— Что?

— А ребенок? Что же случилось?

— Ничего. Испугалась в последнюю минуту. Сделала аборт. Как всегда, втайне от Сурена.

— Как — «втайне»?

— Так, «еду в командировку» на пять-шесть дней...

Я нахожу Люсину руку и не выпускаю ее. Так мы шагаем рядом. Шагаем и молчим.

В магазинах, где толчея и спешка сегодня больше обычного, мы нагружаем до полна четыре сумки и в три часа отправляемся в обратный путь. Я тащу довольно бодро, а Люся просто переламывается под своей ношей. Вдруг навстречу Шурочка:

— А я решила на подмогу.

Прошу ее взять сумку у Люси, Люся — у меня. Наконец ставим Шурку посередине и несем четыре сумки втроем. Приходится спуститься с тротуара, каждую минуту мы останавливаемся — пропустить машину.

— Девочки, примите нас в долю! — кричат нам двое встречных парней.

— У нас свои мальчики, — отвечаю я. Мне весело оттого, что день солнечный, что мы перегородили всем дорогу, оттого, что нас трое...

Оттого, что я не одна.

Приходим, и тут же появляется Люся беленькая с подсчетами «больших дней». Я, конечно, на первом месте, как я и думала. По больничным и справкам у меня пропущено семьдесят восемь дней, почти треть рабочего времени. И все из-за ребят. Все списывают свои цифры, значит, все видят, что у кого. Не пойму, почему мне так неловко. Даже стыдно. Я как-то сжимаюсь, избегаю смотреть на всех. Почему это так? Я ведь ни в чем не виновата.

— Вы заполнили анкеты? — спрашивает Люська. — Дайте посмотреть.

Но мы также не знаем, как подсчитать время — на что сколько его идет. «Мамашеньки» совещаются. Решаем, что надо обязательно указать время на дорогу — все мы живем по новостройкам, на дорогу тратим в день около трех часов. «Занятия с детьми» никому не удастся выделить — мы «занимаемся» с ними меж другими делами. Как говорит Шура: «Мы с Сережкой весь вечер на кухне, он за день наскучается, так и не отходит от меня».

— Так как же писать про детей? — недоумевает Люся беленькая.
 — Какую же неделю подсчитывать — вообще или конкретно эту? — спрашивает Шура.

— Любую, — отвечает Люся черная, — разве не все они одинаковы?
 — А я не каждую неделю хожу в кино. — У Люськи новые затруднения.

— Что голову ломать, — говорю я, — я беру эту неделю. Неделя как неделя.

Глупый вопрос — заключаем мы. Разве можно подсчитать время на домашние дела, даже если ходить всю неделю с секундомером в руках. Люся Маркорян предлагает указать общее время, что остается от рабочего дня и дороги, а потом перечислить, что на это время приходится. Мы удивлены — оказывается, для дома у нас есть от сорока восьми до пятидесяти трех часов в неделю. Почему же их не хватает? Почему столько несделанного тянется за нами из недели в неделю? Кто знает?

Кто действительно знает, сколько времени требует то, что называется «семейная жизнь»? И что это такое вообще?

Я беру свою анкету домой, Люся черная гоже. Надо еще успеть до конца дня проверить разные дела.

Путь к дому сегодня нелегок. В руках две тяжеленные сумки — куплено все, кроме овощей. В метро приходится стоять — одна сумка в руках, другая под ногами. Толкучка. Читать невозможно. Стою и считаю, сколько истратила. Всегда мне кажется, что я потеряла деньги. Были у меня две десятки, а сейчас одно серебро. Не хватает трешника. Пересчитываю опять, вспоминаю покупки, что лежат в сумках. Второй раз уже выходит, что я погерила четыре рубля. Бросаю это, начинаю разглядывать тех, кто сидит. Многие читают. У молодых женщин в руках книжки, журналы, у солидных мужчин — газеты. А вон сидит голстяк в шапке пирожком, смотрит «Крокодил», лицо мрачное. Молодые парни отводят взгляд в сторону, сонно прикрывают глаза, лишь бы не уступить место.

Наконец «Сокол». Все выскакивают и бросаются к узким лестницам. А я не могу — пакеты с молоком, яйца. Плетусь в хвосте. Когда подхожу к автобусу, очередь машин на шесть. Попробовать сесть в наполнившуюся? А сумки? Все ж я пытаюсь влезть в третий автобус. Но сумки в обеих руках не дают мне ухватиться, нога срывается с высокой ступеньки, я больно ударяюсь коленкой, в этот момент автобус трогается. Все кричат, я визжу. Автобус останавливается, какой-то дядька, стоящий у дверей, подхватывает меня и втягивает, я валюсь на свои сумки. Колено болит, в сумке наверняка яичница. Зато мне уступают место. Сидя я могу взглянуть на коленку, на дырявый чулок в крови и грязи, открыть сумки и убедиться, что раздавлено лишь несколько яиц и смят один пакет молока. Ужасно жалко чулки — четырехрублевая пара!

Как только я открываю дверь, все выбегают в переднюю — ждут! Дима берет из моих рук сумки и говорит:

— Сумасшедшая!

Я спрашиваю:

— Как Гулькин животишка?

— Ничего, все в порядке.

Котька прыгает на меня и чуть не сбивает с ног, Гулька требует немедленно «ляписин», который она уже заприметила. Я показываю свою коленку и. прихрамывая, иду в ванную. Дима тащит йод и вату, все меня жалеют — мне очень хорошо!

Я люблю вечер пятницы: можно посидеть подольше за столом, повозиться с ребятами, уложить их на полчаса позже. Можно не стирать, можно сесть в ванну...

Но сегодня после бессонной ночи ужасно хочется спать, и мы, уложив ребят, бросаем все в кухне как есть.

Я уже легла, Дима еще в ванной. Уже сон тяжелит мое тело, но вдруг мне представляется, что Дима по привычке заведет будильник. Сую его под диван со словами «сиди и молчи». Но его тиканье пробивает толщу дивана. Тогда я выношу его на кухню и запираю в шкафчик с посудой.

Суббота.

В субботу мы спим долго. Мы, взрослые, проспали бы еще дольше, но ребята встают в начале девятого. Утро субботы — самое веселое утро: впереди два дня отдыха. Будит нас Котья, прибегает к нам — научился опускать сетку в своей кровати. Гулька уже прыгает в своей кровати и требует, чтобы мы ее взяли. Пока ребята возятся с отцом, кувыркаются и пищат, я готовлю громадный завтрак. Потом отправляю детей с Димой гулять, а сама принимаюсь за дела. Прежде всего ставлю варить суп. Дима уверяет, что в столовой суп всегда невкусный, дети ничего не говорят, но суп мой всегда едят с добавкой.

Пока суп варится, я убираю квартиру — вытираю пыль, мою полы, трясую одеяла на балконе (что, конечно, нехорошо, но так быстрее), разбираю белье, намачиваю свое и Димино в «лотосе», собираю для прачечной, а детское оставляю на завтра. Провертываю мясо для котлет, мою и ставлю на газ компот, чищу картошку. Часа в три обедаем. Для ребят это поздно, но надо же им хоть в выходной погулять как следует. За столом сидим долго, едим не спеша. Детям надо бы поспать, но они уже перетерпели.

Котья просит Диму почитать «Айболита», которого он давно уже знает наизусть, они устраиваются на диване, но Гуля лезет к ним, капризничает и рвет книжку. Надо Гульку все-таки уложить, иначе жизни никому не будет. Я ее баюкаю (что не полагается), и она засыпает.

Теперь мне надо заняться кухней — вымыть плиту и почистить горелки, убрать шкафчики с посудой, протереть пол. Потом вымыть голову, постирать намоченное, погладить детское, снятое с балкона, вымыться, починить колготки и обязательно пришить крючок к поясу.

Диме надо сходить в прачечную, Котья не отпускает его, приходится брать мальчика с собой (что нехорошо — очередь, духота, грязное белье, — но они берут санки, на обратном пути еще погуляют, продышатся).

Зато я остаюсь одна и могу развернуться с уборкой кухни и прочими делами. В семь «мужчины» возвращаются и требуют чая. Тут я спохватываюсь, что Гулька все еще спит (я про нее забыла). Бужу ее, она поднимает отчаянный рев. Передаю ее Диме, чтобы делать ужин. Хочу управиться пораньше, сегодня надо купать детей. Гулька за столом канючит — не хочет есть, она еще не проголодалась. Котя ест хорошо — нагулялся.

— Завтра целый день дома, — говорит он и смотрит на отца и на меня.

— Конечно, завтра же воскресенье, — успокаиваю его я.

Котья уже трет глаза, хочет спать.

Наливаю воду и мою Котьку первого, а Гулька ревет, лезет в ванную и раскрывает дверь.

— Дима, возьми дочку! — кричу я.

И слышу в ответ:

— Может, на сегодня уже хватит? Я хочу почитать.

— А я не хочу?!

— Ну, это твое дело, а мне надо.

Мне, конечно, не надо.

Я ташу Котьку в кровать сама (обычно это делает Дима) и вижу, как он сидит на диване, раскрыв какой-то технический журнал, и действительно читает. Проходя, я бросаю:

— Между прочим, я тоже с высшим образованием и такой же специалист, как и ты...

— С чем тебя можно поздравить, — отвечает Дима.

Мне это кажется ужасно ядовитым, обидным.

Я тру Гульку губкой и вдруг начинаю капать в ванну слезами. Гулька взглядывает на меня, кричит и пытается вылезти. Я не могу ее усадить и даю ей шлепок. Гулька закатывается обиженным плачем. Появляется Дима и говорит зло:

— Нечего вымещать на ребенке.

— Как тебе не стыдно, — кричу я, — я устала, понимаешь ты, устала!..

Мне становится ужасно жаль себя. Теперь уже я реву вовсю, приговаривая, что я делаю-делаю, а не сделанного все прибавляется, что молодость проходит, что за день я не сидела ни минуты...

Вдруг из детской доносится страшный крик:

— Папа, не бей маму, не бей маму!

Дима хватает Гульку, уже завернутую в простынку, и мы бежим в детскую. Котька стоит в кровати весь в слезах и твердит:

— Не бей маму!

Я беру его на руки и начинаю утешать:

— Что ты такое придумал, маленький, папа никогда меня не бил, папа у нас добрый, папа хороший...

Дима говорит, что Коте приснился страшный сон. Он гладит и целует сына. Мы стоим с ребятами на руках, тесно прижавшись друг к другу.

— А почему она плачет? — спрашивает Котя, проводя ладошкой по моему мокрому лицу.

— Мама устала, — отвечает Дима, — у нее болят ручки, болят ножки, болит спинка.

Слышать это я не могу. Я сую Котьку Диме на вторую руку, бегу в ванную, хватаю полотенце и, закрыв им лицо, плачу так, что меня трясет. Теперь уж не знаю о чем — обо всем сразу.

Ко мне подходит Дима, он обнимает меня, похлопывает по спине, гладит и бормочет:

— Ну, хватит... ну, успокойся... ну, прости меня... ну, перестань...

Я затихаю и только изредка всхлипываю. Мне уже стыдно, что я так распустилась. Что, собственно, произошло? Сама не могу понять.

Дима не дает мне больше ничего делать, он укладывает меня, как ребенка, приносит мне чашку горячего чая. Я пью, он закутывает меня, и я засыпаю под звуки, доносящиеся из кухни, — плеск воды в мойке, стук посуды, шарканье шагов.

Я просыпаюсь и не сразу могу понять, что сейчас — утро, вечер, и какой день? На столе горит лампа, прикрытая поверх абажура газетой. Дима читает. Мне видна только половина его лица: выпуклина лба, светлые волосы — они уже начинают редеть, — припухлое веко и худая щека — или это тень от лампы? Он выглядиг усталым. Бесшумно пере-

ворачивает он страницу, и я вижу его руку с редкими рыжеватыми волосками и обкусанным ногтем на указательном пальце. «Бедный Димка, ему тоже порядком достается,— думаю я,— а тут еще я разревелась, как дура... Мне тебя жалко. Я тебя люблю...»

Он выпрямляется, смотрит на меня и спрашивает, улыбаясь:

— Ну как ты, Олька, жива?

Я молча вытаскиваю руку из-под одеяла и протягиваю к нему.

Воскресенье.

Мы лежим, просто лежим,— моя голова упирается в его подбородок, его рука обнимает меня за плечи. Мы лежим и разговариваем о всякой всячине: о Новом годе и елке, о том, что сегодня надо съездить за овощами, что Котьке не хочется ходить в садик...

— Дим, как ты думаешь, любовь между мужем и женой может быть вечной?

— Мы ведь не вечны...

— Ну, само собой, может быть долгой?

— А ты уже начинаешь сомневаться?

— Нет, ты мне скажи, что, по-твоему, такое, эта любовь?

— Ну, когда хорошо друго с другом, как нам с тобой.

— И когда рождаются дети...

— Да, конечно, рождаются дети.

— И когда надо, чтобы они больше не рождались.

— Ну что ж. Такова жизнь. Любовь — часть жизни. Давай-ка вставать.

— И когда поговорить некогда.

— Ну, говорить — это не самое главное.

— Да, наверное, далекие наши предки в этом не нуждались.

— Что ж, давай поговорим... О чем ты хотела?

Я молчу. Я не знаю, о чем я хотела. Просто хотела говорить. Не об овощах. О другом. О чем-то очень важном и нужном, но я не могу сразу начать... Может быть, о душе?

— У нас в коробке последняя пятерка,— говорю я.

Дима смеется: вот так разговор.

— Что ты смеешься? Вот так всегда — говорим только о деньгах, о продуктах, ну, о детях, конечно.

— Не выдумывай, мы говорим о многом другом.

— Не знаю, не помню...

— Ладно, давай лучше вставать.

— Нет, о чем «о другом»? Например?

Мне кажется, что Дима не отвечает очень долго. «Ага, не знаешь», — думаю я злорадно. Но Дима вспоминает:

— Разве мы не говорили о прокуроре Гаррисоне? О космосе — много раз?.. О фигуристах — обсуждали, спорт это или искусство... О войне во Вьетнаме, о Чехословакии... Еще говорили о новом телевизоре и четвертой программе, — продолжает добросовестно вспоминать Дима темы наших разговоров. — Кстати, когда ж мы купим новый телевизор?

— Так вот я и говорю: в коробке у нас одна пятерка...

— Есть же фонд...

Мы начали откладывать «фонд приобретений». Он хранится в моей старой сумке, а в коробке лежат деньги на текущие расходы.

Нам много чего надо — Диме плащ, мне туфли, обязательно платье, ребятам летние вещи. А телевизор у нас есть — старый «КВН-49», брошенный тетей Соней.

— До телевизора еще далеко, фонд растет у нас плохо, — говорю я.

— Мы же решили не проедать все деньги, что же ты? — укоряет меня Дима.

— Не знаю, вроде бы все, как обычно, а вот — не хватает.

Дима говорит, что так у нас никогда ничего не будет. А я отвечаю ему, что я трачу только на еду.

— Значит, тратишь много.

— Значит, ешь много.

— Я много ем?! — Дима обижен. — Еще новости, давай начнем считать, кто сколько ест!

Мы уже не лежим, а сидим друг против друга.

— Прости, я говорю: мы, мы много едим.

— Что ж я могу с этим поделаться?

— А я что?

— Все-таки ты хозяйка.

— Скажи, чего не покупать, я не буду. Давай молоко не будем брать.

— Давай лучше прекратим этот глупый разговор. Если ты не способна соображать в этом деле, так и скажи.

— Да, да, да, я не способна соображать. Я глупа, и все, что я говорю, глупо... — Я вскакиваю и ухожу в ванную.

Там я открываю кран и умываю лицо холодной водой. «Перестань, сейчас же прекрати», — говорю я себе. Сейчас я влезу под душ, сейчас приведу себя в норму. Отчего я злюсь? Не знаю.

Может, оттого, что я вечно боюсь забеременеть. Может, от таблеток, которые я глотаю. Кто знает?

А может, она вообще не нужна мне больше, эта любовь?

От этой мысли мне становится грустно, жаль себя, жаль Диму. Жалость и теплая вода делают свое дело — из-под душа я выхожу подбравшая и освеженная.

Ребята визжат и хохочут — расшалились с отцом. Достаяю им все чистое, мы их одеваем.

— Вот какие у нас красивые дети, — говорю я и зову их на кухню накрывать вместе на стол, «пока папа умывается».

Во время завтрака проходит короткая планерка. Что сегодня надо сделать: съездить в овощной, постирать детское, все перегладить...

— Бросай все, пойдем гулять! — заключает Дима. — Смотрите, какое солнышко!

— Мама, мамочка, пойдем вместе с нами, — упрасивает Котька, — посмотрим на солнышко!

Я сдаюся — отодвину свои дела на после обеда.

Снаряжаемся, берем санки и отправляемся на канал кататься с гор. Съезжаем все по очереди, а Гулька то с Димой, то со мной. Горка крутая, накатанная, санки летят, из-под ног брызжет снежная пыль, переливается радужно, а кругом сияет и слепит снег. Иногда санки переворачиваются, ребята пищат, мы все смеемся. Хорошо!

Возвращаемся домой заснеженные, голодные, веселые. Пусть уж Дима сначала поест, потом поедет. Варю макароны, подогреваю суп и котлеты. Ребята сразу же уселись за стол и смотрят на огонь под кастрюлями.

После прогулки я очень повеселела. Уложив детей и отправив Диму в овощной рейс, я берусь сразу за все — бросаю в таз детское белье,

мою посуду, стелю на стол одеяло и достаю утюг. И вдруг решаю — подкорочу-ка я эту свою юбку. Что я хожу, как старуха, с наполовину закрытыми коленками! Я быстро отпарываю подпушку, прикидываю, сколько загнуть, остальное отрезаю. За этим делом и застает меня Дима, притащивший полный рюкзак.

— Видишь, Оляка, как тебе полезно гулять.

Конечно, полезно. И кончив приметку, я надеваю юбку. Дима хмыкает, оглядев меня, и смеется:

— Завтра будет минус двадцать, будешь обратно пришивать. А в общем, ножки у тебя славные.

Я включаю утюг — загладить подол. Потом подошью, и готово!

— Погладь мне заодно брюки, — просит Дима.

— Дим, ну пожалуйста, погладь сам, я хочу кончить юбку.

— Ты же все равно гладишь.

— Дим, совсем это не «все равно», я тебя прошу, дай мне кончить. Мне еще ребячье стирать, вчерашнее гладить.

— Так зачем же ты занимаешься ерундой?

— Дим, давай не будем обсуждать это, прошу тебя, погладь сегодня свои брюки сам, мне надо дошить.

— А куда ты завтра собираешься? — спрашивает он с подозрением.

— Ну, куда?! На бал!

— Понятно. Просто я подумал, что у вас там что-нибудь такое.

— Может быть, и «такое», — напускаю я туману (надо же мне спокойно подшить юбку и как-то отделаться от брюк). — Ты помнишь, я тебе говорила про анкету. Сегодня я должна ее заполнить: завтра придут демографы — анкеты собирать, с нами беседовать...

— А! (О господи, он, кажется, думает, что ради этой встречи я решила укоротить юбку!)

Я шью и рассказываю Диме, что подсчитали наши дни «по болезни», что у меня семьдесят восемь дней — почти целый квартал.

— А что, Оляка, может, тебе лучше не работать? Подумай, ведь почти половину года ты сидишь дома.

— А ты хочешь засадить меня на весь год? И разве мы можем прожить на твою зарплату?

— Если меня освободить от всех этих дел, — Дима повел глазами по кухне, утюгу, рюкзаку, — я мог бы зарабатывать побольше. Уж двести — двести двадцать я бы наверняка обеспечил. Ведь фактически, если вычесть все неоплачиваемые дни, ты зарабатываешь рублей шестьдесят в месяц. Нерентабельно!

— Фигушки, — говорю я, — фигушки! Мы на это несогласные! Значит, всю эту скукотину, — я тоже оглянула кухню, — на меня одну, а себе только интересное. Подумаешь, «нерентабельно»... Капиталист!

— Действительно, капиталист, — Дима усмехается, — не в деньгах только дело. Дети бы от этого выиграли. Детский сад — еще ничего, а вот ясли... Гулька же зимой почти не гуляет. А эта бесконечная протуда?!

— Дима, неужели ты думаешь, что я не хотела бы сделать так, как лучше детям? Очень хотела бы! Но то, что предлагаешь ты, это просто... меня уничтожить. А моя учеба пять лет? Мой диплом? Мой стаж? Моя тема? Как тебе легко все это выбросить — швырк, и готово! И какая я буду, сидя дома? Злая, как черт: буду на вас ворчать все время. Да вообще о чем мы говорим? На твою зарплату мы не проживем, ничего другого, реального, тебе пока не предлагают...

— Не обижайся, Оля, ты, вероятно, права. Не стоит об этом говорить. Зря я начал. Просто мне примерещилась какая-то такая... разумно устроенная жизнь. И то, что я, если не буду спешить за ребятами, смогу работать иначе, не ограничивать себя... Может быть, это эгоизм, не знаю. Кончим об этом, ладно.

Он уходит из кухни, я гляжу ему вслед, и вдруг мне хочется окликнуть его и сказать: «Прости меня, Дима». Но я этого не делаю.

— Э-э, хали-гали, пора вставать! — кричит Дима из передней.

Это наши «позывные». Он поднимает Котю и Гулю, ребята пьют молоко, две минуты мы решаем, идти ли еще гулять, и — отказываемся. Если гулять, значит, от вечера ничего не останется. Дима находился, а у меня еще много дел.

Котька усаживается на полу с кубиками. Он любит строить, и у него получаются дома, мосты, улицы и еще какие-то нагромождения, которые он называет «высотный дворец». Но беда с Гулькой — она лезет к брату, хочет разрушать, хватает кубики, уносит и прячет.

— Мама, скажи ей! Папа, скажи ей! — то и дело взывает к нам Котя.

Никакие слова на Гульку не действуют — она смотрит ясно и прямо говорит:

— Гуля хóтит бить дом.

Тогда я делаю ей «дочку». «Дочка» — это набитый тряпьем маленький комбинезон. В капюшон я вкладываю подушечку, обернутую в белое, рисую лицо. С куклами Гуля не ладит, а «дочку» таскает по всему дому, разговаривает с ней.

Воскресный вечер проходит мирно и тихо. Дети играют, Дима читает, я стираю и делаю ужин. «Не забыть бы пришить крючок к поясу», — повторяю я несколько раз. Остальное, кажется, все! Да, еще заполнить анкету. Ну, это когда дети лягут.

Поужинав, покапризничав — не хотят кончать свои воскресные дела, — ребята собирают разбросанные кубики. Находим те, что попрятала Гуля, — под ванной, в передней в моих сапогах. Моем руки, мордашки, чистим зубы, осуждаем Гульку, которая вырывается и кричит:

— Гуля хóтит гязная.

И, наконец, укладываемся.

Время еще есть. Почитать? А может, посмотреть телевизор? Ах, да — анкета! Сажусь с ней за стол. Дима заглядывает через мое плечо и делает критические замечания. Я прошу его не мешать, я хочу поскорей кончить. Готово. Теперь возьму книгу и сяду с ногами на диван. Выбираю у книжного шкафа. Может, приняться наконец за «Сагу о Форсайтах»? Дима подарил мне эти два тома в позапрошлый день рождения. Нет, не смогу я ее прочесть — как я буду возить с собой такую толстую книгу? Отложим еще раз до отпуска. Я выбираю что полегче — рассказы Сергея Антонова.

Тихий воскресный вечер. Сидим и читаем. Минут через двадцать Дима спрашивает:

— А что же мои брюки?

Сходимся на том, что брюки глажу я, а он читает мне вслух. Антонова Дима не хочет, а берет последний номер «Науки». Мы его еще не смотрели. Он начинает читать статью Вентцеля «Исследование операций», но мне трудно воспринимать на слух формулы. Тогда Дима уходит из кухни, и я остаюсь одна с его брюками.

Я уже лежу в постели, Дима заводит будильник и выключает свет. Тут я вспоминаю про крючок. Ни за что не встану, провались он.

Среди ночи я просыпаюсь, не знаю отчего. Мне как-то тревожно. Поднимаюсь тихонько, чтобы не разбудить Диму, иду взглянуть на детей. Они разметались — Котя сбил одеяло, Гулька съехала с подушки, высунула ножку из кровати. Укладываю их, закрываю, трогаю и поглаживаю головки — не горячие ли. Ребята вздыхают, причмокивают и опять посапывают — спокойно, уютно.

Что же тревожит меня?

Не знаю. Я лежу на спине с открытыми глазами. Лежу и вслушиваюсь в тишину. Вздыхают трубы отопления. У верхних соседей тикают стенные часы. Мерно отстукивает время маятник наверху, и это же время сыплет дробью, мельтеша и захлебываясь, будильник.

Вот и кончилась еще одна неделя, предпоследняя неделя этого года.



АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

НА РОДИНЕ

* * *

Зеленые дали померкли.
Но осень суха и чиста.
По старой, разрушенной церкви
Узнаю родные места.

Динамик гремит у дороги
О первых полетах к Луне.
Давно позабыли о боге
В родимой моей стороне.

Трава зеленеет привольно
В проломах заброшенных стен.
Взбираются на колокольню
Рогатые черти антенн.

И только у края покоса
Над желтой осенней парчой
Тревожно мерцает береза
Нетаящей тонкой свечой.

УГЛЯНЕЦ

За стылым лесом, за болотом,
Где сизый дым в траву упал,
Ходили куры под заплотом
Из старых, прокопченных шпал.

Еще там мельница стояла,
Четыре сумрачных крыла.
И сено желтое пылало
На взгорке около села.

Мы просто мимо проходили.
Был виден домик и заплот.
И весело зенитки били
В большой зеленый самолет.

И не попали, не попали,
Хотя так низко он летел!

И черные дымки пропали
Вдали, где ельничек редел.

И плечи тер тяжелый ранец.
И на ходу сказали мне,
Что рядом здесь село Углянец.
Оно осталось в стороне.

Лишь помню руки сбитых веток,
Шальную кошку на избе...
Да был ли он, Углянец этот,
Когда-нибудь в моей судьбе?

Но в памяти, где брезжит юность,
Все догорает тот стожок,
Который там
Тот самый «юнкерс»
Своими пулями зажег.

* * *

Невыразимой сладкой тишью
Полны осенние луга.
И с высоты следит за мышью
Проворный сокол пустельга.

То на высокий провод сядет,
То снова вьет свои круги.
А у болота ветер гладит
Сухие заросли куги.

И ничего не надо больше:
Смотреть на чистые поля,
На облетающие роши
Желтеющего сентября.

Смотреть бездумно и беспечно
С ребячьей радостью вокруг —
Как будто жизнь чиста и вечна,
Как этот золоченый луг.

Как будто может повториться
На том печальном рубеже
И эта даль,
И эта птица,
И этот лютик на меже.

* * *

Тихое поле над логом.
Чистый холодный овес.
И за обветренным стогом
Рошица тонких берез.

Родина! Свет предосенний
Неомраченного дня.
Желтым потерянным сеном
Чуть золотится стерня.

Бледные ломкие стебли
Жмутся к косому плетню.
Эту неяркую землю
Каждой кровинкой люблю.

Если назначена доля
Мне умереть за нее —
Пусть упаду я на поле,
В это сухое жнивье.



МАРА ГРИЕЗАНЕ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

РЫБАКИ

Рыбаки уходят в море
и очаг свой покидают —
забирают снасти, трубки
и коробки с табаком,
фотографии ребячьи
и сухих плащей громады —
только сердце оставляют
на родимом берегу.

ИЮЛЬ

У июльской тучи
черная одежда,
красная застежка
и шаги летучи.
У июльской речки
все, как у овечки:
блеет потихоньку,
млеет полегоньку...
Ты, июльский ветерок,
глупый синий голубок,
пролети над Русью —
навести бабусю:
бабушка — глухая,
зрением плохая, —
лето в кринки льет,
внучку в гости ждет.

ЯНВАРЬ

Уютные зимние краски,
как бабкины добрые сказки —
ах, баюшки-баю-баю!..
Уютные зимние звуки,
как бабкины добрые руки,
качают избушку мою...
Под корочкой зимнего неба
прозрачную корочку хлеба
клюет воробей налегке.
Под крышей огромная капля
стоит, как бездомная цапля,
на длинной прозрачной ноге.



НИКОЛАЙ ВОРОНОВ

★

ГОЛУБИНАЯ ОХОТА

Повесть

Петька Крючин был счастливым! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишеской поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота у него были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя. А над тобой издевался какой-нибудь Федька Печёрников, у которого уже росли усы, и так тебя допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего, а ты безотцовщина, и мать и бабушка не разрешают заводить голубей, потому что и барак против этого, и учиться я тогда буду совсем плохо.

Я назвал Петьку счастливым не потому, что раньше считал его счастливым: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между моим положением и Петькиным, но и это тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ни в чем не мог быть равнозначен ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов цирка, лишь бы я согласился жить не с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.

Вероятно, еще и потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смиренно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял. Стоял так, куда не понадоблюсь.

Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснетя, а потом уж и не улежит в постели. Чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков.

И мы, конечно, поднимаемся рано. Мы ему нужны. И если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми — не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет, и словно нет тебя во дворе.

Но обычно бывало иначе. Тыходишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый а на редкость зоркий. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Сашу Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими

спинами, курит, выпуская дым под рубашку: Петька ненавидит куряк), Колесника по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы), — посылает сбегают то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани. Отец этого Жоржика был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, он надумал остаться в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.

Прибывав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле чужих будок. Если нам удавалось подслушать, что кто-то из них собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Тогда Петька давал нам турманов — Лебедей, Рябых, Краснохвостых, Желтых, Бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби вводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, — тут хмуроватый, малоповоротливый Петька становился проворно-резким. Он швырял из будки нелетных голубей: или засидевшихся — они выводили птенцов и отяжелели, отвыкли летать, или обдерганных, связанных в крыльях, или пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька непрерывно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметенную землю. Петька бросал горсть зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшеничке, и он не прочь полакомиться, и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями, а то и забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.

Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, жесть не сдирали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.

После этого от зари до зари топтался он возле будки — лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби, умные, натасканные; где только не выбрасывал он их на дальних окраинах — и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Однако неделя миновала, а голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пары Краснохвостых и Лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом — у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое. Ни слова не говоря, я достал из гнезд Краснохвостых и Лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут. С оглядкой шагал до трамвая: мне пришлось отмахиваться и от самого Банана За Ухом, и от его приспешников.

Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы посадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола, но не сумели — на пшеницу не позарился, а как только потеснили к открытой двери, и он взлетел на конек будки, — Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом,

чего раньше себе не позволял. Я ушел. Даже у барака слышен был его несправедливый крик.

Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добыюсь хороших отметок, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и не буду переплывать пруд в том месте, где ширина около двух километров.

Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане — отцом. Мы переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того, как Урал перегородили плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его перенесли на холм. Где закопали прах Александра Ивановича, бабушка не знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик возле могилы крендели, шанги, яички, конфеты — для нищих, для детей и для всякой божьей твари. Все это она посыпала серебряными монетами, вынутыми из кармана фартука, который по-деревенски назывался запонком.

Теперь, едва она начала спускаться к перевозу, мы упросили ее отпустить нас в станицу. Здесь было много голубей, и продавали их дешевле, чем в городе. На околице стоял пятистенник бородатого взрывника, рвавшего железную руду на горе Атач. Мы застали дома взрывника, и он продал нам пару турманов: чубарую голубку — по серому рыжий крап, и голубя, белого, в черных пятнах, как бы разрисованных коричневыми зигзагами, за свою масть носившего кличку Страшной, но совсем не страшного, а наоборот — красавца: розовые лапки в светлых чулочках, вокруг головы кудрявый воротник, на груди темное жабо и по тому жабо — зеленые сполохи.

Я совершил покупку на выгодных условиях: с отдачей голубей после первого прилета, с выкупом за половинную цену — после второго. Хотя у меня было впечатление, что взрывник добр, я опасался подвоха: вдруг да спрячет прилетевших голубей да так турнет из станицы, что ноги впереди тебя будут бежать.

Когда голубятник не надеется, что голуби быстро приживутся к его дому, то он обрывает их: выдергивает из крыльев маховые перья; кто обрывает одно крыло, кто оба крыла. Расчет прост: пока перья вырастут — голуби привыкнут к новому дому. Я собрался обдергать Страшного на одно крыло, но раздумал: вырастая, маховые перья становятся короче и Страшной станет косокрылеть — другое крыло у него будет длинней. Я решил держать голубей в связках. Связки портят крылья, и голуби маются в них. Да что поделаешь? Саня развернул крыло Страшного. Нитку, сложенную вчетверо, я завязал на крайнем маховом пере и поочередно притянул к нему остальные маховые перья. Связали мы и Чубарую. Перед тем как выпустить голубей на пол, мы с Саней сбегали на базар за коноплей, пожарив ее на сковороде, высыпали на фанерное сиденье, вышибленное из венского стула. В жестяную банку с водой подмешали меду. Из разговоров голубятников я знал: чтобы приучить умных голубей, их надо кормить жареной коноплей, а поить подслащенной водичкой. Привада эта безотказная.

Страшной и Чубарая наперегонки клевали коноплю и воду пили охотно и жадно и все-таки после этого тянули вверх головы, выбирая, куда бы взлететь, а также упорно сдвигали клювами связки, стараясь от них освободиться.

Пришел Петька, весело ухмылялся. Мучительно вертелись турманы, каждый топырил свое стянутое крыло. Лицо Петьки стало жалостливым. Я спросил его:

— Петь, как будем жить?

Он ответил жестко.

— Жить будем без отдачи.

— Хорошо! — с вызовом сказал я.

— Краснохвостая снесла яйцо, — вдруг сказал он. Вероятно, решил идти на попятную. — Договор утвердим такой: на молодняков — с отдачей, на старичков — без отдачи.

— Нет.

— Почему?

— Без отдачи так без отдачи.

— Не дам я тебе развести голубей, раз ты такой гордый.

— Смотри, как бы я не переловил твою дичь.

— До моей дичи у тебя нос не дорос.

— Еще как дорос! Хвальбушка.

— Мои откуда хочешь прилетят, хоть из Троицка, хоть из Челябины.

— Ни один не прилетел. Ежели б не я, сидел бы с пустой голубятней.

— Мы это запомним, Кольша. Буду ловить и головы рвать. Ни тебе. Ни себе.

— Голуби не виноваты. Ты мне рви башку, ежели я виноват, а их не трогай.

— Пашке скажу — он тебя через колено переломит.

— А я на Пашку поджиг сделаю.

— Конопельки нажарил...

— Иди, куда есть на чем ходить.

Внезапно мне сделалось смешно: уж больно я рассвирепел. Я приснул, Саня подхватил мой смех. А Петька почему-то растерялся и юркнул за угол барака.

Скоро на другом конце барака появились Тюля и Генка Надень Малахай. Балаганы, будки, сарай тянулись вдоль барака; между ними и бараком было расстояние длиной в телеграфный столб. Сразу же от баракон стелились полоски картофельных грядок чуть шире комнатных окон. Генка вел сивого Тюлю тропкой между огородиками и хозяйственных строениями. Я не углядел, что руки у них за спиной. В это время я приготовился, чтобы схватить в воздухе Страшного: он метил взлететь на стальную трубу, вогнанную в землю вместо кола.

Когда я услышал хлопанье крыльев и обернулся, то увидел Лебедя с Лебедкой, летевших прямо на меня. Если бы я сам таким дерзким способом не подкидывал голубей, то невольно пригнулся бы от испуга, что голуби врежутся в меня. Но теперь я лишь восхитился: ловко, черти, подкинули.

Лебеди промчались над моей головой. И как только утянулся за ними ветерок, я услышал взлет Страшного. Саня прыгнул, чтобы поймать его на трубе, но промахнулся, и Страшной перекинулся на будку. Сидя на ней, Страшной снимет полусдвинутые связки и улетит. Этого я не мог допустить. Я полез на крышу и порвал о гвоздь брюки. Страшной, когда я, вытянув руки, двинулся к нему, не захотел спуститься вниз, несмотря на то, что там сидела, охорашиваясь, Чубарая. Невроятным усилием он, казалось, кувыркаясь, дотянул до крыши барака. Я давал матери слово, что не буду лазить на барачную крышу, и поэтому сел на порог будки. Саня хотел выручить меня, но я приказал ему вернуться. Он плохо выдерживал равновесие и мог оступаться со швов между листами железа на сами листы. Тогда крыша загрохочет, повыскакивают на улицу женщины, начнут его честить... Скандал. И прощай голуби.

Страшной стал чиститься. Он расправлял клювом перья на груди, выбирал и вытеребивал пылинки-соринки. О связках он забыл, и я

подумал, что он слетит на землю к голубке. Но не тут-то было. Я заметил, что, обираясь, он осматривал местность. Он видел крыши барачков, стоявших на одной линии с нашим, и тех, что находились ниже него, на подошве горы. Поверх нижних барачков был обзор на три стороны света. Правда, на юг, туда, где за прудом лежала, как бы скатываясь в лог, станица, даль была заперта Третьей Сосновой горой и горой-полуостровом. Зато западней горы-полуострова, за прудом, она кончалась в дымке, сквозь которую чеканился Уральский хребет черными, синими, лиловыми, голубыми отрогами. Северный угол небосклона, загруженный трубами мартенов, домнами, угольными башнями, градирнями, галереями коксохимы, терялся в бурой заводской гари.

Приглядываясь к местности, Страшной, конечно, нашел знакомые ориентиры, потому и побежал рысью на гребень крыши, а там весело принялся сдирать связки и, едва освободил крыло, тотчас взлетел по направлению к Третьей Сосновой горе и скоро перескользнул через ее макушку.

Мы следили за Страшным и не обращали внимания на Чубарую. И когда, вздохнув, я хотел загнать ее в будку, она вспорхнула на дверь, а откуда на саму будку. Связки уж были на конце ее маховых перьев, и лишь только она потянула в сторону учительского барака, они спали. В отличие от Страшного Чубарая с полчаса петляла над нашим участком — на языке голубятников *шалалась* — и улетела на Магнитную.

Я и Саша понуро брели к переправе. И хотя всегда мы с удовольствием ступали по пуховой от пыли дороге, теперь нас не радовала ее мягкость. И с парома ни разу не спрыгнули за время его полутораверстового пути. А обычно — бултых с кормы. Вынырнешь — паром уж, по первому впечатлению, далековато. Припустишься за ним. Догоняешь. Запыхался, а норовишь показать и выносливость и храбрость. Заплывешь в прозор между баржами. Темно: корпуса смоленые, вода чернолаковая, лишь кое-где в настиле, который заставлен грузовиками, фургонами, бричками, таратайками, ручными тележками башкирок-ягодниц, светятся щели. Испытывая робость, все-таки преодолешь этот мрак, нырнешь и псявишься впереди парома. Затем выскочишь из воды, будто бы хочешь ухватиться за стальной канат; за него катер тянет паром. Заохают женщины: дескать, руку озорник распорет, под паромное дно угодит. Заругается мужчина. Ты сверкнешь ягодицами. Через минуту кто-нибудь из ребят, держась за якорь, выдернет тебя на корму.

Неужели это опять когда-то будет? Обманутыми, беззащитными мы чувствуем себя, всходя на холм. На косогорах, любопытствуя, что за мальчишки, встают на задние лапы суслики. Мы почти не замечаем их, и они ласково посвистывают, привлекая наше внимание. Они как маленькие дети: доверчивы и не соображают, что иногда бывает не до них. И вдруг во мне поднимается такая жалость к сусликам. Мы им интересны. А мы, случается, вылавливаем их из нор и убиваем, чтобы обменять шкурки на крючки-заглотыши, на акварельные «пуговики», прилепленные к картонкам, на губные гармошки.

— Постоим возле папки? — спрашивает Саша.

Я не отвечаю. В ровике возле могилы уже нет ни монет, ни снеди. Под ветром клонится паслен; звездчатки его белых, розовых по краю цветов весело глазят в небо, где кружат канюки. Дядя Шура любил голубей. В детстве у него была огромная стая. Если бы он не умер, то мы попросили бы его пойти с нами к взрывнику, чтобы вернуть Страшного и Чубарую.

Взрывник был дома. Он сидел с гостями в палисаднике. Когда мы остановились за акациями, он рассказывал, как начальник рудника це-

лый день водил Клима Ворошилова по горе Атач, показывая месторождения железняка.

— В те поры было много настоящего магнитного железняка: он еще не успел размагнититься от взрывов. Жалко. Эдакую фантазию порушили. И я участвовал... Водил, водил, значит, начальник, показывал, показывал, а тот к вечеру внезапно и говорит: мол, как все же, есть руда в Магнитной или нет? Разработки на Атаче едва начинались. Он хоть и вождь, а сквозь землю не видел. Начальник рудника с год как сообразил, что имеются люди из руководства, из инженеров, какие вводят в сумление верха: железа-де в Магнитной мало, угрожает государство большие миллионы на строительство завода, а варить чугун и сталь будет не из чего. Сместил и то — Ворошилову поручено развязать это сумление. Комиссия наезжала видимо-невидимо. Чтобы убедить их в богатстве горы, начальник приказал выбить штольню сажен на двести и водил туда комиссию. Повел и Ворошилова. Как завел, да как включил там электричество, да как засверкала руда, так Ворошилов и взвеселел. Баят: успокоил он верха. Молва, похоже, верная. Припоминается, дело на строительство ходче пошло-поехало!

Я опасался, как бы взрывник не рассердился, что мы торчим за штакетником.

Но он огладил бороду, заметив нас за акациями. Мне даже почудилось, что в его глазах блеснула радость.

— Погодите маненько,— сказал он гостям.— Пришли мои товарищи по голубиной охоте. Вы пейте, закусывайте, я отлучусь. Задержусь, дак не поимейте обиды. Товарищи ведь!

Некоторые взрослые из рабочих стеснялись, что занимаются голубями, и подтрунивали над собой, а то и грубовато выкручивались, оправдывая свою слабость тем, что не уважают ни рыбалки, ни водки, ни карт. Взрывник же, вероятно, считал, что в этом нет ничего зазорного.

— Братовья,— сказал он, обогнув палисадник,— что ж вы? А? Терпения не хватило? Обганивать вздумали? Чубарую связали, Страшного нет? Страшной от голубки завсегда удует. У него имеется понятие о доме. У человека понятие о родине, у голубя о доме. Я души не чаял в жене и своих детишках. Временное правительство как смахнули, я улюлю с германского фронта. По дороге узнал: Ленин зовет защищать советское отечество. Поскольку я был за народ и у меня было понятие о родине, о степи и холмах круг нее, я повернул — и в Питер... Ну, выкладывайте, что у вас подеялось?

Мы рассказали. Он посоветовал связывать голубей на два крыла, ввел нас во двор и велел лезть на чердак. Мы робко прошли по гранитным плитам, накаленным солнцем. За углом Саша мне шепнул:

— Вдруг да лестницу уберет.— И подкрепил свой страх бабушкиной мудростью: — Мягко стелет — жестко спать.

— Дура! — осадил его я и прикинул, что из чердачного лаза можно уцепиться одной рукой за край крыши, затем ухватиться другой, выбраться на скат, оттуда прыгнуть на каменный забор, чуть пробежать по нему и сигануть в полынью. Ведь на турнике, подтягиваясь, я легко выжимался до пояса. Саша этого не умел. И я отменил свой ловкий побег и маравал, как бы нам в случае чего удрать вместе.

Я приказал Саше остаться у лестницы, а сам поднялся на чердак. Разыскивая в сумраке гнездо Страшного и Чубарой, прислушивался, не происходит ли чего внизу. На чердаке было полно голубей. Они ворковали, пищали, укали, а те, которых я спугивал, перелетывали, звеня крыльями, при посадке хлестали ими по балкам. Я думал, что из-за этого шума мне кажется, будто во дворе все тихо. А там действительно ничего

не случилось. Саша, когда я выглянул из чердачного лаза, стоял на прежнем месте; взрывник играл с цепной собакой, похожей на медведя.

Он проводил нас до околицы и уже вдогон наказал до тех пор держать голубей в связках, покамест они не начнут высиживать птенцов.

Паром отчалил от пристани, едва мы стали спускаться к переправе. Хотя мы ждали его долго и явились домой в темноте, мы чувствовали себя счастливыми. Бабушка подняла ругань, грозясь оставить нас голодными, но Саша сцепился с нею наперекрик (ему она прощала все); она угомонилась и дала нам по тарелке горошницы. Сама же она полезла под кровать, чтобы выпить рюмочку за взрывника — хорошего человека. По разумению моей матери, гораздо удобней было держать водку в шкафу: протяни руку, налей — и через мгновение выпьешь. Однако бабушка хранила бутылку с водкой под кроватью, подле стены. Достав из шкафа прямую граненую рюмку и поддев ложкой сливочного масла, она лезла под кровать. Опиралась бабушка не на ладони, а на локти: в правой руке рюмка, в левой ложка с маслом, — поэтому кровать вздымалась ввысь со всем ее чугунным весом, с толстой периной, стеганым одеялом и с тремя сугробами подушек. Из-под кровати обычно слышалось бульканье наливаемой в рюмку водки, а вот как бабушка выпивала эту водку, не было слышно. И выпивала она ее насухо, если не считать единственной капли, которая выпадала на язык бабушки, когда она, выпятившись из-под кровати и стоя на коленях, переворачивала рюмку над ртом, прежде чем поцеловать в лучистое донце. В студенческие годы полушутя-полусерьезно я пытался понять, как она умудряется пить под кроватью, но всякий раз захлебывался водкой, а рюмку опорожнявал лишь наполовину.

Мы с Сашей так проголодались, что, кроме горошницы, которую наперегонки уплетали, для нас ничего на свете не существовало, и все-таки мы покосились под кровать, откуда бабушка напонила, что пьет за хорошего человека.

Хотя Страшной и Чубарая один раз от меня улетели, я, однако, не потерял веры в чудодейственность жареной конопли. Утром я насыпал в карман конопли и налил в блюдце сахарной водички. Бабушка ушла в магазин. Я воспользовался ее отсутствием и подлил в блюдце водки. Голубятники утверждали: чтобы умная дичь забыла прежний дом, ее надо напоить.

Как и вчера, связки Страшному и Чубарой не понравились. Они кособочились, топырили крылья, пытались сбросить нитки маленькими розовыми носами. Мы мешали их раздраженным и откровенным попыткам освободиться от связок.

Голуби немного примирились со своей недолей и дружно набросились на коноплю, когда появился Петька Крючин. Он пришел смиренный. Сколько ни подсматривал я за взглядом его раскосых глаз, подвоха в них не улавливал. Чтобы подчеркнуть, что я оттаял после нашей вчерашней ссоры, а также в знак «цеховой» доверительности я сказал ему, что вода в блюдце разбавлена водкой и подслащена. Он это одобрил. И я был доволен: ведь поддерживал меня не какой-нибудь задрипанный голубятник, а серьезный, неисправимый, знаменитый Петька Крючин, который к тому же до позавчера был моим покровителем. Зная, что Петька тут, не утерпели и пришли с конного двора Генка Надень Малахай (опять он был без фуражки, и опять его мать будет кричать: «Генка, надень малахай!») и сивый Тюля. Они двигались к моей будке осторожно, боясь, что я их турну. Саша махнул им рукой:

— Да вы не трусьте, лунатики.

Они быстро подошли, стояли позади Петьки, еще не твердо веря, что им не перепадет за вчерашнюю подброску Лебедей.

Страшной наклевалса раньше Чубарой. Ему стало скучно, и он принялся ворковать, отылекая ее от конопля: едва она взглядывала на него, как он распускал хвост и, прижав кончики перьев к полу, делал к ней рывок. Поклонившись Страшному, Чубарая опять хватала с торопливым постуком зеленоватое, эмалевое на вид зерно, и снова он, надувая зоб и потрясывая загривком, выговаривал свое гулкое, страстное: «У-ва-ва-ва» — и то и дело как бы пересыпал эти звуки, напоминающие дыхание паровоза, урчащим рокотом.

Генка Надень Малахай восхитился:

— А ворковистый, черт!

Не оглядываясь, Петька отодвинул его локтем. Главным ценителем и судьей здесь был он, и то, что Генка Надень Малахай вылепил свое мнение об одной из статей Страшного, возмутило его. Да и я воспринял восхищение Генки Надень Малахай как нарушение приличия, принятого среди голубятников. Я только взглянул на него. Он мелко заколебался из стороны в сторону. Ему хотелось испариться, и оттого, что он никуда не мог деваться, он угнулся и запеленал руки в подол рубахи.

Петька выждал, покуда кощунство, совершенное Генкой Надень Малахай, рассеется, и уже тогда сказал, но таким тоном, словно совсем не было нетерпеливого замечания о ворковистости Страшного:

— Красиво бушует! Настоящая мужская порода! Раз бушует у тебя на дворе — значит, начинает признавать твой двор. Вполне вероятно — удастся удержаться.

А у Страшного, видно, пересохло в горле. Он подбежал к блюду и стал пить глубокими пульсирующими глотками. После этого его состояние показалось ему каким-то необычным — насторожило горячение в зобу, — и он потряс головой и помахал кургузыми из-за связок крыльями. Обычное самоощущение не возвратилось к нему, но он не потерял бодрости и размашистыми шажками вернулся к голубке и долбанул ее в темя.

Саша захохотал, потом воскликнул:

— Ну, мужик! Права качает. А то он к ней на хвосте, а она равнодушная.

Чубарая, отскочившая от Страшного, таращилась, куда бы взлететь. Страшной, видно, сообразил, что допустил оплошность, и заукал. Однако его призывное жалобное постаныванье не произвело на нее впечатления. Он заворковал и, повышая гул своего голоса, вращался, понемногу подступая к Чубарой. Она взворковала с негромкой, неумелой картавинкой, свойственной голубкам, и сердито клюнула по направлению к нему, но не достала. Страшной принял ее мстительный клевок за поклон и пошел колесить вокруг нее, мел хвостом землю, взогатывал.

— Вот бушует! — в другой раз не удержался Генка Надень Малахай. — Ни у кого не встречал!

— Мой Лебедь что, — грозно спросил его Петька. — хуже бушует?

— Нет, Петя. Они одинаково.

На лице Петьки появилось сожаление.

— Что значит не голубятник, — проговорил он, обращаясь ко мне. — У каждого голубя свой голос. — И уже к Генке Надень Малахай: — Надо различать...

— Он тугой на ухо, — подсказал Саша.

Чубарая все еще тянула вверх голову. Страшной перестал ворковать. Задумался. Какой-то непорядок был в нем самом, а также в норове голубки. Над этим он и задумался. Наверяд ли он додумался до того,

что с ним стряслось, а может, расхотел додумываться: дескать, зачем нам, голубям, вдаваться во всякие там сложные перемены? И направился было к Чубарой, чтобы выяснить, что с ней, но его качнуло, и он чуть не свалился набок, да вовремя успел подпереться крылом.

Саша рьяно ждал потехи. Он задрался обрадованным хохотом и никак не мог сдержаться. Легкие у Саши были малообъемные, в них не хватало воздуха на длинные выдохи, поэтому он все ниже сгибался, удушливо кашляя и взвизгивая. И меня, и Тюлю, и Генку Надень Малахай тоже разбирал смех, но мы крепились: останавливала строгая прихмурь в Петькином лице. Вскоре, когда Страшной, напряженно поддерживая равновесие, подошел к Чубарой и попытался поцеловать ее, а она увильнула и отбежала к огуречной грядке, а он, оставшись на месте, стал браниться на нее,— тут и мы не выдержали и захохотали.

Чубарая пригорюнилась возле грядки. Конечно, Страшной решил, что ему кое-что удалось ей втолковать и что уж сейчас-то она не должна пренебречь его ухаживанием, и готовно подбежал к ней, а Чубарая хлестанула его крылом и через огуречную грядку улизнула в картофельную ботву. Он искал ее среди ботвы, то обидчиво укая, то сердито бормоча. Затем вдруг прытко выскочил оттуда и прибежал к блюдцу. Я уже пожалел, что разбавил воду водкой, и хотел отогнать его от блюдца, но он даже не отпрянул от него. И когда я загородил воду руками, он начал клевать мои ладони, и так их пробивал, и так в них впивался, что выступала кровь. Я отнес Страшного в будку. Он и в будке продолжал буйнить — долбил в березовую поленницу и врезывал по ней крыльями.

Я испытывал и растерянность и огорчение. Я никак не предполагал такой бедовой реакции Страшного на водочную разбавку и такой непокладистости Чубарой. Петька понял это, однако не ушел. И я увидел, что он мне сочувствует и, пожалуй, собирается помочь. Он сказал, что нам нужно потолковать. Я догадался: у него нет желания говорить при ребятах. В «шестерки», еще куда ни шло, они годятся, а серьезный разговор при них вести бесплодно: он им ни к чему.

Я попросил ребят взглянуть, не собирается ли шугать голубей Мирхайдар. Они отошли, и Петька сразу заговорил. Воду с водкой нельзя давать Страшному. Позабудь, наверно, позабудет старый дом, но может и шалавым сделаться. А голубь он умный, красавец, бушуй и, похоже, приживется. А Чубарая не приживется. Она из тех голубей, какие не изменяют своему первому дому. Здесь Страшному ее не потоптать. И если она даже снесется, то голубят не станет высиживать.

Чем раньше она улетит, тем лучше. Он бы советовал сейчас же ее развязать и выпустить. Вчера вечером он поймал молоденькую голубочку. Носик — зернышко, веслокрылая, как и Страшной. в чулочках, вся черная, а грудь и плечи в белой косынке и хвост белый. Мастью, как говорится, Цыганка. Он готов подарить мне Цыганку. Чубарую надо выкинуть, а Цыганку спаривать со Страшным.

Я согласился. В груди у меня отворилась тоскливая пустота, когда он схватил Чубарую в картошке, освободил от связок и зашвырнул в небо. Чубарая, немного покружив над участком, улетела. Петька ушел на конный двор.

Петька был безобманным голубятником. Если о чем-нибудь условился, то не нарушит договора. Хотя он куда-то надолго запропал и хотя, по уверениям Саши, уговорил меня выпустить Чубарую, чтобы разорить голубятню, я надеялся — Петька не падет до вероломства.

Солнце склонилось за полдень. Петька не показывался. На меня как столбняк напал. Я топтался у стального кола, глядя на угол барака: оттуда должен был прийти Петька. Саша сходил к нам. Он возвратился с масляными губами. Бабушка накормила его. Она любила делать из

этого тайну. Вот он теперь и помалкивал. Но скрытничать Саше не нравилось, и он, придерживаясь правила: «После сытного обеда по закону Архимеда нужно закурить», — зашел в будку, торопливыми, с вкусным причмоком затяжками с адил папиросу и убеждал меня, что Страшной ни за что не станет спариваться с новой голубкой и не сегодня-завтра усвистит. Наверняка он был опечален улетом Чубарой и Петькиным исчезновением, и все-таки он не столько это переживал, сколько радовался тому, что у него есть повод помитинговать насчет хваленной честности Крючина, а меня пообличать в том, что я простофиля.

Его смутило мое молчание. Он сел на кирпич и начал строгать из сосновой коры лодочку, залихватски цыркая слюной. Он наслаждался сытостью. Чувство довольства было для него, как солнце для кутенка, налакавшегося мясного супа. Он запустил куском металлургического шлака в петуха. Петух не заметил, откуда летел шлак, и шел вдоль завалинки крупными шагами, не потерявши обычной шеголеватости. Из-за этого и было особенно смешно, как он опасливо вертел головой. Саша стал надрывать от хохота. Потом, покашляв, запел «Любушку». Он помнил мотив песни, а слова путал, он повторял все время две строчки, горланя на все длинное огородное пространство:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...

В другом настроении я подгорланил бы ему, а теперь обиделся и прогнал. Я узнал недавно, что вместо «прокормить» надо было петь «позабить», и сказал об этом Саше, но он назвал мне пел по-старому. И, уходя, в отместку опять пропел, как привык:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...

Я погнался за ним. Настиг. Он упал на мураву и, лежа на спине, смеялся, по-щенячьи дрыгал ногами. Разве захочешь лупить такого не-серьезного человека?

Когда я возвращался, ко мне подбежал Генка Надень Малахай. Известие, которое он принес, объяснило Петькино исчезновение. Оказывается, его брата Пашку, под хмельком вошедшего в стойло, покусал жеребец по кличке Архаровец. Петька запряг иноходца и повез Пашку в больницу.

В сумерках появился Петька. Он подал мне маленькую голубку и пошел. Ноги у него почему-то косолапили. Да и весь он был не всегдашний: пониклая спина, руки растопырены наподобие крыльев у замученного голубя.

Я посадил Цыганку в гнездо к Страшному. Страшной уже плохо видел: голуби плохо видят в сумерках. Он тревожно заукал и вжался в угол.

Я замер возле клетки, закрыв дверцу. Тишина в гнезде. Ни шевеления, ни звука. Битва начнется завтра, за восходом. Я вспомнил ладонью глянцеви́то-гладкую, легкую, как из воздуха, Цыганку и пожалел: задолбит ее Страшной. С похмелья он будет, наверно, лютый?

Утром я чуть не заревел. Страшной до того буйствовал, что повыщипал много перьев из голубкиной головки и шеи. Растерзанный вид Цыганки и особенно безобразные плешины на ее головке и на шее подействовали на меня убийственно. Я не разрешил Саше заходить в будку. Надо же быть таким бессовестным! Пришел как ни в чем не бывало да

еще невинно улыбается... И если увидит, что натворил Страшной, то будет от восторга кататься по земле. В отчаянии я прилеп на поленницу, но тотчас бросился к клетке, потому что Страшной защемило крыло Цыганки в своем клюве. Он сдавливал крыло так свирепо, что прогибались створки клюва. Я отобрал Цыганку у Страшного и посадил в нижнее гнездо. Страшной без промедления нырнул в это гнездо и начал вышибать ее оттуда. Я настегал его соломинкой по ногам. Однако он не только не унялся, а даже сильнее рассвирепел, как и вчера, до крови расклевал мою руку.

Вошел Петька. Сразу обо всем догадался. Велел оставить Страшного и Цыганку на несколько суток одних. Дважды в день приносить корму и воды и тут же убираться вон. Да, может убить. По-умному спаривают иначе. Голуби должны обзнакомиться друг с дружкой, облажаться над домом, а потом уж их можно сажать вместе. Но, коль такой случай, пусть дальше вместе сидят. Убьет так убьет... А ежели спарится, держа в памяти прежнюю голубку, то шибко будет любить и никуда не улетит от нее.

Вечером я не обнаружил Цыганку в клетке, обыскался, пока ее нашел. Бедняжка так спряталась за дрова, что сама бы не смогла выбраться. На следующий день я воспрянул духом: она таскала Страшного за воротник, а едва он вырвался, то сиганула из гнезда. Правда, минутой позже он вернулся в гнездо и задал ей трепку, но вскоре, опять схваченный за воротник, жалко шнырял под зобом у Цыганки.

Эта их игра, предваряемая и завершаемая обоюдным воркованием, в котором выражались возмущение, призыв к покладистости, нежелание сближаться по прихоти людей, продолжалась еще дня три. После день — два, приткнувшись в разных углах гнезда, они мелко подрагивали крыльями и кланялись, кланялись, без конца кланялись друг дружке. Потом я застал их в одном углу. Спрятав воротникастую голову под грудь Цыганки, Страшной укал. Всегда почему-то мне слышалась в голубином уканье невыносимая жалоба, и я еле-еле сдерживал слезы. А тут услышал такое лучистое уканье, что тотчас посветлело на душе. Но когда я замер и вник в него, то мне вдруг стало казаться, что я понимаю, о чем его уканье. Ему тепло, ему гладко, ему нежно. И он прокликает свою беспощадную драчливость и обещает быть смиренным и ласковым. Ему удивительно, что он был спарен с Чубарой. В это ему как-то даже не верится. Это все-таки было, но ему каяться не в чем. Ведь он не знал об ее, Цыганкином, существовании. Как хорошо, что мальчишка проявил упорство и заставил их спариться: ему тоже хорошо, он любит нас и от радости совсем не моргает, и уши его пристально торчат, как звукоулавливатели на военной машине.

Голубь, которого долго держат в связках, может засидеться. Он растолстеет, делается ленивым, будет таскаться на низких кругах. Никак не обойтись без расшуровки, чтобы стая с таким голубем поднялась в вышину. И хотя во время расшуровки стоят грохот, крик и свист, не всякого сидня это погонит в полет, иной из якобинцев, веерохвостов или дутышей променяет небо на черное жерло печной трубы.

Неугомонность Страшного указывала на то, что он не засидится. И вместе с тем пугали перемены в его поведении: обираясь, не тронет клювом связок, словно они совсем его не тяготят, не заглядится на голубей, кружащихся под облаками, даже не возникнет в нем невольного желания взлететь, когда, запрокидываясь, он спорхнет с Цыганки.

Петька Крючин полагал, что Страшной притворился: только ты развяжешь его — он сразу упорет.

У меня тоже было подозрение, что Страшной хитрован, но не в такой мере, как думал Петька. По уверениям Петьки получалось, что умный голубь может притворно спариться. Я так не думал и никак не мог поверить, что Страшной выбирает удобный случай, чтобы улететь. И все-таки я боялся развязывать Страшного и решился на это лишь тогда, когда куда больше стал бояться того, что навсегда загублю в нем прекрасного летного голубя.

Хотя он как будто и не понял, что его освободили от связей, и совсем не расправлял маховых перьев, он мгновенно взвился, потоптав Цыганку. Как звонко он хлопал крыльями, как гордо кораблил ими, потрепанными на вид! Как весело переворачивался через спину!

Совершив торжественный облет над баракком, он сел возле огуречной грядки и, торжественно бушуя, вертелся волчком, а Цыганка, выгибая грудь и приспустив хвост, толчками скользила вокруг него.

Наши опасения не отпали, и все-таки то, что Страшной вернулся на пол, было причиной для радости.

Но каких-то полчаса спустя он псвел себя иначе. Не стал заходить в будку, хотя Цыганка и зазывала его в гнездо тревожным уканьем. Тут-то он и расправил перья, аккуратно подогнав волоконце к волоконцу, а потом взлетел. И теперь он колотил крылом в крыло, описывая круг, но это были настораживающие хлопки. Я бросился в будку: как только выкину оттуда Цыганку — Страшной заметит ее и сядет.

Цыганка металась по гнезду, чтобы не раздавить яйцо — еще вчера я нащупал его в голубке, к своей и Сашиной радости, я дал ей успокоиться и лишь тогда взял в ладони. А когда выскочил из будки, то Страшной уже тянул к горе, за которой были переправа и мордовский земляночный «шанхай».

Неужели Страшной не вспомнит о Цыганке и не повернет обратно?

На мгновение мне показалось, что он надумал повернуть: начал отклоняться ко Второй Сосновой горе. Скоро стало ясно: его просто сносило боковым ветром; сделав крюк, он преодолел напор ветра и канул за перевалом.

Я попросил Сашу съездить за пруд. Он боялся одиночества, безлюдной дороги по холмам, станичных собак, которые встречали путника далеко за окраиной, молча шли по пятам, изредка рыча и пощелкивая зубами. Испытываешь полную беззащитность из-за того, что они не собираются нападать, только припугивают, а ты все-таки сомневаешься в этом, а сам, однако, не смеешь взять палку, чтобы их не разъярить. Едва Саша согласился идти, я забоялся за него и стал уговаривать, чтобы он передумал. Он рассердился и побежал за башкирскими таратайками и сел на бегу в самую последнюю таратайку, которой правил старик в зеленом бархатном камзоле.

В полдень над маяком Второй Сосновой горы я углядел движущуюся точку. На всякий случай я пошел в будку за Цыганкой, и когда достал ее, то обнаружил в пуховом углублении гнезда яичко. Если бы она снеслась утром — не улетел бы голубь и сейчас наверняка уже грел бы это яичко. Теперь оно пропадет. Парить без Страшного Цыганка не будет. Редко голубки парят в одиночку.

Точка, двигавшаяся над маяком, приближаясь, оборачивалась голубем. Мои глаза еще не привыкли к очертаниям Страшного, поэтому не угадали его.

Я выпустил Цыганку на землю, и голубь, словно там, в вышине, его крыло перебила пуля, начал отвесно падать. Падая, он вращался воронкой. Я оцепенел: какая-то минута — и он разобьется. Но он вдруг прекратил движение вниз — сделал горизонтальный рывок и потянул по кольцу. По перьям в хвосте, составлявшимися в черную вилку, я узнал

Страшного и опять дал ему осадку. Он снизился. Цыганка, заметив его, стала порывисто вспархивать. Здесь бы ему и сесть: ее вспархивания своей мучительностью и стремлением к нему больше походили на биение в сетке. А он не проявил сострадания и с разворота напрямик улетел опять.

Перед закатом возвратился Саша. Собаки, как и следовало ожидать, его не тронули. Правда, он думал, что они не тронули его не сами по себе, а потому, что, стоя у могилы с кустиком паслена, он попросил папку о б о р о н и т ь его от опасности. Саша знал о том, что Страшной улетал к Цыганке и опять вернулся в станицу. Он сидит на крыше и, к удивлению бородатого взрывника, гонит от себя Чубарую — она лезет к нему с поцелуями. Саша утаил от взрывника, что Страшной спарился с другой голубкой: еще возьмет, да и застрелит его за измену.

В сумерках я пил чай, придумывая, как выпросить у матери денег на выкуп голубей. Без Чубарой взрывник не отдаст Страшного. Мать никогда не скупилась для меня, однако она была против голубей, боясь, что из-за них я запущу учение. До моего соображения, зачумленного, по словам бабушки, голубиной охотой, доходило и то, что я собираюсь разорить семью: до полочки придется влезать в долги, но я не мог жить без собственной дичи.

За окном что-то вроде бы промелькнуло. Я потянулся к стеклу. Возле порожка будки, тычась клювом в доски, бегал Страшной. Наверно, Цыганка слышала, как он садился, и невыносимо заукала. Страшной взлетел, и ударился в дверь, и упал, и снова взлетел.

Когда я примчался к будке, он лежал на боку и трудно раскрывал клюв. В смертельной тревоге я поднял Страшного. Во рту у него, под стреловидным язычком, аела кровь, он захлебывался ею.

Я сунул Страшного за пазуху, отпер будку, а потом клетку и прикнул его к Цыганке. Цыганка привстала с гнезда. Он повалился на крыло и, пытаясь встать, откатывал яичко. Цыганка испуганно пятилась из гнезда.

Я посадил голубей рядом. Ушел. Ночью часто просыпался. «Неужели умрет?» Едва рассвело, подался на улицу. С крыльца прислушался: не воркует ли Страшной? Так громко, так бурно он ворковал прежними утрами! Как назло, на заводе в это время раздался гогот пневматического молотка, производившего клепку в огромном резервуаре. Этот металлический гогот перекрыл газовый выхлоп из домны. Где-то на прокате плоско грохнулась оземь кипа стальных листов. И уже не очень далеко, на краю огромного рельсового пространства, где вчера образовалось скопище поездов, груженных коксом, рудой, блюмами, проволокой, чугунами болванками, — начал сифонить паровоз «ФД» и, набирая ход, сильнее раздувал свой настырный паровой звук. «Феликс Дзержинский» все сифонил, когда я медленно заглянул в гнездо. Цыганка трепала перышки на голове Страшного. Глаза Страшного были закрыты. В первый момент мне показалось, что он мертв. И стало жутко... Но тут он, вероятно, почувствовал мой взгляд и приоткрыл веки.

Не меньше недели Страшной был слаб и сам не мог ни пить, ни клевать. Я поил и кормил его изо рта. Как только он окреп, то стал садиться мне на плечо и совался клювом в губы. Я прекратил кормить его таким образом, зато приучил есть с ладони. Сердитый, он, очищая от пшеницы ладонь, больно прихватывал кожу.

Я стал осаживать Страшного вытянутой рукой. Он падал с подоблачной высоты, как мы говорили, колом, стоило мне несколько раз выбросить перед собой руку во всю длину.

К старому дому он не перестал летать. Поднявшись высоко, уводил стаю — у меня быстро создалась стая из наловленных чужаков, — и, по-

кружив, приходил обратно. Он сразу спускался и сменял Цыганку в гнезде: ей необходимо было подкормиться и тоже полетать. Пешинки на голове и шее, портившие ее вид, заросли перышками, и стало видно, не смотря на ее усталость, что она красавица. Мне нравилось смотреть на Цыганку в те минуты, когда она беззаботно прогуливалась. Ступает твердо, четко. Малиновые лапки просвечивают сквозь чулочки. Поступи и всему боковому очертанию Цыганки придает гордую статность высокий изгиб груди, хвост, развернутый веером, и вислокрылость. Летала она легко. Быстро набирала высоту, но скоро снижалась: она беспокоилась, как бы куда-нибудь не пропал ее Страшной, и, убедившись, что он на месте, опять пускалась в полет.

Как раз во время Цыганкиной разминки вывелся первый голубенок. Когда она спустилась вниз для своей обычной проверки, то обнаружила возле поленницы яичную скорлупку, а потом услышала капельное попискивание из клетки. Она ворвалась в гнездо и клюнула Страшного: дескать, убирайся, раздавишь малыша. Он успокоительно укнул. Это не уняло ее новой тревоги. Она попыталась подобраться ему под зоб, чтобы сдвинуть его с птенца. Тогда он возмутился, вытолкнул Цыганку из клетки, а возвратясь на место, долго ворковал, выговаривая ей за панику и за то, что рвалась в гнездо до наступления своей смены.

Цыганка хотя и усовестилась, однако не возвратилась на круг. Она сидела на дровах, не спуская глаз с насупленного Страшного. Едва он покинул клетку, что-то бормотнув, она ринулась в гнездо и картавила оттуда, будто он слушал, о том, вероятно, что право опекать птенцов — прежде всего ее материнское право.

Их размолвка на этом и закончилась, а дежурства мало-помалу начали учащаться: птенцы становились прожорливей. Это продолжалось до тех пор, пока голубята не покрылись костышами, синеватыми и кровавыми изнутри; в этих костышах, с длинными долбаками — так мы называли их клювы — они походили на уродцев. Мне и Саше не верилось, что когда-нибудь они примут «человеческий» вид, а из-за того, что их носы обещали быть длинными, мы приходили в неутешное отчаяние. Петька Крючин потешался над нами: сами из смердов, а хотим, чтоб голуби у нас были породистые, как брамины или кшатрии. Петька увлекался историей и любил козырнуть ученостью.

А Страшного почему-то совсем не тревожила гадкая внешность голубят. Для него важнее всего было, что они есть. Уже одно то, что они передвигаются шлепающими шагками и норовят клевать мух, а промахиваясь, теряют равновесие, вызывало в нем бурную радость. Он бушевал, наклоняясь над ними. Их, вероятно, пугал гул его голоса, а может, им казалось, что над баракком повис самолет, и они в страхе пригибались, помаргивали, их костышовые хвостики мелко вздрагивали. Но Страшной не утихал: он только набирал разгон для торжества. Еще воркуя, он взмывал в воздух. За ним срывалась Цыганка. Они с оттяжкой хлопали крыльями, кораблили, совершая начальный круговой облет своего дома и своих птенцов, которые теперь поворачивали к небу то левый глаз, то правый. Потом Цыганка и Страшной устремлялись вверх. И когда достигали высоты, на которой над заводом широко пласалась буро-черно-желтая кадь, то начинали оттуда падучую игру. Цыганка играла мерно, плавно, словно заботилась о том, чтобы снизу ясно просматривались ее движения.

Страшной играл азартно. Завихрится воронкой то по солнцу, то против солнца. Вскоре сядет, как и Цыганка, на развернутый хвост — и покатится, покатится с небес по вертикали, что и не разберешь, как он кувыркается, лишь различаешь вращение рябого шара, низвергающегося к земле. И захватит у тебя дух от его бесшабашного падения, и ты вос-

торженно переглянешься с Сашкой, и Петей, и Генкой Надень Малахай, и Тюлей, и еще с кем-нибудь из ребят, и подумаешь, что пора бы ему прекратить кувырканье, и тут же, в оторопи, охватишь взглядом расстояние между ним и землей, да еще услышишь крик мальчишек: «Заиграется!» — и у тебя не хватит души для выдержки, и ты свистнешь, чтобы вырвать голубя из лихого забвения, и за тобой засвищут, заулюлюкают, и почти у самой крыши он как бы выстрелится в горизонталь, и раздастся общий вздох: «Вот гад, чуть не разбился!» — а он уже тянет в синеву, где реет Цыганка, которая только что наблюдала за его игрой, наверно, обмирая от страха еще сильнее, чем мы. А то и, может быть, она просто любовалась своим ловким, храбрым Страшным.

Мастью птенцы удались в Цыганку, только у старшего на затылке завился хохол, как у Страшного. Оперенье их стало приглядным. Но из-за того, что ходили они неуклюже, сутулились, пищали и полностью не сбросили ржавый младенческий пушок, все еще оставались неказистыми. Петька считал, что они будут на редкость красивы и умны. Он хотел их у меня выменять на пару дутьшей, но я хоть и мечтал обзавестись дутьшами, отказался. У голубятников было поверие, что первый выводок надо оставить себе, а то в голубятнике не будет прилода. Второй выводок я обещал подарить Петьке, и он, при своей скромности, как ни странно, хвастался этим.

Цыганята, стоя на вытянутых лапках, начали подолгу махать крыльями; изредка в эти минуты они невольно поджимали лапки и, чуть зависнув, шлепались в испуге на землю; от маха их крыльев изо дня в день все упруге пел воздух, пело и в наших душах, но это оборачивалось для нас и волнением: скоро обганивать Цыганят. В эту пору молодняк доверчив, глуповат — может сесть у незнакомой голубятни. Петька просил не делать без него обгонку. Он приготовится, и если голуби Жоржа-итальянца или Мирхайдара приманят Цыганят, то подтащит под них сразу всю свою стаю, и она уведет пискунов в наш конец, а тут уж мы сообщаем их переловим.

Но получилось все неожиданно. На утренней зорьке, после кормления, я собирался произвести обгон, но хохлатый Цыганенок, не поклевав пшеницы, вдруг взлетел на крышу барака. Накануне утром я посылаю разведку к своим опасным соперникам. Саша, Генка Надень Малахай и Тюля уверили меня, что в последнее время ни Мирхайдар, ни Жорж-итальянец рано не встают.

Я растерялся, когда Цыганенка, который не успел освоиться на крыше, кто-то вспугнул леденящим свистом. Потом под Цыганенку полетели чужие голуби, а за будкой разорвался такой многоглоточный ор, что моя стая фыркнула в воздух. Тут же в окне появилась мать Генки Надень Малахай и стала нас поносить за голубятничество, а на конном дворе напугались стригуны и с оглашенным ржанием понеслись вокруг конюшни. Переполох еще не утих, а я уже определил по желтым голубям, что это Мирхайдар с братьями и «шестерками» подтащил под меня свою стаю.

И его и мои голуби сбились в табун и ходили на кругах, понемногу оттягиваясь к бараку, где жил Мирхайдар. Наверняка там, у него, давали осадку. Он очень вероломный, а также предусмотрительный: голубей на осадку всегда оставляет, заранее сажая их в связки. А у меня ни в клетке, ни на полу не осталось голубей. Я послал Сашу к Петьке. Несколькими раз выбросил перед собой руку. Страшной лишь колебнулся, но снижаться не стал. И не видно было, что он собирается играть. Наверно, чтобы не покидать Цыганят?

Табун разорвался на две кучи. Чубатый пискун потащился за голубями Мирхайдара. Так он и таскался за ними битый час. И даже после

того, как моя стая было вобрала его в себя, он снова отклонился за Мирхайдаровой стаей.

Как я ни злился на хохлатого Цыганенка, я не мог и не восхищаться им. Мы выкидывали под него и Петькиных и моих голубей, но безрезультатно. Чуть-чуть отдохнув на барачке Мирхайдара, Цыганенок снова шел в лет, и Мирхайдару опять и опять приходилось поднимать стаю.

Я видел, как Цыганенок сел среди голубей Мирхайдара. Едва не плача, я простился с ним. Дело шло к вечеру. Зоб у него был пустым-пустой. И пить Цыганенок хотел, конечно, страшно.

Но не тут-то было. Хоть и пискун, а клонет осторожненько пшеничку и приготовится взлететь, лишь только Мирхайдар, стоящий шагах в пяти, сделает малейшее движение.

Чужаки, прежде чем напиться, обычно вспрыгивают на борт консервной банки. Тут ты и ловишь их. А Цыганенок не дал себя схватить. Отпивал понемногу прямо с пола, не спуская своего янтарного глаза с Мирхайдара.

В конце концов Мирхайдар решил действовать нахрапом. Он погнал голубей к открытой двери балагана. Чтобы проучить за нарушение порядка, Цыганенка уцепил за макушку мохнолапый Жук. Мирхайдар хотел воспользоваться этим, прыгнул, как рысь, да испугал Жука, и Цыганенок, освободившись, взлетел на барачную трубу. На этой трубе, уже в послезакатную сутемь, Мирхайдар и поймал его. Я предложил ему в обмен на Цыганенка пару краснохвостых (он зарился на них), но Мирхайдар заявил, что ни за что не согласится сменять кому-нибудь такого неслыханного пискуну. Тут же он поклялся, что удержит его. Без связок удержит. И удержал. Чего придумал, жох! Надевал на Цыганенка своего рода чехол с дырками для головы и лапок.

Я никак не мог примириться с этой потерей. Даже теперь, когда Мирхайдара нет на свете, а от Цыганенка и косточек не осталось, почти с прежней остротой переживаю, что проворонил пискуну.

Я сам был виноват: достукался, как говорила мама. Слова, данного ей, я не сдержал. Скверно вел себя в школе: разговаривал во время занятий, играл на деньги в «очко», забавлялся брунжанием лезвия, воткнутого в парту. Кроме того, я еще и редко брался за выполнение домашнего задания — чаще только притворялся, и бабушка похваливала меня за то, что я вникаю в умственность.

Учителем немецкого языка был у нас в классе беженец из Польши Давид Соломонович Лиргамер. Перед тем, как он пробрался к нашим, ему пришлось просидеть целые сутки под развалинами огромного варшавского дома. Хотя ему не было и двадцати лет, волосы на голове у него были какие-то ярко-снежные. Я жалел его за эту седину, но, пожалуй, мое доброе отношение к Лиргамеру зависело не столько от жалости — он поражал меня своей приятной, мягкой неизменной вежливостью.

О моих школьных дерзостях и проказах узнали дома благодаря Лиргамеру. Было это так. Он объяснял новый материал. Чтобы ему не мешать, я читал. Держа книгу на ладонях, я подносил ее снизу к щели в парте и спокойненько почитывал. Если меня и чертежника устраивал договор: я не хожу на его уроки, а он выводит мне за четверть «хорошо», то Лиргамер, по моему убеждению, должен был быть доволен, что я сижу тихо, соблюдаю приличия. Но он-то думал иначе. Книга была Петькина, занимательная — про английского короля Ричарда Львиное Сердце. Я читался и не заметил, как Лиргамер остановился поблизости от меня. Когда он крикнул: «Жь-жюлик, видь из класс-са!» — я никак не предполагал, что этот нетерпеливый приказ относится ко мне. Я подумал,

что он относится к Ваське Чернозубцеву, сидевшему передо мной, и даже постучал ему в лопатку.

— Выбирайся, кому ясные глаза Лиргамера, увеличенные толстыми линзами очков, смотрят не на Ваську, а именно на меня, точнее, не смотрят, нет — яростно взирают. И опять крик, прямо мне в лицо:

— Жь-жюлик, видь из класс-са!

Я оскорбился и сказал, чтобы он не обзывался. А еще сказал, что если бы он по-доброму, то я бы вышел без задержки, а теперь нарочно не выйду.

Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что Давид Соломонович еще не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по чистому недоразумению использовал слово «жюлик». Директор благоволил ко мне. Он жил на той же линии — через барак от нас. Время от времени он захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской жизни. Потчевали его белым вином, селедкой, желговатой бочковой капустой и черемуховым маслом, представлявшим собой смесь сливочного масла с истолченной в ступке сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями, касавшимися меня. Мать просила директора не прогонять меня из школы, а там я, глядишь, войду «в твердый разум и налажусь». Бабушка, поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он и без того твердо придерживался цели — сделать из этого сорванца человека — и поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со мной. Хотя он говорил для них, они то и дело требовали от меня, понуро сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко усваивал внушения Ивана Терентьевича.

И на этот раз директор заглянул к нам, но с Лиргамером. Он тайно мне подмигнул, указав глазами на Лиргамера. Я так понял его кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к потехе. Но потехи не было, то есть с его точки зрения она была, а с моей — была стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за непомерную нетактичность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал свое. Он страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо мной.

— Ты пей и закусывай черемуховым маслом,— говорил Лиргамеру директор,— и в тебе образуется стерильная чистота.

Посещение Лиргамера и директора сразу же отозвалось на участи моих голубей.

— Завтра же кончай с голубятней,— сказала мать, когда они ушли.

Я решил схитрить: если повольнить и быстро подтянуть успеваемость, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что оптом и по дешевке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка состоялась, и барышник унес в мешке всю мою стаю.

Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом, отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями. Неподалеку бодро стучал катерок и, покрывая этот стук, то и дело распускались клубки звона — ударял паромный колокол.

Едва паром подвалил к пристани, с него на берег прошел верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-артельщики из России, с мая

по ноябрь живущие в станице, у каждого за плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидок.

Возчики с веревочными кнутами сгали уговаривать киргиза, управлявшего верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что еще не доехал до базара, а уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться. Кибитку задержали бабы в черных полушалках, и цыганки что-то бормотали им из темной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили плотники и уговаривали их бросить свое ремесло и подрядиться вместе с ними строить в зерносовхозе элеватор.

Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был свой интерес, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем мне жить.

За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый берег, то пошел вверх по холму.

В станице гоняли дичь. Белела на солнце стая взрывника. Я не знал, куда деться от обиды и тоски.

Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется — все вымерло. Сусликов и тех почти не видать. Обесцветились растения, кроме конского шавеля, крокошлебки и нивянок. Да еще среди глинистого однообразия выделялись стеклянные волоконца семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не тянуло через увалы аромат горлицы, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея, пижмы, поповника...

Я ломился напрямик по этой тусклоте, и моя неприкаянность как бы терялась в бурьяне.

Я быстро добрался до Мартышечьего озера. Полежал на мхах. Нарезал рогозовых «палок» и успел вернуться домой до ухода в школу. Боль во мне, похоже, перегорела, и я вроде бы примирился с потерей голубей. Я не подосадовал на бабушку, когда она, зачерпнув ложкой сливочного масла, полезла под кровать. Даже мысль о том, что теперь не меньше недели бабушка будет праздновать на голубиные деньги, не вызвала ни злости, ни раздражения.

Возвращаясь из школы, я все же то ли загадывал, то ли умолял кого-то: «Хотя бы они не прилетели», но на всякий случай пошел вдоль сараев, балаганов, будок. Взглянул на барачную крышу. Там сидел голубь. Я подумал, что обмишулился. Уже темно. И можно принять за голубя какой-нибудь рваный ботинок, закинутый на крышу. Чего только туда не забрасывают. Я решил не смотреть больше на крышу и хотел уйти домой, но не утерпел. Действительно, на гребне крыши сидел голубь. По гладкой голове и вытянутой шее я узнал младшего Цыганенка, и уже через мгновение я бросился в барак за ключом. Едва открыл будку, Цыганенок слетел на землю и торопливо побежал к порогу. Я так был обрадован, что понес Цыганенка домой. Мать с бабушкой дивились тому, что пiskuнишка, которому без году неделя, прилетел, да еще и раньше старых голубей. Мать налила в блюдце молока, а бабушка насыпала чечевицы на жестяной лист, прибитый перед поддувалом голландки. Я сказал, что в незнакомой комнате он не станет есть, а вот стекло наверняка вышибет. Чтобы Цыганенок не убился или не порезался, прежде чем пустить его на железо, я открыл окно. Он сразу вспорхнул, вылетел и сел на пол, возле огуречной грядки. И это поразило их.

Я покормил Цыганенка возле будки, и когда, оповестив своих дружок о его возвращении, пришел домой, то мать с бабушкой все еще восхищались тем, что младший Цыганенок башка, а также толковали о деревенском поверии, будто у голубей человеческая кровь, и склонялись к тому, что в этом есть резон: умом, повадками, семейным укладом, привязанностью к дому они напоминают людей.

Со дня на день я ждал прилета Страшного и Цыганки, но они не появлялись. Пискуну было одиноко. Много им заниматься я не мог — готовился к урокам. Чтобы он не сидел в затворничестве, я выпилил в нижней части двери отверстие, и Цыганенок покидал будку и залезал обратно, когда ему вздумается. Он летал с Петькиной стаей и со стаей Жоржика-итальянца. Но чаще всего он летал со стаей Мирхайдара и всегда рядом с хохлатым Цыганенком. Иногда он исчезал из неба нашего участка. Где его носит, я не знал, да и не хотел знать. Мне было ясно, что Цыганенок любит летать, что он вольный голубь и что, хоть убей, не сядет у чужой голубятни, если даже к Мирхайдару, куда садится его брат, ни разу не спустился. Меня бесило, когда кто-нибудь из мальчишек говорил в его отсутствие:

— Опять Цыганенок шалается над городом.

Для голубятников ожидание первого снега — как ожидание первого несчастья. Снег перекрашивает мир. Были горы верблюжьего цвета, выше землянок на склонах темнели убранные огороды, а верх землянок был пестр: черный — полито смолой, бурый — крыт железом, сизый — досками, белый — берестой. Выпал снег. И пропали серые шиферные крыши конного двора, красная крыша клуба железнодорожников, зеленая крыша детского сада, разномастные крыши барачков, оранжевый зонт над трубой котельни, изумрудные крыши завода, в стекле которых мерцала на солнце медная проволочная арматура. Исчезли черные домы, глинисто-рыжий ручей, текущий с горы Атач через город, и глинисто-рыжий лед пруда в месте впадения ручья. Куда-то девались другие цветковые ориентиры. Голуби дуреют от этой переокраски. Они не кружат над свежей, слепящей, беспредельной белизной — плутают, носятся, мечутся, будто промчался в небе ураган и расшвырял их и они никак не могут собраться в стаю. Но понемногу налаживается привычный порядок. Стройность ему возвращают голуби, уже не однажды зимовавшие. Сбиваясь в маленькие кучи, они начинают размеренное вращение над тысячу раз облетанной площадью, ожидая, когда полностью соберется вся их разбредшаяся стая. Но к вечеру редко в какую голубятню соберется вся дичь. В некоторых голубятнях недосчитаются и старичков.

Нежеланный день. День хаоса, обожженных резким светом глаз, отчаянной беготни, невероятных потерь.

А для кого и день азартной ловли и богатой поживы!

Приближение первоснежья тревожило меня не только тем, что я могу лишиться Цыганенка, а также и тем, что после него навряд ли дождусь Страшного и Цыганку.

Как я был счастлив, когда холодным утром с иссиня-свинцовыми тучами услышал крик Саши:

— Цыганка, Цыганка идет по крышам!

Я схватил Цыганенка и побежал за Сашей. Голубка, отдыхая, сидела на бараке директора школы Ивана Терентьевича. Я выбросил Цыганенка, и она тотчас взлетела. От радости было попыталась бить крыльями и кораблить, да чуть не врезалась в землю. Там, где она жила, у нее оборвали крылья. Они еще не отросли как следует, когда она подалась восвояси, и вот уже летит около Цыганенка. И прекрасно, что она приле-

тела накануне первого снега. Значит, есть надежда, что если Страшной в зимнюю пору будет стрелять над участком в своем поисковом полете, то он увидит Цыганку с Цыганенком и сядет за ними, хотя и не узнает ни нашего барака, ни моей будки.

Ночью, как и предполагала бабушка — у нее колело под крыльцами, — выпал снег. Я очумел от того нежного преобразования, которое совершилось во всем. Замок на будке напоминал полярную сову, трансформатор, взгроможденный на помост высоковольтного столба, походил на хлопковый тюк. Что-то гусиное было в паровом подъемном кране, который стоял на железнодорожном пути близ вагонного цеха.

В дырке над порогом появился Цыганенок и мигом отпрыгнул назад. Немного погодя он повысовывался из лаза, опять выскочил на порог и, поозиравшись, прыгнул на белое. Оттого ли, что он провалился в снег, оттого ли, что не знал, что это такое, Цыганенок взвился и с лета нырнул в лаз.

Я наспех оделся, подмел веником землю перед будкой и выпустил Цыганку с Цыганенком. Они долго таращили глаза по сторонам и в небо, где уже происходила голубиная суматоха. Дичь Мирхайдара переполошилась сильнее, чем Петькина и Жоржа-итальянца.

Мирхайдару нравилось жевать воск. Он жевал его беспрестанно, стараясь, чтобы получалось с прищелком. В прищелках, по словам Мирхайдара, была самая что ни на есть сладость. Учителя мирились с его дурной привычкой, но все-таки выставляли с уроков из-за этих прищелков. Желваки на скулах Мирхайдар нажевдал себе чуть ли не с кулак величиной.

Растерянное лицо Мирхайдара с огромными двигающимися желваками вдруг представилось мне, когда я уследил, что пуще всех переполошились именно его голуби. Я не хотел ему урона и даже взволновался, как бы он не потерял сегодня своего хохлатого Цыганенка.

Мой Цыганенок набив зоб пшеницей, взмыл вверх, а Цыганка лишь дотянула до крыши. Там она и сидела, обняв и наблюдая за небесной неразберихой, покамест он не вернулся. Он тоже принялся охорашиваться и весело глазел в лучистый воздух.

Я не понял, почему они вдруг вытянулись. Было впечатление, что они заметили неподалеку ястреба, хотя никакой хищной птицы в это время в городе быть не могло. И сорвались они с крыши так резко и сильно, как в опасности. Через какую-то секунду, к моему недоумению, Цыганенок начал звенеть крыльями, а Цыганка, летевшая вровень с ним, принялась кораблить своими тупыми крыльями. Секундой позже мне все стало ясно: от заводской стены тянул Страшной. Он косокрылил — правое крыло у него было короче левого. Узнав Цыганку и Цыганенка, он перекувырнулся, сел на хвост и угодил на телеграфные провода, тянувшиеся вдоль дороги.

Я бросился огибать будки, сарай, балаганы. Поднять! Спасти! И когда обежал их, то увидел, что Страшной тянет к моей будке над пышной порошей и от взмахов его крыльев взвихриваются снежинки.

Чтобы избавить Страшного от косокрылости, я оборвал ему левое крыло. Отрастание перьев ослабляло холодоустойчивость Страшного и Цыганки. В морозы я заносил их домой. А Цыганенок не мерз и в самую огненную стужу. Я оставлял его в клетке; он решался летать даже в остекленевшем от мороза небе. Однажды я задержался в школе. За мое отсутствие к будочной двери надуло сугроб, и он успел затвердеть. Цыганенка в клетке не было. Вполне возможно, что дырку замуровало перед наступлением вечера, поэтому он не мог попасть к себе в гнездо. Поиски не принесли утешения. На рассвете я встал и обнаружил Цыганенка в

тупичке между нашей будкой и соседским балаганом. Он спал на черенке совковой лопаты. И до этого происшествия я знал о холодоустойчивости голубей, но теперь убедился, что зиму они коротают почти с пингвиной выдержкой и бодростью.

Голубятничать, как раньше, до бабушкиной сделки с барышником, у меня не было желания. И не потому, что я не хотел школьных неприятностей и боялся, что участь Страшного и Цыганки с Цыганенком повторится. Просто мне открылась в вольной воле, которую я дал Цыганенку, такая необъятность простора, движения и красоты, что я и не представлял себе, как смогу лишиться всего этого Страшного и Цыганку.

Когда они стали вылетать втроем, то пропадали в небе почти все светлые часы дня. Иногда они приводили с собой чужаков, я дарил их бабушке, и у нее возникал повод для залезания под кровать.

По теплу голуби начали приводить с собой голубку оригинальной масти: по белому фону синеватые закорючки, напоминающие арабскую вязь. Голубка ходила вместе с Цыганенком, но к вечеру, поднявшись, нарезала через металлургический комбинат и скоро скрывалась в его железисто-черной копоти. Как-то я увидел (уже просохло, и на полянах зеленела мурава), что Цыганенок целуется с этой голубкой. Вот тебе штука! Я даже замахнулся на них. Их недоумение было недолгим. Они снова принялись целоваться, а потом со счастливым боем крыльев совершили кольцевой облет барака и сели.

В этот час возвращался со смены бородатый взрывник. По пути к переправе он купил на базаре пшеницы и нес ее в мешке. Отдыхая, он спрашивал меня о Страшном; как бы для себя сказал, что Чубарая до сих пор без пары. В масти голубки — по белому синеватые закорючки — он увидел сходство с письменным камнем, на том тоже такие значки. Тем, что назвал голубку Письменной, он опять оставил о себе хорошее впечатление. Голубка словно ждала, чтобы ее нарекли. С этого дня она поселилась у Цыганенка в гнезде.

К июню Страшной и Цыганка вывели птенцов. Я исполнил свое обещание: отдал их Петьке Крючину, едва они окостыжились. Клевать они уже умели, но с неделю понимали Петькиных голубей приставаниями: просили себя покормить, за что старички секли их крыльями.

Страшной и Цыганка подолгу сидели на конюшне, с тоской глядя на пискунцов, и оба возмущенно ворковали, если при них обижали малышей.

Письменная почему-то неслась на бараке, всякий раз ее яичко скапывалось с крыши.

Когда началась война, я решил, что Страшной и Цыганка с Цыганенком — в Письменной я сомневался — могут пригодиться на фронте. От кого-то я слышал: умные голуби после специальной тренировки бывают прекрасными войсковыми гонцами.

Мы с Сашей принарядились. Саша был в сатиновой косоворотке, сереньком, с коричневой ниткой бумажном костюмчике, в ненадеванных ботинках, шнурующихся на крючки. Все было ему велико и сидело на нем, как чучело на колу, и все-таки ему было радостно: мать держала до этого его выходные вещи в сундуке под ключом. Ожидая меня у будки, он пел что есть мочи:

Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить...

Я надел парусиновые тапочки, брюки из темного сукна с мохнатым ворсом, матроску, угрожающе трещавшую в подмышках. Я подsunул Страшного и Цыганку под резинку, вдетую в подол матроски, Саша

приткнул Цыганенка и Письменную под френчик. И мы направились в городской военной комиссариат.

Дорогой со стороны переправы промчался танк «Т-34». Едва мы проскочили сквозь пыль, поднятую танком, как увидели Мирхайдара. Под вельветовой курткой у него возилась дичь. По тому, как он был раздут в корпусе, можно было прикинуть, что тащит он под курткой чуть ли не всю свою стаю. Я подумал, что Мирхайдар идет в комиссариат, и сильно расстроился. Вдруг да выберут его голубей, а наших забракуют. Оказалось, что вчера он играл с Бананом За Ухом. Тот выкинул у его барака дюжину голубей, и все они улетели, и Мирхайдару пришлось расстаться с парой Желтых. Мирхайдар надеялся теперь отыграть Желтых у Банана За Ухом. Я было повеселел, но тут же ощутил разочарование. Он и не додумался до того, что голуби могут с пользой послужить на фронте, и отнесся к нашей затее снисходительно: зачем, дескать, использовать для связи беззащитную птицу, коль существуют для этой цели телефоны и рации? Телефон у или рации что? Мертвые аппараты, им не страшно. А голубя убить может. Жалко.

— А людей тебе не жалко? — спросил я.

— Людей жальчей, — сказал Саша.

— Сами виноваты. Кто затевает войну? А чем же голуби-то виноваты?

— Ничем. Правильно. Только ежели фрицы нас перекокают, голубям хана: всех, гады, сожрут. Значится...

— Я паспорт получу, — перебил меня Мирхайдар, — сразу добровольцем запишусь. А дичь братьям оставлю. Она мне дороже меня.

Соображение Мирхайдара хотя и озадачило и поколебало нас, но не изменило нашего намерения.

Мы перебежали шоссе перед головой длинной пехотной колонны, спускавшейся с одиннадцатого участка. Красноармейцы двигались в обычной, табачного цвета, форме, наискось перехваченные скатками. Хотя слышался не грохот их сапог, а только слитное шурханье, однако оно гулко и почему-то больно отзывалось в ушах; вероятно, из-за того, что шествие было молчаливым, лица суровыми, командиры не подавали команд. С металлургического комбината не доносилось ни звука, словно ему было известно, что они уходят, и он примолк, прощаясь. Я был потрясен этим совпавшим молчанием.

Не меньшее потрясение произвела в моей душе и собственная бабушка. Возвращаясь с базара, она остановилась по другую сторону карагача, близ которого стояли мы с Сашей. Она не замечала нас, вглядываясь теряющими зоркость глазами в ряды проплывающих лиц. И вдруг она опустила на землю кошелку, истово как-то выпрямилась и начала, высоко воздев руку, крестить бойцов, миновавших ее, и негромко, но твердо произносила:

— Милостивец, спаси и сохрани!

Я всегда стыдился, что бабушка верит в бога, а тут испытал за нее гордость: она любит этих людей, которые шагают на вокзал и которых никто не провожает, да и не может проводить: их родные не здесь; она чувствует, что они нуждаются в чем-то горячем благословении, в каких бы словах оно ни выражалось; она желает им жизни и победы, чего им сейчас хочется больше всего на свете.

Пробраться к сосновому двухэтажному дому военного комиссариата было трудно: на подступах к нему рокотала, гомозилась, страдала, тешилась музыкой темноодежная толпа. Группа крупных мужчин волновалась из-за того, что их долго не выкликают. По спецовкам и по синим очкам, привинченным к козырькам кепок, можно было догадаться — это сталевары. Вокруг старика с гармонью вились женщины, постукивая

подборами и охая; самая удалая, красивая, заплаканная, то и дело останавливалась перед высоким мрачно-пьяным кудряшом и частила задорным голосом:

Да разве я тебя забуду,
Когда портрет твой на стене?!

— Все и всё забывают,—повторял кудряш.

Глаза его с цыгански коричневым белком как бы отсутствовали. (Этими словами мне о нем подумалось тогда.)

Кольцом стояли физкультурники; почти все были любимцами городской пацанвы: Иван-пловец, лобастый бодряк, называвший предметы в уменьшительно-ласкательной форме; длинный волейболист Гога, гимнаст Георгий с прической «ежик», центр нападения из футбольной команды металлургов Аркаша Змейкин. Теперь не скоро увидишь, а может, и совсем не увидишь, как Иван своим угловатым кролем торпедой проскакивает стометровку на водной станции; как мощно «тушит» Гога, иногда сбивающий мячом игроков; как Георгий, качаясь на кольцах, делает стойку; как Аркашка Змейкин всаживает штуку за штукой в ворота «Строителя», «Трактора» или «Шамотки».

Мы бы пролезли между парнями, теснившимися в сенях и в коридоре, если бы не боялись раздавить голубей. К нам подкатился один из этих парней — блондинистый мордан.

— Что, огольцы, принесли папке выпить-закусить? Ваше дело в шляпе. Грузовик оттаранил вашего папку на вокзал. По червонцу за бутылку. Сойдемся?

Саша не утерпел и захохотал. За Сашей и я покатился со смеху. Поваливая боками, мордан обождал, пока мы просмеемся, и подступил с угрозой:

— Берите за бутылку по червонцу и хиляйте отсюда, а то в лоб замостырю.

— Ну, ты! — тоже с угрозой сказал Саша, ссутулясь и вытянув шею. Блатяга, чистый блатяга.— Ну, ты, не тяни kota за хвост!

Тут с кипой бумаг в руке вышел сам комиссар. Мы кинулись к нему. Он опешил от нашего предложения, но сразу смекнул, что огорчать нас не следует, и, взглянув на Цыганенку и Письменную и ласково притронувшись к их головам, поблагодарил нас за патриотическую инициативу и велел крепче учиться, особенно по физике и математике. Про голубей же сказал, что, если они потребуются для армии, об этом будет сообщено в школы через администрацию.

Выбираясь из толпы, мы увидели, что длинный Гога, Иван-пловец, футболист Аркашка Змейкин и гимнаст Георгий заскакивают в кузов полуторки. Когда машина тронулась, мы запустили в воздух голубей, и физкультурники вскинули вверх кулаки.

Держать голубей так, как держал их я, было, по выражению бабушки, не а чего сто. Пока я ловил и продавал чужаков, пока я с помощью Страшного и Цыганки выигрывал дичь и деньги, мне было выгодно иметь голубятню. Прибыль, которую получал, я тратил на пшеницу и коноплю. Но стоило мне отказаться от ловли чужаков и от голубиных игр, как я почувствовал, что расходы на корм — дело нешуточное.

Голуби — жоркие птицы; первые чревоугодники среди них жирнюги, ленивцы, сладострастники, сизари, засидевшиеся. Однако и среди голубей встречаются малоежки. Тут особняком летуны: почтарь, турман, чистяк, оренбуржец — лишь он один может взлетать и опускаться по прямой, как жаворонок, — а также голуби, озабоченные своей красотой: дутышн, трубачи да еще те, кто чистоцветной масти и одарен артистиче-

ской статью — пульсирует шейкой, хохочет, принимает декоративные позы.

Хотя Страшной с Цыганкой и Цыганенок с Письменной быстро наклеивались, забота о корме становилась для меня с каждой новой военной неделей все более сложной, даже трудно выполнимой. Денег, выдаваемых матерью на буфет — я совсем не расходовал их на школьные завтраки, — не стало хватать на покупку пшеницы; коноплю за ее кусачую цену я еще в июне исключил из голубиного меню. Пришлось покупать зерновую дробленку, затем охвостье, после этого — смесь проса с овсом, а потом — только овес. А цены все росли. И основным кормом для голубей стал хлеб нашей семьи, который мы получали по карточкам. Коль голуби были мои, я старался есть поменьше, чтобы в основном на корм им шла моя пайка.

С хлеба, как и с овса, у голубей пучило зобы, да как-то все на сторону, и они маялись, потягиваясь вверх, словно что-то глотали и никак не могли проглотить. Петька Крючин, жалея Страшного и Цыганенка, иногда приносил карман пшеницы или ржи и вытряхивал зерно перед ними, а голубок отгонял: он считал, что они гораздо живучей самцов и спокойно выдюжат на дрянных кормах. Когда на конный двор привозили жмых, то Петька приглашал меня на разгрузку; за помощь старший конюх выдавал мне целую плиту жмыха, и тогда на некоторое время и у нас в семье, и у голубей наступал праздник. Для себя мы калили жмых на чугунной печной плите, а для них дробили в медной ступке.

Банан За Ухом, узнав через Мирхайдара о моих затруднениях, пришел ко мне. Голуби клевали овес, и он грустно посетовал: «Экий плевел приходится есть такой прекрасной дичи!» — и выразил желание их купить. Банан За Ухом работал на мельничном комбинате. Уж он-то будет кормить их отборной пшеничкой! Я недолюбливал его, а здесь вдруг он понравился мне. Наверно, тем, что с восторгом смотрел на моих голубей, а может, просто стало жаль, что на щеке у него багровое родимое пятно, а за ухом нарост, похожий на маленькую картошину. Походит ли этот нарост на банан, я не мог судить: не знал, что это за плод и какого он вида.

Он сказал, что берет обе пары оптом за полтысячи. А я сказал, что скошу ему сто рублей, если он поклянется не обрывать никого из голубей. Он поклялся, выговорив для себя дополнительное условие: после первого прилета я отдаю ему Страшного и Цыганенка.

Через день я съездил к Банану За Ухом и возвратился чуть не рыдая: он обдергал крылья Цыганенку, а Страшного с Цыганкой, не мечтая их удержать, перепродал голубятнику со станции Карталы, находившейся километрах в ста от города. У меня была тайная надежда, что все мои голуби прилетят. А если так случится, что Банан За Ухом удержит их, то я смогу к нему приезжать, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Страшного с Цыганкой и Цыганенка с Письменной. Теперь я не увижу своих старичков. Пути на станцию Карталы у меня нет и наверняка не будет. А прийти оттуда они не сумеют: такая даль, да и зима вот-вот наступит.

Уроки я учил, устроившись со всеми удобствами: подо мной край сундука, придвинутого к стене, под ногами перекладная стола, под локтями сам стол, упирающийся мне в грудь боковой столешницы. Чуть скосил глаза — видишь, что делается перед хозяйственными службами, на крышах, в том числе на Мирхайдаровом бараке, на металлургическом заводе и в небе над ним и над бараками. А чтобы увидеть свое лицо, нужно повернуться и достать подбородком до ключицы. На деревянном угольнике, накрытом кружевом, связанным мамой из ниток десято-

го номера, стоит зеркало; в него и глядись досыта на свои выпуклые глаза (за них меня дразнят Глазки-Коляски), на косую челку, на разнокалиберные уши. В зеркале я вижу отражение розового целлулоидного китайского веера и раскрашенной фотокарточки, где мы с мамой прижались друг к другу и где между ее дисковидным беретом и моим пионерским галстуком есть красный перезвук — оба затушеваны фуксином. Бабушка терпеть не может, когда я «выставляюсь в зеркале». Она думает, что я из-за этого с ошибками выполняю задания по письму. Раз я пишу, все это для бабушки — «по письму».

Ее нет дома. Поверх будки я вижу, как она из огромной кучи каменноугольной золы выбирает комочки кокса. От холода в комнате у меня химически-синие губы. Но я не обращаю внимания на холод. Я гадаю о том, сравняются ли мои уши, как выровнялись в последние годы зубы, валившиеся прежде друг на дружку. Я загибаю пальцами уши и пристально их исследую. В комнате у нас студено, но мне становится радостно: нашим под Москвой и в Москве тепло, все в ватном, в пимах, в полушубках, только у нас, в одном городе, в помощь фронту собрали эшелон зимних вещей. Счастливиц, кому достанутся мои валенки, скатанные дядей Мишей Печеркиным. Хорошо, что дядя Миша сработал большие, мне не по мерке катанки. Теперь у кого-то ноги, как в доменной печи. Дядя Миша недоросток, а любит все крупное: жену взял чуть ли не вполтину выше себя, на охоту ходит с фузеей восьмого калибра и пимы валяет на богатырей. Правда, сыновья получают в него.

Из-под щепки, которой бабушка орудует в куче, летит зола. Если стать голубем и лететь навстречу сегодняшнему ветру — через какое расстояние устанешь?

Ну да ладно. Надо браться за алгебру. Какие-то индустриальные математики придумывают задачки. «Из пункта «А» в пункт «В» вышел поезд...» «Из бассейна объемом... в бассейн объемом...» Неужели нельзя: «Со станции Карталы в город Магнитогорск вылетел голубь...» А ведь я не знаю, с какой скоростью летают голуби. Разная у них, конечно, скорость. Среднюю, разумеется, можно высчитать. А то все машины, агрегаты, емкости...

Бабушка начала дуть в побурелые от золы матерчатые варежки. Сейчас думает про себя: «Отутовели рученьки мои». Она вздрагивает там, на ветру. И тут же по моей спине прокатывает волна озноба. Она мерзнет, а я не решаю задачу. Не решишь к ее возвращению — рассердится.

Склоняюсь над тетрадью. От бумажных листов и от клеенки исходит почти жестяной холод. Скорчившись, как бы ужимая себя к очажку тепла, находящемуся в груди, я согреваюсь. И вдруг до моего слуха долетает стукоток, мелкий, мелкий, вроде бы возникающий в подполье. Может, нищенка робко царапает ноготками в дверную фанерку, а кажется, что звук идет снизу? Однако я наклоняю ухо к полу. Опять стукоток. Четко различаю — он не из подполья, а из коридора и возникает на вершок-другой от половиц. О, да это Валька Лошкарев. Ему уж около двух лет, а он все ползун. Но Валька когда приползает к нам в гости, то разбойно лупит ладошкой по фанере. От новой догадки я вскакиваю и бегу к двери, хотя в душе отвергаю эту догадку. Потихоньку растворяю дверь и слышу, как чьи-то лапки шелестят с той стороны. И вот на полу напротив меня Страшной. Треск крыльев — и он на моем плече. И сразу бушевать. И такие раскаты, рокоты, пересыпы воркованья наполняют комнату и коридор барака, каких я не слышал никогда. Закрываю дверь и прохожу на середину комнаты. А Страшной ничего, не забоялся, и все рассказывает, рассказывает о том, как стремился домой, как решился в мороз и ветер пуститься в полет, как сразу точно сориентировался, как еще

издали по горам дыма и пара узнал город, как, чуть не падая от усталости, преодолевал промежутки между бараками и как счастлив, что снова у меня в комнате, где часто ночевал под табуреткой, над которой прибит умывальник и откуда по утрам я гнал его к выходу из коридора вместе с Цыганкой и Цыганенком.

Я взял ковш, проломил в ведре корочку льда, напился и напоил изо рта Страшного. По крупным талонам позавчера мы выкупили перловку. Я сыпанул перловки на железный лист; Страшной набросился на нее, затем, будто вспомнил, что чего-то недосказал или испугался, что я уйду, снова сел на плечо и наборматывал, наборматывал в ухо. По временам он, наверно, чувствовал, что не все, о чем говорит, доходит до меня, и тогда бóльшая внятность и сдержанность появлялась в его ворковании. А может, теперь он рассказывал лишь о Цыганке и замечал, что это мне совсем невдомек, и для доходчивости менял тон и сдерживал свою горячность?

Бабушка всплеснула руками, едва увидела Страшного на моем плече.

— Ай-яй! Матушки ты мои! Из Карталов упорол! В смёртную погоду упорол!

И еще пуше она дивилась тому, что в таком длинном бараке о тридцать шесть комнат Страшной отыскал нашу дверь. И маму, когда вернулась с блюминга, отработав смену, сильнее поразило то, что он нашел нашу дверь, а не то, что он в лютую стужу прилетел из другого по сути дела города. А я был просто восхищен Страшным и не думал о том, чему тут отдавать предпочтение. Но бабушкино и материно удивленье, что голубь нашел именно нашу дверь, заставило меня задуматься над его появлением. Я прогулялся по коридору. Двери были очень разные. Наша в отличие от всех дверей была ничем не обита, с круглой жестяной латкой на нижней фанерке. Дверь перед нею была обколочена войлоком, а после нее—слодянистым толем. Не столько смелость и память Страшного поразили меня, сколько привязанность, которую он обнаружил ко мне, человеку, своим прилетом и радостным бушеванием, а также ум, благодаря которому он проникнул в коридор и стал долбить в дверь, чтобы его впустили.

Прежде чем уйти в школу, я разгреб сугроб над землей, насыпал пшеницы, добытой у Петьки Крючина, убрал от порога плаху — ею был заслонен лаз, дабы в будку не надувало снега. Я полагал: из Карталов Страшной вылетел один — он бы не бросил голубку в пути. Но вместе с тем у меня была надежда, что сейчас Цыганка пробивается к городу: не утерпела без него, не могла утерпеть, и летит.

Вечером я не обнаружил ее в будке. Не прилетела она и через неделю.

Поначалу Страшной, казалось, забыл о ней. Чистился. Кубарем падал с небес, поднявшись туда с Петькиной стаей. Он догонял голубей в вышине и катился обратно почти до самого снежного наста, черного от металлургической сажи. И не уставал. И никак ему не надоело играть. Но это продолжалось дня три, а потом он вроде заболел или загрустил. Наохлится и сидит. Уцепишь за нос — вырвется, а крылом не хлестает, не взворкует от возмущения.

— Задумываться стал,—беспокойно отметила бабушка.

И ночами начал укать. Чем дальше, тем пронзительней укал. Тоска слышалась в этих его протяжных «у».

Спать стало невмочь. Я оставлял его на ночь в будке. Но оттуда нетнет, да и дотягивались его щемящие стоны. Я уж подумывал: не съездить ли в Карталы. Может, вымолю Цыганку за четыреста распронесчастных рублей Банана За Ухом? Но внезапно Страшной исчез. Голубиный вор

мог унести, тот же Банан За Ухом. Кошка могла утащить. Поймал Жорж-итальянец — у этого короткая расправа: не приживется, нет покупателя — пойдет в суп. Сожрет и утаит об этом. Зачем лишних врагов наживать?

Бесследно люди пропадают, а здесь — всего лишь небольшая птица.

Но Страшной не пропал. Он опять пришел, да не один — с Цыганкой.

Я был в школе, когда они прилетели. Я и не подозревал, что Страшной с Цыганкой сидят под табуретом. Я пришел домой, съел тарелку похлебки, и только тогда мама сказала, чтобы я взглянул под табурет. Я не захотел взглянуть. Решил — потешается. И мама достала их оттуда и посадила мне на колени, а бабушка стала рассказывать, что увидела, как он привел ее низами за собой, и открыла будку и сама их загнала.

Через год я отдал их Саше Колыванову, не насовсем, а подержать, на зиму. Саша сделался заядлым голубятником. Школу он бросил, так и не окончив пяти классов, хотя и был в пятом третьегодником. Он кормился на доходы от голубей.

В то время я занимался в ремесленном училище, и было мне не до дичи: до рассвета уходил и чуть ли не к полуночи возвращался.

Как-то, когда я бежал сквозь январский холод домой, я заметил, что в той стороне барака, где жили Колывановы, оранжееет электричеством лишь их окошко.

Надумал наведаться. Еле достучался: долго не открывали. Саша играл в очко с Бананом За Ухом. Младшие, сестра и братишка, спали. Мать работала в ночь на обувной фабрике.

Из-за лацкана полупальто, в которое был одет Банан За Ухом, выглядывала голубоватая по черному гордая головка Цыганки. Я спросил Сашу:

— С какой это стати моя Цыганка у Банана?

— Проиграл, — поникло ответил он.

— Без тебя догадался. Я спрашиваю: почему играешь на чужое?

— Продул все деньги. Отыгратья хочется. В аккурат я банкую. Он идет на весь банк. И ежели проигрывает — отдает Цыганку.

— Чего ты на своих-то голубей не играл?

— Банан не захотел.

— А Страшной где?

— Под кроватью.

Я приоткинул одеяло. На дне раскрытого деревянного чемодана спал Страшной, стоя на одной ноге.

— Давай добанковывай, — сказал я.

Он убил карту Банана За Ухом, тот с внезапным криком вскочил, и не успели мы опомниться, как он мстительно и неуклюже рванул из-под полы рукой, и на пол упало и начало биться крыльями тело Цыганки. Банан За Ухом оторвал ей голову.

Мы били его, пока он не перестал сопротивляться, а потом выволокли в коридор.

Я забрал Страшного. Утром он улетел к Саше, но вернулся к моей будке, не найдя там Цыганки. Дома была бабушка, и он поднял ее с постели, подолбив в фанерку. Он забрался под табурет. И в панике выскочил оттуда. Облазил всю комнату и опять забежал под табурет. Укал, звал, жаловался. После этого бился в оконные стекла. Бабушка схватила его и выпустила на улицу.

Жил он у меня. На Сашин барак почему-то даже не садился. Неужели он видел из чемодана окровавленную Цыганку и что-то понял?

Он часто залетал в барак и стучал в дверь, а вскоре уже рвался наружу.

— Тронулся,— сказала бабушка.

Он стал залетать в чужие бараки, и дети приносили его к нам. А однажды его не оказалось ни в будке, ни в комнате. Я обошел бараки и всех окрестных голубятников. Никто в этот день его не видел. И никто после не видел.

И хорошо, что я не знаю, что с ним случилось. Когда я вспоминал о Страшном, мне долго казалось, что он где-то есть и все нищет Цыганку.



ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС

★

ПТИЦА НА ИЗГОРОДИ

Рассказ

«Исландскому народу нет нужды горевать, пока бог посылает ему скальдов»,— говорит старая крестьянка, одна из героинь только что переведенного у нас романа «Свет мира».

Исландскому скальду Халлдору Лакснессу, написавшему эту книгу, за другое его произведение, за сагу о Бьяртуре из «Светлой обители», о человеке, «который в течение всей своей жизни заседал поле своего недруга», присуждена была Нобелевская премия.

— Я думаю о том, что вот я, странник, писатель с маленького острова, вдруг должен выйти к рампе перед лицом всего мира,— сказал Лакснесс на торжественном вручении ему премии в Золотом зале стокгольмской ратуши.— В эту минуту мысли мои с теми, кто окружал меня в детстве, в юности, с людьми, которых уже больше нет. Я вспомнил свою бабушку, которая всегда учила меня выше всего ставить бедных и униженных безымянных людей, создавших бессмертные исландские саги, на которых я воспитывался. В нашей стране в убогих хижинах они создавали эти саги, не мечтая о славе, успехе, деньгах. И вот я думал, что может принести успех писателю? Конечно, материальное благосостояние. Но если исландский писатель забудет, что он вышел из глубин народных, в которых живет сага, если он потеряет связь с народом и забудет о своем долге по отношению к угнетенным, которых учила меня уважать моя бабушка, то слава и материальное благополучие — это ненужная мишура.

Слова эти — как бы эпитафия к его необыкновенной книге о «самостоятельном человеке», об исландском крестьянине, который на своем клочке каменистой земли, «смыкая зарю с зарею», горбел в единоборстве с жестокой природой и еще более жестоким общественным устройством.

Через многие века после рождения саг роман этот снова ввел литературу народа, численность которого едва достигла двухсот тысяч,— в мировую литературу. Именно тот писатель, который, казалось, был поглощен проблемами сугубо исландскими, сумел стать наиболее интернациональным из всех современных писателей Скандинавии. Но сила его не только в том, что он снова возвысил родной язык и представил свой народ миру.

В краткий срок, за жизнь одного поколения, «отшельник Атлантики», как именуют исландцы свой остров, освободившись от хозяйничавших там иноземцев, стал независимой страной и, умело используя современную технику, совершил резкий экономический скачок. И вот когда, казалось иным — особенно молодежи,— «распалась связь времен» и под воздействием пропаганды американского образа жизни многие молодые люди смирились с перспективой размывания нации в «общеоатлантическом котле», книги Лакснесса — эта поэтическая история Исландии от древних времен («Герпла») через времена колониальные («Исландский колокол») до нынешней борьбы народа («Салка Валка», «Атомная станция» и другие),— книги, которым отведено почетное место на полках в каждой семье, стали цементом, скрепляющим поколения. Лакснесс снова открыл народу его историю, сняв с нее обшескандинавскую романтизацию эпохи викингов.

Его чудесные, исполненные подлинной поэзии книги, казалось, посвященные отдельным сугубо исландским проблемам, как в мозаике кусочки смальты, складываются в общую картину жизни народа, его истории, его сегодняшней, обращенной к будущему борьбы. Это, повторяю, тот цемент, который скрепляет в душе молодых исландцев их настоящее с прошлым, которым, оказывается, можно гордиться, которое вовсе незначителен терять, чтобы раствориться в англосаксонском или германском мире.

Однажды в Исландии, под немолчаливым шум могучего, низвергающегося с огромной высоты водопада Гулфосс, в усадьбе, которой принадлежала половина этого

водопада, я разговорился с седым фермером. Босой, он сошел с трактора, чтобы побеседовать с заезжим гостем. И конечно, как всегда в Исландии, речь зашла о сагах и скальдах, о литературе.

— Я откровенно отвечал тебе на все твои вопросы,— сказал старик,— ответь так же откровенно и мне: как ты думаешь — будут ли творения Халлдора долговечны? Ведь в них так много злобы дня!

— Когда говорят об Исландии и исландцах вдали от берегов вашего острова, каждому на память приходят прежде всего Лакснесс и его книги. Он представляет народ ярче и полнее, чем любой ваш президент или премьер, имена которых за рубежом не знает и один из тысяч. И разве книги, которые стали для современников первой необходимостью, не живут дольше, чем те, что пишутся в расчете на потомков?

Книги же Лакснесса — насущный хлеб для его народа, который продолжает вести борьбу за то, чтобы его родина оставалась подлинно независимой.

Если слова Лакснесса при вручении Нобелевской премии можно посчитать эпиграфом к роману «Самостоятельные люди», то публикуемый журналом рассказ «Птица на изгороди» (из последней его книги новелл «Семь этюдов») кажется нам эпилогом, прощальным словом, обращенным к уходящей в прошлое Исландии «самостоятельных людей». Герой рассказа умирает, гордый своей независимостью («Я никогда не был никому в тягость»). Вольный в своих поступках и мыслях, этот бедняк, начитанный, как и все исландцы, презирает сковывающие жизнь условности, церковную обрядность. Любовно внимая щебету птиц и журчанию ручья, он отвергает увещевания пастора о спасении души на том свете, но полон забот об этом свете, о живущих и о живом.

Геннадий Фиш.

За изгородью выгона с тихим журчанием течет ручеек.

Птице, усевшейся на изгороди, и в голову не приходит, что лай собаки возвещает приближение незнакомцев, она продолжает невозмутимо чистить перышки.

Незнакомцы оставили лошадей на не скошенном с лета выгоне и, не постучав, вошли в дом. Никто не ответил на их приветствие. Собака на дворе не унималась.

С убогой кровати, стоящей в углу, послышался голос такой слабый и приглушенный, точно он раздавался в телефонной трубке и шел откуда-то издалека:

— Кто это там?

— Это мы, те, за кем ты посылал, дорогой Кнут: судья, староста и я — пастор.

Мужчины подошли ближе, чтобы поздороваться, но старик не заметил их протянутых рук, и пожатие не состоялось. Старик, лежавший на кровати, совсем высох: казалось, под одеялом ничего нет. Суставы его худых грубых рук, обезображенные долгой дружбой с примитивными орудиями труда, теперь побелели от длительного бездействия. Кожа на впалых щеках стала прозрачной, а борода — он лежал на спине — торчала вверх, как клочок высохшей травы.

— Ну, ну, бедняга, как ты тут? — спросили вошедшие.

— Хорошо, — ответил старик. — Все идет своим чередом. Дни уходят помаленьку, может, к вечеру и придет мой конец. Не такой уж я сильный, как вы думали. Ну, а что у вас нового?

— Нужна тебе наша помощь?

— Старая Бьяма при мне. Она мне воды поднесет или еще чего. Послушай, Бьяма, заткни-ка глотку этой суке, что она там лает. Так она и лошадей может спугнуть.

Из небольшой каморки за печкой послышалось ворчание:

— А чего ей не лаять, на то она и собака, чтобы лаять.

— Ну, а есть ты можешь хоть помаленьку, Кнут?

— Я ем столько же, сколько работаю.

— Ну, а как насчет табачку, нюхаешь ли ты его? — спросил один из приехавших, доставая табакерку.

— Нет,— заявил старик.— Единственное, о чем я сожалею, что вволю не побаловался табачком при жизни. А это штука полезная.

— Должно быть, недаром тебя прозвали Кнут Твердый Орешек,— сказал один из курильщиков.

— Ну, хорошо, мой друг,— начал пастор.— Чем мы можем быть тебе полезны?

— Да ничем,— молвил Кнут.— Просто мне пришло в голову сделать завещание.

— Гляди, тоже тебе лезет с завещанием!..— послышалось бормотание в каморке.

— Много ли из твоих сбережений останется, старина, если вычтешь все, что пойдет на похороны?— спросил староста прихода.

— Я никогда не был никому в тягость,— сказал старик,— и должен заявить, что по всем вашим законам я считаюсь владельцем хутора.

— Владелец владельцу рознь. Это смотря как взглянуть на дело.

— Да твоего хутора едва хватит, чтобы погасить все твои долги. Ты сколько лет сряду земельный налог не платил, не говоря уже о страховке от пожара да о приходском налоге.

— Я вас никогда ни о чем не просил и не потерплю ваших вымогательств. Я сам построил свою хижину и могу сжечь ее, коли захочу. И вот прежде всего я хочу распорядиться, чтобы мою халупу сожгли, как только меня вынесут из нее.

Мужчины в недоумении переглянулись. Пастор что-то пометил в записной книжке. Наконец один из них заговорил:

— Ну что ж, поскольку в хижине нет никаких ценностей, то сжечь ее не жаль. Хутор останется хутором и без этого жалкого дома, он-то и перейдет в собственность прихода, дорогой Кнут.

— Я перебрался сюда через много рек, чтобы быть вольным человеком. Если вы собираетесь забрать землю в счет недоимки и страховки по случаю пожара — что ж, дело ваше. Я только прошу записать в завещании, что любого, кто осмелится прибрать к рукам эту землю, я объявляю вором.

Пастор продолжал что-то записывать, а судья спросил:

— Кому же достанется земля, когда тебя не станет?

— Земля моя никому не принадлежит и никому не будет принадлежать. Это моя воля, это мое завещание.

— У тебя дети в дальних приходах, Кнут. Что скажут они?— спросил староста прихода.

— А что мне дети,— заявил старик.— Как только дети перестают быть детьми, они становятся такими же чужими, как все остальные люди.

— А не наоборот ли,— сказал пастор.— Наши дети, перестав быть детьми, становятся нашими лучшими друзьями.

— Я никогда не стремился завести друзей. Жить вольным, не подчиняясь вашим законам, где-нибудь на пустоши — вот о чем я всегда мечтал.

— Что ты там ни говори, но даже самые что ни на есть отверженные не могут оборвать всех связей с людьми. Ну хотя бы в том случае, когда они крадут овец у хуторян в горах. Но тебя, кажется, дорогой Кнут, бог миловал этой слабости.

— Что правда, то правда. Плохой из меня был отверженный,— ответил старик.

— Кроме того,— продолжал пастор,— способность человека говорить дает ему возможность обмениваться словами и мыслями с другими людьми. Это же куда лучше, чем говорить с самим собой. Так что никак нельзя отрицать пользу общения.

— Я не виноват в том, что умею говорить,— заявил старик.— И не скрываю, что человеческую речь считаю самой большой напастью в мире. Вот я и выхожу из игры.

— И тем не менее ты говоришь, Кнут.

— Большое несчастье постигло человечество, когда люди стали составлять слова — вместо того чтобы петь. Как только человек в далекие незапамятные времена произнес первое слово, тогда же возникла ложь.

— Но взаимопонимание между двумя душами, любовь между женщиной и мужчиной — что было бы с нами без всего этого? По-моему, тот, кто отрицает это, перестает быть человеком. Даже отверженным.

— Я ни в грош не ставлю всю эту никчемную болтовню. Мне горько оттого, что приходится иметь дело с людьми. Я хочу оставаться один на один с собой.

— Но позволь, дорогой Кнут, человеческое общение — это же путь развития мировой истории,— сказал пастор.

— Не верю я в мировую историю,— заявил старик.— Это еще одна из побасенок. Все, что выражено словами, вызывает у меня подозрение. Я предпочитаю слушать журчание ручья.

— Во что же ты тогда веришь, Кнут?

— Мне вполне достаточно щебета и чириканья птицы, что прилетает сюда ко мне на изгородь, можете не сомневаться. Она знает все, что нужно знать о мире. Она знает все, что нужно, чтобы жить на свете. И никто не может рассказать больше ее. Я верю в птиц. Пожалуй, наступит время, когда люди станут птицами, хотя пока что на это мало похоже.

— Но сейчас, когда приближается твой конец и святая церковь предлагает тебе все, что она может даровать душе, что ты скажешь теперь?— домогался пастор.

— Я одного хотел,— начал старик,— избегать общения с людьми. Поэтому я считаю, что те несколько лет, которые я прожил здесь, я находил в царстве небесном. Но наступает день, когда человек жаждет распрощаться с птицами, с небом, богом и всеми ангелами, и вот такой день наступил для меня. И этот день не так уж плох.

Один из посетителей при этой тираде промолвил:

— Наконец нашелся человек, которому не страшно помирать!

— Представляю, как безрадостно было твое существование, бедняга,— вставил другой, поживаясь, словно мороз пробежал у него по спине.

— Ну, зачем же торопиться с такими заявлениями,— возразил старик.— Тот, кто слушает ручей, вряд ли почерпнет многое, слушая вас. Один солнечный день — награда за все дождливое лето. Птица, сидящая на изгороди, весной поет день и ночь, и так два с половиной месяца сряду. Остаток года — всего лишь отголосок весны. День измеряется часами и минутами, но из всех минут самая блаженная та, когда человек засыпает утомленным, пусть даже эта минута незначительна, пусть не каждый это чувствует. Что ты там написал, пастор? Написал он там про землю и дом? Меня что-то стало клонить ко сну.

— Не кажется ли тебе, мой дорогой Кнут, что все это немного неразумно? Ну к чему тебе морочить всем голову и подписывать бумаги об этой хижине и об этой земле, которую ты покинешь и до которой тебе нет никакого дела? Разве тебе не все равно, что с этим станет? Не лучше ли в последние минуты подумать о загробной жизни, о грядущей вечности?

— Может статься, что наш земной мир всего-навсего сущий вздор,— сказал старик.— Но как бы там ни было, я привык рассматривать его

как неизбежный факт. Поэтому я предпочитаю оставить завещание прежде, чем отправлюсь к праотцам, а то как бы не опоздать. Так вот, мои семнадцать овец...

Но пастора нелегко было сбить. Он упорно стоял на своем:

— Плохой бы я был тебе друг, дорогой Кнут, если бы я, пастор твоего прихода, не попытался в эти последние минуты пробудить в тебе хотя бы слабый проблеск симпатии к истинной вере. Я думаю, это сняло бы гяжесть и с тебя, и со всех нас, Кнут.

— В молодости я любил зачитываться книгами. Тогда я верил в семь учений. Но факты рассеяли их в том же порядке, в каком я их приобрел. А теперь ты ко мне пожаловал с восьмым. Факты изгоняют все веры. Я сыт по горло людской болтовней. Вот уж добрых пять десятков лет, как я не открываю книги. Давай-ка лучше вернемся к прерванному делу и запишем, как распорядиться этими несчастными семнадцатью овцами, которых я считаю своими.

Пастор что-то забормотал, проглотил слюну и, собравшись с духом, снова принялся за свое:

— Не думаешь ли ты, что вера в учение, в которое верят все окружающие тебя, создает душевное спокойствие?

— Я верю в мир без всяких верований. И хватит об этом,— заявил старик.— Я всегда старался оставаться самим собой и не поддаваться той чепухе, которой потчуют людей в обществе.

— Значит, тебе и рождество — не праздник? — спросил пастор.

— Когда птица на изгороди поет день и ночь два с половиной месяца сряду, она потом умолкает и сама начинает слушать. Праздник еще не кончается. Осень давно уже вступила в свои права, а птица сидит на изгороди и слушает эхо песни. Почем знать, быть может, это не хуже самой песни. Я тоже слушаю, братцы, хотя уже зарылся в свое логово.

— Некоторые добрые верования присущи всем людям со дня их рождения,— заявил душеспаситель.— И есть существа, которые остаются верными человеку с незапамятных времен. Взять, к примеру, корову, которую иногда называют прародительницей человечества. Несмотря на все великие достижения науки и философии, она продолжает давать нам молоко из поколения в поколение хорошо известным нам способом, мыча при этом изредка. Церковь, например, многие называют царством небесным на земле. Человеческое познание претерпевает поражающие изменения, а там господствуют все те же псалмы, которые мы с тобой пели еще с детства.

— У меня никогда не было коровы,— сказал старик.— Коровье молоко для телят. И меня тошнит, когда я вижу, как суют грудь младенцам. А вот этих семнадцать овец, владельцем которых я являюсь, что ты там ни говори, я распоряжаюсь прирезать, как только они вернутся с пастбища. Пусть они пойдут старой Бьяме на пропитание. Она давно здесь живет у меня в хижине. Вот это я прошу записать.

Делать было нечего, пастор принялся писать.

Из-за приотворенной двери раздалось бормотание:

— Ну вот еще что надумал, чего еще не хватало! К чему это убивать овец ради меня? Хватит и того, что в приходе есть имущие люди. Мне ничего не надо.

Никто на ее слова не обратил внимания. Упрямец Кнут завершил дело следующей фразой:

— Вот сейчас я постараюсь нацарапать свое имя, прежде чем оччурюсь.

Сформулировать подобное завещание оказалось не просто. Отцам закона пришлось два-три раза рвать написанное, пока им не удалось составить небольшой текст, который, по-видимому, тоже не совсем удов-

летворил их. Они прочитали документ. В нем говорилось о том, что ветхий жилой дом завещателя после его смерти следует уничтожить. Земля же поступит в распоряжение государственных организаций согласно закону. Овцы с меткой завещателя — в момент написания завещания они находятся на пастбищах в горах — поступят в собственность экономки завещателя.

— Гляди-ка, я вдруг стала экономкой! Какая из меня экономка? Я даже служанкой никогда не была. Никчемная я бедолага,— раздалось за полузакрытой дверью.

— Бьяма? — Мужчины вопросительно посмотрели друг на друга.— Да как же полностью зовут старуху?

За дверью вновь послышалось бормотание:

— Как там меня зовут. Никак и не зовут. Бьяртмей Иоунсдоттир. Стыдно такое имя поставить на бумагу...

Мужчины еще раз перечитывают документ завещателю. Он им явно доволен. Затем они приподнимают его высохшее, как старая кожа, тело и держат его под руки, пока он ставит свое имя под завещанием.

— Пятьдесят лет не брал пера в руку, поэтому получилось так плохо,— сказал, извиняясь, старик.

Мужчины поспешили его заверить, что все в порядке. Когда они снова опустили старика на постель, он повернулся к стене и больше не произнес ни слова. И руки им не протянул, когда они собрались уходить.

— Я на всякий случай прощаюсь с тобой и дарю тебе благословение господине в дорогу, дорогой Кнут, хочешь ты этого или нет,— сказал пастор.

Староста и судья поднялись с места и от себя добавили:

— И мы желаем тебе того же.

Собака давно перестала лаять и лежала, вытянув передние лапы, перед входной дверью. Она не пошелохнулась, когда трое мужчин переступили через нее. Ее больше не интересовали эти люди, хотя, встречая их, она захлебывалась от лая. Быть может, она разочаровалась в их посещении.

Мужчины направились к лошадям, щипавшим нескошенную траву. Впереди староста, за ним судья, пастор замыкал шествие. Он шел сгорбившись и, кажется, был несколько озадачен.

— Чертовски трудный человек,— сказал староста вслух.

— Слава богу, что таких немного,— сказал судья,— не то пиши-пропало общество, а вместе с ним страна и народ.

— Истинное спасение для страны, когда такие отправляются в мир иной,— закончил свою речь судья.

Они сели на лошадей и стали спускаться по тропинке шагом, не спеша, как бы подчеркивая, что они нисколько не омрачены.

Вдруг послышался пронзительный крик, словно его издавало какое-то странное животное. Они оглянулись. Вслед им ковыляла на шатких ногах старуха. Это была Бьяртмей Иоунсдоттир. Они остановились и спросили, в чем дело.

Старуха сказала, что Кнут просил пастора вернуться к нему, он хочет еще что-то сказать.

Мужчины молча обменялись понимающими взглядами. Лицо пастора просияло, и, поворачивая к дому, он радостно сказал своим друзьям:

— Я все же надеялся! Я всегда надеюсь до последней минуты. А ведь сколько времени понадобилось, чтобы его разобрало! Но слава богу, раскаться никогда не поздно. Не уезжайте, быть может, я позову вас.

— Ну-ну,— промолвил судья, когда оба мирянина остались вдвоем на выгоне.— Все-таки под конец он размяк.

— Да-а,— протянул староста.— Такие вот хулители бога и человеконенавистники рано или поздно сдаются и начинают каяться -- почти всегда так.

— Я на всякий случай захватил с собой псалтырь, подумал, вдруг старикашка захочет что-нибудь пробормотать, несмотря ни на что,— сказал судья.— Как ты считаешь, что нам следует спеть в этом случае?

Они перелистали псалтырь вдоль и поперек, и один псалом казался им лучше другого. Все же они сошлись на том, что предоставят пастору выбрать между псалмами «Я живу, я знаю» и «Ты будешь со мной» в случае, если он их позовет.

Они все еще держали псалтырь раскрытым, когда из хижины вышел пастор. По лицу его они тотчас заметили, что от той веселости, с которой он вошел в дом, не осталось и следа. У него даже походка отяжелела.

— Ну, что там? — спросили они.

— А, ничего особенного,— ответил пастор.

— Сдался он? — спросили они.

— Нельзя сказать, чтобы да.

— Но что же он сказал?

— Да ничего особенного,— ответил пастор, затягивая покрепче подпругу, прежде чем сесть на лошадь.— Он попросил меня позаботиться о его суке, чтобы она не стала бродячей после его смерти.

Судья и староста молча закрыли псалтырь.

Внизу, у выгона, тихо журчал ручей.

Когда они выезжали с хутора, птица все еще сидела на изгороди, вслушиваясь в эхо своей весенней песни.

Перевела с исландского В. Морозова.



РОБЕР ДЕСНОС

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С французского

Робер Деснос (1900—1945) — один из крупнейших французских поэтов. Родился и жил в Париже. Принимал активное участие в Сопротивлении, был арестован гестапо и прошел через самые страшные тюрьмы и лагеря. Из Терезинской крепости был освобожден в 1945 году советскими войсками и чехословацкими партизанами.

* * *

Он обогнул косогор
И, посмотрев на простор,
К солнцу руки свои простер.

Небосвод в то утро такой
Был прозрачный, что пеной морской
Облака казались порой.

И белели и словно в чаду
Были яблони в чьем-то саду,
Где сушилось белье на виду.

И ручей стал еще веселей
Славить жизнь, что дорогой своей
Шла вдоль изгородей, шла вдоль полей.

И, зеленым ковром окружен,
Лес виднелся вдали, и был он,
Словно колокол, звуками полн.

Жизнь казалась так хороша,
Так пред ней раскрывалась душа,
Столько было радости в ней,

Что смеяться он стал, и тот смех
Был в честь мира всего и в честь всех
Вздохов ветра среди ветвей.

Он смеялся лесу вдали,
Облакам, аромату земли
И садам, где деревья цвели.

И, смеясь, посмотрел он кругом,
Дом увидел и рядом с крыльцом
Незнакомку с милым лицом.

И ему засмеялась она
И умолкла. Была тишина.
И запели птицы опять.

Засмеялась она потому,
Что так весело было ему.
И опять в тишине ворковать
Стали голуби возле пруда,
И в ручье зазвенела вода...

С той поры не встречались они никогда.

Она часто ходила за тот косогор,
Где прохожий, взглянув на простор,
К солнцу руки свои простер.

Ну, а он? Много раз вспоминал он о ней,
Вспоминал до конца своих дней.
Его память была ему зренья верней.

Много раз и она вспоминала о нем,
И казалось ей солнечным днем,
Что в колодце они отражались вдвоем.

Дни бежали струйкой песка,
Годы шли, сливаясь в века,
Исчезали, как смятые карты из рук игрока.

Оба умерли. Плоть их гниет.
Червь могильный во тьме их грызет,
И земля, чтоб молчали они, им засыпала рот.

Может быть, они звали б друг друга в ночи,
Если б смерть отдала от безмолвья ключи.
Время мчится, дорога молчит.

Но обогнув косогор,
С той дороги опять на простор
Кто-то глянул и руки простер.

И опять небосвод был такой
Там прозрачный, что пеной морской
Облака казались порой.

Мертвецы! Вы потушенный свет,
Что отшельником бледным воспет;
Нет нам дела до ваших бед.

Мы живем, мы плавать хотим
В чистом воздухе весен и зим.
Мир прекрасен и неповторим.

СЕМЕЙСТВО ДЮПАНАР ИЗ ВИТРИ-СЮР-СЕН

Семейство Дюпанар
 Всем скопом, млад и стар,
 Живет, глаза не пряча,
 Живет в Витри,
 Витри-сюр-Сен,
 И кое-что значит.

Папаша Дюпанар
 Нажил себе катар
 И капитал в придачу,
 Живя в Витри,
 Витри-сюр-Сен...
 Какая удача!

Мамаша Дюпанар
 Степенно пьет отвар,
 Безудержно судача
 О всем Витри,
 Витри-сюр-Сен.
 Вот старая кляча!

Мальчишка Дюпанар —
 Любитель всяких свар,
 Но, получая сдачу,
 На весь Витри,
 Витри-сюр-Сен,
 Отчаянно плачет.

Девушка Дюпанар
 Не излучает чар
 И видом поросячьим,
 Живя в Витри,
 Витри-сюр-Сен,
 Шокирует зрячих.

И некто есть еще.
 Но принимать в расчет
 Того, кто наудачу
 Забрел в Витри,
 Витри-сюр-Сен,
 Не наша задача.

И есть фамильный склеп,
 По виду он нелеп.
 Но жизнь есть жизнь, и, значит,
 Вблизи Витри,
 Витри-сюр-Сен,
 В тот склеп их упрячут.

Затем забудут их,
 Как, впрочем, и других
 В Париже и в Карачи
 Или в Витри,
 Витри-сюр-Сен...
 А как же иначе!

Перевел М. Кудинов.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

★

ПОТУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ *

(Из мюнхенской тетради)

XI

Мы выехали на рассвете. «Мерседес» Макса мчался по автостраде со скоростью ста сорока — ста пятидесяти километров мимо баварских кирх с куполами, похожих на русские церкви, мимо бело-голубых бензоколонок «Арал», мимо перемигивающихся светофоров городов и городишек. Наконец перед нами возник окруженный горами туманный Гейдельберг с его сизыми, серыми, коричневыми домами. По узкой улочке мы поднялись в гору по Нойешлосштрассе и еще выше — к Шлосс-Вольфбрунненвег, то есть «Дороге к волчьему источнику».

Подъехали к железным воротам, за которыми виднелся осенний парк. На каменном столбе у ворот высечено:

<p>А. ШПЕЕР Шлосс-Вольфбрунненвег 50</p>
--

Этот столб рядом с железной оградой, в окружении осенних деревьев, чем-то напоминал надгробный памятник...

В глубине парка мы увидели маленький деревянный дом, а затем — довольно большую виллу, около которой стояли три автомобиля, принадлежащие, очевидно, членам семьи...

Не успели мы въехать, как навстречу нам выбежал гигантский сенбернар, а вслед за ним на пороге дома показался хозяин виллы — очень высокий, даже чуть долговязый, худой, во всяком случае сильно похудевший сравнительно с фотографиями военных лет, в зеленом джемпере, в светлых вельветовых брюках, в толстых шерстяных чулках и сандалиях. У него худощавое лицо, высокий открытый лоб с бородавками, седые, зачесанные набок волосы и черные, густые, свисающие книзу брови-кисточки...

Итак, перед нами был Альберт Шпеер — бывший министр вооружения и боеприпасов, генеральный уполномоченный по вооружению в управлении четырехлетнего плана, председатель имперского совета по вооружению, генеральный инспектор шоссежных дорог, генеральный инспектор по вопросам водной энергии, а также главный архитектор третьего рейха и руководитель отдела эстетики труда в нацистской организации «Сила через радость».

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

...Об Альберте Шпеере писали, что с его именем связана новая эра в вооружении Германии. Он был министром тотальной войны, когда в дело должны были введены тотальные средства разрушения и подавления противника.

Шпеер сменил на посту министра вооружения Фрица Тодта, своего личного друга, который загадочно погиб 8 февраля 1942 года в авиационной катастрофе неподалеку от штаб-квартиры Гитлера. В свое время эта смерть вызвала немало слухов и домыслов: утверждали, что, побывав на Восточном фронте, Тодт весьма скептически отнесся к возможности выиграть войну и предлагал Гитлеру искать выхода из нее путем мирных переговоров.

Через семь дней после того, как самолет Тодта взорвался над самым «Волчьим логовом», Гитлер пригласил к себе архитектора Альберта Шпеера и предложил ему занять все указанные выше посты...

Альберт Шпеер родился в 1905 году в Маннгейме, но вскоре вместе со своими родителями переселился в Гейдельберг. Его дед и отец были архитекторами, и, следуя семейной традиции, он обучался в высших технических школах в Карлсруэ и Мюнхене, а архитектуре — в Берлине.

Еще в студенческие годы Шпеер примкнул к нацистскому движению, а с 1932 года стал членом партии. Позже он объяснял, что в партию его привела «эстетика» национал-социализма с его тягой к величию и грандиозности. Шпеер снискал широкую известность своими инсценировками нюрнбергских партайтагов с факельными шествиями, стеной подсвеченных прожекторами знамен, он же был автором проекта нюрнбергского стадиона, от которого сегодня осталось лишь пустое зеленое поле и обломки поросших травой бетонных трибун. Кроме того, он построил имперскую канцелярию, здание германского посольства в Лондоне, немецкий павильон на Всемирной выставке в Париже (1937) и разработал план перестройки Берлина, превращения его в десятиmillionный город с заменой старых домов новыми, гигантскими строениями, отвечающими «стилю эпохи».

Идея создания нового Берлина как столицы великой Германии возникла у Гитлера в 1936 году и окончательно оформилась в дни мюнхенского пакта, когда ему уже мерещилась грандиозная империя, простирающаяся от берегов Ла-Манша до Урала. Посреди города намечалось построить триумфальную арку, намного превосходящую величиной парижскую: Гитлер во что бы то ни стало стремился перещегоолять Париж и даже Унтер-ден-Линден приказал сделать на двадцать метров шире Елисейских полей... Триумфальная арка воздвигалась якобы в честь немецких солдат, павших в первой мировой войне, чьи имена — все до единого — должны были быть высечены на граните и мраморе. Но Гитлер, очевидно, уже тогда предполагал увековечить имена убитых не столько в первой войне, сколько во второй, будущей, хотя для этого не хватило бы, наверное, и сотен арок. Главной же достопримечательностью Берлина должен был стать «Большой дворец», увенчанный куполом с изображением земного шара, на котором восседает германский орел. Когда-то, еще в двадцатых годах, Гитлер сам сделал наброски этих сооружений — несколько эскизов, хранившихся как строго секретный документ в особом сейфе и переданных затем на доработку Альберту Шпееру.

Не случайно, что осуществление своего замысла Гитлер поручил именно Шпееру, чей архитектурный стиль больше всего соответствовал его собственным эстетическим вкусам. В молодом архитекторе он видел нечто такое, о чем он сам мечтал в юности, — художника, обладающего прочным националистическим мировоззрением, способного превратить бездушный камень в живое, могущественное средство национал-социалистской пропаганды. И он относился к Шпееру с чувством искренней теплоты и симпатии: может быть, это был единственный по-настоящему близкий ему человек. Еще не занимая никаких официальных постов, Шпеер был частым гостем Гитлера в Оберзальцберге, душевным собеседником и другом.

В 1938 году Гитлер удостоил своего любимца золотого партийного значка, а вскоре назначил его как бы архитектурным диктатором Германии: огненные —

особым приказом фюрера — любое архитектурное сооружение, будь то в городе или в деревне, должно было предварительно утверждаться лично Альбертом Шпеером в целях создания единого германского стиля...

К Шпееру потянулись архитекторы-карьеристы, жаждущие покровительства, художники-приспособленцы, нацистские ваятели, и, как свидетельствует один из его биографов, Шпеер «до самого конца войны оставался желаннейшим меценатом национал-социалистских художников»...

В 1939 году строительство новых домов было приостановлено: строили бункеры и бомбоубежища, и тем не менее идея нового, «великого Берлина» так и не оставляла Шпеера, и даже в 1944 году, когда Берлин под ударами союзнической авиации все больше превращался в груды развалин, Шпеер вместе с Геббельсом всерьез были заняты конкурсом на «лучший проект». Сидя в бетонном бункере, они рассматривали чертежи и макеты будущего города, самого большого в Европе, с его парками, стадионами, новым метрополитеном. Стоимость строительства исчислялась в 25 миллиардов марок, и когда один из корреспондентов спросил Шпеера, откуда предполагается взять столь гигантскую сумму, тот убежденно ответил: «Речь идет лишь о ничтожно малой доле тех средств, которые мы сегодня, к нашему сожалению, должны выбрасывать на навязанную нам войну». Что же касается рабочей силы, то ее, естественно, должны были поставлять побежденные гитлеровской Германией народы, многотысячная, а может быть, и многомиллионная армия рабов. Но это последнее обстоятельство ничуть не смущало Альберта Шпеера, занятого вопросами более крупными, чем судьбы народов: планировкой зданий, подчинением мысли инженеров и архитекторов своей воле...

Назначение Шпеера на пост министра вооружения было полнейшей неожиданностью если не для него самого, то во всяком случае для всех окружающих. Первые мероприятия Шпеера: централизация военной промышленности, тотальное подчинение делу военной индустрии всех материальных резервов страны, увеличение рабочего дня до четырнадцати часов, требование «рационального» использования иностранных рабочих, военнопленных и узников концлагерей... В этом вопросе между Шпеером и Гиммлером возникли известные трения, впрочем, не только Гиммлер, но и Геринг и Геббельс уже видели в нем серьезного соперника и вопреки интересам дела сопротивлялись тем или иным предложенным Шпеером мероприятиям, пытаясь перехватить инициативу. Но Шпеер энергично ломал межведомственные перегородки, продолжая выпускать свои «пантеры», «тигры» и «фердинанды», которые непрерывным потоком прямо с конвейера шли на Восточный фронт. Было задумано и производство сверхмощного танка «мышка» весом в сто тонн, изготовление которого поручалось фирме «Крупп», но этот проект так и не был осуществлен.

Его инженерная мысль, направленная теперь на разрушение, не знала покоя, и с его именем связано производство «фау-2», начало германского ракетостроения. Собственно, работа над ракетами началась в Пенемюнде еще в 1932 году с участием молодого Вернера фон Брауна. 7 июля 1943 года Шпеер впервые обратил внимание Гитлера на эти полузабытые агрегаты, которые по существу открывали новую эру в истории массового смертоубийства. И если в конце войны Гитлер продолжал еще надеяться на чудодейственную силу «секретного оружия», то немалую роль в этих надеждах сыграла работа, которую в глубине засекреченных подземных заводов вел самый молодой министр гитлеровского правительства — Альберт Шпеер.

Надо полагать, что осознание бесперспективности войны пришло к нему задолго до поражения нацистской Германии, но он продолжал свою маниакальную деятельность и 28 июня 1944 года, обращаясь к Гитлеру, писал: «Еще существует возможность разрушить с финского и балтийского плацдарма русскую энергосистему и тем самым парализовать значительную часть русской военной промышленности...»

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА ПОДСУДИМОГО ШПЕЕРА

(Стенограмма заседания Международного Военного Трибунала в Нюрнберге от 31 августа 1946 года)

«Господин председатель, господа судьи! Гитлер и крах его системы причинили германскому народу невероятные страдания... После этого процесса немецкий народ будет презирать Гитлера и проклинать его как зачинщика всех несчастий... Диктатура Гитлера отличалась в одном принципиальном положении от всех его исторических предшественников. Это была первая диктатура индустриального государства в эпоху современной техники, она целиком и полностью господствовала над собственным народом и техникой... С помощью таких технических средств, как радио и громкоговорители, у восьмидесяти миллионов людей было отнято самостоятельное мышление, они были подчинены воле одного человека. Телеграф, телефон и радио давали, например, возможность высшим инстанциям передавать свои приказы непосредственно низшим организациям, где они ввиду их высокого авторитета беспрекословно выполнялись. Это приводило к тому, что многочисленные инстанции и штабы были соединены непосредственно с верховным руководством, от которого они получали ужасные приказы; следствием этого был надзор за каждым гражданином государства и строгое засекречивание преступных действий. Для постороннего этот государственный аппарат покажется неразберихой среди всех проводов телефонной станции, но так же, как и станция, этот аппарат управлялся единой волей.

Прежние диктатуры нуждались в квалифицированных сотрудниках для низших организаций, в лицах, которые могли думать и действовать самостоятельно. Авторитарная система в период господства техники может отказаться от них, одни только средства связи позволяют механизировать деятельность низших звеньев управления государством. Как следствие этого возникает новый тип бессловесно-го исполнителя приказов...

Гитлер использовал технику не только в целях господства над германским народом. Ему чуть не удалось благодаря своему техническому преимуществу подчинить себе Европу. Только некоторые серьезные ошибки в вопросах взаимодействия между отдельными руководящими органами, которые ввиду отсутствия критики являются типичными при диктатуре, были причиной того, что Гитлер не имел в 1942 году вдвое больше танков, самолетов и подводных лодок.

Но если современное государство использует свою интеллигенцию, свою науку, развитие техники и свою продукцию в течение ряда лет для того, чтобы сделать шаг вперед в области вооружения, то оно может использовать людей для того, чтобы полностью победить мир, если другие нации в это время будут заняты тем, чтобы использовать успехи в развитии техники для культурного прогресса человечества.

Чем сильнее развита в мире техника, тем большую она таит опасность, тем больший вес имеют технические средства ведения войны.

Эта война окончилась самолетами-снарядами, самолетами, летающими со скоростью распространения звука, новыми видами подводных лодок и торпедами, которые сами находят свою цель, атомными бомбами и перспективами на ужасную химическую войну. Следующая война неизбежно явится войной, которая будет вестись под знаком новых разрушающих открытий человеческого разума.

Военная техника через пять—десять лет даст возможность проводить обстрел одного континента с другого при помощи ракет с абсолютной точностью попадания. Такая ракета, которая будет действовать силой расщепления атома и обслуживаться, может быть, всего десятью лицами, может уничтожить в Нью-Йорке в течение нескольких секунд миллион людей, достигая цели невидимо, без возможности предварительно знать об этом, быстрее, чем звук, ночью и днем. Появилась возможность распространять в различных странах заразные болезни среди людей и животных и при помощи бактерий уничтожать урожаи. Химия нашла

страшные средства, чтобы причинить беспомощному человеку невыразимые страдания...

Как бывший министр высоко развитой промышленности вооружения, я считаю своим последним долгом заявить:

Новая мировая война закончится уничтожением человеческой культуры и цивилизации. Ничто не может задержать развития техники и науки и помешать им завершить свое дело уничтожения людей, которое начато в тех страшных формах во время этой войны. Поэтому этот процесс должен способствовать тому, чтобы в будущем предотвратить опустошительные войны и заложить основы для мирного сожительства народов. Что значит моя собственная судьба после того, что случилось, и перед лицом такой высокой цели!..»¹

Вот что вкратце, в самых общих чертах, мне было известно о человеке, который с выжидающей, осторожной улыбкой стоял сейчас на пороге своего дома и смотрел на нас со жгучим любопытством.

Мы поздоровались, вошли в гостиную, хозяин хотел было переодеться к обеду, но мы отговорили его от злой условности, и он как-то простосердечно заметил, что русские, как он смог установить за годы, проведенные им в Шпандау, отличаются великодушием, открытостью и демократизмом... Мы уселись в нише возле широкого, во всю стену, окна, из которого был виден чудесный старинный парк, за маленький столик, покрытый тканой красной скатертью, с букетом красных осенних хризантем в вазе, и хозяин сидел против нас в красном матерчатом кресле, вытянув свои длинные ноги в толстых чулках из белой шерсти.

Я обратил внимание на его руки с длинными плоскими пальцами и крупными ногтями — руки инженера, архитектора. Была во всей его повадке какая-то не то чтобы подтянутость, а готовность, и вдруг я понял, что передо мной недавний арестант, заключенный, отбывший двадцатилетний срок.

В комнату вошла женщина, вполне хорошо одетая и аккуратно причесанная, интеллигентная дама, но и на ее лице я прочел тот же след еще недавно перенесенных страданий. Макс спросил, навещала ли она своего мужа в тюрьме, и она ответила, что да, раз в месяц им разрешалось свидание на полчаса.

Я попытался представить себе ее жизнь за эти двадцать лет... Это была семья, недавно обретшая мужа и отца. И на Шпеере, и на его жене, и на молодом его сыне, и на рыжеволосой, похожей на девочку невестке — на всех этих людях еще лежала тень Шпандау. Но это я заметил потом, во время обеда в роскошной старинной столовой с потолком из черного дерева...

А пока мы сидели друг против друга в красных матерчатых креслах — Макс, я и тот всемогущий министр вооружения, последнее слово которого на Нюрнбергском процессе произвело на меня впечатление если не своей истовостью или искренностью, то во всяком случае продуманностью...

Шпеер сразу же выказал нам очень большое уважение и дал понять, что этот визит для него — большая честь.

— Знаете, — обратился он ко мне, — моя дочь изучает в Западном Берлине германистику, и когда я по телефону сообщил ей о вашем визите, она сказала: «Видишь, папа, ты больше не министр, а тоже своего рода достопримечательность, если тебя навещают такие знаменитые гости»...

В 1967 году в Западном Берлине она, кажется, слушала мой доклад о принципах перевода немецкой поэзии на русский язык и, как многие немцы, испытывала «респект» к человеку, говорящему с кафедры.

Станным образом этот «респект» передался теперь и самому Шпееру, который в моем визите усмотрел, как он выразился, «обнадеживающие признаки того, что люди духа занимаются проблемами, которые действительно могут иметь решающее значение для человечества: техника и мораль, мораль и политика...».

¹ «Нюрнбергский процесс» Государственное издательство юридической литературы. М. 1961, т. VII, стр. 299—301.

Когда-то он находился в самом центре этих проблем, о нем писали как о живом воплощении технократической аморальности, и он, согласный с этой не слишком резкой и по-своему удобной для него трактовкой, первым делом показал нам книгу: Иоахим Фест, «Облик третьего рейха», раскрыв ее на главе «Альберт Шпеер и безнравственность техницизма».

— Здесь вы найдете очень интересную характеристику, — сказал он, словно желая заранее определить тему предстоящей беседы.

Разговор начался с комплимента, который он вновь сделал советским военнослужащим, несшим охрану в Шпандау, отметив, что они относились к нему гуманно, по-человечески, чего он не забудет до конца своих дней.

Я рассказал ему о впечатлении, которое произвело на меня его последнее слово, и спросил, считает ли он по-прежнему Нюрнбергский процесс полезным и справедливым: в глубине души я полагал, что Шпеер, под страхом смертного приговора произносивший в Нюрнберге свое последнее слово, и нынешний Шпеер, отбывший наказание и избавленный от всякой опасности, — разные люди. Однако он с безусловной уверенностью и без малейшей аффектации ответил, что и теперь глубоко убежден в необходимости такого процесса, но сожалеет, что человечество так и не сделало из него должных выводов...

Осознание опасности разрушительной войны, когда правители благодаря технике лично не рискуют жизнью, как в старину, когда короли возглавляли идущие в бой войска и шли впереди своих армий, собственно, и побудило его высказаться тогда, на процессе. Судьбы миллионов людей зависят от доброй или злой воли никем не контролируемой группы, способной простым нажатием кнопки вызвать мировую катастрофу. Суть Освенцима тоже состояла фактически в том, что организаторы массовых казней не подвергали себя никакому личному риску, и только поражение Германии и последовавший затем Нюрнбергский процесс стали для них некоей «божьей карой»... Он говорил в том числе и о себе, как на нечто само собой разумеющееся указывая на то, что и он несет всю полноту ответственности за случившееся и не отделяет себя от всех прочих участников процесса.

— Дело в том, что, несмотря на все разговоры о «народной общности» (Volksgemeinschaft), мы жили в системе, как бы разделенной на касты, на «ящики» — сравните самые слова «Kaste» и «Kasten»: юристы, политики, техники. Каждый жил внутри своего «ящика», отвечал за свой «отсек», не вмешиваясь в дела соседа. Общее руководство осуществлял фюрер, он думал за всех и отнюдь не поощрял того, что именуется советом министров: больше четырех-пяти министров никогда вместе не собирались, хотя связи между отдельными ведомствами, конечно, существовали...

Я спросил, не входим ли мы все тем не менее в так называемую «касту людей», не представляет ли собой все человечество некую «ячейку», но вместо ответа на этот вопрос он попросил жену принести «манускрипт» его мемуаров — несколько зеленых папок с напечатанным на машинке текстом — и не без авторской робости протянул мне первые страницы, ожидая моей оценки.

Там было написано:

«В этих заметках я хочу показать многочисленные моменты, которые привели к ужасающему и неизбежному концу; пусть станет известным, к каким последствиям можно прийти, когда один человек единолично воплощает в себе все виды власти, чтобы в конечном счете злоупотребить ими на горе всему миру, поставив на край гибели еврейский, польский, русский и свой собственный народ. Однако не слишком ли я порой снисходителен к Гитлеру и его окружению? Иногда в этих записках, где рассказывается о впечатлении, которое производил Гитлер на меня или на других лиц, отражены иные симпатичные или даже привлекательные его черты. При этом может показаться, что перед нами работоспособный, талантливый самоучка, который не жалеет себя во имя своего успеха и успеха (но это уже действительно нужно взять в скобки) своего народа. Но чем дольше я писал, тем больше понимал, что речь идет о сугубо внешних, поверхностных

качествах. Ибо все эти так называемые «положительные черты» зачеркиваются одним событием, которое привело к ужасающему финалу всех его сотрудников, — Нюрнбергским процессом. Здесь стала явной чудовищная, хотя и быстротечная страница истории. Здесь стало явным все, что творил Гитлер втайне. Я никогда не забуду документ, который наглядно показывал, как по приказу Гитлера людей отправляли на смерть целыми семьями — еврея с его женой и детьми, которые достойно и гордо шли навстречу смерти¹.

Случись подобное один-единственный раз, и то этого бы хватило с избытком! Но такое страдание, повторенное миллионнократно, — кто в состоянии постичь это?

Может быть, эта книга послужит скромным вкладом в то, чтобы вспомнить о том, что было и что никогда не должно повториться...»

Я перелистал страницы рукописи, бледно напечатанной на пишущей машинке, с небольшой авторской правкой: там содержались пространные биографические сведения, приводились факты его сближений и разногласий с Гитлером, много говорилось о технике...

И все же передо мной сидел сейчас не философ, не писатель, а военный преступник, причастный к гибели той самой семьи, которая с осеннего поля, с обочины могильного рва шагнула в мировую историю. Тут не шуточное было дело, не абстракция: все это стоило жизни миллионам людей, которые понятия не имели о Шпеере и о его взаимоотношениях, трениях и обстоятельствах. Но каждый его шаг, каждый жест, каждое ведомственное и межведомственное совещание, сложная система взаимоотношений в конечном итоге вели к этому могильному рву...

— Да, — сказал Шпеер после того, как я с его разрешения переписал в свой блокнот начало его заметок, — есть искусство для искусства, есть техника для техники. Я испытывал эстетическое наслаждение от того, что мне удалось создать совершенный танк, совершенную ракету, совершенное орудие убийства, но совместимо ли понятие прекрасного, то есть эстетика, с орудием, предназначенным убивать? Мы говорим «красавец танк», «красавица пушка», не задумываясь над противоестественностью такого сочетания. Когда я начал свою карьеру архитектора при Гитлере, я был не больше чем архитектор. Но получив одобрение фюрера, я с утроенной энергией проектировал все эти сооружения, стадионы, соборы с колоннадой из лучей прожекторов и т. д. и т. п., довольный лишь результатами своей работы, внутренне, психологически отключенный от осмысления того, во имя чего, для чего все это делается. Меня увлекал самый процесс творчества, возможность проявить себя как творческую личность, и чем больший простор открывал для меня Гитлер, тем большей становилась моя преданность ему и тем меньшей — способность критически оценивать содержание моего творчества... Вы не поверите, но я совершенно серьезно отнесся к пожеланию Гитлера, чтобы трибуны нюрнбергского стадиона строились без металлических конструкций, при помощи одних лишь бетонных креплений. «Через тысячу лет, — говорил Гитлер, — эти трибуны превратятся в развалины, и я не хочу, чтобы куски ржавого железа портили вид этих исторических руин, которые и через тысячу лет должны выглядеть достойными той эпохи, в которую они были созданы...» Разумеется, какая-то доза «идеологии» способствовала моей работе, без идеологической приправы мне было бы намного труднее, но дело не в этом...

Конечно, Шпеер все несколько упрощал или говорил слишком конспективно, так как сводить все к «технической ограниченности» столь же неверно, как и к «слепому фанатизму», особенно в данном случае, когда «технически ограниченный» Шпеер обладал неограниченными возможностями распоряжаться жизнью и смертью огромных человеческих масс. Все было замешано также на властолюбии или честолюбии и имело под собой определенный корыстный расчет. Мне пока-

¹ Шпеер, по всей вероятности, имеет в виду эпизод, рассказанный на процессе немецким инженером, свидетелем одного из расстрелов на Украине.

залось, что Шпеер нашел очень выгодную версию, изображая себя лишь «рабом техники», которая в своем бездушии полностью подчиняет себе человека, парализуя в нем остатки критического мышления. Но разве архитектор Шпеер, министр Шпеер, нанятый Гитлером и германскими монополиями, не пошел на эту службу сознательно? Разве не соответствовала эта служба его убеждениям и не имел ли здесь место взаимосвязанный процесс, когда «раб техники» Шпеер пытался превратить самую технику в рабыню фашизма?..

Я спросил Шпеера, считал ли он себя уже тогда членом преступного правительственного кабинета, и он ответил на мой вопрос отрицательно:

— Даже общаясь с Гиммлером, я не видел в нем преступника, хотя этот человек был мне несимпатичен и я его инстинктивно побаивался, но и Гиммлер и Геббельс — люди, наиболее несимпатичные в окружении Гитлера, — казались мне прежде всего руководителями своих отделов, выполняющими возложенные на них функции. Все мы, в общем-то связанные круговой порукой, работали каждый сам по себе, и лишь Нюрнбергский процесс обнаружил эту преступную взаимозависимость. Все мы были чиновниками, и только Борман казался нам демоном, хотя «демон» — тоже своего рода функция в тоталитарном государстве...

Да, это действительно «функция» — демон, так как должен быть некто, кто держит всех в страхе, все цементирует и состоит при главном демоне, который выступает под маской бога.

...Мне хотелось узнать, задумывались ли когда-нибудь все эти министры об отдельных человеческих судьбах или о судьбах народов, когда они вырабатывали те или иные мероприятия?

Шпеер ответил:

— Ни в коем случае. Что вы! Человеческие жизни и судьбы, конечно, никоим образом не интересовали. Делалось дело, и на выполнении поставленной задачи концентрировались все наши усилия, внимание и даже эмоции. В лагерях «Дора» к строительству ракет были привлечены узники концлагерей, военнопленные, которых мне поставляло ведомство Гиммлера. Вообще Гиммлер претендовал на своего рода конкуренцию и пытался взять изготовление секретного оружия в свои руки. Узники, которых к нам доставляли, были настолько истощены, подвергались столь жестокому обращению, что длительное использование их на работе не представлялось возможным. Приходилось то и дело менять контингент, что вызывало дополнительные трудности, так как вновь прибывших приходилось заново обучать и приспосабливать к работе. Поэтому я высказал Гиммлеру свое недовольство таким обращением с людьми, конечно, отнюдь не из гуманных побуждений, а из чисто деловых. Калорийность пищи, отдых, моральное и физическое состояние узников интересовали меня лишь с чисто практической стороны. Вот вам — высшее воплощение преступного техницизма, о котором я пишу в своей книге!.. Конечно, каждый из нас — руководителей — сам по себе был человеком, не чуждым человеческих качеств, в том числе и потребности «делать добро». Почему бы нет? Но все это носило исключительно частный характер. Помню, я оказал материальную помощь жене нашего почтальона, попавшей в беду; даже Гитлер и тот, прослышав о чем-нибудь несчастье, мог распорядиться: «Помогите этому человеку»...

Видимо, именно это «частное добро», о котором говорил Шпеер, непроизвольно поддерживало в каждом из нацистских преступников сознание того, что лично он — дурной или порочный, но человек. Другими словами, что он — человек, а не бездушная машина. А это в свою очередь позволяло им воспринимать свою дьявольскую работу как вид человеческой деятельности.

Нас позвали к столу. Я уже упоминал об этом тихом обеде. Говорили преимущественно о поэзии, о литературе, а думали о другом — о том, что лежало за гранью времени и тем не менее не могло ни забыться, ни исчезнуть, ни примирить нас друг с другом...

Шпеер стал расспрашивать меня о моей семье и сказал, что я должен непременно как-нибудь приехать отдохнуть в Гейдельберг с женой и детьми.

— Вы всегда можете остановиться у нас. Здесь очень тихо и воздух чудесный...

Что же это такое? Я — гость Шпеера?! И он приглашает меня к себе с женой и детьми? Он, интимнейший друг Гитлера, фашистский министр, который всего лишь двадцать три года назад, не задумываясь, отправил бы меня в концентрационный лагерь, в печь, в газ?! Неужели все зависит от того, на какую клетку шахматной доски ставит людей время? Неужели наши поступки подвластны некоей, не осознанной нами «теории относительности», всесилию обстоятельств? Или все, что сейчас происходит, — только обоюдное притворство: Шпееру нужно произвести благоприятное впечатление на иностранного гостя, мне — осуществить мой «психологический опыт»? А почему бы не допустить, что за двадцать лет человек способен расстаться со своим прошлым, родиться заново, стать другим? Но если это так, то куда это прошлое исчезает, да и может ли такое прошлое исчезнуть бесследно?..

После обеда мы вновь перешли в гостиную, и Шпеер заговорил о превратностях нашего времени: мифы, предрассудки, психозы.

— Вы знакомы с трудами философа Кассирера? Его «The Myth of the State» — чрезвычайно глубокое исследование, я охотно переведу для вас несколько страниц и пришлю вам в Москву. (Свое обещание он действительно выполнил.) Понимаете, Кассирер установил, что в двадцатом веке, в величайшем столетии техники, люди научились изготавливать мифы так же надежно и с той же целью, что пулеметы или бомбардировщики. Появились искуснейшие специалисты этого дела, мастера мифотворчества. В этом отношении миф расы, или миф крови, или миф фюрера были по существу своеобразным видом оружия, может быть, более страшным, чем любой сверхтанк или пушка. Они поражали самый главный участок — человеческий мозг — и подчиняли себе человека целиком, без остатка. Не состояла ли в этом и моя личная трагедия?..

Я так и не понял, кем же себя Шпеер в конце концов считает — обманщиком или обманутым, но у нас уже не оставалось времени для углубленной дискуссии.

Мы сказали, что намерены от него поехать к Шираху, поэтому не можем дольше задерживаться. Он скептически улыбнулся:

— Читали вы его мемуары?

— Да.

— Не находите ли вы их несколько поверхностными? — Он выразался весьма осторожно — После моего возвращения из Шпандау редактор журнала «Штерн» господин Наннен предложил мне тоже выступить у него с мемуарами. Пятьсот тысяч марок — неплохой гонорар. Но печататься в иллюстрированных журналах? Нет, это не для меня... Посмотрим, что выйдет из моей рукописи. Писательство — нелегкий труд, уж вы-то это знаете!

Ему не терпелось спросить, «как он пишет», и я, догадавшись об этом, сказал, что то, что я успел прочитать в предисловии, показалось мне интересным.

Он зарделся:

— И с точки зрения стиля?

Я не знал тогда, что почти через год я увижу мемуары Шпеера. Правда, не в иллюстрированном журнале, а в гамбургской газете «Ди вельт».

Мне захотелось взглянуть на Шпеера глазами его обвинителей, и, вернувшись в Москву, я обратился к М. Ю. Рагинскому — помощнику Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, который допрашивал Шпеера в судебном заседании 21 июня 1946 года.

Я пришел к Марку Юрьевичу домой, на Чистые пруды, и прочитал ему свою запись встречи со Шпеером. Марк Юрьевич слушал меня очень серьезно, с боль-

шим вниманием, словно пытаюсь сквозь «моего» Шпеера увидеть того подсудимого, которого он когда-то неумолимо вел к приговору.

И то, что новый, неизвестный ему Шпеер не совсем совпадал с прежним, известным ему Шпеером, вызывало в нем профессиональную настороженность.

Тогда, в Нюрнберге, перед ним сидел поверженный гитлеровский преступник, министр, проигравший все — войну, карьеру, может быть, жизнь, — но еще не сломленный, сконцентрировавший всю свою волю для последнего поединка с судом.

— Еще до допроса, — рассказывал мне М. Ю. Рагинский, — я понимал, что имею дело с очень опасным и хитрым противником. Нам было известно, что Шпеер передал американцам документы, касающиеся военного производства Германии. Он явился к ним добровольно и выложил все, чем располагал. А чем он располагал, вы, очевидно, догадываетесь...

О том, что это крупная фигура, свидетельствует хотя бы то, что на процессе его допрашивал Главный обвинитель от Соединенных Штатов Америки — Джексон. Я подчеркиваю: Главный обвинитель, а не заместитель или помощник, как это бывало в ряде других случаев. Шпеер хорошо продумал линию защиты, он ее гнул, начиная с предварительного следствия, и сдавал позиции с большим трудом, только когда его припирали фактами. Но и факты он искажал без зазрения совести... Я сейчас не хочу вдаваться в юридическую сторону дела, но вот вам чрезвычайно характерный для Шпеера цитришок. Суд знал о том, что он инспектировал лагерь смерти Маутхаузен, — есть его фотография, снятая на территории лагеря, куда тут, казалось бы, денешься?.. Но вот его ответ, слушайте... — Марк Юрьевич заглянул в папку-скоросшиватель, сохранившуюся еще со времени процесса, и прочитал: — «Лагерь Маутхаузен я посетил с целью ознакомления с системой транспортировки камня по Дунаю и для того, чтобы познакомиться с порядками в экономическом отделе СС. Я посетил кухню, прачечную, жилые бараки, в которых имелись все удобства. Перед моим посещением никаких специальных приготовлений не было. Заключенные в то время находились на работе. Весь осмотр занял три четверти часа...» Ну, как вам это нравится: Маутхаузен со всеми удобствами! Кухню он посещал, прачечную!.. А в Маутхаузене погибли 122 766 человек!.. Он вам что-нибудь рассказывал о Маутхаузене? Ну, конечно, зачем ему об этом рассказывать: он ведь архитектор, интеллигентный человек, а не палач, и Гиммлер был ему «несимпатичен»... Я вам говорил: он и на процессе гнул эту линию, он, видите ли, не имел никакого отношения к СС, хотя еще задолго до войны яхшался с эзсовцами и состоял в личном штате рейхсфюрера СС Гиммлера... Мы это установили из его личного дела. Как это он у вас там говорит: «Мы жили в системе, разделенной на касты, на ящики»?.. Ну, так вы бы его спросили, для чего он из своего «ящика» самым беззастенчивым образом совался в «ящик» Гиммлера, и когда нужно было казнить и мучить людей, никаких «перегородок» для него не существовало?

Тогда, на допросе, я привел ему одну его собственную цитатку, касающуюся деятельности его министерства. Вот пожалуйста: «Энергичное применение самых суровых наказаний за проступки: карать каторжными работами или смертной казнью. Война должна быть выиграна...» Вот какой это был архитектор! Кстати, об архитектуре. Он и нам на процессе и, как я вижу, вам пытался внушить, что Гитлер его чуть ли не силой оторвал от чертежной доски, он был творчеством занят, а тут его вдруг ни с того ни с сего назначают министром. И он, видите ли, ужасно этим был недоволен. Я его впрямую спрашиваю: «Вы не хотели этим заниматься? Вы и сейчас это утверждаете?» — «Да», говорит. «Ну что ж. Хорошо. А теперь, говорю, посмотрим, что вы заявили в своей речи гаулейтерам в Мюнхене. «Я, — говорили вы, — бросил всю эту деятельность архитектора, чтобы беззаветно отдаться разрешению военных задач».

Вот какая это лиса! Но мы, конечно, не за то Шпеера судили, что он стал министром. Мы его рассматривали как участника гитлеровского заговора, как человека, который делал большую фашистскую политику и загубил миллионы лю-

дей. Главную вину Шпеера я видел в том, что он уничтожал людей, угнанных в Германию, — в концлагерях, на своих военных заводах... Он из них все жилы выматывал, высасывал все соки, а потом выбрасывал в печи крематориев, как отработанную, ненужную вещь. И когда я вел допрос, я хотел доказать, что в фашистском государстве любое действие любого ответственного руководителя было преступным и проводилось в жизнь с применением самых преступных методов. Здесь все было политикой, и все — преступлением, осознанным, продуманным от начала и до конца. Но Шпеер, который у вас почти что философ, тогда от всех философских, обобщающих вопросов увертывался, он их как черт ладана боялся и все сыпал техническими терминами: думал, наверно, что мы — юристы — все равно в технике ни черта не смыслим. Но мы кое-что все же смыслили...

(М. Ю. Рагинский не упомянул, что в годы войны он сам был «техником», уполномоченным Государственного Комитета Оборона на советских военных заводах, производящих вооружение и боеприпасы.)

Я спросил Марка Юрьевича, какое впечатление произвел на него Шпеер как личность и что, по его мнению, двигало его поступками: идея, корысть, карьеризм?

Он пожал плечами:

— Вы говорите — «идея». Но что значит для фашиста идея? Прежде всего разнузданное властолюбие, жажда власти. Это был человек очень властолюбивый, умный несомненно, по-своему выдающийся организатор, исключительно властный, напористый. Ведь дело дошло до того, что он подчинил себе всю экономику Германии, вплоть до регулирования товарооборота внутри страны. Я, конечно, не берусь утверждать: может быть, за двадцать лет что-то в нем сломилось, может быть, он кое-что пересмотрел, но, говоря откровенно, не думаю... Сейчас, оказавшись не у дел, выброшенный из политической жизни, он барахтается, хочет себя обелить, ищет рекламы. Но делает он это не дешевым способом, как Ширах в своих мемуарах, он целую философию вокруг себя развел, и, по-моему, пригласил он вас к себе именно с этой целью, чтобы вы его подали в таком благопристойном виде... Хотя кто его знает? Но я вам очень советую привести для полноты характеристики то, что говорил о Шпеере в заключительной речи Роман Андреевич Руденко...

Марк Юрьевич взял лежавший перед ним том «Нюрнбергского процесса» и прочел с большим выражением:

— «...Путем безжалостной эксплуатации населения оккупированных областей и военнопленных союзных государств, за счет здоровья и жизни сотен тысяч людей Шпеер увеличивал выпуск вооружения и боеприпасов для германских армий. Путем разграбления сырьевых и иных ресурсов оккупированных территорий Шпеер всячески усиливал военный потенциал гитлеровской Германии...

И когда фашистские летчики бомбардировали мирные города и села, убивая женщин, стариков и детей, когда немецкие артиллеристы обстреливали из тяжелых орудий Ленинград, когда гитлеровские пираты топили госпитальные суда, когда «фау» разрушали города Англии — это был результат деятельности Шпеера...»

...Я слушал эти слова в Москве, в квартире на Чистых прудах, а перед моими глазами стоял на пороге своего гейдельбергского дома тот высокий, худой человек с застывшей на лице выжидающей, настороженной улыбкой.

XII

К Шираху мы ехали в густой темноте через всю Южную Германию, сперва по автостраде, потом по обычным дорогам, через маленькие города и деревни. Кое-где на ветвях сосен, на траве уже лежал снег, фары высвечивали дорожные знаки...

Из темноты возник город Швеннинген с большими магазинами, ярко освещенными витринами и рекламной иллюминацией. Тем не менее город был совершенно безлюден, настолько, что не у кого было спросить дорогу.

В Вейгхейме звонили колокола, но и здесь не было ни души, несмотря на субботний вечер...

Неподалеку от Троссингена нам встретился молодой полицейский-регуляторщик. Макс спросил, не знает ли он, где тут живет Бальдур фон Ширах, но тот даже имени такого не слышал.

Наконец мы попали в Троссинген, проехали через весь город в поисках «Sägewerk» — лесопилни, свернули в совсем уже темный, непроходимо густой лес на проселочную дорогу и наткнулись на глухой длинный забор, за которым было совершенно темно. Там виднелось какое-то строение, похожее на сарай: ни в одном из окон не было света. Развернулись, чтобы ехать обратно, и вдруг случайно обнаружили в заборе открытые настежь большие железные ворота. Мы въехали во двор, оказавшийся парком, и перед нами возник ярко освещенный особняк, охотничий замок, с матовыми желтыми стеклами дверей и прибитыми к фасаду оленьими рогами. Мы позвонили, электрический сигнал отворил дверь, и мы очутились в роскошном охотничьем замке. Наверх вела деревянная лестница; стены были украшены охотничьими трофеями — шкурами бурых и белых медведей, леопардов и громадными головами оленей и лосей.

В сопровождении двух черных пуделей вышла очень бледная, с совершенно каменным лицом женщина в очках, строго и скромно одетая, и провела нас во второй этаж, в сорокаметровый кабинет, отделанный ореховым деревом и ореховой же мебелью обставленный. Здесь на стенах тоже висели олени рога, в комнате стояли мягкие диваны, кресла и два огромных торшера на подставках из розового мрамора.

Женщина попросила нас обождать.

Мы сели за круглый столик, на котором стояла ваза с причудливыми цветами поздней осени, с темно-красными и желтыми листьями. Женщина поставила перед нами ящичек с сигаретами, предложила курить и задала бессмысленный вопрос: долго ли мы предполагаем пробыть в Германии? Пришлось объяснить, «кто есть кто»...

Надо сказать, что с Максом мы еще в Мюнхене сочинили «легенду», согласно которой он в 1936 году имел счастье лично предстать перед господином фон Ширахом, и тот пожал ему руку, что до сей поры осталось одним из самых незабываемых впечатлений его жизни. Поэтому он с особым волнением хотел бы вновь позвать руку господину фон Шираху, преподнести ему одну из выпускаемых им книг, а заодно представить своего русского друга — переводчика Шиллера, поэзии барокко и т. д. и т. п.

Женщина с неподвижным лицом выслушала все это чрезвычайно равнодушно и предупредила, что «после всего пережитого» господин фон Ширах еще очень слаб, что в шестьдесят один год он необычайно состарился и едва ли сможет нам уделить много времени.

Я сказал, что мне очень нравится этот дом, и женщина пояснила:

— Да, мы стараемся сделать его пребывание у нас как можно более приятным, установили строгий режим, и только из уважения к господину Макс, у отца которого господин фон Ширах приобретал книги еще в дни своей юности, мы разрешили ему несколько минут побеседовать с вами.

Она спросила, знакомы ли мы с мемуарами господина фон Шираха, и мы закивали головами, а я вспомнил свою статью в «Журналисте».

— Да, — сказала женщина, — в этой книге содержатся выводы всей его жизни, это очень серьезный груз, который дался ему нелегко...

Я спросил, продолжает ли господин фон Ширах писать стихи? Женщина, улыбувшись, ответила, что — увы! — нет, ему вообще очень трудно писать, он способен лишь диктовать, кроме того, изредка просматривать газеты...

Она церемонно вышла из комнаты.

Так прошло примерно минут тридцать. Я ожидал увидеть согбенного, большого старика, но вдруг сквозь боковую дверь в сопровождении одетой по-домашнему, толстой, приземистой женщины в брюках вошел худощавый, поджарый,

седой господин в темных очках, в безукоризненном темно-сером костюме, со свежим, даже румяным лицом. Сняв очки, он пошел прямо на нас, улыбаясь во весь рот и обнаруживая безукоризненно белые и ровные вставные зубы, и протянул нам свою длинную, тощую руку.

Тут я разглядел его внимательней.

Он был какой-то неживой, несмотря на румянец, вернее, еще более мертвый благодаря этому румянцу, так как его лицо казалось подкрашенным. Схожесть с покойником усиливалась благодаря его точенному лицу с тонким носом; его серые длинные волосы были словно приклеены к черепу... Нет, он был похож на манекен, который выставляли в магазинах мужской одежды.

Он пригласил нас пересесть за другой стол, сел сам и в упор посмотрел на нас невидящими глазами, вновь ослепительно улыбнулся, после чего мгновенно убрал улыбку с лица и, обратившись к Макс, сказал:

— Добрый вечер, господин Макс, я очень рад, что имею возможность вновь встретиться с вами. Когда мы виделись в последний раз?

— В 1936 году...

— С тех пор утекло много воды, не правда ли?.. — Затем он обратился ко мне: — Вы из России? В Шпандау я имел возможность изучить ваших соотечественников. Они производят действительно очень хорошее впечатление, гораздо лучшее, чем, скажем, американцы или англичане, хотя я сам по происхождению американец... Я слышал, вы пишете. О чем же? И переводите. Кого же?

Он мгновенно насупил брови, придав своему лицу выражение чрезвычайной заинтересованности. Это насупливание бровей, притворно озабоченный взгляд, без всякого внешнего повода сменяемый ослепительной улыбкой, я наблюдал в течение всей нашей беседы, которой он овладел с самого начала.

— Итак, вы переводите немецких поэтов. Каких же? — вновь спросил он и, не давая мне ответить, продолжал: — Вы любите Рильке?

Я ответил, что да.

— За что? — спросил он серьезно. — За что вы любите Рильке?

— Ну, видите ли...

Он не дал мне договорить и, прикрыв ладонью глаза, нараспев продекламировал несколько строф.

— Да... Мелодичность созвучна русской душе, я это понял в Шпандау. Знаете, среди этих простых русских солдат попадались удивительные экземпляры. Ах, там было много смешных случаев!.. Из бесед с этими людьми я установил, что Россия за последние годы значительно шагнула вперед. Вы не находите?.. Бывало, возвращается кто-либо из моих конвоиров из отпуска, спрашиваешь: «Ну как там дела, Иван, где ты был?» — «Сперва, конечно, в Москве, — отвечает Иван, — в парке культуры, посмотрел, что там придумали нового, потом — в Большом театре на балете «Лебединое озеро», ну, а потом уж к себе, в деревню...» Сейчас, говорят, в любом сельском кооперативе можно достать водку и провизию. И кино есть в каждом районном центре, хотя сеансы начинаются с опозданием на два часа. — Он рассмеялся. — Знаете, — сказал он, обращаясь к Макс, — эти люди иногда принимали меня своим простодушием. Помню, с одним я поспорил: «А знаешь ли, говорю, Иван, что ваш Пушкин по происхождению не русский, а эфиоп?» — «Как так? — возмущается Иван. — Врешь, никакой он не эфиоп, а русский, он русский!» — «Нет, говорю, эфиоп, и это документально доказано». Кстати, могу сказать, что я в какой-то степени пушкинист. Так вот, мой Иван начинает сердиться, дело чуть ли до ссоры не доходит. «Не бойся, говорю, Иван, никто у вас вашего Пушкина не отнимает, и все же он — эфиоп!..»

Он пронзительно захохотал с некоторым даже повизгиванием, еще и сегодня радуясь придуманной им забаве, возможно, существовавшей только в его воображении. Потом, насупив брови, продолжал:

— Я чрезвычайно высоко ценю русский народ, русскую историю! Петр (он так и сказал «Петр», а не «Петер»), Петр Великий был одним из величайших королей в истории! А Иван Грозный! И знаете, господин Гинзбург, как это ни

странно звучит в моих устах, величайшим преобразователем я считаю Ленина. Конечно, я не коммунист, но в известных пунктах...

Передо мной сидел Хлестаков Иван Александрович в своем немецком облике, Хлестаков, достигший уровня главного военного преступника, и самозабвенно врал:

— Еще во времена нацизма в моей библиотеке стояло полное собрание сочинений Ленина — сто пятьдесят томов!..

— И это вам разрешалось?

— Разумеется, нет. Но я рисковал! — снова соврал он не моргнув глазом.

— Так, может быть, вас называть не «господин Ширах», а «товарищ Ширах»?

— Ничего не имею против. Но слово «товарищ» режет мне слух из-за того, что им пользуются социал-демократы... Так вот, сказать вам, какой день был счастливейшим днем моей жизни? Угадайте!.. День, когда Германия и Россия заключили между собой пакт. Это могло стать поворотным моментом в истории всего человечества. Германия и Россия! Только тупая ограниченность и самонадеянность Гитлера привели к крушению моих самых светлых надежд. Нет, совершенно серьезно. Мир должны поделить между собой сильные. Скажем, Россия и Америка... А может быть, — прищурясь, он посмотрел на меня, — Америка и... Китай? — Приоткрыв рот, он застыл, выжидая, какой эффект произведут эти слова. — Знаете, — длинным пальцем с массивным перстнем он указал на телевизор, — я наблюдаю нынешнюю мировую катавасию и говорю моим близким: «Ну что вы волнуетесь? Ни одна из сторон не желает уступать свою сферу влияния, и это совершенно разумно». Представьте себе, что сделала бы Америка, если бы от нее стала откалываться наша крохотная ФРГ, которая, конечно же, является американской колонией! Она поступила бы точно так же, как и с Вьетнамом. Вы не находите?..

Насупив брови, он неподвижно взглянул на меня и, всплеснув руками, вдруг рассмеялся:

— Никакой Германии нет — все это вздор! И немцев нет, и русских нет — есть люди... Знаете, в чем главный итог истекшего двадцатипятилетия? В совершенно изменившемся сознании людей, прежде всего молодежи. С национальной ограниченностью покончено, люди изучают иностранные языки, ездят по всему свету, живут, где хотят. Почему господин Макс должен жить в Мюнхене, а не в Варшаве или в Нью-Йорке, если ему это нравится? Национализм, границы, национальная принадлежность — все это себя изжило. Кто сказал, что Гёте немец? Он европеец, он принадлежит не Германии, а Европе. Разве русский воспринимает Бетховена не так же, как немец? Разве в Пушкине мы ищем русские национальные черты?.. Я космополит, господин Гинзбург: все мы сидим в одной лодке и какая разница — ФРГ ли, Россия ли, Франция — важно, что мы люди, европейцы, члены семьи человеческой!..

Вошла приземистая женщина¹, но уже переодетая для посещения концерта: в Троссинген приехал Штутгартский оркестр.

— Нам пора...

— Одну минуту. — Он взял ее руку и приложился к ней губами. — Знаете, в НДП меня считают ренегатом. Эти авантюристы так ничего и не поняли. Вы знаете, к чему я стремлюсь?.. — Он насупил брови. — Не угадаете! К европейскому единству! Чем больше оружия в Европе, тем лучше... Вот вам, если хотите знать, точка зрения старого нациста.

Он снова рассмеялся.

Трудно было поверить, что этот позер с шутовскими замашками мог когда подчинить себе миллионы немецких юношей, которые верили каждому его слову...

¹ «Приземистая женщина», очевидно, была хозяйкой дома. Жена Ширах — Генриэтта Гофман — отказалась от него в первые годы его заключения.

Он и сейчас устраивал для меня маленький «домашний спектакль», с е а н с, экспромтом разыгрывая роль «нового Ширах», и все более увлекался этой игрой.

Неожиданно он вспомнил Власова:

— Он приезжал ко мне в Вену. Иногда пишут, будто я ему симпатизировал. Но это не совсем так. Мы любим предательство, но не предателей. Видите: я родил афоризм!..

Я спросил, пишет ли он стихи.

— Ах, что вы! Когда-то я пробовал... Но это были очень плохие стихи, занимайтесь-ка лучше своим Шиллером... Дорогая, дай мне монокль...

Женщина подала ему монокль на черном шнурке, он вставил стекло в глаз и стал меня пристально рассматривать, так, что мне стало не по себе...

— У меня есть кое-что для вас.

Он взял лежащую перед ним книгу — свои мемуары — и размашисто написал: «Господину Гинзбургу на память о 23 ноября 1968 года»...

Потом, призадумавшись, сказал:

— Ах, оставим все эти аристократические предрассудки: «фон»! Я подпишусь просто — Ширах... Вы сегодня обедали у Шпеера? Какое он произвел на вас впечатление? В тюрьме мы не очень ладили, часто спорили, так и не ужились за двадцать лет. Это бывает. Я проводил основную часть времени с господином Гессом: он так одинок и несчастен...

Он и его дама проводили нас к выходу. Спускаясь по лестнице, я спросил, откуда эти столь диковинные трофеи, и дама пояснила, что раз в год ездит охотиться то на Аляску, то в Африку, и трофеи эти принадлежат ей.

Она была, видимо, очень богата, еще сравнительно молода — лет сорока пяти, не больше, могла себе позволить все, и одряхлевший, выпотрошенный Ширах тоже напоминал некий «трофей»...

В парке он уселся в машину рядом со своей спутницей — седой, прямой, тощей.

Наш шофер Зепп спросил:

— Это и есть Ширах?!

* * *

24 мая 1946 года на Нюрнбергском процессе подсудимый Бальдур фон Ширах сделал суду заявление:

— Моя вина заключается в том, что я воспитал молодежь для человека, который был убийцей, который погубил миллионы людей...

...11 января 1969 года газета «Нойес Дойчланд» (ГДР) сообщила, что Бальдур фон Ширах выступил по западногерманскому телевидению в передаче «Гитлерюгенд». Показывали старые документальные кадры, и Ширах пояснял:

— Маленькая Германия должна же была стать однажды великой!..

По экрану двигались молодежные толпы, они пели: «Барабаны гремят по стране» — и скандировали: «Германия, проснись!» С трибуны их приветствовал молодой Ширах.

Телевизионный комментатор спросил:

— Решились бы вы сегодня повторить все сначала?

Ширах ответил:

— Конечно.

* * *

В Москве я рассказывал о своем разговоре с Ширахом нашему генералу, который еще недавно по долгу службы два раза в месяц инспектировал тюрьму Шпандау.

Генерал встревожился:

— Что еще за И в а н?.. Какой И в а н?! — Подумал с минуту, соображая, кто бы это из личного состава мог быть, потом успокоился: — Никакого Ивана там не было, врет он, сказки рассказывает... Это совершенно исключено, чтобы они имели возможность общаться с охраной. Службу в Шпандау несли наиболее дисципли-

линированные, проверенные воины... Да и каким образом?.. Вот посмотрите.—Он взял карандаш, стал набрасывать схему постов: здесь вышки, здесь пульт, здесь двор для прогулок... — Откуда же взялся Иван? Может, он кого из надзирателей имеет в виду, он не уточнял? Но и это едва ли возможно потому, что разговоры носили сугубо деловой, официальный характер, никакой фамильярности не было и не могло быть. Я сам, когда инспектировал тюрьму, заходил к ним в камеры непременно с переводчиком. Знаешь язык или не знаешь, — все равно только через переводчика положено обращаться: есть ли жалобы, просьбы, осведомляешься о состоянии здоровья, вот и все... А здоровье у них прямо-таки спортивное. Гессу давление мерили: сто десять на семьдесят — нам бы такое. А?! Да... Когда я впервые тюрьму принял, прошелся по камерам, много у меня всяких мыслей возникло... Тюрьма-то, она, как музей: весь нижний этаж пустой, пустые стоят камеры, заросшие пылью еще с гитлеровских времен. Представьте себе помещение: такая комната, перегороденная пополам железной решеткой, то есть люди там буквально находились, как в клетке. Никаких коек—бетонные помосты. И печка. Вернее, я сперва подумал, что печка, а оказалось — специальное устройство для нагнетания в камеру холодного воздуха. И еще я в одну камеру заглянул: там ни помостов, ни печек, совершенно пустое помещение, только крюки вбиты в стены... «Что это?» — спрашиваю. А это они подвешивали казненных за подбородки на крюки, как мясные туши. И здесь же была гильотина; вижу, какое-то возвышение стоит: эшафот... Идешь по коридору — гулко, пусто, оторопь иногда берет и думаешь про себя: да, попался бы ты к ним в руки лет двадцать пять назад, они бы тебя о состоянии здоровья не спрашивали и давление бы мерить не стали... Шпандау — тюрьма старая, прусская, вы ее, может, видели снаружи, когда бывали в Западном Берлине?..

Конечно, я эту тюрьму видел, и бывая в Западном Берлине, ездил на Вильгельмштрассе, чтобы посмотреть на это здание — замок, окруженный стеной с зубчатыми сторожевыми башнями из красного кирпича. Наверно, не одного меня охватывало желание заглянуть за эту стену, где, поочередно охраняемые советскими, американскими, английскими и французскими гарнизонами, пребывали Гесс, Ширах и Шпеер — тени третьего рейха, как бы переселившиеся сюда, в этот острог, из своих министерств и канцелярий.

Вначале их было семь человек: Гесс, Редер и Функ, приговоренные к пожизненному заключению, Ширах и Шпеер (двадцать лет), Нейрат (пятнадцать лет) и Дениц (десять лет), затем их становилось все меньше, а сейчас в тюрьме, рассчитанной, как мне сказали, на шестьсот восемьдесят «посадочных мест», содержится один только Гесс, заместитель Гитлера по нацистской партии, который должен сидеть здесь до конца своих дней, охраняемый и опекаемый внушительным персоналом, на который возложена обязанность довести его до этого конца в строгом соответствии с правилами и нормами. Каждый раз, передавая Гесса очередной смене, дежурный комендант составляет акт, в котором указываются вес заключенного, кровяное давление, температура и прочие медицинские данные, словно бы это не тюрьма, а больница. И как в больнице, где сестры и врачи стараются дотянуть умирающего больного до прихода сменщиков, так и здесь никому из комендантов не хочется, чтобы пожизненное заключение Гесса кончилось как раз в его смену, когда придется писать объяснительные записки и заниматься хлопотной, неприятной процедурой, также детально разработанной в особых инструкциях...

Они вставали по стойке «смирно», вытянув руки по швам, коротко, односложно отвечая на задаваемые вопросы. Заключенным были присвоены номера, называть их по именам и фамилиям строжайше запрещалось, так что за двадцать лет ни Ширах, ни Шпеер, ни Гесс ни разу не слышали своего имени.

Камеры, в которых они содержались, были несколько переоборудованы: железная солдатская койка, откидной стол, шкафчик для хранения посуды, небольшая полка для книг, умывальник... На зарешеченных окнах висело нечто вроде гардин... Камеры полагалось убирать самим, заправлять койки, мыть за со-

бой посуду. В 8.00 начиналась работа в саду, на крохотном «жизненном пространстве», засаженном клубникой и огурцами.

Два человека в вельветовой тюремной одежде, сопровождаемые надзирателями, выходили из своих камер, раскланивались друг с другом, обменивались несколькими репликами и приступали к работе. Это были Ширах и Шпеер.

Гесс держался в стороне — страшный, худой, с лохматыми седыми бровями, одинокий, как волк.

Солдаты, офицеры и надзиратели давно уже привыкли к старожилам Шпандау и относились к ним, как полагается относиться к объекту охраны, лишь иногда удивляясь, что именно эти вот люди когда-то претендовали на то, чтобы захватить в свои руки весь мир...

— Между прочим, и Ширах и Шпеер отзывались о своих советских конвоирах с известной симпатией, — сказал я.

Генерал пожал плечами.

— Ну, уж не знаю, чем мы такую симпатию заслужили! Да вранье все это — какая симпатия? Они сейчас, на воле, чего угодно нафантазируют... Выбили их из жизни, вот они и карабкаются, ищут лазейку, чтобы опять играть роль. Это, конечно, спиленные деревья, но росточки от них еще могут пойти... Никаких так называемых послаблений мы им не делали, то есть, разумеется, не притесняли, а просто требовали, чтобы они строго соблюдали установленный для них режим. И они, надо сказать, соблюдали, я ни одного случая ЧП назвать не могу. Но, в общем, впечатление производили неприятное: холодом от них веяло, надменностью...

— Книги, газеты им разрешалось читать, слушать радио?

— Радио нет. А газеты, книги — пожалуйста. Все, кроме фашистской литературы. За двадцать лет они много книг прочли. Шпеер, тот все больше специальную литературу читал, по вопросам строительства... Они очень на физическую работу рвались, чтобы быть побольше на воздухе. Ну, а Шпеер, тот во дворе Сан-Суси строил...

— Сан-Суси?

— Да знаете, есть в Потсдаме дворец Сан-Суси Фридриха Второго... Однажды Шпеер нас попросил: «Разрешите мне, говорит, построить что-нибудь, я ведь архитектор, а уже двадцать пять лет строительством не занимаюсь». Ну, дали мы ему черепицу, кирпичиков, и он в тюремном саду настоящий дворец построил — точную копию Сан-Суси. Конечно, в миниатюре, маленький. Как строит ребенок из кубиков...

Я спросил, в какой одежде Ширах и Шпеер были выпущены из Шпандау.

— В той самой, в которой их доставили из Нюрнберга, в тех же костюмах. Эти костюмы двадцать лет так и провисели в кладовке на плечиках, а костюм Гесса до сих пор висит — форма летчика, в которой он в 1941 году прибыл в Англию.

* * *

Позднее я встретился с одним из советских офицеров, который несколько лет входил в состав тюремной администрации Шпандау. О своих недавних «подопечных» он говорил с сухой неприязнью, как о людях, в сущности, неисправимых, которых «не то что за двадцать — за сто лет не перевоспитаешь: такой лежит на них груз...».

Все они в тюремных условиях оставались верны себе, застывшие в своем эгоизме и высокомерии. Связанные, казалось бы, общей судьбой, общим несчастьем, они и друг к другу относились с полнейшим равнодушием, пытались сводить старые счеты, и охрана не раз с недоумением наблюдала, как во время прогулок они церемонно вышагивали по двору, стараясь держаться как можно дальше друг от друга, а встречаясь, обменивались колкостями.

В какой-то степени выделялся Шпеер: самый корректный, выдержанный и цепкий среди всех заключенных. Оказавшись в Шпандау, он поставил перед собой задачу во что бы то ни стало выжить, сохраниться как личность, и не толь-

ко сохраниться, но еще и усовершенствовать свои знания: за двадцать лет он проштудировал две тысячи книг по архитектуре. Он сидел над этими книгами и читал, читал, и в уме не укладывалось, что это и есть тот человек, который создал когда-то страшное подземелье «Дора», строил смертоносные ракеты и обрушивал на мир столько металла, что «в каждом из нас торчат осколки от его боеприпасов»...

— Дело, однако, уже не в самом Шпеере, — сказал офицер, — а в шпее-ря т а х. Образно говоря, Шпеер — это, ну, конечно, не винтик, а шестерня в механизме войны, крупная шестерня... В какое-то время шестерня ломается, ее заменяют другой... Но вот шпее р я т а! — Он вновь повторил это найденное им слово. — Сколько их, таких шпее р я т, которые «каждый в своем отсеке», «не вмешиваясь в дела соседа», — как он вам говорил, помните? — изготавливает кто одну деталь, кто другую, делая вид или на самом деле не зная, что из этих деталей в конце концов складывается. Ведь сама по себе «деталь», над которой работает тот или иной шпее р е н о к, охваченный своим техническим рвением, может показаться вещью вполне безобидной... Но общими усилиями тысяч шпее р я т получают подводные лодки, атомные снаряды, боевые отравляющие вещества...

Я спросил, чувствовалось ли, что заключенные Шпандау — все же бывшие политики, руководители государства. Он рассмеялся:

— У Шираха своя «политика» была: обязательно на кого-нибудь наклепать, наобедничать, какую-нибудь мелкую гадость подстроить. Он мог, например, мне на американского директора пожаловаться, что американцы ему ржаного хлеба не дают, а зайдет американский директор, он ему шепчет: «Русские опять селед-кой кормили...» Вот вам и вся «политика»!..

ХІІІ

Бывший президент рейхсбанка и министр экономики третьего рейха девяно-стодвухлетний Яльмар Шахт принял нас в своей «мюнхенской резиденции» — прямо-таки музейной квартире на Куфштейнплац...

В некоторых исторических исследованиях и мемуарах Шахта называют «не-мецким Фуше», и для этого есть все основания, если вспомнить, что Шахт был именно тем человеком, который в 1932—1933 годах, используя свой банкирский престиж, буквально выпросил для Гитлера пост германского канцлера, собрав подписи крупнейших промышленников и финансистов под петицией, направленной Гинденбургу; в феврале 1933 года он финансировал выборную кампанию нацист-ской партии; в марте 1933 года возглавил германский рейхсбанк; в мае 1935 года был назначен уполномоченным по вопросам военной экономики; в 1937 году, формально оставаясь вне партии, получил от Гитлера золотой партийный значок; вплоть до 1943 года участвовал почти во всех политических, военных и экономи-ческих мероприятиях нацистского правительства, а в 1943 году, «поняв ранее, чем многие другие немцы, — как это сказано в Особом мнении советского судьи в Нюрнберге, — неизбежность краха гитлеровского режима, установил связь с оппозиционными кругами, ничего, однако, не сделав для свержения этого режи-ма. Не случайно поэтому Гитлер, узнав об этих связях, сохранил Шахту жизнь»...

Так или иначе, 1945 год застал Шахта в качестве узника гитлеровского концлагеря Флоссенбург, откуда его препроводили в союзническую тюрьму в Нюрнберге, а затем — на скамью подсудимых в зал Нюрнбергского трибунала, где американский обвинитель Джексон назвал его «представителем самого опас-ного и отвратительного типа оппортунизма»...

Придерживаясь уже выработанного метода, я накануне встречи с Шахтом перечитал нюрнбергские материалы: речь Джексона, стенограмму проведенного им допроса и последнее слово самого Шахта:

«Чувство справедливости во мне глубоко оскорблено... Обвинение целый год в мировой печати выставляло меня к позорному столбу, как разбойника, убийцу

и обманщика. Я обязан этому обвинению тем, что на закате моей жизни лишен средств к существованию и родины. Но обвинение заблуждается, если оно думает, что может причислить меня к «жалким, поникшим фигурам»... Террор гестапо не запугал меня, потому что любой террор бессилен перед зовом совести... Я по-прежнему высоко держу голову, веря в то, что мир исцелится не с помощью насилия, а с помощью силы духа и соблюдения нравственности в поступках...»

Все это не очень вязалось с более ранними речами Шахта, произнесенными хотя и при других обстоятельствах, но с тем же пафосом:

«...с безграничной страстью сердца, горящего ярким пламенем, и с безошибочным инстинктом прирожденного государственного деятеля Гитлер в борьбе, которую он вел в течение четырнадцати лет, завоевал себе душу германского народа...»

«...Теперь мы присягаем в верности нашей воспрянувшей, мощной великой германской империи. И все эти сердечные чувства мы выражаем в преданности человеку, который осуществил все эти преобразования. Я прошу вас поднять руки и повторить вслед за мной: «Я клянусь, что буду преданным и буду повиноваться фюреру германской империи и германского народа Адольфу Гитлеру и буду выполнять свои обязанности добросовестно и самоотверженно». Вы приняли эту присягу. Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды «зиг хайль!»...»

Дело, однако, не в речах, а в поступках, и если судить по поступкам, то Шахт, безусловно, оставался верен этой присяге, по крайней мере до 1943 года.

Впрочем, Шахт отнюдь не был склонен к тому, чтобы придавать своим речам какое-либо серьезное значение, и, сидя на скамье подсудимых, брезгливо слушал, как обвинители зачитывают цитаты из его давних выступлений, казавшихся теперь не более чем обычной формальностью, данью условностям времени: мало ли кто, когда и что говорил? Разве само искусство коммерции не требует ловкости и мимикрии? Когда и какой коммерсант руководствовался в своем деле соображениями «чистой морали»? И он откровенно недоумевал, почему и за что американцы, англичане, французы, люди вполне деловые, сговорившись с советскими коммунистами, усидели его на скамье подсудимых рядом с каким-то Кальтенбруннером или Штрейхером, приравняв всемирно известного банкира к политическим убийцам и гангстерам?..

* * *

Шахт сидел, положив ногу на ногу, в своем увешанном картинами и драгоценными гобеленами кабинете, в кресле, боком к окну, — щурящийся долговязый старик в сером костюме, в мягкой белой рубашке с галстуком...

Когда мы вошли, он, встав во весь свой рост, бодро поднялся с кресла, сощурился, улыбнулся и так и застыл на секунду, как перед фотографом, словно давая нам возможность запечатлеть в памяти его облик и как бы говоря: «Ну, что, видали, каким можно быть в девяносто два года? Видали, каков он есть, Шахт?..»

Макс сунул ему в руки книгу «Воля к добру» — сборник изречений великих людей от Конфуция до Льва Толстого. Шахт бегло просмотрел оглавление, кашлянул, что-то одобрительно буркнул и вновь уселся в кресло, придиричиво всматриваясь в мое лицо:

— Вы — русский?..

Его подвижный, маленький, со щеточкой седых усов над верхней губой рот в виде буквы «о» все время добродушно улыбался.

— Что же вам угодно узнать от меня, господин Гинзбург?.. Мы живем в скверное время, в очень скверное время...

— Почему же в скверное?

— Да потому, что у нас ничего не осталось. Знаете ли вы, чем была Германия сто, двести, пятьсот, тысячу лет назад? Германское начало господствовало во всей Европе... Кто такие, скажите мне, англосаксы, как не германские племе-

на? Кто франки? Мы говорим: «Андалузия», но это же — «Вандалузия», от вандалов, которые со Скандинавского полуострова дошли до Испании. В начале девятого века господство Карла Великого (Каролус Магнус, Шарлемань) простиралось от Немецкого моря до Гарильяно, от южных склонов Пиреней до Эльбы, под его владычеством находились и славянские племена... В десятом веке Оттон I, заняв Рим, короновался императорской короной: начало Священной империи было положено...

Он говорил с необычайной оживленностью, излагая сведения, на всю жизнь усвоенные им, очевидно, еще в гимназии.

— Идея *Sacrum Imperium* — Священной империи германской нации — долго жила в немецком народе, в понятие «рейх» мы вкладывали особый смысл, и Гитлер очень ловко этим воспользовался. Слово «рейх» стало приманкой, на которую ему удалось поймать людей отнюдь не доверчивых... — Он привздохнул, давая понять, что имеет в виду самого себя. — Да. Немцы, немцы... — Он развел своими большими руками с широкими ладонями. — Кто только не был немцем? Достаточно вспомнить русских царей последней династии. Даже столица России носила немецкое название — «Петерсбург»! Разве немцы по крови не внесли свой вклад и в вашу культуру?.. Хемницер... Фон-Визин... Екатерина Великая... А что сейчас?.. Мы ютимся на клочке, мы стали провинцией. Трудно даже оценить тот колоссальный ущерб, который нам причинил Гитлер... Впрочем, у каждой нации есть свой преступник. У французов — Робеспьер, у нас — Гитлер...

Это кощунственное сравнение было тем не менее весьма характерно для Шахта. Пройграв войну, пережив величайший нравственный шок, уличенные в беспримерных в истории зверствах, нацисты пытались теперь подогнать гитлеризм под обычную схему, представив его чуть ли не в виде революционного катаклизма, с неизбежным для каждой революции насилием. Но ведь и сам Гитлер, получивший власть непосредственно из рук немецких банкиров и монополистов, из рук Шахта и Круппа, охотно называл это событие «революцией», считая подобную формулировку наиболее эффектной и привлекательной...

— Обидно только, — продолжал Шахт, — что Гитлер появился у нас с таким запозданием. Если бы он жил лет сто пятьдесят назад, мы бы сегодня уже успели кое-как оправиться, прийти в себя и возродиться как нация.

— Вы считаете, что на это уйдет еще полтора столетия?

— Не знаю... — Он улыбнулся всеми морщинами. — Сейчас все происходит гораздо быстрее, чем в прежние времена. Может быть, кое-каких перемен мы с вами еще дождемся... В принципе я уверен, что ни одну нацию нельзя уничтожить полностью. Вспомните, как американцы истребляли индейцев. Кстати сказать, они ведь выходцы из России, перебравшиеся в Америку через Аляску. Это доказано... И что же? Индейцы продолжают существовать. Вспомните армян, которых безжалостно вырезали турки! Два с половиной миллиона армян было вырезано, а сейчас их сколько? Миллионов пять? Шесть?.. Послушайте! — воскликнул он неожиданно высоким голосом. — О чем говорить, если цыгане — даже цыгане — остались!..

Он вновь внимательно посмотрел на меня, умолк и после небольшой паузы, обращаясь к Макс, сказал:

— Так что, господин Макс, нам, немцам, не стоит отчаиваться. Еще все впереди...

— Господин Шахт, — сказал я, переходя ближе к теме, — как же вы решились сотрудничать с таким человеком, как Гитлер? Наверно, это было не очень приятно...

— Что значит «сотрудничать»? — Он встрепенулся. — Я с ним никогда не сотрудничал, просто он пригласил меня однажды к себе: «Вы можете мне помочь ликвидировать безработицу? Дайте мне денег». И я дал. Если бы меня об этом попросил канцлер Брюнинг, я дал бы ему... Господи! Если бы даже сам Тельман обратился ко мне с такой просьбой, я и Тельману бы не отказал никогда... Но он не просил... Вот в чем дело...

Я вспомнил Нюрнбергский процесс, документальные доказательства, речи прокуроров: стоило ли учинять Шахту новый «допрос», который, конечно, был бы сейчас совершенно бессмысленным и безрезультатным?

— Прочитайте мои мемуары,— сказал Шахт,— их можно купить в любом книжном магазине, там все описано, я не утаил ничего... Вам известно, что Гитлер хотел меня убить, заточил в концлагерь?..

— Да... Но я видел фотографию, где вы изображены рядом с Гитлером в Компьенском лесу в день капитуляции Франции. И я читал материалы процесса...

— Ну вот, я так и знал... Нюрнбергский процесс... — Он поморщился, махнул рукой. — Почитайте, почитайте мои мемуары. Господин Джексон зря так старался....

...Вопреки требованиям всех обвинителей и Особому мнению советского судьи в заключительной части Нюрнбергского приговора было указано, что трибунал предлагает коменданту суда освободить Шахта из-под стражи после перерыва в заседании.

Очевидцы рассказывали мне, что сразу же после этого перерыва Шахт, впервые появившись в здании суда без коновоя, устроил пресс-конференцию и, обращаясь к корреспондентам, совершенно серьезно сказал:

— Господа, я готов отвечать на любые вопросы, но предупреждаю, что гонорар буду брать натурой: шоколад, сигареты, продукты... Ваши оккупационные марки — увы! — стоят недорого.

Через несколько дней «в порядке денацификации» он был арестован баварским судом, который приговорил его к восьми годам заключения — срок, отбывтый им далеко не полностью.

Сейчас в беседе с нами он бегло коснулся и этой страницы своей причудливой, почти вековой биографии со взлетами и неожиданными падениями, биографии, которую он завершал бодрый, исполненный оптимизма, в довольстве и роскоши, уверенный в том, что все на свете проходит, все меняется, а деловые люди всегда остаются и всегда будут нужны. Но тот свой последний арест он назвал «величайшим позором»: не для себя — для немцев...

— Он хорошо помнит историю, вы не находите? — сказал Макс, когда мы вышли на улицу. — Но почему-то в основном древнюю. Новейшую он забыл...

XIV

За день до встречи с Шахтом у меня произошел знаменательный разговор в одном уважаемом обществе среди любителей «германской словесности», которые очень заинтересовались моими посещениями, хотя и недоумевали, зачем мне все это нужно.

Сперва разговор носил исключительно дружественный, даже сердечный характер — за длинным столом, за чаем с пирожками, начиненными орехами, все внутренне умилялись, что вот, мол, идеология идеологией, а чай с пирожками все-таки делает свое дело и люди всегда могут найти общий язык, особенно если этот общий язык — немецкий... Все они от души смеялись, когда я описал им свою встречу с Ширахом, потом с Эссером, и громче всех смеялся седой, плотный мужчина с моложавым лицом, тоже оказавшийся большим любителем германской изящной словесности. Это был генерал-лейтенант, редактор военно-георетического журнала.

— Ах, этот старый осел Эссер, — сказал он, досмеиваясь, — уж кто-кто, а Гитлер не был таким простаком, чтобы на него мог кто-то влиять, даже военные... Он обладал таким стальной волей и сам влиял на миллионы людей. Ему подчинялись все. И не военщина на него влияла, а скорее он давил на военных, особенно на таких бесхребетных личностей, как Кейтель, который стал в его руках послушным орудием... Я был молодым офицером оперативного отдела генштаба, имел возможность наблюдать моих непосредственных начальников и убежден, что

никто из них даже не подозревал о готовящемся нападении на Россию. Вот вам и «военщина»!..

— Но кто-то же разрабатывал план «Барбаросса», ведь план такой был, вы не станете отрицать этого?— спросил я.

— Конечно, на самых верхних этажах кто-то этот план разрабатывал: Кейтель, Йодль — не знаю. Даже и до нас доходили отголоски этого плана: помню, например, как мы были удивлены, когда нас вдруг привлекли к участию в штабных играх: «Ведение боевых операций в условиях большого пространства». Шла война против Англии, при чем тут «большое пространство»? И мы спрашивали себя: неужели он имеет в виду Россию?.. Учтите: о н, а не м ы. Все решал он один, опираясь на свою клику — на Геринга, Гимmlера, Бормана, не интересуясь мнением военных.

— Ну, а когда поступил приказ?

— Тогда оставалось только выполнять — это естественно. Не мог же я взять и выпрыгнуть из мундира!

— Стало быть, в душе вы были против войны, но не могли послушаться приказа?

— Гм... Как вам сказать... Все это не так просто... Откровенно говоря, я, как уроженец Силезии, был не против того, чтобы мы в 1939 году возвратили себе наши исконные земли, занятые Польшей. Но начинать войну с Россией?! Боже мой, не судите нас строго, на нас выпала нелегкая миссия. Мы пошли в поход, охваченные любовью к отечеству и — не скрою — опьяненные боевыми победами. Первое отрезвление наступило под Москвой... В те дни я стал командиром дивизии...

Я посмотрел на окружающих — их было человек десять за чайным столом, но уже никто не притрагивался к пирожкам, никто не пил чая, все сидели бледные, напряженные, молча слушали генерала и вместе с ним мысленно вновь переживали сейчас тот далекий поход... Глазами я поискал возможного «союзника», не нашел и спросил генерала, в чем именно он усматривает историческую вину Гитлера перед немецким народом.

— Полагаю, что корень зла не там, где вы его ищете, — сказал генерал. — Беда в том, что для Гитлера превыше всего был немецкий народ... Не удивляйтесь. Интересы народа он ставил выше морали, выше закона. Когда речь шла об интересах народа, закон для него просто не существовал. А между тем ничего не должно было быть выше закона! Это надо усвоить, именно это мы стремимся положить в основу нашей доктрины... Видите ли, я по происхождению законник, сын, внук, правнук и праправнук юристов, хотя и стал кадровым военным, прослужив в вермахте, в бундесвере и в штабе НАТО...

Теперь я заметил, что в нем было действительно что-то «натовское», современное: элегантнй штатский костюм, густые серебряные волосы, модные очки — меньше всего он напоминал генерала старой прусской выучки, тех, кого наши карикатуристы по привычке изображают с кадыками, с моноклями, в мундирах со стоячими воротниками...

— Что значит «закон» и «интересы народа»?— спросил я. — Разве законы Гитлера не противоречили интересам народа и разве можно говорить, что Гитлер хоть в малой степени заботился об интересах немецкого народа, который он обманул, опозорил, свверг в пучину преступной войны?..

— Ах, — сказал он с досадой, — до чего же часто вы, русские, вспоминаете Гитлера... Куда чаще, чем это делаем мы... Но если уж вам так хочется говорить на эту тему, то знайте: весь ужас в том и состоял, что Гитлер был абсолютно уверен, что действует в интересах народа!..

Люди за столом одобрительно зашумели, и генерал, воодушевившись, продолжал:

— У него была великая цель, а великая цель требует порой большой крови. Вспомните французскую революцию, якобинцев! Разве мало тогда погибло невинных людей? Но это не должно повториться. Какой бы благородной целью ни была,

законность не может быть поправа... Известно ли вам, что военные пострадали от Гитлера не меньше других? Статистикой установлено, что он казнил сто девяносто пять генералов и около восьмидесяти тысяч немецких солдат. Около восьмидесяти тысяч!

— Следовательно, были и такие военные, которые отваживались «выпрыгнуть из мундира», чтобы вести борьбу против Гитлера? — заметил я.

— Ну да, конечно же! Разве я собираюсь оправдывать Гитлера и его методы?

— Но вы оправдываете цель...

— Послушайте,— сказал он,— когда мы поверили в Гитлера, мы пошли за ним не оттого, что хотели крови, убийств, уничтожения народов. Мы поверили, что он принесет пользу нашей нации и возвеличит Германию. Но получилось не так...

Любители германской словесности смотрели на генерала с явным сочувствием, и мне вдруг захотелось чисто «житейски», наглядно представить этим людям картину оккупированной Европы: заполненные мертвыми телами рвы, могилы, концлагеря, виселицы. Я старался говорить как можно конкретнее, картинней в надежде, что хоть это их как-то эмоционально проймет. Но все только ожесточилось, даже сочли это бестактностью с моей стороны, а генерал, совсем уж озлобясь, отрезал:

— Да. Была война. А на войне льется кровь и люди убивают друг друга. Ваши газеты называют нас реваншистами, и это нас возмущает... Что такое «реваншизм»? Какие мы реваншисты? Конечно, мы мечтаем о воссоединении нашего отечества в исконных границах — это верно. Армия стоит на страже интересов страны, но, вступив в НАТО, мы полностью лишили себя возможности действовать самостоятельно. Мы подчиняемся объединенному командованию. Как таковой, бундесвер сам по себе способен выполнять лишь полицейские функции: без согласия и участия партнеров он не может выступить ни против СССР, ни против Польши, ни даже против Восточной Германии... Сейчас у нас совсем другая армия, основанная на законе, верная атлантическим принципам.

Он позволил себе откусить кусок пирожка, считая дискуссию законченной.

Я спросил, много ли в бундесвере сторонников Таддена?

Он пожевал губами:

— Встречаются... Иногда... Есть молодые люди, которые хотели бы вернуть Германии подобающее ей место. И эти люди охотно идут служить в армию. Есть среди них и члены НДП. Но что в этом страшного? Прочтите программу НДП — где вы найдете хотя бы намек на истребление народов, на газовые камеры, на захватнические войны? Этим НДП полностью отличается от партии Гитлера, библией которой была «Майн кампф»...

— Следовательно, вы читали «Майн кампф» и не могли не знать, что за цель преследовал Гитлер и какие «интересы народа» имел он в виду...

Генерал отложил пирожок.

— Естественно, мы читали «Майн кампф», но думали, что это всего-навсего личное сочинение Гитлера, написанное им в ландсбергской тюрьме в пылу полемики, и никогда не воспринимали эту книгу всерьез. Кто мог представить себе, что Гитлер относится к своим планам столь догматично?..

Сам того не сознавая, он почти дословно повторял сейчас то, что в свое оправдание говорили подсудимые в Нюрнберге.

— Скажите, господин генерал,— задал я последний вопрос,— почему, если в Западной Германии нет реваншизма, нет духа Гитлера, об этом с тревогой пишут такие бесспорно умные, честные, даже выдающиеся немцы, как, например, Генрих Бель? Ведь вы же не станете отрицать того, что он талантлив и честен?..

— Видите ли, крупные писатели бывают иногда плохими политиками. Я верю, что Генрих Бель — честный человек, но он пацифист и во время войны ухитрился, кажется, прослужить все шесть лет санитаром. Чего же вы от него хотите? И потом эти писательские претензии поучать всех! Извините меня, я сам

в какой-то степени причастен к литературе, но стремление всех учить уму-разуму стало у нынешних писателей чуть ли не профессиональной болезнью. По крайней мере у нас...

* * *

В мюнхенском «Бюргербройкеллер» до сих пор сохранился в нетронutom виде огромный пивной зал, где обычно отмечал нацистские осенние праздники Гитлер и где на него в ноябре 1939 года было совершено (или инсценировано) покушение: квадратные колонны, обшитые деревом, некрашенные деревянные столы чуть ли не в километр длиной, грубые деревянные стулья.

Воображению нетрудно заполнить это помещение людьми в эсэсовской форме, «озвучить» зал голосами, развешать по стенам штандарты, а под центральной колонной посадить Гитлера, окруженного своими сподвижниками...

В двенадцатом часу ночи зал был почти пуст, да и самое пивную уже покидали последние посетители.

Мы прошлись вдоль столов, постояли возле колонны, как в зал неизвестно откуда вкатился маленький, взъерошенный, лысоватый человечек в грязной рубашке с засученными рукавами, с замусоленной сигаркой во рту и, дико вращая белками, закричал:

— Франц! Франц!.. Черт бы его побрал! Я убью его своими руками!..

В дверях показался долговязый парень в зеленом фартуке, с копной рыжих волос.

— Ах, ты еще здесь! — завопил человечек. — Почему не убран стол в малом зале?! Кто его будет убирать? Я? Или, может быть, он?! — Человечек ткнул в меня пальцем.

Франц хмыкнул и, повернувшись к нам спиной, не говоря ни слова, зашагал прочь.

— Господи! Господи! — продолжал вопить человечек. — Пошли же нам наконец Гитлера! Верни его нам! Хотя бы на год! Хотя бы на месяц!.. — Он схватил меня за руку: — Вы не представляете себе, что творится! Эта демократия всех нас погубит, запомните!..

Тем же голосом, которым он только что звал Франца, он крикнул в глубину зала:

— Гитлер! Гитлер!..

На этот раз не отозвался никто. Он пожал плечами и удивленно сказал:

— Вот тут они все сидели... Я их знал всех... Каждого...

Он был немного пьян...

Макс участливо посмотрел на него и спросил, чем же он столь необычайно взволнован и для какой цели ему понадобился сейчас Гитлер?

При слове «Гитлер» человечек вздрогнул и, уставившись на нас своими белками, сказал, что он уже тридцать семь лет — хозяин этого заведения, «помнит в сё», но еще никогда не видел подобного безобразия...

— Они разбили две кружки, наблевали на пол и улизнули, не заплатив ни пфеннига!..

— Кто?

— Если бы я знал! Страна наводнена иностранцами: греки, итальянцы, югославы — кого только к нам черт не занес! Вчера мне угрожали ножом, пытались ограбить кассу, а сегодня... Две кружки! Две литровые кружки! И этот бездельник Франц! — Он перевел дух. — Без Гитлера мы пропадем, вот увидите!..

— Не преувеличиваете ли вы, приятель? — спросил Макс. — Может быть, опасность не так велика?

— Я преувеличиваю?! — воскликнул хозяин. — Каждый вечер я недосчитываюсь по крайней мере полдюжины кружек!.. А полиция спит... Нет, нет, пора рубить головы, — ребром ладони он ударил себя по шее. — несколько отрубленных голов — и все станет на свои места! Гитлер это хорошо понимал. При нем

был порядок!.. Быть может, господин фон Тадден предпримет что-нибудь дельное... Они у меня тут бывают, эти из НДП. Вот вчера собирались...

— Разве нынешнее правительство вас не устраивает? — спросил я в надежде получить «желаемый» ответ.

Хозяин посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Чтобы они все передохли, эти ничтожества!.. — Он сплюнул. — Послушайте, после Гитлера нами правят сплошные ублюдки. Сперва они назначают канцлером выжившего из ума старика... — Он захохотал. — Скажите, можно ли в восемьдесят пять лет стать канцлером?! Потом — этот толстяк с башкой, набитой кашей... — Он надул щеки, пытаясь изобразить недавнего канцлера. — Наконец, этот со своей вечной улыбочкой: тью-тью-тью... Тот, — он указал на место возле деревянной колонны, — был личностью!

— Значит, да здравствует Гитлер? Гестапо, концлагеря? — спросил Макс.

— Ну, разумеется, не в полном объеме... — Хозяин слегка успокоился. — Но несколько голов все же отрубить не мешает... При Гитлере мои кружки были бы в целости!..

Я вспомнил слова генерала: «Выше закона Гитлер ставил интересы народа». Уж не эти ли «интересы народа» имел он в виду?..

XV

— Вину Гитлера мы видим в том, что он поставил свое государство выше Христа, выше самого бога... — сказала настоятельница монастыря кармелиток «На святой крови», недавно построенного в Дахау на территории бывшего концлагеря. Она согласилась принять нас в монастырской исповедалине — честь, которой, кажется, не достаивался еще ни один иностранец...

Я и прежде несколько раз бывал в Дахау, еще в те времена, когда там стояли бараки, заселенные «перемещенными лицами»: помню запах домашней стирки, белье, развешанное на обрывках колючей проволоки...

За последние годы Дахау перестроился, как бы пристыженный памятниками предостережения, воздвигнутыми на месте других гитлеровских концлагерей, и теперь выглядит вполне пристойно: обветшалые бараки заменены павильонами с дневным освещением, на стендах — фотографии, отображающие историю фашизма и быт лагеря, диаграммы, таблицы, орудия пыток... В одной из комнат можно увидеть точную копию трехэтажных нар, сооруженных из свежеструганного соснового дерева, в другой — точное воспроизведение лагерной столовой. Бетонная стена, которой окружен лагерь, очищена от грязи, колючая проволока подновлена, дозорные вышки отремонтированы, а монастырь кармелиток, с большим искусством выполненный в виде лагерного барака (одноэтажное бетонное здание с плоской крышей, в которую воткнут небольшой металлический крест), составляет вместе с другими помещениями лагеря единый архитектурный ансамбль...

Как мне рассказывали, обительницы монастыря — это женщины и девушки в основном с высшим образованием, «из хороших семей», которые решили добровольно уйти от мира, чтобы постом и молитвами искупить на месте пролитой святой крови самые страшные грехи, когда-либо совершенные человеком; спасти свою душу там, где когда-то ни для кого не было спасения...

Монастырская исповедалиня представляла собой просторную светлую комнату, перегороденную пополам решеткой из того же свежеструганного соснового дерева, из которого были изготовлены поддельные нары, и, как все в этом лагере, поражала своей стерильной чистотой и прибранностью.

Едва мы вошли, как по другую сторону решетки появились две женщины: пожилая настоятельница в очках и в белом чепце, с круглыми румяными щеками, чем-то похожая на сестру-хозяйку какой-нибудь больницы или санатория, и молодая монахиня с изможденным, страдальческим лицом мученицы.

Макс преклонил колени и в специально устроенное окошечко протянул настоятельнице ту же самую книгу — «Воля к добру», которую он вручил Шахту.

Подарок был принят, после чего настоятельница выразила готовность ответить на наши вопросы.

Я сказал, что меня давно занимает проблема взаимоотношений между национализмом и религией. Настоятельница, постепенно переставая улыбаться, вопросительно взглянула на молодую монахиню и, сложив свои пухлые руки как для молитвы, серьезно произнесла:

— Вопрос, который вы задаете, чрезвычайно обширен: едва ли мы сможем разрешить его за несколько минут. Взаимоотношения между религией и национал-социализмом гораздо сложнее, чем это иногда кажется. Гитлер, конечно, преследовал церковь, многие священнослужители погибли здесь, в Дахау, это известно, однако нельзя утверждать, что Гитлер был атеистом в вульгарном понимании этого слова, так же как нельзя говорить, что нацизм был порождением дьявола: его создали люди... У Гитлера был свой «бог», своя высшая инстанция — государство. Обожествление государственной власти он возвел в принцип, в то время как единственной высшей инстанцией должен быть бог, Христос — все то, что мы в обиходе именуем совестью...

Итак, я сталкивался с еще одной новой версией, однако чем-то похожей на ту, которую выдвигал мой недавний собеседник — генерал, утверждавший, что Гитлер выше закона ставил «интересы народа» — слова, неожиданно вспомнившиеся мне в зале «Бюргербройкеллер»...

Я спросил, можно ли называть «государственной властью» господство преступной, разнузданной клики?

— Дело не в названиях, — сказала настоятельница, взглядом обращаясь за поддержкой к монахине, — а в осознании той истины, что нет ничего выше господства бога, претворенного в любви к ближнему...

Монахиня молча кивнула...

— Собственно, для того, чтобы доказать это, мы и воздвигли наш монастырь в самом центре страданий, причиненных человеку слепой государственной машиной. Но сделали мы это не ради мести, а во имя любви, то есть во имя бога... — Она вновь улыбнулась ласковой, утешающей улыбкой. — Ведь, как таковой, Дахау более не существует, он принадлежит прошлому, которое уже не исправишь, но во скольких черствых сердцах еще сохранился Дахау! Существует единственное лекарство — любовь...

— И этой любовью вы надеетесь исцелить тех, кто создал Дахау?

Настоятельница задумалась.

— Может быть, даже их. Важно высечь хотя бы первую искру раскаяния, и дело пойдет...

Мне представились лица моих персонажей. Их скорее всего вполне устроило бы такое решение: не судить, не наказывать их, а «исцелять любовью». Я спросил, а как отнеслись бы к этому жертвы?

— У нас иные задачи, чем у мирского суда, — несколько уклончиво ответила молодая монахиня и поднятой кверху ладонью словно заслонилась от дальнейших вопросов. — Не возмездие наша миссия, а раскаяние. Вполне вероятно, что еще не все созрели для раскаяния, не все еще готовы искупить свой грех... Что ж, мы попытаемся это сделать за них, так же как спаситель кровью своей искупил грехи всего человечества, наши грехи...

Макс просветленно слушал.

— Меньше всего мы хотим, чтобы Дахау воспринимался как музей или памятник — это было бы величайшим кощунством. Люди должны уходить отсюда очищенными, примиренными, унося в своем сердце пусть скорбь, но не злобу...

Разговор приближался к концу и уже, казалось, не о чем было больше спрашивать — Макс кивнул головой, и обе женщины понимающе закивали в ответ, — как я вдруг сказал, что имел возможность встретиться здесь, в Западной Германии, с Ширахом, Шахтом и Шпеером...

— Верите ли вы в раскаяние этих людей? Вообще способны ли такие люди раскаяться, хотя тот же Шпеер утверждает, что многое передумал?..

— Гм... — Настоятельница чуть замешкалась, не очень довольная тем, что наша беседа принимает столь конкретный характер и касается конкретных личностей. — Все может быть... Я не знаю, что думает сейчас господин Шпеер, — она произнесла это имя подчеркнуто холодно, недружелюбно, — но если он по-прежнему не хочет найти истину в Христе, а лишь размышляет о тех или иных формах усовершенствования государства, то его раскаяние нельзя признать полным...

Мы вышли на посыпанную гравием площадь. Все-таки Дахау был музеем, и подъезжали все новые и новые экскурсанты, толпились у входов в павильоны, фотографировались и фотографировали, покупали открытки и значки...

В этой толпе я заметил высокого плотного человека в песочного цвета добротном костюме, с загорелым лицом, с большой коричневой лысиной. Он выделялся не только ростом, но и необыкновенной активностью, возбужденностью: метался по лагерю со своей кинокамерой, громче всех спрашивал, сам что-то чрезвычайно оживленно и громко объяснял, сверкая золотыми коронками, «похозяйски» расталкивая экскурсантов, перебежал из одного павильона в другой, все время чего-то ища быстрыми, живыми глазами... Он недоверчиво потрогал рукой бутафорские нары, едва взглянул на столовую и, подойдя к служителю в зеленой фуражке, спросил, сохранился ли лагерный бункер.

По всей видимости, ему чего-то здесь явно недоставало, и, шагая по аккуратным дорожкам мимо монастыря кармелиток, мимо протестантской часовни и еврейской молельни, он не обращал на эти «новостройки» никакого внимания: все это было ненастоящее, чужое, не его...

Но вот среди зелени он увидел невысокое здание с кирпичной трубой, увидел маленький — с пятачок — плац и в необычайном волнении, почти радостно закричал:

— Смотрите, смотрите! Да это же наш крематорий! Это же наш апельплац!.. Боже мой! Да здесь же стояла виселица!.. О господи, господи!..

По его щекам текли слезы, но лицо светилось той единственной, неповторимой радостью, которую испытываешь, приезжая на встречи с молодостью, на родные места, где прошли твои лучшие годы.

Да, это было именно так... Этот человек, который двадцать пять лет назад был узником Дахау, а теперь приехал из далекой южной страны, где у него семья и свое «дело», переживал сейчас светлые и святые минуты. Здесь, стоя перед крематорием, он вновь ощутил себя молодым, сильным духом, в кругу незабываемых друзей и товарищей, исполненным отчаянной решимости выжить и победить, достигшим высшей нравственной точки и приобщенным к тем высшим понятиям, по сравнению с которыми вся его дальнейшая жизнь была незначительной, мелкой, «второстепенной».

Однако не слишком ли дорогой ценой оплатил он святые минуты воспоминаний?

...Лагерный бункер остался на той части территории, которая еще в 1945 году отошла американцам и принадлежит им до сих пор: половину лагеря занимают солдаты американского гарнизона, сетчатым забором огороженные от того, что сейчас именуют «Дахау».

На небольшой спортивной площадке несколько солдат играли в бейсбол, и это тоже происходило «на святой крови», в двух шагах от крематория и монастыря кармелиток.

Но что значат «материальные следы» прошлого?..

* * *

В Нюрнберге я наконец осуществил свое давнее намерение — «проник» в здание Международного Трибунала, которое в наши дни, так же как Дахау, поделили между собой американцы и немцы: в левой половине от входа размещен американский военный суд, в правой — земельный, немецкий, может быть, даже несколько немецких судов, я так и не понял... Вообще же здание казалось совершенно безлюдным, пустым, гулким от пустоты и безлюдья. Никто не сновал по коридорам, не было видно ни публики, ни судей, ни служащих. Несмотря на то, что день считался присутственным, большинство дверей было заперто и лишь в одной из комнат шло тихое разбирательство какого-то дела, очевидно гражданского. Там сидели две дамы, рядом их адвокаты в мантиях, и обе дамы были крайне взволнованны, озабочены тем, в пользу кого — истицы или ответчицы — окончится сегодня их «нюрнбергский процесс»...

Но еще до всего этого я увидел фасад исторического здания, несколько американских машин у подъезда, американский флаг на флагштоке, увидел знаменитую дверь, через которую когда-то входили участники и наблюдатели процесса, и я заставил себя вообразить, как в эту самую дверь, приложив руку к котелку, входит председатель Международного Военного Трибунала достопочтенный лорд судья Джеффри Лоренс и советский солдат-часовой ружьем отдает ему честь...

Привратник, сидевший в вестибюле в стеклянной будке, оторвавшись от газеты, взглянул на меня поверх очков и, наверно, так бы ничего и не спросил, если бы я сам не обратился к нему с вопросом, нельзя ли осмотреть тот зал, в котором...

Привратник вылез из будки и спросил, откуда я приехал, не иностранец ли я, а когда услышал, что я из Москвы, то лицо его расплылось в добродушной улыбке, из чего я понял, что сейчас он начнет рассказывать, как бывал в России — на фронте или в плену. Так оно и случилось, и он весело, однако с известным значением, произнес: «Смоленск!.. Можайск!.. Вязьма!» — и, работая локтями, стоя на месте, изобразил путника, с трудом идущего по бесконечно длинной дороге... Затем он осведомился, долго ли я собираюсь пробыть в Нюрнберге и успел ли я уже осмотреть домик Дюрера и старинную крепость — «бург»?..

Я вспомнил, как однажды, приехав в Нюрнберг, посетил эту крепость с ее мрачными темницами, где толпы туристов с неподдельным ужасом заглядывали в бездонный колодец, куда семь, восемь или девять столетий назад сажали преступников. Видел я и домик Дюрера, и домик Ганса Сакса — все, что составляет официальную достопримечательность и гордость города, который вот уже двадцать пять лет безуспешно пытается стереть со своего лица грязное пятно «партейтаггеленде» — громадного гитлеровского стадиона, выстроенного Шпеером столь прочно, что даже динамит не в силах смести эти бетонные, на тысячулетия рассчитанные трибуны. Другое сооружение Шпеера — гигантский амфитеатр «конгресс-халле», так и оставшийся незаконченным, — используется сейчас для хозяйственных нужд: в помещения, предназначенные для Гитлера, Геринга и Розенберга, свободно въезжают многотонные грузовики и фургоны.

Здесь властям, видимо, не очень-то хочется, чтобы гости и жители Нюрнберга связывали имя города с историей фашизма, справедливо поняв, что древний колодец-тюрьма в «бурге» — место куда менее страшное, чем «партейтаггеленде» и дворец нацистских конгрессов.

Разумеется, никакого музея нет и в здании бывшего Трибунала: ничто не должно напоминать приходящим сюда людям о последней странице минувшей войны и о приговоре, который был оглашен в том самом зале, куда я попал исключительно благодаря любезности привратника, «воспринявшего» меня чуть ли не как своего земляка...

Итак, я наконец своими глазами увидел этот зал, рисовавшийся моему воображению чрезвычайно большим, беспредельным, способным вместить в себя все человечество, суд народов. В действительности же, как и следовало

ожидать, зал был не так уж велик и при этом во время недавней перестройки значительно уменьшен в размерах. Но больше всего меня поразила скамья подсудимых — вернее, два ряда узких деревянных скамеек из мореного дуба, огороженных невысоким дубовым барьером, — закуток настолько крохотный, что казалось невероятным, что в этом закутке на этих двух узких скамеечках могли усесться двадцать человек.

И тем не менее так оно и было, и этих двух скамеечек хватило на то, чтобы усадить на них — без особой даже тесноты — почти все руководство гитлеровской Германии, всех ее главных правителей и министров, которым когда-то была тесной даже их собственная страна и которые столько говорили о «жизненном пространстве»...

Рядом со скамьей подсудимых, на отдельном столике, стоял флакон нашатырного спирта и пузырек валерьянки, и я узнал, что сейчас в этом зале судят только особо опасных преступников, только убийц, которым обычно выносят крайне суровые приговоры, так что их приходится приводить в чувство с помощью нашатыря и валерьяновых капель, хотя в тот момент, когда они совершали свои преступления и убивали людей, ни в валерьянке, ни в нашатыре они, конечно, потребности не ощущали...

Но чем отличались от этих «обыкновенных» убийц Геринг и Риббентроп, Штрейхер и Розенберг, Кальтенбруннер и Кейтель, которые в час расплаты тоже хватались за сердце, ловили ртом воздух и жалели и оплакивали только себя, свою личную трагедию?

Пытаясь выторговать себе жизнь, они искали любую лазейку, любое смягчающее обстоятельство или логическое обоснование своим поступкам, в то время как, убивая целые народы и уничтожая целые страны, они не принимали во внимание никаких обстоятельств, кроме своих низменных интересов, которые они путем длительного обмана и самообмана возвели в ранг «интересов немецкого народа».

И они говорили:

«...Если сейчас отдельных лиц, в первую очередь нас, руководителей, привлекают к ответственности и хотят осудить, — пусть будет так, однако нельзя карать немецкий народ... Немецкий народ не виновен...» (Геринг).

«Мне было дано право в течение долгих лет моей жизни действовать в условиях, которые немецкий народ породил на основе своей многовековой истории... Я счастлив сознанием, что выполнил свой долг...» (Гесс).

«...В час испытаний я не могу отречься от идеи всей моей жизни, от идеала социально умиротворенной Германии...» (Розенберг).

«Господа судьи, не произносите такого приговора, который заклеил бы весь немецкий народ как бесчестный народ...» (Штрейхер).

«Моя собственная судьба — это дело второстепенное, но молодежь — надежда всего нашего народа...» (Ширах).

«...Да защитит бог мой любимый народ и дело его тружеников, ради которых я жил! Да ниспошлет он подлинный мир человечеству!» (Заукель).

«...Я верю и признаю, что долг по отношению к своему народу и своей родине стоит превыше всего. Я считал своей честью и своим высшим законом выполнять этот долг...» (Иодль).

«...Если... ваш приговор объявит меня виновным, я сумею его перенести и принять на себя его тяжесть как последнюю жертву, которую я приношу моему народу, служение которому составляло весь смысл и содержание всей моей жизни...» (Нейрат)¹.

Издавна приученные к тому, что все их злодеяния, все их преступные авантюры и махинации, вся их свинская жизнь мошеннически освящены именем поработанного ими немецкого народа, они и в последнюю минуту, как щитом, прикрывались Германией и немецким народом, надеясь в этой — последней — лжи

¹ См. «Нюрнбергский процесс», т. VII. Последние слова подсудимых.

найти для себя если не спасение, то хоть бы утешение и успокаивающее средство. И это был их «нашатырь», и их «валерьянка»...

Привратник, поигрывая ключом, терпеливо ждал, пока я осмыслю свои переживания.

Потом он провел меня по судебным коридорам, в окошечко показал здание внутренней тюрьмы и небольшую одноэтажную постройку, в которой в ночь на 16 октября 1946 года была совершена казнь, и, наконец, взяв меня под руку, повел к выходу:

— Сейчас я вам кое-что покажу. Видите?!

На противоположной стороне улицы, где виднелось довольно обшарпанное здание гостиницы «Юстицпаласт», не спеша проехал желтый старомодный трамвай номер 21.

— Вот здесь, — торжественно сказал привратник, — где сейчас трамвайная линия, в 1835 году проложили первую в Германии железную дорогу Нюрнберг—Фюрт... Вы находитесь на историческом месте!..

В этот день я убедился в безусловной пользе музеев.

XVI

Макс решил отдохнуть от политики, устроил пикник — «Ausflug ins Grüne»: повез меня со своей женой и детьми в окрестности Мюнхена. Обедали в лесном ресторане «Форстхауз Мюльталь»... Шубертовский ручей, форели, лужайки в солнечных бликах.

Потом прошлись по берегу Штарнбергского озера, мимо опустевших скамеек, заколоченных ларьков: скоро зима.

— Зимой непременно надо ездить в Альпы, в Швейцарию, — сказала жена Макса. — Или вы предпочитаете Сибирь? Там, наверно, очень красиво, но холодно... Я бы не выдержала... Когда моя кузина была в Москве, ее угощали сибирскими пельменями и катали на тройках... Вы любите кататься на тройках?

Возвращались через лес, поставили машину возле сосны, к которой была прибита синяя с белой каемочкой металлическая табличка:

Здесь разрешается ставить автомобили только на ответственность владельца и только при условии, что в случае любого повреждения к лесничеству не будет предъявлено ни малейших претензий.

Макс рассмеялся.

— Это увидишь только в Германии: такой лес и такую табличку!.. — сказал он.

— Нехорошо потешаться над собственной страной, — упрекнула жена.

...К первому декабря она приготовила «Advents-Kranz» — венок с четырьмя красными свечками, гномами, ангелочками, перевитый красными лентами. Этот венок ставится на красную подставку с башенкой-шпилем, к которому прикреплена рождественская звезда... «Адвентскранц» — как бы предшественник елки, вестник приближающегося рождества. Четыре свечи, четыре недели до сочельника: каждое воскресенье зажигают по свече, и она горит всю неделю.

Этот венок жена Макса выбирала с большой тщательностью, объездила все цветочные магазины, пока не нашла подходящий, и убирала его весь вечер, подетски радуясь этому занятию...

— Ваша жена сейчас тоже, наверно, украшает свой «адвентскранц»... И дети ей помогают... Как? У вас нет рождества?! А что же есть? Новый год?..

Ах, да, вы же неверующий... А ваша жена?.. В России мы видели очень много красивых икон. У вас есть икона?..

Нет, она была неплохая женщина, жена Макса...

Она вся была поглощена хозяйством, воспитанием детей и даже в Мюнхен ездила очень редко, разве что иногда с Максом в оперу. На ней держался весь дом, в котором непременно всегда кто-то гостил: то родственники, то знакомые, порой весьма далекие, но за которыми нужно было ухаживать, и принимать как родных, и возиться с ними потому, что у ее мужа было такое правило: делать всем людям добро...

И вот в этом доме, роаясь в библиотеке Макса, я наткнулся на обклеенный черным ледерином альбом «Kriegsgruppen», то есть «Воспоминания о фронте», куда Макс, будучи солдатом, вклеивал фотографии. Это были обычные фотокарточки, которые имеются в каждой немецкой семье и которые пачками отбирались у немецких военнопленных. Макс на этих фотографиях выглядел типичным немецким солдатом — приличный немецкий юноша с гладким и ровным пробором, юноша ярко выраженного спортивного типа и, видимо, примерный сын и очень хороший товарищ. На одном снимке он изображен в кругу друзей, школьных приятелей, перед уходом в армию, на другом — во время побывки, вместе с дорогими своими родителями, братом и сестрой... Там, в альбоме, запечатлена вся его молодость: вот он в мундирчике, в брюках навывпуск, рука на ремне, лицо еще почти детское; вот он в строю, на плацу перед казармой, дата — 11.X.1941; вот — в группе солдат, в каске; и еще группа солдат, и он — в шортах, без рубахи, очень загорелый, белозубый, с напомаженным, четким пробором... У подозрительной грубы... На танке... И подписи: «В Баварских Альпах», «В Марселе», «В Венгрии», «Дома»...

И вдруг во мне шевельнулась острая неприязнь к человеку, изображенному на этих снимках, который не имел ничего общего с тем, кто вот-вот войдет сейчас в комнату, такой непохожий на свои давние фотографии, войдет сутулый, с едва намеченным пробором в поредевшей рыжей шевелюре, с доброй улыбкой и, застав меня за рассматриванием его альбома, только рукой махнет, усмехнется и скажет: «Ах, какая все это была глупость!..»

И все же это был он, а не кто-то другой, и с этим ничего нельзя было поделать, разве что только снова сунуть альбом на прежнее место, за книги, в глубину шкафа...

Но я стал листать альбом дальше и в самом конце, в «эпilogue», на последних страницах, увидел фотографии убитых друзей Макса, извещения об их гибели, вырезки из газет в траурных рамках. В Германии во время войны печатались такого рода объявления: фотография и под ней текст, например, вот такой:

«Памяти нашего любимого младшего сына и брата Германа Холькмахера, пулеметчика пехотного полка, павшего геройской смертью 27 февраля 1943 года в возрасте 20½ лет в Гонтовая-Липка во время тяжелых оборонительных боев южнее Ладожского озера».

И чуть ниже:

«На краткий срок Ты его дал нам, Господь, и он был нашим счастьем. Ты призвал его к Себе, и мы возвращаем его Тебе без ропота, но сердца наши полны скорби. Св. Иероним.

Да ниспошлет ему Господь вечную память!»

Или:

«Ушел от нас, остался с нами тот, кто был нашей отрадой,
студ. инж.

Вернер Видермайер,

лейтенант, командир роты гренадерского полка, род. 17 января 1923 г., пал 26 июня 1944 г. на Востоке.

Мальчик наш, любимый, милый.
Ты, ушедший навсегда.

Над глухой твоей могилой
 В небе светится звезда.
 Все с тобой мы потеряли:
 Счастье, жизнь, любовь и свет.
 И, застывшие в печали,
 Смотрим мы на твой портрет.
 Но в своей безмерной боли
 Покоряемся судьбе:
 То была Господня воля,
 Он призвал тебя к Себе».

И, глядя на эти фотографии с их скорбными надписями, прикасаясь к чужому горю, я невольно испытывал, пусть мимолетное, сочувствие к этим мальчикам в немецких мундирах... И тут я вспомнил точно такой же альбом, где на черном ледериновом переплете — жестяной белый орел со свастикой и готическими серебряными буквами написано: «Kriegserinnerungen», альбом, который тоже открывался портретом приличного немецкого юноши в аккуратном немецком мундирчике и в пилотке, с детски-чистым лицом и веселым взглядом. А затем один за другим шли снимки: он — около танка, он — у подзорной трубы, он — дома, на побывке, с отцом и с матерью, снова на фронте, и... он — у виселицы, на которой раскачиваются тела наших повешенных, и наконец, наконец... совершенно раздетые догола женщины перед расстрелом, как перед купанием, на крутом берегу — на краю рва. Фотографируя, он заставлял их поворачиваться спиной, наклоняться до пояса, потом вновь смотреть в объектив, стоять в обнимку и позорно: одиннадцать фотографий баварского обер-ефрейтора из города Фюрта...

Но как я смел сравнивать?! Что общего было между тем обер-ефрейтором и Максом?! Ничего! Только форму они носили одинаковую. Только форму.

* * *

—...Я расскажу вам то, что еще никому не рассказывал, даже самым близким. О том, как я спасся... В тридцать девятом году, когда началась война, я учился на первом курсе. Меня взяли в армию, но, слава богу, мои родители были влиятельными людьми, с большими связями; кто только не покупал у нас книги! И меня оставили служить в Мюнхене, я был в ПВО, радистом... Это было величайшее счастье потому, что я ни в кого не стрелял и в меня не стреляли, наша часть была расположена в пригороде, в получасе езды от Мюнхена, и раз в неделю меня отпускали домой... Уже шла война на Востоке, уже в Сталинграде все было кончено, уже и на Курской дуге шли бои, а я все сидел под Мюнхеном, радрадешенек, что злая судьба меня миновала. И вот вдруг нашу часть снимают, грузят в эшелоны. Куда? Но бог снова оказался милостив ко мне: выяснилось, что едем мы не на Восток, а на Запад, во Францию, и так я очутился в Марселе, где никаких боевых действий тогда не велось, и мне ни разу не приходилось стрелять в человека...

Но вот наступил сорок четвертый год, и нас перебрасывают в Венгрию. Могу вам поклясться: судьба вновь меня пощадила, оставив в должности радиста, хотя могла сделать пулеметчиком, артиллеристом или стрелком. Вы скажете, что в этом нет существенной разницы? Может быть. Но мне легче от сознания того, что я не стрелял... Я впал бы в отчаяние, если бы мне пришлось, пусть даже в бою, обогреть руки человеческой кровью...

В сочельник сорок четвертого года я находился в Будапеште. В этот день, в пять часов вечера, русские окружили город. Наши дивизии были почти разгромлены, но продолжали еще сопротивляться. В этот трагический сочельник я осуществил первую в моей жизни коммерческую операцию. Еще за несколько дней до рождества все подъездные пути к городу были отрезаны, так что ни о каких елках не могло быть и речи. Но что за рождество без елки?.. Даже в тех кошмарных условиях людям хотелось справить свой праздник, и жители искали хотя бы еловую веточку. И вот тут мне пришла в голову «блестящая» идея: запасшись пропуском, который мне выписал мой земляк-писарь, мы, двое-трое солдат, на

нашей радиоустановке направились в близлежащий лес, нагрузили машину елками и прикатили в самый центр Будапешта... Началась торговля. Покупатели прямо-таки вырывали елки из рук, совали нам любые деньги. За сорок минут я сделался настоящим «капиталистом»...

Двенадцатого февраля поступил приказ вырваться из окружения. Это была поистине невыполнимая задача; потом уже, после войны, я где-то прочел, что лишь восемьсот шестьдесят четыре немца прорвались сквозь кольцо русских войск. Не многие сдавались в плен: боялись расправы; некоторые офицеры эссовских дивизий кончали самоубийством на глазах у солдат...

Когда русские вступили в город, мы с товарищем сидели в угольном подвале. У нас были деньги, штатская одежда, которую мы успели заранее заготовить, и французские документы, купленные нами при посредничестве одной старой дамы... Так вечером 13 февраля 1945 года на некоей будапештской улице оказались вдруг два француза: Марсель Жиро и Франсуа Дюваль. Марселем Жиро был я, Франсуа Дювалем — мой друг, тот самый шофер Зепп, который возил нас к Шпееру и Шираху...

Да, так мы стали французами и любому русскому патрулю рассказывали одну и ту же придуманную мной сказку: в сороковом году, в Вогезах, нас взяли в немецкий плен и привезли в знаменитый «Шталаг-7» близ Вены. Оттуда нам удалось бежать в Будапешт, где мы примкнули к венгерским подпольщикам, а теперь хотим возвратиться домой: Дюваль — в Париж, я — в Тулузу.

Русские были в восторге от этой истории, мы не вызывали у них ни малейшего подозрения, хотя я объяснялся с ними черт знает на каком языке: мой французский не выходил за рамки гимназического учебника, Зепп же вообще не знал ни одного французского слова и изображал из себя немного, контуженного. Спасало нас только то, что никто из встречавшихся нам русских сам не знал толком французского языка. Поначалу все шло гладко. Русские нас кормили, поили, принимали как своих боевых союзников и оказывали нам всевозможные знаки внимания.

Наконец мы покинули Буду с тем, чтобы, переправившись через Дунай, следовать дальше, на восток, а оттуда — на юг. Мы намеревались попасть через Югославию в Грецию, отсидеться там некоторое время, а затем потихоньку пробраться домой. На худой конец мы были готовы сдать в плен англичанам или американцам, только не русским, опасаясь если не расстрела, то уральских рудников или Сибири.

В те дни я впервые задумался над вопросом: что есть человек? С точки зрения советских законов мы были преступниками, беглыми немцами, которые с фальшивыми документами оказались в зоне военных действий; с точки зрения немецких законов — дезертирами, подлежащими немедленной смертной казни. Между тем мы не причинили никому никакого вреда, может быть, принесли даже пользу, отказавшись от дальнейшей борьбы на стороне Гитлера. Наши руки не были запятнаны кровью, а если рассматривать нас с точки зрения биологии, то мы ничем не отличались ни от французов, за которых мы себя выдавали, ни от русских, от которых мы старались теперь улизнуть, ни от венгров, ни от англичан, ни от поляков — ни от кого...

Что значит немец? — рассуждал я про себя. Я прежде всего человек, и это величайшая глупость и несправедливость, что земной шар разделен и разгорожен на отдельные страны — квартиры. Все мы — дети божьи, все мы — люди, и вся земля должна стать нашим общим домом... И все же я был немцем, а никем иным, и это мой народ вышел однажды из своей квартиры, чтобы разграбить и захватить квартиры соседей, и я несу за это свою долю ответственности... Об этом было легко рассуждать, но как не хотелось нести «свою долю ответственности», то есть прийти в советскую комендатуру и признаться во всем... В чем, собственно? В том, что я хочу жить, что хочу домой, к своим родителям, к прерванному войной учению в университете?..

Однажды нас привели в русский штаб. Советский майор свободно говорил по-немецки и по-венгерски, но французским языком владел хуже, чем я, и это опять нас выручило. После недолгого допроса нам устроили дружеский ужин, целовались с нами, провозглашали тосты за прекрасную Францию, желали счастливого возвращения домой. Майор выписал нам пропуска на переправу и даже предложил нам взять провожатых во избежание каких-либо недоразумений. Почему-то мы отказались... Мы вышли на улицу и тут же наткнулись на венгерский полицейский патруль. Офицер-венгр просмотрел наши документы и задал нам несколько вопросов по-французски. Боже мой! Он превосходно изъяснялся на французском языке, он двадцать лет прожил в Париже и теперь — о господи! — был рад поговорить с нами на языке своей юности!.. Зепп что-то промывчал, я отделался пустой фразой, произнесенной с ужасающим немецким акцентом, и... вы, очевидно, догадываетесь, что было дальше.

Нас привели в тот же самый штаб, где нас только что принимали с таким почетом. Мы поняли, что погибли. Отпираться было бессмысленно. Вскоре появился уже знакомый нам русский майор. Узнав, в чем дело, он пришел в неопишемую ярость. Может быть, он тут же бы расстрелял нас, но кто-то высказал мысль, что мы, наверно, крупные шпионы и нас следует допросить в более высоком штабе.

Двадцать шестого февраля 1945 года нас, арестованных, под усиленной охраной посадили на двуколку и привезли в город Тисафёльдвар, заперли в камеру и один раз по отдельности допросили... у нас отняли гражданскую одежду, выдали взамен какие-то лохмотья и через день перевели в главную тюрьму. Там в камере вместе со мной находились немецкие эсэсовцы, румынские дезертиры, какой-то венгерский еврей, сотрудничавший с гестапо, и венгерский солдат лет восемнадцати, кажется, бежавший из плена и выдававший себя за югославского партизана... Однажды ночью тюрьму бомбили немецкие самолеты, и мы решили, что сейчас нас всех расстреляют...

Утром меня вызвали на последний допрос. Мое положение было отчаянным. Мало того, что я был задержан с фальшивыми документами, у меня была обнаружена еще и большая сумма денег — выручка от продажи елок...

Советский офицер-следователь был ненамного старше меня. Он свободно говорил по-немецки, и когда я спросил, откуда он так хорошо знает язык моей родины, он ответил, что учился в Москве, посвятил себя творчеству Гёльдерлина, но не успел дописать свою диссертацию потому, что мы — немцы — вынудили его стать солдатом и пойти на войну... Это было поразительно и символично: мы — немцы — помешали русскому человеку заниматься нашим же Гёльдерлином и заставили «заниматься» Гитлером!

Я сказал, что и я не собирался воевать и тоже предпочел бы учиться, что я тоже студент и не лучше ли нам пожать друг другу руки, чем друг в друга стрелять? Он спросил: «Зачем вы нас обманули?» Я вновь изложил ему свою историю, ничего не утаивая, хотя понимал, что у него нет никаких оснований мне верить. Он поверил...

И в ту минуту, когда мне было объявлено, что я под своим подлинным именем (так же как мой друг Зепп) буду направлен в лагерь для военнопленных, я дал себе клятву, что никогда не допущу в свое сердце злобу или недоверие к человеку и что всю свою жизнь посвящу тому, чтобы мы — немцы — жили с русскими в мире. А потом был лагерь, три года в плену под Свердловском, тяжелая болезнь, возвращение...

Знаете, я никогда не рассказываю об этой истории потому, что вообще не люблю, когда люди то и дело вспоминают войну, что с ними было, в какие они попадали переплеты, — сейчас на такие воспоминания очень много охотников. А кроме того, еще могут подумать, что я ищу дружбы с русскими не из душевной потребности, а оттого, что хочу по крохам, по частям вернуть какой-то до сих пор не оплаченный нравственный долг. И вообще все это выглядит, наверно, чересчур сентиментально...

Было уже поздно, надо было идти спать, на следующее утро я улетал в Москву, а мне еще предстояло записать впечатления дня и историю Макса.

Он пожелал мне спокойной ночи, ушел, потом вернулся и, как всегда, положив мне руку на плечо, тихо сказал:

— Все будет хорошо... Все будет хорошо... Как бы ни развивались события, как бы ни сложилась дальнейшая судьба, мы с вами должны быть счастливы тем, что у нас чистая совесть. Так или иначе мы знаем, что умрем и что уже прожили большую часть нашей жизни. Но это не должно повергать нас в уныние. Я утешаюсь тем, что, живя в самых нечеловеческих условиях, в годы, когда лилась кровь, совершались неслыханные злодеяния, никого не убил, ни на кого не нанес, не причинил никому зла. Сознание этого — для меня самое большое утешение, и поэтому я совершенно спокоен. Моя вера зиждется на том, что люди самым ходом обстоятельств должны будут обратиться к рассудку...

Я хотел было возразить Макс, что одного этого сознания еще недостаточно для счастья, и затеять с ним спор о существовании гуманизма. Но Макс, как бы предвидя мои возражения, уже заключал:

— Да, каждый день мы должны быть готовыми к смерти, но при этом любить жизнь и выполнять свой долг так, как если бы у нас впереди была вечность...

XVII

Незадолго до моей поездки в Мюнхен поэт Ганс Магнус Энциенсбергер прислал мне сборник своей публицистики. На страницах 12—13 этой запальчивой книги я прочел: «Из нашего национального «самосознания» вырастают порой диковинные цветы, но всего поразительней то отношение к Советскому Союзу, которое мы сумели выработать. Само собой понятно, Советский Союз — наш заклятый враг, тут и думать нечего. Но дело не только в этом: в Западной Германии широко распространено убеждение, будто Советский Союз причиняет нам величайшую несправедливость. Советам нельзя доверять: они жестоки и коварны, бояться их — наша гражданская обязанность. При этом они, разумеется, нам и в подметки не годятся: во всем, что касается культуры, прежде всего.

Передо мной лежит небольшая карта. Она называется: «Людские потери во второй мировой войне». На карте изображены кресты. Каждый крест равен одному миллиону убитых. Я вижу пять крестов на Германии, пять крестов на Польше и один — на Югославии. Двадцать таких крестов я нахожу возле слов: «Советский Союз».

В небольшом музее в Ленинграде я видел кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной паек для жителей осажденного немцами города. Он был меньше того, что получали узники Бухенвальда.

Не думаю, что кто-либо в Западной Германии пытается «преодолеть» это прошлое. Тут едва ли годятся ставшие привычными ритуалы, ибо преодоление этого прошлого требует не молитвенных упражнений, а конкретных политических акций...»

Свою книгу Энциенсбергер снабдил дарственной надписью: «...в место либрариума».

«Либриум» — распространенное лекарство против отрицательных эмоций, для успокоения нервной системы...

Я запомнил еще один вечер в Мюнхене, разговор в узком интеллигентном кругу. Собрался, как у нас принято выражаться, «профессорско-преподавательский состав» и одна дама, пианистка, — люди, настроенные подчеркнута европейски. Это не то чтобы мода, но у многих сейчас появилось ощущение «европеизма», инстинктивное противодействие надоевшему «американизму», которым еще недавно так увлекались. Считают себя скорее скорее европейцами, чем немцами, что в какой-то мере объяснимо: безвизовый проезд в западноевропейские страны, ши-

рокие и повседневные межъевропейские контакты («Я сегодня слетаю в Брюссель, завтра вернусь») и т. д.

И тем не менее все это были, конечно, немцы, и в ходе нашего «полусветского», ни к чему не обязывающего разговора пианистка неожиданно спросила, что же я напишу о своих немецких впечатлениях, когда приеду домой? Позитивная ли у меня сложилась картина или негативная?.. И все, кто присутствовал в комнате, вдруг умолкли и уставились на меня, словно от того, что я о них напишу, что-то зависит, будто им и в самом деле так важно знать мое мнение. Но, очевидно, им было действительно важно, что думает о немцах (в данном случае о западных) человек из Советского Союза, из России, способен ли он оценить их гостеприимство, их радушие и добрую волю к человеческому общению. И они смотрели на меня, ожидая моей оценки, хотя слово «оценка» имеет, как известно, два значения: мнение и цена, стоимость...

Я тогда ответил несколько уклончиво, сказал, что постараюсь написать только то, что видел, ничего не прибавлю...

И все закивали головами, и снова заговорили кто о чем — о выставке Макса Бекмана, о рациональном питании, о президенте республики и об «этих кретинах из НДП». Возник даже небольшой спор, стоит ли запрещать партию Таддена или нет, и кто-то выразил мнение, что запреты ничего не дают, просто нужно воспитывать людей в таком духе, чтобы неонацисты провалились «сами по себе», другие же, наоборот, высказались за то, чтобы правительство «вмешалось и запретило».

Нет, все они, безусловно, были против нацизма, против «диктатуры», они от одной мысли содрогались, что это может когда-нибудь вновь повториться, и тогда, тогда...

— Вы понимаете, нет ничего хуже тоталитаризма, потому что он абсолютно лишает человека выбора. Сейчас я могу делать что угодно, соглашаться с правительственной политикой или протестовать, жить здесь или уехать... А при тирании?! Ах, конечно, я не стану убийцей или доносчиком, я и тогда попробую выкрутиться, но пассивным пособником зла я так или иначе сделаюсь, потому что превращусь в рыбку, которая не может выпрыгнуть из аквариума. Вот и все...

Это сказал профессор.

— Нет, вы не правы, — возразил ему другой профессор, — потому что в любых условиях человек должен оставаться человеком. Вспомните «Белую розу»!..

— Господа, не притворяйтесь, — сказала пианистка, — не знаю, как вы, но я честно признаюсь, что я бы не выдержала, выдала бы всех, самых близких, наговорила бы бог знает что, если бы меня стали бить... Я просто не переношу боли: даже когда мне дергают зуб, я кричу... А что бы я стала делать, если бы меня привели однажды в гестапо?..

И они продолжали говорить о фашизме как о величайшем неудобстве для честных людей потому, что подлецу все равно, при какой системе жить, подлец на то и подлец, чтобы совершать подлости, а вот честному человеку нужно создать подходящие условия, чтобы проявить свою честность, не рискуя при этом своей головой.

— Вы говорите «народ», — сказала пианистка. — Но что может сделать народ? Он темен, сбит с толку, он верит тому, что пишут в газетах... Нет, нет, не думайте, что я смотрю на народ свысока. Народ хорош, добр, трудолюбив, все это правильно, ни один человек не хочет войны. Прекрасно, не так ли?.. Но вот народу начинают внушать: нам угрожает опасность, надо обороняться, мы должны быть едиными и т. д. и т. п. И люди постепенно начинают проникаться осознанием «национальных задач»... Однако предположим, что «критическое мышление» победило, народ все понял, он не верит официальным речам — все в порядке... И тут вдруг приходит призывная повестка. Что делать тогда?..

Словом, получалось, что ничто от них не зависит, вообще ни от кого ничто не зависит (значит, никому ничего не следует делать, как как это все равно бес-

полезно), и если я пишу о нацистских преступниках, то мне необходимо учесть, что, допустим, тот же Кристман не стал бы начальником эссовской зондеркоманды, если бы не было СС и такой должности — «начальник зондеркоманды». Свято место пусто не бывает, и если существует такое «место», как место палача или шефа гестапо и на самом веру место фюрера, то должен же его в конце концов кто-то занять. Но если существует место палача, то существует и место жертвы, следовательно, и место героя, которое было бы для них одним из самых неудобных и трудных мест.

— Не дай бог, — сказал, кажется, первый профессор, — дожить до того времени, когда нам опять потребуются герои. Человек должен жить естественной жизнью и умирать естественной смертью у себя в постели, а не на поле боя и не на гильотине... Давайте отстаивать наши духовные ценности, но не станем забывать, что мы сами представляем собой кое-какую ценность. Следовательно, постараемся сохранить прежде всего самих себя...

И, рассуждая таким образом, они понемногу успокоились, и разговор вернулся в благополучное русло — это был один из тех бесчисленных беспредметных разговоров, которые ведутся в интеллигентских салонах людьми, не знающими, что их ждет завтра, и совершенно неуверенными в том, на каком стуле им придется завтра сидеть: в профессорском кресле или в министерском, на жестком стуле просителя или на скамье подсудимых, на которую их безжалостно посадит грубая, слепая сила.

И, прощаясь со мной, они протянули мне «руку дружбы» и повторили то, что я уже слышал не раз:

— Мы не хотим, чтобы русские думали о нас плохо... Ведь столько за эти годы накопилось недоброго — и все из-за политики, из-за пропаганды. Люди ужасно дезинформированы...

* * *

Из Мюнхена мне позвонил Макс:

— Ну как дела, как здоровье?.. На днях встретил Фрица Вагнера, вы помните? А вчера звонил Шпеер, спрашивает, как ваша книга, наверно, беспочвонится, каким он у вас получился...

А я слушаю его голос, и мои мюнхенские встречи кажутся мне все более неправдоподобными, совсем уж потусторонними, хотя все, что я узнал и увидел, к сожалению, существовало в действительности.

В мемуарах Шпеера, изданных отдельной книгой¹, которую он прислал мне с многозначительной дарственной надписью («...с пожеланием, чтобы эта книга хоть в малой степени способствовала «преодолению» будущего»), я обнаружил одно поразившее меня место. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже Шпеер, оказывается, был удостоен главного приза — «Гран при» — за проект нюрнбергского «партайтагеленде», стадиона, о котором уже не раз упоминалось в этих заметках.

Ровно три года спустя в Париж вступили те, кто получил идеологическую, духовную и эмоциональную оснастку именно на том стадионе, за который золотая лауреатская медаль была вручена здесь, во Франции, ближайшему другу и личному архитектору Адольфа Гитлера. Сопровождая фюрера во время осмотра поверженной французской столицы, Шпеер услышал оброненное Гитлером замечание, что надо «стереть с лица земли этот город, который он сам же считал красивейшим городом Европы, полным бесценных памятников».

Странная нить протянулась от возведения нюрнбергского стадиона к падению Парижа, но так все оно и было: была политика умиротворения агрессора, были попытки западных демократий щегольнуть объективностью, сохранить беспристрастность, было и глубоко запятанное преклонение перед силой, была беспочвенная вера в возможность сосуществования с фашизмом, с Гитлером...

Была мировая безнравственность и мировая глупость.

¹ Albert Speer. Erinnerungen. Propyläen. Verlag. 1969.

Вот почему в эклектичном и претенциозном творении немецко-фашистской архитектуры многие просвещенные люди сознательно захотели увидеть выдающееся достижение современной цивилизации.

Но чем уступчивее и лояльнее по отношению к Гитлеру старался быть Запад, чем истовее он демонстрировал перед ним свою «добрую волю», тем большим презрением, как свидетельствует Шпеер, проникался Гитлер к этому «слабому, безвольному и изъеденному декадансом Западу», тем большей была его убежденность в том, что Англия и Франция «слишком слабы и ничтожны», чтобы оказать ему какое-либо противодействие, и тем неотвратимее была его решимость начать мировую войну.

В 1936 году из Парижа, из Лондона, из многих столиц и стран мира (кроме СССР) в гитлеровскую Германию съехались лучшие спортсмены, чтобы принять участие во всемирных олимпийских играх, и на той земле, где уже существовали Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен, вертелись на брусках гимнасты, состязались пловцы и боксеры, прыгали легкоатлеты, и прославленный американский спортсмен негр Джесси Оуенс, ставший олимпийским чемпионом, сияя от счастья, подбежал к трибуне, на которой стоял германский рейхсканцлер, но Гитлер отвернулся, чтобы не пожимать ему руку. «Да,— говорил тогда Гитлер Шпееру,— в 1940 году олимпийские игры состоятся еще раз в Токио. Но это не страшно, это будут последние олимпийские игры не на немецкой земле, а потом уже до конца времен они будут проходить только в Германии и только на этом стадионе, и каким будет этот олимпийский стадион, будем определять только мы».

А между тем всего лишь за год до этих олимпийских игр писатели мира, собравшиеся в Париже на конгресс в защиту культуры, говорили, разъясняли, вдалбливали в голову человечеству, что собой представляет фашизм и что творится в Германии, где, по свидетельству не названного по имени очевидца, нелегально прибывшего в Париж из «государства лицемеров и палачей» и выступавшего на конгрессе в маске, «нет ни одного места, где можно было спокойно работать, ни одного места, где можно было стучать на машинке, не думая о том, что вдруг распахнется дверь и агенты гестапо спросят: «Что вы пишете?»...»

В те июньские дни 1935 года в Париже много было затронуто эрудиции, интеллекта и высокого красноречия для того, чтобы люди поняли простую истину, что все, что происходит в Германии с немцами, может произойти с каждым из них и что удушение культуры самым непосредственным образом ведет к удушению людей.

И ведь какие имена там были представлены, какие авторитеты там выступали или прислали конгрессу свои приветственные послания!

Но их голоса не были услышаны западными политиками, а Гитлер примерно в эти же дни, сравнивая свою популярность с популярностью Лютера, говорил Шпееру: «Для меня есть только две возможности: либо полное претворение в жизнь моих планов, либо столь же полный их крах. Если мне удастся их претворить, я стану одним из величайших людей в истории. Если я потерплю крах, я буду оплеван, обвинен и предан проклятию»...

...Концепцию своих мемуаров, задуманных как исповедь и книга жизни, Шпеер тщательно выверил, взвесил, вычертил, как чертеж. Его книга построена по законам архитектуры и напоминает архитектурное сооружение, в котором предусмотрено все: фасад, интерьеры, внешняя отделка, парадный вход и запасные выходы.

Тот, кто захочет найти в этой книге раскаяние, может прочесть немало страниц, полных самоосуждения, вплоть до признания Шпеера, что он несет личную ответственность за Освенцим и что самый суровый приговор был бы недостаточным для того, чтобы покарать его за все, что он совершил.

Тот, кого тянет заглянуть в правительственные кабинеты третьего рейха, может получить подробную информацию об атмосфере нравственной коррупции, интриг, праздности, алчности и мании убийств, которой была охвачена вся гитле-

ровская правительственная верхушка, включая Шпеера и, конечно же, самого Гитлера.

Тот, кого занимают проблемы технократической аморальности, несомненно, обратит внимание на такие слова Шпеера: «Один американский историк сказал обо мне, что я любил машины больше, чем людей. Он был не так уж не прав, ибо вид человеческих страданий задевал лишь мои чувства, но отнюдь не влиял на мое поведение». Более того, он узнает, что технократическая «слепота» Шпеера была «на р о ч и т о й» и что Шпеер, как министр, сам устанавливал «меру своей отстраненности» от реального положения вещей, «интенсивность своих уверток и степень своей причастности» к тому, что... «закончилось Майданеком и Освенцимом».

Даже в таком сложном для Шпеера месте, где рассказывается, как на предприятиях «Миттельверке» в «варварских условиях», в мокрых от сырости подземных пещерах, изнемогая от непосильного труда, тысячами погибали угнанные в Германию иностранные рабочие и военнопленные, Шпеер, пожалуй, не склонен прятаться за спину Заукеля или Гиммлера (чего, откровенно говоря, я от него ожидал, приступая к чтению его мемуаров), а, напротив, подчеркивает «чувство личной вины», которое охватывает его всякий раз, когда он вспоминает о загубленных им людях...

Словом, многое можно прочесть в этой с умом написанной книге: от общеполитических и философских рассуждений до таких «частностей», как организация военного производства в гитлеровской Германии со всеми ее пороками и просчетами,— главы, в которых, помимо всего прочего, содержится и «скрытый» совет, как следует организовывать подобное производство с наибольшей рачительностью и целесообразностью. И если книгу Шпеера прочтут нынешние фабриканты оружия, то и они, отбросив шпееровские рассуждения о раскаянии, смогут почерпнуть из нее нечто чрезвычайно важное в практическом смысле.

И все же о чем бы Шпеер ни писал, с какой степенью искренности он ни осуждал бы себя и свое прошлое, основная идея его книги, в которой значительная часть отведена архитектуре, сводится отнюдь не к тому, что кажется в ней главным.

Рассказывая о прожитой жизни, Шпеер просит читателя рассматривать его в первую очередь как архитектора, и книга его задумана прежде всего как история творца, связавшего себя с дьяволом: традиционная немецкая национальная версия и современный вариант старинной германской притчи, воплотившейся в «Фаусте». «Ради того, чтобы строить,— пишет Шпеер,— я был, подобно Фаусту, готов продать душу. И вот я нашел своего Мефистофеля. Он оказался не менее ловким искусителем, чем гётевский».

Но Шпеер не был Фаустом...

Да, Шпеер не был Фаустом, и если уж вспоминать гётевскую трагедию, то есть в ней другой персонаж — Вагнер, своеобразный антипод Фауста, олицетворение посредственности, неспособной к творческому созиданию, к творческому порыву, ради которого не жаль заложить душу даже самому дьяволу.

В те годы, когда Шпеер, которого знатоки считали посредственным эпигоном Шинкеля¹, стал главным архитектором Германии, лучшие представители немецкой архитектуры были (не без содействия самого Шпеера) лишены возможности работать, изгнаны из институтов и академий, выдворены за пределы своей родины или заточены в тюрьмы. Это было время, когда в Германии всякое созидательное творчество находилось в состоянии клинической смерти. И в покинутой Фаустиами стране на «вакантную» отныне роль Фауста Гитлер назначил Вагнера, Вагнера в эсэсовском звании, Вагнера-администратора, возомнившего себя творцом, Фаустом.

Но в той же степени, в какой Шпеер не был Фаустом, Гитлер не был и Ме-

¹ Карл Фридрих Шинкель (1781—1841) — известный архитектор, представитель немецкого классицизма в архитектуре.

фистофелем. Здесь все было фальшью, и фальшивая схема отомстила сама за себя: Лже-Мефистофель трусливо принял яд, а Лже-Фауст, средней руки архитектор, стал военным преступником.

Так внутренняя фальшь подточила искусное построение, созданное Шпеером в его мемуарах, где самовозвеличивание расчетливо выступает под видом само-разоблачения, и так, уже в конце моих очерков, для меня неожиданно разрешилась «психологическая загадка» Альберта Шпеера.

Но можно ли при таком отношении к прошлому «преодолеть» будущее?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

23 сентября 1942 года в 8 часов 55 минут от вокзала Ле Бурже в Париже отошел в направлении Освенцима очередной эшелон. Сопровождавший транспорт фельдфебель Ульмайер имел при себе бумагу, подписанную оберштурмфюрером СС Рётке, в которой указывалось, что заключенные в количестве тысячи человек отобраны по разнарядке оберштурмбанфюрера Эйхмана.

Примерно в это же время, может быть чуть раньше, специальным поездом в салон-вагоне в Париж из Берлина прибыл представитель германского МИДа, сопровождавший группу иностранных журналистов.

Корреспонденты должны были ознакомиться с жизнью оккупированной французской столицы, а затем — по радио и через прессу — оповестить весь мир о гуманности победителей и о несокрушимости германского оружия, то есть что Франция, с одной стороны, по сути дела ничем не ущемлена, а с другой, что Германия представляет собой неодолимую силу, бороться против которой бесполезно, да и бессмысленно, так как ничего страшного в немецкой оккупации нет и население Парижа чувствует себя в основном превосходно: рестораны работают, Эйфелева башня на месте, Лувр открыт.

Журналистов сопровождал также уполномоченный министерства пропаганды, командированный Геббельсом...

Так каждому было предназначено свое, и каждый выполнял свою функцию: корреспонденты, представители двух министерств, Эйхман, Рётке, фельдфебель Ульмайер.

Что же касается узников, то и у них была своя функция — сгореть...

Если бы люди могли знать, что их ждет хотя бы в недалеком будущем, то многие бы, наверно, действовали осмотрительней. Возможно, что Рётке порвал бы подписанную им бумагу, Эйхман отказался бы от своих разнарядок, а министерские уполномоченные постарались бы, покуда не поздно, выпрыгнуть из салон-вагона даже на ходу поезда... Но 1942 год был отделен от 1945-го тремя годами — отрезок времени не столь уж большой и все же достаточно большой, чтобы с ним мог совладать дисциплинированный службистский разум, и поэтому все шло своим чередом: ни тот, ни другой поезд не остановился, а продолжал следовать по назначенному маршруту.

На тот случай, если бы поезда встретились и журналисты увидели бы эшелон, идущий в Освенцим, у представителей министерств имелось в запасе несколько заранее подготовленных версий и утвержденных начальством фраз, среди которых была и такая: «Мы взяли на себя самую грязную, самую неблагодарную работу во имя грядущих поколений».

Именно эту фразу как-то произнес немецкий дипломат одной шведской журналистке, когда они оба, стоя у вагонного окна, заметили проходящий мимо транспорт, «сформированный» Эйхманом...

Но в тот раз все обошлось благополучно и никаких эксцессов зарегистрировано не было...

На станции Козле узников выгрузили из эшелона и произвели селекцию: немецкий политэмигрант, участник антигитлеровского Сопротивления во Фран-

ции, коммунист Курт Бахман предназначался для работы в концлагерях при заводах «Борзиг» в Верхней Силезии. Его жена получила свое назначение — в газовую камеру. Осенью 1942 года она погибла в Освенциме.

А представитель германского МИДа, так же как представитель министерства пропаганды, выполнив задание, вернулся из своей парижской командировки в Берлин...

У каждого своя функция и своя миссия в жизни. В подземных лагерях «Дору» министр вооружения третьего рейха Альберт Шпеер приступил к строительству секретного оружия. Министр считал себя ответственным за судьбу Германии и за судьбу государства, вне и без которого пошла бы под откос его собственная судьба, и поэтому, как известно, требовал от поступающих в «Дору» узников только одного — работы... После того, как они становились «неприглядными», их можно было уничтожить, ибо на этом их функция заканчивалась...

...«Марш смерти» из каторжных лагерей Верхней Силезии начали 3650 узников, но до ворот с надписью «Каждому — свое» дошли всего лишь четыреста. Среди них было девять коммунистов, в числе этих девяти был Курт Бахман.

В Бухенвальде при сортировке его признали годным к работе в подземельях «Доры»...

Пути человеческие неисповедимы. Все знают, что стало со Шпеером, с Эйхманом... Оберштурмфюрер Рётке, сделавшись адвокатом, недавно скончался в городе Вольфсбург. Бывший сотрудник министерства иностранных дел — г-н Кизингер, сопровождавший журналистов в пропагандистский вояж, стал федеральным канцлером Западной Германии.

Что в этом странного? Времена меняются, каждому — свое, у каждого своя функция, и поезда идут в разные стороны...

А узники сгорели, давным-давно превратились в дым, в пепел.

Не все...

Когда Курта Бахмана определили в «Дору», он сказал: «Нет»... Он не хотел строить ракеты, которые были так необходимы министру Альберту Шпееру. Но Шпеер бы наверняка рассмеялся, если бы узнал, что некий узник Бахман считает себя ответственным за судьбы Германии...

Коммунистическое подполье организовало спасение Бахмана: его упрятали в барак, куда не заглядывала эсэсовская охрана; три месяца он пролежал среди мертвецов и тифозных больных...

Вот неполный перечень лагерных этапов, через которые прошел Курт Бахман: Иоганнесдорф — Ратибор — Пейскретшам — Блеххаммер — Бухенвальд... В подполье концентрационного лагеря Сименс-Планиа он выполнял функции радиста: на короткой волне 29,8 метра принимал передачи из Москвы, которые тут же распространялись среди узников и рабочих Сименса.

В это же время будущий канцлер со своей стороны отвечал за радиопропаганду в министерстве Риббентропа...

Биографии Кизингера и Курта Бахмана иногда сравнивают потому, что и тот и другой являются сейчас лидерами западногерманских политических партий: один возглавляет ХДС, другой — ГКП, Германскую коммунистическую партию.

Жизнь произвела свою «селекцию», свой отбор.

23 июня 1969 года Курту Бахману исполнилось шестьдесят лет.

Я встретился с Бахманом в Кёльне 13 июня 1969 года.

Разговор с одним немецким коммунистом

...И вот он пришел, этот человек с усталым, худым лицом, с жесткими глазами, в просторном костюме цвета его чуть всклокоченных серых волос.

Он слушал меня с товарищеской заинтересованностью и вместе с тем с легким оттенком не то чтобы недоверия, а проверки: очевидно, привык, слушая собеседника, проверять его взглядом своих жестких глаз, пытаюсь понять, что стоит за словами.

Иногда он кивал головой, иногда лицо его делалось отчужденным, холодным, как бы отталкивая от себя слова, которые он считал неточными или неправильными.

— Германия всегда щадила своих преступников, — сказал он наконец после того, как в течение получаса слушал мой рассказ о будущей книге. — В 1848 году мы не казнили своих королей, в 1918 не казнили кайзера, Гинденбурга, Людендорфа, которые загубили миллионы немцев... В 1945 году Геринга, Кальтенбруннера, Кейтеля судили не мы!.. Германская реакция испокон века считает себя «бессмертной», безнаказанной: страх перед возмездием ей не привит до сих пор!.. Восемьдесят процентов осужденных западногерманскими судами нацистских преступников реабилитированы... Да и кто их судит?.. Сейчас они придумали себе новую лазейку: этим законникам понадобились доказательства, что преступления были совершены из низменных побуждений. Но как это доказать? Кто докажет? Их прокуроры?! — Он горько усмехнулся. — Скажите, вы встречали хотя бы одного нациста, который признал, что действовал из низменных побуждений? Тех, кто на самом деле хочет раскаяться, выбрасывают из окон, убивают из-за угла или принуждают к самоубийству. Вы знакомы с делом Завады? Его нашли мертвым... Слушайте, давайте говорить языком политики: о каком «раскаении» может идти речь, если самый нацистский режим здесь не считается преступным! Сановникам Гитлера выплачиваются бешеные, колоссальные пенсии! Известен ли вам случай, чтобы кто-нибудь из этих «кающихся грешников» не принял эти деньги, пожизненную плату за свою постыдную службу?.. Чему удивляться? Правительственный аппарат, МИД, полиция, армия, прежде всего экономикка воссозданы руками тех, кто привел к власти Гитлера. Знаете ли вы о том, что «ваш» Шахт в пятидесятых годах разъезжал по Западной Европе и Америке с лекциями, вербуя сторонников Аденауэру?.. Корни зла ищите в нацизме...

Он побуравил воздух указательным пальцем, словно добираясь до этих «корней».

— Если вы хотите написать правдивую, важную книгу, постарайтесь вникнуть в суть явлений, а не ищите их на поверхности. Параллели между фашизмом вчерашним и фашизмом сегодняшним выходят за рамки чисто внешних, словесных совпадений и не ограничиваются одной НДП, которая, конечно же, пользуется правительственной поддержкой, несмотря на кое-какие разногласия и перебранку между Тадденом и некоторыми официальными лицами. Нам, как марксистам, важна суть! А эта суть состоит единственно в том, что и те и другие стремятся к моральной, экономической и военной гегемонии, чтобы стать определяющим фактором если не во всем мире, то хотя бы в Европе. И кое-чего они надо сказать, достигли. В финансовой, в экономической области это уже есть! Существует сознание собственной силы, самоуверенность, все чаще в их даже официальных речах проскальзывает некий покровительственный тон в отношении англичан, французов, американцев...

Он говорил, считая себя обязанным разъяснить мне то, что считал самым главным.

— Вновь подняло голову страшное чудовище немецкого национализма: мы — немцы, мы можем все, мы совершили «экономическое чудо», мы — послушайте, как это звучит! — даже в ГДР, в «восточной зоне», в условиях коммунизма, достигли высокого уровня жизни и высокой производительности труда! Вы поняли? Даже социалистические завоевания ГДР они не прочь «присвоить себе», отнести их на «общенациональный счет», объяснить исключительно пресловутым немецким трудолюбием и национальной способностью «производить»!..

Сейчас они вновь вытаскивают на свет божий идею так называемого «национального самосознания»: традиции прошлого, идеализация старины, фигуры махровых реакционеров из числа «великих немцев», от которых действительно великих немцев в тошнито на протяжении всей нашей истории... О нет, я вовсе не против романтических памятников старины, не против музеев, хотя любой из этих памятников можно истолковать и использовать по-разному, особенно в условиях

господства реакции, в атмосфере, насыщенной шовинизмом. Но попробуйте об этом сказать! Они тут же поднимут крик: «Что же, по-вашему, выходит, что немцам нельзя любить свою родину, гордиться своей историей?..» Почему же нельзя? — говорим мы. Можно. Нужно... Но какую родину любить, какой историей гордиться? Почитайте школьные учебники. Никто из этих «патриотов» и «ревнителей старины» не вспоминает ни Томаса Мюнцера, ни силезских ткачей, ни героев революции 1848 года, ни Бебеля, ни Либкнехта!

История для них это — Фридрих Барбаросса, Фридрих Второй, Бисмарк, «ратные подвиги» ландскнехтов, гнусная «идиллия» мещанского быта!.. Даже свой сталинградский позор, эпопею разгрома, они рассматривают с точки зрения выносливости германского солдата, который «в невыносимых условиях русской кампании» выполнял свой «воинский долг», хотя исполнение такого долга объективно было величайшим национальным преступлением!..

Мошеннически, мало-помалу, исподтишка они вновь реабилитируют Гитлера. Ведь это — частица их истории, их биографии, их прошлого, с которым они упорно не хотят, да и не смогут расстаться. «Гитлер обладал магической силой, Гитлер завораживал людей» — это вы найдете во всех их мемуарах, рассчитанных на обывателя, жалкая попытка самооправдаться и «самоутвердиться» одновременно! Но кого «завораживал» Гитлер? На кого распространялась его «магическая сила»? На Шахта? На Круппа? На Шираха? На толпы оголтелых, охваченных звериной алчностью лавочников? Почему эта «магическая сила» не могла поднять под себя коммунистов, героев подполья, да и вообще тех немцев — а их было не так уж мало! — которые сохранили совесть и разум?!

В какое, должно быть, уныние впали бы многие из встреченных мной персонажей, окажись они сейчас здесь, при этом разговоре. Неужели все было напрасным: борьба Гитлера, «особые мероприятия» Гимmlера, разнарядки и транспорты Эйхмана, печи Дахау, если двадцать пять лет спустя существуют люди, которые когда-то были всего-навсего безымянными лагерными номерами, а теперь вновь обрели имя, и не только имя, но и силу и возможность вновь вмешиваться в дела их Германии?.. Кто виноват в подобной «недоработке»? С кого теперь спрашивать?..

Он продолжал:

— Впрочем, национализм может выступать и под маской «европеизма» — особо опасный и распространенный у нас вид мимикрии. Кое-какие отголоски этого нового жульничества я уловил из вашего рассказа о встрече с Ширахом... Подумайте: Бальдур фон Ширах — «космополит», «европеец»! И тот натовский генерал, редактор журнала!.. Но что значит европеизм в их толковании?.. Какой бы объединенная Западная Европа ни была, ведущей силой, по их убеждению, должны стать они сами. Я уже говорил, что в экономической области они многого добились, теперь речь идет о гегемонии в политике. Как только это будет достигнуто, все «атомные ограничения», которые пока еще существуют, отпадут, и тогда они будут диктовать свою волю — сперва вместе с Соединенными Штатами Америки, а потом — по возможности — и без них...

Я старательно записывал в блокнот его слова, и он, заметив это, сказал:

— Я не собираюсь читать вам лекцию, но если кое-что из того, что я говорю, прольет хоть какой-то свет на ваши здешние встречи, это, на мой взгляд, может принести известную пользу...

Вновь передо мной промелькнули те, с кем я встречался в их особняках, апартаментах, квартирах, в кабинете у Макса. Какой багаж приволокли они в сегодняшний день? Чему научило их прошлое?.. Но теперь я видел их в новом для меня свете, очищенными от эмоциональных наслоений, занявшими позиции, на которых они закрепились и с которых мой собеседник их сшибал, сталкивал обратно в небытие, как бы подводя черту под моими потусторонними встречами...

Мы заговорили о возможных перспективах, о расстановке политических сил,

о молодежи, за которую, как он сказал, «стоит побороться, понять ее, помочь ей найти себя, направить стихийный протест молодых в верное русло»...

Под конец он не произнес традиционных слов о трудностях борьбы и неизбежности победы: для него это подразумевалось само собой потому, что жизнь продолжается, борьба между добром и злом не стихает и поезда идут в разные стороны...

Ноябрь 1968—сентябрь 1969 г.

О «МЮНХЕНСКОЙ ТЕТРАДИ» ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Новое документальное повествование Льва Гинзбурга «Потусторонние встречи», несомненно, вызовет большой интерес. Как и в своих предыдущих работах («Цена пепла», «Бездна»), писатель вновь касается важнейших проблем, которые продолжают занимать умы и сердца современников: в чем состоит, если так можно выразиться, социально-психологическая подоплека и сущность фашизма, что двигало поступками людей, совершавших неслыханные в истории злодеяния, как отразились звериная «теория» и практика фашизма на отдельных человеческих судьбах? Но если в «Бездне», книге, получившей общественное и литературное признание в нашей стране и за рубежом, Л. Гинзбург рассматривал эти проблемы на более или менее «локальном» материале судебного процесса, проходившего в 1963 году в Краснодаре над группой гитлеровских пособников, изменников родины, то персонажами «Потусторонних встреч» — фигуры, простой перечень которых дает основания предполагать, что автор широко раздвинет масштабы своих прежних исследований и предоставит нам возможность заглянуть в сокровеннейшие тайники фашистской системы, лицом к лицу столкнуться с главными организаторами и вдохновителями нацистского зла, а также с их ближайшим, непосредственным окружением и, сопоставив их вчерашний облик с сегодняшним, поможет нам под новым углом зрения взглянуть на современный западный мир, и прежде всего на ФРГ, где, собственно, и происходит основное действие повести. С этой нелегкой, но важной художественной и публицистической задачей Лев Гинзбург, на мой взгляд, вполне справился. В самом деле: встречаясь в обстановке сегодняшней и ей Западной Германии с такими «потусторонними» персонажами, как Бальдур фон Ширах, Яльмар Шахт, Альберт Шпеер, Герман Эссер, как личная секретарша Гитлера Юнге или сестры Евы Браун, мы с особой силой сознаем, что все эти люди так или иначе обрели свое место в нынешней западногерманской жизни, закономерно «вписались» в западногерманский социальный «пейзаж»; более того, каждый из них является своеобразным носителем тех или иных опасных тенденций, господствующих в ФРГ, к которой, как к источнику беспокойства и напряженности в Европе, приковано присторженное внимание мировой общественности... Достаточно вспомнить позорную реабилитацию Гитлера и гитлеровской шайки в фальсификаторских измышлениях старейшего нациста Германа Эссера, оголтелую проповедь великогерманского шовинизма, выпирающую из разглагольствований «самого» Яльмара Шахта, зловещее политическое шутовство неразоружившегося рейхсюгендфюрера Шираха, «философские» метания между ложью и полуправдой «выбитого из игры» Шпеера...

Почти четверть века назад мне довелось допрашивать некоторых из этих людей, а именно Шираха и Шахта, в качестве главных немецких военных преступников, еще до начала Нюрнбергского процесса, а затем и в зале Нюрнбергского суда, наблюдать их в течение довольно длительного времени, и я, признаться, с особым интересом читал те главы, в которых Л. Гинзбург рассказывает о своих встречах в 1968—1969 годах с этими ближайшими сообщниками Гитлера. Что произошло с ними через два с лишним десятка лет? Появилось ли у них подобие раскаяния, отвращения к своему прошлому? В какой мере совпадает позиция, занятая, допустим, Шпеером и Ширахом на Нюрнбергском процессе, с их высказываниями, которые они делают сегодня, спустя целый исторический период, после двух десятилетий, проведенных ими по нюрнбергскому приговору в одиночных камерах тюрьмы Шпандау?..

По правде говоря, даже такие люди, как Шпеер и Ширах, могли бы при желании принести известную пользу, предостерегая западных немцев и особенно молодежь ФРГ от роковой опасности любых рецидивов нацизма и возникновения неонацизма, то есть фашизма новой формации. Уж им-то хорошо известно, что означает нацизм на практике, какие бедствия несет он народам и прежде всего самим немцам. Не случайно Л. Гинзбург под впечатлением своей встречи со Шпеером невольно задается вопросом: возможно ли «нравственное перерождение» Шпеера?..

Но вот недавно вышла книга Альберта Шпеера «Воспоминания». Насколько можно судить по этой книге, у Шпеера не хватило мужества и честности призвать своих соотечественников к осуждению прошлого, к предотвращению рецидива нацизма, угрозы новой войны. И хотя он снова признает свою ответственность за тяжчайшие преступления нацистского режима, справедливость нюрнбергского приговора и делает это даже шире, чем раньше в своем последнем слове на Нюрнбергском процессе в 1946 году, эти признания, как и прежде, сопровождаются многочисленными недомолвками, маскируются различного рода отвлечениями и лишь создают видимость самоосуждения. В этом можно убедиться, ознакомившись с новыми документами, опубликованными в ГДР в сборнике «Анатомия войны», уже в который раз раскрывающими преступную роль германских монополий в развязывании агрессивных войн, их участие в преступлениях германского фашизма — с тем, о чем умышленно не договаривает Шпеер.

Что же касается нынешнего Шираха, то я без труда узнал в нем бесчестного, трусливого и грязного человека, которого некогда привели ко мне на допрос в Нюрнберге. Свидетельство тому — опубликованные в ФРГ мемуары Шираха «Я верил в Гитлера», книга, которую я назвал бы новым преступлением Шираха против немецкого народа.

Л. Гинзбург создал достоверные и яркие психологические портреты этих персонажей: перед нами не абстрактные схемы, а живые люди, наделенные своей «индивидуальностью», выписанные до деталей так, что читатель получает полную возможность судить об их истинной сущности.

Автор умело построил свое повествование, логически связав гитлеровских заправил с их последователями и продолжателями в лице не названного по имени крупного наатовского генерала, активного «функционера» НДП, выступающего под псевдонимом «Фридрих Вагнер», отравленного гитлеровскими и неонацистскими «идеями» гимназиста Майера... И не содержится ли известная перекличка между обывательскими, внешне такими «житийскими» рассуждениями одной из сестер Евы Браун — Ильзы, которая якобы до сих пор и не смогла распознать, кем в действительности был ее злоеущий родственник, и истерическими призывами «вернуть Гитлера», которые автор услышал от хозяина пресловутого «Бюргербройкеллер» — мюнхенской пивной, где некогда собирался со своими сатрапами «фюрер», а теперь — неонацистские молодчики во главе с Таддеом?..

Разумеется, в своей работе, задуманной как ряд художественно-психологических этюдов, образующих единое целое, Л. Гинзбург не претендует на то, чтобы показать в себе сложные и противоречивые процессы, происходящие в ФРГ. И тем не менее, многие стороны западногерманской жизни, составляющей как бы фон повествования, нашли свое прямое или косвенное отражение в рассказе о нынешнем, «музейном» Дахау, о посещении Нюрнберга, о беседах в салоне прекраснодоушной и по существу беспомощной и безвольной «либеральной» интеллигенции... И как хорошо, что в очерках, населенных столь густо мрачными персонажами, мы встречаемся с обаятельным образом Анжелики Пробст, сестры участника антигитлеровского студенческого кружка «Белая роза», с добрым, подчас наивным, но по-своему самоотверженным Максом, который добровольно взял на себя роль Вергилия, сопровождающего автора по кругам фашистского и реваншистского «ада». Думается, что любопытная и своеобразная фигура Макса, выступающего в повествовании как «сквозное» действующее лицо, выражает противоречия современной западногерманской жизни, где не прекращается, а, наоборот, нарастает ожесточенная борьба между добром и злом, между ложью и истиной. В этой связи особое значение имеет рассказанная автором история героического пути Курта Бахмана, председателя Германской коммунистической партии, и «Разговор с одним немецким коммунистом», не оставляющий никаких сомнений в том, что наряду с ульт-

рореакционными реваншистскими кругами в ФРГ все активнее действуют иные, противостоящие им прогрессивные силы: передовые слои западногерманского рабочего класса, коммунистическая партия, объединенные профсоюзные организации и другие.

Хотел бы остановиться еще на одном аспекте повествования Л. Гинзбурга, а именно на проблеме преследования и наказания нацистских преступников, которая и в наши дни не утратила своей актуальности. По долгу службы я хорошо знаком с делом бывшего начальника зондеркоманды СС «10-а» Курта Кристмана, которого, наверно, запомнили читатели «Бездны». На сей раз Кристман предстает перед нами не в гестаповском кабинете, а в своей посреднической конторе, в самом центре Мюнхена. Когда читаешь главу о встрече автора с Кристманом, а затем о беседе с прокурорами, ведущими его дело, начинаешь лучше понимать, как удается крупным нацистским преступникам сравнительно легко избежать наказания за совершенные ими злодеяния.

Дело Кристмана тянется долгие годы, а сам он, как и многие другие военные преступники в ФРГ, процветает на свободе. Мюнхенские прокуроры проявляют, мягко говоря, крайнюю нерешительность в использовании полученных от советских судебных органов обширных доказательств о преступлениях Кристмана и ему подобных. Такова политика и практика западногерманской юстиции.

Хочется верить, что голос писателя, возмущенного безнаказанностью кровавого гитлеровского палача, будет услышан людьми доброй воли и поможет восстановлению справедливости.

«Потусторонние встречи» Льва Гинзбурга ставят важные идеологические и нравственные вопросы, и я не сомневаюсь в том, что этот труд явится еще одним вкладом в разоблачение реваншизма, реакции, человеконенавистнической идеологии, в благородное дело борьбы с фашизмом.

Г. Н. АЛЕКСАНДРОВ,
советский обвинитель
на Нюрнбергском процессе,
заслуженный юрист РСФСР.



НА ЗАРУБЬ ЕЖНЬИЕ ТЕМЬИ

ИВАН ЩЕДРОВ

★

ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ ЛАОСА

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ

Чтобы добраться до темной норы — входа в пещеру, — пришлось долго, в обход, карабкаться по скользким скальным выступам вверх. Лестница, свитая из лиан, прошлой ночью сгорела от прямого попадания ракеты. Американский пилот, видимо, целился в темное отверстие входа, да промахнулся. Дождливая ночь. Резкие порывы ветра пронизывают тело, ledenят руки... Порою даже не верится, что нахожусь в гропиках, что еще днем изнывал от жажды под немилосердными лучами солнца. Наконец узкая цепочка черных теней с фонариками в руках медленно вползает в пещерный провал. Огромные своды едва проглядывают в бледных отсветах самодельных факелов. Над самой головой с шумом пронесаются летучие мыши, к которым с детства отношусь с отвращением. И снова угнетающая полутьшина.

Входное отверстие в пещеру время от времени озаряется отблесками красного света, и несколько секунд спустя сюда врывается запоздалый вой реактивных двигателей, доносятся упругие волны от рвущихся бомб... Командир отряда карабинеров, с которым я продвигаюсь к фронту, выставил пикеты. Свободные от нарядов бойцы готовятся к ночлегу, выбирая сухие островки среди сырой гигантской пещеры. Совсем рядом звонко капает вода. Цок, цок, цок.

Неожиданно где-то высоко под сводами раздается странное разноголосое пересвистывание.

— Летучие мыши, — поясняет Бунен, молодой карабинер, разместившийся по соседству со мной на циновке.

Из дальнего угла доносится раздражающий душу писк полевых крыс. Днем их обычно не видно — рыскают в полях. С наступлением темноты тысячи серых комков надвигаются на нас отовсюду. И до самого утра стоит зловеющий шум и визг крысиных побоищ за обладание местом и добычей. Еще не так давно полчища крыс атаковали здесь целые деревни, уничтожая на пути все живое. Нас спасает лишь, свет факелов, отвоевывающих у темноты безопасное для человека пространство. Крысы смертельно боятся огня.

Пока дежурные разводят костер, мы с Буненом, ступая по лужам, уходим на поиски питьевой воды. В одной из расщелин лучи фонариков нащупывают плетенные из тростника и обмазанные глиной пузатые кувшины. Они наполнены водой. Цок, цок, цок... и холодные капли из-под нависшей каменной глыбы бьют по плечам, по голове, падают в диновинные кувшины. Год назад пещера служила кровом буддийскому монаху-отшельнику. И эти кувшины, и остатки самодельного водопровода из бамбуковых стволов — плоды его практичной изобретательности. Сам монах, не выдержав бомбардировок и обстрелов, перекочевал куда-то, пытаясь найти невозможное — тихий глухой уголок в охваченной войною стране.

Рано утром нас разбудил пронзительный вой реактивных двигателей и раз-

рывы бомб. Через узкий проем в пещеру пробился оранжевый сноп света, и на стенах выступили выписанные угольками изображения американских бомбардировщиков. Художник придал им вид сказочных демонических птиц, пронзенных стрелами. Чуть пониже — изображения зениток, пулеметов и охотников с арбалетами, стреляющих по стервятнику. По дошедшим до наших дней древним поверьям лаосцев, пещерные рисунки обладают магической силой. Убитый зверь, поверженный враг, а в эту войну и бомбардировщик, начертанные на стенах, рассматриваются как важный магический шаг на пути к победе...

Из пещеры открывается чудесный вид на щедро залитую солнцем зеленую долину. Со всех сторон ее теснят горные хребты. Среди светло-зеленых рисовых полей вьется голубая лента горной речушки. И кругом, как глубокие раны, темнеют воронки от бомб.

Мы — в Среднем Лаосе. В нескольких десятках километров отсюда на запад — линия фронта, протянувшаяся с севера на юг более чем на полторы тысячи километров.

Третью неделю я нахожусь в освобожденном районе, который хотя и не входит, по утверждениям Пентагона, в так называемую зону «троп Хо Ши Мина», но над которым — также вопреки всем элементарным международным нормам — Соединенные Штаты установили свой зловеющий «воздушный контроль». За годы работы на фронтах Индокитая многое пережито. Но то, что я увидел здесь, потрясло.

После завтрака начал знакомство с обитателями пещерного города, разместившегося по соседству с нашим ночным убежищем. Пробираемся с «этажа» на «этаж» узкими ходами, пробитыми в каменистом теле горного хребта. У «небоскреба» высотой в сто—сто пятьдесят метров нет названия. Его обитатели считают себя здесь временными жильцами. На сколько? На год, два, а может быть, на десятилетия — этого никто не знает. Но они твердо верят, что не навсегда.

Древний Махасай лежит километрах в трех-четыре отсюда, в благодатной солнечной долине, над которой день и ночь висят зловещие дюралевые птицы далекой, как они здесь произносят, «Амелики».

По преданию, в Махасае много веков назад побывал Марко Поло. Летописи сохранили память о пребывании здесь великих путешественников средневековья — из Китая и Индии. Орды захватчиков на протяжении веков пытались огнем и мечом покорить, уничтожить гордый народ. Но он выстоял. Выстоял и древний Махасай, город мирных землепашцев и торговцев, рыбаков и охотников. На этот раз беда свалилась с неба.

Когда кольцо смертоносных бомбардировок вплотную обложило Махасай и американские пилоты начали прицельно обстреливать отдельные дома и хижинны, охотиться за работающими на полях крестьянами, стало ясно: единственное спасение — в близлежащих пусть сырых и темных, но надежных горных пещерах. Перебирались сюда не день и не неделю, не все скопом. До боли жалко было оставлять обжитые места, очаги предков, которые здесь чтут как святыню.

Но и терять каждый день родных и близких, ожидать смерти было бессмысленно. Вот так и оказались оставшиеся в живых махасайцы в горном «небоскребе». Город слился на весь край своими охотниками за слонами — последними из могикан этой древней профессии. «Дикарей» они отлавливали с помощью прирученных слонов, приучали к нелегкому труду. Часть оставляли у себя, других продавали. С войной всему этому тоже пришел конец. Последние слоны так и не дошли до горного хребта, сраженные осколками бомб.

И вот я в одной из «квартир» пещерного города, не отмеченного ни на одной карте мира. В большой пещере прямо у стен топчаны и нары. В глубине — наспех сооруженные миниатюрные хижинны с двускатными крышами, защищающими от непрестанно капающей со сводов воды.

На кострах в котлах готовится пища. Рядом стучат ткацкие станки. В углу копошатся дети. Влажный спертый воздух смешан с едким дымом. Десятки и

десятки пещерных жилищ. В глубине одного из гротов неожиданно вырастают из полумрака почерневшие от времени желто-красные статуи. Окаменевшие лица Будд бесстрастны. Перед ними курятся благовонные палочки. Восемь буддийских священнослужителей монотонно читают нараспев молитву, прерываемую время от времени ударом небольшой палочки в круглый «барабан». Сопровождающий меня лаосец объясняет: бонзы обращаются к Будде с просьбой вернуть стране мир, прогнать чужеземцев, пришедших в Лаос из «Амелики».

Молитва завершена. Можно побеседовать. Священнослужители усаживаются кружком, поджав под себя ноги. Желтые одежды-покрывала. Стриженные головы. Оголенные, покрытые татуировкой плечи и ноги. Восемь бонз — от шестидесятишестилетнего Бунтхонга до худенького лет восьми мальчика-послушника — рассказывают о себе, о трагедии Махасая, о надеждах на Будду, который, как они уверены, вняв их молитвам, даст народу силу и дальше сражаться за свободу и мир на лаосской земле.

В одном из нижних этажей «небоскреба» задержались. Крепко скроенный лаосец опробовал отравленными стрелами арбалет. Короткие штаны наподобие шорт. Обветренное бронзовое тело покрыто татуировкой. Лет ему на вид под пятьдесят.

— Тян Тхай, мэр Махасая, — представился он.

Дальше знакомство с пещерным городом продолжаем в его сопровождении. А по пути мэр отвечает на вопросы, рассказывает об обстановке:

— Дел много. Занимаемся организацией народного ополчения и эвакуацией, решением продовольственного вопроса, другими неотложными делами. Продовольствием и одеждой обеспечиваем себя сами. У каждой семьи есть кое-какая живность. Условия трудные. Сами видите. Но мы будем продолжать борьбу, чего бы это нам ни стоило.

У подножья горного кряжа под густыми, увитыми лианами кронами деревьев в клетушках и загонах — свиньи, птица, буйволы. Кипит работа у примитивных каменных рисорушек.

В огромной пещере, где мы провели ночь, разместились склады и магазин местных органов народной власти. Собственно, это не совсем магазин, скорее фактория. В обмен на рис и маис, лесные коренья, шкуры и рога диких животных крестьяне и охотники получают черную хлопчатобумажную ткань, голубые рубашки, грубые одеяла, соль, мыло, спички, мотыги, котелки... Здесь же на низеньком столике потрепанный ценник. На базе-фактории раз или два в месяц кадровые работники органов народной власти получают по строгой норме рис и соль. Часть продовольствия идет на нужды местных вооруженных сил.

— Ну что ж, в добрый путь, — напутствует мэр. — Не рискуйте. Американские летчики иногда охотятся и за одиночными пешеходами.

Нам предстоит пройти всего три-четыре километра до мертвого города Махасая. Трудность в том, что сотни метров придется преодолевать по открытой, размытой ливнями местности. Прорубленная тесачами в чащобе джунглей тропа явно не рассчитана на мои габариты. От уколов ядовитого кустарника кровоточат руки и ноги. То и дело приходится останавливаться, чтобы пламенем зажигалки сбить успевших присосаться к телу пиявок. Они прыгают прямо с кустарников... Несколько раз пережидаем американские самолеты. Поперек тропы в исковерканном осколками лесостое обнаруживаем длинные чушки неразорвавшихся контейнеров шариковых бомб. С ними шутки плохи. Пустив в ход тесачи, обходим контейнеры стороной и осторожно двигаемся дальше.

Но вот уже окраина города. Мертвую тишину улиц нарушает лишь карканье ворон. Вокруг глубоких котлованов, в вывороченной бомбовыми взрывами красно-бурой земле — черные обгоревшие остовы деревьев. Вся правобережная часть города иссечена осколками — каменные дома, бамбуковые хижины. Осторожно, шаг за шагом, по битому кирпичу и обломкам балок вместе с тремя карабинерами пробираемся к алтарю пагоды. Взрывная волна раскидала в разные стороны статуи невозмутимых Будд. Один из бойцов осторожно ставит их на свои места,

втыкает тоненький прутик — благовонную палочку — в фарфоровую чашу с золой. Вокруг разливается пряный аромат.

Очередной облет переживаем в опустевшей бамбуковой хижине на сваях. Недалеко от лестницы, в зарослях бананов, обвалившийся вход в бомбоубежище. В кадке на террасе распустились огненно-красные бутоны никому уже здесь теперь не нужных диковинных цветов. Настил из дранки местами обвалился. В короткое затишье карабинеры занялись сбором плодов. Один из них ловко, в считанные минуты, взобрался по голому стволу на высоченную пальму и сорвал несколько кокосовых орехов. За легким завтраком едим ароматные плоды манго, запиваем приятным на вкус кокосовым молоком.

Вдуг с левобережной стороны Махасая послышалось мычание буйволов и петушиный гомон. Бунен объяснил, что некоторые из жителей оставили в городе свой скот и птицу. По ночам или на заре они приходят проведать скотину и взглянуть на свой дом.

К вечеру мы возвратились в пещеру. Нам устроили здесь небольшой торжественный прием. При свете чадающих факелов нас ждали, расположившись на циновке кружком, мэр Махасая и карабинеры. На перекладинах для москитных сеток — автоматы, карабины, пистолеты. Разморенные теплом, уставшие, мы слушали наших друзей и вместе с ними мечтали о том, чтоб на лаосскую землю, вот уже почти четверть века не знающую мира, пришла бы наконец долгожданная тишина и те из обитателей пещерного города, кто останется в живых, вернулись бы на берега горной речки Себанафай, на родные пепелища и принялись бы строить новый, каменный Махасай. А пещерный город будет памятником мужеству и выдержке героического поколения, отдавшего детство, юность, лучшие годы жизни во имя счастья своих детей и внуков.

Один из карабинеров даже размечтался о том, что эта огромная пещера, освещенная факелами, станет местом народных гуляний и крупнейшим концертным залом. А вдоль большой мраморной лестницы, которую тогда, наверно, соорудят здесь, будут тянуться по скалам лесенки из лиан...

В полночь, оборвав на полпути мечтания, мы вернулись в реальный мир: американские самолеты начали «обработку» соседнего квадрата, вывесив в небе осветительные ракеты. Установив антенну, вслушиваемся в разноголосое попискивание эфира, пытаемся поймать ночной выпуск последних известий из Пном-Пеня на французском языке.

— В Южном Вьетнаме, — доносится голос диктора, — отряды американской морской пехоты продолжают карательную операцию на дороге номер девять южнее семнадцатой параллели... На границе Камбоджи обстреляна деревня. Убито несколько крестьян!..

Диктор продолжает:

— В Среднем Лаосе сбит еще один американский самолет...

Мы находимся где-то в центре этого бушующего смерча войны.

— Только что поступило сообщение из штаб-квартиры ООН, — звучит бесстрастно голос. — Национальное управление по авионавигации и исследованию космического пространства приступило по просьбе министерства обороны США к разработке проекта, предусматривающего запуск на орбиту гигантского спутника-зеркала. Он будет отражать солнечный свет на поверхность Земли с тем, чтобы освещать зону в сто тысяч квадратных километров двойной силой света полной Луны. Соединенные Штаты намереваются использовать первый спутник-зеркало для того, чтобы в ночное время освещать, как днем, территорию Вьетнама и соседних стран с целью оказания помощи своим войскам. В связи с этим представитель Камбоджи направил на имя председателя Совета Безопасности протест, в котором говорится: «Такого рода спутник-зеркало, если он будет использован во Вьетнаме, неизбежно вызовет пагубные последствия для сельскохозяйственных культур и для жизни людей в соседних странах».

Соседние страны — это Лаос, Камбоджа. До сообщения о зеркале-спутнике

я добросовестно переводил последние новости лаосцам, а тут растерялся. Кругом темнота. Сырая, душная пещера, где пытаются спастись от гибели сотни и сотни людей. А теперь еще и новые планы бесчеловечных экспериментов могущественной супериндустриальной империалистической державы над целыми странами, над теми, с кем я делю сегодня трудности и лишения развязанной ею войны. Я так и не решился сообщить им эту зловещую новость. Но сам не смог уснуть до рассвета.

В догорающем костре тлели угли. Карабинеры, свободные от дежурства, давно уже спали на разложенных прямо на каменистом грунте циновках. А я вновь и вновь возвращался к тем дням — это было в 1963 году, — когда я впервые вступил на партизанские тропы Лаоса. К тому, что было увидено и пережито за многие месяцы и годы на этой охваченной войной земле.

Как прекрасен и самобытен этот экзотический уголок нашей планеты, где еще бродят стада диких слонов и носорогов, где в джунглях живут «лесные люди», где сохраняются столь древние обряды и праздники, каких нет больше нигде на земном шаре! Но главное сейчас — не экзотика, не открытие и изучение этнографических белых пятен. Как военному репортеру, мне приходится открывать иные «пятна» — кровоточащие, взывающие к совести людей раны на теле этой древней и прекрасной страны. Девятый год работаю я в Индокитае. Из них свыше пяти — это война. С отрядами лаосских патриотов проделал я тысячи километров. Прожил здесь в общей сложности более девяти месяцев.

Сотни ежедневных авиационных налетов и непрерывающиеся наземные бомбежки изменили лицо Лаоса. Устарели составленные в тридцатых годах нашего века французскими колонизаторами карты. Обозначенные на них города и селения превращены в развалины или покинуты людьми. Вместо них в джунглях выросли новые. Через горные долины и перевалы пролегли «трассы джунглей» и тропы, заменившие разбитые бомбами и ракетами дороги.

Прежний Лаос — колониальная окраина, место паломничества охотников и туристов — исчез: на его месте более двадцати лет существует, строит новую жизнь, с оружием в руках отстаивает свои завоевания и свободу иной, новый Лаос, о котором сегодня миру известно гораздо меньше, чем об Антарктиде или Арктике. За последние годы лишь «каменный мешок» — Сам Неа, — где размещается главная ставка патриотических вооруженных сил, время от времени посещают иностранные корреспонденты, дипломаты и зарубежные делегации. Несколько иностранных корреспондентов побывало в Долине кувшинов, также расположенной в Верхнем Лаосе. Мне же довелось побывать не только здесь, но и в освобожденных районах Среднего и Нижнего Лаоса. Об увиденном и пойдет рассказ.

«КРАСНЫЙ ПРИНЦ» СУФАНУОНГ

На небольшой каменистой площадке прилепилась к склону горного кряжа бамбуковая хижина. Густые кроны тропических деревьев скрывают ее от постороннего взгляда. От подножья сюда ведет деревянная лестница, укрепленная на серых скалах. Лишь поднявшись к самой хижине, обнаруживаю по соседству с ней темный провал — вход в пещеры. В светлом солнечном пятне греется на камушках сиамский кот. У входа в пещеру — кадка с алыми горными цветами и телефон.

Мы во временной резиденции лидера патриотических сил Лаоса принца Суфанувонга.

Принц прошлой ночью вернулся из поездки на фронт. Он выходит навстречу и приглашает в хижину. Мы знакомы более десяти лет. Встречаться приходится в разной обстановке. И всегда меня поражала неиссякаемая энергия и выдержка этого человека, его оптимизм, не убывающие даже в самые трудные моменты. Внешне Суфанувонг мало изменился: мягкая речь, быстрые движения, все те же знаменитые усы. Разве что виски стали седыми.

В хижине полумрак. Посредине стол, несколько стульев. На стенах синекрасно-белое знамя Патет Лао, календарь, плакаты и карта Индокитая. На ней темными тонами отмечены освобожденные районы Лаоса и соседнего Южного Вьетнама. На столе керосиновая лампа в окружении фарфоровых чашечек и тарелок с фруктами и конфетами.

Свои вопросы для интервью я переслал принцу заранее, и ответ на них уже готов. Остается сделать перевод и отправить текст в редакцию. Прошу небольшую часть интервью записать на магнитофонную ленту по-русски. Суфанувонг соглашается.

— Разрешите мне, — начинает он, четко выговаривая каждое слово, — передать братский привет великому советскому народу. Пусть крепнет боевая дружба между лаосским и советским народами. Успехов вам в строительстве коммунизма. До свидания!

Принц знает четырнадцать иностранных языков. На десяти читает, пишет и говорит: на русском, французском, английском, испанском, немецком, итальянском, греческом, латинском, тайском и вьетнамском.

Судьба этого человека поистине легендарна. Его жизнь как бы распадается на две части — до и после 1945 года. И хотя между обеими частями есть прямая связь, преемственность, это все же как бы две жизни. Так считает сам принц.

Я прошу Суфанувонга ответить еще на несколько вопросов биографического характера. Вопросы эти не так просты и вовсе не второстепенны, как может показаться на первый взгляд. Даже для людей, проживших десятки лет в Лаосе, сложные родственные связи большой королевской семьи остаются загадкой. Сотни принцев, тысячи и тысячи людей, причисляющих себя к королевской семье, играют активную роль в политической жизни страны. Многие из них вот уже четверть века находятся по разные стороны фронта. До сих пор на имя Шри Саванга Ваттханы, нынешнего короля Лаоса, шлют послания лидеры самых разных лаосских группировок, участвующих в лаосской войне. И сами эти лидеры — и принц Суфанувонг, лидер патриотических сил, и принц Суванна Фума, глава вьентьянского правительства, продолжающего военные действия против патриотов, — члены все той же большой королевской семьи.

Суфанувонг берет лист бумаги и начинает объяснять:

— Более подробно я остановлюсь лишь на принцах луангпрабангской королевской династии. К их числу отношусь и я сам. Луангпрабангская, чампассакская и вьентьянская ветви ведут прямое начало от короля Сулинья Вонгса, правившего страной в конце XVII и начале XVIII века. С XIX века королевский престол наследуют уже только луангпрабангские принцы. После короля Манта Турата, который умер в 1836 году, в королевской семье появляются две династические ветви — старшая и младшая. Старший сын Манта Тураты стал королем, а младший — вице-королем, или, по-нашему, «упахатом». Нынешний король Лаоса Шри Саванг Ваттхана, вступивший на трон в пятьдесят девятом году, наследник старшей династической ветви, а я и мои братья представляем младшую. Если же говорить о родственных связях, то его величество Шри Саванг Ваттхана — мой племянник. У моего отца, упахата Бун Конга, было одиннадцать жен. Мой старший брат принц Фетсарат был последним вице-королем. Сейчас из пяти моих братьев-принцев осталось двое: я и Суванна Фума. Мы с ним сводные братья. Помимо основных — старшей и младшей луангпрабангской династических ветвей, — в Лаосе множество других, образующих большую королевскую семью.

— Много ли у вас детей?

— Восемь сыновей и две дочери. Пятеро из них учились или учатся в Советском Союзе. Старший сын Ария окончил физико-математический факультет Московского университета, а дочь Виен Кео — Институт международных отношений. Все старшие дети — активные участники освободительного движения. Ария после возвращения в Лаос был назначен комиссаром в один из районов Сам Неа, где шли ожесточенные бои против лаосских наемников ЦРУ. Он трагически погиб в начале 1968 года.

Затем принц рассказал в общих чертах о перипетиях своего жизненного пути, я передам его рассказ с некоторыми дополнениями и разъяснениями.

13 мая 1912 года, когда в семье упахата Бун Конга родился сын, ему дали имя Суфанувонг. Мать мальчика была простой лаотянкой. Суфанувонгу было восемь лет, когда умер отец. Но он по-прежнему жил вместе с другими принцами в королевском дворце в Луанг Прабанг, окруженный заботами многочисленной челяди. Отца ему и Суванне Фуме заменил старший брат — принц Фетсарат. А вскоре мальчика отправили в Ханой — учиться в привилегированном лицее Альбера Сарро. Здесь прошла его юность. Через десять лет, получив степень бакалавра, принц Суфанувонг уезжает на девять лет в Париж. В 1939 году, девятнадцать лет спустя, он надолго возвращается на родину. Суфанувонг — один из первых инженеров Лаоса. Он проектирует и строит десятки отличных мостов. Последний, самый любимый, как отзывался о нем сам Суфанувонг, он построил в 1940—1942 годах недалеко от Чепона. Несколько лет назад этот мост разбомбили американцы.

Весть о капитуляции Японии, оккупировавшей к тому времени Индокитай, застала Суфанувонга в Ханое. Здесь он встретился с Хо Ши Мином, будущим президентом первого в Юго-Восточной Азии государства рабочих и крестьян. На глазах Суфанувонга происходили бурные события вьетнамской августовской революции 1945 года. Принц срочно выехал в Лаос, в Саваннакет, чтоб принять участие в освободительной борьбе своего народа.

Так начался новый этап в его жизни. Впрочем, для самого Суфанувонга поворот не был неожиданностью. За долгие годы учения и работы, в свои тридцать три года, он во многом разочаровался, многое понял в окружающей его жизни. Годы поисков, раздумий, исканий гимназиста, студента и инженера на многое открыли глаза.

О некоторых из своих встреч, оставивших заметный след в его душе, он рассказал мне в этой небольшой хижине под шум ливня и раскаты грома. Во Франции лаосский принц познакомился с французами, совсем не похожими на колонизаторов. Было это в незабываемые тридцатые годы подъема Народного фронта, когда начинающий инженер проходил практику в доках Бордо и Гавра. Многое дало ему общение с прогрессивными кругами французской интеллигенции. Постепенно его увлечения техникой, биологией и медициной отступают перед социальными проблемами. Но он еще многого не знал, не понимал. Сказались девятнадцать лет жизни вдали от родины. Когда же он увидел на лаосской земле полурабский труд кули на каучуковых плантациях, когда постиг всю горечь слов «дороги, вымощенные костями туземцев», когда узнал, что значит быть в глазах колонизаторов «туземным инженером», многое, очень многое понял сын упахата Бун Конга.

В первом временном правительстве независимого Лаоса, созданном в октябре 1945 года, премьер-министром стал принц Ххаммао; принц Суфанувонг — министром вооруженных сил и главнокомандующим; принц Суванна Фума — министром общественных работ. В марте 1946 года раненый принц Суфанувонг с последними частями и временным правительством отступил в Таиланд. В Лаос вновь вернулись французские колонизаторы. Постепенно, к 1949 году, большая часть членов временного правительства перешла на сторону французов. Лишь принц Суфанувонг и его соратники не согласились на сотрудничество с колонизаторами и продолжали борьбу.

Во многих районах Лаоса разгорается партизанская борьба, в ходе которой выросли прославленные командиры Кейсон, Нухак, Ситхон Коммадам, Фейданг и другие. В освобожденных районах образуются народные комитеты, ликвидируются феодальные и колониальные порядки.

25 октября 1949 года оставшиеся в Таиланде члены временного правительства большинством голосов приняли решение о роспуске национальной армии Патет Лао и о самоликвидации временного правительства. Принц Суфанувонг и его

сторонники выступили против этого решения и нелегально вернулись в освобожденные районы Лаоса.

В августе 1950 года в освобожденных районах Сам Неа был созван национальный конгресс представителей движения сопротивления колонизаторам. На нем было принято решение о создании Единого фронта освобождения Лаоса — Нео Лао Итсала (НЛИ), принята программа борьбы против французских колонизаторов, за подлинно независимый Лаос, избран ЦК НЛИ и сформировано правительство национального Сопротивления. Председателем НЛИ и главой правительства был избран принц Суфанувонг. Борьба продолжалась.

Женевские соглашения 1954 года по Индокитаю означали для Лаоса конец господства французских колонизаторов, восстановление мира. Но в действительности путь к достижению независимости оставался тернистым. На смену французским колонизаторам пришли янки. Их ставленники затянули претворение в жизнь Женевских соглашений, а в 1959 году сорвали их окончательно.

В новой обстановке в январе 1956 года в Сам Неа был созван второй съезд Нео Лао Итсала. Его решением НЛИ был переименован в Нео Лао Хансат — Патриотический фронт Лаоса (ПФЛ). На съезде была принята политическая программа. Она наметила задачи борьбы за мирный, нейтральный, независимый Лаос. Председателем ЦК ПФЛ был избран принц Суфанувонг.

Правые лаосские организации, вынужденные сперва согласиться на коалицию с ПФЛ, затем пошли на открытое предательство. В мае 1959 года принц Суфанувонг и другие видные деятели Патриотического фронта Лаоса были арестованы. В застенках вьентьянской тюрьмы им угрожала физическая расправа. Лишь через год при содействии подпольных организаций узникам удалось совершить дерзкий побег.

А в августе 1960 года во Вьентьяне восставший гарнизон королевской армии во главе с капитаном Конг Ле и старшим лейтенантом Дьюном установил контроль над столицей, объявив себя нейтралистами, то есть сторонниками мирного урегулирования лаосской проблемы путем переговоров между ними, правой группировкой и ПФЛ, в результате которых должно быть сформировано коалиционное правительство трех основных политических группировок. Оно было создано осенью и получило одобрение со стороны короля. В законное правительство Лаоса вошел принц Суфанувонг, другие представители ПФЛ, а также правые и нейтралисты. Но лаосская реакция, за спиной которой стоял Вашингтон, подняла мятеж в южных городах, и оттуда они повели наступление на Вьентьян. В декабре правые мятежники ворвались в столицу.

Части Патет Лао и нейтралистов с боями отступили в горные районы. Часть членов коалиционного правительства вместе с ними ушла в освобожденную Долину кувшинов, другие эмигрировали в Камбоджу. Временной ставкой этого законного правительства в дни войны стал город Кхан Кхай. Здесь же при законном правительстве находилось и посольство Советского Союза.

Война снова полыхала по всей стране.

К лету 1962 года под контролем Патриотического фронта Лаоса и образовавшейся в 1960 году нейтралистской группировки находились две трети страны. США вынуждены были 23 июля 1962 года пойти на подписание Женевских соглашений по Лаосу.

Второй конгресс ПФЛ, собравшийся в апреле 1964 года, подвел итоги восьмилетней борьбы против поддерживаемых американцами правых сил и принял программу первоочередных задач. В конце октября — начале ноября 1968 года в Сам Неа состоялся Чрезвычайный, по существу третий съезд ПФЛ. Он принял новую политическую программу. В ней поставлена задача довести до конца борьбу против агрессии США — за единый, мирный, нейтральный, независимый Лаос, в котором не будет места ни иностранным войскам, ни иностранным военным базам. В программе были также сформулированы задачи первоочередных демократических и социально-экономических преобразований. Председателем ЦК Патриотического фронта Лаоса был снова избран принц Суфанувонг.

Так на всех этапах большого и трудного пути национально-освободительного движения бесменным его лидером был и остается «красный принц» Суфанувонг. Вместе с ним — его боевые соратники Кейсон, Нухак и другие.

Авторитет «красного принца» в стране настолько велик, что даже враги Суфанувонга не решаются в открытую чернить его. Лидера сражающегося Лаоса часто можно увидеть в селениях освобожденных районов, на массовых митингах. На одном из них был однажды и я.

— Принц, товарищи, братья! — обратился к собравшимся, открывая этот митинг, председатель.

Товарищи, братья — это те, кто борется плечом к плечу за единую, независимую, демократическую и мирную отчизну, против империализма и сил внутренней реакции. Таково теперь содержание слова «товарищ» и в Лаосе, и в Южном Вьетнаме, и во многих других странах, охваченных освободительной борьбой.

В своем интервью Суфанувонг знакомил советских читателей с общей обстановкой и первоочередными задачами. В беседе со мной он говорил о Москве и Сам Неа, о Лаосе и Советском Союзе. Принц несколько раз был в нашей стране. Впервые он увидел Москву в 1961 году. Из Москвы получает он и теперь письма от своих детей.

— Мы не забыли, — говорит Суфанувонг, — что первым государством, признавшим наше правительство, рожденное в бурном 1960 году, был Советский Союз. Не забыли и того, что посольство СССР находилось с нами в освобожденном районе в 1961—1962 годах. Почти четверть века мы ведем суровую борьбу за свободу и независимость. Жить людям приходилось, да и приходится, сами видите, в трудных условиях. Но мы полны решимости добиться свободы, независимости, лучшей жизни своему народу. Поддержка, помощь Советского Союза, других социалистических стран, всех революционных народов придает нам новые силы. И это не просто слова!

Принца ждут неотложные дела.

— Ну что же, — говорит он на прощанье по-русски, — до свидания. Приезжайте еще раз к нам в Самград — так, кажется, по-русски Сам Неа?.. Придет время, и мы снова встретимся, но не здесь, а во Вьентьяне — столице единого независимого Лаоса. А пока, — улыбнулся он, — пока я отдал распоряжение, чтобы вас до ближайшей базы сопровождал бронетранспортер. Война. Ничего не поделаешь.

Набросив на плечи плащи, осторожно спускаемся по скользкой лестнице вниз на тропу. Дождь прекращается. Через несколько минут останавливаемся. Выжидаем. В небе снова появились американские бомбардировщики.

В ГОРАХ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ЛАОСА

Четвертый день находимся на небольшой базе в глубине джунглей. Ждем связных, которые задержались из-за почти непрекращающихся налетов американской авиации. Живем втроем дружной коммуной: водитель Тэ, переводчик Тхуонг и я. Снова на несколько дней наш быт вошел в нормальную колею: днем работаем, ночью спим. С Тэ я знаком уже больше года. Вместе проделали мы тысячи километров по дорогам Вьетнама, недосыпали, недоедали. Но в этих краях мы впервые. Тэ уже давно за сорок. В Ханое жена и куча ребятишек. Он повсюду, даже если стоим хотя бы один день, обрастает приятелями. Вот и здесь уже с кем-то успел обменяться сувенирами: Тэ подарил подобранный в пути небольшой контейнер от американской осветительной ракеты, а к нему перешли роскошные рога горного оленя. Пока мы с Тхуонгом занимаемся подготовкой к дальнейшей дороге, водитель успел узнать об истории района, об обстановке и о местных съедобных растениях — это может пригодиться в пути.

Тхуонг, стройный кареглазый парень, в отличие от Тэ неразговорчив. Он принадлежит к народности лаотхынг. Впервые за последние годы снова едет в родной край. Его деревня где-то под Чепоном, городом, которого больше нет, как может быть, нет и его деревни. Ушел он из этой деревни четырнадцатилетним мальчуганом, оставив там родных и свою нареченную — у народности лаотхынг юноши женятся в двенадцать — шестнадцать лет. На вид ему больше двадцати и не дашь. На самом деле — тридцать. Из них шестнадцать — это партизанский отряд, учеба, снова борьба. В годы первого Сопротивления Тхуонгу много пришлось общаться с вьетнамскими добровольцами. И теперь он свободно говорит на трех языках: родном лаотхынгском, лаосском и вьетнамском. А вчера утром, увидев у меня в руках «Правду», медленно прочитал вслух несколько заголовков. Перевести, правда, не смог. Русский начал учить несколько лет назад, слушая уроки по радио. А потом в круговороте дел так и не смог продолжить. Красивым ученическим почерком вывел в моем блокноте: «стол», «стул», «Маша». Мечтает побывать когда-нибудь в Москве и научиться русскому языку. За свою беспокойную жизнь Тхуонг переменял много профессий — от связного до кино-механика. Недавно окончил курсы кинооператоров. Его мечта — снять большой полнометражный документальный фильм о лаосской войне, а пока Тхуонг прикомандирован в нашу группу. Я часто вижу его одного погруженным в свои думы. С остальными спутниками познакомиться труднее. Я не знаю лаосского, они — русского. Да и дел у бойцов пока больше, чем у нас: приходится вести круглосуточные дежурства по охране нашей базы, ремонтировать дорогу.

По вечерам коротаю время, слушая то грустные, то отчаянно веселые лаосские мелодии. Их играет на стареньком кхене карабинер Хамди. Кхен — самый популярный национальный инструмент: четырнадцать тоненьких бамбуковых трубочек, скрепленных лопарно. В руках Хамди он превращается в настоящий «мини-орган». Хамди — виртуоз-самоучка. А вообще я еще не встречал лаосца, который не умел бы играть на этом инструменте. Мелодии, как правило, традиционные, а слова каждый раз новые. Чаще всего песня и танец слиты воедино. У большинства песен припевки хоровые. Присутствующие хлопают в такт ладошками, в то время как танцоры отплясывают в кругу. Один из танцоров, как где-нибудь у нас на деревенском прятчке, запекает озорные частушки под одобрителный смех, крики и свист присутствующих. Эта импровизация может начаться в любое время без всякого повода, просто в короткие минуты передышки. Без песни, танца и кхена лаосца трудно представить.

Перед рассветом проснулись от шума грузовика и громких голосов. Прибыли связные. С наступлением сумерек двинемся в путь. Провожают нас торжественно, насколько позволяет обстановка. На столе последняя на базе курица, пиялы с рисом и даже по стакану самогона. Перед самым отъездом каждому завязывают на запястье белые толстые нитки. Это «баси» — пожелание счастья, доброго пути. Без «баси» и связанных с ним торжественных церемоний не обходится ни одно сколько-нибудь важное событие в семейной жизни лаосца и даже в государственных делах. И носят «баси» до тех пор, пока они не перетрутся. А их на каждой из рук по несколько десятков.

* * *

— Прибыли! — слышу сквозь сон голос Бунена.

Полуторка резко тормозит. Еще темно, но на востоке уже проглядывается светлая полоска. Несколько минут спустя мы один за другим забираемся по шаткой лесенке во влажное нутро темной пещеры. На настилах из досок громоздятся тюки, ящики. Карабинеры осторожно продвигаются между завалами вглубь, пытаюсь найти местечко для ночлега. Но вся пещера оказывается забитой непонятными для нас тюками и ящиками.

После короткого совещания решаем устроиться прямо на них, предварительно ознакомившись с содержимым. Кому охота спать на взрывчатке или па-

тронах? Осторожно вскрываем один, другой, третий. Мыло! Спички! Ткань! Мотыги!

Выделив дневального, устраиваемся на отдых. За целую ночь проехали всего около двадцати километров. Находимся, видимо, где-то по соседству с механическим заводом, в одном из складов-факторий. Но это выяснится утром. Перед тем как завалиться спать, решили поесть. «Поварской» наряд с котелками растворяется в темноте. В одной из ниш пещеры карабинеры нашли самодельную маскировочную лампу. Она устроена так: керосиновая коптилка ставится в большую пустую консервную банку с квадратным отверстием, которое в случае тревоги задвигается крышкой. Такая лампа — обязательная принадлежность пещер-гостилиц и крестьянских жилищ.

Через час повара возвращаются. На лицах загадочные улыбки. Оказываются, они умудрились не только вскипятить воду и сварить рис, но и приготовить суп из листьев дерева же, похожий по вкусу на рассольник.

Утром нас поднимает сигнал тревоги. К пещере движется группа неизвестных. Свои или диверсанты? Неизвестно. А пока боевая тревога. Незнакомцы оказались «хозяевами» — рабочими разыскиваемого нами механического завода. Он разместился неподалеку — тоже в пещерах, куда нас и приглашают переселиться. В самой большой из них — столы, скамейки из бамбука и небольшая трибуна. В глубине портрет принца Суфанувонга. Это клуб. По соседству в низких пещерах разместились цеха, жилые помещения, общежитие дорожных рабочих, склады. В городке постоянно проживает до двухсот человек. Среднего роста лет сорока лаосец знакомится с нами. Он здесь и директор и командир. Сначала, разумеется, пьем чай и лишь затем приступаем к главному — разговору о предприятии. А за это время мелкий дождь переходит в мощный тропический ливень. За плотным потоком воды ничего не видно. Сплошная водяная стена. Зажигаем коптилки. В пещеру врываются мутные пенные ручьи. Где-то в глубине они уходят под землю.

— Да, — говорит директор, наблюдая, как набухают потоки, — из-за тропических ливней нам скоро снова придется менять базу. Вот так и живем четыре года. То бомбят американцы, то потоп. Скоро на все лето этот район превратится в болотистую кашу. Ни пройти, ни проехать. Это уже восьмое место, куда мы перекочевали за последние четыре года. Трижды наше предприятие накрывали американские бомбардировщики. Мы уже присмотрели новый район — повыше и посуше. Потихоньку за месяц, пожалуй, и переберемся.

Ливень кончился так же неожиданно, как и начался. И мы отправляемся в цеха. В соседних пещерах — кузница, слесарные и столярные верстаки. Рядом готовая продукция — котелки, мотыги, лопаты, наконечники для плугов, другие сельскохозяйственные орудия и предметы домашнего обихода.

На предприятии всего несколько специалистов, профессиональных рабочих. Остальные — новички; им еще совсем недавно был знаком лишь нелегкий труд земледельца и охотника, только в этих пещерах многие из них научились читать и писать. Здесь деревня как бы переплелась с городом. Из пещер доносится заводской шум, и тут же разгуливают собаки, пятнистые свиньи, куры. У скальных выступов в клетушках тревожно мычат буйволы. На полянках сушится белье, развешанное на тонких нитях лиан. А где-то совсем рядом в темных многоярусных джунглях время от времени стремительно проносятся стаи гиббонов, и тогда до нас доносится их захватывающий резкий свист. На вершинах соседних великанов-деревьев гнездятся огромные черные птицы.

В нескольких километрах отсюда вчера ночью прошло стадо диких слонов, оставив в илистой почве глубокие следы. Где-то совсем рядом кукует кукушка. Порою кажется, что ты на каком-то отрезанном от всего мира клочке земли. Но это не так: база десятками троп и дорог связана с такими же поселками, эвакуированными деревнями. Здесь тоже, образно говоря, фронт. В пиратской воздушной войне, которую вот уже шестой год ведут в Лаосе американцы, Пентагон одной из главных задач поставил подрыв экономики освобожденных районов,

удушение патриотических сил «голодной смертью». В главной ставке ПФЛ я побывал в экономическом комитете Фронта. Руководители этого учреждения, которое и в шутку и всерьез называют министерством экономики, рассказали о положении на местах и о своих планах. Главные проблемы — продовольственный вопрос, снабжение населения и армии необходимыми товарами. Из семисот тысяч га обрабатываемой площади почти пятьсот тысяч — причем лучших земель — находится в зоне, контролируемой вьетнамским правительством. Заново почти на голом месте пришлось в освобожденных районах создавать и промышленность. Лишь с 1968 года ПФЛ смог приступить к реализации первого трехлетнего плана развития экономики. Главные его задачи все те же — решение продовольственного вопроса, развитие промышленного и кустарного производства. Итоги первого года обнадеживают. План по основным показателям успешно выполнен. Увеличились посевные площади под рисом. Налаживается работа эвакуированных в труднодоступные джунгли и горные районы предприятий.

Рабочие, служащие, бойцы и командиры НОАЛ по строго установленным нормам регулярно снабжаются необходимым минимумом продовольствия и потребительских товаров. В победе на экономическом фронте есть заслуга и механического предприятия, под гостеприимным кровом которого находится наш отряд.

Со второй половины дня горную долину снова заполняет рев реактивных двигателей, разрывы бомб. «Амелика» взялась за свою обычную работу. По долине раскатывается гулкая канонада зенитных батарей. Они разместились на гребнях горных кряжей на высоте двухсот—трехсот метров. Не так-то просто в этом краю бездорожья тащить на такую высоту по крутым склонам орудия, наладить бесперебойное снабжение снарядами, водой, питанием. Еще труднее перебазировать демаскированные врагом батареи.

На закате к пещерам на бешеной скорости подъехал грузовик. Задняя часть кузова словно обрублена. Водитель сбивчиво рассказывает, что на трассе, идущей через джунгли, они неожиданно выехали на открытый участок, выжженный прошлой ночью напалмом. И надо же случиться — попали под обстрел американских самолетов. Что со второй машиной — он не знает. Она шла следом. Прошлой ночью на этой же дороге были подожжены две машины с медикаментами. Есть убитые, раненые...

* * *

Эти записи я делаю, пристроившись на нарах. С потолка пещеры то и дело падают крупные водяные капли. На соседнем настиле при свете бамбуковых факелов фельдшер перевязывает нашего шофера Тэ. И тотчас на белоснежных бинтах выступают расплывающиеся алые пятна. Оказывают помощь и другим ребятам из нашего отряда. После контузии я стоны и разговор слышу как бы издалека. Закончив перевязку, девушка направляется ко мне.

— Суон, — представляет ее командир отряда.

Она раскладывает на нарах инструменты, ампулы. Предстоит уколы от столбняка.

События последней ночи, которая еще не кончилась, разворачивались стремительно и трагически сказались на судьбе нашего небольшого отряда. Вот как это было.

Мы выехали ночью. Приказ не зажигать фар. Вдоль разбитого полотна дороги — гигантские бомбовые воронки, черные, выжженные напалмом квадраты земли и мертвые деревни. Стоят хижины на сваях, темнеют еще не сгнившие заборы. И ни огонька, ни звука. Время от времени над головой с ревом проносятся самолеты и исчезают. Возникнет из темноты дорожный патруль — проверит, пропустит, и снова мертвая тишина.

Страшная фронтовая дорога, уродливое лицо которой не в состоянии скрыть даже великолепная тропическая ночь. Уцепившись за поручни, дремлем, просыпаясь на ухабах. В полусне чувствую, как машина начинает вертеться, а

потом следует сильный удар, взрывы бомб, рев удаляющегося самолета. И тишина, прерываемая стонами. Это не сон. Оглядевшись, пытаюсь найти выход. Дверцу заклинило. Мы лежим вверх ногами. Выползаю через разбитое ветровое стекло и хватаюсь за кусты. Внизу пропасть. Машина чудом удержалась на крутом склоне, уткнувшись в огромное одинокое дерево. Все тело горит огнем. Крови не видно. Наконец, понимаю, в чем дело. Выбрался прямо в муравьиную кучу. Рядом из-под машины выползает еще кто-то. Вдвоем пытаемся вытащить остальных. У Тэ лицо, шея, одежда в крови, ноги перебиты. Двигаться не может. По одежде ползут полчища муравьев. Оставив машину, перетаскиваем раненых наверх — к полотну дороги, перевязываем рубашками, майками. В машине оружие, документы, продукты, кино- и фотокамеры, магнитофон, пленка. Часть отснятой пленки погибла, повреждена кинокамера.

Что делать? Прежде всего маскируем машину. Если она будет видна с воздуха, по ней снова будут бить ракетами. Один из бойцов (его лишь слегка контузило) уходит в разведку, а мы, укрывшись в кустарнике, ждем: авось пройдет попутная машина. Но надежд мало. Впереди в нескольких километрах от нас американские самолеты вывешивают в небе осветительные ракеты.

К утру добрались до «обжитой» пещеры, где и встретили Суон. Пока она оказывала первую помощь, рабочие дорожного отряда вытащили нашу машину на дорогу. И хотя чудес не бывает, но машина ожила и своим ходом добралась до госпитального поселка.

Факелы снова приближаются. Суон обносит раненых и контуженых водой в термосе. Вода здесь необычная, я долгое время не мог к ней привыкнуть. Кипяток настаивается на жженом клейком рисе. Утверждают, что этот мутноватый напиток гигиеничен, питателен и хорошо утоляет жажду. В отблесках пламени отсвечивают серьги и браслеты Суон, светится ее милая, добрая улыбка. Уже потом я узнал, что она за несколько дней до нашего появления потеряла любимого. Он погиб на этой же дороге от осколка американской бомбы.

Покидаем базу на следующий день. Двигаемся на попутном грузовике дальше, а наш неунывающий Тэ остается на попечении Суон. Его переправят в полевого госпиталь. Пройдет еще много месяцев, прежде чем мы сможем с ним встретиться вновь. Долгие месяцы Тэ будет числиться в «списках пропавших». В корпункт «Правды» в Ханое после моего возвращения из лаосской командировки придет жена Тэ с кучей ребятишек. Вместе с ней мы будем разыскивать ее мужа, посылать запросы, волноваться: жив ли он? А потом Тэ явится сам, и мы узнаем, что этот дорожный инцидент был лишь началом долгой и трудной игры в прятки со смертью...

* * *

Следующий день провели у зенитчиков. В деле я их видел не раз. Но на фронте жизнь складывается не только из боев и атак. И очень важно, что было до и после боя, как живут солдаты и командиры.

Светло-зеленые фуражки с козырьками, гимнастерки и широкие брюки цвета хаки, парусиновые прорезиненные полуботинки. Так внешне выглядят бойцы и командиры прославленной зенитной батареи, на счету у которой десятки сбитых американских стервятников. Самому молодому — пятнадцать, а «старику» Енгу — тридцать пять. На мой вопрос: кем мечтаете быть после войны? — отвечаю вразнобой: водителем машины, рабочим на механическом заводе, военнослужащим. Но большинство все-таки хочет вернуться в родные села. Когда я спрашиваю, кто же из них сбил больше всего самолетов, все поворачиваются к небольшого роста бойцу. На его счету «Т-28» вьетнамских ВВС, который здесь называют «мухой», военно-транспортный «С-147», обслуживающий по заданию ЦРУ диверсионно-шпионские банды, и реактивный «Ф-105» — ударная сила ВВС США. Зовут зенитчика Ну. Он рассказывает о боях, в которых его расчет одержал победу. Его дополняют другие.

Район здесь горный, население малочисленное. Нередко американским пило-

там удается уйти от кары. Другие погибают, не успев раскрыть парашюта. А третьи отсиживаются в плену.

Постепенно разговор меняет направление. Говорим о жизни, о том, какими путями пришли они сюда. Ну двадцать пять лет. В партизанских отрядах он с шестнадцати. Шестой год воюет зенитчиком. Его родная деревня до сих пор в зоне, контролируемой правыми. Что с отцом, матерью, братьями и сестрами, не знает. С лица не сходит улыбка, когда он рассказывает о жене, детях.

— Они здесь недалеко. Километрах в тридцати. Живы. Вместе с другими временно обитают в пещере. Недавно родился второй сын. Старшему уже два года, и ему дали имя Сихо.

— А как называли младшего?

— О, это не так быстро у нас делается. Но я верю, что придет время, когда мы сможем дать имя и второму сыну. И знаете, как это будет? Устроим пир. Потом повяжем сыночку «баси» и дадим настоящее имя.

Сидящий рядом Тхунг как бы невзначай заметил:

— Мне настоящее имя дали, когда было четыре года. Я рос хилым ребенком.

Древний лаосский обряд присвоения имени — очень торжественный, он связан не только с анимистическими представлениями, но и с суровыми условиями жизни, с высокой детской смертностью. Еще совсем недавно из десяти новорожденных выживало двое-трое. Остальных косили эпидемии, голод. Одна старая лаоска, потерявшая одиннадцать «безымянных» детей, грустно заметила:

— Если бы у них были имена, то я вспоминала бы каждого по имени. А так вот приходится горевать обо всех сразу: бедные мои дети.

Сейчас имена дают на шестой, восьмой месяц. Меняется жизнь, меняются обычаи. Но скоро и нынешние уступят место новым. Смертность детей в освобожденных районах за последние годы резко сократилась. И это тоже достижение освободительной борьбы.

Командир батареи Кхамсук в революционной борьбе с пятнадцати лет. Он вспоминает родную деревеньку: хижинки на сваях, в каждом доме на видном месте луки и самострелы, рога горных животных. К охоте приучали с малолетства. Сначала на мелкую дичь, а потом и на кабанов, обезьян, тигров, слонов. За долгие годы войны он так и не смог больше побывать в родной деревушке. Женился. Потерял двоих детей. Бывший мальчик-связной стал командиром прославленной зенитной батареи.

Провожают нас с песнями. Квартет кхенов — ударная сила батарейной самодеятельности — исполняет махасайские и чепонские танцы — мелодии далеких краев, из которых пришли сюда бразые солдаты.

Через час над долиной снова гремел бой. И до нашей пещеры докатывалась канонада зенитных расчетов Н-ской батареи. На войне, как на войне.

* * *

На очередной стоянке связного, о котором сообщала телеграмма Главной ставки, не оказалось. Из-за этого, казалось бы, пустяка путь немного удлинится. После утомительных поисков удалось лишь установить связь с одним из племен лаотхынгов, разместившимся в соседних джунглях. Переговоры окончились успешно: нам разрешили вступить на горный тракт и выделили группу носильщиков до ближайшего «перекладного пункта».

Впрочем, для того, чтобы последующий рассказ был понятен, необходимо остановиться на некоторых особенностях национального и религиозного состава населения освобожденных районов.

Лаос — буддийская страна. Так пишут в путеводителях и научных трудах. Но это верно лишь отчасти. Буддизм утвердился в стране с XIV века, когда пришедшие сюда с севера лао основали свое первое государство, которое они назвали Страной миллиона слонов и белого зонтика. Древние племена и народности, населявшие истари эти земли и известные ныне под названием «лаотхынг», бы-

ли оттеснены из долины Меконга в горные районы. Но до сих пор они — вторая по численности народность Лаоса. Их можно встретить повсюду. Основной район, где лаотхынг и поныне составляют большинство, — это Средний и Нижний Лаос.

Так вот, если у собственно лаосцев (или, как их называют, лаолум) традиционной религией был и в значительной степени остается буддизм, то остальные народности сохранили свои прежние анимистические верования. Но поскольку большинство национальных меньшинств за последние десятилетия оказались в партизанских и освобожденных районах, находясь под контролем патриотических сил, здесь, в ходе строительства новой жизни, новых отношений, старые религии и верования постепенно уступают прогрессивному революционному мировоззрению. В Сам Неа, в Главной ставке патриотов, мне довелось беседовать с интересным человеком — Кхамсенгом, встречаться с его помощниками из группы по делам национальностей при ЦК Патриотического фронта Лаоса. Они рассказали мне, что в первые же годы освободительной борьбы остро встал вопрос о создании единого общелаосского прогрессивного фронта. А для выработки программы и конкретных мер необходимо было выяснить этнический состав населения страны, выявить основные народности. С этой целью уже в 1950 году была создана группа специалистов. Лишь в 1954 году она смогла довести свою работу до того этапа, когда можно было приступить к первым выводам и обобщениям. Дело в том, что занимавшиеся этнографией Лаоса французские и другие иностранные этнографы колониального периода главное внимание в своих исследованиях уделяли изучению особенностей различных этнических групп, подчеркивая при этом то, что их разделяло. Патриотам-этнографам пришлось провести огромную и кропотливую работу, чтобы установить общие черты, объединяющие близкие друг к другу народности и племена. Это было нелегко, если учесть военную обстановку, нехватку кадров, сложный состав населения Лаоса. К настоящему времени, как принято считать, его трехмиллионное население (первая и последняя перепись была проведена в стране почти шестьсот лет назад, в 1376 году!) составляют, по неполным данным, шестьдесят восемь народностей и племен. В результате исследований были установлены три основные группы народностей. Приблизительно семьдесят процентов населения относятся к собственно лаосцам, или лаолум. К группе лаотхынг, составляющей около двадцати процентов населения страны, условно относят пятьдесят девять народностей и племен. У представителей древнейшего населения страны много общего в обычаях, обрядах, верованиях. Некоторые группы находятся на уровне каменного века и первобытнообщинных отношений. Что касается языка, то народности и племена группы лаотхынг нередко не понимают друг друга. Еще одна народность — лаосунги — пришла в Лаос с севера сравнительно недавно — два-три века назад. Самые многочисленные племена этой группы — мео.

Результаты этнографических исследований оказали помощь не только в проведении на местах политической работы по сплочению всех народов и племен в борьбе за независимый и свободный Лаос, но и в строительстве новой жизни, в выкорчевывании вредных пережитков тяжелого прошлого, в создании прогрессивной культуры. Так, на базе лаолумской письменности создана письменность лаотхынгов и лаосунгов. Появились первые школы, первые учебники, первые книги на этих языках. И когда я задаю вопросы жителям партизанских и освобожденных районов, кто они по национальности, мне отвечают — лаолум, лаотхынг, лаосунг, причисляя себя к одной из крупных ветвей лаосского народа. Раньше многим народностям и племенам давались презрительные названия. Лаотхынгов, например, обзывали «кха» — дикие рабы. Теперь этого не услышишь.

Лунной ночью с караваном носильщиков по проложенным сквозь джунгли горным тропам вступаем на землю лаотхынгов.

Особенно трудно даются подъемы. В отряде несколько раненых. Нелегко и воинам-носильщикам. На частых коротких остановках длинная цепочка людей об-

разует на каменистой площадке круг, обозначенный красными огоньками сигарок. Их скручиваем из древесных листьев. От крепких самокруток першит в горле, и кашель перекатывается по кругу.

Перед выходом всматриваемся в ночной небосклон, вслушиваемся в дремлющую тишину джунглей, изредка прерываемую свистом гиббонов, звериным рычанием, вскриками взбудораженных птиц.

Вверх — вниз, вверх — вниз. Пока в одной из долин не появилась неожиданно небольшая деревушка. Десяток хижин на сваях разместился под кронами огромных деревьев. И лишь вступив на сельскую улицу, убеждаемся, что перед нами еще одна мертвая деревня: дома стоят, а обитателей как ветром сдуло.

Один из носильщиков подходит к перекладине с подвешенной бамбуковой дощечкой. Ударяет по ней несколько раз со всего размаху. По горам раскатывается звонкое эхо. Минут через двадцать из кустов появляются двое воинов. Только татуировка на их телах несколько иная, чем у наших носильщиков. Они о чем-то совещаются. Наконец сообщают: скоро прибудет новый отряд носильщиков из племени, обслуживающего этот участок тропы. Один из воинов, явившихся по условному сигналу, уже отправился за ними в стойбище. Наши носильщики этой же ночью вернутся назад.

На рассвете прибывает новый отряд воинов. Со старинными тесаками и луками, в набедренных повязках. Через два-три километра очередная смена «наряда».

На призыв бамбуковой дощечки вышло четверо светлокожих парней двухметрового роста. Они молча оглядели поклажу, пересортировали ее в два «места», легко взвалили груз на бамбуковые носилки и первыми двинулись в путь. Лишь раз парни сделали остановку — у пяти просторных хижин на высоких сваях. Здесь устроили долгий привал, разговорились. Великаны-красавцы оказались местными жителями из народности путхай, принадлежащей к лаолумам. Удивительной красоты женщины принесли кокосовые орехи. Бросалось в глаза, что женщины держатся на расстоянии от мужчин. Вот одна, сложив перед собой ладошки, чуть согнувшись, стремительно пробегает от хижины к хижине, оглябая нашу мужскую компанию метров за пять. Оказывается, по путхайским обычаям, женщина не имеет права пройти между разговаривающими мужчинами. В одной из хижин я увидел большой портрет принца Суфанувонга.

Так, от селения до селения, и добрались мы до конечной цели нашего маршрута, рассчитанного на первые сутки, — небольшой деревни лаотхынгов. Здесь нам предстоял длительный отдых.

* * *

Эту запись я делаю в хижине главы одного из лаотхынгских племен. В разгаре солнечный день, а здесь, под низкой двускатной прокопченной крышей, бушует пламя очага: когда опускаются сумерки, жители, опасаясь налета, огня не разжигают. В одну из ночей двинемся дальше. Носильщики-воины, обслуживающие очередной участок горного тракта, уже здесь, отдыхают в соседних хижинах.

На косогоре, где разместилось эвакуировавшееся племя, вовсю кипит работа. Толкут в каменных ступах рис, сооружают загоны для скота, готовят пищу. Восемнадцать хижин. Всего в племени около ста человек. Несколько месяцев назад было на одну семью больше. И жили они не здесь, а в зеленой долине, в полуктора километрах отсюда — кусочек оставленной деревни впаден с косогора, — да вот из-за бомбардировок пришлось перебраться поближе к священному лесу. Об этом нам рассказывает Ван — тридцатилетний глава племени. Сам он в освободительном движении участвует с 1961 года. Первым перенес сюда бамбуковую дощечку — алтарь предков и добрых духов. С этого и началась новая деревня. За Ваном последовали другие. В первый же вечер вождь познакомил меня с другими соплеменниками.

Старик Планг родился более шести лунных двенадцатилетних циклов тому назад. Он не застал «дофранцузского» Лаоса, а вот работоторговцев и вере-

ницы рабов помнит. В ночной темноте мерцает тоненький язычок копилки. Перед копилкой рядом со мной сидят на корточках семидесятишестилетний Планг, наиболее уважаемые воины и землепашцы. Планг монотонно, с большими остановками рассказывает, словно былинку:

— Раньше нас называли кха. Ни мне, ни отцу моему, ни деду не довелось жить в свободной стране. Нам выпала иная доля — тяжелых унижений и позора. Сколько наших соплеменников погибло на чужбине, в рабстве! За века сотни тысяч лаотхынггов были уведены в чужеземное рабство, — продолжал он. — Вот почему нас называли кха — дикие рабы. Но наши предки мужественно защищались. Дед моего отца был одним из участников сражения с сямцами. Оно длилось три дня и три ночи. В бой вступали все новые и новые подкрепления. Но силы были неравными. На третий день все поле битвы было покрыто телами павших воинов, воды рек окрасились в алый цвет от крови раненых и убитых. Погибли сотни боевых слонов. И когда осталось совсем мало воинов и исход битвы был решен, предводитель мужественных лаотхынггов приказал дать знак, что он признает себя побежденным. Он вышел со своими сыновьями и встал перед вражеским войском. Взмахнул мечом — и голова старшего сына покатилась по траве. Взмахнул еще и еще... Последним ударом вождь покончил с собой. Одержав победу, сямцы устроили дикую резню. Те же, кто выжил и не успел скрыться в джунглях, были уведены в плен и проданы навечно в рабство. Старички рассказывали, что после резни от одного из племен, насчитывавшего более двухсот тысяч человек, осталось всего четыре тысячи.

В разговор вступает Лой, сухонький старичок с редкой белой бородкой. Он поправляет набедренную повязку, проводит рукой по бороде и, обращаясь ко мне, медленно говорит. Тхуонг фразу за фразой переводит его слова:

— О чужеземец, о сыновья и внуки мои. Я расскажу то, что видел, то, что было на моей угасающей памяти. В годы моей юности старики считали, что свою волюность мы потеряли из-за междоусобиц, из-за предательства, из-за того, что некоторые из нас, лаотхынггов и лаолумов, воевали друг с другом, чтобы захватить добычу и пленных. Я участвовал в одном из набегов на соседнее племя. У нашего вождя было много наложниц и рабов из бывших пленников и семей бедняков, которые за долги отдавали в рабство своих детей. Но ему этого было мало. Вождь решил воспользоваться тяжелым положением соседнего племени, с которым мы издавна жили в мире и дружбе. На него напали пришельцы. Отстаивая свою свободу, соседнее племя потеряло многих воинов. Этим и решил воспользоваться наш вождь. Вышли мы ночью, а к утру все было кончено. Рукопашная схватка длилась всего несколько часов. Тех, кто не сдавался, убивали. Обмазавшись кровью убитых соседей, мы плясали на их трупах. При свете подожженных хижин делили добычу и захваченных в плен мужчин, женщин, детей. А потом под боевые песни и гром барабанов ушли назад, уводя в свою деревню рабов, унося добычу. Слабых, старых и сопротивлявшихся добивали по пути. Больше всего добычи досталось вождю. Многое забылось, а это осталось в памяти до сих пор.

Мечется огонек копилки. Рядом с луками висят на перекладине карабины. Сквозь драпку, устилающую пол, виден темный провал бомбоубежища, а я все не могу вернуться в реальность: ведь все это было на памяти сидящего передо мною не такого уж старого человека.

— Да, — вступает снова в беседу Планг, — для нас теперь главное — держаться всем вместе. Вместе мы великая сила...

Расходимся за полночь. В хижине предводителя на циновках — дети, жена, он сам, я и Тхуонг. Душно. Бредит больной ребенок. Так и не сомкнув глаз, перебираюсь по шаткой лесенке вниз. Натягиваю между деревьев гамак, нейлоновую накидку от дождя, москитник и заваливаю спать. Просыпаюсь от прикосновений чьей-то руки. Глаза слепит мертвенно-белый свет, в ушах разрывы бомб. Ван тянет меня в бомбоубежище:

— Пай, пай, сахарй... (Идем, идем, товарищ...)

Над долиной на уровне нашего склона американские самолеты вывесили осветительные ракеты. Со всех сторон — детский плач, причитания женщин, мычание скота, крик домашней птицы и вой реактивных двигателей. Все это, усиленное горным эхом, звучит чудовищно, устрашающе. И так минут сорок.

А днем, пробудившись от громкого разговора, снова вижу тихую деревушку на косогоре. Рядом со мной на зеленой лужайке беседуют двое лаосцев. Всматриваюсь в лица и вспоминаю, что я их уже встречал за многие сотни километров отсюда. В Сам Неа. Они растирают опухшие ноги. Рядом на земле — длинные белые мешки, набитые рисом. Тесаки, пистолеты и фуражки с козырьком, какие носят бойцы Патет Лао. К верхнему карману походного мешка привязаны миска, кружка, фляга и фонарь.

Это бывшие курсанты политического училища ПФЛ. Закончив учебу, будущие комиссары с мандатами на руках шагают пешком по глухим дорогам и тропам на родину, в самые дальние районы Нижнего Лаоса. По командировочному удостоверению получают на складах положенные нормы риса, соли. С тех пор, как они вышли, минуло почти четыре луны — около двух месяцев. А впереди еще столько же.

Идут, видят, что происходит в стране, рассказывают о том, что видели, узнали, поняли сами. Комиссары освободительной революции. Они начинали борьбу двадцать с лишним лет назад партизанами в отрядах легендарного Ситхона Коммадама здесь же, в джунглях Нижнего Лаоса...

* * *

Собственно, одной из целей моей поездки в этот район и была встреча с Ситхоном Коммадамом. Я встречал его и до этого, но мне хотелось увидаться с ним именно здесь, на земле лаотхынгов, в его родной стихии. Сегодня поздним вечером из письма, которое доставил связной, мы узнали, что встреча не состоится. Ситхон Коммадам срочно отбыл в Главную ставку. И все-таки рассказ о лаотхынгах будет неполным, если не сказать здесь об удивительной судьбе целого поколения вождей этого мужественного народа.

Из книг, изданных на Западе или во Вьетнаме и рассказывающих о военно-политических бурях, пронесшихся над Средним и Нижним Лаосом за последнее столетие, можно узнать что угодно, вплоть до подробнейших деталей из жизни чампассакского принца Бун Ума, известных реакционных деятелей — Катая, Сананикона, Фуми Носавана, но только не об Онг Кео и Коммадамах, об их поистине героических и трагических судьбах. Разве что несколько фраз, сказанных мимоходом и с пренебрежением.

Для того, чтобы понять, насколько велики авторитет и популярность Онг Кео и Коммадамов, надо побывать в сражающемся Лаосе. Здесь в селениях и стойбищах, на боевых позициях и в глубоком тылу я слышал сказания и песни, рассказы очевидцев и соратников. Легендарные Коммадамы стали героями не только лаотхынгов, но и всего Лаоса. Именем Онг Коммадама названо первое офицерское пехотное училище ПФЛ. Как-то во время одной из встреч Суфанувонг представил мне своего собеседника:

— Ситхон Коммадам. Один из моих первых помощников.

Белая рубашка, галстук, строгий темно-синий костюм европейского покроя и несколько резковатая, но яркая образная речь. На вид за шестьдесят. Я представлял себе несколько иным лидера свободолюбивых горцев. И лишь после многих встреч понял, почему он так популярен. За внешней простотой, сдержанностью я увидел трибуна, говорящего с народом на близком и понятном ему языке, умного военачальника, трезвого политического деятеля, непреклонного революционера. От него я впервые услышал историю о «добрых разбойниках», вождях непокоренных лаотхынгов — Покадоуте, Онг Кео и Онг Коммадаме.

Сейчас наш маршрут пролегает по старым повстанческим базам Коммадамов. Начало этой истории восходит к мартовскому восстанию лаотхынгов 1901 го-

да. Шел восьмой год с тех пор, как Франция установила свой протекторат над Лаосом, огнем и мечом сломив сопротивление местных феодалов и их армий. Однако свободолюбивые лаотхынгй отказались подчиниться колониальным властям, выполнять принудительные работы и выплачивать налоги. Объединенные под командованием Покадоута, их вооруженные отряды окружили французскую резиденцию в Сараване. Армия повстанцев представляла внушительную колонну длиной в четыре километра. Тысячи воинов из маленьких горных стойбищ и селений собрались для решающего боя под знамена Добродетельного, как называли восставшие своего вождя. Свою же борьбу они назвали движение Счастливых людей, справедливо считая человеческим счастьем — свободу и независимость.

«Счастливых» поддержали и лаолумы. Вскоре весь юг страны от Кхаммуона до Саравана был в огне освободительной борьбы. Семь лет мужественно сражались повстанческие отряды, опиравшиеся на широкую народную поддержку. Против отрядов Добродетельного, вооруженных старинными щитами и мечами, пиками и луками, ножами и кремневыми ружьями, была брошена регулярная колониальная армия. Лишь в 1907 году французам удалось хитростью заманить вождя восставших в ловушку. Все они были казнены. Но разрозненные остатки повстанцев, оттесненные в глухие джунгли, продолжали борьбу. Через три года вспыхнуло новое, еще более мощное восстание. Оно продолжалось двадцать семь лет. Возглавил его Онг Кео, вождь лавелей, одного из самых многочисленных племен «диких рабов». Ни экономическая блокада, ни артиллерия, ни ударные силы колониальной армии не смогли сломить сопротивление плохо вооруженной армии Онг Кео. Плато Воловен оставалось неприступным бастионом повстанцев. И снова колонизаторы пошли на коварный обман — в 1916 году они предательски убили Онг Кео.

Но и после этого борьба продолжалась. На место Онг Кео сразу же встал его родной брат — Онг Коммадам. Его армия стала хозяином положения почти во всех районах Нижнего Лаоса. Ведя упорные бои с колонизаторами, повстанцы предприняли важные шаги по строительству новой жизни, развитию национальной культуры. Во всех контролируемых ими районах была отменена трудовая повинность, налоги и поборы колониальных и королевских властей. Первые были организованы школы, где лаотхынгй обучались на родном языке и собственной письменности кхон. По рассказам очевидцев, ее разработал сам Онг Коммадам. Как же сам вождь племени получил образование? Тринадцатилетним мальчиком он был брошен колонизаторами в тюрьму. Здесь такие же, как и он, заключенные преподали ему первые уроки грамоты. В тюремных стенах у Онга зародилась мысль о создании первой в истории древнего народа собственной письменности, об организации по всей «Лаотхынгйи» школ для знатных и незнатных.

Вывравшись из тюремных казематов, Онг Коммадам добирается до главной ставки восставших и становится одним из соратников своего брата Онг Кео.

Лишь к 1934 году, собрав в кулак крупные силы, французы оттеснили повстанцев в пограничный с Вьетнамом горный район Фу Луонг. А через два года окруженные со всех сторон отряды Онг Коммадама героически защищались до последнего. Против них были брошены авиация и артиллерия, отборные части колониальной армии, двести боевых слонов и натасканные в карательных операциях своры овчарок.

Колонизаторам удалось разгромить последнюю базу повстанцев. Шестидесятилетнему вождю, тяжело раненному в бою, с остатками отрядов удалось прорвать кольцо окружения и уйти в джунгли. Озверевшие каратели жестоко расправились с его семьей. Старшего сына Онга — Ситхона, раненного в бою, и оставшихся в живых двух других сыновей бросили в тюрьму. Военный трибунал приговорил Ситхона Коммадама к пожизненному тюремному заключению, а его братьев — к двадцати годам каторжных работ. В застенках был брошен и Санг Кхам, шестилетний сын Ситхона, внук Онг Коммадама...

В феврале 1937 года в джунглях от тяжелых ран умер Онг Коммадам. В последний путь его провожали ближайшие соратники. И чтобы колонизаторы не потревожили прах мужественного борца, его смерть долго держалась в тайне. А в народе Онг Коммадама стали считать бессмертным.

Его сыновей — Ситхона и Кхампхана — освободила революция 1945 года. Третий так и не дождался свободы. С 1945 года Ситхон Коммадам — активный участник освободительного движения. В марте 1946 года с последними частями Патет Лао он отступил в Таиланд, а в 1947 году снова вернулся в Нижний Лаос. С 1950 года Ситхон — член ЦК Нео Лао Итсала, а с 1956 года — заместитель председателя ЦК ПФЛ.

Сына Ситхона считали погибшим. Но Санг Кхам выжил и в 1950 году бежал из концлагеря. Горными тропами пробирается он на юг в ставку Ситхона Коммадама. Это была первая встреча отца и сына после пятнадцатилетней разлуки.

Радостной была она и грустной. Санг Кхам рассказал отцу о пережитых им трагических днях в Фу Луонге в памятном на всю жизнь 1936 году. Санг Кхам было шесть лет, когда погиб его дед — великий Онг Коммадам. На глазах мальчика каратели зверски убили двух его младших братьев. Несколько позже погибла и старшая сестра. К 1950 году из своих двадцати лет жизни — четырнадцать он провел в тюремных застенках, в ссылке. Сейчас Санг Кхам — член военного совета Народно-освободительной армии Лаоса в Нижнем Лаосе.

Имя Коммадамов стало символом мужества и свободолюбия, беспредельной любви к своей родине, своему народу. Во всех селениях освобожденных районов и воинских частях Патет Лао на почетных местах можно увидеть портреты вождей лаосской революции: принца Суфанувонга и его боевого соратника Ситхона Коммадама.

НА СИЕНГКУАНГСКОМ ФРОНТЕ

Бронетранспортер резко бросает в сторону. Еще не успеваю сообразить, в чем дело, как командир Сивилляй кричит:

— Пай бо дай! (Дальше нельзя!)

Светло, как днем. Видны даже листья на деревьях. Впереди гремят взрывы. Над головами шипящий звук — ракета! Через несколько минут вокруг снова темнота и тишина. Легкий ветерок несет едкую гарь... Пиратский налет.

Мы успели свернуть с дороги. Зенитные пулеметы, как объяснил Сивилляй, будем использовать лишь в крайнем случае. Бронетранспортер снова выползает на дорогу. Через несколько минут останавливаемся.

Языки пламени дожирают остовы трех хижин, прилепившихся к скалистому склону. Из темных пещер выскакивают один за другим с криками, проклятьями и плачем люди. Убиты наповал двое крестьян, случайно оказавшихся у входа. Остальные спаслись под защитой каменных сводов. Нутро пещер в едком дыму. На помощь уже прибыли местные ополченцы и дорожные рабочие. Тушат пожар, помогают женщинам с детьми...

Мы же продолжаем путь по единственному шоссе — дороге № 7. Она связывает восточные и западные районы Верхнего Лаоса. Нет больше на этой дороге до самой Долины кувшинов ни городов, ни селений, ни пагод. Но американскому командованию это нипочем — они бомбят и бомбят эвакуированных в джунгли и в пещеры людей, выжигают рисовые поля. До штаба командующего сиенгкуангским фронтом генерала Синкапо осталось немного, какие-то десятки километров. Я бывал уже здесь, предстоит встреча со старыми знакомыми.

Последний раз я виделся с генералом Синкапо в апреле 1964 года в Долине кувшинов. Только что безуспешно закончились переговоры лидеров трех группировок. Чувствовалось, что война стоит у порога. Генерал Синкапо не успе-

вал отвечать на вопросы журналистов, сыплющиеся со всех сторон, кому на лаосском, кому на французском, кому на вьетнамском. Отвечал лаконично, самую суть, остроумно. Один из английских дипломатов пытался поддеть Синкапо:

— Вы говорите, что американские самолеты совершают над освобожденными районами провокационные полеты. Где доказательства?

Генерал не задумываясь парирует:

— Хорошо. Я прошу внимания, господа корреспонденты! Если английский дипломат настаивает, то мы по его просьбе собьем парочку американских самолетов и представим их в качестве доказательства Великобритании — председателю по Женевским соглашениям 1962 года. Сэр, вы удовлетворены?

Дипломат растерялся.

— Вы меня не так поняли, я не просил сбивать американские самолеты, — бормочет он под дружный хохот корреспондентов.

Меня и потом не раз удивляла необыкновенная способность генерала вести беседу в наступательном стиле. Где надо, он тверд, ясен, а где шуткой, острым словом может пригвоздить собеседника. Синкапо сказал как-то мне:

— Какой я генерал? Ведь у нас в Патет Лао нет званий. А генералом я стал называться, когда надо было представлять Патет Лао на переговорах с правыми генералами.

Это было сказано и в шутку и всерьез. Действительно в Народно-освободительной армии Лаоса не было и нет воинских званий. Но чины «дипломатов-генералов» были даны некоторым военным руководителям ПФЛ не только в связи с переговорами, но и как признание их важной роли в создании и укреплении регулярных освободительных вооруженных сил, за успешное руководство крупными боевыми операциями.

Но факт остается фактом. Почти все военные руководители вышли из профессиональных революционеров и политических деятелей — военных академий они не кончали. Многие из них свое первое боевое крещение получили в вооруженном восстании против японцев или в боях с французскими колонизаторами. И начинать им приходилось прямо с организации партизанских отрядов. Росли патриотические вооруженные силы, а вместе с ними и сами командиры.

Профессиональным революционером, активным участником освободительного движения Синкапо стал в 1945 году. В свои тридцать два года он успел многого добиться. Сын мелкого колониального чиновника, блестяще окончил в родном Тхакхеке семилетнюю общеобразовательную школу, в 1930 году поступил во Вьентьяне во французский коллеж. Когда умер отец, Синкапо не смог продолжать учебу. Стал преподавать, чтобы поставить на ноги четверых братьев и сестер. Вскоре он приобрел известность не только как преподаватель, но и как боксер и инструктор физкультуры. В 1945 году при японцах, для маскировки патриотической нелегальной деятельности, он занял пост начальника отдела просвещения провинции Кхаммуон (Тхакхек). В августе 1945 года Синкапо уже один из руководителей первого очага антияпонского восстания в Тхакхеке. Потом пришли в страну чанкайшисты, а вслед за ними и французы. Но к этому времени Синкапо уже выбрал окончательно свой жизненный путь. В марте 1946 года вместе с остатками отрядов Патет Лао Синкапо после трагической битвы под Тхакхеком уходит в Таиланд. Через два года он с товарищами пробивается в первые освобожденные районы. Не обошлось и без предательства. Командир отряда Фуми Носаван тайно перешел на сторону врага. Командование отрядом, а затем и партизанской зоной перешло к комиссару — Синкапо. Потом им не раз пришлось встречаться по разные стороны баррикад, в боях и на переговорах. Встречаться до тех пор, пока даже прославивший «сильной личностью» вьентьянского режима Фуми Носаван в 1967 году не вынужден был спасаться бегством в Таиланд: его оттеснили другие генералы, пользующиеся большим доверием Пентагона.

Все эти годы Синкапо отдал борьбе в рядах Патет Лао. Много лет он провел на фронте, командуя ударными соединениями патриотических вооруженных сил. Однажды судьба свела его с бывшим учеником. Когда в августе 1960 года во

Вьентьяне мало кому тогда известный капитан Конг Ле совершил переворот и выступил против засилья американцев, для Синкапо это не было неожиданностью: ведь Конг Ле был его учеником.

И из Вьентьяна в декабре 1960 года они уходили с боями вместе — генерал Синкапо и объявивший себя нейтралистом капитан Конг Ле. Их объединенные вооруженные силы освобождали в начале 1961 года Долину кувшинов. С тех дней генерал Синкапо — бессменный командующий военным округом Сиенг Куанга, куда входит и Долина кувшинов. В 1963—1964 годах он делал все возможное, чтобы помочь своему бывшему ученику, ставшему уже генералом, правильно разобратся в обстановке. Но после того, как Конг Ле под давлением реакционных офицеров вступил на путь предательства боевого союза Патет Лао и нейтралистов, Синкапо не колеблясь выступил против него. Для Синкапо не было ничего выше интересов революции. Недаром бойцы Патет Лао за глаза называют своего командира «наш железный командарм». После ухода к правым генерала Конг Ле части левых нейтралистов продолжали с отрядами Патет Лао борьбу против вьентьянских войск на рубежах у Долины кувшинов. А генерал Конг Ле разделил судьбу других, ему подобных. Как и Фуми Носавану, ему пришлось спасать свою жизнь бегством и скитаниями по другим странам. Те самые офицеры, которые толкнули в 1963—1964 годы генерала-нейтралиста на разрыв боевого союза с Патет Лао, устранили его, как только он стал негоден все тому же Пентагону. Весной 1964 года в Долине кувшинов на переговорах я видел их вместе: Синкапо, Носавана и Конг Ле. Это была их последняя встреча.

* * *

Разместили нас по соседству со штабом генерала Синкапо в бамбуковой мазанке. Прохладно. Дрожу под двумя теплыми одеялами. То ли уже сказывается привычка — не спать по ночам, то ли, наоборот, неприспособленность, но всю ночь не до сна. Звонко раскатывается канонада боя, идущего на подступах к Долине кувшинов. А когда дают залпы стопятидесятимиллиметровые тайландские пушки, тоненькие стены хибары начинают вибрировать...

На рассвете к штабу подъезжает бронетранспортер. С фронта вернулся генерал Синкапо. После дружеских объятий, традиционных вопросов: «Как здоровье? Как доехали? Что нового?» — вспоминаем прежние встречи здесь, в Лаосе, и у нас, в Советском Союзе. Синкапо много раз был в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Тбилиси.

— Ты знаешь, вот уж сколько лет прошло, а я все помню. Особенно один вечер в грузинской деревне. Песни, танцы, гостеприимные и добрые хозяева. И люди и природа там так близки Лаосу. Я временами даже забывал, что нахожусь за пятнадцать тысяч километров от родных краев.

Интересовало Синкапо и положение в социалистическом содружестве, в международном революционном и освободительном движении, обстановка в соседнем Вьетнаме...

Тот же бодрый голос, та же активная наступательная речь. Но годы дают себя знать. Очки. Угловатее стали движения. Как-никак, а уже пошел шестой десяток. Трудно дались последние годы войны. Я осторожно говорю об этом генералу, а он в ответ отшучивается:

— Дед? Ну что ж. Пусть дед. Но мы еще повоюем. Я надеюсь своими руками строить новую жизнь в мирном Лаосе. А вообще, знаешь, начинаю понимать глубину истины: за свободу воевали наши деды... Вот я и есть один из тех самых дедов.

До обеда вместе с Сивилеям знакомимся со штабным поселком. Несколько деревянных барачков за колючей проволокой. Во дворе трофейные базуки, обломки американских самолетов, поржавевшие кузова разбитых авиационными осколками джипов. Несколько огромных воронок. Целившиеся в штаб американские пилоты промазали. Но наповал были убиты проходившие мимо школьники.

Синкапо принимает меня в главном штабном бараке. На столе разостлана

трофейная карта. Но прежде чем сесть за стол, он с гордостью показывает плакаты и репродукции, украсившие все стены барака.

— Подарок покойного маршала Малиновского во время нашего визита в Москву в 1962 году, — поясняет Синкапо.

На самом видном месте — портреты Ленина и Суфанувонга. И когда я задерживаю на них внимание, генерал поясняет:

— Много вождей дало международное революционное движение. Но особое место среди них занимает Ленин. Он был, есть и будет вождем всех угнетенных и обездоленных, всех поднявшихся на борьбу за свободу, социальный прогресс, народное счастье.

За длинным столом — Синкапо, офицеры штаба. Разговор — об общей обстановке в их районе. И для этого приходится обратиться к карте.

Сиенг Куанг занимает центральное положение в Верхнем Лаосе. Через эту провинцию проходят стратегические дороги. Тот, кто контролирует Долину кувшинов, занимает господствующую позицию. Отсюда идут шоссе в провинцию Сам Неа, где находится Главная ставка патриотических сил; в восточные районы страны вплоть до границы с Вьетнамом; на юг, в освобожденные районы Среднего и Нижнего Лаоса. Отсюда же идут ближайшие удобные сухопутные дороги в крупнейшие города Верхнего Лаоса, находящиеся в зоне правой группировки: Луанг Прабанг и Вьентьян. Именно поэтому на подступах к Долине кувшинов с первых дней войны идут ожесточенные бои. Если почти на всей остальной наземной линии фронта между патриотическими и проамериканскими силами нет позиционных рубежей с минными полями, окопами, колючей проволокой, то здесь они созданы и не раз становились местом ожесточенных боев. В остальных районах страны позиции противных сторон разграничены зонами влияния. И там переход из рук в руки отдельных деревень и высот нередко имеет местное значение. Сиенгкуангские рубежи обороняют хорошо экипированные части регулярной Народно-освободительной армии Лаоса под командованием генерала Синкапо и полковника-нейтраллиста Дыона. В операциях против засланных в тылы освобожденных районов шпионско-диверсионных групп активное участие принимают отряды народного ополчения, или, как их здесь именуют, партизаны. На сиенгкуангский плацдарм проамериканская группировка бросает отборные части: ударные силы ставленника Центрального разведывательного управления США генерала Ван Пао, «мобильные усиленные» батальоны вьентьянской армии, подразделения бывшей армии Конг Ле. Их поддерживают военно-воздушные силы Соединенных Штатов, тайландские артиллерийские дивизионы.

Особую политику патриоты проводят в отношении военнопленных лаосцев. После разъяснительной работы им предоставляют право выбора. Уроженцам освобожденных районов разрешают жить и трудиться в своих деревнях. Тем, кто изъявляет желание вернуться в зону правых, это желание также удовлетворяют, правда, взяв клятву, что военнопленные не будут больше участвовать в войне против патриотических сил. Многие же выбирают иной путь — добровольно вступают в ряды Патет Лао или левых нейтралистов. Потому-то здесь, в районе ожесточенных боев, нет лагерей военнопленных.

Как бы подытоживая все сказанное, последним вступает в беседу генерал Синкапо:

— Я хотел бы начать с того, что, если бы не было такой страны, как Советский Союз, американский империализм в своей эскалации войны мог дойти бы до того, чтобы сбросить на Лаос и Вьетнам атомные бомбы. Ваша страна была, есть и, я уверен, будет прочной военно-политической, экономической базой, важным моральным фактором для борьбы всех угнетенных народов за свою свободу.

В просторной многокомнатной бамбуковой хижине полумрак, хотя горит немало чадящих всюду светильников. Под аккордеон, гитары и кхены лихо отплясывают в кругу солдаты и офицеры. Время от времени по сигналу часовых при-

ходится гасить светильники, и в хижину врывается вой проносящихся над головой американских самолетов, канонада далекого боя. Так заканчивается день, который я провел в ставке патриотических нейтралистских сил в Сиенг Куанге.

Глубокой ночью расходимся, освещая дорогу узкими лучиками карманных фонарей. Добравшись до хижины, где мне определен ночлег, зажигаю керосиновую лампу. Достая чистые блокноты и до самого утра записываю впечатления от посещения ставки нейтралстов, встреч с политическими и военными лидерами левых нейтралстов.

Нейтралистская группировка родилась осенью 1960 года после восстания частей вьетнянского гарнизона. И первыми, кто провозгласил себя нейтралстами, сторонниками мирного урегулирования конфликта между Патриотическим фронтом Лаоса и правыми проамериканскими силами, были военные, руководители восставших — капитан Конг Ле и старший лейтенант Дьон. А через несколько месяцев сложилась более широкая военно-политическая группировка, куда вошли принц Суванна Фума, Киним Фолсена, Кхамсук Кеола, генералы Буфа и Монгкхонвилай, многие другие. Когда же правая проамериканская группировка подняла военный мятеж и возобновила в конце 1960 года войну, в стране сложилось новое соотношение — из трех, а не из двух, как до этого, сил. С одной стороны, правые во главе с принцем Бун Умом и генералом Фуми Носаваном, а с другой, объединенный фронт ПФЛ и нейтралистской группировки, который выступил против вмешательства США, за независимый, нейтральный и единый Лаос. На Женевском совещании летом 1962 года речь также шла о трех военно-политических группировках и мирном урегулировании лаосского конфликта, без вмешательства извне. Однако в 1963—1964 годах американской агентуре и силам реакции удалось вызвать раскол в рядах нейтралстов. Конг Ле с частью нейтралстов перешел на сторону проамериканской группировки. Некоторые политические лидеры нейтралстов также начали скатываться на позиции сотрудничества с правыми и США. Они приняли участие во вьетнянском правительстве, претерпевшем серьезные изменения после реакционного военного переворота 19 апреля 1964 года. 17 мая того же года страна вновь была объята войной. Линия фронта разделила ее на два воюющих лагеря. С одной стороны, объединились проамериканская группировка и примкнувшие к ней правые политические и военные лидеры нейтралистской группировки. За их спиной стояли и стоят США. С другой стороны, засилье проамериканских офицеров в частях бывшей нейтралистской армии, перешедшей на сторону правых, заставило многих солдат и офицеров разобраться в обстановке и выступить против генерала Конг Ле. Они в боевом союзе с ПФЛ продолжают борьбу за единый, нейтральный, независимый и процветающий Лаос, против американской агрессии.

Руководство этим широким антиимпериалистическим фронтом борьбы осуществляют принц Суфанувонг и Кхамсук Кеола. Основные вооруженные силы нейтралстов сражаются здесь, на сиенгкуангском фронте, под командованием полковника Дьона, в ставке которого я побывал.

Впервые с ним мы встретились в Москве летом 1962 года. В составе лаосской делегации он участвовал во Всемирном конгрессе за разоружение и мир. Только что были подписаны Женевские соглашения по Лаосу, открывшие путь к миру. Но в те же дни в соседнем Южном Вьетнаме стремительно разгорался пожар войны, развязанный все теми же американцами. В Москву прибыла первая официальная делегация Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Мы стояли в холле Дворца съездов — лаосцы, вьетнамцы и советские, обсуждая обстановку, перспективы мира в Индокитае. Лаосская делегация была героем дня. Она представляла мужественный народ, который вынул Соединенные Штаты признать за ним его законное право самому решать свои вопросы. Но угроза новых провокаций еще оставалась. В Москве же мне довелось присутствовать при подписании первого совместного заявления лаосских и южновьетнамских патриотов, осуждающих агрессивную политику США в Индокитае. От

имени лаосской делегации свою подпись поставил полковник Дьон. На память о Москве он привез несколько репродукций картин об Октябрьской революции.

Их-то я увидел первыми в ставке нейтралистов. На самом видном месте — портрет Ильича, выступающего на митинге. Много раз на партизанских тропах в освобожденных районах, у подпольщиков Индокитая я видел Ленина, «как живой с живыми» говорящего с мужественными борцами за народное счастье.

— Для меня, — медленно обдумывая каждую фразу, говорит Дьон, — поездка в Советский Союз, на родину великого Ленина, в другие социалистические страны была особенно впечатляющей. Вы знаете, что путь мой в освободительное движение был пеленгом и сложным.

О полковнике Дьоне стоит рассказать хотя бы потому, что он один из признанных лидеров нейтралистов, да и потому, что таким же путем в освободительное движение пришли многие военные руководители нейтралистской группировки. В тридцать три года, в возрасте Христа, как сострил один из друзей Дьона, в жизни его наступил ошеломивший всех перелом. Сначала многие из его окружения в это просто не поверили. А когда поверили — отреклись и оказались с ним по разные стороны баррикад. До событий, разыгравшихся во Вьентьяне в ночь с 8 на 9 августа 1960 года, старший лейтенант Дьон имел репутацию одного из блестящих офицеров королевской армии, ее элиты — парашютных батальонов. Американские военные советники называли его «коммандосом № 1», «восходящей звездой». Но начнем с того, когда маленький вьентьянец из зажиточной семьи делал свои первые шаги в жизни. Семья жила в пригородном селе. Каждое утро Дьон с ватагой своих сверстников приходил в сельскую пагоду, где в течение трех лет старый бонза обучал их по старинным священным книгам, написанным от руки на пальмовых листьях, и по новым, отпечатанным типографским способом, грамоте. Старый бонза учил детей не только читать, но и воспитывал в духе буддийских заповедей: будь честным, не воруй, слушайся старших, чти Будду, короля, помни, убийство — тяжкий грех. Но детский мир не замыкался стенами храма. А вокруг происходили события, которые никак не укладывались в буддийские каноны. Окончив школу, Дьон, старший сын в семье, работал на своем поле, а потом и у чужих. Жизнь дорожала. Семья росла. А денег не хватало. И когда во Вьентьяне появились объявления о наборе во французскую колониальную армию, на семейном совете решили: быть Дьону солдатом. Жалованье приличное, а последние части повстанцев отступили в Таиланд. Шел 1946 год. Хотя насчет жалованья надежды оправдались, но воевать все же Дьону пришлось еще много. О партизанах офицеры рассказывали, что те предали короля, лучшего друга Лаоса — Францию и отреклись от Будды...

Через восемь лет Дьона направили в офицерское пехотное училище в Саваннакет. В 1955 году он получил звание младшего лейтенанта и назначение во Вьентьян. Французских инструкторов к этому времени постепенно сменили американские, а враг оставался прежним — Патриотический фронт Лаоса. Три года спустя лейтенант Дьон был назначен командиром роты во второй парашютно-десантный батальон «коммандосов» — ударную антипартизанскую часть. Идея ее создания принадлежала американцам. Да и фактически командиром был американский подполковник Джек.

Все офицеры и часть рядового состава второго батальона проходили специальную подготовку на американских базах в Таиланде и на Филиппинах. Лейтенант Дьон самолетом вылетел в Манилу.

Пройдя обучение, лаосские курсанты принимали участие в военных маневрах на морском побережье совместно с американскими и филиппинскими частями. После маневров американский инструктор заявил: «Вы настоящие коммандосы. Самые быстрые солдаты джунглей. Как тигры. Лучшим из вас показал себя лейтенант Дьон».

Им выдали новое обмундирование с черными наплечными эмблемами в виде морды тигра. А затем снова Вьентьян и карательные рейды. Сто тридцать раз со своим «летучим отрядом» прыгал с самолетов в партизанские джунгли «черный

тигр», теперь уже старший лейтенант Дьон. Но к этому времени он стал задумываться над происходящим. В их батальоне появилось уже десять американских офицеров. Янки чувствовали себя здесь хозяевами. А может быть, правы Патет Лао? Да и его ближайшие друзья — капитан Конг Ле, лейтенант Тхонг Ми не раз спрашивали друг друга: «Что же делать? Так дальше нельзя». Американцы, как до них японцы и французы, лишь натравливают одних лаосцев на других. Постепенно созрела идея антиамериканского восстания и провозглашения нейтралитета, чтобы все лаосцы могли объединиться и жить в мире в единой стране. Скоро на их стороне оказалось большинство офицеров. И когда «коммандосам» был дан приказ высадиться в районе, где, по данным разведки, находился бежавший из вьентьянской тюрьмы принц Суфанувонг, штаб подготовки восстания принял решение. В ночь с 8 на 9 августа 1960 года столица Вьентьян перешла в руки восставших. Руководили им командиры второго батальона «коммандосов» — Конг Ле, Дьон и Тхонг Ми. Отличительным знаком восставших были красные шейные платки и красные повязки на рукавах. Сразу же были установлены контакты с представителем ПФЛ — генералом Синкапо.

В декабре 1960 года во Вьентьян ворвались превосходящие силы правых. За их спиной стояли США и Таиланд. Отряды патриотов вели ожесточенные бои на улицах столицы. С ними вместе сражались подразделения, сформированные из народных добровольцев, которым тут же раздали оружие, и два ударных батальона из бывших политических заключенных вьентьянских тюрем. Последним покинул столицу отряд Дьона.

В 1963 году уже здесь, в Долине кувшинов, ему вновь пришлось вспомнить второй батальон «коммандосов»: в ставку Конг Ле прибыл их бывший шеф — подполковник Джек. Он пытался вернуть в «свое лоно» недавних подопечных. С Конг Ле у него это вышло, а с Дьонгом и его товарищами — нет.

— Наши дороги с господами из Пентагона, — говорит полковник Дьон, — разошлись раз и навсегда. Мы будем бороться до тех пор, пока американские интервенты не оставят лаосскую землю в покое и не уберутся восвояси.

Речь заходит о военном положении.

— На этом участке фронта, — рассказывает командующий, — мы действуем совместно с частями Патет Лао. И хотя по существу здесь две армии, но наши отношения товарищеские. Планы операций разрабатываем совместно. Вместе их и осуществляем. В общем, полная взаимосвязь и взаимоподдержка. За последние годы нейтралистские вооруженные силы значительно укрепились. На нашем участке фронта мы располагаем пехотными, противоздушными и бронетанковыми подразделениями. Нет пока авиации. Настроение в частях боевое. Мы ведем там большую политическую работу. Вот, пожалуй, и все. А остальное увидите на фронте.

* * *

Чем ближе к фронту, тем больше вдоль изрытой глубокими бомбовыми воронками дороги — разбитых машин, сожженных рощ и черных пепелищ. У небольшого мостика фары выхватывают из темноты радиатор разбитого грузовика и бешено вертящийся под порывами ветра вентилятор. Ни души. Когда впереди зловещим красноватым светом вспыхивает осветительная ракета, бронетранспортер, словно вкопанный, останавливается, а пулеметчики замирают у боевых позиций. Минут через пять снова двигаемся на ощупь, навстречу приближающейся канонаде боя. Остаток пути до позиций, занимаемых батальонами Патет Лао и нейтралистов, проделываем пешком. На горном склоне, прямо рядом с тропой, небольшая дощечка: «Осторожно! Зона артобстрела». Рядом черная глубокая нора от зарывшегося в землю и неразорвавшегося стопятидесятимиллиметрового снаряда. Мы находимся в расположении защитников Фукута.

Еще недавно безымянная, высота стала теперь символом непреклонного мужества и героизма лаосских патриотов. Отдыхаем в небольшой землянке. Три наката толстых бревен, и над ними прямо на черной выгоревшей земле небольшой

шалаш. В нескольких шагах от входа отвесный обрыв. В землянке нары, уставленные ящиками с патронами и снарядами. На стенах карабины и автоматы. Чадит несколько коптилок, и поминутно трезвонит телефон. Это командный пункт. Сидим на корточках на циновках, положив рядом автоматы. Пьем зеленый лесной чай. То и дело отрываясь к телефону, комбат Буакхам вводит нас в обстановку. Его рассказ дополняют другие. Война для защитников фукутских рубежей началась с самого первого ее дня. С тех пор Фукут — один из самых напряженных участков фронта. Противнику так и не удалось сломить эту линию обороны.

Фукут по-лаосски означает «волнистый гребень». Тот, кто владеет им, держит под контролем один из важнейших путей, ведущих в Долину кувшинов. Двухкилометровой высоты кряж покрыт соснами; собственно, так было несколько лет назад. Из-за непрерывных бомбардировок и артобстрелов гребень Фукута «укоротился» на несколько метров, и на его склонах уже нет ни одной зеленой сосны, лишь чернеют страшные обугленные стволы.

Буакхам достает записную книжку и четко, по-военному читает лаконичные записи из военных сводок. Не считая мин, по Фукуту было выпущено свыше двухсот тридцати тысяч снарядов. На каждый квадратный метр этой опаленной земли пришлось по двадцать пять снарядов и одной бомбе. Десятки жестоких атак противника, нередко врукопашную, отразили мужественные защитники Фукута.

С вершины кряжа, где расположены окопы, просматривается долина, ряды колючей проволоки, минные поля и длинные полосы переднего края противника на той стороне долины, приблизительно в километре отсюда. Позиции тяжелой артиллерии тайландских наемников в десяти километрах, во втором эшелоне. Защитники высоты очень молоды. Но за плечами каждого годы фронтовой жизни. Взять хотя бы комбата Буакхама. Из тридцати двух лет жизни половина пришлось на войну. Сначала сражался, живя в родной деревушке, что находится за тысячу километров отсюда, в Среднем Лаосе. Потом на разных фронтах в Верхнем Лаосе. Вместе со своим взводом он освобождал Долину кувшинов, воевал на самом тяжелом рубеже, у перевала Сала Фуххун, в прошлую войну. С 1964 года снова на фронте — здесь, на фукутском рубеже. Или комиссара батальона Мани. Озорные карие глаза и копна курчавых волос выдают в нем лаотхынга. Он тоже начал свою беспокойную солдатскую жизнь в шестнадцать, оставив тихую деревушку на сваях и своих любимцев-слонов. А для двадцатисемилетнего бойца Пхадхи война началась всего, как он говорит, четырнадцать лет назад. Даже в блиндаже он не выпускает из рук автомат.

Артиллерийская канонада продолжает усиливаться, и прямо из блиндажа Пхадхи уходит на огневой рубеж.

* * *

На небольшой горной площадке шла обычная пристрелка. Из карабинов. По мишени. Над долиной гулко разносилось эхо. Дождавшись конца учебных стрельб, вместе с отрядом карабкаемся по крутой горной тропе наверх. Там, в селении лаосунгов, нас уже ждут. Спрашиваю, из какого они отряда.

Отвечают дружно:

— Из отряда Патчая.

Сколько же этих отрядов Патчая? Десятки раз я встречался с бойцами-лаосунгами в разных районах Верхнего Лаоса, и каждый раз мне говорили:

— Мы из отряда Патчая.

Все подразделения патриотов, сформированные из лаосунгов, носят имя Патчая. Оно стало символом освобождения.

Вражеская пропаганда в течение многих лет настойчиво твердит, что племена лаосунгов якобы поголовно выступают против народной власти и действуют под командой «черного генерала» Ванг Пао.

Но как обстоит на самом деле? Посещая многие освобожденные районы Верхнего Лаоса, я старался бывать в деревнях и партизанских отрядах мео, встречаться с патриотическими лидерами лаосунгов. Помню разговор в сельском медпункте деревни Хуа Нхан. В небольшой бамбуковой хижине с земляным полом, покрытой легонькой двускатной кровлей, под которой развешан трофейный американский парашют, я застал молодую девушку. Это была фельдшер Чы — весь наличный персонал медпункта. Она показала мне свое немудреное хозяйство. В комнатухе справа — два топчана, покрытых циновками. Около каждого — по карабину. Слева от входа ее «приемная». Даже в трудные военные годы девушки остаются девушками: рядом с оружием — зеркальце, браслеты, кольца. Мы долго беседовали обо всем на свете, Чы — народности лаосунг, ей двадцать два года. Ей, как и остальным сельским медикам, приходится нелегко. На прощанье Чы просит меня:

— Расскажите вашим людям про лаосунгов. Как мы вместе с другими народностями Лаоса участвуем в освободительной борьбе, строим новую жизнь. Наш народ верен заветам Патчая...

Опять Патчай! Кто же такой этот Патчай?

Вот небольшое достоверное, что удалось мне узнать. В 1918 году в ответ на приказ французских колониальных властей платить налоги и выполнять трудовую повинность и последовавшие вслед за этим репрессии в горах Верхнего Лаоса вспыхнуло восстание лаосунгов. Руководил им один из племенных вождей — Тяо Патчай. Повстанцы провозгласили независимость, отменили налоги и повинности, организовали партизанские отряды. Пять лет длилась эта народная война. Лишь в 1922 году Патчай был предательски убит подосланным в его ставку агентом французских колонизаторов. Вскоре колонизаторы разгромили отряды повстанцев — силы были неравными. Сотни лаосунгских селений были преданы огню.

Мне сказали, что в частях Патет Лао в Сиенг Куанге воюет внук Патчая.

Живут лаосунги высоко в горах. В большинстве районов страны, за исключением Сиенг Куанга, они составляют национальное меньшинство. Не случайно очагом нового восстания в 1945 году снова стали труднодоступные горные районы этого края. Его возглавил молодой вождь одного из племен — Фейданг. Юношей он слышал рассказы о Патчае, восхищался его героизмом. Сейчас Фейданг вице-председатель ЦК ПФЛ. Он живет в Сиенг Куанге. Я не раз встречался с ним. Он рассказал мне, как началось вооруженное сопротивление лаосунгов в 1945 году.

Однажды их селенье окружил отряд колонизаторов. Французы разыскивали его. Донос на молодого предводителя написал сам «король мео» — Тубилифонг. Но Фейдангу с верными ему воинами удалось прорвать кольцо окружения и, отстреливаясь, уйти горными тропами в джунгли. Здесь они создали первую базу сопротивления лаосунгов. Через несколько лет многие лаосунгские деревни превратились в неприступные для колонизаторов крепости. У повстанцев не хватало винтовок. Но были луки с отравленными стрелами. Сам Фейданг владеет ими в совершенстве и считает лук незаменимым оружием партизанской борьбы: стреляет бесшумно, точно направленная стрела сражает врага наверняка.

В 1946 году Фейданг создал единую организацию — Лаосунгскую лигу сопротивления, куда вошли многие селения провинции Сиенг Куанг. В районах, контролируемых патриотами, были отменены налоги и трудовые повинности, ликвидирована колониальная администрация, созданы отряды самообороны. Одним из главных лозунгов движения был: равенство всех народов.

Лаосунги не только продолжили дело Патчая, но и учли горький урок восстания 1918—1922 годов — изолированность их движения от борьбы других народов. Лаосунгская лига сопротивления установила контакты, а затем и боевое сотрудничество с партизанскими отрядами лаолумов и лаотхынгов. В 1950 году она вошла в первый общенациональный патриотический фронт — Нео Лао Итсала. Ныне представители лаосунгов активно участвуют и руководят многими орга-

нами народной власти в Сиенг Куанге и других освобожденных районах. Их видные политические деятели — Не Вы и Ло Фунг — члены ЦК ПФЛ. Ло Фунг, с которым мне довелось встретиться в Сам Неа, оказался удивительно разносторонним человеком. Он хорошо разбирается в истории лаосунгов и своей страны, создал лаосунгскую письменность.

В СТАВКЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

На рассвете на базу, где разместился наш отряд, прибыл из ставки главнокомандующего Народно-освободительной армии Лаоса связной. Он доставил пакет с приглашением товарища Кхамтея прибыть к нему вечером того же дня.

С наступлением темноты, вооружившись фонариками, отправляемся вместе со связным в путь. Снова зарядил проливной дождь. Весь день, как и накануне, в перерывах между короткими ливнями в небе висели американские самолеты, сбрасывая очередные тонны бомб.

Неожиданно из густой завесы ливня выросла фигура часового. Несколько минут мы идем вдоль телефонных проводов по узкой тропе. Небольшой подъем, а затем крутой спуск по земляным ступенькам, и мы оказываемся в огромной, ярко освещенной керосиновыми лампами глубокой нише. Посредине пещеры, перегородившая ее, висит большая карта Индокитая.

Нас ждали. Навстречу легкой походкой вышел высокий стройный лаосец в резиновых сапогах и зеленой армейской форме без знаков различия. Это и был главнокомандующий, товарищ Кхамтей. Улыбаясь, он пожал руку, справился о здоровье и дороге. Время встречи и беседы ограничено двумя часами — у товарища Кхамтея, понятно, дел хватает и без нас. Сегодня утром были получены сообщения об усилившихся боях в районе Долины кувшинов. Наше первое знакомство состоялось незадолго до начала войны, в городе Сам Неа, в светлой просторной вилле — резиденции принца Суфанувонга. С ее балкона открывался чудесный вид на долину, по которой разбегались шумные улочки теперь уже не существующего города. Вечером 20 января 1964 года здесь в торжественной обстановке отмечалась пятнадцатая годовщина со дня рождения Народно-освободительной армии Лаоса.

К началу американской интервенции в 1964 году НОАЛ прошла суровые боевые испытания в борьбе против французских колонизаторов. Выросли ее ряды. Укрепилось на местах народное ополчение. На смену лукам и мечам пришла новая военная техника. Выросли опытные военачальники. Один из них — товарищ Кхамтей.

Двадцатидвухлетним крестьянским пареньком вступил он добровольцем в патристическую армию в дни революции 1945 года. Весною 1946 года он отступал с остатками разбитой патристической армии. Долгие мучительные месяцы провел в эмиграции. А через два года о бесстрашном командире, командующем партизанскими частями патристов в Нижнем Лаосе, заговорили вьетъянские газеты. Это были, пожалуй, самые трудные годы Сопротивления. Зачастую на весь отряд были один-два трофейных карабина и несколько гранат. Остальное вооружение составляли луки с отравленными стрелами.

Впоследствии Кхамтея можно было увидеть на многих фронтах Лаоса. Но особенно памятна для него и для всех патристов-лаосцев весна 1959 года. Предательски нарушив соглашение, вьетъянские реакционеры приказали арестовать принца Суфанувонга и других лидеров патристов Патет Лао. Одновременно они попытались разоружить единственные оставшиеся недеобилизованными отряды патристических сил — первый и второй батальоны Народно-освободительной армии Лаоса.

Сквозь горы и джунгли, вместе с обозом женщин и детей, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, второй батальон шаг за шагом продвигался на старые партизанские базы. Это был лаосский «железный поток», он вошел в историю как одна из героических страниц борьбы народа за свою свободу.

Вскоре на старые партизанские базы удалось прорваться большинству бойцов и командиров первого батальона НОАЛ. В эти трудные дни на плечи товарища Кхамтея и других оставшихся на свободе руководителей патриотического движения легла нелегкая задача — возродить армию, отстоять завоевания национально-освободительной революции. Через несколько месяцев им удалось восстановить старые партизанские базы, а через год организовать беспрецедентный по своей смелости побег из вьентьянской тюрьмы принца Суфанувонга и его соратников. В 1960 году партизанский командир Кхамтей был назначен главнокомандующим НОАЛ. В то время ему было тридцать шесть лет. За сравнительно короткий срок на базе двух батальонов и сотен партизанских отрядов возродилась регулярная армия. Она пополнилась молодыми добровольцами, новыми кадрами командиров и комиссаров. Ныне в ее рядах сражаются десятки тысяч патриотов.

Я побывал во многих пехотных, зенитных, саперных, бронетанковых и других частях НОАЛ. Подавляющее большинство ее бойцов и командиров — молодежь в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет. Как я уже упоминал, в НОАЛ нет званий и знаков различия и по внешнему виду трудно отличить рядового бойца от командира. Армия до сих пор строится на добровольном принципе. Но это уже не партизанские части. Тысячи командиров и комиссаров не только прошли «университеты» на фронтах, но и окончили военные училища.

Часто НОАЛ называют «вооруженные силы Патет Лао» — патриотические вооруженные силы. Я попросил товарища Кхамтея объяснить, какое из названий более правильное.

— Дело в том, — сказал он мне тогда, — что все они верны, но родились на разных этапах борьбы. До 1954 года мы называли себя вооруженные силы Лао Итсала (Освобождения Лаоса). Во время Женевского совещания 1954 года это название встретило возражения со стороны правых. Мы не стали настаивать — дело в конце концов не в том, как называться. Так появился термин — вооруженные силы движения Патет Лао (Страны Лао). В начале нынешней войны, весной 1964 года, мы восстановили старое название, несколько расширив его: Народно-освободительная армия Лаоса.

Главнокомандующий пригласил нас к столу. По обычаю здесь сначала угощают чаем, расспрашивают о здоровье, пути. Адъютант командующего то и дело подкачивает керосиновые лампы, чтобы поддержать ровный свет.

— Положение вкратце можно охарактеризовать так, — начал Кхамтей. — Американские империалисты ведут здесь «особую войну». В наземных операциях против нас на почти полуторатысячекилометровой линии фронта участвуют в основном силы восьмидесятитысячной армии правой лаосской группировки, которая фактически находится под руководством американских офицеров и генералов. Одновременно военно-воздушные силы США наносят все нарастающие удары по нашим боевым позициям и освобожденным районам. Активную роль в проведении подрывных операций в наших тылах играет агентура и отряды лаосских наемников американского ЦРУ. Что касается деталей военных действий и отдельных операций, то об этом вам расскажут наши товарищи. А пока краткий итог: нам удалось отстоять ключевые освобожденные районы, нанести врагу тяжелые потери в живой силе и боевой технике. Короче говоря, нам удалось сорвать агрессивные планы Пентагона относительно военного решения лаосской проблемы. Противник вынужден перейти к стратегической обороне. Моральный дух армии противника резко падает. Что же касается наших сил, то они заметно выросли, окрепли в боях. С уверенностью могу сказать одно: мы ведем справедливую борьбу и будем защищать каждую пядь территории, контролируемой патриотическими силами. Наша главная сила в поддержке народных масс, в высокой сознательности бойцов и командиров НОАЛ. И разумеется, очень много значит то, что все миролюбивые народы мира на нашей стороне. Соединенным Штатам в конце концов придется обратиться с нашей земли.

Главнокомандующего ждут неотложные дела, время, отведенное на встречу с нами, подходит к концу.

— Передайте,— говорит он на прощание, — братский привет Советской Армии и советскому народу, нашу искреннюю благодарность за поддержку нашей справедливой борьбы. Мы знаем Советский Союз не только по словам...

Накинув плащ-палатки, покидаем сухую, ярко освещенную пещеру и погружаемся в кромешную тьму тропической ночи. К утру добираемся на свою базу, где, как и обещал главнокомандующий, нас ждут штабные командиры. Они кратко знакомят с положением на фронте.

В Лаосе восемнадцать провинций, сто семнадцать городов, тысяча семьдесят восемь уездов и более тридцати тысяч деревень. Население, по разным данным, составляет от двух до трех миллионов жителей. К лету 1962 года, когда были подписаны Женевские соглашения, под контролем ПФЛ и нейтралистских сил находились две трети территории страны — более восьми с половиной тысяч деревень и десятки городов, где жила половина населения Лаоса. В 1964—1965 годах проамериканской группировке и перекинувшимся на их сторону правым нейтралистам при активной поддержке военно-воздушных сил США удалось захватить ряд освобожденных районов — свыше полутора тысяч деревень. В 1966—1967 годы положение на фронтах относительно стабилизировалось, и новые крупные наступательные операции противника были сорваны. К началу зимней военной кампании 1967—1968 годов под контролем патриотических вооруженных сил и левых нейтралистов оставалось пятьсот семьдесят один уезд и семь тысяч тридцать деревень.

С ноября 1967 года инициатива в боевых действиях переходит к НОАЛ. На многих участках фронта она развертывает наступление, ликвидирует бандитские гнезда ЦРУ в тылах, в освобожденных районах. В результате крупных боевых операций НОАЛ к ноябрю 1968 года было освобождено шестьдесят семь уездов, около шестисот деревень с населением более полтораста тысяч человек.

С этого момента Пентагон резко усиливает необъявленную пиратскую войну против освобожденных районов, организует все новые и новые атаки на позиции, удерживаемые НОАЛ и патриотическими нейтралистами. Вот лишь некоторые данные Пентагона об эскалации необъявленной воздушной войны Вашингтона против Лаоса. В 1966 году американская авиация совершила около двадцати тысяч боевых самолето-вылетов, в 1967-м до тридцати тысяч, а лишь за первую половину 1969-го семьдесят пять тысяч. Иными словами, интенсивность боевых операций ВВС США в 1969 году по сравнению с 1967 годом возросла в пять раз. Сброшено только за первые три месяца этого года — 1095 тысяч тонн фугасных, около семи тысяч тонн зажигательных и напалмовых, более 3300 контейнеров шариковых бомб. И еще один любопытный подсчет, сделанный пентагоновскими счетно-вычислительными машинами по итогам 1968 года. Пиратские налеты обошлись Вашингтону в кругленькую сумму — миллиард долларов, но «83 процента этих средств не было возмещено потерями, нанесенными противнику». Официальный Пентагон отрицает, что американские вооруженные силы ведут в широких масштабах войну в Лаосе, умалчивает о своих потерях. Представители Главной ставки НОАЛ сообщили, что уже к маю 1969 года — за пять лет войны — части противовоздушной обороны патриотов сбили или серьезно повредили тысячу сто двадцать семь боевых самолетов и вертолетов противника. Мне довелось познакомиться с любопытным документом, помеченным грифом Женевского Красного Креста. В нем даны фамилии, воинские звания и даже даты последних вылетов девяноста семи «пропавших без вести» пилотов. Отрицая свое широкое участие в вооруженной агрессии, Вашингтон окольными путями пытается добиться выдачи ему захваченных в плен воздушных пиратов. По сведениям, исходящим от Пентагона, число американских военнопленных достигает нескольких сот человек.

— Мы рассматриваем захваченных в плен американцев,— заявили мне в Главной ставке, — как военных преступников и не намерены отвечать на ультимативные угрозы Пентагона, ведущего необъявленную войну.

* * *

Посреди пещеры — длинный дощатый стол. На нем — традиционное угощение: чашечки с зеленым чаем, тарелки с конфетами. За столом на широких скамейках человек пятнадцать: кто в военной форме цвета хаки, кто в синих рабочих куртках, а кто в обычных черных брюках и белых рубашках. Мы на пресс-конференции, созданной Главной ставкой.

С обстановкой в Лаосе собравшиеся знакомы достаточно хорошо. Почти все добирались сюда из фронтовых районов. Поэтому особый интерес вызывает захваченный в плен янки. Слушаем американского пилота, сбитого в этом районе. Здоровенного верзилу зовут Дэвид Луис Хрдлика. Капитан военно-воздушных сил США. Вылетел с американской базы Такли из соседнего Таиланда. Был ведущим в тройке реактивных истребителей-бомбардировщиков «Ф-105».

Разбомбив отмеченный на карте «объект», здесь же, в провинции Сам Неа, Хрдлика на обратном пути был сбит огнем зенитной батареи. Это был четвертый и последний боевой вылет американского капитана.

— Я признаю, — говорит пилот, — что принимал участие в агрессии против лаосского народа, ведущего справедливую борьбу. В плену мне была оказана своевременная медицинская помощь. Отношение ко мне хорошее. Прошу помилования...

Сын чешского эмигранта, покинувшего родину в поисках счастья, стал наемником, военным преступником. Многие из его коллег погибли. Другие, как и он сам, ждут конца войны и решения своей судьбы в сырых пещерах. А отвечать за разбой придется. В конце 1968 года в освобожденных районах Лаоса образована Комиссия по расследованию американских преступлений.

Сразу же после окончания пресс-конференции начинаем переговоры о том, как поскорее доставить корреспонденции. Пока идут переговоры, радиостанция Патет Лао уже начинает передавать сообщения о пресс-конференции, о показаниях сбитого американского аса. Нашей же информации предстоит долгий путь на машине, которая по ночам будет пробираться сотни километров под бомбежками. И лишь потом, по телефону, если будет нормальная связь, ее передадут из Ханоя в Москву.

В моем распоряжении всего полтора часа. Записываю самое главное...

Ночью снова отправляемся в путь, оставив друг другу на память адреса полевых почт и заранее зная, что многим из нас долго не доведется встретиться.

Репортаж о Дэвиде Луисе Хрдлике и его братьях по плену был опубликован в «Правде» вместе с фотографией. А через несколько месяцев я получил письмо из Калифорнии. Г-жа Джеймс Дж. Эванс сообщила, что она по совету друзей нашла «Правду», где был напечатан репортаж. И на фотографии увидела человека, очень похожего на ее мужа. Он тоже был военным летчиком, бомбил Лаос и после одного из боевых вылетов не вернулся. Она просила помочь ей выяснить судьбу мужа. Жив ли он? «Может быть, — спрашивала г-жа Эванс, — Вы перепутали фотографии. Если это не он, то, может быть, напишете, не встречали ли моего мужа. Может ли выжить белый человек, проведя несколько лет в пещерах?..»

Представители Главной ставки НОАЛ сообщили мне, что им ничего не известно о Дж. Эвансе. Возможно, погиб при падении. Об этом я и сообщаю в Калифорнию, в Аламеду, а заодно о преступной войне Пентагона в Лаосе, которую пытаются скрыть от общественности Соединенных Штатов...

ПОРА ТРОПИЧЕСКИХ ЛИВНЕЙ

Остались считанные дни до начала дождливого сезона, который затянется до сентября. Проложенные по земляному грунту фронтовые дороги превратятся в сплошное месиво. Уже сейчас набухают, превращаются в бурные реки небольшие горные ручьи и высохшие старицы. А вместе с дождями надвигается малярия.

Принимаем предусмотрительно захваченный хинин. От него закладывает уши, но лучше уж глухота, чем изнуряющие приступы тропической малярии. Откочевывают в более сухие места и звери. Несколько раз натыкались в пути на следы слонов. На дорогах обгоняем последние колонны автомашин. Все торопятся выбраться отсюда подальше, чтобы не увязнуть вместе с техникой в болотах. Прошлой ночью встретили странный грузовик. Он медленно двигался по серпантину дороги, все время сбиваясь то в одну, то в другую сторону. После налета очутились вместе, в одном леске. Водителя грузовика жестоко трепала малярия. Позже узнали, что их колонна попала под массированный налет. Из четырех машин осталась одна, и единственный в живых — этот водитель. Груз важный, необходимо доставить по назначению. В пути начался приступ малярии. И вот, собрав все силы, в промежутки между приступами он ведет свой разбитый, с простреленными бортами грузовик. Два дня назад кончилось продовольствие. Помочь ему, кроме продовольствия, ничем не можем. Оставить машину водитель наотрез отказался. На всякий случай, если не удастся добраться до следующей базы, он передаст с нами записку. Пусть знают, что не сдался, не струсил и будет выполнять задание, пока останутся силы.

Последняя дневка в пещере перед перевалом через Большой хребет. Вода уже по щиколотку. Стены покрылись влагой. Но пещерные рисунки, оставленные побывавшими до нас здесь отрядами, еще держатся: хижина на сваях, грузовик и летящий над ним самолет, женские головки с четко выписанными большими грустными глазами.

Все чаще и чаще в пути обрушиваются на нас ливневые потоки, а в промежутки между ними — скрежет реактивных двигателей, разрывы бомб и ракет.

Последние десятки километров перед перевалом двигаемся разношерстной колонной. Прошлой ночью прямым попаданием ракеты была разворочена головная машина. Водитель убит наповал. Документы прочитать невозможно. Никто из колонны не знает, как звали водителя, откуда он родом. Вырыли у обочины могилу, сколотили подобие памятника. На нем красной краской написали: «Неизвестный водитель. Погиб при выполнении задания. Остановись, прохожий! Здесь погиб солдат революции, отдавший за счастье народа самое дорогое — жизнь».

Память солдата-водителя почтили минутой молчания и залпом из всего имеющегося оружия. И снова включили моторы.

Перевал проскочили благополучно. На границе нас уже ждали. Тропические ливни размыли и здесь большие участки полотна автотрассы. Кое-где образовались заторы. Но понемногу они рассеиваются. С одной из колонн ночью отправляются дальше. Впереди Ханой. Там короткий отдых. А затем — снова лаосский фронт.

Лаос — Ханой.
1969.



В МИРЕ НАУКИ

М. ВОЛЬКЕНШТЕЙН,
член-корреспондент АН СССР

★

НАУКА ЛЮДЕЙ

ТЕМА ОЧЕРКА

Наука — слово многозначное. Наука — совокупность систематизированных знаний о Вселенной, совокупность закономерностей, свойственных материи, существующей в пространстве и времени и раскрытых человеческой мыслью. Наука — форма творческой общественной деятельности человека. Наука — явление мировой культуры, связанное со всем ходом ее исторического развития. Наука — научение, воспитание, образование; вспомним старое «отдать в науку».

Этот очерк посвящен науке-творчеству, науке, создаваемой людьми, людям в науке. Отсюда его название — парафраза названия известной книги Сент-Экзюпери «Земля людей». Ясно, что роль человека в науке в свою очередь может быть (и должна быть) предметом научного исследования. Но этот очерк — не исследование, а всего лишь размышления и наблюдения, неизбежно субъективные и не претендующие на глубину и строгость, на точные формулировки, обязательные для подлинной философии. Оправдание очерка — в актуальности обсуждаемых проблем. Значение науки в общественной жизни непрерывно возрастает. Резко увеличивается не только абсолютное, но и относительное число людей, причастных к научной работе, сокращается дистанция между наукой и ее практическими приложениями. Наука становится производительной силой — эта формула уже общепризнанна. Тем самым растет и ответственность ученых перед человечеством. Эти процессы, не имеющие себе подобных в прошлом, особенно мощны в социалистическом обществе, которое само строится на научной основе.

Говоря о науке, мы будем иметь в виду естествознание. Это никоим образом не означает отрицания гуманитарных наук. Человеческое общество есть закономерно возникающая часть Вселенной, человеческий мозг — высшая форма существования материи на Земле. Поэтому любой вид человеческой деятельности служит предметом научного исследования, будь то древнегреческий эпос или игра в шахматы. К тому же есть веские основания думать, что в дальнейшем точные, естественные науки будут объединяться с гуманитарными, будет неограниченно усиливаться взаимодействие науки и искусства.

Итак, очерк о творческой деятельности ученых-естествоиспытателей. Естественно, что он затрагивает человеческие, психологические моменты — проблемы взаимоотношения науки и искусства, науки и эстетики, науки и нравственности. Задача очерка будет выполнена, если хотя бы некоторые из высказываемых в нем мыслей найдут отклик у читателя и будут способствовать более серьезному рассмотрению обсуждаемых проблем.

ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Познание Вселенной объективно. Материя существует независимо от нашего сознания. Когда мы устанавливаем ее свойства, мы находим объективную относительную истину. Истина эта не зависит от ученого, ее открывшего. Так, например, второй

закон Ньютона: «Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует» — совершенно объективен и не зависит от того, что его открыл именно Ньютон. Закон этот мог быть открыт и другим ученым, который дал бы ему иную, но равнозначную формулировку, дело от этого не изменилось бы. Наука как совокупность установленных законов природы сама по себе бесстрашна, бесчеловечна, не имеет отношения ни к этике, ни к эстетике. В этом аспекте наука существует независимо от ученых, от людей.

Человечен и, следовательно, субъективен путь, которым шел ученый к своему открытию, способ познания, способ выражения его результатов. Познание возникает, казалось бы, из постановки точных экспериментов, из строгого логического рассуждения. Но и постановка опыта, и рассуждения — дело творческой личности, они связаны и с конкретными особенностями ее интеллекта и с эмоциональной сферой. Каждое крупное научное достижение требует не только систематической работы, но и подлинного вдохновения.

В учебниках, в научных монографиях и статьях обычно излагаются окончательные результаты исследований, максимально очищенные от всех субъективных элементов. Голое знание. Чаще всего современный ученый сознательно изгоняет из публикуемой работы все личное, приводя самый стиль изложения к установленному международному стандарту. Это определяется несколькими причинами. Во-первых, сейчас большей частью отсутствует возможность публикации пространных статей. Портфели научных журналов переполнены, и редакции требуют предельного лаконизма. Во-вторых, наука международна, и стремление к взаимопониманию неизбежно приводит к унификации, стандартизации стиля. В-третьих, ученый не всегда решает вносить личные элементы в работу — писать образно или с юмором, опасаясь недоброжелательной реакции, поскольку «это не принято». Конечно, были и есть исключения. Галилей излагал свои открытия в форме диалогов, сохранивших значение блестящей итальянской прозы, хотя и в XVII веке это было «не принято». До Галилея в научной литературе господствовал стандарт академической латыни, сильно отличный от современного, но все же стандарт. И сейчас удается встретить «живое» изложение научной работы. В ряде английских книг и статей по физике, например, можно наткнуться на цитаты из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Однако научная литература характеризуется не только стилем слова, но и стилем мысли. Мышление оказывается далеким от унификации, оно субъективно, хотя и посвящено объективно существующей Природе. Сравним три фундаментальных, многотомных курса теоретической физики, написанных в нашем веке, — курс Планка, курс Зоммерфельда, курс Ландау и Лифшица. Они трактуют в ряде случаев одни и те же вопросы и формулируют одни и те же положения. Но подход к ним, путь мысли, которому должен следовать читатель, совершенно различен. Он отражает и творческие личности авторов, и общее состояние науки. Так, Макс Планк (1928) выводит основные законы электродинамики из закона сохранения энергии, Ландау и Лифшиц (1941) — из уравнений движения, Зоммерфельд (1949) вводит эти законы как аксиомы, в интегральной форме.

По той же причине «оголения» история науки, как правило, не фигурирует в учебниках и монографиях. Многие современные ученые игнорируют ее полностью, считая нужной лишь формулировку сегодняшнего состояния знаний. Между тем история науки есть не только история накопления знаний, но и история творчества ученых. Стремясь к наилучшей организации научной работы — а сегодня это очень важная социально-экономическая задача, — стоит такой историей поинтересоваться. При этом, очевидно, недостаточно написать или рассказать на лекции о том, как Галилей размышлял о качающейся люстре или Ньютон о падающем яблоке. Современность остро нуждается в серьезных исследованиях путей, по которым шла творческая мысль крупных ученых. Установить это далеко не всегда возможно — остался лишь очищенный результат, черновики уничтожены, и очень немногие рассказали о том, как они думали и работали. И тем не менее эти исследования необходимы.

СТИЛЬ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Творческая личность истинного ученого столь же индивидуальна и неповторима, как личность художника. Различие в том, что повторимы плоды ее деятельности. Повторимы и преходящи. Если бы Эйнштейн не создал теории относительности, то она обязательно была бы создана кем-нибудь другим — одним или несколькими мыслителями. — ибо в развитии науки существует логическая последовательность, последовательность и неизбежность. В ходе развития науки полностью или частично утрачивается значение прошлых работ, они приобретают только исторический интерес. Сегодня уже и орбитальная модель атома Бора не нужна науке. Напротив, стихи Катулла, сколько бы ни было после него поэтов, и сейчас находят живой отклик в душе читателя.

А как разнятся стили научного творчества ученых! Российские академики Ломоносов и Эйлер, глубоко читавшие друг друга, совершенно по-разному подходили к рассмотрению проблем физики. Ломоносов не пользовался математическим аппаратом, хотя он был хорошо разработан в его время. В трудах Ломоносова нет ни одной математической формулы. Это не помешало Ломоносову открыть закон сохранения вещества, высказать глубокие идеи о кинетической природе тепла, сконструировать ряд оптических приборов, открыть атмосферу Венеры — нелегко дать полный список его открытий. Стиль Ломоносова родствен стилю Декарта, но противоположен стилю Ньютона. Впрочем, Ломоносов, ясно понимавший свою роль и значение (это черта, свойственная истинному гению, вспомним пушкинское: «Он же гений, как ты да я»), писал: «Меня за Аристотеля, Картезия, Невтона не почитайте. Если же вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопы».

Напротив, Эйлер был великим математиком. И хотя в его «Письмах к одной немецкой принцессе», в книге, которую С. И. Вавилов считал лучшей популярной книгой по физике, когда-либо написанной, математических формул нет, — все изложение строго математическое, непосредственно переводимое на язык алгебры и дифференциального исчисления.

Обратимся к примерам из недавнего прошлого. В истории новой физики существенное значение имел спор Эйнштейна с Бором об основах квантовой механики. Мироззрение Эйнштейна отвергало статистическую, вероятностную причинность в явлениях микромира, раскрытую квантовой механикой, и он пытался доказать ее неполноту. Бор — один из создателей квантовой механики — победил в этом споре, найдя скрытую непоследовательность в рассуждениях Эйнштейна. Создатель теории относительности, основоположник ряда других областей новой физики, оставался ученым классического стиля. Мироззрение и стиль Бора совершенно иные, классические представления им преодолены. Эйнштейн и Бор различались во многом. Эйнштейн, подобно великим физикам прошлого, работал в одиночку. Напротив, Бор был руководителем большой школы, оказывавшим прямое влияние на многих.

Совершенно противоположны по стилю и крупнейшие советские физики Л. Д. Ландау и Я. И. Френкель. Ландау был пуристом, с железной логикой решавшим четко поставленные задачи в ясной и элегантной математической форме. Ошибок у него не найдешь. Задачи физики, допускающие пока лишь приближенное решение, основанное на неоднозначно доказанных, качественных соображениях, для него не существовали. Предельный рационализм в науке. Я. И. Френкель — ученый-романтик, непрерывно высказывавший новые идеи, далеко не всегда доводивший их до конца, зачастую ошибавшийся, но полный фантазии. Трудно сказать, кто из них больше сделал в науке, — современная физика широко пользуется работами и Ландау и Френкеля.

Стиль научного творчества связан с личностью ученого. В свою очередь личность, мироззрение определяются индивидуальной и общей историей — фенотипом и генотипом, как сказал бы биолог. Ученый творит в обществе, чья история, чье современное состояние оказывают на него непрерывное воздействие. И, конечно, существует обратная связь — ученые наравне с художниками, наравне со всеми творцами культуры воздействуют на общество.

СУМАСШЕСТВИЕ НАУКИ

Однажды Нильса Бора спросили, что он думает об одной новой физической теории элементарных частиц. Бор ответил, что вряд ли эта теория верна, так как она недостаточно сумасшедшая (*сгазу*). Этот эпизод общеизвестен.

Смысл боровского парадокса состоит в том, что преодоление реальных трудностей, на которые натолкнулась наука в данной области, требовало принципиально новых, неожиданных идей. Существующие идеи исчерпаны. Такая новизна, смелость, неожиданность могут быть восприняты как сумасшествие.

Сам Бор в свое время ввел «сумасшедшую» идею. Для объяснения закономерностей, наблюдаемых в атомных спектрах, он постулировал (не доказывал, а постулировал) нарушение одного из фундаментальных законов классической физики электронами в атомах. В дальнейшем боровская модель атома оказалась неправильной, — еще более «сумасшедшая» квантовая механика (исходящая из волновых свойств частицы — электрона) дала спектрам вполне гармоничное и строгое объяснение. Но теория Бора сыграла важнейшую роль в науке, и ее основные положения полностью сохранились в квантовой механике, несмотря на то, что трактовка их изменилась.

«Сумасшествие» такого рода может быть научным и лженаучным. Есть ли критерии научного «сумасшествия»?

«Неожиданная теория» — в действительности ожидается. Понимал же Бор, что физика элементарных частиц требует новых представлений. Это ожидание возникает в результате понимания трудностей, которые невозможно преодолеть на ранее выработанной основе, в результате знания реальных границ применимости прежней теории.

«Сумасшедшая» теория должна объяснять и предсказывать экспериментальные факты точнее, логичнее и более однозначно, чем любые предшествующие ей попытки. Какими бы смелыми ни были сделанные предположения, они должны быть согласованы друг с другом и с опытом; теория не может содержать внутренних противоречий.

При соблюдении этих условий «сумасшедший» ученый оказывается талантливым творцом науки, нашедшим выход из возникшего тупика. Он оказывается Больцманом, Планком, Эйнштейном.

Принципиально новая и смелая мысль требует максимального вдохновения от ученого. Работа чистой логики кончается — приходится разрывать логическую цепь, руководствуясь фантазией, интуицией и даже эстетической эмоцией. Решающим фактором становится талант ученого, его способность угадать тайну природы. Не раскрыть ее путем последовательных рассуждений и расчетов, а именно угадать. Л. И. Мандельштам говорил, что основное уравнение квантовой механики — уравнение Шредингера — не выведено, а угадано.

Эта творческая работа во многом подобна работе художника. Художник тоже «сумасшедший», потому что он создает ранее не виданную форму, произносит ранее не слышанные слова. Большинство современников поначалу называло музыку Бетховена какофонией, живопись импрессионистов — мазней, спектакли Мейерхольда — балаганом.

Ученый находится в лучшем положении, чем художник. Он может доказать истинность своей концепции. Он располагает критерием практики, опыта. Не все поймут и примут эти доказательства — еще и сегодня имеются на белом свете физики, оспаривающие теорию относительности или квантовую механику. Однако «сумасшедшая» научная теория быстро завоевывает признание в кругах специалистов — среди наиболее талантливых и дальновидных ученых, среди научной молодежи, не обремененной чрезмерным грузом введшихся в мозг рутинных представлений. Новая теория стремительно развивается дальше (вспомним период «бури и натиска» квантовой механики 1926—1930 годов). Наука торжествует.

Художнику приходится долго ждать признания. Вначале его понимают лишь немногие — люди, особенно близкие к искусству, наделенные острым эстетическим чутьем

и глубокими знаниями. Признание художника определяется многими обстоятельствами, в частности здесь важную роль играет уровень эстетической культуры. И в XX веке таланты, позднее признанные обществом, умирали с голоду — такова трагическая судьба Пироманишвили или Модильяни. С ученым такое уже давно не случалось.

ЯВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ КУЛЬТУРЫ

Попытки рассмотрения науки и искусства как явлений единой культуры, явлений внутренне родственных встречаются с немалыми трудностями.

Наука, построенная на точном опыте, на точном рассуждении, существует каких-нибудь четыреста лет. В предшествующие эпохи развитие научных знаний шло значительно медленнее и не характеризовалось единым строгим методом. Одновременно возникали гениальные прозрения в области математики (не требовавшей эксперимента) и фантастические домыслы в области физики и тем более химии и биологии. Между тем человеческая культура в истинном смысле этого слова (как творческое познание мира и овладение его силами) существует тысячелетия.

Произведения подлинного искусства всегда сохраняют свое эстетическое значение. Конечно, современный человек смотрит на голову Нефертити не теми глазами, какими смотрел на нее древний египтянин, но надо думать, что ощущение гармонии, изящества, женственности, вызываемое этим скульптурным портретом, было всегда примерно тем же, что и сейчас. В то же время древнеегипетская наука сегодня не имеет никакого значения, кроме исторического.

В «донаучный» период развития науки ее тесная связь с искусством представляется более очевидной, чем в последующее время. Пифагорейское учение о числе, античная геометрия проникнуты тем же стремлением к наглядному совершенству, что и скульптура этой эпохи. Анализ конических сечений и создания Мирона и Фидия вызваны к жизни единым мировоззрением расцветшего античного полиса. Одновременно в Индии, в Китае, в Перу развивались совершенно иная наука, иное искусство.

Когда творцы культуры Возрождения преодолевали религиозно-мистические абстракции и догматизм средневековья, то этот процесс протекал одновременно и в науке и в искусстве, даже объединяясь в творчестве одной личности — особенно ярком у Леонардо да Винчи. Именно в эту эпоху и были заложены основы научного метода.

В дальнейшем, вплоть до сегодняшнего дня, наука развивалась непрерывно, со все возрастающим ускорением. И если в «донаучный» период наука и искусство непосредственно питались общими религиозно-философскими идеями, то дальше их пути стали расходиться. Наука обрела свой экспериментальный метод, свою логику и тем самым ту меру независимости от субъективных факторов, без которой она не могла бы существовать как наука, как познание реального мира.

В идеалистической философии истории Освальда Шпенглера («Закат Европы») человеческие культуры разных эпох и народов рассматривались как совершенно не связанные друг с другом. Шпенглер отрицал не только преемственность художественных идей и образов, но и преемственность научных знаний. Каждая культура расцветает, как цветок, и затем увядает и гибнет. Создания одной культуры непостижимы для представителя другой. «Фаустовская душа» западной культуры (X—XX века Европы) не имеет никаких способов для того, чтобы понять «аполлоновскую душу» античной культуры (XI век до н. э.— III век н. э., Греция и Рим).

Справедливо отмечая внутреннее родство науки и искусства, Шпенглер в то же время построил мистифицированную историю культуры. Наука для него имела символическое значение; так, понятия физики — это только символы некоего мирозерцания, но не отражения объективной реальности. Гигантский прорыв современной физики в новые области познания для Шпенглера всего лишь выражение краха «фаустовской культуры», подобного краху античной культуры в I—III веках.

Очевидно, что нет надобности подробно опровергать эту ложную концепцию,

пользовавшуюся известной популярностью в начале века. Не только в науке, но и в искусстве существует преемственность идей и образов.

Схемагизируя культурно-исторический прогресс, можно сказать, что по мере развития науки уже в «научный» период влияние на нее искусства становится все более скрытым. Напротив, возрастание общественного значения науки не может не сопровождаться возрастающим ее воздействием на искусство, на литературу. Оно и более очевидно, так как индивидуальность художника непосредственно выражена в его создании — в отличие от индивидуальности ученого.

Современное научное познание отказывается от натурализма в том смысле этого слова, в каком оно употребительно в эстетике. Наука XX века проникла за видимую данность явлений природы, и ее наиболее абстрактные обобщения — теория относительности, квантовая механика, — так явно противоречащие «здравому смыслу», оказываются несравненно более реалистичными, чем обобщения прошлых столетий.

Здравый смысл, конечно, историческая категория. Это совокупность данных повседневного опыта и прописных истин, сообщаемых в школе. Здравый смысл современников Галилея не мирился с гелиоцентрической картиной мира. Сегодня каждый школьник убежден в том, что Земля вращается вокруг Солнца, но теория относительности все еще представляется неприемлемой неспециалисту.

В статье Е. Л. Фейнберга («Новый мир», № 8, 1965) справедливо указывается, что на каждом этапе развития науки ее достижения знаменовали отказ от здравого смысла. Это так, но преодоление повседневного опыта идет все дальше и с ускорением. Ломка привычных представлений становится все более быстрой и значительной.

Это не может не оказать воздействия на характер поисков нового в различных областях искусства и литературы.

Наука воздействует на литературу и непосредственно. Писатель все чаще обращается к образам ученых и к их деятельности. Бурное развитие научной фантастики также отражает возрастающую роль науки в современном обществе.

Не менее существенно для взаимодействия науки и искусства влияние науки — естествознания — на эстетическое восприятие и на самую науку — эстетику.

Глубокий теоретический анализ произведений искусства, обоснованные эстетические оценки, не имеющие ничего общего с «вкусовщиной», с «нравится — не нравится», требуют научной работы. Искусствоведение развивается параллельно с естествознанием и в связи с ним. Сегодня оно черпает ценные и содержательные идеи в теории информации, руководствуется строгим аналитическим методом.

Перейдя от биологической эволюции к социальному развитию, человек не подчиняется более основному закону биологии, согласно которому приобретенные признаки не наследуются. В социальной, в культурной области человек наследует опыт и знания предыдущих поколений — у него есть книги. Он совершенствует и естественнонаучное и эстетическое познание. И этот путь ведет далеко, ко множеству новых открытий.

УЧЕНЫИ

Говоря о науке-творчестве, мы, естественно, обращаемся к творцам науки, к ученым.

Научной работой занимаются очень многие. Но далеко не каждого научного работника можно назвать ученым. Ученый — человек, занимающийся научной работой потому, что его мировоззрение и психология определяются его жизненной задачей, состоящей в раскрытии тайн природы. Или, наоборот, его жизненная задача такова, потому что у него — научная психология.

Ученый не лучше и не хуже других людей. Но в его психологии имеются специфические черты, в ней есть свои особенности.

Специфична психология любого творческого работника. Истинный живописец воспринимает окружающее через призму своего творчества — он почти инстинктивно думает, как написать этот пейзаж, этого человека.

Какова же психология ученого? Это опять-таки тема специального исследования. Отношение истинного ученого ко всем явлениям жизни отражает его подход к предметам научного исследования. При всех субъективных различиях этот подход характеризуется общими особенностями.

Ученый сознательно или бессознательно анализирует и классифицирует любые явления — начиная со своих знакомых и кончая историческими событиями. Те, кто близко знал Ландау, помнят его манеру все «раскладывать по полочкам». Ученый требует строгого доказательства любого выдвигаемого положения и поэтому сравнительно мало восприимчив к утверждениям декларативного характера.

Стремление к классификации, систематизации, каталогизации — очень важная черта многих ученых. Посетите музей-квартиру Д. И. Менделеева в здании Ленинградского университета. Вы увидите собственноручно составленный Менделеевым каталог его библиотеки. Каталог отгисков статей, которые присылали ему русские и зарубежные коллеги. Полный и очень пространный перечень присужденных ему научных степеней и званий, тоже написанный рукой Менделеева.

Менделеев любил живопись, даже публиковал рецензии о выставках и аккуратно вклеивал в альбомы все репродукции картин передвижников, где бы они ни печатались — в журналах и газетах, в «Ниве», в провинциальных изданиях.

В этой черте характера Менделеева было что-то детское. И в то же время эта черта представляется связанной с методикой его научной работы. В конце концов периодический закон был открыт через каталогизацию известных тогда элементов — Менделеев написал их свойства на оборотной стороне визитных карточек и стал эти карточки комбинировать. Конечно, этому финишу предшествовала мощная работа мысли, внимательное и критическое исследование громадного материала.

Классификаторство совершенно необходимо ученому. Никакая наука не может развиваться без классификации наблюдаемых явлений. Это верно в тем большей степени, чем более многообразны явления. Научная биология началась с классификации видов, данной Линнеем. Существенна, конечно, не классификация сама по себе, а глубокие научные принципы, положенные в ее основу. Если установлено, что мы с вами относимся к виду *Homo sapiens*, к отряду приматов, к подклассу плацентарных, классу млекопитающих, подтипу позвоночных, типу хордовых, то это значит, что найдено место человека в эволюционном древе, определены его главные биологические особенности. Без Линнея не было бы Дарвина. Без Менделеева-классификатора не было бы Менделеева — первооткрывателя основного закона химии.

Когда-то Оствальд делил ученых на классиков и романтиков. Есть ученые (классики, по Оствальду), посвящающие всю жизнь или значительную ее часть систематическому исследованию одной проблемы, идущие вглубь по однажды намеченному пути. Забавным выражением этой тенденции служит история одного биолога, на протяжении многих лет изучавшего строение дождевого червя и публиковавшего последовательно статьи об одном его сегменте за другим. Когда на одном семинаре биолога спросили, скоро ли он дойдет до хвостового сегмента, он ответил фразой, достойной латыни Цезаря: «Червяк длинный, а жизнь коротка» (*Vermes longus et vita brevis sunt*). Фраза смешная, но совершенно правильная. Речь идет о серьезной, глубокой и последовательной работе, которая и есть дело жизни ученого.

Другие (романтики) идут вширь. Зачастую они теряют интерес к проблеме после нахождения наиболее общих положений, относящихся к ее решению, и переключаются на новые задачи.

Современность выдвинула новый тип ученого — организатора и руководителя. Невероятное усложнение и увеличение масштаба научного оборудования, необходимого для решения актуальных задач физики или астрономии, делает в ряде случаев невозможной работу в одиночку или малыми коллективами. Вместо скромной лаборатории — грандиозное научное учреждение, в деятельности которого участвуют многие сотни людей. Ими руководит крупный ученый. Он вынужден ежедневно и ежедневно преодолевать громадные трудности совмещения творческой умственной работы с решением конкретных задач общественного, организационного, экономического, финансового характера.

Таланта и сосредоточенности здесь недостаточно. Руководитель должен быть и сильной личностью. Вспомним И. В. Курчатова.

Сказанное не означает невозможности в наши дни индивидуальной работы или работы с малым числом сотрудников. Молекулярная биология, наряду с физикой микромира ставшая ведущей областью современного естествознания, в значительной мере создана именно такими индивидуальными усилиями.

Отец кибернетики — Норберт Винер относился к крупным научным учреждениям отрицательно. Он писал (в книге «Я — математик»):

«Большинство администраторов и значительная часть публики считают, что массовой атакой можно достигнуть чего угодно и что такие понятия, как вдохновение и идея, вообще устарели... Предельным случаем большого научного института, позволяющим проверить разумность принципов, положенных в основу таких учреждений, является собрание обезьян, беспорядочно нажимающих клавиши пишущих машинок... Будет ли это означать, что с помощью массовой атаки можно создать творения Шекспира?»

Действительно, работникам науки известно, к каким тяжелым последствиям приводит чрезмерное разрастание научного института, как падает в нем жизненный тонус, как нивелируются дарования сотрудников. Нахождение оптимальных размеров института — сложный вопрос. Так или иначе, эти размеры невелики. В целом, однако, лессимизм Винера представляется односторонним и преувеличенным. Но, конечно, Винер был прав, когда писал дальше:

«При благополучном стечении обстоятельств в больших лабораториях можно сделать много замечательных открытий, при неблагоприятном — это болото, в котором гонут способности и руководителей и сотрудников».

Все дело в том, чтобы организовать благоприятное стечение обстоятельств. Для этого требуются специальные дарования, может быть, более редкие, чем чисто научные.

Есть ученые с аналитическим и синтетическим складом мышления. Нельзя отдать предпочтение одному типу ученого перед другим. Грандиозное здание науки построено и классиками и романтиками, и блестящими талантами и скромными тружениками. Даже Эйнштейн как-то сказал: «Если бы у меня был зад Макса Борна, я бы сделал многое». Он считал Макса Борна — одного из крупнейших современных физиков — гораздо усидчивее себя. Несомненно, что просиженные штаны необходимы для познания и творчества.

СТИМУЛЫ

Стимулы творческой деятельности ученого разнообразны, они зависят от его характера, от области науки и даже от конкретной ситуации. Имеются, однако, три главных определяющих фактора.

Во-первых, в той или иной мере осознанное стремление найти решение проблем, практически важных для человечества. Ученый испытывает глубокое удовлетворение, если сделанная им работа оказалась полезной для общества, если ему удалось помочь технике, сельскому хозяйству, медицине.

Но если речь идет об истинном ученом, об истинной науке, то идея практической важности никоим образом не означает узкого утилитаризма. Утилитарное отношение к науке резко противоречит ее смыслу и содержанию. В нем — двойная опасность. Опасность непризнания работ ученых на том основании, что их практическая ценность сегодня не очевидна и поэтому они кажутся абстрактными и «оторванными от жизни». Опасность спекуляции на практической полезности лицами, выдающими себя за ученых. И то и другое создает помехи науке, иногда становящиеся серьезными.

К. А. Тимирязев писал в своей ранней статье о Пастере:

«Да, вопрос не в том, должны ли ученые и наука служить своему обществу и человечеству, — такого вопроса и быть не может. Вопрос о том, какой путь короче и вернее ведет к этой цели. Идти ли ученому по указке практических жизненных мудре-

цов и близоруких моралистов или идти, не возмущаясь их указаниями и возгласами, по единственному возможному пути, определяемому внутренней логикой фактов, управляющей развитием науки...

Никто не станет спорить, что и наука имеет свои бирюльки, свои порою пустые забавы, на которых досужие люди упражняют свою виртуозность; мало того, как всякая сила, она имеет и увивающихся вокруг нее льстецов и присосавшихся к ней паразитов. Конечно; но не разобраться в этом ни житейским мудрецам, ни близоруким моралистам, и во всяком случае критерием истинной науки является не та внешность узкой ближайшей пользы, которой именно успешнее всего прикрываются адепты псевдонауки, без труда добывающие для своих пародий признания их практической важности и даже государственной полезности».

Раскрытие любой тайны природы рано или поздно сказывается на жизни человечества. Выводя закон эквивалентности массы и энергии, Эйнштейн не помышлял об атомной электростанции или о водородной бомбе. Но прошло около сорока лет, и его открытие сработало на практике... Современное ускоренное развитие науки и техники резко сокращает эти сроки.

Второй мощный стимул — честолюбие. Высокая оценка труда ученого научной общественностью выражается различным образом. Вероятно, самое важное — это дальнейшее развитие работ другими учеными, опирающееся на результаты, достигнутые данным автором. Внешне это проявляется в цитируемости работы, в частоте ссылок на нее в мировой научной литературе. Присуждение премий, избрание в Академию, несомненно, тоже могут оказывать на ученого сильное стимулирующее воздействие. Здесь необходим, конечно, «гамбургский счет» — наука кончается и ученый перестает быть ученым, если его радует или огорчает оценка, основанная на ненаучных положениях. Честолюбие, свойственное в той или иной мере большинству ученых, видимо, нельзя считать недостатком, если «гамбургский счет» учитывается. Но в честолюбии таятся опасности. Если ученый говорит своим сотрудникам: «Мы должны работать на Нобелевскую премию», то вряд ли работа окажется хотя бы элементарно доброкачественной. Думать о премии допустимо лишь в конце работы, а не при формулировке задачи и разработке методики исследования. Представьте себе поэму, написанную в расчете на получение премии!

Были и есть ученые, совершенно лишенные честолюбия. Они пользуются всеобщим уважением, в том числе и уважением честолюбцев. Крупнейший советский физик Л. И. Мандельштам совершенно не интересовался внешним успехом своей работы, он не стремился к ее публикации. Мандельштама увлекала лишь наука, как таковая, самый процесс научного творчества.

Третий и важнейший стимул, без которого вообще не может быть творческой научной деятельности, — жажда познания. Человек становится ученым не потому, что его способности исключительны. Психология талантливого ученого может не отличаться от психологии бездарного. И Фауст и Вагнер жаждали знания. Человек становится ученым потому, что ему интересно. Его призвание состоит в раскрытии тайн природы, в удовлетворении глубокой любознательности, в стремлении выяснить истину. Конечно, степень этого удовлетворения тем больше, чем значительнее сделанное открытие, чем оригинальнее путь, которым удалось к открытию прийти. Но ученого радует не только достигнутый результат. Сама постановка эксперимента, логика рассуждений радостны и интересны. И как бы ни был мал научный вопрос, на который ему удалось получить ответ, — и процесс получения ответа, и окончательный результат составляют истинное счастье ученого.

ПРИОРИТЕТ

Зачастую крупное и даже малое научное открытие становится предметом спора о приоритете — спорят о том, кто первый сделал открытие. Так, до сих пор в немецкой литературе иногда оспаривается приоритет Менделеева в открытии основного закона химии — периодического закона. Оно приписывается Лотару Мейеру.

В искусстве, в литературе проблема приоритета не возникает — художественное открытие принципиально неповторимо.

Важен ли вопрос о приоритете? Стоит ли о нем спорить?

В аспекте науки-познания приоритет не существует. Познание природы объективно и неизбежно. Если сегодня ученый не установил некую закономерность в явлениях окружающего мира, то завтра ее установит другой. Познание — дело общечеловеческое, и поэтому, казалось бы, не важно, кем именно сделано открытие.

Но если говорить о науке-творчестве, то приоритет важен. Творческие создания ученых, равно как и художников, — предмет гордости общества, в котором они работают. Мы справедливо оцениваем вклад страны в мировую культуру по достижениям ее мыслителей и творцов. Приоритет существует для общества, он формирует его самосознание, дальнейшие перспективы — при условии абсолютной точности и правдивости определения приоритета. Научный подвиг Менделеева важен для всей русской культуры.

Лотар Мейер действительно приближался к открытию периодического закона. Однако он ограничился лишь рассмотрением периодичности атомных объемов. Всеобщее значение периодического закона, его предсказательная сила не приходили Мейеру в голову. В своем основном труде, опубликованном в 1870 году, Мейер прямо ссылаясь на работу Менделеева 1869 года — сам он на приоритет не претендовал.

У Менделеева были и другие предшественники. Первые попытки научной классификации химических элементов делались Деберейнером, Бегье де Шанкуртуа, Ньюлендсом. Ни одно крупное научное открытие не падает с неба. До Эйнштейна к идеям теории относительности приближались Лорентц и Пуанкаре. Но автором открытия следует считать того, кто полностью его сформулировал, понял его смысл и значение и сделал из него нужные выводы. Если речь идет о техническом открытии, то его автор тот, чья машина действительно работала, а не разрушалась при первом же испытании.

Борьба за присуждение приоритета Мейеру использовалась для шовинистической пропаганды; так бывало не раз. Но подлинный патриотизм не имеет ничего общего с шовинизмом. Их отличие — отличие правды от лжи. Без правды не может быть приоритета.

Известен вульгарный и бесчестный способ защиты истинного или мнимого приоритета, основанный на охаивании других ученых. Так, в одной статье, опубликованной в конце сороковых годов, говорилось, что закон сохранения энергии открыл великий русский ученый Ломоносов, а не английский пивовар Джоуль или немецкий врач Гельмгольц.

Джоуль действительно был пивоваром, а Гельмгольц — врачом по образованию. Но они были прежде всего крупнейшими физиками и вместе с Майером — также врачом — открыли закон сохранения энергии. Энгельс убедительно показал, что этот закон и не мог быть открыт ранее XIX века — века пара и электричества.

Домыслы о Ломоносове основывались не на какой-либо из его работ, а всего лишь на одной фразе из письма к Эйлеру от 5 июня 1748 года: «...Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же теряется у другого... Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому».

Слова очень содержательные. Но, во-первых, они касаются не энергии, а «движения» — понятия неопределенного, и, во-вторых, сходные мысли высказывались еще в XVII веке Декартом, утверждавшим, что во вселенной всегда сохраняется одно и то же «количество движения». Ломоносов хорошо знал и почитал Декарта. Закона сохранения и превращения энергии, количественной меры энергии, здесь нет и в помине.

Великий Ломоносов, открывший закон сохранения вещества, обосновавший кинетическую теорию тепла, так много сделавший во всех науках и искусствах, не нуждается в том, чтобы ему приписывали мнимые открытия.

Приоритет Менделеева определяется широтой и глубиной понимания им открытой закономерности. Менделеев не только систематизировал свойства известных в его время элементов. Он понял всеобъемлющее значение периодического закона, произвел ради-

кальный пересмотр громадного фактического материала, с предельной точностью предсказал свойства еще не открытых элементов.

Ученый лишь в редких случаях не заинтересован в своем приоритете. Даже такой полностью погруженный в науку человек, как Ньютон, тратил время и силы на защиту своего приоритета в открытии закона всемирного тяготения от притязаний Гука. И Ньютон был прав: талантливый Гук ограничивался качественными соображениями, в то время как у Ньютона закон был сформулирован в строгой количественной форме и из него были получены далеко идущие следствия.

В наше время — время широкого и быстрого международного обмена публикациями — споры о приоритете становятся все более редкими. Приоритет устанавливается достаточно точно датой поступления статьи в журнал, авторским свидетельством, патентом. Приоритет приобрел не только общественное, но и прямое материальное значение для автора и его страны, в особенности если открытие практически важно.

НАУКА И ПРАВСТВЕННОСТЬ

Несколько лет назад на страницах «Литературной газеты» шла дискуссия о связи между наукой и этикой. А. Н. Несмеянов считал, что наука не имеет никакого отношения к нравственности, А. Д. Александров отстаивал противоположный тезис.

Этот спор был лишен рациональной основы, так как его участники употребляли слово «наука» в разных смыслах. Несмеянов говорил о науке-познании, о науке — совокупности фактов и закономерностей, свойственных Природе, а его оппоненты скорее имели в виду науку-творчество.

Конечно, структурная формула бензола, как факт реальной Природы, не нравственна и не безнравственна. Закон наследования приобретенных признаков, как таковой, не имеет отношения к этике.

Однако творческая деятельность ученого — личности, существующей и работающей в обществе, — связана с множеством этических проблем. В свою очередь этика, прежде всего этика социалистического общества, отвергающего религию, нуждается в научном обосновании.

Ученый сталкивается с этическими проблемами непрерывно. Научная работа требует абсолютной правдивости. Очень часто результаты опыта противоречат ожиданиям, режут под корень исходную концепцию. Основной этический принцип научной работы — честное отношение к этим результатам. Здесь нужно мужество. Тем более оно необходимо, когда уже опубликованная работа оказывается ошибочной и ее опровергают. Честный ученый вынужден признать свою ошибку, принять научно аргументированные возражения.

Фарадей еще не знал закона сохранения и превращения энергии. Но в течение всей своей творческой жизни он искал связи между различными физическими явлениями, искал и находил. Он установил основные законы взаимосвязи электричества и магнетизма, электричества и химии, влияние магнетизма на оптические свойства вещества. Нахождение связи между электромагнитными явлениями и тяготением было его мечтой. Фарадей поставил опыт. Он бросал катушку с намотанным на нее проводом, концы которого были присоединены к гальванометру, на пол с высоты в несколько метров. Стрелка гальванометра отклонялась. Многие на месте Фарадея удовлетворились бы этим результатом и были бы счастливы. В самом деле — изменение силы тяжести привело к появлению электрического тока! Но Фарадей провел тщательное исследование и убедился в том, что наблюдаемый эффект не имеет отношения к тяготению — провод при падении катушки пересекал линии магнитного поля Земли и ток был результатом обычной электромагнитной индукции, изученной тем же Фарадеем. Он имел и честность и мужество признать, что ожидаемого эффекта не существует.

Особенности психологии ученого — о некоторых из них уже говорилось выше — сами по себе не гарантируют высокого уровня его морали. Вероятно, процент морально недоброкачественных людей среди ученых не ниже, но и не выше, чем среди людей, занимающихся любым другим творческим делом. Специфична, пожалуй, этиология амо-

ральности. Она очень часто связана с чрезмерностью честолюбия и соответственно самолюбия. У ученого может возникнуть своего рода «комплекс неполноценности» — в результате несоответствия между честолюбивыми замыслами и достигнутыми результатами. Отсюда зависть и недоброжелательство, нарушения этики во взаимоотношениях с коллегами, диктаторство в научном коллективе, навязывание своего соавторства и прочие пакости вплоть до отставания не проверенных наукой положений и публикации недоброкачественных работ. Очень опасным для многих оказывается высокое положение в научной иерархии — известно немало случаев, когда в прошлом хороший ученый превращался в не терпящего возражений повелителя. Такой человек уже не говорит, а вещает, спорить с ним нельзя.

Есть такое понятие — совесть ученого. И это не просто красивые слова. Однако не всегда о ней помнят. Первоклассный французский математик Коши был преступно невнимателен к открытиям молодых ученых, не вникал в их работы и просто терял их: его поведение послужило косвенной причиной ранней гибели двух юных гениев — Галуа и Абеля. Блистательный Хемфри Дэви пытался помешать избранию своего ученика — Фарадея — в члены Королевского общества.

Великий Гаусс, не желая «дразнить гусей», не только боялся опубликовать свои работы по неевклидовой геометрии, но и не оказал необходимой поддержки Больяни. А Больяни она была так нужна! Серьезный математик Остроградский высмеивал «Воображаемую геометрию» Лобачевского. В протоколе Академии наук от 7 ноября 1832 года сказано: «...г-н Остроградский замечает, кроме того, что работа выполнена с таким малым старанием, что большая часть ее непонятна. Поэтому он полагает, что этот труд г-на Лобачевского не заслуживает внимания Академии». Подобных примеров, к сожалению, множество.

Наряду с «комплексом неполноценности» источником аморальности ученого может быть психологическое окостенение, приводящее к неспособности воспринимать новые «сумасшедшие» идеи, противоречащие привычным представлениям, выросшим в догму. По-видимому, в этом причина поведения Остроградского. Прямо противоположно, но в конечном счете не менее аморально поведение ученых, широко и преждевременно рекламирующих идеи — свои или чужие — именно потому, что они очень новы и неожиданны. Как раз в этих случаях и нужна особенно тщательная проверка, особенно высокая требовательность к точности и строгости экспериментальных результатов или теоретических рассуждений.

Безнравственность ученого становится особенно опасной, если он поддерживает своим авторитетом реакционные политические идеи. Немецкие физики Штарк и Ленар, когда-то заслуженно получившие Нобелевские премии, примкнули к фашизму и возглавили так называемую «арийскую физику» в третьем рейхе. В наши дни Теллер, в прошлом выдающийся физик-теоретик, превратился в глашатая наиболее реакционных кругов США и призывает к тотальной термоядерной войне против Советского Союза, против коммунизма.

Все эти мрачные примеры показывают, что наука (если не сводить ее к голому званию) имеет самое непосредственное отношение к этике.

Между тем моральными принципами иногда пренебрегают. Один выдающийся физик говорил о приглашаемом в лабораторию сотруднике: «Пусть он родную мать убил — меня это не интересует. Мне важно, чтобы человек был способный и работал бы хорошо». Моральные оценки зачастую отодвигаются на задний план по сравнению с профессиональными и смягчаются. О человеке недобросовестном говорят, что он несколько легкомыслен, о заведомом подлеце — что у него неважный характер.

В прошлом в науку шли немногие. Она не была карьерным поприщем, не приносила материального благополучия и настоятельно требовала сурового труда и самоотречения. Сейчас в связи с резко возросшим значением науки картина изменилась. Несомненно, что массовость научной работы и повышение оплаты привлекли в науку множество людей, далеких от высших моральных идеалов. Это неизбежный и естественный процесс, его хорошая сторона состоит в том, что наука стала более доступной. Но одновременно она стала и менее нравственной.

«Нам пришлось отказываться от многих старых представлений,— писал Винер.— Мы все знали, что у ученых есть свои недостатки. Среди нас были педанты, любители спиртного, честолюбцы, но при нормальном положении вещей мы не ожидали встретить в своей среде лжецов и интриганов».

В целом наука во всем мире остается наукой. Однако процент людей, занимающихся научной работой ради степеней и званий, ради высокой зарплаты и почетного общественного положения, сейчас, несомненно, возрос. Более того, именно потому, что эти люди не заняты глубокой и сосредоточенной работой по выяснению истины и в то же время обладают повышенной карьерной активностью, им в ряде случаев удается занять высокое положение в научной администрации, оттеснить настоящих ученых. Очевидна насущная необходимость повседневно отстаивать нравственные принципы в науке, бороться с их девальвацией. Этические проблемы становятся все более актуальными.

Подлинное научное творчество — нравственное занятие. Когда мы вспоминаем о человеческих качествах крупных ученых, то мы думаем не о мракобесах вроде Штарка и Ленера, а о благородных и смелых людях, истинных ученых в высшем смысле этого слова. Имена Эйнштейна и Бора, Л. И. Мандельштама и Н. И. Вавилова ассоциируются не только с их открытиями, но и с красотой человеческого облика. Л. Д. Ландау мог быть резким и беспощадным критиком, не всегда справедливым с точки зрения критикуемого, но всегда абсолютно честным и искренним. На высшем уровне служения истине ученый оказывается поборником нравственных идеалов человечества. Таковы ученые-гумансты, мужественные борцы за мир, игравшие и играющие сегодня важную роль в движении человечества к лучшему будущему.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО

Служение нравственным идеалам следует из понимания ученым своей ответственности перед обществом. Ученому многое дано. Его творческая работа вырабатывает у него строгое и непредвзятое мышление, способность к гочному логическому рассуждению. Общество внимательно прислушивается к словам ученого; его деятельность может иметь серьезные последствия для человечества.

История атомной бомбы общеизвестна. Эйнштейн, Ферми, Сциллард, Оппенгеймер руководствовались высокой целью борьбы с беспримерными в истории человечества преступниками — с германским фашизмом. Однако открытие физиков попало в руки американских военных, которые сожгли Хиросиму и Нагасаки. Попытки ученых остановить это ужасное дело оказались тщетными. Физики — не Теллер, конечно,— пережили тяжелую нравственную травму.

Советская наука этой трагедии не знает. Деятельность И. В. Курчатова и его соратников послужила делу жизни, а не смерти. Создание атомного оружия в Советском Союзе стало существенным препятствием развязыванию третьей мировой войны.

Ответственность ученого перед обществом гребует от него гражданского мужества. Оно свойственно далеко не всем. В дореволюционное время далеко не все видные ученые выступали на стороне революции, боролись с царизмом. Чем выше положение ученого, которого он достиг непрерывным трудом, тем больше зачастую он боится им рисковать. Он старается уйти в сторону от острых общественных проблем. Это легко обосновать. «Я занимаюсь важным делом, нужным человечеству, я сею разумное, доброе, вечное — остальное меня не касается».

Но были и другие примеры.

Д. И. Менделеев всегда поддерживал всей силой своего авторитета революционную студенческую молодежь и был весьма за это нелюбим царским начальством.

Выступления великого русского математика академика А. А. Маркова играли существенную общественную роль. В 1902 году царское правительство отменило избрание Максима Горького почетным академиком. А. А. Марков выступил с резким протестом, а когда с ним не посчитались, подал заявление об отставке. Она не была принята. В 1905 году А. А. Марков вновь потребовал «внести имя г. Пешкова в список

почетных академиков». В 1903 году А. А. Марков подал в правление Академии наук заявление о своем отказе получать какие-либо ордена от царского правительства. В 1907 году А. А. Марков, назвав III Государственную думу незаконным собранием, просил правление Академии наук не вносить его имя в списки избирателей.

В 1908 году царское правительство пыталось возложить на профессоров университетов полицейские функции. А. А. Марков подал министру просвещения заявление, в котором писал: «Я решительно отказываюсь быть в Университете агентом правительства». В 1912 году А. А. Марков обратился в «святейший правительственный синод» с прошением, которое начиналось так: «Честь имею покорнейше просить Святейший Синод об отлучении меня от церкви». Дальше он аргументировал свое прошение. Как ученый, как специалист по теории вероятностей, А. А. Марков считал более чем сомнительной истинность религиозных сказаний. В конце прошения он говорил: «...и сочувствую всем религиям, которые подобно православию поддерживаются огнем и мечом и сами служат им». Это прошение вызвало бурную реакцию. Церковь пыталась уговорить Маркова — к нему прислали протоиерея Орнатского на предмет «наставления и увещания». Но Марков заявил, что согласен разговаривать с Орнатским только о математике. Пришлось Маркова от церкви отлучить.

Вероятно, с точки зрения послушных царскому начальству академиков Марков был в лучшем случае чудачком. Но это не было чудачеством. Марков отстаивал принципиальную позицию передового ученого — его право на справедливость, на независимость мыслей и поступков. И хотя положение академика было достаточно надежным, антиправительственные выступления Маркова требовали от него гражданского мужества. Революционная общественность России восхищалась его поведением.

Менделеев и Марков, другие ученые — маститые и начинающие, вплоть до Кибальчича и Александра Ульянова, — боролись с произволом самодержавия, с мракобесием и обскурантизмом.

К счастью, Маркову не пришлось защищать свою науку от агрессии невежд. Но в других случаях поиски истины ученым могут привести его на передовую линию борьбы с силами, враждебными знанию, науке, человечеству. В этой борьбе не устоял Галилей. Он ведь никогда не говорил: «А все-таки она вертится». Он отрекся от науки под угрозой пытки. И не каждый бросит в него камень. Великий ученый может и не быть бойцом. Будущее ведь все равно за ним. Но героем борьбы за учение Коперника стал не Галилей, а Джордано Бруно. Однако Брехт в своей драме о Галилее не дает ответа на вопрос о том, должен ли был Галилей идти на костер.

Кто травил Галилея? Не только папская инквизиция. Папа Урбан VIII не решился бы грозить признанному и прославленному ученому пыткой, если бы не получил поддержки «научной общественности» — ученых-завистников, карьеристов и реакционеров. Лженаука никогда ведь не утверждает, что она выступает против науки. Наоборот, мракобесие объявляет себя единственной подлинной наукой и поэтому ищет поддержки со стороны людей, облеченных степенями и званиями.

Очевидно, здесь нужна дифференциация. Мы горько сожалеем об ученом, который, зная истину, отступает от нее под страшной угрозой. Этим горьким сожалением полна драма Бертольта Брехта.

Заслуживает презрения человек, примыкающий к лженауке по глупости или по невежеству. Но наибольшая степень морального падения — поддержка лженауки ученым, знающим дело, но руководствующимся конъюнктурными соображениями. Были ведь среди врагов Галилея и такие — люди, понимавшие справедливость учения Коперника, но заботившиеся о своей карьере, а не о науке. Положение этих образованных карьеристов незавидно: рано или поздно им придется посмотреть в глаза собственным детям.

В связи со сказанным нельзя не вспомнить о недавнем прошлом советской биологии. Группа лиц, руководствовавшихся догматическими псевдонаучными идеями, временно захватила в биологии командные позиции и насильственно прекратила развитие ряда разделов биологии — прежде всего генетики — в нашей стране. До этого советская генетика занимала едва ли не первое место в мире. Был нанесен крупный ущерб и науке, и образованию, и сельскому хозяйству, и медицине. Схоластические проповеди,

профанирование высоких идей марксизма-ленинизма, фальсифицированные эксперименты, травля серьезных ученых — все средства использовались в борьбе с генетикой. Были растоптаны важнейшие этические принципы. В ряде случаев квалифицированные биологи под давлением отказывались от науки или клеветали на нее, исходя из конъюнктурных соображений. Но мы хорошо помним имена советских ученых, непоколебимо стоявших на страже истины. Имена Н. И. Вавилова, И. И. Шмальгаузена, И. А. Рапопорта.

Эти черные страницы истории советской науки зачеркнуты решениями Пленума ЦК КПСС в октябре 1964 года.

ЛЖЕНАУКА

Каждый ученый неоднократно встречается с лженаукой. И ему приходится с ней бороться. В наше время ситуации вроде отречения Галилея или «обезьяньего процесса» в США становятся редкими. Но то и дело в различных странах появляются люди, стремящиеся «удивить мир», претендующие на великие открытия, ломающие привычные представления. Один открывает вечный двигатель, другой доказывает наследование приобретенных признаков, третий ниспровергает квантовую механику, четвертый утверждает существование телепатии и даже телекинеза (то есть перемещения предметов силой взгляда).

Лженаука, как правило, агрессивна, широко себя рекламирует в общей печати, усиленно добивается официальной поддержки и иногда ее получает. Автором лженаучной работы порой бывает честный, но мало сведущий или недостаточно самокритичный человек, но чаще это — фальсификатор. Нередко случается, что в поведении лжеученых отчетливо выражены отклонения от психической нормы.

Критерии лженауки также очевидны. Отсутствие логической связи со всем развитием мировой науки, нарушение твердо установленных законов природы, пренебрежение к строгим и воспроизводимым опытам и чаще всего элементарное невежество.

Обычно лжеученый говорит своему ученому критику следующее: «Почему вы претендуете на знание окончательной истины? Откуда вы знаете, что завтра я не окажусь прав? Сколько раз так бывало в истории науки. Может быть, я Лобачевский, а вы выступаете в роли Остроградского. Вы хотите закрыть дискуссии в науке, хотя знаете, что истина рождается в споре. Вы — реакционер и догматик, а я новатор. И единственное, чего я требую, — равноправного спора!»

За этим следуют жалобы в разные высокие инстанции. Жалобы и доносы. Лжеученый находит себе сторонников в среде неспециалистов, выступает в роли невинной жертвы обскурантизма, жертвы злодеев, окопавшихся в редакциях научных журналов и отказывающихся печатать его статьи.

Эти кажущиеся убедительными аргументы лжеученого легко опровергаются. Да, действительно, наука развивается непрерывно, и сегодня трудно предсказать будущие открытия. Но развитие науки подчинено внутренней логике. Никогда не бывало так, чтобы новое открытие начисто отвергало добытые ранее знания. Поиски новых истин в настоящей науке начинаются тогда, когда выявляются границы применимости установленной концепции. Как известно, теория относительности не отвергла ньютоновскую механику, а включила ее в новую теорию пространственно-временных отношений, как частный случай, совершенно справедливый для движений, происходящих со скоростями много меньшими скорости света. Теория относительности органически возникла на пути преодоления трудностей электродинамики движущихся тел, которые выявились задолго до Эйнштейна. Квалифицированный ученый отвергает лженаучные работы, руководствуясь знанием области, знанием ее реальных трудностей, знанием логики ее развития.

Что касается дискуссии, спора, то он допустим далеко не по всякому поводу. Наука не могла бы существовать, если бы каждое ее положение было дискуссионным. Еще в 1775 году французская Академия наук постановила прекратить рассмотрение любых проектов вечных двигателей. Она была совершенно права — нельзя тратить драгоценное время на анализ попытки опровергнуть твердо установленную закономерность.

На попытку опровергнуть хромосомную наследственность или внутривидовую борьбу за существование, на попытки доказать самопроизвольное превращение видов или самозарождение жизни в бесклеточной системе. Дискуссии по поводу надежно доказанных истин ничего, кроме вреда, принести не могут. Дискуссии в науке, напротив, совершенно естественны и органичны, пока истина не установлена. Так, в XIX веке шел содержательный спор между сторонниками волновой и корпускулярной теорий света. Решающие опыты Френеля закончили спор доказательством справедливости волновой теории. После этих опытов продолжать дискуссию было бессмысленно. В том-то и дело, что подлинный научный спор состоит не в произнесении общих фраз, а в предложении поставить определенные опыты или произвести определенные расчеты. Лжеученый этого никогда не предлагает.

Даже очень хорошие ученые далеко не всегда борются с лженаукой. Очевидно, это занятие скучное, неприятное и небезопасное — известны случаи, когда психически больные лжеученые убивали своих критиков. Существует малопочтенная практика «перепасовки» — один ученый огсылает автора лженаучной работы к другому, вместо того чтобы резко и безапелляционно высказать свое суждение. С другой стороны, честным ученым иногда свойственно чрезмерно доверять кажущимся фактам или нарушать один из основных этических принципов науки и судить не только о том, что хорошо знаешь. В результате биолог дает положительную оценку лженаучной работе по термодинамике, с которой он не знаком, а физико-химик одобряет безграмотное биохимическое исследование. Последствия таких поступков печальны — многим в дальнейшем приходится тратить время и силы на разоблачение лженауки, уже освященной авторитетами.

Великий химик А. М. Бутлеров, один из создателей теории строения в органической химии, человек, сыгравший очень крупную роль в развитии русской культуры и образования, был убежденным сторонником спиритизма. Его опровергал Д. И. Менделеев, его высмеял Лев Голостой в «Плодах просвещения». Как мог Бутлеров, который, несомненно, был стихийным материалистом, поверить в потусторонние явления и поддаться дешевому обману профессиональных медиумов?

Ответ на этот вопрос дал Энгельс в статье «Естествознание в мире духов». «Мы здесь наглядно убедились, — писал Энгельс, — каков самый верный путь от естествознания к мистицизму. Это не безудержное теоретизирование натурфилософов, а самая плоская эмпирия, презирающая всякую теорию и относящаяся с недоверием ко всякому мышлению. Существование духов доказывается не на основании априорной необходимости, а на основании эмпирических наблюдений...»

Попросту верили своим глазам и придумывали материалистические объяснения виденному, не ища истинного смысла и не опираясь на надежную научную теорию. Такое бывает и сейчас. Есть и среди ученых люди, готовые уверовать в телепатию и телекинез, в намагничение воды или в радиосигнализацию у насекомых, несмотря на то, что существование этих явлений противоречит всей совокупности фактов, добытых естествознанием. Выясняется, что ученого не так-то уж трудно обмануть. Смотря на иллюзии Кио в цирке, он знает, что это не чудо, а если телекинетический медиум перемещает предметы, смотря на них, — ученый верит, потому что это не цирк.

К науке-познанию все сказанное никакого отношения не имеет. Лженаучные работы быстро забываются, религия, вера в духов или в телекинез не оставляют следов в совокупности знаний, добытых человечеством. Но ученый, добывающий эти знания, живет реальной жизнью. Он встречается с лженаукой, с предрассудками и мифами, с безграмотностью и догматическим пустословием. Он то и дело натывается на невежд и фальсификаторов, околонучных спекулянтов и краснобаев. И ему приходится со всем этим бороться.

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА ДЛЯ УЧЕНОГО

Выше уже говорилось о взаимодействии науки и искусства как явлений единой культуры. Спрашивается, насколько важны литература, живопись, музыка для творчества ученого?

Дать общий ответ здесь невозможно. Далеко не каждый ученый интересуется искусством. Чрезвычайная занятость, погружение в специальную область порою целиком отрезают ученого от всей художественной культуры. В этом смысле такой ученый не интеллигентен, как бы ни были значительны его открытия.

Узкая специализация интересов в большей мере свойственна ученым Запада, чем советским. Это определяется двумя причинами. Во-первых, вековыми традициями русской культурной жизни, традициями русской интеллигенции, всегда отличавшейся широтой художественных и общественно-политических интересов. Во-вторых, беспрецедентным в истории человечества общекультурным подъемом советского общества. Характерное выражение высокой культуры советского человека — его отношение к непреходящим художественным ценностям прошлого. Для подавляющего большинства читателей этого очерка, в том числе и ученых, стихи Пушкина живут и вызывают сильнейшую эмоциональную реакцию. Обстоятельства гибели Пушкина воспринимаются как личная трагедия, то, что Пушкин был убит молодым и не написал того, что мог написать, лишив нас великой радости, наполняет душу горечью. Напротив, для очень многих западных интеллигентов их гении — будь то Шекспир или Гёте — достояние истории, хрестоматийное прошлое. Конечно, это не универсальная закономерность, но все же черта достаточно характерная.

Опять-таки, не настаивая на универсальности этого тезиса, можно утверждать, что художественные интересы ученого тем шире, чем более широка тематика его научных исследований. В этом смысле теоретик зачастую ближе к искусству, чем экспериментатор. Интерес к искусству более свойствен тем, кто занимается общими научными проблемами, выдвигающими повышенные требования к способности мыслить абстрактно, философски. Но и это утверждение справедливо лишь в нулевом приближении.

Пресловутая проблема «физиков и лириков» все же существует. Проблема двоякая. С одной стороны, у многих людей искусства и людей, любящих искусство, наблюдается своего рода боязнь науки, боязнь ее рационализма, ее технических последствий — как явлений, противостоящих эстетической, эмоциональной стороне жизни, противостоящих духовному значению искусства. С другой стороны, среди людей, занятых наукой и техникой и не успевших или не пожелавших получить эстетическое образование, встречается пренебрежение к искусству, выражающееся в худшем случае во враждебном отношении, а в лучшем — в полном к нему невнимании.

Вторая сторона проблемы вызывает большую тревогу, чем первая. Наука влиятельнее и сильнее искусства в современном обществе. И если представить себе будущее культуры как борьбу науки с искусством, то, конечно, искусство окажется побежденным и уничтоженным.

В действительности проблема эта ложная и существует она только благодаря невежеству — в первом случае «лириков», во втором — «физиков». Противопоставление науки и искусства антинаучно. Именно достижения современного естествознания, психологии, кибернетики, теории информации утверждают полноправное существование «лирики» как важнейшей функции человеческой природы. Сейчас только начаты научные поиски глубоких факторов, объединяющих «физику» с «лирикой». Именно потому и следует заниматься «наукой людей».

Не будем все же преувеличивать эту опасность. Каждый советский ученый, имеющий дело с научной молодежью, знает, с какой силой вторгается в ее жизнь поэзия, живопись, музыка. Общая тенденция состоит в ликвидации этой трагикомической проблемы.

Мы сравнительно мало знаем о влиянии искусства на творческую деятельность великих ученых прошлого. Они говорили об этом не часто.

Дарвин писал в своей автобиографии: «До тридцатилетнего возраста и даже позднее мне доставляла большое удовольствие всякого рода поэзия... и еще в школьные годы я с огромным наслаждением читал Шекспира... Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочитать ни одной стихотворной строки; недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, до отращения скучным. Я почти потерял также вкус к живописи и музыке. Вместо того, чтобы доставлять мне удо-

вольствие, музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю. У меня еще сохранился некоторый вкус к красивым картинам природы, но и они не приводят меня в такой чрезмерный восторг, как в былые годы...

Эта странная и достойная сожаления утрата высших эстетических вкусов тем более поразительна, что книги по истории, биографии, путешествия... и статьи по всякого рода вопросам по-прежнему продолжают очень интересоваться меня. Кажется, что мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большие собрания фактов в общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно было привести к атрофии одной только той части моего мозга, от которой зависят высшие эстетические вкусы... Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах...»

Мало кто рассказывал о себе с такой прямоотой и искренностью, столь содержательно и красноречиво. Дарвин отмечает важность литературы и искусства, нравственное и интеллектуальное значение эстетических переживаний и скорбит об их утрате. Однако те, кто читал труды великого биолога, знают, что в нем скорее произошла не утрата, а переключение эстетического чувства на науку. Работы Дарвина читаются как роман — они не только проникнуты глубокой научной мыслью, но полны эмоциональным и эстетическим содержанием.

Надо думать, что Дарвин совершенно прав, когда он говорит о важности высших эстетических вкусов. Художественная культура обогащает душу человека, она не может не сказаться и на научном творчестве самым благоприятным образом. Отдаленность многих ученых от искусства связана, вероятно, не столько с их личной специализированной психологией, сколько с традициями, укоренившимися в университетской подготовке естественников, с традициями научных учреждений. Жизнь ломает эти традиции, ломает стену, отгораживающую искусство от науки.

НАУКА И ЭСТЕТИКА

Эстетические переживания ученого специфичны в том смысле, что их источник — сама наука. Творчество ученого не только рационально, но и эмоционально. Ученый испытывает чувство счастья, разгадав загадку природы, ощутив подлинное вдохновение, и это чувство сродни чувству художника, понимающего, что произведение ему удалось. Эти эмоции могут быть очень сильными. Едва ли не впервые эстетическое содержание научных законов и формул анализировалось в книге В. М. Волькенштейна «Опыт современной эстетики»¹. В книге справедливо отмечалось эстетическое значение результата физического или химического исследования, определяемое целесообразностью и симметрией формулы. В качестве примеров, в частности, были рассмотрены уравнения электродинамики Максвелла, структурная формула бензола. Эстетическое ощущение вызывается тем, что получение этих формул, условным и лаконичным языком описывающих сложные явления природы, потребовало преодоления этой сложности, то есть победы человеческого разума над коварством природы, ставящим перед ним загадки.

Момент творческого преодоления сложности имеет здесь решающее значение. Эстетическое содержание научного исследования тем больше, чем парадоксальнее и неожиданнее способ указанного преодоления сложности. Научное «сумасшествие» эстетично в высшей степени. Говоря языком современной науки, можно сказать, что это преодоление, то есть нахождение относительно простой закономерности, видимым образом проявляющейся в сложных процессах, означает внесение определенного порядка в систему, выявление ее информационного содержания. В этом смысле работа ученого родственна работе художника. Поэт создает определенный порядок, выбирая слова и

¹ В. М. Волькенштейн. Опыт современной эстетики. Предисловие А. В. Луначарского. «Academia». М. 1931.

звуки из их хаотической массы, ученый находит объективный порядок в хаосе явлений природы. Именно этот порядок оказывается эстетичным.

Рассмотрим один классический пример. В античной науке Птолемей построил геоцентрическую модель Вселенной и для того, чтобы описать движение планет, ввел представление об эпициклах — о добавочном вращении планеты вокруг точки, движущейся по орбите вокруг Земли. Эта модель позволяла предсказывать положения планет на небосводе, лунные и солнечные затмения. Модель была сложной и требовала весьма громоздких расчетов. Коперник много веков спустя впервые понял, что планеты движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Гелиоцентрическая система оказалась правильной и несравненно более простой. Кеплер установил простые эмпирические законы движения планет. Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Система Коперника эстетичнее системы Птолемея. Эстетичны законы Кеплера, так как они дают в предельно сжатой форме ключевую характеристику сложных движений планет, наблюдавшихся Тихо де Браге и другими астрономами. Еще более эстетичен закон тяготения Ньютона, говорящий, что и движение планет, и падение камня, и течение реки строго, количественно объясняются предельно простой зависимостью: сила взаимного притяжения двух тел пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Это преодоление сложности, это внесение порядка в хаос, это освобождение внутреннего ядра явлений природы от внешних оболочек полны эстетического содержания. Надо думать, что и Коперник, и Кеплер, и Ньютон (а задолго до них и Птолемей) испытывали сильнейшие эстетические эмоции, снимая покровы с тайн природы. Такого же рода эмоции испытывает человек, знакомящийся с этими великими открытиями.

Художник, создавая свое творение, прежде всего руководствуется эстетическим чувством. И он также определяет творчество, как снятие покровов:

«Но, делая эти поправки, он (художник Михайлов.— *М. В.*) не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с нее те покровы, из-за которых она не вся была видна... Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы...» (Лев Толстой, «Анна Каренина»).

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенно
Кору снимает за корою...

(Евгений Баратынский, «Скульптор»)

Путь развития науки состоит в установлении новых связей, в объединении различных явлений. Это объединение неожиданно, парадоксально и в то же время оно — целесообразное преодоление трудности и сложности. Тем самым оно эстетично. До Ньютона никому не приходило в голову, что падение камня и движение Земли вокруг Солнца имеют общую причину. Закон тяготения красив. До Эйнштейна не думали, что измерение длины и измерение времени взаимосвязаны. Теория относительности — красивая теория. Мендель доказал, что наследственность подчиняется строгим законам, выражаемым в простой математической форме, — до него математика казалась не имеющей отношения к биологии. Законы Менделя красивы.

Эстетической оценке подлежит и результат научного исследования (красивая теория, красивая формула, красивый закон, скажет ученый), и постановка опыта (красивый опыт!), и логика работы (красивая, то есть ясная и строгая и в то же время не-

ожиданная цепь рассуждений). Здесь всюду содержится трудное преодоление, трудное снятие покровов, вычленение общего и главного из хаоса фактов. Красив решающий опыт — *exregimentum crucis*, — устраняющий сомнения, однозначно доказывающий истинность теоретической догадки.

Эстетика не имеет отношения к науке-познанию, отвлеченной от человека — творца науки, от человека, изучающего науку. Но эстетика необычайно важна в науке-творчестве, ибо эстетическая эмоция — один из основных источников вдохновения.

Вопреки распространенному мнению, сильная эмоция — в данном случае эстетическая — не мешает интеллектуальной деятельности, а помогает ей. Вдохновение ученого есть именно сочетание интеллектуальной и эмоциональной, прежде всего эстетической, активности сознания. Вдохновение и ученого и художника есть момент их высшего счастья. Поэтому оно — могучий стимул. Стоит потрудиться, стоит присидеть не одну пару штанов, для того чтобы испытать это счастье вновь и вновь.

Эстетика науки на первый взгляд совершенно отлична от эстетики искусства. Эстетические переживания по поводу теории относительности доступны лишь человеку, имеющему надлежащую подготовку и понимающему читаемый им труд Минковского или Фридмана. В то же время «Сикстинская мадонна» дана каждому — его непосредственным зрительным восприятием.

Однако полноценное эстетическое восприятие произведения искусства также требует предварительной подготовки, предварительного запаса информации — тезауруса. Тезаурус при чтении поэмы, или при обозрении картины, или при слушании симфонии отличен от тезауруса при штудировании научного труда, но тезаурус необходим. О вкусах не спорят — каждый вправе сказать, нравится ему или не нравится картина или театральные спектакль, но эстетическая оценка художественного произведения требует знаний, зачастую не меньших, чем эстетическая оценка работы по теоретической физике.

Отношение самих ученых к эстетическому содержанию научной работы разнообразно. Людвиг Больцман говорил: «Оставим красоту портным и сапожникам!» Это, впрочем, не означает, что его работы не эстетичны и что сам он не испытывал эстетических эмоций — может быть, бессознательных, — создавая их. Другая крайность — точка зрения одного из создателей квантовой механики, нашего современника Поля Дирака. Дирак считает, что эстетический критерий — главный критерий научного исследования. В науке по-настоящему хорошо только то, что красиво.

Истина, по-видимому, лежит посередине. Теория и опыт могут быть и эстетически нейтральными. Но правильные теоретические и экспериментальные исследования не могут быть антиэстетичными, то есть безобразными. Что означает «безобразие» в науке? Отсутствие строгости и доказательности, построение теории на произвольной основе, введение в расчеты чрезмерного числа параметров и т. д.

Лженаука всегда антиэстетична, и в борьбе с ней уместно пользоваться эстетическим критерием.

Эстетические переживания имеют важнейшее значение в научном творчестве и отвлекаться от них опасно. Но главным критерием качества научной работы, научной теории служит ее истинность, ее экспериментальная проверка, именно то, что называется критерием практики. Этот критерий не противоречит эстетическому, но согласуется с ним. Истина — прекрасна, а ложь — уродлива.

Наконец, эстетической оценке подлежит и поведение ученого, равно как и поведение любого другого человека. Применительно к ученому эстетическая оценка его поведения специфична лишь в том смысле, что оценивается этика его выступлений, его взаимоотношений с коллегами и сотрудниками. Когда один крупный ученый в конце статьи о своем новом открытии написал, что сходное открытие в другой области было удостоено Нобелевской премии, этот достаточно прямой намек был по меньшей мере антиэстетичен. Премии он, впрочем, получил. Антиэстетично преждевременное рекламирование работы, антиэстетично умолчание о заслугах других ученых. Этика неотделима от эстетики.

НАУКА И ЮМОР

Творческая работа, а значит, и работа ученого — занятие счастливое и потому веселое. Юмор имеет самое непосредственное отношение к «науке людей». По крайней мере в трех аспектах.

Во-первых, в познавательном. Остроумие сродни научной мысли. Шутка, острота чаще всего связана с парадоксальностью, неожиданностью сочетания явлений и понятий. Остроумие всегда непредвзято. Нельзя себе представить догматическую остроту — эти два понятия несовместимы. Но парадоксальность, неожиданность, непредвзятость, антидогматизм присущи и научному творчеству. Поэтому вовремя сказанная шутка может не только освежить восприятие обсуждаемых научных проблем, но и повернуть его в нужную сторону.

Во-вторых, в эстетическом аспекте. Лженаука безобразна, антиэстетична и потому смешна. Она подлежит не только опровержению, но и осмеянию. С другой стороны, остроумное решение научной загадки эстетично и в то же время служит источником веселья, смеха.

И наконец — в этическом аспекте. Смех — мощное орудие борьбы с несправедливостью и безнравственностью, юмор — великолепный амортизатор в человеческих взаимоотношениях.

Трудно представить себе талантливого, эффективно работающего ученого, лишеного чувства юмора. Такие встречаются редко. Напротив, среди людей бездарных процент наделенных звериной серьезностью, не улыбающихся и не понимающих шуток, весьма высок. «Комплекс неполноценности», ущемленное самолюбие также ведут к утрате юмора или к злобной и желчной его разновидности.

«Серьезный человек радуется, когда ему удается хоть раз посмеяться от чистого сердца», — говорил Эйнштейн. Ему это удавалось. Его шутки были полны остроумия и глубокого содержания. В статье «Физика и реальность» Эйнштейн писал: «Я не считаю законным скрывать логическую независимость понятия от чувственного восприятия. Отношение между ними аналогично не отношению бульона к говядине, а скорее гардеробного номера к пальто». А на вопрос маленького сына о причинах его славы, Эйнштейн ответил: «Когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что проиденный им путь изогнут. Мне же посчастливилось это заметить».

Наука не может развиваться без самокритики в лучшем смысле этого слова. Ей противопоказаны чинопочитание, «взирание на лица», бездумное следование авторитетам. В той же мере несовместимы с творческой научной деятельностью важничанье, командование, отсутствие человечности. Ученые посмеиваются и над собой, и над своими коллегами, зачастую пародируют и разыгрывают друг друга. В одном из институтов Академии наук существует милая традиция ставить оперетты на местные научные темы. В одной из таких оперетт в сцене, изображающей лабораторию некоего ученого, талантливого, но не раз получавшего ненадежные результаты, над занавесом красовался плакат: «Артефакты — упрямая вещь!» (Артефакты — ложные, искусственные факты, на которые то и дело приходится наталкиваться в научной работе.)

Конечно, шутки ученых иногда звучат тяжеловесно для людей, не связанных с наукой. Здесь своя поэтика, базирующаяся на специальных знаниях и терминологии. Смех — естественная реакция на лженаучную чепуху.

Юмор другого рода сопровождает остроумное научное открытие. Генетический код был расшифрован путем «обмана» клетки. В клеточную систему вместо генетического вещества вводили искусственный, синтетический полимер — молекулярную цепочку, состоящую из звеньев, подобных фигурирующим в природном генетическом полимере. И клеточная химия срабатывала, принималась за синтез белка. Здесь есть элемент комизма — клетку надули и вынудили раскрыть свою тайну. У лектора, рассказывающего об этих прекрасных опытах Ниренберга, весело блестят глаза.

В этическом плане юмор, сатира выступают союзниками науки, ибо нравственность имеет научное обоснование. Преступление всегда антинаучно. И оно всегда лишено веселья и юмора. Моцарт весел, а Сальери не улыбается.

Моцарт

...Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого

Преступник Сальери считает себя не смешным, но величественным. Он оправдывает высокими идеями об общественном благе — гнусное убийство, продиктованное завистью и страхом:

...я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли.

Парадокс состоит в том, что Сальери выступает от имени науки. Сальери, а не Моцарт «поверил алгеброй гармонию». Но Моцарт гораздо ближе к науке. Он — творец, он внутренне свободен. И он — полон юмора. Недаром Эйнштейн так любил музыку Моцарта.

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Громадное значение науки как производительной силы в техническом прогрессе общества очевидно. Однако, говоря о «науке людей», нельзя не коснуться важной темы, связанной с влиянием науки на общественное сознание. Велика материальная роль науки, но ее духовное значение не менее существенно.

Эта проблема, конечно, должна быть предметом глубоких социально-философских исследований. Мысли и соображения, изложенные здесь, на такую глубину не претендуют и далеко не исчерпывают проблему.

Общественное значение науки определяется прежде всего ее революционным содержанием. Развитие науки происходит в непрерывном борении с принятыми на веру догмами, со «здравым смыслом», с легендами и мифами. Наука диалектически преодолевает самое себя, пересматривая и переоценивая ранее сложившиеся концепции и создавая новые, имеющие более глубокий и широкий, порою революционный смысл. Пятая глава «Материализма и эмпириокритицизма» В. И. Ленина называется: «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм». Ленин с предельной ясностью показывает, что открытия, воспринимавшиеся идеалистами как «кризис в физике», в действительности означали революционное движение вперед в диалектико-материалистическом познании природы. Отвергается «здравый смысл» как историческая категория и торжествует подлинное естествознание.

Наука революционна и прогрессивна по самой своей сути. Поэтому она выступает и в человеческом плане как участник и соратник социальных революций. В истории человечества научная интеллигенция зачастую оказывалась на передовых позициях во всех прогрессивных движениях. Напротив, реакционные события, периоды реакции, периоды подавления свободы личности, материального и духовного порабощения человека всегда были отмечены борьбой с развитием науки, угнетением ученых вплоть до их физического истребления.

Крупный физик Бенджамэн Франклин был одним из виднейших деятелей буржуазной революции в Америке. В буржуазной французской революции участвовал целый ряд первоклассных ученых — Бертолле, Монж, Л. Карно и другие. Непоследовательность и внутренние противоречия буржуазной революции привели к террору, жертвами которого пали такие ученые, как Лавуазье и Кондорсэ, а затем и сами вожди революции — Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст. Но при всей сложности событий этой эпохи несомненно, что французская наука была союзником революции, по крайней мере ряда ее этапов. Буржуазная революция во Франции привела, в частности, к бурному развитию науки в последующие десятилетия.

Великая Октябрьская революция исходила из науки, из научной теории марксизма-ленинизма. Впервые в истории научное познание стало руководством к революционному действию. Среди большевиков были многие выдающиеся представители науч-

ной интеллигенции. Немало крупных ученых, да и Российская Академия наук в целом откликнулись на призыв В. И. Ленина принять активное участие в экономическом восстановлении и развитии страны. Это послужило залогом мощного расцвета отечественной науки в последующие годы.

Реакционные идеи всегда противостояли научному познанию. Прежде всего это относится к религии. «Блаженны нищие духом»,— говорит Евангелие и ополчается на «книжников». Религия гребует беспрекословной веры, но никак не аналитического размышления. «Верую, ибо нелепо»,— утверждает наиболее последовательное — католическое — вероучение. Когда церковники убивали Ипатию или терроризировали Галилея, они имели полную возможность опереться на свои канонические тексты. Религия декларирует борьбу с наукой, с познанием, с независимостью интеллекта ученого. Сейчас она вынуждена приспособляться и искать путей сближения с наукой, но суть дела от этого не меняется.

В России XIX века в годы реакции наука, ученые были далеко не в почсте. Салтыков-Щедрин едко высмеял это отношение к науке в «Дневнике провинциала в Петербурге». Отставной подполковник Дементий Сдаточный в своем проекте «О реформировании де сиянс академии» считает первейшей обязанностью академии требовать от обывателей представления сочинений на тему: «О средствах к совершенному науку упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло и чтобы оно и по упразднении наук соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее». По мнению Сдаточного, только те науки распространяют свет, «кои способствуют выполнению начальных предписаний».

Реакция опасна и наука-познание, и в еще большей мере «наука людей». Ненависть к творческой интеллигенции характерна для самых черных периодов в истории человечества. «Когда я слышу слово культура, я спускаю предохранитель своего револьвера»,— откровенно заявлял Геббельс.

Научное мировоззрение не мирится с мифом о фюрере. Оно подрывает самые основы реакционного режима, противопоставляя насаждаемым силою догмам ясность революционной мысли. Научное обоснование этики и права отвергает произвол и насилие. Научное мышление гуманистично именно потому, что оно научное. Оно требует строгих доказательств, оно не допускает несправедливости, ибо несправедливость алогична.

Поэтому широкое распространение научных знаний имеет глубокий гуманистический смысл, освобождая человечество от слепой веры и предрассудков, побуждая его сознательно восставать против произвола и насилия. Поэтому Маркс, Энгельс, Ленин придавали громадное значение широчайшему развитию народного образования, пропаганде науки. Этот идеал в большой мере достигнут в нашей стране и в странах народной демократии. Социалистические государства, строящие коммунизм, не жалеют средств и усилий на подъем культуры во всенародном масштабе. Плоды этой великой работы видны всему миру.

Все сказанное не означает, конечно, что каждый деятель науки обязательно прогрессивен и активно борется за лучшее будущее человечества. Оппортунизм весьма распространен и в научных кругах. Однако именно ученые оказываются в передовых рядах борцов за мир, борцов с империализмом и колониализмом. Это определяется, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, прогрессивным характером научного мышления и, во-вторых, тем, что ученым особенно легко разговаривать друг с другом — в том числе и ученым социалистических и капиталистических стран — вследствие общности научных интересов, взаимного уважения, связанного с интернациональной природой науки.

Настоящая этика сегодня может развиваться лишь на основе науки. Великая Октябрьская революция отвергла религию, отделила церковь от государства. Этика социализма — научная этика, и ее нормы существенно отличны от норм общественных формаций прошлого. Построение коммунизма — в громадной степени этическая проблема, решение которой гребует максимального развития науки и образования.

БОЯЗНЬ НАУКИ

Наука боится не только реакция. Да и реакция готова воспользоваться ее достижениями в своих целях.

Антинаучное мировоззрение может быть и не антигуманистическим. Жан Жак Руссо и Лев Толстой выступали против науки во имя высокого гуманизма. И сегодня наука кажется многим бесчеловечным, иссушающим душу занятием.

Действительно, атомная бомба — прямое следствие всего предшествовавшего развития физики. Кибернетика создает роботов, правда, еще весьма несовершенных, но умеющих многое. Всерьез идет разговор о сооружении машины, умеющей писать поэмы или сонаты. Благородная игра — шахматы — находится под угрозой. Экс-чемпион мира доктор технических наук М. М. Ботвинник сам занимается теорией автомата, играющего в шахматы. И все это — наука. Множество романов и кинофильмов рассказывает о самоистреблении человечества в будущей термоядерной войне или о порабощении людей всемогущими кибернетическими устройствами, о мрачном «научном» будущем.

До создания «мыслящей машины» еще далеко. Однако поскольку человеческий мозг, индивидуальное и общественное сознание возникли и существуют закономерно, в соответствии с законами физики, химии и биологии, то нельзя отрицать принципиальную возможность их моделирования и воспроизведения. Разумеется, если только не стать агностиком и не считать эти явления непознаваемыми.

Однако протесты против научных поисков в этой области бьют мимо цели так же, как удары луддитов, разрушителей машин, видевших в них орудие угнетения. В действительности угнетателем был и остается капитализм, а не машина.

Страшна не атомная энергия, но авантюристическая игра в атомную бомбу, которой занимаются империалисты. Страшны не «бесчеловечные машины», а их употребление врагами человечества. Страшны не ракеты сами по себе, а ракеты, несущие термоядерные заряды, чтобы сбросить их на незащищенных людей. Та же ракета уносит в космос смелых первооткрывателей. Страшна не наука, а использование ее открытий и завоеваний подлецами.

Надо думать, что стремление к познанию, к работе творческой мысли генетически запрограммировано в сорока шести хромосомах вида *Homo sapiens*. Так же как стремление к художественному творчеству.

Бороться с наукой и с ее созданиями бессмысленно. Это значит бороться с самой человеческой природой. Напротив, нормальный прогресс творческой работы человека идет по пути сближения науки и искусства, сближения рациональной и эмоциональной деятельности. Этот путь лежит через «науку людей». Вероятно, в будущем наука будет становиться все более человеческой. Творческое пламя не погаснет, но ярко разгорится и в науке и в искусстве.

Что касается мыслящих машин, то, если они когда-нибудь будут созданы, их придется рассматривать как новый этап эволюционного развития человека. Веря в добрую силу науки, будем ждать помощи от этих машин. Человек не подчинится машине, но воспользуется ее возможностями для своего блага.

И, может быть, не об этих опасностях сейчас надо думать, а совсем о другом. Да, наука резко усилилась в нашем веке, чрезвычайно возросло число людей, участвующих в ее развитии. Но это число по-прежнему ничтожно по сравнению с численностью населения Земли. Наука процветает лишь в немногих развитых странах. Сотни миллионов людей, живущих в зависимых, полукOLONиальных, культурно неразвитых государствах, лишены не только научного образования, но и прожиточного минимума. Там ежедневно погибают люди от голода, хотя достижения биологии, агрохимии, почвоведения таковы, что могли бы обеспечить человечество рппитанием надолго, невзирая на рост народонаселения. Мальтус ошибался, когда писал, что производство пищевых продуктов возрастет в арифметической прогрессии, а население — в геометрической. В действительности количество пищи на Земле могло бы увеличиваться со скоростью, превосходящей скорость роста населения, если следовать науке, мощь которой Маль-

тус недооценивал. Научному ведению хозяйства препятствует капиталистическая система эксплуатации неразвитых стран, антинаучное уничтожение природных ресурсов — сведение лесов, отравление рек и озер отходами производства, варварская охота. Наука, научная этика запрещают не только бессмысленное истребление тетеревов или зайцев, но и стрельбу по «хищникам» — убийство ястреба или рыси, ибо разрушение биоценоза чревато тяжелыми последствиями.

ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Не сочиняя утопий, попытаемся определить, в чем же состоит основная тенденция развития современной науки — науки-познания и науки-творчества.

Весьма распространено убеждение в том, что наука развивается по пути все большей специализации. Объем знаний возрос настолько, что сейчас невозможно быть не то что Леонардо да Винчи или Ломоносовым, но просто физиком вроде физика XIX века. Ибо нет уже физики как таковой, а есть атомная физика, радиофизика, физика полупроводников, молекулярная физика и т. д. и т. п. Специалисты в этих областях уже не понимают друг друга, они говорят на разных языках.

Этот тезис кажется убедительным. В самом деле — развитие науки приобрело гигантские размеры. И, конечно, гораздо легче быть узким специалистом, чем ученым, мыслящим широкими категориями. Ссылаясь на специализацию, можно обосновать леность ума, не желающего знакомиться с другими областями знания.

Но в действительности ситуация совершенно иная. Основная тенденция современной науки состоит в диалектическом единстве специализации и объединения. Именно объединение разных дисциплин, построение единого естествознания — важнейшая черта науки во второй и третьей четверти XX века. Вот несколько показательных фактов.

Математика, физика, химия, биология — основные области естествознания. Сегодня они объединяются. Ранее только физика широко применяла математические идеи, математический аппарат. Сейчас этот процесс углубился, и физические исследования стимулируют создание новых глав математики. Еще в начале века теория относительности навсегда связала геометрию с физикой, раскрыла реальное значение «воображаемой геометрии» Лобачевского.

Математика вторглась в химию. Такие абстрактные, казалось бы, разделы, как топологическая теория графов, оказываются основой не только рассмотрения теоретических проблем химии, но и решения технологических вопросов.

После создания квантовой механики в 1927 году была построена физическая теория химической связи. Тайнственные до того явления валентности — насыщаемости и кратности химических связей — получили научное объяснение. Сейчас мы понимаем, что в основе любого химического явления находятся физические процессы. Сегодня широко развилась промежуточная наука, условно разделяемая на физическую химию и химическую физику.

Во второй половине века произошло включение биологии в систему точных наук, характеризуемых строгим математическим подходом, точными формулировками законов и выводов. В результате объединения биологии с физикой и химией возникла молекулярная биология — одна из наиболее перспективных и многообещающих областей современного естествознания. Химия обратилась к биологически-функциональным веществам — развилась биоорганическая и биофизическая химия. Идеи и методы одних наук во все большей мере вторгаются в другие науки. Сама классификация наук оказывается исторически изменяющейся.

Именно в результате объединения математики, физики, электро- и радиотехники, биологии и физиологии возникла кибернетика, играющая важнейшую роль в современном научном мировоззрении.

Давно уже было ясно, что выход на перекрестки науки, установление новых связей между далекими, казалось бы, явлениями природы означает прорыв на новый этап познания. Это и есть путь науки. Тут можно привести бесконечное число примеров.

Многое мешает этому естественному процессу объединения. Тезис о необходимости узкой специализации. Медленность разрушения рутины школьного и университетского образования, в результате которого химик боится интеграла, а физик—химической формулы. Догматизм некоторых философов, пугающих ученых жупелом несводимости: упаси вас боже сводить химию к физике или биологию к химии — станете еретиком! Психологически понятна эта боязнь объединения наук — всякая ломка традиций воспринимается болезненно. Есть здесь и элементарное заблуждение: создание физической теории химических явлений, создание так называемой квантовой химии представляется уничтожением химии как самостоятельной науки. В действительности все значение и красота идей и методов химии не только сохраняются, но получают новое, более глубокое обоснование и химия как наука подымается на более высокую ступень.

Напрстив, естественному и неизбежному объединению наук способствует рост общей культуры, особенно мощный в Советском государстве, рациональное планирование развития науки, которое в нашей стране проводится учеными, прежде всего Академией наук СССР. Разумно и перспективно объединение в Академии естественников и гуманитариев. Потому что соединяются пути не только различных областей естествознания. Кибернетика, математика приобретают все большее значение в социологии, в экономике, в лингвистике. И наконец, искусствоведение и само искусство начинают тесно взаимодействовать с точными науками.

Мастером культуры близкого будущего, вероятно, окажется не узкий специалист, но многосторонний деятель, которому близки и наука и искусство — творческая жизнь в целом. Будет углубляться понимание ученым его ответственности перед обществом, его пристальное внимание к этике и эстетике.

Путь культуры — путь к построению коммунистического общества, цель которого — всестороннее развитие дарований человека, его подлинная и полная духовная свобода, высший гуманизм.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. КРАСНОЩЕКОВА

★

ПОД ЧИСТЫМИ ЗВЕЗДАМИ ПРАВДЫ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ...

Иван Катаев — автор широко известных в двадцатые — тридцатые годы повестей и рассказов — работал в искусстве всего десять лет, часто прерывая свой труд, и написал немного. При чтении недавно вышедшего в издательстве «Советская Россия» сборника его повестей, рассказов, очерков и статей — «Под чистыми звездами»¹ — рождается ощущение, будто все свои вещи (в особенности это относится к художественной прозе) Катаев написал за один вздох, глубокий и длительный.

Критики — современники Катаева пытались наметить четкую эволюцию его творчества от повести «Поэт» (1928) до «Ленинградского шоссе» (1932) и «Встречи» (1933), но сегодня их попытки кажутся мало убедительными. За несколько лет интенсивной работы Катаев только и успел раскрыться в одном своем художественном «состоянии». Возможно, в конце тридцатых годов писателя и поджидал серьезный творческий сдвиг (что в какой-то мере подсказывает посмертно опубликованная новелла «Под чистыми звездами»), но путь Катаева оборвался в 1937 году, когда ему было тридцать пять лет.

Проза И. Катаева — исповедь молодого, волевого и страстного человека, захлебывающегося чувствами, напряженно думающего, спорящего с самим собой и современниками. Четыре его повести — «Поэт», «Сердце» (1927), «Молоко» (1930), «Ленинградское шоссе» — лучшее из написанного Катаевым — постоянный диспут на

«материале» реальной человеческой судьбы о том, каков есть сегодня и каким должен быть человек нового общества, как воплотится в нем идеал человека будущего, о котором одержимо мечтал Иван Катаев — коммунист и художник.

«С чем войдет наше поколение в завоеванную с таким трудом и с такими жертвами обетованную землю, каким переступит ее границу? — задавал вопрос Катаев в одном выступлении. — Нам ответят, что оно гостит для этого жданного мига множество серых стеклобетонных зданий с блестящими машинами и миллионы гектаров тучной, сообща обработанной земли...

Мы хотим знать, каким будет человек в этой обетованной земле. Мы знаем, что он будет здоров телом и ясен умом, что он будет хорошо думать и хорошо работать. Но будет ли он счастлив, весел, способен к волнениям, энтузиазму, внутреннему страданию, обогащающему душу? Да, он будет таким, но в чем будет его счастье, веселье, энтузиазм, страдание? Как он будет относиться к встречному человеку, к соседу по работе, к женщине, которую он любит? Будет ли он нежен, добр, отзывчив, отважен, верен в дружбе, решителен, осторожен и притом отличен от других людей? Как он будет ощущать пространство мира, время, космос, свое существование, приближение к смерти? Будет ли в нем воля к дальнейшему изменению себя и мира, стремление к далеким, едва мерцающим целям? Что он будет чувствовать по отношению к человечеству, ко всем его историческим эпохам, к нашему времени, к будущему? Как он будет осознавать и пережи-

¹ Иван Катаев. Под чистыми звездами. Повести. Рассказы. Очерки. «Советская Россия». М. 1969, 511 стр.

вать все окружающее: солнечный свет, небо, смену дня и ночи, море, леса, льды, а также асфальт, машины, аэропланы? Будет ли жить в искусстве, воспринимать его, плакать, порываться к совершению несобъяснимых поступков — и если так, то что это будет за искусство? И последнее — главное и исчерпывающее: сохранит ли он богатство и тонкость души, способность откликаться на все разнообразнейшие и мельчайшие прикосновения мира, ловить в себе и в нем все шорохи, все звуки, все подсознательные и сонные движения, всегда слышать трепет своей жизни и жизнью ближайшего круга людей, окружающих его людских масс, всего человечества.

Характерная для литературы двадцатых годов тематика — гражданская война, революция в деревне, восстановление хозяйства — приобретает в книгах И. Катаева особый ракурс в свете этой особой одержимости писателя мыслью о человеке, его настойчивыми попытками постичь духовную «сердцевину» современника, сопоставить мир его чувств с миром идеальным, «должным». Но все результаты этого сопоставления выявляются у Катаева не в категорических определениях, а в величинах непостоянных, подвижных, текучих, как сама жизнь, подчас просто зыбких.

Насколько И. Катаеву-художнику органично восприятие души человека как особого мира чувств сложных, а то и путаных, настолько естественно для него и постоянное ощущение движений, переломов, сдвигов в большой жизни и отдельной человеческой судьбе. Отсюда два сквозных образа его творчества, запечатленных в названиях двух книг, — «Сердце» и «Движение». Вернее, это два аспекта одной и той же темы — в разных произведениях на первый план выходит то один, то другой из них, но связаны они неразрывно. Сознание «бесконечности жизни, слитности ее мгновений и частиц» так же постоянно у И. Катаева, как и ощущение неповторимости и непреходящей ценности одного человеческого сердца, одной его единственной жизни.

Четыре повести И. Катаева преемственны в своем ведущем пафосе. Но все усложняющаяся действительность (от эпохи гражданской войны в «Поэте» — к современности в «Сердце», «Молоке», «Ленинградском шоссе») формирует изменчивый характер катаевского подхода к жизни — он приобре-

тает все больше признаки широкого философского анализа.

«Поэт» — первая из повестей писателя была заслонена от критики, да и читателей ранее появившимся «Сердцем», с которого в литературе по-настоящему начался Иван Катаев. Но сейчас, с временной дистанции, «Поэт» видится подлинно катаевским произведением. События, изображенные здесь, локальны и будничны: политотдел одной из южных армий, ведущих наступление на белых, следует по железнодорожным путям в арьергарде армейских эшелонов. Эпоха гражданской войны встает со страниц повести в немногочисленных, типичных для писателей двадцатых годов (Вс. Иванов, Н. Никитин, Б. Пильняк) зарисовках.

«Через неделю штаб армии погрузился в вагоны и двинулся из Куршака по следам гигантского наступления. В Грязях, на взорванном, прогнувшемся ижицей железнодорожном мосту еще торчали два паровоза, сшибленные лбами, вставшие на дыбы и замершие в смертельном объятии. Дымились сожженные водокачки на станциях и скелеты вагонов под откосом у Песковатки, Графской, Отрожки. Раненые и тифозные еще металась в бреду на хлипком от грязи полу пристанционных эвакуантов. Еще по утрам длинные обозы с торчащими во все стороны из-под рогожек желтыми руками и ногами отъезжали в белые, ослепительные под морозным солнцем поля. Фронт еще гремел в ушах и трепетал в сердцах, но фронт был уже далеко».

Но в отличие от прозаиков начала двадцатых годов, для которых такого рода зарисовки — средоточие духа их книг, вспевших ветер революции, бурю, пронесшуюся над Россией, — И. Катаев фактически занят одним человеком — Александром Гулевиным, миром его чувств и его надежд, миром своеобразным, четко детерминированным временем. Странно и небрежно одетый, некрасивый, чрезвычайно добрый и трогательно беззащитный Гулевич читает свою поэму «Голгофа» молодому политотдельцу (автобиографический образ). Читает на чердаке холодной воронежской гостиницы «Бристоль», гудящей от голосов красноармейцев, освободивших город от белых. Эта поэма приоткрывает катаевскую модель подлинного искусства, воспринимается как естественный комментарий ко всему его творчеству: «Это были первые

стихи, в которых революция и одинокая судьба человека предстали для меня слитными, мчащимися по единому руслу <...> Многие повторилось потом в бескрылых стихах других авторов и стало шаблоном. Но тогда, на чердаке, струящаяся вместе с бледным и хмурым светом полукруглого окошка, окутанная паром, поэма потрясла меня своей глухой музыкой, вошла в меня, как нечто совсем новое, не похожее на читанные прежде стихи». (Выделено мною.— Е. К.) Катаев предвидел, что интонация, подобная его собственной — восторженная, искренняя, подчас чуть паничная, — утратит со временем ощущение непосредственности, станет штампом и заранее «оговаривал» ее.

Поэма названа «Голгофа», ее пафос в таких строках:

Мы оба — искры
Огня борьбы.
Сгорим мы быстро
В руках судьбы.

Аскетический отказ от всех желаний во имя борьбы — программа «Голгофы». Таков и «план жизни» поэта Гулевича. «Мы обреченное поколение... мы должны... принести себя в жертву. И вы и я — только агнцы закланные... Раз уж взялись перестраивать мир, так нечего за хорошую жизнь цепляться... Любви, конечно, у нас не должно быть места, она отнимает слишком много времени и сил».

Так диктует разум. Но против этих категорических и беспощадных формулировок бунтует сердце юноши-рассказчика и самого Гулевича. «Почему Голгофа? Почему вы написали — сгорим мы быстро? То есть я понимаю, что мы сгорим быстро... но все же, мне кажется, у нас у всех большое будущее и можно пока не думать о смерти... Нет, я не то сказал. Думать можно, но печалиться-то незачем», — недоумевает юноша.

В жизни Гулевича суровая убежденность сталкивается с привязанностью к женщине — Эtte Шпрах. Живой, изменчивый, полный неожиданностей поток жизни захлестывает упорядоченные постулаты разума, он смывает даже следы насилия человека над собой. Рассказчик думает о Гулевиче: «Вот он хочет построить свою жизнь иначе, чем я, связать себя и

ограничить, а живет, пожалуй, так же — не может не радоваться весне и сапогам, не может не любить Этту...»

Поэт умирает от тифа. «Да, странные, прямолинейные чересчур были у него идеи, но какие зато честные, героические даже», — вспоминает о Гулевиче начальник политотдела Иван Яковлевич. Революционная эпоха и глубокая искренность героя приподняли, осветили «странные идеи», смягчили их прямолинейность, но не изменили их существа — наджизненности, враждебности естественной стихии чувств.

Время во многом объяснило появление таких настроений, но объяснение — не оправдание. Насилие над присущими исконно человеку многообразием и свободой чувств не может быть оправдано. Сама живая жизнь бунтует против этого насилия, и бунт оказывается победным.

Драматический финал «Поэта» как бы окончательно ограничивает действие повести в рамках военных лет, но в последних строках ее рождается мотив движения («Неуклюже зашевелился, загрохотал фургонами, грянул паровозными гудками тяжелый штабарм и медленно выполз из Луганска, навсегда покидая засоренные бумажными обрывками дома, темные, памятные дни и неподвижные могилы»), — мотив, который «подключает» «Поэта» к последующим катаевским произведениям, и прежде всего к «Сердцу».

Время, запечатленное в повести «Поэт», вообще осталось в творчестве Катаева той «единицей отсчета», от которой ведется перечень лет, дней, событий в его произведениях о современности. Мечтами, принципами, рожденными в дни гражданской войны, поверяется у Катаева «сегодня».

Журавлев, герой «Сердца», — председатель правления кооператива, в главном — человек «той эпохи»; его жена, друзья — с времен гражданской, все его воспоминания опозитивированы романтикой тех лет.

Журавлев — руководитель большого дела и человек с нездоровым сердцем. Предельная погруженность в дело, увлеченность им и почти постоянная боль — напоминание о сердце — на этих двух полюсах держится характеристика психологического состояния героя. Но в этом противостоянии — дело — сердце — заключенной, более широкий смысл. Напоминание о сердце среди деловых забот — это напоми-

вание о сердце как человеческом богатстве, о целом мире личных чувств, скрытых в нем.

Соответственно двум идейным доминантам — в повести два стилевых слоя. Один — вещный, красочный, богатый интерьером, натюрмортами (описание универсама, завода-гиганта по производству продуктов), другой — отличает словесная зыбкость, изменчивость, соответствующая движению чувств Журавлева.

Ведущее настроение героя «Сердца» — нежность и пафос. Нежность к товарищам по работе («Все вы удивительно хороши»), пафос принятия окружающего мира, как своего, родного, радостного: «А мне весело. Эге, какой солнечный день! Земля-то, она еще совсем молодая, хоть и притворяется старушкой. Ужасно, до смехоты молода!»

Но сразу вслед за этими пафосными признаниями — столкновение со старым товарищем, оказавшимся в другом лагере: сознание и чувства Журавлева теряют радостную однолинейность, путаются, раздваиваются. И хотя классовый подход побеждает, легкая ясность ушла.

Да, Журавлев не «кожаная куртка», не бездуховный политик, а живой человек, изменчивый, многогранный, — и в этом его привлекательность, значительность. Без сомнений самоанализа нет Журавлева.

Жизнь Журавлева в силу особых обстоятельств часто развивается в соответствии с аскетическими принципами Гулевича, это не только не приносит удовлетворения герою, но по-настоящему тревожит его: «Да, многие струи жизни текут, не касаясь меня. Правда, второстепенные, — все-таки я ведь в фарватере, и это не перестает восхищать. Но иногда вдруг взгрустнется, даже тоска кольнет, — о том, об утраченном: простые мечты, путешествия, влюбленность, музыка... Все реже вспыхивает эта тоска, забываю вспоминать. Уж не высыхаю ли я, не превращаюсь ли в убогий механизм? Надо все-таки встряхнуться».

Без этих мыслей, без напряженной жизни сердца Журавлев уподобился бы своему сыну — Юрке, с его безоглядно радостным принятием мира, как мира своего и мира для себя. Сыновья «ясность» и «сухотка сердца», разграфленность его жизни пугают Журавлева... «Как же так, без одиночества, без сладчайшей тоски непричастности, без блуж-

даний по сырому весеннему полю?.. Или, может быть, это им не понадобится, прибавится много другого, чего у нас не было? Нет, напрасно это: пусть прибавится, но зачем же терять старые богатства и радости?»

Глубокую разницу между отцом и сыном обнаружило самоубийство жалкого соседа Журавлевых — бывшего хозяина квартиры, где они жили. Он повесился, испугавшись ходатайства о выселении, подписанного пионером Юркой.

Смерть соседа — последний и очень тяжкий удар по больному сердцу Журавлева; а в сущности, по его жизненным принципам и гуманным чувствам: «А мы... не должны губить человека, даже и скверного, только потому, что нам трюм от него неловко».

Некоторым товарищам Журавлева непонятны его гнев и страдания: «Повесился какой-то жилец. Но для него-то, в сущности, какое же это горе?» Для Журавлева чувство хозяина страны накрепко сопряжено с ответственностью за каждого человека, живущего в ней. Его сердце полно сострадания, оно открыто чужому несчастью и боли. А есть люди, для которых чувства хозяина — прежде всего синоним права на все, что завоевано. К тому же равнодушные к боли других — верное средство сохранить в душе на каждый миг уверенность, душевный покой, чувство своей правоты.

Журавлев куда ранимее таких людей. Разрыв сердца, от которого умирает герой, — предельное выражение этой уязвимости. Сердце ведь источник и силы и слабости человека. Но разве уязвимость способна зачеркнуть то богатство, которым владеет Журавлев? «В нем есть... — как писал один из критиков — современников И. Катаева, — активный гуманизм борца, работающего над переделкой условий жизни так, чтоб они стали достойными человека, гуманизм революционера, носящего в себе уже сегодня элементы нравственности завтрашнего дня, освобожденной от внушений мелочной и жестокой морали классового общества с ее торгашеской «справедливостью», с ее культом вещи — гуманизм социалиста».

Товарищи погибшего Журавлева вспоминают о нем: ушел хороший, светлый человек, один из тех, на которых стоит мир.

Повесть «Молоко» на первых своих

страницах, как эстафету, подхватывает эту мысль «Сердца»: «Хорошие-то люди,— ну, ласковые там, честные, веселые,— без них действительно все может прахом пойти».

Подчеркивание этических качеств героев — катаевская полемика с чересчур прямолинейной однозначной аттестацией человека, характерной для мышления многих писателей, публицистов двадцатых годов. Эта полемика проясняет мотивировки событий, поступки героев в «Молоке».

Деревни Дулепово и Ручьево, где происходит действие рассказа, расположены и близко от Ленинградского шоссе (оно у И. Катаева — своего рода символ прямого стремительного движения эпохи), и в стороне от него. Там своя жизнь, свой ритм, свои устои «По шоссе взад-вперед автомобили шныряют, вдоль него фабрики гудят, мельница паровая пофыркивает, а два шага по-за гумнами — и лежат снежные целины, сияют под солнцем, и прясла по ним ковыляют голые до самого синего лосочка. Белизна, безлюдье, мороз румяный. Тишина».

Революционные преобразования, успешно и быстро утвердившиеся на Ленинградском шоссе, в деревне разветвлялись куда медленнее, встречая на своем пути неожиданные трудности, сложности.

Герой рассказа, молодой розовощекий уполномоченный по кооперации в деревне, прозванный Телочкой, сначала полон веры в моментальный успех своего дела: «Эх, думаю, дайте мне, товарищи, годик — один годик всего-навсего — и будут у меня в районе коллективные дворы утепленные». Но скоро он вынужден признать, что «очень грустный оборот получила в Ручьево светлая кооперативная идея». И причина таится в людях, идею воплощавших. Так вырастает в повести фигура центрального героя — рачительного хозяина Нилова. При первой встрече Телочка подпадает под очарование этой мощной фигуры: «патриарх семьи и мудрый философ, воплощенное движение и счастье жизни». Судя по последним словам, с Ниловым Телочка связывает серьезные социальные надежды. Фигура Нилова действительно значительна. И Катаев, как и К. Федин, создавший в повести «Трансвааль» (1926) образ Сваакера, не преуменьшает умной приспособляемости героя. Но ниловская значительность — с отрицательным знаком. Нилов

не из тех хороших, честных, бескорыстных людей, на которых мир стоит. Он глубоко корыстен, на нем отпечаток той «страшной фальши, черствости безвыходной», которая так бросается в глаза в его случайном столкновении по ручьевскому кооперативу Мышечкине. Кулацкая природа Нилова выявляется в его человеческих качествах, обрекает его энергию, ум, волю на поражение, а его самого — на одиночество среди людей. Недаром на собрании, где вскрываются темные махинации ручьевских кооператоров и Нилов терпит крах, Телочка уловил в нем «что-то застывшее... гробовое, и седины поблескивают, как серебряный глаз».

Правда, окончательное поражение Нилова объяснено в повести еще одним обстоятельством. Перед самым голосованием («за» или «против» Нилова) мужики стали свидетелями несчастья с его сыном Костей, которого облил серной кислотой старик грузин, отец увезенной Костей красавицы. «Не уважает наш мужик несчастья, и к несчастному человеку у него никакого доверия нет. Вот, ежели ты силен, здоров и доволен,— почет тебе и вера. А чуть пошатнулся человек,— появляется к нему какое-то отвращение... И все это у них вполне искренно и даже бессознательно происходит... Так, я полагаю, и с Ниловым вышло. Какой же он для них доверенный, ежели он без шапки по морозу бегаешь?.. Разочаровались мужички».

Но оба эти объяснения не противоречат друг другу. Просто одно из них обращено к самому Нилову, обреченному на одиночество рядом социальных причин и собственных нравственных качеств. другое — к мужикам, действующим во многом полусознательно.

Интерес И. Катаева к человеку, миру его чувств включал в себя и выяснение особой психофизиологии крестьянства. В этих поисках Катаев смыкался со многими прозаиками второй половины двадцатых годов — Вс. Ивановым («Тайное тайных»), Л. Леоновым («Необыкновенные рассказы о мужиках»), К. Фединым («Мужики», «Утро в Вяжном», «Трансвааль»). Пафос их горячих, хотя во многом противоречивых поисков точно выразил К. Федин, говоря, что его в то время интересовала биологическая, скрытая сторона явлений. «сокровенность чувств хуторянина».

Пытаясь истолковать во многом непонятные, загадочные поступки мужиков, И. Катаев развивал глубже свой излюбленный мотив «сердца» — стихии чувств, увлекающих человека, сердца, влияние которого на поступки человека не менее действенно, чем диктат разума. Показав в конце «Молока» неожиданный поворот крестьянского настроения и объяснив его неоднозначно, И. Катаев предостерегал от прямолинейного догматического прогнозирования сложных процессов в деревне, внушал уважение к противоречивому потоку жизни.

И. Катаев показал в «Молоке» деревенскую жизнь на переломе и не хотел упрощать, выпрямлять, схематизировать это ее напряженное состояние. Певец движения, он видел жизнь в переливах видоизменений — она его не пугала и не ставила в тупик. Иное дело Телочка (вообще-то близкий автору персонаж) — его, в начале повествования так легко и просто решавшего все вопросы, сложность и пестрота потокастораживаает и даже пугает: «...разрасталась дума моя, пропуская сквозь себя всех виденных за вечер людей, во всем различии и схожести их. Боже ты мой! Как еще все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий... Не поймаешь ни конца, ни начала, — всё течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины и влачит их поток в неизвестную даль. Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть, так. А все-таки страшновато и зябко на душе».

Мотив стыка двух эпох, осложнивших нравственный облик героев И. Катаева, как начальный аккорд звучит в первых строках повести «Ленинградское шоссе».

«Старик помер не вовремя, в канун Первого мая, в ночь на страстную субботу; два праздника, старый и новый, в этом году пришлось на один день». Савва Пантелеев лежал в собственном маленьком домишке на окраине Москвы, а «улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха, настигающе звенела трамваями, шушала и погромычивала по асфальту. Ленинградское шоссе уносило в даль...».

Маленький домик («До чего же затенен, безвестен отеческий дом его, весь этот крохотный, дряхлеющий мирок, забытая

жизина на краю большой дороги») и широкое шоссе противостоят в повести друг другу как прошлое и сегодняшнее, старое и новое, что находит выражение в ненавязчивых замечаниях, как бы брошенных мыслью: «Желтый гроб переплывал шоссе наискосок, будто сопротивляясь течению».

Но противостояние «дома» и «шоссе» включает и крепкую органическую связь маленького человека и большой истории, отсталой окраины с центром прогресса. В основе связи — движение. Именно эта мысль образно запечатлена в последних строках «Ленинградского шоссе»: жизнь шоссе замирала на Красной площади. «Отсюда до четырехконного домишки с палисадником, до свежей песчаной горки над Саввой Пантелеевым было двадцать минут прямого, как струна, пути».

Смерть старика в осмыслении И. Катаева — знак окончательной смены поколений. Молодое пантелеевское племя отрянуло последние связи со старой эпохой, оно крепко и уверенно утвердилось в новом мире. Но тяжеловатая пантелеевская закраска не изжита в них. Смена эпох — не разрыв: трудовая озабоченность Саввы, материнская стойкость живут в молодом пантелеевском поколении. «Семейное сходство как бы реяло в воздухе, осаждаясь то на тембры голосов, то на движения бровей, то на близорукие прищурки. Особенно задерживалось оно где-то в очертаниях округлых щек и в особой нежности подбородков. Дуняша (жена Сергея Пантелеева, — Е. К.) и Костя (муж одной из сестер, — Е. К.) тоже не выглядели чужаками, будто стихия множественного пантелеевского тела начала перерабатывать и их на свой лад, ласково всбрав в себя и картовоприголубивая».

От «Сердца» к «Ленинградскому шоссе» и к другим вещам тридцатых годов («Хамовники») в творчестве И. Катаева нарастает чувство истории, мотив взаимосвязи эпох и поколений, преемственности и прогресса, сметающего старые формы жизни.

В «Ленинградском шоссе» собраны воедино и представлены на более широкой философской основе размышления И. Катаева над всегдашней его темой: человек в его особом нравственном состоянии, сформированном сложной переходной эпохой. «Сокровенное» в человеке, бытие его чувства все сильнее притягивает Катаева. Поэтому естественна отчетливая «переключка» в существое характеристики, в са-

мых ее методах у Катаева с А. Платоновым, создавшим в конце двадцатых — начале тридцатых годов «Сокровенного человека», «Происхождение мастера», «Третьего сына».

«Третьему сыну» и «Ленинградскому шоссе» свойственно и единство сюжетного поворота: смерть отца (матери) — съезд детей, и самой художественной манеры, способной передать безотчетные сердечные движения человека, живущего больше инстинктом, чем сознанием. Иногда стиль Катаева даже структурно приближается к платоновскому: «Савва отошел во сне, в безмолвных бурях угрожающих сновидений; потрясенное сердце его на переломе ночи в последний раз слабо толкнуло кровь и застыло».

В прозе А. Платонова большую идейную нагрузку несут лейтмотивные слова-образы: вещество, сердце, природа и др. Катаевские сердце, движение, счастье, улыбка по своей идейной насыщенности приближаются к платоновским и определяют тональность и стиль его прозы.

А. Платонов в «Третьем сыне» и И. Катаев в «Ленинградском шоссе», представляя два поколения, сосредоточились на мелодом. Каковы эти молодые люди, отстоявшие завоевания революции, воплощающие ее идеалы в живой современной жизни? Открыты ли их сердца высоким чувствам, способны ли они сострадать чужим страданиям и достойно нести свои? — вот какое исследование предприняли художники. Итоги его оказались неоднозначными.

Да, дети выросли и уже успели прожить достойную жизнь. Вот один из сыновей старика Пантелеева («Ленинградское шоссе»), «Сергей Саввич, московский красногвардеец, комиссар роты связи, рабфактовец», ныне «молодой инженер и директор научно-исследовательского института». Интересной и интенсивной жизнью живут и у А. Платонова дети бедной замученной матери, которая «не вытерпела жить долго» и умерла вдали от своих детей («Третий сын»).

День и ночь после смерти родителей — проверка стойкости детей, но прежде всего сердечной чуткости, тонкости их душевной организации. Только тяжкое горе платоновского «третьего сына» заставляет других сыновей прочувствовать по-настоящему по-

терю. Сложнее ситуация в повести И. Катаева. За поминальным столом столкнулись все дети Пантелеева со старшим своим неудачливым братом Алексеем, которым завладела «темная пантелеевская первобытность», и его случайным единомышленником — дальним деревенским родственником Саввы. В осуждении неудачника брата и подозрении к чужаку дети во многом правы. Но в своей безоглядной, поспешной нетерпимости, легкой готовности всех и вся не только осудить морально, но чуть ли не арестовать, единство всех детей выглядит, особенно в момент поминок, способных размягнуть, утишить душу любого человека, — устрашающе. «Вы опять тут учить, командовать», — бросает Алексей своим сестрам и брату. Мягкую терпимость родных они действительно слишком поспешно сменили на позицию судей — это сразу почувствовал Алексей, и его «повело». При всех своих достоинствах (жизнеспособности, целеустремленности, оптимизме), молодые Пантелеевы не смогли выдержать экзамен на отзывчивость доброго сердца. И автор требователен в своих претензиях к молодым.

В книгу «Под чистыми звездами» включены также избранные очерки И. Катаева («На краю света», «Отечество», «Третий пролет», «Бессмертие»), в момент публикации горячо встреченные читателями. Но прошедшие десятилетия подтвердили, на мой взгляд, справедливость их оценки А. Лежневым: «...очерки Катаева недостаточно публицистичны и недостаточно интимны. Его интонация, всегда правдивая, несколько торжественна. В ней не все можно высказать. Живое разнообразие мысли, возникающей на глазах у читателя, высекаемой каждый раз, как искра, от удара о действительность, требует большей свободы и легкости... Но то, что мешало Катаеву-очеркисту, составляет, пожалуй, сильную сторону Катаева-повествователя».

Сегодня в книге Катаева очерки интересны: как доказательство интенсивного и смелого исследования писателем движущейся современности тридцатых годов, но рядом с его повестями они кажутся свидетельством куда более частным.

Иван Катаев, как известно, входил в группу «Перевал», принимал активное участие в литературной борьбе конца двадца-

тых — начала тридцатых годов. Естественно, что критическая полемика «Перевала» с ЛЕФом и РАППом отразилась на оценке его произведений. И в течение многих лет инерция рапповских обвинений тяготела над литературной репутацией И. Катаева. Издание в 1957 году «Избранного» И. Катаева с предисловием В. Гоффеншефера, вывавшего бурную полемику в нашей критике, ясно показало, что возврат к старым рапповским оценкам ярких и спорных

произведений Катаева бесперспективен. «Избранное» открыло современным поколениям несправедливо забытого писателя. Выпуск новой книги И. Катаева (ей предпослана интересная вступительная статья Е. Стариковой), безусловно, обогатит в сознании читателей историю советской литературы, познакомит их с талантливым художником, все творчество которого озарено чистыми звездами правды и человечности.



А. ВОЛОДИН

★

РАСКОЛЬНИКОВ И КАРАКОЗОВ

(К творческой истории статьи Д. Писарева «Борьба за жизнь»)

Не так давно минуло сто лет со дня гибели Дмитрия Ивановича Писарева.

Неожиданной и загадочной была эта смерть. Его не стало, когда ему не исполнилось еще и двадцати восьми. Поговаривали даже, что он покончил с собой.

Писарев утонул. Он любил плавать — и всю жизнь боялся утонуть. И тонул же однажды. Первый раз — мальчишкой, в реке, близ родительского имения. Уже будучи петербургским студентом, шел как-то по замерзшей Неве, вдруг провалился и оказался по горло в воде... Когда его посадили в крепость, он в письмах к матери утешал ее тем, что тюрьма поневоле страхует его от несчастных неожиданностей: во всяком случае от опасности утонуть он тут огражден. Не прошло и двух лет после выхода из заключения — и вот во время купания в Дуббельне Писарев утонул. «От удара», — первоначально сообщили газеты. «От судорог в ногах», — свидетельствовал Ф. Ф. Павленков, ссылаясь на мнение доктора Капеллера.

Охранка боялась — и не без основания, — как бы похороны Писарева не переросли в антиправительственную демонстрацию: подобное не раз бывало в истории России. По донесению одного из агентов секретной службы, за гробом Писарева — по пути его следования из церкви петербургской Марининской больницы на Волково кладбище — «шествовал весь нигилистический синклит, — можно сказать, что гроб изменил даже свою форму и походил скорей на пирамиду, усеянную цветачи».

«Преждевременная гибель мыслящих людей на Руси — дело не новое... но всякий

новый случай, подтверждающий горькое наблюдение о неживучести талантливых людей в нашем отечестве, наводит всякий раз, помимо сожалений о новом погибшем, на всех понимающих людей — скорбные и печальные размышления...» — так заканчивался некролог в «Отечественных записках».

В другом демократическом журнале — «Дело» — в обзоре «С неевского берега» Г. Е. Благовестлов так рассказывал о похоронах Писарева:

«...Рядом с могилой Добролюбова свинцовый гроб был опущен в землю. На его крышку посыпались цветы. Долго длилось над могилой то глубокое молчание, которое подчас бывает красноречивее всяких слез».

Наконец оно было прервано. Было сказано четыре коротких слова. На всех произвела сильное впечатление последняя речь писателя, бывшего когда-то в самых дружеских отношениях с покойным Дмитрием Ивановичем¹. Его речь вовсе не отличалась холодным блеском приготовившегося оратора, но была искренним, задушевным словом, криком горькой печали...

На многих глазах навернулись слезы... Многие дамы громко рыдали. Плакал даже полицейский чиновник!..

Совершенно другого рода впечатление произвели на публику речи двух господ, заспоривших друг с другом над могилой Писарева и бросивших один в другого полемические копы о литературном значении покойника и о том, много или мало нужно говорить у его гроба. Прения эти по своему фельетонному характеру были совершенно

¹ Речь идет о Д. Гирсе, поплатившемся за эту речь ссылкой в Вологду.

неуместны, и на многих лицах выразилось полнейшее недоумение и досада».

Итак, гроб Писарева еще не был засыпан землей, как уже начались споры: выступая над еще раскрытой могилой, П. А. Гайдебуров обвинил Ф. Ф. Павленкова в непонимании истинной роли критика. В этом неуместном, несвоевременном столкновении — как бы завязка долгих, вот уже столетних, дискуссий о сущности писаревского творчества, о значении его для русской литературы и культуры и даже о личных качествах этого — такого юного — «отца нигилизма» на Руси.

Разное говорили о Писареве-человеке. Одни запомнили его счастливым, другие — грустным, мрачным, удрученным. Одни указывали на честолубие, другие считали его образцом скромности, «бескорыстным, деликатным до изящества в отношениях с другими людьми». Одним он казался заносчивым, гордым, даже нетерпимым, другим — чересчур застенчивым. «Писарев совершенно стухевывался в многолюдной толпе...» — писал Н. В. Шелгунов.

Не менее разнородными были и оценки творчества Писарева. Написал он за свою короткую жизнь немало, но, пожалуй, больше всего шуму произвели его статьи о Пушкине, и у многих так и отложилось в памяти: «А-а! Писарев... Это который Пушкина ниспровергал...» Во всем остальном, что касается мировоззрения и творчества Писарева, никакого согласия никогда не было. Революционер! — Нет, либеральный реформатор. — Социалист! — Нет, идеолог «культурного капитализма». — Блестящий мыслитель! — Нет, грубый эмпирик, противник теоретических мудрствований...

Все эти разноречивые отзывы легко можно обнаружить в литературе о Писареве. Много в них — от того, каким хотел бы видеть Писарева тот или иной автор. Но, безусловно, самая глубокая основа этой разногласицы — в действительной сложности, внутренней противоречивости его творчества.

Писарев был прежде всего публицистом. Его мысль постоянно находилась в движении, определяемом развитием самой общественной жизни шестидесятых годов. А то время было на редкость не простым. Не говоря уже о событиях в Западной Европе и Северной Америке, отметим: в русском обществе совершался сдвиг к капитализму, а осуществлялся он под феодально-самодер-

жавной оболочкой. Это противоречие находило чрезвычайно сложное отражение в острой борьбе социально-политических идей, в духовном творчестве каждого политического писателя той эпохи, к какому бы направлению он ни принадлежал. Этой сложностью отличалось и содержание работ Писарева, в том числе и тех, которые он создал незадолго до своей трагической гибели.

Последний период творчества Писарева — после выхода 18 ноября 1866 года из Петропавловской крепости (по амнистии в связи с бракосочетанием цесаревича) — отмечен рядом первоклассных статей. Правда, стиль Писарева уже не так ярок, его статьи не столь дерзки и задиристы, как прежде. Отражая этот факт, в литературоведении появилась фраза об «утомлении мысли» Писарева последних лет жизни. Однако в действительности речь должна идти совсем о другом — скорее о сосредоточении, углублении мысли критика, вступившего, несомненно, в какой-то новый, более высокий этап своей духовной эволюции.

Характерной чертой этого этапа было все более внимательное всматривание в противоречивость исторического прогресса. В размышлении над этой проблемой Писарев особое внимание уделяет теме революции, ее причин и результатов, ее исторического смысла.

Эти поиски мысли Писарева отчетливо видны в его статье «Генрих Гейне» (1867), в которой была дана одна из основополагающих формул социально-политического кредо мыслителя: «В жизни народов революции занимают то место, которое занимает в жизни отдельного человека вынужденное убийство. Если вам придется защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то может случиться, что вы убьете нападающего на вас негодяя... То же самое можно сказать и о насильственных переворотах, которые, кроме того, можно также сравнить с оборонительными войнами. Каждый переворот и каждая война, сами по себе, всегда наносят народу вред как материальный, так и нравственный. Но если война или переворот вызваны настоятельной необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают».

В статье «Образованная толпа» (1867) Писарев обращается к всегда занимавшей его проблеме различия между стихийным

протестом против социальных несправедливостей и осмысленным действием настоящего борца, восстающего против условий, мешающих людям «дышать свободно»: «Бессмысленный протест всегда вреден, потому что он своей бессмысленностью подравняет в массе окружающих людей уважение к той верной и святой идее, во имя которой он совершается». «Чтобы быть успешным, протест должен быть глубоко обдуман и приновлен самым искусным образом к существующим обстоятельствам места и времени».

Последней при жизни критика была напечатана статья «Французский крестьянин в 1789 году». Н. Курочкин тогда же с полным основанием назвал ее одним из самых замечательных произведений Писарева. Призывая читателя взглянуть в «ту таинственную лабораторию», где вырабатывается «великий глас народа, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается гласом Божиим, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий», Писарев подверг здесь специальному анализу вопрос о том, каким образом может быть осуществлено «политическое пробуждение» трудовых крестьянских низов.

Писаревское понимание революции нашло свое отражение и в других статьях 1866—1868 годов. Однако едва ли не самое большее внимание этой проблеме Писарев уделил в статье «Борьба за жизнь».

Статья посвящена разбору романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». По свидетельству матери критика В. Д. Писаревой, этот роман произвел на него огромное впечатление. «В 66-м году, по выходе его из крепости,— писала она после смерти сына Ф. М. Достоевскому,— мы читали вместе «Преступление и наказание», но как нервы его были потрясены переходом в жизнь из гроба... то чтение было по совету доктора приостановлено, потому что слишком волновало его. После, когда холодная ванна укрепила его нервы, мы докончили роман... Вообще его приводил в восторг Ваш талант в практическом анализе всего перечувствованного честным преступником, его борьбы!»

Судьба статьи сложилась не слишком счастливо. Судя по всему, она была написана в 1867 году, когда вышло отдельное издание романа. Первая часть статьи под названием «Будничные стороны жизни» бы-

ла напечатана в журнале «Дело» в 1867 году (№ 5). В конце года Писарев сообщил М. А. Марко-Вовчок, что в редакции этого журнала находится окончание статьи о «Преступлении и наказании». Но тогда оно по ряду причин в печати так и не появилось.

И вот посмертно, как последний завет Писарева, в том самом номере «Дела», где Благовосветлов сетовал по поводу нелепого спора над могилой своего бывшего сотрудника, было напечатано окончание писаревской статьи под названием «Борьба за существование».

Правда, некоторые важные пункты этого завета по вине цензуры остались тогда неизвестными читателю. Большие вымарки коснулись самых существенных мест. Лишь позже, в 1868 году, когда Павленков перепечатал в 9-й части «Сочинений» Писарева его разбор романа Достоевского полностью и под названием, данным самим автором — «Борьба за жизнь», — мысли Писарева предстали перед читателем в своем истинном виде.

В писаревском анализе романа Достоевского были как свои сильные (особенно по сравнению с другими демократическими критиками той поры), так и слабые стороны. Быть может, самым слабым местом «Борьбы за жизнь» было истолкование драмы Раскольникова как драмы житейской: «корень» преступления Раскольникова критик склонен был видеть едва ли не целиком в тяжелых условиях жизни бедного разночинца, «совершенно задавленного обстоятельствами». Оставляя за пределами своего анализа философскую проблематику романа, Писарев обращался с ним как с произведением, главным интерес которого состоит в воспроизведении определенного пласта жизни. Он заявлял, что ему нет дела ни до личных убеждений автора, ни до общего направления его деятельности, ни до тех мыслей, которые автор старался провести в своем произведении: «Я обращаю внимание только на те явления общественной жизни, которые изображены в его романе...»

Такой подход к содержанию романа объяснялся не только публицистической заостренностью всего творчества Писарева, но и в последнюю очередь и тем, что проблема «преступления и наказания» решалась им во многом не так, как решал ее Достоевский.

А проблема эта была актуальной. Во второй половине шестидесятых годов она властно занимала умы.

I

Четвертого апреля 1866 года случилось событие, которое потрясло тогда всю Россию: бывший студент, тезка и ровесник Писарева (также родился в октябре 1840 года), высокий угрюмый человек Дмитрий Владимирович Каракозов совершил покушение на царя.

Покушение не удалось. Как сообщалось на следующее утро в газетах, «провидение бодрствовало над драгоценною жизнью»: случайность спасла Александра II. Однако выстрел 4 апреля открыто сказал всему миру о неприятии демократической русской молодежи деятельности царя-реформатора, царя-«освободителя». Каракозовский выстрел во всеулышание заявил русскому обществу, что есть в его среде люди, во имя интересов народа готовые пожертвовать собственной жизнью. Первый среди русских революционеров поднявший руку на царя, Каракозов вошел в историю русского освободительного движения наряду с такими бесстрашными народными заступниками, как В. Засулич, С. Кравчинский, С. Перовская, А. Желябов, А. Ульянов.

Однако это была лишь одна сторона дела. Другая состояла в том, что объективно выстрел Каракозова сыграл во многом отрицательную роль.

Покушение не было понято народом. «Счастье их, что Каракозову не удалось убить государя, а то бы мы напрудили Фонтанку дворянской кровью» — так поговаривали в Петербурге представители «низших» классов; в Каракозове они видели агента дворянской партии, подосланного, чтоб отомстить Александру II за уничтожение крепостного права. И пусть версия о том, что крестьянин Комиссаров помешал Каракозову попасть в царя, является всего-навсего одним из антинигилистических мифов, — совсем не мифичны проникнутые горьким чувством реальности слова Каракозова, обращенные к схватившим его — нет, не к жандармам, а к таким же, как Каракозов, людям из толпы: «Дурачье! Ведь я для вас же, а вы не понимаете!..» После 4 апреля 1866 года авторитет Александра II как «крестьянского заступника» вырос еще больше.

Реакционные силы использовали событие 4 апреля для того, чтобы отобразить сделанные недавно и без того незначительные политические уступки, заглушить радикальное движение. С. М. Степняк-Кравчинский свидетельствовал в «Подпольной России», что после выстрела Каракозова «бешенство реакции удвоилось. В несколько месяцев было уничтожено все, что еще носило на себе печать либерализма первых лет царствования. Это была истинная вакханалия реакции». «Месть не удалась, но предлог был дан и схвачен с дикой радостью, реакция была оправдана, царские пугатели были оправданы», — писал Герцен.

Не ограничивая себя задачей выявления непосредственных участников покушения, председатель особой следственной комиссии Муравьев стремился, по его собственным словам, «обнаружить зло в самом корне и принять меры для окончательного подавления противоправительственного направления». Были произведены многочисленные обыски у лиц «сомнительной благонадежности», брошены в тюрьмы многие из тех, кто лишь подозревался в «политическом свободомыслии». Чуть ли не поголовно Муравьев арестовывал членов разного рода просветительских кружков, издательских артелей, воскресных школ и г. д.

В напечатанной Герценом в «Колоколе» статье Н. А. Вормса «Белый террор» рассказывалось: «Ночью, с восьмого на девятое апреля, начинается период поголовного хватания... Брали всех и каждого, кто только был оговорен, чье имя было произнесено на допросе кем-нибудь из взятых или найдено в захваченной переписке. Брали чиновников и офицеров, учителей и учеников, студентов и юнкеров, брали женщин и девочек, нянюшек и мамушек, мировых посредников и мужиков, князей и мещан; допрашивали детей и дворников, прислугу и хозяев; брали в Москве, брали в Петербурге, брали в уездных городах, в отдаленных губерниях; брали в селах и деревнях, брали в посадах и местечках; брали, брали и брали по такой обширной программе, что никто и нигде не чувствовал себя безопасным, кроме членов комиссии и сотрудников «Московских ведомостей»¹.

И как обрадовался Муравьев, узнав, что Каракозов учился в той самой саратовской

¹ Газета, издававшаяся известным реакционером М. Н. Катковым.

гимназии, в которой в свое время преподавал Чернышевский!.. Забрехала мечта о потрясающем повторном судилище над вождем русской демократии, уже находившимся в ссылке. Но оказалось, что в те годы, когда Чернышевский вел преподавательскую деятельность в Саратове, Каракозов мог быть только в первом классе, а там будущий руководитель «Современника» занят не вел. Привлечь его к делу не удалось.

Обстановка, в которой жила тогда русская интеллигенция, ярко передана в воспоминаниях Г. З. Елисеева. «Я был арестован и отвезен в крепость 28 или 29 апреля,— пишет он.— Но самым злополучным временем было не то, когда меня посадили в крепость,— напротив, по заключении в крепость я значительно успокоился,— а время, проведенное от 4 апреля до 29 апреля в тревожном, ежедневном, ежечасном ожидании обыска и ареста, которое не давало покоя ни днем, ни ночью. Тот, кто не жил тогда в Петербурге и не принадлежал тогда к литературным кругам или, по крайней мере, не был к ним так или иначе прикосновенен, не может представить той паники, которая здесь происходила. Всякий литератор, не принадлежавший к направлению Каткова,— а не принадлежала к этому направлению вся тогдашняя литература,— считал себя обреченною жертвою. Так, все были убеждены, что граф Муравьев держится вполне взглядов Каткова и следует его указаниям... Каждый день и всегда почти утром приносили известие: сегодня ночью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро опять взяли таких-то и таких-то и т. д. Всеми этими слухами, чрезвычайно возраставшим тревожным состоянием, бессонными ночами я до того был энервирован, так близок был к полной прострации, что подумывал идти сам просить, чтоб меня заключили в крепость»...

О характере событий, следовавших вслед за выстрелом Каракозова, свидетельствовала и напечатанная тогда же в «Коллекле» статья «Каракозов, царь и публика», доставленная из России: «...Петербург, за ним Москва, а до некоторой степени и вся Россия находятся чуть не на военном положении; аресты, обыски и пытки идут беспрерывно; никто не уверен в том, что он завтра не попадет под страшный Муравьевский суд за какое-нибудь слово, сказанное много лет тому назад, или даже просто

за знакомство с кем-нибудь из арестованных; правительство окончательно сбросило с себя и последние дырявые остатки либеральной мантии; обскуранты взяли царя решительно под свою опеку; невыносимо тяжелая, душная николаевская атмосфера охватила собою всю святую Русь; печаль придушена до нелепости, а в перспективе виднеется еще худшее...» Далее корреспондент сообщал, что ретрограды «Московских ведомостей» и «Вестей» нападают на власти за их «либерализм», за то, что Чернышевскому было дозволено писать в тюрьме роман, укоряют правительство «за недостаточность шпионства, за слабость цензуры» и всеми силами стараются «сделать солидарными с Каракозовым всех нигилистов, включая сюда всех сколько-нибудь свободно мыслящих, всех неретроградов».

Хотя большинство арестованных было в конце концов выпущено, не оправдав надежд Муравьева, урон, нанесенный освободительному движению, был огромен. «Горестное событие, совершившееся 4 апреля», было расценено Муравьевым как «последствие полного нравственного разврата нашего молодого поколения». Отсюда следовал призыв к усилению власти во всех областях общественной жизни и прежде всего в области духовного, нравственного воспитания молодежи: оно должно быть направляемо «в духе истины религии, уважения к правам собственности и соблюдения коренных начал общественного порядка».

Эти идеи легли в основу царского рескрипта от 13 мая 1866 года, знаменовавшего поворотный пункт в политической тактике царизма, переход к системе реакционных мер, опирающихся к тому же на сочувствие «народа». Правительство вводит особые правила, чтобы окончательно обуздать студенчество (запрещение студенческих кружков, землячеств, касс взаимопомощи и т. п., сокращение количества студентов, особенно вольнослушателей, в университетах, вменение в обязанность учебному начальству и полиции информировать друг друга о нравственной и политической благонадежности студентов и т. п.). Усиливается власть губернаторов; им подчиняются относительно самостоятельные ранее органы местного самоуправления. Окончательно закрываются «Современник» и «Русское слово»: на следствии было установлено, что они имели большое влияние на «злоумышленников»...

Смелый, героический поступок Каракозо-

ва нанес большой вред русскому освободительному движению и вот еще в каком отношении: явившись первым серьезным делом после стольких разящих и «свистящих» слов, он как бы говорил—вот смотрите, вот что на самом деле выливается «нигилизм», куда в действительности растет проповедь отрицателей.

Еще личность стрелявшего не была опознана, еще во множестве рождались разные легенды (одни утверждали, что Каракозов поляк,—версия Каткова; другие—что он мстящий царю за реформу дворянин-помещик; третьи называли его шпионом, подсланным Наполеоном III), а уже возникла и начала укореняться в общественном сознании мысль об органической связи покушения с деятельностью нигилистов. 9 апреля (а только 13-го стало известно, кто покушавшийся) А. В. Никитенко заносит в дневник: «Я все продолжаю думать, что это орудие нашего нигилизма в связи с международным революционным движением. Тут очевидна цель произвести в России сумятицу, а там, дескать, пусть будет, что будет». И на следующий день: «Злодеяние, которое чуть было не облекло в траур всю Россию, заставляет призадуматься философа—заблюдателя нашего современного умственного и нравственного состояния. Тут видно, как глубоко проник умственный разврат в среду нашего общества. Чудовищное преступление на жизнь государя несомненно зародилось и созрело в гнезде нигилизма... Какая ужасающая, чудовищная дерзость делать себя опекунами человечества и распорядиться судьбами его без всякого иного призвания, кроме самолюбия своего».

В одном из первых сообщений следственной комиссии Муравьева говорилось, что Каракозов—человек «болезненного настроения», страдавший «припадками меланхолии и ипохондрии» и склонявшийся к мысли о самоубийстве, «вместе с тем... развивал идеи самого крайнего социализма».

Тезис «каракозовщина—практический нигилизм» составляет сущность антиреволюционной пропаганды того времени, которую разъяренно ведут многочисленные соратники и единомышленники Каткова.

В шестидесятые годы эта идея получила распространение и в широком общественном мнении, поэтому на ней следует несколько задержаться.

Представлять дело таким образом, будто выстрел Каракозова вообще не имел никакой связи с революционно-демократической идеологией шестидесятых годов, было бы неверным. Герцен явно ошибался, когда полагал, что поступок Каракозова—это акт мести одиночки-фанатика, за действия которого русский революционный лагерь в целом не может нести никакой ответственности. На самом деле каракозовское покушение на Александра II было в известной мере логическим следствием той антиправительственной пропаганды, которая и тайно и явно велась на протяжении всего пореформенного пятилетия.

По свидетельству современника, первыми словами, сказанными Каракозовым царю, были: «Ваше величество, вы обидели крестьян!» По другой версии на вопрос Александра: «Почему же ты стрелял в меня?»—он ответил: «Потому что ты обманул народ—обещал ему землю, да не дал». Если эти сведения достоверны, перед нами сказано лишь повторение того, что было сказано Каракозовым в его воззвании «Друзьям-рабочим», написанном незадолго до покушения. Убийство царя-злодея представлялось там в качестве единственного выхода из того безнадежного положения, в котором оказались крестьяне. Ловко обманул их царь: «отрезался от помещичьих владений самый малый кус земли, да и за тот крестьянин должен выплатить большие деньги; а где взять и без того разоренному мужику денег, чтобы выкупить себе землю, которую он испокон века обрабатывал?» Крестьяне бунтовать стали—да толку-то что? «...Царь послал своих генералов с войсками для наказания ослушников, и стали генералы вешать крестьян да расстреливать... Присмирели мужички, приняли эту волю-неволю, и стало их житьишко хуже прежнего...»

Во всем этом нельзя не увидеть восприимчивости известных положений руководителей русской демократии. «Государь обманул ожидание народа—дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна»,—говорилось в прокламации «К молодому поколению» (осень 1861 года). Идея об обмане народа царем проповедовалась и на страницах вольного «Колокола». «Народ царем обманут»,—заявлял Огарев. В подцензурных журналах «Современник» и «Русское слово» в завуалированной форме преподносились те же

идеи. Отсюда следовал естественный вывод — о необходимости ликвидации самодержавия. При определенных условиях он мог быть понят и истолкован как идея царевубийства, физического уничтожения государства.

Каракозов конкретизировал этот вывод именно так. «Удастся мне мой замысел,— писал он в том же воззвании,— я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу — русскому мужику. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось — им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их».

Ишутинцы — члены кружка, к которому принадлежал Каракозов,— считали себя последователями Чернышевского¹. Идеиная связь кружка с Чернышевским была отмечена и в приговоре по каракозовскому делу: «Роман «Что делать?» имел на многих подсудимых самое губительное влияние, возбуждая в них нелепые противоречивые идеи». Действительно, эту книгу ишутинцы рассматривали как подлинный учебник жизни. Они отстаивали — теоретически и практически — аскетизм быта. И состоятельный П. Ермолов расхаживал в крестьянском полубубке, а А. Никольский спал на голом полу. Л. Оболенский писал, что ишутинцы подражали Рахметову, вели аскетический образ жизни. П. Николаев говорил о более кровном родстве: «Сближение с мзстеровыми, странствование по разным кабакам и притонам, суровая дисциплина в личной жизни, плавание на волжских пароходах Ишутина и Каракозова в качестве водоливов были до значительной степени навеяны Рахметовым. Эти двое, каждый некоторыми отдельными черточками, безусловно напоминали Рахметова. Каракозов был очень похож на Никитушку Ломова».

Из учения Чернышевского ишутинцы взяли идею создания ассоциаций, артельных товариществ, мысль о необходимости передачи земли крестьянам, отрицательное отношение к политическому реформизму. Это давало право П. Николаеву писать в своих позднейших воспоминаниях, что члены ишу-

тинской «Организации» могут считаться непосредственными учениками и последователями Чернышевского.

Но дело в том, что они были не всегда хорошими учениками и не во всем верными последователями. Из идей своего учителя они взяли то, что лежало на поверхности, да и это нередко толковали весьма упрощенно, вульгарно, а иногда и просто неверно. В частности, их революционный утилитаризм принимал подчас довольно грубую форму. И. Худяков, к примеру, решая для себя вопрос о браке, придавал большое значение тому, что его будущая жена, став театральной певицей, «излишек своих доходов будет отдавать на общественные нужды». Старавшийся, по-видимому, походить на Рахметова Ишутин — его в «Организации» часто величали «генералом» — нарочно окружал себя таинственностью заговорушика («сейчас только от дела», «сейчас бегу на свидание с одним человеком»), лишь бы придать побольше значения своим словам и поступкам.

Ишутинцы считали вполне согласующимися с принципами Чернышевского не только идеи строжайшей конспирации (организация кружков ведется в строжайшей тайне) и централизации (общество имеет право распоряжаться членами, как ему угодно, и все члены обязаны беспрекословно выполнять приказания своих руководителей), но и допущение любых средств, ведущих к достижению намеченной цели.

Один из ишутинцев — Д. Иванов — показывал на суде, что в уставе кружка говорилось: «Общество должно действовать не только путем устной пропаганды, но не обращать внимания и на средства для достижения цели — потреблять и нож». «Говорилось только,— заявлял и П. Ермолов,— что все средства дозволены, что кинжал и яд могут быть так же употреблены, как и другие...»

Среди ишутинцев обсуждались даже такие предложения: устроиться почтальоном, чтобы ограбить почту, или с той же целью поступить на службу к богатому купцу; В. Федосеев брался даже отравить собственного отца, чтобы, унаследовав вместе с братом его имение, передать вырученные за него деньги «Организации». Правда, кое-кто из участников кружка протестовал против девиза «все средства хороши», в особенности часто повторявшегося Ишутиным. Однако значительная часть «Организации» счи-

¹ Впрочем, на допросе в следственной комиссии В. Н. Шаганов показал, что не только «Современник», но и «Русское слово» читалось и обсуждалось в кружке ишутинцев. С кружком Ишутина был связан ближайший соратник Писарева — В. А. Зайцев.

тала, очевидно, допустимым в борьбе любые средства. Не удивительно, что именно в этой обстановке оформился замысел Каракозова.

Так — далеко не адекватно — совершался перевод идей Чернышевского, идей революционной демократии, в революционное «дело».

Если мы захотим понять, почему этот перевод не был адекватным, мы должны будем принять во внимание одну из важнейших особенностей движения теории, заключающуюся в несовпадении двух различных форм существования одной и той же идеологии, — так, как она разрабатывается вождями и теоретиками движения, и так, как она понимается массой их последователей, рядовыми, практическими деятелями. Даже относительно научного социализма подмечена была В. И. Лениным та закономерность, что при его распространении вширь уровень его несколько понижается. В статье «О некоторых особенностях исторического развития марксизма», касаясь вопроса о причинах неверного понимания марксистской теории в период столыпинской реакции, В. И. Ленин писал, например: «Чрезвычайно широкие слои тех классов, которые не могут миновать марксизма при формулировке своих задач, усвоили себе марксизм в предыдущую эпоху крайне односторонне, уродливо, затвердив те или иные «лозунги», те или иные ответы на тактические вопросы и не поняв марксистских критериев этих ответов»¹.

Что же говорить о том, какой характер могли получить идеи Чернышевского, Добролюбова, Писарева (искаженные к тому же прессом жесткой цензуры) при их распространении среди более или менее значительных кругов разночинцев, еще не созревших для понимания этих идей в их подлинном и полном смысле?

Разночинец — самый типичный, самый массовый представитель радикального направления в России шестидесятых годов — принадлежал к социальному слою, который обладал характерными качествами, обуславливавшими известную прямолинейность мышления и действия. Будущее этого слоя было скрыто в тумане, в прошлом же он не видел ничего святого, ибо в значительной степени был разочарован реальными резуль-

татами дворянской культуры. В условиях, когда стремление молодых разночинских сил революционной демократии к разумному преобразованию общества на демократических основах не могло получить своего свободного выражения из-за непомерного гнета государственной власти, единственно реальной сферой деятельности для демократически настроенных разночинцев оставалась резкая и решительная расчистка поля для последующей созидательной работы, расшатывание коренных устоев существующего общества. Вот почему цельная, хотя объективно и противоречивая идеология революционной демократии то и дело оборачивалась в жизни, в быту, в практике борьбы односторонним нигилизмом.

Таким образом, идеология вождей революционной демократии шестидесятых годов и массовое сознание разночинцев-шестидесятников — далеко не одно и то же. Между ними есть различие, обнаруживающее определенный спад, снижение, деформацию теории, когда она становится лозунгом, программой непосредственного практического движения. При этом снижении обычно руководством к действию берется наиболее прямолинейное и поверхностное из идей теоретика. Так и получилось, например, что, оставив без внимания заключенное в романе Чернышевского «Что делать?» предупреждение о трудностях революционной борьбы, о трагической судьбе «необыкновенных людей», ишутинцы по преимуществу выделяли в качестве руководства к действию идею революционного утилитаризма, воплощенную в Рахметове.

Что же касается Писарева, то многие его выступления тем более могли служить опорой для прямолинейно-практических выводов: здесь и вульгарно-материалистические положения, и лозунг «разрушения эстетики», и страстный юношеский призыв, содержащийся в статье «Схоластика XIX века»: «Бей направо и налево»...

Но это были крайности, «закрайны» творчества Писарева, причем ощущаемые им самим. Писарев сознавал незрелость, ограниченный узкий характер современного ему нигилизма. «Эта незрелость, — писал он в статье «Московские мыслители» (1862), — составляет существующий факт, но в существовании этого факта не виноваты наши писатели. Все мы воспитывались в душевной среде, в узких понятиях, под влиянием мерзвостей предрассудков; все мы, становясь на

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 88.

свои ноги, принуждены были разрывать связь с нашим прошедшим, переделывать сверху донизу весь строй наших понятий, выкуривать из нашего мозга ту нелепую де-монологию, которая заменяла нам в детстве трезвые понятия о мире, о природе и человеке...»

Уже в статьях начала шестидесятых годов критик не раз демонстрировал свое понимание сложности, противоречивости общественного процесса: «Сильно развитая любовь ведет к фанатизму, а сильный фанатизм есть безумие, мономания, *idée fixe*; но, с другой стороны, отсутствие любви приводит к скептицизму, а скептицизм, проведенный в жизнь с неумолимою логическою последовательностью, называется систематическою подлостью. И вот между безднью безумия, с одной стороны, и бездною подлости, с другой стороны, должен пробираться порядочный человек, балансируя на узкой тропинке, которая часто становится до такой степени узкою, что приходится только выбирать, куда свалиться...»

Понимая, что «переделатъ отношения, затвердевшие от десятивекowej исторической жизни, и переделатъ их тогда, когда еще очень немногие начали сознавать их неудобства,— это, воля ваша, мудрено», осознавая ответственность, которую берут на себя люди, претендующие на роль «необыкновенных» («Когда берешься устраивать чужую жизнь, надо взвесить свои силы; кто этого не умеет или не хочет сделать, тот опасен, как слабоумный или как эксплуататор»), критик резко выступал против всякого рода авантюризма: «Действия на авось не имеют ничего общего ни с мужеством героя, ни с сознательным риском смелого спекулятора; в них просто выражается неумение и нежелание додумать до конца, неспособность ума к сложным выкладкам и лень мысли, ведущая за собою необходимость оставлять в тумане те следствия, которыми непременно должен закончиться данный поступок»,— так писал он еще в 1863 году.

За год до этого, приветствуя появление в литературе нигилиста Базарова, сочувствуя ему, видя в нем воплощение лучших черт молодежи своего поколения, Писарев одновременно вовсе не закрывал глаза на те недостатки и слабости, которые были присущи реальному Базаровым. Апологетом базаровщины — вопреки распространенному мнению — он не был. Писаревский идеал совпадал с Базаровым лишь отчасти.

В самом начале своей статьи о Базарове Писарев утверждал, что «идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении», проявляются, «как все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, иногда уродливых». «Теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности...» — говорил Писарев и в конце статьи. Анатомируя образ Базарова со всем его грубым материализмом, утилитарностью, внутренним и внешним цинизмом, Писарев определял базаровщину как болезнь — «болезнь века», «болезнь нашего времени». «Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера». Вскрывая причины этой болезни, Писарев указывал на отсутствие условий для того, чтобы Базаровы могли проявить свои недюжинные силы, на их практическое бессилие. «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать». И далее: «Не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты разбиваются вдребезги, и мирозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений».

Однако — и в этом, согласно Писареву, состоит характерная черта базаровского нигилизма — Базаров «завирается» в своем отрицании: «Вооружась против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам делается идеалистом, т. е. начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои личные ощущения». И еще: Базаров «сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает... Выкраивать других людей на одну мерку с собою значит владать в узкой умственный деспотизм...» — подчеркивал критик.

Еще и раньше Писарев призывал своих единомышленников к тому, чтобы не быть «рабом какой бы то ни было головной теории». «Наш брат-работник часто вдается в крайность и вследствие этого противоречит самому себе; полемизируя против вредной идеи, мы противопоставляем ей тот принцип, который считаем хорошим, и часто, увлекаясь благородным жаром, проводим этот принцип до последних, в действительности невозможных, пределов...» В статье о Базарове Писарев призывал «новых людей» к трезвости, к реальному осознанию своих сил и возможностей, своего положения: реализм — вещь хорошая, «но во имя этого же самого реализма не будем же идеализировать ни себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. Отрицаемое нелепо, да и отрицатели тоже делают порою капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо выше отрицаемого, но тут еще честь больно невелика; стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть гениальным мыслителем».

Так, полемизируя с мнением тех, кто утверждал, что Базаров не более как карикатура на настоящего революционера, Писарев определял Базарова как типичную фигуру русского передового лагеря, рассматривая в качестве свидетельства этой типичности не только его достоинства, но и его недостатки.

Акт Каракозова подтвердил диагноз Писарева: русское практическое революционное движение развилось лишь настолько, что порождало пока еще по большей части революционеров-фанатиков, революционеров-мстителей, беспредельно преданных народу, но и весьма узких, ограниченных в своих представлениях о революции.

Таким образом, ставить знак равенства между Каракозовым и идеями его духовных учителей нельзя. Связь между «делом» и «теорией», разумеется, была, но это была связь неоднозначная и весьма противоречивая. Да, Писарев был идеологом революционной демократии, публицистом нигилизма, но как широкое историческое явление куда более сложным — и простым! — чем теории его вождей. Писарев видел край-

ности, «угловатость» нигилистов базаровского типа — реальные нигилисты в массе своей их не видели. То, что у самого Писарева было крайностью, издержкой, у некоторых его последователей превращалось чуть ли не в кредо, становилось главным, сутью. И как рядом с Базаровым появлялись Кукшина и Ситников, так рядом с Писаревым появлялся Каракозов...

С выстрелом Каракозова перед русской демократической мыслью вновь во весь свой рост встал ряд коренных проблем освободительного движения, нередко решавшихся ранее слишком абстрактным образом: в чем сущность революционного действия? Каково место индивидуального террора в революции? Уроки 4 апреля необходимо было осмыслить во всем их историческом значении.

У нас нет достоверных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в статье «Борьба за жизнь» Писарев откликнулся именно на акт Каракозова. Но он рассматривал здесь те самые проблемы, которые это событие поставило перед русской общественностью. Так что объективно это был именно ответ на выстрел 4 апреля.

II

Выше было высказано мнение, что история Раскольниковва интересовала Писарева по преимуществу как повод и материал для рассуждений на актуальные политические темы. Однако тот факт, что таким материалом стал именно роман Достоевского, конечно, нельзя считать случайностью. Здесь была определенная логика, обусловленная как самим характером главного героя «Преступления и наказания», так и некоторыми особенностями читательского восприятия этой книги в конкретно политической обстановке тех лет.

Хотя взгляды Раскольниковва далеко не совпадали с кругом идей революционеров-шестидесятников, тем не менее в этом образе было заложено и нечто такое, что давало возможность сближать его с «нигилистами» и, в частности, с Каракозовым.

Первоначально напечатанный в «Русском вестнике» Каткова, роман «Преступление и наказание» был непосредственно посвящен теме «нравственной неустойчивости» русской молодежи шестидесятых годов. Убийство и ограбление Раскольниковым старухи

процентщицы, это кровавое преступление и проявившийся в нем «бунт» бывшего студента против современного ему общества, представляли собой не только попытку героя испытать, может ли человек быть творцом собственной жизни, властен ли он распорядиться ею. Замышляя роман, писатель, по всей вероятности, намеревался изобразить идеи и поступки Раскольникова также и как своеобразный результат воздействия на него популярного среди молодежи «нигилизма», то есть поставить их в определенную связь с революционно-демократической идеологией. «Идея повести не может... ни в чем противоречить Вашему журналу; даже напротив,— писал Достоевский Каткову.— Это — психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости в понятиях, поддавшись некоторым странным «чуждоконченным» идеям, которые носят в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху... «Полезна ли она хоть кому-нибудь?» — и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее... ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем уже, конечно, «загладится преступление». Рассказывая далее о том, как «неразрешимые вопросы» встают перед убийцею», как «неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце», Достоевский вновь подчеркивал характер социального типа, к которому принадлежит его герой: «Выразить мне это хотелось именно на развитии, на нового поколения человеке, чтоб была ярче и осязательнее видна мысль... Есть еще много следов в наших газетах о необыкновенной шаткости понятий, подвигающих на ужасные дела... Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность».

Характерной чертой «необыкновенной шаткости понятий» у молодого поколения шестидесятых годов Достоевский считал безбожие и органически связанную с ним, по его мнению, склонность к нигилистическому «все позволено». Он полагал, что революционеры, стремящиеся к радикальному изменению существующего порядка, ввергнут страну в небывалую анархию.

В соответствии со своим замыслом Достоевский и изображает Раскольникова. То, что Раскольников — «бывший студент», чрезвычайно важно. Хотя, участь в университете, он «всех чуждался», хотя «ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия», весь образ мыслей обнаруживает его перед читателем человеком, зараженным духом студенческого вольномыслия, идеями демократической публицистики шестидесятых годов. При этом сами эти идеи представляются писателем, разумеется, не в адекватном виде.

Передовые публицисты пореформенной поры писали о непримиримости человеческого достоинства с мерзостью существующих порядков, о необходимости борьбы с несправедливыми социальными институтами и призывали к уничтожению тех преград, которые стоят на пути к человеческому счастью, к народной свободе. В рассуждениях Раскольникова это принимает такой вид: примирение с гнусностью существующего — это подлость, но человек не должен быть подлым, а потому — «нет никаких преград» на его пути к независимости, к свободе, надо лишь решиться и, не останавливаясь ни перед чем, любыми средствами вырваться из этого ада.

А деление Раскольниковым всех людей на два разряда — обыкновенных и необыкновенных, на материал, служащий «единственно для зарождения себе подобных», и на собственно людей, «имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово», требующих «в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего», — не находим ли мы и в этой «философии истории» извращенное отражение идей революционных демократов, в частности того же Писарева, о соотношении масс и выдающихся личностей в социально-историческом процессе?

В романе есть место, где прямо демонстрируется трансформация идей, волнующих студентов («все это были самые обыкновенные и самые частые... молодые разговоры и мысли»), в замысел Раскольникова о преступлении. Однажды он становится невольным свидетелем разговора неизвестных ему студента и молодого офицера. И вот какие речи произносит студент: «...Смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, большая старушонка, никому

не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет... С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от всенерических больниц, — и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем, чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: так ты думаешь, не заглядится ли одно крошечное преступление тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки! Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает...

— Конечно, она недостойна жить, — заметил офицер, — но ведь тут природа.

— Эх, брат, да ведь природу поправляют и направляют, а без этого пришлось бы лотонуть в предрассудках. Без этого ни одного бы великого человека не было...»

Близки к этим мыслям и некоторые рассуждения самого Раскольникова. «Я просто-напросто намекнул, — говорил он о своей статье, написанной незадолго до преступления, — что «необыкновенный» человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует... По-моему, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь комбинаций никоим образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан... устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству...» Как видим, Достоевский прямо передает здесь Расколь-

никову ту мысль о «дешевизне крови», которую он приписывал революционерам¹.

Так совершалось в романе сближение гой «борьбы за жизнь», к которой стремилось «молодое поколение», с уголовным преступлением, логики мыслей и действий Раскольникова — логики проверки теории через насилие, убийство, кровопролитие — с логикой революционного мышления и действия.

Это и давало основание и повод критике, рассуждая о преступлении Раскольникова, осмысливать другой современный ей «преступный» акт — каракозовский.

Характерно, что почти вся демократическая критика так и восприняла «Преступление и наказание» — преимущественно как акт идейной борьбы. В романе она усмотрела главным образом карикатуру и клевету на нигилистов, намеренно искаженное изображение их идей. Разумеется, в таком подходе проявилась определенная узость, но необходимо принять во внимание тот факт, что, опубликованный в год каракозовского выстрела в журнале Каткова, роман Достоевского сразу же оказался включенным в общий контекст идеологической травли демократического лагеря.

В отличие от Г. З. Елисеева и некоторых других критиков революционно-демократического направления Писарев отказался видеть в романе лишь «карикатуру» и «дребедень». Однако и он воспринял образ Раскольникова по преимуществу в конкретно-политическом плане, под углом зрения «каракозовских» проблем — проблемы средств

¹ В этой связи небезынтересно отметить, какое сильное впечатление произвело на писателя известие о покушении Каракозова (Достоевский впоследствии назовет его «несчастливым, слепым самоубийцей»). Сохранилось следующее свидетельство П. Вейнберга:

«4 апреля... я пришел к поэту Аполлону Николаевичу Майкову... Мы мирно беседовали о чисто литературных, художественных вопросах, когда в комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то — это я хорошо помню — нечеловеческим, диким голосом.

— Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...

И, повторяя это слово, Достоевский повалился на диван в почти истерическом припадке...»

и цели, проблемы «крови по совести». В конечном счете именно природа каракозовщины оказалась основным предметом его анализа в статье «Борьба за жизнь».

Разумеется, статья эта интересна не только с точки зрения характеристики социально-революционных взглядов Писарева, но и во многих других отношениях. Однако в данном случае она занимает нас именно как документ идейно-политического развития русской революционной демократии конца шестидесятых годов.

Сущность своего отношения к Раскольникову, к этому «раздражительному и нетерпеливому герою», Писарев выразил совершенно недвусмысленно: «Теория Раскольникова не имеет ничего общего с теми идеями, из которых складывается миросозерцание современно развитых людей». Более четко критик сказать не мог: мешала цензура. Но опытный читатель, приученный к эзопу языку, вполне мог догадаться, кто имеется в виду под «современно развитыми людьми...»

Более того: Писарев и вообще категорически и демонстративно отказался видеть в преступлении Раскольникова какое-либо следствие его теории. По мнению критика, она была искусственно построена Раскольниковым «исключительно для того, чтобы оправдать в собственных глазах мысль о быстрой и легкой наживе».

Тем самым внимание читателя обращалось критиком прежде всего на те невыносимые условия жизни, которые толкнули Раскольникова на «бунт», а само его «преступление» идентифицировалось со стихийным протестом против «тяжелых обстоятельств», доводящих человека до изнеможения. Это было, конечно, весьма субъективное истолкование романа, если говорить о его реальном замысле и содержании, но именно эта тема становится у Писарева основной при рассмотрении преступления Раскольникова. Очевидно, что так важна она была для него отнюдь не случайно. Вспомним же внимательнее в рассуждение Писарева. «Непобедимо-враждебные обстоятельства ставят людей в «исключительное положение», — пишет критик. «...Когда человек постоянно попадает с булавки на булавку, когда этим булавкам не предвидится конца и когда человек видит и понимает, что при ужаснейшем напряжении всех своих сил он может только поддерживать это мно-

гобулабочное status quo, — тогда... тогда невозможно рассчитать заранее, в каких безумных планах и в каких безобразных галлюцинациях выразится уныние, озлобление, отчаяние и бешенство этого человека, которого люди и обстоятельства со всех сторон продолжают колоть булавками в его незажившие и незаживающие раны».

Очутившись под гнетом такого положения, подавленный им, человек «теряет способность решать нравственные вопросы так, как они решаются огромным большинством его современников и соотечественников». Образуется какой-то «особенный, совершенно фантастический мир, где все делается навыворот и где наши обыкновенные понятия о добре и зле не могут иметь никакой обязательной силы».

Нетрудно заметить, что Писарев рассуждает здесь настолько обобщенно, что под бунтом против «исключительного положения» вполне может мыслиться вообще любое насильственное выступление против принтеснителеев. Писарев и сам обнажает эту обобщенность: «...Бедняк, которому общество отказывает в работе и в куске хлеба, должен поневоле вступить в открытую войну с этим обществом и вести эту войну всеми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и бессовестно все предписания нравственного закона».

Таким образом, Раскольников под пером Писарева выступает как носитель стихийного протеста против гнета «исключительных обстоятельств». Очутившись на распутье, «очень похожем на то распутье, о котором говорится в сказках и в котором одна дорога обещает гибель коню, другая — всаднику, а третья — обоим», Раскольников пришел к выводу, «что ему надо или отказаться от всего, что было ему дорого и свято в себе самом и в окружающем мире, или вступить за свою святыню в отчаянную борьбу с обществом, в такую борьбу, в которой уже невозможно будет разбирать средств». Или сделаться трупом, или, поскольку честный труд не дает выхода, решиться на преступление — такова дилемма, перед которой он оказался. И Раскольников решается на «бесчестное средство».

Как же относится критик к раскольниковскому способу разрешения неумолимой жизненной антиномии? Оправдывает ли он героя «Преступления и наказания»?

Как будто бы да. По поводу отчаянного

решения Раскольникова стать преступником, чтоб не превратиться окончательно в труп, критик пишет: «Заключение верное. Кроме бесчестных средств, не остается никаких».

Однако дело в том, что на этом «согласии» с Раскольниковым автор «Борьбы за жизнь» не думает останавливаться. «...Весь вопрос в том,— пишет он далее,— действительно ли бесчестные средства достигают в данном случае той цели, к которой стремится Раскольников».

Нет, показывает Писарев, не достигают. И не потому, что этому помешали в случае с Раскольниковым определенные случайности. Роковая ошибка состоит в самом принципе нравственного оправдания кровавого насилия, даже если оно вынуждается «неумолимыми обстоятельствами». Рассуждения Раскольникова о праве «необыкновенных людей» на насилие порочны в корне; тот факт, что история наполнена насилием, отнюдь не доказывает, что для достижения высокой цели любые средства хороши.

Критик отвергает концепцию «крови по совести»: идя по этому пути, «необыкновенные люди» могут легко превратиться в «опекунов» человечества, предписывающих ему законы жизни, могут стать преступниками, «страшными кровопроливцами».

Более того, воспользовавшись термином Раскольникова «необыкновенные люди», Писарев прямо перекидывает мост своих размышлений к проблеме, наиболее его занимающей,— к проблеме деятельности особого сорта «необыкновенных людей» — революционеров. Он пишет, что до сих пор все крупные исторические события были неизбежно связаны с кровопролитием. «Что кровопролитие бывает иногда неизбежно и ведет за собою самые благодетельные последствия — это известно всякому человеку, умеющему понимать причинную связь исторических событий». Но необходимость революций, по мысли Писарева, совсем не та же самая, что необходимость поступка Раскольникова. «Кровопролитие становится неизбежным вовсе не тогда, когда его желает устроить какой-нибудь необыкновенный человек; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствие мешает этому необыкновенному человеку осуществить свою личную идею или фантазию, а только тогда, когда две большие группы людей, две нации или две сильные партии резко и решительно расходятся между собою в своих намерениях и желаниях».

Историческая неизбежность революционного насилия Писареву, как видим, вполне ясна. Но она отнюдь не дает права «необыкновенному» человеку не стесняться в выборе средств. Напротив, по мысли критика, она налагает особую ответственность, предъявляет к его деятельности высокие нравственные требования.

Тут-то и обнаруживается сложный, диалектический характер писаревского раскрытия темы «революция и нравственность». Сочувствуя задавленному обстоятельствами «бедняку», который в борьбе за улучшение своего положения не может разбирать средств и считаться с нормами морали, Писарев вместе с тем прилагает самые высокие нравственные критерии к деятельности тех, кто берет на себя ответственность, становясь во главе народной борьбы. Такой подход характеризует Писарева как прямого преемника Чернышевского, также уделявшего большое внимание разработке проблем революционной этики. Однако Писарев не ограничивается простым повторением идей, завещанных автором «Что делать?». Если последнего волновали прежде всего вопросы личной этики «новых людей» вообще и «особенного» человека в частности, если Чернышевский делал главное ударение на таких вещах, как нравственная чистота и безукоризненная честность революционеров, то Писарев пытается рассмотреть вопрос о нравственном характере и направлении деятельности «необыкновенных людей» в самом ходе «переворота», в самом процессе «перемены декораций». Это и понятно: выстраивая Каракозова и его реальные последствия свидетельствовали о том, что даже лично честный и преданный народу, «чистый, как голубь», революционер может при недостаточно развитом чувстве социальной ответственности принести вред движению.

По убеждению Писарева, задача «необыкновенных людей» состоит в первую очередь в том, чтобы попытаться избежать кровопролития, склонив неправую сторону к уступкам: «Прежде чем дело дойдет до кровопролития, необыкновенные люди, то есть самые умные и самые честные люди данного общества, всеми силами стараются о том, чтобы предупредить это кровопролитие и чтобы произвести как можно спокойнее ту перемену, которой требуют обстоятельства и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительный

частью заинтересованной нации». Писарев не исключает возможность «мирного и безобидного выхода из затруднительного положения» путем «обширных и добровольных уступок тому течению идей, которое называется духом времени и которое порождается общими причинами и условиями».

Ставя — вслед за Герценом — проблему мирного пути революции, Писарев вместе с тем, как и издатель «Колокола», сознает, что теоретически осознанное как разумное и полезное для человечества отнюдь не становится в силу этого реальным. Действительный ход исторического процесса оказывается сложнее расчетов ума, он идет путем зигзагов, приливов и отливов, а иногда даже заходит в своеобразные тупики, когда возникают значительные «скучные и томительные» длинные исторические антракты». Немалую роль здесь играет тот факт, что противники «духа времени» не желают добровольно покидать насиженные места. Это и вынуждает «необыкновенных людей» переходить от мирного характера деятельности к боевому. Как писал Писарев в статье «Мыслящий пролетариат» (1865), Рахметовых «не понимают, им мешают делать добро, и от этого их мирная работа принимает совершенно не свойственный ей характер ожесточения и борьбы».

Эту же мысль Писарев подробно развешивает теперь в «Борьбе за жизнь». Он пишет, что в условиях, когда возможность мирного решения общественных проблем остается нереализованной и острая борьба противостоящих друг другу сил оказывается неизбежной, «необыкновенные люди» должны встать во главе стихийного народного движения — с тем, чтобы организовать и возглавить его. «...Когда не остается никакой возможности покончить дело соглашением или любовным размежеванием столкнувшихся и перепутавшихся интересов, когда нет возможности разъяснить заблуждающейся стороне посредством спокойного научного анализа, в чем состоят ее настоящие выгоды и в чем заключается ошибочность и неосуществимость ее требований, — тогда, разумеется, остается только начать драку и драться до тех пор, пока правое дело не восторжествует».

Что же должны делать в этих условиях «необыкновенные люди»? Убедившись раньше массы в неизбежности открытой борьбы, они из роли благоразумных советников переходят в роль воинов и полководцев.

«Они становятся решительно на ту сторону, которой стремления совпадают с истинными выгодами данной нации и всего человечества, они группируют вокруг себя своих единомышленников, они организуют, дисциплинируют и воодушевляют своих будущих сподвижников и затем, смотря по обстоятельствам, выжидают нападения противников или наносят сами первый удар».

Но и в этих условиях уже начавшейся кровавой борьбы «необыкновенные люди» не должны ни на минуту упускать из виду не только свою цель — удовлетворение требований «духа времени», но и характер тех способов, средств, методов, которыми она достигается; они должны помнить о неизбежных отрицательных последствиях происходящего кровопролития. И потому, «когда борьба начата, все внимание необыкновенных людей устремляется на то, чтобы как можно скорее покончить кровопролитие, но, разумеется, покончить так, чтобы вопрос, породивший борьбу, оказался действительно решенным и чтобы условия примирения не заключали в себе двусмысленных комбинаций и уродливых компромиссов, способных при первом удобном случае произвести новое кровопролитие».

Как видим, Писарев категорически отделяет здесь революционный подход к делу от тактики либералов, трусливых любителей «уродливых компромиссов», также не желающих кровопролития и стремящихся как можно скорее с ним покончить, но за счет замазывания неразрешенных противоречий, за счет в конце концов опять-таки народа, который обрекается на новые схватки в будущем за то же дело.

Вместе с тем критик в ходе своих рассуждений продолжает настойчиво развивать «антираскольнический» мотив: «Ни перед борьбою, ни во время борьбы, ни после ее окончания необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития. Кровь льется не потому, что в данном обществе, в данную минуту действуют необыкновенные люди, а потому, что деятельность этих необыкновенных людей не может перевесить собою массу человеческого неблагоприятия, узкого своекорыстия и близорукого упрямства».

Подводя итоги своим суждениям, Писарев приходит к категорическому выводу: кровопролитие — это вовсе не обязательное и уж отнюдь не безупречное средство рево-

люционной борьбы, а лишь ее трагическая форма, вынужденная историческими обстоятельствами. «Кровь льется совсем не для того, чтобы подвигать вперед общее дело человечества; напротив того, это общее дело подвигается вперед, не смотря на кровопролития, а никак не в следствии кровопролитий; виновниками кровопролитий бывают везде и всегда не представители разума и правды, а поборники невежества, застоя и бесправия».

Писарев, таким образом, резко отделяет понятие революции, ее сущности, от тех ее реальных форм, в которых она необходимо осуществлялась в исторической действительности. Здесь его мысль движется в том направлении, начало которому положили еще великие социалисты Сен-Симон и Фурье и которое в России особенно характерно было для Герцена.

Еще более важным представляется стремление Писарева размежевать понятие революции с теми отклонениями от подлинно революционной деятельности, извращениями ее, которые нередко наблюдались в истории даже у выдающихся руководителей народных масс. Имея в виду, по-видимому, деятелей типа Робеспьера, Писарев заявляет: «Многое может быть объяснено и даже оправдано силою тех страстей, которые возбуждаются в гениальном человеке ожесточением великой борьбы; но если, подаваясь влиянию этих страстей, гениальный человек раздавил то, что могло и должно было жить, то историк в этом резком и насильственном поступке увидит все-таки проявление слабости... а никак не выражение гениальности и силы, долженствующее вызвать в других людях восторженное соревнование».

Вот здесь-то и раскрывается, таким образом, внутренний смысл писаревского обращения к «Преступлению и наказанию». Беря себе в союзники «мыслящих историков», произведения которых господствуют над умами «читающего юношества», и прямо полемизируя с возможным выведением идей Раскольникова из идей революционной демократии, Писарев утверждает, что «деление людей на гениев, освобожденных от действия общественных законов, и на тупую чернь, обязанную раболепствовать, благоговеть и добродушно покоряться всяким рискованным экспериментам, оказывается совершенной нелепостью, которая безвозвратно опровергается всею сово-

купностью исторических фактов». Если история и выдвигает отдельные личности на роль «необыкновенных», то главная задача их состоит отнюдь не в попытках по собственному усмотрению устроить жизнь масс, а прежде всего в способствовании «умственной эмансипации масс», их просвещению, ибо, пока массы политически слепы и невежественны, пока они сами сознательно не возьмутся за дело своего освобождения, это дело не может восторжествовать.

По мысли Писарева, именно потому, что освобождение народа от ига эксплуатации и бесправия представляет собою святое, великое дело, «необыкновенные люди», взвалившие на свои плечи все бремя ответственности за него, не могут иметь каких-то особых, только им присущих прав и моральных принципов. Наоборот: по своим нравственным устоям «необыкновенные люди» должны быть сродни «великим деятелям науки». «...Их руки совершенно чисты и всегда останутся чистыми; они могут только убеждать людей, а не приневоливать их; с той минуты, как великий мыслитель вздумал бы употреблять насильственные меры против невежественных и тупоумных противников своей доктрины, он перестал бы быть великим мыслителем, он сделался бы врагом беспристрастного исследования и свободного мышления, он сделался бы преступником против всего человечества, вреднейшим из вредных негодяев и по всем правам занял бы в истории почетное место рядом с испанскими инквизиторами. Представить себе Ньютона или Кеплера в таком положении, в котором они из любви к идее обязаны были бы устранить хотя одного живого человека или пролить хоть одну каплю человеческой крови,— еще гораздо труднее, чем представить себе, что Кеплер или Ньютон, состоя в чине необыкновенных людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы убивать встречных и поперечных или воровать каждый день на базаре».

Легко понять, что все эти размышления и выводы имели самое непосредственное, самое тесное отношение к вопросу о характере революционной тактики в политической борьбе тех лет. С точки зрения развитой в писаревской «Борьбе за жизнь» концепции революционного процесса акт Каракозова выглядел не только нецелесообразным, но совершенно бессмысленным, неразумным, противоречащим самой главной сути рево-

люционно-демократической идеологии. Осуждая действия по раскольниковскому методу устранения «живых препятствий», Писарев, в сущности, заявлял о своем принципиальном неприятии тактики индивидуального террора: «Если бы Кеплер и Ньютон решились действовать по рецепту Раскольникова и если бы им удалось устранить какое-нибудь живое препятствие, то на месте этого благополучно устраненного препятствия тотчас появилось бы другое, на месте другого третье, потому что общие условия, порождающие такие препятствия, остались бы нетронутыми».

Не заглядывая далее в писаревский текст, можно было бы подумать, что критик под «общими условиями» имеет в виду социально-политическое устройство эксплуататорского общества, а применительно к России — систему самодержавного деспотизма и т. п. Однако мысль Писарева целит еще глубже: «Общими условиями оказываются в подобных случаях невежество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикие предрассудки массы». Забитость, приниженность трудящихся масс, их «умственная апатия» и следствие этого — историческая пассивность, или, как выражался Чернышевский, «консерватизм массы», представляют собой, по Писареву, самое главное препятствие освободительного движения. «...Умственная апатия, — писал он в «Очерках по истории европейских народов» (1867), — гораздо хуже самого мрачного суеверия и гораздо вреднее самого кровавого фанатизма». И пока эта апатия будет продолжаться, ни о каком социальном освобождении народа не может быть и речи.

А проблема развития социального разума масс не может быть решена насильственными средствами. «Народные привычки» не поворачиваются «вдруг», как-то заметил Писарев. Вот и теперь, в «Борьбе за жизнь», он делает вывод: «...Пока общие условия делают возможным существование и деятельность сильных противников научной истины, до тех пор Кеплеры и Ньютоны должны действовать не против этого существования, а против общих условий, которые могут быть изменены только путем настойчивого и неутомимого проповедования той же самой научной истины».

«Путь настойчивого и неутомимого проповедования» — это, согласно Писареву, не только распространение естественнонаучных

знаний, но и в конечном счете развитие социального разума народа, революционное просвещение, подготовка грядущего коренного общественного переворота. Что же касается настоящего положения вещей, то Писарев, очевидно, считал революцию в России конца шестидесятых годов невозможной, а всякие действия, подобные покушению Каракозова, вредными.

Разумеется, положение революционеров оказывалось в этих условиях поистине трагичным — Писарев понимает это и пишет об этом. За внешне спокойными фразами его статьи стоит горькая судьба разночинцев-шестидесятников, судьба Чернышевского и Михайлова, Добролюбова и Помяловского... Оскопленное слово или гробовое молчание, вынужденная эмиграция или ссылка, тюремные казематы, ранняя смерть от туберкулеза, от чахотки... Слишком хорошо знал Писарев ту цену, которую платили лучшие люди его времени за свою честность, свою неискоренимую любовь к народу, свою верность высоким политическим и нравственным идеалам.

И, однако, все это еще не основание для революционных авантур. «Необыкновенные люди» часто оказываются в истории в роли мучеников, но даже самая сильная «любовь к идее» не может превратить их в мучителей: «мучения никого не убеждают и, следовательно, никогда не приносят ни малейшей пользы той идее, во имя которой они производятся».

Таким — в общих чертах — был ответ Писарева на вопросы, возбужденные в русском обществе событиями 4 апреля 1866 года. И этот взгляд Писарева на революционную деятельность и ее формы, на историческую роль и границы революционного насилия, это выступление его вротив разного рода «нетерпеливцев» от революции, обрекающих «обыкновенных людей на унижительную и мучительную роль пушечного мяса», являлись еще одним свидетельством того факта, что русская революционная теория шестидесятых—семидесятых годов XIX века приходила к очень значительным и важным выводам.

Не говоря уже об известных письмах Герцена «К старому товарищу» (1869), укажем хотя бы для сравнения на его более раннюю и куда менее известную статью «Мясо освобождения» (1862). «Метода просвещения и освобождения, придуманных за спиной народа и втесняющих ему сго

неотъемлемые права и его благосостояние топором и кнутом, исчерпаны Петром I и французским террором,— писал в ней Герцен.— Манна не падает с неба, это детская сказка — она вырастает из почвы; вызывайте ее, умейте слушать, как растет трава, и не учите ее колосу, а помогите ему развиться, отстраните препятствия, вот все, что может сделать человек, и это за глаза довольно. Скромнее надо быть, полно воспитывать целые народы, полно кичиться просвещенным умом и абстрактным пониманием. Много сделала Франция своими указами равенства и свободы?.. Великая основная мысль революции, несмотря ни на философские определения, ни на римско-спартанские орнаменты своих декретов, быстро перегнула в полицию, инквизицию, террор; желая восстановить свободу народа и признать его совершеннолетие, для скорости обращались с ним, как с материалом благосостояния, как с мясом освобождения, *chair au bonheur public*¹, вроде наполеоновского пушечного мяса.

Стоит вспомнить в этой связи и «Пролог» Чернышевского (1867—1870). Резко выступая против бланкистского подхода к революции, критикуя тех, кому недостает «рассудка и терпения» и кто бросается в восстание, не имея сил, писатель призывал революционеров «поумнеть» после уроков 1848 года и 2 декабря 1851 года². Можно указать также и на лавровскую «Нашу программу» (1873), в которой говорилось, что революция «должна быть совершена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа»: «Тот, кто желает блага народу,

¹ Мясом общественного благополучия (франц.).

² Отметим, что Чернышевский, по воспоминаниям С. Г. Стахевича, «не относился с одобрением к покушению» Каракозова. Придя «прямолинейное революционерство» тех, которые не умеют, да и не хотят принимать в соображение обстоятельства места и времени, он говорил: «В критические моменты народной жизни эти люди пронесут свое знамя через сцену действий. Это они умеют делать и сделают. Но критические моменты редки и коротки: до них и после них надо махнуть на этих людей рукой: ничего из них нельзя извлечь, или разве очень мало. Святые младенцы, святые — правда, но и младенцы — тоже правда». Эти слова Чернышевского, сказанные по адресу М. Д. Муравского, вполне относятся и к Каракозову.

должен стремиться не к тому, чтобы стать властью при пособии удачной революции и вести за собою народ к цели, ясной лишь для предводителей, но к тому, чтобы вызвать в народе сознательную постановку целей, сознательное стремление к этим целям и сделаться не более как исполнителем этих общественных стремлений, когда настанет минута общественного переворота».

Такое понимание революции, являющееся у одних русских мыслителей непосредственным результатом обобщения опыта 1848 года, у других — итогом раздумий над событиями более позднего времени, было чрезвычайно близко тому представлению о существовании социалистического переворота и его отличии от всех прежних, буржуазных революций, которое развивалось в девяностых годах Ф. Энгельсом. «Прошло время внезапных нападений, революций, совершаемых немногочисленным сознательным меньшинством, стоящим во главе бессознательных масс,— писал Энгельс.— Там, где дело идет о полном преобразовании общественного строя, массы сами должны принимать в этом участие, сами должны понимать, за что идет борьба, за что они проливают кровь и жертвуют жизнью. Этому научила нас история последних пятидесяти лет. Но для того чтобы массы поняли, что нужно делать, необходима длительная настойчивая работа...»

Разумеется, к подобному глубокому пониманию проблем революционной теории шли — особенно после 1848 года — не только радикальные русские мыслители домарковского периода. Однако нельзя не видеть и того, что своеобразные условия русской действительности чрезвычайно способствовали успеху их теоретических исканий.

* * *

На этом, вероятно, можно было бы поставить точку, но что-то мешает этому...

Дело в том, что практически развитие освободительного движения России в семидесятых — восьмидесятых годах пошло несколькими иными путями, нежели желал Герцен, предполагал Писарев: «необыкновенные люди», наследовавшие их революционную традицию, и особенно герои и мученики «Народной воли», в условиях, когда политическая активность масс была незначительной, повели это движение путем революционной

онного террора, тем путем, начало которому положил как раз акт Каракозова. «...Я верую, — пророчески восклицал Каракозов, — что найдутся люди, которые пойдут по моему пути». Такие люди нашлись. «...Мы пойдем по следам незабвенных героев наших — Каракозова... и др.», — говорилось в прокламации одного из революционно-народнических кружков конца семидесятых годов. Пятнадцать лет спустя после 4 апреля 1866 года партия «Народной воли» осуществила то, что не удалось Каракозову: Александр II был убит.

При всей ограниченности понимания народолюбцами революционного дела, их роль в развитии освободительного процесса в России была отнюдь не однозначной. Наследовавшее им следующее поколение борцов с российским самодержавным деспотизмом — поколение революционных социал-демократов, большевиков-ленинцев — высоко ценило беззаветную преданность народолюбцев народу, их готовность отдать за него собственные жизни, их неустанные поиски наилучших форм политической организации. Да, путь, по которому они шли, был ошибочным. Но, как это ни парадоксально, именно их революционная практика, игнорировавшая некоторые основные условия подлинной революционности, вместе с тем имела одним из своих последствий в конечном счете как раз создание и формирование этих самых условий. Кровь, пролитая народолюбцами и другими террористами, и кровь, пролитая царизмом в борьбе с ними, открывала глаза на новый и новым поколениям русских людей — и все шире, все сильнее становился антисамодержавный лагерь.

Наконец, само очевидное отступление от некоторых важнейших общетеоретических принципов революционной идеологии шестидесятников в эпоху деятельности «Народной воли», сам во многом эклектический характер социально-философских идей революционеров того времени означали выявление — перед лицом более богатой политической практики — неразрешимых противоречий, несовершенности, ограниченности прежней, созданной в шестидесятые годы, теории и поиска путей к иному, не народническому решению проблем социально-революционного движения в России.

Так кто же прав?

Теоретики, твердившие о том, что социалистическая революция должна осуществляться только в том случае, если сами мас-

сы сознают ее необходимость и сознательно пойдут к социализму, или же те практические революционеры, которые, не очень считаясь с заветами теоретиков, самоотверженно, безоглядно бросались в борьбу с деспотизмом?

Какой Писарев прав — тот, который писал в «Борьбе за жизнь», что, «призывая насильственные меры на помощь к таким идеям, которые могут и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убедительности, необыкновенные люди в значительной степени перестают быть необыкновенными и начинают обнаруживать ту нетерпеливую близорукость, которую отличаются все их дюжинные современники», что, «решаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди изменяют своему естественному назначению, компрометируют свою идею, дискредитируют ее и замедляют ее успехи именно теми насильственными мерами, которыми они стараются доставить ей быстрое и верное торжество»? Или тот Писарев, который несколькими годами ранее призывал дать династию Романовых «последний толчок»?

Кто прав: Герцен или «Молодая Россия» и Александр Серно-Соловьевич?

Лавров или Бакунин и «Народная воля»?

Революционная теория шестидесятых или революционная практика семидесятых — восьмидесятых годов?

Но можно ли только так ставить вопрос? Не просмотрим ли мы с этим «или—или» большую проблему — проблему соотношения (совпадения и несовпадения!) практического и теоретического, идеального и реального в истории?

Классики марксизма не раз писали о громадной роли социальной теории, заглядывающей в будущее. За теорией идут те, кто уловил ведущие тенденции общественного развития, кто видит его перспективы. Однако часто бывает, что социальное и экономическое состояние общества, в котором они действуют, степень зрелости масс, да и самих участников непосредственного революционного процесса еще очень далеки от того, чтобы реализовать революционные идеалы. Применительно к социалистической революции это означает различную степень готовности к ней различных компонентов истории: вождей, передовых отрядов, широких народных масс.

Пока и поскольку история движется в формах социального антагонизма, до тех

пор и постольку логика освободительного движения представляет собой совершенно неизбежно комбинацию, слияние, синтез двух «логик» — познания и стихийного порыва, теории и непосредственного действия. Истина здесь — в противоречивом единстве обеих сторон живого процесса, в их взаимопроникновении.

И потому, наверное, было бы одинаково ошибочным при изучении разночинского этапа русского освободительного движения выступать либо с односторонне отрицательной оценкой непосредственных практиков-террористов, либо с упреками по адресу революционных мыслителей типа Писарева за просветительский характер их концепций. В действительности это были две стороны единого революционного движения России XIX века, имевшие, конечно, и свои «закраины», смыкавшиеся с анархизмом и печаявщиной, с одной стороны, и просветительским либерализмом, с другой. Но в общем и целом это было — несмотря на все их объективное различие, на все резкие споры и острые столкновения между ними — два те-

чения внутри одного живого революционного потока.

Сказанным мы вовсе не хотим оправдать релятивистский подход к истории. Многовековая история революционного движения вообще и особенно опыт социальных революций XIX—XX веков с неопровержимостью свидетельствуют о неодолимом нарастании в освободительной борьбе элементов именно сознательной революционности, о том, что верх все больше берет та тенденция, которая выражает осуществление революционной практики в соответствии с требованиями научной теории. Развитию именно этой стороны революционного процесса — конечно, с учетом возможных неожиданных поворотов и зигзагов — подчинена напряженная творческая деятельность марксистско-ленинских партий нашего времени, категорически и недвусмысленно отмежевывающихся от ставки на стихийный порыв, террор и бунт.

И это еще раз убеждает нас в прозорливости мыслей Писарева, высказанных в его статье «Борьба за жизнь».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

С. Бабенышева. По страницам журнала «Север». — **Ф. Искандер.** «В прибое женщина из бронзы...». — **А. Дементьев.** Символ веры поэта. — **Д. Николаев.** Внимание: шаржеграммы! — **И. Варламова.** Шесть мегров счастья. — **З. Паперный.** Литература и «ведение». — **Э. Кузьмина.** Великая проверка.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Зак. Борец революции, строитель культуры. — **Д. Фурман.** Путь к исторической правде. — **С. Троицкий.** На заре отечественной дипломатии. — **С. Владимиров.** Решающий довод. — **Р. Баландин.** Человечество как часть планеты.

Литература и искусство

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «СЕВЕР»

«Север», №№ 1—6, 1968, №№ 1—6, 1969.

На обложке журнала броско обозначено — «Север». Север — это флаг журнала, его суть и его поэтический символ. На журнальных страницах воскрешена память о старом Архангельске, городе «трески, доски, тоски», о древней пудожской земле, куда нынче едут за стариной, за «досюльщиной», как любят писать очеркисты; о Мезени, про которую сложена поговорка: «позади — горе, спереди — море, справа и слева — ох да мох», о многочисленных северных экспедициях.

С пристрастием любви восстанавливает журнал недавнее прошлое края — очерки, статьи, воспоминания о войнах, гражданской и Отечественной, публикуются из номера в номер, как и материалы о сегодняшней жизни края — о рабочих, рыбаках, актерах, художниках, кружевницах и вышивальщицах, реставраторах икон и мастерах резьбы по дереву и чернению серебра.

М. Мильчик, автор занимательного очерка «Мезень — память прошлого», заклинает неофитов Севера не спеша приобщаться к его красоте: поторописься, — предупреждает он, — «тогда все пропало, тогда и ехать сюда не стоило».

А Север влечет. Лишь в прошлом году в Кижях побывало около семидесяти тысяч человек. Я узнала об этом из очерка В. Пулькина, того самого Пулькина, слава которого как одного из авторов устных повелл, своего рода кижской «1001-й ночи», разнеслась далеко.

«Музейщик», как оп себя именует, В. Пулькин напечатал в журнале очерк о Пудожье и несколько хрешик, каждая из них содержательна, пленяет знанием Севера. Впрочем, это относится к журналу в целом. Прочтешь этюды В. Белова, очерки М. Мильчика, В. Пулькина, В. Орфинского, рассказ Н. Жернакова «Солдатки» — и захлестнет тебя Север с его историей и сегодняшними заботами, с его неповторимым говором.

Север издавна славился как заповедник старинных слов, оборотов, и авторы журнала пользуются дарами этого заповедника широко и по-разному.

Василию Белову слово подвластно, он обращается с ним по-хозяйски уверенно, с ощущением неограниченности запаса этого заповедника В. Пулькин словом любит, осматривает его со всех сторон, поражаясь

неожиданности поворота. «Меня взволновала,— пишет В. Пулькин,— разгадка слова «шелонник» — западный ветер. Слово бытует по всему нашему Северу, а происходит, оказывается, от имени реки Шелони, что западнее Новгорода... Далеко на Север — за Онего, к Белому морю, к Печоре и Мезени — ушли повгородцы и уехали вместе с былинами, вместе с песнями и сказками, вместе с памятью о вольном белокаменном Великом Новгороде милое и родное словечко «шелонник».

Есть у журнала еще один способ «открыть Север» — на его вклейках опубликованы репродукции с картин художников Суло Юнтунена, Тамары Юфа, фотоочерки А. Кузнецова, К. Коробицына, С. Майстермана и других — журнал знакомит читателя с Архангельским краем и архангелогородцами, Сухонью, фресками Софийского собора и портретами современных жителей села.

Прекрасны новые листы Тамары Юфа — на темы «Калевалы»: молодая художница из эпоса избирает то, что дарит ему жизнь и сегодня. Ее Айно — сказочная Айно — бредет по фантастической Карелии, где все реально, даже валуны с их то ли каблистическими знаками, то ли рисунками сказочных животных, реальна и поступь Айно, ее покорность и женственность. О живописи Тамары Юфа напечатана в журнале интересная статья И. Гина.

Радоваться бы да и только приверженности «Севера» к своему краю, пониманию того, что лишь так — через точное, доскопальное знание своей «малой земли» и приходит широта понимания «большой» жизни, сознание объемности происходящего. В самом деле, какой же еще журнал, если не «Север» познакомит нас со всем, что происходит в этом интересном крае? Но что обозначает фраза — «открыть Север»?

В. Орфинский в интересной статье об архитектуре Карелии рассказывает, как на выставке, в павильоне Карело-Финской АССР, он ощутил Карелию: «...каменные колонны классического портика и скульптурный фронтон из темного дерева контрастно и четко рисовались на фоне светлых стен. Сама сдержанность его архитектуры, контрастность цветового решения, соответствующая условиям освещенности Севера, и, главное, местные строительные материалы — дерево и камень — в архитектурной трактовке, выявляющей все их декоративные воз-

можности,— вот те простые средства, которые придали сооружению свое собственное лицо и вызвали ассоциации с Карелией».

Силуэт, контрастность, дерево и камень — «простые средства», как пишет В. Орфинский, без подчеркивания того, что обычно именуют национальной экзотикой, — так пришло к нему чувство Карелии. Но в иных очерках и статьях проширкование в сущность северного быта и бытия дано подчеркнуто нарочито бесконечным повторением слова «север». «Страницы альбома просто дышат бесподобной красотой северного пейзажа», — сказано об альбоме «Художники на Валааме», «он обладает драгоценной способностью видеть глубинную поэзию северных мотивов», — о карельском художнике Суло Юнтунене. Художники разные, слова схожие. Поэт Ю. Линник в статье «День поэзии Севера» даже как бы подводит «теоретическую» базу под этот, я бы сказала «шаманский», способ открытия Севера: «Бесспорно стилевое многообразие поэтов Севера,— пишет он.— Но весь ход наших раздумий шел в том направлении, чтобы обнаружить в коллективной книге осуществление одного важнейшего эстетического принципа, лишь по недоразумению обычно отождествляемого с канонами эстетики классицизма. Мы подразумеваем принцип единства времени действия и принцип единства места действия. Время действия—двадцатое столетие, место действия—Север. Мы говорим, что у времени есть стиль. Мы знаем, что свой стиль есть у русского Севера. Можно сказать, что в сборнике осуществлен своеобразный синтез двух больших стилей и самых разнообразных творческих манер отдельных авторов».

Ю. Линник и впрямь стихи поэтов проверяет одной меркой,— что сказано в них о Севере, или точнее — сказано ли в них что-нибудь о Севере? Место действия указано — хорошо. Нет — куда как плохо. А поэзия ли это — стоит ли обращать внимание на подобную малость? Главное — двадцатое столетие, пусть даже ограниченное масштабами контурной карты северного края. Главное — ворожба со словом «север».

Может быть, и не было бы нужды говорить всерьез об этих рассуждениях: отчего ж и не дать воли капризу поэтической мысли, тем более что в последующих номерах журнала, в статьях В. Оботурова и Л. Резникова, посвященных выпуску «Дня

поэзии» 1968 года, стихи рассматриваются уже как произведения поэзии? Но беда в том, что Ю. Линник высказал вслух то, что скрыто в тенденции журнала, где как бы сосуществуют два способа «открытия Севера» — нарочитый, с бесконечным повторением слова «север», и открытие края изнутри, «простыми средствами», как это сделано в очерках В. Орфинского, М. Мильчика, В. Пулькина, в лучших публицистических произведениях журнала.

Лирический репортаж известной прогрессивной финской писательницы Хеллы Вуолиёки «Нет, я не была узницей» (перевод с финского Т. Викстрем), этот «фильм о человеческих сердцах», посвящен годам войны. В тюрьме, где писательница ждала исполнения смертного приговора, вынесенного ей военным трибуналом, сердце ее было открыто чужому бедствию, чужой боли. Она вслушивалась в исповеди сокамерниц и тех, кого встречала на прогулке, шла им на помощь, властно внушая: «Человека нельзя сделать узником, нельзя заковать в оковы человеческие сны».

«Мозаика тюремной жизни» составлена из разрозненных новелл: воспоминаний о доме, детстве, о запахе трав, о финских коммунистах и Бертольте Брехте, о дотюремной жизни, которая продолжалась и здесь, в камере, потому что никому не дано убить мысль и воображение. Все это вошло в репортаж, объединенный в целое личностью автора, человека благородного, ясно сознающего свою миссию, миссию писателя и гуманиста. Репортаж Хеллы Вуолиёки — признание в любви людям.

«...Будьте же вы благословенны, зеленая трава и весенний ветер в верхушках берез! И я не могу не любить человека».

«У шведов» — называется очерк Геннадия Фиша о Швеции последних лет. Очерк насыщен материалом и мог бы показаться перегруженным, если бы не умение автора привлечь читателя в собеседники, вернее в участники многоголосого интервью, которое автор возьмет у премьер-министра Швеции Таге Эрландера и коммунистки Гюнвор Рюдинг, у шведского врача и профсоюзного деятеля. В переплетении встреч, бесед, разговоров открывается читателю сегодняшняя Швеция, какой видит ее Геннадий Фиш.

В журнале опубликован очерк и о Норвегии А. Прокуева, он называется «Праздник Северного Калотта» — о празднике За-

полярья четырех стран — Финляндии, Швеции, Норвегии и Советского Союза. Но в очерке нет Норвегии, нет и портретов тех, кто съехался на торжество. А об атмосфере праздника сказано фразой, словно взятой напрокат из «Записной книжки» Ильфа: «В приподнятом настроении, окрыленные первым успехом, возвращались мы на корабль».

Незачем повторять, что желание журнала широко познакомить читателей с северными странами естественно, жаль лишь, что во имя исполнения своих — пусть добрых — намерений редакция журнала порою поступает требовательностью.

И в прозе журнала видна та же чересполосица, что и в других его отделах. Ф. Левин в рецензии, помещенной в «Литературной России» 5 сентября этого года, справедливо писал о ряде посредственных прозаических произведений, напечатанных на страницах «Севера». Я не стану повторять этого и остановлюсь на тех повестях и романах, которые кажутся мне интересными и характерными для журнала.

Роман Виталия Чернова «Медвежья Ворота» дает возможность узнать об одной героической странице Великой Отечественной войны — не так уж много у нас написано о боях в Карелии, а писатель по-своему рассказал о героизме советских бойцов и об упорстве противника; «финны это не немцы, дерутся до последней возможности», — говорит один из героев произведения.

Автор ставит себе задачей воссоздать картину боев, он оговаривается: его роль — роль летописца 127-го стрелкового корпуса, он стремится с предельной точностью рассказать об одном дне боев — решающем бое за Медвежья Ворота. Писателя тревожит мысль: люди уходят и с ними уходит в небытие память о прошлом; пройдет время — и окажется, что многое уже не восстановить.

Само собой разумеется, что документальность — это и угол зрения автора и манера, прием повествования. Поэтому трудно согласиться с Ф. Левиным, когда он в уже упомянутой рецензии видит просчеты В. Чернова в его приверженности к документальности, в отсутствии вымысла, обобщения. Думается, что жанр — не помеха обобщению, и документальное произведение, как и всякое иное, может содержать в себе обобщенный рассказ о действительности. И упрекнуть Виталия Чернова следует там, где он отходит от документальности, что бывает нередко, его преследует боязнь

быть неинтересным, и он отдает дань дурной беллетристике. Так, характеры молодых солдат Бакланова и Залыгина «расцветены» любовью к далекой девушке Юльке, и история этой любви кажется читаной-перечитанной, знакомой до каждой строчки. А вот характеры самих этих солдат интересны, как и характеры подполковника Маркова, штрафника Григоровича, старика вепса, перебежчика финна Яряпяя.

Я хочу остановиться на одном — не главном, но любопытном — конфликте романа.

Один из героев «Медвежьих Ворот», командир Розанов — человек храбрый, но высокомерный и не вызывающий поэтому симпатии у окружающих его людей. В разгар жестокого боя он вынужден заменить раненого комбата. «Вынужден» — слово не точное, он делает это не по обязанности, а по совести. Обстановка сложна. Замкомбата предупреждает Розанова: «Пулеметы не дают головы поднять! Самое верное — это поотроно двигать, ползком».

Но Розанов не умеет щадить людей, он поведет бойцов «на штурм». «И все было правильно, — замечает автор, — и то, что он поднял батальон, и то, что солдаты бежали вперед, и то, что противник был застигнут атакой в самый неподходящий для него момент, — все правильно, кроме одного, что, устремляясь вперед, батальон не мог одновременно вести огонь и карабкаться вверх, тогда как сверху он весь был виден, как на ладони».

Во время штурма погибло много солдат, ранен и Розанов, ранение свое он воспринимает как искупление вины перед погибшими и не может понять отчуждения окружающих его людей.

Он лежит в армейской двуколке «с пухло перебинтованной ногой, взятой в самодельные лубки из планок от патронного ящика. Рядом с ним, только головой к передку, лежал с наискось перебинтованной грудью знакомый ему белобровый солдат.

«— Не повезло нам с тобой, дружище, — мягко и грустно сказал Розанов, не глядя в строгие, осуждающие глаза солдата. Солдат промолчал.

— Не можешь говорить?

— Не хочу, — тихо и отчетливо сказал солдат».

С точки зрения Розанова — личная смелость и мужество все искупают, и он не по-

нимает, почему солдат не хочет с ним разговаривать; с точки зрения автора — личное мужество не снимает вины перед зря погибшими людьми.

Розанов убежден, что, подставляя «свой лоб под удар», не щадя себя, он имеет право на то, чтоб и других не щадить. Розановское отношение к человеческой личности вызывает протест и у героев романа и у автора.

В. Чернов обнажит это не только в эпизоде с Розановым, но и в лирических отступлениях романа. А повествование в романе ведется как бы на два голоса — рассказ о событиях дня прерывается лирическими отступлениями автора, где будто льется свет из сегодняшнего дня на события того времени. И если первый голос привлекает достоверностью, то лирические монологи — этот мост в сегодня — не выдерживают порученную им нагрузку: в отступлениях нет богатства и своеобразия мысли, они держатся лишь на чувстве.

Высокое внимание к человеческой личности, характерное для современной прозы вообще, проявилось и в повести А. Петухова «Тревога в Любимовке», и в его же рассказе «Слопцы». В «Тревоге в Любимовке» во имя заботы о жизни людей герои повести вынуждены пойти на конфликт с теми, для кого человек — пустая абстракция.

Первый год после войны. Неурожай. Голод. Отстрел лосей запрещен. Вернувшийся с фронта герой повести Тимофей Ярыгин, нарушая закон, охотится на лосей и подкармливает этим всю деревню, педантично деля добычу на едоков. Прекрасно зная быт деревни, автор сумел передать чувство непокоя, страха, в котором живут люди, поступающие пусть по совести, но вынужденные вести какую-то тайную жизнь и пугающиеся того, что правда выйдет наружу: «в семье Ярыгиных с некоторых пор мясо называли рыбой. Валя, самая младшая, прочно усвоила это лишь после того, как однажды за столом получила от отца увесистую затрещину ложкой по лбу. С того времени слово «мясо» уже было забыто. Мясные щи назывались рыбными, сушеное мясо — сушиком».

Правда и вышла наружу — председатель сельсовета Ипатов, когда однажды его случайно обошли добычей, сообщил об отстреле лосей и в райком партии и в охотинспекцию. Но как ни странно, атмосфера страха рассеивается. Деревня начинает борьбу за че-

ловска, и Тимофей Ярыгин и его сын (на этот раз он убил лося) оказываются победителями, хотя в повести и не говорится о реальной победе Ярыгиных. Победа их уже в том, что ответственность за судьбу Тимофея и его сына становится общим чувством.

В рассказе «Слопцы» восьмидесятилетний Кузьма ждет сына из неведомой ему Африки, где тот пропал бог весть сколько времени. Старик хочет угостить сына свиним, дегривенским — ягодами, грибами, дичью. Собрав последние силы, Кузьма отправляется в лес, чтобы поставить слопцы (силки) на глухаря. Он давно не совершал столь длинного путешествия и горд собой. Слопцы вернули старику веру в себя, ему начинает казаться, что он и впредь будет охотиться, но уже не для себя, для колхоза. Слопцы — это надежда на будущее, это радость ожидания.

Но когда Кузьма в другой раз идет в лес, уже за добычей, то находит слопцы срубленными. Общественный охотинспектор, с которым старик поделился своей радостью, срубил слопцы: оказывается, ставить их не дозволено.

Рассказ кончается несколько прямолинейно. Автор с логической последовательностью расставил все ударения: Кузьме не достало сил вернуться домой, он умирает где-то в дороге, а дома ждет его сын из Африки, и охотинспектор штрафует сына за слопцы, поставленные отцом. Что ж, в жизни, как говорится, возможно и такое. Но в этой досказанности — отсутствие чувства меры, художественного такта. Срубленные слопцы, душевная глухота охотинспектора и беспомощность старика перед неожиданностью удара — разве не в этом суть рассказа? И надо ли что-то еще прибавлять к сказанному?

Поэтична «Охотничья тетрадь» В. Соловьева. Шофер «скорой помощи» В. Соловьев часто печатает в «Севере» свои охотничьи рассказы. В них живет детское удивление перед щедростью и богатством природы, доверившей автору свои секреты, и он в свою очередь открывает тайну леса читателям, удивляясь ей и удивляя ею.

Отношение к человеку как к высшей ценности достигает философского обобщения в рассказах Василия Белова. Не забудем, что знакомство с первой крупной вещью — повестью «Привычное дело» — этого интерес-

ного писателя произошло благодаря «Северу».

«Случайные этюды», напечатанные в «Севере» в 1968 году, — это цепь повелел, дневниковых записей о том, что увидел и услышал писатель, путешествуя пешком по северным селам.

Василий Белов — художник с обостренным чувством совести, тревожно вслушивающийся и всматривающийся в жизнь, и записи его часто с совершенно неожиданной стороны открывают увиденное. В рассказе «Не гарывали...» писатель обнаружит, что деревня как бы распадается на четыре маленьких деревушки, а в середине — пустошь, белое пятно. И называется деревня «Огнище».

«— Чего ж... домов-то в середине и сперва не было? — спросит он бабу, у которой остановился на почлег.

— Как не было, были. Двиста домов было, когда я замуж-то сюда вызнялась, двисти. Большая была деревня-то, большая. Крестовая.

— Куда же дома из середины девались?

— А через трубу да в синее небо.— Бабука весело засмеялась.

— Сгорели, что ли?

— Нет, батюшко, наша деревня не гарывала.

— Ну, а как это... через трубу?

— Да истопили. Раскатали да истопили. Люди разехались. Кого раскулачили, кого на войне убило. Да по городам... Большие были дома, ядерные... Не гарывали, милой, не гарывали».

В свете далекой истории откроется В. Белову сельское кладбище в новелле «Холмы». «Здесь, на его родине, даже кладбище только женское... Они, мужчины, родились здесь, на этой земле, и ни один не вернулся в нее (словно гнушаясь женским обществом и этим зеленым холмом...). Поколение за поколением они уходили куда-то; долго ли было сменить граблище на ружье, а сенокосную рубаху на защитную гимнастерку? Шли, торопились, как будто на ярмарку, успев лишь срубить дома и зачать сыновей. И вот сейчас на родине, одинокие даже в земле, лежат прабабки и бабушки».

Путевые заметки В. Белова — это драматические этюды, действие здесь разыгрывается на глазах у читателей, волею автора обращенных в слушателей. Его диалог словно предназначен для чтения вслух — в нем мелодия, интонация, говор северян.

«Да ты не Акима Ивановича зеть?»; «Взяли да в Архангельск и уехали»: «...а как война-то выныялася, он и пошел в главный огонь».

Короленко в «Истории моего современника» писал, что поколению его отца знаком был род устойчивого равновесия совести. Он, отец, думал: «Законы могут быть плохи... Он, судья, так же не ответствен за это, как и за то, что иной раз гром с высокого неба убивает неповинного ребенка», он согласен был отвечать лишь за свое, личное поведение, сомневаться в безукоризненности которого не приходилось. Вразрез этому юность короленковского поколения была захвачена «разведающим, тяжелым, но творческим сознанием общей ответственности»... «за весь порядок вещей».

Чувство ответственности перед людьми,

творческое неуходящее беспокойство «за весь порядок вещей» живет в новеллах Василия Белова, повести А. Петухова, романе В. Чернова — в лучших произведениях «Севера». Журналу свойственно то бережное внимание к судьбе человека, которым всегда была и будет жива советская проза.

На этом я и закончу ознакомление с прозой журнала, тем более что всякая концовка в подобном случае условна. Только поставишь точку — вышли новые номера журнала (в этом году он стал ежемесячным), и пока рецензия появится в свет, что-то в журнале сдвинется, возникнет новое, существенное, о чем не было сказано, а что-то наверное окажется пройденным, вчерашним.

С. БАБЕНЫШЕВА.



«В ПРИБОЕ ЖЕНЩИНА ИЗ БРОНЗЫ...»

Дебора Вааранди. Люди смотрят на море. Стихи. «Эсти раамат». Таллин. 1968. 150 стр.

Что лучше — когда книгу стихов поэта переводит один переводчик или несколько? Вопрос этот мы никогда не разрешим, если будем пытаться найти общее правило для всех случаев.

Само собой разумеется, что лучше, когда поэт переводит поэт, близкий ему по духу. Но где взять такой идеальный случай совпадения, если у нас переводятся на русский язык сотни книг с доброй сотни языков народов нашей страны? Мечта почти неисполнима, а раз так, не лучше ли ее дискредитировать? Разве исключено, что взгляд лисы, обостренный неудачей, заметил истинный недостаток недоступного ей винограда?

Итак, не слишком ли это расхожая мысль, что поэт-переводчик лучше всего переводит на другой язык свое духовное подобие? Я в этой истине сомневаюсь. Близнецы часто не самые лучшие друзья и даже не самые лучшие родственники.

Мне кажется, лучшие переводы получаются тогда, когда переводчик через перевод воплощает свою собственную художественную мечту. Не в этом ли тайна замечательных переводов Маршака из Бернса?

Книгу эстонской поэтессы Деборы Вааранди «Люди смотрят на море» переводила большая группа русских поэтов, среди кото-

рых такие непохожие и даже далекие друг от друга, как покойная Анна Ахматова и Борис Слуцкий, Давид Самойлов и Владимир Корнилов, Светлана Евсеева и Леонид Завальнюк.

И вот, несмотря на разнообразие собственных голосов и собственных музыкальных инструментов, мы чувствуем, что все они играют одну вещь и что еще важнее — эта вещь никому из них не принадлежит. Эта вещь — поэзия Деборы Вааранди. Если через такое многообразие индивидуальностей до нас дошла индивидуальность поэта, мы убеждаемся в силе и подлинности ее голоса. А ведь нередки случаи, когда читаешь поэта, переведенного несколькими переводчиками, и думаешь: что за черт, от него ничего не осталось! Переводчики, урча, растащили поэта по собственным поэтическим углам. Но всегда ли в этом виноваты переводчики?

Во всяком случае Дебора Вааранди не дала себя растащить. Достоинство ее поэзии внушило переводчикам сдержанность по отношению к собственным импровизациям. Так мне кажется. На этом я заканчиваю скромный гимн коллективным переводам.

Вот стихотворение «Осенью» в переводе С. Евсеевой:

На лугу печаль-прохлада,
 Буря по лесу прошла.
 Пашня скирдами богата,
 Только пашня весела.

Разрумянилась рябина,
 Золото берез кругом.
 Галкам на поле былины
 Пишет осень ячменем.

Я не сдвину копен тяжких,
 Мой амбар для них не тот:
 У меня горох в кармашке
 И морошки полон рот.

Паданцы сдвигаю в грудь,
 Чтобы не валялись зря.
 Запах в яблоках откуда
 Сеновала, декабря?

Долго с полными руками
 Я в сыром лесу брожу.
 Колочу орех на камне,
 Гриб под елкой нахожу.

Руки жадные, как дети,
 Почему вы так слабы
 Обняла бы я все эти
 Копны, ягоды, грибы!

Эти милые стихи, по-моему, хорошо переведены Светланой Евсеевой, несмотря на некоторые шероховатости. Так, я не вполне уверен, что эстонская осень пишет именно былины. А на вопрос:

Запах в яблоках откуда
 Сеновала, декабря? —

можно ответить, что запах этот, как и сама интонация, — от Пастернака, правда, интонация приятная, и что еще важнее, она не противоречит духу и настроению этих стихов.

Кстати, боязнь обнаружить в своих стихах влияние какого-либо поэта — забавная черта современных стихотворцев. Раньше поэт мог опубликовать стихотворение с обезоруживающим подзаголовком «Подражание Гейне». Сейчас это трудно себе представить. Влияние и подражания, конечно, есть, но никто в этом добровольно не признается, а главное, не выставляет напоказ.

Тут, конечно, много причин, и анализ их слишком далеко увел бы нас от этой рецензии. Одна из простейших причин — перенаселенность Парнаса, отсюда и лихорадочные заботы о собственной прописке. Но не есть ли агрессивное стремление к самостоятельности — признак потери ее? Когда за стихами стоит личность поэта, никакое влияние повредить не может.

Зима прекрасна.
 Взгляни — навстречу девушка идет!
 Кровь с молоком — лицо.
 Вздывается от взмахов лыжных палок
 грудь.
 Оголена, подставлена морозу — шея.
 Пушистый иней на ресницах.

И даже если она несчастна,
 вот так она несчастна:
 кровь с молоком — лицо,
 и шея длинная обнажена перед морозом.
 и грудь вздыхает от взмахов лыжных
 палок.

(Перевел Б. Слуцкий)

В этом отрывке из стихотворения «Зима» чувствуются отголоски спора поэта с самим собой, с какими-то своими невзгодами. Старая, но вечно обновляющаяся идея, что жизнь все-таки прекрасна.

Поэт может отдаваться потоку печальных или радостных настроений или же, наоборот, сознательным усилием воли плыть против потока — в обоих случаях важен духовный результат, а не маршрут сам по себе. В свое время многие наши критики, одобряя поэтическую попытку преодоления внутреннего кризиса, сердито отзывались о стихах, в которых такая задача не ставилась. И если поэт, скажем, утверждал, что жизнь без любимой ему кажется бессмысленной и ненужной, критик спешил отгородить читателя от таких стихов санитарным кордоном, словно поэтической тоской можно заразиться, как гриппом. Такая шаманская вера в прямое воздействие художественного произведения напоминает мне одного моего родственника из глухой горной деревушки, который в каждом приходе почтальона видел опасную возможность нового налогового уведомления.

Печали и радости поэта в книге Деборы Вааранди как бы окутаны воздухом родного края. Шелест сосен, мокрый морской ветер, пустынные дюны, зимний снег, не слишком яркое цветенье прохладного лета — вот среда, в которую она влюблена и в которой охотнее всего рождаются ее стихи.

В книге нет гулких, наступательных ритмов, скорее наоборот — зыбкая точность, сдержанный вздох, иногда порыв не вполне уверенный и, может, потому — трогательный. Такова особенность душевного строя поэта, что не исключает ни широты человеческих интересов, ни смелости художественных образов, ни прямой политической публицистики. Из какого рода стихов наиболее сильным мне кажется «Освенцим»:

Волосы на моей голове шевельнулись.
Мои волосы встали и задымили в небо,
как черные ветви деревьев.
Мои волосы встали и зашевелились,
как страницы пылающих книг.

(Перевел Л. Самойлов)

А вот пример, когда внутреннее состояние передается через неожиданный, физически зримый образ:

Будто окликнули зло и несмело —
разнесся в пригороде гудок протяжный.
Я почувствовала, что лицо мое одревенело,
как на морозе шерсть варежки влажной.

(Перевела Л. Ахмадова)

А вот еще один удивительный образ:

В прибое женщина из бронзы
похожа на цветок в кувшине.
Там волны вокруг колен и торса
стеклянные и зелено-сини.

(Перевел Д. Самойлов)

Как легко передается ощущение моря, живой зыбкости морской воды, сквозь которую просвечивает тело купальщицы. Интересно,

что в самом сравнении чувствуется, что женщина увидена глазами женщины. Мужчины, не слишком радуя нас богатством воображения, неоднократно сравнивали цветок в кувшине с женщиной. Возможно, строфа эта отчасти протест против шаблонных комплиментов.

Кстати, поэт Николай Глазков когда-то в ужасе воскликнул:

Так молотом плющат железину,
Так мышцы сгибают колоссу,
Так женщина смотрит на женщину,
Так палки вставляют в колеса.

Сравнивая эти строфы, мы со вздохом облегчения убеждаемся, что Дебора Вааранди дает поэтическое опровержение певеселым выводам Николая Глазкова. И мы, как говорится, с удовольствием присоединяемся к этому более оптимистическому взгляду на природу женщины, хотя и не полностью отвергаем известную точность, заключенную в частном наблюдении русского поэта.

Ф. ИСКАНДЕР.



СИМВОЛ ВЕРЫ ПОЭТА

М. Исаковский. О поэтах, о стихах, о песнях. «Советский писатель». М. 1968. 486 стр.

В предисловии к сборнику М. Исаковский пишет: «...я считал и считаю, что поэзия наша при всем своем многообразии, при всей глубине мыслей и чувств, заложенных в ней, при всей своей художественной силе и красоте должна быть простой и понятной... Я считал и считаю, что каждый поэт не только не должен в своих стихах усложнять простое, а наоборот, он должен, он обязан о самом сложном в жизни говорить просто и понятно (не впадая, конечно, в примитив)». Это одна из самых заветных мыслей М. Исаковского, она повторяется во многих его статьях и письмах, проходит через всю его книгу, поэт называет ее — «мой «символ веры»».

С давних пор и до настоящего времени он постоянно выступает против всякой вычурности, зауми, нарочитой условности в поэзии, против того, чтобы метафоры, аллитерации, эпитеты или другие элементы художественной формы становились самоцелью. «Я думаю,— пишет Исаковский,— что по-

этическая речь не должна производить впечатления специально придуманной. Ей необходима известная естественность, неприужденность».

М. Исаковский — убежденный сторонник и пропагандист поэзии широко демократической, доступной миллионам читателей.

Этот «символ веры» поэта сложился органически — в исканиях и преодолении разного рода формалистических тенденций в поэзии — футуристского, имажинистского, конструктивистского толка, — получивших довольно широкое распространение в нашей литературе первого пореволюционного десятилетия. Мне, рассказывает поэт, «пришлось пробиваться не через одну линию заграждений, выставленных тогдашними формалистами...».

Надежной опорой была для Исаковского русская классическая поэзия и в особенности Пушкин и Некрасов, которые жили в его сознании с детских лет. «Они,— пишет Исаковский,— как бы оградили меня от той мут-

ной и вредоносной волны формализма, которая хлынула тогда в поэзию». Глубокое влияние оказала на литературные убеждения поэта известная рецензия Горького на книгу его стихов «Провода в соломе».

И в наши дни М. Исаковский решительно возражает против утверждений, что классический русский стих устарел, не годится для современности и, прекрасно сознавая необходимость обновления поэзии, строго осуждает тех поэтов, которые видят новаторство и «раскрепощение» стиха в небрежном отношении к поэтической форме, пишут совершенно произвольно, без всякого ритма и рифмуют цирк с церковью, Америку с Емелей и гвозди с грозой.

Излагает свой символ веры Исаковский с предельной ясностью. У него нет желания без нужды усложнить разговор или щегольнуть перед читателем особыми секретами мастерства и сверхтонким пониманием хитроумного дела. Напротив, поэт пишет просто, популярно, можно даже сказать просто-душно, не отказываясь от уже известных истин, от повторений и подробностей. Но нет в его выступлениях ни популярничанья, ни упрощения.

И вот что особенно важно: утверждение простоты и понятности поэзии соединяется в статьях, речах и письмах поэта с высокой эстетической требовательностью. В делах поэзии, в оценке тех или иных стихотворений и начинающих и известных поэтов Исаковский неизменно взыскателен, неприступен и не знает никакой снисходительности. Он неутомимо преследует стихотворные поделки и имитации, ремесленничество и графоманию, примитивную или стандартную версификацию.

Более того: с годами Исаковский все чаще выступает против инфляции, некоего обесценивания поэзии (ни в малейшей мере не отрицая ее неоспоримых достижений), и все чаще и энергичнее утверждает, что литература сильна не количеством пишущих стихи и даже не количеством выпускаемых книг, а «только людьми талантливыми, только качеством созданных этими людьми книг».

Каждый читатель книги «О поэтах, о стихах, о песнях» имеет полную возможность убедиться в этом. Так, значительная часть книги посвящена песне, и лейтмотивом почти всех выступлений и писем М. Исаковского на эту тему является утверждение, что

стихи, которые могут стать песнями, должны быть произведениями подлинной поэзии и иметь самостоятельное художественное значение, независимо от того, будут они положены на музыку или нет, станут их петь или не станут. Поэт постоянно напоминает об этом, так как, по его справедливому мнению, у нас наряду с хорошими песнями «много песен слабых, серых, а то и просто халтурных», ибо «в область песни проникло немало холодных ремесленников», которые все и вся «заполнили своими так называемыми текстами, весьма сомнительными по качеству».

Об ответственном отношении к поэзии идет речь и в письмах начинающим поэтам, перепечатанных из известной, выдержавшей три издания, книги «О поэтическом мастерстве». Все они проникнуты мыслью, что настоящая поэзия требует таланта и мастерства, культуры и знаний, упорного труда, что ошибаются те, кому поэзия кажется делом легким и простым: «написал несколько строк в рифму, расположил их столбиком — и произведение готово».

Исаковскому как бы выпало на долю показывать и растолковывать издержки массового литературного движения, и он делает это с терпением и талантом истинного педагога, отбирая из тысяч присланных писем начинающих поэтов наиболее типичские и поучительные, не жалея труда на разъяснение «азов» и неоднократное возвращение к «пройденному».

К сожалению, в этом нуждаются иногда не только начинающие поэты. Так, читатель найдет в сборнике известное письмо Исаковского в «Литературную газету» о стихах Осипа Колычева — поэта уже давно выступающего в области литературы. Письмо озаглавлено: «Как не следует писать стихи». И остается только пожалеть, что не вошла в сборник памятная многим статья о стихах А. Маркова. В ней тоже убедительно разъяснялось, как не надо писать стихи.

Наконец, и в статье «Доколе?..», опубликованной в прошлом году в журнале «Вопросы литературы» и вызвавшей оживленную дискуссию, говорится о «ненормальном и потому нетерпимом положении» в современной поэзии. Некоторые поэты и критики пытались возражать Исаковскому (многие были согласны с ним), но основные положения статьи «Доколе?..» остались непровергнутыми.

Как известно, у серости в литературе всегда находились адвокаты. Оправдывали они и безоголядное — в любом количестве — издание книг сомнительного качества. Дескать, во все времена были произведения хорошие и плохие, глубокие и поверхностные, и, следовательно, беспокоиться не стоит. Дескать, пусть выходят слабые и посредственные книги: они пужны для «удобрения почвы» и для «соревнования». У сдержанного Исаковского подобные рассуждения вызывают самое горячее негодование: издавать «никому не нужные книги для «удобрения почвы» ни к чему: «павоз»-то получается такой тощий, что вряд ли на нем вырастет что-либо хорошее. Издавать для «соревнования». И это не аргумент: слабыми, плохими сборниками никто никого не перещегооляет».

Очень важную роль в развитии нашей поэзии М. Исаковский отводит редакциям издательств, журналов и газет. Между тем издательства, журналы и особенно газеты, по его словам, часто относятся к выбору стихов для печати крайне несерьезно и даже безответственно, сплошь и рядом прощают поэтам их малограмотность или не замечают ее и печатают стихи, которые дискредитируют поэзию, вводят в заблуждение читателей и приучают поэтов писать, что называется, спустя рукава. В книге Исаковского можно найти примеры из «Комсомольской правды», из «Известий», из «Советской России». Последний образец, приведенный в статье «Доколе?..», — уже получившие печальную известность строки Сергея Острового, напечатанные тоже в столичной газете:

Вижу давних времен опушку.
Плачут кони. Горят дома.
Разрядите меня, как пушку,
А не то я сойду с ума.

«То, что это не стихи, а пародия на них, видно сразу же, — пишет по поводу этих строк Исаковский. — Как бы там ни было, хочется спросить у автора, как удобней разрядить его? «Как пушку?» Можно сказать, что статьи поэта о том, как не следует писать стихи, с полным основанием можно было бы назвать: какие стихи не нужно печатать.

Выступления против плохой, примитивной поэзии и снисходительного, безответственного отношения к ней перемежаются и переплетаются в книге М. Исаковского с по-

лемикой против упрощенного подхода к поэзии со стороны критики и читателей.

Письмо Исаковского критику Н. А. — из Орловской области заслуживает, чтобы его привести полностью, и только недостаток места в рецензии заставляет меня отказаться от этого. Речь в письме идет о стихотворениях Исаковского «Край мой смоленский» и «Зелена была моя дубрава». В том и в другом стихотворении критик Н. А. — в наш пессимизм и осудил их. «Мир поэта представлен здесь мрачной осенью, криком гусей, улетающих в теплые страны, и мотивом гармошки: «позарастали стежки-дорожки», — пишет он.

Наверное, Исаковский обошел бы рецензию Н. А. — ва молчанием, если бы не увидел в ней некоторой характерной и вредной тенденции. У нас появилось большое количество читателей и критиков, поясняет он, которые во всех случаях отрицательно отзываются о лирических стихах, если эти стихи написаны не в мажоре, а с некоторой раздумчивостью, с грустью, у нас «не принято» хорошо отзываться о стихах «негромких», о стихах сколько-нибудь печальных. «Не будем гадать, — пишет поэт, — откуда это повелось, но повелось так, что у нас как бы и не должно быть грустных стихов: все, мол, идет настолько хорошо, что людям печалиться и горевать совершенно не о чем. Они могут только радоваться. Ну, конечно, и поэты должны писать стихи только о радости, только о счастье...

Все это, я бы сказал, настолько противно, настолько противоречит жизненной правде, настолько ущемляет поэзию, что я не выдержал и написал ответ своему критику».

В своем ответе М. Исаковский прежде всего раскрывает тему стихотворения «Край мой смоленский». Человек после долгих лет разлуки приезжает в родные места, где он родился и вырос. Он, естественно, предается воспоминаниям. Здесь когда-то «бродила» его юность. Но она прошла и никогда не вернется... И человеку становится грустно.

«Вы утверждаете, — пишет поэт критику, — что это пессимизм, а я говорю, что это естественное чувство всякого нормального человека, прожившего на земле довольно долго. Это чувство останется у людей и при коммунизме, ибо человеческая натура никогда не может примириться, например, со

старостью или смертью. Человек всегда будет вспоминать свою юность с самыми нежными чувствами и с грустью, сожалея, что она навсегда миновала. Лишить человека этого, я бы сказал, прекрасного чувства — значит обеднить его внутренний мир...

И вопреки Вашему мнению, я хочу сказать, что стихотворение «Край мой смоленский» кажется мне одним из лучших моих стихотворений, таким, каких у меня не столь уж много.

Говоря о стихотворении «Зелена была моя дубрава», М. Исаковский тоже сначала определяет тему стихотворения: девушка или молодая женщина вспоминает любимого человека, погибшего в бою с врагами, и, естественно, горюет, плачет... А затем М. Исаковский «комментирует». И здесь я не могу не привести его рассуждений полностью.

«Так неужели же она не имеет права поплакать, погоревать? — пишет Исаковский критику о героине стихотворения. — Неужели она, грубо выражаясь, должна танцевать по поводу гибели своего возлюбленного или же, в крайнем случае, равнодушно говорить, что, мол, ничего, все обойдется...

Ее чувство — это также одно из чувств, свойственных человеку, и оно останется у человека всегда. Социалистический или коммунистический строй вовсе не предполагает сделать всех людей «каменными», такими, которым все ничем. Люди всегда будут сожалеть о гибели своих близких. И лишить их этого чувства — также значит обеднить их психику, их внутренний духовный мир.

Была жесточайшая война, во время которой погибли миллионы близких нам людей... Было бы абсолютно ненормальным, если бы мы не жалели своих близких, павших в бою с врагами, не горевали о них».

Однако не только с критиком Н. А.—вым из Орловской области пришлось полемизировать по этому вопросу М. Исаковскому.

Когда появилось известное стихотворение «Враги сожгли родную хату» (1946), критик С. Трегуб поместил в «Комсомольской правде» заметку, в которой осуждал его. Затем некий читатель прислал в редакцию газеты письмо. Он писал: «В самом деле, почему это у Исаковского сказано: «Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою?» Разве у нас некуда пойти? Пошел бы, например, в сельсовет, там бы с ним поговорили, дали бы совет, помогли бы...» Вскоре отрицательное отношение к стихо-

творению стало достаточно распространенным в критике, а один автор специальной статьи-лекции об Исаковском даже утверждал тогда, что «несбывшиеся надежды» война-победителя искажают образ советского человека, замыкают его в мирок личных утрат и переживаний».

«Я просто недоумеваю,— писал по этому поводу М. Исаковский,— почему критик осуждает «несбывшиеся надежды» солдата, который хотел, вернувшись с войны, встретить своих родных и близких, но никого не встретил? Что же крамольного в этих надеждах — сбывшихся или даже несбывшихся? Почему они, как сказано в статье, «искажают образ советского человека»?..

Это уж что-то совсем постижимое! Человек вернулся из самого пекла войны. И оказалось, что дом его сожжен, семья уничтожена, любимая жена загублена. И то, что он очень тяжело переживает эту трагедию (а не переживать ее могут только неодушевленные предметы), критик называет «замыканием в мирок личных утрат и переживаний». Ничего себе, хороший мирок!»

Столь же существенна, как и полемика с критиками, переписка М. Исаковского с читателями. Впрочем, и здесь иногда дело не обходится без спора. Читатель бывает разный.

Известно, что мнения читателей придается у нас большое значение. И это справедливо. Письма читателей, как правило, отличаются непредвзятостью и свежестью взгляда, основанного на опыте и непосредственном наблюдении жизни, и содержат в себе немало полезного. Для М. Исаковского получить письмо от читателя — большое удовольствие. «...Читательские письма могут подсказать немало интересного и нужного», — говорит поэт. Но, добавляет он, бывают письма «и несколько иного характера».

Бывает, что читатель возражает против строчки «рыщет ветер на проселке», полагая, что рыскать может лишь голодный волк, и в ответном письме М. В. Исаковский терпеливо отстаивает право поэта пользоваться метафорой. Бывает, что читатель жалуется на «зловредное» стихотворение Исаковского «Черемуха», усмотрев в нем «хищническое» отношение к природе, и поэт обстоятельно разъясняет читателю, какое это непродуктивное занятие — судить о стихах по инструкции об охране зеленых насаждений.

Бывают недоразумения и споры и более серьезные. Например, спор о таланте.

Исаковский рассматривает два письма по этому вопросу. Автор одного из них утверждает, что талант всего-навсего ярлык, который наклеивается на трудовой опыт и умение человека, обладающего здоровым, нормальным организмом, и решительно возражает против самого понятия «талант», именуя его условным. Другой читатель еще категоричнее утверждает, что никаких врожденных способностей и талантов не существует, что все люди рождаются одинаковыми и становятся разными по своим взглядам, призванию, способностям и талантам в зависимости от материальных условий, среды, социального строя. Утверждая это, читатель ссылается на марксистско-ленинское учение.

Письма эти примечательны, а их авторы — читатели особого склада. Они принадлежат к числу тех «критиков», которых слово «талант» раздражает, которые видят в нем нечто мистическое и подозрительное. Их представления о равенстве примитивны, их понимание марксизма-ленинизма — вульгарно. Им хотелось бы упростить мир до простоты таблицы умножения и укоротить всех людей до своего роста. Тем самым было бы оправдано их пренебрежительное отношение к обладателям таланта. Слова В. И. Ленина: «Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать», они или «забывают», или перетолковывают по своему.

М. Исаковский ответил авторам писем о таланте с обычными для него спокойствием и рассудительностью. Первому читателю он писал, что если таланта не существует и все дело в здоровом, нормальном организме и приобретении опыта и умения, то, очевидно, «можно было бы отобрать какое угодно количество людей, у которых организм вполне здоров и работает нормально, создать для этих людей все условия, с тем чтобы они могли приобрести «умение», скажем, в литературе и искусстве, и в результате у нас появились бы новые Толстые, новые Пушкины, новые Чайковские, новые Репины и многие-многие другие. А между тем Толстые и Пушкины рождаются один раз в столетие».

Со вторым читателем поэт не согласился в том, что все люди рождаются одинаковыми. «...В природе ничего не рождается и не растет одинакового. К примеру говоря, на

всем земном шаре нельзя найти двух берез, которые были бы во всем одинаковы... — писал он. — Вы категорически возражаете против утверждения В. Солоухина, что Шалаяпину, Собинову и Обуховой их дивные голоса даны самой природой. Вы полагаете, что Шалаяпиных, Собиновых, Обуховых можно воспитать в любом количестве, их можно выпускать чуть ли не конвейерным способом. Если это так, то позвольте Вам задать ну хотя бы такой вопрос: создав соответствующие условия, можно ли было бы добиться того, чтобы Собинов пел, скажем, не тенором, а басом? По Вашей теории выходит, что можно — ведь люди рождаются одинаковыми и из каждого новорожденного можно «вылепить» все, что угодно. Думаю, что Вы очень заблуждаетесь».

Возразил М. Исаковский и на слова читателя, что, дескать, если таланты рождаются, а не воспитываются, то зачем прилагать усилия остальным миллионам и заниматься воспитанием способностей, талантов. «Тут Вы явно передергиваете, — пишет поэт. — Таланты, склонности, способности — все это действительно надо воспитывать. Ведь любой талант не родится в совершенно готовом виде. Он начинается с малого и все время растет, развивается. Вот тут-то и нужны усилия общества, влияние среды». Для Исаковского ясно, что материальные условия, среда, социальный строй имеют решающее значение при воспитании в человеке того или иного таланта и склонности, но все же лишь в том случае, если этот талант и склонности у него имеются хотя бы в зачаточном состоянии: «Коль семечко не посеяно, то ничего и не вырастет, нечему будет и развиваться. Из ничего, из нуля ничего сделать нельзя». Напомнил он читателю, все ссылавшемуся на марксистско-ленинизм, и слова В. И. Ленина о таланте.

Таковы некоторые существенные черты «символа веры» поэта. Конечно, только некоторые. Содержание выступлений М. Исаковского несравнимо шире и богаче моего краткого изложения¹. Но теперь они собраны в книге «О поэтах, о стихах, о песнях», и я горячо рекомендую ее читателям.

А. ДЕМЕНТЬЕВ.

¹ В частности, особого внимания заслуживают воспоминания М. Исаковского. Но к ним лучше будет обратиться в связи с напечатанными в «Новом мире» «автобиографическими страницами» поэта «На Ельнинской земле».

ВНИМАНИЕ: ШАРЖЕГРАММЫ!

Это я?.. Шаржи — Кукрыниксы. А. Раскин — эпиграммы. «Искусство». 1968. 102 стр.

Кукрыниксы хорошо известны как художники-карикатуристы, работающие в области политической сатиры. Но далеко не все знают, что начинали они с других жанров — с пародий и шаржей на литераторов. И имели при этом большой успех.

Лет десять назад неразлучная тройка карикатуристов «трихнула стариной», создав целый цикл интересных шаржей-пародий, который получил название «От Ренессанса до абстрактивизма».

И вот теперь перед нами еще одно свидетельство того, что первая любовь не ржавеет: вышел новый альбом художников, содержащий шаржи на современных деятелей литературы и искусства.

Когда-то шаржи Кукрыниксов публиковались вместе с пародиями Александра Архангельского. Изображение и слово не просто дополняли друг друга; они были проикнуты единым духом, единой мыслью, образуя замечательный синтез. «Карикародии» — так называли в свое время соавторы один из своих сборников.

Ныне Кукрыниксы выступают в творческом содружестве с Александром Раскиным. Правда, на сей раз шаржи даны в сочетании не с пародиями, а с эпиграммами. Но это не меняет сути дела: перед нами снова пример точного взаимодействия комического изображения и остроумного слова. Два эти компонента — графический и словесный — настолько органично сливаются друг с другом, что образуют как бы единый «синтетический» жанр. Как назвать произведения этого жанра? «Эпиграммошаржи»? А может быть, «шаржеграммы»?

Вот, например, перед нами рисунок, на котором запечатлен кинорежиссер Григорий Александров. Постановщик популярных в свое время кинокомедий выглядит солидно и монументально. Как памятник самому себе. Глаза его — полузакрты. Вероятно, он погружен в самосозерцание. А может быть, просто дремлет...

Карикатуристы как бы «материализуют» мысль поэта-сатирика, выраженную в эпиграмме:

С веселым смехом он давно
Вошел в историю кино.
Возможно ли такое чудо,
Чтоб он вернулся к нам оттуда?

Писатель Виктор Некрасов нарисован художниками в кепке и с чемоданом под мышкой. На чемодане наклейки, извещающие о том, что его владелец немало поездил по белу свету: был и в Риме, и в Париже, и на нашем Дальнем Востоке. Сейчас он, вероятно, опять собрался в дорогу... Так что же: перед нами «турист с тросточкой»? Нет! Пытливый, вдумчивый литератор.

Образ кукрыниксовского Некрасова дорисовывает А. Раскин:

Про него пустили анекдот:
Дескать, он — Некрасов, да не тот...
Но Некрасов человек упрямый,
И теперь все говорят: «Тот самый!»

В свое время, работая над шаржами, Кукрыниксы были щедры на выдумку. Перелистайте их «карикародии» двадцатых — начала тридцатых годов и вы убедитесь, что почти каждый из рисунков тех лет представлял собою целую сценку — изобретательную и остроумную.

Исаак Бабель с буденовкой на голове и с саблей в руке, сидя в кресле, скакал на огромном битюге...

Илья Сельвинский, пританцовывая, вел на поводке медведя...

Теперь художники стараются попридержаться буйный полет фантазии. Большинство шаржей, собранных в новом альбоме, — «поясные». Строже стала сама манера рисунка. Меньше в ней сатирической соли, больше — «дружественности». Это не значит, что шаржи стали пресными и скучными. Вовсе нет! В каждом из них обязательно есть какая-нибудь «изюминка».

Эпиграммы Александра Раскина, как уже говорилось, составляют с рисунками Кукрыниксов органичное идейно-художественное единство. Конечно, не все они равноценны (есть среди них и слабые). Однако в большинстве своем это остроумные афоризмы, которые в нескольких строках раскрывают какую-то очень важную сторону изображаемого. Причем адресат их угадывается безошибочно.

«Период розовый»... «Период голубой»...
Периодически он был самим собой

Всего две строки. Но мы сразу же понимаем, что это Пикассо. Именно он. И никто другой.

А вот другие две строчки. Не менее выразительные:

Художник бога превзошел namного:
Бог сотворил людей, художник — бога.

Надо ли объяснять, что это Жан Эфель? И без того ясно.

Поэт хорошо чувствует комические возможности слова. Он умеет взглянуть на привычные, устоявшиеся словосочетания пристальным взором сатирика-юмориста; умеет переосмыслить их, вывернуть наизнанку, обнажить такие их стороны, благодаря которым фразы давно известные и прискучившие неожиданно приобретают свежее звучание. Сколько раз слышали мы, например, древнее изречение, приписываемое Наполеону: «От великого до смешного — один шаг...» Но вот Раскин пишет о Чаплине...

Однако сначала несколько слов о соответствующем шарже Кукрыниксов. На нем изображен не только Чаплин, но и Чарли. Великий артист и созданный им герой держатся за одну тросточку. Ту самую, знаменитую. Чаплин изображен в профиль. Он смеется. А Чарли нарисован анфас. Если закрыть ладонью левую половину его лица и смотреть только на правую, то видно, что Чарли тоже смеется. А если закрыть правую половину, он — плачет.

Рисунок этот сопровождают следующие строки поэта:

Чаплин! Смотрим не дыша
На смешной и грустный лик его...

Жизнь его — прекрасный шаг
От Смешного до Великого.

Трудно писать об альбоме Кукрыниксов и Раскина. Трудно, потому что шаржи все равно не перескажешь. А пересказывать эпиграммы глупо: их надо цитировать. Не случайно З. Паперный в своем остроумном и лаконичном вступительном слове к книге вынужден был заявить: «Единственная цель моего предисловия — сказать о мастерстве четырех участников книги, столь высококом и доходчивом, что тут уж никакие предисловия и послесловия не нужны».

И это действительно так. К чему комментарии, если и без них все ясно? Они не нужны.

Нужны глаза. И два рубля восемнадцать копеек — чтобы получить эту веселую книгу в свое личное и вечное пользование. Если, конечно, еще удастся найти ее в книжных магазинах.

А в заключение — одно практическое предложение. Мне кажется, что сейчас явно пришло время выпустить «сборный» альбом Кукрыниксов, который включил бы в себя и их давние «карикородии», созданные в содружестве с Александром Архангельским, и нынешние «шаржеграммы», сделанные художниками вместе с Александром Раскиным. Такой альбом был бы замечательным подарком нашему читателю-зрителю, очень соскучившемуся по настоящему, умному смеху.

Д. НИКОЛАЕВ.

★

ШЕСТЬ МЕТРОВ СЧАСТЬЯ

Валерий Попов. Южнее, чем прежде. Повести. Рассказы. «Советский писатель».
Л. 1969. 204 стр.

В последнем рассказе сборника «Я даже удивился», словно предвеля критик в свой адрес, Валерий Попов уведомляет читателя: «Все говорят — что-то такое странное вы пишите... Ни сюжета. Ни судьбы, прослеженной до конца... А когда я мог проследить?.. Вот мне кто нравится? Бах. Потому что у него можно жить в каждом звуке, у него в каждом звуке уже все есть — и жизнь, и смерть, и любовь, и ненависть, и волнение. — в одном звуке. А у других в звуке не проживешь, разве что в целом мотиве, мелодии... А мелодия — когда

еще она доиграется до конца? Может, и всей жизни не хватит. Значит, так нужно писать и вообще так чувствовать, чтобы в каждом звуке, слове или предмете было сконцентрировано уже все, что человека волнует...»

Это очень важное заявление.

Каждый рассказ, каждая страничка этой книги (заметим, кстати, — первой книги молодого талантливого писателя) звучит отчаянным призывом: умей ловить мгновение счастья. счастье — оно кругом, всюду, и главным образом там, где ты и не надеешь-

ся его встретить. Кто знает, как еще сложится жизнь, а ты распахни глаза, сердце — и лови!

Вот, например, в рассказе, давшем название сборнику, автор повествует о том, как его герой едет с товарищем по службе в командировку в южный город. Этот товарищ, по определению героя, — «самый большой зануда» из всех, каких он только видел в своей жизни. Едва выйдя из поезда, наш герой садится на чемодан, прямо у вагона, и ему становится так тепло и уютно, что не хочется никуда двигаться. А что делает «зануда»? Он, естественно, торопится к стоянке такси. «Видно, многое он так упустил, — размышляет герой, — признавая радость только в местах, специально для нее отведенных. А там ее почти и нет, совсем нет, настолько она зыбка, неуловима, и сразу ускользает оттуда, где ее объяснили и прописали».

А вот этот же молодой человек попадает на Кавказ, в Сочи, сходит с трапа, «чувствуя за спиной прекрасную, масляную, грустную гушу корабля». Он здесь бывал не раз, но «все как-то не с того конца», и вот он идет через длинный белый мост, а за мостом — темная улица под густыми деревьями и — «людей тут было полно, и всех была какая-то дрожь, все боялись, что скоро кончится это — теплота, темнота, любовь». И вот уже и он «кнабухает счастьем» и чувствует, что дошел до предела в этом своем странном счастье ни из-за чего, просто так...

В этом вся суть, полагает автор. Надо уметь ощущать радость ни из-за чего, радость без причины, она-то и есть самая главная.

Не следует думать, что В. Попов воспекает этакого прожигателя жизни, легкомысленного субъекта, занятого исключительно шатаньем по Черноморскому побережью Кавказа в поисках острых ощущений. Чем занимается «в миру» его молодой герой, — кстати, весьма образованный и интеллигентный человек, — я скажу позднее. Но сейчас важно подчеркнуть другое: у автора этой книги есть жизненная позиция, если хотите — философия, к своей «вере» он жаждет приобщить и нас, читателей, он ищет единомышленников, он учит, он проповедует... Что? Да вот послушайте.

В рассказе «Другая жизнь» В. Попов говорит: «Когда-то я вдруг ясно ощутил, что жизнь всего одна. И очень определена в се-

бе, замкнута. И пусть она даже хороша, да все ужасно, что одна. А нельзя ли сразу две жизни жить, или три?»

Нет, скоро понял я, нельзя.

Но хоть бы немного пожить другой жизнью, пусть несравненно более трудной и странной, даже только почувствовать ее запах — уже радость.

Он зовет пройти «по какой-то улице, по которой иначе никогда не прошел бы», увидеть «людей, которых раньше никогда не видел». И не просто «пройти» и «увидеть», а и пожить их жизнью, ловить с ними рыбу, вместе с ними уставать на их работе, если придется — и пострадать, испытать лишения, даже голод и жажду... Ради чего же? Да все ради того, чтобы познать новое, видеть, осязать, впитывать в себя неиссякаемое многообразие жизни. Он жаден на ощущения, и если перед ним встает дилемма — идти ли «по линии удовольствия», обычного, скучного, общепринятого удовольствия, или «по линии волнения», — он всегда выбирает второе. И не проигрывает. Так уж он устроен, что никогда не проигрывает при этом, не остается в накладе.

Потому что у молодого героя В. Попова свои понятия о человеческом счастье, своя шкала ценностей, по которой он судит людей, свои представления о самоуважении и жизненном успехе, и, с его точки зрения, шофер автобуса, с лицом значительным и острым, помогающий бестолковым старухам-пассажирам, — человек отнюдь не заштатный, а истинно незаурядный в своей доброте и благожелательности (рассказ «Другая жизнь»).

И только преодолев общепринятые суждения о том, как надо жить и кем быть в этом мире, поломав замшелые предрассудки о «приличном» и «неприличном» поведении, стараясь при этом никогда не причинять людям боли, можно, утверждает автор, стать по-настоящему счастливым. Вот к чему подводит нас исподволь В. Попов.

Самый удивительный, трогательный и вместе с тем самый странный рассказ в сборнике называется «Не спать, не спать!». Он все о том же — о преодолении инерции сложившегося, установленного порядка жизни.

Молодой инженер приезжает на завод в некий город на берегу моря. Командировка окончена, дело сделано, можно возвращаться домой. Но вот он идет ночью по мокрой, пустой, темной улице. Ночевать ему нигде.

Полагалось бы расстроиться, ведь с детства усвоено неопровержимое: остаться без ночлега в чужом городе — неприятность. А между тем он чувствует себя прекрасно, спать не хочется, голова ясна.

Его так и тянет отойти подальше «от той видимости законченности, полной определенности всего, что и принята нами наспех, для краткости, а вместо этого многим чуть ли не законом представляется, после которого ничего другого и нет».

Он забредает к реке, где стоят проржавевшие корабли, кругом — каналы с мазутной водой, какие-то технические, не природные островки. С веселым легкомыслием и любопытством он отдается во власть самых невообразимых приключений, пока, невзначай оступившись, не катится вдруг по каким-то ступеням вниз, к каналу. Только у самого края успевает он распереться ногами и руками в стены узкой каменной лестницы. Внизу — далеко, метрах в шести — ровная спокойная вода и на ней плавает что-то вроде размокшей двери — словом, плот. И хочется ему прыгнуть: ведь если он сейчас не сделает этого, значит, определится его жизнь, закончилась, думает он, и теперь пойдет только по прежним, разученным кругам. Вскрикнув, он отталкивается от скользких стен и летит вниз — шесть метров счастья!..

Он не разбился, а поплыл на плоту по каменному коридору. Что с ним было дальше в эту удивительную ночь, пересказывать не стоит. Важно лишь, что даже если нечто подобное и пришлось пережить автору, — а все описано с завидной достоверностью, да и вообще, как говорится, «такого не выдумаешь», — происшествие это имеет скорее символический характер. И долженствует оно, по-видимому, означать, что так и только так — необычно, странно, ни на что не похоже — можно ухватить за хвост счастья.

Невольно поддаешься обаянию точного авторского письма, его молодому увлечению и задору. Но вдруг ловишь себя на мысли: что-то уж слишком горячо уверяет нас герой рассказа в своем счастье, что-то уж больно усиленно доказывает, — как доказывают, пожалуй, не постороннему, а самому себе. И грустно делается. Печальный получается рассказ. Тяжко достается это самое счастье. Шесть метров лететь до него, шутка ли? Малодоступное оно какое-то, если приходится так летать: ведь кое-кому и

годы не позволят, и здоровье тоже, — как тут быть? Да и сам герой, что станет делать, когда чуть-чуть постареет?

А с другой стороны, начинаешь думать, что, видно, легко все же складывалась у нашего героя жизнь, если ему не страшно идти всегда «по пути волнения», видно, по настоящему миновали они его, эти самые волнения, каким-то удивительным образом обошли его стороной, коли уж так он к ним стремится. Ведь нам, грешным, чего-чего, а волнений в жизни хватало даже с избытком, и не станем мы их сами искать. И опять же назойливо преследует мысль, что и его они вряд ли обходили, что-то трудно себе представить чью-либо не эгоистическую жизнь без волнений — не за себя, так за других — и тогда окончательно укореняется убеждение, что наш герой попросту уходит от истинных, нешуточных, невыдуманных волнений в выдуманные. И снова делается грустно.

И вдруг, как почти уже неопровержимая догадка, является предположение: уж не этот ли совет и хочет нам дать автор? Мол, счастье можно обрести не через свою, а лишь через чужую (вторую, третью) жизнь. Не гладкая и она, конечно, да по крайней мере хоть будешь где-то внутри знаешь, что не твоя она, а чужая. И выход лукавый всегда есть: убежать из нее и вернуться «к своим пенатам».

Так кто же он, однако, герой В. Попова? Помню погони за каждым отдельным звуком жизни, отрезком в «шесть метров счастья» — чем еще дышит?

Этот герой, этот «я» — почти все рассказы сборника написаны от первого лица и совершенно ясно, что он alter ego самого автора, — молодой инженер, а затем начинающий писатель. Во всяком случае этот «я» — человек одаренный, думающий, современный в самом добром значении этого слова. Он чувствует технику так, как способен чувствовать лишь причастный ее тайнам. Ему и надобности нет лебезить перед ней, как иным непосвященным, которых подчас охватывает перед ней некий мистический ужас, он ей — свой.

Нам известно, что его дипломная работа — ультразвуковая очистительная установка на мукомольне («Поиски корня»). Мы знаем, что он чинит на заводе какой-то «излучатель», и нашему герою достаточно бросить беглый взгляд, чтобы заметить, что

болты на нем слишком стянуты и пьезопластины изогнулись («Не спать, не спать!»). В гидроакустическом отсеке огромного, как небоскреб, корабля он ищет неполадки в работе эхолота и эхолога, находит и исправляет их («Южнее, чем прежде»). Он участвует в разработке таинственного проекта «Подорожник» (в одноименном рассказе), видит странные сны, затем, гуляя, наблюдает за резвящимся котенком, и все это непонятным, счастливым образом претворяется в его сознании в число витков, в катушки, в легкий прозрачный капсуль... Он маг и волшебник в своем деле.

Любуешься его сложной, веселой работой, его властью над покорной ему техникой, веришь, что она не выйдет из повиновения, пока находится в его ловких, умных руках. А ведь бывает пока что и иначе, техникой кое-где еще «заведует» и тот самый «зануда», которого так не любит В. Попов. У «зануды» другой стиль: «В институте, получив задание, он обычно долго смотрит на него, задыхаясь от обиды и гнева. Потом, хлопнув дверью, убегает в самый дальний от нас корпус, забирая, так сказать, поглубже. Оттуда, а потом отовсюду вокруг начинает нарастать рокот, вот он все ближе, все громче, и в нашу комнату врывается эта огромная жуткая волна — звонят, подпрыгивая, телефоны, ругаются все со всеми, плачут монтажницы и машинистки, и над всем этим, а точнее во всем этом, летает он, упиваясь столь бурной деловой атмосферой. Потом это начинает стихать, все ходят как после болезни, улыбаются сквозь слезы, смотрят. Зато никто уже не забудет, как мы делали такой-то проект, и все будут помнить, кто его возглавлял. А сделать это просто и тихо, не вовлекая сюда событий в Гвинею, а также семейных раздоров в цеху, а также аморальных поступков отдельных сотрудников, сделать чисто, так сказать, технически, как это люблю делать я, — так никто и знать-то не будет, и всю жизнь будут тебя считать лентяем, понапрасну получающим деньги».

Поистине, два стиля, два противоположных мироощущения. Наш герой — это тот, кто уже — то там, то здесь — приходит на смену «зануде» и бюрократу. Спасибо В. Попову, что он рассказал нам, какой он. Нам важно это знать, ведь таких, как он, много, и не от этой ли смены отчасти зависит наше настоящее и будущее? Тем более хотелось бы, чтобы эти умные, умелые мо-

лодые люди не отрешивались от наших общих житейских и социальных забот, не уходили от них в «голую» технику, в свои эфемерные переживания и не менее эфемерные радости.

Каков же итог? Да, симпатизируешь уверенности нашего героя в себе, его лихой способности на прыжок, на полет, на шесть метров счастья. Ему веришь... Но не до самого, однако же, конца. Вот в одном из рассказов («Ювобль») автор пишет: «Как наша земля имеет атмосферу, в которой изменяются, разрушаются, сгорают летящие в нее метеориты, так и человек должен иметь атмосферу духовную, где изменяются, разрушаются, сгорают летящие в него несчастья...» Должен, пишет он. Должен... А может ли? Получается ли у него это? Если прыгнет и полетит, если заведет в себе некий, поневоле хочется сказать, игрушечный моторчик мальчишески-самолюбивого восторга, то — да...

Но не всегда это ему, к счастью, удается. Слишком он еще все-таки неиспорченный, равнодушный, наш молодой герой. И возвращаясь еще раз ко всему прочитанному, вспоминаешь, к примеру, что в повести «Поиски корня» он едет с братом в родную деревню на Волге, к обиженным им некогда по легкомыслию дяде Ивану и старенькой бабушке, и их простая, рабочая, полная испытаний жизнь глубоко и искренне волнует его. Ничто не миновало этих людей — ни бедность, ни тяжкий труд, ни перестройка деревни, ни война, ни болезни. И когда тетка говорит ему: «У нас вся семья такая. Ничего не пропускали. Все на свете шло через нас», — он начинает сознавать, что в этом-то, может быть, и заключены высший смысл и истинная красота человеческого существования.

И ему радостно сознавать, что старая бабка оказалась «неожиданно сильно и страшно» похожей на него, и на его отца-ученого, и на его брата-студента, и на его «огромных, потных, зевластых дядьев». А в рассказе «Ювобль» он жалеет одинокую, всеми покинутую собаку Стручка, а в «Другой жизни» делит с рыбаками их нелегкий труд, и ясно видно, как боль за людей, за все живое проникает в его сердце и жалит.

Так много это или мало — шесть метров счастья? И получается — маловато. Надеемся, что это понимает уже и Валерий Попов.

И. ВАРЛАМОВА.

ЛИТЕРАТУРА И «ВЕДЕНИЕ»

Б. Эйхенбаум. О поэзии. «Советский писатель». Л. 1969. 552 стр.

В слове «литературоведение» сталкиваются две глубоко различные стихии: литература с ее мышлением в образах и наука, «ведение», разговаривающее языком точных определений, терминов. Слово это напоминает рукопожатие — так подают друг другу руки перед началом поединка.

Читая статьи и рецензии о литературе, в особенности о поэзии, видишь, как часто в таком столкновении начинает преобладать одна или другая сторона. То автор, забыв, что он «вед», сыплет взволнованно раскавыченными цитатами, соперничая в эмоциональности с поэтом, о котором идет речь. То, наоборот, не обращая внимания на природу и своеобразие своего предмета, решительно переводит язык поэзии на сугубо научный, чисто понятийный.

Борис Михайлович Эйхенбаум (1886—1959) — литературовед в доподлинном смысле этого слова. Он подходит к русской поэзии как ученый — историк и теоретик, но не накладывает своих дефиниций и классификаций на живую почву искусства. Заканчивая одну из самых значительных своих работ, «Мелодику русского лирического стиха», он писал: «...в научной работе считаю наиболее важным не установление схем, а умение видеть факты... пусть материал не до конца укладывается в схему — ей никогда не обнять всего его разнообразия...»

Порой Б. Эйхенбаум выходил за рамки литературоведения, пробовал себя как литератор, журналист. В 1929 году он даже выпустил книжку «Мой современник». Она строилась как журнальный номер: словесность, наука, критика, смесь. И все разделы этой книжки-журнала были заполнены статьями, заметками, воспоминаниями Б. Эйхенбаума.

Когда читаешь «Временник» сегодня, чувствуешь: интересно, а все-таки в целом идея выпустить «свой» журнал не получилась. Наверное, дело в том, что главная сила Эйхенбаума-литератора — литературоведение. Именно здесь, а не на журнальных путях он становился художником слова.

Каждый, кто занимался историей русской поэзии, не раз встречался с работами Б. Эйхенбаума — о Лермонтове, Пушкине, Некрасове, Полонском, Блоке, Ахматовой, Маяковском (не говорим о его статьях и

книгах, посвященных Льву Толстому, Лескову, Чехову).

И вот мы снова встречаемся с исследователем, читаем книгу — свод его наиболее важных работ о русской поэзии. Свод этот поневоле не полон. Из семидесяти трех прожитых лет Б. М. Эйхенбаум отдал литературе больше пятидесяти. Его первая работа — о Пушкине и декабристах — была напечатана в 1907 году. Книга же открывается статьей о Пушкине 1921 года.

Правда, составители снабдили издание библиографией работ Б. Эйхенбаума о поэзии (составитель Ю. Бережнова) и предварили вступительной статьей.

В. Орлов сумел в сравнительно небольшом предисловии, написанном, как всегда у него, — спокойно, серьезно и сжато, наметить главные моменты пути, пройденного исследователем, сказать о его движении — от формалистических, опоязовских теорий (ОПОЯЗ — общество изучения поэтического языка второй половины десятых — двадцатых годов) к целостному и всестороннему постижению литературы.

Опоязовцы нередко отделяли литературу как замкнутый в себе, обособленный от общественной жизни ряд. Б. Эйхенбаум постепенно освобождался от такого подхода. Но навсегда он сохранил редкое умение видеть процесс развития литературы в его непрерывности, в его сквозной перспективе, в преемственности традиций. Приведу только один небольшой отрывок из статьи «Художественная проблематика Лермонтова»: «Толстой — последнее звено в истории декабристской идеологии, прошедшей все фазы своего развития: от Пушкина и декабристов — к Лермонтову, от Лермонтова — к Толстому. «Родина» Лермонтова («Люблю отчизну я, но странною любовью») уже намечает обращение к крестьянской тематике, как «Бородино», по признанию самого Толстого, явилось зародышем «Воины и мира», как, наконец, от стихотворения о сражении при Валерике пошли военные рассказы Толстого».

Прежде чем обратиться к поэту, Б. Эйхенбаум ищет его предисток, прослеживает, как намечается «предвозникновение» его творчества в развивающейся литературе.

Он пишет, например, о том, как постепенно переходила поэзия десятих — двадцатых годов прошлого века от оды к посланию, к «гусарской песне». И прежде чем сказать о Денисе Давыдове, говорит, как нуждалась поэзия тех лет в «его появлении»: «Нужен был не батальный пейзаж в стиле Тасса, а реальный автопортрет военного героя. Нужна была личностная поза, нужны были личностные тон и голос: не «воспевание» героя, а рассказ самого героя о самом себе — и рассказ конкретный, бытовой, с деталями жизни и поведения».

В статье о Некрасове исследователь тщательно и точно воссоздает процесс постепенного вытеснения в литературе тридцатых — сороковых годов поэта-«жреца» поэтом-журналистом. Лирика соединилась с журналом, с фельетоном, со статьей.

«Муза» продолжала жить в стихах Фета, Майкова, Полонского, Ап. Григорьева, — пишет Б. Эйхенбаум, — и многое из этого откликнулось потом в поэзии символистов. Но эпоха не могла жить только этой поэзией — ей нужен был Некрасов. История должна была создать его таким, каким она его создала. Он нужен был для самой поэзии».

Не много можно назвать литературоведов со столь развитым историко-литературным мышлением, как у Б. Эйхенбаума. В каждом поэте он стремится увидеть не только некую «данность», но и ответ на запрос времени, итог и предзнаменование.

Он пишет: «...классический стих Пушкина, его четырехстопный ямб, развивается у него не на песенной основе (как «музыкальный» стих романтиков), а на основе, так сказать, говорной. Отсюда открывается путь к прозе, невозможный, например, для Тютчева, для Фета, для Бальмонта или Блока»

Пушкин, увиденный так, уже не только заключает в себе переход к прозе тридцатых годов, к «Повестям Белкина», «Капитанской дочке». Он еще и предсказывает дальнейшие пути русской литературы: и «прозаизмы» Некрасова (а потом Маяковского), и торжество реалистической прозы Толстого, Чехова — «Пушкина в прозе».

Намечая историко-литературную перспективу, Б. Эйхенбаум сочетает смелость с хорошей осторожностью. Он не хочет прочерчивать линию с излишним нажимом. В конце концов поэзия состоит не из «линий», а из лириков, несхожих и самобытных.

В книге «О поэзии» впервые публикуется небольшая, в несколько страниц статья «Живой образ Лермонтова» (1940). Она помогает понять другую важную черту работы исследователя. Для него мало наметить историко-литературный ряд преемственности. Второе, не менее важное условие — ощутить образ поэта в его цельности.

Недостаток литературы о Лермонтове в том, что в ней «нет живого, конкретного образа, нет настоящего человека, представление о котором оживляло бы исторические схемы, объединяло бы отдельные биографические факты и углубляло бы восприятие творчества». Исследователь тонко подмечает две характерные крайности — либо образ Лермонтова получается слишком обобщенным, либо рисуется чересчур мелкими, бытовыми чертами и штрихами.

Почти тридцать лет прошло с тех пор, как писалась эта статья, но она несколько не устарела. Обратимся к нашим дням: разве, например, в статьях и воспоминаниях о Светлове, недавно ушедшем от нас, не встречаемся мы с этими двумя крайностями: либо абстрактная, условная, дидактическая фигура «певца молодежи», как будто лишенная личных примет, даже имени-отчества, либо же — «Миша», когорый, не отходя от ресторанного столика, сыплет шутками. (Разумеется, этим не исчерпывается литература о М. Светлове, но не заметить этих тенденций довольно трудно.)

Б. Эйхенбаум призывает противопоставить недобросовестной литературе «подлинный, глубоко изученный, продуманный и прочувствованный образ Лермонтова — как это сделал, например, Ю. Н. Тынянов в отношении к Кюхельбекеру».

В самом деле, наше представление о Вильгельме Кюхельбекере неотделимо от тыняновского «Кюхли». Возразят: нельзя требовать от каждого литературоведа, чтобы он был Тыняновым. Но речь идет о другом: о неделимости творчества поэта — оно не поддается изучению вне ощущения того образа, о котором говорит Б. Эйхенбаум.

Вспомним статьи и книги о Маяковском, где авторы как будто забывали, что он писал стихи, сводили все его творчество к тезисам и декларациям. А вот как пишет о нем автор книги «О поэзии»: «Маяковский — вовсе не «гражданский» поэт в узком смысле слова: он создатель новой поэтической личности, нового поэтического Я,

ведущего к Пушкину и Некрасову и снимающего их историческую противоположность, которая была положена в основу деления на «гражданскую» и «чистую» поэзию. Маяковским снята самая эта противоположность.

Его Я грандиозно, но не романтической грандиозностью, при которой высокое Я противопоставлено низкому миру действительности, а иной грандиозностью, вмещающей в себя весь этот мир и ответственной за него».

В статье о Некрасове исследователь замечает: «Творчество... есть акт осознания себя в потоке истории». Определение это интересно и само по себе, и тем, что оно формулирует принципы подхода Эйхенбаума к писателю — стремление увидеть его в литературном потоке и вместе с этим в законченности собственной поэтической системы.

И здесь мы видим, что уже на ранних порах творчество исследователя по существу противостояло формалистической методике. Он пишет об Анне Ахматовой: о преодолении в ее стихах символистской отвлеченности, о слитности лирических стихов, превращающихся в «сплошной дневник», об ослаблении напевности — как рождается особая свобода речи, чувство спускается в сюжет, а разговорная или повествовательная интонация естественно проявляется в «паузнике»...

И все это — не в описательном перечислении, а в развертывании сквозного ощущения, без которого литературовед превращается в литературного «товароведа».

Большую часть книги заняла работа «Мелодика русского лирического стиха». Вышедшая отдельным изданием в 1922 году, она по праву стала одной из «самых настоящих» книг по стиховедению. Ссылаясь на исследования своих предшественников — О. Брика и В. Жирмунского, Б. Эйхенбаум намечает новый для того времени подход к изучению поэтического языка: не лингвистический — в ряду языковых явлений вообще, но стилистический. Его интересуется мелодика как интонационная система, то есть сочетание определенных интонационных фигур, реализованное в синтаксисе.

И, конечно, это было большим шагом вперед после работ, где структура стиха ограничивалась подсчетом ударений. Предмет

исследования в «Мелодике» — не стих как таковой, а скорее стихотворная фраза в ее ритмико-синтаксическом, интонационном построении.

Важный для своего времени подход Б. Эйхенбаума к стиху оказывается сегодня уже недостаточным. Современное стиховедение исходит из большего количества «факторов»: это и ритм, и ритмико-синтаксические фигуры, и звуковая инструментировка в их взаимодействии.

На этом примере снова убеждаешься: талантливый исследователь, наделенный поэтическим чутьем, преодолевает ограниченность своего подхода и вносит вклад в общее дело изучения литературы во всей незаменимости ее художественных средств.

Завершается книга статьей «О камерной декламации» (1923), представляющей собой приложение полученных в «Мелодике» выводов к технике чтения стихов.

И снова мы удивляемся долговременной «сохранности» работ Б. Эйхенбаума. Как свежо звучат сегодня его рассуждения о мастерах художественного чтения!

«Я резко помню,— пишет он,— впечатление, произведенное на меня декламацией А. Блока на вечере в память В. Комиссаржевской в 1910 году... Блок читал свое стихотворение «На смерть Комиссаржевской» («Пришла порою полуночной») — и я впервые не испытывал чувства неловкости, смущения и стыда, которые неизменно вызывали во мне все «выразительные» декламаторы. Блок читал глухо, монотонно, как-то отдельными словами, ровно, делая паузы только после концов строк. Но благодаря этому я воспринимал текст стихотворения и переживал его так, как мне хотелось. Я чувствовал, что стихотворение мне подается, а не разыгрывается. Чтец мне помогал, а не мешал, как актер со своими «переживаниями», — я слышал слова стихотворения и его движения. Надо мной не совершалось насилия и обмана, потому что не совершалось насилия над самим стихотворением».

В этом суждении слились воедино фундаментальнейшая подготовка ученого и артистический вкус. Мне кажется, каждый, кто отваживается читать «на людях» стихи наших больших поэтов, должен познакомиться со статьей «О камерной декламации». Она предостережет актера от неумеренного стремления расцвечивать стихотворную

строку, класть «красочку», разлеплять на разные интонационные отрезки целостно изваянный стих.

«О поэзии» — живая и увлекательная книга. И это тем более парадоксально, что она захватывает вас, нисколько не утрачивая академической строгости, тщательности, серьезности. Автор похож на тех любимых лекторов, которые завоевывают популярность, нисколько об этом не хлопоча, никак внешне не оживляя своего повествования, не заигрывая с аудиторией. И здесь — тоже важный урок для сегодняшнего литературоведа.

Для того чтобы статья была интересной, вовсе не обязательно ее беллетризовать. Статьи Б. Эйхенбаума читаешь, не отрываясь, потому что в каждой — свой внутренний сюжет, развертывание мысли, которое все время открывает вам что-то новое. И в этом смысле статьи остро сюжетны, динамичны, они забирают вас, вовлекают в самый процесс исследования.

И — последний существенный итог книги «О поэзии». Говоря о том, как необходимо

было литературе появление Некрасова, Б. Эйхенбаум заключает: «Некрасов оправдал самую необходимость поэзии, показал насущность стиховой речи, которая взята была тогда под подозрение. Мы теперь знаем, что потребность в стихе так же насущна, как и потребность в речи вообще».

Слова эти из статьи 1928 года наполняются новыми мыслями сегодня, в 1969 году. Немало мы слышали угрожающих обещаний, что не за горами тот день, когда машина — на полупроводниках или еще бог знает на чем — начнет сочинять стихи, за просто продуцировать поэзию на любой вкус и манер. Раздавались и голоса, что поэзия вообще отжила. Немало ей, сердешной, достается в век высоких скоростей, сверхзвуковых лайнеров, лазеров и спутников. А прочитаешь книгу Бориса Михайловича Эйхенбаума — и как-то легче становится на душе: ничего, никуда она, поэзия, не денется — «существует — и ни в зуб ногой».

3. ПАПЕРНЫИ.



ВЕЛИКАЯ ПРОВЕРКА

Рэй Бредбери. Марсианские хроники. Перевод с английского Л. Жданова. «Мир». М. 1965. 334 стр.

Рэй Бредбери. 451° по Фаренгейту. Перевод с английского Т. Шинкарь. Рассказы. Перевод Н. Галь. «Библиотека современной фантастики». Том 3. «Молодая гвардия». 1965. 348 стр.

Рэй Бредбери. Вино из одуванчиков. Перевод с английского Э. Кабалевской и других. «Мир». М. 1967. 400 стр.

Разбираешь ящики старого комода, фотографии, сувениры — и вдруг перенесешься в прошлое, услышишь его запахи и звуки. И уже «над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли, августы, сколько их было на свете». Старый чердак, где покоятся тысячи вчерашних дней, окажется Машинной Времени — отправляйся в путешествие на сорок лет назад.

В этом рассказе — «Запах сарсапарели» — отчетливо сказался главный секрет крупнейшего мастера американской фантастики Рэя Бредбери — сложный союз реального и волшебного.

«Запах сарсапарели» можно читать как рассказ вполне реалистический, прошлое воскрешается силой воображения, игрой воспоминаний. Но внезапный сдвиг — и реальность обернулась чудом, мечта — реаль-

ностью. Прорыв в небывалое — и человек, распахнув чердак, и впрямь выпрыгнул из стылого зимнего дня в сияющее, давно минувшее лето.

Наука, техника, XX век дали человечеству огромные возможности. И фантастика, лишь ненамного опережая время, ставит такой эксперимент: человечество может заполнить все или почти все, что пожелает; чего же оно хочет? Фантастика, которая поначалу экспериментировала с научными прогнозами, смелыми изобретениями, теперь отбросила заботы о технике. Сегодняшняя фантастика исследует законы и устремления человеческого духа.

Почему в «Марсианских хрониках» Бредбери наделяет жителей Марса даром телепатии? Для Бредбери этот дар словно концентрирует в себе безграничные возмож-

ности человеческого духа. Фантастика пробует силу желания, воли, разума. Прекрасно, когда сбываются желания творческие, созидающие, как в рассказе «Зеленое утро». Но писателю важнее напомнить об опасностях. Чем она может обернуться, эта сила?

Иногда — беспредельным эгоизмом: нет ничего на свете, кроме собственных хотений. В рассказе «Марсианин» изменчивый облик героя повинуется излучению чужой воли. И учуяв беззащитную душу, люди тотчас раздрают ее своими жадными желаниями.

Иногда — смертоносным оружием. Земля с их атомной техникой марсиане побеждают одной лишь силой мысленного внушения. На чужой планете (рассказ «Третья экспедиция») космонавты встречают уютнейший земной городок времен своего детства. Их ждут у очага воскресшие родители, друзья... И отбросив гаданья о кознях пространства, времени и Эйнштейна, экипаж отдается радостям домашнего уюта. А наутро марсиане выносят на кладбище новенькие гробы. Злая мысль убивает. А масштабы могут быть безграничны. Небывалые масштабы и есть оружие фантастики.

Иногда эта сила оказывается прибежищем косности, застоя, когда все мочь и все знать означает ничего не желать (рассказ «Земляне»). Космонавты впервые ступили на новую планету, жаждут привета братьев по разуму. Но марсианину мисгеру Ааа нет дела до контакта цивилизацией. Он поглощен счетами с соседом. Как тот смел пристать к нему каких-то чудаков?

«— По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски...

— Космический корабль. Мы прилетели на ракете. Вон она!..

— Он у меня дождется, я позвоню и отчитаю его, да-да...

— Земля. Ракета. Люди. Полет. Космос.

— Позвоню и всыплю ему как следует!..»

Все небывалое — только кажется, это чужие бредни, умело внушаемые. Вы совершили чудо? Да это галлюцинация безумца! Тут марсианин-телепат смыкается с классическим земным обывателем, чье кредо: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Глухота рутинной — один из главных врагов фантастики Р. Брэдбери. Разрыв между тем, кто «глазом упирается в свое корыто», и величайшими свершениями человечества — непрестанная тревога писателя.

Мы заглядываем в будущее доступное, обозримое, на пять, десять лет вперед. Но разве не хочется иногда отбросить ближние мерки и заглянуть через пропасть: что будет там, через миллион лет? Впереди тысячелетия. Неужто и к ним отнестись с той же обывательской меркой — ничто не ново под луной?

Подлинная фантастика должна будить непредвзятость, свежесть предвидения. Так возникает у Брэдбери ключевой мотив предчувствия. Брэдбери мастерски умеет создать неуловимое, но явственное настроение, пронизывающее обычно не один рассказ, а сквозные циклы. Волна предчувствия незримо нарастает в «Марсианских хрониках». Сначала смутные видения тревожат смуглую золотоглазую марсианку («Илла»). Ей снится человек с другой планеты. А в рассказе «Летняя ночь» уже весь город улавливает напор чужого влияния, напевает неведомые песни на незнакомом языке. Это как разведка, как звук рога в ночи перед битвой — перед встречей двух планет.

Сама фантастика по своей сути и есть предчувствие. Это попытка на пороге третьего тысячелетия заглянуть через горы времени, в самые дальние превращения нашей души — души человечества.

Отсюда еще один сквозной мотив у Брэдбери. Он удивительно ощущает человечество как единый организм с общим пульсом. Этот масштаб необходим фантастике как поэтике дальнего прицела.

Какой инстинкт толкает человечество вперед, даже когда кому-то кажется бессмысленным: зачем подниматься на Эверест, зачем осваивать космос?

Мотив движения, стремления разлит в самом дыхании рассказов Брэдбери. Гимн этому стремлению — рассказ «Земляничное окошко». Зачем люди прилетели на Марс? Ради денег, забавы, «скуки»? Нет! «...на самом деле внутри все время что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаете, что они говорят? Иди дальше... не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, воздвигай новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека... Сеять-то надо, иначе потом жать не придется...»

Брэдбери меряет человечество не сиюминутными масштабами, а неким гигантским векоисчислением. Из той дальней дали про-

шедшие века сольются в одну эпоху «начальной поры». Столетия окажутся шагами одной всечеловеческой великаньей биографии: тот, кто полетит на Луну, говорит Брэдбери, родился за девятьсот лет до новой эры, окончил курс Земли и переведен на Луну в 1970-й. И зовут его Икар Монгольфье Райт.

Но с космических высот Брэдбери не закрывает глаза на сегодняшние беды, раздражающие Землю. Мотив предостережения — один из самых отчетливых у писателя. Бок о бок со всей подлинной передовой гуманистической литературой прогрессивная зарубежная фантастика борется именно с сегодняшним злом, но своими средствами — показывая, к каким роковым последствиям оно может привести в будущем.

Вновь и вновь звучит главная тревога фантастики — тот чудовищный разрыв между авангардом великой армии человечества и ее «тылами», разрыв, о котором с такой болью думают честные писатели современности.

Каких-нибудь двадцать лет назад писались фантастические романы о полетах в космосе, совершаемых в далеком будущем сынами прекрасного и мудрого человечества. А сегодня? Полеты становятся реальностью. Лучшие умы человечества уже догнали своих идеальных прототипов. А мы сами? Ощущаем ли мы себя уже сегодня тем самым сияющим грядущим человечеством? Разве наш космический век не соседствует порой с каменным веком отсталой психологии?

Фантастика как бы устранивает человечеству великую проверку — достигло ли оно подлинной духовной зрелости? Что может принести оно на иные планеты?

И тут Брэдбери беспощаден. Он предъясляет суровый счет сегодняшней цивилизации. Он умеет «очи обратить ей прямо в душу». Ее страшные язвы, которые обычная литература улавливает в суете будней, становятся еще грознее в увеличительном зеркале будущего.

Это мир рассказа «Убийца» — назойливая орава машин одолевает человека. Кровати декламируют стихи, плита подает советы, радиобраслеты въедаются в мозг, телевизор, словно Медуза, каждый вечер обращает в камень миллионы людей.

Это военизированный мир 2155 года в рассказе «Кошки-мышки» — мир, где «жгут наши книги, обыскивают мысли, держат

нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом...».

Это мир комфорта и стандарта, где вымерло все живое («Пешеход»). Безлюдные улицы — русла пересохших рек, темные вечерние дома — точно кладбище. Единственный человек, который просто гуляет, «одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Он подозрительен — и полицейская машина отправляет его в Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей!

Мрачный мир. Но разве истоки его не заложены в сегодняшнем дне рядового американца, которого дружно одурманивает телевидение, реклама, голливудские боевики?..

Духовный кризис современного буржуазного общества, конформизм, наступление на культуру, стандартизация чувств и мыслей, разъединение людей, разрушение живых человеческих связей — все наболевшие заботы серьезной современной литературы тревожат и лучших представителей мировой фантастики.

Страстный протест против язв отживающего строя — роман-предостережение «451° по Фаренгейту». Брэдбери рисует военно-полицейское общество, где малейшее отступление от предписанных чувств жестоко карается. Люди разучились разговаривать и думать, радоваться: небу, цветку одуванчика, капле дождя. Человек — лишь безгласный придаток к неугомонным телевизионным стенам своей комнаты. Но за внешним благополучием вдруг прорвется тоска и отчаяние. Привычно мчатся в ночь десятки санитарных машин — возвращать к жизни опустошенных, усталых людей. Привычно мчатся по доносам пожарные машины: еще один безумец осмелился хранить страшную крамолу — книги. Огнеметы сжигают хрупкие страницы, хранящие древнюю мудрость и разногосые чувств; порой сжигают заодно и дом и хозяина. Эти картины из повести Брэдбери стали грозным символом вырождения цивилизации.

И еще одно предостережение — призыв войны, который маячит перед цивилизацией, если мир не опомнится. Марсианин Эттил («Бетономешалка») не хочет идти воевать — и оказывается изгоем. Выбора нет: «Иди воевать, или тебя сожгут!»

Но не менее страшна и другая война. Земляне побеждают родину Эттила «невинным» оружием — тут и машинки для коктей-

ля, и жевательная резинка, ром и комиксы... На Марс нагрянут юристы, зашелкают затворы фотоаппаратов. В сердце Древнего города закружатся неоновые огни реклам. Это и будет конец Марса.

Герой рассказа «И по-прежнему лучами серебрят простор луна...» уже видит, как осквернят Марс банки из-под консервов и банановая кожура, пьяные песни и сальные анекдоты. «У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте, среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции... Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить?»

Слишком мрачно? Но пока возможно и такое, передовая фантастика снова и снова требует от человека: оглянись на себя, ты в ответе за все, что делается на твоей планете и что будет сделано с другими планетами.

Экзамен человечеству начинается с малого — с ответственности каждого за каждый поступок, каждую мысль, каждое желание. В увеличительном зеркале фантастики с ее неограниченными масштабами причин и следствий легко проследить, что вырастает из самых малых ростков зла. Не зря Брэдбери так часто обращается к началу созревания души — к детству.

Как рождается жестокость? Вот рассказ «Урочный час». Родители безразличны к тому, что занимает малышей, — и оказываются им только постоянной помехой. «Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Может быть, ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть — большим, непонятливым и непреклонным?» И дети оказываются той пятой колонной, которая предаст человечество. Прелестная маленькая Мышка весело ведет пришельцев из враждебного мира на чердак, где спрятались, почуяв наконец недоброе, ее отец и мать. Это самое страшное возмездие человечеству.

Небрежение к растущим душам оборачивается трагедией. Брэдбери исследует все истоки ее. Как отзовется в душе ребенка даже не явная жестокость, а ленивое равнодушие? Просто от досады, усталости вырвалось у героя «Каникул» минутное желание — чтобы люди с их вечным шумом, суетой и толчеей провалились куда-нибудь,

исчезли. «Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!» И — на то и фантастика! — желание сбылось. Они остались втроем на Земле: отец, мать и сын. Невольные убийцы человечества. И оказывается, без суетного и несправедливого рода людского нет житья ни одной душе. Приходится герою страстно пожелать, чтобы все вернулось — «вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь».

С ним переключается Холлис («Калейдоскоп»). Никогда никому он ничего хорошего не желал. А теперь ракета взорвалась, и каждый из экипажа обречен одиноко лететь в своем скафандре, пока не умрет. И в эти последние минуты в пустынном холоде космоса отчаянно хочется «исккупить эту ужасную, пустую жизнь... хоть одним добрым делом возместить свою подлость... Но теперь никого рядом нет, я один, а что можно сделать хорошего, когда ты совсем один?». Самое важное для Брэдбери — чтобы человек это понял. И в награду он и в такую безнадежную минуту дарит герою немыслимый случай принести кому-то радость. Холлис сгорает, врезаясь в атмосферу Земли, и оказывается «счастливой звездой»: маленький мальчик загадывает желание.

«— Если попросить — исполнится? Если загадать — сбудется?»

— Иногда сбывается... даже чересчур».

Это разговор мальчика из «Каникул» с родителями. Все то же неотступный мотив творчества Брэдбери — ответственность за то, чего хочет человек.

Мера ответственности не только в том, как одиноко их невольные каникулы, а в том, что отцу «тоже не с кем играть». Самое страшное — упрек бумерангом возвращается в детях. Родители боятся взглянуть сыну в глаза — какое желание загадывает он? Воскресить человечество? Или убить и мать с отцом — остаться одному на просторе? Сила требовательности писателя в том, что он не дает ответа. Не отнимает надежду, но и не дает успокоиться.

Брэдбери воюет с жестокостью не только когда она уже глобальна, смертоносна, но в самом зародыше. Вот рассказ «Все лето в один день». Дети в злой забаве заперли в чулане одну девочку и на несколько часов забыли о ней. Только и всего! Но в эти часы на Венере прошло все лето. И снова

впереди семь лет — дожди, дожди... Из-за злой шутки ребят Марго так и не увидела солнца. И когда с первыми струями ливня дети возвращаются под своды и из чулана не слышно ни звука, ни движения, у нас вместе с ними падает сердце.

Да, и дети могут оказаться палачами. Дети. Сколько рассказов Брэдбери посвящено им! Во всей большой литературе последнее слово надежды, вечная эстафета — дети. Но сколько раз были обмануты эти надежды. В детях есть чистота — залог лучшего будущего. Но сколько надо положить сил, чтобы эта чистота не была затоптана, втянута взрослыми в привычный конвейер мелких уступок, соглашений, применений к подлости.

Ответственность за детей в чем-то формирует взрослых. Что в рассказе «Берег на закате» помешало двум взрослым превратить найденное чудо в предмет наживы? Совесть — и присутствие двух мальчишек, для которых это могло стать роковым уроком на всю жизнь.

Благотворно прикосновение детства и велика отдача — но только если прежде в эти души многое вложено. Человек идет на долгий изобретательный труд, чтобы подарить детям чудо («Ракета»). Другой на последние сбережения выписывает с Земли на Марс уголок прежнего уюта — старую веранду с качалкой, фортепьяно, дверь с цветными стеклышками, заливающими мир то лимонной волной, то теплыми румянцем зари. Это нужно, чтобы обогреть душу на чужбине. Нужно и ради жены, тоскующей на пустынном Марсе, и ради будущего — ради сыновей («Земляничное окошко»).

Недаром так естественна у Брэдбери словно бы вовсе не фантастическая повесть «Вино из одуванчиков». Здесь сплетаются самые заветные мысли писателя, самые любимые его мотивы. Здесь найдено то слияние человека и мира, которое необходимо, чтобы в будущем человек не принес во вселенную зла.

Эту повесть пронизывает дыхание природы, предрасветная безмятежность, первое утро лета — первое потому, что сейчас его постигает проснувшаяся душа. Это лето стало для двенадцатилетнего Дугласа летом открытий. Тысяча нитей протянулась между мальчиком и миром. Потому Дуглас так чуток ко всему.

Мотив предчувствия пронизывает воздух повести. Ибо детство — это предчувствие.

Каждая мелочь может оказаться предвестием небывалого. «В то утро... Дуг наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба... И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все». Это чутье живет в тех, кто слит с природой. Так у Сент-Экзюпери в «Земле людей» герой по крылышкам стрекозы угадал — надвигается грозная песчаная буря. И человек горд тем, что ему внятн немой язык природы.

И для Дуга природа не мертва. «Бывают дни, сотканые из одних запахов... А в другие дни... можно услышать каждый гром и каждый шорох вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ощупь». Лес, трава — все для него живое. Он изумленно впитывает все — и чувствует: «точно огромный зрачок исполнинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир».

Открывая мир, Дуг открывает и себя: «Я ЖИВОЙ!» Когда-то и это постигаешь впервые. «Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага. Тело жадно дышало миллионами пор. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди».

Открытия бывают прекрасные — и ошеломляющие. Что такое расстаться с другом. И как страшно — забыть. Друг еще рядом, а оказывается — ты не знаешь, какого цвета у него глаза... И что такое одиночество. И как хрупка жизнь. Впервые умирает знакомый человек — и с ним умирает половина земного шара. Умер полковник Фрилей — и с ним словно еще раз кончилась Гражданская война, все, что он воскресал для Дуга и его друзей. Это трагическое открытие чуть не подкосило мир мальчишек. Но Брэдбери и его разрешает мудро и празднично. Просто надо стараться все успеть на своем веку. Отведать каждое блюдо, станцевать каждый танец. А потом за тебя продолжат частицы тебя. Дети и внуки побегут по дорогам, будут грызть яблоки и крыть крышу, плизать и работать в саду. Вечно движение жизни, и вечны ее простые радости.

Бесконечно поэтичны у Брэдбери обыденные обряды этой наполовину сельской жизни. Стрекошет косилка на лугу, вселяя веру в покой и порядок. Мягко сжимает пресс душистую охапку одуванчиков, готова для

зимы солнечный настой лета. Выпалывать сорняки, выбивать ковры — все это радостные летние обряды. И прабабушка завещает Дугу: «Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия». Ведь с крыши виден весь город, и поля, и река, и тебя овеивает самый лучший весенний ветер...

Один из героев повести пытался сделать Машину счастья. Играет музыка, и ты переносишься в Париж или смотришь на закат — выбирай, что любишь. Но... «кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день». Не нужно синтезировать счастье. Оно есть в обычной жизни, и только вместе с ее заботами и хлопотами его и ценишь.

Так мальчишки познают две самые главные для писателя вещи на свете — как живет человек и как живет природа.

Дугласу и его друзьям повезло, мир вокруг них населен такими людьми, которые умеют слушать голоса жизни. Людьми, которым все по душе — «как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох и как звенят под дождем электрические провода»; кому не приелось бессонными ночами раздумывать, «как работает гигантский часовой механизм вселенной». Людьми, умеющими бескорыстно доставлять другим радость. В городишке снимают старый трамвай. И вожатый на прощанье устроил ребятам пикник. Вывез всех за город, устроил пикник на озере, рассказывал, каким был город много лет назад. И еще много лет спустя, когда и следа от трамвая не останется, мальчишки нет-нет да услышат далекий звон, увидят потаенные серебристые рельсы.

И потому, что так щедры люди к молодой поросли, они получают благодарные плоды. Уже начинается отдача. Пусть пока в малом. Сиделки запрещают приходить к Фрилею — он очень плох. Но мальчишки уже понимают: «ему одному невтерпех. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем, да и бросим его?»

Возникает цепная реакция добра. Мистер Джонас спас Дуга. Как отблагодарить? «Ничем, ну ничем за это не отплатишь... Как же быть? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу?.. найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее». И Дуг уже умеет находить такие случаи сделать добро.

Но при чем тут фантастика? Добро, становление души, отношения между людьми... Разве не тем же озабочены все настоящие писатели? И написано все это зримо и полнокровно, как у самого доподлинного реалиста.

Но что такое, в сущности, фантастика? Что отличает ее от прочей литературы?

Лучшие мастера современной фантастики — и среди них Брэдбери — меньше всего стремятся создать сказку позатейливее об экзотике иных миров, изобрести неслыханных чудовищ и инопланетян да технику позамысловатей. Конечно, Брэдбери может бросить несколько красочных деталей: марсианка жарит мясо в кипящей лаве, оружие стреляет золотыми пчелами... Но все это для писателя второстепенно. Он не строит законченную фантастическую вселенную со своей флорой и фауной, как пытались делать на заре фантастики. Он строит внутренний мир. Причем вполне реальный. И вдруг смелым рывком преобразует его.

С точки зрения строго фантастической у Брэдбери бывают и промахи и нелогичности. В стройном цикле «Марсианских хроник», так достоверно размеченных по годам, марсиане сначала злые, коварные, потом — мудрые, добрые. Для фантаста — ошибка. Для психолога и человека — единственно верно. Он мог быть на стороне первых отважных космонавтов, достигших Марса, и потому против враждебных сил, которые их губят. Но когда племя, или народ, или планету целиком истребляют — он не может не стать на их сторону.

Брэдбери прежде всего гуманист. Но к тому же наделенный еще одним чувством, столь же острым, как у другого писателя зрение или слух. Это — чувство времени, почти материальное ощущение его — на ощупь, на цвет, на вкус. Чувство, позволяющее вырваться далеко из рамок привычного.

В этом и есть смысл подлинной фантастики. Не скованная мелкими, сиюминутными частностями, фантастика берет главные, порою еще скрытые заботы сегодняшнего дня, преломляя их в увеличительном зеркале будущего. Она видит события в гигантской перспективе. Но суть ее та же, что у всей большой литературы, — человек.

Потому и «Вино из одуванчиков» для Брэдбери — не случайное отклонение в сторону от фантастики, а самая сердцевина его творчества. То, ради чего все осталь-

ное — самые фантастичные вымыслы, и социальные предостережения, и сатира.

Брэдбери дает очень важный ответ на вопрос «как жить сегодня?». Этот ответ — в заботе прежде всего о человеке, а не о машинном комфорте. В борьбе с жестокостью и равнодушием. В ответственности каждого человека за свои мысли и поступки, за всю планету. В страстной проповеди активного гуманизма: самое прекрасное — делать добро людям. Разве это не те святые ценности, которые всегда отстаивала большая литература?

Даже мрачные рассказы Брэдбери не повергают читателя в беспросветное уныние. В них чувствуется противостояние злу, вера в человека. А сейчас, когда распад нравственности, крушение личности в мире «массовой культуры» и «массовых преступлений» нередко захлестывает лучшие умы Запада и Америки волной отчаяния и безверия, так необходимы людям душевное здоровье, внутренняя гармоничность, нерушимая нравственная основа. Брэдбери — один из самых светлых писателей в современной мировой литературе.

Именно этим Брэдбери близок нам. В нашей стране его книги любят и издают щедро. Но — множество рассказов рассеяно в периодике, в сильном сокращении и часто в посредственном переводе. Но — книги его пропадают для целой группы читателей из-за «клейма» фантастики, которую многие еще по инерции не признают. Но — не всегда его книги доходят до очень важного для Брэдбери читателя — подростка. Рассказы, обращенные к этому читателю, иногда что-то теряют, окруженные рассказами более взрослыми, порой сложными, порой мрачными. Стоило бы собрать в один сборник «юношеские» рассказы и повесть «Вино из одуванчиков», и мы увидим знакомого писателя с новой, неожиданной стороны. Это был бы добрый вклад в воспитание души и сердца завтрашнего человечества.

И очень полезно было бы издать «избранного» Брэдбери. Это будет подарок не только любителям фантастики. Это покажет в полный рост большого современного писателя.

Э. КУЗЬМИНА.



Политика и наука

БОРЕЦ РЕВОЛЮЦИИ, СТРОИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

По страницам изданий, выпущенных к столетию Н. К. Крупской.

Среди книг, вышедших к столетию со дня рождения Н. К. Крупской, особое место занимает библиографический указатель ее работ и литературы о ее жизни и деятельности¹. Это большой, серьезный труд, подготовленный сотрудниками Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Научной библиотеки по народному образованию имени К. Д. Ушинского и Института культуры имени Н. К. Крупской (Ленинград).

Указатель составлен четко и продуманно: учтены в хронологической последовательности все труды Н. К. Крупской, каждая статья, опубликованный доклад, речь, письмо, причем показано первое и последующие издания трудов, зачастую — с краткой аннотацией. Перечень работ до-

полнен предметно-тематическим указателем.

Чтобы представить размах и тщательность этой сложной работы, достаточно привести только три цифры: библиографы просмотрели 400 комплектов газет и журналов от восьмидесятых годов XIX века до сегодняшнего дня. Это не считая книг, сборников, брошюр. В результате удалось выявить и учесть 3940 опубликованных ею произведений (в их числе 1100 писем).

Мы «идем по указателю». Вот первая книга Н. К. Крупской. Это была брошюра «Женщина-работница», изданная «Искрой» за границей без указания автора. В 1905 году книгу перенесли в Петербурге под псевдонимом «Саблина». И сразу она попала в разряд запрещенных. В архиве сохранились документы о возбуждении судебного преследования против автора брошюры и «лиц, виновных в напечатании».

¹ Надежда Константиновна Крупская. Библиография трудов и литературы о жизни и деятельности. М. 1969.

Но когда петербургская судебная палата утвердила решение об аресте автора, Надежда Константиновна была уже вне досягаемости для царских властей... В ноябре 1914 года было постановлено «уничтожить брошюру», и, как свидетельствуют документы, 2 апреля 1915 года книга была уничтожена «посредством разрывания на мелкие части»¹.

С девятидесяти годов прошлого века, в годы ссылки и эмиграции, Н. К. Крупская разрабатывает проблемы народного образования, женского и молодежного движения. Учтено более тридцати работ по этим вопросам, опубликованных ею еще до Октября. С 1917 года и вплоть до своей смерти в 1939 году Надежда Константиновна — в гуще масс. «Просветительная и воспитательная работа т. Крупской,— писала Клара Цеткин,— является ценнейшей частью культурной революции...».

Библиографический указатель отражает динамику публикации работ Н. К. Крупской. После смерти Ильича: 143 публикации — в 1924-м, 144 — в 1925 году. Кажется, что она напрягла все свои силы, чтобы перелить тоску свою и боль в работу по осуществлению ленинских заветов. Надежда Константиновна взяла на себя благородный труд — оставить людям правдивый образ Ильича, написать воспоминания о Ленине, и это стало делом ее жизни. Воспоминания Н. К. Крупской — подлинный памятник Ильичу. Здесь все точно, достоверно и сердечно просто. В наши дни и грядущим поколениям они служат и будут служить верным источником для изучения жизни и деятельности В. И. Ленина.

Воспоминания доведены до 1919 года, Надежде Константиновне не пришлось их завершить. Но представляется, что каждое ее выступление в какой-то мере выполняет ту же задачу. Ведь о чем бы ни говорила, что бы ни писала Н. К. Крупская, она всегда «советовалась с Лениным». Ленинскими мыслями пронизана каждая ее работа. Неоценимое значение имеют и замечания Надежды Константиновны по поводу воспоминаний, книг, статей, произведений литературы и искусства о В. И. Ленине, замечания, которые и сегодня, в дни ле-

нинского юбилея, должны быть у нас «на вооружении».

Так перед нами вырисовывается образ Н. К. Крупской как первого и лучшего биографа Ленина. В систематизации всех этих работ — большая практическая ценность указателя.

Значение воспоминаний Н. К. Крупской ныне признано всеми. Однако в течение более чем двадцати лет они не переиздавались и стали одно время библиографической редкостью. В плане научного источниковедения интересна работа В. Голубцова, содержащая сравнительный анализ различных изданий этих воспоминаний¹.

Большую научную ценность представляют воспоминания о самой Надежде Константиновне. В библиографическом указателе они не выделены в отдельную рубрику. Но, изучая литературу о деятельности Надежды Константиновны, видишь: почти все написанное о ней — это именно воспоминания современников, друзей, соратников. Первый сборник воспоминаний в виде отдельной книги появился лишь в 1966 году. К столетию была издана новая книга воспоминаний о Н. К. Крупской «Рядом с Лениным». Впервые опубликованные воспоминания чередуются здесь с уже известными. Скупое, но проникновенно рассказывают Г. М. Кржижановский, В. А. Шелгунов о знакомстве и дружбе В. И. Ленина и Н. К. Крупской, об их совместной жизни и борьбе. Через все воспоминания проходит главная мысль — огромна роль Н. К. Крупской в жизни и работе В. И. Ленина. Секретарь большевистских газет «Искра», «Вперед», «Пролетарий», она вместе с Владимиром Ильичем готовила II съезд партии, участвовала в выработке партийной программы. Вся переписка редакции «Искры» проходила через Надежду Константиновну. М. Н. Покровский писал, что она была «в этом деле не секретарем Владимира Ильича, а его форменным «замом»².

«Ее соединяла с Лениным самая искренняя общность взглядов на цель и смысл

¹ В. С. Голубцов. К вопросу о научных принципах переиздания мемуарной литературы, в кн. «Источниковедение истории советского общества». М. 1968, вып. II.

² «Рядом с Лениным. Воспоминания о Н. К. Крупской». К столетию со дня рождения. Редколлегия: Ф. Н. Петров (главный редактор), А. Г. Кравченко, Р. А. Лапров, Н. В. Рубан. М. 1969, стр. 22.

¹ См. публикацию В. Н. Фойницкого «Запрещенная книга Н. К. Крупской» в сб. «Культурно-просветительная деятельность Н. К. Крупской». Л. 1969, стр. 152.

жизни,— писала Клара Цеткин.— Она была правой рукой Ленина, его главный и лучший секретарь, его убежденнейший идейный товарищ, самая сведущая истолковательница его воззрений, одинаково неутомимая как в том, чтобы умно и тактично вербовать друзей и приверженцев, так и в том, чтобы пропагандировать его идеи в рабочей среде. Наряду с этим она имела свою особую сферу деятельности, которой она отдавалась всей душой,— дело народного образования и воспитания»¹.

Тепло рассказывают о Н. К. Крупской представители старой большевистской гвардии — Е. Д. Стасова, М. Н. Покровский, З. П. Невзорова-Кржижановская, П. Ф. Куделли, С. И. Гопнер, Г. И. Петровский.

О маленькой квартирке «Ильичей», о трудном и скромном быте, согретом приветливостью и удивительной душевностью, говорят многие воспоминания. Впечатляет свидетельство Г. И. Петровского. «Прощаясь с Надеждой Константиновной,— пишет он,— я обратил внимание на то, что она старается прятать свои руки. Внимательно присмотревшись, увидел, что руки у нее потрескались и потемнели от кухонной работы для нас, участников совещания (речь идет о Краковском совещании большевиков в 1913 году.— Л. З.). Милые, хлопотливые руки, им много пришлось поработать и пером, записывая речи делегатов на заседаниях, и на кухне, обеспечивая нам вкусный и дешевый обед, и убирая квартиру!»².

О Н. К. Крупской рассказывают и участники Великого Октября, ярко показавшие деятельность Н. К. Крупской в дни революции. Свежи и интересны воспоминания М. Л. Сулимовой, С. И. Шульги, М. В. Фофановой о работе Надежды Константиновны в Выборгской районной управе, о ее связях с последним подпольем Ильича.

Особо ценны новые, ранее не опубликованные воспоминания, которые составляют половину книги. В каждом из них есть свое, неповторимое, ухвачена какая-то новая черта характера, подмечены свои детали. С. В. Евгенов повествует об особом внимании и заботе Н. К. Крупской к рабочим. М. И. Бурдина приводит подробности эпопей ликбеза, цитирует малоизвест-

ную статью Надежды Константиновны «Об Ильиче», специально написанную для журнала «Горнорабочий». А. И. Мильчаков рассказывает о том, как Н. К. Крупская заботилась о комсомоле, а один из первых руководителей пионерии А. А. Северьянова — о том, как она пестовала пионерскую организацию.

Интересны воспоминания М. Шагинян, где приводятся письма и записки Надежды Константиновны с критическими замечаниями не только по отдельным биографическим фактам и деталям, использованным писательницей при создании образа В. И. Ленина, но и более общего характера. «Признаться сказать, я очень против романов, повестей, сценариев из жизни Ильича,— писала Н. К. Крупская.— Как ни старается писатель, у него обычно получается не образ Ильича, живого Ильича, а образ какого-то другого человека, а главное, искажается и эпоха. Я обычно ворчу ужасно. Обычно получается затемнение личности Ильича...»¹.

Работавшие вместе с Надеждой Константиновной единодушно отмечают, что общаться с нею было легко и радостно. В. Лебедев-Полянский, даря ей свою книгу, надписал: «Н. К. Крупской на память о первых годах строительства Наркомпроса, полных величайшего энтузиазма и уюта, полных чистой радости и товарищеского единения». И эта надпись точно передавала атмосферу в Наркомпросе, душой которого была Надежда Константиновна. В. С. Дридзо, бесменный секретарь Н. К. Крупской в течение двадцати лет, рассказывает о системе ее работы, о требовательности к себе и другим. «Больше всего не любила Надежда Константиновна людей равнодушных, быстро отказывавшихся от своего мнения, если оно расходилось с мнением начальства, а в большинстве случаев просто не имеющих своего мнения»²,— пишет она.

В книге «Рядом с Лениным» опубликованы дневники сотрудницы Наркомпроса А. И. Радченко, близко знавшей Надежду Константиновну и в течение долгих лет ведшей свои записи. Приходится сожалеть, что в основу этой публикации взяты отрывки из «Недели», подготовленные со значительными купюрами, а не архивный первоисточник. Можно пожалеть и о некоторых неточностях, встречающихся в этой в общем

¹ Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине. М. 1935. стр. 11.

² «Рядом с Лениным», стр. 84.

¹ «Рядом с Лениным», стр. 345.

² Там же, стр. 172.

тщательно и даже красиво изданной книге,— их необходимо устранить при переиздании.

В библиографическом указателе есть специальный раздел «Литература о жизни и деятельности Н. К. Крупской». Кроме небольшого биографического очерка Л. Сталь, вышедшего в конце двадцатых годов и изрядно сокращенного в тридцатых, кроме юбилейных речей и статей, приуроченных к шестидесяти- и шестидесятипятилетию, мы не находим обобщенного биографического материала о Н. К. Крупской при ее жизни. Только после смерти, особенно со второй половины пятидесятых годов, начинается широкая разработка истории ее жизненного пути. Однако по преимуществу это еще исследование, посвященные отдельным аспектам жизни Надежды Константиновны, главным образом ее работе в области народного просвещения или отдельным периодам, в узких хронологических рамках.

К столетию Надежды Константиновны вышло несколько общих биографических работ: интересная популярная книга Л. Кунецкой и К. Маштаковой «Страницы прекрасной жизни», хорошая монография С. Беляевского «Н. К. Крупская в сибирской ссылке», изданная в Красноярске и основанная на широком привлечении архивных материалов, воспоминаний, писем. Истинную благодарность испытываешь при чтении третьего издания книги Веры Дридзо «Надежда Константиновна».

Книга обращена к детям, и сам ее тон — доверительный, бесхитростно простой и серьезный — удивительно гармонирует с образом Н. К. Крупской. Трудно охарактеризовать жанр книги — это и воспоминания очень близкого человека, и труд историка-исследователя, основанный на множестве новых подлинных документов (например, страницы о работе Н. К. Крупской среди военнопленных в годы первой мировой войны). Очень хорошо, что выделены специальные главки о друзьях Надежды Константиновны: Кларе Цеткин, Инессе Арманд, Л. Книпович, З. Кржижановской. Автору удалось избежать сюсюканья и слащавости, столь ненавистных Надежде Константиновне, рассказать о ней с глубоким уважением, но без дидактики, без поучений.

Труды Надежды Константиновны посвящены главным образом развитию педагогики. А. В. Луначарский вспоминал, как в пер-

вые дни создания Советского правительства Владимир Ильич посоветовал ему обратиться к Надежде Константиновне, которая много думала по вопросам народного образования. М. Н. Покровский справедливо называл Н. К. Крупскую первым в нашей партии «спецом» по педагогическим вопросам. Ушло в прошлое время, когда замалчивалось педагогическое наследие Надежды Константиновны, когда исследователи должны были вскрывать какие-то несуществующие «ошибки» Н. К. Крупской. За последние годы издано собрание ее педагогических сочинений (в одиннадцати томах), уже готовится его новос, еще более полное издание. К столетию выпущен ряд исследований педагогического наследия Надежды Константиновны. Здесь прежде всего следует назвать серьезную монографию Е. И. Рудневой¹. Автор показывает, что Н. К. Крупская — выдающийся ученый-марксист, что она на деле «пропитала» вопросы педагогики марксизмом-ленинизмом. Красной нитью проходит через все труды Н. К. Крупской по педагогике мысль, выраженная в ее письме к А. М. Горькому о том, что люди должны расти «умом и сердцем», что в социалистическом коллективе «я» и «мы» будут сливаться в неразрывное целое. При этом: «ориентироваться на индивидуальность... вовсе не значит воспитывать... индивидуализм»².

Е. И. Руднева не только излагает взгляды Н. К. Крупской, но и показывает лабораторию ее научного исследования. В двадцати шести тетрадях Надежды Константиновны, хранящихся в Центральном партийном архиве, содержится богатейший материал по истории, теории педагогики, психологии, технике, экономике на французском, немецком, английском и итальянском языках.

В дни столетнего юбилея Н. К. Крупской в ряде педагогических вузов нашей страны проходили научные конференции, труды которых, изданные в Горьком, Йошкар-Оле, Томске и других городах, показывают, как серьезно и всесторонне исследует современная советская педагогическая мысль ее многогранное наследие в этой области. Среди материалов этих сборников есть доклады о работах Н. К. Крупской по проблемам эсте-

¹ Е. И. Руднева. Педагогическая система Н. К. Крупской. М. 1968.

² Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 11, стр. 451; т. 9, стр. 186.

тического и атеистического воспитания, заочного обучения и самообразования, психологии ребенка, пионерского движения, методики преподавания отдельных предметов, в том числе литературы, истории, географии, математики, естествознания и т. д.

Более всего важна разработка Н. К. Крупской животрепещущего вопроса советской педагогики — формирования коммунистического мировоззрения, патриотизма и интернационализма, — проблемы, которой она занималась всю свою большую жизнь.

Оригинальна вышедшая в прошлом году книга казанского ученого З. С. Ахмерова «Н. К. Крупская и народное образование в многонациональном Среднем Поволжье», где на ярких фактах из архивных документов, местной печати и воспоминаний показывается повседневное внимание Надежды Константиновны к формированию национальной интеллигенции, к воспитанию интернационализма и братской дружбы советских народов.

Хочется отметить еще один вид работ, характерных для юбилейных изданий о Н. К. Крупской. Это популярные книги для массового читателя. Надежда Константиновна сделала очень много для создания популярной научной литературы, массовых изданий, лишенных пошлого «популярничанья». И массовые книжки, посвященные ей самой как теоретику и организатору советской педагогики, как бы продолжают эту традицию. Издательство «Знание» привлекло крупных специалистов-просветителей, соратников Н. К. Крупской, и они написали небольшие, но содержательные брошюры. Таковы книги Ф. С. Озерской и Н. И. Стриевской, Е. Я. Голанта и Т. С. Колосова, П. В. Горпостаева. Н. К. Гончарова, В. А. Каспиной. Интересна, в частности, книга В. А. Каспиной об идеях Н. К. Крупской по воспитанию детей в семье. Ведь в первые годы революции нередко говорилось о необходимости полной замены семейного воспитания общественным. Трезвая оценка подобных теорий и взглядов в трудах Надежды Константиновны, ее определение роли и значения семьи — все это весьма актуально и полезно для тех, кому адресована книга — для сегодняшних родителей.

Эту серию книг завершает коллективная монография «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской». Ее авторы

дают нам многогранный портрет Надежды Константиновны, в которой «целостно сочетались педагог, теоретик, организатор, политический деятель»¹. В книге весьма обстоятельно анализируются дооктябрьские педагогические труды Н. К. Крупской, ее участие в создании новой системы социалистического просвещения, формы и методы руководства народным образованием. Подробно разбираются интересовавшие Н. К. Крупскую проблемы педагогической теории, как общие, так и специальные: дошкольное воспитание, политехническое образование и трудовое обучение, принципы, содержание и формы воспитательной работы и т. д. Показана роль Н. К. Крупской в коммунистическом движении молодежи и детей — комсомола и пионеров. Книга открывается кратким очерком жизненного пути Н. К. Крупской и завершается разделом, посвященным ей как педагогу-исследователю. Эта компактная книга — хорошее обобщение ее трудов и полезное пособие, отражающее современный уровень научно-педагогической мысли. Жаль только, что в ней почти не раскрыт вклад Н. К. Крупской в создание школ и внешкольных учреждений многочисленных народов нашей страны. А ведь в ее сочинениях, не говоря уже об архивах, хранится много ярких документов по этим вопросам. Менее подробно, чем хотелось бы, рассматриваются в книге тридцатые годы.

Надежда Константиновна всегда относилась к читателю, слушателю, ученику с уважением и доверием. Она не терпела нажима, давления, считая, что такие меры могут только отвлечь от учения, от книги. И здесь — нечто большее, чем просто один из принципов педагогики. Здесь принцип гуманизма — основа коммунистического отношения к личности и ее правам. Во время Всероссийского совещания работников детских библиотек (1933) она с возмущением пишет А. М. Горькому, что «вместо руководства чтением организуется свирепая опека над чтением»². «Предполагают, что читатель круглый дурак, а понимает книгу один только библиотекарь, — замечала она в своем

¹ «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской». Под редакцией Н. К. Гончарова (главный редактор), М. А. Данилова, В. П. Есипова, А. И. Пискунова, П. В. Руднева, М. Н. Скатиной, Н. И. Стриевской. Составитель П. В. Руднев. М. 1969, стр. 6.

² Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 11, стр. 489.

выступления на III пленуме Совета культурного строительства при ВЦИК.— И если человек, интересующий историей, хочет прочесть что-нибудь о фараонах, то библиотекарь часто решает, что этому читателю нужно прочесть о сельском хозяйстве, а о фараонах читать не нужно. Вот эта опека доводит до белого каления, она отучает от книги»¹.

В том же плане интересна статья Н. К. Крупской «Неосновательные опасения», опубликованная в «Правде» 6 февраля 1919 года и, кстати, с тех пор не переиздававшаяся. После того, как литературно-издательский отдел Наркомпроса осуществил в 1918 году выпуск по старым матрицам изданий русских классиков, в «Правде» и «Известиях» стали раздаваться голоса о ничемности этой «затеи». Л. Сосновский, например, заявил, что «можно обойтись и без Жуковского», Я. Петерс призывал пойти еще дальше и не издавать ничего, кроме агитационной литературы и популярных брошюр. Отповедь Н. К. Крупской этим «левакам» была прямо-таки блестящей. «Комиссариат обвиняют чуть ли не в распространении царизма,— писала она.— Видите ли, в полном собрании сочинений Жуковского имеется гимн «Боже, царя храни». Что будет, если сочинения Жуковского попадутся в руки рабочего?! Прочитает он «Боже, царя храни» и моментально обратится во врага Советской власти. Так, что ли? Бояться, что рабочему попадет в руки гимн «Боже, царя храни», значит считать его за какого-то дурака... Бояться политического влияния Жуковского смешно. Никогда он этого политического влияния не имел, а уж теперь, сто лет спустя, и подавно иметь не может. Обвинять же Жуковского, что он был монархист в век, когда все были монархистами, никто не станет, и рабочих охранять от влияния Жуковского совершенно излишне».

Наша революция породила совершенно новые, невиданные ранее очаги культуры, учреждения, формы, методы. И у их истоков стояла Н. К. Крупская. Действительно, нельзя говорить ни о внешкольном отделе Наркомпроса, ни об избе-читальне, ни о ликбезе, ни о специальном органе — Главполитпросвете, не вспомнив о ней. Книга М. С. Андреевой «Н. К. Крупская и куль-

турно-просветительная работа в деревне» всем своим содержанием перекликается с сегодняшними проблемами развития культуры на селе. Клуб и изба-читальня, самообразование и атеистическая пропаганда, борьба за коммунистическую мораль — высказывания Надежды Константиновны на все эти темы свежи и сегодня. Стбило бы дополнить книгу анализом многочисленных рецензий Н. К. Крупской на различные кинофильмы — роль кино в культурном строительстве она оценивала очень высоко.

Вот книга с суховатым, непримечательным названием «Культурно-просветительная деятельность Н. К. Крупской». Однако это одно из самых полезных юбилейных изданий. В нем собраны статьи и воспоминания работников Ленинградского института культуры имени Н. К. Крупской. института, созданного при ее участии еще в двадцатые годы как одно из первых учебных заведений для подготовки кадров политпросветработников. Воспоминания принадлежат перу тех, кому выпало счастье работать вместе с Надеждой Константиновной (Г. Я. Голант, Е. А. Горш, М. М. Свещинская, Б. В. Банк, Н. Н. Житомирова, П. И. Усанов). Каждый из авторов прибавляет к ее портрету какие-то новые подробности, любопытные штрихи¹.

Помимо воспоминаний, сборник содержит научные статьи и сообщения о вкладе Н. К. Крупской в разработку принципов и организации культурно-просветительной работы. Надежда Константиновна живо интересовалась тем, что теперь принято называть «наукой управления», и написала интересную статью «Система Тейлора и организация работы советских учреждений». Примечательно, что она была опубликована рядом с ленинской статьей «О продналоге» в первом номере журнала «Красная новь» в июне 1921 года. Ленинская постановка вопроса о преодолении буржуазии с помощью нэпа, о борьбе с бюрократизмом, об умении трудиться нашла горячий отклик в этой статье.

«Странное дело,— пишет Надежда Константиновна,— каждый коммунист знает, что бюрократизм — вещь крайне отрицательная, что он губит всякое живое начинание, что он искажает все меры, все декреты, все рас-

¹ Н. К. Крупская. Педагогические сочинения, т. 8, стр. 395.

¹ «Культурно-просветительная деятельность Н. К. Крупской». Сборник статей к 100-летию со дня рождения (1869—1969). Л. 1969.

поражения; но стоит коммунисту начать работать в каком-либо комиссариате или другом каком советском учреждении, — он и оглянуться не успеет, как увидит себя уже наполовину увязшим в столь ненавидимом им бюрократическом болоте». Н. К. Крупская вскрывает связь бюрократизма с неумением планомерно и рационально организовать работу. «Дело управления, — подчеркивает она, — далеко не легкое дело. Это целая наука». Членение работы на элементы, четкое разграничение и определение функций, «уроки» на каждый день, точный, по возможности даже механизированный контроль и учет всей работы — вот, по ее мнению, меры, которые помогут бороться с «административной фантастикой», за деловитость и эффективность работы. Анализ этой забытой работы Н. К. Крупской, ее взглядов и суждений по проблемам научной организации труда — заслуга ленинградского ученого И. М. Болотникова, выступившего со специальной статьей на эту тему.

Хочется отметить одну — и немаловажную — особенность работ, вышедших в связи со столетием Н. К. Крупской, особенность, достойную памяти юбиляра, — стремление к научности, основательности изданий. Не к показной «научности» пухлых томов, а к научности подлинной, в том числе к серьезному научному аппарату. В сборнике «Рядом с Лениным», кроме хорошего биографического предисловия и кратких справок об авторах, следует особенно отметить публикацию краткой летописи жизни и деятельности Н. К. Крупской, подготовленную Д. К. Михалутинной. К книге «Педагогические взгляды и деятельность Н. К. Крупской» приложена библиография основной литературы по общим и частным вопросам

педагогике, разработанным Н. К. Крупской, и список архивных источников. Краткой библиографией снабжен ряд популярных брошюр общества «Знание», предназначенных для лекторов, учителей, пионервожатых. Примером серьезности в выполнении своей задачи служит и библиографический указатель, с которого мы и начали свой обзор. Правда, не успев выйти в свет, этот добротный труд уже срочно требует дополнений. Ведь он доведен только до 1968 года и не включает изданий, выпущенных к столетию Н. К. Крупской.

Но, конечно, вышедшие работы далеко не исчерпывают всех проблем изучения жизни и творчества Н. К. Крупской. Некоторые из них только поставлены и ждут своего исследователя, например, роль Надежды Константиновны как секретаря редакции «Искры», «Вперед», «Пролетарий» и руководителя переписки с местными организациями партии. Сделаны лишь первые шаги в изучении ее деятельности в период подготовки и проведения Великого Октября. Совсем почти не разработана тема: государственная деятельность Н. К. Крупской на различных этапах жизни нашей страны. Многие еще предстоит сделать и для публикации ее литературного наследия. В указателе отмечено 1100 опубликованных писем Н. К. Крупской. Но в архивах хранится еще огромное число ее писем, записок, тезисов, документов, представляющих большой исторический интерес. Только в ЦГАОР лежит 1300 папок с письмами Н. К. Крупской от трудящихся. Какой это великолепный материал для изучения ее деятельности, для изучения нашей эпохи!

Л. ЗАК,

доктор исторических наук.



ПУТЬ К ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ

Источниковедение. Теоретические и методические проблемы.
 Ответственный редактор С. О. Шмидт. «Наука». М. 1969. 511 стр.

Исторический источник — это все то, что дает нам возможность узнать и понять прошлое: документы и произведения художественной литературы, картины и монеты, обломки посуды и стены древних крепостей. Узнать прошлое можно через изучение «остатков» этого прошлого, источников. А это сложное и трудное дело. Не всегда и не во всем можно доверять источнику. Перед историком в его работе над источником стоят две опасности: или пойти за источником, поддаться ему и видеть прошлое так, как его видело идеологически искаженное мировоззрение современников, или интерпретировать источник произвольно, видеть в нем то, что по тем или иным причинам историку видеть хочется. Насколько он сможет преодолеть обе эти опасности, настолько его работа будет шагом вперед в познании прошлого, в развитии исторической науки.

Исследованием источников, приемов их выявления и использования в работе историка занимается особая историческая дисциплина — источниковедение. Сборник «Источниковедение. Теоретические и методические проблемы» подготовлен сектором методологии Института истории АН СССР. В нем собраны статьи, отражающие достижения современного советского источниковедения и раскрывающие стоящие перед ним проблемы.

Источниковедение — наука о том, как раскрывать по источникам исторические факты, картину прошлого. Но что такое исторический факт? Просто любой факт или только некоторые, «важные» факты? Этой проблеме посвящена статья А. Я. Гуревича «Что такое исторический факт?». А. Я. Гуревич описывает проходившую в течение долгого времени в западной науке дискуссию по проблеме исторического факта и пытается нащупать возможность решения этой проблемы. По его мнению, исторический факт — это такое событие прошлого и то в этом событии, что может войти на данном теоретическом уровне в анализ историка. В зависимости от целей исследования один и тот же факт входит в него разными своими сторонами. По мере выяснения социальных закономерностей, по мере

роста наших знаний историками привлекаются все новые и новые факты. Для науки начала прошлого века данные о производстве сукна в средневековой Италии не были «историческими фактами», они не могли быть вовлечены в исторический анализ, и их знание или незнание ничего не давало и не отнимало от понимания прошлого. То же можно сказать про факты, относящиеся к психологии и логике мышления, скажем, древнего египтянина для науки начала нашего века. Круг привлекаемых фактов растет по мере социального познания, и само это познание растет по мере привлечения новых фактов, по мере того, как все больше фактов становится «историческими».

Ряд статей сборника посвящен истории источниковедческой науки. В статье Б. Г. Литвака «О путях развития источниковедения массовых источников» говорится о необходимости освоения опыта старого русского источниковедения, в частности — работ предреволюционных лет: Шахматова, Лаппо-Данилевского, земских статистиков. Статья О. М. Медушевской посвящена теоретическим проблемам источниковедения в советской историографии двадцатых — начала тридцатых годов. Для зарождавшегося советского источниковедения, несмотря на присущие ему элементы вульгарно-социологического подхода, характерно стремление к овладению накопленной источниковедческой культурой и к выработке объективных принципов источниковедения, не допускающих произвольную трактовку источников. Так, в статье М. Н. Покровского «От Истпарта» (передовая первого номера журнала «Пролетарская революция» за 1921 год) выдвигалось в качестве принципа историко-партийного источниковедения привлечение «всех без исключения материалов». Эти подлинно научные принципы все более явно утверждаются в источниковедении последних лет.

Основным требованием, предъявляемым современной наукой к работе историка, является требование анализа или всех доступных источников, или же, если исследуются лишь некоторые источники, точного установления их репрезентативности, то

есть того, насколько данные источники представляют типические явления прошлого. Между тем, несмотря на очевидную справедливость этого требования, выполняется оно далеко не всегда. В упомянутой выше статье Б. Г. Литвака уделяется много места полемике с теми, кто пробует защищать и даже «теоретически обосновывать» выборочное использование источников для иллюстрации априорного тезиса. Такие взгляды высказываются, например, в работах М. А. Варшавчика, который считает, что сплошное изучение всех историко-партийных источников «и невозможно, и излишне».

Но подобная тенденция в источниковедении — сегодня далеко не единственная и не господствующая. Другая тенденция, характеризующаяся стремлением к возможно более полному охвату источников и выработке точных, не допускающих произвола правил работы с ними, все более и более набирает силу. Она воплощена в настоящем сборнике.

Наряду с овладением классической источниковедческой культурой авторы пропагандируют новые методы и приемы источниковедения, вырабатываемые современной наукой. Этому посвящены статьи И. Д. Ковальченко «О применении математико-статистических методов в исторических исследованиях», А. Я. Гуревича «Социальная психология и история. Источниковедческий аспект». В последней работе доказывается, что при правильном подходе любые древние памятники, которые обычно используются как источники по политической и социально-экономической истории, могут рассказать нам и об особенностях мышления и эмоционального строя людей своего времени.

Примером тонкого источниковедческого анализа является, на наш взгляд, работа А. А. Курносова «Приемы внутренней критики мемуаров (Воспоминания участников партизанского движения в период Великой Отечественной войны как исторический источник)».

«Внутренняя критика мемуаров,— пишет А. А. Курносов,— может рассматриваться как система последовательно применяемых методов, включающая в себя логический анализ текста, текстологию, сопоставление с родственными и независимыми источниками». Логический анализ текста состоит в

членении его на отдельные эпизоды, отдельные сообщения. Среди этих сообщений могут быть рассказы о непосредственно наблюдавшихся автором фактах, о том, что он знал понаслышке, и, наконец, его теоретические выводы, его эмоциональная оценка событий. Естественно, что подход историка к каждому типу сообщений различен. Каждое сообщение оценивается особо, причем исследуется его внутренняя непротиворечивость. Исследование традиции текста и исторической ценности каждого отрывка — предмет следующего этапа работы — текстологического исследования, цель которого «состоит в выяснении того, что именно содержит каждый данный отрывок: более или менее близкое к первоначальному впечатлению свидетельство; ретроспективный взгляд на прошлое с позиций настоящего (и какого именно); ассимилированные мемуаристом исторические концепции и их аргументацию, заимствованную из научной литературы; следы самоограничения... учета автором... замечаний рецензентов, редактора или иных, причастных к изданию лиц».

Пример текстологического анализа в статье А. А. Курносова — разбор мемуаров П. Вершигоры, известных в различных редакциях. Такой анализ позволил исследователю установить неравноценность разных вариантов текста и влияние на них общественной эволюции. Ознакомление со статьей А. А. Курносова полезно не только историку, но и всем тем, кто читает многочисленные мемуары участников войны, вышедшие в последнее время.

Целый ряд статей сборника посвящен работам Маркса, Энгельса и Ленина.

Как известно, произведения великих мыслителей отражают эволюцию их воззрений. Многие из них писались по разным конкретным поводам. Чем более догматически, без учета всех этих обстоятельств, они используются, тем больше возможность их произвольного толкования. Лишь тогда, когда мы применяем по отношению к произведениям классиков марксизма-ленинизма проверки, мы можем добиться адекватного понимания их мыслей. В этом смысле показательна статья Г. А. Багатурия «Из опыта изучения рукописного наследия Маркса и Энгельса». Реконструкция первой главы «Немецкой идеологии», где рассказывается о блестящей источниковедческой работе, проделанной советскими марксоведа-

ми с текстом этого произведения, работе, позволившей установить его истинное значение и его место в развитии взглядов Маркса и Энгельса. В статье Э. С. Виленской «К истории статьи В. И. Ленина «От какого наследства мы отказываемся?» на основании глубокого изучения ленинской работы, всех данных о ее творческой истории и откликов на нее в печати подводится итог длительной дискуссии о смысле и значении этой статьи Ленина, долгое время использовавшейся для оправдания противопоставления революционных демократов

шестидесятих годов народничеству семидесятих годов, представлявшемуся как реакционное течение.

В целом сборник олицетворяет плодотворные тенденции в современной исторической науке, направленные на поиски таких приемов и методов работы с источниками, которые не допускают их произвольную интерпретацию и позволяют восстановить прошлое настолько полно, насколько это возможно на современном уровне знания.

Д. ФУРМАН.



НА ЗАРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ

В. Т. Пашуто. *Внешняя политика Древней Руси.* «Наука». М. 1968. 472 стр.

Есть темы, которым, видимо, еще очень длительное время не суждено стареть. К их числу, несомненно, относятся вопросы войны и мира, которые всегда горячо волнуют современников и вызывают живейший интерес у потомков, часто отстоящих от тех или иных исторических событий на десятки, сотни и даже тысячи лет. Изучая опыт прошлого, люди стремятся лучше понять проблемы, волнующие их сегодня.

Книга В. Т. Пашуто рассказывает о событиях, происходивших восемьсот—тысячу лет назад. Сперва современники — авторы летописей, писатели, публицисты, а позже многие поколения отечественных и зарубежных исследователей не раз обращались к различным аспектам внешней политики Древней Руси. Тем не менее рецензируемая работа является первым специальным трудом, в котором исследованы основные этапы внешней политики Древней Руси почти за три с половиной столетия: от образования в X веке у восточных славян относительно единого государства до середины XIII века, когда ослабленная феодальными усобицами страна после длительной и кровопролитной борьбы подпала под власть монголов.

Монография В. Т. Пашуто освещает широкий круг вопросов. Автор впервые так ярко и выпукло показал, что в X—XIII веках Древняя Русь была могущественным государством, имевшим обширные связи с большинством важнейших государств тогдашнего мира: Швецией, Норвегией, Данией, Германией, Пруссией, Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией, Францией, Ан-

глией, Италией, Византией, а также с арабскими странами Передней Азии и Африки, государствами Закавказья, Средней Азии, союзами кочевых племен северного Причерноморья.

Формы этих связей были различны и не раз менялись на протяжении освещаемого в книге периода. Тут были и отправка послов, и поездки купцов, и «хождения по святым местам» паломников и церковных иерархов, часто выполнявших дипломатические поручения. Древняя Русь заключала со своими соседями торговые договоры, военные и политические союзы, нередко скрепленные брачными связями. К этому времени восходит формирование в средневековой Европе норм международного права, включавшего положения о торговле и мореплавании, посольской службе и дипломатическом иммунитете.

Приведенный в книге В. Т. Пашуто материал убедительно свидетельствует о том, что значение Древней Руси в мировой истории было весьма велико. Она сыграла существенную роль в формировании политической карты средневековой Европы. Отражая натиск кочевников (печенегов, половцев и других), Русь объективно способствовала борьбе балканских народов с Византийской империей, а также выступлениям населения Кавказа против арабского владычества. Одержав ряд побед над крестоносцами, население Руси оказало героическое сопротивление нашествию монголов, что в немалой мере способствовало спасению западноевропейской цивилизации от разорения. В этой борьбе Русь была на

длительное время ослаблена, потеряла многие владения; ее земли были поделены между правителями отдельных монгольских орд и улусов.

Государственные деятели Древней Руси активно выступали на международной арене в защиту интересов своей страны. Из их среды в X—XIII веках выдвинулись такие крупные дипломаты, как князь Святослав, Владимир Святославич, Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Даниил Галицкий. На дипломатическом поприще успешно подвизались и некоторые русские женщины, сыгравшие видную роль в политической жизни Европы: великая княгиня киевская Ольга, королева-регентша Франции Анна Ярославна, участница борьбы Вельфов со Штауфенами императрица Германии Евпраксия Всеволодовна, поборница политического единства страны королева Венгрии Евфросинья Мстиславна, галицко-волынская княгиня-регентша Анна, заключавшая договоры с Польшей, Венгрией и Литвой, и другие.

Крупные внешнеполитические успехи Древней Руси, возросшая роль ее в международных делах нашли отражение не только в русских летописях и былинах, но и в хрониках, эпосе и поэзии многих народов Европы и Азии. Об этом, в частности, свидетельствуют упоминания событий истории Руси в исламских сагах, в немецком эпосе («Песнь о Нибелунгах») и поэзии («Сага о Дитрихе Бернском», «Вольфдитрих», «Розовый сад»), в стихотворных хрониках англосаксов, в «Песне о Роланде» и других. Русы были хорошо известны в арабском мире в качестве торговцев, воинов и служилых людей.

Большое внимание В. Т. Пашуто уделил истории формирования политической карты средневековой Европы. В его книге содержится значительный фактический материал о взаимоотношениях Древней Руси с ее ближайшими соседями, особенно с Норвегией, Швецией, Польшей, Германией, Венгрией, Чехией и Болгарией. Как пишет В. Т. Пашуто, «факты свидетельствуют о тысячелетней традиции русских международных связей. Советские люди, граждане страны, последовательно отстаивающей принципы мира и гуманизма, помнят об этой традиции, им дороги «старые камни» и Европы и Азии».

Возникновение государства восточных славян и выступление Древней Руси на

международной арене в качестве крупной политической силы совпало по времени с аналогичными процессами у поляков, чехов, болгар, венгров и других народов Европы. У них также происходил процесс национальной консолидации и формирования территорий их государств. В этих условиях периоды мирных отношений и союзов между Русью и ее соседями сменялись конфликтами, вооруженными столкновениями, нередко весьма разорительными для их населения.

В. Т. Пашуто не замалчивает теневых сторон исторического процесса: «соседи» не только торговали, заключали военные, дипломатические и матримониальные союзы между собою, но и часто ходили войною друг на друга. Во время этих походов феодалы не упускали благоприятных возможностей для усиления своих позиций путем захвата соседних территорий и эксплуатации их населения. Древняя Русь не была исключением из общего правила. Достаточно вспомнить походы дружин киевских князей на Царьград или в Пруссию.

Однако, как неоднократно подчеркивает автор, в целом в это время на Руси, в Польше и в других странах Восточной Европы не было социальных сил, заинтересованных в широкой территориальной экспансии и способных ее осуществить, особенно в связи с ростом феодальной раздробленности. Напротив, в X—XIII веках Древняя Русь, Польша, Венгрия, Чехия, Болгария были вынуждены заключать между собой союзы в связи с постоянной внешней опасностью со стороны кочевников северного Причерноморья, а также для отпора враждебным действиям более сильных государств — Византийской и Германской империй, поддерживаемых римской курией. Как справедливо отмечает В. Т. Пашуто, «это был очень важный этап в истории внешней политики, ибо установленным в ту пору границам и оформленным тогда союзам было суждено пережить века, а в известной мере дожить и до наших дней».

История внешней политики правильно рассматривается в книге В. Т. Пашуто как продолжение внутренней политики господствующего класса феодалов и отдельных его групп, находившихся у власти. При объяснении внешней политики Древней Руси автор учитывает особенности ее социально-политического строя, хотя порой и хочется пожелать ему несколько большего

внимания к фактам экономической истории. Он хорошо показал значение относительно единого государства для успешного разрешения ею внешнеполитических задач и отрицательные последствия феодальной раздробленности.

Кажется само собой разумеющимся, что в любой научной работе выводы автора должны опираться на прочный фундамент тщательно проверенных фактов. И вряд ли стоило специально ставить это автору в заслугу, если бы дело не касалось истории Древней Руси. Дело в том, что при изучении ее политической истории исследователи располагают крайне скудным количеством письменных источников. Чтобы расширить источниковедческую базу своего исследования и восстановить основные события внешнеполитической истории Древней Руси более чем за три столетия, В. Т. Пашуто выполнил колоссальную для одного

ученого работу: он критически использовал не только все дореволюционные и советские издания источников и труды историков, археологов, искусствоведов, литературоведов и лингвистов, но и все важнейшие публикации и работы зарубежных ученых по этой проблеме почти на пятнадцати языках (разделы о взаимоотношениях Руси с тюркскими и кавказскими народами написаны востоковедом А. П. Новосельцевым).

В рецензируемом труде не раз отмечается, что в истории внешней политики Руси имеется еще много неясных и неизученных вопросов. Эти замечания — не только свидетельство критического отношения ученого к результатам своего труда, но в известной мере и вехи, намечающие новые проблемы истории Древней Руси и пути их исследования.

С. ТРОИЦКИЙ.



РЕШАЮЩИЙ ДОВОД

Э. С в а д о с т. Как возникнет всеобщий язык? «Наука». М. 1968. 287 стр.

Заглавие настораживает. Как возникнет всеобщий язык? — спрашивает автор. Самый же факт возникновения всеобщего языка у него, видимо, сомнений не вызывает, хотя большинству специалистов вопрос о целесообразности и возможности появления в обозримом будущем единого для всего человечества языка представляется далеко не решенным.

Несколько необычна и вступительная статья «От редакторов». Отметив, что «в данной книге на обширном конкретном материале показано, что всеобщий язык как второй язык всех народов мира стал насущной жизненной потребностью нашего времени», редакторы — доктор филологических наук профессор Е. А. Бокарев, член-корреспондент АН СССР М. Д. Каммари и доктор философских наук профессор А. Г. Спиркин — довольно подробно оговаривают, в чем именно каждый из них не согласен с автором книги. Таким образом, еще до того, как мы успеваем прочитать первую страницу книги, мы уже оказываемся втянутыми в полемику с ее автором.

В книге семь глав. «Жизненная потребность нашего времени» — в этой главе автор перечисляет и анализирует доводы в

пользу создания всеобщего языка. «Четырехвековая история попыток создания вспомогательного международного языка» — эта глава читается как увлекательная повесть о надеждах и разочарованиях, о смелых мечтах крупнейших деятелей культуры и об — увы! — печальной действительности: всеобщего языка еще не существует. В следующей главе излагается история Эсперанто и дается критика этого искусственного языка. Здесь же автор развивает свою основную идею: являются ли вспомогательный международный язык и единый всеобщий язык двумя разными языками, различными проблемами или это один и тот же язык в разные периоды истории и в разных функциях и, следовательно, одна проблема?

Ответ Э. Сवादоста гласит: «Да, это — два различных языка, две различные проблемы, если под вспомогательным языком иметь в виду Эсперанто или любой иной ему подобный проект. Но это — один и тот же язык в разные периоды истории и в разных функциях, одна проблема, если иметь в виду тот язык, который будет создан для того, чтоб стать языком всемирного социализма, а затем и всемирного коммунизма».

Здесь, нам кажется, и находится слабое

звено в рассуждениях автора. Как мы стараемся показать дальше, он весьма убедительно доказывает необходимость создания всеобщего вспомогательного языка уже сейчас или очень скоро. Что же касается того, вытеснит ли когда-нибудь этот всеобщий вспомогательный язык национальные языки, то тут у автора есть лишь право на создание гипотез.

Вернемся, однако, к рассуждению автора. Он считает, что Эсперанто в лучшем случае может некоторое время выполнять функции вспомогательного международного языка, но «настоящий» всемирный язык должен быть гораздо более совершенным. В упомянутой выше статье «От редакторов» указывается, что Е. А. Бокарев «считает малопопулярной антиэсперантскую направленность книги», но в этом вопросе, пожалуй, прав Э. Сवादост.

«Некоторая распространенность Эсперанто,— пишет он,— некоторое практическое применение его никак не может быть решающим соображением в столь важном вопросе, как всемирный международный язык, пусть лишь вспомогательный. Только качества самого языка должны все решать здесь. Практические преимущества Эсперанто выглядят внушительно по сравнению с малой практикой других языков-проектов или полным ее отсутствием. Но эти преимущества, даже если они значительно возрастут в ближайшие десятилетия, потеряют значение, когда появится язык, достойный всеобщего признания».

Значит, победит достойнейший. Само по себе это утверждение тривиально, но Э. Сवादост убежден, что такой новый язык будет обладать качествами, которых нет не только у Эсперанто, но и у любых наиболее развитых естественных национальных языков. В этой связи в двух дальнейших главах книги («Теория выделения всеобщего языка из национальных» и «Теория всемирного слияния языков») и обсуждаются качества нового, искусственного языка, который мог бы претендовать на роль языка всеобщего. Но прежде Э. Сवादост убедительно, на наш взгляд, доказывает, что роль всеобщего языка не может быть передана ни одному национальному языку. Во-первых, говорит автор, признание даже самого распространенного языка в качестве единого для всего человечества натолкнется на непреодолимые политические и психоло-

гические трудности. А во-вторых, ни один из существующих национальных языков, каким бы развитым он ни был и каким бы совершенным он ни представлялся тем, кто на нем говорит, не может быть вполне пригоден для выполнения функций, ради которых и будет создан всеобщий язык.

Естественные национальные языки — результат многовекового развития, достояние культуры народов — прекрасно приспособлены для выражения самых тонких оттенков мысли и чувства, пока речь идет о быте или художественной литературе. Правда, у «каждого этнического языка свои трудности. Хорошо известны, например, исключительные трудности орфографии английского и французского языков, трудности немецкого синтаксиса и русской морфологии... В каждом историческом языке не хватает многих слов для выражения лексических понятий и многих морфем и вообще формальных средств для выражения грамматических значений...». Как справедливо подчеркивает Э. Сवादост, все эти «недостатки национальных языков, разумеется, не исключают у них различных достоинств и красот. Так, русский язык дает, в частности, богатые возможности для художественных произведений, для поэзии. Он гораздо более приспособлен для стихов, чем английский, немецкий и даже французский: он гибче их синтаксически, в нем больше данных для многообразия ритмики и рифм».

Тем не менее, еще раз возвращаясь к своему основному тезису, автор заканчивает последнюю главу книги, названную «Общечеловеческий язык как одна из проблем преобразования мира», утверждением: «Можно оспаривать что угодно в предлагаемой трактовке проблемы всеобщего языка, но вряд ли оспоримо, что пришло время для теоретической разработки всех ее аспектов».

Опять-таки автор не делает при этом различия между проблемой создания всеобщего вспомогательного языка уже в обозримом будущем и проблемой появления единого языка всего человечества в неопределенной перспективе. Независимо, однако, от того, насколько правомерно такое отождествление разных по существу проблем, и не задерживая своего внимания на ряде относительно второстепенных вопросов: о методах создания всеобщего языка, о критериях его оценки, о составе коллегии, кото-

рая окажется достаточно компетентной и авторитетной, чтобы выбрать для всего человечества единый (хотя бы вспомогательный) язык, — постараемся уяснить себе самое главное, принципиальное в рассуждении Э. Сवादоста: зачем и кому нужен всеобщий язык? Или точнее: чем вызвано превращение всеобщего языка из категории желаемого в категорию необходимого?

Э. Сवादост указывает, что «идею сознательно созданного международного языка поддерживали... в России — Лез Толстой, Максим Горький, Илья Эренбург, на Западе — Анри Барбюс, Герберт Уэллс, Бернард Шоу; сторонниками ее были и Ромен Роллан, Эптон Синклер, на Востоке — Лу Синь». Он передает слова Платона: «Боги облагодетельствовали бы человечество, даровав ему общий язык». Он приводит письмо Декарта Мерсенну по поводу сочинения Германа Гюго, в котором развивалась идея всеобщего языка: «Мой Преподобный Отец, это предложение о новом языке кажется мне восхитительным». Автор ссылается еще на десятки других авторитетных высказываний в пользу идеи всеобщего языка человечества. Но чем больше союзников становится у Э. Сवादоста, тем сильнее наше сомнение: если проблема создания всеобщего языка, за который ратовало столько великих, не была решена до сих пор, то почему мы должны верить автору, что эту проблему следует решать сейчас, незамедлительно и что ее вообще удастся решить?

Автор пишет: художественные переводы неполноценны. Старая истина. Но может ли стремление поэта говорить со всем миром послужить достаточным основанием для отказа всех поэтов от национальных языков в пользу даже самого совершенного воляюка? Тем более что многовековой опыт свидетельствует о том, что художественные произведения, написанные на любом языке, могут стать достоянием общечеловеческой культуры.

Автор ссылается на неудобства, которые испытывают туристы. Но армия гидов более или менее сносно обслуживает их, да и такая ли уж это существенная проблема, чтобы ради ее решения всем выучивать дополнительный к родному всеобщий язык, а тем более вообще отказываться от национальных языков?

Автор говорит об отмирании национальных языков в мире социализма и коммуниз-

ма. Но это пока всего лишь гипотеза, которая может быть подтверждена только в весьма отдаленном будущем.

Если бы автор оперировал лишь теми доводами в пользу создания всемирного языка, которые мы перечислили и большинство из которых известно очень давно, то его вывод о безотлагательной необходимости приступить к разработке всеобщего языка был бы необубедительным.

Однако в распоряжении автора есть еще один довод, очень существенный и, на наш взгляд, решающий. К сожалению, Э. Сवादост в своем исследовании (заметим в скобках: написанном увлекательно и доступном, при всей своей серьезности, широкому кругу читателей) не выделил в истории обсуждения проблемы всеобщего языка того момента, когда наряду с другими прозвучал этот совершенно новый довод, характерный именно для нашей эпохи. Суть его тем не менее подробно изложена в рецензируемой книге.

Э. Сवादост цитирует ученых-географов: «В области научного общения приближается эпоха настоящего Вавилонского столпотворения. Задача овладения всеми нужными языками становится для научного работника непосильной». Он утверждает дальше: «С ростом числа литературных языков растет почти в геометрической прогрессии число научных публикаций, каждая из которых непонятна и недоступна для большинства читателей мира, заинтересованных в той или иной литературе».

Автор показывает, что все это связано с так называемым «информационным взрывом», являющимся следствием экспоненциального роста количества научно-технической информации (роста, при котором через равные промежутки времени происходит удвоение ее объема). Одним из следствий «информационного взрыва» может явиться возрастание количества научно-технических журналов уже к концу нашего века до одного миллиона названий, тогда как уже сейчас — «на уровне» ста тысяч журналов — большая часть публикуемых в них сведений оказывается недоступной специалистам.

Чтобы преодолеть языковые барьеры и хотя бы отчасти облегчить инженерам и ученым поиск информации в огромной массе публикаций, следовало бы, рассуждает Э. Сवादост, приставить к каждому ученому

или инженеру по пять или по десять переводчиков. Альтернатива: машинный перевод. Автор книги добросовестно обсуждает такую возможность, подчеркивает, что ЭВМ еще не сказали своего последнего слова. Вместе с тем, пишет он, по мнению авторитетных специалистов, здесь «основную опасность представляет неоднозначность слов», то есть несовершенство научной и технической терминологии.

Для многих это утверждение Э. Свадоста окажется неожиданным. Широко распространено мнение о точности научного языка, искупающей его сухость и труднодоступность для непосвященных. В интересной статье Л. Саламона «О физиологии эмоционально-эстетических процессов» (см. сборник «Содружество наук и тайны творчества». «Искусство». М. 1968) на принятой за аксиому гипотезе о точности научного языка строится весьма красочное противопоставление. «Почему,— восклицает автор статьи,— научные положения поддаются сообщению «без потерь», а эмоциональные оттенки художественного произведения оказываются такими хрупкими и могут легко утрачиваться в процессе передачи?.. Почему при переводе с одного языка на другой научная информация будет стопроцентной, если только перевод составлен грамотно, но эмоциональная информация литературного произведения может быть частично или полностью потеряна. Несмотря на идеальное соблюдение всех грамматических правил?»

Так писали и сто лет назад. Так часто пишут и теперь. Но вот что доказывает в своей книге Э. Свадост: «Несовершенство, неупорядоченность терминологической лексики вносит путаницу в документацию... усложняет понимание новых производственных методов и освоение новых производств; оказывается серьезной помехой при кодировании научной информации, при механизации информационного поиска... отрицательно сказывается на качестве реферативных обзоров... усложняет координацию научно-исследовательских работ...»

Многоязычие современной научной, технической и экономической литературы и документации во много раз увеличивает терминологическую неразбериху: одно и то же понятие «воспалющийся» в Англии, например, обозначается термином «inflammable», что значит в буквальном переводе негорючий, а в США — «flammable», то

есть горючий. Такая простая деталь, как шайба, имеет в США пятьдесят семь различных наименований. Термин «жабры», заимствованный техникой из биологии, в самолетостроении значит поплавки у гидропланов, а в словаре заготовительно-штамповочных работ можно прочесть, что жабры — это «длинные, узкие отбортовки по одной стороне отверстия».

Как это ни парадоксально звучит, но мы должны перефразировать построение Л. Саламона. Почему, спросим мы, любые оттенки эмоций могут быть переданы без потерь, в то время как изложение научных положений всегда сопровождается потерей информации? Потому, отвечает нам на этот вопрос книга Э. Свадоста, что развитые национальные языки более или менее адекватны друг другу и приспособлены для передачи мысли и чувств поэта, писателя, публициста. Иначе обстоит дело с языком науки и техники. Э. Свадост цитирует профессора В. А. Успенского: «...языки возникли для совершенно других, можно сказать бытовых, целей и лишь впоследствии стали использоваться для запаса сложных научных фактов. Словарный запас языка не приспособлен для обозначения научных понятий...»

И тут — последнее звено в рассуждении автора книги: в условиях научно-технической революции, интенсивного международного обмена информацией, в эпоху, когда кадры науки и техники насчитывают миллионы людей, а сообщения о научных достижениях неуклонно прорываются на страницы газет, в радио и телепередачи, немислимо четко отграничить язык науки и техники от языка, на котором люди говорят в быту. Нельзя, иными словами, создать для современных ученых эквивалент латинского языка, которым они обходились в средние века. Международный, всеобщий вспомогательный язык науки и техники неизбежно окажется существенной составной частью языка человечества.

Книга Э. Свадоста позволяет рассмотреть проблему создания всеобщего языка как одну из проблем информатики. Этим она выгодно отличается от многих других книг по этому вопросу. Это и дает, на наш взгляд, право утверждать, что если способы создания всеобщего вспомогательного языка подлежат обсуждению, то необходимость в нем бесспорна.

С. ВЛАДИМИРОВ.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ ПЛАНЕТЫ

П. Дювиньо и М. Танг. Биосфера и место в ней человека. Перевод с французского. «Прогресс», М. 1968. 256 стр.

Эта книга адресована учителям биологии бельгийской средней школы. Благодаря широте охвата темы, обилию фактов и анализу острых проблем человечества она может заинтересовать широкие круги советских читателей.

В оригинале книга называется «Экосистемы и биосфера» (экосистема — сообщество живых организмов вместе со средой их обитания, биосфера — вся область жизни на планете). Это название, пожалуй, более точно выражает содержание книги.

В первой части излагаются основные положения экологии. Исследуются преимущественно трофические (пищевые) связи в экосистемах — динамика биомасс и потоков энергии. Схемы, графики и таблицы прекрасно иллюстрируют энергетическое взаимодействие живых существ между собой и окружающей средой. Выстраиваются экологические пирамиды, в основании которых находятся организмы, непосредственно использующие солнечную энергию и минеральные вещества Земли (такие организмы называются автотрофными). Выше, сужаясь, следуют слои организмов гетеротрофных, то есть растительноядных и плотоядных. Каждый слой питается за счет нижележащего. (Пример подобной пирамиды — пищевая цепь: злаки — кузнечики — лягушки — змея — орлы.)

Наиболее продуктивны автотрофные организмы. Но даже они ассимилируют лишь сотую долю энергии, поступающей к ним от Солнца. Следовательно, любая экологическая система — это механизм с очень низким коэффициентом полезного действия.

Авторы анализируют главнейшие экосистемы Земли, сочетая простоту и четкость изложения с высоким научным уровнем и охватом обширнейшего материала. Наряду с «естественными» биологическими процессами они обычно учитывают и хозяйственную деятельность человека. Тем самым эта деятельность предстает как часть планетарного круговорота материи.

Конечно, пищевые (энергетические) связи хотя и важнейшие, но не единственные в экосистемах. Взаимосвязь отдельных элементов экосистем, их замечательное согласие осуществляется во многом с помощью ин-

формационных взаимодействий. Авторы книги не касаются этой интересной и малоизученной проблемы, которая связана с прогрессом нервной системы и мозга животных. Ведь экологические пирамиды увенчаны существами, умеющими наиболее полно использовать информацию, имеющими развитый головной мозг (млекопитающие, человек).

В наше время люди так или иначе вмешиваются во все экосистемы планеты. С помощью техники они имеют возможность использовать все слои экологических пирамид: и животных, и растения, и минералы, и непосредственно солнечную энергию. Такого рода вмешательства столь значительны, что нередко вызывают катастрофы: истощение посевных угодий приводило к упадку и гибели цивилизаций; страны, некогда обладавшие плодородными почвами и покрытые лесами, стали теперь безлесными, превратились в бесплодные территории... и т. п.

Анализу современного состояния биосферы, вызванного возрастающей численностью и активностью людей и техники, посвящена вторая часть книги П. Дювиньо и М. Танга.

Человечество не может существовать вне биосферы. Мы живем биосферой и сами являемся частью ее. Продуктивность биосферы может увеличиваться, однако она не беспредельна. По подсчетам авторов книги, она в настоящее время более или менее соответствует потребностям человечества; дело за тем, чтобы по-хозяйски использовать это богатство и справедливо распределять его. К тому же «число людей на земном шаре непрерывно увеличивается; каждый день прибавляется более пятидесяти тысяч ртов, которые требуют пищи. Чтобы между продовольственными ресурсами и ростом населения создалось благоприятное соотношение, увеличение ресурсов должно намного опережать рост населения». Этого, однако, не наблюдается. «С 1955 по 1965 г., то есть в период необычайного прогресса в области молекулярной биологии и в исследованиях космоса, сельскохозяйственная наука, от которой также ожидали заметного продвижения вперед, сумела лишь сохранить... уже достигнутую продуктивность биосферы».

Какие же перспективы намечают П. Дювиньо и М. Танг? Прежде всего они полагают, что «всякий прирост происходит по S-образной кривой. В настоящее время рост численности человечества соответствует поднимающемуся отрезку кривой; рано или поздно кривая примет горизонтальное направление; вопрос в том, когда это произойдет». Во всяком случае теперешнюю крутизну этой кривой они признают «вызывающей опасения».

Перечисляя целый ряд научно-технических мероприятий, способствующих увеличению пищевых ресурсов, авторы реально оценивают обстановку и воздерживаются от необоснованного оптимизма. В ближайшие годы едва ли не наиболее перспективным путем является интенсификация сельского хозяйства. Из таблицы 18 следует, что, если ориентироваться на максимальные показатели отдельных стран, наша страна, в частности, имеет возможность увеличить урожайность многих культур более чем в три раза. Приблизив среднюю продуктивность к нынешней максимальной (урожайность пшеницы—до 40 центнеров с гектара, годовой удой молока—до 37 центнеров на корову и т. д.), человечество может надеяться на двойное по крайней мере увеличение сельскохозяйственной продукции.

Авторы особо подчеркивают большое значение научного ведения сельского хозяйства. Улучшение сортов культурных растений и условий окружающей растения среды (почва, вода, воздух) позволит, согласно подсчетам авторов, увеличить вдвое-втрое существующие урожаи. В частности, «предполагается, что усовершенствование знаний об удобрениях и прогресс в искусстве их использования позволит увеличить мировой урожай всех культур на 40 процентов». Еще более перспективно использование морских ресурсов. Ныне только 0,7 процента суммарного числа калорий и несколько процентов белков, необходимых для питания людей, добываются из моря. Если добавить к этому микроорганизмы воды и суши, то в недалеком будущем станет возможно в несколько раз увеличить продуктивность той части биосферы, которая используется человеком для практических нужд.

Но дело не только в самих научных достижениях. Не менее важно уметь поставить их на службу человечеству. А это в значительной степени связано с воспитани-

ем людей, просвещением, выработкой научного мировоззрения.

«Мы пытались показать на протяжении этой книги,—пишут П. Дювиньо и М. Танг,— что для всех людей, понимающих свою ответственность перед обществом, знание биосферы, основанное на понятиях общей экологии, стало необходимостью... Нужно направить образование по новым путям: нужны новые темы, но необходима также и новая трактовка традиционных тем. Необходимо точно определить место человека в природе и выявить его ответственность за то, чтобы те новые силы, которые он высвобождает, были направлены на улучшение биосферы... Нужно, чтобы человек рассматривал себя не как стороннего наблюдателя, а как неотделимую часть того, что его окружает... все это дает возможность прийти к пониманию мировой экономики в ее самых общих чертах; отсюда становится ясным и то, что наша человеческая экономика—социальная, семейная или личная—лишь зависимые явления в экономике планеты.

Необъяснимым противоречием кажется то, что биологи крайне редко занимаются вопросами влияния цивилизованного человека на естественные явления: они забывают, что даже самые специализированные формы человеческой деятельности относятся, по сути, к биологическим явлениям».

Если первую часть цитаты можно признать бесспорной, то заключительную—нельзя. Действительно, сфера человеческой деятельности в настоящее время уже настолько изменена техникой, промышленным и сельскохозяйственным производством, что ее следует считать новым объектом, который В. И. Вернадский называл «ноосферой» (сферой разума), а А. Е. Ферсман—«техносферой». Она имеет такие особенности, которые не могут быть учтены в рамках биологического подхода.

Надо заметить, что главные идеи, пропагандируемые П. Дювиньо и М. Тангом, успешно разрабатывались русскими и советскими учеными (В. В. Докучаевым, В. И. Вернадским, В. Н. Сукачевым и другими). К сожалению, эти идеи у нас мало пропагандировались, а то и замалчивались.

Давая своей книге название «Экосистемы и биосфера», П. Дювиньо и М. Танг не сочли нужным особо выделять вопрос о месте человека в биосфере. В целом он для

них ясен, как и для большинства биологов и географов. Например, в работе видного американского эколога Е. Одума «человек рассматривается как элемент природы, а потому нет необходимости в особой главе или приложении под заглавием «Человек и природа»: на каждом шагу видны роль человека внутри экологических систем и его воздействие на системы»¹. Аналогично мнение известного английского биолога К. Вилли: «Человек... представляет собой

часть весьма сложной среды, к которой следует подходить как к единому целому...»¹. Такого же мнения придерживается и французский ученый Жан Дорст². Все больше сторонников такого взгляда появляется и в нашей советской науке.

Р. БАЛАНДИН.

¹ К. Вилли. Биология. М. 1964, стр. 613.

² См. Ж. Дорст. Человек и его меньшие братья («Курьер ЮНЕСКО», № 1, 1969, стр. 18).

¹ Е. Одум. Экология. М. 1968, стр. 9.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. П. НЕНАРОКОВ. Восточный фронт. 1918. «Наука». М. 1969. 280 стр.

Литература о Восточном фронте немногочисленна. Его решающая роль для судьбы Советской республики летом и в начале осени 1918 года, широко признаваемая в двадцатых годах, в начале тридцатых подверглась сомнению, и первенство было отдано «обороне Царицына». Лишь в конце пятидесятых, когда была восстановлена ленинская периодизация борьбы с внутренней и внешней контрреволюцией, Восточный фронт стал предметом специального изучения.

Монография А. П. Ненарокова — первая работа, посвященная истории Восточного фронта в целом. Одиннадцать глав книги последовательно и детально рассказывают об обстановке, в которой формировались армии Восточного фронта, о муравьевской авантюре и временных неудачах, о большевистском подполье. Основное внимание автор по праву уделяет организации разгрома врага на Восточном фронте, решающей роли В. И. Ленина в мобилизации на казанско-самарский фронт лучших красноармейских соединений, коммунистических и рабочих отрядов, опытных партийно-командных кадров. обстоятельно описаны в книге бои за освобождение от белогвардейцев Казани, Симбирска, Самары. В последних главах специально отмечено участие в боях на Восточном фронте интернациональных соединений.

События, происходившие в Поволжье в 1918 году, вскрыли окончательный крах мелкобуржуазных партий; на Восточном фронте были сформированы первые регулярные боевые соединения Красной Армии, определились главные направления по строительству Советских Вооруженных Сил; накоплен большой опыт партийной работы во фронтовых условиях. Среди командиров и политработников Восточного фронта были В. М. Азин, И. И. Вацетис, В. К. Блюхер, Г. Д. Гай, С. И. Гусев, С. С. Каменев, Д. М. Карбышев, В. В. Куйбышев, Н. Г. Маркин, Ф. Ф. Раскольников, М. Н. Тухачевский, В. И. Чапаев и другие.

Сквозь, однако, ни широк охват темы, стоит с сожалением отметить отсутствие в монографии некоторых важных разделов. Одним из них могла быть глава о нацио-

нальных частях на Восточном фронте, об участии в борьбе с контрреволюцией лучших представителей народов Поволжья. Известно, что в армии Восточного фронта прославили себя в боях латышские дивизии, татарские полки, чувашские, марийские, мордовские и удмуртские отряды. В ходе гражданской войны закалялась и крепла дружба народов нашей страны.

Полезная и интересная работа А. П. Ненарокова безусловно достойна внимания читателей.

А. Литвин,
кандидат исторических наук.

Казань.

★

В. ЛЕДКОВ. Метели ложатся у ног. Повесть. Л. ЛАПЦУИ. Рассказы. Перевод с ненецкого. «Молодая гвардия». М. 1968. 223 стр.

На яркой, веселой обложке этой небольшой книжки нарисованы чум, олень, нарты, вертолет. Чум и вертолет... Художник точно уловил основную тему повести и рассказов — соединение, срастание старого и нового. И вечный спор между ними.

Обычай тундры... Это емкое понятие вмещает в себя сочувствие к пострадавшему, готовность поделиться с путником последним куском, радушно встретить незваного пришельца и в то же время — бесправное положение женщины. Трудом мужчины, оленевода, охотника, рыбака, обеспечивается достаток. Роль женщины — рожать и воспитывать детей, ухаживать за животными, нести всю домашнюю работу — и только. Так испокон веков считалось у ненцев...

Вместе с другими сородичами ушел на фронт лучший охотник тундры одиночник Микул Паханзеда (В. Ледков, «Метели ложатся у ног»), и теперь все тяготы легли на плечи его жены Нины. И хотя существует в тундре неписаное убеждение, что только мужчина может быть главой семьи, ни в чем не уступила мужу нежная и выносливая Нина. Ежедневно в любую погоду ставила и обходила капканы и стреляла не хуже бывалого охотника. Радоваться бы ей, гордиться, что справилась с мужским делом, но Нину грызет одиночество. Больше всего хо-

чется ей быть рядом с людьми, стать нужной, необходимой им. Эта тоска по человеческому общению привела ее в колхоз. Первый раз в жизни Нина приняла важное самостоятельное решение...

На характер героев рассказов Л. Лапцуй наложило отпечаток вечное единоборство с природой. Строгие, малоразговорчивые, уверенные в себе мужчины; спокойные, сдержанные в проявлении чувств женщины. И даже дети в тундре не такие, как на юге или в средней полосе. Редко увидишь маленького ненца плачущим или жалующимся: суровая жизнь приучила ребят стойко переносить неприятности.

Новое в жизни ненцев наступает решительно и неудержимо. Несут в тундру книги, знания, культуру такие люди, как комсомолец Тэсьда («За чертой горизонта»), учительница Зина («Надпись на камне»), врач Елена Петрова («Человек родился»), почтальон Сэротэтто Хынма («Песня Сэротэтто»).

Но живучи еще у ненцев темные поверья, предрассудки, невежественные представления. Как лишайники за корки, цепляются они за души людей. Есть семьи, которые боятся отдать своих детей в школу, чтобы в старости не лишиться кормильца. Бывает, что родители без согласия дочери выдают ее замуж, польстившись на хороший калым. От прадедов укоренилась вера в жертвоприношения, обеты, наговоры, якобы защищающие от злых духов, приносящие семье удачу. Ничто не приходит само. За радость, за счастье надо бороться — вот основная мысль рассказов Лапцуй.

Ледков и Лапцуй — молодые ненецкие поэты, рецензируемая книга — их первое слово в прозе. Они по-разному видят и отображают мир. Если у Ледкова господствует плавность, неторопливость письма (в повести, небогатой событиями, не встретишь явного столкновения характеров и мировоззрений), то Лапцуй тяготеет к напряженному, динамичному сюжету, его привлекает острота проблем и конфликтов.

Ледков выступает своей первой повестью в основном как сложившийся писатель, Лапцуй же пока весь в поиске. Проза его еще очень неровна по своим художественным достоинствам. Бросается в глаза стремление во что бы то ни стало прийти к счастливому концу, не всегда оправданному ходом событий и логикой фактов. Но главное, что позволяет верить в писательское будущее Лапцуй, — заинтересованный, острый взгляд на окружающее и самобытный, национально окрашенный язык.

При всем различии дарований двух молодых писателей, их объединяет любовь к своему народу, восхищение его стойкостью, трудолюбием, добросердечностью, страстное желание видеть своих земляков идущими в ногу со временем.

И. Данченко.



А. В. БУРДУКОВ. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. «Наука». М. 1969. 418 стр.

В. Е. ЛАРИЧЕВ. Азия далекая и таинственная. «Наука». Новосибирск. 1968. 292 стр.

Советское монголоведение обогатилось двумя новыми интересными изданиями. Не являясь по своему жанру научными исследованиями, они тем не менее приоткрывают новые стороны истории Монголии на весьма разделенных во времени ее этапах.

Книга А. В. Бурдукова — это мемуары, охватывающие 1911—1921 годы. Это интереснейший период истории Монголии: борьба за автономию, судьба страны в первые годы независимости, разгул банд Унгерна, борьба с ними Монгольской армии под руководством Хатан-Батора Максаржава и помощь ей в этом со стороны Красной Армии.

А. В. Бурдуков — человек интересной судьбы, прошедший суровую жизненную школу от мальчика-прислужника при купце, имевшем торговую факторию в Монголии, до преподавателя Ленинградского восточного института, а затем ЛГУ. В Монголии А. В. Бурдуков прожил тридцать лет (1896—1926), из них восемнадцать лет «мальчиком», шесть лет владельцем собственной фактории и последние шесть лет представителем Центросоюза — советской торговой организации, закупавшей в Монголии скот и поставлявшей ей в обмен промтовары.

А. В. Бурдуков пользовался уважением и авторитетом среди монголов. Он был членом в торговых операциях с ними, а после завоевания Внешней Монголией автономии создал на кооперативных началах торговое товарищество, куда наряду с русскими колонистами впервые на равных правах вошли и монголы. Несмотря на происки китайских и русских купцов, товарищество просуществовало вплоть до 1921 года, когда банды Унгерна уничтожили почти всех его членов. Был приговорен к расстрелу и А. В. Бурдуков, лишь чудом ему удалось спастись.

Будучи не только свидетелем, но и участником событий в районе Кобдо и Улясутая, где он жил со своей семьей, А. В. Бурдуков сумел отразить в своих записках тревожную обстановку тех лет, сомнения и неизвестность, мучившие и монголов, и русских колонистов, атмосферу вражды, когорую разжигали белые между монголами и русскими. В мемуарах даны также интересные портреты политических деятелей Монголии той эпохи.

Свободно владея монгольским языком, А. В. Бурдуков не ограничивал себя одной торговой деятельностью. Его интересовали различные стороны жизни и быта монголов, их материальная и духовная культура, эпические сказания, религия, древние памятники — могилы и скульптуры, в обилии встречающиеся в степи. Он установил переписку с крупными учеными, специали-

стами по Сибири, Монголии, Центральной Азии (Б. Я. Владимирцовым, В. Л. Котвичем, Г. Н. Потаниным) и в своей деятельности руководствовался их помощью и советами. Его заметки о быте и нравах монголов, собранные им эпические сказания и поговорки публиковались в те годы в газетах и журналах «Сибирская жизнь», «Живая старина» и других и не утратили своей научной ценности и в наши дни.

Книга В. Е. Ларичева «Азия далекая и таинственная» носит подзаголовок «Очерки путешествий. За древностями по Монголии». Это описание двух полевых сезонов, проведенных автором в Монгольской Народной Республике в составе советской археологической экспедиции, руководимой А. П. Окладниковым.

Много тайн в истории Монголии. И среди них та, что уже несколько десятков лет волнует ученых различных стран, — время появления древнейшего человека на территории нынешней Монголии и в связи с этим вопрос: не является ли Центральная Азия родиной человечества? Поиск следов самого древнего человека и посвящена книга В. Е. Ларичева. Это живой рассказ археолога о научном поиске, об ожидаемых и все же всегда неожиданных находках и открытиях, о счастье ученого, вписывающего новую страницу в историю страны. Кто раньше слышал о местечке Оцо-Маньт в Южной Гоби? А теперь археологам и антропологам всего мира известно, что именно в этом месте находилось древнейшее (из найденных на сегодняшний день) человеческое поселение Монголии — нижний палеолит, сто тысяч лет назад.

Много удивительных находок сделала экспедиция А. П. Окладникова. Среди них обнаруженное на скале в Пади Великого неба изображение женщины в средневековом монгольском головном уборе — бокке. Этот убор описали Плано Карпини и Рубрук, остатки его были найдены в захоронении времен Золотой Орды, но изображение его нигде не встречалось. И вот рисунок женщины в бокке, сделанный рукою монгольского художника, жившего много столетий назад...

Обе книги читаются с интересом и, несомненно, заслуживают внимания самого широкого читателя.

★ Н. Жуковская.

ЮЛИЙ БЕРЗИН. Конец девятого полка. Повести и рассказы. «Советский писатель». Л. 1968. 264 стр.

Со страниц книги на нас смотрит человек, который мучительно и неумело ищет свое место в новой жизни, — бесприютный, колеблемый, гонимый, как Агасфер, всеми ветрами эпохи, капитан Приклонный. За плечами у него белая армия, эмиграция и возвращение на родину, биржи труда с их нескончаемыми очередями. Прежний сослуживец, ныне влиятельный инженер устроил его на одну из первых советских строек на

Севере. Таким же образом поселились рядом с Приклонным другие офицеры канувшего в Лету врангелевского 9-го полка — Тэр, Мурза-Муравский, Нович, Иванов Восьмой. Но Приклонный не хочет оставаться «бывшим человеком», а его однополчане, превратившись в «счетоводов», утратили реальные очертания, стали химерами, упырями. Столь же нереален их случайный сосед по бараку Даниил Моисеевич Кихот. Он тоже призрак — призрак их преступного прошлого, неотвратимого возмездия. В 1919 году 9-й полк, ворвавшись в Винницу, учинил еврейский погром. Искалеченный, вынесший жестокие пытки Кихот ушел. Но увиденное, пережитое потрясло, надломило его. С тех пор по-настоящему он живет только за шахматной доской, в мире дебютов и комбинаций, а в повседневной жизни испытывает «знакомое чувство обреченности».

Контрастная, жесткая повесть Юлия Берзина «Конец девятого полка» написана двадцатипятилетним автором сорок лет назад. Опубликованная после «Белой гвардии», она ощутимо впитала аромат великолепного романа М. Булгакова. Но это влияние не давит на Берзина — оно проявилось лишь в отображении мироощущения некоторых героев. Именно так и никак иначе и могли смотреть на мир, определить свое место в нем промотавшиеся игроки, лишённые смысла и цели жизни. «Теперь мы только, извини за метафору, отбросы времени, удобренные для истории», — обобщил их кредо Приклонный.

Только один — поручик Гуляй-Конь — на первый взгляд сильная личность. У него есть свой план — взорвать плотину, есть программа действий — подложить мину в потерну, есть исполнитель, хотя и опереточный, — Мурза-Муравский. На деле же и он беспомощен. Гуляй-Конь боится Кихота, свидетеля его «подвигов» в Виннице, он не смог повредить плотину, убить отказавшегося стать его сообщником Приклонного...

Повесть Ю. Берзина написана энергично, темпераментно, она обнаруживает руку талантливой писателя, дарование которого не смогло полностью раскрыться вследствие ранней гибели писателя в тридцатичетырехлетнем возрасте. Сейчас эта книга, возвращенная читателю, заняла свое место в строю советской литературы двадцатых годов.

Кострома.

★ В. Бочков.

А. Д. УРСУЛ. Теория информации и реллигия. «Знание». М. 1968. 32 стр.

Открытая всего двадцать лет назад К. Шенноном возможность измерять (по крайней мере в некоторых ситуациях) количество информации существенно расширила сферу применимости методов точных наук. То, что ранее казалось относящимся к области «надматериального», воплотилось в столь же объективные формулы, как и привычные физические понятия массы и энергии.

А. Д. Урсул, автор интересного философского очерка «Природа информации» (Политиздат. М. 1968), на сей раз поставил перед собой задачу проследить связь между представлениями современной теории информации и религиозным мировоззрением, чтобы поставить достижения современной науки на службу антирелигиозной пропаганды. Желание ввести в обращение новые аргументы, использование новейших научных данных отнюдь не отличают рецензируемую брошюру от многих других антирелигиозных произведений.

Например, интересные проблемы о природе «чуда» затрагивает аргументация автора на странице 18. Он правильно замечает, что мы всегда воспринимаем как чудо маловероятное явление. Действительно, если бы все молекулы воздуха собрались в одной половине комнаты, мы сочли бы это чудом, хотя физическая возможность этого явления существует. В этом смысле чудом является уже то, что существует наш, быть может, не очень совершенный, но достаточно сильно организованный мир: физически гораздо более вероятным был бы мир полностью хаотический, в котором не было бы даже элементарных частей с заметным временем жизни. Автор правильно отмечает, что, «познавая маловероятные события, которые в действительности происходят и не противоречат законам природы, мы получаем большую информацию». Следовательно, атеист может больше не пугаться чуда. Всегда можно ожидать маловероятного, редкого явления, познание природы которого может оказаться очень трудным или даже невозможным в обозримое время. Такая точка зрения придает научному мировоззрению разумную широту — готовность считаться с существованием явлений, не укладывающихся в сложившуюся систему научных представлений.

Следует заметить, однако, что в некоторых местах книги проявляется поспешность выводов, имеющая вполне понятную психологическую подоплеку. Современный образованный человек обычно принимает атеизм как заранее данное. Ему не приходится, как людям прошлого века, с кровью выдирается из пут религиозного мировоззрения. Вопрос выбора перед ним не стоит, и поэтому у него нет потребности в глубоком анализе проблемы. По-видимому, это относится и к автору книги. Многие его рассуждения вполне естественны и убедительны для человека, заранее вставшего на атеистическую позицию. Но в его книге нет широты взгляда, которая дала бы возможность ответить на сомнения и вопросы людей, не стоящих столь же непреклонно на этой позиции.

Автор, например, ссылается на вывод науки, гласящий, что всякая информация имеет материального носителя. Тем самым невозможно существование чисто духовной субстанции, чистого Логоса. Действительно, тот факт, что информация неразрывно связана с материальным началом, есть серьезный аргумент против платоновской фило-

софии, против независимого существования мира идей. Но в философии Аристотеля, также принятой католицизмом, дух (форма, организация) неразрывно связан с вещью, воплощен в ней. Стало быть, А. Д. Урсул здесь выступает голько как сторонник Аристотеля против Платона, не выходя за рамки дискуссий, которые ведут между собой представители различных направлений католической теологии.

Ключ к настоящему решению проблемы взаимоотношения духа и материи лежит в раскрытии (на основе современных научных данных) ленинского положения: «Единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания» (Полн. собр. соч., т. 18, стр. 275).

А. Д. Урсул затронул существенные проблемы, но они еще ждут глубокого анализа.

Ю. Шрейдер.

★

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ. *Путь энтузиаста. Автобиографическая книга.* Пермское книжное издательство. 1968. 238 стр.

«Что стихи, литература?»

Это прекрасно, это дает много, но это не больше парохода в море возможностей, а жизнь не знает пределов, жизнь широка, многообразна, изобретательна и ух как зовет для свершения невероятных дел... Так бы, откинув гриву, бежать и бежать необузданным конем по степи цветущих дней», — писал в своей автобиографической книге Василий Каменский. В этих словах очень точно выражен самый пафос жизни этого «вечно и прекрасно взволнованного энтузиаста» (Луначарский). Поэт, драматург, актер, живописец, один из первых русских авиаторов, журналист, редактор, он действительно стремился вместить все «море возможностей», которое открывала перед человеком жизнь, в «берега» одной судьбы.

Всякая биография, а биография поэта в особенности, всегда обнажает какие-то пружины сложного механизма времени. В этом смысле книга Каменского особенно интересна. Начало литературной деятельности поэта совпало с временем необычайно сложным. Каменский к тому же был в самом центре литературной жизни предреволюционного десятилетия. В книге масса имен, «диапазон» которых сам по себе не может оставить читателя равнодушным, — Маяковский, братья Бурлюки, Хлебников, Леонид Андреев, Н. Кульбин, Репин, Блок, Игорь Северянин, Куприн, Ремизов, Елена Гуро, Борис Грингорьев, Татлин, Горький, Лентулов, Сергей Прокофьев... За многими из них стоит целая эпоха в истории искусства, напряженная борьба, сложный, противоречивый путь поисков — то, что принято называть живой диалектикой искусства.

Ожесточенные споры и диспуты о новых путях в искусстве, бунтарские по своему

духу футуристические вечера, художественные выставки, встречи «литературных бездомников» в «Бродячей собаке», репинские среды в «Пенатах», на которых за одним столом собирались люди, нередко исповедовавшие прямо противоположные принципы в жизни и искусстве, — об этой до предела накаленной атмосфере тех лет Каменский пишет с редкой увлеченностью и страстностью. Вот он вспоминает одну из многих лекций, которые он читал вместе с Маяковским и Бурлюком в разных городах, всегда в переполненной аудитории, всегда в сопровождении «грохота ладош» сторонников, «шипенья» и «цоканья» противников: «Я развивал мысль о том, что мы — первые поэты в мире, которые не ограничиваются печатаньем стихов для книжных магазинов, а несут свое новое искусство в массы, на улицу, на площади, на эстрады, желая широко демократизировать свое мастерство и тем украсить, орадовать, окрылить самую жизнь... И это в наше динамическое время, когда мы пережили революцию, когда над головами дрожит воздух, провинченный аэропланами, когда мы все полны ощущения мирового динамизма, когда современность всем нам диктует быть новыми людьми и по-новому понимать жизнь и искусство». Время, людей, себя самого Каменский мерил особыми мерками — по складу своей души, по своему отношению к жизни и, очевидно, своей миссии в искусстве он был, как называл себя сам, «непромокаемым энтузиастом». Это сказало и на книге о собственной жизни, на характеристиках людей, времени. Он и свою жизнь строил как красочную феерию — недаром один из критиков назвал его «поэтом, театрализирующим жизнь». И вспоминая о пережитом позже, когда у человека обычно появляется потребность оценить, осмыслить пережитое, он остался верен себе — в его сознании жизнь запечатлелась как яркий праздник, как несочетаемая цепь чудес.

Уже в двадцатые годы, отвечая на вопрос об «учителях» в поэзии, Каменский ответил так: «По стихийности — Природа. По свободе — тюрьма 1905 года. По разливности — Кама... По размаху — Стенька Разин... По вообще — Жизнь...» В сущности, вся его автобиографическая книга — об этих учителях, о времени, в котором он сумел найти себя. Время это было, конечно, много сложнее, неизмеримо жестче и противоречивее, чем воспринимал его Каменский в годы молодости, чем вспоминал о нем спустя многие годы. Но несмотря на всю пристрастность характеристик, на склонность к гиперболам, книга Каменского в силу именно этих свойств его личности сохранила в себе самый запах и вкус тех дней — без чего и самые точные цифры, и скрупулезно описанные факты все же остаются мертвым грузом и мало что говорят уму и сердцу читателя.

И. Гитович.



А. Р. ЛУРИЯ. Маленькая книжка о большой памяти (Ум мнемониста). Издательство МГУ. 1968. 87 стр.

Память — эта еще во многом таинственная и до конца не разгаданная человеческая способность — привлекает сейчас пристальное внимание ученых многих специальностей: психологов и физиологов, кибернетиков и психиатров, математиков и лингвистов. О памяти написано множество книг. Но небольшая книга видного советского психолога профессора Александра Романовича Лурья, несомненно, займет в этой литературе особое место. И не только потому что речь в ней идет о совершенно исключительной, феноменальной памяти человека, которого автор зашифровал буквой «Ш», но и потому также, что написана она в оригинальной, не столь уж часто встречающейся манере.

Людей, обладавших выдающейся памятью, в истории было немало. Утверждают, например, что у Наполеона была феноменальная память на лица, у Ласкера — на шахматные дебюты, у Бузони — на музыкальные опусы и т. д. Но человек, о котором рассказывает А. Р. Лурья и которого он наблюдал в течение почти тридцати лет, обладал такой выдающейся памятью, которую с полным правом можно отнести к числу самых сильных, описанных в литературе.

Известно, что даже самая выдающаяся память имеет свои границы. Но вот оказалось, что память Ш. «не имеет ясных границ не только в своем объеме, но и в прочности удержания следов». Опыт показали, что он с успехом и без заметного труда мог воспроизводить любой длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет назад. При этом он до мельчайших деталей помнил обстановку, в которой ему приходилось впервые запоминать тот или иной ряд слов. В 1937 году А. Р. Лурья прочитал Ш. первую строфу из «Божественной комедии» Данте на языке оригинала, совершенно ему неизвестном. Прошло пятнадцать лет. И вот, по просьбе профессора, Ш. без всяких ошибок, с теми же ударениями, с какими они были впервые произнесены, воспроизвел эти строки...

Автор со всей научной дотошностью и скрупулезностью, на основе протоколов проведенных им многочисленных экспериментов раскрывает, так сказать, внутреннюю лабораторию этой необыкновенной памяти, которая относилась к тому редко встречающемуся типу, когда каждое слово, помимо его смысловой стороны, вызывает наглядный образ. При этом А. Р. Лурья с большой теплотой и душевным тактом рассказывает и о самом «подопытном», как о человеческой личности, очень своеобразной и неповторимой, не утаивая и слабых сторон его характера и ума.

Книга так быстро исчезла с прилавков, что издательству следовало бы подумать о втором издании.

О. Димин.



ЛУБОК. Русские народные картинки XVII—XVIII вв. Автор текста и составитель альбома Юрий Овсянников. «Советский художник». М. 1968. 120 стр.

Альбом этот, прекрасно изданный и сопровождаемый хрестоматией, представляет далеко не только мемориальный интерес: еще раз удовлетворенно убеждаешься, что искусство лубка сохранило возможность живого общения с нашими современниками. Духовная пища едва грамотных и вовсе неграмотных русских людей эшешедших столетий, лубок выжил именно потому, что в самом деле был воплощением духовности. А духовность не умирает, в каких бы наивных формах ни была она воплощена.

Мы помним Некрасова: «...Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет?» Да и сам Белинский строго отделил «охоту к чтению» от «потребности литературы». Конечно, это справедливо, однако, не пробудив охоты к чтению, не пробудить и потребности в подлинной литературе. В этом смысле «милорд» был шагом к Гоголю.

Будучи рыночным товаром, лубок тем не менее откликнулся на события русской жизни и имел по их поводу свое мнение, нередко дерзкое. Юрий Овсянников в серьезный знаток лубка, обращает в своей статье внимание на неофициальность, дерзость авторов лубочных картин и текстов к ним, не останавливавшихся и перед озорными выпадами против царей. Несвободный от законов рынка, лубок был более или менее свободен от духовной цензуры: его не считали искусством, «просвещенный вкус» не давил на него — просто чурался. Зависимость же от рыночного спроса все же легче, чем зависимость от «полупросвещенного щеголя» или от тяжелой руки императорского цензора. Тем более, что рынок вынужден считаться со вкусом покупателя к «запретному» — от соленого словца до политической критики.

Быть может, и чисто графические достоинства лубка во многом объясняются той же невольной неподнадзорностью его. Составитель альбома, озабоченный, как мне кажется, тем, чтобы показать близость лубка современной графике и с этой целью публикующий репродукции, где представлена в увеличенном виде характерная деталь той или иной лубочной картины, добивается своего: мы видим удивительную естественность, непринужденность вольного рисунка, свободного от живописных канонов своей эпохи.

Лубочные рисунки нередко весьма схожи по манере; но это не банальность, не ее унылая штампованность. Здесь то же единство стиля, что и в фольклоре. И еще лубок, пожалуй, в этом отношении близок детским рисункам, которые похожи друг на друга не стремлением к белликому эталону, а гениальной наивностью взгляда ребенка.

Борис Житков говорил о малолетних рисовальщиках, что они всегда рисуют только

главное, только существенное, и поскольку в быке для них главное — рога, то они и начинают рисовать быка с рогов. В лубке есть то же смелое небрежение второстепенным ради главного — то самое, что всегда отличало настоящих художников от копирайтеров природы.

Бедный пасынок «серьезного» искусства, русский лубок сумел донести до нас больше неубитой жизни, чем многие из прославленных в свое время произведений официальной литературы и официальной живописи.

Ст. Рассадин.

★

Л. Д. БЕЛЬКИНД. Андре-Мари Ампер (1775—1836). «Наука». М. 1968. 278 стр.

Эта монография вышла в «Научно-биографической серии». Ее автор подробно показывает перипетии полной драматизма личной жизни своего героя, путь, приведший человека, не проучившегося и дня в учебном заведении, на вершины науки (первая часть книги). По ходу повествования автор характеризует умственную жизнь Франции в конце XVIII — начале XIX века: появление «Энциклопедии», двадцать томов которой явились главными «университетами» юного Андре-Мари; эволюция Французской академии, членом которой Ампер стал в 1814 году; основание Политехнического института в Париже, где преподавал ученый; салон мадам Рекамье, куда он был вхож... Показано ближайшее окружение великого физика, даны портреты его «проводников» в науку, среди которых — виднейшие математики и естествоиспытатели страны.

Вторая часть книги знакомит нас непосредственно с научной деятельностью Ампера, весьма интенсивной и обширной по диапазону. Тринадцать лет он пишет первую работу — о спрямлении дуги, а с 1802 года начинается систематическая публикация его математических трактатов. Некоторые теоремы и уравнения, предложенные Ампером, сохранили свое значение и поныне.

Какую бы ценность, однако, ни имели математические труды Ампера, имя свое он обессмертил другим — исследованиями в области электромагнетизма. Л. Д. Белькинд подчеркивает, что Амперу понадобилась одна лишь неделя сентября 1820 года, чтобы дать правильное объяснение найденному Эрстедом влиянию электрического тока на магнитную стрелку и открыть эффект взаимодействия двух проводников, обтекаемых током. В оставшиеся месяцы того же года он на основе серии остроумных, не имевших прецедента опытов создал физическую теорию, названную им электродинамикой, сведшей воедино рассматриваемые до него порознь электрические и магнитные явления. Электродинамика Ампера по существу подготовила открытие Фарадеем электромагнитной индукции, ставшей фундаментом всего того, что подразумевается под элект-

ротехникой. В 1827 году Фарадей писал своему французскому собрату: «Прогресс электромагнетизма развивается таким образом, что приходится непрерывно ссылаться на ваше имя, и в этих случаях я мысленно горжусь нашими отношениями и их основой».

В книге говорится и о заслугах Ампера в истории химии. Не зная о работах Авогадро, он в 1814 году разработал молекулярную теорию, в главных чертах совпадавшую с законом Авогадро, много сделал для развития химии галогенов, в частности предугадал существование фтора и дал название этому еще не известному в чистом виде элементу. Заключительная глава посвящена изданной в 1834 году работе Ампера по классификации наук. Он предложил наиболее упорядоченный и аргументированный для своего времени вариант классификации, рассчитанный на приумножение научных дисциплин в будущем. Автор напоминает, что именно Ампер предусмотрел науку об управлении, которую окрестил «кибернетикой».

Богатая фактами, написанная ясным языком, книга Белькинда, несомненно, найдет читателей, интересующихся историей науки и жизнью ее подвижников.

Г. Цверева.

Бокситогорск.

★

МАНАНА АНДРОНИКОВА. Сколько лет кино? «Искусство». М. 1968. 99 стр.

Вообще-то дата рождения кинематографа хорошо известна: совсем недавно отмечалось его семидесятилетие. Но вопрос, поставленный в заглавии книги, имеет в виду не только точно датированную историю кино, но и его предысторию, начало которой теряется в глубине веков. Искусство экрана многим и притом существенно важным обязано старшим искусствам — литературе, театру, живописи, скульптуре; на последних, а точнее на «пластической родословной кинематографа» и сосредоточено внимание М. Андрониковой.

Факты, собранные в книге, свидетельствуют о давнем и настойчивом стремлении художников раздвинуть границы пластики — преодолеть ее статичность, ее немоту. В круг проблем изобразительного искусства с самого начала входит проблема воссоздания движения, передачи слова, человеческой речи.

М. Андроникова не без оснований ставит в один ряд различные рассказы в картинах, пластические повествования — древнеегипетские и античные «ленючьи» росписи; средневековые холсты, где на едином пространстве размещаются разновременные события; серии гравюр Калло и литографий Домье. Во всем этом угадываются предвестия, зачатки современного экранного сюжета. Причем речь идет не об одном видимом сходстве лены изображений с кинолентой; исследование выявляет кинема-

тографический элемент в способах соединения картин-частей, в развитии повествовательных мотивов. Наряду и совместно с литературой, живопись подготавливала монтажную динамику, монтажно построенный кинофильм.

К современному монтажу, оперирующему разными ракурсами и планами, тянутся нити от классических полотен, от прославленных творений старых мастеров. В том убеждает вдумчивое «прочтение» картин, на которых запечатлено многомерное пространство, а человек и среда показаны с нескольких точек зрения — таковы «Менины» Веласкеса, «Бар в Фоли-Бержер» Мане, портрет Гиршман, созданный Валентином Серовым. Правомерно возникает параллель: живописное изображение — остановленный кинокадр (или совокупность совмещенных, сдвинутых кадров). Правда, автору не всегда удается соблюсти чувство меры; анализ, рассматривающий живопись в понятиях и терминах киноведения, порой несколько модернизирует замысел живописца.

Во многих пластических повествованиях примечательно не только развитие сюжета, но и сочетание изображения и слова, рисунка и текста. И уже самые ранние тексты — надписи на античных вазах — выходят за рамки простого разъяснения нарисованной сцены; слово расширяет изображение, углубляет его содержание. В дальнейшем, как показывает М. Андроникова, связь изображенного и написанного усложняется; так подписи к картинам из сюжетных серий Хогарта восполняют пропущенные звенья рассказа, уподобляясь титрам немомого кино. К этому добавляются смелые попытки заставить изображение «заговорить»; на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» позы, жесты апостолов столь выразительны, столь точны, что мы их и видим и словно слышим — мы въяزة воспринимаем срывающиеся с их уст восклицания. Справедлив сделанный исследованием вывод, что и со стороны слова и звука живопись предвещает кинематографический монтаж.

Изменение функции словесно-зрительного контрапункта прослежено в книге вплоть до наших дней: от живописи — к немому кино, от него — к звуковому, а от кино — к телевидению, сделавшему зрителя участником представляемого действия, изображаемой беседы.

Несмотря на небольшой объем, работа М. Андрониковой — законченное, целостное исследование, способное заинтересовать всех, кто следит за сегодняшними поисками эстетической мысли.

В книге, как того требует характер изложения, много иллюстраций; жалеть только, что их качество оставляет желать лучшего, на иных фоторепродукциях трудно что-нибудь разглядеть.

И. Гурвич.

Ташкент.

★

И. И. ШАФРАНОВСКИЙ. А. Г. Вернер, знаменитый минералог и геолог. 1749—1817. «Наука». Л. 1968. 198 стр.

«Великий реформатор минералогии», «отец точного направления в науке о камнях», «глава новейшей геологической школы» — так называли при жизни фрейбергского профессора минералогии и горного дела Вернера. Вернер был всесветно знаменит. Среди его учеников были и представители молодой русской геологии. Впрочем, тогда геология вообще была молодой, только рождавшейся наукой.

Слава Вернера вышла далеко за пределы его специальности. Гёте, не оставлявший без внимания, кажется, ни одной области науки о природе, с глубоким интересом следил за знаменитым научным спором начала XIX века о нептунизме и плутонизме, десятилетиями занимавшем мысли ученых мира. Симпатии Гёте в этом споре лежали на стороне нептунистов, сторонников первенствующей роли воды в геологии; великий поэт осмеивал плутонистов, приписывавших эту же роль «подземному огню», и высоко ценил Вернера — создателя нептунизма. Эта горячая заинтересованность Гёте в геологической дискуссии отразилась в его творчестве — в споре Анаксагора и Фалеса из второй части «Фауста», в «Ксениях», в разговорах с Эккерманом. Вернеру Гёте глубоко сочувствовал: «...со смертью этого превосходного человека все в этой науке перевернулось вверх дном, и я перестал заниматься ею открыто и держу про себя свое мнение». Поэт-романтик Новалис, ученик Вернера по Фрейбергской горной академии, оставил поэтические характеристики Вернера, в которых реальные черты ученого превратились в романтический образ Учителя, удивившего своих слушателей в мир подземных сокровищ и природных чудес.

Дальнейшее развитие науки выявило ошибки и преувеличения Вернера. Историки геологии подвергли суровой критике его односторонние утверждения. Уже его самые талантливые ученики А. Гумбольдт и Л. Бух, вначале отстаивавшие позиции нептунистов, впоследствии перешли в лагерь противников Вернера. Но, как справедливо указывает И. И. Шафрановский, в этих спорах выковыивалось современное знание.

В 1967 году столетие со дня смерти Вернера было торжественно отмечено в ГДР. Появился ряд исследований о роли Вернера в развитии геологии, минералогии, горного дела и металлургии. Известный советский кристаллограф и минералог И. И. Шафрановский, хорошо знакомый читателям также по своим научно-популярным книгам, выпустил читающийся с большим интересом очерк жизни и научной деятельности Вернера. Биография Вернера рассказана Шафрановским на широком историко-научном и бытовом фоне, с привлечением обильных выдержек из трудов самого Вернера и из красочных старинных описаний,

А. Наркевич.

А. ПУЗИКОВ. Золя. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия». М. 1969. 271 стр.

После литературоведческой биографии Эмиля Золя, написанной Анри Барбюсом, нелегко создать увлекательную и в то же время самостоятельную книгу этого жанра, посвященную автору «Ругон-Маккаров». А. Пузиков сумел это сделать. Он настолько владеет большим историко-литературным материалом, что рассказывает о Золя, его современниках, их эпохе с непосредственностью и живостью мемуариста. Книга эмоциональна — отчасти и потому, что автор не только цитирует источники, но и часто использует их в диалоге, во «внутреннем монологе» Золя: мы как бы от него самого узнаем о его переживаниях, «слышим» его мысли, его интонации. Этот прием использован со вкусом, тактично. Изящная литературная форма произведения А. Пузикова тем более ценна, что оно остается литературоведческим по своему характеру, хотя в нем немало и эссеистски-публицистических страниц. При этом А. Пузиков далек от такой популяризации, которая упрощает и схематизирует творчество. И право, исследование, неотделимое в книге от жизнеописания, не стало менее трезвым и серьезным оттого, что оно не изложено сухо и скучновато, как это, к сожалению, бывает.

Эпоха, жизнь и работа Золя проходят перед нами год за годом, и мы видим, как органический демократизм писателя, его активная, страстная натура, пылливость неутомимого исследователя действительности заставляют его всегда быть в движении, бороться с реакцией в обществе и в искусстве, как они направляют развитие его творчества и делают все более чувствительной, бдительной его совесть, все более острое его сознание своей ответственности за будущее родины и человечества. Тот самый Золя, который накануне франко-прусской войны 1870 года атакует в памфлетах II империю и императора, милитаристов и шовинистов, не сможет впоследствии не защитить честь Франции от тех же милитаристов и шовинистов, требуя в прозвучавшем на весь мир заявлении «Я обвиняю!» пересмотреть дело Дрейфуса. И в дальнейшем он не остался бы верным себе самому, если бы не начал все чаще обращаться к социалистическим идеям; изобразив работу в угольных шахтах капиталистической Франции как Дантов ад, он же восславил радостный труд людей, освобожденных от эксплуатации (утопический роман «Труд»).

А. Пузиков показывает, что «научный роман» Золя опирается не только на теорию наследственности, но и на историзм, то есть на науку, без овладения которой настоящий реализм невозможен. Анализируя критику капитализма в «Ругон-Маккарах», «обличительно-реалистический» «стилевой поток», он привлекает внимание читателя и ко второму стилистическому потоку — «лирико-романтическому», нередко остающемуся в

тени. А этот пласт творчества Золя, связывающий его с первым его учителем Гюго, очень важен: он порожден демократическим пафосом Золя, его верой в творческие силы народа, его устремленностью к торжеству гуманизма. Сочетая эти стилиевые потоки, писатель добивался и прочного композиционного единства «Ругон-Маккаров», и впечатления реального движения жизни, ее многообразия, многоцветности. Выделяя поэтическое и светлое не только в творчестве Золя, но и в его личности, характере, жизни, А. Пузиков освобождает облик автора «Ругон-Маккаров» от болезненности фрейдистских комплексов, которые в него привносят иные исследователи.

С тонким психологизмом А. Пузиков обрисовал переживания Золя в те дни, когда он вмешался в дело Дрейфуса, «защищал истину» в борьбе, быть может, стоившей ему жизни (еще не опровергнута одна работа о смерти Золя, автор которой утверждал на основании разысканных им фактов, что Золя погиб от угара потому, что дымоход был закрыт его врагами-шовинистами). И говоря о героической борьбе Золя с лагерем реакции, А. Пузиков пишет: «Как будто кто-то нарочно придумал этот финал, вносящий жизнь романиста. В свете «дела» новыми гранями засверкало его творчество».

А. Пузиков не только обобщил опыт предшествовавших золянистов, но и по-новому осмыслил содержание жизни и творчества Золя.

Н. Миловидова.

★

М. ЧЕРНЕНКО. Фернандель («Мастера зарубежного киноискусства»). «Искусство». М. 1968. 144 стр.

Об актерах писать трудно. Трудно даже в тех случаях, когда знаешь актера чуть ли не с первого его появления на сцене или на экране, когда знаком с ним лично, посвящен в его творческие тайны и можешь наблюдать за ним от роли к роли. Особенно трудно писать об актере-иностранце. Здесь и недостаток информации, и необходимость постичь во всей полноте и связях чужую культуру, чужую, а для нас во многом и чуждую, жизнь. Писать трудно, но не невозможно. И маленькая книжечка М. Черненко «Фернандель», выпущенная издательством «Искусство» в серии «Мастера зарубежного киноискусства», еще одно тому доказательство.

Фернандель — один из популярнейших комиков мирового кино — снялся, как свидетельствует приведенная в книге фильмография, в ста сорока фильмах, да еще в многочисленных короткометражках, да в более чем в полсотне телевизионных фильмов. Советский же зритель познакомился с Фернанделем сравнительно недавно и видел его всего в нескольких картинах. Учитывая это обстоятельство, автор мог бы рассказать о неизвестных у нас лентах

Фернанделя, тщательно разобрав одну за другой его работы. Но М. Черненко избрал другую возможность. Он дал не книжку-описание, а книжку-анализ, в которой попытался определить «зерно» творчества артиста, вскрыть самое существо его индивидуальности, обнажить пружины, помогающие Фернанделю вот уже четыре десятилетия оставаться «звездой» мирового экрана.

Одна из таких пружин — демократичность, простонародность искусства Фернанделя. Родословную его М. Черненко выводит из площадного зрелища — из ярмарочного театра. Искусство современного комика он связывает с традицией, идущей от средневекового гистриона, гаера, фарсера. «Наверно, это не самая благородная генеалогия, — замсчает автор. — Но Фернандель не страдает комплексом неполноценности» И пусть десятка картин, в которых снялся артист, забывались тут же по окончании сеанса, в душе зрителя жило воспоминание об этаким недотепе, наивном, нелогичном, неудобном человеке — Иванушке-дурачке, Полишинеле, Пульчинелле, одним словом — о Фернанделе, независимо от того, под каким именем он выступал на сей раз.

Однако не только в этом секрет успеха. М. Черненко исследует еще одну грань артистической личности Фернанделя. Он называет это «комплексом Тартарена». Развивая полужутливое замечание А. Доде — «во Франции все немножко тарасконцы», — М. Черненко убедительно доказывает, что герой Фернанделя — это своеобразный, сегодняшний Тартарен, французский провинциал, с его ограниченностью и мечтами, надеждами, заботами, неустроенностью, страхами. И сила таланта Фернанделя в том, что созданная им маска не остается неизменной, она меняется под влиянием времени так же, как меняется ее прототип — французский обыватель. Очень точно показано в книге, как постепенно в бездумное веселье Фернанделя врываются нотки грусти, потом тоски, а в самых лучших работах артиста за нелепыми перипетиями судьбы его героя раскрывается трагедия маленького человека в большом буржуазном мире.

М. Черненко пишет о Фернанделе, свободно, смело обращаясь со словом, заставляя его не только точно выражать мысль, но и передавать стиль искусства актера — стиль броский, грубоватый.

И все-таки книга эта не только о Фернанделе. В ней много интересных рассуждений о «синема-бис», например, о психологии рядового зрителя, об общих закономерностях искусства. Думается, что нашему читателю, не столь уж хорошо знакомому с французским кинематографом, прочитать книгу М. Черненко будет не только интересно, но и полезно.

Л. Кафанова.

★

А. ИОЙРЫШ. Атом и право. «Международные отношения». М. 1969. 222 стр.

Книга А. Иойрыша является первым в советской литературе исследованием, в котором всесторонне рассматриваются правовые проблемы, связанные с мирным использованием атомной энергии.

«Людям безразлично, — справедливо пишет в своем предисловии к книге первый заместитель председателя Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР И. Д. Морохов, — какими законами регулируется производство и использование атомной энергии, ибо от этого в огромной степени зависит благополучие человеческого общества».

Человек и атомная энергия, международные отношения и атомная энергия — вот те вопросы, которые призвана изучать правовая наука. Право не может и не должно отставать от современного научно-технического прогресса. Содержательная монография А. Иойрыша охватывает все главные области, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях и их правовом регулировании. Это — добыча атомного сырья, использование изотопов, перевозка радиоактивных материалов, патентно-лицензионная политика, защита от ионизирующей радиации, правовой режим ядерных судов, безопасность удаления радиоактивных отходов, ответственность за ядерный ущерб и т. д.

В книге убедительно показано, что в капиталистических странах правовой режим использования атомной энергии призван в первую очередь охранять интересы государственно-монополистического капитала. В отличие от советского законодательства правовыми нормами капиталистических государств защите интересов человека отводятся второстепенное место.

В монографии отчетливо выражен гуманистический подход к вопросам правового регулирования и использования атомной энергии, сделаны четкие выводы о необходимости международного запрещения ядерного оружия и организации широкого сотрудничества народов в мирном применении атомной энергии. А. Иойрыш всесторонне анализирует ряд международных документов, имеющих важное значение для правового режима использования атомной энергии. Его вывод о том, что меры правового характера могут эффективно содействовать предотвращению биологического, радиоактивного и химического заражения, — хорошо аргументирован и основан на глубоком изучении существующей практики международных отношений.

М. Шафир,
доктор юридических наук.

★

ДЖ. ОРИНГ. Погода на планетах. Перевод с английского. Гидрометеоздат. Л. 1968. 124 стр.

Двадцать восьмого ноября 1964 года в США был запущен космический корабль

«Маринер-4» к планете Марс, изучению которой американские ученые отводят в своей программе космических исследований весьма важное место.

Дж. Оринг, видный американский метеоролог, посвящает большую часть своей книги описанию полетов космических кораблей «Маринер» к Марсу и Венере. Автор сжато, но в то же время увлекательно описывает методы исследования атмосферы планет, удаленных от Земли на миллионы километров.

Читатель познакомится с метеорологическими и климатическими условиями Марса, Венеры, Меркурия, Урана, Нептуна. Приводятся интересные фотографии, полученные различными обсерваториями и космическими кораблями. Книгу Дж. Оринга с интересом прочтут школьники и студенты, инженеры и научные работники — все, кто интересуется исследованиями Космоса.

Б. Розен,
доцент.

★

ВОЛДЕМАР БААЛЬ. Голоса. Рассказы. «Лиезма». Рига. 1968. 124 стр.

Свою первую книгу молодой писатель Волдемар Бааль назвал «Голоса». Голоса моряков, рабочих, геологов, крестьян, студентов, перекликающиеся в тех шести рассказах, которые вошли в этот сборник, услышаны В. Баалем в его собственной жизни, взяты из собственной биографии. Из аннотации, помещенной на суперобложке, мы узнаем, что В. Бааль был и учителем в сельской школе, и шахтером, и слесарем, и матросом и коچهгаром речного парохода. Получив специальность инженера-механика, В. Бааль работал на различных должностях — от мастера до конструктора. Рассказы подтверждают: писатель в равной степени чувствует себя естественно и на корабельной палубе, и в крестьянской телеге, движущейся по размытой осенней дороге.

Но и сам он пробует говорить разными голосами. В маленькой, на четыре печатных листа, книге В. Бааля можно встретить и строгое реалистическое письмо, выдержанное в неторопливом ритме, позволяющем вглядываться и изучать, и бойкий говорок, каким рассыпается беспечный и бывалый (или хотящий казаться бывалым) морячок, — стиль этот все еще любим и нашей молодой прозой, и нашим читателем, не только молодым (рассказ «Капитаны»); и «лирическую прозу», как бы беспредметную, пытающуюся материализовать то, что называется настроением (рассказ «Одной тобой...»). Трудно предсказывать, на каком стиле остановится писатель, какой голос предпочтет, точнее говоря какой голос отстоится как собственный, — во всяком случае он ищет, пробует, — надо надеяться, время покажет, какая манера окажется наиболее результативной. А может быть, он найдет какой-то новый сплав. Последнее — скорее всего.

В. Бааль заметно стремится сопоставить в своем повествовании крестьянскую основательность, «укорененность» людей, работающих на земле, со скользкими, изменчивыми прихотями и судьбами, которые принято считать характерными для XX века. Три лучших рассказа сборника — «Ваня», «Расскажи-расскажи...», «Домой» — интересны и серьезны именно этим сопоставлением. Писатель вовсе не стремится только возвеличить одно и только заклеймить другое. Рассказ «Ваня» (впервые опубликованный в журнале «Юность») завершается ласковым, колыбельно-ласковым напутствием, которое дает парню, уходящему из деревни в институт, уже не его мать, только что с ним прощавшаяся, а сам автор, понимающий, что Ване надо будет много еще пройти, чтобы дотянуться до матери, о которой сейчас он думает с такой наивной снисходительностью: «Кресло, качалку, картинки...» (так мечтает Ваня обставить будущую счастливую дряхлость матери). «Ну вот мы и пошли,— продолжает автор.— И начался этот путь. Сначала лес, потом станция, потом поезд, потом город... Главное, что начался этот путь, что уже сделаны самые первые шаги. И, между прочим, это очень хорошо, даже знаменательно, что как раз когда мы сделали первые шаги, встало солнце. Вот мы и пойдем с солнцем... Вот и пойдем с солнцем... Вот и пойдем...»

В рассказе «Домой» — обратный путь. В крестьянской телеге несколько попутчиков: одни возвращаются в деревню просто

из-за тоски по родным местам, девушка с ребенком — потому что брошена мужем, а солдат, может быть, начинает тот самый путь, который Ваня начинал, уходя отсюда. Четверо попутчиков и женщина-возница перебрасываются словами, впечатлениями, воспоминаниями — случайными, как будто необязательными, ни к какому ответу они не приходят, да и не стремятся к чему, но возникает в рассказе крепкое единое чувство — тянет людей к обжитости, к общности. А автор спешит это чувство уловить и отстоять — чуть-чуть, может быть, выспренно, но очень искренно.

Все рассказы этого сборника лиричны, действие в них как будто растворено в потоке авторского чувства даже тогда, когда они четко сюжетны. Но чувство тоже нуждается в содержании, и если это содержание автором не уловлено, растворено в хаосе скользких ощущений, то получается безжизненный пафос, как в рассказе «Одной тобой...». Наоборот, в рассказ «Расскажи-расскажи...» будничные подробности заводского быта и житейских неурядиц никак не мешают пробиться ироничному голосу автора, развенчивающему праздничное обаяние бродяги Налимова.

Писатель ищет, пробует; в поисках плодотворной устойчивости ему тем более необходима осмотрительность и выдержка, ему действительно доступны разные голоса.

И. Борисова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗАТ

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Том 4 (1920—1924 гг.). 487 стр. Цена 1 р. 27 к.

Справочный том к Полному собранию сочинений В. И. Ленина. В двух частях. Часть I. 730 стр. Цена 1 р. 61 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 3-е, дополненное. 736 стр. Цена 1 р. 13 к.

Мир социализма в цифрах и фактах. 1968. Справочник. 144 стр. Цена 17 к.

А. Титаренко. Мораль и политика. Критические очерки современных представлений о соотношении морали и политики в буржуазной социологии. 264 стр. Цена 34 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Лебедь, М. Доветов, Ю. Аристархов. Материально-техническое снабжение и сбыт в современных условиях. 255 стр. Цена 1 р. 15 к.

С. Михайлов. Мировой океан и человечество. 399 стр. Цена 1 р. 57 к.

Н. Панченко, А. Гош. Пропорции расширенного воспроизводства в колхозах. 215 стр. Цена 81 к.

Проблемы народнохозяйственного оптимума. Сборник трудов под редакцией А. Аганбегяна и К. Вальтуха. 359 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. Повесть временных лет. Поэмы и стихотворения. 222 стр. Цена 57 к.

Ф. Вигдорова. Дорога в жизнь.— Это мой дом.— Черниговка. Повести. 735 стр. Цена 1 р. 47 к.

А. Генатулин. Рябиновая гора. Рассказы. 215 стр. Цена 36 к.

Т. Игумнова. Шаги времени. Роман в 3-х частях. Цена 1 р. 8 к.

М. Колосов. Зеленый Гай. Рассказы. 205 стр. Цена 28 к.

Ф. Колунцев. Ожидание. Роман. 320 стр. Цена 51 к.

Д. Максимов. Брюсов. Поэзия и позиция. 240 стр. Цена 56 к.

Э. Межелайтис. Ночные бабочки. Монолог. Перевод с литовского Б. Залесской и Г. Герасимовой. Стихи в переводе Д. Самойлова. Эпизод в переводе Ю. Левитанского. 400 стр. Цена 60 к.

Д. Мулдагалиев. Степной загар. Стихи и поэмы. Перевод с казахского. 183 стр. Цена 66 к.

В. Нечаев. Вечер на краю света. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 34 к.

В. Садай. Запахи тумана. Повести и рассказы. Перевод с чувашского. 215 стр. Цена 48 к.

А. Саксе. Трудовое племя.— Искры в ночи. Романы. Перевод с латышского. 688 стр. Цена 1 р. 21 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ш. Абдыраманов. Мои знакомые.— **К. Бубулов.** Девушка с юга.— **Т. Касымбеков.** Хочу быть человеком. Повести. Перевод с киргизского. Предисловие Ч. Айтматова. 304 стр. Цена 64 к.

В. Белшевиц. Стихи о соловьином инфаркте. Перевод с латышского. 143 стр. Цена 43 к.

Г. Гессе. Игра в бисер. Роман. Перевод с немецкого. Редакция перевода, комментарии и перевод стихов С. Аверинцева. Цена 1 р. 78 к.

И. Гончаров. Обломов. Роман. Вступительная статья Е. Краснощековой. Цена 1 р. 5 к.

М. Джалиль. Моабитская тетрадь. Стихи. Перевод с татарского. 184 стр. Цена 80 к.

Э. Джрбашян. Поэзия Тумаяна. Перевод с армянского. 280 стр. Цена 70 к.

Квартет. Новые голоса Южной Африки (Ричард Ф. Аллен ла Гума, Джеймс Мэтьюз, Алф. Ванненберг). Перевод с английского. 144 стр. Цена 36 к.

Я. Кратохвил. Истоки. Роман. Предисловие Иржи Тауфера. 672 стр. Цена 2 р. 4 к.

Д. Марков. Болгарская литература наших дней. 176 стр. Цена 59 к.

В. Маяковский. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. Вступительная статья Ал. Суркова. Примечания Ф. Пицкель. 736 стр. Цена 1 р. 81 к.

В. Панова. Собрание сочинений в пяти томах. Том I. Спутники. Повесть.— Кружильиха. Роман. 448 стр. Цена 1 р. 5 к.

Премчанд. Ратный путь. Рассказы. Перевод с хинди и урду. 596 стр. Цена 37 к.

А. Прокофьев. Приглашение к путешествию. 256 стр. Цена 84 к.

А. Сарсенбаев. Берег моей молодости. Стихи. Перевод с казахского. 239 стр. Цена 71 к.

А. Толстой. Хожение по мукам. Трилогия в двух томах. Том 1. Книга 1. Сестры. Книга 2. Восемнадцатый год. 591 стр. Цена 1 р. 14 к. Том 2. Книга 3. Хмурое утро. 384 стр. Цена 81 к.

И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. В 2-х томах. Составление и подготовка текста С. Петрова и В. Фридлянд. Том 1. 583 стр. Цена 1 р. 21 к. Том 2. 592 стр. Цена 1 р. 18 к.

Б. Эйхенбаум. О прозе. Сборник статей. Составление и подготовка текста И. Ямпольского. Вступительная статья Г. Бялого. 504 стр. Цена 1 р. 28 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Владимир Ильич Ленин. Стихи. Редактор-составитель Я. Шведов. 367 стр. Цена 1 р. 29 к.

А. Марьямов. Донисенко («Жизнь замечательных людей»). 383 стр. Цена 94 к.

Б. Слуцкий. Современные истории. Новая книга стихов. 159 стр. Цена 42 к.

И. Снегова. Избранная лирика. Предисловие А. Туркова 32 стр. Цена 12 к.

Фантастика, 1968. Сборник. 349 стр. Цена 77 к.

М. Шагинян. Билет по истории. Эскиз романа. 31 стр. Цена 16 к.
И. Шоу. Солнечные берега реки Леты. Рассказы. Перевод с английского А. Симона. 222 стр. Цена 52 к.

«НАУКА»

А. Желоховцев. Хуабань — городская повесть Средневекового Китая. Некоторые проблемы происхождения и жанра. 200 стр. Цена 73 к.

Из истории Международного объединения революционных писателей (МОРП) («Литературное наследство», т. 81). 680 стр. Цена 3 р. 80 к.

Пушкин. Исследования и материалы. Том 6. Реализм Пушкина и литература его времени. 308 стр. Цена 1 р. 94 к.

Рабочий класс СССР. 1951—1965 гг. 559 стр. Цена 2 р. 45 к.

К. Рудницкий. Режиссер Мейерхольд. 527 стр. Цена 2 р. 97 к.

Успехи современной генетики. Сб. 2. Ответственный редактор Н. П. Дубинин. 256 стр. Цена 1 р. 73 к.

И. Юдина. Н. Г. Гарин-Михайловский. Жизнь и литературно-общественная деятельность. 238 стр. Цена 1 р. 3 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Абрамова. Дисциплина труда в СССР (Правовые вопросы). 176 стр. Цена 60 к.

С. Корнеев. Имущественная самостоятельность предприятий в условиях экономической реформы. 104 стр. Цена 19 к.

А. Рябинин. Оплата труда работников здравоохранения 88 стр. Цена 15 к.

Теория государства и права. Библиография 1917—1968 гг. Составитель М. Кулажников. 372 стр. Цена 1 р. 12 к.

«ИСКУССТВО»

Е. Габрилович, Ю. Райзман. Твой современник. Сценарий. 128 стр. Цена 36 к.

Д. Грегор. «Черномазый». Автобиография. Написана при участии Р. Липсайта. Перевод с английского. Вступительная статья Б. Стрельникова. 167 стр. Цена 1 р.

А. Монтего. Мир фильма. Путеводитель по кино. Перевод с английского. Вступительная статья Г. Козинцева. 279 стр. Цена 1 р. 37 к.

В. Сахновский-Панкеев. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. 232 стр. Цена 1 р. 13 к.

Л. Столович. Категория прекрасного и общественный идеал. Историко-проблемные очерки. 352 стр. Цена 1 р. 54 к.

Тирсо де Молина. Комедии. В 2-х томах. Перевод с испанского. Вступительная статья В. Силюнаса. Том 1. 343 стр. Цена 93 к. Том 2. 431 стр. Цена 1 р. 6 к.

«ПРОГРЕСС»

Э. Вериссимо. Господин посол. Роман. Перевод с португальского. 424 стр. Цена 1 р. 35 к.

Ц. Кристанов. За свободу Испании. Мемуары болгарского коммуниста. Перевод с болгарского. 335 стр. Цена 1 р. 36 к.

Ч. Лодойдамба. Прозрачный Тамир. Исторический роман. Перевод с монгольского. 488 стр. Цена 1 р. 67 к.

А. Труайя. Семья Эглетьер. Роман. Перевод с французского. 301 стр. Цена 79 к.

Я. Щепанский. Элементарные понятия социологии. Перевод с польского. 240 стр. Цена 94 к.

«МИР»

Музы в век звездолетов. Сборник научно-фантастических рассказов. Переводы. 374 стр. Цена 83 к.

Э. Нортон. Саргассы в космосе. Научная фантастика. Перевод с английского. 230 стр. Цена 53 к.

Дж. Уотсон. Двойная спираль. Воспоминания об открытии структуры ДНК. Перевод с английского. 152 стр. Цена 35 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Г. Апресян. Ораторское искусство. Издательство Московского университета. 160 стр. Цена 52 к.

Голоса пяти городов. Сборник стихов. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 159 стр. Цена 59 к.

М. Лассила. За спичками.—Манассе Яппин.—Сверхумный.—Воскресший из мертвых. Повести. Перевод с финского. Петрозаводск. «Карелия». 520 стр. Цена 1 р. 52 к.

Подвиг века. Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Воспоминания. Дневники. Письма. Очерки. Литературные записи. Автор-составитель Н. Паперная. Ленинград. Лениздат. 391 стр. Цена 2 р. 27 к.

Л. Рейнус. Достоевский в Старой Руссе. Ленинград. Лениздат. 78 стр. Цена 9 к.

Р. Рза. Ленин. Поэма. Перевод с азербайджанского А. Тарковского. Баку. «Гянджлик». 236 стр. Цена 1 р. 70.

Сулейман Стальский в критике и воспоминаниях. Сборник статей, очерков и заметок. Махачкала. Дагкнигоиздат. 212 стр. Цена 41 к.

Б. Трубецкой. Овидиев венец. Пушкин в Молдавии. Кишинев. «Нарта молдовеняскэ». 108 стр. Цена 30 к.

О. Туманян. О России и русской культуре. Статьи и письма. Ереван. «Айастан». 126 стр. Цена 15 к.

Э. Хемингуэй. Репортажи. Перевод с английского. Издательство Московского университета. 203 стр. Цена 80 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/IX 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 24/XII 1969 г.
 Формат бумаги 70×108/16. 27,87 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 10850. Зак. 3378. Тираж 127.250 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636